Отверженные

Виктор Гюго · 1862

Глава 1

В 1815 году преосвященный Шарль-Франсуа-Бьенвеню Мириель был епископом в Дине. То был старик лет семидесяти, занимавший епископский престол в Дине с 1806 года. Быть может небесполезно, хотя это вовсе не касается сущности нашего рассказа, передать здесь для большей точности те слухи и толки, какие ходили на его счет по приезде в епархию. То, что говорится ложно или справедливо о людях, занимает часто в их жизни, а в особенности в их судьбе, такое же место, как и их поступки. Его преосвященство Мириель был сыном советника судебной палаты города Экса, следовательно, принадлежал к судебной аристократии. Говорили, что отец, прочивший его себе в преемники по должности, женил его очень рано, лет

восемнадцати или двадцати, что было довольно распространенным обычаем в парламентских семьях. Несмотря на женитьбу, Шарль Мириель, как рассказывали, продолжал давать пищу для сплетен. Он был хорошо сложен, несмотря на небольшой рост, грациозен, элегантен и остроумен; первая часть его жизни была посвящена свету и успеху у женщин.

Наступила революция; события чередовались; магистратура, разоренная, преследуемая и изгнанная, рассеялась. Шарль Мириель в самом начале революции эмигрировал в Италию. Жена его умерла там от грудной болезни, которой страдала уже давно. Детей у них не было. Какой переворот произошел тогда в жизни господина Мириеля? Крушение ли старинного французского общества, падение ли собственного семейства, трагические ли происшествия 93 года, принимавшие еще более угрожающие размеры в глазах эмигрантов, глядевших на них издали, сквозь преувеличения страха, заронили в нем мысль об отречении и удалении от мира? Или посреди развлечений и привязанностей,

наполнявших его жизнь, на него внезапно обрушился один из тайных и всесокрушающих ударов, которые, прямо задевая сердце, разят человека, способного хладнокровно устоять среди общественных потрясений, ломающих его существование и благосостояние. Никто не мог бы дать ответа на это. Знали только одно, что он возвратился из Италии уже священником.

В 1804 году Мириель исправлял обязанности кюре в Бриньоле. Он был уже стар и жил в глубоком уединении.

В эпоху коронации какое-то незначительное дело по его приходу, собственно какое — неизвестно, заставило его приехать в Париж. Между прочими влиятельными лицами он обращался с ходатайством по делу своих прихожан и к кардиналу Фешу. Однажды, когда император приехал с визитом к своему дяде, почтенный кюре, ожидавший в передней, встретился с его величеством. Наполеон, заметив на себе взгляд старика, рассматривавшего его с

некоторым любопытством, обернулся и резко спросил:

— Кто этот добряк, смотрящий на меня?

— Ваше величество, — сказал Мириель, — вы смотрите на добряка, а я смотрю на великого человека. Каждый из нас может найти в этом пользу.

Император в тот же вечер спросил у кардинала имя этого кюре, и некоторое время спустя Мириель был удивлен известием о своем назначении епископом в Динь.

Насколько было правды в рассказах, касавшихся первой половины жизни епископа Мириеля, никто не мог сказать положительно. Мало людей знали семейство Мириеля до революции.

Мириелю пришлось испытать судьбу всякого новоприезжего в небольшой город, где много говорящих ртов и мало мыслящих голов. Ему пришлось испытать это, хотя он был епископом, и потому, что он был епископом. Но в конце

концов толки, к которым примешивалось его имя, были не более как толки: шум, болтовня, слова, даже менее чем слова, «звяки», по энергичному выражению южного наречия.

Как бы то ни было, но по истечении девяти лет его пребывания епископом в Дине все эти россказни, все эти темы разговоров, занимавшие на первое время маленький городок и маленьких людей, были окончательно позабыты. Никто не посмел бы заговорить о них, никто не посмел бы о них напомнить.

Епископ Мириель приехал в Динь в сопровождении старой девицы, мадемуазель Батистины, и старушки по имени Маглуар, бывшей служанки господина кюре и получившей теперь двойное звание — горничной барышни и экономки его преосвященства.

Мадемуазель Батистина была высокая, бледная, худенькая и кроткая особа; она олицетворяла идеал, выражаемый словом «почтенная», так как для женщины, по-видимому, необходимо быть матерью для того, чтобы

сделаться «достопочтенной». Красивой не была она никогда; вся жизнь ее, представлявшая ряд добрых дел, наложила на нее печать чистоты и ясности; старея, она приобрела то, что можно было бы назвать красотой доброты. То, что в молодости было худобой, казалось в зрелые лета воздушностью, и что-то ангельское просвечивало сквозь эту прозрачность. Скорее дух, чем девственница. Она казалась сотканной из тени с намеком плоти, для того чтобы признать в ней женщину; луч света, облеченный в призрак материи; большие опущенные глаза, предлог для того, чтобы душе было в чем держаться на земле. Мадам Маглуар была маленькая старушка, белая, пухлая, деятельная, вечно задыхавшаяся, во-первых, вследствие постоянного движения, во-вторых, вследствие астмы.

По приезде преосвященный Мириель был водворен в епископский дворец со всеми почестями, предписанными императорскими декретами, отводящими место епископу непосредственно вслед за начальником штаба. Мэр и председатель совета сделали ему визиты

первые, а он, со своей стороны, поехал с первым визитом к генералу и префекту.

Когда обустройство на новом месте было окончено, город стал ждать, чтобы епископ выказал себя на деле.

Глава 2

Епископский дворец в Дине примыкает к госпиталю. Епископский дворец представлял собой обширное каменное здание, выстроенное в конце прошлого столетия преосвященным Анри Пюже, доктором теологии парижского факультета, и аббатом Симора, бывшим епископом в Дине в 1712 году. Дворец был воистину жилищем вельможи. В нем все было на широкую ногу: помещения епископа, комнаты для приема, парадный двор с галереями под высокими сводами, во флорентийском старинном вкусе, и сады с великолепными деревьями. В столовой, длинной и величественной галерее, выходящей в сад, преосвященный Анри Пюже давал парадный обед 29 июня 1714 года их

преосвященствам: Шарлю Брюлару де Жанлису, князю архиепископу амбрюнскому; Антуану Мегриньи, капуцину, епископу грасскому; Филиппу Вандомскому, настоятелю Мальтийского ордена во Франции; аббату Сент-Оноре в Лерене; Франсуа де Бертон Грилльону, епископу-барону венскому; Цезарю де Сабран де Форкалькье, владетельному епископу гландевскому, и Жану Соанену, пресвитеру Оратории, придворному королевскому проповеднику, владетельному епископу сенезскому. Портреты этих семи архипастырей украшали стены покоев, и достопамятное число 29 июля 1714 года было начертано золотыми буквами на белой мраморной доске. Госпиталь помещался в небольшом низеньком одноэтажном доме с маленьким садом. Через три дня по приезде епископ посетил больницу. После визита он пригласил к себе директора.

— Господин директор, — спросил он, — сколько у вас больных в настоящее время?

— Двадцать шесть, ваше преосвященство.

— По моему счету столько же, — сказал епископ.

— Палаты — простые комнаты, и воздуха в них мало.

— Мне показалось то же.

— Затем, когда погода хорошая, в саду мало места для выздоравливающих.

— Я подумал то же самое.

— Во время эпидемий, — в нынешнем году был тиф, два года тому назад была потовая горячка, — набирается больных человек до ста, и мы не знаем, куда разместить их.

— Мне и эта мысль приходила в голову.

— Что прикажете делать, ваше преосвященство, приходится покориться.

Разговор этот происходил в обширной галерее-столовой нижнего этажа.

Епископ помолчал немного и затем внезапно обратился к директору:

— Сколько кроватей могло бы, на ваш взгляд, поместиться в этой зале?

— В столовой вашего преосвященства! — воскликнул в недоумении директор.

Епископ обвел зал глазами, как бы примеряя что-то и исчисляя.

— Здесь, наверное, поместится кроватей двадцать! — сказал он про себя, затем продолжал, возвысив голос: — Видите ли, господин директор, тут, очевидно, произошла ошибка. У вас двадцать пять или двадцать шесть человек помещается в пяти или шести маленьких комнатах. Нас здесь трое в помещении на шестьдесят человек. Тут ошибка, говорю вам; вам следует быть здесь, а мне в вашем доме. Отдайте мне мой дом, а вы возьмите свое помещение.

На следующий день двадцать шесть больных были переведены в епископский дворец, а епископ переселился в госпиталь.

У епископа Мириеля не было состояния, так как семья его разорилась во время революции. Сестра его получала ежегодную ренту в пятьсот франков, едва хватавшую на ее личные расходы в хозяйстве брата. Епископ Мириель получал от государства епископский оклад в пятнадцать тысяч франков. В первый день своего переселения в госпиталь преосвященный Мириель распределил раз и навсегда расходы этой суммы. Мы переписываем здесь смету, написанную его рукой.

СМЕТА РАСХОДОВ МОЕГО ДОМА

На маленькую семинарию — 1500 фр.

В миссионерскую конгрегацию — 100

Лазаретам Мондидье — 100

Семинарии иностранных миссий в Париже — 200

Конгрегации Св. Духа — 150

Духовным заведениям в Иерусалиме — 100

Благотворительным детским приютам — 300

Воспитательному дому в Арле — 50

Обществу для улучшения тюрем — 400

Обществу вспомоществования и освобождения арестантов — 500

На выкуп из долговой тюрьмы отцов семейств — 1000

На прибавку окладов нуждающимся сельским учителям епархии — 2000

Запасным магазинам в департаменте Верхних Альп — 100

Дамской конгрегации города Диня, Моноска и Сисертона для бесплатного обучения девочек из нуждающихся семей — 1500

Бедным — 6000

Мои личные расходы — 1000

Всего 15 000 фр.

Во все время своего управления епархией Диня преосвященный Мириель не изменял ничего в этой смете. И это, как видели выше, он

называл распределением своих домашних расходов.

Такое распределение было принято без возражений мадемуазель Батистиной. Для этой святой души преосвященный в Дине был в одно и то же время братом и епископом, другом ее по плоти и ее начальником по уставу церкви. Она любила и уважала его от всей души. Когда он молился, она становилась на колени; когда он действовал, она одобряла. Только служанка, мадам Маглуар, немного поворчала. Епископ, как могли заметить, оставил на свои личные расходы всего тысячу франков, составлявшие вместе с пенсией мадемуазель Батистины полторы тысячи франков в год. На эти полторы тысячи жили две старые женщины и старик.

И когда какой-нибудь сельский кюре приезжал в Динь, епископ находил еще возможность угощать его обедом, благодаря строгой экономии мадам Маглуар и мудрой распорядительности мадемуазель Батистины.

Однажды епископ, спустя месяца три после своего назначения в Динь, сказал:

— Однако я очень стеснен!

— Еще бы, — подхватила мадам Маглуар, — ваше преосвященство не потребовали даже ренты, которую департамент обязан выдавать вам на содержание городского экипажа и разъездов по епархии. Все прежние епископы получали эти деньги.

— Вы, мадам Маглуар, совершенно правы.

И он подал требование.

Немного погодя генеральный совет, основываясь на его требовании, постановил выдавать ему три тысячи франков в год под следующей рубрикой: епископу на содержание экипажа, почтовые расходы и пастырские разъезды.

Это возбудило большое неудовольствие у местной буржуазии, и один из сенаторов империи, бывший член совета пятисот, высказавшийся в пользу восемнадцатого

брюмера и получивший в городе Дине великолепное сенаторское поместье, — по этому поводу написал конфиденциально министру духовных дел Биго де Преамене негодующую записку, из которой мы заимствуем следующие подлинные строки:

«Расходы на содержание экипажа? К чему экипаж в городке, имеющем не более четырех тысяч жителей? Расходы на разъезды? Во-первых, к чему разъезды? Во-вторых, какие же могут быть почтовые расходы в этой гористой местности? Ездить можно не иначе как верхом. Даже мост на Дюрансе в Шато-Арну с трудом выдерживает телегу, запряженную волами. Все эти священники — народ алчный и сребролюбивый. Этот сначала прикидывался смиренником. Теперь он поступает так же, как и все прочие: ему понадобился экипаж и почтовые прогоны. Ему так же захотелось роскоши, как и остальным епископам. Ах! Уж эти попы. Дела пойдут хорошо, господин граф, только тогда, когда император избавит нас от скуфейников. Долой папу! (В это время отношение к Риму

ухудшалось.) Что касается меня, я стою за одного цезаря» и т. д.

Зато этот оклад очень обрадовал мадам Маглуар.

— Вот так прекрасно, — сказала она мадемуазель Батистине, — его преосвященство начал с других, но пришлось вспомнить и о себе. Он распределил все свои пожертвования. Эти три тысячи пойдут на хозяйство. Наконец-то!

В тот же вечер епископ составил следующую смету, врученную им сестре:

СУММА НА ЭКИПАЖ И РАЗЪЕЗДЫ

На мясной бульон для больных — 1500 фр.

Обществу призрения сирот в Эксе — 250

Обществу призрения сирот в Драгиньяне — 250

Воспитательному дому — 500

Сиротам — 500

Итого 3000 фр.

Таков был бюджет епископа Мириеля.

Что касается случайных епископских сборов с церковных оглашений, разрешений, соборований, проповедей, освящения церквей или часовен, бракосочетаний и проч., то епископ тем неумолимее взимал их с богатых, что раздавал бедным все полученное. Через некоторое время пожертвования посыпались в его руки. Имущие и неимущие стучались в дверь епископа Мириеля, одни — являясь за милостыней, другие — подавая ее. Не прошло и года, как преосвященный сделался кассиром всех благотворителей и всех нуждающихся. Значительные суммы проходили через его руки. Но ничто не могло изменить установленного образа жизни и он не прибавил ничего лишнего к необходимому.

Напротив. Так как внизу всегда более нищеты, чем братской щедрости наверху, все раздавалось, так сказать, ранее, чем успевало поступить; деньги поглощались как вода, пролитая на сухую землю; сколько он ни получил, у него всегда оказывалась недостача. Тогда он урезал себя.

Существует обычай, по которому епископы выставляют в пастырских посланиях и приказах все свои имена, полученные при крещении. Местные бедняки, по дружелюбному инстинкту, избрали из имен епископа то, которое представляло в их глазах смысл, и звали его не иначе как преосвященный Бьенвеню (желанный гость). Мы последуем их примеру и оставим за ним это имя. Впрочем, оно нравилось и самому ему.

— Я люблю это имя, — говаривал он. — Бьенвеню служит поправкой к преосвященному.

Мы не имеем претензии на правдоподобие очерченного нами портрета и ограничимся заявлением, что он похож.

Глава 3

Епископ, превратив свои разъездные суммы в милостыню, тем не менее совершал пастырские разъезды. Епархия представляла мало удобств для путешествий. Там мало равнин, много гор и

почти нет дорог, как было замечено выше. Заключала она тридцать два прихода, сорок один викариат и двести восемьдесят пять церквей без приходов. Объехать все это было задачей нелегкой. Епископ, однако, справлялся с этим. Он обходил окрестности города пешком, ездил в таратайке по Долинам, а в горах путешествовал верхом на лошаке.

Обе старушки сопровождали его. Туда, где дороги были чересчур дурны, он отправлялся один.

Однажды он прибыл в Сенез, старинную епископскую резиденцию, верхом на осле. Его очень тощий в ту пору кошелек не позволял ему другого способа передвижения. Городской мэр, вышедший встретить его к подъезду епископского дома, смотрел на него с недоумением, когда он слезал с осла. Несколько человек буржуа пересмеивались вокруг него.

— Господин мэр и господа обыватели, — сказал епископ, — я вижу, что вас смущает: вы находите, что со стороны такого смиренного

служителя, каков я, большое высокомерие ездить на том же животном, на котором восседал Иисус Христос. Могу вас уверить, что я делаю это по необходимости, а не из самомнения.

Во время объездов он был снисходителен и кроток и менее проповедовал, чем беседовал. Он никогда не ходил за далекими примерами для своих поучений. Жителям одной местности он указывал на жителей другой, соседней местности. В округах, где были жестокосерды к бедным, он говорил:

— Взгляните на жителей Безансона: они разрешили выкосить луга бедных, вдов и сирот тремя днями ранее остальных; они даром ставят им дома, когда развалятся старые… Зато это страна, благословенная Богом: в сто лет там не было ни одного убийцы.

В деревнях, алчных к наживе, он говорил:

— Посмотрите на амбрюнских жителей. Если у отца семейства сыновья на военной службе, а дочери в услужении в городе, и он занеможет во время жатвы или один с ней не сладит, кюре

упоминает о нем с кафедры. В воскресенье после обедни все жители деревни: мужчины, женщины и дети отправляются на поле одиночки, исполняют за него работу и приносят в его амбар солому и зерно его жнивы.

Семьям, ссорящимся из-за денежных расчетов или наследства, он говорил:

— Поглядите на горцев Девольни, живущих в такой дикой местности, что по пятидесяти лет не услышишь там соловья. А между тем если умрет там отец семейства, сыновья уходят на заработки, предоставляя все имущество сестрам, чтобы они нашли женихов.

В округах, где крестьяне склонны к сутяжничеству и разоряются на гербовую бумагу, он говорил:

— Посмотрите на добрых поселян долины Квейраса. Их три тысячи душ. Господи! Это словно маленькая республика. Там не знают ни судьи, ни приставов. Один мэр все решает. Он распределяет налоги, обличает каждого по совести, даром разбирает ссоры, делит

наследства без вознаграждения, постановляет приговоры без судебных издержек, и его слушаются, потому что он человек справедливый, посреди людей простодушных.

В селениях, где не было школьного учителя, он опять указывал на квейрасские порядки:

— Знаете ли, как они устраиваются? Так как деревня из десяти или пятнадцати домов не всегда может удержать учителя, у них на целый околоток один преподаватель, и он ходит из одной в другую, — в одной пробудет неделю, в другой десять дней учит. Эти учителя ходят на ярмарки, и там-то я видел их. Их узнают по гусиным перьям, воткнутым в шляпу. Тот, кто учит читать, — носит одно перо; у тех, кто учит писать и считать, — два пера, те же, кто учат читать, считать и латыни, — три пера. Это великие ученые. Стыдно оставаться невеждами! Поступайте так, как делают жители Квейраса.

Таким-то образом, степенно и отечески, поучал он; за неимением примеров, он выдумывал притчи, бившие прямо в цель; в них

было мало фраз и много образов, что было также и красноречием Христа, красноречием, полным убеждения, а потому и убедительным.

Глава 4

Беседа его была приветливая и живая. Он приноравливался к понятиям двух престарелых женщин, с которыми проводил жизнь. Когда он смеялся, он смеялся как школьник.

Мадам Маглуар называла его часто «ваше высокопреподобие». Однажды, поднявшись с кресел, он пошел в свою библиотеку за книгой. Книга стояла на верхней полке.

Епископ был мал ростом и не мог дотянуться.

— Мадам Маглуар, — сказал он, — подайте мне сюда стул, мое высокопреподобие не достает до этой полки.

Одна из дальних его родственниц, графиня де Ло, редко пропускала случай перечислить в его присутствии то, что она называла «надеждами» своих сыновей. У нее было несколько

престарелых родственников, вероятно, уже близких к смерти, прямыми наследниками которых были ее три сына. Младшему предстояло получить после внучатой тетки сто тысяч франков ренты; второй должен был наследовать герцогский титул дяди; старший предназначался в пэры после смерти деда. Обыкновенно епископ слушал молча это невинное и простительное материнское хвастовство. Однажды он казался задумчивее обыкновенного, в то время как мадам де Ло перечисляла наследства и «надежды» своих детей. Она прервала свою болтовню с легкой досадой и обратилась к нему со словами:

— О чем вы так задумались, кузен?

— Я думаю об одной странной вещи, прочитанной мною, кажется, в сочинении святого Августина: «Возлагайте надежды ваши на Того, после которого нет наследства».

В другой раз он получил письмо с сообщением о смерти одного местного дворянина, где пространно были изложены вслед

за титулами покойного все феодальные и аристократические звания его родственников.

— Какие здоровые плечи у смерти! — заметил он. — Какой страшный груз титулов взвалили ей на спину и заставляют ее таскать как ни в чем не бывало; мысль воспользоваться могилой для своего тщеславия доказывает большое остроумие в людях.

При случае у него проявлялась тихая ирония, почти всегда скрывавшая серьезный смысл. Во время поста приехал однажды в Динь один юный викарий и проповедовал в соборе. Он был довольно красноречив. Темой проповеди была милостыня. Он приглашал богатых подавать бедным, чтобы избежать ада, описанного им самыми ужасными красками, какие он только мог подобрать, и заслужить рая, представленного заманчивым и прелестным. В числе слушателей находился один богатый купец, удалившийся от дел и занимавшийся немного ростовщичеством, некто господин Жеборан, заработавший два миллиона выделкой толстых сукон, саржи и

ермолок. За всю жизнь Жеборан не подал ни полушки бедным. Со времени же проповеди стали замечать, что каждое воскресенье он подает по одному су нищим старухам на соборной паперти. Те вшестером делили подачку. Епископ, увидя, как он подает милостыню, сказал сестре с улыбкой:

— Вон господин Жеборан покупает на один су рая.

Когда дело шло о милостыне, его не останавливали отказы, и он находил по этому поводу слова, наводящие на размышления. Он однажды собирал в одной из гостиных города на бедных; между гостями находился маркиз Шантерсье, богатый и скупой старик, умевший соединять ультрареализм с ультравольтерианством. Такая разновидность существовала. Епископ, дойдя до него, тронул его за рукав.

— Господин маркиз, вы должны мне пожертвовать что-нибудь.

Маркиз обернулся и сухо возразил:

— Ваше преосвященство, у меня свои бедные.

— Отдайте их мне! — сказал епископ.

Однажды в соборе он произнес следующую проповедь: «Любезные мои братья, дорогие друзья мои! Во Франции миллион триста двадцать тысяч крестьянских домов с тремя отверстиями, миллион восемьсот семнадцать тысяч домов с двумя отверстиями: окном и дверью, и, наконец, триста сорок шесть тысяч хижин с одним отверстием — дверью. И причина этому — налог на окна и двери. Поместите в эти дома семейства бедных: старух и малолетних детей, и посмотрите, какие там будут болезни и лихорадки! Увы! Бог даровал людям воздух, а закон продает его. Я не упрекаю закон! Но восхваляю Бога. В Изере, в Варе, в двух альпийских департаментах: Нижнем и Верхнем, у крестьян нет даже тачек: они на спине переносят навоз в поле; у них нет свечей; они освещают дома осмоленными палками и фитилями, опущенными в смолу. Так водится на всем

пространстве Верхнего Дофине. Там пекут хлеб на шесть месяцев, и топливом при этом служит высушенный коровий помет. Зимой рубят хлеб топором и перед тем, как есть, вымачивают целые сутки в воде. Сжальтесь, братья мои, посмотрите, сколько страданий вокруг вас!»

Родившись в Провансе, он легко освоился с различными южными наречиями. Он говорил со всяким на его языке. Это очень нравилось народу и способствовало немало его влиянию на умы. В хижине и в горах он был как дома. Он умел говорить о самых высоких предметах на самых грубых наречиях. Владея всеми языками, он входил в каждую душу. Он не спешил осуждать и принимал в расчет обстоятельства. В таких случаях он говорил: «Надо обозреть дорогу, по какой прошла вина». Будучи сам, как он выражался, старым грешником, он не имел неприступной строгости и, довольно громко заставляя неумолимых праведников хмурить брови, проповедовал одну доктрину, которую можно выразить приблизительно в следующих словах: человек облечен в плоть, составляющую

в одно и то же время для него тяжелый груз и искушение. Он волочит ее и уступает ей. Он обязан наблюдать за ней, обуздывать, ограничивать ее и уступать ей только в последней крайности, и в этом послушании может быть еще доля вины — но уже невольной. Это падение, но падение на коленях, которое может окончиться молитвой.

«Святость — исключение, справедливость — общее правило. Ошибайтесь, падайте, грешите, но будьте справедливы. Грешить как можно меньше — вот правило человеческое. Безгрешность — мечта ангела. Грех — путь в гору».

По поводу вещей, вызывавших всеобщие крики и поспешное осуждение, он имел обыкновение говорить, улыбаясь: «Ого! По-видимому, это один из тех крупных грехов, каким грешны все. Испуганное лицемерие спешит протестовать и укрыться от подозрения».

Он был снисходителен к женщинам и к бедным, на которых обрушивается вся тяжесть

человеческого общества. Он говорил: «В заблуждениях женщин, детей, слуг, слабых, неимущих и невежд виноваты мужья, отцы, господа, сильные, богатые и ученые».

Говорил он еще: «Учите, чему можете, несведущих; общество преступно: не давая бесплатно образования, оно ответственно за распространение мрака. В темной душе зарождается грех. Преступен не тот, кто грешит, а тот, кто создает мрак».

Как видите, у него был странный и своеобразный способ суждения. Я подозреваю, что он почерпнул свои мысли в Евангелии.

Он слышал однажды рассказ об одном уголовном деле, по которому происходило следствие и в скором времени должен был последовать суд. Один несчастный, из любви к женщине и к ребенку, родившемуся от нее, истощив все усилия в борьбе с нуждой, стал изготавливать фальшивые деньги. В ту эпоху фальшивомонетчики еще наказывались смертью. Женщина была арестована при сбыте первой

фальшивой монеты. Она была в руках правосудия, но улик против нее недоставало. Она одна могла выдать любовника и погубить его признанием. Она все отрицала; ее продолжали допрашивать. Она упорствовала. Тогда прокурору пришла в голову уловка. Он оклеветал любовника в неверности, и ему удалось, с помощью обрывков писем, искусно подобранных, уверить несчастную, что у нее была соперница и что человек, любимый ею, обманывал ее. Тогда, выведенная из себя ревностью, она выдала любовника, призналась во всем, все доказала. Любовника ждала смерть. Его должны были скоро судить в Эксе вместе с сообщницей. Случай этот рассказывали и восхищались ловкостью прокурора. Затронув ревность, он извлек истину из гнева и правосудие из мести. Епископ выслушал все молча. По окончании рассказа он спросил:

— Где будут судить этого человека и эту женщину?

— В окружном суде.

— А где будут судить королевского прокурора?

В Дине случилось трагическое происшествие. Одного человека приговорили за убийство к смертной казни.

Человек этот был не вполне образованный и не вполне невежда: он был ярмарочным акробатом и писцом. Процесс его был у всех на слуху. Накануне казни капеллан тюрьмы занемог. Нужно было достать другого священника для напутствия преступника. Послали за кюре. Он отказался, сказав, как кажется: «Это меня не касается; какое мне дело до этой требы и до этого акробата; я тоже нездоров; к тому же там не мое место». Ответ этот доложили епископу. — «Кюре прав, — сказал последний, — это не его место, а мое». Он немедленно отправился в тюрьму, вошел в камеру акробата, назвал его по имени, взял его за руку и говорил с ним. Он провел весь этот день с узником, забыв про пищу и сон, молясь Богу за душу осужденного и моля осужденного за собственную душу. Он ему

говорил о лучших истинах, то есть о самых простых. Он был ему отцом, братом и другом, вспоминая о своем сане епископа только для того, чтобы благословлять. Он просветил его, утешая и ободряя его. Человек этот умирал в отчаянии. Смерть была для него пропастью. Стоя, трепещущий, на краю этой бездны, он пятился в ужасе. Он был не настолько невежествен, чтобы сохранить полное равнодушие. Приговор, глубоко потрясший его, разрушил перегородку, отделяющую нас от таинственных вещей, называемых нами жизнью. Он постоянно вглядывался сквозь эти роковые щели в то, что стоит за пределами мира, и видел одни потемки. Епископ указал ему свет.

На следующий день, когда пришли за несчастным, епископ был у него. Он провожал его и показался толпе в своей фиолетовой мантии и с епископским крестом на груди, бок о бок с преступником, связанным веревками. Он взошел с ним на позорную колесницу; он взошел с ним на эшафот. Приговоренный, мрачный и подавленный накануне, теперь сиял. Он

чувствовал примирение в душе и ждал Бога. Епископ обнял его и в то мгновение, когда нож готовился опуститься, он проговорил: «Убитого человеком воскресит Господь; изгнанного братьями приемлет Отец. Молитесь, верьте, вступайте в вечную жизнь: Отец ваш там!» Когда он сходил с помоста, в его взгляде было нечто, заставившее толпу расступиться перед ним. Трудно сказать, что внушало более удивления — бледность ли его или его спокойствие. Возвратившись в свое скромное жилище, которое он шутя называл своим дворцом, он сказал: «Я отслужил архиерейскую службу».

Так как часто великие поступки менее всего понимаются, то в городе нашлись люди, говорившие, обсуждая его поступок: «Это театральность». Впрочем, это были только салонные отзывы. Народ, понимающий просто святость подвигов, был тронут и восхищен.

Что касается епископа, то зрелище эшафота потрясло его, и он долго не мог оправиться после него.

Вид эшафота, стоящего в действительности перед глазами, нагоняет ужас, похожий на галлюцинацию. Можно относиться с некоторым равнодушием к смертной казни, колебаться в своем мнении относительно пользы ее, пока не видел своими глазами гильотины; но когда случайно увидишь ее, то впечатление, производимое ею, глубоко, и приходится решительно сделать выбор в мнении за или против нее. Одни восторгаются ею, как де Местр, другие ненавидят ее, как Беккариа. Гильотина служит спайкой закону, она называется местью; она нейтральна и не позволяет вам оставаться нейтральным. Видящий ее трепещет самым таинственным трепетом. Все общественные вопросы группируются около этого ножа и ставят вопросительные знаки. Эшафот — призрак. Это не подмостки и не машина, эшафот не бездушный аппарат из дерева, железа и веревок. Кажется, будто это своего рода существо, обладающее какой-то мрачной инициативой; так и чудится, что этот сруб видит, что этот снаряд понимает, что дерево, железо и веревки одарены

волей. В тяжелом кошмаре, охватывающем душу в присутствии эшафота, он является страшным действующим лицом. Эшафот — сообщник палача; он пожирает человека: пьет его кровь и ест его мясо. Эшафот — род чудовища, сработанный судьей и плотником, род привидения, живущего какой-то страшной жизнью, сложившейся из всех его убийств.

Впечатление, произведенное на епископа, было глубокое и потрясающее; на следующий день после казни и еще много дней после нее епископ казался удрученным. Почти насильственное спокойствие роковой минуты исчезло, призрак общественного правосудия преследовал его. Он, обыкновенно выносивший из своей деятельности радостное удовлетворение, казался теперь недовольным собой. Иногда он разговаривал один, бормотал вполголоса мрачные монологи. Сестра его слышала однажды вечером, как он сказал следующее:

— Я не думал, что это так чудовищно.

Это ошибка — углубляться настолько в божеский закон, что теряешь законы человеческие.

Смерть во власти одного Бога. По какому праву люди прикасались к этой неведомой вещи?

Преосвященного Мириеля можно было во всякое время приглашать к изголовью больных и умирающих. Он знал, что это составляет его главную обязанность и труд. Осиротевшим семьям не нужно даже было звать его — он являлся к ним сам. Он умел просиживать долгие часы и молчать подле мужа, похоронившего жену, подле матери, лишившейся ребенка. Равно понимал он, когда следует молчать и когда говорить. О! Какой это был великий утешитель! Он не старался усыпить горе забвением, но старался возвысить и облагородить его надеждой. Он говорил: «Обратите внимание на то, с какой стороны вы думаете о вашем покойном. Не думайте о том, что гниет. Вглядитесь внимательно. Вы увидите светлый облик вашего дорогого усопшего на небе». Он знал, что вера

целебна. Он старался успокоить своими советами человека в отчаянии, указывая ему на Того, Кто уже покорился судьбе, и силился превратить печаль, устремляющую взор в могилу, в печаль, устремляющую взор к звездам.

Глава 5

Домашняя жизнь епископа Мириеля была наполнена теми же заботами, как и жизнь общественная. Для того, кто мог бы видеть его вблизи, его добровольная бедность представляла бы зрелище поучительное и привлекательное.

Как все старики и как большинство мыслителей, он мало спал. Непродолжительный сон его был глубок. Утром он проводил около часа в размышлении, вслед за тем служил обедню или в соборе, или у себя на дому. После обедни он завтракал ситным хлебом с молоком, а затем работал. Епископ — человек занятой; ему всякий день приходится принимать секретаря епархии, по большей части каноника, и почти всякий день своих викариев. На нем лежит контроль

конгрегации, раздача привилегий, просмотр целой духовной библиотеки: требников, приходских катехизисов, молитвенников и проч.; он должен писать пастырские послания, утверждать проповеди, разбирать ссоры кюре с мэрами, вести клерикальную и административную переписку, с одной стороны с государством, с другой — со Святым Престолом; словом, у него тысяча разных дел.

Свободное время от этих тысячи дел, службы и чтения требника он посвящал нуждающимся, больным и скорбящим; время, оставшееся от нуждающихся, больных и скорбящих, он отдавал работе. Он работал то в саду, то за письменным столом. Он обозначал оба эти вида труда одним словом: садовничать. «Ум — сад», — говорил он.

Около полудня, если погода была хорошая, он ходил пешком или по городу, или за город, причем часто заходил в хижины. Он ходил один, погруженный в мысли, с опущенными глазами, опираясь на высокую трость, одетый в фиолетовую теплую ватную мантию, обутый в

фиолетовые чулки и толстые башмаки, в плоской треугольной шляпе с золотыми кистями.

Его появление было везде праздником. В его присутствии было что-то согревающее и светлое. Дети и старики выходили за дверь поглядеть на епископа, как на солнце. Он благословлял, и его благословляли. Его дом указывали всякому, кто в чем-либо нуждался. Тут и там он останавливался, разговаривал с детьми и улыбался матерям. Он посещал бедных, пока у него были деньги; когда они заканчивались, он посещал богатых.

Так как он носил свои сутаны до ветхости и не желал, чтобы это заметили, то выходил не иначе как в фиолетовой ватной мантии. Летом это немного тяготило его. По возвращении с прогулки он обедал. Обед походил на завтрак. Вечером, в половине десятого, он ужинал вместе с сестрой, а мадам Маглуар прислуживала им, стоя за стульями. Скромнее этих ужинов мудрено придумать. В тех случаях, однако, когда у епископа оставался в гостях кто-нибудь из кюре, мадам Маглуар пользовалась этим, чтобы подать

на стол какую-нибудь вкусную озерную рыбу или лакомую дичь с гор. Всякий кюре служил предлогом для хорошего ужина — епископ мирился с этим баловством. Но вне этих исключений, обыкновенный стол его составляли овощи, отваренные на воде, и суп на постном масле. В городе сложилась поговорка: «Когда епископ не ест как кюре, он ест как монах».

После ужина он с полчасика разговаривал с мадемуазель Батистиной и мадам Маглуар, а затем уходил в свою комнату и писал или на отдельных листках, или на полях какой-нибудь книги. Он был очень образован и чуть-чуть не ученый. После него осталось пять или шесть довольно интересных рукописей, в том числе диссертация на стих из книги Бытия: «Вначале Дух Божий носился над водами». Он сопоставил этот стих с тремя различными текстами: с арабским стихом: «Дул Божий ветер»; со словами Иосифа Флавия: «Горний ветер дул на землю» — и, наконец, с халдейской версией Онкелоса: «Ветер, исходящий от Бога, дул над лоном вод». В другой диссертации он разобрал теологические

сочинения Гюго, епископа птолемаидского, внучатого прадеда автора этой книги, и решил, что различные речи, изданные в прошлом столетии под псевдонимом Барлейкура, следует приписать этому архипастырю. Иногда во время чтения, какая бы книга ни была в его руках, он впадал внезапно в глубокое раздумье, оканчивавшееся обыкновенно несколькими строками, написанными на полях книги. Часто заметки эти не имели никакой связи с сочинением, в которое они попадали. У нас, например, перед глазами заметка, сделанная им на полях тома, озаглавленного «Переписка лорда Жермена с генералами Клинтоном, Корнвалисом и адмиралами американского флота. Продается в Версале: у книгопродавца Поансо, в Париже: у книгопродавца Писсо, набережная Августинцев».

Заметка эта следующего содержания: «О, Ты, Вездесущий! Экклезиаст называет Тебя Всемогущим; книга Маккавеев называет Творцом; Послание к эфессянам называет Свободой; Баррух называет Пространством; Псалмы именуют Мудростью и Истиной; Иоанн

именует Светом; Книга Царств зовет тебя Господом, Исход — Провидением, Левит — Святостью, Ездра — Правосудием, вселенная называет Тебя Богом, человек — Отцом, но Соломон назвал Тебя Милосердием — и это лучшее из имен Твоих».

Часов в девять женщины уходили к себе наверх, и он оставался до утра один в нижнем этаже.

Здесь необходимо сделать точное описание расположения дома, занимаемого епископом Диня.

Глава 6

Дом, в котором он жил, состоял, как мы уже сказали, из одного этажа и мезонина: три комнаты внизу, три большие комнаты в мезонине и чердак. За домом был садик на пространстве в четверть арпана. Женщины помещались наверху, епископ внизу. Первая комната, выходившая на улицу, служила столовой, вторая спальней, третья

молельной. Из молельной не было другого хода, кроме как через столовую. В молельной, в алькове, стояла запасная кровать для гостей. Епископ предлагал в ней гостеприимный ночлег деревенским кюре, приезжавшим по делам прихода в Динь.

Госпитальная аптека, пристроенная к дому со стороны сада, была превращена в кухню и в кладовую. Кроме того, в саду из прежней кухни устроили хлев, где помещались две коровы епископа. Какое бы количество молока они ни давали, епископ неизменно отсылал каждое утро половину удоя больным в госпиталь, говоря: «Я плачу десятину». Комната его была довольно большая и с трудом нагревалась в холодную погоду. Так как дрова в Дине были очень дороги, он придумал забрать досчатой перегородкой угол в коровьем хлеву и там проводил вечера в сильные морозы. Он называл этот уголок своим «зимним салоном».

В зимнем салоне, как и в столовой, вся мебель состояла из квадратного некрашеного стола и

четырех соломенных стульев. Столовую, кроме того, украшал старый буфет, выкрашенный розовой клеевой краской. Из второго буфета, составлявшего пару столового, епископ сделал престол, украсив его белыми пеленами, обшитыми поддельным кружевом, и поставил его в молельную.

Богатые духовные его дочери и богомолки города Диня не раз собирали деньги для устройства нового престола в молельной преосвященного. Он каждый раз брал деньги и отдавал их бедным. «Лучший престол, — говорил он, — утешенная душа неимущего, благодарящего Бога».

В молельной его стояло два соломенных стула с откидной спинкой для молитвы, а в спальной было соломенное кресло. Когда случайно у него собиралось свыше восьми гостей: префект, генерал, гарнизонный штаб или несколько учеников семинарии, — приходилось приносить стулья из зимнего салона, складные стулья молельной и кресло из спальной; таким способом

можно было добыть до одиннадцати сидений для посетителей. Для каждого вновь прибывшего опустошалась комната.

Иногда гостей собиралось до двенадцати человек; тогда епископ маскировал затруднение или стоя у камина, если на дворе была зима, или предлагая пройтись по саду, если дело происходило летом.

В алькове был еще стул, но солома наполовину облупилась, и он был о трех ножках, так что мог служить только около стенки. У мадемуазель Батистины была, правда, в комнате большая кушетка из дерева, когда-то позолоченного, и обитая цветным ситцем, но эту кушетку пришлось поднять в окно, так как лестница оказалась слишком узка, следовательно, она не могла идти в счет резервной мебели.

Мечтой мадемуазель Батистины было приобретение мебели в гостиную, желтой утрехтского бархата, из красного дерева с резными лебедиными шейками и розанами — на диване. Но это обошлось бы, по меньшей мере, в

пятьсот франков, и ввиду того обстоятельства, что ей удалось отложить на этот предмет всего сорок два франка десять сантимов в пять лет, она кончила тем, что отказалась от своего плана. Впрочем, кто достигает своих идеалов?

Нет ничего легче, как представить себе спальню епископа. Балконная дверь, служившая в то же время и окном, выходила в сад; у противоположной стены простая больничная железная кровать с зеленым рединковым пологом; возле постели, за занавеской, туалетный прибор, изобличавший элегантные привычки светского человека; две двери, — одна, возле камина, вела в молельную, вторая, подле библиотечного шкафа, открывалась в столовую. Библиотека — большой шкаф со стеклами, наполненный книгами; камин был деревянный, выкрашенный под мрамор и обыкновенно стоял без огня; в камине пара железных таганчиков, украшенных сверху вазочками с гирляндами и ручками, когда-то посеребренными, что было своего рода роскошью; над камином посеребренное распятие, из-под которого

проглядывала медь, на потертом лоскуте черного бархата, окруженном полинявшей позолоченной рамой; возле балконного окна стоял большой стол с чернильницей, кипой бумаг и толстыми книгами. Перед столом соломенное кресло. У постели молитвенный стул, принесенный из молельной.

Два портрета в овальных рамках висели по обе стороны постели. Две золотые надписи по темному полю полотна, окружающего лица, указывали, что портреты эти изображали: один — аббата Шальо, епископа сен-клодского, второй — аббата Турто, главного викария агдского, аббата монастыря Гран-Шан, ордена ситоитов, в Шартрской епархии. Епископ, перебравшись в эту комнату после переезда госпиталя, нашел тут эти два портрета и оставил их на месте. Это были священники, по всей вероятности, жертвователи, и этих двух причин было достаточно, чтобы он отнесся к ним с уважением. Он знал о них только одно то, что они были назначены королем один на место епископа, другой настоятелем, в один и тот же день —

апреля 1785 года. Эту особенность он узнал из пожелтевшей записки, прилепленной четырьмя облатками на обороте портрета аббата Шальо, которую он заметил, когда мадам Маглуар сняла портреты со стены, чтобы стряхнуть с них пыль.

На окошке висела старая шерстяная занавеска, до того обветшавшая, что мадам Маглуар, во избежание расхода на новую, вынуждена была сделать большой шов поперек. Из шва образовался крест. Епископ часто обращал внимание на это. «Как это красиво!» — замечал он.

Все комнаты в доме, без исключения, внизу и вверху, были выбелены по моде, существующей для казарм и госпиталей.

Однако впоследствии мадам Маглуар, как увидим, открыла под штукатуркой на стенах комнаты мадемуазель Батистины живопись. Дом, прежде чем превратиться в госпиталь, служил местом собраний буржуа. По этой причине и существовала живопись. Пол во всех комнатах был из красного кирпича и еженедельно мылся, а

перед всеми постелями были постланы соломенные циновки. Впрочем, это жилище, содержавшееся двумя женщинами, отличалось сверху донизу безупречной чистотой. Это была единственная роскошь, допускаемая епископом. «Она ничего не отнимает у бедных», — говорил он.

Надо, однако, признаться, что от прежнего богатства у него сохранилось шесть серебряных приборов и суповая ложка, блеск которой на толстой белой скатерти радовал ежедневно мадам Маглуар. Так как мы описываем диньского епископа таким, каким он был в действительности, то должны прибавить, что он говорил не раз: «Мне было бы трудно отказаться есть иначе как серебряной вилкой и ложкой». К списку серебра следует еще прибавить два массивных серебряных подсвечника, доставшихся ему по наследству от тетки. В эти подсвечники обыкновенно были вправлены две восковые свечи, стоявшие на камине епископа. Когда у них обедал гость, мадам Маглуар зажигала свечи и ставила подсвечники на стол.

В комнате епископа, над изголовьем, находился небольшой стенной шкафчик, куда мадам Маглуар прятала каждый вечер приборы и суповую ложку. Надо сказать, что ключ никогда не вынимали из замка.

Сад, слегка обезображенный некрасивыми постройками, упомянутыми нами выше, состоял из четырех аллей, расходившихся лучами от колодца; отдельная аллея огибала весь сад вокруг дощатого забора, огораживавшего его. Между аллеями было четыре квадрата, окаймленных буксом. В трех квадратах мадам Маглуар выводила овощи, в четвертом епископ посадил цветы и росло несколько плодовых деревьев. Однажды мадам Маглуар сказала ему с легким поддразниванием:

— Вот, ваше преосвященство из всего извлекает пользу, а между тем эта клумба пропадает бесполезно. Здесь лучше было бы посадить салат, чем букеты.

— Вы ошибаетесь, мадам Маглуар, — возразил епископ, — красивое нужно настолько

же, как и полезное. Быть может, еще нужнее.

Этот квадрат, разделенный на четыре клумбы, занимал епископа наравне с его книгами. Он охотно проводил час или два обрезая сучья, копая землю и роя ямки, когда зарывал семена. Он не преследовал насекомых с неумолимостью истого садовника. При этом у него не было ни малейшей претензии на ботанические познания: он не знал ни групп, ни классификаций. Не помышлял о выборе между Турнефором и естественным методом, не брал сторону тычинок против семядолей, ни Жюссье против Линнея. Он не изучал растения, а просто любил цветы. Он очень уважал ученых, но еще более уважал незнающих и никогда не давал перевеса одному уважению над другим; он поливал свои грядки каждый вечер из жестяной лейки, выкрашенной в зеленый цвет.

В доме ни одна дверь не запиралась на ключ. Дверь столовой, выходившая, как мы уже говорили, прямо на соборную площадь, прежде запиралась на замок и засовы, словно дверь

тюрьмы. Епископ приказал снять все эти устройства, и дверь как днем, так и ночью запиралась только на щеколду. Любой прохожий, в какое угодно время, мог отпереть ее толчком. В первое время эта незапертая дверь составляла мучение женщин. Но епископ сказал им: «Если хотите, велите приделать замки к вашим дверям». Они кончили тем, что стали разделять его беспечность или, скорее, притворялись примирившимися. Только на мадам Маглуар по временам находил страх. Что касается епископа, то можно получить объяснение или, по крайней мере, указание на его мнение из трех строк, написанных его рукой на полях Библии: «Тут есть оттенок: дверь доктора не должна никогда запираться, дверь священника должна быть всегда отворена».

В другой книге, озаглавленной «Философия медицинской науки», была другая заметка: «Разве я не такой же доктор, как они? У меня тоже свои больные; во-первых, те, которых они называют больными, во-вторых, мои собственные — которых я называю несчастными».

В третьем месте была еще запись: «Не спрашивай имени того, кто просит у тебя убежища. Тот в особенности нуждается в гостеприимстве, кто скрывает свое имя».

Однажды один почтенный кюре, точно не помню, был ли это кюре из Кулубру или кюре Помпиерри, спросил у него, вероятно, по внушению мадам Маглуар, уверен ли преосвященный, что он не подвергается известной доле опасности, оставляя днем и ночью свою дверь нараспашку перед каждым желающим войти, и не может ли случиться несчастья в доме, так плохо охраняемом. Епископ с кроткой торжественностью потрепал его по плечу и сказал: «Nisi dominus custodierit domum, in vanum vigilant, qui custodiunt earn» {Если Господь не охраняет дом, вотще сторожат охраняющие его (лат.).}.

И тотчас перевел разговор на другой предмет.

Он часто говорил: «Существует священническая храбрость, как существует

храбрость драгунская. Различие в том, что наша храбрость должна отличаться спокойствием».

Глава 7

Здесь уместно будет упомянуть об одном случае, так как он принадлежит к числу тех, которые лучше всего обрисовывают личность диньского епископа.

После уничтожения шайки Гаспара Бэ, разбойничавшего в Оллиульских ущельях, один из его сподвижников, Краватт, скрылся в горы. Некоторое время он с остатком шайки Гаспара Бэ прятался в Ниццском графстве, затем перебрался в Пьемонт и вдруг снова появился во Франции, около Барселонетты. Сначала он показался в Жазье, а потом в Тюиле. Он укрывался в пещерах Жуг-де-л’Эгль и оттуда спустился к селениям и хуторам Убаи и Убайетты.

Он доходил даже до Амбрюна, проник в собор и обокрал ризницу. Разбои его наводили ужас на провинцию. Посылали против него жандармов,

но ничто не помогло. Он постоянно ускользал и иногда даже оказывал вооруженное сопротивление. Это был смелый злодей. Во время всех этих ужасов и приехал епископ. Он совершал объезд Шастеларского округа. Мэр явился к нему и упрашивал не ехать далее. Краватт занимал горы до Арша. Дорога была опасна даже с конвоем. Упорствовать значило рисковать бесполезно жизнью трех или четырех несчастных жандармов.

— Я не хочу брать конвоя, — возразил епископ.

— Как это возможно, ваше преосвященство? — воскликнул мэр.

— Это настолько возможно, что я положительно отказываюсь от жандармов и выеду через час.

— Поедете?

— Поеду.

— Одни?

— Один.

— Ваше преосвященство, не делайте этого!

— В горах есть маленький приход, величиною с ладонь, и я не видел его уже три года. Это мои друзья, честные и смирные пастухи. У них на тридцать человек одна коза. Они плетут очень красивые разноцветные тесемки и играют очень милые напевы на свирелях о шести отверстиях. Им необходимо время от времени слышать слово Божие. Что подумают они о епископе, который струсил? Что они скажут, если я не приду?

— Ведь по дороге разбойники, ваше преосвященство.

— Да, знаете ли, вы меня надоумили. Вы правы. Я могу встретиться и с ними. И они должны нуждаться в слове Божием.

— Но ваше преосвященство, ведь это целая шайка! Стадо волков.

— Господин мэр, над этим-то стадом, быть может, Христос и хочет поставить меня пастырем. Неисповедимы пути Господни.

— Ваше преосвященство, они вас ограбят.

— У меня ничего нет.

— Они убьют вас.

— Старого-то священника, который идет своей дорогой, бормоча молитвы? Да на что я им?

— О, господи боже! Ну, если вы их встретите?

— Я им передам милостыню для моих бедных.

— Ваше преосвященство, не ездите. Ради бога! Не рискуйте жизнью.

— Господин мэр, вы опасаетесь только этого! Я живу на свете не для охраны своей жизни, а для того, чтобы охранять души.

Пришлось уступить ему. Он отправился в сопровождении одного мальчика, предложившего ему себя в проводники. Его настойчивость возбудила слухи в округе и всех встревожила.

Он не взял с собой ни сестры, ни мадам Маглуар. Проехал горами на лошадке, не встретил никого и прибыл цел и невредим к своим друзьям-пастухам. Пробыл он у них две недели, проповедуя, исполняя требы, поучая и наставляя. Перед отъездом он захотел отслужить торжественный молебен. Сообщил об этом кюре. Но как быть? Не оказалось епископского облачения. В его распоряжении была только жалкая деревенская ризница со старыми, поношенными ризами, обшитыми поддельными галунами.

— Ничего! — решил епископ. — Объявите все-таки с кафедры о предстоящем молебне: дело как-нибудь уладится.

Начались поиски по соседним церквям. Все сокровища этих убогих приходов, соединенные вместе, не могли доставить приличного одеяния даже для соборного дьячка.

Во время этих хлопот в дом священника принесен был какими-то неизвестными, скрывшимися немедленно, какой-то большой

ящик на имя епископа. Ящик открыли. В нем оказались парчовая мантия, митра с бриллиантами, архиепископский крест, великолепный посох и все епископские облачения, украденные месяц тому назад из ризницы Амбрюнской церкви Богоматери. В ящике нашли клочок бумаги с надписью: «Преосвященному Бьенвеню от Краватта».

— Ведь говорил же я, что все уладится! — заметил епископ. Затем он прибавил, улыбнувшись: — Тому, кто доволен простым священническим стихарем, Бог посылает епископскую мантию.

— Бог или дьявол, ваше преосвященство, — пошутил кюре. Епископ пристально поглядел на кюре и сказал внушительно:

— Бог, говорю вам!

По возвращении его в Шастелар и по всей дороге сбегались поглядеть на него из любопытства. В церковном доме Шастелара его ожидали мадемуазель Батистина и мадам Маглуар, и он сказал сестре:

— Разве я не был прав? Священник отправился бедным к бедным горцам, а вернулся оттуда богатым. Я вез туда только упованье на Бога, а привез оттуда сокровища целого собора.

Вечером перед уходом ко сну он сказал еще:

— Не бойтесь воров и разбойников. Это опасности внешние, ничтожные опасности. Бойтесь самих себя. Предрассудки — вот настоящие воры; преступления — вот настоящие убийцы. Большие опасности внутри нас. Не страшно то, что угрожает жизни или кошельку. Страшно то, что угрожает душе.

Обратившись к сестре, он сказал:

— Сестра моя, священник не должен обороняться от ближнего. То, что сделает ближний, будет попущено Богом. Будем молиться, когда думаем, что к нам близится опасность. Будем молиться не за себя, — но за брата, да не введем его во грех.

Впрочем, в его жизни приключения были редкостью. Мы рассказываем те, которые нам

известны. Обыкновенная же жизнь его проходила в повторении одних и тех же занятий в одни и те же часы. Месяцы в его году походили на часы его дня.

Что же касается дальнейшей судьбы сокровища Амбрюнского собора, то мы затруднились бы дать верный отчет о ней. Это были великолепные и соблазнительные предметы, и очень выгодно было украсть их в пользу бедных. К тому же они были украдены. Половина дела была сделана, оставалось дать другое назначение краже и заставить ее направиться в сторону бедных. Б бумагах епископа была найдена заметка, относящаяся, быть может, к этому вопросу; содержание ее было следующее: «Вопрос заключается в том, куда возвратить — в собор или в госпиталь?»

Глава 8

Сенатор, о котором шла речь выше, был человек толковый, шедший прямо своей дорогой, не обращая внимания на встречные препятствия,

называемые совестью, присягой, справедливостью и долгом. Он двигался к своей цели, не сбившись ни разу с прямого пути повышений и выгод. Это был экс-прокурор; смягченный успехом, человек не злой, готовый услужить чем мог своим сыновьям, зятьям, родственникам и даже друзьям; человек, мудро извлекший из жизни ее хорошие стороны, счастливые случайности и выгодные комбинации. Остальное казалось ему вздором. Он был остроумен и ровно настолько образован, чтобы считать себя последователем Эпикура, хотя очень может быть, что он был не чем иным, как воспитанником Пиго-Лебрена. Он охотно и приятно шутил на тему великих и бессмертных истин и «сумасбродств простака епископа». Иногда он насмешничал с любезной авторитетностью даже в присутствии преосвященного Мириеля.

Не помню, по поводу какого полуофициального торжества граф (сенатор) и епископ обедали вместе у префекта. За десертом

граф, слегка навеселе, но не теряя обычного своего достоинства, воскликнул:

— Давайте потолкуем, епископ. Сенатору и епископу трудно глядеть не подмигивая друг другу. Мы ведь с вами — авгуры. Я хочу сделать вам признание. У меня собственная философия.

— И вы хорошо делаете, — ответил епископ. — Какую создашь себе философию, так и живешь. Вот вы, господин сенатор, устроили себе завидное житье.

— Скажу вам, — возразил сенатор, — что маркиз Аржантский, Пиррон, Гоббс и Нежон были не дураки. В моей библиотеке полное собрание этих философов в золотообрезных переплетах.

— Вам под пару, граф, — прервал епископ.

Польщенный сенатор продолжал:

— Я ненавижу Дидро: он идеолог, фразер и революционер, в сущности верующий и ханжа, хуже Вольтера. Вольтер смеялся над Нидгемом, но напрасно; угри Нидгема доказывают

бесполезность Бога. Капля уксуса в ложке теста заменяет Fiat lux. Предположите каплю покрупнее и ложку побольше, и вот вам мир. Человек — это угорь. При чем тут творец? Знаете ли, епископ, гипотеза об Иегове мне надоела. Она годна лишь на то, чтобы плодить постных людей, с пустыми головами. Долой великое начало, оно меня стесняет! Да здравствует нуль, оставляющий меня в покое! Между нами будь сказано, я исповедываюсь вам, как моему пастырю, и потому скажу, что я человек со здравым смыслом. Я не особенно восхищаюсь вашим Христом, проповедующим на всяком шагу самопожертвование и отречение. Это советы скупого нищим. Отречение — зачем? Самопожертвование — ради чего? Я не вижу, чтобы волк пожертвовал собой для другого волка. Останемся верны природе. Мы стоим на вершине, так создадим же высшую философию. К чему стоять высоко, если не видишь дальше кончика своего носа? Поживем в свое удовольствие. Жизнь — все. Чтобы человека ожидала другая жизнь, там, где-то за облаками, в

это я не верю. А мне-то проповедуют жертвы и отречения. Я должен всего остерегаться, ломать себе голову над тем, что хорошо, что дурно, что справедливо, что несправедливо, над орлом и решеткой. Зачем? Потому что я, дескать, должен дать ответ в моих поступках. Когда? После смерти. Какие бредни! После смерти, пойди, ищи меня тогда. Заставьте руку призрака захватить горсть пепла. Будем искренни, мы, посвященные, поднявшие покрывало Изиды: ни добра, ни зла не существует. Существуют растительные процессы. Взвесим действительность. Докопаемся до сути. Нужно добыть истину хотя бы из-под земли, добраться, доискаться до нее. Тогда он вам даст истинные наслаждения. Тогда вы становитесь действительно сильным и смеетесь над всем. Я все это постиг. Послушайте, епископ, бессмертие человеческой души — надувательство. Какое прелестное обещание! Только поддайтесь ему. Привилегия Адама! — Иметь душу, сделаться ангелом, — голубые крылышки вырастут у вас на лопатках. Да помогите же мне: кажется, Тертуллиан рассказывает, как праведники будут

путешествовать с одного светила на другое. Допустим. Мы сделаемся стрекозами и будем прыгать с одной звезды на другую. Увидим Бога. Та-та-та. Экая размазня все эти эдемы. Господь Бог — колоссальная фантазия. Я, конечно, не пойду печатать этого в официальной газете, но почему же не сказать на ушко приятелям. Inter pocula. Жертвовать земным из-за небесного, это все равно что выпускать добычу, гоняясь за тенью. Позволить одурачить себя бессмертием! Слуга покорный. Я прах. Я называюсь графом и сенатором Прах. Существовал ли я до моего рождения? — Нет. — Буду ли я существовать после смерти? — Нет. Что же я такое? Горсточка праха, связанная организмом. Что мне делать на земле? — Это зависит от выбора. Страдать или наслаждаться? Куда меня приведет страдание? — К тлену, но я настрадался. Куда меня приведет наслаждение? — К тому же тлену, но зато я насладился. Мой выбор решен. Или кушать, или быть скушанным. Я кушаю. Лучше быть зубом, чем травой. Вот моя философия. А затем иди своей дорогой, тебя ждет могильщик; другого

Пантеона для нас не будет: всех поглотит бездонная яма, и тогда конец — finis. Полная ликвидация. Полное исчезновение. Смерть, поверьте мне, штука мертвая. Чтобы там еще нашелся кто-нибудь, кто станет меня допрашивать — да такая мысль меня просто смешит. Это бабушкины сказки. Для детей придумали буку, для взрослых Иегову. Нет, нас ждет мрак. За порогом смерти все люди равны в ничтожестве. Были ли вы Сарданапалом или святым Викентием Павским, в результате останется тот же прах. Вот истина. Следовательно — прежде всего, будем жить, пользуйтесь вашим я, пока оно в вашем распоряжении. Говорю вам откровенно, господин епископ, у меня своя философия и свои философы. Я не поддаюсь бредням. Но в конце концов, нужно какое-нибудь утешение и для низших, для босых, голодных тружеников. Им преподносят легенды, химеры, душу, бессмертие, рай и звезды. У кого ничего нет — пусть хоть будет Бог. Что же, это справедливо. Я ничего

против этого не возражаю, а для себя приберегаю Нежона. Бог хорош для народа.

Епископ захлопал в ладоши.

— Вот это называется смелой речью! — воскликнул он. — Какая чудесная и удивительная вещь этот материализм! Не всякому только он дается. Но когда его усвоишь, уже не попадешь впросак. Не пойдешь в глупую ссылку, как Катон, не дашь себя побить камнями, как святой Стефан, или сжечь, как Жанна д'Арк. Тот, кто умел приобрести этот неоцененный материализм, пользуется великим счастьем не признавать за собой ответственности и может спокойно пожинать места, синекуры, почести, нечестно нажитое богатство, плоды корыстной лести, выгодных измен, разных сделок со своей совестью и думать, что он сойдет в могилу, покончив здесь все счеты. Как это приятно! Говорю это, конечно, не на ваш счет, сенатор. Но не могу, однако же, не поздравить вас. Вы, великие сановники, как изволили сказать, имеете вашу собственную философию, утонченную,

высшую, доступную одним богатым; философию, применимую ко всему и удивительно приправляющую все жизненные наслаждения. Эта философия добыта глубокими исследованиями и открыта специальными мыслителями. Но вы — добрые вельможи и не находите предосудительным, чтобы вера в Бога осталась философией народа, вроде того, как гусь с каштанами заменяет ему индейку с трюфелями.

Глава 9

Для того чтобы дать понятие о домашнем быте диньского епископа и того, как благочестивые его спутницы подчиняли свои поступки, мысли и даже свои инстинкты пугливых женщин привычкам и его воззрениям, не дожидаясь даже выражения с его стороны своих желаний, лучше всего привести письмо мадемуазель Батистины виконтессе Де’Буашеврон, подруге ее детства. Письмо это хранится у нас.

«Динь. 16 декабря 18…

Милая виконтесса! Не проходит ни одного дня без того, чтобы мы не говорили о вас. Это вошло в привычку, но есть на это и другая причина. Вообразите себе, что, обметая и обмывая потолки и стены, мадам Маглуар сделала открытие. Теперь наши две комнаты, выбеленные известкой по старой бумаге, не испортили бы любого замка, вроде вашего. Мадам Маглуар ободрала всю бумагу, и под ней оказались чудеса. Моя гостиная, в которой нет мебели и где мы вешаем белье после стирки, высотой в пятнадцать футов, а кругом будет до восемнадцати квадратных футов, и в ней потолок расписан живописью и с позолотой, как у вас. Это было заделано холстом в то время, как тут помещался госпиталь. Резьба эпохи наших бабушек. Но нужно видеть мою комнату. Мадам Маглуар отодрала до десяти слоев бумаги, под которой скрывалась живопись, если не великолепная, то очень сносная: Посвящение в рыцари Телемаха Минервой; далее Телемах в садах, куда римские дамы ходили раз в год ночью. Что сказать вам еще? Я окружена римлянами, римлянками (следует слово, которого

не оказалось возможным разобрать) и тому подобными. Мадам Маглуар все это очистила; летом она собирается поправить кое-какие изъяны и покрыть лаком, так что моя комната будет настоящим музеем. С нас просили два шестифунтовых экю, чтобы позолотить их заново, но лучше отдать деньги бедным; к тому же столики не очень красивы и я предпочла бы круглый стол из красного дерева.

Я продолжаю жить очень счастливо. Брат мой такой добрый. Он отдает все больным и бедным. Мы весьма стеснены. Зимы здесь очень суровые, и нужно же делать хоть что-нибудь для неимущих. Мы почти что обогреты и освещены. Вы видите, что это большой комфорт.

У брата свои привычки. В разговоре он говорит, что епископу так и следует поступать. Вообразите, что наружная дверь никогда не запирается. Входи, кто хочет, и сейчас попадет к брату. Он ничего не боится, даже ночью. В этом, как он говорит, вся его храбрость.

Он не желает, чтобы я боялась за него, или чтобы боялась мадам Маглуар. Он подвергается всяким опасностям и желает, чтобы мы даже этого не замечали. Надо уметь понимать его.

Он выходит в дождь, в сырость, делает поездки зимой. Он не боится ночью ни опасных дорог, ни встреч.

В прошлом году он ездил в разбойничьи края. Не захотел взять нас с собой. Оставался там две недели. Вернулся благополучно; все думали, что его убьют, а он приехал невредим и говорит: «Видите, как меня ограбили!» — и показал нам целый ящик с драгоценностями Амбрюнского собора, возвращенными ему разбойниками.

В этот раз, на обратном пути, я не могла удержаться и немножко побранила его, но старалась это делать, когда колеса стучали, чтобы никто не слышал.

В первое время я говорила себе: никакие опасности не останавливают его, он ужасный человек. Теперь я к этому привыкла. Я показываю знаками мадам Маглуар оставить его

в покое. Пусть рискует, сколько угодно душе. Я увожу мадам Маглуар, ухожу к себе, молюсь за него и засыпаю. Я спокойна, потому что знаю, что, случись с ним несчастье, я не переживу. Я уйду к Господу моему вместе с братом и епископом моим. Мадам Маглуар стоило более труда привыкнуть к тому, что она называет его неосторожностями. Но теперь привычка взята. Мы молимся вместе, боимся вместе и засыпаем. Сам дьявол приди в дом, — и его впустит. Но, в сущности, бояться его мы не можем в этом доме. С нами всегда тот, кто сильнее всех. Дьявол может войти — но Бог всегда здесь обитает.

И я совершенно довольствуюсь этим. Брату даже не нужно говорить мне этого. Я понимаю его без слов, и мы полагаемся на Провидение.

Так и следует вести себя с человеком, у которого великая душа.

Я расспрашивала моего брата относительно тех сведений, которые вы желали получить о семействе де Фо. Вам известно, как он все знает и как много у него воспоминаний: ведь он всегда

был добрым роялистом. Это действительно очень старинное нормандское семейство из Каенского дворянства. Пятьсот лет тому назад были уже дворяне Рауль де Фо, Жан де Фо и Тома де Фо, из которых один владелец Рошфора. Последний из этого семейства, Гюи-Этьен-Александр, был полковником и еще чем-то в кавалерии Бретани. Дочь его, Мария-Луиза, вышла замуж за Адриена Шарля де Грамона, сына герцога Луи де Грамона, французского пэра, полковника французской гвардии и генерал-лейтенанта армии. Орфография этого имени очень разнообразная. Пишут ее и с буквой x на конце, а также Fauq и Faouq.

Милая виконтесса! Поручите нас святым молитвам вашего родственника, г-на кардинала. Что касается до дорогой вашей Сильвании, то она хорошо сделала, что не потратила короткого пребывания с вами на письмо ко мне. Она здорова, занимается согласно вашему желанию и любит меня по-прежнему. Здоровье мое недурно, а между тем я со всяким днем худею. Прощайте:

лист мой исписан, и я вынуждена закончить. Примите тысячу сердечных приветов.

P. S. Ваш внучок прелестен. Знаете ли, что ему скоро минет пять лет? Вчера он видел, как проехала мимо лошадь с наколенниками, и спрашивает: «Что же, у нее коленки болят?» — Очень милый ребенок. Его маленький брат возит по комнате половую щетку и кричит: «Трогай!»

Как видно по этому письму, обе женщины умели подчиниться привычкам епископа с тем особенным женским чутьем, в силу которого женщины понимают мужчин лучше, чем женщины понимают себя сами. Диньский епископ со скромным и кротким видом, никогда не изменявшим ему, делал иногда великие и смелые вещи, сам, по-видимому, не догадываясь об этом. Они трепетали за него, но не мешали ему. Иногда мадам Маглуар пыталась остеречь его — но никогда во время самого действия или после. Его никогда не беспокоили даже словом или жестом во время начатого дела. В иные минуты, хотя он этого не объяснял, быть может,

даже и сам не сознавал, настолько он был простодушен, они смутно чувствовали, что он действует как епископ: и тогда они совсем стушевывались. Они пассивно услуживали ему и, если нужно было исчезать, — исчезали. Они сознавали, с необычайной инстинктивной деликатностью, что иногда и заботливость может быть тягостна. И потому, даже предполагая его в опасности, они понимали, не скажу, — мысли его, но его натуру до такой степени, что даже не заботились о нем.

Они поручали его Богу.

Впрочем, как видно из этого же письма, Батистина говорила, что смерть брата будет и ее смертью. Мадам Маглуар не говорила этого, но знала то же самое относительно себя.

Глава 10

Спустя немного времени после упомянутого выше письма, если верить городским слухам,

епископ совершил более смелый поступок, чем посещение гор, занятых разбойниками.

В окрестностях Диня жил в совершенном уединении один человек. Он, — но лучше уже сразу сказать ужасную вещь, — был когда-то членом Конвента. Звали его Ж. Это имя со страхом упоминалось жителями маленького провинциального городка.

Вообразите себе, ведь он принадлежал к тем временам, когда называли друг друга гражданами и говорили все друг другу «ты»!

Ведь это чудовище: если он и не подавал голоса против короля, то все-таки судил его. Этот страшный человек был почти что цареубийцей. Как это случилось, что его не отдали под суд при восстановлении на престоле законных королей? Казнить его хотя и не стоило, но было бы не лишним выгнать из отечества! Надо же подавать хороший пример и т. д.! Притом он был безбожником, как и все люди его пошиба.

Так эти городские утки судили коршуна!

Но был ли на самом деле Ж. коршуном?

Пожалуй, если судить по суровой обстановке его жизни. Версты за три от города, вдали от всех дорог, в заросшей долине, у него был клочок земли, а местом его жилища служила какая-то дыра: ни соседей, ни прохожих. С тех пор как он поселился в этой долине, тропинка, ведшая к ней, заросла травою. Про это место говорили как про жилище убийцы. Однако время от времени епископ посматривал в ту сторону, которая обозначалась на горизонте группой деревьев. Он говорил: «Там в одиночестве страдает душа». Совесть же подсказывала ему: «Я должен навестить этого человека». Но казавшаяся такою естественною вначале мысль эта после минутного размышления представлялась ему невозможной, невыполнимой, почти отталкивающей. На самом же деле епископ держался того же мнения о Ж., как и все, и если он и не ненавидел его, то питал к нему чувство, близкое к ненависти — отчуждение, может быть, не сознавая даже этого ясно.

Всегда ли пастырь должен удаляться от зараженной овцы? Нет. Смотря по тому, какая овца.

Добрый епископ был смущен. Несколько раз он отправлялся к долине, но с полдороги возвращался обратно. Однажды по городу разнесся слух, что пастух, прислуживавший г-ну Ж., прибежал в город за доктором, старый негодяй умирал от паралича и не переживет, наверное, этой ночи. «Слава богу!» — прибавляли при этом некоторые.

Епископ взял свой посох, надел рясу, чтобы прикрыть подрясник, которые, как мы уже уже читали раньше, изнашивал до ветхости, и еще потому, что вечером мог подняться холодный ветер, и вышел.

Солнце почти уже село, когда епископ дошел до места своего назначения. С замиранием сердца увидел он, что подходит к логовищу. Перепрыгнув через канаву, он перешагнул через низенькую изгородь, вошел на двор и вдруг позади сорных трав и кустарников увидел само

жилище. Это была маленькая, низенькая чистенькая хижинка с вьющимися вокруг фасада растениями.

Перед дверью на старом крестьянском с колесами кресле сидел седой старик и улыбался солнцу.

Возле него стоял мальчик-пастушок и протягивал ему чашку с молоком.

В то время как епископ разглядывал его, старик проговорил:

— Благодарю тебя, мне больше ничего не нужно, — и с улыбкой стал глядеть на ребенка.

Епископ приблизился. Услышав шум шагов, старик с удивлением обернулся.

— С тех пор как я живу здесь, это первое посещение. Кто вы, сударь?

— Мое имя Бьенвеню Мириель.

— Бьенвеню Мириель!.. Я слышал это имя. Не вас ли народ называет преосвященным Бьенвеню?

— Да, меня.

Старик, полуулыбаясь, продолжал:

— В таком случае вы мой епископ?

— Отчасти.

— Войдите, сударь!

Ж. протянул ему руку, но епископ, не подавая своей, сказал:

— Я рад, что меня обманули; на мой взгляд, вы совсем не так больны.

— Я выздоровею скоро. Смерть возьмет меня через три часа, не более, ведь я немного знаком с медициной и знаю признаки смерти, — начал говорить Ж. — Вчера у меня похолодели только ноги, сегодня уже колени, а сейчас я чувствую, что похолодел до пояса; когда дойдет до сердца — всему будет конец. Как прекрасно солнце, не правда ли? Я попросил вывезти меня, чтобы последний раз полюбоваться природой. Вы можете говорить со мною, это меня не утомляет. Вы хорошо сделали, что пришли посмотреть на умирающего человека, хорошо, когда в эту

минуту есть свидетель. У каждого своя мания: мне хотелось бы дожить до рассвета, но я знаю, что не проживу и трех часов. Наступит ночь. А впрочем, не все ли равно? Окончить жизнь — простое дело! Для этого не нужно ждать утра. Я умру при свете звезд!

Старик обернулся к мальчику:

— Ступай спать. Ты уже не спишь другую ночь и устал.

Ребенок ушел в хижину.

Старик, проводив его глазами, сказал как бы про себя:

— Пока он будет спать, я умру. Сон и смерть — добрые соседи.

Все это не так тронуло епископа, как можно было бы ожидать. Он не чувствовал присутствия Бога при смерти такого неверующего человека. И у великих людей есть свои слабости. Епископ, так не любивший, когда его называли «ваше преподобие», был поражен, что старик не назвал его так, и у епископа вдруг явилось желание

обратиться к больному с той грубой бесцеремонностью, которая так обычна докторам и священникам, но которую он никогда не позволял себе. Этот человек — представитель народа, когда-то имевший власть; и, может быть в первый раз в жизни, епископ почувствовал прилив суровости. Между тем Ж. всматривался в него с ласковой приветливостью и смирением умирающего человека.

Епископ же, со своей стороны, смотрел на него с любопытством, сознавая, что любопытство без симпатии — оскорбление: он, наверное, почувствовал бы упрек совести, будь на месте Ж. другой человек, но Ж. казался ему вне закона, даже вне закона милосердия.

Начинавший уже холодеть, Ж. держался прямо и говорил еще громко; он был одним из тех восьмидесятилетних старцев, которые возбуждают удивление у физиологов. В эпоху революции встречалось много таких людей. Видно было, что этот старик много пережил на своем веку. Близкий к смерти, он сохранил все

движения здорового человека: его взгляд был ясен, речь тверда, даже по движению плеч нельзя было предполагать скорой кончины. Азраил, ангел смерти магометан, увидев его, наверно, ушел бы обратно, подумав, что он ошибся дверью. Казалось, Ж. умирает потому только, что сам того желает. Агония его была добровольная. Только ноги были неподвижны. Смерть держала их в своих руках. Ноги были холодны и мертвы, а голова жила и работала с полной ясностью. Ж. в эту торжественную минуту походил на короля восточной сказки с живым туловищем и мраморными ногами. Епископ сел на близлежащий камень.

— Я вас поздравляю, — сказал он тоном упрека. — Вы все-таки не вотировали за смерть короля?

Казалось, Ж. не заметил горечи в слове «все-таки». Улыбка исчезла с его лица, когда он отвечал:

— Не очень-то поздравляйте меня, сударь, я вотировал против тирана.

— Что вы хотите сказать этим?

— Я хочу сказать, что у человека есть тиран — невежество. Я голосовал против этого тирана. Людьми должна руководить только наука…

— А совесть? — перебил епископ.

— Это одно и то же. Совесть — это то прирожденное количество знаний, которыми мы обладаем.

Преосвященный Бьенвеню слушал слегка удивленный: в этой речи было много нового для него.

— Что касается Людовика Шестнадцатого, то я сказал «нет». Я не считаю себя вправе убивать человека, но я признаю долгом искоренять зло. Я голосовал за уничтожение тирании, то есть за уничтожение проституции для женщин, рабства для мужчин и невежества для детей. Голосуя за республику, я голосовал именно за это. Я голосовал за братство, за согласие, за зарю новой жизни. Я помогал низвержению предрассудков и

заблуждений. Гибель их порождает свет. Мы уничтожили старый строй: падая, эта старая чаша опрокинулась на человечество и превратилась в источник радости.

— Радости смешанной, — сказал епископ.

— Вы можете сказать — радости тревожной, а теперь, после возврата к прошлому, называемому 1814 годом, радость испарилась. Увы! Признаю, что созидание было неполное, мы разрушили старый порядок фактически, но не могли уничтожить идей, укоренившихся в понятиях людей. Мало уничтожить злоупотребление, надо исправить нравы. Мельница сломана, но ветер остался.

— Вы разрушили, может быть, то, что было и полезно, но я восстаю против разрушения, соединенного со злом.

— У справедливости есть своя злоба, господин епископ, но ее злоба — элемент прогресса. Что бы там ни говорили, но французская революция — движение в высшей степени гуманитарное. Может быть не

совершенное, но высокое. Она указала на все общественные язвы, она прояснила умы, она влила в цивилизацию новую живую струю. Она была прекрасна.

Епископ не мог удержаться и пробормотал:

— Да! А девяносто третий год?

Ж. приподнялся со стула и с торжественностью умирающего воскликнул:

— А, вот что! Девяносто третий год! Я так и ждал. Но гроза собиралась в течение пятнадцати столетий, к концу столетия она разразилась. Вы преследуете судом удар грома!

Епископ почувствовал некоторое смущение, но не показал этого.

— Судья говорит во имя справедливости, священник — во имя сострадания, — заметил он, — оно-то и есть высшая справедливость. Громовой удар не должен ошибаться.

И, пристально взглянув на Ж., он прибавил:

— А Людовик Семнадцатый.

— Людовик Семнадцатый?.. Кого вы оплакиваете? — спросил Ж., касаясь руки епископа. — Невинного ребенка?.. Тогда я буду плакать с вами. Но если вы оплакиваете сына Людовика Шестнадцатого, то это еще требует размышления. Мне не менее жаль брата Картуша, неизвестного ребенка, который был повешен только за то, что он был братом Картуша. Повторяю, не менее жаль, чем маленького внука Людовика Пятнадцатого, невинного ребенка, посаженного в Тампль, в тюрьму, только за то, что он имел несчастие быть внуком Людовика Пятнадцатого.

— Мне не нравится, — сказал епископ, — сближение этих имен.

— Картуша и Людовика Семнадцатого?

Оба замолчали. Епископ жалел, что пришел сюда, но вместе с тем он чувствовал какое-то особенное волнение.

— Ах, господин священник, вы не любите грубой правды! — опять начал Ж. — А между тем Христос любил ее. Он веревкой выгнал торгашей

из храма. Когда он закричал: «Sinite parvulos…» {Пропустите детей (не отстраняйте малых сих) (лат.).}, он не делал различия между детьми. Сударь, простота сама по себе — лучшее украшение, она царственна и так же величественна в лохмотьях, как и в гербовых лилиях.

— Вы правы, — заметил вполголоса епископ.

— Я настаиваю, — продолжал Ж. — Вы мне упомянули о Людовике Семнадцатом. Постараемся понять друг друга. Будете ли вы вместе со мною плакать о несчастных, мучениках, обо всех погибших детях, все равно, которые находятся внизу, как и о тех, которые наверху. Я согласен. Но тогда нужно взять время раньше 1793 года. Я готов плакать с вами о детях сильных мира сего, если вы будете плакать со мною о детях из народа!

— Я оплакиваю всех, — ответил епископ.

Наступило молчание. Ж. первый нарушил его; приподнявшись на локтях и машинально

подперев голову, он пристально смотрел на епископа и начал порывисто:

— Да, сударь, народ давно страдает. Я вас не знаю. С тех пор как я живу здесь один за этой оградой, не выходя никуда, никого не видя, кроме этого ребенка, который мне прислуживает, ваше имя доходило и до меня; правда, надо признаться, вас хвалили, но это ничего не доказывает, ловкие люди умеют на разные лады проникать в доверие к простому народу. Кстати, я не слышал стука колес вашей кареты. Вы, наверное, оставили ее за лесом, на повороте дороги. Повторяю, я не знаю вас. Вы мне сказали, что вы епископ, но это не дает мне никакого понятия о вашей нравственной личности. Я опять повторяю вам мой вопрос — кто вы? Вы — епископ, другими словами, вы один из многих князей церкви, которые покрыты золотом, имеют гербы, крупные доходы, — диньское епископство дает пятнадцать тысяч франков, десять тысяч случайных доходов, итого двадцать пять тысяч; один из тех, которые имеют хороший обед, лакеев с ливреями, которые много проживают, по пятницам едят вареных кур,

разъезжают в парадных каретах с лакеями, живут во дворцах — и все во имя Христа, который ходил босой. Вы — прелат. Вы пользуетесь рентой, дворцами, лошадьми, лакеями, хорошим столом, всеми чувственными радостями жизни, как и другие, но все это не объясняет мне вашей личности, и вы, наверное, пришли ко мне с намерением поучать меня премудрости. С кем имею честь говорить? Кто вы?

Епископ, опустив голову, сказал:

— Vermis sum {Я — червь (лат.).}.

— Земляной червь, разъезжающий в карете! — проворчал умирающий.

Теперь старик был высокомерен, а епископ понизил тон и кротко сказал:

— Хорошо, сударь, но объясните мне: разве моя карета, стоящая там за деревьями, мой хороший стол и куры, которые я ем по пятницам, мои двадцать пять тысяч франков годового дохода, мой дворец, мои лакеи, — разве все это доказывает, что милосердие — не добродетель,

что великодушие — не обязанность, что девяносто третий год не ужасен?

Старик провел рукой по лбу.

— Прежде чем отвечать, я прошу вас извинить меня. Я поступил нехорошо. Вы — мой гость. Я должен быть с вами учтив. Вы оспариваете мои идеи, я обязан ограничиваться только возражениями на ваши рассуждения. Ваше богатство и ваши жизненные блага, правда, хорошие аргументы против вас в нашем споре, но я не должен ими пользоваться. Обещаю вам больше их не касаться.

— Благодарю вас, — сказал епископ.

— Вернемся к нашему вопросу, — продолжал Ж. — О чем шла речь? Вы, кажется, мне сказали, что 1793 год был ужасен?

— Да, ужасен. Какого вы мнения о Марате, рукоплескавшем гильотине?

— А что вы думаете о Боссюэ, певшем «Тебя бога хвалим» по поводу драгонад?

Ответ был резок и достиг цели. Епископ вздрогнул и не нашелся, что ответить, он оскорбился на такое непочтительное отношение к Боссюэ. Самые высшие умы имеют своих кумиров и иногда чувствуют страшную обиду, если другие непочтительно относятся к ним. Умирающий стал между тем задыхаться, удушье прерывало речь, но глаза его по-прежнему были ясны.

— Мне очень хочется еще поговорить немного о том о сем, — снова начал он. — В общем, французская революция — великое гуманитарное движение. Вы находите 1793 год ужасным, но что вы скажете о монархии, сударь? Карьер — разбойник, но как вы назовете Монтревеля? Фукс-Тенвиль бездельник, но каков ваш взгляд на Ламуаньон-Бавилля? Мольяр ужасен, но как вам нравится Соль-Тованн? Отец Дюшен кровожаден, но какой эпитет прибавите вы к отцу Летеллиеру? Журдан-Куп-Тет — чудовище, но меньшее, чем маркиз Лувуа. Я жалею, сударь, Марию-Антуанетту, эрцгерцогиню и королеву, но мне жаль также и ту

женщину-гугенотку, которую в 1685 году, во время царствования Людовика Великого, привязали обнаженной до пояса к столбу; на известном расстоянии от нее держали ее грудного голодного ребенка; малютка, оголодав, видя грудь матери, пронзительно кричал, а палач говорил: «Отрекайся!» Женщине-матери-кормилице было предоставлено одно из двух: или голодная смерть ребенка, или смерть совести. Что вы скажете об этих муках Тантала, примененных к матери? Сударь, запомните это, французская революция имела свои причины. Ее результат — это улучшение мира. Я останавливаюсь. К тому же я умираю. — Взглянув на епископа, умирающий прибавил несколько спокойнее: — Да, грубые проявления прогресса называются переворотами. Когда они окончены, можно усмотреть, что человечество получило жестокий урок, но двинулось вперед.

Умирающий не подозревал, какое впечатление производила его речь на душу епископа, но у преосвященного Бьенвеню оставался еще один последний, самый крепкий довод.

— Прогресс должен верить в Бога. Добро не может иметь неверующих слуг. Безбожник — плохой руководитель народа.

Старый представитель народа ничего не отвечал. Он вздрогнул. Застывшая на глазах слеза затуманила его взор, слеза медленно скатилась по посиневшему лицу; устремляя взгляд свой вдаль, он сказал как бы про себя:

— О ты, о идеал! Ты один существуешь!

Епископ почувствовал необъяснимое волнение.

Немного погодя старик, указав пальцем на небо, сказал:

— Бесконечное существует. Оно там. Если б бесконечное не имело своего «я», то я был бы его пределом. Следовательно, оно существует и имеет свое «я». Это «я» бесконечного и есть Бог.

Умирающий громко и в экстазе произнес эти последние слова, как будто перед ним стояло видение.

Это напряжение подорвало его последние силы: в несколько минут он прожил те немногие оставшиеся, как он говорил раньше, часы. Наступала роковая минута. Епископ понял это: ведь он пришел как священник; с волнением взял он старую морщинистую и похолодевшую руку, взглянул на закрытые глаза и наклонился к умирающему.

— Настал час, принадлежащий Богу. Было бы жаль, если бы мы встретились напрасно.

Умирающий открыл глаза. Лицо его было серьезно и уже как бы подернулось тенью.

— Гражданин епископ, — сказал он медленно, — я провел жизнь в размышлении, в изучении наук и в созерцании. Мне было шестьдесят лет, когда родина призвала меня и приказала мне принять участие в ее целях. Я повиновался. Встречая злоупотребления, я боролся с ними. Встречая тиранию, я разрушал ее. Были права и принципы, которые я исповедовал и проповедовал. Территория была захвачена, я защищал ее, Франция была в

опасности, я подставлял свою грудь. Я не был богат, теперь я нищий. Я был одним из властителей государства, погреба ломились от сокровищ, так что пришлось раздвинуть стены, так много было серебра и золота, а я обедал за двадцать два су на улице Арбр-Сек. Я поддерживал угнетенных и облегчал страждущих. Я всегда помогал человечеству идти по пути к свету; иногда ради прогресса я бывал, быть может, жесток, но при случае помогал и своим противникам — вашим друзьям. Существует в Петегеме во Фландрии, где раньше была летняя резиденция меровингов, монастырь аббатства Святой Клары в Болье, который я спас в 1793 году. Я исполнял свой долг по мере сил моих и делал добро, сколько мог. После всего этого меня прогнали, преследовали, очернили, надсмеялись надо мною, надругались, прокляли и выслали. В продолжение многих лет, с поседевшими уже волосами, я знал, что есть люди, которые считают себя вправе презирать меня, что я для бедной невежественной толпы лицо проклятое и живущее в одиночестве,

созданном ненавистью. Я не осуждаю никого. Теперь мне уже восемьдесят шесть лет, я умираю. Что вам от меня нужно?

— Вашего благословения, — проговорил, опускаясь на колени, епископ.

Когда епископ поднял голову, лицо старого революционера было величественно: он скончался.

С тяжелыми думами возвратился епископ домой. Он всю ночь молился Богу. На другой день несколько любопытных попробовали заговорить с епископом о Ж.; вместо ответа он указал им на небо.

С тех пор епископ усилил свою любовь к меньшей братии и к страждущим.

Трудно определить, насколько повлияли великий ум и благородная душа Ж. на епископа. Про это «пастырское посещение», конечно, много говорили: «Разве место епископа у изголовья такого умирающего? Он, вероятно, даже не слушал его напутствований. Все эти

революционеры — безбожники. К чему было туда ходить? Чего там искать? Неужели уже так любопытно присутствовать при том, как черт брал его душу?» А однажды некая знатная вдова, претендующая на остроумие, обратилась к епископу с таким выпадом:

— Монсеньор, все интересуются, когда же голову вашего высокопреподобия украсят красным колпаком.

— О какой яркий цвет! — воскликнул епископ. — Однако, к счастью, те самые люди, которые его презирают в колпаке революционера, чтут его в пурпуре кардинальской шляпы.

Глава 11

Можно легко ошибиться, если заключить из встречи епископа с Ж., что преосвященный Бьенвеню был «епископ-философ» или «священник-патриот». Встреча эта была совершенно случайная.

Хотя преосвященный Бьенвеню был далеко не политическим лицом, быть может, нелишне обозначить здесь несколькими словами положение, принятое им относительно событий того времени: допускаем, что преосвященный Бьенвеню задавался выбором положения. Возвратимся на несколько лет назад. Некоторое время спустя после назначения Мириеля епископом император пожаловал ему титул барона империи одновременно с несколькими другими епископами. Как известно, арест папы произошел в ночь с 5 на 6 июля 1809 года; по этому поводу епископ Мириель был приглашен Наполеоном в синод епископов Франции и Италии, созванный в Париже. Синод собирался в соборе Парижской Богоматери; первое заседание его происходило 15 июня 1811 года под председательством кардинала Феша. Епископ Мириель находился в числе девяноста пяти съехавшихся членов. Но он присутствовал всего на одном заседании и на трех или четырех частных совещаниях. Будучи епископом глухой епархии, живя так близко к природе, в простоте и

бедности, он, как кажется, вносил в кружок высоких особ идеи, изменявшие температуру собрания. Он скоро вернулся в Динь. Его расспрашивали о причине такого поспешного возвращения; он отвечал:

— Я их стеснял. Я вносил с собой внешний воздух. Я производил на них впечатление непритворенной двери.

В другой раз он дал такой ответ:

— Что станешь делать! Все эти архипастыри — сановники, а я бедный епископ-крестьянин.

Дело в том, что он не понравился. Между прочими странностями, на вечере, проведенном у одного из самых знатных своих собратий, у него сорвалось с языка следующее:

— Какие великолепные часы! Какие великолепные ковры! Какие великолепные ливреи! Как все это должно тяготить. Не хотел бы я иметь всю эту роскошь, постоянно кричащую в

уши: много голодных! Много холодных! Много бедных! Много бедных!

Скажем здесь кстати: ненависть к роскоши — ненависть не интеллигентная. Такая ненависть должна распространяться и на искусства. А все-таки для лиц духовного звания, вне церковного служения и представительства, роскошь — порок. Она указывает на привычки, чуждые милосердия. Священник, живущий роскошно, — противоречивое явление. Священник должен быть близок к бедным. А возможно ли соприкасаться днем и ночью со всеми страданиями, лишениями и бедствиями, не сохраняя на себе следа этой святой нищеты, как трудовую пыль? — Возможно ли представить себе человека, стоящего у жаровни, которому не было бы жарко? — Мыслим ли работник, постоянно работающий у горна, без того, чтобы у него не оказалось ни опаленных волос, ни закопченных ногтей, ни капли пота, ни крупинки сажи на лице? Первый признак благотворительности в священнике и особенно в

епископе — бедность. Вероятно, точно то же думал епископ Диня.

Но не следует полагать, чтобы он разделял, относительно известных щекотливых предметов, то, что мы назвали бы «идеи века». Он мало вмешивался в теологические споры эпохи и молчал в вопросах, компрометирующих Церковь и государство; но если бы его прижали к стене, то, вероятно, он оказался бы скорее ультрамонтанских, чем галликанских убеждений. Так как мы рисуем портрет и не хотим скрывать ничего, то вынуждены сказать, что он выказал крайнюю холодность к терявшему власть Наполеону. Начиная с 1813 года, он сочувствовал и рукоплескал всем неприязненным демонстрациям. Он отказался видеть его по возвращении с острова Эльбы и воздержался от заказа в епархии общественных молитв за императора в продолжение Ста Дней.

Кроме сестры, мадемуазель Батистины, у епископа было два брата: генерал и префект. Он писал довольно часто обоим. Но некоторое время

он дулся на первого, вследствие того что тот, командуя полком в Провансе, во время Канской высадки, во главе отряда в 1200 человек, преследовал императора как человек, желающий дать уйти преследуемому. Его переписка со вторым братом сохраняла всегда дружественный характер; последний, бывший префект, добрый и честный человек, жил в Париже уединенно на улице Кассетт.

Итак, и у преосвященного Бьенвеню была минута уступки духу партий, час горечи и омрачения. Тень временных страстей коснулась и его кроткой великой души, занятой вечными предметами. Конечно, подобный человек был бы достоин остаться чуждым политическим мнениям. Но не следует переиначивать нашу мысль: мы не смешиваем того, что принято называть «политическими мнениями», с высоким стремлением к прогрессу, с благородной патриотической верой, демократической и гуманитарной, которая должна быть в наше время основанием всякого честного ума. Не углубляясь в вопросы, только косвенно

относящиеся к предмету этой книги, мы скажем просто: хорошо, если бы взор преосвященного Бьенвеню ни на мгновение не отрывался от спокойного созерцания трех чистых светил: истины, справедливости и милосердия, ясно сияющих над фикциями и ненавистями мира и бурной суетой человеческих забот.

Признавая, что Бог создал преосвященного Бьенвеню не для политической деятельности, мы бы, однако, поняли и одобрили протест во имя права и свободы, смелую оппозицию, справедливый и опасный отпор Наполеону во время его могущества. Но то, что нам нравится относительно восходящей силы, нравится нам менее относительно угасающей власти. Мы любим борьбу, пока существует опасность, и во всяком случае только бойцам первого часа принадлежит право выступать разрушителями в последний час. Тот, кто не был упорным обвинителем во время процветания, должен молчать при погроме. Обличитель успеха — один законный судья падения. Что касается нас, то когда Провидение вмешивается и карает, мы

предоставляем ему действовать. 1812 год начинает нас обезоруживать. Полное возвышение голоса молчаливого законодательного корпуса в 1813 году, осмелевшего после ряда неудач, способно вызвать одно негодование, и рукоплескать ему не похвально; в 1814 году, ввиду предательства маршалов, ввиду сената, переходящего от одной низости к другой, оскорбляющего после того, как он низкопоклонствовал, перед этим коленопреклонением, превращающимся в ругательство и оплевывание идола, долгом было отвернуться; в 1815 году, когда беда носилась в воздухе, когда Франция чувствовала трепет приближающейся катастрофы и вдали уже смутно виднелось Ватерлоо, разверзавшееся перед Наполеоном, болезненное приветствие армии и народа обреченному не имело ничего смешного, и, устраняя вопрос о деспотизме, сердце, подобное сердцу диньского епископа, должно было понять всю трогательность и величавость крепкого объятия на краю пропасти великого человека с великой нацией.

Помимо этого, епископ был и оставался всегда и во всем справедливым, искренним, снисходительным, скромным, интеллигентным и достойным, весьма благотворным и приветливым, что также есть своего рода благотворительность. Это был священник, мудрец и человек. Следует сказать, что и в политических своих убеждениях он обнаруживал более терпимости и снисходительности, чем мы, говорящие здесь. Привратник ратуши был определен на это место императором. Это был старый унтер-офицер старой гвардии, получивший крест под Аустерлицем, бонапартист не хуже императорского орла. У старого служаки срывались с языка необдуманные слова, называвшиеся тогдашним законом «возмутительными речами». С тех пор как императорский профиль исчез с орденского знака Почетного легиона, он не надевал никогда форму, избегая необходимости надевать крест. Он набожно снял сам изображение Наполеона с креста, врученного ему императором, — там образовалась дыра, но он не хотел ее наполнить

ничем. «Лучше умру, — говорил он, — чем стану носить на сердце три жабы!» Он говорил про Людовика XVIII во всеуслышание: «Старый подагрик в английских штиблетах! Пусть едет себе в Пруссию со своей напудренной косичкой!» Он рад был слить в одном ругательстве две вещи, наиболее ненавистные ему: Пруссию и Англию. Он так петушился, что потерял место. Остался бедняк без куска хлеба на улице, с женой и детьми. Епископ позвал его к себе, слегка пожурил и определил его соборным швейцаром.

В девять лет, добрыми делами и кротким обращением, преосвященный Бьенвеню приобрел в Дине среди горожан сыновние чувства почтения и нежности. Даже его поведение относительно Наполеона извинил и простил ему народ, — добрая слабая паства, обожавшая своего императора, но любившая своего епископа.

Глава 12

Почти всегда вокруг епископа увивается целый рой молодых аббатов, как вокруг генерала

толпятся молодые офицеры. Их-то именно прелестный святой Франциск Сальский и называет где-то в своих сочинениях «священниками-молокососами». Во всех профессиях есть кандидаты, составляющие свиту удачников. Ни одна власть не обходится без двора. Ни одно богатство без приживальщиков. Каждая епархия имеет свой штаб. И каждый мало-мальски влиятельный епископ окружен свитой семинарских херувимов, охраняющих порядок в епископском дворце и сторожащих улыбку преосвященного. Попасть в милость к епископу — значит вдеть ногу в стремя, чтобы выскочить в поддьяконы. Надо же проложить себе путь.

Наравне со всеми другими видами администрации, и в церковном мире есть тузы. Это епископы, имеющие руку при дворе, богатые рантье, ловкие, хорошо устроившиеся в обществе, умеющие молиться, конечно, но умеющие также просить и не стесняющиеся таскать по передним в лице своем целую епархию — епископы, служащие

соединительным звеном между алтарем и дипломатией, более аббаты, чем священники, более чиновники, чем пастыри. Счастливы те, кто стоит к ним близко! Люди с кредитом, они осыпают любимцев и фаворитов, всю эту угождающую им молодежь, богатыми приходами, пребендами, архидиаконскими, полковыми и соборными местами, в ожидании епископских почестей. Продвигаясь сами, они ведут за собой спутников; это целая движущаяся солнечная система. Сияние их распространяется на свиту. Их благосостояние рассыпается благодетельным дождем маленьких повышений на всю группу. Чем крупнее епархия патрона, тем больший кусок пирога достается любимчику. И вдобавок под рукою Рим. Епископ, сумевший добиться архиепископства, архиепископ, добившийся кардинальской шапки, повезет вас на конклав, вы получите омофор, потом высокопреподобие, — до преосвященства один шаг, а между преосвященством и святейшеством только дым избирательного бюллетеня. Каждая скуфья может мечтать о тиаре. Зато что за рассадник

честолюбия семинария! Сколько маленьких певчих, сколько юных аббатиков несут на голове крынку молока молочницы из басни! Как часто честолюбие величает себя призванием: а почем знать! Быть может, и само заблуждается в своем ханжестве.

Преосвященный Бьенвеню, скромный, бедный, лишенный связей, не числился в списке тузов. Это было заметно по полному отсутствию молодых аббатов вокруг него. Как мы видели выше, он и в Париже «не привился». И ни одно честолюбие не помыслило зацепиться за него. Его канониками и старшими викариями были все добрые старички, окрестьянившиеся немножко, как и он сам, закабаленные, как и он, в этой епархии без выхода к кардинальскому сану и походившие на своего епископа, с той только разницей, что они были люди отжившие, а он человек законченный. Так сильно ощущалась невозможность сделать карьеру под крылом преосвященного Бьенвеню, что по выходе из семинарии молодые люди, рукоположенные им, брали рекомендации к архиепископам Экса или

Оша и спешили уехать. Потому что, повторим мы еще, каждому хочется поддержки. Благочестивый человек, живущий в состоянии исступленного самоотвержения, представляет опасное соседство; он может заразить вас неизлечимой бедностью, параличом сочленений, полезных для повышения, и, наконец, может сообщить вам более самоотречения, чем вы того желаете, — от такой чумной добродетели сторонятся. Этим объясняется одиночество преосвященного Бьенвеню. Мы живем в темном обществе. Гоняться за успехом, удачей — вот поучение, вытекающее капля по капле из нравственной испорченности века.

Мимоходом заметим, успех — вещь довольно безобразная. Ложное его сходство с достоинством обманывает людей. Для толпы удача имеет почти один облик с превосходством. Успех — этот двойник таланта, дурачит даже историю. Ювенал и Тацит одни ворчат на это. В наше время почти что официально философия поступила к нему в услужение, облеклась в ливрею успеха и торчит в его передней. Успех превратился в теорию.

Процветание подразумевает способности. Выиграйте в лотерею, и вы прослывете за искусного человека. Торжество уважается. Родиться в сорочке — все дело в этом. Имейте счастливый случай, — остальное вам приложится. Имейте удачу — и вас сочтут великим. Помимо пяти или шести исключений, составляющих славу века, современное удивление не более как близорукость. Мишура сходит за золото. Ничего не значит быть посредственностью, лишь бы быть выскочкой. Толпа — старый Нарцисс, влюбленный сам в себя и потому рукоплещущий посредственности. Громадная способность, создающая Моисея, Эсхила, Данте, Микеланджело или Наполеона, признается единогласно толпой за каждым, достигающим своей цели, какова бы ни была эта цель. Превратится ли нотариус в депутата, напишет ли псевдо-Корнель «Тиридата», явится ли евнух обладателем целого гарема, одержит ли военная посредственность решительную победу своей эпохи, изобретет ли аптекарь картонные подошвы для армии и приобретет ли на этом

картоне, проданном за кожу, четыреста тысяч франков ренты, сочетается ли браком коробейник с ростовщичеством и породит семь или восемь миллионов, добьется ли интригами проповедник епископства, попадет ли в министры финансов за свои богатства управляющий знатного семейства, люди назовут это гениальностью, так же как назовут красотой рожу Мушкетона и величавостью жирный затылок Клавдия. Они смешивают звезды небосклона со звездами, оставляемыми утиными лапками на жидком иле.

Глава 13

Мы не станем проверять ортодоксальности верований диньского епископа. Перед такой душой мы чувствуем одно почтение. Совести праведника следует верить на слово. Кроме того, при известных природных данных, мы допускаем возможность развития всевозможных человеческих добродетелей в людях самых противоположных религиозных воззрений.

Как он смотрел на то или другое таинство, на тот или другой догмат? Это тайны сокровенные, известные лишь могиле, куда души вступают без покровов. Мы убеждены лишь в одном: он никогда не разрешал религиозных затруднений лицемерием. Бриллиант не подвержен никакому роду тления. Он верил, насколько мог. «Credo in Patrem!» {«Верую в Бога-Отца» (лат.).} — часто восклицал он. В добрых делах он почерпнул сумму спокойствия, удовлетворяющую совесть и говорящую человеку: ты обрел Бога!

Мы считаем обязанностью указать лишь на то, что вне пределов веры и выше ее в епископе был избыток любви. Это quia multum amavit {За многолюбие (лат.).} и считали его уязвимой пятой «люди серьезные», «люди благоразумные и положительные» — эпитеты, излюбленные нашим печальным миром, где эгоизм получает лозунг от педантизма. В чем выражался этот избыток любви? — В кроткой приветливости, изливавшейся на людей, как мы сказали, и распространявшейся иногда далее людей. Он жил, ничего не презирая; чувствовал

снисходительность ко всему созданному Творцом. У всякого человека, даже у лучшего, есть бессознательная жестокость, которую он приберегает для животных, — у диньского епископа не было этой жестокости, свойственной, однако, многим священникам. Он не доходил до браминизма, но он как бы вдумался в слова Экклезиаста: «Кто знает, куда идет душа животного?» Внешнее безобразие, уродливость инстинктов не смущали и не отталкивали его. Он задумывался и почти умилялся. По-видимому, он мысленно отыскивал за пределами видимой жизни причины, объяснения и извинения. Иногда он как будто молил Бога о смягчающих обстоятельствах. Он смотрел без негодования, глазами лингвиста, разбирающего свиток папируса, на долю хаоса, входящую в природу. Эти раздумья заставляли его подчас говорить странные вещи. Однажды утром он был в саду и думал, что никто его не слышит. Но сестра его шла за ним, чего он не заметил. Он внезапно остановился и стал что-то рассматривать на

земле: это был толстый, волосатый, отвратительный паук.

Сестра слышала, как он сказал: «Бедная тварь! Она в этом неповинна».

Почему не пересказать этих божественных ребячеств доброты? Пожалуй, это и мелочи, но эти высокие ребячества были ребячествами Франциска Ассизского и Марка Аврелия. Однажды епископ вывихнул себе ногу, не желая наступить на муравья.

Так жил этот праведник. Иногда ему случалось засыпать в саду, и ничего не могло быть почтеннее этого зрелища. Если верить рассказам о молодости преосвященного Бьенвеню, то в юности и даже в зрелом возрасте господин Мириель был человеком страстным, быть может, даже горячим. Его всеобъемлющая доброта была не столько прирожденным инстинктом, сколько результатом глубокого убеждения, мало-помалу проникшего из жизни в сердце и медленно слагавшегося капля за каплей. В характере, как и в граните, вода может

проточить борозды. Подобные следы неизгладимы, и подобные породы камней прочны.

В 1815 году, как мы сказали, епископу минуло семьдесят пять лет, но на вид ему казалось не более шестидесяти. Роста был он небольшого, довольно полный, и он ходил пешком, желая победить склонность к тучности; походка у него была твердая, и стан очень незначительно сгорблен, — подробность, из которой мы не делаем никаких выводов.

Григорий XVI в восемьдесят лет был прям и улыбался, что не мешало ему быть плохим пастырем.

У преосвященного Бьенвеню была, что называют, «красивая голова», но лицо его было так добродушно, что красота его забывалась.

Когда он беседовал с детской веселостью, бывшей одним из его очарований, упомянутым уже нами раньше, каждому было легко с ним, и казалось, что все существо его дышит радостью. Его свежий и румяный цвет лица, белые зубы,

сохранившиеся в целости и обнажавшиеся, когда он смеялся, придавали ему открытый и искренний вид, заставляющий говорить о мужчине: «Он добрый малый», а о старике: «Он добряк!» Как помнит читатель, он произвел именно такое впечатление на Наполеона. По первому взгляду и для человека, видевшего его в первый раз, он действительно казался только добряком. Но в глазах того, кто проводил с ним несколько часов и особенно видел его задумчивым, добряк мало-помалу преображался во внушительного человека. Его широкий серьезный лоб, почтенный по морщинам, внушал уважение своими думами. От доброты веяло величием, хотя доброта и не переставала сиять; глядя на него, испытывалось чувство, похожее на то впечатление, которое внушал бы ангел, медленно расправляющий крылья, не переставая улыбаться. Уважение, бесконечное уважение постепенно охватывало вас и поднималось к сердцу, и вы чувствовали, что находитесь в присутствии одной из сильных, испытанных и снисходительных душ, в которых мысль достигла

той высоты, где уже нет места ни для чего иного, кроме всепрощения.

Как уже видели ранее, молитва, исполнение церковной службы, благотворительность, утешение скорбящих, уход за маленьким клочком земли, братская любовь, воздержание, гостеприимство, самопожертвование, доверие, наука и труд наполняли дни всей его жизни. Слово «наполнять» совершенно точно, так как, конечно, его пастырский день был переполнен добрыми мыслями, словами и делами. Однако он не считал день свой полным, если холод или дождь не позволяли ему провести вечером час или два перед сном в саду, когда женщины уходили в свои комнаты. Эта привычка была словно каким-то обрядом приготовления ко сну размышлениями, в присутствии величественного зрелища ночного неба. Иногда очень поздно, если две старые женщины не спали, они слышали его медленные шаги по аллеям. Он был тогда наедине с самим собой; сосредоточенный, спокойный, он молился и сравнивал ясность своей души с ясностью небесного свода,

умилялся среди темноты перед видимым великолепием созвездий и невидимым великолепием Творца и раскрывал свою душу мыслям, навеваемым Непостижимым. Он возносил свое сердце в тот час, когда ночные цветы возносят свои ароматы, изливаясь в упоении перед блеском мироздания. Быть может, он и сам не мог дать отчета, о чем он мыслил в эти минуты: он чувствовал только, как что-то возносится в нем и как что-то нисходит на него. Таинственный обмен между безднами души и безднами вселенной!

Он думал о величии и присутствии Божества, о великой тайне будущей вечности, о всех этих бесконечностях, убегавших из глаз в разные стороны, и, не стараясь понять Непостижимого, он созерцал. Он не изучал Бога — он удивлялся Ему. Он всматривался в чудесные встречи атомов, облекающих материю в формы, обнаруживающих и подтверждающих существование сил, создающих индивидуальность единиц, границы в пространстве, конечное в бесконечном и

творящих красоту из лучей света. Беспрерывные встречи, сцепление и разъединение — в этом жизнь и смерть.

Он опускался на деревянную скамью, прислоненную к ветхой шпалере. Смотрел на звезды сквозь тощие силуэты плодовых деревьев. Эта четверть арпана земли, застроенная лачугами и амбарами, была мила ему и удовлетворяла его.

Чего же больше нужно было старику, посвящавшему свой досуг днем работе в саду, а ночью — созерцанию? Эта тесная ограда, где небо заменяло потолок, не доставляла ли возможности поклоняться Богу в самых грациозных и самых величавых его произведениях? Садик для прогулки и вид беспредельного неба для размышлений. У ног все то, что можно растить и собирать, над головой все, над чем можно думать и размышлять. На земле — несколько цветов. Наверху — все небесные звезды.

Глава 14

Последнее слово.

Ввиду того что переданные нами подробности, особенно в настоящий момент, могли бы придать характеру диньского епископа известную «пантеистическую окраску», выражаясь модным языком нашего времени, и внушить мысль, во славу или в осуждение его, что он следовал личной философии, свойственной нашему веку, зарождающейся и развивающейся в некоторых одиноких умах и возвышающейся иногда до степени религии, мы настаиваем на том, что никто из знавших преосвященного Бьенвеню не считал себя вправе приписывать ему чего-либо подобного. Просвещало этого человека его сердце. Его мудрость основывалась на свете, исходящем из этого источника.

В нем было отсутствие системы — и много добрых дел. Отвлеченные спекуляции кружат голову, и ничто не доказывает, чтобы его ум

углублялся в апокалиптические соображения. Апостол может отличаться смелостью, но епископу приличнее скромность. Он, вероятно, не позволил бы себе вдаваться в пристальный разбор некоторых специальных задач, предназначенных исключительно гигантским умам. Под таинственными сводами веет священным ужасом — эти темные врата стоят без затворов, но что-то говорит вам, простым прохожим жизни: «Не входите туда». Горе тому, кто переступит порог.

Гении предъявляют свои мысли Богу в форме глубоких абстракций и чистых спекуляций, стоящих, так сказать, выше догматов. Их молитва заключает смелый спор. Их поклонение вопрошает. Это уже непосредственная религия, полная тревоги и ответственности для того, кто отваживается возноситься на ее вершины.

Человеческая мысль не имеет границ. Она за собственный страх и риск углубляется в анализ собственного энтузиазма. Можно сказать, что в силу чудесного отражения она удивляет собой

природу; таинственный мир, окружающий нас, откликается, и, вероятно, созерцатели, в свою очередь, являются предметом созерцания. Как бы ни было, но на земле есть люди; вопрос, однако, в том, действительно ли они люди, видящие отчетливо на горизонте своей мысли очертание абсолютного и которым дан страшный дар прозревать бесконечную его высоту? Преосвященный Бьенвеню не был из числа их: преосвященный Бьенвеню не был гением. Его пугали бы эти высоты, с которых многие великие умы, как Сведенборг и Паскаль, соскользнули в безумие. Без сомнения, эти могучие грезы имеют нравственную пользу, и этот трудный путь приближает к идеальному совершенству. Но епископ избрал кратчайшую дорогу: Евангелие.

Он не старался придать своей ризе складок плаща святого Илии, он не освящал никакими пророческими лучами темных волн событий, не силился сосредоточить в пламя блуждающие огоньки предметов — в нем не было ничего пророческого и напоминающего ясновидца. Его кроткая душа любила, вот и все.

Что он расширял молитву до сверхъестественного общения — это вероятно. Но ни молитва, ни любовь не могут никогда быть чрезмерными, и если молиться больше указанного текста составляет ересь, то святая Тереза и святой Иеремия были еретиками.

Он склонялся над всем, что стонет и искупает. Вселенная казалась ему обширной больницей: он везде различал лихорадку, нащупывал страдание и, не мучаясь разгадкой причины, перевязывал рану. Страшное зрелище созданного наполняло его жалостью: он был занят только развитием в себе и в других лучшего способа соболезновать и помогать. Все живущее для этого доброго и редкого священника было предметом печали и предлогом для утешений.

Есть люди, трудящиеся над добыванием золота, — он трудился над добыванием жалости. Мировая нищета была его рудой. Везде горе было для него поводом выказать великодушие… «Любите друг друга», — эту заповедь он провозглашал совершенной, не желал ничего

большего, и в ней состояло для него все вероучение. Однажды господин, считавший себя философом, тот сенатор, о котором мы уже говорили раньше, сказал епископу:

— Взгляните на зрелище, представляемое миром: война всех против всех; тот, кто сильнее, тот и умнее. Ваше преосвященство: «любите друг друга» — глупость.

— Если так, — ответил без опровержений преосвященный Бьенвеню, — если это глупость, то душе следует замкнуться в ней, как жемчужине в своей раковине.

Он и замыкался, и жил в ней, совершенно довольствовался ею, оставляя в стороне обширные вопросы, заманчивые и страшные, неизмеримые перспективы отвлеченного, пропасти метафизики. Он не касался всех этих бездн, примыкающих для апостола к Богу, для атеиста — к небытию: судьбы добра и зла, междоусобной борьбы существ человеческой совести, задумчивого полусознания животного, преображения путем смерти, суммы жизней,

заключенных в могиле, непостижимой прививки различных привязанностей к одному устойчивому Ego {Ego — я (лат.).}, сущности, материи, небытия и бытия, души, природы, свободы, необходимости; всех острых проблем, всех роковых потемок, над которыми склоняются архангелы — гиганты человеческого ума, он не заглядывал в эти ужасающие пропасти, куда Лукреций, Ману, святой Павел и Данте устремляют огненные очи и, пристально глядя в бесконечность, как бы стремятся зажечь новые звезды.

Преосвященный Бьенвеню был просто человеком, констатирующим с внешней стороны существование таинственных вопросов, не анализируя, не переворачивая их и не смущая ими собственного сердца. В его душе было глубокое почтение перед тайной.

Глава 15

В последних числах октября 1815 года, приблизительно за час до заката солнца, в город

Динь входил пешеход. Немногие из жителей города, находившиеся в этот момент у окошек или на пороге своих домов, видели путешественника и оглядывали его с некоторым беспокойством. Трудно было встретить человека более нищенской наружности. Это был мужчина среднего роста, широкоплечий и коренастый, зрелых лет. Ему можно было дать от сорока шести до сорока восьми лет. Фуражка с кожаным козырьком, опущенным на глаза, отчасти закрывала лицо, загорелое, выжженное солнцем и взмокшее от пота. Толстая заскорузлая холщовая рубаха, скрепленная у ворота маленьким серебряным якорем, не скрывала его волосатую грудь; вокруг шеи был повязан галстук, свившийся жгутом, синие полотняные штаны, потертые и потрепанные, побелевшие на одном колене, продырявленные на другом, серая блуза в лохмотьях, с заплаткой на локте из зеленого сукна, пришитой бечевками, на спине новый солдатский ранец, туго набитый и аккуратно перетянутый ремнем, в руках толстая суковатая палка, башмаки с гвоздями, обутые на босу ногу,

бритая голова и длинная борода — таков был его облик.

Пот, жара, продолжительная ходьба и пыль прибавляли нечто жалкое к общему виду неряшливости. Короткие волосы его стояли щеткой и начинали отрастать, очевидно, остриженные еще недавно. Никто не знал его. Очевидно, это был прохожий. Откуда он шел? С юга. Должно быть, с моря. Он вошел в Динь через ту самую улицу, по которой незадолго перед тем проехал Наполеон, отправляясь из Канна в Париж. Человек этот, по-видимому, шел целый день. Он казался очень утомленным. Женщины старого предместья, находящегося в нижнем конце города, видели, как он останавливался под деревьями бульвара Гассен-Ди, чтобы напиться у фонтана в конце аллеи. Вероятно, его сильно мучила жажда, потому что дети видели, как он вторично останавливался напиться, шагах в двухстах подальше, у фонтана на Рыночной площади.

Дойдя до угла улицы Пуашнер, он повернул налево и направился к мэрии. Он вошел и вышел оттуда через четверть часа. У дверей сидел жандарм на той самой каменной скамье, на которую влез 4 марта генерал Друо, чтобы прочесть недоумевавшей толпе жителей Диня прокламацию из Жуанского залива. Человек в картузе снял с головы шапку и почтительно поклонился жандарму.

Жандарм, не отвечая на поклон, пристально поглядел на него, долго провожал его глазами, а затем ушел в ратушу.

В то время в Дине был один хороший трактир под вывеской «Кольбасский Крест». Хозяином трактира был некий Жакен Лабарр, человек, пользовавшийся в городе почетом за родство с другим Лабарром, содержателем трактира «Трех Дофинов» в Гренобле, служившим раньше в полку колоновожатых. Во время высадки императора много толков ходило об этом трактире «Трех Дофинов». Рассказывали, будто генерал Бертран, переодетый фурманщиком,

несколько раз приезжал туда в январе и раздавал пригоршнями кресты солдатам и червонцы буржуа. Правда состояла в том, что император по приезде в Гренобль отказался остановиться в отеле префектуры: он поблагодарил мэра словами: «Я остановлюсь у одного известного мне честного малого» и отправился в трактир «Трех Дофинов». Слава Лабарра, хозяина «Трех Дофинов», отражалась на расстоянии двадцати лье на Лабарре, хозяине «Кольбасского Креста». В городе говорили о нем: «Это двоюродный брат Гренобльского».

Путник направился к этому трактиру, лучшему во всем околотке. Он вошел в кухню, выходившую прямо на улицу. Печь была растоплена, сильный огонь пылал в очаге. Трактирщик, он же и повар, хлопотал около плиты и кастрюль, внимательно наблюдая за прекрасным обедом, варившимся для извозчиков, громкий хохот и болтовня которых раздавались в соседней комнате. Кому случалось путешествовать, тот знает, что никто не ест лучше извозчиков. Откормленный сурок,

окруженный белыми куропатками и глухарями, кружился на вертеле перед огнем. На плите жарились два жирных карпа с озера Лизет и форель с озера Аллиз.

Хозяин, услышав, что дверь отворилась и вошел кто-то, не отрывая глаз от плиты, спросил:

— Что угодно?

— Поесть и переночевать.

— Нет ничего легче, — продолжал трактирщик. Но, подняв голову и оглядев наружность новоприбывшего, он прибавил: — За деньги.

Пришедший вынул из кармана блузы большой кожаный кошель и произнес:

— Деньги у меня есть.

— В таком случае к вашим услугам, — сказал трактирщик.

Путник положил кошель обратно в карман, спустил ранец со спины, поставил его на пол к дверям, но, не выпуская палки из рук, сел на

низенький стул перед огнем. Динь лежит в горах. Октябрьские вечера там холодны.

Однако трактирщик, снуя взад и вперед около плиты, все поглядывал на путешественника.

— Скоро ли можно будет пообедать?

— Сию минуту.

В то время, как новоприбывший грелся, честный трактирщик Жакен Лабарр за спиной у него вытащил из кармана карандаш, оторвал уголок от старой газеты, валявшейся на столе, написал на оторванном клочке одну или две строки, сложил бумажку вдвое и, запечатав, сунул в руку мальчику, служившему ему поваренком и рассыльным. Трактирщик шепнул что-то мальчику на ухо, и ребенок побежал по направлению к мэрии.

Путешественник не заметил ничего.

— Скоро ли обед? — переспросил он еще раз.

— Сейчас, — повторил хозяин.

Мальчик возвратился. Он принес обратно записку. Трактирщик поспешно развернул ее, как человек, ожидающий ответа. Он читал с явным вниманием, затем покачал головой и задумался. Вслед за этим подошел к путешественнику, который, по-видимому, погрузился в невеселые думы.

— Милостивый государь, — сказал он, — я не могу принять вас.

Незнакомец приподнялся со своего сиденья.

— Что такое? Вы боитесь, что я не заплачу: хотите, я рассчитаюсь с вами вперед? Деньги у меня есть, я уже говорил вам.

— Нет, не то.

— Что же такое?

— У вас деньги-то есть…

— Есть, — отвечал путник.

— Но у меня нет комнаты.

Путешественник возразил спокойно:

— Пустите меня в конюшню.

— Не могу.

— Отчего?

— Лошади занимают все место.

— В таком случае дайте мне уголок на чердаке. Постелите охапку соломы. После обеда мы сговоримся.

— Я не могу дать вам обеда.

Это заявление, сделанное спокойным, но решительным тоном, показалось важным незнакомцу. Он встал.

— Однако я умираю от голода. Я шел с самого рассвета. Я прошел двенадцать лье. Я плачу и хочу есть.

— У меня ничего нет.

Незнакомец обернулся к печи и к плите:

— Ничего, а все это?

— Все это уже заказано.

— Кем?

— Господами извозчиками.

— Сколько их?

— Двенадцать человек.

— Тут хватит на двадцать.

— Все это заказано заранее и оплачено. Незнакомец сел обратно и сказал, не повышая голоса:

— Я в трактире, я голоден и останусь.

Хозяин нагнулся тогда к его уху и проговорил голосом, заставившим его вздрогнуть:

— Ступайте вон!

Путешественник сидел сгорбившись и ворочал угольях железным наконечником своей палки; он быстро обернулся и открыл рот для возражения, когда хозяин, глядя на него в упор, сказал вполголоса:

— Послушайте, не теряйте напрасно слов. Хотите, я назову вас по имени? Вы Жан Вальжан. Теперь хотите, я скажу вам, кто вы такой? Я кое о чем догадался, как только вы вошли, послал

справиться в мэрию, и вот что мне ответили. Умеете вы читать?

Говоря это, он подал путнику развернутую бумажку, пропутешествовавшую из трактира в мэрию и обратно. Путешественник пробежал ее глазами.

— Я имею привычку обращаться вежливо со всеми, — сказал трактирщик, помолчав немного. — Уходите отсюда.

Путешественник опустил голову, поднял ранец, стоявший у двери, и ушел.

Он побрел вдоль большой улицы. Шел он на авось, держась около стен, как человек униженный и огорченный. Если бы он обернулся, то увидел бы трактирщика на пороге своей харчевни, окруженного всеми своими гостями и прохожими, оживленно разговаривающего, показывая на него пальцем, и по взглядам ужаса и недоверия группы он бы догадался, что присутствие его станет известным всему городу. Но он не видел ничего. Люди убитые не

оглядываются. Он слишком хорошо знает, что злая судьба следует за ним по пятам.

Он шел так некоторое время, не сворачивая, проходя наобум по незнакомым улицам, забывая свою усталость, как это бывает в горе. Приближалась ночь. Он осматривался кругом, пытаясь найти где-нибудь пристанище.

Богатый трактир закрылся перед ним: он искал какого-нибудь жалкого кабачка, какой-нибудь убогой трущобы.

Как раз в конце улицы показался огонек. Еловая ветка, воткнутая в железную подпорку, вырисовывалась на бледном небе сумерек. Он направился туда.

Это был кабак. Кабак улицы Шофо.

Путешественник остановился на минуту, заглянул сквозь окно в низенькую комнату кабака, освещенную небольшой лампой, стоявшей на столе, и пылавшей печью. Несколько человек посетителей сидело за столом. Хозяин грелся у огня.

Над пламенем шипел железный котелок, висевший на крючке.

В кабак, бывший в то же время харчевней, было два хода. Один с улицы, другой с маленького дворика, заваленного навозом.

Путешественник не посмел войти с улицы: он проскользнул во двор, постоял там, затем робко поднял скобку и толкнул дверь.

— Кто там? — спросил хозяин.

— Путник, желающий поесть и переночевать.

— Хорошо. Здесь найдется ужин и ночлег.

Он вошел. Все пившие повернулись к нему. Лампа освещала его с одного бока, огонь очага с другого. Его рассматривали, пока он отвязывал ранец со спины. Хозяин сказал ему:

— Здесь огонь. Ужин варится в котле. Пойдите, погрейтесь, приятель.

Он сел. Протянул к огню замлевшие от усталости ноги. Вкусный запах поднимался из котелка. Вся часть лица его, видневшаяся из-под

козырька, приняла благостное выражение, смешанное, правда, с жалкой миной привычного страдания.

Впрочем, профиль его был твердый, энергичный, хотя и печальный. Лицо его вообще было странное: оно казалось сначала робким, но, всмотревшись пристальнее, производило впечатление суровости. Глаза светились из-под бровей, как угли из-под хвороста.

Однако один из людей, пивших в кабаке, оказался рыбным торговцем, заезжавшим, перед тем как прийти в улицу Шофо, к Лабарру поставить лошадь в его конюшню. По случайному стечению обстоятельств, он встретился с этим незнакомцем подозрительной наружности утром по дороге между Бра-д'Асс и — я забыл имя другой местности — кажется, Эскублоном. При встрече пешеход, сильно уставший, просил посадить его на лошадь, на что торговец ответил только тем, что погнал лошадь быстрее. С полчаса тому назад он находился в толпе, окружавшей трактирщика, и там рассказал

о неприятной встрече, происшедшей утром. Он знаком подозвал к себе хозяина кабака. Кабатчик подошел. Они обменялись шепотом несколькими словами. Незнакомец впал опять в свое раздумье.

Кабатчик вернулся к очагу, решительно положил руку на плечо неизвестного человека и сказал ему:

— Уходи отсюда.

Незнакомец обернулся и ответил кротко:

— А, так вы уже узнали?

— Да.

— Меня выгнали из того трактира.

— И выгоняют отсюда.

— Куда же мне идти?

— В другое место.

Путешественник взял свою палку и ранец и пошел.

Когда он вышел, несколько ребятишек, следовавших за ним из трактира «Кольбасский

Крест» и, по-видимому, поджидавших его, пустили в него камнями. Он сердито двинулся на них, грозя палкой.

Дети рассыпались, как стая птиц.

Он шел мимо тюрьмы. У ворот висела железная цепь от звонка. Он позвонил.

Отворилось окошечко.

— Господин привратник, — сказал он, почтительно сняв картуз, — не будет ли угодно вашей милости впустить меня переночевать?

— Тюрьма не трактир, — ответил голос. — Пусть вас арестуют, и тогда мы вас впустим.

Окошечко захлопнулось.

Он вошел в улицу, где было много садов. Некоторые из них огорожены только плетнями, улица от этого имела веселый вид. Между садами и плетнями путник увидел небольшой одноэтажный дом с освещенным окном. Заглянув в окно, как в кабаке, он увидел большую комнату с выбеленными стенами, с кроватью под

ситцевым пологом и колыбелью в углу; несколько деревянных стульев и ружье на стене.

Посреди комнаты стоял накрытый стол. Медная лампа освещала толстую белую скатерть, оловянную кружку, блестевшую как серебро, наполненную до краев вином, и глиняную дымившуюся миску. За столом сидел человек лет сорока, с веселым добродушным лицом, а на коленях его прыгал ребенок. Подле него очень молодая женщина кормила другого ребенка грудью. Отец смеялся, ребенок смеялся, мать улыбалась.

Незнакомец постоял несколько минут в раздумье перед этой мирной семейной картиной. Что происходило в его сердце? Он один мог бы сказать это.

Вероятно, он подумал, что в счастливом доме будут гостеприимны и что там, где счастье, найдется сострадание.

Он осторожно постучал в окно.

Его не слышали.

Он постучал во второй раз. Он слышал, как сказала жена:

— Муж, к нам кто-то стучится.

— Тебе показалось, — ответил муж.

Он постучался в третий раз.

Муж встал, взял со стола лампу и пошел к двери.

Это был высокий мужчина, полукрестьянин, полуремесленник, в широком кожаном фартуке, пристегнутом к левому плечу и топырившемся на груди как большой карман, так как за пазухой были засунуты молоток, красный платок, пороховница и всякая всячина, поддержанные кушаком. Он запрокидывал голову назад, и низко вырезанный ворот рубашки обнажал белую и толстую, как у вола, шею. У него были густые брови, огромные черные бакенбарды, глаза навыкате и низ лица удлиненный, а на всем этом неуловимый отпечаток сознания, что он хозяин в своем доме.

— Извините мою просьбу, милостивый государь, — сказал путник, — но нельзя ли было бы получить, конечно, за плату, тарелку супа и уголок для ночевки в сарае, в вашем саду? Скажите, не согласитесь ли вы за деньги.

— Кто вы такой? — спросил хозяин.

Путешественник отвечал:

— Я иду из Пюи-Массона. Целый день был в дороге. Прошел двенадцать лье. Не согласитесь ли вы пустить меня за деньги?

— Я бы не отказался приютить хорошего человека за деньги, — сказал крестьянин. — Но почему вы не остановились в трактире?

— Там не было места.

— Это невозможно. Сегодня не ярмарочный и не торговый день. Были ли вы у Лабарра?

— Был.

— И что же?

Путешественник замялся.

— Не знаю, почему он меня не принял.

— А заходили вы к тому, как бишь его, в улице Шофо?

Смущение незнакомца возрастало.

— Он тоже не пустил меня, — пробормотал он.

Лицо крестьянина приняло недоверчивое выражение: он оглядел с ног до головы прохожего и воскликнул вдруг сердито:

— Да уж не тот ли вы человек?..

Он снова взглянул на незнакомца, отступил на три шага, поставил лампу на стол и снял со стены ружье.

При возгласе: «Уж не тот ли вы человек?» женщина вскочила, взяла обоих детей на руки и поспешно встала за спиной мужа; глядя с ужасом на пришельца, не прикрыв обнаженной груди и испуганно озираясь, она шептала: «tso maraude» (беглая кошка).

Все это случилось быстрее, чем можно вообразить. Всматриваясь в продолжение нескольких мгновений в путешественника, как

смотрят на гада, хозяин подошел к дверям и сказал:

— Убирайся!

— Ради самого Бога, дайте стакан воды.

— Не хочешь ли ты вот этого? — сказал крестьянин, прицеливаясь из ружья.

Затем он сердито запер дверь, и путешественник слышал, как щелкали крючки. Через мгновение ставня захлопнулась с шумом и послышался звук задвигаемого железного засова.

На дворе между тем становилось все темнее. Холодный ветер дул с гор, При свете уходящего дня путник увидел в одном из садов, окаймлявшие улицу, конуру, показавшуюся ему сложенной из дерева. Он смело перелез через деревянный забор и прыгнул в сад. Подошел к землянке. Входом в нее служило низкое отверстие, и вообще она походила по внешности на шалаши, устраиваемые рабочими на дорогах. Он подумал, что это рабочий шалаш; его мучили голод и холод: он мирился с голодом, но желая,

по крайней мере, избавиться от холода. Обыкновенно в таких землянках не ночуют. Он лег на брюхо и вполз в конуру. Там было тепло и была настлана солома. Он несколько мгновений пролежал на этой постели, не двигаясь, настолько сильна была его усталость. Затем, так как ранец на спине мешал и к тому же представлял готовое изголовье, он начал развязывать ремни. В эту минуту послышалось зловещее рычание. Он поднял глаза. Голова огромной собаки показалась в тени у входа шалаша.

Шалаш оказался собачьей конурой.

Путник был силен и ловок. Он употребил свою палку вместо оружия, закрылся ранцем, как щитом, и кое-как выполз из конуры, еще больше увеличив прорехи на своей одежде.

Он выбрался из сада, но, пятясь, и принужденный для того, чтобы держать собаку на расстоянии, прибегнуть к маневру с палкой, называемому мастерами этого рода фехтования «закрытой розой».

После того как он перелез не без труда через забор и очутился на улице один, без пристанища, без крова, изгнанный даже с соломенного ложа собачьей конуры, он скорее упал, чем сел на камень, и какой-то прохожий слышал возглас: «Я хуже собаки!».

Вскоре он опять поднялся и пошел. Он отправился за город, надеясь встретить в поле дерево или стог сена, где мог бы укрыться.

Он таким образом шел некоторое время, низко опустив голову. Когда он увидел, что людское жилье осталось далеко позади, он выпрямился и стал озираться. Кругом было поле, перед ним возвышался холм, покрытый коротко обрезанным жнивьем, что по окончании жатвы походит на остриженную голову.

Горизонт был черный — не только от ночного мрака, но и от низко опустившихся облаков, упиравшихся, как казалось, в самый холм и оттуда расползавшихся по небу. Однако так как луна должна была взойти и в зените еще сохранился остаток света, то верхние гряды

облаков обрисовывали белесоватый свод, слабо освещавший землю. Земля, следовательно, была более освещена, чем небо, что производит особенно зловещее впечатление, и холм, с его жалким и нищенским очертанием. смутно белел на темном горизонте. В общей сложности вид был безобразный, угрюмый и давящий. Ни в полях, ни на холме не видно было ничего, кроме уродливого дерева, размахивавшего и трепетавшего ветвями в нескольких шагах от путника. Очевидно, этот человек был чужд изнеженных привычек ума, вырабатывающих чувствительность к таинственному смыслу природы. Однако на этом небе, холме, на этой равнине и дереве лежала печать такого глубокого отчаяния, что и он, постояв с минуту неподвижно в раздумье, быстро повернул назад. Бывают мгновения, когда природа кажется враждебной.

Он пошел обратно. Ворота Диня были заперты. Город, выносивший осады в эпоху религиозных войн, был еще окружен в 1815 году старыми стенами с четырехугольными башнями

по углам, срытыми впоследствии. Он пролез в город через обвал в стене.

Человек дошел до префектуры, затем до семинарии и на площади собора погрозил кулаком церкви.

На углу площади находится типография. Тут были отпечатаны первые оттиски воззвания императора к гвардии и армии, привезенного с острова Эльбы и написанного под диктовку самого Наполеона.

Изнемогая от усталости и потеряв всякую надежду, путешественник лег на каменную скамью, стоящую у ворот типографии.

В эту минуту из церкви выходила старушка. Она заметила человека, лежавшего в темноте.

— Что вы делаете тут, друг мой? — спросила она.

— Видите, ложусь спать, добрая старушка, — ответил он грубо и сердито.

Добрая старушка была маркиза Р. и действительно заслуживала этот эпитет.

— Как, на этой скамье?

— Я спал девятнадцать лет на досках, сегодня посплю и на камнях.

— Вы были солдатом?

— Да, старушка, солдатом.

— Почему вы не идете в трактир?

— У меня нет денег.

— Увы, — сказала маркиза Р., — в моем кошельке всего четыре су.

— Все равно, отдайте мне их.

Путник взял четыре су. Маркиза Р. продолжала:

— За такие деньги вас не пустят в трактир. Везде ли вы пытались проситься на ночлег? Здесь ночевать невозможно. Вы, вероятно, голодны и озябли. Вас могли бы пустить Христа ради.

— Я стучался во все двери.

— И что же?

— Везде меня гнали.

Добрая старушка тронула за рукав прохожего и показала ему по ту борону площади на низенький дом рядом с епископским дворцом.

— Вы сказали, что стучались везде?

— Да.

— А стучались вы вон в ту дверь?

— Нет.

— В таком случае ступайте, постучитесь.

Глава 16

В тот вечер диньский епископ после прогулки по городу сидел довольно долго, запершись в своей комнате. Он работал над большим сочинением «Об обязанностях», оставшимся, к несчастью, неоконченным, старательно отмечая все написанное святыми отцами и учителями Церкви об этом важном предмете. Его сочинение делилось на две части; в первую часть входили общие обязанности каждого согласно месту,

занимаемому им в обществе. Евангелист Матфей разделяет их на четыре разряда: обязанности к Богу (Мат. VI); обязанности к самому себе (Мат. V, 29, 30); обязанности к ближнему (Мат. VII, 12); обязанности к животным (Мат. VI, 20, 25). Предписания и указания остальных обязанностей епископ нашел в других местах. Обязанности государей и подданных — в Послании к римлянам. Власть имущих, жен, матерей и юношей — в Послании апостола Петра; мужей, отцов, детей и слуг — в Послании к эфесянам; верных — в Послании к иудеям; дев — в Послании к коринфянам. Он трудолюбиво перерабатывал все эти отдельные предписания в одно гармоничное целое, которое желал преподнести благочестивым душам.

В восемь часов он еще продолжал работать, довольно неудобно держа толстую книгу на коленях и делая выписки на клочках бумаги, когда к нему вошла мадам Маглуар, по обыкновению, достать серебро из стенного шкафчика над постелью.

Минуту спустя епископ, чувствуя, что стол накрыт и что сестра, вероятно, ждет его, закрыл книгу, встал из-за стола и пошел в столовую.

Столовая была продолговатая комната с камином, с дверью на улицу (как было уже сказано) и окошком, выходящим в сад. Действительно, он застал стол почти накрытым.

Мадам Маглуар, продолжая хлопотать около приборов, разговаривала с мадемуазель Батистиной.

На столе стояла лампа; стол пододвинули к камину. В последнем пылал довольно сильный огонь.

Легко можно представить себе обеих женщин, которым было за шестьдесят лет: мадам Маглуар, низенькая, круглая, живая; мадемуазель Батистина — тихая, худенькая, тщедушная, ростом несколько выше брата, одетая в шелковое платье «пюс», цвета, бывшего в моде в 1806 году, купленного тогда в Париже и служившего ей с тех пор. Прибегая к вульгарному выражению, выражающему одним словом понятие, на

изложение которого потребовалось бы не менее нескольких страниц объяснений, скажем, что мадам Маглуар имела вид крестьянки, а мадемуазель Батистина смотрелась дамой. На мадам Маглуар был белый чепец с гофрированной оборкой, на шее золотой крест, единственное женское украшение во всем доме, белая косынка выступала на черном крашенинном платье с широкими и короткими рукавами холщовый передник с красными и зелеными клетками, завязывающийся у пояса зеленой шелковой лентой, с нагрудником, пришпиленным булавками к лифу, на ногах толстые башмаки и желтые чулки, какие носят марсельские женщины. Платье мадемуазель Батистины также было сшито по моде 1806 года: короткая талия, узкая юбка, рукава с эполетками, с нашивками и пуговицами. Седые волосы свои она прикрывала завитым париком «под ребенка». Наружность у мадам Маглуар была интеллигентная, добрая и живая, неровно поднятые углы рта и верхняя губа толще нижней придавали ей грубоватое и властолюбивое

выражение. Пока преосвященный молчал, она говорила с ним смело, со смесью уважения и независимости, но как только он открывал рот, она, как уже было сказано, подчинялась ему пассивно, так же как мадемуазель Батистина. Последняя даже не говорила. Она ограничивалась тем, что повиновалась и угождала. Даже смолоду она не была красива: голубые глаза навыкате и длинный горбатый нос, но все лицо ее, все существо, как уже было сказано вначале, дышало добротой. Она всегда была склонна к снисхождению, но вера, надежда и милосердие, эти три добродетели, согревающие душу, возвысили эту склонность до святости. Природа создала ее агнцем, — религия преобразила в ангела.

Добрая, святая душа! Милое исчезнувшее воспоминание! Мадемуазель Батистина столько раз рассказывала происшествия этого вечера в епископском доме, что многие живые свидетели помнят еще подробности случившегося.

В ту минуту, когда вошел епископ, мадам Маглуар говорила с некоторым жаром. Она беседовала с мадемуазель Батистиной о предмете неистощимом и знакомом епископу. Дело шло о замке наружной двери.

Как кажется, отправившись за провизией к ужину, мадам Маглуар слышала различные слухи в нескольких местах. Толковали о бродяге подозрительной наружности, появившемся в городе, и о возможности дурной встречи для тех, кто будет возвращаться поздно домой в эту ночь. Говорили, что полиция очень плоха, потому что префект и мэр не в ладах и стараются навредить друг другу, допуская беспорядки. Вследствие этого благоразумные люди должны сами оберегать себя и нужно хорошенько запираться, закрывать двери дома на ночь. Мадам Маглуар подчеркнула с намерением последние слова, но епископ, придя из своей комнаты, где он немножко продрог, подсел к камину и грелся, думая о другом. Он не обратил внимания на слова мадам Маглуар. Она повторила еще раз свою фразу. Мадемуазель Батистина, желая угодить

мадам Маглуар, не сердя брата, рискнула сделать робкое замечание:

— Братец, слышали вы, что рассказывает мадам Маглуар?

— Да, я что-то смутно слышал.

Затем, повернув слегка свой стул и опершись руками о колени, он поднял свое приветливое и ласковое лицо к служанке, огонь освещал его снизу.

— Ну что же такое? Расскажите! Мы в какой-то ужасной опасности.

Мадам Маглуар принялась повторять рассказ, немножко преувеличивая, сама того не замечая. Она слышала, что какой-то цыган-оборванец, какой-то опасный нищий бродит по городу. Он хотел остановиться у Жакена Лабарра, но тот не пустил его.

Его видели на бульваре Гассенди, и в сумерках он бродил по городу. Висельник со страшным лицом.

— В самом деле! — сказал епископ. Снисходительный расспрос поощрил мадам Маглуар.

Это казалось ей признаком, что епископ не далек от беспокойства. Она продолжала, торжествуя:

— Да, ваше преосвященство. Дело в таком виде. Сегодня ночью в городе быть беде. Все так думают. Притом же полиция у нас дурно устроена (следовало бесполезное повторение). Жить в горной местности и не завести даже фонарей на улицах. Выйдешь из дому и хоть глаз выколи! И я говорю, ваше преосвященство, и барышня говорит.

— Я ровно ничего не говорю, — прервала сестра. — Все, что братец делает, я одобряю.

Мадам Маглуар продолжала, как будто возражения и не бывало.

— Мы говорим, что в нашем доме нет безопасности, и если ваше преосвященство позволите, я сейчас схожу за слесарем, Павлином

Мюзбуа, позову его приладить старые замки к дверям. Они спрятаны здесь под рукой, привинтить их дело одной минуты. А я говорю, что необходим замок, хотя бы на нынешнюю ночь; я говорю, что дверь на щеколде, которую всякий прохожий может отворить снаружи, вещь очень опасная, к тому же у вашего преосвященства привычка отвечать всякому: «Войдите», даже ночью. О господи, да и спрашиваться не нужно…

В это время кто-то довольно громко постучался.

— Войдите, — отозвался епископ.

Глава 17

Дверь отворилась.

Она отворилась разом настежь, со всего размаха, как будто ее толкнули снаружи энергично и решительно.

Вошел человек. Человек, уже знакомый нам, — путешественник, отыскивавший себе

ночлег.

Он вошел, сделал шаг вперед и остановился, не затворяя за собой дверей. Ранец висел у него за плечами, он держал в руке палку, выражение его глаз было смелое, сердитое, утомленное и грубое. Огонь камина освещал его.

Вид у него был ужасный. Появление действительно зловещее.

У мадам Маглуар не хватило духу даже крикнуть. Она вздрогнула и стояла, разинув рот.

Мадемуазель Батистина обернулась, увидела вошедшего человека, растерянно привстала, затем медленно повернула голову к камину и, глядя на брата, постепенно успокаивалась, и лицо ее приняло обычное выражение добродушия.

Епископ спокойно смотрел на вошедшего.

Лишь только он собрался спросить, что нужно незнакомцу, как тот, опершись обеими руками на палку и обведя глазами старика и двух женщин, не ожидая вопроса епископа, громко заговорил.

— Значит, так. Мое имя Жан Вальжан. Я каторжник. Я провел на галерах девятнадцать лет. Четыре дня, как меня освободили и как я иду в Понтардье, место моего назначения. Я уже четыре дня в дороге из Тулона. Сегодня я прошел пешком двенадцать лье. Нынче вечером, придя сюда, я зашел в трактир, оттуда меня выгнали за мой желтый паспорт, предъявленный мною в мэрии. Нужно было его прописать. Пошел я в другой трактир. Меня не захотели принять. Убирайся, сказали мне и тут и там. Пошел я в тюрьму — меня не впустил привратник. Отправился я в собачью конуру. Собака укусила меня и выгнала, словно и она человек, точно и она узнала, кто я. Я решил ночевать в поле при звездах — звезд на небе не было. Я подумал, что соберется дождь, что нет Бога, который бы не попустил дождя, и вернулся в город, чтобы укрыться где-нибудь под воротами. На площади я укладывался спать на каменную скамью, когда старушка указала мне вашу дверь и сказала: «Постучись туда!» Я и постучался. Что здесь такое? Трактир? У меня есть деньги. Мой

заработок. Сто девять франков пятнадцать су, добытые работой на каторге на протяжении девятнадцати лет. Я заплачу. Мне это нипочем. Деньги у меня есть. Я очень устал. Ведь прошел я пешком двенадцать лье. Я голоден. Позволите вы мне остаться?

— Мадам Маглуар, — сказал епископ, — поставьте еще прибор.

Путешественник сделал три шага вперед и пододвинулся к лампе, стоявшей на столе.

— Послушайте, — сказал он, как бы не поняв хорошенько распоряжения. — Вы расслышали, что я каторжник? Прямо с галер. — Он вынул из кармана и развернул желтый лист. — Вот мой паспорт. Желтый — вы видите. Это служит для того, чтобы меня выгоняли отовсюду. Хотите прочитать? Я умею читать. Выучился на каторге. Там есть школа для желающих. Посмотрите, что написано в паспорте: «Жан Вальжан, освобожденный с каторги, уроженец…» Это вам все равно. — «Пробыл на каторге девятнадцать лет. Пять лет за кражу со взломом. Четырнадцать

лет за четыре попытки к побегу. Очень опасный». Вот-с; и все меня гонят вон; ну а вы, вы впустите меня? Что здесь у вас, трактир, что ли? Хотите накормить меня и пустить на ночлег? Нет ли у вас конюшни?

— Мадам Маглуар, постелите чистое белье на постель в алькове.

Мы уже объяснили раньше характер повиновения двух женщин. Мадам Маглуар ушла исполнять приказание.

Епископ обернулся к посетителю:

— Сядьте, сударь, и обогрейтесь. Мы сейчас будем ужинать, а во время ужина вам приготовят постель.

Только теперь путешественник окончательно понял смысл сказанного. Выражение его лица, угрюмое и жестокое, отразило одновременно удивление, недоверчивость, радость, что-то необычайное. Он принялся бормотать, как человек, сходящий с ума.

— В самом деле? Неужели? Вы мне позволяете остаться? Не гоните меня вон! Каторжника! Называете меня сударь! Не говорите мне «ты»! Не говорите: «Ступай прочь, собака!», как говорят мне все. Я ожидал, что вы меня вытолкаете. Потому-то я уже сразу и сказал, кто я такой. Ах, какая добрая женщина указала мне дорогу к вам! Я поужинаю! У меня будет постель, с бельем, как у всех! Я уже девятнадцать лет как не спал на постели! Какие вы хорошие люди! Извините, господин трактирщик, как ваше имя? Я заплачу, сколько бы вы ни потребовали. Вы честный человек. Ведь вы трактирщик, не правда ли?

— Я священник, живущий здесь, — ответил епископ.

— Священник! — возразил каторжник. — Славный вы священник, наверное, и денег с меня не возьмете? Вы кюре? Кюре этой большой церкви? В самом деле, до чего я глуп, я и не заметил вашей скуфьи.

Говоря это, он поставил в угол ранец и палку, положил паспорт в карман и сел. Мадемуазель Батистина кротко смотрела на него. Он продолжал:

— Вы человеколюбивы, господин кюре, вы не презираете меня. Хорошая это вещь — добрый священник. Итак, вам платить не надо?

— Нет, — сказал епископ, — оставьте ваши деньги у себя. Сколько их у вас? Вы, кажется, говорили: сто девять франков.

— Пятнадцать су, — прибавил путник.

— Сто девять франков пятнадцать су. А сколько времени вам пришлось работать для этого?

— Девятнадцать лет.

— Девятнадцать лет!

Епископ глубоко вздохнул. Посетитель продолжал:

— У меня цел еще весь заработок. В четыре дня я истратил всего двадцать пять су,

заработанных тем, что помогал разгружать телеги в Грассе. Так как вы аббат, я вам скажу, что у нас на каторге был капеллан. И однажды я видел епископа. Его зовут преосвященным. Это был епископ из Марселя. Кюре, что стоит над другими кюре. Я плохо объясняю, извините, но это так мне мало знакомо! Вы понимаете, все это мало известно нашей братии! Он служил обедню у нас на каторге, там устроили такой жертвенник, на голове у него была какая-то остроконечная золотая штука. Мы были выстроены рядами с трех сторон, а напротив нас пушки с зажженными фитилями. Нам было плохо видно. Он говорил, но нельзя было расслышать: он стоял слишком далеко. Так вот это-то и есть епископ.

Пока он рассказывал, епископ встал и запер дверь, оставшуюся незатворенной.

Мадам Маглуар вернулась. Она принесла еще прибор и поставила на стол.

— Мадам Маглуар, — сказал епископ, — поставьте прибор поближе к огню, — и,

обращаясь к гостю, прибавил: — Ночной ветер холоден в Альпах. Вы, верно, озябли, сударь?

Всякий раз, как он произносил слово «сударь» своим серьезным кротким голосом и тоном человека из хорошего общества, лицо каторжника сияло. Сказать каторжнику сударь то же, что подать стакан воды спасшемуся на плоту «Медузы». Унижение жаждет уважения.

— Как эта лампа тускло горит, — заметил епископ.

Мадам Маглуар поняла и отправилась в спальню епископа за серебряными подсвечниками, которые принесла уже с зажженными свечами и поставила на стол.

— Господин кюре, — сказал гость, — как вы добры, вы не презираете меня. Вы приняли меня к себе. Вы зажигаете для меня свечи. Я, однако, не скрыл от вас, откуда я пришел и какой я несчастный.

Епископ, сидевший возле него, ласково взял его за руку:

— Вы могли и не говорить мне, кто вы. Этот дом не мой, а Божий. Эта дверь не спрашивает у входящего, есть ли у него имя, а — есть ли у него горе. Вы страдаете; вас мучает голод и жажда, милости просим, войдите. Не благодарите меня; я вас принимаю не у себя. Здесь никто не хозяин, кроме того, кто нуждается в крове. Я говорю вам, путнику, вы здесь более хозяин, чем я сам. Все, что здесь есть, — все ваше. Для чего мне знать ваше имя? К тому же раньше, чем вы себя назвали, я уже знал, как вас назвать.

Гость раскрыл удивленно глаза.

— В самом деле? Вы знали, как зовут меня?

— Да, — ответил епископ, — я знал, что вы называетесь моим братом.

— Послушайте, господин кюре! — воскликнул гость. — Я был очень голоден, когда вошел сюда, но вы так добры, что теперь бог знает что со мной делается, даже голод совсем прошел.

Епископ взглянул на него и сказал:

— Вы очень страдали?

— Ах, красная куртка, ядро, привязанное к ноге, доска вместо постели, холод, жар, работа, каторга, палочные удары, двойные кандалы за каждую мелочь, карцер за слово ответа и цепи даже в постели, даже в больнице. Собаки, собаки и те счастливее! И это девятнадцать лет! Теперь мне сорок шесть лет! Ступай, живи с желтым паспортом.

— Да, — сказал епископ, — вы вышли из места печали. Послушайте. На небе будет больше радости ради заплаканного лица раскаявшегося грешника, чем ради незапятнанной ризы ста праведников. Если вы вынесли из этой обители страдания злобу и ненависть против людей, вы достойны сожаления; если вы вынесли оттуда чувства кротости, мира и снисхождения, вы лучше всех нас.

Между тем мадам Маглуар принесла ужин. Суп из воды, постного масла, хлеба и соли. Немного свиного сала. Кусок баранины. Винные ягоды. Свежий творог и большой каравай черного

хлеба. Она прибавила без спроса к обыкновенному ужину бутылку старого мовского вина.

Лицо епископа приняло вдруг веселое выражение гостеприимного хозяина.

— Пожалуйте за стол! — сказал он с оживлением, с каким имел обыкновение приглашать к столу, когда у него был кто-нибудь в гостях. Он посадил путешественника по правую руку. Мадемуазель Батистина, совершенно спокойная и естественная, села по левую сторону.

Епископ прочел молитву, потом разлил суп по своему обыкновению. Гость жадно принялся за еду. Внезапно епископ сказал:

— Мне кажется, что чего-то недостает за столом.

Действительно, мадам Маглуар подала на стол только три необходимых прибора. Между тем вошло в привычку класть на стол все шесть серебряных приборов, когда ужинал кто-нибудь из посторонних. Невинное хвастовство!

Грациозная претензия на роскошь, ребячество, полное прелести в этом доме, смиренном и строгом, где бедность возводилась в достоинство.

Мадам Маглуар поняла намек, вышла молча и через мгновение три прибора, потребованные епископом, уже блистали на скатерти, симметрично расположенные перед каждым из сидевших за столом.

Глава 18

Для того чтобы дать наиболее точное понятие о том, что произошло за ужином, мы не можем придумать ничего лучшего, как прибегнуть к выписке из письма мадемуазель Батистины к мадам Буашеврон, где весь разговор каторжника и епископа приведен с наивными подробностями.

. . . . . .

«…Этот человек не обращал ни на кого внимания. Он ел с жадностью голодного. Однако после ужина он сказал:

— Господин Божий кюре, все это слишком хорошо для меня, но я должен сказать вам, что извозчики, не хотевшие принять меня за свой стол, едят лучше вас.

Между нами будет сказано, это замечание меня немного шокировало.

— Они устают больше меня, — сказал мой брат.

— Нет, — возразил тот человек, — у них больше денег. Вы бедны, я это вижу. Вы, быть может, даже и не кюре. Скажите, в самом ли деле вы кюре? Если Бог справедлив, вам следовало бы быть кюре.

— Господь более чем справедлив ко мне, — ответил на это брат. Через минуту он прибавил:

— Господин Жан Вальжан, вы идете в Понтардье?

— По принудительной подорожной.

Мне кажется, что именно так выразился этот человек.

— Завтра я должен выйти с зарей, — продолжал тот. — Тяжело так путешествовать. Ночи холодны, а днем жарко.

— Вы идете в прекрасный край, — сказал брат. — Во время революции мое семейство разорилось, и я сначала укрывался во Франш-Конте и жил там трудами своих рук. У меня была добрая воля и нашлась работа. Там выбор большой. Есть бумажное производство, кожевни, винокурни, маслобойни, большая часовня, фабрики, стальные, медные фабрики, одних больших железоделательных заводов до двадцати, из которых четыре значительных в Лидсе, Шатиллиане, Оденкуре и Бёре…

Если я не ошибаюсь, брат назвал именно эти местности. Затем он прервал свою речь и обратился ко мне:

— Милая сестра, нет ли у нас родственников в этой стране? — спросил он.

— Были, — ответила я, — между прочим, г-н де Люсене, бывший капитаном от ворот в Понтардье при старом режиме.

— Да, но в 93 году родных не было, — сказал брат, — были одни руки. Я работал. В окрестностях Понтардье, куда вы отправляетесь, мсье Вальжан, у них есть одно патриархальное производство, совершенно прелестное, сестра моя. Это их сыроварни, называемые „плодниками“.

Тогда брат мой, продолжая угощать этого человека, объяснил ему подробно, что такое плодники Понтардье; их два сорта: большие хлева, принадлежащие богатым и вмещающие от сорока до пятидесяти коров, где производство сыров достигает от восьми до десяти тысяч штук в лето, и плодники общественные, принадлежащие бедным; горные крестьяне содержат коров своих сообща и делят выручку между собой. Они нанимают сыровара, называемого „сыроделом“. Этот сыровар принимает три раза в день молоко от членов ассоциации и отмечает количество взятого на бирке. В конце апреля начинается сыроварение — в середине июня хозяева выгоняют коров на пастбище в горы.

Наш гость оживал по мере насыщения. Брат поил его мовским вином, которого сам не пьет, находя его дорогим. Брат сообщал ему все эти подробности с той добродушной непринужденностью, какая ему свойственна, перемешивая свой разговор разными любезностями ко мне. Он несколько раз возвращался к восхвалению ремесла сыровара, как бы желая дать понять этому человеку, не советуя этого прямо и грубо, что это будет хорошим занятием для него. Оно поразило меня. Я уже говорила вам, кто был этот человек. И что же, мой брат ни за ужином, ни в течение всего вечера, за исключением нескольких слов о Христе, когда тот вошел, ни разу не напомнил этому человеку, кто он такой, и не дал понять ему, кто он сам. По-видимому, это был удобный случай для проповеди, и можно было воспользоваться влиянием епископа на каторжника, чтобы запечатлеть эту встречу. Всякому другому показалось бы кстати, имея этого несчастного под рукой, предложить и пищу для души одновременно с пищей телесной,

прочесть нравоучение и дать совет или выказать ему сожаление с назиданием вести себя честно впредь. Мой же брат не спросил у него даже ни откуда он родом, ни историю его. Потому что в его историю входит и его вина, а брат, очевидно, избегал всего, что могло ему напомнить последнюю. Он до того остерегался этого, что когда случайно, разговаривая о горцах Понтардье, у него сорвалось с языка, что те мирно трудятся в соседстве неба и счастливы, потому что ведут честную жизнь, он вдруг осекся, испугавшись, не сказал ли он чего-нибудь обидного для того человека. Я столько об этом размышляла, что, кажется, поняла, что происходило в душе брата. Он думал, что этот человек, которого зовут Жан Вальжан, без того помнит о своем позоре и что лучше всего развлечь его и хотя бы на минуту заставить его верить, что он такой же человек, как и все прочие. Не есть ли действительно в таком отношении настоящее милосердие? Нет ли в этом деликатном воздержании от проповеди и поучения, в этом избежании намеков и поучений чего-то евангельского и не состоит ли настоящее

великодушие в том, чтобы не затрагивать больного места человека? Мне казалось, что это и была тайная мысль брата. Во всяком случае, могу сказать, что какие бы мысли у него ни были на этот счет, он их не высказывал даже мне. Он вел себя с начала до конца совершенно так же, как всегда, и ужинал с Жаном Вальжаном точно с таким же видом, как стал бы ужинать с господином Гедеоном, старшиной или приходским кюре.

За десертом, когда мы ели винные ягоды, кто-то постучался в дверь. Это пришла тетушка Жербо со своим малюткой. Брат поцеловал ребенка в лоб и взял у меня взаймы пятнадцать су, чтобы дать их тетушке Жербо. В это время Вальжан ни на кого не обращал внимания. Он почти что не говорил и казался очень утомленным. Когда старушка ушла, брат прочитал молитву, затем обратился к путешественнику и сказал: „Вы, должно быть, испытываете огромное желание лечь в постель“. Мадам Маглуар поторопилась убрать со стола. Я

поняла, что нужно поскорее дать отдохнуть гостю, и мы ушли наверх.

Однако я через минуту послала мадам Маглуар отнести на постель этого человека козий мех из Шварцвальда, который был в моей комнате. Ночи очень холодны, а мех этот очень греет. Жаль, что он уже стар и шерсть лезет. Брат купил его в Германии, в Тотлингене, у истоков Дуная, вместе с ножом с костяным черенком, которым я пользуюсь за столом.

Мадам Маглуар тотчас же возвратилась наверх, мы помолились в комнате, где развешиваем белье для просушки, и потом разошлись по своим углам, не сказав ни слова друг другу».

Глава 19

Простившись с сестрой, преосвященный Бьенвеню взял со стола один из серебряных подсвечников, подал второй своему гостю и сказал:

— Я провожу вас в вашу комнату.

Путешественник пошел за ним.

Если читатель не забыл сказанного выше, то он знает, что расположение комнат было таково, что в молельную и из нее не было другого хода, кроме как через спальню епископа.

В ту минуту, когда они проходили по спальной, мадам Маглуар прятала серебро в стенной шкаф, находившийся над изголовьем постели. Она делала это всякий вечер перед тем, как идти спать.

Епископ довел гостя до алькова. В последнем была постлана чистая постель. Гость поставил подсвечник на столик.

— Ну, — сказал епископ, — теперь пожелаю вам доброй ночи. Завтра перед дорогой вы выпьете чашку парного молока от наших коров.

— Благодарю вас, аббат, — сказал гость.

Но едва он произнес эти дружелюбные слова, как внезапно и без всякого перехода сделал странное движение, которое обдало бы ужасом

обеих женщин, если бы это произошло в их присутствии. Мы и теперь не беремся объяснить, что руководило им. Было ли то предостережение или угроза? Или просто он подчинился инстинктивному и смутному побуждению? Но он резко обернулся к старику, скрестил руки и, окидывая диким взглядом своего гостеприимного хозяина, вскрикнул хриплым голосом:

— Неужели вы в самом деле положите меня ночевать рядом с собой?

Он прервал свою речь хохотом, в котором звучало что-то зверское.

— Хорошо ли вы обдумали ваше решение? Что вам говорит, что я не убийца?

Епископ ответил:

— Это знает Господь.

Затем, с сосредоточенным видом и шевеля губами, как человек молящийся или говорящий шепотом, он сложил персты правой руки и благословил гостя, не наклонившего даже головы

под благословением, затем ушел, не оглядываясь, в свою комнату.

Когда в алькове кто-нибудь ночевал, престол в молельной задергивался большой полотняной занавеской, шедшей сплошь от одной стены до другой. Проходя мимо занавеса, епископ преклонил колено и совершил краткую молитву.

Минуту спустя он был в саду, ходил, размышлял, созерцал, погружаясь мыслями и душой в великие таинственные предметы, раскрываемые Богом ночью перед бодрствующими очами.

Что касается путешественника, то, очевидно, он был утомлен, потому что даже не воспользовался белым чистым бельем своей постели. Он задул свечу ноздрей, как делают каторжники, и повалился, не раздеваясь, на постель, где мгновенно глубоко заснул.

Часы пробили двенадцать, когда епископ вернулся из сада. Через минуту в маленьком домике все спало.

Глава 20

Посреди ночи Жан Вальжан проснулся.

Жан Вальжан происходил из бедного крестьянского семейства провинции Бри. Он в детстве не учился читать. Когда вырос, стал обрезчиком деревьев в Фавероле. Мать его звали Жанной Матье, отца Жаном Вальжаном или Влажаном, по всей вероятности, это была кличка или сокращение слов voila Jean (вот и Жан).

Жан Вальжан был по характеру задумчив, но не грустен, что свойственно натурам привязчивым. В целом это было существо довольно сонное и незначительное, по крайней мере по наружности. Он потерял отца и мать в раннем возрасте. Мать его умерла от запущенной молочной лихорадки. Отец его, обрезчик деревьев, как и он, разбился, упав с дерева. У Жана осталась только старшая сестра, вдова, с семью детьми, мальчиками и девочками. Эта сестра вырастила Жана Вальжана и, пока был жив муж, бесплатно предоставляла брату стол и

жилье. Муж умер. Старшему из детей было восемь лет, младшему год. Жану Вальжану минуло двадцать пять. Он заменил сиротам умершего отца и помогал воспитавшей его сестре. Он выполнял это просто как долг, даже с некоторой грубостью. Его молодость расходовалась таким образом на тяжкий и плохо оплачиваемый труд. Никогда за ним никто не знал никакой «зазнобы». Влюбляться было некогда.

Вечером он возвращался домой усталый и ел суп молча. В то время, как он ел, сестра Жана часто брала у него с тарелки лакомый кусок, ломтик сала, говядину, сердцевину капустного кочана, чтобы отдать кому-нибудь из детей, он же продолжал есть, нагнувшись над столом, опустив голову чуть ли не в тарелку, с волосами, падавшими прядями на глаза, и, казалось, не замечая, что вокруг происходит. В Фавероле, по соседству с хижиной Вальжана, на другой стороне улицы жила фермерша по имени Мари-Клод. Племянники Вальжана, обыкновенно голодные, отправлялись иногда к соседке занять у

нее горшок молока от имени матери и распивали молоко где-нибудь за забором или в уголке аллеи, отнимая друг у друга горшок настолько впопыхах, что девочки проливали молоко на фартук и за пазуху; если бы мать увидела эти шалости, она бы крепко наказала провинившихся. Жан Вальжан, грубый и ворчливый, платил тайком от матери за горшок молока Мари-Клод, и дети избегали наказания.

Жан зарабатывал в сезон чистки деревьев восемнадцать су в день, затем нанимался жать, чистить скот на ферме, работал поденно. Он делал все, что мог. Сестра тоже работала, сколько могла, но что можно заработать с семерыми ребятишками на руках? То была жалкая семья, попавшая в тиски нищеты, мало-помалу душившей ее. Семья осталась без хлеба. Хлеба не было в буквальном смысле. Детей же было семеро. В воскресенье вечером Мобер Изабо, булочник на церковной площади Фавероля, собирался ложиться спать, когда услышал сильный стук в решетчатое окно своей булочной. Он прибежал вовремя, чтобы увидеть руку,

просунутую сквозь разбитое стекло через решетку. Рука схватила хлеб и скрылась. Изабо побежал за ним и догнал его. Вор бросил хлеб, но рука его была в крови. Оказалось, что это был Жан Вальжан.

Случилось это в 1795 году. Жан Вальжан был привлечен к суду «за воровство со взломом в жилом доме». У него было ружье, из которого он хорошо стрелял и охотился на чужих землях, — это еще более повредило ему на суде. Против браконьеров существует законный предрассудок. Браконьер, наравне с контрабандистом, не далек от разбойника. Однако, скажем мимоходом, между этой категорией людей и гнусными городскими убийцами еще целая бездна. Браконьер живет в лесу; контрабандист живет в горах или на море. Города ожесточают людей, потому что они развращают их. Горы, моря, лес делают человека диким, они развивают в нем суровость, не убивая в нем человека. Жан Вальжан был признан виновным. Статьи закона ясны. В нашей цивилизации есть роковые минуты — те, когда закон решает погубить

человеческую судьбу. Какое мрачное мгновение, когда общество отступается и решает бесповоротно покинуть мыслящее существо! Жана Вальжана осудили на пять лет каторги. 22 апреля 1796 года в Париже праздновали победу под Монтенотте, одержанную главнокомандующим итальянской армией, названным в послании Директории к Совету пятиста от 2 флореаля IV года Буонапарте. В тот же день в Бисетре заковали большую партию арестантов. Жан Вальжан был в числе этой партии. Один старый тюремщик, которому теперь под девяносто лет, еще ясно помнит несчастного арестанта в конце четвертой цепи, в углу северного двора. Он сидел, как и все прочие, на земле. По-видимому, он понимал из своего положения только то, что оно ужасно. Очень вероятно, что в неясных понятиях бедного невежественного человека все это смутно представлялось как вопиющая несправедливость. В то время как сильными ударами молота ему заковывали на затылке ошейник, он горько плакал; слезы душили его и мешали говорить, и

только время от времени он мог вымолвить: «Я обрезал деревья в Фавероле». Затем он продолжал рыдать и, подняв руку, семь раз постепенно опускал ее, как бы прикасаясь поочередно к семи маленьким головкам, и по этому жесту можно было догадаться, что его преступление было совершено с целью одеть или накормить семерых детей.

Его отправили в Тулон. Прибыл он туда после двадцатисемидневного пути на телеге, с цепью на шее. В Тулоне его облекли в красную куртку. Все, что до сих пор составляло его жизнь, стерлось — даже имя его; он перестал быть Жаном Вальжаном и превратился в No 24 601. Что сталось с сестрой? Что сталось с семерыми детьми? Кому дело до этого? Куда девается охапка листьев с молодого дерева, срубленного под корень?

Вечная история. Эти бедные живые существа, эти создания Божии, без поддержки, без помощи и крова, разбрелись брошенные на произвол судьбы. Кто знает? Быть может, каждый из них

мало-помалу утонул в холодной мгле, поглощающей столько единичных жизней в том гнетущем мраке, среди которого поочередно гибнут сотни несчастных на темном пути человечества. Семья Жана покинула страну. Родная деревня забыла их, межи их поля забыли их; через несколько лет пребывания на каторге сам Жан Вальжан забыл их. В сердце, где была рана, образовался шрам. Вот и все. Во все время, пока он пробыл в Тулоне, он слышал только один раз имя сестры. Это было в конце четвертого года его заточения. Не знаю, из какого источника до него дошло это сведение. Кто-то из его земляков видел его сестру. Она была в Париже. Она жила на глухой улице близ Сен-Сюльпис, на улице Хлебопеков. При ней был только один ребенок, младший мальчик. Где были шестеро остальных? Быть может, она сама того не знала. Каждое утро она ходила в типографию на улице Башмачников, No 3, где складывала листы и брошюровала их. Нужно было приходить на работу к шести часам утра, зимой задолго до рассвета. В одном доме с типографией была школа; она отводила своего

семилетнего мальчика в эту школу. Но так как ей нужно было быть в типографии в шесть часов, а школа открывалась не ранее семи, ребенку приходилось ждать на дворе целый час до открытия школы, — зимой ждать целый час на холоде. В типографию ему не позволяли входить, считая, что он будет мешать. Работники видели по утрам этого бедного малютку, дремавшего, а иногда и спавшего на мостовой, съежась над корзиной. Когда шел дождь, старуха-привратница сжаливалась над ним, она давала ему приют в своей конуре, где были только постель, прялка и два деревянных стула, и ребенок спал в уголке, прижавшись к кошке, чтобы меньше чувствовать холод. В семь часов открывалась школа, и он шел туда. Вот все, что сообщили Жану Вальжану. Этот рассказ был единственным мимолетным просветом, окошком, внезапно распахнувшимся перед ним на судьбу любимых им некогда людей, а затем все снова замкнулось; он больше никогда и ничего не слышал о них. До него уже не долетало ничего; никогда он их не встречал, и они уже не появятся в продолжение этой

печальной истории. К концу четвертого года наступила очередь Жана Вальжана бежать. Товарищи помогли ему, как это водится в этом печальном месте. Он бежал. Два дня бродил по полям на свободе, если можноназвать свободой положение затравленного зверя: ежеминутные оглядки, дрожь при каждом шорохе и страх перед всем, — перед дымом жилья, перед прохожим, перед залаявшим псом, перед скачущей лошадью, перед боем часов; днем потому, что все видно, ночью потому, что не видно ничего; он боялся дорог, тропинок, кустов, даже сна. Вечером второго дня он был пойман.

Тридцать шесть часов он не ел и не спал. Морской суд приговорил его за этот проступок дополнительно к трем годам каторги, что в общей сложности составило восемь лет. На шестом году опять наступила его очередь бежать. Он воспользовался очередью, но опять без успеха. Его хватились на перекличке. Начались сигнальные выстрелы из пушки, вечером патруль нашел его спрятавшимся под килем строившегося корабля; он оказал сопротивление

каторжным сторожам: побег и бунт. Это преступление, предусмотренное кодексом, было наказано продлением срока на пять лет, из которых два в двойных кандалах. Итого тринадцать лет. На десятом году пришла опять очередь побега. Он снова бежал. Успеха снова не было. За новую попытку прибавили еще три года — это составило шестнадцать лет. Наконец, кажется, на тринадцатом году, он пробовал бежать в последний раз и добился только того, что его поймали после четырехчасовой отлучки. Новая прибавка в три года за эти четыре часа. Всего девятнадцать лет. В октябре 1815 года его освободили — он попал на каторгу в 1796 году за разбитое стекло и украденный хлеб.

Позволим себе коротенькое отступление. Автор этой книги в своих исследованиях уголовного права и наказания встречается во второй раз с фактом кражи хлеба как с исходной точкой крушения жизни человека. Клод Гё украл булку; Жан Вальжан украл булку. Один английский статистик констатирует, что в

Лондоне из пяти случаев кражи четыре имеют непосредственной причиной голод.

Жан Вальжан попал на каторгу с ужасом и слезами, вышел оттуда — равнодушным. Он попал туда в отчаянии, а вышел — мрачным. Что произошло в этой душе?

Глава 21

Попытаемся высказаться.

Общество должно вглядеться в эти вещи, так как оно создало их.

Мы уже говорили, что Жан Вальжан был человек темный, но это не был дурак. В нем светилась искра природного ума. Несчастье, обладающее также свойством просвещать, добавило еще света в его душу. Под палкой, в кандалах, на цепи, в тюрьме, среди усталости, под жгучим солнцем каторги, на деревянном ложе арестанта, он сосредоточивался и размышлял.

Он возвел себя в судьи — и судил самого себя.

Он не признавал себя невиновным, неправильно наказанным. Он признался себе, что совершил насильственный и предосудительный проступок. Что, быть может, ему и не отказали бы в хлебе, если бы он попросил. Что во всяком случае лучше было дождаться милостыни или работы, чем сказать себе: «Голод не ждет!» Во-первых, крайне редко буквально умирают с голода, во-вторых, к счастью или к несчастью, человек создан так, что может страдать много и долго, физически и нравственно, не умирая, а следовательно, лучше было бы потерпеть. Это было бы лучше даже для бедных детей. Сказал себе, что было безумием с его стороны, со стороны бессильного человека, хватать за ворот все общество и вообразить возможным выйти из нищеты воровством. Что во всяком случае дурной исход из нищеты — дверь, ведущая к позору. Словом, он сознался себе, что был виновен.

Затем он задал себе другой вопрос.

Один ли он виновен в своей роковой истории? Во-первых, не имеет ли важности то обстоятельство, что у него, работника, не нашлось работы и что у него, трудолюбивого, не оказалось хлеба.

Далее он спросил себя, после того как проступок был совершен и он в нем сознался, не было ли слишком жестоко и несоразмерно наказание. Не было ли больше насилия со стороны наказующего закона, чем со стороны совершившего проступок. И если был перевес на одной стороне весов — то не на стороне ли искупления? Не уничтожает ли этот перевес вины и не приводит ли он к результату, переворачивающему положение вверх дном и переносящему вину с преступника на закон, превращая преступника в жертву и должника в кредитора, перемещая право на сторону того, кто его нарушил. Не становится ли наказание, усугубленное постепенными дополнениями за попытки к побегу, злоупотреблением власти сильного над слабейшим, насилием общества над

личностью и преступлением, возобновляемым ежедневно и продолжающимся девятнадцать лет.

Он спрашивал себя, вправе ли общество налагать на своих членов взыскание в одном случае за свою безумную беспечность, в другом — за свою неумолимую предусмотрительность и ставить несчастного человека в тиски между недостатком с одной стороны и избытком с другой — недостатка в работе и избытка в строгости.

Нет ли вопиющей несправедливости со стороны общества обрушиваться таким образом на членов, хуже всех оделенных при случайном распределении благ и, следовательно, заслуживающих снисхождения более других.

Поставив и разрешив эти вопросы, он принялся судить общество и обвинил его.

Он приговорил его к своей ненависти.

Он возложил на общество ответственность за свою судьбу и сказал себе, что он не поколеблется потребовать от него отчета при

случае. Он объявил самому себе, что нет равновесия между вредом, нанесенным им, и вредом, нанесенным ему; он пришел к заключению, что наказание его, если и не было несправедливостью, то было беззаконием.

Гнев может быть нелепым и безумным; можно сердиться несправедливо, но негодуют только тогда, когда чувствуют себя правым с какой бы то ни было стороны. А Жан Вальжан негодовал.

К тому же человеческое общество делало ему одно зло, он видел его лицо только в том состоянии гнева, именующегося правосудием, с каким оно взирает на тех, кого карает. Людское прикосновение причинило ему только боль. Всякое столкновение его с людьми равнялось удару. Никогда с самого детства, ни от матери, ни от сестры он не слышал ласкового слова, не видел ласкового взгляда. Переходя от страдания к страданию, он мало-помалу дошел до убеждения, что жизнь — война и что он побежденный в бою. У него было одно оружие — его ненависть. Он

решил отточить его на каторге и унести с собой в мир.

В Тулоне была школа для арестантов; устроенная монахами-игнорантинцами, преподававшими самые необходимые знания желающим. Жан Вальжан оказался в числе желающих. Он отправился в сорок лет в школу и научился читать, писать и считать. Он чувствовал, что, укрепляя свой ум, он подкрепляет свою вражду. В известных случаях знание и просвещение могут быть орудиями зла.

Печально сказать, что после суда над обществом, бывшим причиной его несчастья, он привлек к суду Провидение, создавшее общество, и осудил и Его.

Таким образом, в продолжение девятнадцатилетней пытки и рабства эта душа развивалась и притуплялась одновременно. С одной стороны в нее входил свет, с другой — тьма.

У Жана Вальжана, как уже видели, натура была не дурная. Попав на каторгу, он был еще

добрым. Уже там, когда он осудил общество, он почувствовал, что становится злым; когда он осудил Провидение, он почувствовал, что стал безбожником.

Трудно не остановиться здесь на минуту для размышления. Может ли природа человека измениться таким коренным образом? Человек, созданный Богом добрым, может ли стать злым по вине людей? Может ли судьба пересоздавать душу и может ли последняя превратиться в злую от злой судьбы? Может ли сердце искажаться и приобретать неизлечимые уродства и недуги под гнетом непосильного страдания, подобно тому, как гнется позвоночный столб в слишком низком помещении? Не существует ли в каждой человеческой душе и не существовало ли, в частности, в душе Жана Вальжана первичной божественной искры, бессмертной в этом мире и вечной в будущей жизни, которую добро способно раздуть, зажечь и воспламенить до яркого сияния и которую зло никогда не может окончательно погасить?

Важные и темные вопросы, на которые всякий физиолог ответил бы, вероятно, отрицательно, в особенности на последний, если бы видел Жана Вальжана в Тулоне в часы отдыха, бывшие для него часами размышления, когда он сидел, скрестив руки, на палубе какой-нибудь баржи, подобрав в карман конец цепи, чтобы она не путалась под ногами. Физиолог не колеблясь ответил бы «нет», взглянув в такой момент на этого угрюмого, задумчивого и серьезного каторжника, на этого парию закона, смотревшего на человека с ненавистью, на этого отверженца цивилизации, смотревшего на небо с суровостью.

Без сомнения, и мы не скроем этого, физиолог-наблюдатель увидел бы тут непоправимый недуг; быть может, он почувствовал бы сострадание к этому человеку, искалеченному законом, но он и не предложил бы никакого лечения; он отвернулся бы от трущоб этой души и стер бы с этого существования слово, начертанное однако Богом на челе всякого человека, — надежда!

Это состояние души, которое мы старались проанализировать, было ли так же ясно для Жана Вальжана, как мы изложили его для читателей? Сознавал ли Жан Вальжан определенно, после образования их и по мере их наслоения, все элементы, из которых складывалось его нравственное горе? Этот грубый и безжалостный человек отдавал ли себе ясно отчет в последовательной нити идей, через которые он, шаг за шагом, поднимался и опускался до мрачного воззрения, составлявшего уже несколько лет внутренний горизонт его ума? Сознавал ли он все, что произошло в нем, и все, что в нем бродило? Этого мы не смеем утверждать; впрочем, мы этого и не думаем. Жан Вальжан был слишком невежествен, даже после всех своих несчастий, для того, чтобы в нем многое не было смутно. Минутами он не мог даже отдавать себе отчета в том, что он испытывал. Жан Вальжан был погружен во мрак; он страдал во мраке; он ненавидел во мраке, можно было бы сказать, что он ненавидел все ощупью. Он жил в этой тьме, как слепой или

мечтатель. Только по временам внезапно из недр его души или извне на него налетал вихрь злобы, припадок страдания, бледная и мимолетная молния вспыхивала в его душе и освещала страшным светом все вокруг него: впереди и позади он видел безобразные бездны и темные перспективы своей судьбы. Молния пролетала, ночь водворялась снова, и он сам не осознавал, где он находится.

Страданиям этого порядка, где преобладает ожесточение, то есть этому отупению, свойственно то, что они мало-помалу, посредством безобразного преображения, превращают человека в дикого зверя, а иногда в зверя лютого…

Попытки к бегству Жана Вальжана, последовательные или упорные, служили внешними проявлениями этой внутренней переработки, совершаемой законами над человеческой душой. Жан Вальжан готов был повторять эти попытки, бесполезные и безумные, столько же раз, сколько к ним представлялся

случай, не задумываясь ни на минуту над результатом и над предшествовавшими опытами. Он бежал стремительно на волю, как волк, когда забудут запереть его клетку. Инстинкт говорил ему: «Беги!» — Рассудок подсказал бы ему: «Останься!» Но перед сильным искушением рассудок молчал, оставался один инстинкт. Действовал исключительно зверь. После поимок новые строгости усиливали в нем только это одичание.

Мы не должны упустить из виду одну подробность — то, что он физически был сильнее всех своих товарищей по каторге. За работой, нужно ли было свить канат или тащить баржу бечевой, Жан Вальжан стоил четырех человек. Он поднимал на спину и носил неимоверные тяжести и заменял иногда инструмент, называемый воротом, который в старину звали orgeuil (вага), от чего, скажем мимоходом, произошло название улицы Монторго, лежащей близ парижского рынка. Товарищи прозвали его Жаном-Воротом. Однажды, когда исправляли балкон тулонской ратуши, одна из великолепных

кариатид работы архитектора Пюже, поддерживающих балкон, отошла от стены и чуть не повалилась. Жан Вальжан, бывший тут, подпер плечом кариатиду и дал возможность рабочим подоспеть вовремя.

Его гибкость превышала его силу. Некоторые каторжники, вечно мечтая о побегах, доводят сочетание силы и гибкости до науки. Это наука мускулов. Целая система таинственных упражнений проделывается ежедневно арестантами, вечно завидующими мухам и птицам. Подняться по отвесной линии и находить точки опоры в незаметных выступах было игрушкой для Жана Вальжана. На данном углу стены, напряжением спинных и ножных мускулов, цепляясь с помощью локтей и колен за неровности камней, он как бы с помощью волшебства вскарабкивался до третьего этажа. Иногда он взлезал таким способом до крыши тюремного здания.

Он говорил мало и не смеялся никогда. Только чрезвычайное возбуждение вызывало в нем два

или три раза в год ужасный хохот каторжника, походивший на эхо демонического смеха. Глядя на него, можно было предположить, что он занят постоянным созерцанием чего-то страшного. Он был действительно погружен в страшные думы. Сквозь болезненные ощущения недоразвитого характера и подавленного ума он смутно чувствовал над собой присутствие чего-то чудовищного. В той полутьме, среди которой он пресмыкался, каждый раз, когда он поворачивал голову и силился взглянуть наверх, он видел над собой с ужасом, смешанным с бешенством, целую гору, вздымающуюся до бесконечности, целое здание нагроможденных предметов: законов, предрассудков, людей и фактов, контуры которых он не мог уловить, но устрашавших его своей массой и бывших не чем иным, как величественной пирамидой, именуемой нами цивилизацией. Он различал тут и там, в этой движущейся и перепутанной массе, то около себя, то в отдалении, на недосягаемой высоте, какую-нибудь ярко освещенную группу или подробность. Ему казалось, что эти отдаленные

сияния не только не рассеивают, но еще сгущают мрак окружающей его ночи. Все это: законы, предрассудки, факты, люди, предметы двигались над его головой взад и вперед, в сложном и таинственном механизме цивилизации, и все это топтало и давило его со спокойной жестокостью и неумолимым равнодушием. Души, опустившиеся до самого дна крайнего горя, несчастные, затерянные в глубине преисподней, куда не проникает уже взор, отверженцы закона чувствуют над своей головой тяготение всего человеческого общества, столь грозного для каждого стоящего вне его, столь безжалостного к тому, кто очутится под его ногами.

В этом положении Жан Вальжан думал, — но какого рода могли быть его мысли?

Если бы пшеничное зерно было одарено способностью мыслить, оно думало бы между жерновами то же, что думал Жан Вальжан.

Все эти вещи, вся эта действительность, полная призраков, все эти видения, полные

действительности, создали ему почти необъяснимую внутреннюю жизнь.

Были мгновения, когда он останавливался посреди принудительной работы. Он задумывался. Его рассудок, более зрелый и более опытный, чем прежде, бунтовал. Все случившееся с ним казалось ему нелепостью. Все окружавшее казалось ему невозможным. Он говорил себе — это сон. Он смотрел на надсмотрщика, стоявшего в нескольких шагах от него; надсмотрщик казался ему призраком. И вдруг этот призрак бил его палкой.

Видимая природа вряд ли существовала для него. Почти что можно сказать, что для Жана Вальжана не существовало ни солнца, ни светлых летних дней, ни ясного неба, ни свежих апрельских зорь. Какой-то полусвет могильного склепа стоял постоянно в его душе.

Для того чтобы обобщить все, что может быть обобщено и учтено как положительные выводы из того, что было подмечено нами, мы ограничимся констатацией одного: Жан Вальжан,

наивный обрезчик деревьев в Фавероле, после девятнадцатилетней каторжной переработки стал способным на два вида дурных поступков: во-первых, на дурной поступок внезапный, необдуманный, чисто инстинктивный и совершенный в угаре необъяснимой мести за испытанные страдания; во-вторых, на дурной поступок серьезный, преднамеренный, заранее обдуманный и основанный на ложных идеях, какие могут зарождаться в его голове. Его замыслы переходили три последовательные фазы развития, свойственные только натурам известного закала; они переходили через обсуждение, решение и настойчивость. Двигателями их являлись: постоянное раздражение, душевная горечь, глубокое осознание испытанных оскорблений и злоба даже против добрых, невинных и справедливых людей, если такие есть. Исходной точкой, как и выводом всех его помыслов, была ненависть к человеческим законам: ненависть, выражающаяся через данное время, если развитию ее не помешает какая-нибудь

благодетельная случайность, в ненависть к обществу, к человеческому роду, ко всему созданному, выражающаяся непрерывным стремлением вредить безразлично всякому живому существу. Как видно, Жан Вальжан недаром был отмечен в паспорте человеком «очень опасным».

Из года в год эта душа черствела, медленно, роковым образом. При сухом сердце и глаза сохнут. Когда его освободили с каторги, минуло девятнадцать лет, как он не проронил ни одной слезы.

Глава 22

Человек за бортом!

Что за дело кораблю; он не остановится. Дует ветер, корабль вынужден идти к месту назначения по предначертанному пути. Он плывет вперед!

Человек погружается и всплывает снова на поверхность, исчезает и показывается, зовет,

простирает руки; его никто не слышит. Корабль, содрогаясь под порывами урагана, весь поглощен маневром, матросы и пассажиры теряют из виду тонущего; его бедная голова не более точки среди гигантских волн.

Он испускает крики отчаяния, пропадающие в просторах океана. Парус удаляется как призрак! Он смотрит, — смотрит на него страстно! Парус удаляется, бледнеет и уменьшается. А между тем не более минуты тому назад этот человек был членом экипажа, сновал наравне с другими взад и вперед по палубе, и у него была своя доля воздуха и солнца, он жил. Что же случилось? Он поскользнулся, упал — и все кончено. Он в чудовищной стихии. Под ногами его все уплывает и уходит. Косматые, растрепанные ветром волны безобразно толпятся вокруг, водовороты кружат его, барашки волн смыкаются над его головой, и чудовищные бездны разверзаются под ногами; при каждом погружении он видит темные пропасти, страшные, неизвестные растения хватают его, опутывают ноги, тянут к себе; он чувствует, что

становится частью пучины, превращается в ее пену; волны перебрасываются им, как мячиком, он глотает соленую воду, гнусный океан силится его утопить, стихия играет его агонией. Кажется, что вся вода враждует с ним.

Он, однако, борется.

Он старается защищаться, продержаться, делает усилия, плывет. Он, эта жалкая сила, истощающаяся в одно мгновение, борется против вечного двигателя.

Но где же корабль? Вон там. Он еле виднеется на бледной черте серого горизонта.

Буря воет, пена хлещет. Он поднимает глаза и видит только мертвенные облака. Он в агонии присутствует при бесновании моря. Это беснующееся море подвергает его пытке. Он слышит звуки, чуждые человеку, звуки неземные и поднимающиеся неизвестно из какого страшного места.

В облаках птицы, над человеческими бедствиями ангелы: но чем они могут помочь

ему? Они летают, поют, реют, а он уже хрипит.

Он чувствует себя погребенным между двумя бесконечностями: океаном и небом. Одно — его могила, другое — саван.

Наступает ночь, он плывет уже несколько часов, силы его истощены. Корабль, этот далекий предмет, на котором были люди, давно пропал из виду, он остался один в темной пучине, он погружается, напрягает силы, мечется в судорогах, чувствует над собой чудовищные волны, зовет.

Нет людей, но где же Бог?

Он зовет. Помогите! Помогите! Он все продолжает звать.

Ничего не показывается ни на горизонте, ни на небе.

Он молит пространство, волны, водоросли, утесы! Все глухо. Он молит бурю. Равнодушная буря повинуется только стихиям.

Вокруг него мрак, мгла, одиночество, бушующая, безучастная буря, бесконечный плеск

грозных волн. Вокруг ужас и утомление. Под ним гибель. Нет нигде спасительной точки. Он думает о мрачных странствиях трупа в безграничной тьме. Его леденит холод, которого он не ощущает. Руки его судорожно ловят пустоту. Ветер, облака, бесполезные звезды! Что делать? Несчастный сдается. Усталый решается умереть, он перестает бороться, отдается на волю стихий и навеки погружается в мрачную бездну.

О, неумолимый ход человеческих обществ! Гибель людей и душ по дороге! Океан, поглощающий все, что выбрасывает закон! Отсутствие помощи! Нравственная смерть!

Море — это неумолимая социальная ночь, куда закон бросает приговоренных. Море — это безграничное горе.

Душа, борющаяся с этой бездной, может превратиться в труп. Кто воскресит ее?

Глава 23

Когда наступил час выхода из тюрьмы и Жан Вальжан услышал непривычное: «Ты свободен!», он испытал чувство невероятное и необычайное: луч яркого света, настоящего света живого мира, упал в его душу. Но этот луч не замедлил скоро побледнеть. Жан Вальжан был ослеплен мыслью освобождения. Он поверил в возможность новой жизни. Но он быстро увидел, какова свобода с желтым паспортом.

К этому присоединились еще новые разочарования. Он рассчитывал, что его заработок, копившийся со времени поступления на каторгу, составит сто семьдесят один франк. Нужно, впрочем, заметить, что он забыл исключить воскресенья и дни насильственного прогула по праздникам, что за девятнадцать лет составляло около двадцати четырех франков вычета. Но как бы то ни было, сумма его сбережений вследствие различных местных удержек сократилась до ста девяти франков пятнадцати су, которые и были вручены ему.

Он ничего не понял в этом расчете и считал себя обманутым, то есть, говоря попросту, обворованным.

На другой день после освобождения, в Грассе, у ворот завода для перегонки померанцевой воды он увидел рабочих, разгружавших тюки. Он предложил свои услуги. Работа была срочная, его предложение приняли. Он взялся за дело. Он был ловок, силен и сметлив, и к тому же старателен; хозяин, казалось, был доволен им. Во время работы мимо проходил жандарм, заметил его и потребовал его бумаги. Пришлось показать желтый паспорт. Затем Жан Вальжан вернулся к работе. Немного ранее он расспросил одного из работников о том, сколько получают за такую работу в день, ему ответили: «Тридцать су». Вечером, так как ему следовало продолжать свой путь с рассветом, он отправился к хозяину завода и попросил рассчитать его. Хозяин, не говоря ни слова, подал ему пятнадцать су. Он протестовал. Хозяин пристально посмотрел на него и сказал: «Берегись кутузки!» Еще раз он счел, что его обокрали.

Общество, государство, делая вычет из его заработка, обкрадывали его оптом. Теперь частное лицо обокрало его на мелочи. Освобождение не оправдание. Освобождаешься от каторги, но не от преследования.

Вот что случилось с ним в Грассе. Прием, оказанный ему в Дине, уже известен.

Глава 24

Когда на соборной колокольне пробило два часа, Жан Вальжан проснулся.

Его разбудило то, что постель была слишком мягка. Он уже двадцать лет не спал на хорошей постели, и хотя он лег не раздеваясь, но слишком непривычное ощущение мешало ему заснуть крепко.

Он проспал четыре часа. Усталость прошла, — он привык к непродолжительному отдыху.

Он раскрыл глаза и несколько мгновений глядел в темноту, затем снова сомкнул веки,

силясь заснуть. После дня, наполненного различными впечатлениями, когда человек озабочен, он может еще заснуть с вечера, но когда проснется, ему уже не спится. Сон приходит легче, чем возвращается. То же случилось и с Жаном Вальжаном. Он не смог заснуть во второй раз и принялся думать.

Он пережил одно из тех мгновений, когда мысли в голове неясны. В мозгу его происходила сумятица. Старые воспоминания и свежие впечатления беспорядочно толпились и путались, теряя очертания, принимая преувеличенные размеры, и внезапно обрывались, словно падая в мутную и взбаламученную воду. Много различных мыслей приходило ему в голову, но одна постоянно возвращалась и заслоняла другие. В чем она состояла, мы сейчас объясним: он заметил шесть серебряных приборов и большую суповую ложку, положенные мадам Маглуар на стол.

Эти приборы не давали ему покоя. Они лежали тут, в нескольких шагах от него. Проходя

по спальной, он видел, как старая служанка прятала их в шкафчик над изголовьем постели. Он хорошо приметил шкафчик. Он находился справа по выходе из столовой. Приборы были массивные, из старинного серебра. Вместе с суповой ложкой продажей их можно было выручить до двухсот франков. Вдвое больше, чем то, что он заработал в девятнадцать лет. Правда, он мог заработать больше, если бы, как он предполагал, его не обокрала администрация тюрьмы.

Он провел целый час в колебаниях и в борьбе.

Пробило три часа. Он раскрыл глаза, приподнялся на постели, протянул руку и ощупал ранец, брошенный им в угол алькова, после чего свесил ноги и бессознательно сел.

Он оставался несколько минут в раздумье в этом положении, которое показалось бы зловещим каждому, кто мог бы увидеть его бодрствующим таким образом одного среди ночи, в доме, где все кругом спало. Внезапно он нагнулся, снял башмаки и поставил их без шума

на циновку, после чего опять впал в неподвижность и раздумье.

На протяжении этого страшного раздумья мысль, о которой мы упомянули, постоянно шевелилась в его голове, то являлась, то исчезала и снова возвращалась, производя давление на остальные. И в то же время сам он не знал, почему перед ним машинально вертелось воспоминание об одном каторжнике, Бреве, которого он знал на галерах и который носил панталоны на одной вязаной подтяжке. Рисунок шашками этой подтяжки преследовал его неотвязно.

Он все сидел не двигаясь и, может быть, просидел бы так вплоть до утра, если бы часы не пробили четверти или половины четвертого. Этот звон точно толкнул его: «Ступай!»

Он встал на ноги, еще несколько минут постоял в нерешительности, прислушался: в доме было тихо. Тогда он тихонько подошел к окну, смутно различаемому им. Ночь была темна; на небе стояла полная луна, но ее беспрестанно

заволакивали большие тучи, подгоняемые ветром. А потому на дворе постоянно перемежались свет и мрак, а в комнатах стояли полусумерки. Можно было двигаться при этом слабом освещении, неровном благодаря облакам и походившем на свет, проникающий в подвал сквозь отдушину и заслоняемый временами прохожими. Подойдя к окну, Жан Вальжан осмотрел его. Оно было без решетки, выходило в сад и запиралось по местному обычаю задвижкой. Он открыл окно, но так как ворвавшийся воздух был резок и холоден, он тотчас же захлопнул его. Он всматривался в сад испытующим, внимательным взором. Сад был обнесен белой, довольно низкой оградой, перелезть через которую было не трудно. В глубине, за оградой, он различил верхушки деревьев, симметрично рассаженных, указывавших, что за оградой находится или другой сад, или переулок, обсаженный по обе стороны деревьями.

После этого осмотра он сделал движение человека, принявшего решение, прямо

направился к алькову, взял свой ранец, открыл его, пошарил внутри, вынул какую-то вещь и положил ее на постель; затем сунул башмаки в карман, затянул ранец ремнями и надел его на плечи; накрыл голову картузом, сдвинул козырек на глаза, ощупью нашел палку, которую поставил у окна, затем вернулся к постели и схватил решительно вещь, лежавшую там. Это был короткий и толстый железный стержень, с одним заостренным концом.

В потемках трудно было определить назначение этого куска железа. Это мог быть и слесарный инструмент, и кистень.

Днем ясно можно было бы увидеть, что это не более как подсвечник, употребляемый рудокопами. Арестантов заставляли нередко добывать камни из холмистой возвышенности Тулона, и потому в их руки попадали рудокопные орудия. Подсвечники рудокопов делаются из массивного железа и оканчиваются снизу острием, втыкаемым в землю.

Он взял подсвечник в правую руку и, сдерживая дыхание, осторожно ступая, направился к соседней комнате, служившей, как известно, спальней епископу. Дойдя до двери, он нашел ее только притворенной: епископ даже не запер ее за собой.

Глава 25

Жан Вальжан прислушался. Ничего не было слышно. Он толкнул дверь. Он тронул ее кончиком пальца, слегка, с осторожной и боязливой мягкостью кошки.

Дверь поддалась давлению и, бесшумно скользнув, приотворилась чуть шире.

Выждав минуту, он толкнул дверь вторично, но уже сильнее. Она продолжала подаваться без шума. Отверстие было теперь достаточно широко для того, чтобы мог пройти человек. Но возле двери стоял столик, заграждавший вход.

Жан Вальжан заметил препятствие. Нужно было во что бы то ни стало еще немного

расширить проход. Он решился еще толкнуть дверь и дал толчок значительно сильнее двух предыдущих. Тогда плохо смазанная петля резко и продолжительно заскрипела среди тишины.

Жан Вальжан содрогнулся. Скрип этот раздался в его ушах со страшной и потрясающей силой звука трубы второго пришествия.

Фантастическое преувеличивание первого испуга заставило его почти вообразить, что дверь внезапно оживилась сверхъестественной жизнью и залаяла, как собака, чтобы разбудить спящих людей. Он остановился растерянный, дрожа от страха, и опустился с носков на пятки. Кровь стучала в его висках, как два кузнечных молота, и само дыхание, казалось, вылетало из груди с шумом ветра, вырывающегося из пещеры. Ему чудилось, что ужасный крик разъяренной петли потряс весь дом, как землетрясение. Дверь под его толчком забила тревогу: старик встанет, обе женщины примутся кричать, сбежится на помощь народ; через четверть часа весь город

всполошится и жандармы будут на ногах. Одно мгновение он считал себя погибшим.

Он застыл на одном месте, как соляной столб, и не двигался. Прошло несколько секунд. Дверь была распахнута настежь. Он рискнул заглянуть в комнату. Там все было тихо. Он напряг слух. Во всем доме ничего не шевелилось. Скрип ржавой петли не разбудил никого.

Первая опасность миновала, но внутри его царило смятение. Это, однако, не остановило его. Даже считая себя погибшим, он не отступил. Он думал лишь о том, как бы скорее завершить задуманное. Он сделал шаг и переступил порог. В комнате царило глубокое спокойствие. Тут и там виднелись неясные очертания предметов, бывших днем бумагами, разбросанными по столу, раскрытыми фолиантами, кипами книг, нагроможденных на табурете, креслом, с положенным на нем платьем, молитвенным стулом, но в настоящий момент представлявшимися темными фигурами с белыми пятнами. Жан Вальжан пробирался осторожно,

старяясь не задеть мебель. Из глубины комнаты до него доходило ровное и спокойное дыхание епископа.

Он вдруг остановился перед постелью. Он очутился перед ней быстрее, чем ожидал.

Природа иногда очень вовремя добавляет свои эффекты и проявления к нашим поступкам, как бы желая подтолкнуть нас к размышлениям. Около получаса небо было подернуто тучами. Но в ту минуту, когда Жан Вальжан остановился перед постелью, туча, как нарочно, рассеялась, и луч месяца, пролегая по узкому окну, осветил бледное лицо епископа. Он спал безмятежно.

Вследствие холодных ночей, свойственных этому времени года в Нижних Альпах, епископ ложился в постель почти одетый, и темные рукава шерстяной фуфайки закрывали его руки до кистей. Запрокинутая назад голова лежала в позе отдохновения на подушке, и поверх одеяла свесилась украшенная епископским перстнем рука, раскрывавшаяся для стольких добрых дел и святых милостыней. Все лицо его дышало

неопределенным выражением спокойствия, надежды и мира. Оно было более чем улыбающееся — оно сияло. На челе его покоилась лучезарная ясность, отблеск невидимого света. Душа праведника во время сна созерцает таинственное небо.

На лице епископа отражалось это небо.

Но в то же время это сияние шло изнутри, — небо было и в епископе.

Этим небом была его совесть.

В ту минуту, когда луч месяца, так сказать, соприкоснулся с этим внутренним светом, спящий епископ предстал окруженный сиянием. Сияние это было кроткое и как бы подернутое прозрачной мглой. Луна, спящая природа, дремлющий сад, безмолвный дом, время и тишина придавали какую-то особенную торжественность отдыху этого человека и окружали мягким и величавым ореолом эти седины, эти сомкнутые веки, это лицо, где все было надеждой и доверием, эту старческую голову и детский сон.

В этом бессознательном величии было действительно что-то неземное.

Жан Вальжан стоял в тени, держа в руке свой железный подсвечник, и смотрел, ошеломленный, неподвижный, на сияющего старика. Он не видел никогда ничего подобного. Эта доверчивость пугала его. Какое зрелище нравственного мира может сравняться величественностью со следующей картиной: нечистая и встревоженная совесть, стоящая на пороге к дурному поступку, созерцает сон праведника.

Этот сон в таком уединении и в таком соседстве заключал в себе что-то необычайное, и это смутно, но неотступно ощущал Жан Вальжан.

Никто не мог бы определить, что происходило в нем, даже он сам. Для того чтобы попытаться отдать себе отчет в этом, надо представить себе сопоставление всего самого грубого и самого нежного. Даже на лице его трудно было бы прочесть что-нибудь определенное. На нем было какое-то растерянное изумление. Он смотрел, вот

и все. Но каковы были его мысли? Невозможно было отгадать. Очевидно было то, что он взволнован и встревожен. Но какого характера было это волнение? Глаза его не отрывались от старика. Единственное, что ясно отражалось на его лице и в его позе, было странное колебание. Можно было предположить, что он колеблется между двумя безднами: той, где гибель, и той — где спасение. Он был одинаково готов размозжить этот череп и поцеловать эту руку.

Через несколько мгновений он медленно поднес руку к голове и снял шапку, после чего рука его так же медленно опустилась, и Жан Вальжан впал снова в созерцание, держа в левой руке картуз, в правой — кистень, между тем как волосы щетинились на остриженной голове.

Епископ продолжал покоиться тихим сном под страшным взором.

Отблеск луны ясно очерчивал распятие над камином, простиравшее к обоим свои длани, с благословением для одного, с прощением для другого. Вдруг Жан Вальжан нахлобучил на лоб

шапку и быстро, не глядя на епископа, зашагал вдоль постели, прямо к шкафчику, находившемуся у изголовья. Он поднял подсвечник, как бы решив сломать замок, но ключ торчал в дверце, и он отворил ее; первая вещь, бросившаяся ему в глаза, была корзина с серебром; он взял ее, пересек комнату крупными шагами, без всяких предосторожностей и не обращая внимания на шум, достиг двери, вернулся в молельную, открыл окно, схватил свою палку, перемахнул через подоконник, сунул серебро в свой ранец, бросил корзину, пробежал через сад, перелез через забор, как тигр, и убежал.

Глава 26

На следующий день, на восходе солнца, епископ прогуливался по саду. Мадам Маглуар прибежала к нему в тревоге.

— Ваше преосвященство, ваше преосвященство, — восклицала она, — не знаете ли, куда девалась корзина с серебром?

— Знаю, — ответил епископ.

— Слава тебе господи! — возразила она. — Я не знала, куда она запропастилась.

Епископ поднял корзину с клумбы. Он подал ее мадам Маглуар.

— Вот она.

— Но ведь она пустая, а где же серебро?

— Гм… — отозвался епископ. — Вы хотите знать, где серебро? Я этого не знаю.

— Господи боже мой! Оно украдено! Его украл вчерашний человек.

В один миг, со своей обычной расторопностью, мадам Маглуар сбегала в молельную, заглянула в альков и возвратилась к епископу. Епископ нагнулся и со вздохом разглядывал куст кохлеарий, сломанный падением корзины. Он поднял голову, услышав вопль мадам Маглуар.

— Ваше преосвященство, он ушел, а серебро украдено!

Восклицая таким образом, она повела глазами и заметила в углу забора следы побега. Верхняя доска была отодрана.

— Глядите: он перелез тут. Он перебрался в переулок Кошфиле. Экая напасть! Он украл наше серебро.

Епископ стоял с минуту молча, затем, подняв задумчивый взор, он кротко сказал мадам Маглуар:

— Однако прежде всего надо еще спросить, наше ли было серебро?

Мадам Маглуар растерялась. Повисло молчание, после которого епископ продолжал:.

— Мадам Маглуар, я давно неправильно держал у себя это серебро. Оно принадлежит бедным. А кто этот человек? Очевидно, бедный.

— Господи Иисусе! — возразила мадам Маглуар. — Дело не во мне и не в барышне. А в вас, ваше преосвященство. Чем вы будете теперь кушать?

— Разве нет оловянных приборов? — спросил епископ с удивлением.

Мадам Маглуар пожала плечами:

— У олова запах.

— В таком случае есть железные приборы.

Мадам Маглуар сделала выразительную гримасу.

— У железа привкус.

— Обзаведемся деревянными приборами.

Немного времени спустя он сел завтракать за тот же стол, за которым накануне сидел Жан Вальжан. Завтракая, преосвященный Бьенвеню шутливо доказывал своей сестре, не говорившей ни слова, и мадам Маглуар, ворчавшей себе под нос, что не нужно ни ложек, ни вилок, даже деревянных, для того, чтобы макать хлеб в молоко.

— Кому же в голову может прийти сажать с собой за стол такого сорта людей! — бормотала про себя мадам Маглуар, суетясь по хозяйству. —

И уложить его спать рядом с собой! Счастье, что ограничился воровством, могло случиться и хуже! О господи! Страх разбирает при одной мысли об этом!

Брат и сестра собирались встать из-за стола, когда в дверях раздался стук.

— Войдите, — отозвался епископ.

Дверь отворилась. Странная и возбужденная группа людей показалась на пороге. Три человека держали за ворот четвертого. Трое людей были жандармы, четвертым был Жан Вальжан.

Жандармский бригадир, по-видимому, начальник остальных, стоял в дверях. Он вошел и, приближаясь к епископу, приложился к козырьку.

— Ваше преосвященство, — сказал он.

При этом слове Жан Вальжан, стоявший понуро, поднял голову с изумлением.

— Его преосвященство! — пробормотал он. — Следовательно, он не кюре.

— Молчи! — крикнул один из жандармов. — Это преосвященный епископ.

Епископ приблизился со всей живостью, какую дозволял ему преклонный возраст.

— Ах, это вы, — сказал он, глядя на Жана Вальжана. — Очень рад вас видеть. Послушайте, однако, я ведь подарил вам подсвечники, они серебряные, как и остальное, и продажей всего вы могли бы выручить до двухсот франков. Отчего вы не взяли их вместе с приборами?

Жан Вальжан поднял глаза и поглядел на епископа с выражением, которого не может передать ни один человеческий язык.

— Так этот человек говорил правду, ваше преосвященство? — сказал жандармский бригадир. — Мы встретили его… Он имел вид беглеца. Мы задержали его, обыскали и нашли серебро…

— И он сказал вам, — проговорил епископ, улыбаясь, — что это подарил ему старик-

священник, пустивший его на ночлег? Не так ли? А вы привели его сюда? Тут недоразумение.

— Следовательно, мы можем отпустить его? — спросил бригадир.

— Без сомнения, — отвечал епископ.

Жандармы выпустили Жана Вальжана, который попятился.

— Правда ли, что меня освобождают? — проговорил он беззвучно, как говорят люди во сне.

— Да, тебя отпускают, разве ты не слышал? — сказал один из жандармов.

— Мой друг, — обратился к нему епископ, — прежде чем вы уйдете, возьмите же ваши подсвечники. Вот они.

Он подошел к камину, взял серебряные подсвечники и принес их Жану Вальжану. Женщины глядели на него и ни словом, ни жестом не мешали ему.

Жан Вальжан трясся всем телом. Он машинально взял подсвечники с растерянным видом.

— Идите с миром, — сказал ему епископ. — Кстати, мой друг, если вы еще придете, то лишнее ходить через сад. Вы можете всегда приходить и уходить в дверь с улицы. Она запирается днем и ночью на щеколду.

Затем, обращаясь к жандармам, он прибавил:

— Господа, можете идти.

Жандармы удалились.

Жан Вальжан чувствовал, что он близок к обмороку.

Епископ подошел к нему и сказал шепотом:

— Не забывайте, не забывайте никогда вашего обещания; вы дали слово употребить эти деньги на то, чтобы сделаться честным человеком.

Жан Вальжан, не помнивший никаких обещаний, смутился. Епископ произнес эти слова

с особенным ударением. Он продолжал торжественно:

— Жан Вальжан, брат мой, отныне вы перестаете принадлежать злу и поступаете во власть добра. Я купил вашу душу. Изгоняю из нее мрачные мысли и дух тьмы и вручаю ее Богу.

Глава 27

Жан Вальжан вышел из города, не чувствуя под собой ног. Он торопливо шел полями, не разбирая дорог и тропинок, попадавшихся по пути, и не замечая, что кружит на одном месте. Он проблуждал таким манером целый день, без еды и не чувствуя голода. Его осаждал сонм новых ощущений. Он испытывал гнев, не зная против кого. Он не мог бы определить сам, растроган он или оскорблен. Минутами на него находило странное умиление, с которым он боролся всей очерствелостью последних двадцати лет. Это состояние тяготило его. Он видел с тревогой, что в нем поколебалось безобразное равнодушие, почерпнутое им в

страданиях. Он спрашивал себя, чем заменить его. Иногда ему казалось, что он предпочел бы тюрьму с жандармами, лишь бы всего этого не случилось. Арест меньше взволновал бы его. Хотя была уже довольно поздняя осень, но на изгородях тут и там попадались цветы, напоминавшие ему своим ароматом его детство. Эти воспоминания были ему почти невыносимы, так он от них отвык. Целый день на него налетали самые необъяснимые мысли. Когда солнце склонилось к закату и каждый самый незначительный камушек бросал удлиненную тень на землю, Жан Вальжан сидел за кустом в широкой долине, совершенно один. На горизонте видны были только Альпы. Нигде не виднелось даже шпиля деревенской колокольни. Жан Вальжан отошел от Диня не далее трех лье. В нескольких шагах от куста пролегала тропинка, перерезывавшая долину.

Погруженный в раздумья, придававшие еще более странный вид его лохмотьям, которые наверняка испугали бы всякого, кто бы встретил его тут, он услышал веселый голос.

Повернув голову, он увидел на тропинке маленького савояра, лет десяти, с волынкой через плечо и с сурком в котомке за спиной.

Это был один из тех кротких и веселых мальчуганов, которые странствуют из деревни в деревню, в оборванной одежде, сквозь которую просвечивает голое тело.

Мальчуган шел распевая песни и временами останавливался поиграть несколькими монетами, зажатыми в руке, по всей вероятности, составлявшими все его состояние, в числе которых находилась одна монета в сорок су.

Ребенок остановился возле куста, не замечая Жана Вальжана, и подбросил свою пригоршню денежек, которую он до сих пор ловко подхватывал тыльной поверхностью руки.

Но в этот раз монетка в сорок су сорвалась и покатилась по траве по направлению к Жану Вальжану.

Жан Вальжан наступил на нее ногой.

Ребенок следил глазами за монеткой и увидел человека.

Он не опешил и смело направился к нему.

Место было очень пустынное. Насколько мог окинуть глаз, никого не было видно ни в долине, ни на тропинке. Слышен был слабый крик стаи перелетных птиц, летевших по небу на недосягаемой высоте. Мальчик стоял спиной к солнцу, золотившему его волосы и заливавшему кровавым багрянцем дикое лицо Жана Вальжана.

— Милостивый государь, — сказал маленький савояр с детским доверием, состоящим из смеси незнания и невинности, — отдайте мою монетку.

— Как тебя зовут? — спросил Жан Вальжан.

— Малыш Жервэ, сударь.

— Убирайся прочь, — сказал Жан Вальжан.

— Отдайте мою монетку.

Жан Вальжан опустил голову и не отвечал. Ребенок приставал:

— Отдайте мою монетку, сударь.

Жан Вальжан не отрывал глаз от земли.

— Подайте мою монетку! — кричал ребенок. — Отдайте мою серебряную белую монетку!

Жан Вальжан точно оглох. Мальчик схватил его за ворот блузы и принялся трясти.

В то же время он силился сдвинуть толстый башмак, подкованный гвоздями, наступивший на его монету.

— Я хочу мою монетку! Мою монетку в сорок су!

Ребенок заплакал. Жан Вальжан поднял голову. Он продолжал сидеть. Глаза его были мутны. Он поглядел на ребенка с удивлением, протянул руку к своей палке и крикнул страшным голосом:

— Это кто тут?

— Это я, сударь, я, малыш Жервэ! Отдайте мне мою монетку, прошу вас! Отодвиньте вашу

ногу, пожалуйста!

Затем, рассердившись и принимая угрожающий вид, несмотря на то, что был совсем маленький, он крикнул:

— Слушайте, отодвиньте ногу. Говорят вам, отодвиньте ногу!

— А! Ты все еще тут! — сказал Жан Вальжан и внезапно встал во весь рост и, не сдвигая ноги с монетки, прибавил: — Да уберешься ли ты наконец?

Мальчик растерянно взглянул на него, затрясся с ног до головы и после нескольких минут оцепенения бросился бежать со всех ног, не смея ни обернуться, ни крикнуть. Однако на некотором расстоянии ему пришлось остановиться перевести дух и Жан Вальжан сквозь свои думы слышал его рыдания.

Через несколько мгновений мальчик скрылся из виду.

Солнце село.

Вокруг Жана Вальжана все стемнело. Он целый день не ел ничего, и, по всей вероятности, его била лихорадка.

Он продолжал стоять и не переменял положения с ухода мальчика. Он дышал редко и неровно. Его взгляд, устремленный на десять или двенадцать шагов вперед, словно изучал с глубоким вниманием синий фаянсовый черепок, валявшийся в траве. Вдруг он вздрогнул, он почувствовал вечернюю прохладу.

Он крепче нахлобучил шапку, машинально старался запахнуть и застегнуть плотнее блузу, сделал шаг вперед и нагнулся за палкой.

В это мгновение он заметил монетку в сорок су, вдавленную в землю его подошвой и блестевшую в песке. Он почувствовал сотрясение, как от прикосновения гальванического тока.

— Это что такое? — процедил он сквозь зубы.

Он отступил на три шага, остановился, не имея сил отвести глаз с точки, которую за минуту до того прикрывала его нога, словно этот предмет, блестевший на земле, был живым глазом, смотревшим на него.

Через несколько минут он судорожно нагнулся к серебряной монетке, схватил ее, распрямился и принялся озираться во все стороны, дрожа, как испуганный зверь, ищущий убежища.

Ничего не было видно. Потемки сгущались, в долине было холодно и сумрачно, свинцовая мгла поднималась все выше в полусвете.

Он произнес:

— Ага!

И скорыми шагами пошел по направлению, в котором исчез мальчик. Сделав шагов тридцать, он остановился, поглядел, — ничего не было видно. Тогда он закричал изо всех сил:

— Малыш Жервэ! Малыш Жервэ!

После чего замолчал и ждал. Ответа не было.

На унылой равнине не было ни души. Его окружало одно пустое пространство. Кругом была мгла, где тонул его взор, и безмолвие, в котором терялся голос.

Дул холодный пронизывающий ветер, придавая окружающим предметам зловещий вид. Низенькие кусты потрясали тощими ветвями с невыразимой яростью. Они словно преследовали угрозами кого-то.

Жан Вальжан опять пошел, потом побежал, временами останавливаясь и крича в этой пустыне самым страшным и отчаянным голосом, какой можно только вообразить; он звал:

— Малыш Жервэ! Малыш Жервэ!

Без сомнения, если бы ребенок и услышал его, то от испуга ни за что бы не показался. Но, вероятно, он был уже далеко. Жан Вальжан встретил священника, ехавшего верхом.

— Господин кюре, не встречали ли вы мальчика? — спросил у него Жан Вальжан.

— Нет.

— Мальчика по имени малыш Жервэ.

— Я не встречал никого.

Он вынул из ранца пять франков и подал священнику.

— Господин кюре, возьмите это для ваших бедных. Господин кюре, этому мальчику лет десять, он, кажется, с сурком и с волынкой. Это прохожий. Один из странствующих савояров.

— Я не видел никого.

— Малыш Жервэ… Не из здешних ли он деревень? Не можете ли вы сказать мне это?

— По всему, что вы мне говорили, друг мой, вероятно, этот ребенок не из здешних. Странствующих детей никто не знает в стране.

Жан Вальжан порывисто вытащил из своей мошны еще два пяти-франковых и подал священнику.

— На бедных, — сказал он. — Господин аббат, прикажите арестовать меня, я вор.

Священник погнал лошадь и ускакал, сильно струсив. Жан Вальжан побежал в ту сторону, куда направился первоначально.

Он пробежал таким образом значительное расстояние, кричал и звал, но никого уже не встретил. Два или три раза он принимался бежать к предмету, казавшемуся ему издали присевшим или лежавшим ребенком; но это оказывалось или кучкой хвороста, или камнем, выступившим из земли. Наконец, на перекрестке трех дорог он остановился. Взошла луна. Он всматривался в даль и крикнул в последний раз: «Малыш Жервэ! Малыш Жервэ!» Голос замер в тумане, не вызвав даже эхо. Он проговорил еще раз: «Малыш Жервэ!», но уже глухо, слабо. Это было последним усилием. Ноги его внезапно подкосились, словно невидимая сила сломила его под тяжестью нечистой совести. Он упал, в изнеможении на большой камень, прижав кулаки ко лбу, и крикнул, припадая лицом к коленям: «Я негодяй!»

Сердце его дрогнуло, и он заплакал первый раз за последние девятнадцать лет.

Жан Вальжан ушел от епископа, как мы уже сказали, в состоянии, далеком от всего, что входило до сих пор в его внутренний мир. Он не мог дать себе отчета в том, что с ним происходило. Его возмущали ангельский поступок и кроткие слова старика: «Вы обещали мне сделаться честным человеком. Я покупаю вашу душу. Изгоняю из нее духа зла и вручаю ее Богу». Эти слова постоянно раздавались в его ушах. Он противопоставлял этой небесной снисходительности гордость, служащую злу как бы крепостью внутри человека. Он чувствовал смутно, что прощенье этого священника было самым сильным нападением, какому он подвергался до сих пор, что очерствение его будет окончательным, если он устоит против этого великодушия. В случае же если он уступит, то придется отказаться от ненависти, копившийся столько лет в его душе поступками других людей и нравившейся ему. Он сознавал, что наступила пора или победить, или остаться побежденным и

что борьба, борьба колоссальная и решительная, завязалась между его озлоблением и добротой другого человека.

Все эти проблески мысли заставили его шататься как пьяного. Шагая, с блуждающими глазами, сознавал ли он ясно все возможные последствия того, что с ним произошло в Дине? Слышал ли он таинственный шелест, преследующий и предостерегающий душу в некоторые моменты жизни. Шептал ли ему какой-нибудь голос, что он пережил решительный час в своей жизни и что для него нет середины; что отныне, если он не будет лучшим из людей, то сделается худшим из них, что теперь ему нужно или подняться выше епископа, или упасть ниже каторжника; что, если он решится сделаться добрым, он должен превратиться в ангела, а если захочет оставаться злым, то должен сделаться чудовищем.

Здесь необходимо еще раз вернуться к вопросам, которые мы задавали себе в другом месте: схватывала ли его мысль какие-нибудь,

хотя бы смутные, представления об этих вещах? Конечно, как мы уже говорили, несчастье воспитывает ум, но все же сомнительно, чтобы Жан Вальжан был в состоянии осознать все, что мы привели здесь. Если подобные мысли и приходили ему в голову, то это были скорее намеки, чем определенные мысли, и единственным последствием их было страшное волнение, доходившее почти до бреда. По выходе его из безобразного и темного места, называемого каторгой, епископ произвел на него то же болезненное ощущение, какое производит слишком яркий свет на глаза, привыкшие к потемкам. Перспектива будущей чистой и безупречной жизни наводила на него трепет и испуг. Он просто не мог сообразить, куда попал.

Как филина, застигнутого врасплох восходом солнца, каторжника ослеплял вид добродетели.

Одно было несомненно, и несомненно для него самого, это то, что он Уже не был прежним человеком, что в нем все изменилось и что не в его власти было уничтожить тот факт, что

епископ произнес слова, тронувшие его. В этом состоянии он встретил малыша Жервэ и украл у него сорок су. Отчего? Он сам не мог бы объяснить этого; было ли то последним действием и как бы последним усилием злых помыслов, вынесенных им с каторги, остаток импульса, результат того, что называется в физике приобретенной силой? То было именно это, а быть может, нечто еще более стихийное. Скажем просто, украл не он, не человек, а зверь, по привычке и по инстинкту наступивший ногой на монету, между тем как рассудок боролся с необычайными и новыми мыслями. Когда рассудок очнулся и увидел поступок животного, Жан Вальжан отшатнулся с ужасом и испустил крик отчаяния.

Тут совершилось странное явление, возможное только в том состоянии, в каком он находился, а именно, крадя деньги у ребенка, он сделал вещь, на которую уже не был способен.

Как бы то ни было, но этот последний дурной поступок произвел на него решительное

действие; он резко рассек и рассеял хаос, наполнявший его ум, отделив по одну сторону весь сгустившийся мрак, по другую — свет, и повлиял на его душу, при данном его состоянии, как влияют некоторые химические реагенты на мутную смесь, осаждая один элемент и освобождая другой.

В первую минуту, прежде даже чем понять и объяснить себе происшедшее, он растерялся и, как человек, ищущий спасения, старался отыскать мальчугана, чтобы возвратить ему деньги; затем, убедившись, что это бесполезно и невозможно, пришел в отчаяние. В минуту, когда он воскликнул: «Я негодяй!», он увидел самого себя таким, каким он был, и уже до такой степени отрешился от самого себя, что ему казалось, что сам он призрак, а перед ним стоит во плоти с палкой в руках, в блузе на плечах, с мешком, наполненным краденым добром, с решительным и угрюмым лицом, безобразный и живой человек — каторжник Жан Вальжан.

Избыток горя, как мы уже заметили, довел его в известном смысле до помешательства. У него была галлюцинация. Он действительно видел перед собою Жана Вальжана и его страшное лицо. Он почти готов был спросить, кто этот человек, внушающий ему отвращение.

Его мозг находился в состоянии бурной деятельности, соединенном, однако, с ужасным спокойствием, когда работа мысли настолько глубока, что заслоняет собой действительность. Предметы, находящиеся перед глазами, исчезают, и видишь только те образы, которые движутся в воображении.

Таким образом, если можно так выразиться, он стоял лицом к лицу с самим собой и сквозь галлюцинацию видел в глубоком тайнике души мерцающий огонек, который он принял сначала за светоч. Вглядываясь внимательнее в этот светоч, сиявший в его совести, он различил в нем человеческий облик и узнал в нем епископа.

Совесть его попеременно рассматривала этих двух людей, стоявших перед ней: епископа и

Жана Вальжана. Нужно было все могущество первого, чтобы победить второго. В силу одного из странных свойств такого рода видений, по мере того как длилась галлюцинация, епископ вырастал и становился все лучезарнее, между тем как Жан Вальжан бледнел и стирался. Наконец он превратился в тень и внезапно пропал окончательно. Остался один епископ. Он наполнял душу несчастного небесным сиянием.

Жан Вальжан долго плакал. Он плакал горячими слезами, плакал навзрыд, неудержимее женщины и беспомощнее ребенка.

По мере того как он плакал, в мозгу его рассветало и занимался необыкновенный день, восхитительное и вместе с тем страшное просветление. Вся его прошедшая жизнь, первый проступок, многолетнее искушение, его внешнее огрубение, внутренняя зачерствелость, его освобождение и планы мести, происшествие с епископом, последний его поступок, кража сорока су у ребенка, преступление тем более низкое и чудовищное, что оно случилось после

прощения епископа, все это вспомнилось ему ясно и проходило перед ним в свете, доселе ему незнакомом. Он взглянул на свою жизнь — и она показалась ему проклятой. Поглядел на свою душу — и она явилась ему ужасной. А между тем мягкий свет освещал эту жизнь и эту душу.

Ему чудилось, что он видит Сатану, освещенного светом рая.

Сколько часов он проплакал? Что он предпринял, выплакавшись? Куда пошел? Этого никто не узнал никогда. По-видимому, достоверно одно, что в ту же ночь кучер дилижанса, ходившего в то время между Греноблем и Динем и приходившего в Динь в три часа утра, видел, проезжая мимо епископского дома, человека, стоявшего на коленях на мостовой и словно молящегося перед дверью преосвященного Бьенвеню.

Глава 28

Год 1817 был тем годом, который Людовик XVIII с апломбом, не лишенным своего рода собственного достоинства, называл двадцать вторым годом своего царствования. Это год, в который господин Брюжьер де Сорсум пользовался репутацией знаменитости. Когда все парикмахерские заведения, предчувствуя возвращение моды на пудру и замысловатые прически со взбитыми локонами, красили свои вывески в лазоревый цвет и украшали их лилиями. 1817 год — наивная эпоха, когда граф Линч восседал каждое воскресенье в качестве церковного старосты на скамьях церкви Сен-Жермен-де-Пре в одежде пэра Франции, с красной лентой через плечо, со своим длинным носом и торжественным выражением лица человека, совершившего блестящий подвиг. Блестящий подвиг, содеянный Линчем, заключался в том, что, состоя мэром города Бордо, 12 марта 1814 года он сдал город несколькими часами раньше, чем следовало,

герцогу Ангулемскому, за что и получил пэрство. В 1817 году мода наряжала мальчиков от четырех до шести лет в объемистые кожаные фуражки с наушниками, очень похожие на эскимосские шапки. Французская армия была одета в белые мундиры, по образцу австрийской. Полки назывались легионами, и, вместо того чтобы обозначаться цифрами, они назывались по имени департаментов. Наполеон находился на острове Святой Елены, и так как Англия отказывала ему в зеленом сукне, то он перешивал свои платья, вывертывая их наизнанку. В 1817 году пел Пеллигрини, танцевала Бигготини, царствовал Потье, и Одри еще не существовал. Саки наследовала Фориозо. Во Франции еще стояли пруссаки. Королевская власть подтвердила свои права, отрезав руки, а затем головы Пленье, Карбонно и Толлерону. Обер-камергер князь Талейран и аббат Луи, министр финансов, глядели друг на друга со смехом авгуров: оба служили 14 марта 1790 года молебен на Марсовом поле в честь федерации. Талейран служил в качестве епископа, Луи в качестве

дьякона. В 1817 году в боковых аллеях того же Марсова поля гнили под дождем кучи деревянных стропил, выкрашенных в синий цвет, с полуслинявшими пчелами и орлами. То были колонны, поддерживавшие год тому назад императорскую эстраду на майском параде. Тут и там на бревнах чернели следы бивачных огней австрийцев, стоявших у Гро-Калью. Две или три из этих колонн сгорели в кострах, над которыми грели свои широкие руки гонведы.

Прошлый майский парад был замечателен тем, что он происходил в середине июня и на Марсовом поле. В 1817 году в моде были две вещи: Вольтер издания Туке и табакерки с конституционной хартией. Самым крупным событием, волновавшим парижан, было преступление Дотёна, бросившего отрубленную голову брата в бассейн Цветочного Рынка. В морском министерстве начали тревожиться отсутствием известий с фрегата «Медуза», покрывшего позором Шомарея и славой Жерико. Полковник Сельв отправился в Египет, чтобы превратиться в Сулейман-пашу. Дворец Терм на

улице Ла-Гарп превратился в бочарный склад. На крыше восьмигранной башни отеля Клюни стояла еще дощатая будочка, служившая обсерваторией Мессиеру, астрологу Людовика XVI. Герцогиня Дюра читала трем или четырем друзьям в будуаре, меблированном складными стульями в форме X, крытыми светло-голубым атласом, неизданную «Урику». В Лувре скоблили со стен букву N. Аустерлицкий мост был переименован в мост Королевских Садов, облекая двойной загадкой Аустерлицкий мост и Ботанический сад. Людовик XVIII, читая Горация и отмечая ногтем героев, принявших императорский титул, и башмачников, занявших престол, терзался двумя заботами: Наполеоном и Матурином Брюно. Французская академия выбрала темой конкурсного сочинения «Наслаждения науки». Господин Беллар блистал официальным красноречием, и под его сенью уже становился знаменитым будущий генеральный прокурор де Броэ, предопределенный судьбой стать мишенью насмешек Поля-Луи Курье. Процветал лже-Шатобриан по фамилии

Маршанжи, в ожидании появления лже-Маршанжи, по фамилии д'Арленкур. «Клара д'Альб» и «Малек Адель» слыли шедеврами, и мадам Коттен провозглашалась лучшим писателем эпохи.

Французский институт решил вычеркнуть из своего списка академика Наполеона Бонапарта. Королевский декрет возвел город Ангулем в звание морской школы, на том основании, что герцог Ангулемский был генерал-адмиралом, что, несомненно, наделяло и город Ангулем всеми качествами морского порта. В совете министров обсуждался вопрос, следует ли разрешать печатание на афишках изображения акробатов, так как объявления Франкони вызывают на улицах скопища мальчишек. Паэр, автор «Агнесы», старичок со скуластым лицом и бородавкой на щеке, дирижировал маленькими домашними концертами маркизы де Сассеней на улице Вилль-д'Евек. Все молодые девушки пели романс «Сент-Авельский отшельник» на слова Эдмонда Жеро. Газета «Желтый карлик» превратилась в «Зеркало». Кафе Ламблен

держало сторону императора против кафе Валуа, державшего сторону Бурбонов. Герцога Беррийского, которого уже сторожил Лувель, женили на сицилийской принцессе. Прошел год со дня смерти госпожи де Сталь. Гвардейцы освистывали мадемуазель Марс. Большие газеты были крошечными. Формат был мал, но свобода велика. «Конституционалист» был конституционен. «Минерва» писала имя Шатобриана: «Chateaubriant». Буква t на конце заставляла буржуа чесать языки на счет великого писателя. В продажных газетах продажные журналисты оскорбляли изгнанников 1815 года: у Давида не было таланта, у Арно не было ума, у Карно не было чести, Сульт не выиграл ни одного сражения, да и сам Наполеон не был гениален. Всем известно, что письма, отправляемые по почте изгнанникам, очень редко доходят по назначению, так как все полиции мира считают своим священным долгом их перехватывать. Факт не новый. Декарт в изгнании уже жаловался на это. А между тем Давид, выразивший по этому поводу свое неудовольствие в одной бельгийской

газете, был осыпан насмешками роялистских газет. Говорить: враги, или говорить: союзники, сказать: Наполеон, или: Бонапарт, — это проводило между людьми черту глубже, чем если бы их разделяла пропасть. Все здравомыслящие люди соглашались, что эра революций окончилась навеки.

На площади против Нового Моста на цоколе, ожидавшем статую Генриха IV, вырезали надпись: «Redivivus» {Воскресший (лат.).}.

На улице Терезы в доме No 4 Пиэ писал проект «Об укоренении монархии». Вожди правых говорили в важных случаях: «Нужно написать к Баро». Господа Кануель, О'Магони и Шапиделен набрасывали, при некотором поощрении графа д'Артуа, план того, что несколько позднее получило известность под именем «Берегового заговора». Общество «Черная булавка» со своей стороны также что-то замышляло. Деказ, человек взглядов, до некоторой степени либеральных, возбуждал умы. Шатобриан, в доме No 27 по улице Сен-Доминик,

каждое утро стоял у окна в панталонах со штрипками и в туфлях, повязав седые волосы шелковым платком, разложив перед собой целый прибор хирургических инструментов дантиста и, глядясь в зеркало, чистил зубы, которые были у него восхитительны, диктуя в то же время своему секретарю Пилоржу «Монархия согласно хартии». Авторитетная критика отдавала предпочтение Лафону перед Тальма. Фелец подписывал свои произведения А.; Гофман подписывался Z. Шарль Нодье писал «Терезу Обер». Развод был запрещен. Лицеи назывались коллегиями. Воспитанники коллегий, с вышитыми золотыми лилиями на воротниках, острили над римским королем. Дворцовая тайная полиция доносила герцогине Беррийской о повсеместной демонстрации портрета герцога Орлеанского в генеральском мундире гусарского полка, на котором он оказывался несравненно представительнее герцога Беррийского в драгунской форме — факт возмутительный. Город Париж за свой собственный счет заново золотил купол Дома Инвалидов. Серьезные люди

спрашивали друг у друга, как поступит в том или другом случае господин де Тринкелаг. Клозель де Монтальс расходился во многом с Клозелем де Куссерг, господин Салаберн был недоволен. Актер Пикар, член академии, в которую не попал актер Мольер, ставил «Два Филибера» в театре «Одеон», на фронтоне которого ясно можно было прочесть по следам сорванных букв надпись: «Театр императрицы». Были сторонники и противники Кюнье де Монтарло. Фабвие был мятежником, Баву — революционером. Книгопродавец Пелисье издал полное собрание сочинений Вольтера под заголовком: «Сочинения Вольтера, члена французской Академии». «Это привлекает покупателей», — говорил наивный издатель. По общему мнению, Шарль Луазон был гением века; зависть, если не слава, начинала сопутствовать ему. Про него сложили стихи:

M-me quand Loyson vole, on sent qu'il a des pattes.

Так как кардинал Феш отказывался выходить в отставку, то господин де Пен, архиепископ

Амазийский, правил Лионской епархией. Ссора из-за Даппской долины между Францией и Швейцарией завязывалась рапортом капитана Дюфура, ставшего позднее генералом. Неизвестный Сен-Симон создавал свои великолепные фантазии. В академии наук был знаменитый Фурье, забытый потомством, а на каком-то глухом чердаке жил неизвестный Фурье, которого будет помнить будущее. Начинала всходить звезда лорда Байрона; в примечании к одной из своих поэм Мильвуа рекомендовал его Франции в следующей форме: «некий лорд Барон». Давид Анжерский пробовал свой резец. Аббат Карон отзывался с похвалой в небольшом кружке семинаристов в закоулке Фейлантин о неизвестном священнике, по имени Фелисите-Робер, ставшем впоследствии известным как Ламенне. Какая-то дымящаяся штука шлепала по водам Сены, под окнами Тюльери, шумя, как плавающая собака, и разъезжала между мостами Рояль и Людовика XV; это была бесполезная механическая игрушка, затея пустоголового мечтателя, утопическая забава, одним словом —

пароход. Парижане смотрели равнодушно на эту ненужную вещь. Господин Воблан, преобразовавший французский институт с помощью государственного переворота, приказов и ссылок, творец нескольких замечательных академиков, не мог добиться права быть одним из них.

Сен-Жерменское предместье и павильон Марсан желали назначения в префекты полиции Делаво, вследствие его набожности. Дюпюитрен и Рекамье ссорились в анатомическом театре медицинской школы и показывали друг другу кулаки из-за догматических вопросов. Кювье, глядя одним глазом в книгу Бытия, другим на природу, мирил тексты и ископаемых. Франсуа де Невшато, почитатель памяти Пармантье, безуспешно употреблял все усилия заставить заменить слово «картофель» на «пармантофель». Аббат Грегуар, бывший епископ, бывший член конвента, бывший сенатор, был перекрещен полемикой в «гнусного Грегуара». Под третьим сводом Иенского моста можно было различить по белизне его новый камень, которым два года тому

назад заделали отверстие, просверленное Блюхером для закладки мины, с целью взорвать мост. Правосудие притягивало к суду человека за замечание, сделанное им громогласно при входе графа д'Артуа в собор Парижской Богоматери: «Черт возьми!» Как я жалею то время, когда Бонапарт и Тальма ходили под руку на «Бал дикарей». Речи возмутительные, за которые он был приговорен к шести месяцам тюрьмы.

Изменники распоясались. Люди, перешедшие в неприятельский стан накануне сражения, не скрывали наград за предательство и цинично разгуливали днем, хвастаясь богатством и наградами.

Вот что беспорядочно и вперемежку всплывало на поверхность 1817 года, забытого ныне. История почти всегда пренебрегает этими частностями, да иначе и поступать не может: так как она бы утонула в бесконечных подробностях. Однако эти подробности, неправильно называемые ничтожными — в жизни человечества нет ничтожных фактов, как в

растительности нет ничтожных листьев, — подробности полезные. Из физиономии годов слагается облик веков.

В 1817 году четверо юных парижан устроили «веселую шутку».

Глава 29

Эти парижане были: один — из Тулузы, другой — из Лиможа, третий — из Кагора, четвертый — из Монтобана, но они были студенты, а студент и парижанин синонимы — учиться в Париже то же, что родиться там.

Эти молодые люди не были замечательны ничем; каждому случалось видеть такие лица — это были типичные представители первого встречного: не добрые и не злые, не ученые и не невежды, не гении и не дураки, красивые весенней красотой, называемой двадцатилетним возрастом. Они были первыми попавшимися Оскарами, — Артуров в эту эпоху еще не было. «Воскурите аравийские ароматы! — гласил

модный романс. — Идет Оскар! Идет Оскар! Я увижу его!» Головы были наполнены Оссианом, элегантность была скандинавская и каледонская, чистокровный английский жанр должен был явиться позднее и первый Артур — Веллингтон — совсем недавно одержал победу при Ватерлоо.

Наших Оскаров звали: одного — Феликс Толомьес из Тулузы; второго — Листолье из Кагора, третьего — Фамейль из Лиможа и четвертого — Блашвелль из Монтобана. Естественно, у каждого была возлюбленная. Блашвелль любил Февуриту, получившую прозвище благодаря поездке в Англию; Листолье обожал Далию, выбравшую псевдонимом имя цветка; Фамейль поклонялся Зефине, уменьшительное от Жозефины; Толомьес обладал Фантиной, прозванной Белокурой вследствие золотистого цвета волос. Февурита, Далия, Зефина и Фантина были четыре восхитительных создания, от которых веяло ароматом веселости; они были швеи, не оставившие еще окончательно иглы, слегка оторванные от работы любовью, но

сохранившие еще на лице следы трудовой простоты и в душе луч чистоты, остающейся у женщин после первого падения. Одну из четырех называли «молодой», потому что она была младшая, а еще одну — «старухой»; «старухе» было двадцать три года. Ничего не утаивая, следует сказать, что три из них были опытнее, легкомысленнее и более закружившиеся в столичном вихре, чем Фантина-Белокурая, переживавшая первое увлечение.

Далия, Зефина и, в особенности, Февурита не могли похвастаться тем же. В их только что начинавшемся романе был уже не один эпизод, и любовник, называвшийся в первой главе Адольфом, являлся Альфонсом во второй и Густавом — в третьей. Бедность и кокетство — плохие советницы, одна — пилит, другая — льстит; а красивым дочерям народа они обе нашептывают поочередно советы. Плохо оберегаемые души слушаются их. Отсюда их падение и бросание в них камнями. Им колют глаза блеском всего непорочного и

неприступного. Увы! Что бы сталось с Юнгфрау, если бы она могла ощущать голод?

Зефина и Далия преклонялись перед Февуритой, ездившей в Англию. Она рано обзавелась хозяйством. Отец ее был старый учитель арифметики, грубый гасконец, холостой, бегавший по ученикам, несмотря на преклонный возраст. Учитель в своей молодости увидел однажды, как платье одной горничной зацепилось за каминную решетку; это приключение заронило в нем искру любви. Результатом этого обстоятельства стала Февурита. Время от времени она встречалась с отцом — он ей кланялся. В одно прекрасное утро к ней вошла старуха, с виду ханжа, и сказала ей:

— Вы меня не знаете, барышня?

— Нет.

— Я твоя мать.

Затем старуха отворила буфет, утолила голод, распорядилась перетащить к ней свой матрас и поселилась. Эта мать, ворчунья и ханжа, никогда

не разговаривала с Февуритой, сидела и молчала целыми часами, завтракала, обедала и ужинала за четверых, ходила в гости к портье и там злословила о дочери.

Далию привлекло к Листолье, а может быть, и к другим, и вообще влекло к праздности то, что у нее были чересчур красивые розовые ногти. Как работать с такими ногтями? Кто хочет оставаться добродетельным, не должен щадить рук. Что касается Зефины, она победила Фамейля своей ласковой и шаловливой манерой произносить: «Да, мсье».

Молодые люди были товарищами между собой, девушки — приятельницами. Подобная любовь всегда подбита подобной дружбой.

Премудрая любовь и дружба философов. Доказательством этому служит то, что, оставив в стороне любовные интрижки, Февурита, Зефина и Далия были женщины-философы, а Фантина — девушка целомудренная.

Каким образом целомудренная? — спросят меня, а Толомьес? Соломон ответил бы, что

целомудренная любовь часть премудрости. Мы же ограничимся, сказав, что Фантина любила в первый раз, любила искренне, и Толомьес был единственной ее привязанностью.

Она одна из всех своих подруг позволяла только одному мужчине говорить ей «ты».

Фантина была одним из тех существ, какие вырастают на народной почве, не зная сами, откуда они. Явившись из самых недр непроницаемого общественного мрака, она была отмечена печатью неизвестности и тайны. Родилась она в Монрейле Приморском {Далее мы будем называть его просто Монрейлем.}. Кто были ее родители? Никто не мог бы этого сказать. Никогда никто не знал ни отца ее, ни матери. Звали ее Фантиной. Почему? Другого имени у нее никогда не было. Она родилась при Директории. Фамильного прозвища у нее не было — ведь у нее не было семьи. Крещеного имени тоже не было: в то время не было церкви. Ее звали, как вздумалось назвать ее первому встречному, увидевшему босоножку на улице.

Она приняла имя, как принимала на свою голову дождевую воду, лившую с облаков. Ее звали «Маленькая Фантина». Никто дальше этого ничего не знал. Таким образом это человеческое существо вступило в жизнь. Десяти лет Фантина покинула родной город и нанялась в услужение на соседней ферме. Пятнадцати лет она отправилась искать счастья в Париже. Фантина была красива и оставалась чистой так долго, насколько могла. Она была красивой блондинкой, с прекрасными зубами. Приданое ее составляли золото и жемчуг, но золото было рассыпано на ее голове, а жемчуг был во рту. Она жила работой. Затем, тоже для того, чтобы было чем жить — она полюбила, так как и у сердца свой голод. Полюбила она Толомьеса.

Для него эта любовь была забавой, для нее — жизнью. Улицы Латинского квартала, кишащие студентами и гризетками, видели начало этого романа. Долго бегала Фантина от Толомьеса по лабиринту холма Пантеона, где завязывается и заканчивается столько приключений, но бегала так, что бегство оканчивалось всегда встречей.

Существует способ убегать, похожий скорее на поиски человека. В конце концов роман завязался.

Блашвелль, Листолье и Фамейль составляли компанию, предводитель которой был Толомьес. Он был старшим и наиболее умным из них.

Толомьес принадлежал к древней категории старых студентов; он был богат. У него было четыре тысячи франков ренты — четыре тысячи франков ренты, скандальная роскошь на Сен-Женевьевской горе! Толомьес был тридцатилетним кутилой, плохо сохранившимся; он был в морщинах и беззуб, а на голове показалась лысинка, о которой он говорил без горечи: «В тридцать лет плешь, в сорок — голова голая, как коленка!» Желудок его плохо варил, и один глаз начал слезиться. Но по мере того как молодость уходила, он разжигал свою веселость; заменял зубы шутками, волосы жизнерадостностью, здоровье иронией, и его слезившийся глаз постоянно смеялся. Он разрушался, но увенчанный цветами. Его

молодость, уходя преждевременно, отступала с честью, смеясь и сверкая фейерверками. Он написал пьесу, не принятую на сцену «Водевиля». Пописывал стишки. Вдобавок высокомерно сомневался во всем, что также придает немалую силу в глазах слабых людей. Итак, обладая иронией и плешью, он попал в вожди. Iron, английское слово, означающее железо, не от него ли произошло выражение ирония?

Однажды Толомьес отвел в сторону трех своих товарищей, сделал жест оракула и приступил к речи:

— Почти год, как Фантина, Далия, Зефина и Февурита просят нас сделать им сюрприз. Мы торжественно обещали им исполнить их желание. Они постоянно нас пилят этим, в особенности меня. Как неаполитанские старухи кричат святому Януарию: «Faccia gialluta, fa o miraclo» — «Желтое личико, сотвори чудо!» — так и наши красавицы оглушают меня приставаниями: «Толомьес, когда же наконец

будет обещанный сюрприз?» В то же время родители зовут нас. Пилят с обеих сторон. Мне кажется, наступила пора. Потолкуем.

Вслед за этим Толомьес, понизив голос, таинственно сообщил что-то до того веселое, что гомерический восторженный хохот вырвался разом из четырех грудей, и Блашвелль воскликнул:

— Вот так идея!

По дороге им попался трактира они вошли в него, и конец совещания затерялся в облаках дыма.

Результатом этого таинственного заговора была блистательная прогулка, устроенная в следующее воскресенье четырьмя молодыми людьми, пригласившими молодых девушек.

Глава 30

Чем была загородная прогулка студентов и гризеток сорок пять лет тому назад, трудно представить себе в наше время. Окрестности

Парижа уже не те; облик того, что можно было бы назвать пригородной жизнью столицы, совершенно изменился в течение полувека. Где ходили дилижансы, теперь ходят вагоны; где плавали лодки, плавают пароходы; теперь говорят о поездке в Фекан, как говорили в былое время о поездке в Сен-Клу. Париж 1862 года — город, которому вся Франция служит предместьем.

Четыре парочки проделывали добросовестно все буколические дурачества, какие можно было только придумать в то время. Происходило это в начале каникул, в жаркий и ясный летний день. Накануне Февурита, единственная из четырех подруг умевшая писать, написала за всех Толомьесу: «Как чудесно ехать гулять рано утром», — причем сумела в одной строке наделать бездну ошибок. Поднялись они в пять часов утра. Затем поехали в дилижансе в Сен-Клу, любовались сухими фонтанами, восклицая: «Какое должно быть великолепие, когда играет вода!» Завтракали в «Черной Голове», не слыхавшей еще о Кастене, угостили себя партией в кольцо в роще у большого бассейна, забрались

на Диогенов фонарь, поиграли на пряники в рулетку у Севрского моста, рвали букеты в Пюто, накупили дудок в Нелльи и ели везде яблочные оладьи — словом, веселились напропалую. Девушки щебетали и радовались, как вырвавшиеся из клетки малиновки. Они сумасшествовали. Время от времени давали легкие шлепки молодым людям. Опьянение молодости! Счастливые годы! Трепетанье крыльев однодневок! О! Кто бы ни были вы, читатель, помните ли вы это? Бродили ли по чаще, раздвигая ветки деревьев для милой головки, шедшей за вами? Скользили ли вы по откосу после проливного дождя, держа за руку любимую женщину, восклицающую: «Ах, пропали мои новые ботинки, я их совсем отделала!»

Скажем сразу, что веселая помеха в виде ливня миновала юную компанию, хотя при отъезде Февурита и прорекла материнским поучительным тоном: «Дети мои, улитки ползают по дорожкам. Быть дождю».

Все четыре девушки были обворожительно хороши. Один старый классический поэт, пользовавшийся в то время репутацией, старичок, воспевавший свою Элеонору, кавалер Лабуисс, гуляя под каштанами Сен-Клу, встретил их в то утро и воскликнул, имея в виду трех граций: «Тут одна лишняя!» Февурита, приятельница Блашвелля, двадцатитрехлетняя старуха, бежала в центре компании, перепрыгивая через канавки и перескакивая через кусты, возглавляя веселое шествие с резвостью молодой дриады. Зефина и Далия, красота которых по воле природы оттеняла одна другую, взаимно пополняя очарование каждой, были неразлучны из кокетливого инстинкта еще более, чем из дружбы, и, облокачиваясь друг на друга, принимали позы английских леди. Только что появившиеся первые кипсеки начали вводить в моду меланхолию для женщин, как несколько позднее должна была возникнуть для мужчин мода на байронизм, и прически прекрасного пола начинали уже слегка принимать вид мечтательной распущенности. Волосы Зефины и

Далии были закручены, однако, жгутами. Листолье и Фамейль, занятые спором о своих профессорах, объясняли Фантине различие между Дельвенкуром и Блондо.

Блашвелль казался созданным самим небом для того, чтобы носить на руке по воскресеньям худенькую мериносовую шаль за Февуриту.

Толомьес шел позади всех, господствуя над остальными. Он был очень весел, но в нем чувствовалась власть, в его веселости было что-то диктаторское; главный наряд его составляли нанковые панталоны цвета слоновых ног со штрипками из медных проволок, в руках массивная трость, стоившая двести франков, и так как он все позволял себе, то во рту у него торчала странная штука, называемая сигарой. Для него не было ничего запретного: он курил.

— Замечательный человек этот Толомьес, — говорили другие, восхищаясь, — что за панталоны! Что за энергия!

Что касается Фантины, то она была олицетворением радости. Великолепные зубы ее,

очевидно, получили от Бога специальное предназначение — сиять при смехе. Она охотнее носила в руках, чем на голове, соломенную шляпу с лентами. Белокурые волосы, склонные распускаться и расплетаться, — их приходилось беспрестанно подшпиливать, — казались созданными для бегства Галатеи под ивами. Розовые губки ее трепетали от восторга. Уголки рта, приподнятые сладострастно, как на античной маске Эригоны, казалось, подстрекали к вольностям, но длинные ресницы, скромно опущенные, набрасывали стыдливую тень на завлекающее выражение нижней части лица и обуздывали его шаловливость. Во всем ее наряде было что-то ликующее и светлое. На ней было барежевое платье мальвового цвета, башмачки, низко вырезанные котурнами из золотистой кожи, придерживались лентами, крестообразно обвивавшимися вокруг ажурного белого чулка, а плечи ее прикрывал кисейный спенсер, изобретение Марселя, имя которого канзу, искажение канабиерского произношения слов: quinze Août (пятнадцатое августа), должно

выражать тепло, юг и хорошую погоду. Три остальные девушки, менее робкие, как мы уже сказали, были попросту декольтированы, что летом при шляпках, убранных цветами, очень грациозно и пикантно. Рядом с этими смелыми нарядами канзу белокурой Фантины, с его прозрачностью, разоблачениями и недомолвками скрывая и обнаруживая в одно и то же время, казался утонченным ухищрением стыдливости. Пресловутый трибунал любви, председательствуемый зеленоокой виконтессой де Сетт, быть может, присудил бы приз кокетства именно этому канзу, претендовавшему получить приз за скромность. Иногда наивность оказывается величайшей опытностью. Это бывает ослепительный цвет лица, утонченный профиль, темно-синие глаза, пухлые веки, маленькие ножки с высоким подъемом, чудесные тонкие связи рук и ног, белая кожа, сквозь которую тут и там сквозили голубые жилки, розовые невинные щечки, широкая шея эгинских Юнон, с упругим и сильным затылком и плечами, словно вышедшими из-под резца Кусту, и со

сладостной ямочкой посередине, видной из-под кисеи; веселая, стройная и изящная, такова была Фантина. Из-под ткани и лент виднелась мраморная статуя, из-под статуи — душа.

Фантина была красавицей, сама вполне того не осознавая. Редкие ценители-мечтатели, жрецы красоты, проводящие втайне сравнение между действительностью и идеалом совершенства, различили бы в этой ничтожной швее, под прозрачным покровом парижской грации, черты древней священной гармоничности. В этой безродной девушке была двойная красота — красота стиля и ритма. Стиль — форма идеала, ритм — его движение.

Мы уже сказали, что Фантина была олицетворенная радость; добавим еще, что она была в то же время олицетворенная чистота. Для наблюдателя, который изучил бы ее внимательно, было бы ясно, что сквозь опьянение юности, времени года и влюбленности пробиваются преобладающие ее свойства: скромность и сдержанность. Она словно постоянно

недоумевала. Это стыдливое недоумение и составляет оттенок, отделяющий Психею от Венеры. У Фантины были продолговатые тонкие пальцы весталки, разгребающей золотой булавкой пепел жертвенного огня. Хотя она ни в чем не отказала Толомьесу, как это слишком явно обнаружится перед читателем дальше, но лицо ее в минуту спокойствия было полно девственности; какое-то выражение собственного достоинства и почти суровости минутами покоилось на нем. Нельзя было без удивления и волнения смотреть, как внезапно, без какого-либо перехода, ее веселье менялось на глубокую задумчивость, сосредоточенность.

Эти проявления задумчивости, иногда оттененные строгостью, походили на презрение богини. Ее лоб, нос и подбородок представляли тот идеальный облик, который, отличаясь от общепринятых пропорций, и составляет гармонию лица. В характеристическом промежутке, разделяющем нос от верхней губы, у нее была та едва заметная и прелестная складочка, служащая признаком целомудрия, за

которую Барбаросса влюбился в Диану, открытую при раскопках в Иконии.

Допустим, что любовь — грех. Но у Фантины невинность преобладала над грехом.

Глава 31

Этот день с утра до вечера походил на рассвет. Вся природа праздновала и смеялась. Цветники Сен-Клу благоухали; ветерок, дувший с Сены, слегка шелестел листьями; ветви мягко раскачивались; пчелы грабили жасмины; таборы бабочек падали на ахилеи, клевер и метелку; в величавом саду французского короля бесчинствовали бесшабашные бродяги — стаи птиц.

Четыре веселые пары в обществе солнца, полей, цветов и зелени блаженствовали.

И в этом общем раю, болтая, распевая, бегая, танцуя, гоняясь за бабочками, срывая колокольчики, промачивая ажурные розовые чулки в высокой траве, свежие, сумасбродные, не

мудрствуя лукаво, девушки с удовольствием получали от всех поцелуи, кроме одной Фантины, оберегаемой своей неприступностью; она была мечтательна и сурова — она любила. «Ты недотрога», — говорила ей Февурита.

Таковы радости молодости. Присутствие счастливых любовников таинственно влияет на жизнь и природу, оно выманивает из всего ласку и лучи. Жила-была волшебница, как говорится в сказке, которая создала луга и деревья специально для влюбленных. Поэтому, пока будут существовать на свете деревья и молодежь, влюбленные вечно будут бегать по лесам. Потому-то и весна пользуется такой популярностью у поэтов. Патриций и поденщик, герцог и приказный, придворный и деревенский люд, выражаясь по-старинному, все одинаково подвластны волшебнице. Смех, беготня, апофеоз в воздухе. Любовь — какая ты чародейка!

Жалкий писец преображается в полубога. Визг, беготня друг за другом в траве, объятия на бегу и лепет, похожий на мелодии, обожание,

выражающееся в манере произносить слог, вишни, вырываемые изо рта в рот, все сливается в одно небесное ликование.

Девушки щедро, пригоршнями разбрасывали нежности. Думают, что они неиссякаемы. Философы, поэты, живописцы смотрят на всю эту роскошь и не знают, что с нею делать, так она ослепляет их. «Отъезд в Киферу!» — восклицает Ватто; Ланкре, мещанский живописец, дивится на этих буржуа, забравшихся на небо; Дидро раскрывает объятия всем этим счастливцам, а д'Юрфе перемешивает их с друидами.

После завтрака четыре пары отправились в так называемый в ту эпоху королевский цветник осматривать новое, только что привезенное из Индии растение, имя которого я запамятовал, но оно привлекало в ту пору весь Париж в Сен-Клу. Это было странное и хорошенькое деревце на высоком стволе, с бесчисленными ветвями, тоненькими, без листьев, перепутанными, унизанными бесчисленным количеством миниатюрных розанчиков, что придавало деревцу

вид головы, осыпанной мириадами цветов. Около деревца собирались любопытные толпами.

После осмотра деревца Толомьес воскликнул: «Предлагаю ослов!» и, сторговавшись с погонщиком, они отправились в обратный путь на ослах через Ванвр и Исси. В Исси произошел эпизод. Парк, национальная собственность, находившийся в то время во владении подрядчика Бургена, оказался случайно открытым. Компания прошла за ограду, посетила грот с куклой анахорета, позабавилась эффектами пресловутого зеркального кабинета, этой циничной затеей, достойной сатира, сделавшегося миллионером, или Тюркаро, превращенного в Приапа. Затем усердно покачались на качелях, подвешенных на двух каштановых деревьях, воспетых аббатом Берни. Качая поочередно красавиц, что, кроме общего смеха, имело последствием драпирование летающих юбок прелестными складками, которые были бы находкой для Греза, Толомьес, тулузец и немного испанец, так как Тулуза двоюродная сестра Толозы, спел меланхоличным

голосом старинную испанскую песнь gallera, вероятно, вдохновленную какой-нибудь красавицей, раскачиваемой во весь дух на веревке между двумя деревьями.

Joy de Badajoz,

Amor me llama.

Toda mi alma,

Es en mi ojos,

Porque euscnas

A tuspiernas.

Любовь меня зовет.

Вся душа моя

В моих глазах,

Когда ты показываешь

Свои ножки (исп.).

Фантина одна отказалась качаться.

— Терпеть не могу, когда напускают на себя такую важность, — довольно ядовито пробормотала Февурита.

После катания на ослах устроили новое развлечение: через Сену поехали на лодке в Пасси, а оттуда прошли пешком до заставы Звезды. Они были на ногах, если читатель не забыл, с пяти часов утра. Что за беда! Как говорила Февурита: «В воскресенье не бывает усталости; усталость тоже отдыхает по воскресеньям». Часов около трех четыре пары летали с русских гор, сооруженных в то время на холмах Божон и извилистые вершины которых виднелись над макушками деревьев Елисейских полей.

Время от времени Февурита восклицала:

— Сюрприз! Требую сюрприза!

— Вооружитесь терпением, — отвечал Толомьес.

Глава 32

Насытившись катанием с русских гор, решили насытиться и обедом; гуляющая компания, слегка усталая, зашла в кабачок Бомбарда, заведение,

устроенное на Елисейских полях знаменитым трактирщиком Бомбардом, вывеска которого красовалась в то время на улице Риволи, рядом с пассажем Делорм. Они заняли большую, но некрасивую комнату, с альковом и постелью в углублении (ввиду переполненности кабачка в воскресный день, пришлось смириться и согласиться на это помещение). Из двух окон сквозь стволы вязов можно было видеть набережную и реку; горячие лучи августовского солнца заливали окна; в комнате было два стола: на одном громоздилась гора букетов вперемежку с женскими и мужскими шляпами; четыре пары сидели вокруг второго стола, заставленного блюдами, тарелками, стаканами, кувшинами пива и бутылками вина; на столе было мало порядка, но и под столом было не лучше. Мольер сказал:

Выделывали такой трик-трак ногами под столом,

Что гром гремел, дрожало все кругом.

Вот в каком состоянии в половине пятого пополудни продолжалась идиллия, начавшаяся в

пять часов утра. Солнце склонилось к западу, и аппетит угасал.

Елисейские поля, залитые солнцем и толпой, представляли только пыль и свет — две вещи, из которых состоит слава. Мраморные кони Марли взвивались на дыбы в золотистом тумане. Эскадрон блестящих лейб-гвардейцев, с оркестром во главе, спускался вниз по авеню Нелльи; белый флаг, слегка алея под лучами заката, трепетал над куполом Тюильри; площадь Согласия, вернувшая себе старое имя площади Людовика XV, кишела довольными лицами гуляющих. Многие были украшены серебряными лилиями на белой муаровой ленте, не исчезнувшими еще из петличек в 1817 году. Тут и там хороводы девушек, окруженные стеной аплодирующих зрителей, плясали под звуки известной бурбонской песни, громившей Сто дней и имевшей припевом:

Верните нам отца из Гента,

Верните нашего отца.

Кучки рабочих в праздничных платьях и некоторые, по примеру буржуа, тоже украшенные лилиями, бродили по Главной площади и площади Мариньи, играли в кольцо или кружились на каруселях; иные пили. Типографские ученики разгуливали в бумажных колпаках; из этих кучек несся смех. Все были веселы. Это, бесспорно, было время мира и радужных надежд. В эту эпоху префект полиции Англе в записке, специально составленной для короля, писал следующий отзыв о предместьях: «По здравому рассуждению, ваше величество, следует прийти к заключению, что со стороны этих людей бояться нечего. Они беспечны и ленивы, как кошки. Провинциальная чернь буйная, — но парижская совсем не такова. Это все народ малорослый. Пришлось бы сложить вместе двух блузников, чтобы вышел один гренадер вашего величества. Никакой опасности не может быть со стороны столичного простонародья». Замечательно, что рост еще убавился за последние пятьдесят лет. Население предместий Парижа стало еще меньше, чем до

Революции. Оно не опасно. В сущности, это — добродушная сволочь.

Префект полиции не думал о возможности превращения кошки во льва, а между тем это бывает, и это-то и есть одно из чудес Парижа. Кроме того, кошки, о которых с таким пренебрежением отзывался граф Англе, пользовались уважением древних республик. Это животное в их глазах было символом свободы, и, подобно Пирейской Минерве, на общественной площади Коринфа стояла колоссальная бронзовая статуя кошки. Наивная полиция Реставрации смотрела чересчур пристрастными глазами на парижскую чернь. Она вовсе не до такой степени «добродушная сволочь», как можно предположить. Парижанин занимает то же положение в отношении француза, в каком афинянин находился среди греков. Никто не спит крепче его, никто не выставляет так откровенно напоказ свою лень и легкомыслие, никто с виду так не забывает обид — но пусть на это не рассчитывают. Он беззаботен, но стоит славе поманить его, и он ринется, не останавливаясь ни

перед какими препятствиями, лишь бы добиться цели. Дайте ему в руку пилу — и он сделает 10 августа; дайте ружье — и будет Аустерлиц. Он — орудие Наполеона и Дантона. Идет речь об отечестве — он записывается в солдаты. Коснется вопрос свободы, — он строит баррикады. Остерегайтесь! Его гнев эпический, и блуза может драпироваться складками хламиды. Из первого попавшегося переулка Гренета он способен создать Кавдинское ущелье. Когда пробьет час, блузник предместья вырастет, этот малорослый человечек встанет, и взор его примет грозное выражение, дыхание его превращается в ураган, и из этой жалкой, тощей груди вырывается буря, способная разметать снежные сугробы Альп. Благодаря союзу парижского предместья с армией Франция завоевала Европу. Блузник поет, — это его веселье. Измерьте его натуру его песнью. Пока он пел «Карманьолу», он разрушал только старый режим. Запел он «Марсельезу» — и освобождает мир.

Окончив эту заметку по поводу записки Англе, возвратимся к нашим четырем парам. Как

мы уже сказали, обед близился к концу.

Глава 33

Застольная болтовня — любовная болтовня; и та и другая неуловимы; любовные речи — все то же, что бегущее облако, застольные речи — дым.

Фамейль и Далия напевали, Толомьес пил, Зефина смеялась, Фантина улыбалась. Листолье дул в деревянную дудку, купленную в Сен-Клу. Февурита нежно смотрела на Блашвелля и говорила:

— Блашвелль, я обожаю тебя.

Это вызвало вопрос со стороны Блашвелля.

— Что бы ты сделала, Февурита, если бы я перестал тебя любить?

— Что бы сделала я! — воскликнула Февурита. — Ах! Не говори этого даже в шутку! Если бы ты разлюбил меня, я бы кинулась на тебя и исцарапала, изорвала бы всего, облила бы тебя водой, заставила бы тебя арестовать.

Блашвелль улыбался сладкой улыбкой человека, самолюбие которого приятно пощекотали. Февурита продолжала:

— О, я буду кричать караул! Уж я с тобой не поцеремонюсь! Бездельник!

Блашвелль в упоении откинулся на спинку стула и самодовольно зажмурил глаза.

Далия, кушая за обе щеки, спросила под шумок у Февуриты шепотом:

— Ты очень обожаешь твоего Блашвелля?

— Я? Да я просто ненавижу его, — возразила Февурита тем же тоном, хватаясь за вилку. — Ах, как он глуп! Я влюблена в моего соседа. Вот это прелестный молодой человек, — ты не знаешь его? Сейчас видно, что у него призвание к театру. Я страсть люблю актеров. Как только он приходит домой, мать говорит: «О господи! Не будет мне теперь покоя от твоего крика! Да, у меня совсем голова от тебя раскалывается!» А он бродит по всему дому, заберется на чердак к крысам, словом, удаляется куда только может и

поет, декламирует себе во все горло. Его слышно даже внизу! Он зарабатывает уже теперь по двадцать су в день, переписывая у адвоката бумаги. Это сын бывшего певчего церкви Сен-Жак-дю-О-Па. Ах! Как он мил! Он так обожает меня, что однажды, застав меня, когда я месила тесто для пышек, он сказал мне: «Мамзель, состряпайте оладьи из ваших перчаток, а я их съем». Одни артисты умеют говорить такие вещи. Ах! Что за милашка! Я начинаю терять по нему голову. А говорю Блашвеллю, что обожаю его; но как я лгу! Боже, как я лгу!

Февурита помолчала немного и продолжала:

— Знаешь ли, Далия, у меня хандра. Целое лето шел дождь, ветер раздражает меня, ветер не разгоняет тоски. Блашвелль жаден. На рынке ничего нет: горошка, и того не найдешь, просто не знаешь, что есть; у меня сплин, как говорят англичане; масло страшно вздорожало! Посмотри, какая гадость, мы обедаем в комнате, где стоит постель; это отравляет мне существование!

Глава 34

Между тем одновременно одни пели, другие говорили — все голоса сливались в нестройный шум. Толомьес вмешался.

— Не будем говорить вздор, — воскликнул он. — Кто хочет блистать, должен взвешивать свои слова. Избыток импровизации отуманивает голову. Откупоренное пиво не пенится. Не спешите, господа. Соединим степенность с наслаждением. Будем есть с толком, говорить с расстановкой. Не спешите. Посмотрите на весну: когда она поспешит, непременно даст осечку. Избыток усердия губит цветы и плоды. Избыток усердия портит удовольствие хорошего обеда. Не стоит усердствовать, господа! Гримо де ла Реньер разделял мнение Талейрана. В обществе вспыхнул мятеж.

— Оставь нас в покое, Толомьес, — сказал Блашвелль.

— Долой тирана! — крикнул Фамейль.

— Пей, ешь и веселись! — возгласил Листолье.

— Толомьес, — отозвался Блашвелль, — полюбуйся моей невозмутимостью.

— Ты сам маркиз Монкальм (mon calme — мое спокойствие).

Маркиз Монкальм был известным роялистом того времени. Каламбур произвел действие камня, брошенного в пруд; лягушки присмирели разом.

— Друзья, — провозгласил Толомьес тоном человека, возвратившего себе ускользавшую власть, — придите в себя. Не встречайте с излишним восторгом каламбур, свалившийся с неба. Все сваливающееся этим путем не всегда заслуживает удивления и почета. Каламбур — извержение парящего ума. Шутка падает куда ни попало, а ум, испустив глупость, взвивается в лазурную высь. Беловатое пятно, расплющивающееся об утес, не мешает парению орла. Но я далек от мысли отрицать значение каламбура. Я уважаю его в размере его

достоинств, но не более. Все почтенное, все великое и все милое в человечестве и даже выше человечества забавлялось игрой слов. Моисей сказал каламбур насчет Исаака, Эсхил насчет Полиника, Клеопатра насчет Октавия. И заметьте, что каламбур Клеопатры был сказан до битвы при Акциуме, так что без этой игры слов теперь никто бы уже не помнил города Торина, греческое имя которого обозначает кухонную поварешку. Итак, возвращаюсь к предмету моей речи. Братья мои, повторяю вам, не усердствуйте без меры, не предавайтесь суетности и излишествам даже в остроумии, веселии, шутках и каламбурах. Внемлите мне: я обладаю осторожностью Амфиарая и плешью Цезаря. Мера необходима везде. Est modus in rebus. Нужен предел всему, даже и обеду. Вы, например, мадемуазель, любите яблочные оладьи, но не злоупотребляйте ими. Даже и к оладьям необходимо относиться с рассудительностью и чувством меры. Обжорство наказывает обжору. Gula punit gulux. Господь поручил расстройству желудка служить нравоучением желудку.

Запомните следующее: у каждой страсти, даже у любви, есть желудок, обременять который не годится. Во всяком деле нужно вовремя написать слово finis; необходимо воздерживать себя, когда этого потребует необходимость; запереть на ключ аппетит, посадить в карцер воображение и отвести себя за шиворот на гауптвахту. Мудрец тот, кто умеет в должное время посадить самого себя под арест. Окажите мне некоторое доверие. Из того, что я имею кое-какие понятия о праве, как свидетельствуют мои экзамены, из того, что я знаю различие между вопросом обсуждаемым и вопросом, стоящим на очереди, из того, что я защищал на латинском диалекте тезис о порядке пыток в Риме, в эпоху, когда Мунатий Деменс был квестором по делам отцеубийства, из того, что, как кажется, я буду признан доктором прав, еще не следует, что я глупец. Рекомендую вам уверенность в желаниях. Так же истинно, как то, что я называюсь Феликс То-ъломьес, я говорю правду. Блажен тот, кто вовремя умеет принять геройское решение и отречься от власти, как Сулла и Ориген!

Февурита слушала с глубоким вниманием.

— Феликс — славное имя. Оно нравится мне. Это латинское слово. Оно значит «счастливый».

Толомьес продолжал:

— Квириты, джентльмены, кабалеросы, друзья мои! Хотите ли не знать докуки и обходиться без брачного ложа и без любви? Легче ничего не может быть. Рецепт следующий: пейте лимонад, делайте физические упражнения до изнеможения, работайте в поте лица; трудитесь, таскайте камни, не спите, бодрствуйте; надувайтесь азотистыми жидкостями и настоем из нимфеи, пейте маковые эмульсии и микстуру из перца, приправляйте все это строгой диетой, морите себя голодом и принимайте холодные ванны, носите пояс из ароматических трав и свинца, употребляйте примочки из эссенции сатурна с уксусом и сахаром!

— Предпочитаю женщину! — сказал Листолье.

— Женщина! — продолжал Толомьес. — Не доверяйте ей. Горе тому, кто положится на изменчивое женское сердце! Женщина коварна и изворотлива. Она ненавидит змея из зависти. Змей — это для нее соперник.

— Толомьес, — закричал Блашвелль, — ты пьян!

— Вот тебе раз! — отозвался Толомьес.

— Если нет, то будь повеселее, — посоветовал Блашвелль.

— Согласен, — отвечал Толомьес, и, наполнив стакан, он встал. — Слава вину! Nune te, Bacche, canam! {Ныне пою тебя, Вакх (лат.).} Извините, мадемуазель, это по-испански. И в доказательство сего, сеньоры, скажу вам, что каков народ, такова и посуда. В кастильский арроб входит шестнадцать литров, в канторо Аликанты — двенадцать, в альмуд Канарских островов — двадцать пять, в квартен Балеарских островов — двадцать шесть, в бочку Петра Великого — тридцать. Да здравствует великий царь и его огромная бочка!

— Мадемуазель, даю вам дружеский совет: принимайте чужих любовников за своих сколько душе угодно! Заблуждение свойственно любви. Любовь не создана для того, чтобы ползать на одном месте и тупеть, как английская работница, натирающая себе на коленях мозоли от мытья кухни. Она создана не для этого: легкокрылая любовь порхает! Пословица гласит: человеку свойственно заблуждение. А я скажу: «Любви свойственно заблуждение». Мадемуазель, я всех вас боготворю. О, Зефина! О, Жозефина! Вы были бы более чем прелестны, если бы лицо ваше не съехало немножко в сторону. Вы похожи на хорошенькую мордочку, на которую нечаянно сели. Что же касается вас, Февурита, то вы переносите меня к нимфам и музам. Однажды Блашвелль, переходя сточный ручей на улице Герен-Буасо, увидел икры красивой девушки в белых и хорошо натянутых чулках. Пролог понравился Блашвеллю, и он влюбился. Та, в кого он влюбился, была Февурита. О, Февурита! У тебя ионийские уста. Был один греческий живописец, по имени Эфорион, прозванный

живописцем уст. Только он один был бы достоин нарисовать твой рот! Послушай, до тебя не было женщины, достойной этого имени. Ты создана для того, чтобы получить яблоко, как Венера, или для того, чтобы скушать его, как Ева! Красота началась тобой. Я упомянул Еву — ты создала ее. Ты заслуживаешь получить медаль за изобретение хорошенькой женщины. О, Февурита! Перестаю говорить вам «ты», потому что перехожу от поэзии к прозе. Вы только что говорили о моем имени; это тронуло меня. Но кто бы мы ни были, не будем доверять именам. Они обманчивы. Я называюсь Феликс, но я несчастлив. Слова — лжецы. Не будем верить слепо их утверждениям. Было бы ошибкой выписывать пробки из Льежа и перчатки из По. Мисс Далия, на вашем месте я назывался бы Розой. Цветку необходимо благоухание, а женщине — остроумие. Не говорю ничего о Фантине, — это мечтательница; она нужная «не тронь меня», призрак, облеченный плотью нимфы и целомудрием монахини, призрак, заблудившийся на чердаке гризетки, но

витающий в грезах; она поет, и молится, и смотрит на небо, не сознавая хорошенько, что видит и делает, устремляет взор в лазурь и бродит по саду, где больше птиц, чем во всей вселенной! О, Фантина! Узнай следующее: я, Толомьес, тоже призрак. Но она не внемлет мне, златокудрая дочь Химеры! В ней все свежесть, молодость, утренняя заря. О, Фантина, дева, достойная называться Маргаритой или Жемчужиной, ты женщина восточных небес. Но перехожу ко второму совету, мадемуазель: не выходите замуж. Брак — прививка. Прививка иногда принимается хорошо, иногда — дурно. Избегайте этого риска. Но, ба! К чему тут ораторствовать. Я трачу даром слова. Все девушки неизлечимы относительно брака, и что ни проповедуй мы, мудрецы, это не помешает всем жилетницам и башмачницам мечтать о мужьях, осыпанных бриллиантами. Оставим это в стороне, красавицы, но запомните хотя бы вот что: вы слишком много кушаете сладкого. У вас, о, женщины! один недостаток — вечно грызть сахар. О, грызуньи, ваши беленькие зубки обожают сахар. Выслушайте меня: сахар

принадлежит к разряду солей. Всякая соль сушит. А сахар более всех остальных. Он высасывает кровь из жил. Отсюда происходит сгущение, а затем застой крови. Застой крови родит туберкулы в легких и затем смерть. Вот почему сахарная болезнь оканчивается чахоткой. Итак, не ешьте так много сахара и проживете долго! Обращаюсь к мужчинам: господа, одерживайте победы. Воруйте, без зазрения совести, друг у друга ваших возлюбленных. В любви друзей не существует. Везде, где есть хорошенькая женщина, там господствует война. Не давайте пощады. Война до последней капли крови. Хорошенькая женщина составляет повод к войне, хорошенькая женщина — это повод для преступления. Все исторические завоевания заканчиваются юбкой. Женщина составляет право мужчины. Ромул похитил сабинянок, Вильгельм похитил саксонок, Цезарь похитил римлянок. Мужчина, не имеющий возлюбленной, кружится, как коршун, над чужими возлюбленными, и я обращаюсь ко всем этим несчастным вдовцам, повторяю им великолепное

воззвание Бонапарта к итальянской армии: «Солдаты, вы лишены всего. У неприятеля есть все».

Толомьес остановился.

— Переведи дух, Толомьес, — сказал ему Блашвелль.

В то же время Блашвелль, поддерживаемый Листолье и Фамейлем, затянул на голос кантаты одну из студенческих песен, сложенных из первых попавшихся слов, то рифмованную, то без рифм, но бессмысленную, как движение веток при ветре, песню, рожденную из табачного дыма, улетающую и исчезающую вместе с ним. Вот куплет, которым общество ответило на проповедь Толомьеса.

Отцов-глупцов не в меру

Снабжали прихожане,

Чтобы Клермон-Тонеру

Стать папою в Сен-Жане.

Но кто родился шляпой,

Вовек не будет папой.

И у отцов-глупцов приход

Забрал обратно весь доход.

Но это не остановило импровизации Толомьеса; он допил свой стакан, снова наполнил его и продолжал:

— Долой рассудок! Забудьте все сказанное. Не будем предусмотрительны, ни чопорны, ни щепетильны. Пью за веселье! Будем веселы! Пополним курс наук питьем и едой. Да здравствует процесс судоговорения и пищеварения! Юстиниан да будет мужем, а прожорливость женой! Радуйся и веселись все живущее. Живи! О ты, царь природы! Мир — бриллиант. Птицы — его певцы. Везде ликование. О лето, приветствую тебя. О Люксембург! О георгины улицы Мадам и аллеи Обсерватории! О мечтательные воины. О прелестные няни, охраняющие детей и развлекающиеся сочинением новых малюток! Американские пампасы манили бы меня к себе, если бы у меня не было сводов Одеона. Моя душа летит в

девственные леса и саванны. Все дивно. Мухи жужжат в сиянии. Солнце чихнуло, и вышел колибри. Фантина, поцелуй меня!

Он по ошибке обнял Февуриту.

Глава 35

— У Эдона лучше обедают, чем у Бомбарда, — заметила Зефина.

— А я отдаю предпочтение Бомбарде перед Эдоном, — объявил Блашвелль. — У него более роскоши. Более в восточном вкусе. Посмотри на нижний зал. Стены в зеркалах.

— Предпочитаю их (glaces — зеркала и glaces — мороженое) у себя на тарелке, — сказала Февурита.

Блашвелль не обратил внимания на возражение.

— Взгляните на ножи. У Бомбарда черенки серебряные, у Эдона костяные. Серебро ценнее кости.

— Для всех, за исключением тех, у кого серебряная челюсть, — вставил Толомьес.

В эту минуту он созерцал купол дворца Инвалидов, видневшийся из окон Бомбарда. Возникла пауза.

— Толомьес, — крикнул ему Фамейль, — у нас с Листолье сейчас! был спор.

— Спор — дело похвальное, — ответил Толомьес, — но ссора еще лучше.

— У нас был спор о философии.

— Прекрасно.

— Кто, по-твоему, сильнее, Декарт или Спиноза?

— Дезожье, — сказал Толомьес. После произнесения такого приговора он хлебнул вина и продолжал:

— Я согласен жить. Еще не все утрачено на земле, пока можешь сумасбродствовать. Воссылаю благодарение бессмертным богам. Врешь, но смеешься. Утверждаешь — но

сомневаешься. Силлогизм родит неожиданное. Великолепно. Существуют еще на земле смертные, умеющие весело раскрывать и закрывать ларец парадокса. То, что вы пьете, мадемуазель, в настоящее мгновенье, да будет вам известно: мадера из виноградников Кураль де Фрейрас, находящихся на высоте трехсот семнадцати туазов над уровнем моря. Пейте со вниманием! Триста семнадцать, туазов — не шутка! И господин Бомбарда, щедрый трактирщик, сервирует вам триста семнадцать туазов за четыре франка пятьдесят сантимов!

Фамейль снова прервал его речь.

— Толомьес, твое мнение — закон. Кто твой любимый поэт?

— Бер…

— …кен?

— Нет — шу…

Толомьес продолжал:

— Слава Бомбарде! Он уподобился бы Мунофису Элефантскому, если бы преподнес мне

алмею, и Тигелиону Херонейскому, если бы добыл мне гетеру! О, мадемуазель, в Греции и Египте были Бомбарды. Апулей сообщает нам это. Увы! Все старо, и ничего нет нового под луной. Ничего не осталось неизданного из произведений Творца! «Нет ничего нового под солнцем», — сказал Соломон. «Любовь у всех одна и та же», — говорит Виргилий. Карабина садится с Карабином в галиот в Сен-Клу точно так же, как некогда Аспазия всходила с Периклом на самосскую триеру. Последнее слово. Знаете ли вы, мадемуазель, кто была Аспазия? Хотя она жила еще в то время, когда в женщинах не признавалось души, в ней, однако, была душа; душа пурпурового цвета, горевшая ярче пламени, румянее зари! В Аспазии совмещались два противоположных предела женского типа: проститутка и богиня. Сократ на подкладке Манон Леско. Аспазия была создана на случай, если Прометею понадобится непотребная женщина.

Толомьес, закусив удила, едва ли остановился бы сам, если бы в это мгновение на набережной

не упала лошадь. Камень на мостовой разом остановил телегу и оратора. Это была старая тощая кобыла-першеронка, тащившая тяжело нагруженную телегу, под стать извозчику, сопровождавшему ее. Дотащившись до трактира Бомбарда, лошадь отказалась идти дальше. Этот случай привлек толпу. И только негодующий и ругающийся извозчик успел произнести приличное обстоятельству энергичное поощрение, подкрепленное немилосердным ударом кнута, как кляча повалилась на землю с тем, чтобы уже не вставать. Веселая компания сбежалась к окну на шум, поднявшийся в толпе зевак, и Толомьес воспользовался этим, чтобы заключить свои разглагольствования декламацией стихов:

Печальную судьбу одрам-тяжеловозам

Предначертал небесный царь.

И — роза среди кляч, — подобно майским розам,

Сломилась горестная тварь.

— Бедная лошадь, — вздохнула Фантина.

А Далия воскликнула:

— Ну вот, Фантина примется теперь оплакивать лошадь. Нельзя быть глупее этой дурочки!

Февурита, в это мгновение скрестив руки и запрокинув голову, решительно посмотрела на Толомьеса и спросила:

— Когда же, наконец, сюрприз?

— Как раз время для него наступило, — ответил Толомьес. — Господа, пробил час сделать сюрприз нашим дамам. Сударыни, подождите нас секундочку.

— Сюрприз начинается поцелуем.

— В лоб, — досказал Толомьес.

Молодые люди с серьезным видом приложились каждый к своей излюбленной, затем гуськом направились к дверям, приложив таинственно палец к губам.

Февурита напутствовала их хлопаньем в ладоши.

— Начинается забавно, — проговорила она.

— Не оставайтесь там долго, — промолвила Фантина. — Мы ждем вас.

Глава 36

Девушки, оставшись одни, попарно поместились у подоконников, болтали, высовывались на улицу и перекидывались фразами из окна в окно.

Они видели, как молодые люди вышли под руку из трактира, обернулись, помахали, смеясь, рукой и исчезли в воскресной пыли и толпе, заливающей еженедельно Елисейские поля.

— Не оставайтесь долго! — кричала им вслед Фантина.

— Что такое они подарят нам? — спросила Зефина.

— Наверное, что-нибудь красивое, — сказала Далия.

— Я желаю, чтобы это было что-нибудь золотое, — вставила Февурита.

Вскоре их заняло движение на берегу реки, видное сквозь ветви деревьев и очень заинтересовавшее их. Это был час отъезда дилижансов и почтовых карет. Почти все почтовые экипажи, ходившие в южные и западные провинции, проезжали в то время через Елисейские поля. Путь большинства проходил по набережной и через заставу Пасси. Через каждые пять минут проезжала мимо какая-нибудь карета, окрашенная в черное с желтым, тяжело нагруженная, с безобразной связкой сундуков и чемоданов, с мелькавшими из окон головами; с грохотом катилась она по мостовой, высекая искры из камней, и мчалась сквозь толпу с бешеным шумом, в облаках пыли. Весь этот гам забавлял девушек.

— Экая трескотня! — восклицала Февурита. — Словно волочат целый ворох цепей.

Одна из карет приостановилась на минуту за купой вязов, отчасти заслонивших ее, а затем снова помчалась дальше. Это удивило Фантину.

— Странно, — заметила она, — я думала, что дилижансы не останавливаются.

Февурита пожала плечами.

— Что за смешная эта Фантина. На нее стоит ходить смотреть из любопытства. Она удивляется самым простейшим вещам. Ну, предположим, что вот я пассажир; я говорю дилижансу, что я пойду вперед и чтобы он меня посадил мимоходом на набережной. Дилижанс проезжает, видит меня и останавливается. Это делается ежедневно. Ты просто не знаешь жизни, моя милая.

Прошло таким образом некоторое время. Вдруг Февурита спохватилась.

— Ну а что же поделывает наш сюрприз?

— Действительно, где же наш знаменитый сюрприз? — повторила за ней Далия.

— Как их долго нет! — заметила Фантина.

Фантина едва успела проговорить свою жалобу, как вошел гарсон, подававший им обед. Он держал в руке что-то похожее на письмо.

— Это что такое? — спросила Февурита.

— Это бумага, оставленная теми господами для вас, — сказал слуга.

— Почему же вы не принесли ее тотчас?

— Потому что господа приказывали отдать только через час.

Февурита вырвала бумагу из рук гарсона. Оказалось письмо.

— Посмотрите, тут нет даже адреса, а написано вот что: «Сюрприз». Она поспешно распечатала письмо, развернула его и прочла следующее (она умела читать):

—

«О, наши возлюбленные!

Узнайте, что мы имеем родителей. Родители — это вещь не совсем вам знакомая. Оную вещь закон гражданский, честный и

пошлый именует „отцами и матерями“. Эти вышеозначенные родители наши стонут и плачут, желают видеть нас; старички и старушки называют нас блудными сыновьями, требуют нашего возвращения и обещают заклать для нас упитанных тельцов. Мы повинуемся им, ибо мы добродетельны. В тот час, когда вы будете читать эти строки, пять ретивых коней будут мчать нас к нашим папенькам и маменькам. Мы удираем, как сказал Боссюэ. Мы едем; мы уехали. Мы уносимся в объятиях Лаффитта и на крыльях Кальяра. Тулузский дилижанс спасет нас из бездны. Бездна — это вы, о наши милашки! Мы возвращаемся в общество, к долгу и порядку, вскачь, по три лье в час. Отечество требует, чтобы, по примеру всех живущих, мы превратились в префектов, в отцов семейств, в лесных сторожей или государственных советников. Уважайте нас. Мы приносим себя в жертву. Оплакивайте нас как можно меньше и замените нас как можно скорее. Если это письмо раздерет вам душу, вы тотчас отплатите ему тем

же. Прощайте. Около двух лет мы составляли ваше счастье. Не поминайте нас лихом.

P. S. Обед оплачен».

Четыре девушки взглянули друг на друга.

Февурита первая прервала молчание.

— Во всяком случае, шутка знатная! — сказала она.

— И очень смешная, — поддакнула Зефина.

— Наверное, это выдумал Блашвелль, — продолжала Февурита.

— Нет, — сказала Далия, — я узнаю в этом Толомьеса.

— В таком случае, — возразила Февурита, — смерть Блашвеллю, и да здравствует Толомьес!

— Да здравствует Толомьес! — прокричали Далия и Зефина и все покатились со смеху.

Фантина смеялась наравне с другими. Через час, вернувшись в свою комнату, она плакала. Как мы уже сказали, она любила в первый раз. Она

отдалась Толомьесу, как мужу, и бедная девушка была уже матерью.

Глава 37

В первой четверти нынешнего столетия в Монфермейле, близ Парижа, стоял род трактира, которого теперь уже и след простыл. Его содержали некто Тенардье — муж с женой. Стоял он в переулке Буланже. Над дверью красовалась доска, плотно прибитая к стене. На этой доске было намалевано подобие человека, несущего на плечах другого, с огромными золочеными генеральскими эполетами, украшенными серебряными звездами; красные пятна изображали кровь. Остальную часть картины наполнял дым, представлявший, вероятно, сражение. Внизу была надпись: «Ватерлооский сержант».

Ничего нет странного видеть повозку или фуру у постоялого двора. Однако повозка или, вернее, остатки повозки, загромождавшие улицы перед трактиром ватерлооского сержанта,

однажды вечером 1818 года своим видом привлекли бы внимание прохожего художника.

Это было вроде передка ломовых роспусков, употребляемых в лесистых краях и служащих для перевозки толстых досок и древесных стволов. Он состоял из массивной оси со стержнем, в который вкладывалось тяжелое дышло; все это поддерживалось двумя несоразмерно огромными колесами и представляло нечто неуклюжее, тяжелое и уродливое. Словно лафет гигантской пушки. Колеса, ступицы, ось и дышло были покрыты густым слоем ила отвратительного желтоватого оттенка, вроде краски, которой расписывают дома. Дерево исчезло под грязью, а железо под ржавчиной. Под осью висела цепь, достойная пленного Голиафа. Эта цепь наводила мысль не на те бревна, которые она имела назначением перевозить, а на тех мастодонтов, которые в нее впрягались; она походила на цепь каторжника, но цепь не человеческую, а циклопическую, и казалась оторванной от какого-нибудь чудовища. Гомер приковал бы к этой цепи Полифема, а Шекспир _ Калибана.

С какой целью этот передок роспусков стоял на этом месте, посреди улицы? Во-первых, чтобы загромоздить улицу, затем чтобы окончательно покрыться ржавчиной. В старом социальном порядке есть множество учреждений, торчащих таким образом на проходе, на открытом воздухе — без всяких иных на то причин.

Середина цепи свешивалась под осью довольно близко к земле, и на изгибе, как на веревке качелей, сидели в этот вечер обнявшись две прелестные девочки — одна лет двух с половиной, другая около полутора; маленькая сидела на руках у старшей. Платок, искусно подвязанный, удерживал их от падения. Какая-то мать, очевидно, увидела эту страшную цепь и подумала: «Вот славная игрушка для моих деток».

Дети, одетые довольно мило, с некоторой изысканностью, сияли, словно две розы среди ржавого железа; глазки их светились радостью; свежие щечки смеялись. У одной были каштановые волосы, другая — совсем брюнетка.

Их наивные личики изображали удивление; около них цветущий куст посылал прохожим благоухание, и, казалось, оно исходило от этих детей. Полуторагодовалая девочка показывала свой голенький животик с той невинной нескромностью, которая свойственна детству. Над этими нежными головками, сияющими радостью и утонувшими в свете, гигантские роспуски, страшные, почерневшие от ржавчины, округлялись как ворота пещеры. В нескольких шагах женщина, прикорнувшая на пороге трактира, должно быть их мать, вида вообще не особенно приветливого, но трогательная в эту минуту, покачивала детей с помощью веревки, не спуская с них глаз, боясь, как бы они не упали, с тем животным, но небесным выражением, которое свойственно матерям; при каждом движении уродливые звенья издавали резкий звук, похожий на крик гнева; девочки ликовали; заходящее солнце участвовало в их радости, и ничего не могло быть очаровательнее прихоти случая, сделавшего из цепи для титанов качели для херувимов.

Покачивая своих деточек, мать напевала фальшивым голосом песню, в то время очень модную:

Так надо, — рыцарь говорил…

Ее песня и созерцание малюток так поглотили ее, что она и не замечала, что делается вокруг.

Между тем кто-то подошел к ней, когда она заново начинала первый куплет романса, и вдруг над самым ее ухом раздался голос:

— Какие у вас миленькие детки, сударыня.

Прекрасной нежной Иможине… —

продолжала мать свой романс, потом повернула голову. Перед ней, в нескольких шагах, стояла женщина. У этой женщины тоже был ребенок, которого она держала на руках.

Кроме того, у нее был большой мешок, казавшийся очень тяжелым.

Ребенок этой женщины был одним из самых чудных созданий в мире. Это была девочка от двух до трех лет. Изяществом наряда она могла

бы поспорить с другими двумя девочками; у нее был чепчик тонкого полотна, ленты на фартучке и валансьен на чепчике. Поднятая юбочка обнажала бедро, белое, нежное и пухлое; она была замечательно розовенькая и здоровая. Так и хотелось укусить свежие, как яблочки, щечки прелестной малютки. О глазах ее ничего нельзя было сказать, но, должно быть, они были очень большие, и ресницы были великолепные. Она спала. Спала сном безграничного доверия, свойственного ее возрасту Объятия матерей сотканы из нежности — дети спят в них сладким сном.

Что касается матери, то вид ее был жалкий и печальный. Одета она была как ремесленница, стремящаяся снова стать крестьянкой. Она была молода. Хороша ли она собой? Может быть; но в таком наряде этого было незаметно. Волосы, от которых отделялась белокурая прядь, казались очень густыми, но строго прятались под грубым чепчиком, узким, безобразным, сжатым и подвязанным у подбородка. Смех открывает прекрасные зубы, у кого они есть; но она не

смеялась. Глаза ее, казалось, недавно высохли от слез. Она была бледна; вид ее был усталый и немного больной; она смотрела на свою дочь, заснувшую на ее руках, с тем особенным видом матери, которая выкормила своего ребенка. Большой синий платок, вроде тех, в которые сморкаются инвалиды, сложенный косынкой, неуклюже прикрывал ее талию. Руки у нее были загорелые, покрытые веснушками, указательный палец жесткий и исколотый иголкой; на плечах грубый плащ коричневой шерсти; холщовое платье и толстые башмаки довершали наряд. То была Фантина.

Фантина, которую трудно было узнать. Между тем, если внимательно рассмотреть ее — красота ее все еще сохранилась. Грустная, ироничная складка пересекала ее правую щеку. А былой наряд ее — воздушный наряд из кисеи и лент, словно сотканный из веселья и музыки, полный погремушек и благоухающий сиренью — испарился, как тот блестящий иней, который принимают за бриллианты на солнце; иней тает, и после него остается почерневшая ветка.

Десять месяцев прошло со времени «веселого фарса». Что случилось за эти десять месяцев? Угадать не трудно.

Он ее бросил, и наступили лишения. Фантина разом потеряла из виду Февуриту, Зефину и Далию. Связь, порванная со стороны мужчин, само собой ослабла со стороны женщин: они очень удивились бы каких-нибудь две недели спустя, если бы им напомнили, что они были подругами. Фантина осталась одинокой. Когда ушел отец ее ребенка, — увы! такие разрывы совершаются бесповоротно — она осталась совершенно одна, к тому же с ослабшей привычкой к труду и с большей склонностью к удовольствию. Увлеченная своей связью с Толомьесом, она забросила то единственное ремесло, которое знала, и не позаботилась о будущем — оно было туманно. Ресурсов никаких. Фантина с трудом читала, а писать и вовсе не умела. В детстве ее научили только подписывать свое имя; она заставила писаря написать письмо к Толомьесу, потом второе, потом третье; Толомьес не ответил ни на одно. Раз Фантина

услышала, как кумушки говорили о ее дочери: «Разве можно серьезно смотреть на таких детей! Глядя на них, можно пожать плечами!» Тогда она представила себе, как Толомьес пожимает плечами, глядя на ее ребенка, и не относится серьезно к этому невинному существу, и сердце ее ожесточилось к этому человеку Что теперь делать, что предпринять? Она не знала, к кому обратиться.

Она совершила проступок, но в основе ее натуры были скромность и добродетель. Она смутно почувствовала, что ей грозит впасть в нищету и соскользнуть в порок. Необходимо было мужество; оно у нее нашлось. Фантина решила вернуться в свой родной город. Там, быть может, кто-нибудь ее узнает и даст работу; но надо скрыть свой проступок. Она неясно осознавала необходимость разлуки еще более тяжкой, нежели первая. Сердце ее болезненно сжималось, но она приняла твердое решение.

Фантина, как увидите, обладала суровым мужеством. Она уже храбро отреклась от нарядов

и облеклась в холстину, а весь свой шелк, все свои вещи, ленты и кружева надела на свою дочку, единственную оставшуюся у нее гордость, и гордость святую. Она распродала все, что имела, и выручила двести франков; за уплатой мелких долгов у нее осталось еще около восьмидесяти франков. В одно прекрасное весеннее утро, двадцати двух лет от роду, она покинула Париж, неся ребенка на плечах. Всякий, кто бы увидел их обеих, сжалился бы. У этой женщины было на свете только одно утешение — этот ребенок, а у ребенка никого не было, кроме этой женщины. Фантина выкормила свою дочь, это надорвало ей грудь, и она слегка покашливала.

Мы не будем больше иметь случая говорить о господине Феликсе Толомьесе. Скажем только, что двадцать лет спустя, при короле Луи-Филиппе, он был толстым провинциальным адвокатом, влиятельным и богатым, благоразумным избирателем и очень строгим присяжным, но все тем же жуиром.

Около полудня, проехав, ради отдыха, за три-четыре су с каждой мили в дилижансе, Фантина очутилась в Монфермейле, в переулке Буланже.

Когда она проходила мимо трактира Тенардье, эти две крошки, ликующие на своей чудовищной качели, словно ослепили ее — она остановилась как вкопанная перед этим радостным видением.

Эти две девочки буквально околдовали ее. Она любовалась ими в умилении. Присутствие ангелов — вывеска рая. Малютки были очевидно счастливы! Она осматривала их, любовалась ими, до того растроганная, что в ту минуту, когда мать сделала передышку между двумя куплетами песни, она не вытерпела, чтобы не сказать ей:

— Какие у вас хорошенькие детки, сударыня.

Самые суровые существа обезоружены, когда приласкают их детенышей.

Мать приподняла голову, поблагодарила и пригласила прохожую сесть на скамью у дверей — сама она сидела на пороге. Женщины разговорились.

— Меня зовут мадам Тенардье, — сказала мать двух девочек. — Мы содержим этот трактир.

И, все еще занятая своей песней, она замурлыкала сквозь зубы:

Так надо, — рыцарь повторил, —

Я уезжаю в Палестину.

Эта мадам Тенардье была женщина рыжая, коренастая, угловатая — тип женщины-солдата во всем его безобразии. И, странное дело, у нее были жеманные ужимки, которые она приобрела, начитавшись романов. Это была сентиментальная гримасница. Старые романы, забив мозги трактирщиц, иногда производят такие странные эффекты. Она была еще молода — лет тридцати, не больше. Если бы эта женщина, сидевшая в то время на корточках, выпрямилась, то, быть может, ее высокий рост, сложение ярмарочного колосса с самого же начала запугали бы путешественницу, смутили ее доверчивость, и не случилось бы того, что мы хотим рассказать. Человек в сидячем или в стоячем положении — вот от чего зависит иногда судьба. Путница

рассказала свою историю в немного измененном виде.

Она ремесленница, муж ее умер, работы в Париже мало, и вот она пошла искать ее в другом месте, на своей родине; вышла она из Парижа в то же утро, но так как несла ребенка и утомилась, то села в общественную карету Вильмомбля, встретив ее на пути; от Вильмомбля она пришла в Монфермейль пешком; девочка тоже немножко шла сама, но самую малость — ведь такая еще крошка; потом надо было ее взять на руки, и сокровище уснуло.

При этих словах она с такой страстностью поцеловала свою дочь, что та проснулась. Ребенок открыл глаза, голубые, как у матери, и стал смотреть, на что? На все и ничего с тем серьезным и порою строгим видом маленьких детей, который составляет тайну их лучезарной невинности среди потемок наших добродетелей. Словно они сознают себя ангелами, а нас людьми. Потом ребенок засмеялся и, хотя мать удерживала его, соскользнул на землю с

неудержимой энергией маленького создания, которому захотелось побегать. Вдруг она увидела двух других на их качелях, остановилась как вкопанная и высунула язык в знак восхищения.

Тенардье отвязала своих дочек, сняла их с качелей и промолвила:

— Играйте все втроем.

В таком возрасте дети быстро сходятся, и через минуту обе Тенардье уже забавлялись со своей новой подружкой, копая ямки в земле, — громадное наслаждение!

Обе женщины продолжали разговаривать:

— Как зовут вашу девчурку?

— Козетта.

Козетта — читай Эфрази. Маленькую звали Эфрази. Но из Эфрази мать сочинила Козетту, в силу того прелестного, грациозного инстинкта матерей и народа, который превращает Жозефу в Пепиту, а Франсуазу в Силетту. Это род производных слов, сбивающий с толку науку

этимологов. Мы знавали одну бабушку, которой удалось из Федора сделать Гнон.

— А сколько лет ей?

— К трем близко.

— Точь-в-точь моя старшенькая.

Между тем три девочки прижались все вместе в позе глубочайшей тревоги и благоговения; совершилось событие: из земли выполз большой червь; им было немножко страшно, но они были в восторге.

Их сияющие лобики соприкасались — словно три головки под одним сиянием.

— Дети, — воскликнула мадам Тенардье, — этот народ живо знакомится! Вот они все три, ни дать ни взять три сестры!

Это слово было искрой, которой, очевидно, ждала другая мать. Она схватила мадам Тенардье за руку, пристально посмотрела и сказала:

— Хотите оставить у себя моего ребенка?

У Тенардье вырвался удивленный жест, не означающий ни согласия, ни отказа.

Мать Козетты продолжала:

— Видите ли, я не могу взять с собой дочку в свой край. Работа не позволяет. С ребенком не найдешь места. Такие смешные люди в нашем краю. Сам Бог послал меня к вашему постоялому двору. Когда я увидела ваших крошек, таких миленьких, опрятных и счастливых, меня так всю и перевернуло. Я подумала: вот славная мать. Вот и прекрасно, так они и будут сестрицами. К тому же я скоро вернусь. Согласны оставить моего ребенка?

— Надо подумать, — проговорила тетушка Тенардье.

— Я буду платить шесть франков в месяц.

Тут мужской голос крикнул из трактира:

— Семь франков и ни сантима меньше. И за шесть месяцев вперед.

— Шестью семь — сорок два, — сказала мадам Тенардье.

— Я согласна, — отвечала мать.

— И пятнадцать франков не в счет, на первые расходы, — прибавил мужской голос.

— Всего-навсего пятьдесят семь франков, — сосчитала мадам Тенардье. И между цифрами она напевала вполголоса:

Так надо, — рыцарь говорил…

— Ну что же, я заплачу, — сказала мать, — у меня есть восемьдесят франков. Мне останется кое-что, чтобы добраться до своего места, если я пешком пойду. Там заработаю денег и, когда скоплю малую толику, приду за своим сокровищем. Мужской голос продолжал:

— А есть ли у девочки гардероб?

— Это мой муж, — сказала Тенардье.

— Еще бы не было гардероба у бедной моей милочки. Я сейчас догадалась, что это ваш муж. И какой еще гардероб! Роскошь! Всего по дюжине, и шелковые платьица, как у настоящей дамы. Вот он весь в моем саквояже.

— Надо его оставить здесь, — молвил мужской голос.

— Как же не оставить-то! Вот было бы мило, если бы я оставила свою дочку голенькой!

Фигура хозяина показалась в дверях.

— Ну ладно, — сказал он.

Торг был заключен. Мать провела ночь в трактире, выложила деньги и оставила ребенка; потом завязала снова свой саквояж, очень похудевший после того, как вынули из него детское приданое, и на следующее утро пустилась в путь, надеясь скоро вернуться. Такая разлука легко устраивается, но какое зато потом наступает отчаяние!

Соседка Тенардье встретила эту мать, когда она уходила, и, вернувшись назад, рассказывала:

— Я только что видела женщину, которая плачет среди улицы, так и надрывается.

Когда мать Козетты ушла, Тенардье сказал жене:

— Этим мы оплатим вексель в сто франков, которому завтра выходит срок. Мне только и не хватало пятидесяти франков. Знаешь ли, не то пришел бы пристав нас описывать. Славную устроила ты мышеловку со своими ребятишками.

— Сама того не подозревала, — отвечала жена.

Глава 38

Попавшаяся в западню мышь была не жирна, но кошка радуется и тощей добыче.

Что за люди были Тенардье?

Объясним это пока несколькими словами. Позднее мы дорисуем их портреты.

Они принадлежали к неопределенной категории людей, состоящей из разжившихся невежд и опустившейся интеллигенции, к той промежуточной категории людей, которая находится между так называемым средним классом и низшим, соединяя в себе некоторые недостатки позднего и почти все пороки первого,

без великодушных порывов рабочего и честной порядочности буржуа.

Это были мелкие натуры, легко доходящие до бесчеловечности, если только случай заронит в них искру нечистых поползновений.

В жене были задатки животного, в муже — задатки мошенника. Оба были одарены в высшей степени способностью развиваться в дурную сторону. Существуют души, постоянно движущиеся вспять, как раки, идущие в жизни не вперед, а назад, и для которых опыт служит только к ухудшению души, все глубже и глубже погрязающей во зле. Супруги Тенардье были именно из этой категории.

В особенности Тенардье-муж представлял мудреную задачу для физиономиста. Есть лица, на которых достаточно взглянуть раз, чтобы почувствовать недоверие и ощутить, что тут все двусмысленно со всех концов. Прошлое подозрительно и будущее сомнительно. Везде тайны. Поручиться нельзя ни за что: ни за то, что было, ни за то, что будет. В звуке голоса, в жесте

угадываются темные эпизоды прошедшего и чудятся страшные случайности впереди.

Тенардье, если верить ему на слово, был солдатом и даже сержантом; он участвовал в походе 1815 года и, как говорил, служил с отличием. Позднее выяснится, сколько во всем этом было правды. Вывеска над его трактиром изображала один из его подвигов. Рисовал он ее сам. Он умел делать всего понемножку и все делал дурно.

То была эпоха, когда старый классический роман, выродившийся из «Клелии» в «Лодоиску» и все еще выспренний, но опошлившийся, — попав из рук мадемуазель Скюдери и мадам Бурнон Маларм в руки мадам де Лафайет и мадам Бартелеми-Адо, воспламенял сердца парижских консьержек и развращал слегка столичные окраины.

Образование мадам Тенардье как раз позволяло ей чтение подобных книг. Она упивалась ими. Туманила ими все остатки разума. Пока она была молода, это придавало ей оттенок

мечтательности рядом с ее мужем, глубокомысленным негодяем, безграмотным грамотеем, грубым и хитрым, читавшим по сентиментальной части Пиго-Лебрена, а во всем, касающемся «нежного пола», как он выражался, придерживавшимся самых неутонченных правил. Жена была моложе его лет на двенадцать или пятнадцать. Позднее, когда романтически растрепанные локоны начали седеть и из Памелы стала выкраиваться Мегера, мадам Тенардье превратилась просто в толстую злую бабу, начитавшуюся глупых романов. Чтение пошлостей не прошло ей даром. Последствием этого было то, что старшая ее дочь носила имя Эпонины, а вторая, чуть-чуть не нареченная Гюльнарой, только благодаря счастливому появлению одного из романов Дюкре-Дюмениля отделалась именем Азельмы.

Впрочем, скажем мимоходом, в курьезной эпохе, на которую мы намекаем, заслуживающей именоваться анархией собственных имен, не все было смешно и поверхностно. Рука об руку с сентиментальностью, на которую мы только что

указали, нарождался один общественный симптом. Стало не в редкость встречать мясников по имени Артур, Альфред и Адольф, между тем как виконты — если уцелели еще виконты — назывались зачастую: Тома, Пьер и Жак. Это пересаждение элегантных имен на плебейскую почву и деревенских имен в аристократию не что иное, как одна из волн равенства. В этом, как и в остальном, сказалось присутствие нового веяния. Под этой мнимой дисгармонией скрывался след великой и глубокой вещи: французской революции.

Глава 39

Недостаточно быть злым для того, чтобы преуспевать. Дела трактира шли дурно.

Благодаря пятидесяти семи франкам Фантины Тенардье избежал протеста по векселю и мог оправдать свою подпись. На следующий месяц опять понадобились деньги; жена отправилась в Париж и заложила в ломбарде приданое Козетты за шестьдесят франков. Как только эти деньги

были израсходованы, Тенардье начали смотреть на девочку как на ребенка, пригретого ими из милости, и обращались с ней как с нищей. Так как у нее не стало своего платья, то ее одели в старые юбки и рубашки детей Тенардье, то есть в лохмотья. Кормили ее объедками, немного получше собаки, но хуже, чем кошку. Впрочем, собака и кошка были постоянными товарищами ее обедов; Козетта ела вместе с ними под столом, из деревянной чашки, такой же, как у них.

Мать, поселившаяся, как увидят, в Монрейле, писала или, вернее, заказывала писарю письма, осведомляясь о ребенке. Тенардье отвечали неизменно, что Козетта совершенно здорова.

По прошествии шести месяцев мать выслала семь франков на текущий месяц и продолжала довольно аккуратно присылать деньги. Но до конца года Тенардье сказал: «Велики ли деньги семь франков! На них невозможно содержать ребенка!» И он написал ей, требуя двенадцать франков. Мать, которой сообщали, что девочка

растет и «весела», покорилась и стала высылать двенадцать франков.

Бывают натуры, не способные любить кого-нибудь, не вымещая этой любви ненавистью к другим. Так и мать Тенардье, страстно любя своих собственных дочерей, возненавидела чужого ребенка. Печально думать, что в материнской любви могут быть такие уродства. Как ни мало места занимала в доме Козетта, ей казалось, что она отнимает у ее детей воздух и простор. У этой женщины, как у многих ей подобных, был известный запас ласк и брани на каждый день. Не будь тут Козетты, можно поручиться, что дочерям ее, несмотря на все ее обожание к ним, пришлось бы получать без разбора и то и другое. Но теперь на их долю достались одни ласки. Козетта же не могла шевельнуться, не намекая на себя града более или менее жестоких и незаслуженных наказаний. Бедная слабая малютка, не понимавшая ни мира, ни Бога, выносила постоянно брань, побои и упреки, видя рядом с собой своих однолеток, окруженных счастьем и баловством. Мать

Тенардье обходилась сердито с Козеттой — Эпонина и Азельма стали тоже злы. В этом возрасте дети не более как копии с матери. Формат лишь меньше, в этом и вся разница.

Так прошел год, затем второй.

— Тенардье добрые люди, — говорили в деревне. — И сами-то небогаты, и взяли на воспитание подкинутую им девочку.

Козетту считали брошенной ее матерью.

Тенардье, узнав, однако, бог знает из каких темных источников, что Козетта незаконнорожденная и что мать не может признать ее, потребовал пятнадцать франков в месяц, говоря, что «эта тварь» растет и «жрет», и грозил ее «вытолкать вон». — «Пусть она заартачится только, я к ней нагряну с ее детищем при всем честном народе. Она должна прибавить денег, хочет или не хочет». Мать стала платить пятнадцать франков. Пока Козетта была крошечной, ее мучили две другие девочки; как только она подросла, то есть не успело ей

исполниться еще пяти лет, как уже из нее сделали служанку для всего дома.

В пять-то лет, скажут, да это невероятно? Увы! Однако это не вымысел. Общественные страдания начинаются с младенчества. Разве недавно мы не были свидетелями процесса некоего Дюмоллара, сироты, превратившегося в разбойника; официальные документы гласят, что, оставшись одиноким с пяти лет, он «промышлял себе на пропитание кражей».

Козетту посылали с поручениями, заставляли мести дом и двор, мыть посуду, даже носить тяжести. Тенардье считали себя тем более вправе поступать с ней таким образом, что мать, находившаяся в Монрейле, стала платить неаккуратно. Несколько месяцев прошли без высылки денег.

Если бы эта мать заглянула через три года в Монфермейль, она не узнала бы своего ребенка. Козетта, поступившая такой свеженькой и хорошенькой в этот дом, стала худа и бледна. У нее был какой-то загнанный вид. «Тихоня!» —

говорили Тенардье. Несправедливость развила в ней раздражительность, а лишения заставили ее подурнеть. У нее остались только чудные ее глаза, возбуждавшие жалость, так как в таких большущих глазах еще отчетливее видна была печаль.

Сердце сжималось, глядя на бедную малютку, моложе шести лет, когда зимой, трясясь от стужи под дырявыми лохмотьями, она мела двор до рассвета, держа в озябших красных ручках огромную метлу, между тем как застывшие слезы стояли в глазах.

В округе ее звали Жаворонком. Народ, любящий образные выражения, дал такое прозвище этой девочке, бывшей не больше пичужки, запуганной и дрожащей, поднимавшейся раньше всех не только в доме, но и во всей деревне, и до зари уже бегавшей по двору или в поле.

Только бедный Жавороночек никогда не раскрывал рта для песен.

Глава 40

Но где же была эта мать, покинувшая, по мнению жителей Монфермейля, своего ребенка? Куда она девалась? Что делала? Оставив дочь у Тенардье, она продолжала свой путь в Монрейль. Если читатель не забыл, это происходило в 1818 году. Фантина не была на родине лет десять. Монрейль успел измениться за этот период. В то время как Фантина медленно опускалась все ниже и ниже по ступеням нищеты, ее родной город поднимался в гору. Года два тому назад в его промышленной жизни произошел один из тех переворотов, которые служат великими событиями для целого края.

Этот эпизод заслуживает внимания, и мы считаем необходимым не только упомянуть о нем, но и описать его.

С незапамятных времен специальным промыслом Монрейля были имитация изделий из английского гагата и подражание стеклярусному производству Германии. Промысел этот всегда

стоял на низкой степени развития вследствие дороговизны сырья, отражавшейся на заработной плате. В момент возвращения Фантины в Монрейле произошла необыкновенная перемена в отрасли производства «черного стекла». В конце 1815 года в городе поселился неизвестный человек, которому пришла в голову мысль заменить аравийскую камедь гумилаком и сцеплять отдельные части браслетов проволокой вместо прежних спаек. Эта незначительная перемена стала настоящим переворотом. Незначительная перемена сразу удешевила материал и позволяла, во-первых, поднять заработную плату работникам, что было благодеянием для целого края, во-вторых, усовершенствовать сами изделия, что было выгодно для потребителей, и наконец отпускать дешевле товар, выручая в то же время тройной барыш против прежнего — что было благом для фабриканта. Итак, одна идея дала три хороших результата.

Через три года изобретатель разбогател сам, что очень хорошо, и обогатил весь край, что было

еще лучше. Он был чужой в департаменте. Происхождение его не было известно, о прошлом его знали тоже мало.

Говорили, что он пришел в город не более как с несколькими сотнями франков в кармане.

Этот-то ничтожный капитал, употребленный на осуществление счастливой идеи, лег в основание его обогащения и процветания целого края.

По приезде в Монрейль он по виду, одежде и манерам походил на простого рабочего.

В день его прибытия в маленький городок Монрейль, куда он пришел пешком с палкой в руках и с сумкой за плечами, пожар уничтожил ратушу.

Этот человек отважно бросился в пламя и спас двух детей, оказавшихся детьми жандармского капитана. Вследствие этого случая никто не спросил у него паспорта. Имя его узнали позднее. Звали его дядюшка Мадлен.

Глава 41

По виду это был человек лет пятидесяти, с добрым и задумчивым лицом. Больше о нем нельзя было ничего сказать.

Благодаря быстрым успехам преобразованной им отрасли промышленности, Монрейль стал центром значительной торговли. Испания, потребляющая в огромных размерах стеклярусные изделия, делала ежегодно большие заказы. Монрейль стал почти конкурентом Лондона и Берлина в этой отрасли производства. Доходы дядюшки Мадлена были настолько велики, что на второй год он смог выстроить большую фабрику с двумя обширными мастерскими — одной для мужчин, другой для женщин. Всякий нуждавшийся мог прийти туда, с уверенностью получить работу и хлеб. Дядюшка Мадлен требовал от мужчин старательности, от женщин доброй нравственности, от всех — честности. Он устроил отдельные мастерские, чтобы таким разделением полов дать возможность женщинам и девушкам сохранить

свою нравственность. Он был неумолим насчет нравственности. Это единственный предмет, в котором он выказывал нетерпимость. Он имел тем более причин настаивать на этом, что Монрейль был гарнизонный город, и случаи разврата были нередки. Впрочем, приезд его был благодеянием для населения, и присутствие его — источником общего благосостояния. До появления дядюшки Мадлена край перебивался кое-как, теперь в нем все цвело здоровой жизнью труда. Все кипело деятельностью, и повсюду ощущался подъем духа. Безработица и нищета исчезли. Не было ни одного кармана, куда бы не перепало нескольких грошей; не было того убогого крова, куда не заглянул бы луч радости.

Дядюшка Мадлен обеспечивал всех работой. Его требования ограничивались одним: будь честным человеком! Будь честной девушкой!

Как мы уже сказали, посреди этого общего благоденствия, источником и рычагом которого был дядюшка Мадлен, он нажил большое состояние, но — явление, странное в

коммерческом человеке, — это не составляло, по-видимому, главной его цели. Он, казалось, думал много о других и мало о себе. В 1820 году знали, что у него положен у Лаффитта капитал в шестьсот тридцать тысяч франков, но, раньше чем отложить эту сумму для себя, он израсходовал более миллиона на городские нужды и бедных.

Городская больница была бедна — он устроил в ней десять кроватей. Монрейль состоит из двух частей: верхнего и нижнего города. В нижнем городе, где он жил, была всего одна школа, помещавшаяся в несчастном полуразвалившемся доме. Он построил две школы: одну для мальчиков, другую для девочек. Учителям обеих школ он назначил жалованье из собственного кармана, превышавшее вдвое скудный казенный оклад, и однажды ответил кому-то удивлявшемуся такой щедрости: «Важнейшие слуги государства: кормилица и школьный учитель». Он устроил, опять-таки за собственный счет, детский приют, в то время когда они были почти неизвестны во Франции, и

вспомогательный фонд для престарелых и убогих работников. Его фабрика была центром; она создала новый квартал, заселившийся быстро бедным рабочим людом, и дядя Мадлен устроил там бесплатную аптеку.

В первое время его деятельности добрые люди говорили: «Вот человек, стремящийся к богатству». Когда увидели, что он заботится об обогащении края более, чем о собственном кармане, добрые люди стали поговаривать: «Это честолюбец». Последнее казалось тем более вероятным, что он был религиозен и даже до некоторой степени набожен, что в ту эпоху создавало человеку благонамеренную репутацию. Он каждое воскресенье ходил к обедне. Местный депутат, видевший всюду соперников, не замедлил встревожиться такой набожностью. Этот депутат, бывший член законодательного корпуса при Империи, разделял религиозные убеждения патера Оратории, известного под именем Фуше, герцога Отрантского, креатурой и другом которого он был. В дружеских беседах он подшучивал над религией. Но, увидев, что

богатый фабрикант ходит к утренней обедне, и сообразив, что он может составить ему опасную конкуренцию, он тотчас решил превзойти его. Он взял в духовники иезуита и стал усердно посещать обедню и вечерню. В то время честолюбие принимало охотно форму набожности. Бедным тоже, как и религии, оказалась выгода от честолюбия депутата: он тоже учредил в госпитале две кровати, и таким образом их там стало двенадцать.

В 1819 году разнесся слух, что на основании представления префекта и ввиду услуг, оказанных господином Мадленом краю, король хочет назначить его мэром города Монрейля. Все, угадывавшие в пришельце честолюбца, с радостью ухватились за этот случай, от которого, между прочим, никто из кричавших не отказался бы и сам, и все заголосили хором: «А что мы говорили?» Весь Монрейль был в волнении. Слух оказался верным. Через несколько дней назначение появилось в официальной газете. Дядюшка Мадлен на следующий день послал отказ.

В том же 1819 году стеклярусные изделия, изготовленные по новому способу, изобретенному дядюшкой Мадленом, фигурировали на промышленной выставке. По решению жюри, король пожаловал изобретателю орден Почетного легиона. Новые толки в городе: «Он добивался креста!» Дядюшка Мадлен отказался от креста.

Положительно, этот человек был живой загадкой. Добрые люди разрешили затруднение, провозгласив: «Он, в конце концов, какой-нибудь авантюрист». Как мы видели, край был обязан ему многим, бедные были обязаны всем. Он был настолько полезен, что поневоле вызывал уважение, и был до того добр, что заставлял поневоле любить себя; в особенности любили его рабочие, и он принимал это обожание с какой-то грустной серьезностью. Когда его богатство стало несомненным фактом, «люди хорошего общества» начали кланяться ему при встрече и в городе стали звать его: «мсье Мадлен». Рабочие и дети продолжали называть его «дядюшка Мадлен», и это вызывало у него самую

приветливую улыбку. По мере того как он возвышался, ему посыпались приглашения. «Общество» предъявило на него свои права. Чопорные гостиные Монрейля, несомненно захлопнувшие бы свои двери перед работником, распахивались настежь перед миллионером. Ему делали всевозможные авансы. Он уклонялся. И на этот раз добрые люди нашли что сказать. «Это невежда и неуч. Бог знает, откуда он вылез. Он бы не сумел даже держать себя в гостиной. Неизвестно еще, умеет ли он читать».

Когда видели, что он богатеет, говорили: «Это торгаш». — Когда увидели, что он сорит деньгами, сказали: «Это честолюбец». — Когда он отказался от почестей, сказали: «Это авантюрист». Когда он отказался от любезностей света, решили, что «он неуч».

В 1820 году, пять лет спустя по приезде его в Монрейль, услуги его краю были до того очевидны, желание всего населения так единодушно, что король вторично назначил его мэром города. Он отказался во второй раз, но

префект не принял его отказа, все нотабли явились просить его, и народ на улицах упрашивал его не отказываться. Просьбы были так настойчивы, что он уступил. Было замечено, что, по-видимому, сильнее всего на него подействовал сердитый упрек одной старухи, закричавшей ему со своего порога: «Добрый мэр вещь хорошая. Разве позволительно отказываться делать добро, когда можешь?»

Это была третья фаза его возвышения. Дядюшка Мадлен сначала превратился в мсье Мадлена. Мсье Мадлен превратился в господина мэра.

Глава 42

Впрочем, он остался все таким же простым, каким был сначала. Загорелый цвет лица работника, серьезные глаза, седые волосы, задумчивое выражение философа, шляпа с широкими полями и длинное пальто из толстого сукна, застегнутое на все пуговицы. Он исполнял свои обязанности мэра, но не изменил

отшельнический образ жизни. Он разговаривал с весьма немногими. Уклонялся от любезностей, кланялся бочком и старался как можно скорее уходить от людей. Он улыбался во избежание разговора и раскошеливался во избежание необходимости улыбаться. Женщины говорили о нем: «Какой добрый медведь!» Он любил уходить на далекие прогулки в поля.

Он обедал всегда один и во время еды читал развернутую на столе книгу. У него была хорошо подобранная небольшая библиотека, но составленная с выбором. Он любил книги; книги верные, хотя и холодные друзья.

По мере того как богатство предоставило ему досуг, он, по-видимому, пользовался последним для развития своего ума. С тех пор как он поселился в Монрейле, его речь заметно сгладилась, сделалась более цивилизованной и утонченной.

Он охотно брал с собой во время прогулок ружье, нередко пускал его в дело. Когда он изредка стрелял, то отличался изумительной

меткостью. Он никогда не убивал безвредных животных. Никогда не стрелял в пташек.

Хотя он не был молод, о силе его рассказывали чудеса. Он никогда не отказывался помочь при случае: поднимал упавшую лошадь, сдвигал завязшее колесо, хватал за рога вырвавшегося быка. Выходя из дому, он всегда набивал карманы деньгами и возвращался с пустыми руками. Когда он заходил в окрестные деревни, оборванные ребятишки окружали его и льнули, как стая мошек.

Многие строили догадки, что он прежде жил в деревне, на том основании, что у него был большой запас полезных секретов, которые он сообщал крестьянам. Он учил их истреблять хлебную моль, поливая пол амбара и опрыскивая стены раствором поваренной соли, и удалять долгоносиков, развешивая на домах, заборах и грядах пучки полевого шалфея в цвету. У него были рецепты, как выводить с полей спорынью, вику, хвощ, куколь и все сорные травы, заглушающие хлеба. Он отваживал крыс от

кроличьего садка одним запахом морской свинки, которую сажал в него.

Однажды он увидел, как крестьяне выпалывают крапиву; он поглядел на кучу вырванной и увядшей травы и сказал:

— Сколько добра губится даром. Лист молодой крапивы — вкусный овощ. В старой крапиве образуются длинные волокна, как у льна, крапивное полотно не уступает полотну из конопли. Рубленая крапива — хороший корм для птицы, толченая — здоровый корм для рогатого скота. Примесь крапивного семени к сену придает глянцевитость шерсти животных, а из смеси крапивного корня и соли получается превосходная желтая краска. К тому же это отличное сено, которое можно косить два раза в лето. И что же нужно под крапиву? Немного земли, никакого ухода. Только семена осыпаются по мере созревания, и их трудно собирать. Вот и все. При небольшом труде крапива могла бы оказывать пользу, между тем как теперь она

только приносит вред. И за это ее уничтожают. Многие люди похожи на крапиву.

Немного помолчав, он продолжал:

— Друзья мои, не забывайте одного: нет ни дурных трав, ни дурных людей. Есть только плохие полеводы и воспитатели!

Дети любили его за то, что он умел мастерить прелестные вещицы из соломы и скорлупы кокосовых орехов.

Когда он видел черную драпировку на церковной двери, он шел непременно взглянуть на похороны, как другие ходят смотреть на крестины. Чужое горе привлекало его своей трогательностью, и он присоединялся к траурному кортежу, к плачущей семье и к священникам, молитвословящим вокруг гроба.

Ему, по-видимому, нравились размышления на тему похоронных молитв, полных напоминаний о другой жизни. Глядя на небо, он вслушивался с каким-то стремлением проникнуть в загробные

тайны, в печальные псалмы, раздающиеся на краю бездны.

Он делал массу добрых дел, таясь, как другие скрывают дурные поступки. Он украдкой в сумерках входил в дома, поднимался по лестницам. Вернувшись домой, иной бедняк видел, что в его отсутствие кто-то входил в его комнату, иногда даже взломав дверь. Несчастный восклицал: «Сюда приходил вор!» Но, войдя, он находил золотую монету, забытую на столе. Вор, входивший украдкой, был не кто иной, как дядюшка Мадлен.

Он был приветлив, но грустен. Народ говорил: «Вот богатый человек, но не гордый, человек удачливый, но несчастливый». Некоторые уверяли, что это таинственная личность, что он никого не впускает в свою комнату, убранную, как келья пустынника, мертвыми головами и костями, сложенными крест-накрест над песочными часами.

Об этом толковали так упорно, что несколько молодых и смелых щеголих из общества

Монрейля явились к нему однажды с просьбой: «Позвольте нам взглянуть на вашу комнату: говорят, что вы в ней устроили пещеру». Он улыбнулся и тотчас ввел их в эту комнату-пещеру. Дамы были наказаны за свое любопытство. Комната оказалась самая простая, убранная мебелью из красного дерева, довольно некрасивого фасона, какой почти всегда бывает у подобной мебели, и оклеенная дешевыми обоями. Они заметили на камине только два старомодных подсвечника: должно быть, настоящие серебряные, так как на них были клейма с пробой. Замечание, вполне достойное наблюдательности провинциального городка.

Несмотря на этот визит, комната его продолжала слыть за келью отшельника, пещеру, берлогу и могилу. Шушукались также, что у него лежат несметные капиталы у Лаффитта, с условием, чтобы они всегда находились налицо, так что в любое время мсье Мадлен мог явиться, расписаться и получить в какие-нибудь десять минут из конторы свои два или три миллиона. В действительности же эти два или три миллиона

сводились к шестистам тридцати или сорока тысячам франков.

Глава 43

В начале 1821 года в газетах появилось известие о кончине господина Мириеля, диньского епископа, прозванного «преосвященным Бьенвеню» и умершего смертью праведника восьмидесяти двух лет от роду.

Пополняя газетные сообщения, скажем, что диньский епископ ослеп за несколько лет до смерти и радовался своей слепоте, потому что сестра его была неотлучно при нем.

Скажем мимоходом, что быть слепым и любимым — одна из форм высшего счастья на земле, где нет ничего совершенного. Иметь постоянно около себя жену, дочь, сестру, одну из этих чудесных существ, не покидающих вас ни на мгновение, потому что они могут вам быть полезны, а они без вас жить не могут, чувствовать

такую свою необходимость для дорогого существа, иметь возможность постоянно измерять сумму внушаемой привязанности количеством посвящаемого нам времени и говорить себе: «Она отдает мне все свое время, потому что все сердце ее принадлежит мне», читать все мысли существа, чьего лица не можешь видеть, констатировать преданность живой души, когда от вас ушел весь мир, воспринимать шелест платья, словно шелест крыльев, слышать шаги, голос, пение и знать, что вы центр этих шагов, слов и пения, ощущать ежечасно свою собственную привлекательность и осознавать свое могущество по мере усиления своей немощи; благодаря лишению света и вследствие погружения во мрак стать лучезарным светилом, к которому тяготеет ангел, — с таким счастьем едва ли может сравниться что-либо на земле. Высшее счастье в жизни человека — сознавать себя любимым, — любимым просто потому, что ты есть и, скажем, вопреки самому себе. Такое сознание достается слепому. Для беспомощного услуга равняется ласке. Чего же

может недоставать ему? — Ничего. Нельзя назвать лишенным света человека, обладающего такой любовью. И еще какой? Любовью чистой и добродетельной! Там, где есть уверенность, не может существовать слепоты. Душа ощупью ищет другую душу и находит ее. А эта обретенная и испытанная душа — душа женщины. Вас поддерживает рука — это ее рука; вашего чела касаются уста — это ее уста; вы чувствуете подле себя дыхание — это дыхание ее. Получать от нее все: поклонение и жалость, никогда не быть покинутым, находить защиту в этой слабости, опираться на этот несокрушимый тростник, осязать свое провидение и иметь возможность прижать его к сердцу. Осязать божество — какое блаженство может быть поставлено выше этого? Сердце, — этот небесный и таинственный цветок, — вступает в полный расцвет. Подобным мраком не поступишься и за весь мир. Ангельская душа неразлучна с вами: если она и удаляется, то лишь для того, чтобы возвратиться снова; она исчезает, как сон, и появляется опять, как

действительность. Чувствуешь на себе согревающий луч — это приближается она: счастье, радость, веселье осеняют вас — вы сияете среди ночи. И сколько бесконечных мелких проявлений внимания! Мелочи принимают гигантские размеры в пустыне. Самые гармоничные оттенки женского голоса нежат вас и заменяют вам затмившийся мир. Вас ласкают душой. Ничего не видишь, но чувствуешь себя боготворимым. Это рай во мраке.

Из этого-то рая преосвященный Бьенвеню переселился в другой.

Сообщение о его кончине перепечатала и местная газета Монрейля. На следующий день мсье Мадлен появился весь в черном и с траурным крепом на шляпе.

В городе этот траур был замечен и возбудил толки. Это казалось лучом света, брошенным на происхождение господина Мадлена. Из этого заключили, что он состоял в родстве с почтенным епископом.

«Он носит траур о епископе», — говорили в салонах. Это подняло значительно господина Мадлена в общественном мнении и доставило ему сразу известную долю уважения. В аристократическом мирке Монрейля местное миниатюрное Сен-Жерменское предместье приняло меры к прекращению карантина господина Мадлена, родственника диньского епископа. Дядюшка Мадлен догадался о своем повышении по более глубоким поклонам старух и по участившимся улыбкам молодых. В один прекрасный вечер одна из дуэний этого микроскопического большого света полюбопытствовала, по праву старшинства, обратиться к нему с вопросом:

— По всей вероятности, господин мэр приходится кузеном покойному диньскому епископу?

— Нет, милостивая государыня, — ответил он.

— Однако вы носите по нему траур?

— В молодости я служил лакеем в его семействе, — ответил мэр.

Замечен был еще другой факт. Всякий раз, как через город проходил молодой савояр, предлагая услуги для чистки труб, господин мэр приказывал позвать его к себе, спрашивал, как его зовут, и дарил ему денег. Савояры передавали это друг другу, и потому их заходило в город очень много.

Глава 44

Мало-помалу время сломило оппозицию. Вначале, в силу общего закона, которому подчинены все возвышающиеся люди, против господина Мадлена распространяли различные сплетни и гнусности, затем о нем стали только злословить, позднее злословие перешло в шуточки, а под конец прекратились и последние. Общее уважение к нему стало единодушно, безусловно и искренно, и наступила минута, около 1821 года, когда слова «господин мэр» произносились в Монрейле почти с тем же

чувством почтения, с каким в 1815 году в городе Динь упоминали имя преосвященного Бьенвеню. К господину Мадлену приходили за советами за десять лье в окружности. Он решал споры, устранял тяжбы и мирил врагов. Каждый искал в нем защитника своей правоты, словно в душе его был начертан кодекс естественного права. Эта была настоящая эпидемия почтения, заражавшая всех поголовно и, наконец, охватившая весь округ.

Один человек во всем округе устоял от этой заразы и, несмотря на все поступки господина Мадлена, противился общему увлечению, как будто в нем бодрствовал безошибочный и неподкупный инстинкт. Можно предположить, действительно, что иные люди одарены чисто животным инстинктом, прямым и верным, как все инстинктивное, инстинктом, создающим симпатию и антипатию и роковым образом отталкивающим одного человека от другого, инстинктом, не знающим ни колебаний, ни сомнений, никогда не дремлющим, не ошибающимся, ясным и неумолимым, при всей

его необходимости упорно противоречащим всем доводам рассудка и всем доказательствам размышления, инстинктом, который, как бы ни слагались обстоятельства, тайно предупреждает человека-собаку о присутствии человека-кошки и человека-лисицу о близости человека-льва.

Случалось часто, что, когда господин Мадлен шел по улице спокойный, приветливый, напутствуемый общими благословениями, человек высокого роста, одетый в темно-серое пальто, вооруженный толстой тростью и в круглой шляпе, нахлобученной на лоб, останавливался за его спиной и долго провожал его глазами, скрестив руки, медленно покачивая головой и подбирая верхнюю губу к самому носу, что составляет мимику переводимую следующими словами:

— Однако что же это за человек? Где я встречал его раньше? Во всяком случае, меня-то он не проведет!

Этот суровый, чуть ли не грозный человек принадлежал к числу людей, бросающихся в

глаза наблюдателю даже при самой мимолетной встрече.

Звали его Жавер, и служил он в полиции.

В Монрейле он исполнял тяжелую, но полезную обязанность полицейского инспектора. Начало деятельности господина Мадлена в городе происходило до его назначения. Жавер получил занимаемый им пост благодаря покровительству господина Шабулье, секретаря члена государственного совета графа д'Англэ, бывшего в то время полицейским префектом Парижа. Когда Жавер приехал в Монрейль, состояние фабриканта было уже нажито, и дядюшка Мадлен был уже городским мэром. Некоторые полицейские агенты отличаются специфичным лицом, имеющим печать одновременно подобострастия и какой-то самоуверенности. Лицо Жавера принадлежало к той же категории, за исключением заискивающего выражения.

Мы уверены, что если бы людские души можно было видеть простым глазом, то все

увидели бы ясно тот странный факт, что каждый экземпляр человеческого рода соответствует непременно одному из видов животного царства. И все бы убедились в истине, о которой лишь отчасти догадываются мыслители, что от устрицы до орла, от свиньи до тигра, — все звери совмещаются в человеке и, вдобавок, что каждая порода зверей имеет свое специальное воплощение между людьми.

Животные не что иное, как олицетворение наших добродетелей и пороков, изображения наших душевных свойств, доступные зрению. Господь являет их нам с целью вразумить нас. И так как животные не более как подобие наше, Господь не одарил их восприимчивостью к воспитанию, в полном значении этого слова. Это было бы лишним. Зато души людей, как существа реальные, имеющие конечную цель, получили от Бога рассудок, то есть возможность развиваться посредством воспитания. Правильное общественное воспитание всегда может извлечь из каждой души всю пользу, к какой она способна.

Мы говорим последнее только относительно видимой, земной жизни, нимало не предрешая важного вопроса будущей жизни существ, переставших быть людьми. Видимое «я» вовсе не уполномочивает мыслителя отрицать существование вечного, одухотворенного «я». Сделав это замечание, вернемся к нашему предмету.

Допуская наше положение о существовании в каждом человеке свойств одного или нескольких животных, читатель облегчит повествователю задачу объяснить характер полицейского агента Жавера.

Астурийские крестьяне убеждены, что в каждом помете волчицы находится по одному псу, убиваемому матерью, без чего этот пес, выросши, загрыз бы всех своих братьев.

Придайте человеческий образ этому псу, рожденному от волчицы, и вы получите представление о Жавере.

Жавер родился в тюрьме от гадальщицы, муж которой был сослан на галеры. Он рос с мыслью,

что он выброшен из общества; и отчаялся когда-либо вернуться в него. Он примечал, что общество упорно отворачивается от двух классов людей — от тех, кто на него нападает, и от тех, кто охраняет его. Он мог выбирать только между тем или другим классом; в душе же у него была прочная закваска аккуратности, честности и строгости, заставлявшая его чувствовать непобедимое отвращение к той беспутной цыганской среде, из которой он вышел. Он поступил на службу в полицию и служил исправно. В сорок лет дослужился до звания инспектора.

В молодости он был надсмотрщиком на галерах. Прежде чем идти далее, опять вернемся к определению того, что мы назвали человеческим образом Жавера.

Этот человеческий образ состоял из вздернутого носа с широко вырезанными ноздрями, к которым поднимались с обеих сторон густые бакенбарды. Увидя в первый раз эти два леса и эти две пещеры, на душе становилось

жутко. Когда Жавер смеялся, что было редко и страшно, то его тонкие губы раскрывались, обнажая не только все зубы, но и десны, и все скуластое лицо его сморщивалось глубокими складками около носа, придавая всему лицу вид морды хищного зверя. Жавер в серьезном настроении был похож на собаку; когда он смеялся — перед вами был тигр. Череп его был развит слабо в отличие от сильно развитой челюсти; волосы закрывали лоб и ниспадали до бровей, а между глаз лежала постоянная складка, словно клеймо гнева; взгляд был сумрачный, рот сжатый и злой и общий вид повелительный и жесткий.

Этот человек весь состоял из двух очень простых и, в сущности, очень хороших чувств, которые, вследствие доведения до крайности, становились в нем почти пороком: уважения к авторитетам и ненависти к бунту. В его глазах воровство, убийство и все преступления были только различными видами бунта. Он питал слепое и глубокое доверие ко всем официальным лицам в государстве, начиная с министра и

кончая лесным сторожем. Он презирал, ненавидел и брезговал всеми, кто переступил хоть раз в жизни за черту законности. Он не допускал ни смягчений, ни исключений. Об одних он говорил: «Власть не может ошибаться. Вина не может быть на стороне административного лица». Другим же, напротив, выносил приговор: «Это люди окончательно погибшие. Ничего хорошего от них исходить не может». Он вполне разделял мнение крайних умов, приписывающих человеческим законам право создавать или, вернее говоря, отмечать отверженных и предполагающих, что на окраинах общества должен существовать Стикс. Он был стоиком, серьезным и суровым; постоянно печальный и задумчивый, он в одно и то же время был скромен и надменен, как все фанатики. Взгляд его пронизывал словно шилом — он колол и леденил. Вся жизнь его суммировалась в двух словах: бодрствовать и надзирать. Он вносил прямоту в самую окольную вещь в мире. Он сознавал пользу своей деятельности, относился к своим обязанностям с

религиозным почтением и шпионил, как другие священнодействуют. Горе тому, кто попадал в его лапы! Он задержал бы родного отца, если бы тот бежал с каторги, и донес бы на собственную мать, если бы поймал ее с поличным. И он сделал бы это с тем чувством внутреннего самодовольства, которым сопровождается сознание своей добродетели. При этом он вел жизнь, полную лишений, уединенную, целомудренную, не позволяя себе ни малейшего развлечения. Он был воплощением неподкупного долга, смотрел на полицию теми же глазами, какими спартанец глядел на Спарту: это был недремлющий охранитель, суровый и честный — шпион, вылитый из стали, Видок со стойкостью Брута.

Все существо Жавера выражали прислушивание и стушевывание. Мистическая школа Жозефа де Местра, в ту эпоху приправлявшая ультрамонтанские издания высшими космогоническими теориями, не преминула бы видеть в Жавере символическое явление. У него не было видно лба, исчезавшего

под шляпой, не было видно глаз, исчезавших под бровями, не было видно подбородка, прятавшегося в галстук, не было видно рук, прятавшихся под длинные рукава, не было видно палки, прикрытой складками пальто. Но лишь только подворачивался случай, внезапно, как из засады, из этой тени появлялись разом узкий угловатый лоб, свирепый взгляд, твердый подбородок, громадные ручищи и гигантская дубина.

В минуты досуга, случавшиеся редко, несмотря на всю свою ненависть к книгам, он читал, благодаря чему не был абсолютно безграмотным. Это, впрочем, было видно по некоторой вычурности его речи. Пороков за ним не было никаких. Только когда он бывал доволен собой, он награждал себя понюшкой табаку. В этом одном сказывалась его общечеловеческая слабость.

Понятно, что Жавер был грозой всего того класса людей, который означается в

статистических ежегодных отчетах министерства юстиции рубрикой: «Не имеющие профессий».

Одно имя Жавера служило для них пугалом, а его появление повергало их в оцепенение страха.

Таков был этот человек-страшилище.

Жавер был недремлющим оком, не терявшим из вида господина Мадлена. Он смотрел на него с недоверием и выжиданием. Господин Мадлен под конец заметил это, но, по-видимому, оставался к этому вполне равнодушным.

Он даже не задал Жаверу ни одного вопроса, не избегал его, хотя и не старался попадаться ему на глаза, а относился, по-видимому, совершенно безразлично к этому стеснительному и даже назойливому надзору. Обращался он с Жавером, как со всеми, приветливо и спокойно. По некоторым словам Жавера можно было догадаться, что он тщательно разыскивал следы прошлого господина Мадлена, с рвением, свойственным легавой собаке и столько же вытекающим из инстинкта, как из воли. Он намекал иногда смутно, что кто-то собирал

сведения в одном отдаленном крае о каком-то семействе, пропавшем без вести.

Ему однажды случилось сказать вслух самому себе:

— Наконец-то я изловил его!

Но вслед за тем он три дня не раскрывал рта и был сумрачен. Очевидно, нить, которую он считал уже отысканной, порвалась в его руке.

Впрочем, следует сказать в опровержение тех нескольких слов, которым можно придать чересчур абсолютный смысл, что ни одного человека нельзя считать непогрешимым и что инстинкту свойственно сбиваться, терять след и запутываться. Иначе инстинкт надо было бы поставить выше рассудка и допустить, что животное одарено более верным руководством, чем человек.

Жавер, очевидно, был несколько смущен невозмутимыми естественностью и спокойствием, встреченными им в господине Мадлене.

Однако же его странное поведение в одном случае произвело впечатление и на мэра.

Случай этот произошел в следующем порядке.

Глава 45

Однажды утром господин Мадлен шел по одному из немощеных переулков Монрейля, когда увидел на некотором расстоянии перед собой собравшуюся кучку народа. Он подошел. Упала телега с лошадью и тяжестью своей придавила шедшего рядом извозчика, старика дядюшку Фошлевана. Этот старик принадлежал к числу немногих врагов, оставшихся в городе у Мадлена. Когда он прибыл в страну, Фошлеван, грамотный крестьянин, бывший сельский нотариус, занимался торговлей, но дела его шли плохо. Фошлеван видел, как Мадлен, этот простой работник, богател на его глазах, между тем как он сам разорялся. Это зажгло в нем зависть, и он в свое время сделал все зависящее от него, чтобы повредить Мадлену. Это не спасло его от банкротства, и старик, не имевший,

впрочем, ни семьи, ни детей, сохранив только телегу с лошадью, стал извозчиком. Лошадь сломала себе при падении два ребра и не могла встать.

Старик попал между колес. Но, к несчастью, телега, свалившись набок, всей тяжестью навалилась ему на грудь. Телега была довольно тяжело нагружена. Дядя Фошлеван жалобно стонал и задыхался. Его старались высвободить, но тщетно. Какое-нибудь неловкое усилие, неправильный толчок или бестолковое усердие могли разом убить его на месте. Освободить его было невозможно иначе, как приподняв телегу снизу. Жавер, прибывший на место происшествия, послал за воротом.

Когда подошел Мадлен, толпа почтительно расступилась перед ним.

— Помогите, — молил старый Фошлеван. — Неужели не найдется между вами доброй души, чтобы спасти старика?

Господин Мадлен обернулся к присутствующим с вопросом:

— Есть ли ворот?

~~ За ним пошли, — ответил кто-то из крестьян.

— А далеко ли за ним побежали?

— В ближайшее место, в поселок Флашо, где есть кузница. Но все равно раньше четверти часа оттуда нельзя поспеть.

— Раньше четверти часа! — воскликнул Мадлен.

Накануне шел дождь, почва была рыхлая, телега с каждой минутой все глубже и глубже уходила в землю и все сильнее давила на грудь старого извозчика. Было очевидно, что через каких-нибудь пять минут ребра его будут сломаны.

— Ждать четверть часа нельзя, — сказал господин Мадлен окружавшим его крестьянам.

— Приходится ждать.

— Но тогда будет уже поздно; разве вы не видите, что телега оседает все глубже?

— Ничего не поделаешь!

— Послушайте, — продолжал Мадлен, — под телегой еще достаточно места для того, чтобы пролезть человеку и приподнять ее на себе. Дело одной минуты, и человек спасен. Есть ли здесь кто-нибудь сильный и смелый? Предлагаю пять золотых в награду.

Никто в толпе не шевельнулся.

— Даю десять золотых, — сказал Мадлен. Присутствующие стояли, опустив глаза. Один из них прошептал:

— Для этого была бы нужна дьявольская сила. К тому же рискуешь и сам искалечиться.

— Ну, ребята, — еще раз возгласил господин Мадлен, — кто хочет получить двадцать золотых?

Опять то же молчание.

— Их нерешительность происходит не от недостатка доброй воли, — произнес голос.

Господин Мадлен обернулся и узнал Жавера. Он не заметил его раньше.

— У них не хватает силы, — продолжал Жавер. — Надо быть страшным силачом, чтобы приподнять телегу на спине.

Затем, глядя в упор на господина Мадлена, он продолжал, подчеркивая каждое слово:

— Господин Мадлен, я в жизни моей видел только одного человека, способного сделать то, чего вы требуете.

Господин Мадлен вздрогнул.

Жавер прибавил равнодушным тоном, но не спуская глаз с господина Мадлена:

— Это был каторжник.

— В самом деле! — отозвался господин Мадлен.

— Каторжник на тулонских галерах.

Господин Мадлен побледнел. Между тем телега опускалась все глубже; Фошлеван захрипел и проговорил с усилием:

— Задыхаюсь! Ребра трещат! Поторопитесь! Тащите скорее ворот, подсуньте хоть что-нибудь!

Господин Мадлен озирался кругом.

— Так здесь нет никого, кто бы хотел заработать двадцать золотых и спасти старика?

Никто не двигался.

— Я знал только одного человека, который мог заменить ворот — того каторжника.

— Ах, теперь уж совсем задавило, — простонал извозчик. Мадлен поднял голову, встретил устремленный на его взгляд Жавера, поглядел на неподвижно стоявших крестьян и горько улыбнулся. Затем, не говоря ни слова, припал на колени и, прежде чем толпа успела ахнуть, очутился под телегой.

Наступило ужасное мгновение ожидания и тишины.

Все видели, как Мадлен, распростертый почти плашмя, сделал два или три тщетных усилия свести колени с локтями. Ему кричали: «Дядюшка Мадлен, полезайте назад!» Сам Фошлеван говорил:

— Уйдите, господин Мадлен! Видно, мне уже суждено умереть! Оставьте! Еще добьетесь, что вас раздавит вместе со мной!

Мадлен не ответил.

У всех присутствующих замер дух. Колеса продолжали вязнуть, и уже не оставалось, по-видимому, возможности вылезти и самому Мадлену

Вдруг вся масса колыхнулась, телега медленно приподнялась, и колеса выступили над колеями. Раздался сдавленный голос: «Поторопитесь! Подсобите, ребята!» Это кричал Мадлен, напрягавшийся из последних сил.

Все кинулись разом. Самоотверженность одного придала силы и храбрости всем. Телегу подхватило разом двадцать рук. Старик Фошлеван был спасен.

Мадлен поднялся. Он был бледнее полотна, хотя пот струился по лицу Ручьями. Платье было все изорвано и перепачкано грязью. Все плакали. Старик обнимал его колени и называл

спасителем. А на его лице было выражение какого-то блаженного, неземного страдания, и он спокойно остановил свой взгляд на Жавере, продолжавшем не сводить с него глаз.

Глава 46

Фошлеван при падении вывихнул чашку в коленке. Дядюшка Мадлен распорядился перенести его в больницу, устроенную им для фаРичных рабочих в самом здании его фабрики и находившуюся в заведовании двух сестер милосердия. На другой день утром старик нашел на столике, возле своей кровати, билет в тысячу франков и записку от дяди Мадлена: «Я покупаю вашу лошадь с телегой». Телега была разбита вдребезги, а лошадь околела. Фошлеван поправился, но нога у него перестала сгибаться. Господин Мадлен с помощью рекомендательных писем от сестер и кюре выхлопотал старику место садовника в одном парижском женском монастыре в квартале Сент-Антуан.

Немного спустя господин Мадлен был назначен мэром. В первый раз, как Жавер увидел господина Мадлена в шарфе, подчинявшем его власти целый город, он почувствовал то волнение, какое должна ощущать собака, чующая волка, нарядившегося в платье ее хозяина. С этой минуты Жавер стал избегать встречи с ним, насколько мог. Когда дела службы требовали этого и он не мог уклониться от необходимости видеться с господином мэром, он говорил с ним не иначе, как с полной почтительностью.

Благосостояние Монрейля, созданное дядюшкой Мадленом, кроме видимых признаков, о которых мы говорили, выражалось еще одним симптомом, не менее ясным, хотя и не столь осязательным, но симптомом вполне несомненным. Если население терпит нужду, если существует недостаток в работе, и торговля в застое, налогоплательщик не платит повинностей по бедности и просрочивает все рассрочки; при этом государство вынуждено тратить много денег на взыскания и понудительные меры. Наоборот, если край

процветает, если работа в избытке — налоги платятся легко и взимание их ничего не стоит государству, можно сказать, что расходы государства по сбору налогов служат вернейшим барометром для определения бедности или богатства страны.

В семилетний период расходы по сбору налога сократились на две трети в округе Монрейля, благодаря чему на этот округ часто указывал господин Виллель, бывший в то время министром финансов, как на образцовую местность по своей исправности.

Таково было положение края, когда Фантина возвратилась на родину. Ее там никто уже не помнил. По счастью, фабрика господина Мадлена приветливо отворила перед ней свои двери. Она пришла туда и была принята в женское отделение. Производство стекляруса было совершенно незнакомым делом для Фантины, и она не могла отличаться особенной ловкостью в работе, следовательно, много зарабатывать поденно она не могла, но во всяком случае ей

было чем жить, что уже решало главную задачу: от голодной смерти она была защищена.

Глава 47

Когда Фантина увидела, что источник для существования найден, она на минуту просияла. Жить честно своим трудом — великое благословение Божие! Мало-помалу она втягивалась в работу. Она купила зеркальце; ей доставляло удовольствие любоваться на свое молодое лицо, на свои великолепные волосы и зубы; пережитое постепенно забывалось, и думалось ей только о Козетте, о светлом будущем; она чувствовала себя почти счастливой. Наняла себе она комнатку и меблировала ее в кредит в счет будущих заработков: это был остаток привычек, уцелевших еще от беспорядочного образа жизни.

Не имея возможности выдать себя за замужнюю женщину, она, как мы уже говорили ранее, остерегалась говорить кому бы то ни было, что у нее есть маленькая дочь.

Вначале, как уже известно читателю, она аккуратно платила Тенардье. Не умея писать, она была вынуждена писать письма через писаря.

Писала она часто, и это заметили. Начали шушукать в женской мастерской, что Фантина «пишет письма» и что у нее «странные повадки».

Никто так не подсматривает за поступками других, как люди, которым нет до них никакого дела. Почему такой-то приходит только в сумерки? Почему другой никогда не оставляет своего ключа у привратника по четвергам? Почему такая-то всегда рассчитывается с извозчиком, не доезжая до подъезда? Почему она посылает покупать тетрадку почтовой бумаги, когда у нее битком набито этой бумаги? и проч. и проч. Существуют люди, которые готовы потратить на разъяснение подобных загадок более денег, времени и труда, чем нужно было бы на десять добрых дел, и все это даром, удовольствия ради, не ожидая от своих хлопот другого вознаграждения, кроме удовлетворения любопытства. Они целыми днями будут следить

за тем-то или за той-то, целыми часами готовы простоять на карауле на углу улицы или под воротами, в дождь, холод, станут подкупать комиссионера, поить лакеев и кучеров, предлагать деньги горничной или портье. Зачем? Без всякой цели. Из чистого зуда все узнать, выведать, пронюхать. Из одного зуда поболтать. А разоблачение подобных тайн, подобных секретов, эти разгадки, сообщенные во всеуслышание, часто приводят к катастрофам, к дуэлям, банкротствам, разорению семей, коверкают чью-нибудь жизнь, к великой радости «разоблачителей», открывших все без всякой корысти, чисто в угоду инстинкта. Явление это печальное.

Некоторые люди злословят ради потребности почесать язык. Их разговор — салонная болтовня или лакейское судачество, похожее на печь, потребляющую много дров: им только подавай топлива, — а этим топливом служат ближние.

Итак, за Фантиной учредили надзор.

Вдобавок многие завидовали ее великолепным волосам и ее белым зубкам.

Подметили, что нередко, работая, она отворачивается, чтобы утереть украдкой слезу. Это случалось с ней в минуты, когда она думала о своей малютке, а быть может, и о человеке, когда-то любимом ею.

Порывать с прошлым всегда очень мучительно.

Узнали, что она пишет куда-то заказные письма раза два в месяц, всегда по одному и тому же адресу. Добыли адрес: «Господину Тенардье, содержателю трактира в Монфермейле». Угостили в кабаке писаря-старичка, не умевшего наполнить себе желудок красным вином без того, чтобы не выложить всех секретов из-за пазухи. Слово за слово, узнали наконец, что у Фантины ребенок. «Очевидно, она особа известного поведения». Нашлась кумушка разведчиком в Монфермейль и привезшая оттуда следующее известие: «Я недаром потратила тридцать шесть

франков кровных моих денежек, я видела своими глазами девочку».

Кумушка, совершившая этот подвиг, была некая мадам Виктурниен, дракон, охранявший совесть и честь своих ближних. Госпоже Виктурниен было пятьдесят шесть лет, облекавших ее в двойную маску безобразия и старости. Голос ее дребезжал, ум фальшивил. Удивительно, что и эта ведьма была когда-то тоже молодой. В молодости, в 93 году, она вышла замуж за монаха, бежавшего из монастыря в красной фригийской шапке и перешедшего из бернардинцев в якобинцы. Женщина она была сухая, черствая, сердитая, шероховатая и почти ядовитая, хотя еще не забыла своего покойничка, гнувшего ее в три дуги. Это была крапива, хранившая еще след помявшего ее клобука. При Реставрации она сделалась ханжой и проявила такую ревность в своем обращении, что попы простили ей монаха. У нее было небольшое имение, которое она хвастливо прочила оставить по завещанию одной духовной конгрегации. Она была на хорошем счету в арраском епископском

дворце. И вот эта-то госпожа Виктурниен поехала в Монфермейль и вернулась с известием: «Я видела девочку».

На все это понадобилось немало времени. Фантина работала на фабрике уже около года, когда в одно прекрасное утро надзирательница мастерской передала ей от имени господина мэра пятьдесят франков, объявив, что она уволена из мастерской и что господин мэр советует ей переселиться куда-нибудь из их местности подальше.

Это случилось как раз в тот месяц, когда Тенардье, потребовавшие вместо шести франков двенадцать, вторично попросили прибавки с двенадцати на пятнадцать франков в месяц.

Фантина была ошеломлена. Она не могла покинуть Монрейль, задолжав за квартиру и мебель. Пятьюдесятью франками, врученными ей, она не могла покрыть этих долгов.

Она пробормотала несколько жалобных слов, но надзирательница резко приказала ей оставить немедленно мастерскую. Фантина, впрочем, была

не из лучших мастериц. Она ушла из мастерской, подавленная стыдом еще более, чем отчаянием, и поспешила в свою каморку.

Теперь все узнают ее вину!

Она была не в состоянии говорить. Ей советовали пойти к мэру, она не посмела. Мэр дал ей пятьдесят франков по великодушию, но выгнал ее по справедливости. Она подчинилась этому приговору.

Глава 48

Вдова монаха совершила похвальный подвиг. Впрочем, сам мэр не знал обо всей этой истории. Жизнь переполнена таким сплетением обстоятельств. Господин Мадлен не имел привычки заходить в женскую мастерскую.

Он поручил эту мастерскую надзору одной старой девы, рекомендованной ему кюре; он вполне полагался на надзирательницу, в сущности добрую и почтенную особу, твердую, справедливую, честную, великодушную в смысле

готовности подать ближнему милостыню, но лишенную великодушия, состоящего в понимании и прощении. Господин Мадлен полностью доверил ей женскую мастерскую. Лучшие люди бывают вынуждены передавать свою власть уполномоченным. На основании этих полномочий и с полным убеждением в правильности своего поступка надзирательница обсудила дело, вынесла приговор и казнила Фантину.

Что касается до пятидесяти франков, то она выдала их из суммы, предоставленной ей господином Мадленом для пособий и подарков работницам и находившейся у нее в безотчетном распоряжении.

Фантина стала искать места служанки — ходила из дома в дом предлагать свои услуги. Никто не захотел нанять ее. Из города уйти она не могла. Торговец, поставивший ей мебель, — надо знать, что это была за жалкая мебель, — пригрозил ей, что, если она выедет из города, он распорядится арестовать ее, как воровку!

Домохозяин, которому она задолжала за квартиру, сказал ей: «Вы молоды и красивы, найдете чем уплатить!» Она разделила пятьдесят франков между домохозяином и торговцем старой мебелью, возвратила последнему две трети вещей, сохранила только необходимое и осталась без работы, без ремесла, с одной кроватью и с долгом в сто франков на руках.

Она принялась шить толстые рубахи для гарнизонных солдат и зарабатывала по двенадцать су в день. Дочь ей обходилась по десять су ежедневно, и тогда-то она и стала неаккуратно высылать деньги Тенардье.

Одна старушка-соседка, к которой она заходила зажечь свечу, когда возвращалась домой по вечерам, научила ее искусству жить в нищете.

Вслед за утешением жить малым есть еще наука жить ничем. Это две комнаты, стоящие рядом: в одной темно, но в другой не видать ни зги.

Фантина научилась обходиться зимой без огня, научилась отказывать себе в удовольствии

держать птичку, съедающую на лиар проса в двое суток, научилась превращать юбку в одеяло и одеяло в юбку, научилась экономить свечи, обедая при свете окна противоположного дома. Никому в голову не может прийти все, что умеют извлечь из одного су некоторые жалкие существа, состарившиеся в нищете и честности. Умение изворачиваться доходит у них до таланта. Фантина приобрела этот талант и несколько приободрилась. В это время она сказала одной из своих соседок:

— Вот видите, я говорю самой себе, что, кладя на сон по пяти часов в сутки и остальное время проводя за шитьем, я могу заработать себе на хлеб. Человеку, когда невесело на душе, плохо ется. Следовательно, с лишениями, заботами и коркой хлеба с одной стороны и моим горем — с другой, я буду сыта.

Иметь ребенка при себе в ее горе было бы большим утешением. Она даже подумывала взять ее. Но как же заставить малютку разделять ее лишения? Кроме того, она была должна

Тенардье! С ними ей нечем было расквитаться. А дорога? На какие деньги ей отправиться?

Старушка, преподававшая ей то, что можно назвать наукой лишений, была святая личность; звали ее Маргаритой; она была набожна хорошей набожностью; неимущая сама, она была милосердна к бедным и даже к богатым, была грамотна настолько, что могла подписать свое имя, и веровала в Бога, то есть обладала истинным знанием.

Такой добродетели много внизу — когда-нибудь она попадет наверх. У земной жизни, к счастью, есть завтрашний день.

В первое время Фантина была так подавлена стыдом, что не смела выходить из дома.

На улице она чувствовала, что на нее оборачиваются прохожие и что за спиной показывают на нее пальцем; все смотрели на нее, и никто ей не кланялся. Едкое и холодное презрение прохожих пронизывало ее тело и душу, как струя пронзительного холодного ветра.

В маленьких городах павшую девушку словно раздевают донага насмешливые и любопытные взоры толпы. В Париже, по крайней мере, никто не знает тебя, и эта неизвестность заменяет плащ. С какой радостью Фантина возвратилась бы в Париж. Но это было невозможно.

Пришлось привыкать к презрению, как она уже привыкла к нищете. Мало-помалу она и с этим освоилась. После двух или трех месяцев она стряхнула с себя чувство стыда и начала ходить по улицам как ни в чем не бывало. «Ах, не все ли мне равно?» — говорила она.

Она показывалась на улице подняв голову, с горькой улыбкой на губах, чувствуя, что становится наглой.

Госпожа Виктурниен видела иногда из своего окошка проходившую мимо Фантину, замечала бедность «этой твари», которой, по ее милости, «показали надлежащее ей место», и торжествовала. И у злых бывают минуты черной радости.

Избыток работы утомлял Фантину, и ее кашель усилился. Она иногда говорила своей соседке Маргарите: «Пощупайте мои руки, как они горят!» Тем не менее по утрам, когда она расчесывала обломком старого гребня свои роскошные волосы, блестевшие, как шелк, у Фантины бывали минуты счастливого кокетства.

Глава 49

Ей отказали в конце зимы; прошло лето, но зима вернулась. Наступили короткие дни и недостаток работы. Зимой нет ни тепла, ни света, вечер и утро сливаются в туман, в потемки, за окном серо, ничего не видать. Небо словно свинцовый свод. Весь день сидишь, как в погребе. Солнце выглядит нищим. Ужасное время года! Зима превращает падающую с неба воду и человеческое сердце в камень. Кредиторы преследовали Фантину.

Заработки ее были слишком скудны — долги росли. Тенардье, недовольные ее неаккуратностью, шпиговали ее письмами,

приводившими ее в отчаяние своим содержанием и разорявшими ее на почтовые расходы. Однажды они написали ей, что ее маленькая Козетта совсем обносилась, что ей нужно купить в эти холода хотя бы теплую юбку и что матери следует выслать на эту покупку десять франков. Фантина, получив это письмо, целый день комкала его в руках. Вечером она вошла к цирюльнику, магазин которого находился на углу их улицы, и вытащила гребень. Чудесные, белокурые ее волосы рассыпались до колен.

— Какие прекрасные волосы! — воскликнул цирюльник.

— Сколько вы за них дадите?

— Десять франков.

— Стригите.

Она купила теплую юбочку и послала ее Тенардье. Эта юбка привела Тенардье в ярость. Они отдали ее Эпонине. А бедный Жаворонок продолжал дрожать.

Фантина думала: «Моей крошке тепло, я одела ее своими волосами». Она прикрывала остриженную голову кисейными круглыми чепцами и в этом наряде все еще была миловидна. Но в сердце Фантины происходила тяжелая перемена. С тех пор как ей нельзя уже стало расчесывать красивой косы, ей все опостылело на свете. Она долгое время наряду со всеми, чтила дядюшку Мадлена; но, повторяя себе, что он, выгнав ее, был причиной ее несчастья, она возненавидела его, его в особенности. Проходя мимо фабрики в те часы, когда рабочие отдыхают у ворот, она насильно смеялась или распевала.

Одна старая работница, услышав однажды этот смех и это пение, сказала: «Вот девушка, которая кончит плохо».

Она взяла любовника, первого подвернувшегося мужчину, не любя его, чисто из бравады и с отчаянием в душе. Это был негодяй, какой-то странствующий музыкант, праздношатающийся лентяй, который бил ее и

расстался с ней с тем же чувством отвращения, с каким она сошлась с ним.

Зато она обожала свою малютку.

Чем более она опускалась, чем более сгущался вокруг нее мрак, тем ярче разгоралось ее чувство к этому ангелочку. Она говорила себе: «Как только разбогатею, возьму к себе мою Козетту», и эта мысль заставляла ее улыбаться. Она не переставала кашлять и временами чувствовала испарину вдоль спины.

И вдруг она получила от Тенардье письмо следующего содержания: «Козетта заболела болезнью, которая не минует здесь никого. Называют эту болезнь сыпной лихорадкой. Нужны дорогие лекарства. Для нас это разорительно, и мы не можем тратиться. Если вы не пришлете нам сорока франков в течение недели, то дочь ваша умрет». Прочитав письмо, она расхохоталась и сказала старой соседке:

— Хороши, нечего сказать! Подавай им сорок франков! Такую безделицу! Ведь это два

наполеондора! Откуда я их возьму? Как глупы эти крестьяне!

Однако она вышла на лестницу и перечла там письмо у окна. Затем сбежала с лестницы вприпрыжку и продолжала хохотать. Кто-то, повстречавшись с ней, спросил:

— Что с вами случилось, что вы такая веселая?

— Я получила глупое письмо из деревни, — ответила она. — У меня требуют сорок франков. Эдакое дурачье!

Проходя по площади, она увидела много народа, собравшегося вокруг странного экипажа, на крыше которого стоял, ораторствуя, человек, одетый с ног до головы в красное. Это был странствующий шарлатан-дантист, предлагавший публике вставные челюсти, мази, порошки и эликсиры.

Фантина вмешалась в толпу и принялась хохотать вместе с остальными над речью шарлатана, пересыпанной жаргоном для забавы

черни и изысканными выражениями по адресу чистой публики. Зубодер заметил смеявшуюся красивую девушку и воскликнул:

— У вас славные зубы, девушка-хохотушка. Если вы согласитесь продать мне ваши резцы, я заплачу за каждый по наполеондору.

— Это что значит, мои резцы? — спросила Фантина.

— Резцами называются два верхних передних зуба, — ответил дантист.

— Ах, какие вы говорите гадости! — воскликнула Фантина.

— Два наполеондора! — проворчала беззубая старуха. — Вот счастливица, подумаешь!

Фантина убежала, зажимая себе уши, чтобы не слышать хриплого голоса шарлатана, горланившего ей вслед:

— Подумайте, красавица! Два золотых вещь полезная. Если надумаете, приходите сегодня вечером в гостиницу «Серебряная Палуба», я буду там.

Фантина возвратилась домой в негодовании и рассказала приключение старухе Маргарите.

— Подумайте, какая гадость! Вот мерзавец! Как это позволяют подобному негодяю разгуливать по стране! Предлагает вырвать мне передние зубы! Хороша я буду без зубов! Волосы вырастают, не то, что зубы! Ах он чучело! Я предпочла бы броситься вниз головой с пятого этажа! А он вздумал еще говорить, чтобы я приходила вечером в гостиницу «Серебряная Палуба».

— А сколько он давал? — спросила Маргарита.

— Два наполеондора.

— Это составит сорок франков.

— Да, — вздохнула Фантина, — это составляет сорок франков.

Она задумалась и принялась за шитье. Через четверть часа она бросила работу и вышла перечесть письмо Тенардье на лестницу.

Возвратившись на место, она уселась подле Маргариты, пришедшей к ней с работой.

— Не знаете ли вы, что за штука сыпная лихорадка?

— Знаю, — ответила старуха, — это болезнь.

— И на нее нужно много лекарств?

— Еще бы! Кучу лекарств.

— Ну а в чем же, собственно, состоит болезнь?

— Да как вам сказать, человека вдруг совсем скрутит.

— И это привязывается к детям?

— В особенности к детям.

— И умирают от этого?

— Очень часто, — отвечала Маргарита. Фантина вышла еще раз за дверь и перечла письмо.

Вечером она ушла из дому и отправилась на Парижскую улицу, где находились гостиницы.

На следующее утро Маргарита, войдя в комнату Фантины до рассвета, — они работали постоянно вместе, чтобы не зажигать двух свечей, — застала Фантину, сидящую на постели, бледную и дрожащую, как в лихорадке. Она так и не ложилась. Чепец свалился с головы. Свеча прогорела всю ночь и почти что догорала.

Маргарита присела на пороге при виде такого беспорядка.

— Господи! Свечу-то сожгла почти всю! Да что же случилось такое? — спросила она в ужасе, а потом уже взглянула на Фантину, повернувшую к ней свою остриженную голову.

В одну ночь Фантина постарела на десять лет.

— Господи Иисусе! — ахнула Маргарита. — Что с вами, Фантина?

— Ничего, — отвечала она. — Напротив. Теперь моя девочка не умрет от этой страшной болезни за недостатком помощи. Я очень рада этому.

При этих словах она показала старухе два червонца, лежащих на столике.

— Боже ты мой! — воскликнула Маргарита. — Откуда вы взяли такое богатство?

— Я их добыла, — пояснила Фантина и улыбнулась. Свеча освещала ее лицо. Улыбающиеся ее губы были в крови. Красноватая слюна показалась в углах рта, а во рту были две черные дыры на месте двух передних резцов.

Фантина отправила два наполеондора в Монфермейль. Впрочем, это была просто хитрость Тенардье, для того чтобы выманить денег. Козетта и не думала болеть.

Фантина выбросила свое зеркало за окно. Уже давно она переехала из комнатки, нанятой ею во втором этаже, в мансарду под самой крышей, запиравшуюся на щеколду. Это был род чулана, с потолком, скошенным углом до пола так, что беспрестанно рискуешь стукнуться головой. Бедному нельзя дойти до конца своего жилья, как до конца своего существования, иначе, как все ниже и ниже опуская голову. У нее не было уже

постели, была тряпица, величаемая ею именем «одеяла», и на полу лежал матрас. Кроме того, в чуланчике был развалившийся соломенный стул. В углу стоял горшок с высохшим розаном. В другом углу — горшок из-под масла, заменявший умывальник; зимой вода замерзала в нем, оставляя надолго кружки льда в горлышке, по мере понижения уровня воды. Фантина, утратившая сначала стыд, утратила затем и кокетство. Это окончательный симптом падения. Она выходила на улицу в грязных чепцах. За недостатком ли времени или просто по неряшливости, она перестала штопать свое белье. По мере того как снашивались пятки, она стаскивала чулки в башмаки. Это было заметно по поперечным складкам. Чинила она свой корсет старыми лоскутьями коленкора, расползавшимися при малейшем движении. Ее кредиторы устраивали ей сцены и не давали ей покоя. Они преследовали ее на улице, поджидали на лестнице. Она проводила ночи в слезах и раздумье. Глаза ее блестели, и она чувствовала постоянную боль в одной точке, в плече под

левой лопаткой. Она шила по семнадцать часов в сутки. Но вдруг один подрядчик, поставлявший арестантское белье, раздал заказ по сбавленной цене женщинам, содержащимся в тюрьмах, и снизил заработную плату вольных швей до девяти су в день. Семнадцать рабочих часов с платой до девяти су! Кредиторы стали еще неумолимее. Торговец старой мебелью, взявший у нее почти всю мебель обратно, твердил на каждом шагу: «Да когда же ты заплатишь мне, обманщица!» Господи, чего от нее хотят все эти люди. Она видела, что ее травят со всех сторон, и в ней развивалось что-то похожее на чувство дикого зверя. В это-то время Тенардье написал ей, что они уж слишком снисходительно ждут на ней накопившиеся долги и чтобы она непременно высылала сто франков, без чего они вытолкают за дверь выздоравливающую Козетту, не поглядев на стужу, и пусть она себе хоть околевает на дороге, им что за дело!

— Сто франков, — думала Фантина. — Откуда мне взять такие деньги в один день?

— Нечего делать, — рассудила она, — продам остальное. Несчастная сделалась публичной женщиной.

Глава 50

Какой истинный смысл истории Фантины? Тот, что общество купило рабыню.

У кого? У нищеты.

Купило у голода, холода, одиночества, у нищеты и беспомощности. Печальный торг. Душа в обмен за кусок хлеба. Нищета предлагает — общество покупает.

Святой закон Евангелия господствует над нашей цивилизацией, но еще не проник в нее. Говорят, что рабство исчезло из европейской цивилизации. Это заблуждение. Рабство все еще продолжает существовать, но оно тяготеет теперь над одной женщиной и называется проституцией. Оно тяготеет над женщиной, то есть над слабостью, грацией, красотой, над материнством. Это не из последних позоров мужчины. В

тяжелую минуту драмы, до которой достиг наш рассказ, от прежней Фантины не уцелело ничего. Упав в грязь, она закаменела. Прикосновение ее обдавало холодом. Она скользнет мимо, вытерпит вас, но игнорируя вас. В ее облике разврат является с суровым лицом. Жизнь и общественный строй сказали ей последнее слово. Она уже испытала все, что можно испытать. Она перечувствовала, вынесла, выстрадала все — все оплакала и все потеряла. Она покорилась той покорностью, которая походит на равнодушие, как смерть походит на сон. Она уже не сторонится ни от чего. Ничего не боится. Пусть над ней разразится вся туча и заливает ее хоть весь океан. Ей все равно! Она как губка, насыщенная водой. По крайней мере, она так думает; но заблуждение думать, что можно исчерпать всю злую судьбу свою и что человек может в чем бы то ни было испить чашу до дна.

Увы! Зачем волнуются все эти сломленные и перепутанные судьбы? Куда стремятся они? Почему они таковы?

Тот, кто ведает это, видит мрак до дна.

И знает это Он Единый — Тот, Кого мы называем Бог.

Глава 51

Во всех провинциальных городишках, а следовательно, и в Монрейле, существовал и существует, как и везде, особенный класс молодых людей, проматывающих по пятидесяти тысяч франков годового дохода совершенно тем же способом, каким их столичные собратья проживают по двести тысяч франков. Это существа, принадлежащие к многочисленной породе людей, так называемых «ни рыба ни мясо» — умственные кастраты, паразиты, нули, в которых есть щепотка грязи, Щепотка глупости и щепотка остроумия, имеющие в салоне вид мужланов и мнящие себя аристократами в кабаках. Это молокососы, твердящие о своих лугах, своих лесах, своих крестьянах, освистывающие актеров в театре, чтобы показать, что они люди со вкусом, завязывающие ссоры с

гарнизонными офицерами, чтобы показать, что они храбры. Они охотятся, курят, зевают, прокопчены табачным дымом, играют на бильярде, глазеют на приезжающих во время прихода дилижансов, живут в кофейне, обедают в трактире, держат собаку, обгладывающую кости под столом, и любовницу, ставящую блюда на стол, дрожат над копейкой, преувеличивают моды, любят трагедии, презирают женщин, изнашивают сапоги, подражая Лондону в Париже и Парижу в Понт-Муссон, кончают жизнь в идиотизме, не работают, ни к чему не годны, но, вообще говоря, ничему не мешают.

Если бы Феликс Толомьес не покидал своей провинции и не видел Парижа, он принадлежал бы к этому разряду людей.

Когда они богаты, их называют щеголями, когда они победнее, называют дармоедами. Это просто праздные люди. Эти праздные люди делятся на скучных, мечтательных и негодных субъектов.

В эпоху, о которой мы повествуем, элегантный щеголь состоял из большущего воротника, большущего галстука, часов с брелками, трех разноцветных жилеток разных размеров, одетых одна на другую, но непременно так, чтобы красный и синий жилет приходились снизу, затем шел далее фрак оливкового цвета, с короткой талией и длинными заостренными фалдами, украшенный двойным рядом тесно насаженных серебряных пуговиц, доходивших до плеч, потом шли панталоны оливкового цвета, но посветлее фрака, с бесконечным множеством лампасов по швам, всегда нечетных, от одного до одиннадцати, но за эту границу считали невозможным заходить. Прибавьте к этому короткие сапожки с железными скобками на каблуках, высокую шляпу с узким бортом, волосы копной, громадную трость и разговор, пересыпанный каламбурами Потье. В заключение шпоры и усы. В ту эпоху усы были принадлежностью статских, а шпоры — принадлежностью пешеходов. Провинциальный

щеголь носил шпоры длиннее и усы молодцеватее столичного франта.

Это было время борьбы Южной Америки с королем Испании, Боливара против Морильо. Шляпа с узкими полями называлась морильос и обозначала роялиста, — либералы носили шляпы с широкими полями, называвшиеся боливарами.

Восемь или десять месяцев спустя после того, что было рассказано нами на предшествующих страницах, в первых числах января 1823 года, однажды вечером, вслед за тем как только что перестал идти снег, один из подобных вышеописанному нами праздношатающемуся щеголю из благомыслящих, — так как на нем был морильос, — закутанный в темную шинель, дополнявшую в холода модный костюм, забавлялся преследованием одной несчастной, прохаживавшейся в бальном платье, с обнаженной шеей и с цветами на голове перед окнами офицерской кофейни. Этот щеголь курил, так как куренье составляло часть моды.

Каждый раз, как несчастная женщина проходила мимо него, он отпускал ей вместе со струей дыма своей сигары какое-нибудь замечание, считавшееся остроумным и милым, вроде следующего:

— Какой ты урод!

— Поди лучше спрячься!

— Беззубая! и проч., и проч. в том же роде.

Господина этого звали мсье Баматабуа. Нарядная женщина, ходившая, как маятник, взад и вперед по морозу, не отвечала на его задирания, ни разу даже не взглянула на него и продолжала свою безмолвную прогулку тени, правильно подставлявшую ее через каждые пять минут под град насмешек, как несчастный приговоренный солдат идет под розги. По всей вероятности, не достигнув желанного эффекта, праздношатающийся обиделся, потому что, воспользовавшись минутой, когда женщина повернулась к нему спиной, он последовал за ней крадучись и, подавляя хохот, нагнулся, сгреб с мостовой горсть снега и поспешно сунул его ей

за спину между лопаток. Женщина закричала, обернулась, прыгнула, как пантера, и кинулась на молодого человека, вцепилась ногтями ему в лицо, осыпая его потоком самой грубой, казарменной и уличной брани, какая может только существовать. Площадные ругательства, выкрикиваемые голосом, охрипшим от водки, вылетали изо рта, в котором недоставало двух передних зубов. Эта проститутка была Фантина.

Толпа офицеров выбежала из кофейни на шум, прохожие останавливались, и образовалась многочисленная публика, кричавшая и аплодировавшая вокруг свалки, в действующих лицах которой трудно было узнать мужчину и женщину. Мужчина, без шляпы, барахтался на земле, женщина, без зубов и без волос (с нее свалились фальшивые косы), искаженная злостью, рассвирепевшая, посинелая, отвратительная, дралась руками и ногами.

Внезапно человек высокого роста выделился из толпы, ухватил женщину за край ее

вырезанного атласного лифа, выпачканного грязью, и приказал:

— Ступай за мной.

Женщина подняла голову, ее гневный крик немедленно оборвался. Глаза потухли и приняли оловянный вид, из синей она вдруг сделалась мертвенно-бледной и вся тряслась от страха. Она узнала Жавера.

Элегантный щеголь воспользовался моментом, чтобы бежать.

Глава 52

Жавер раздвинул толпу, вышел из сутолоки и большими шагами пошел по направлению к полицейской конторе, находящейся на другой стороне площади, ведя за собою несчастную. Она машинально повиновалась. Ни он, ни она не проронили ни слова. Толпа зрителей, в самом веселом настроении, следовала за ними с громкими шутками. Зрелище высшего

унижения — удобный случай для циничных шуток.

Дойдя до полицейской конторы, помещавшейся в низеньком зале, отапливаемом железной печью и охраняемом часовым, стоявшим у стеклянной двери, выходившей на улицу, Жавер отворил дверь и вошел с Фантиной. Он запер дверь за собой, к великой досаде любопытных, поднимавшихся на цыпочки и вытягивавших шеи перед тусклым стеклом, стараясь различить, что будет дальше. Любопытство — своего рода обжорство. Глядеть — иногда своего рода лакомство.

Войдя, Фантина забилась в угол испуганная и безмолвная и жалась, как струсившая собака.

Дежурный сержант принес и поставил на стол зажженную свечу. Жавер сел, достал из кармана лист гербовой бумаги и принялся писать.

Этот разряд женщин отдан законом в безотчетное распоряжение полиции. Последняя поступает с ними по своему усмотрению, наказывает их как хочет и произвольно

конфискует у них печальное их достояние, называемое ими своим ремеслом и свободой. Жавер был невозмутим; его суровое лицо не изображало ни малейшего волнения. А между тем он был глубоко и серьезно озабочен. Это был один из моментов, когда он бесконтрольно, но со строгой добросовестностью готовился применить в деле свои страшные полномочия. Он чувствовал, что в такие моменты табурет полицейского агента превращается в судейское кресло.

Он судил. Рассматривая дело, он выносил приговор. Он призвал на помощь всю сумму идей, вмещавшихся в его мозгу, для исполнения великой задачи, предстоявшей ему. Чем более он обсуждал вину этой женщины, тем сильнее росло его негодование. Очевидно, он присутствовал при возмутительном преступлении. Он был очевидцем того, как тут, на улице, общество, в лице своего представителя-собственника и избирателя, подверглось насилию и оскорблению со стороны существа, стоящего вне закона.

Проститутка оскорбила буржуа. И он, Жавер, видел это своими глазами. Он писал молча.

Дописав бумагу, он подписал ее, сложил, подозвал к себе сержанта и сказал, вручая ему лист:

— Возьмите трех солдат и отведите ее в тюрьму.

Обратившись к Фантине, он сказал:

— Шесть месяцев ареста.

Несчастная вздрогнула.

— Шесть месяцев! Шесть месяцев тюрьмы! — воскликнула она. — Шесть месяцев заработка по семь су в день! Но что же станет с моей Козеттой? С моей дочерью! С моей малюткой! Ведь я должна более ста франков Тенардье, знаете ли вы это, господин инспектор?

Она ползала на коленях по грязному полу, затоптанному мокрыми сапогами всех этих мужчин, не разбирая луж, сложив руки, умоляла, валялась у них в ногах.

— Господин Жавер, — молила она, — простите меня. Уверяю вас, что я не виновата. Если бы вы видели начало истории, вы бы знали это. Клянусь вам Богом, не я виновата. Это тот господин, которого я совсем не знаю, запихнул мне ком снега под платье. Разве имеют право совать нам снег за спину, когда мы проходим смирно, не задевая никого? Меня это взорвало. Я, видите ли, не совсем здорова. К тому же он перед тем долго говорил мне разные гадости. И дурна-то я, и беззубая! Я его не трогала. Говорила себе: «Ну что ж, господину хочется позабавиться». Я вела себя вежливо, не разговаривала с ним. И вдруг он засунул мне горсть снега. Господин Жавер, добрый господин инспектор, смилуйтесь надо мной! Неужели не найдется здесь никого, кто бы вам сказал, что я говорю правду? Я действительно виновата в том, что рассердилась. Но, понимаете, в первую минуту человек не волен над собой. Вспылишь, не подумав. К тому же, если так неожиданно положат вам на спину что-нибудь холодное, растеряешься. Действительно, я напрасно помяла шляпу этому

господину. Зачем он ушел? Я бы извинилась перед ним. О господи! С какой радостью я попросила бы у него прощения. Простите меня в этот раз, господин Жавер. Послушайте, вы не знаете, верно, что в тюрьме зарабатывают всего семь су в день; правительство в этом не виновато, но все-таки зарабатываешь там всего семь су, а представьте себе, что я должна заплатить сто франков, иначе мне пришлют моего ребенка. Боже мой! Где же мне держать моего ребенка при себе? Я веду такую дурную жизнь! О, Козетта моя! О, ангелочек ты Божий, что будет с тобой, с моей крошечкой! Я вам скажу, что эти Тенардье, трактирщики, крестьяне, люди, ничего не смыслящие. Подавай им денег, и все тут. Не сажайте меня в тюрьму! Видите ли, если это случится, малютку мою выгонят на улицу: ступай себе, как знаешь, зимой; смилуйтесь над бедняжкой, добрый господин Жавер. Будь она побольше, она бы могла сама заработать себе хлеб, а в эти годы что же может делать такая крошка. Право, я не совсем такая дурная женщина. Я не из подлости и алчности

занимаюсь моим ремеслом. Если я пью водку, то это от горя. Я не люблю пить, но, по крайней мере, водка одурманивает. Пока я была счастлива, можно было по моему шкафу видеть, что я не беспорядочная какая-нибудь кокетка. У меня было много белья, а сосем не беспутные наряды. Господин Жавер, пожалейте вы меня.

Она говорила, припадая головой к полу, рыдая, обливаясь слезами, ломаоа руки, то прерываясь от приступа сухого глухого кашля, то еле внятно шептала, как умирающая. Горе освещает торжественным и божественым лучом отверженных. Оно преображает павшего человека. В это гновение Фантина снова была красавицей. Порой поток ее мольбы оставливался, и она нежно целовала подол длинного пальто шпиона.

И каменное сердце тронулось бы такой мольбой, но ничто не способно тронуть деревянного сердца.

— Ну, — сказал Жавер, — я выслушал тебя. Все ли ты сказала? А теперь марш в тюрьму на

шесть месяцев! Сам Господь Бог Саваоф не властен отменить этого!

При такой торжественной ссылке на Самого Саваофа Фантина поняла, что приговор ее решен.

Она упала лицом на пол, шепча:

— Помилуйте меня.

Жавер повернулся к ней спиной.

Солдаты подхватили ее под руки.

За несколько минут перед тем в полицейскую контору вошел никем не замеченный человек. Он притворил за собой дверь, прислонился к косяку и слушал отчаянные мольбы Фантины.

В то мгновение, как солдаты взяли под руки несчастную, чтобы заставить ее насильно подняться на ноги, он сделал шаг вперед, выступил из тени и промолвил:

— Прошу вас подождать минутку!

Жавер окинул его взглядом и узнал господина Мадлена.

— Извините, господин мэр… — проговорил он, снимая шляпу и кланяясь ему со сдержанной досадой.

Слова «господин мэр» произвели странное действие на Фантину. Она мгновенно поднялась с пола, как призрак, вырастающий из земли, отмахнулась от солдат обеими руками, двинулась прямо к мэру, раньше чем успели ее остановить, и поглядела на него в упор растерянными глазами.

— А, так вот ты каков, господин мэр! — вскричала она, захохотала и плюнула ему в лицо.

Господин Мадлен отер лицо и обратился к Жаверу

— Инспектор Жавер, освободите эту женщину.

Жавер почувствовал, что рассудок его мутится. Он испытывал в это мгновение одно за другим и почти одновременно самые сильные впечатления, какие встречались в его жизни. Видеть, как проститутка плюнула в лицо мэру,

было уже таким чудовищным явлением, о возможности которого он не посмел бы помыслить в минуты самых черных предположений. С другой стороны, в тайниках его души происходило смутное сопоставление между общественным положением этой женщины и тем, чем мог быть этот мэр, и тогда этот возмутительный поступок приобретал самый естественный характер. Но когда он увидел мэра, сановное лицо, смиренно отирающим лицо после плевка и говорящим: «Отпустите эту женщину на свободу», с ним сделалось головокружение, — так он был поражен; у него разом отнялась способность мыслить и говорить, сумма истинного удивления превышала его силы. Он онемел.

Слова мэра произвели не менее сильное действие на Фантину. Она подняла обнаженную руку и ухватилась за край печки, как человек, у которого подкашиваются ноги. Она озиралась кругом и принялась бормотать шепотом, точно в бреду.

— Отпустить на свободу! Освободить меня! Я не проживу шести месяцев тюрьмы! Да кто же это сказал? Невозможно, чтобы это сказал он! Я ослышалась. Этого не мог сказать злодей мэр! Не правда ли, добрый господин Жавер, это сказали вы, что меня следует отпустить? О! Позвольте мне рассказать вам все, и тогда вы, наверное, выпустите меня. Злодей мэр, этот старый негодяй мэр один виноват во всем. Вообразите себе, господин Жавер, что он прогнал меня с фабрики из-за дрянных бабьих сплетен в мастерской. Разве это не гадость? Выгнать бедную девушку, которая честно трудится. После я уже не могла зарабатывать достаточно и случилась моя беда. Во-первых, господам полицейским следовало бы запретить тюремным поставщикам сбивать цену бедным людям. Я сейчас объясню вам, в чем дело. Вы живете шитьем рубашек, зарабатывая по двенадцать су, и вдруг цена падает до девяти — становится нечем жить. Делай, как знаешь. У меня маленькая Козетта, и я была принуждена сделаться дурной женщиной. Понимаете ли вы теперь, что виной всему этот

мерзавец мэр. Конечно, я виновата в том, что растоптала ногами шляпу того господина буржуа перед офицерской кофейной. Но он первый испортил мне платье снегом. У нашей сестры всего одно шелковое платье для выхода по вечерам. Вы видите, что я никогда не делала зла нарочно. Ей-богу, господин Жавер, я говорю правду. Я вижу других женщин гораздо хуже меня, а между тем они живут счастливее. О, господин Жавер, скажите по правде, ведь это вы приказали отпустить меня? Наведите справки, спросите у моего домохозяина: я плачу ему теперь в срок исправно; вы узнаете, что я веду себя прилично. Ах, Господи! Пожалуйста, извините меня, я нечаянно повернула ручку душника и надымила.

Господин Мадлен слушал ее с глубоким вниманием. Пока она говорила, он пошарил в жилетном кармане, достал кошелек и поглядел в него. В кошельке ничего не оказалось: он спрятал его обратно.

— Сколько, вы говорили, за вами числится долга? — спросил он у Фантины.

Фантина, глядевшая на одного Жавера, обернулась к мэру.

— Разве я с тобой разговариваю? — спросила она грубо, затем повернулась к солдатам: — А видели вы, как я ему плюнула в рожу? Ах ты, старый бездельник, мэр, ты и сюда пришел стращать меня, — а что взял, я не боюсь тебя. Я боюсь господина Жавера. Я боюсь одного доброго моего господина Жавера!

И, снова обращаясь к инспектору, она продолжала:

— Нужно же, господин инспектор, быть справедливым к людям. Я ведь понимаю, что вы, господин инспектор, справедливы. В сущности, тот господин хотел пошутить, он просто сунул снегу под платье женщины, чтобы посмешить господ офицеров. Ничего дурного нет позабавиться, и мы созданы для забавы! Это я все понимаю. Вы пришли туда, вы, само собой разумеется, должны смотреть за порядком, вы

арестовали провинившуюся женщину, но, обсудив дело, по вашему великодушию, вы приказали освободить меня. Вы прощаете меня, жалея ребенка, потому что, если меня посадят на шесть месяцев в тюрьму, я не в состоянии буду содержать свою дочь. «Только смотри у меня, негодница, не попадайся в другой раз!» О, уверяю вас, господин инспектор, что никогда больше не буду! Пусть делают со мной, что хотят, я и пальцем не трону никого. Сегодня, видите ли, я вспылила, потому что меня так огорошило. Я никак не ожидала, что этот господин сунет мне снегу на спину, к тому же, как я уже говорила вам, я не совсем здорова, кашляю, у меня внутри точно какой-то горячий кол стоит. Доктор говорит: «Нужно вам беречься». Вот, приложите руку сюда, посмотрите.

Она перестала плакать, говорила ласково. Взяв грубую руку Жавера, она приложила ее к своей нежной обнаженной груди и глядела на него с улыбкой. Внезапно спохватившись, она принялась поправлять беспорядок своего туалета, опустила складки платья, подол которого

приподнялся почти до колен во время ее отчаянных движений, и направилась к дверям, дружелюбно кивнув головой солдатам.

— Дети мои, — проговорила она вполголоса, — господин инспектор позволил меня освободить, я ухожу.

Она уже взялась за ручку двери, еще шаг — и она была бы на улице.

Жавер стоял до этого мгновения неподвижно, опустив глаза в землю, как каменная статуя, поставленная зря посреди действующих лиц живой сцены и ожидающая, чтобы ее убрали прочь.

Стук щелкнувшего замка разбудил его. Он поднял голову с выражением безграничной авторитетности, выражением, которое становится тем грубее, чем представитель власти стоит ниже, выражением, кровожадным у хищного зверя и отталкивающим в человеке ничтожном.

— Сержант, разве вы не видите, что шлюха уходит! Кто вам приказал ее отпустить?

— Я, — отозвался Мадлен.

При звуке голоса Жавера Фантина затряслась и выпустила ручку двери, как застигнутый вор роняет из рук украденную вещь. При звуке слов господина Мадлена она обернулась на него и с этой минуты, не произнося уже сама ни слова, не смея даже перевести свободно дух, она поочередно переводила глаза с Мадлена на Жавера и с Жавера на Мадлена, смотря по тому, кто из двух говорил. Очевидно, что для того, чтобы Жавер мог позволить себе обратиться с таким вопросом, какой был только что задан им сержанту, после того как мэр заявил желание, чтобы он освободил арестованную женщину, нужно было, чтобы сам он был выбит из колеи. Неужели он забылся до того, что не помнит, что перед ним мэр. Или он решил в душе своей, что невозможно, чтобы лицо, власть имущее, отдало подобное приказание и что, по всей вероятности, господин мэр обмолвился нечаянно? Или, наконец, ввиду всех несообразностей, каких ему пришлось быть свидетелем в течение нескольких часов, он сказал себе, что нужно решиться на

крайние меры, что явилась необходимость захватить подчиненному власть, подобающую начальству, превратиться из шпиона в судью, полицейскому агенту возвыситься до представителя правосудия и что в этом исключительном случае порядок, закон, нравственность, правительство и все общество олицетворяются в нем, в Жавере?

Как бы то ни было, но вслед за тем, как господин Мадлен произнес последнее слово, полицейский инспектор Жавер, бледный, решительный, с посиневшими губами, со взором, отражавшим отчаяние, с заметной дрожью во всем теле, обратился к господину мэру и, опустив глаза, твердым голосом произнес чудовищную фразу:

— Господин мэр, вы требуете невозможного.

— Что вы сказали? — переспросил мэр.

— Эта негодяйка оскорбила буржуа.

— Выслушайте меня, инспектор Жавер, — возразил господин Мадлен спокойным

примирительным тоном, — говорю вам, выслушайте меня. Вы человек честный, и я считаю возможным объяснить вам происшедшее. Я расскажу вам все по порядку. Я проходил по площади, когда вы арестовали эту женщину. Толпа еще не разошлась, я порасспросил и узнал, как все было. Зачинщиком был буржуа, и, по полицейским правилам, арестовать следовало бы его.

— Но эта негодяйка сейчас тут, на этом месте, оскорбила господина мэра, — сказал Жавер.

— Это мое личное дело, — ответил Мадлен. — Я полагаю, что оскорбленный — я, я и вправе решить это дело как мне заблагорассудится.

— Прошу господина мэра извинить меня. Но вопрос об его оскорблении принадлежит ведению правосудия.

— Инспектор Жавер, — возразил мэр, — высший суд — суд совести. Я слышал оправдания этой женщины и знаю, что делаю.

— А я, господин мэр, не знаю и не понимаю, что тут происходит.

— В таком случае исполняйте, что вам приказывают.

— Я подчиняюсь моему долгу. Долг повелевает мне приговорить эту женщину к шести месяцам тюрьмы.

Господин Мадлен отвечал кротко:

— Послушайте, что я вам говорю. Она не будет сидеть ни одного дня.

При этом возражении Жавер осмелился решительно посмотреть в глаза мэру и, не спуская глаз, отвечал ему, хотя в то же время тон его слов был глубоко почтителен:

— Я в отчаянии, что мне приходится ослушаться господина мэра; это случается со мной первый раз в жизни, но господин мэр соблаговолит принять в расчет мое замечание, что я остаюсь в пределах моих обязанностей. По желанию господина мэра я ограничусь только фактом с буржуа. Я видел все своими глазами.

Эта женщина ударила первая господина Баматабуа, владельца прекрасного дома с балконом, каменного трехэтажного дома, находящегося в конце эспланады. В мире есть такие вещи, которых спускать нельзя! И во всяком случае, господин мэр, это случай уличного беспорядка, за который отвечаю я, и потому проститутка Фантина останется под арестом.

Тогда господин Мадлен скрестил руки и произнес строгим голосом, какого еще никто не слышал от него в городе, следующие слова:

— Случай, о котором вы говорите, принадлежит ведению муниципальной полиции. На основании статей: девятой, одиннадцатой, пятнадцатой и шестьдесят шестой свода уголовного закона, подобные проступки подсудны мне. Я приказываю освободить эту женщину.

Жавер прибег к последнему усилию.

— Но, господин мэр…

— Я вам, инспектор, напомню статью 81 закона от 13 декабря 1799 года о произвольном аресте.

— Но, господин мэр, позвольте…

— Ни слова более.

— Однако же…

— Ступайте вон, — приказал ему господин Мадлен.

Жавер принял удар стоя, в лицо, прямо в грудь, как солдат в бою. Он поклонился мэру до земли и вышел.

Фантина посторонилась от двери и взглянула на него в недоумении, когда тот прошел мимо нее. Однако же и она сама ощущала глубокое потрясение. Она присутствовала при состязании двух противоположных властей за ее собственную судьбу. Она видела своими глазами борьбу двух людей, держащих, так сказать, в своих руках ее свободу, жизнь ее и ее ребенка, ее душу. Один из них толкал ее в мрак, другой силился вывести ее на свет божий. Эта борьба,

виденная сквозь преувеличивающую призму страха, показалась ей борьбой двух титанов — один говорил как демон, другой — как ее ангел-хранитель. Ангел победил демона, и дрожь пробегала по ее телу при мысли, что этим ангелом, этим спасителем ее явился именно человек, ненавидимый ею, тот самый мэр, которого она так долго считала виновником всех своих несчастий, именно Мадлен! И как раз он спас ее в ту минуту, когда она так гнусно оскорбила его! Неужели же она ошиблась? Неужели она должна все перевернуть в своей душе?.. Она ничего не понимала и дрожала. Она слушала недоумевая, смотрела растерянная и при каждом слове, произносимом мэром, чувствовала, как в сердце ее тает и распадается накопившаяся ненависть и как из глубины души поднималась какая-то согревающая, неизъяснимая теплота, в которой были и радость, и доверие, и любовь.

Когда Жавер вышел, господин Мадлен обернулся к ней и сказал медленно, с трудом

выговаривая слова, как серьезный человек, не желающий расплакаться:

— Я выслушал вас, я ничего не знал раньше из того, что вы рассказали. Я верю, что вы говорили правду, я чувствую, что это правда. Я не знал даже, что вы перестали работать в мастерской. Почему вы не обратились прямо ко мне? Ну да, впрочем, не в том дело. Теперь вот что: я заплачу ваши долги, выпишу вам вашего ребенка или вы поезжайте к ней — как хотите. Живите здесь или в Париже, где угодно. Я беру на себя ваши расходы и содержание вашего ребенка. Вы можете, если желаете, не работать больше. Я буду давать вам денег, сколько понадобится. Вы снова будете честной женщиной, когда будете счастливы. И даже знаете, что я вам скажу, если все, что вы сказали, истина, а в этом я не сомневаюсь, то и в настоящую минуту, да и никогда вы не переставали быть добродетельной и непорочной в глазах Всеведущего! О! Вы несчастная страдалица!

Это превышало силы бедной Фантины. Ей возвратят ее Козетту. Она избавится от позорной жизни! Будет свободная, счастливая, честная и иметь при себе свою девочку! Разом после всех бедствий очутиться в таком раю! Она смотрела глазами помешанной на человека, обещавшего ей все это, и только могла прорыдать: о! о! о! Ноги ее подкосились, она опустилась на колени перед господином Мадленом, и, раньше чем он успел помешать, он почувствовал, как она схватила его руку и прильнула к ней губами.

Затем она упала без чувств.

Глава 53

Господин Мадлен велел перенести Фантину в больницу, устроенную в его собственном доме. Он поручил ее сестрам милосердия, которые сейчас же уложили ее в постель. Открылась жестокая лихорадка. Больная провела часть ночи в бреду. Наконец, она заснула.

На следующее утро Фантина проснулась около полудня. Она слышала чье-то дыхание у самой постели, отдернула полог и увидела господина Мадлена, который стоял и смотрел на что-то повыше ее изголовья. Взор его был полон жалости и тоскливой мольбы. Она проследила, куда направлены его глаза, и увидела, что они устремлены на распятие, прибитое к стене.

С той минуты господин Мадлен словно преобразился в глазах Фантины. Он казался ей окруженным сиянием. Он стоял, погруженный в молитву. Долго смотрела она на него, не решаясь прервать его. Наконец, промолвила робким голосом:

— Что это вы делаете?

Господин Мадлен уже с час стоял на этом месте. Он ждал пробуждения Фантины. Он взял ее за руку и пощупал пульс.

— Ну, как вы себя чувствуете? — сказал он вместо ответа.

— Хорошо, я спала, и, кажется, мне гораздо лучше. Это скоро пройдет.

Вернувшись к вопросу, заданному ею сначала, он отвечал, как будто только что услышал его:

— Я молился Страдальцу, Который там, на небесах.

А мысленно прибавил: за страдалицу, которая томится здесь, на земле.

Господин Мадлен провел ночь и утро в наведении справок. Теперь он знал все, знал в самых ужасных подробностях историю Фантины.

— Вы много выстрадали, бедная мать! Не жалуйтесь, ваш удел — счастливый удел избранников. Таким путем люди создают ангелов. Не их вина, если они не умеют за это взяться иначе. Ад, из которого вы вышли, — первая ступень к небу.

Он глубоко вздохнул. Она улыбалась своей кроткой улыбкой, открывавшей ее обезображенный рот.

Жавер в туже ночь написал письмо. Он сам отнес его на другой день в почтовое бюро Монрейля. Письмо было адресовано в Париж «господину Шабулье, секретарю господина префекта полиции». Так как дело с Фантиной успело наделать шума, то заведующая почтовым отделением и некоторые другие лица, видевшие письмо перед его отправкой и узнавшие почерк Жавера, вообразили, что он посылает прошение об отставке.

Господин Мадлен поспешил написать к Тенардье. Фантина задолжала им 120 франков. Он послал им целых триста с тем, чтобы они взяли себе что им следует и немедленно привезли ребенка в Монрейль, где больная мать желает его видеть.

Эта щедрость ослепила Тенардье.

— Черт возьми, — сказал он своей жене, — не надо упускать ребенка. Пичужка, пожалуй, превратится в дойную корову. Я догадываюсь, в чем дело. Какой-нибудь шут гороховый, верно, влюбился в ее мать.

Он отвечал мэру счетом в 500 с чем-то франков, аккуратно составленным. В нем фигурировало два несомненно подлинных счета в 300 франков — один докторский, другой — аптекарский, — счета эти возникли благодаря продолжительной болезни Азельмы и Эпонины. Козетта, как известно, вовсе и не была больна. Все дело было в невинной перестановке имен. Тенардье поставил внизу счета: получено сполна триста франков.

Господин Мадлен немедля послал еще 300 франков и приписал: «Поторопитесь привезти Козетту».

— Отлично! — сказал Тенардье. — Однако не надо упускать ребенка.

Между тем Фантина все не поправлялась. Она продолжала лежать в больнице.

Сестры сначала с отвращением принялись ухаживать за «этой тварью». Кто видел римские барельефы, помнит презрительное выражение нижней части лица у мудрых дев при виде дев безумных. Это исконное презрение весталок к

блудницам — один из глубочайших инстинктов Женского достоинства; сестры испытывали это чувство еще сильнее вследствие своего благочестия. Но в несколько дней Фантина обезоружила их. Речи ее были полны смирения и кротости, и ее материнские чувства трогали поневоле. Один раз сестры слышали, как она говорила в бреду: «Я была грешница, но когда мне возвратят моего ребенка, это будет значить, что Бог простил меня. Пока я делала зло, мне не хотелось бы иметь мою Козетту при себе, не могла бы я выносить взгляда ее Удивленных и печальных глазок. Однако ведь я для нее же делала зло, и поэтому-то Бог простит меня. Я почувствую благословение Божие, когда Козетта будет здесь. Мне отрадно будет видеть эту невинную душеньку. Она ровно ничего не знает. Это сущий ангел, сестрицы. В этом возрасте у детей крылышки еще не отпали».

Господин Мадлен приходил навещать ее два раза в день, и всякий раз она спрашивала:

— Скоро я увижу мою Козетту? Он отвечал:

— Может быть, завтра утром. С минуты на минуту я жду ее.

И бледное лицо матери озарялось радостью.

— О, — говорила она, — как я буду счастлива!

А между тем она не поправлялась. Напротив, ее состояние ухудшалось изо дня в день. Эта пригоршня снега, попавшая на голое тело между лопатками, послужила катализатором, и вследствие этого болезнь, скрывавшаяся в ней целые годы, вступила в острую фазу.

В то время начинали следовать при изучении и лечении грудных болезней прекрасным указаниям Лаэннека. Врач осмотрел Фантину и покачал головой.

— Ну что, доктор? — спросил его господин Мадлен.

— Нет ли у нее ребенка, которого она желает видеть? — отвечал он.

— Да, есть.

— В таком случае торопитесь привезти его.

Господин Мадлен вздрогнул.

Фантина спросила его:

— Что сказал доктор?

Господин Мадлен постарался улыбнуться.

— Он просит скорее привезти вашего ребенка. Это возвратит вам здоровье.

— О, он правду говорит. Что, в самом деле, думают эти Тенардье! Почему они так долго задерживают мою Козетту! Но теперь она уже скоро приедет. Наконец-то счастье близко!

Между тем Тенардье не выпускали ребенка из своих когтей и приводили сто разных предлогов, один хуже другого. Козетта прихварывает, и ей трудно пускаться в путь зимой, говорили они, кроме того, остались еще кое-какие должишки, которые надо привести в известность, и проч., и проч.

— Я пошлю кого-нибудь за Козеттой! — решил, наконец, Мадлен. — Если нужно, я поеду

сам.

Он написал под диктовку Фантины следующее письмо, которое заставил ее подписать:

«Господин Тенардье, передайте, пожалуйста, Козетту подателю сего письма; мелочи будут вам уплачены. Имею честь быть вашей покорнейшей слугой.

Глава 54

Однажды утром господин Мадлен сидел у себя в кабинете и занимался приведением в порядок некоторых срочных дел мэрии, на тот случай, если бы ему пришлось предпринять путешествие в Монфермейль, как вдруг ему доложили, что инспектор полиции Жавер желает его видеть. Услышав это имя, Мадлен не мог подавить в себе неприятного чувства. Со времени происшествия в полицейском бюро Жавер избегал его пуще прежнего, и Мадлен почти не виделся с ним.

— Войдите, — сказал он.

Вошел Жавер. Мадлен продолжал сидеть у камина с пером в руках, не отрывая глаз от бумаг, которые перелистывал. Он не церемонился с Жавером. Невольно пришла ему в голову несчастная Фантина, и он намеренно был холоден как лед.

Жавер почтительно поклонился господину мэру, который сидел к нему спиной. Господин мэр даже не оглянулся и продолжал делать отметки на своих бумагах.

Жавер сделал три шага по кабинету, не нарушая молчания. Физиономист, знакомый с натурой Жавера, долго изучавший этого дикаря, служащего цивилизации, эту странную смесь римлянина, спартанца, монаха и солдата, этого шпиона, неспособного ко лжи, — физиономист, которому известна была бы его тайная застарелая ненависть к господину Мадлену, его столкновение с мэром из-за Фантины — наверное, подумал бы, глядя на Жавера в эту минуту: случилось нечто из ряда вон выходящее.

Для всякого, кто знал его совесть, прямую, чистую, искреннюю, честную, суровую и беспощадную, очевидно было, что внутри его разыгралась какая-то великая драма. Все, что было у него на душе, всегда отражалось и на лице. Как все вспыльчивые люди, он был подвержен резким переменам. Никогда лицо его не имело такого странного выражения. Войдя, он поклонился Мадлену с взглядом, в котором не выражалось ни мстительности, ни гнева, ни недоверия: он остановился в нескольких шагах позади кресла мэра; и теперь он продолжал стоять на том же месте в почтительной позе, с наивной и холодной покорностью человека, который никогда не знал нежностей и всю свою жизнь был терпелив. Молча, неподвижно, с неподдельным спокойным смирением ждал он, когда господину мэру угодно будет повернуться к нему; он стоял покорный, серьезный, со шляпой в руках и опущенными глазами, с видом, представлявшим нечто среднее между позой солдата перед офицером или позой виновного перед своим судьей. На этом лице,

непроницаемом и суровом, как гранит, не сквозило теперь ничего, кроме мрачной грусти. Вся фигура его дышала покорностью, твердостью и каким-то мужественным горем.

Наконец господин мэр положил перо и, обернувшись боком, спросил:

— Ну что там такое случилось, Жавер?

Жавер помолчал, точно собираясь с силами, потом возвысил голос с грустной торжественностью, не лишенной простоты:

— Случилось то, господин мэр, что совершено преступное деяние.

— Что такое?

— Второстепенный агент власти оказал самое вопиющее неуважение одному высшему должностному лицу. Согласно своему долгу, я пришел уведомить вас об этом.

— А кто этот агент?

— Я, — отвечал Жавер.

— Вы?..

— Да, я.

— А кто же должностное лицо, против которого провинился этот агент?

— Это вы сами, господин мэр.

Господин Мадлен выпрямился на своем кресле. Жавер продолжал со своим суровым видом, не поднимая глаз:

— Господин мэр, я пришел просить вас, чтобы вы соблаговолили требовать у властей моего увольнения.

Господин Мадлен разинул рот от изумления.

— Вы скажете, быть может, — продолжал Жавер, — что я мог бы подать в отставку — но этого недостаточно. Подать в отставку — это еще почетно. Я согрешил и должен быть наказан. Меня следует выгнать.

Он прибавил после краткой паузы:

— Господин мэр, как-то раз вы обошлись со мной строго, но несправедливо, сегодня будьте строги по всей справедливости.

— Да зачем же? — воскликнул господин Мадлен. — Что это все значит? Что за чепуха? Совершен какой-то проступок вами против меня? Что же вы такое сделали? В чем ваша вина? Вы обвиняете самого себя, требуете, чтобы вас заместили…

— Выгнали… — поправил Жавер.

— Пусть будет по-вашему — выгнали. Прекрасно, но я все-таки ровно ничего не понимаю.

Жавер глубоко вздохнул всей грудью и продолжал все с той же холодностью и грустью:

— Господин мэр, шесть недель тому назад, после сцены из-за той девки, я был взбешен и написал на вас донос в парижскую префектуру полиции.

Господин Мадлен, который смеялся так же редко, как и Жавер, на этот раз не выдержал:

— Как на мэра за превышение власти?

— Нет, как на бмвшего каторжника.

Лицо мэра покрылось смертной бледностью.

Жавер, не поднимая головы, продолжал:

— Я был в этом убежден! Давно уже у меня возникли подозрения. Некоторое сходство, справки, которые вы наводили в Фавероле, сила ваших мускулов, приключение со стариком Фошлеваном, ваша ловкость в стрельбе, нога, которую вы слегка волочите, — словом, разные глупости! Как бы то ни было, я принимал вас за некоего Жана Вальжана.

— За кого?.. Повторите еще это имя.

— Жан Вальжан. Это каторжник, которого я видел в Тулоне, когда был надсмотрщиком на галерах. Вырвавшись с каторги, этот Жан Вальжан, как рассказывают, обокрал какого-то епископа, потом совершил новое ограбление уже с оружием в руках маленького савояра на большой дороге. Вот уж восемь лет, как он пропал без вести, не знают, куда он скрылся, его везде искали. Я и вообразил себе… Словом, дело сделано! Гнев дал мне решимость, я донес на вас в префектуру.

Господин Мадлен, который за несколько минут опять принялся за свои документы, заметил тоном полнейшего равнодушия:

— И что же вам отвечали?

— Что я с ума сошел.

— Ну-с?

— Конечно, они были правы.

— Еще счастье, что вы это сами сознаете!

— Делать нечего, надо сознаться, ведь настоящий-то Жан Вальжан отыскался.

Листок, который держал господин Мадлен, выпал у него из рук; он поднял голову, пристально взглянул на Жавера и промолвил с необычайным выражением:

— А!

— Вот как было дело, — продолжал Жавер. — Жил в этом краю, где-то около Альи-ле-го-Клаше, старичок по имени Шанматье. Жалкий он был такой; никому не было до него дела. Право, не знаешь, чем такие людишки

кормятся! Нынешней осенью Шанматье был пойман на краже яблок у кого-то… Ну, да это все равно; словом, была кража; он влез на забор, сломал ветку. Там его и поймали с веткой в руках. Заперли нашего молодца в кутузку. До этих пор дело просто подлежало исправительной полиции. Но вот что значит рука Провидения! Острог, где сидел Шанматье, был в дурном состоянии, и господин судебный следователь счел нужным перевести его в Аррас, в департаментскую тюрьму. В этой-то тюрьме был один бывший каторжник, по прозвищу Бреве, которого произвели в сторожа за хорошее поведение. Едва успел Шанматье прибыть, как Бреве, увидев его, закричал: «Э, да я знаю этого молодца. Это бывший каторжник! Дай-ка на тебя посмотреть, дядя! Ведь ты Жан Вальжан?» — «Как так Жан Вальжан!» — Шанматье представляется удивленным. «Да не корчи из себя простачка. Ты Жан Вальжан, был в Тулоне на каторге двадцать лет тому назад! Мы там вместе были». Шанматье отпирается. Ну, понятно, стали наводить справки, раскапывать это дело. Вот что открылось: лет

тридцать тому назад этот Шанматье был рабочим плотником в разных местах, преимущественно в Фавероле. Там потеряли его след. Долго спустя его видели в Оверне, потом в Париже, где у него была дочь в прачках, но это не доказано; наконец он появился в этих краях. Теперь, прежде чем попасть на каторгу за воровство, — кто был Жан Вальжан? Работник. Где? В Фавероле. Другой факт: этот Вальжан назывался по крещенью Жаном, а по фамилии его матери Матье. Естественнее всего предположить, что по выходе из острога он принял фамилию матери, чтобы укрыться от преследований, и назвался Жан Матье. Затем он отправился в Оверн. Из Жана местное произношение сделало Шана, так и стали его звать Шанматье. Вы следите за моим рассказом, не правда ли? Наводят справки в Фавероле. Семьи Жана Вальжана уже не застают; она скрылась, а куда — неизвестно. Ищут, ищут и ничего не находят. А так как начало этой истории происходило тридцать лет назад, то и не нашлось в Фавероле ни души, кто помнил бы Жана Вальжана. Справляются в Тулоне. Кроме Бреве

только еще двое каторжников знавали Жана Вальжана. Это приговоренные пожизненно Кошпаль и Шенильдье. Устраивают их очную ставку с мнимым Шанматье. И те не колеблются. Как и Бреве, они тотчас признают Жана Вальжана. Тот же возраст — лет около пятидесяти пяти, тот же рост, тот же вид, словом, это он — и никто другой. В этот-то самый момент я отправил свой донос в парижскую префектуру. Мне отвечают, что я рехнулся, потому что Жан Вальжан находится в Аррасе, в руках правосудия. Можете себе представить, как это меня поразило, меня, который был убежден, что я держу здесь самого этого Жана Вальжана! Пишу господину судебному следователю. Меня вызывают и приводят Шанматье.

— Ну и что же? — прервал господин Мадлен.

Жавер отвечал со своим неподкупным и грустным выражением:

— Господин мэр, что правда то правда. Очень жаль, но именно этот человек настоящий Жан Вальжан. Я тоже узнал его…

— И вы совершенно уверены? — молвил Мадлен тихим голосом. Жавер засмеялся тем грустным смехом, который вырывается из глубокого убеждения:

— О, совершенно убежден!

Он с минуту оставался в задумчивости, машинально захватывая щепотки древесного порошка для посыпания чернил, потом прибавил:

— И теперь, когда я видел настоящего Жана Вальжана, я не могу понять, как это я мог вообразить что-нибудь иное. Прошу прощения, господин мэр.

Обращаясь с этой мольбой к тому, кто шесть недель тому назад оскорбил его при всех публично, в полицейском бюро, и крикнул ему: «Вон!», Жавер, этот надменный человек, сам того не подозревая, был исполнен простоты и достоинства. Господин Мадлен отвечал на его мольбу резким вопросом.

— А что говорит этот человек?

— Э, да что, господин мэр, дело его плохое. Если это Жан Вальжан, то тут рецидив. Перелезть через забор, сломать ветку, стащить несколько яблок — это шалость для ребенка; для взрослого это уже будет проступок, для каторжника — преступление. Дело пахнет не исправительной полицией, а судом присяжных. Тут уж не заключение в тюрьму на несколько дней, а пожизненная каторга. Затем припомнят еще дело маленького савояра, которое, надеюсь, тоже всплывет наружу. Черт возьми, есть о чем призадуматься, не так ли? Да, для всякого другого, а не для Жана Вальжана! Это продувная бестия, я и тут узнаю его. Другой понял бы, что дело не шуточное, принялся бы метаться, кричать, — не хочу, дескать, быть Жаном Вальжаном. А этот словно ничего не смыслит, только и твердит: «Я Шанматье, что хотите, то и делайте». У него растерянный вид, он разыгрывает идиота. О! Мошенник ловок! Ну, да все равно — улики налицо. Его узнали четверо; старый плут будет осужден. Дело передано суду в

Аррасе. Я еду туда для свидетельских показаний. Меня вызвали.

Господин Мадлен опять наклонился над конторкой, принялся за бумаги и спокойно перелистывал их, поочередно читая и делая заметки, как человек, погруженный в занятия. Наконец он обернулся к Жаверу:

— Ну, будет, Жавер, будет. В сущности, эти подробности очень мало меня интересуют. Мы только теряем время, а дела у нас спешные. Жавер, сходите немедленно к госпоже Бюзопье, которая торгует травами на углу улицы Сен-Сов. Скажите ей, чтобы она подала жалобу на ломового Пьера Шенлона. Этот скот чуть не раздавил ее с ребенком. Его надо проучить. Затем отправьтесь к господину Шарселе, на улицу Шампиньи. Он жалуется, что водосточная труба в соседнем доме льет прямо к нему дождевую воду, которая размывает фундамент его дома. Наконец, вы констатируете нарушение полицейских правил на улице Гибур у вдовы Дорис и на улице Гарроблан у г-жи Боссе и составите протоколы. Я

задаю вам много работы. Ведь вы, кажется, уезжаете. Мне послышалось, вы говорили, что едете в Аррас по этому делу, дней через восемь или десять?..

— Раньше, господин мэр!

— Когда же?

— Я уже, кажется, докладывал господину мэру, что дело будет развиваться завтра и что я уезжаю в дилижансе нынче же в ночь.

У Мадлена вырвалось неуловимое движение.

— Сколько же дней продлится это дело?

— Не более одного дня. Приговор будет произнесен завтра вечером, никак не позже. Но я не стану дожидаться приговора, дам свои показания и сейчас же назад.

— Хорошо, — сказал господин Мадлен и отпустил Жавера жестом руки.

Жавер, однако, не двинулся с места.

— Извините, господин мэр, но я должен кое-что напомнить вам.

— Что еще?

— То, что меня следует уволить.

Господин Мадлен встал.

— Жавер, вы честный человек, и я вас уважаю. Вы преувеличиваете свою вину. К тому же это обида, касающаяся меня одного. Жавер, вы достойны повышения, а не унижения. Я желаю, чтобы вы сохранили свое место.

Жавер взглянул на Мадлена своим честным взором, в глубине которого отражалась его совесть, мало просвещенная, но суровая и целомудренная, и молвил спокойным голосом:

— Этого я не могу допустить, господин мэр.

— Повторяю вам, что дело это касается меня одного.

Но Жавер, преследуя исключительно свою мысль, продолжал:

— Что касается преувеличения, то я вовсе не преувеличиваю. Вот как я рассуждаю: я осмелился вас подозревать. Но это еще ничего,

ровно ничего. Мы, грешные, вправе подозревать, хотя, впрочем, подозревать стоящих выше нас — уже злоупотребление. Но ведь я что сделал? Без всяких доказательств, в порыве гнева, с целью отомстить, я донес на вас как на каторжника, на вас, человека уважаемого, мэра, представителя власти! Это серьезно, очень серьезно. Я оскорбил власть в вашем лице, я, агент этой власти! Если бы кто-нибудь из моих подчиненных поступил так, я не задумался бы объявить его недостойным службы и выгнать. Погодите, господин мэр, еще одно слово. Я часто был строгим в своей жизни — строгим к другим. Это было справедливо. Так и надо. Теперь же, если бы я не был строг к самому себе, все справедливые поступки моей жизни стали бы несправедливыми. К чему я должен щадить себя больше, чем других. Нет! Я был бы подлецом; и те, кто говорит: «Это мошенник Жавер!», были бы правы! Господин мэр, я не желаю, чтобы вы обошлись со мной снисходительно; достаточно эта доброта бесила меня, когда она относилась к другим. Мне ее не надо. Доброта,

заключающаяся в том, чтобы давать предпочтение публичной женщине перед гражданином, полицейскому агенту перед мэром, по-моему, плохая доброта. По милости такой доброты общество приходит в расстройство. Господи! Как легко быть добрым; труднее всего быть справедливым. Поверьте — если бы вы оказались тем, чем я думал, я сам не был бы к вам добрым! О, посмотрели бы вы тогда! Да, господин мэр, я должен отнестись к себе, как я отнесся бы ко всякому другому. Когда я усмирял злоумышленников, когда я надзирал за мошенниками, я часто говорил самому себе: "Ну, уж если ты сам споткнешься, если когда-нибудь я тебя изловлю на чем бы то ни было — будь благонадежен! И вот я споткнулся, я изловил себя на проступке — тем хуже для меня. Итак, я уволен, выгнан! И поделом! У меня есть руки, я буду работать, землю пахать, мне все равно. Господин мэр, интересы службы требуют примерного наказания. Я требую увольнения инспектора Жавера.

Все это было произнесено тоном покорным, гордым, отчаянным и убежденным, придавшим какое-то странное величие этому необыкновенно честному человеку.

— Посмотрим, — молвил господин Мадлен и протянул ему руку. Жавер отшатнулся и проговорил сумрачным голосом:

— Извините, господин мэр, этого не должно быть. Мэр не подает руки шпиону. Да, шпиону, — прибавил он сквозь зубы. — Раз я злоупотребил полицией, я шпион и не больше.

Он отвесил глубокий поклон и направился к двери. Там он обернулся и, не поднимая глаз, проговорил:

— Господин мэр, я буду продолжать службу, пока меня не заменят кем-нибудь.

Он вышел. Господин Мадлен остался погруженный в думы, прислушиваясь к этим твердым, уверенным шагам, удалявшимся по коридору.

Глава 55

Происшествия, о которых прочтут ниже, не все были известны в Монрейле. Но немногое, получившее гласность, оставило в этом городе такую по себе память, что было бы большим упущением не рассказать об этих событиях в малейших подробностях.

В этих подробностях читатель встретит два-три невероятных обстоятельства, которые мы, однако, сохраняем из уважения к истине.

Вслед за посещением Жавера господин Мадлен пошел, по своему обыкновению, навестить Фантину.

Но прежде чем войти к ней, он велел позвать сестру Симплицию.

Обе монахини, прислуживавшие в больнице, были лазаристки, как и все сестры милосердия, — звали их сестра Перпетуя и сестра Симплиция.

Сестра Перпетуя была простая, грубая деревенская женщина, поступившая в сестры милосердия, как поступают в услужение. Она была монахиней точно так же, как была бы кухаркой. Такой тип встречается довольно часто; монашеские ордена охотно принимают этих неотесанных крестьян, из которых легко вылепить и капуцина, и урсулинку. Этот деревенский люд исполняет всю черную работу. Переход от пастуха к монаху не слишком резок; первый превращается во второго без особенного труда; общая основа невежества и в деревне, и в монастыре составляет удобную почву, и тотчас же ставит мужика на равную ногу с монахом. Расширьте немного кафтан — и выйдет ряса. Сестра Перпетуя была толстая монахиня из окрестностей Лантуаза, говорила на особом наречии, пела псалмы, брюзжала, подслащивала лекарства, смотря по набожности или лицемерию больного, грубила больным, толкала умирающих, встречала агонию сердитыми молитвами, — тем не менее это была смелая и честная женщина. Сестра Симплиция была бела прозрачной

белизной воска. Перед сестрой Перпетуей она казалась восковой свечой перед сальной свечкой. Венсен де Поль божественно охарактеризовал образ сестры милосердия в прекрасных словах, в которых столько свободы и столько смирения. «Кельей их будет комната страдальца, часовней — приходская церковь, обителью — улицы городов или залы госпиталей, оградой — послушание, решеткой — богобоязненность, покрывалом — скромность». Этот идеал воплотился в сестре Симплиции; она никогда не была молода и как будто никогда не должна была состариться. Это была особа — не смеем сказать: женщина — кроткая, строгая, благовоспитанная, холодная, за свою жизнь ни разу не солгавшая. Она была так кротка, что казалась хрупкой — хотя на деле была тверда, как гранит. Она прикасалась к несчастным своими прелестными, тонкими, непорочными пальцами. В самых ее словах была тишина и безмятежность; она говорила ровно столько, сколько необходимо, и звук ее голоса был в одно и то же время назидательный и в состоянии очаровать светское

общество. Эта деликатность примирилась с одеждой из грубой шерсти; в этом жестком соприкосновении сестра находила постоянное напоминание о Боге. Подчеркнем одну подробность. Отличительной чертой сестры Симплиции, сутью ее добродетели было то, что она никогда не солгала, ни разу не сказала неправды ради чьих бы то ни было интересов, все, что она говорила, было истиной, святой истиной. Она почти прославилась в конгрегации этой невозможной правдивостью. Аббат Сикар упоминает о сестре Симплиции в письме к глухонемому Массье. «Как бы мы ни были чисты и искренны, в нашей правдивости всегда попадается хотя бы маленькая невинная ложь. У нее этого не было. Маленькая ложь, невинная ложь — Да разве бывает такая? Ложь — безусловное зло. Лгать слегка нельзя; кто лжет — лжет настоящей, полной ложью; ложь — это самый облик Дьявола; у Сатаны два имени — Сатана и ложь». Вот как думала сестра; и как думала, так и поступала. Из этого и происходила та прозрачная белизна, лучи которой

распространялись даже на ее глаза и губы. Ее улыбка, ее взгляд были так же чисты, как она сама. Ни одной пылинки, ни одного пятнышка не было на светлом стекле ее совести. Поступая в орден, она приняла имя Симплиции по особенному выбору. Как известно, Симплиция с Сицилии была та самая святая, которая предпочла дать себе отрезать обе груди, нежели ответить, что она родилась не Сиракузах, а в Сегесте, то есть сказать ложь, которая спасла бы ее. Такая святая была по душе сестре Симплиции. Когда она поступала орден, у нее были два недостатка, от которых она мало-помалу исправилась — слабость к лакомствам и любовь к письмам. Теперь она читала один только молитвенник, напечатанный крупным шрифтом по-латыни. Правда, латыни она не знала, но книгу понимала сердцем. Святая девушка полюбила Фантину, вероятно, чувствуя в ней скрытую добродетель, и посвятила себя исключительно ухаживанию за ней. Господин Мадлен отвел сестру Симплицию в сторону и

поручил ей Фантину со странным выражением, которое сестра припомнила впоследствии.

Поговорив с сестрой, он подошел к Фантине.

Фантина каждый день ждала появления господина Мадлена, как ждут луча тепла и радости. Она говорила сестрам: «Я чувствую, что живу, только когда господин мэр около меня».

В тот день у нее была очень сильная лихорадка. Но как только она увидела мэра, она спросила:

— А Козетта?

— Скоро, скоро, — отвечал он, улыбаясь.

Господин Мадлен общался с Фантиной как обыкновенно. Вся разница была в том, что он пробыл у нее целый час вместо получаса, к великой радости Фантины. Он просил окружающих, чтобы больная ни в чем не чувствовала недостатка. Заметили, что была минута, когда лицо его сделалось сумрачным. Но это объяснилось, когда узнали, что доктор,

наклонившись к его уху, прошептал: «Очень плоха».

Затем он вернулся в мэрию, и конторский мальчик видел, как он внимательно рассматривал подорожную карту Франции, висевшую в его кабинете. В то же время он записал несколько цифр на клочке бумаги.

Глава 56

Из мэрии он отправился на самый конец города к одному офранцузившемуся фламандцу Скоффлеру, который «отдавал внаем лошадей с кабриолетами по желанию».

Чтобы добраться до этого Скоффлера, самый короткий путь лежал по захолустной улице, где помещался дом священника того прихода, к которому принадлежал господин Мадлен. Кюре прихода был, говорят, человек почтенный, достойный, всегда подающий добрые советы. В ту минуту, когда господин Мадлен проходил мимо священнического дома, на улице был всего

один прохожий; он-то и заметил, что господин мэр, пройдя мимо дома, остановился, простоял несколько мгновений неподвижно, потом, повернув обратно до дверей священнического дома, он с живостью схватил молоток у двери и приподнял его; но вдруг снова остановился как вкопанный, постоял в раздумье и вместо того, чтобы опустить молоток, тихо положил его на место и продолжил свой путь скорее прежнего.

Господин Мадлен застал Скоффлера дома; он был занят починкой хомута.

— Дядя Скоффлер, — сказал он, — есть у вас хорошая лошадь?

— У меня все лошади хороши, господин мэр, — заметил фламандец. — Что вы называете хорошей лошадью?

— Лошадь, которая в состоянии сделать двадцать миль в один день.

— Черт возьми! Двадцать миль не шутка! И в упряжи?

— Да.

— А сколько времени ей можно отдыхать после путешествия?

— В случае надобности, она должна пуститься в обратный путь на другой же день.

— И пробежать опять то же расстояние?

— Да.

— Эге-ге! Вы сказали — двадцать миль?

Господин Мадлен вынул из кармана клочок бумаги, на котором записаны были цифры. Он показал их фламандцу; то были числа: 5, 6, 8 ½.

— Вот видите, — сказал он. — Всего-навсего девятнадцать с половиной, — почти что двадцать.

— Господин мэр, — проговорил фламандец, — у меня есть для вас конь. Знаете мою белую лошадку; должно быть, вы не раз видели ее. Это сущий огонь. Сначала было хотели пустить ее под седло. Не тут-то было! Брыкаться стала, сбрасывать всех наземь. Думали, что она с норовом, и не знали, что с ней делать. Я купил ее да и впряг в кабриолет. Да-с, это будет как раз, что вам требуется; смирна она,

как девушка, бежит как ветер. А уж верхом на нее садиться — нет, шалишь! Не по нутру ей ходить под седлом. У всякого, видите ли, свои странности, свой нрав.

— Вы думаете, она пробежит это расстояние?

— Пробежит ваши двадцать миль все крупной рысью и в восемь часов, не больше. Но вот на каких условиях.

— На каких — говорите.

— Во-первых, вы дадите ей отдохнуть на полпути; покормите ее и приглядите, покуда она ест, чтобы конюх постоялого двора не утянул у нее овса. Я замечал, что на постоялых дворах овес чаще идет на выпивку конюхам, нежели в пищу лошадям.

— Хорошо, я буду наблюдать.

— Во-вторых… Для вас самих требуется одноколка, господин мэр?

— Для меня.

— А умеете вы править?

— Да.

— Ну-с, господин мэр, вам надо ехать одному и без багажа, чтобы не обременять лошадь.

— И на это согласен.

— Значит, если вы будете одни, господин мэр, вам придется самому Потрудиться задать лошади корм.

— Ладно.

— Я требую тридцать франков в день. Ни гроша больше, ни гроша меньше: и продовольствие скотины за счет господина мэра.

Господин Мадлен молча вынул из кошелька три наполеондора и положил их на стол.

— Вот вам за два дня вперед.

— В-четвертых, для подобной поездки одноколка слишком тяжела и утомила бы лошадь. Поэтому необходимо, чтобы вы, господин мэр, согласились путешествовать в маленьком тильбюри, — у меня есть такой.

— Я согласен.

— Этот экипаж легкий, но открытый.

— Мне все равно.

— Быть может, вы не изволили подумать, что у нас теперь зима.

Господин Мадлен не отвечал. Фламандец продолжал:

— Что очень холодно?

То же молчание.

— Что может пойти дождь?..

Господин Мадлен поднял голову.

— Тильбюри с лошадью должны быть у моих дверей завтра в половине пятого утра.

— Слушаюсь, господин мэр, — ответил Скоффлер. Затем, поскабливая ногтем пятно на поверхности стола, он продолжал тем беспечным тоном, который фламандцы так искусно умеют согласовать с хитростью.

— А я и забыл спросить! Вы мне не сказали, господин мэр, куда вы намерены уехать. Куда это, в самом деле?

В сущности, он только об этом и думал с самого начала разговора, но сам не сознавал, почему не осмелился задать этого вопроса сразу.

— А что, у вашей лошади здоровые передние ноги? — спросил господин Мадлен.

— Да, господин мэр, вы немного посдерживайте ее на спусках. Много спусков отсюда до того места, куда вы едете?

— Не забудьте привести лошадь завтра точно в половине пятого утра, — проговорил Мадлен и вышел.

Фламандец остался с носом, как он потом сам рассказывал. Только что успел господин мэр скрыться, как снова отворилась дверь, и он появился опять. Вид его был такой же равнодушный и деловой.

— Господин Скоффлер, — сказал он, — в какую сумму оцениваете вы лошадь и кабриолет, который вы мне отдаете внаймы?

— Разве господин мэр намерен купить их у меня?

— Нет, но на всякий случай я хочу их гарантировать вам. По моем возвращении вы вернете мне деньги. Во сколько оцениваете вы экипаж с лошадью?

— В пятьсот франков, господин мэр.

— Вот они.

Господин Мадлен положил банковский билет на стол, потом вышел и уже не возвращался.

Скоффлер горько жалел о том, что не заломил тысячу франков. Впрочем, лошадка с тильбюри стоила всего-навсего сто экю.

Фламандец позвал жену и рассказал ей, как все было. Куда это, черт побери, мог ехать господин мэр? Они держали между собою совет.

— Он едет в Париж, — говорила жена.

— Не думаю, — возразил муж.

Господин Мадлен позабыл на камине клочок бумаги, на котором написаны были цифры. Фламандец стал внимательно изучать их. Пять,

шесть, восемь с половиной. Это должно означать почтовые станции. Он обернулся к жене.

— Теперь я знаю.

— Как так?

— А вот как: отсюда до Гедина — пять миль, от Гедина до Сен-Поля — шесть, от Сен-Поля до Арраса — восемь с половиной. Наверное, он отправится в Аррас.

Между тем господин Мадлен вернулся домой. На обратном пути он выбрал самую длинную дорогу, словно дверь священнического дома была для него искушением, которого ему хотелось избежать. Он зашел к себе в комнату и заперся на ключ: но это было делом самым обыкновенным, потому что он любил ложиться рано. Впрочем, привратница фабрики, которая в то же время была единственной служанкой господина Мадлена, заметила, что свет у него потух в половине девятого; она рассказала это кассиру, когда тот возвратился домой, прибавив:

— Уж не болен ли господин мэр? Я нахожу, что у него какой-то странный вид.

Этот кассир занимал комнату как раз под спальней господина Мадлена. Не обратив никакого внимания на слова привратницы, он улегся в постель и заснул. Около полуночи он вдруг проснулся: сквозь сон ему послышался шум наверху, над его головой. Он стал прислушиваться. То был звук шагов взад и вперед по комнате над ним. Он напряг слух и узнал шаги господина Мадлена. Это показалось ему странным: обыкновенно ни звука не долетало из спальной господина Мадлена до самого утра, когда все поднимались с постели. Минуту спустя кассиру почудился скрип шкафа, который отпирали и запирали. Потом передвигали какую-то мебель; наконец, наступила тишина, затем снова раздались шаги. Кассир приподнялся на постели, проснулся окончательно и увидел в свое окно на противоположной стене красноватое отражение освещенного окна. Судя по направлению лучей, это могло быть только окно спальни господина Мадлена. Отражение

мерцало, словно оно происходило не от свечи, а скорее от большого пламени. Тень перекладин оконной рамы не обрисовывалась на стене — следовательно, окно было отворено настежь. В такой холод это распахнутое настежь окно производило странное впечатление. Кассир опять уснул. Час или два спустя он еще раз пробудился. Тот же мерный тихий шаг раздавался над его головой.

Отражение по-прежнему рисовалось на противоположной стене, но теперь оно было бледное и спокойное, как отражение лампы или свечи. Окно все еще было открыто.

Вот что происходило в комнате господина Мадлена.

Глава 57

Читатель, вероятно, догадался, что Мадлен был не кто иной, как Жан Вальжан.

Однажды мы уже заглядывали в тайники этой совести; настала минута заглянуть в нее снова.

Трудно при этом удержаться от чувства волнения и содрогания. Нет ничего ужаснее такого созерцания. Нигде духовное око не находит таких ослепительных проблесков, ни таких глубоких потемок, как в человеческой душе; нет ничего более страшного, более сложного, более таинственного и бесконечного. Есть зрелище еще величественнее небес — это душа человеческая.

Написать поэму человеческой души, хотя бы самого ничтожного из людей — значило бы слить все эпопеи в одну высшую и окончательную. Совесть — это хаос химер, похотей, искушений, мечтаний, вертеп помыслов, которых сам человек стыдится; там гнездо софизмов, арена страстей. В известные моменты проникните сквозь мертвенно-бледное лицо размышляющего человека, загляните в эту душу, в эти потемки. Под наружным безмолвием там происходят битвы исполинов, как у Гомера, состязания драконов и гидр, мелькают полчища призраков, как у Мильтона, проносятся видения, как у Данте. Алигьери встретил однажды роковую дверь, перед которой остановился в

нерешительности. Перед нами такая же дверь; на пороге ее и мы остановились в колебании. Войдем, однако.

Нам остается добавить очень немногое к тому, что уже известно читателю о судьбе Жана Вальжана со времени приключения с малышом Жервэ. С этого момента он стал другим человеком. Он осуществил то, чего желал епископ. Это было не исправление, а полное перерождение.

Ему удалось скрыться; он продал епископское серебро, кроме подсвечников, которые оставил себе на память. Пробираясь из города в город, он исходил всю Францию, пришел в Монрейль, исполнил, что задумал, успел поставить себя так, что стал лицом неприкосновенным, недоступным, поселился в Монрейле и, счастливый тем, что совесть его стала успокаиваться, что первая половина его жизни уничтожается второй, он жил мирно, успокоенный, полный надежд, преследуя лишь две мысли: скрыть свое имя и освятить свою

жизнь; вырваться из власти людей и вернуться к Богу.

Эти две мысли были так тесно связаны в его уме, что составляли как бы одно целое; обе они были одинаково могучи и господствовали над всеми его малейшими поступками. Обыкновенно они согласовывались между собой; направляя его жизнь, они влекли его в тень, делали его простым и добрым, советовали ему одни и те же действия. Случалось, впрочем, между этими идеями являлся разлад. В подобных случаях человек, которого весь край называл господином Мадленом, не колеблясь приносил в жертву первую мысль второй, то есть свою безопасность своей добродетели. Так, вопреки всякой осторожности, он сохранил подсвечники епископа, носил по нему траур, призывал к себе и расспрашивал всех прохожих маленьких савояров, собирал справки о всех фаверольских семействах и спас жизнь старику Фошлевану, несмотря на тревожные намеки Жавера. Словом, по примеру всех людей разумных, святых и

справедливых, он полагал, что первый его долг относится к ближнему, а не к самому себе.

Однако надо признаться, что никогда еще ничего подобного с ним не случалось.

Никогда эти две идеи, руководившие этим несчастным человеком, не вступали в такую серьезную борьбу между собою. Он смутно, но глубоко почувствовал это с первых же слов, сказанных Жавером, когда он вошел в его кабинет. В тот момент, когда было произнесено это имя, погребенное им с такой осторожностью, его охватило какое-то оцепенение: он был как бы одурманен роковой странностью своей судьбы и сквозь это оцепенение почувствовал особое содрогание, обыкновенно предшествующее великим потрясениям; он нагнул голову, как дуб перед приближением грозы, как солдат перед приступом. Он сознавал, что над головой его повисли грозовые тучи, полные грома и молний. Когда он слушал Жавера, его осенила прежде всего мысль лететь, спешить, донести на себя, освободить этого Шанматье из тюрьмы и самому

сесть на его место; это было острое, болезненное ощущение, точно нож, вонзенный в живое тело; потом это прошло и он подумал: «Полно, полно!» Он подавил в себе первое великодушное движение и отступил перед героизмом.

Конечно, было бы прекрасно, если бы после увещаний епископа, после стольких лет раскаяния и самоотречения, среди такого святого покаяния, этот человек, даже ввиду самой страшной перспективы, не поколебался ни мгновения и продолжал бы ровным шагом идти к той пропасти, в глубине которой для него разверзалось небо; это было бы прекрасно — но случилось иначе. Прежде всего, в его душе одержал верх инстинкт самосохранения; он поспешно собрался с мыслями, подавил волнение, сообразил, что присутствие Жавера — большая опасность, оттолкнул от себя всякое решение с твердостью, внушаемой ужасом, отложил всё, что ему следовало сделать, и вооружился хладнокровием, как борец, поднимающий щит.

Остальную часть дня он провел в таком состоянии: внутри у него бущевала буря, а снаружи царствовало полнейшее спокойствие. Он принял, так сказать, предохранительные меры. Все было смутно и беспорядочно в его мозгу; смятение было в нем так сильно, что нельзя было ясно различить ни одной мысли; сам он мог сказать о себе только одно — что ему нанесен жестокий удар. По обыкновению, он посетил больную Фантину, продолжил свой визит, повинуясь доброму инстинкту, и с особенной выразительностью поручил ее сестрам на случай, если ему придется отлучиться. Он смутно сознавал, что, быть может, надо будет ехать в Аррас; и, не приняв ни малейшего решения насчет этого путешествия, он, однако, подумал, что так как он вне всяких подозрений, то ему ничто не помешает быть свидетелем происшествий. И вот он нанял тильбюри у Скоффлера, чтобы приготовиться на всякий случай.

Он пообедал с порядочным аппетитом.

Очутившись у себя в комнате, он сосредоточил свои мысли.

Рассмотрев положение, он нашел его чудовищным; до такой степени чудовищным, что среди своей задумчивости, повинуясь какому-то почти необъяснимому движению тревоги, он встал со своего места и запер дверь на задвижку. Он боялся, как бы не вошло еще что-нибудь. Он забаррикадировался против возможного.

Минуту спустя он задул свечу. Она стесняла его.

Ему казалось, что его могут увидеть.

Но кто же? Увы, то, что он хотел выгнать за дверь, подступило к нему, то, что он хотел ослепить, смотрело ему прямо в глаза: его совесть.

Совесть, то есть Бог.

Однако в первую минуту он поддался обманчивой иллюзии; им овладело чувство безопасности и одиночества; дверь заперта на задвижку — он счел себя недоступным; свеча

потушена — он почувствовал себя невидимым. Тогда он овладел собою; оперся локтями на стол, положил голову на руки и стал размышлять в потемках.

— Что со мной? Не сон ли все это? Что мне сказали? Правда ли, что я виделся с этим Жавером и он так говорил со мной? Кто может быть этот Шанматье? Он, значит, очень похож на меня? Возможно ли все это. И стоит только подумать, что еще вчера я был так спокоен и так далек от всяких подобных подозрений! Что делал я вчера в этот час? Чем закончится этот случай? Как поступить?

Вот какая буря клокотала в нем. Его мозг утратил способность удерживать мысли; они мелькали, как волны, и он сжимал лоб обеими руками, стараясь установить их. И из всей этой сумятицы, взбудоражившей его волю и рассудок, из которой он тщетно старался вынести что нибудь определенное, какое-нибудь решение, — ясно выделялось только одно чувство — глубокой тоски.

Голова его пылала. Он подошел к окну и распахнул его настежь.

На небе не было ни одной звезды; он опять сел к столу.

Так прошел первый час.

Мало-помалу, однако, его мысли стали принимать смутные очертания; он мог различить с ясностью действительности если не все положение, то некоторые подробности. Он, наконец, сознал, что, как бы ни было исключительно и ужасно это положение, он тем не менее был полным его господином.

Но от этого сознания чувство оцепенения еще усилилось.

Независимо от строгой и религиозной цели всех его поступков, все, что он делал до сих пор, было как бы ямой, в которую он хоронил свое имя. В часы задумчивости, в бессонные ночи он больше всего страшился одного — когда-либо услышать это ненавистное имя; он был убежден, что это будет концом всего; что в тот день, когда

опять всплывет это имя, рухнет вся его новая жизнь и, кто знает, быть может, погибнет его новая душа. Он содрогался от одной мысли, что это возможно. Конечно, если бы кто-нибудь сказал ему в эти минуты, что наступит час, когда это имя снова прозвучит в его ушах, когда это гнусное слово «Жан Вальжан» вдруг восстанет из мрака, когда этот грозный свет, способный рассеять мрак, которым он себя окутал, вдруг воссияет над его головой — и что после очной ставки с призраком Жана Вальжана добрый и достойный буржуа господин Мадлен выйдет еще более уважаемым и почитаемым — если бы кто-нибудь сказал ему это, он покачал бы головой и счел эти слова безумными. И что же? Все это сбылось, вся эта совокупность невероятностей превратилась в факт. Богу было угодно, чтобы эти безумные мечты обратились в действительность.

Его мысли продолжали проясняться, он все более и более отдавал себе отчет в своем положении.

Ему казалось, что он пробудился от какого-то сна и что очутился среди ночи весь дрожащий, тщетно силясь отступить от скользкого края бездны. Он ясно различал в тени какого-то незнакомца, которого судьба принимала за него самого и вместо него толкала в пропасть, чтобы бездна закрылась, надо было, чтобы кто-нибудь упал в нее — или он, или тот, другой.

Ему оставалось положиться на волю судьбы.

Мрак окончательно прояснился, и он признался самому себе в следующем: его место на галерах оставалось незанятым, и что бы он ни делал, это место всегда будет ждать его, будет ждать и притягивать, покуда он на нем не окажется, — это неизбежно и фатально. Затем он рассудил: в настоящую минуту у него нашелся заместитель; какому-то Шанматье выпала на долю эта горькая участь, а что касается его самого, то он отныне будет иметь представителя на каторге в лице этого Шанматье и представителя в обществе под именем господина Мадлена; поэтому ему теперь нечего бояться,

лишь бы он не воспрепятствовал людям навалить на этого Шанматье камень позора, который, подобно могильному камню, падает раз навсегда и уже никогда не снимается.

Все это было так дико, так страшно, что в нем произошло внезапно невыразимое движение, ощущаемое человеком всего два-три раза в жизни, — род потрясения совести, которая шевелит все, что в сердце есть сомнительного, и состоит из иронии, радости и отчаяния — точно взрыв внутреннего смеха.

Он поспешно зажег свечу.

— Что со мной! — подумал он. — Чего я боюсь? О чем мне думать? Я спасен, все кончено. Оставалась одна только полурастворенная дверь, через которую мое прошлое могло ворваться в мою жизнь; и вот дверь эта замурована — навеки! Этот Жавер, который так давно смущает меня, этот грозный инстинкт, который как будто угадал меня, и угадал же на самом деле — эта ужасная гончая собака, неотступно следившая за мной, — окончательно сбит с пути, отвлечен в другое

место! Теперь он доволен, он оставит меня в покое, он нашел своего Жана Вальжана. Кто знает, очень вероятно, что он захочет совсем покинуть город! И все это сделалось помимо меня! Я тут ни при чем! Так что же тут худого во всем этом? Кто увидел бы меня теперь, подумал бы, честное слово, что со мной случилась катастрофа! Как бы то ни было, если кто-нибудь от этого пострадает — это не моя вина. Все это устроено Провидением. Имею ли право расстраивать то, что устроило Провидение? Чего я хочу теперь? Во что я вмешиваюсь? Это не мое дело! Как! Неужели я еще недоволен? Чего же мне, наконец, нужно? Я достиг цели, к которой стремился столько лет, достиг мечты моих ночей, предмета моих молитв, достиг безопасности. Так угодно Богу. И для чего? Для того чтобы я делал добро, чтобы когда-нибудь сделался великим примером, чтобы было, наконец, сколько-нибудь счастья в этом искусе, вынесенном мною, в этой добродетели, к которой я вернулся! Право, я не понимаю, почему я побоялся зайти к доброму кюре, рассказать ему все, как на исповеди,

просить у него совета, — он, наверное, сказал бы мне то же самое. Итак, решено! Пусть события идут своим чередом! Да будет воля Божия!

Так рассуждал он в глубине своей совести, повиснув над бездной. Он встал и принялся ходить по комнате.

«Полно, — думал он, — довольно об этом помышлять. Решение мое принято!»

Но он не почувствовал никакой радости.

Напротив. Мысли нельзя воспрепятствовать возвращаться к одному и тому же пункту, точно так же, как нельзя морю запретить возвращаться к берегу. У моряка это называется приливом, у преступника — угрызением совести. Бог волнует душу, как океан.

По прошествии нескольких минут, волей-неволей он вернудся к мрачному разговору с самим собой, разговору, в котором он сам говорил то, о чем желал бы умолчать, и слушал то, чего не хотел бы слышать, повинуясь той таинственной силе, которая говорила ему: "Думай подобно

тому, как две тысячи лет тому назад она говорила другому осужденному: «Иди, иди вперед!»

Прежде чем продолжать и чтобы нас вполне поняли, надо остановиться на одной необходимой подробности.

Несомненно, что человек говорит сам с собою; нет ни одного мыслящего существа, которое бы это не испытало. Можно сказать даже, что слово никогда не бывает такой великой тайной, как в тех случаях, когда внутри человека оно переносится от его мысли к совести и от совести возвращается к мысли. Человеком овладевает великое волнение, все говорит в нем, только уста безмолвствуют.

Мадлен спросил себя, к чему он, наконец, пришел. Каково это принятое решение? Он признавался самому себе, что все, что он уладил в своем уме — чудовищно, что «предоставить дело естественному ходу, предать его на волю Божию» — просто ужасно. Допустить совершиться этой ошибке судьбы и людей, не помешать ей, содействовать ей своим молчанием,

не сделать ничего — да ведь это значит сделать все! Это крайний предел недостойного лицемерия! Это преступление низкое, подлое, коварное, отвратительное, ужасное!

В первый раз за эти восемь лет несчастный почувствовал горькую прелесть дурного помысла, дурного поступка. Он оттолкнул ее с отвращением.

Он продолжал свой допрос. Со строгостью спросил себя, что понимал под словами: «Цель моя достигнута!» Он признал, что жизнь его действительно имеет цель. Но какую цель? Скрыть свое имя? Обмануть полицию? Для такой разве мелочи он делал добро в последние годы? Не было у него разве другой цели, цели великой, настоящей? Спасти не тело, а душу. Стать честным и добрым. Быть праведником! Разве не этого одного он всегда желал, не это завещал ему епископ? Закрыть навсегда дверь в прошлое! Но, Боже мой, таким образом он вовсе не запирает эту дверь! Напротив, он растворяет ее настежь гнусным поступком! Он опять становится вором,

и самым ненавистным вором! Он похищает у другого человека его жизнь, его спокойствие, его место в мире! Он делается убийцей! Он убивает, он губит нравственно несчастного человека, он подвергает его этой ужасной смерти заживо, этой смерти, именуемой каторгой! Напротив того, предать себя, спасти эту жертву роковой ошибки, снова принять на себя свое имя, стать по чувству долга каторжником Жаном Вальжаном — вот что значит действительно затворить свое перерождение, навсегда закрыть дверь ада, из которого вышел. Он должен это сделать! Не сделай он этого, вся жизнь его станет бесполезной, все покаяние обратится в ничто. Он живо видел перед собой епископа; это присутствие он ощущал тем живее, что епископ умер; епископ пристально смотрел на него, и отныне мэр Мадлен со всеми его добродетелями делался в глазах его отвратительным, а каторжник Жан Вальжан чистым и прекрасным. Люди видели его маску, но епископ видел его действительное лицо. Люди видели его жизнь — епископ видел его совесть. Надо спешить в

Аррас, освободить мнимого Жана Вальжана, указать настоящего! Увы! Это было величайшей из жертв, самой мучительной победой, последним шагом, но что делать, так надо. Горькая судьба! Он обретет святость перед лицом Бога лишь тогда, когда очернит себя снова перед лицом людей.

— Так что же, — решил он, — исполним свой долг. Спасем этого человека!

Слова эти он произнес вслух, сам того не замечая.

Он принялся за свои книги, проверил их, привел в порядок: бросил в огонь связку векселей на имя нескольких мелких торговцев в стесненных обстоятельствах. Затем написал письмо, запечатал его и надписал на конверте: «Господину Лаффитту, банкиру, улица д'Артуа, Париж».

Потом вынул из конторки бумажник, содержавший несколько банковских билетов, и паспорт, которым он пользовался не далее как в прошлом году, когда ездил на выборы.

Кто увидел бы его приводившим в порядок свои дела и сохранявшим величавое спокойствие, не смог бы догадаться, что в нем происходит. Только порою губы его шевелились; в иные минуты он поднимал голову и пристально всматривался в какую-нибудь точку на стене, словно в этой точке находится то, что он желал разъяснить себе.

Окончив письмо к господину Лаффитту, он положил его в карман вместе с бумажником и опять заходил по комнате.

Мысли его не изменились. Он все еще ясно видел свой долг, начертанный лучезарными письменами: «Ступай, назови себя; предайся в руки правосудия!»

Так же отчетливо видел он, словно они двигались перед ним в ясных образах — те две идеи, которые до сих пор составляли двойное правило его жизни: скрывать свое имя, освятить свою душу. Впервые они являлись перед ним совершенно разделенными, и он сознавал разделявшую их разницу. Сознавал, что одна из

идей безусловно хороша, но что другая может быть и дурной; что первая была самоотвержением, вторая — эгоизмом; что первая говорила о ближнем, вторая о личном я; первая исходила из света, вторая из тьмы.

Эти две идеи боролись. Он видел их борьбу. По мере того как он размышлял, они вырастали перед его умственными очами и превращались в гигантские образы: ему казалось, что внутри его, среди мрака и проблесков света состязаются великан с богиней.

Его охватил ужас, но ему казалось, что добрая мысль одерживала верх.

Он сознавал, что пришел ко второму решительному моменту в своей совести, в своей судьбе; епископ наметил первую фазу его ново жизни, а этот Шанматье намечает вторую. После великого кризиса — великое испытание.

Между тем лихорадка, на минуту успокоившаяся, возвращалась мало-помалу. Тысячи мыслей мелькали в его уме, но они продолжали укреплять его в этой решимости.

Одно мгновение он подумал, что, быть может, он слишком горячо принимает это дело, что этот Шанматье вовсе не стоит сочувствия, что как бы то ни было — он украл.

Но тотчас же он ответил себе: если человек этот действительно украл несколько яблок, — то за это наказывают тюремным заключением на один месяц. Тут далеко до галер.

А кто еще знает — воровал ли он? Разве это доказано? Одно имя Жана Вальжана гнетет его и не требует никаких улик. Разве не всегда так поступают королевские прокуроры? Они убеждены, что вор, коль скоро знают, что он был каторжником.

Вслед за тем на одно мгновение у него промелькнула мысль, что когда он донесет на себя — быть может, примут в расчет геройство его подвига, его честную жизнь на протяжении семи лет, всю пользу, принесенную им стране, — припомнят все это и даруют ему помилование.

Но это предположение быстро исчезло, и он горько улыбнулся, подумав, что кража сорока су у

малыша Жервэ делает его рецидивистом, что эта история непременно всплывет наружу и, согласно постановлениям закона, он будет осужден на каторжные работы пожизненно.

Он отогнал все иллюзии, совершенно отрешился от всего земного и стал искать утешения и поддержки свыше. Он рассуждал, что надо исполнить свой долг, что, быть может, он будет счастливее, исполнив его, нежели уклонившись от него, что если он оставит это дело на произвол судьбы, его добрая слава, уважение, которым он пользуется, его милосердие, его богатство, его популярность, его добродетель — все это будет обесчещено преступлением; и какую отраду могут приносить все эти прекрасные вещи в связи с таким гнусным поступком? Зато, если он принесет эту жертву, сама каторга, позорный столб, арестантская шапка, железный ошейник, труд без устали, позор беспощадный — все это будет соединено с божественным утешением!

Наконец, он убеждал себя, что так нужно, что судьба его так сложилась, что он не властен изменить волю Всевышнего; что во всяком случае надо выбирать: или добродетель снаружи и мерзость внутри, или святость внутри и позор снаружи.

При обсуждении таких мрачных мыслей мужество его не слабело, но мозг утомился. Он невольно стал думать о посторонних вещах.

В висках у него стучало. Он продолжал ходить. Пробило полночь сначала в приходской церкви, потом в городской думе.

Он оба раза сосчитал все двенадцать ударов, сравнивая звук обоих колоколов. Кстати, он припомнил, что за несколько дней видел у одного торговца старый колокол, на котором была надпись: «Антуан Албен из Ромэнвилля».

Он продрог и затопил камин. Закрыть окно ему не пришло в голову.

Между тем он опять впал в оцепенение. Ему потребовались большие усилия, чтобы

вспомнить, о чем он думал, прежде чем пробила полночь. Наконец вспомнил.

— Ах да, я решился донести на себя.

Вдруг у него промелькнула мысль о Фантине.

— Боже мой, что станется с этой несчастной женщиной!

Тут наступил новый кризис.

Фантина, внезапно воскресшая среди его дум, явилась как луч неожиданного света. Ему показалось, что вокруг него все изменилось, и он воскликнул:

— Однако что же я! До сих пор я думал только о себе! Я принимал в расчет только то, что меня касается! Мне удобно молчать или донести на себя, скрыть свою личность или спасти свою душу — быть достойным презрения и, однако, уважаемым должностным лицом, или же отверженным, но честным в душе колодником! Все я, везде я, и только один я! Но, Господи, ведь это эгоизм, сущий эгоизм! Если бы я хотя немного подумал о других! Первая

добродетель — думать о ближних. Подумаем, сообразим! Если я исчезну, погибну, буду предан забвению, что тогда случится? Если я донесу на себя? Меня схватят, освободят этого Шанматье, сошлют меня на каторгу, — что же дальше? Что произойдет здесь? Здесь целый город, целый край, фабрики, промышленность, рабочие — женщины, старики, малые дети, бедняки! Все это я устроил, всему этому я даю жизнь; повсюду, где только топится печь, где есть мясо в котле, все это — благодаря мне; я водворил достаток, движение, кредит; до меня этого ничего не было; я поднял, оживил, обогатил весь край. Я погибну — и все погибнет. А эта женщина, которая так страдала, у которой столько достоинств, несмотря на ее падение, эта женщина, которой я невольно принес несчастье! А этот ребенок, которого я обещал матери привезти! Разве не обязан я доставить этой несчастной что-нибудь в вознаграждение за причиненное ей зло? Я исчезну — тогда что случится? Мать умрет. Ребенок будет брошен на произвол судьбы. Вот что будет, если я донесу на

себя. А если не донесу на себя? А если не донесу? Посмотрим, что случится, если я не донесу.

Задав себе этот вопрос, он остановился; им овладело минутное колебание; он содрогнулся; но это длилось недолго, и он спокойно продолжал:

— Ну, так что же, этот человек попадет на каторгу. Это правда, но и поделом — ведь он украл? Напрасно я убеждаю себя, что он не воровал! Я же останусь здесь и буду продолжать свое дело. В десять лет я наживу десять миллионов и распределю их по всему краю; у меня нет ничего своего, не для себя я тружусь! Общее благосостояние растет, промышленность процветает, фабрики и заводы умножаются, семьи — тысячи семейств! — счастливы; край заселяется. Нужда исчезает, а с нею исчезают распутство, проституция, воровство, убийство, всеипороки, все преступления! А эта бедная мать воспитывает своего ребенка! И вот целая страна богата и добродетельна. Нет, право, я был

сумасшедший, я был безрассудный человек, когда думал донести на себя! Надо быть осторожным и не спешить! Неужели я должен это сделать потому именно, что мне нравится разыгрывать роль великодушного! Ведь это сущая мелодрама! Потому только, что я думал исключительно о себе, и ради того, чтобы спасти от справедливого, быть может, наказания Бог знает кого, вора, очевидно, плута — надо погубить целый край! Надо, чтобы несчастная женщина умирала в больнице! Чтобы бедная маленькая девочка пропадала на улице — как собака! Но ведь это гнусно! И мать даже не увидит своего ребенка! Ребенок не узнает своей матери! И все это ради старого мошенника, таскавшего яблоки, который, наверное, если не за это, так за что-нибудь другое заслужил попасть на галеры! Нечего сказать — прекрасные правила, спасающие виновного и приносящие в жертву неповинных, выгораживающие старого бродягу, которому немного остается жить и который вряд ли будет несчастнее в остроге, чем в своей лачуге — и губящие целое население, женщин, матерей,

детей! У этой бедняжки Козетты никого нет на свете, кроме меня, и, наверное, в эту минуту, вся посиневшая от холода, она дрожит в трущобе этих Тенардье! Вот еще мошенники! И я изменю своему долгу по отношению к этим несчастным! Я пойду доносить на себя! И я сделаю эту нелепую глупость! Возьмем самое худшее. Предположим, что это было бы с моей стороны дурным поступком и что моя совесть упрекала бы меня за это; но ведь вынести ради ближних эти упреки, касающиеся меня одного, вынести это дурное дело, марающее мою душу, — вот где настоящее самоотвержение, вот где добродетель.

Он встал и продолжал ходить. На этот раз ему показалось, что он совершенно доволен.

Алмазы отыскивают в недрах земли, а истину находят в глубине размышлений. Ему казалось, что, спустившись в эту глубину и долго проводив ощупью в потемках, он наконец обрел один из драгоценных алмазов, одну из этих истин, и теперь держал ее в руках; она ослепила его своим блеском.

« — Да, — думал он, — так вот в чем дело! Я нашел истину, самое настоящее решение. Надо, наконец, держаться чего-нибудь одного. Я решился. Пусть будет что будет! Нечего больше колебаться, нечего отступать. Это в интересах нас всех, а не в моем только. Я Мадлен и остаюсь Маленом. Горе тому, кто Жан Вальжан! Во всяком случае, это не я. Я не знаю этого человека; и если окажется, что кто-нибудь Жан Вальжан — настоящую минуту, пусть сам выпутывается. Это не мое дело. Это — роковое имя, витающее во мраке ночи; пусть оно обрушится на чью-нибудь голову — тем хуже для нее!

Он заглянул в маленькое зеркало, висевшее над его камином.

— Однако я чувствую себя легче, приняв решение, теперь я совсем иной человек.

Он сделал еще несколько шагов и вдруг остановился.

— Ну, теперь не надо отступать ни перед какими последствиями принятого решения. Есть еще нити, связывающие меня с этим Жаном

Вальжаном. Надо порвать их! Здесь, в этой самой комнате, есть предметы, которые служат против меня уликой, предметы бессловесные, но которые явились бы красноречивыми свидетелями; решено — надо их уничтожить.

Он порылся в кармане, вынул кошелек и достал из него маленькой ключик.

Он вложил его в замок, отверстие которого было едва заметно среди темных разводов обоев. Открылся потайной шкаф, устроенный между углом стены и камином. В этом тайнике лежало несколько лохмотьев: синяя холщовая рубаха, старые панталоны, старая котомка и толстая терновая палка, окованная с обоих концов. Все, кто видел Жана Вальжана, когда он проходил через Динь в октябре 1815 года, узнали бы все принадлежности этого жалкого костюма.

Он хранил их, как хранил серебряные подсвечники, чтобы всегда помнить, с чего он начинал. Но все эти предметы, касающиеся каторги, он скрывал, а подсвечники, полученные от епископа, выставлял напоказ.

Он бросил украдкой взгляд на дверь, словно боялся, что она вдруг отворится, несмотря на то что заперта на задвижку; потом резким движением схватил в охапку эти вещи, которые он так свято и с такой опасностью хранил на протяжении стольких лет, и не глядя бросил в огонь все — лохмотья, палку, котомку.

Потом запер потайной шкаф и с целью предосторожности, совершенно излишней, придвинул к двери какой-то громоздкий предмет.

Через несколько секунд комната и стена напротив озарились ярким колеблющимся пламенем. Все горело; смолистая палка трещала и отбрасывала искры до середины комнаты.

Из котомки, горевшей вместе с отвратительными тряпками, наполнявшими ее, вдруг выскочил какой-то предмет, ярко блестевший в золе. Нагнувшись, легко было различить монету. Без сомнения — монета в сорок су, украденная у маленького савояра.

Он не смотрел на огонь и ходил, все ходил взад и вперед мерными шагами.

Вдруг взгляд его упал на два серебряных подсвечника, слабо мерцавших на камине при свете пламени.

«Весь Жан Вальжан сидит в них, — подумал он. — Надо и это уничтожить».

Он взял подсвечники в руки. В камине был еще достаточно сильный огонь, чтобы быстро лишить их формы и превратить в неузнаваемую массу.

Он нагнулся к огню и с минуту грелся, ощущая истинное наслаждение.

Он помешал угли обоими подсвечниками. Спустя минуту они уже очутились в пламени.

Вдруг в этот самый момент ему почудился голос, кричавший внутри его существа: «Жан Вальжан! Жан Вальжан!»

Волосы его встали дыбом; он был похож на человека, прислушивающегося к чему-то страшному.

— Да! Это верно, кончай свое дело! — говорил голос. — Уничтожь подсвечники! Сгуби

всякое воспоминание! Забудь епископа! Забудь все! Убей этого Шанматье, отлично, продолжай! Итак, решено, что этот старик, не ведающий, чего от него хотят, ни в чем, быть может, не повинный и над которым имя твое тяготеет, как преступление, будет осужден и вместо тебя окончит дни свои в позоре и ужасе! Отлично! А ты сам будь честным человеком! Оставайся господином мэром, оставайся почтенным и уважаемым, обогащай город, питай неимущих, воспитывай сирот, живи счастливо, добродетельный и почитаемый, а тем временем, пока ты будешь здесь в свете и радости, другой наденет твою арестантскую куртку, будет носить твое имя в позоре и влачить твои цепи на каторге! Прекрасно улажено! Ах, несчастный!

Со лба его струился пот. Он бросил на подсвечники растерянный взор. А внутренний голос продолжал:

— Жан Вальжан! Много голосов вокруг тебя поднимут шум, будут говорить во всеуслышание, благословят тебя, и одно только существо,

которого никто не услышит, будет проклинать тебя во мраке. Так слушай же, негодный! Все эти благословения сгинут, не дойдя до неба, и только одно это проклятие достигнет престола Всевышнего!

Голос этот, сначала слабый, исходящий из самых глубоких тайников его совести, постепенно делался звучным и грозным, и теперь он ясно слышал его. Последние эти слова были произнесены так отчетливо, что он оглянулся с каким-то ужасом.

— Кто здесь? — спросил он громко, как помешанный. Потом продолжал с идиотским смехом:

— Как я глуп, ну кто здесь может быть!

Но кто-то действительно был около него; кто-то такой, кого не может видеть человеческое око.

Мадлен поставил подсвечники на камин и продолжал свое монотонное сумрачное хождение, тревожившее и заставлявшее вскакивать во сне человека, который спал внизу.

Хождение это облегчало его состояние и вместе с тем одуряло его. По прошествии нескольких минут, он уже забыл, к чему пришел.

Теперь он с одинаковым ужасом отступал перед обоими решениями, поочередно им принятыми. Эти две мысли казались ему обе одна Уоительнее другой. Какой рок! Надо же было, чтобы этого Шанматье приняли за Жана Вальжана! Погибнуть именно тем путем, который Провидение, как сначала казалось, послало, чтобы упрочить его положение!

Одно мгновение он представил себе будущее. Донести на себя, великий Боже! Предать себя! С необъятным отчаянием подумал он обо всем, что придется ему покинуть и к чему вернуться. Надо сказать прости этой жизни, такой милосердной, чистой, радостной, этому общему уважению, чести, свободе! Он не пойдет больше бродить по полям, не услышит пения птичек, не будет раздавать милостыни ребятишкам! Не почувствует он больше устремленных на него взоров признательности и любви! Он покинет

этот дом, который сам построил, эту скромную комнатку! Все казалось ему таким прелестным в эту минуту. Не будет он больше читать книг, писать на этом столике некрашеного дерева! Старая привратница, единственная его прислуга, не будет приносить ему кофе по утрам! Господи! И вместо всего этого что же — острог, железный ошейник, красная куртка, колодки на ногах, усталость, тюрьма, нары — весь этот непрерывный ужас. В его годы, после того, чем он был! Если бы еще он был молод! Но в старости выслушивать грубости от первого встречного, подставлять спину под удары надсмотрщика! Носить на босых ногах подкованные башмаки! Каждый вечер и утро подставлять ногу под молоток надзирателя, осматривающего колодки. Выносить любопытные взгляды посторонних, которым говорят: «Это знаменитый Жан Вальжан, что был мэром в Монрейле!» А вечером, обливаясь потом, изнемогая от усталости, под кнутом сержанта взбираться по веревочной лестнице плавучей тюрьмы! О, какой ужас! Может ли судьба быть

жестокой, как разумное существо, чудовищной, как сердце человеческое?

И что бы он ни делал, он все возвращался к этой горькой дилемме, гнездящейся в глубине его души: оставаться в раю и стать демоном! Или вернуться в ад и стать ангелом!

Что делать? Великий Боже! Что делать?

Буря, из которой он выбрался с таким трудом, снова забушевала внутри его. Мысли его стали путаться. Они приняли машинальный характер — черта, свойственная отчаянию. Название «Ромэнвилль» то и дело мелькало в его уме с двумя стихами какой-то песни. Он подумал, что Ромэнвилль маленькая роща близ Парижа, куда влюбленные ходят рвать сирень в апреле.

Он пал духом. Шаги его стали неверны, как у маленького ребенка, которого пустили ходить одного.

В известные минуты, борясь с усталостью, он делал усилие, чтобы собраться с мыслями. Он старался еще в последний раз поставить себе

задачу, над которой трудился до того, что чуть не упал в изнеможении. Надо ли донести? Или надо молчать? Он тщетно пытался различить что-либо явственно. Смутные образы всех этих рассуждений дрожал и рассеивались друг за другом, словно дым. Но он чувствовал только, что на чем бы он ни остановился — часть его существа должна неизбежно умереть, что и направо, и налево зияют мрачные могилы; что он должен пережить или агонию своего счастья, или агонию своей добродетели.

Увы! Все колебания снова овладели им. Он не подвинулся ни на шаг вперед.

Так боролась в тоске эта несчастная душа. Точно так же 1800 лет тому назад таинственное существо, в котором воплощалась вся святость и все страдания человечества, среди масличных рощ долго отстраняло от себя рукою страшную чашу, которая являлась перед ним переполненная горечи, среди необъятных пространств, усеянных звездами.

Глава 58

Пробило три часа утра: целых пять часов сряду он ходил по комнате и, наконец, в изнеможении опустился на стул.

Он тотчас задремал и увидел сон.

Сон этот, как и большинство снов, не имел ничего общего с его положением, кроме какой-то смутной роковой связи, и произвел на него сильное впечатление. Кошмар так его поразил, что позднее он записал его. Этот рассказ найден в бумагах Жана Вальжана. Мы находим нужным передать его дословно.

Каков бы ни был сон, история этой ночи была бы не полна, если бы мы не упомянули о нем. Это мрачное приключение больной души.

На конверте была надпись: «Сон, который я видел в ту ночь».

«Был я где-то за городом, в обширной печальной местности, где не Росло даже травы. Мне казалось, что это было не днем и не ночью.

Я прогуливался со своим братом, товарищем моих юношеских лет, с братом, о котором, признаться, я никогда не думаю и которого почти не помню.

Мы разговаривали между собой и встречали прохожих. Говорили мы о соседке, когда-то жившей около нас и всегда работавшей у открытого окна. Пока мы говорили об этом, нам стало холодно благодаря отбытому окну.

Во всей местности не было ни одного дерева.

Мы увидели человека, проехавшего мимо нас. Он был совсем обнаженный, пепельного оттенка, верхом на лошади земляного цвета. На голове его не было волос, виднелся его голый череп и жилы на черепе. Держал он в руках хлыст, гибкий, как виноградная лоза, и тяжелый, как железо. Всадник проехал мимо нас и не сказал нам ни слова.

Мой брат сказал мне:

— Пойдем по лощине.

Тут пролегала лощина, где не виднелось ни травы, ни клочка мха. Все было земляного цвета, даже и небо. Сделав несколько шагов, я заметил, что мне больше не отвечают. Я обернулся и увидел, что брата моего уже нет со мной.

Я вошел в селение, которое встретил по пути. Мне показалось, что это и есть Ромэнвилль. (Почему именно Ромэнвилль?)

Первая улица была пустынна. Я вышел на другую. На углу стоял человек, прислонившись к стене. Я сказал ему:

— Что это за местность? Где я?

Человек не отвечал. Увидев отворенную дверь, я вошел в дом. Первая комната была пуста. Я вошел во вторую. За дверью этой комнаты стоял человек, прислонившись к стене. Я спросил его:

— Чей это дом? Где я?

Он не отвечал. Около дома был сад.

Я вышел из дома и вошел в сад. Он был пуст. За первым деревом я увидел какого-то человека.

— Что это за сад? Где я? — спросил я его. Он не отвечал ни слова.

Я пошел бродить по селению и заметил, что это город. Все улицы были пустынны, все двери отворены настежь. Ни одно живое существо не проходило по улицам, не гуляло в садах, не ходило по комнатам. И только за каждым углом, за каждой дверью, за каждым деревом стояло по человеку; все они безмолвствовали. Все время не было видно больше одного. Эти люди смотрели на меня, когда я проходил.

Я вышел из города и пошел по полю. По прошествии некоторого времени я обернулся и увидел громадную толпу; она шла за мной. Я узнал людей, которых видел в городе. У них были странные лица; они, по-видимому, не торопились, но, однако, шли быстрее меня. Шли они беззвучно. В одно мгновение толпа настигла меня и окружила. У этих людей лица были земляного цвета.

Первый, которого я видел и расспрашивал, войдя в город, обратился ко мне:

— Куда вы идете? Разве вы не знаете, что вы давно умерли?

Я открыл рот, чтобы ответить, и увидел, что вокруг меня нет ни души».

Он проснулся весь окоченелый. Холодный утренний ветер со скрипом поворачивал на петлях рамы окна, которое оставалось открытым. Огонь в камине потух. Свеча догорала. Было еще совсем темно.

Он встал и подошел к окну. На небе по-прежнему не было ни одной звезды. Из окна он видел двор, дома и улицу. Резкий стук, вдруг прозвучавший по мостовой, заставил его нагнуться. Он увидел внизу две красные звезды, лучи которых странным образом удлинялись и сокращались в темноте.

До конца не проснувшись, он подумал:

— Вот как! Теперь нет звезд на небе — они на земле.

Между тем туман рассеялся, новый звук, подобный первому, пробудил его; он взглянул

еще раз и убедился, что эти звезды не что иное, как фонари экипажа. При свете их он мог различить форму его. То был тильбюри, запряженный белой лошадкой. Звуки, слышанные им, были удары лошадиных копыт о мостовую.

«Что это за экипаж? — подумал он. — Кто мог приехать так рано?»

В эту минуту осторожно постучались в его дверь.

Он вздрогнул с ног до головы и крикнул страшным голосом:

— Кто там?

Он узнал голос старухи-привратницы.

— Что нужно? — спросил он.

— Господин мэр, скоро пять часов.

— Мне-то что до этого?

— Господин мэр, кабриолет приехал.

— Какой кабриолет?

— Да тильбюри.

— Какой тильбюри?

— Разве господин мэр не приказал приехать за собой?

— Нет, — сказал он.

— А кучер говорит, что он приехал за господином мэром.

— Какой кучер?

— Кучер господина Скоффлера.

— Скоффлера!

Это имя заставило его вздрогнуть, словно молния сверкнула перед его глазами.

— Ах да, — вспомнил он, — Скоффлер!

Если бы старуха могла видеть его в эту минуту, она ужаснулась бы.

Наступило довольно долгое молчание. С тупым выражением смотрел он на свечу, собирая вокруг подсвечника горячий воск и крутя его между пальцами. Старуха все ждала. Наконец она отважилась еще раз возвысить голос.

— Господин мэр, что прикажете ответить?

— Скажите, что хорошо, я сейчас иду.

Глава 59

Почтовое сообщение между Аррасом и Монрейлем в то время все еще осуществлялось посредством легких экипажей времен Империи. То были двухколесные кабриолеты, обитые внутри бурой кожей, а стоячих рессорах, двухместные — одно место полагалось для курьера, другое для путешественника. Колеса были снабжены выступающими предохранительными ступицами, чтобы держать другие экипажи на расстоянии; до сих пор такие колеса можно встретить на дорогах Германии. Огромный продолговатый ящик для писем прикреплялся позади кабриолета и составлял с ним одно целое. Ящик этот был неизменно окрашен в черный цвет, а кабриолет в желтый.

Эти экипажи, совершенно не похожие на современные, представляли что-то уродливое,

безобразное; они походили на странных насекомых, называемых, кажется, термитами, которые при короткой талии волочат за собой длинное туловище. Ходили они, впрочем, довольно быстро. Экипаж, выезжая из Арраса каждую ночь в час, после прихода парижской почты, приходил в Монрейль почти в пять часов утра.

В эту ночь экипаж, спускаясь в Монрейле по Гединской дороге, задел на повороте маленький тильбюри, запряженный белой лошадкой, ехавший в противоположном направлении. В тильбюри был всего один пассажир, человек, закутанный в большой плащ. Колесо тильбюри получило довольно сильный толчок. Курьер крикнул путешественнику, чтобы он остановился, но тот не слушал его и продолжал ехать крупной рысью.

— Вот человек, который чертовски куда-то торопится! — заметил курьер.

Человек, спешивший таким образом, был тот самый, которого мы видели в борьбе с

волнениями, во всяком случае заслуживающими сострадания.

Куда он ехал? Он и сам не знал. Зачем он так спешил? Неизвестно. Он ехал наудачу. Куда? Вероятно, в Аррас, но, быть может, и в другое место. Порою он сознавал это и содрогался. Он погружался все дальше и дальше в этот мрак, как в бездну. Что-то неудержимо толкало его, что-то притягивало. В нем происходило то, чего никто не в силах выразить, но что всякий поймет. Какой человек не входил хоть раз в жизни в эту мрачную пещеру неизвестного.

Впрочем, он ничего не решил, ни на чем не остановился, ничего не сделал. Ни одно из действий его совести не было окончательным. Более чем когда-нибудь он стоял на первом моменте. К чему же он ехал в Аррас?

Он твердил себе то же самое, что уже думал, нанимая кабриолет у Скоффлера, что каков бы ни был результат, ничто не мешает ему видеть его собственными глазами, судить о вещах самому; что даже разумно, необходимо знать все, что

случится; что ничего нельзя решить заранее, — издали ведь всегда делают из мухи слона, — что как бы то ни было, увидев этого Шанматье, наверное, какого-нибудь разбойника — совесть его успокоится и он не огорчится, если отправят его на каторгу вместо него, что хотя на суде будут все в сборе — и Жавер, и Бреве, и Шенильдье, и Кошпаль, старые каторжники, знавшие его — но, во всяком случае, они его не узнают; не может быть, чтобы узнали! Жавер теперь далек от этой мысли! Все предположения, все догадки обращены на Шанматье, а ведь нет ничего упорнее предположений и догадок; поэтому опасности не предвидится никакой.

Конечно, думал он, это черная полоса, но она минует, — что ни говорите, а вся судьба — в его руках, он полный властелин ее. Он упорно цеплялся за эту мысль.

В глубине души он предпочел бы вовсе не ехать в Аррас.

Но он все-таки ехал.

Погруженный в думы, он стегал лошадь, которая бежала хорошей мерной рысью, делая две с половиной мили в час.

По мере того как кабриолет ехал, человек чувствовал, что внутри его что-то с силой тянет назад.

На рассвете он выехал в открытое поле; город Монрейль остался далеко позади. Он смотрел, как белел горизонт; смотрел, ничего не видя перед собою, на холодные картины зимнего рассвета. Утро имеет свои призраки, как и вечер. Он их не замечал; но помимо его воли, в силу какого-то чисто физического чувства, эти черные силуэты деревьев и холмов прибавляли к мятежному состоянию его души что-то сумрачное и роковое.

Всякий раз, как он проезжал мимо уединенных домов, встречавшихся вдоль окраины дороги, он думал: ведь живут же здесь люди, которые теперь спят спокойно.

Мирная рысь лошади, бубенчики хомута, стук колес о мостовую производили убаюкивающий

монотонный звук. Все это прекрасно, когда человек весел, но кажется мрачным, когда он грустен.

Совсем рассвело, когда он прибыл в Гедин. Он остановился перед постоялым двором, чтобы дать передохнуть лошади и покормить ее.

Лошадь была, как говорил Скоффлер, из мелкой породы Булоннэ — с большой головой, толстыми боками, короткой шеей, но вместе с тем широкой грудью, широким крупом, тонкими, суховатыми, но сильными ногами. Эта порода некрасива, но крепка и выносliва. Доброе животное сделало пять миль за два часа и нисколько не было взмылено.

Мадлен не слезал с тильбюри. Конюх, принесший овес, вдруг нагнулся и стал рассматривать левое колесо.

— А далеко ли вы так скачете? — спросил он.

Он отвечал почти не выходя из своей задумчивости:

— Почему вы спрашиваете?

— Издалека приехали? — продолжал конюх.

— Я сделал пять миль.

— А!

— Почему вы говорите: а?

Конюх опять нагнулся, помолчал, не отрывая глаз от колеса, и поднял голову:

— Вот колесо, которое проехало только что пять миль, не спорю, да только скажу вам, что теперь оно уж наверное не в состоянии будет выдержать и четверти мили.

Он поспешно слез с кабриолета.

— Что вы говорите, любезный?

— А то говорю, что чудеса еще, что вы проехали пять миль и не свалились вместе с лошадью в какой-нибудь овраг. Посмотрите сюда!

Колесо действительно было сильно повреждено. Столкновение с экипажем раскололо две спицы и сломало ступицу, у которой почти выскочила гайка.

— Нет ли тут поблизости каретника, любезный? — спросил он конюха.

— Конечно есть, сударь.

— Сделайте одолжение, сходите за ним.

— Да он в двух шагах. Эй, дядя Бугальяр!

Дядя Бугальяр, каретник, стоял на пороге своего дома. Он пришел, осмотрел колесо и скорчил гримасу, как хирург, свидетельствующий сломанную ногу.

— Можете вы тотчас же починить это колесо?

— Как же, сударь.

— А когда я могу ехать?

— Завтра.

— Как завтра?

— Да тут работы на целый день. Разве вы куда спешите?

— Очень спешу. Мне надо пуститься в путь через час, не позже.

— Невозможно, сударь.

— Я заплачу сколько надо.

— Невозможно.

— Ну так через два часа.

— На сегодняшний день и думать нечего. Надо приделать две спицы и поправить ступицу. Вы сможете ехать не раньше завтрашнего дня.

— Но мое дело не терпит до завтра. А если вместо того, чтобы чинить это колесо, его заменить другим? Ведь вы каретник?

— Так точно.

— Не найдется ли у вас колеса на продажу? Я мог бы отправиться в путь тотчас же.

— У меня нет сейчас готового колеса для вашего кабриолета. Колесо нелегко подобрать, надо пару.

— В таком случае, продайте мне пару.

— Ну, сударь, не все колеса приходятся впору ко всем осям.

— Все-таки попробуйте.

— Напрасно будет. У меня есть на продажу только колеса для повозок. У нас тут попросту.

— А нет ли у вас кабриолета напрокат?

Каретник с первого же взгляда узнал, что тильбюри наемный. Он пожал плечами.

— Нечего сказать, славно вы отделываете экипажи, которые нанимаете! Кабы у меня и был кабриолет, и то я бы его не дал вам.

— Ну, так продайте.

— Говорят вам, нет у меня.

— Как! Нет никакой таратайки? Вы видите, я неразборчив.

— Мы ведь живем в глуши. Правда, есть у меня там в сарае старая коляска, принадлежащая одному буржуа; он дал мне ее на хранение и употребляет ее в дело раз в месяц. Я бы вам дал ее — мне все равно, да только надо, чтоб буржуа не видел, как вы проедете мимо; а во-вторых, это коляска: потребуется пара лошадей.

— Я найму двух почтовых лошадей.

— Куда же вы едете, сударь?

— В Аррас.

— И хотите добраться туда сегодня?

— Конечно.

— На почтовых лошадях?

— Отчего же нет?

— Не все ли равно будет вам приехать туда нынче ночью часа в четыре?

— Разумеется нет.

— Вот видите ли, есть кое-какие условия, если вы возьмете почтовых… При вас паспорт?

— При мне.

— Ну-с, взяв почтовых лошадей, вы придете в Аррас не раньше как завтра. На станциях проволочки — все лошади заняты в поле. Теперь везде пашут, лошадей берут отовсюду, даже с почты. Вы прождете, по крайней мере, часа по три, по четыре на каждой станции. Да и потом тащатся шагом. Много приходится ехать в гору.

— Что же, я поеду верхом. Распрягите кабриолет. Надеюсь, я достану здесь седло.

— Конечно, только лошадь-то ваша ходит под седлом?

— Это правда, я и забыл, она не выносит седла.

— В таком случае…

— Но ведь найду же я в селе какую-нибудь лошадь?

— Лошадь, которая бы добежала до Арраса единым духом?

— Да.

— Ну нет, такого коня нет в наших местах. Во-первых, надо было бы сразу купить ее, потому что вас никто не знает. Но ни внаймы, ни на продажу такой не найти ни за пятьсот франков, ни за тысячу!

— Что же делать?

— Самое лучшее, говорю вам, как честный человек, починить колесо, а завтра вы пуститесь

в дорогу.

— Завтра будет поздно.

— Вот тебе раз!

— А когда проходит экипаж в Аррас?

— Завтра в ночь. Оба почтовых экипажа ездят по ночам, и тот, что ходит отсюда, и тот, что приходит.

— Да неужели же вам понадобится целый день, чтобы починить колесо?

— Да, целый день, и не разгибаясь.

— Если даже двое будут работать?

— Хоть десятеро!

— А если связать спицы веревками?

— Спицы-то еще куда ни шло, а ступицу уж никак. Да и ось в плохом состоянии.

— Не отдает ли у вас кто-нибудь экипажи напрокат?

— Нет.

— Нет ли другого каретника?

Конюх и каретник в один голос отвечали «нет», покачивая головой.

Он почувствовал прилив великой радости.

Очевидно, это рука Провидения. Она разбила колесо тильбюри и остановила его на пути. Но он не поддался на это первое предостережение; он употребил все человеческие усилия, чтобы продолжать путь; он честно и добросовестно исчерпал все средства; он не отступил ни перед погодой, ни перед утомлением, ни перед издержками — ему не в чем было упрекнуть себя. Если нельзя ехать дальше — это уж не его дело! Не его это вина — а воля Провидения.

Он вздохнул свободнее, — вздохнул полной грудью в первый раз со времени посещения Жавера. Ему казалось, что железная рука, сжимающая его сердце в продолжение двадцати часов, вдруг ослабла.

Ему чудилось, что теперь Бог за него и проявил свою волю явным образом. Он подумал, что сделал все, что в его силах, и теперь ему останется спокойно вернуться назад.

Если бы разговор его с каретником происходил в комнатах постоялого двора, без свидетелей, дело тем бы и кончилось, и нам, вероятно, не пришлось бы рассказывать происшествия, которые прочтут ниже, но дело в том, что разговор происходил на улице. Всякий уличный разговор непременно соберет кучу любопытных. Всегда найдутся люди, которые только и жаждут зрелищ. Покуда он расспрашивал мастера, несколько прохожих остановились около них. Послушав несколько минут, какой-то мальчик, на которого никто не обратил внимания, отделился от группы и пустился бежать.

В тот момент, когда путешественник, после размышления, решил вернуться назад, ребенок уже возвращался. За ним шла старуха.

— Мой мальчишка сказал мне, что вы желаете нанять кабриолет? — обратилась она к путешественнику.

Эти простые слова, произнесенные старой женщиной, которая вела за руку ребенка, так

поразили его, что он облился холодным потом. Он почувствовал, что железная рука, только что отпустившая его, опять появилась во мраке позади, готовая схватить его.

— Да, милая, — отвечал он, — я ищу кабриолет внаймы.

И тотчас же поторопился прибавить:

— Но здесь его не найти, в этой местности.

— Как не найти? — отвечала старуха.

— Где же? — вмешался каретник.

— Да хоть бы у меня.

Он вздрогнул. Роковая рука опять схватила его.

У старухи действительно стояло в сарае что-то вроде плетеной таратайки. Каретник и конюх, в досаде, что путешественник от них ускользает, вмешались в разговор.

— Это ужасная колымага, — уверяли они, — без рессор, прямо на осях; правда, сиденье висит на кожаных ремнях, но только она вся как

решето, — колеса заржавели, насквозь прогнили от сырости, — вряд ли она уйдет дальше тильбюри, — сущая колымага, и господин напрасно сделает, если поедет в ней, и т. д., и т. д.

Все это была, положим, правда, но только эта колымага, эта фура, этот предмет, каков бы он ни был, имел пару колес и мог довезти до Арраса.

Он заплатил что следовало, оставил тильбюри в починку у каретника, обещая взять его на обратном пути, велел запрячь белую лошадку в таратайку, сел в нее и продолжил путь, начатый утром.

В ту минуту, когда таратайка тронулась с места, он подумал, что за минуту перед тем он с радостью помышлял, что не придется ему ехать дальше: он вспомнил об этой радости с какой-то досадой и нашел ее нелепой. Чему было радоваться? Что ни говори, ведь он предпринял поездку по своей же доброй воле. Никто его не заставлял.

Когда он выезжал из Гедина, он услышал громкий голос, кричавший ему вслед: «Стой,

стой!» Он остановил тележку быстрым движением, в котором было что-то судорожное, лихорадочное, похожее на надежду.

Это кричал мальчишка.

— Сударь, — сказал он, — ведь это я достал вам экипаж!

— Так что же?

— А вы мне ничего не дали.

Он, который обыкновенно так охотно давал всем, нашел это требование наглым и чуть ли не гнусным.

— А, это ты, негодяй! — крикнул он. — Ничего не получишь!

Он стегнул по лошади и покатил крупной рысью.

В Гедине он потерял много времени, и ему захотелось наверстать его. Белая лошадка была молодцом и везла за двоих; но на дворе стоял февраль месяц, перед тем долго шли дожди, дороги стали плохие. К тому же это уже был не

тильбюри. Таратайка оказалась неуклюжая и тяжелая, да и дорога шла больше в гору.

Ему понадобилось целых четыре часа, чтобы добраться из Гедина в Сен-Поль. Четыре часа — для пяти миль.

В Сен-Поле он остановился у первого трактира, распряг лошадь и повел ее в конюшню. Согласно обещанию, данному Скоффлеру, он не отходил от яслей, пока она ела. Он размышлял о предметах смутных и печальных.

В конюшню пришла трактирщица.

— Не угодно ли вам позавтракать, сударь? — спросила она.

— Ах, и правда, — сказал он, — у меня даже разыгрался аппетит.

Он пошел вслед за женщиной, у которой было свежее, веселое лицо.

Она повела его в большую залу, где было много столов, покрытых клеенкой вместо скатерти.

— Только поскорей, — сказал он, — я очень спешу.

Толстая фламандка-служанка наскоро поставила ему прибор. Он глядел на девушку с каким-то отрадным чувством.

«Вот что со мной было, — подумал он. — Я просто проголодался».

Ему подали есть. Он накинулся на хлеб, откусил кусочек, потом медленно положил его на стол и не притронулся к нему больше.

За другим столом завтракал ломовой извозчик. Он обратился к этому человеку:

— Отчего это у них хлеб такой горький?

Извозчик был из немцев и не понял. Мадлен вернулся в конюшню к своей лошади.

Час спустя он выезжал из Сен-Поля и направлялся к Тенку, лежащему всего в пяти милях от Арраса.

Что делал он во время пути? О чем думал он? Как и поутру, он смотрел, как мелькали деревья,

соломенные крыши, возделанные поля, наблюдал, как исчезали ландшафты на каждом повороте дороги. Такое созерцание порою наполняет душу и избавляет ее от дум. Видеть тысячи предметов в первый и последний раз, есть ли что-нибудь более меланхолическое и глубокое! Путешествовать — это рождаться и умирать ежеминутно. Быть может, в самых тайных закоулках души он сравнивал эти далекие и изменчивые горизонты с человеческой жизнью. Все предметы в жизни беспрерывно бегут перед нами. Затмения и светлые проблески чередуются. Смотришь, торопишься, протягиваешь руку, чтобы ухватить что-нибудь на лету; каждое событие — поворот дороги, и вот делаешься стариком. Чувствуешь как бы толчок, потрясение, кругом мрак; различаешь только темную дверь. Сумрачный конь жизни, который вез тебя, останавливается. Какая-то закутанная, темная, неизвестная фигура распрягает его в потемках.

Настали сумерки; дети, выходившие из школы, остановились поглазеть на путешественника, въехавшего в Тенк. Правда,

дни все еще были очень коротки. В Тенке он не остановился вовсе. Выезжая из села, он встретил рабочего, поправлявшего дорогу. Тот поднял голову и промолвил:

— Вот измученная лошадь!

Бедное животное действительно еле двигалось.

— В Аррас, что ли, едете? — прибавил рабочий.

— Да.

— Ну, если так будете ехать, не скоро доберетесь!

Он совсем остановил лошадь и стал расспрашивать рабочего:

— Разве так далеко отсюда до Арраса?

— Около семи миль будет.

— Как так? В почтовой книге значится пять с четвертью.

— Да разве вы не знаете, что дорога ремонтируется? Через четверть часа пути вы

увидите, что она заграждена. Нет возможности ехать дальше.

— Неужели?

— Вы поверните налево, на дорогу, которая идет в Каренси, переправьтесь через реку; когда доедете до Камблена, поверните направо — это и есть дорога Мон-Сент-Элуа, ведущая в Аррас.

— Да ведь ночь наступает, я собьюсь с пути!

— Вы разве не здешний?

— Нет.

— К тому же все это проселочные дороги. Вот что, сударь, — продолжал рабочий, — послушайтесь-ка моего совета. Лошадь у вас замучена, вернитесь в Тенк. Там есть хороший трактир. Переночуйте, а завтра поедете в Аррас.

— Мне нужно быть там сегодня же вечером.

— Ну, это другое дело. В таком случае все-таки ступайте на постоялый двор и возьмите свежую запасную лошадь. Конюх покажет вам дорогу.

Он последовал совету рабочего, повернул назад и полчаса спустя возвращался крупной рысью на паре лошадей. Конюх, именовавший себя почтальоном, сидел позади таратайки.

Между тем он чувствовал, что теряет время. Настала глухая ночь.

Они поехали по проселку. Дорога стала совсем плохой. Таратайка попадала из колеи в колею.

— Поезжай все рысью и получишь вдвое на выпивку, — сказал он почтальону.

Толчок — и валек сломался.

— Сударь, — сказал почтальон, — у нас сломался валек, и я не знаю, что делать. Дорога очень худая нынче; если бы вы изволили вернуться ночевать в Тенк, мы завтра утром ранехонько могли бы быть в Аррасе.

— Есть у тебя веревка и нож? — спросил он вместо ответа.

— Есть.

Он сломал сук и сделал из него валек.

На это он потерял еще с полчаса. Зато они пустились вскачь. Равнина была окутана мраком. Черные полосы тумана низко ползли по холмам и отделялись от них как дым. В тучах являлись беловатые облики. Свирепый ветер с моря ревел, производя шум, похожий на то, будто передвигают мебель. Предметы принимали какие-то страшные образы.

Холод пронизывал его насквозь. Он ничего не ел со вчерашнего вечера. Смутно припомнил он другое ночное путешествие по большой равнине в окрестностях Диня восемь лет тому назад. Ему казалось, что это было вчера.

Пробили часы на какой-то отдаленной колокольне.

— Который это час? — спросил он почтальона.

— Семь часов. В восемь мы будем в Аррасе. Нам осталось всего три мили.

В эту минуту ему пришла в голову мысль — и показалось при этом странным, как она не приходила ему раньше: что, быть может, все его усилия, все старания напрасны; что он даже в точности не знает, в котором часу назначен процесс, — следовало, по крайней мере, об этом справиться; нелепо так ехать наобум, не зная, будет ли в том какая-нибудь польза. Он сообразил, что обыкновенно заседания суда начинаются в 9 часов утра, к тому же дело Шанматье недолго затянется; кража яблок — с этим скоро покончат, а потом останется только вопрос об удостоверении личности; четыре, пять показаний, адвокаты скажут несколько слов — и он, наверное, приедет, когда уже все кончится!

Почтальон погонял лошадей. Они переправились через реку и оставили позади Мон-Сент-Элуа.

Мрак ночи сгущался все более и более.

Глава 60

Между тем в это самое время Фантина была еще очень счастлива. Ночь перед тем она провела очень дурно — страшный кашель, усилившаяся лихорадка, видения. Утром, когда пришел доктор, она лежала в бреду. Он был очень встревожен и попросил дать ему знать, когда придет господин Мадлен.

Все утро она была сумрачная, говорила мало, складывала складки на простыне и шептала какие-то вычисления расстояний. Глаза ее ввалились и неподвижно смотрели в одну точку. Они казались совсем потухшими, но минутами вдруг вспыхивали и сияли, как звезды.

Каждый раз, как сестра Симплиция спрашивала ее, как она себя чувствует, она неизменно отвечала: «Хорошо. Мне хотелось бы видеть господина Мадлена».

Несколько месяцев тому назад, в тот момент, тогда Фантина утратила последний стыд и последнюю радость, она уже была тенью самой

себя; теперь она была призраком. Физическая болезнь довершила работу болезни нравственной. У этого двадцатипятилетнего существа лоб был весь в морщинах, щеки поблекли, нос заострился, зубы расшатались, цвет кожи землистый, шея костлявая с выступающими ключицами, члены хилые, а белокурые волосы росли вперемежку с седыми. Увы! Как болезнь иногда импровизирует старость!

В полдень доктор пришел во второй раз, сделал несколько распоряжений, осведомился, не приходил ли господин мэр в больницу, и покачал головой.

Господин Мадлен обыкновенно приходил в три часа навещать больную. Так как аккуратность есть принадлежность доброты, то он был аккуратен.

Около половины третьего Фантина начала волноваться. В течение каких-нибудь двадцати минут она раз десять спросила монахиню:

— Сестра, который час?

Пробило три часа. При третьем ударе Фантина приподнялась и села на постели — она, которая обыкновенно едва в силах была шевельнуться. Судорожно сжала она свои руки, исхудалые и желтые, и монахиня услышала тяжкий вздох, вырвавшийся из ее груди. Фантина обернулась и взглянула на дверь.

Но никто не вошел, дверь была заперта.

Она оставалась в таком положении около четверти часа, с глазами, устремленными на дверь, неподвижная, словно задерживая дыханье. Сестра не решилась заговорить с ней. Церковные часы пробили три четверти четвертого. Голова Фантины упала на подушки.

Она не сказала ни слова и опять принялась делать складки на простыне.

Прошло еще полчаса, никто не приходил: каждый раз, как били часы, Фантина приподнималась и бросала взгляд в сторону двери, потом опять падала на подушки.

Можно было ясно понять ее мысль, но она не промолвила ни слова и не жаловалась, не упрекала его. Она только кашляла раздирающим образом. Словно что-то страшное опускалось над нею. Она была бледна, как смерть, с посиневшими губами. Порою она улыбалась.

Пробило пять часов. Тогда сестра услышала, как она прошептала тихим голосом:

— Ведь я завтра уезжаю — почему же он не пришел сегодня?

Сестра Симплиция сама удивлялась, почему господин Мадлен так запоздал. Между тем Фантина глядела вверх на полог своей постели. Она как будто что-то припоминала, и вдруг запела голосом слабым, как дуновенье. Монахиня стала прислушиваться. Вот что пела Фантина:

Чудесных вещей мы накупим, гуляя

По тихим предместьям в воскресный денек.

Ах, красная роза, кровинка родная,

Ах, красная роза, мой синь-василек!

Вчера мне Пречистая Дева предстала, —

Стоит возле печки в плаще золотом

И молвит мне: «Ты о ребенке мечтала, —

Я дочку тебе принесла под плащом».

— Люси, мы забыли купить одеяло,

Беги за иголкой, за ниткой, холстом.

Чудесных вещей мы накупим, гуляя

По тихим предместьям в воскресный денек.

«Пречистая, вот колыбель, поджидая,

Стоит в уголке за кроватью моей.

Найдется ль у Бога звезда золотая.

Моей ненаглядной дочурки светлей?»

— Хозяйка, что делать с холстом? — Дорогая,

Садись, для малютки приданое шей.

Ах, красная роза, кровинка родная,

Ах, красная роза, мой синь-василек!

— Ты холст постирай. — Где же? — В речке прохладной.

Не пачкай, не порть, — сядь у печки с иглой

И юбочку сделай да лифчик нарядный,

А я на нем вышью цветок голубой. —

— О горе! Не стало твоей ненаглядной!

Что делать? — Мне саван готовь гробовой.

Чудесных вещей мы накупим, гуляя

По тихим предместьям в воскресный денек.

Ах, красная роза, кровинка родная,

Ах, красная роза, мой синь-василек!..

Фантина пела старинную колыбельную песню, которой когда-то убаюкивала свою маленькую Козетту и о которой не вспоминала целых пять лет, с тех пор, как рассталась с ребенком. Пела она голосом таким грустным и на такой печальный напев, что, слушая ее, хотелось плакать даже монахине. Сестра, привыкшая ко всему, почувствовала слезы на глазах.

Пробило шесть часов, Фантина как будто не слышала. Она перестала обращать внимание на то, что делалось вокруг.

Сестра Симплиция послала служанку осведомиться у привратницы фабрики, не приехал ли господин мэр и скоро ли он зайдет в больницу. Девушка вернулась через несколько минут.

Фантина продолжала оставаться неподвижной и, по-видимому, погруженной в свои собственные мысли.

Служанка тихо рассказала сестре Симплиции, что господин мэр уехал сегодня рано утром до шести часов в маленьком тильбюри, запряженном белой лошадкой — ив такой-то холодище! — уехал он один-одинешенек, даже без кучера; никто не знает, по какой дороге он отправился; некоторые говорят, что он повернул по дороге в Аррас, другие встретили его на пути в Париж. Уезжая, он, по обыкновению, был очень кроток и спокоен; сказал только привратнице, чтобы его не ждали нынче ночью.

В то время как обе женщины, повернувшись спиной к постели Фантины, шептались между собой, Фантина с такой лихорадочной живостью,

которая свойственна некоторым органическим страданиям, когда организм борется со смертью, встала на колени на постели; судорожно сжатые кулаки ее опирались на изголовье, голова просунулась в отверстие полога: она прислушивалась и вдруг закричала:

— Вы говорите о господине Мадлене! Почему вы шепчетесь? Что с ним? Почему он не приходит?

Голос ее был такой резкий, такой дикий, что женщинам почудилось, будто это мужской голос; они обернулись в испуге.

— Отчего же?! — воскликнула Фантина.

Служанка пробормотала:

— Привратница сказала мне, что он не может прийти сегодня.

— Дитя мое, — вмешалась сестра, — успокойтесь, ложитесь…

Фантина, не изменяя позы, закричала громким голосом, с выражением в то же время повелительным и раздирающим душу:

— Он не может прийти? Почему? Вы знаете причину. Вы только что шептались об этом. Я хочу все знать.

Служанка поспешила шепнуть на ухо монахине:

— Скажите, что он занят в муниципальном совете.

Сестра Симплиция слегка покраснела; служанка предлагала ей ложь. С другой стороны, сказать больной правду значило бы нанести ей жестокий удар, а это было опасно в положении Фантины. Но краска скоро сбежала с ее лица. Сестра подняла на Фантину свой спокойный и грустный взор:

— Господин мэр уехал.

Фантина присела на корточки. Глаза ее засверкали. Несказанная радость озарила это страдальческое лицо.

— Уехал! — воскликнула она. — Наверное, за Козеттой!

Она подняла обе руки к небу, и лицо ее приняло какое-то блаженное выражение. Губы ее шевелились: она шептала молитву. Окончив молиться, она сказала:

— Сестрица, я хочу лечь опять как следует; я сделаю все, чего от меня требуют; я была злая; простите меня, что я так громко кричала; я знаю, что очень дурно так кричать; я все это знаю, добрая сестрица, — Но видите ли, я уж очень была рада!.. Бог милостив; господин Мадлен — тоже такой добрый! Представьте, ведь он поехал сам в Монфермейль за моей Козеттой.

Она улеглась, сама помогла монахине устроить подушки и приложилась к маленькому серебряному крестику, подаренному ей сестрой Симплицией.

— Дитя мое, — сказала сестра, — постарайтесь теперь успокоиться и не разговаривайте больше.

Фантина схватила руку сестры в свои влажные руки.

— Он уехал сегодня утром в Париж. В сущности, ему даже нет надобности проезжать через Париж. Монфермейль немножко левее. Помните, вчера, когда я говорила ему о Козетте, он сказал: «Скоро! Скоро!» Он готовит мне сюрприз! Знаете что? Он заставил меня подписать письмо, чтобы взять мою девочку от этих Тенардье. Ведь они ничего не могут возразить, не правда ли? Им заплатили за все. Власти не потерпят, чтобы они завладели чужим ребенком! Сестрица, не делайте мне знаков, чтобы я молчала. Я необыкновенно счастлива, я совсем здорова, теперь у меня больше ничего не болит. Скоро, скоро увижусь с Козеттой. Я даже очень голодна теперь. Вот уже почти пять лет, как я с ней не виделась. Вы представить себе не можете, как близки к сердцу эти ребятишки! А какая она будет умница — вот увидите! И если бы вы знали, какие у нее хорошенькие розовые пальчики! У нее будут очень красивые руки. Когда ей был год, у нее были такие уморительные ручонки! Теперь она, должно быть, большая выросла. Семь лет — совсем взрослая девица. Я

зову ее Козеттой, а на самом деле ее зовут Эфрази. Господи, как, право, дурно не видеть своих детей по целым годам! Надо только подумать, что жизнь ведь не вечная! Какой, право, господин мэр добрый, что уехал за ней! Правда ли, что такой холод на дворе? Надел ли он по крайней мере свой плащ? Завтра он уже будет здесь, не так ли? Завтра, кажется, праздник. Напомните мне утром, сестрица, надеть мой чепчик, что с кружевом. Я тогда шла пешком в Монфермейль — мне очень далеко показалось. Но дилижансы быстро ходят! Завтра он непременно будет здесь с Козеттой. Сколько отсюда до Монфермейля?

Сестра, не имевшая никакого понятия о расстояниях, отвечала:

— О, наверное, он завтра же вернется.

— Завтра, завтра! — восклицала Фантина. — Завтра я увижу Козетту. Вот видите, добрая сестрица, я уже совсем не больна. Я с ума схожу, я плясать пойду, если угодно!

Кто видел ее четверть часа тому назад, ничего не мог бы понять. Теперь она была вся розовая, говорила ровным естественным голосом — все лицо ее сияло улыбкой. Порою она усмехалась и что-то тихо говорила про себя. Материнская радость — детская радость.

— Ну, теперь вы счастливы, — говорила монахиня, — послушайте меня, не говорите больше.

Фантина опустила голову на подушку и промолвила тихим голосом:

— Да ложись, Фантина, будь паинька — тебе ведь возвращают твоего ребенка. Сестра Симплиция права. Здесь все правы.

И, не двигаясь, не поворачивая даже головы, она стала осматривать комнату широко раскрытыми, веселыми глазами — и не сказала больше ни слова.

Сестра задернула полог, в надежде, что она задремлет.

Между семью и восемью часами опять пришел доктор. Не слыша ни звука, он думал, что Фантина спит, и на цыпочках подошел к ее кровати. Он отдернул занавес и при свете ночника увидел устремленные на него большие глаза Фантины.

— Не правда ли, доктор, — сказала она ему, — мне позволят положить ее рядом со мной в маленькой кроватке?

Доктор думал, что она бредит. Но она продолжала:

— Посмотрите-ка, тут как раз есть местечко.

Доктор отвел в сторону сестру Симплицию, которая все объяснила ему: господин Мадлен уехал дня на два или на три, и не решились разубеждать больную, которая уверена, что господин мэр уехал в Монфермейль; быть может, впрочем, она и верно отгадала. Доктор одобрил сестру.

Он приблизился к постели Фантины.

— Вот видите ли, — говорила она, — утром, когда моя бедная девочка проснется, я с ней тотчас поздороваюсь, а ночью, когда мне не спится, буду смотреть, как она спит. Ее дыхание, такое тихое и сладкое, принесет мне облегчение.

— Дайте мне вашу руку, — сказал доктор. Она протянула руку и воскликнула смеясь:

— Ах, правда, вы ведь еще не знаете, что я выздоровела. Козетта завтра приезжает.

Доктор был поражен. Ей было гораздо лучше. Одышка уменьшилась. Пульс стал полнее. Прилив новой жизни вдруг оживил это бедное истощенное существо.

— Доктор, — промолвила она, — сестра ведь сказала вам, что господин мэр поехал за моей крошкой?

Доктор приказал соблюдать спокойствие и избегать всякого неприятного возбуждения. На случай если лихорадочное состояние усилится ночью, он прописал успокоительное питье. Он ушел, сказав сестре: «Ей гораздо лучше. Если, по

счастью, господин мэр в самом деле приедет завтра с ребенком, тогда кто знает?.. Бывают такие удивительные кризисы! Случалось, что великие радости вдруг останавливали ход тяжких болезней; правда, у нее болезнь органическая и очень сильно развившаяся, но все это такая тайна! Быть может, мы еще спасем ее».

Глава 61

Было около восьми часов вечера, когда таратайка, которую мы оставили на дороге, въезжала под ворота почтового отеля в Аррасе. Путешественник сошел с кабриолета, рассеянно ответил на заискивающие расспросы трактирной прислуги, отправил назад взятую им запасную лошадь и сам отвел в конюшню свою белую лошадку; потом вошел в бильярдную, помещавшуюся на нижнем этаже. Четырнадцать часов он употребил на это путешествие, которое рассчитывал сделать в шесть часов. Он сознавал, что это была не его вина, но, в сущности, он был рад.

Вышла хозяйка гостиницы.

— Угодно вам переночевать здесь? Желаете ужинать?

Он отрицательно покачал головой.

— Конюх говорит, что ваша лошадь очень замучена.

Он наконец нарушил молчание:

— Может ли лошадь ехать обратно завтра утром?

— О, как можно, сударь, ей надо отдохнуть по крайней мере дня два.

— Не здесь ли помещается почтовая контора? — спросил он.

— Да-с.

Трактирщица повела его в контору; он предъявил свой паспорт и осведомился, нет ли возможности вернуться в ту же ночь в Монрейль в особой карете. Место возле кучера было как раз не занято. Он оставил его за собой и заплатил сколько полагалось.

Сделав все это, он вышел из гостиницы и отправился бродить по городу. Он совсем не знал Арраса; улицы были неосвещены, он шел наобум. Между тем он упорно не спрашивал у прохожих, куда идти. Миновав маленькую речку Криншон, он очутился в лабиринте узких улиц и заблудился. Какой-то буржуа с фонариком попался ему по дороге. После некоторого колебания он решился обратиться к этому буржуа, предварительно оглянувшись вокруг, словно боялся, чтобы кто-нибудь не услышал его вопроса.

— Позвольте узнать, где помещается суд?

— Вы, верно, не здешний, сударь, — отвечал буржуа, оказавшийся стариком, — в таком случае идите за мной. Я как раз иду в ту сторону, то есть к префектуре; в настоящее время здание суда ремонтируется, и пока судебные заседания происходят в префектуре.

— Вероятно, там помещается суд?

— Конечно, там; вот, видите ли, нынешнее здание префектуры было до революции

резиденцией епископов. Господин Конзие, который был епископом в 91 году, велел построить там большой зал. В этом-то зале и судят.

Дорогой буржуа продолжал болтать.

— Если вы желаете присутствовать на процессе, то теперь уже поздно. Обыкновенно заседания кончаются в шесть часов.

Между тем они вышли на большую площадь, и буржуа показал ему четыре длинных освещенных окна на фасаде громадного мрачного здания.

— Ну-с, вам везет, вы пришли как раз вовремя. Видите эти четыре окна? Это зал суда. Там до сих пор свет. Значит, еще не кончилось. Дело, должно быть, затянулось, и назначили вечернее заседание. Вы интересуетесь этим делом? Уголовный процесс, должно быть? Уж не вызваны ли вы свидетелем?

— Я не по этому делу, — отвечал он, — мне надо только поговорить с одним адвокатом.

— А, это другое дело. Вот входная дверь, там, где часовой. Вам надо будет подняться по большой лестнице.

Он последовал указаниям буржуа и через несколько минут вошел в зал, полный народу; тут и там адвокаты в мантиях стояли группами и шептались между собой.

Всегда тоскливо видеть эти сборища людей, одетых в черное, шепчущихся у входа в зал суда. Редко случается, чтобы эти речи были проникнуты состраданием и милосердием. Чаще всего это приговоры, составленные заранее. Эти группы в глазах наблюдателя являются какими-то мрачными ульями, в которых жужжащие мухи созидают сообща разные темные дела.

Зал, просторный и освещенный единственной лампой, был прежним залом епископского дома. Двустворчатая дверь, в ту минуту запертая, отделяла его от большой комнаты, где заседал суд.

Там царствовала такая тьма, что он не побоялся обратиться к первому встречному

адвокату.

— Скажите, пожалуйста, скоро конец?

— Уже кончилось, — отвечал адвокат.

— Кончилось!

Слово это было произнесено с таким выражением, что адвокат обернулся.

— Извините, вы, может быть, родственник?

— Нет. Я никого здесь не знаю. Скажите, уже произнесен обвинительный приговор?

— Без сомнения. Иначе и быть не могло.

— К каторжным работам?..

— Да, пожизненно.

Он промолвил слабым, едва слышным голосом:

— Значит, тождественность личности доказана?

— Какая тождественность? Этого вовсе и не требовалось. Дело было очень несложное. Эта женщина убила своего ребенка; детоубийство

доказано, присяжные установили преднамеренность преступления, и ее приговорили к пожизненной каторге.

— Разве это была женщина?..

— Конечно, женщина, прозванная Лимозеной. О чем же вы говорите?

— Так, ни о чем; но если все кончено, почему же зала до сих пор освещена?

— Ах, это для другого дела, начатого часа два тому назад.

— Какого дела?

— О, и это достаточно ясно. Тут какой-то мошенник, рецидивист, каторжник попался на воровстве. Имени его я не помню. Вот еще молодец с разбойничьей рожей! Ради одной этой физиономии я упек бы его на галеры.

— Есть ли возможность попасть в зал?

— Право, не думаю. Народу слишком много. Теперь перерыв заседания. Некоторые вышли, но

когда опять начнется заседание, можно будет попробовать.

— Откуда входят?

— В главную дверь.

Адвокат оставил его. В эти несколько минут он испытал почти одновременно всевозможные ощущения. Слова этого равнодушного постороннего человека попеременно пронзали его сердце то ледяными иглами, то огненными стрелами. Когда он узнал, что дело еще не окончилось, он вздохнул, но не мог бы дать себе отчета, что именно он чувствовал — радость или горе.

Он подходил к разным группам и прислушивался, что говорят. Так как этой сессии предстояло много работы, то председатель назначил на один день два коротких несложных дела. Начали с детоубийства, а теперь принялись за каторжника-рецидивиста. Человек этот воровал яблоки, но это не было вполне доказано; доказано одно — что он был на тулонских галерах. Это-то и портило все его дело. Впрочем,

допрос подсудимого уже кончился, точно так же, как и свидетельские показания; оставались еще речи адвоката и прокурора; но раньше полуночи дело все-таки не могло кончиться. Этого человека, наверное, осудят, прокурор был способный — он не выпускал из лап своих клиентов; это был умный малый, мастер сочинять стихи.

Пристав стоял у двери, ведущей к зале заседаний.

Он обратился к приставу с вопросом:

— Скоро ли отворят дверь?

— Ее вовсе не отворят, — отвечал тот.

— Как! Неужели не отворят, когда возобновится заседание? Разве теперь не перерыв?

— Заседание только что началось, но дверь не отопрут.

— Почему же?

— Потому что зал полон.

— Неужели же не найдется ни одного местечка?

— Ни единого. Дверь заперта, и теперь не пропустят ни души. Впрочем, есть еще два-три места за председательским креслом, но господин председатель допускает туда только должностных лиц.

С этими словами пристав повернулся к нему спиной.

Он отошел с поникшей головой, прошел по прихожей и сошел с лестницы медленно, словно колеблясь на каждой ступени. Он, очевидно, советовался с самим собой. Жестокая борьба, происходившая в нем уже целые сутки, еще не окончилась; каждую минуту он подвергался какой-нибудь новой ее перипетии. Дойдя до площадки лестницы, он оперся на перила и скрестил руки. Вдруг он расстегнул сюртук, вынул бумажник и при свете фонаря быстро набросал на листке одну строку: «Господин Мадлен, мэр города Монрейль», потом снова поднялся по лестнице, рассек толпу и, подойдя

прямо к приставу, подал ему записку, сказав властным, повелительным голосом:

— Передайте господину председателю.

Пристав взял листок, бросил на него взгляд и повиновался.

Глава 62

Сам того не подозревая, мэр города Монрейль был своего рода знаменитостью. Вот уже семь лет, как слава его добродетели гремела по всему Нижнему Булоннэ; наконец она распространилась за границы его и пронеслась по двум-трем соседним департаментам. Помимо громадной услуги, принесенной им главному городу округа, благодаря восстановлению стеклярусной промышленности — не было ни одной в числе ста сорока одной общины округа Монрейля, которая не была бы обязана ему каким-нибудь благодеянием. Он сумел даже при случае помогать и расширять промышленности других округов. Так, он поддержал своим

кредитом и капиталами булонскую тюлевую фабрику, механическую пряжу льна в Фреване и гидравлическую полотняную мануфактуру в Бубер-на-Канше. Повсюду имя господина Мадлена произносилось с глубоким уважением. Аррас и Дуэ завидовали маленькому городку Монрейль.

Член королевского суда в Дуэ, исполнявший должность председателя на этой сессии суда в Аррасе, знал, как и все прочие, это имя, пользующееся таким глубоким и всеобщим уважением. Когда пристав, осторожно приотворив дверь, нагнулся к председателю и подал ему листок с написанной на нем единственной строкой, председатель сделал быстрое движение, схватил перо, написал несколько слов внизу на той же бумаге и подал ее приставу, сказав:

— Просите войти.

Несчастный человек, историю которого мы рассказываем, продолжал стоять у дверей зала на том же месте и в той же позе. Как сквозь сон

слышал он обращенные к нему слова: «Не угодно ли вам сделать мне честь следовать за мной?» Это был тот же самый пристав, который не далее как за минуту повернулся к нему спиной — теперь он кланялся ему чуть не до земли. В то же время пристав передал ему записку. Он развернул ее, и так как поблизости была лампа, то мог прочесть: «Председатель суда свидетельствует почтение господину Мадлену».

Он скомкал бумагу в руках, как будто слова эти имели для него какое-то странное, горькое значение. Он пошел вслед за приставом.

Несколько минут спустя он очутился один в каком-то кабинете строгого характера, освещенном двумя свечами, стоящими на столе, покрытом зеленым сукном. У него еще звучали в ушах последние слова пристава, перед тем как он уходил: «Вы находитесь, милостивый государь, в совещательной комнате; вам стоит только нажать медную ручку у этой двери, и вы очутитесь в зале заседания позади председательского кресла». Слова эти путались в его голове со смутным

воспоминанием об узких коридорах и темных лестницах, по которым он только что проходил.

Пристав оставил его одного. Он силился сосредоточиться, но не мог. Как раз в такие моменты, когда всего необходимее остановить мысли на какой-нибудь горькой действительности жизни, все нити их обрываются в мозгу. И вот он находился в том самом месте, где судьи совещаются и осуждают. С тупым равнодушием рассматривал он эту тихую, но грозную комнату, где разбивалось столько жизней, где сейчас прозвучит его имя, где решится его судьба. Он оглядел стены, оглядел самого себя, дивясь тому, что он в этой комнате.

Он ничего не ел целых двадцать четыре часа; он был весь разбит тряской таратайки; но он этого не чувствовал; ему казалось, что он ровно ничего не чувствует.

Он подошел к черной рамке, висевшей на стене и содержащей под стеклом старый автограф Жана Никола Паша, парижского мэра и министра, помеченный, вероятно, ошибочно, 9 июня 1790

года; в этом письме Паш посылает коммуне список министров и депутатов, содержащихся у них под арестом. Посторонний свидетель, который наблюдал бы за ним в эту минуту, вероятно, вообразил бы, что он находит это письмо очень любопытным, потому что он не отрывал от него глаз и прочел его два-три раза подряд. Он читал машинально, не понимая ни слова. Он думал в это время о Фантине и Козетте.

Среди задумчивости он обернулся, и глаза его остановились на медной ручке двери, отделявшей его от зала заседаний. Он почти позабыл об этой двери. Взор его, сначала спокойный, устремился на эту дверную ручку; потом глаза его приняли растерянное выражение, и, наконец, в них отразился ужас. Капли пота выступали у него на лбу и струились по вискам.

Была минута, когда у него вырвался неуловимый, непокорный жест, который означает и так верно передает слова: «Вот еще! Кто меня заставляет?» Потом он с живостью обернулся, увидел перед собой ту дверь, в которую вошел,

отворил ее и вышел. Он уже не был в той комнате, он вырвался из нее. Он был в коридоре, длинном, узком, перерезанном ступенями и форточками, в коридоре, то и дело образующем углы и освещенном тут и там фонарями, похожими на больничные ночники; по этому самому коридору он пришел. Он вздохнул, прислушался — ни звука ни позади, ни впереди; тогда он пустился бежать, точно за ним гонятся.

Сделав несколько поворотов в коридоре, он опять насторожил уши. Все то же безмолвие, все тот же мрак. Он задыхался, едва стоял на ногах и прислонился к стене. Камень был холоден; ледяной пот покрывал его лоб. Он выпрямился, дрожа всем телом.

И вот, стоя один в этом мраке, дрожа от холода и, быть может, от других страшных ощущений, он стал размышлять.

Он размышлял уже целую ночь, размышлял целый день; теперь ему слышался внутренний голос, говоривший ему: увы!

Так прошло четверть часа. Наконец он поник головой, вздохнул с глубокой мукой, опустил руки и вернулся. Он шел тихими шагами, удрученный, точно его поймали в бегстве и приводили назад.

Он вернулся в совещательную комнату. Первое, что бросилось ему в глаза, была дверная ручка. Эта круглая ручка из полированной меди сияла в его глазах, как страшная звезда. Он смотрел на нее, как овца смотрит на тигра, смотрел и не в состоянии был оторвать глаз. Время от времени он делал шаг вперед и все приближался к двери. Если бы он прислушивался, до него донесся бы смутный гул из соседней залы; но он не слушал. Вдруг, сам не зная как, он очутился около самой двери, судорожно ухватился за ручку — дверь отворилась. Он был в зале заседания.

Глава 63

Он сделал шаг вперед, машинально притворил за собой дверь и, стоя, глядел на зрелище,

представившееся его глазам.

Перед ним было обширное, тускло освещенное помещение, в котором то стоял гул, то воцарялось безмолвие и где процедура уголовного процесса развивалась среди толпы со своей угрюмой важностью.

В конце зала около него восседали судьи с рассеянным видом, в потертых мантиях, грызя ногти или жмуря глаза; на другом конце — толпа в рубищах; адвокаты в разных позах; солдаты с честными суровыми лицами; по стенам старые запачканные обои, грязный потолок, столы, покрытые изжелта-зеленой саржей; двери, захватанные руками; на гвоздях, вбитых в стены, трактирные кенкеты, доставляющие больше копоти, чем света; на столах свечи в медных подсвечниках, — всюду мрак, безобразие, печаль; и от всего этого веяло каким-то суровым, величественным впечатлением, во всем чувствовалась великая человеческая сила, называемая законом, и великая божественная сила, называемая правосудием.

Никто в толпе не обратил на него внимания. Все взоры сосредоточивались на одном месте, на деревянной скамье, прислоненной к небольшой дверце, вдоль стены по левую сторону председателя. На этой скамье сидел человек между двух жандармов.

Человек этот был «он».

Он не искал его, но увидел сейчас же. Глаза его устремились на него сами, как будто заранее угадали, где найти это лицо.

Он словно видел самого себя состарившимся; конечно, лицо было не совсем такое, как у него, но общий вид и действия те же самые: те же всклокоченные волосы, те же дикие беспокойные глаза, — словом, точь-в-точь, каким он был в тот день, когда пришел в Динь, полный ненависти, озлобления, скрывая в своей душе страшное скопище дурных помыслов, которые он девятнадцать лет собирал на каторге.

«Боже мой, — подумал он, — неужели я опять стану таким?»

Существу этому на вид было по крайней мере шестьдесят лет. В нем было что-то грубое, тупое, забитое.

При скрипе отворяющейся двери некоторые лица посторонились, чтобы пропустить господина Мадлена; председатель обернулся и, поняв, что входивший человек, должно быть, мэр города Монрейля, поклонился ему. Прокурор, не раз встречавший его в Монрейле, куда призывали его дела службы, узнал его и тоже поклонился. Но он почти не заметил этих поклонов. Он был жертвой какой-то галлюцинации и смотрел широко раскрытыми глазами.

Судьи, протоколист, жандармы, толпа жестоко любопытных голов, — все это он видел уже однажды, двадцать семь лет тому назад. Теперь опять предстали перед ними эти роковые предметы; они были тут, двигались, существовали; то было уже не усилие его памяти, не мираж его мысли — а настоящие жандармы, настоящие судьи, настоящая толпа — люди во плоти. Свершилось! — он видел, как перед ним

оживали с ужасной реальностью чудовищные образы его прошлого.

Вся эта бездна разверзлась и зияла перед ним.

Он устрашился, закрыл глаза и воскликнул в глубине души: «Никогда!»

В силу трагического стечения обстоятельств, заставлявшего его мысли путаться и чуть не сводившего его с ума, — тут перед ним был он сам. Этого человека, которого судили, все называли Жаном Вальжаном!

Перед глазами его было чудовищное видение, самое ужасное в его жизни, причем его роль исполнялась собственным призраком. Все было по-старому: та же обстановка, те же лица судей и зрителей. Только над головой председателя висело распятие — чего не было в те времена, когда он был осужден. Когда его судили, Бог отсутствовал.

Позади стоял стул; он опустился на него, страшась, чтобы его не увидели. Он воспользовался картонами, стоявшими на столе

судей, чтобы скрыть лицо свое от публики. Теперь он мог все видеть незамеченный. Он вполне вернулся к сознанию действительности; мало-помалу он оправился. Он вошел в ту фазу спокойствия, когда человек способен слушать.

В числе присяжных заседателей был господин Баматабуа. Мадлен искал глазами Жавера, но не нашел его. Скамья свидетелей была заслонена от него столом протоколиста. Да и к тому же зал был слабо освещен.

В ту минуту, когда он вошел, защитник подсудимого закончил свою речь. Всеобщее внимание было возбуждено до крайности; дело продолжалось уже три часа. Целых три часа эта толпа наблюдала, как погибал под бременем страшного стечения обстоятельств этот человек, этот неизвестный, это жалкое существо, или совсем тупоумное, или дьявольски искусное. Человек этот, как известно, был бродяга, пойманный где-то в поле с веткой спелых яблок, сломанной у яблони соседнего огорода Пьеррона. Кто был этот человек? Произведено было

следствие, выслушаны свидетельские показания, прения пролили свет на все дело. В обвинении говорилось: «Мы имеем дело не только с вором яблок или простым мародером, — в руках ваших — разбойник, бывший каторжник, мошенник самого опасного свойства, злодей по имени Жан Вальжан, которого правосудие давно разыскивает и который восемь лет тому назад, вырвавшись с тулонских галер, совершил ограбление вооруженной Рукой на большой дороге над личностью малолетнего савояра Жервэ — преступление, предусмотренное в статье 383 уголовного кодекса, за которое мы намерены преследовать его, когда тождественность личности будет установлена законным путем. Он совершил новую кражу. Это рецидив. Приговорите его за это новое деяние, позднее он будет судим за прежнее преступление». Ввиду этого обвинения, ввиду единогласных свидетельских показаний, обвиняемый казался удивленным. Он или делал отрицательные жесты, или рассматривал потолок. Он говорил с трудом, отвечал смущенно, но с

головы до ног вся фигура его выражала отрицание. Он был как идиот перед всеми этими умниками, выстроившимися рядами для боя, и как чужой среди этого общества, поглощавшего его. Между тем ему предстояло страшное будущее, правдоподобность чего возрастала с каждой минутой; но даже толпа с большим волнением, нежели он сам, ожидала этого ужасного приговора, все ближе и ближе нависавшего над его головой; можно было даже предвидеть кроме каторги смертную казнь, если тождественность личности будет установлена и если дело савояра затем окончится обвинительным приговором. Что это за человек? Какого свойства его апатия? Что это такое — хитрость или тупоумие? Понимал ли он все или не понимал ровно ничего? Вот вопросы, волновавшие толпу и, по-видимому делившие присяжных на два лагеря. В этом процессе было что-то странное и вместе с тем загадочное; драма была не только ужасная, но и темная.

Защитник произнес довольно хорошую речь на том провинциальном языке, который долго

составлял необходимую принадлежность судейского красноречия и которым в былое время злоупотребляли одинаково все адвокаты — и парижские, и провинциальные; теперь на нем говорят разве только официальные ораторы судебного ведомства; он подходит им своей напыщенной трескучей важностью: это язык, на котором муж называется супругом, жена — супругой, Париж — центром искусств и цивилизации, король — монархом, прокурор — красноречивым представителем обвинительной власти, век Людовика XIV — великим веком, театр — храмом Мельпомены, концерт — музыкальным торжеством, начальник войск в департаменте — славным воином, семинаристы — левитами, газетные ошибки — ядом, распространяемым на столбцах сих органов. Адвокат начал с того, что объяснился насчет кражи яблок, — что довольно трудно было сделать выспренним слогом; но сам Боссюэ вынужден был среди надгробной речи намекнуть на курицу и выпутался из этого затруднения с помпой. Адвокат утверждал, что кража яблок не

была материально доказана. Никто не видел, как его клиент, которого он, в качестве защитника, упорно называл Шанматье, карабкался на забор или ломал ветку (адвокат охотнее сказал бы ветвь); подсудимый уверен, что он нашел ее на земле и поднял. Где же доказательство противного? Без сомнения, эта ветка была сломана и украдена, а потом брошена за забор испугавшимся мародером; без сомнения, тут был вор. Но что же доказывало, что этот вор был именно Шанматье? Один только пункт: а именно его звание бывшего каторжника. Адвокат не отрицал, что, к несчастью, этот факт почти констатирован; подсудимый проживал в Фавероле; он был там дровосеком; имя Шанматье могло первоначально быть Жан Матье, все это правда; наконец, четыре свидетеля безусловно, не колеблясь, признавали Шанматье каторжником Жаном Вальжаном. Всем этим доказательствам, всем этим уликам адвокат мог противопоставить только отрицания своего клиента; но, предполагая, что это каторжник Жан Вальжан — разве это доказывало, что он воровал яблоки? То

была догадка, предположение — не более, а вовсе не доказательство. Правда, сам защитник сознавался, «по чувству справедливости», что подсудимый избрал плохую систему защиты.

Он упорно отрицал все — и воровство, и предположение, что он бывший каторжник. Сознание относительно этого последнего пункта было бы, конечно, гораздо благоприятнее и, без сомнения, склонило бы судей к снисходительности; защитник ему советовал сознаться, но обвиняемый отказался наотрез, надеясь, вероятно, спасти все, не сознавшись ни в чем. Конечно, это ошибка, но разве не следует принять во внимание ограниченность его ума? Очевидно, человек этот тупоумен. Долгие страдания на каторге, продолжительная нищета превратили его в идиота; он плохо защищался, но разве это причина, чтобы осудить его? Что касается истории с малышом Жервэ, то адвокат не брался обсуждать ее, так как она не входила в дело. Речь свою защитник заканчивал, умоляя присяжных и суд, если только тождественность Жана Вальжана казалась им несомненной —

применить к нему полицейские меры, которым подвергается осужденный вор, а не ту страшную кару, которая поражает каторжника-рецидивиста.

Прокурор отвечал защитнику. Он говорил горячо и цветисто, как обыкновенно говорят все прокуроры.

Он поблагодарил защитника за его «добросовестность» и притом искусно воспользовался этой добросовестностью. Он обратил против подсудимого уступки, сделанные его защитником. Адвокат, по-видимому, соглашался, что обвиняемый — Жан Вальжан. Прокурор принял это к сведению. Итак, человек этот не кто иной, как Жан Вальжан. Это было дознано обвинением и казалось неоспоримым. Здесь, благодаря искусной риторической фигуре, коснувшись источников и причин преступления, прокурор стал громить безнравственность романтической школы, тогда еще только нарождавшейся под названием сатанинской школы; он приписал с известной степенью вероятности влиянию этой развращенной

литературы преступление Шанматье, или, вернее, Жана Вальжана. Исчерпав эти соображения, он перешел к самому Жану Вальжану. Что такое Жан Вальжан? Характеристика его: чудовище, исчадие ада и т. д. Образцом для такого рода описаний служит рассказ Терамена, бесполезный для драмы, но оказывающий чуть не ежедневно большие услуги судебному красноречию. Публика и присяжные «содрогнулись». Окончив описание, прокурор с ораторским порывом, который на следующее утро должен был возбудить в высшей степени восторг полицейской газеты, воскликнул:

— И этот-то человек и прочие, и прочие, скиталец, бродяга, нищий, оез средств к существованию, привычный, по своей прошлой жизни, к преступным деяниям и мало исправленный своим пребыванием на каторге — как доказывает преступление, совершенное над малышом Жервэ, и прочие, и прочие, — такой-то человек, застигнутый на самом месте кражи с поличным, — отрицает преступление, кражу, перелезание через забор, отрицает все, даже

самое имя свое, свою собственную личность! Помимо множества улик, к которым мы не будем возвращаться, четыре свидетеля признали его — Жавер, честный инспектор полиции, и трое его бывших товарищей: Бреве, Кошпаль, Шенильдье. То же он противопоставляет этим подавляющим уликам? Отрицание. Какая черствость, какое ожесточение сердца! Вы удовлетворите правосудие, господа присяжные, и так далее.

В то время, когда говорил прокурор, подсудимый слушал с разинутым ртом, с удивлением, в котором проглядывало некоторое даже восхищение. Он, очевидно, был восхищен, как может человек так красиво говорить. Время от времени, в самых энергичных местах обвинительной речи, в те моменты, когда красноречие без удержу изливалось потоком уничтожающих эпитетов и окутывало подсудимого грозной тучей, он тихо качал головой направо и налево, — нечто вроде печального, безмолвного протеста, — этим он ограничивался с самого начала прений. Два-три раза зрители, помещавшиеся поближе от него,

слышали, как он бормотал: «Вот что значит не спросить господина Балу!» Прокурор дал заметить присяжным это идиотское поведение, очевидно рассчитанное и доказывавшее не тупоумие, а хитрость, коварство, привычку обманывать правосудие; такой образ действия свидетельствовал о глубокой испорченности этого человека. В заключение прокурор потребовал строгого приговора.

Как известно, приговор этот грозил каторжными работами пожизненно.

Поднялся защитник, начал с того, что поблагодарил господина прокурора за его превосходную речь, затем стал возражать, как мог; но он заметно ослабевал, почва ускользала из-под его ног.

Глава 64

Настал момент закрытия прений. Председатель велел подсудимому встать с места и обратился к нему с обычным вопросом:

— Имеете ли вы что-нибудь прибавить в свою защиту?

Он стоял, вертел в руках свою безобразную шапку и словно не слышал. Председатель повторил вопрос. На этот раз подсудимый услышал. Он как будто понял. Он сделал движение человека, пробуждающегося от сна, поставил свой чудовищный кулачище на перекладину перед скамьей и вдруг, устремив глаза на прокурора, принялся говорить. Это был какой-то поток бессвязных, беспорядочных, торопливых слов, которые как будто разом стремились вырваться из его губ.

— Вот что я имею сказать. Я был подмастерьем в Париже, доложу вам, у каретника Балу. Трудное это ремесло; работать приходится всегда на открытом воздухе во дворах, а у добрых хозяев под навесами в сараях, иногда в закрытых помещениях, потому, видите ли, что требуется простор. Зимой так бывает холодно, что приходится колотить рука об руку, чтоб согреться; но и этого хозяева не позволяют —

время, дескать, теряешь. Ковать железо, когда земля заледенела, — это не шутка. Человека как раз изведет. Еще молод, а уже стареешь. Сорок лет человеку — и совсем капут. Мне было пятьдесят три, и приходилось тошнехонько — право! Рабочие — народ все такой озорной! Как увидят, что человек уже не молод, они обзывают его то и дело старым псом да старым хрычом! Я зарабатывал всего по тридцать су в день, — платили мне как можно меньше, хозяева пользовались моими годами. Опять же, была у меня дочка в прачках, на речке. И она кое-что зарабатывала со своей стороны; на нас двоих хватало. Ей тоже не легко было. Весь день-деньской в воде чуть не по пояс, и в дождик, и в снег, и в ветер, который режет лицо, как ножом; морозит ли — все равно надо стирать; есть люди, у которых белья немного, и те не могут ждать; чуть зазеваешься, теряешь заказчиков. Доски плохо сколочены, и вода просачивается повсюду. Юбки все мокрые, холод так и пробирает. Стирала она тоже в прачечной, где вода течет из кранов. Моет перед собой под кранами, а позади

полощет в чанах. Это место закрытое, и не так холодно бывает. Только там стоит пар от кипятка, пар этот бедовый и губит глаза. Она возвращалась в семь часов вечера и ложилась сейчас же спать, так бывало умается. Муж бил ее; она теперь уж умерла. Мы не были счастливы. Славная она была девка, работящая, не любила рыскать по пирушкам. Помню я раз, как в последний день Масленой она легла спать в восемь часов. Вот и все. Я правду говорю. Спросите, коли угодно. Ах, да что я! Как я глуп! Париж ведь чистый омут. Кто знает дядю Шанматье? Впрочем, говорю вам, спросите у господина Балу. После этого я и не знаю, чего от меня хотят!

Человек умолк и продолжал стоять. Он произнес все это голосом громким, резким, хриплым и диким, с какой-то раздраженной, дикой наивностью. Одно мгновение он запнулся и кому-то поклонился в толпе. Все эти уверения, которые он наобум кидал перед собою, вылетали из его губ отрывисто, как икота, и он дополнял их жестами, похожими на жесты дровосека,

рубящего дрова. Когда он кончил, публика разразилась смехом. Он взглянул на публику; увидев, что смеются, и ничего не понимая, он сам рассмеялся.

Это было жалкое зрелище. Председатель, человек энергичный и добродушный, возвысил голос. Он напомнил господам присяжным, что мастер Балу, у которого будто бы служил обвиняемый, был вызван, но тщетно. Он обанкротился, и его нигде не могли отыскать. Потом, обратившись к обвиняемому, пригласил его выслушать то, что он ему скажет:

— Вы находитесь в положении, когда необходимо одуматься. Самые тяжкие обвинения тяготеют над вами и могут повлечь за собой серьезные последствия. Подсудимый, в ваших же интересах убеждаю вас, объяснитесь определенно по этим двум пунктам: во-первых, перелезали ли вы через забор огорода Пьеррона, сломали ли ветку и похитили ли яблоки? Во-вторых, вы ли бывший выпущенный на волю каторжник Жан Вальжан?

Подсудимый покачал головой, как умный человек, который все хорошо понял и знает, что отвечать. Он раскрыл рот, повернулся к председателю и произнес:

— Во-первых, прежде всего…

Потом поглядел на свою шапку, на потолок и замолчал.

— Подсудимый, — продолжал прокурор строгим тоном, — берегитесь. Вы не отвечаете ни на один вопрос, который вам задают. Ваше смущение выдает вас. Ясно, что ваше имя не Шанматье и что вы каторжник Жан Вальжан, скрывавшийся под именем своей матери — Матье, наконец, что вы были в Оверне, что вы родились в Фавероле и занимались рубкой леса. Очевидно, что вы воровали спелые яблоки в огороде Пьеррона, перебравшись через забор. Господа присяжные оценят ваши поступки.

Подсудимый между тем опять сел на свое место. Но когда прокурор кончил, он вдруг быстро вскочил и воскликнул:

— Экий вы злой какой! Вот что я хотел сказать, да не сразу сообразил. Я ничего не украл, я человек, которому жрать нечего. Я шел из Алдьи, после разлива, от которого вся местность пожелтела; лужи были переполнены везде, и из песка торчали маленькие клочки травы на окраине дороги; вот я вижу на земле ветку, на которой были яблоки: я поднял ветку, не зная, что наживу себе беду. Вот уже три месяца, как я в тюрьме сижу и меня таскают туда-сюда. Все против меня говорят, мне кричат: «Отвечай!» Жандарм, добрый малый, толкает меня под бок и говорит потихоньку: «Отвечай же». Я не умею объяснять, я ничему не обучен, я человек бедный. Этого-то никто не видит, и напрасно. Я не крал, я поднял с земли эти яблоки. Вот вы все твердите: Жан Вальжан, Жан Матье! Я этих людей не знаю. Должно быть, это крестьяне. Я работал у господина Балу на бульваре Опиталь. Меня зовут Шанматье. Вы вот догадливы и говорите мне, где я родился. А я сам этого не знаю. Не у всякого есть дом, где он появляется на свет, как все прочие люди. Это была бы уже чересчур большая

роскошь. Я думаю, что мой отец с матерью скитались по большим дорогам. Впрочем, не знаю точно. Когда я был ребенком, меня звали пострелом, теперь зовут старым хрычом. Вот мои прозвища. Понимайте, как хотите. Я был в Оверне, был в Фавероле. Так что же! Нельзя разве быть в Оверне или в Фавероле, не побывав на галерах. Говорю вам, я не крал, я дядя Шанматье. Проживал у господина Балу, и меня прописывали. Вы мне надоели с вашими глупостями, наконец! Отчего это все меня преследуют, как бешеные какие?

Прокурор все время не садился; он обратился к председателю:

— Господин председатель, ввиду смутных, но искусных отрицаний обвиняемого, который желает выставить себя идиотом, что ему, однако, не удастся, так мы его и предупреждаем, — мы просим вас и суд еще раз призвать сюда осужденных Бреве, Шенильдье, Кошпаля и инспектора полиции Жавера и подвергнуть их

вторичному допросу касательно тождественности обвиняемого с каторжником Жаном Вальжаном.

— Я позволю себе заметить господину прокурору, — сказал председатель, — что инспектор полиции Жавер, призванный обязанностями службы в соседний округ, покинул заседание и даже выехал из города после дачи показаний. Мы дали ему на это разрешение с вашего согласия, господин прокурор, и с согласия защитника обвиняемого.

— Это правда, господин председатель, — продолжал прокурор. — За отсутствием господина Жавера, я считаю долгом напомнить господам присяжным, что было сказано им несколько часов тому назад. Жавер — человек уважаемый, который своей строгой, непоколебимой честностью украшает должность невысокую, но важную. Вот приблизительно что он показал: «Я не нуждаюсь в тех нравственных и материальных доказательствах, которые опровергают отрицания обвиняемого. Я узнаю его. Человека этого не зовут Шанматье: это

бывший каторжник, очень злой и очень опасный, по имени Жан Вальжан. Его неохотно освободили по окончании срока. Он отбыл 19 лет каторжных работ за воровство. Пять или шесть раз он пробовал бежать. Кроме кражи у Жервэ и у Пьеррона, я подозреваю его еще в краже у его преосвященства покойного диньского епископа. Я часто видел его, когда был надзирателем на тулонских галерах. Повторяю, я узнал его».

Это заявление, такое точное и определенное, по-видимому, произвело живое впечатление на присяжных и на публику. Прокурор в заключительной речи настаивал, чтобы, за отсутствием Жавера, трое свидетелей, Бреве, Шенильдье и Кошпаль, были допрошены снова.

Председатель передал распоряжение приставу, и минуту спустя дверь комнаты для свидетелей растворилась. Пристав в сопровождении жандарма, готового оказать ему содействие силой, ввел осужденного Бреве. Публика была в волнении, все сердца усиленно трепетали.

Бывший каторжник Бреве был одет в куртку серую с черным, обычную одежду центральных тюрем. Бреве был человек лет шестидесяти, лицо у него было деловое и вместе с тем плутовское. Иногда одно другому не мешает. В тюрьму он попал за новые проступки, он сделался чем-то вроде сторожа. Начальство говорило о нем: «Он старается быть полезным». Тюремные священники свидетельствовали о его набожных правилах. Не надо забывать, что это происходило при Реставрации.

— Бреве, — обратился к нему председатель, — вы подверглись позорному осуждению и не можете быть приведены к присяге.

Бреве потупил глаза.

— Однако, — продолжал председатель, — даже и в человеке, униженном законом, может остаться, если угодно божественному милосердию, чувство чести и справедливости. К этому-то чувству я обращаюсь в этот решительный час. Если оно еще сохранилось в

вас, и я на это надеюсь, поразмыслите и, прежде чем отвечать мне, взгляните, с одной стороны, на этого человека, которого может погубить одно ваше слово, с другой стороны, на правосудие, которое слово ваше может просветить. Минута торжественная: всегда есть время поправиться, если вы думаете, что вы ошиблись. Подсудимый, встаньте! Бреве, хорошенько рассмотрите подсудимого, соберите свои воспоминания и скажите нам по чести и совести — продолжаете ли вы утверждать, что этот человек ваш старый товарищ по каторге, Жан Вальжан?

Бреве оглядел подсудимого и обратился к суду:

— Да, господин председатель, я первый узнал этого человека и стою на том. Это Жан Вальжан, поступивший в Тулон в 1796 году и освобожденный в 1815 году. Я вышел год спустя. У него теперь придурковатый вид, да ведь это от старости, а на каторге он был продувной. Я узнаю его.

— Ступайте на место, — сказал председатель. — Подсудимый, стойте.

Ввели Шенильдье, пожизненного каторжника, как указывали его красная куртка и зеленая шапка. Он нес наказание на тулонских галерах, откуда его привезли специально для этого дела. Это был маленький человек лет пятидесяти, живой, сморщенный, желтый, хилый, наглый, лихорадочный; во всех членах его, во всей особе проглядывала болезненная слабость, а во взгляде — страшная сила. Его товарищи по каторге прозвали его Шенильдье (отрицаю Бога).

Председатель обратился к нему приблизительно с теми же словами, как и к Бреве. В ту минуту, когда он напомнил ему, что его позор лишает его права быть приведенным к присяге, Шенильдье поднял голову и нагло окинул взглядом толпу. Председатель убеждал его сосредоточиться и спросил его, как и Бреве, продолжает ли он признавать подсудимого.

Шенильдье разразился хохотом.

— Вот еще! Узнаю ли я его! Да мы пять лет были прикованы к одной цепи. Дуешься ты, что ли, на меня, старина?

— Садитесь, — сказал председатель.

Ввели Кошпаля; и он был осужден пожизненно, тоже привезен с галер и одет в красное, как Шенильдье; это был лурдский поселянин, полумедведь из Пиринеев. Он пас стада в горах и из пастуха сделался разбойником. Кошпаль был так же дик и казался еще более тупоумным, чем подсудимый. Это был один из тех несчастных, которых природа создает дикими зверями, а общество превращает в галерников.

Председатель пытался расшевелить в нем чувство несколькими патетическими торжественными словами и спросил его, как и остальных двух, продолжает ли он без колебания и смущения утверждать, что знает человека, стоящего перед ним.

— Это Жан Вальжан, — отвечал Кошпаль, — и прозывали его Жаном Силачом.

Каждое из показаний этих трех людей, показаний, очевидно искренних и беспристрастных, поднимало в публике зловещий для обвиняемого ропот, усиливавшийся по мере того, как новое заявление прибавлялось к предыдущему. Подсудимый, однако, слушал их с удивленным лицом, что, согласно обвинению, было его главным средством защиты. При первом показании жандармы и соседи слышали, как он бормотал сквозь зубы: «Вот те раз!» После второго он сказал погромче, с почти довольным видом: «Ладно!», а после третьего он воскликнул: «Чудно!»

— Подсудимый, — обратился к нему председатель, — что вы имеете сказать?

Он отвечал:

— Я уже сказал: «Чудно!»

Волнение поднялось в публике и охватило присяжных. Очевидно было, что человек этот погиб.

— Пристава, — сказал председатель, — водворите молчание. Я закрываю прения.

В эту минуту вдруг около председателя произошло движение. Послышался голос, восклицавший:

— Бреве, Шенильдье, Кошпаль! Взгляните сюда!

Всякий, слышавший этот голос, похолодел от ужаса, до такой степени он был раздирательный и страшный. Все взоры обратились на ту точку, откуда он исходил.

Человек, сидевший на привилегированных местах, позади председателя, поднялся, прошел через низкую дверцу, отделявшую его от публики, и очутился посреди зала. Председатель, прокурор, господин Баматабуа, человек двадцать узнали его сразу и воскликнули в один голос:

— Господин Мадлен!

Глава 65

Действительно, это был он. Лампа протоколиста прямо освещала его лицо. Он держал шляпу в руках, в одежде его не замечалось ни малейшего беспорядка, сюртук был тщательно застегнут. Он был очень бледен и слегка дрожал. Волосы его, бывшие с проседью еще в момент приезда его в Аррас, теперь окончательно побелели. Побелели за тот час, который он провел в этом зале.

Все взоры устремились на него. Впечатление было неописуемое. В публике наступил момент колебания. Голос был так полон муки, а сам человек казался так спокоен, что сперва не поняли, кто кричал. Не могли представить себе, чтобы этот спокойный человек испустил такой страшный крик.

Но нерешительность продолжалась всего несколько секунд. Прежде даже, чем председатель и прокурор успели произнести слово, прежде чем жандармы и пристава могли

сделать движение, человек, которого все еще в эту минуту называли господином Мадленом, подошел к свидетелям Кошпалю, Шенильдье и Бреве.

— Вы не узнаете меня? — спросил он.

Те растерялись и все трое движением головы заявили, что не знают его. Кошпаль в смущении сделал под козырек по-военному. Господин Мадлен повернулся к присяжным, к суду и произнес кротким голосом:

— Господа присяжные, освободите подсудимого! Господин председатель, прикажите арестовать меня. Человек, которого вы ищете, я, а не он. Я — Жан Вальжан!

Все присутствующие задержали дыхание. После первого потрясения наступила гробовая тишина. В зале чувствовался тот религиозный страх, который охватывает толпу, когда совершается что-нибудь великое.

Между тем на лице председателя изображалось сочувствие и грусть; он обменялся

быстрым знаком с прокурором и пошептался с членом суда. Затем он обратился к публике с выражением, понятным для всех.

— Нет ли здесь доктора?

— Господа присяжные, — начал прокурор, — странный, неожиданный случай, прервавший заседание, внушает нам, точно так же как и всем вам, чувство, не требующее выражения. Все вы знаете, по крайней мере понаслышке, уважаемого господина Мадлена, мэра города Монрейля. Если есть доктор среди публики, мы присоединимся к господину президенту и попросим его оказать помощь господину Мадлену и препроводить его в жилище.

Господин Мадлен не дал прокурору докончить. Он прервал его мягким авторитетным тоном. Вот слова, которые он произнес; вот они буквально, в том виде, как они были записаны немедленно после заседания одним из свидетелей этой сцены: до сих пор звучат они в ушах тех, кто их слышал сорок лет тому назад.

— Благодарю вас, господин прокурор, но я не сумасшедший. Вот увидите сами. Вы чуть не совершили великой ошибки; отпустите этого человека, я исполняю свой долг — я этот несчастный осужденный и не кто иной. Я один ясно понимаю это дело и говорю вам правду. Всевышний видит мой поступок, и этого мне достаточно. Можете взять меня — я в ваших руках. Однако я старался изо всех сил. Я скрывался под чужим именем, я нажил богатство; я стал мэром, я хотел вернуться к честным людям. Должно быть, это невозможно. Наконец, есть много вещей, которых я не могу объяснить; я не стану рассказывать своей жизни, когда-нибудь узнают все. Я обокрал епископа — это правда; я обокрал малыша Жервэ — это опять-таки правда. Справедливо говорили, что Жан Вальжан человек очень опасный. Не один он, впрочем, виноват в этом. Слушайте, господа судьи! Человек такой униженный, как я, не имеет права делать упреков Провидению, не смеет давать советов обществу; но видите ли, позор, из которого я пробовал выпутаться, — вещь пагубная. Галеры создают

галерника. Припомните это. До каторги я был бедный поселянин, очень мало развитый, нечто вроде идиота; каторга изменила меня. Я был тупоумен, а сделался зол; сначала я был бревном, потом превратился в горящую головню. Позднее снисходительность и милосердие спасли меня, подобно тому, как строгость погубила. Но извините: вы не можете понять, что я говорю. Вы найдете у меня дома среди пепла в камине монету в сорок су, которую я украл у маленького савояра. Больше я ничего не могу сказать. Берите меня. Боже мой! Господин прокурор качает головой и говорит: «Господин Мадлен помешался!» Вы мне не верите! Какая жалость. По крайней мере, не осуждайте этого человека! Как! Неужели и эти люди меня не узнают? Я желал бы, чтобы здесь был Жавер. Тот, наверное, узнал бы меня!

Никакими словами нельзя передать ту мрачную и кроткую меланхолию, которой проникнуты были эти слова. Он обернулся к каторжникам.

— Ну-с, а я вас знаю! Бреве, помните?

Он остановился на минуту и продолжал:

— Помнишь ты вязаные подтяжки шашками, которые ты носил на каторге?

Бреве вздрогнул от удивления и оглядел его с ног до головы с испуганным видом.

— А ты, Шенильдье, сам себя так прозвавший; у тебя все правое плечо глубоко прожжено, потому что ты однажды приложил его к жаровне, полной горячих угольев, чтобы выжечь три буквы Т. Е. Р., которые, однако, до сих пор заметны. Отвечай, правда это?

— Правда, — отвечал Шенильдье.

Он обратился к Кошпалю:

— Кошпаль, у тебя на левой руке цифры, начертанные жженым порохом. Это дата высадки императора в Канне: 1 марта 1815 года. Поднимика рукав.

Кошпаль засучил рукав, множество голов наклонилось над его голой рукой. Жандарм

поднес лампу — число действительно было на том месте.

Несчастный человек повернулся к публике и к судьям с улыбкой, которая до сих пор волнует их до глубины души. То была улыбка торжества и вместе с тем улыбка отчаяния.

— Вот вы видите сами, — сказал он, — что я Жан Вальжан.

В этой зале не было больше ни судей, ни обвинителей, ни жандармов; были только устремленные на него взоры и растроганные сердца. Никто не понимал своей роли. Прокурор забыл, что он тут, чтобы обвинять, председатель — что он призван председательствовать, защитник — что он должен защищать.

Удивительная вещь — не было задано ни одного вопроса, никакая власть не вмешалась. Особенность величественных зрелищ в том, что они захватывают всю душу и из всех свидетелей делают восхищенных зрителей. Быть может, ни один человек не отдавал себе отчета в том, что он

ощущал; никто, без сомнения, не сознавал, что перед ним воссиял великий свет; но все в глубине души чувствовали себя ослепленными.

Несомненно было, что перед ними стоял Жан Вальжан. Он был словно окружен сиянием. Появление этого человека пролило свет на это дело, такое темное еще за минуту перед тем. Без всяких объяснений вся эта толпа, как будто пронзенная электрической искрой, поняла сразу эту простую, высокую историю человека, предававшего себя ради другого человека. Подробности, колебания поглощались этим необъятным светлым фактом.

Впечатление это миновало скоро, но в ту минуту оно было неотразимо.

— Я не хочу больше мешать заседанию, — продолжал Жан Вальжан. — Я ухожу, если меня не удерживают. Мне надо устроить еще некоторые дела. Прокурор знает, кто я, знает, куда я уезжаю, он прикажет арестовать меня, когда ему будет угодно.

Он направился к выходной двери. Ни один голос не раздался ему вслед, ни одна рука не протянулась, чтобы остановить его. Все расступились. В ту минуту в нем было что-то божественное, заставляющее толпу отступать перед одним человеком. Он прошел сквозь толпу тихими шагами. Неизвестно, кто отворил ему дверь, но несомненно то, что дверь очутилась перед ним растворенной настежь. У двери он обернулся и сказал:

— Господин прокурор, я остаюсь в вашем распоряжении.

Потом обратился к публике:

— Все вы, собравшиеся здесь, находите меня достойным сострадания, — не правда ли? Господи, когда я вспомню, что я чуть не сделал — я считаю себя недостойным зависти. Однако я предпочел бы, чтобы всего этого не случалось вовсе.

Он вышел, дверь затворилась за ним так же таинственно, как и отворилась; ибо люди, совершающие высокие подвиги, всегда могут

быть уверены, что найдутся люди, готовые им служить.

Менее часа спустя приговор присяжных снял все обвинения с Шанматье, и он, отпущенный на свободу, удалился в недоумении, размышляя, что все люди сумасшедшие, и ровно ничего не понимая в этом происшествии.

Глава 66

Начинало светать. Фантина провела ночь в жару и бессоннице, ночь, полную, однако, радостных видений; к утру она заснула. Сестра Симплиция, просидевшая над ней всю ночь, воспользовалась этим сном, чтобы пойти приготовить ей новую порцию хины. Почтенная сестра отправилась в лабораторию больницы и занялась своими лекарствами и пузырьками, низко нагнувшись над ними, потому что утренняя мгла не успела еще рассеяться. Вдруг она повернула голову и слегка вскрикнула. Перед ней стоял господин Мадлен. Он вошел незаметно.

— Это вы, господин мэр! — воскликнула она.

— Как здоровье этой бедной женщины? — промолвил он тихим голосом.

— Недурно в настоящую минуту. Но мы страшно тревожились — уверяю вас!

Она объяснила ему, что произошло: что Фантине было очень худо накануне и что теперь ей лучше, потому что она вообразила, что господин мэр уехал за ее дочкой в Монфермейль. Сестра не смела расспрашивать господина мэра, но по его лицу она отлично заметила, что не оттуда он приехал.

— Это хорошо, — отвечал он. — Вы были правы, не разуверяя ее.

— Да, — продолжала сестра, — но теперь, господин мэр, когда она увидит вас без ребенка — что мы ей скажем?

Он оставался несколько минут в задумчивости.

— Бог вдохновит нас, — сказал он.

— Нельзя же будет, однако, лгать, — прошептала сестра тихим голосом.

Яркий свет ворвался в комнату. Он падал прямо на лицо господина Мадлена. Сестра случайно подняла глаза.

— Господи, — воскликнула она, — что случилось с вами? Ваши волосы совсем побелели.

— Неужели? — сказал он.

У сестры Симплиции не было настоящего зеркала; она порылась в кармане и вынула маленькое зеркальце, которое употреблял доктор, чтобы удостовериться в смерти больного. Мадлен взял это зеркальце, взглянул на свои волосы и промолвил: «В самом деле!», но таким равнодушным тоном, как будто думал о чем-нибудь постороннем.

Сестра почувствовала холод на сердце от чего-то неизвестного, но что она смутно угадывала.

— Могу я видеть ее? — спросил он.

— Разве господин мэр не намерен возвратить ей ребенка? — заметила сестра, едва осмеливаясь обратиться к нему с вопросом.

— Без сомнения, но придется подождать дня два-три.

— Если бы она не виделась вовсе с господином мэром до того времени, — робко промолвила сестра, — она не знала бы, что господин мэр вернулся раньше, и вообразила бы, что господин мэр приехал с ребенком. Тогда не пришлось бы лгать.

Господин Мадлен задумался, потом сказал со своей обычной спокойной серьезностью:

— Нет, сестра, мне надо повидаться с ней. Я, быть может, спешу.

Монахиня как будто не заметила этого выражения — «быть может», придававшего странный, темный смысл словам господина мэра. Она отвечала, потупив глаза, почтительным голосом.

— Она теперь отдыхает, но господин мэр может войти.

Он сделал несколько замечаний насчет плохо затворявшейся двери, стук которой мог обеспокоить больную, потом вошел в комнату Фантины, приблизился к ее постели и раздвинул полог. Она спала. Дыхание вырывалось из ее груди со свойственным этим болезням трагическим свистом, от которого сжимается сердце матери, просиживающей ночь у изголовья своего ребенка, осужденного на близкую смерть. Но это тяжелое дыхание почти не нарушало несказанного спокойствия, разлитого по ее лицу и преобразившего ее во сне. Ее бледность превратилась в белизну; на щеках играл румянец. Длинные белокурые ресницы, единственное украшение, оставшееся от ее молодости и невинности, слегка трепетали, оставаясь опущенными. Все существо ее дрожало, словно невидимые крылья сейчас унесут ее в пространство. Любуясь на нее, никто бы не вообразил, что эта больная в состоянии почти

отчаянном. Она была похожа не на умирающую, а на существо, которое собирается улететь.

Когда рука приближается к ветке, чтобы сорвать цветок, ветка слегка трепещет и как будто в одно и то же время уклоняется и отдается. Человеческое тело тоже вздрагивает, подобно ей, перед наступлением момента, когда таинственная рука смерти приближается, чтобы унести душу

Господин Мадлен оставался некоторое время неподвижным около этой постели, поглядывая то на больную, то на распятие, как он это делал два месяца тому назад, когда пришел в первый раз навестить больную в этом приюте. И теперь снова они были тут вместе в том же положении — она спящая, он погруженный в молитву; но только теперь, по прошествии этих двух месяцев, у нее волосы были седые, а у него совсем белые.

Сестра не вошла с ним. Он один стоял у этой постели, положив палец на уста, как будто убеждая кого-то хранить молчание.

Она открыла глаза, увидела его и кротко промолвила с улыбкой:

— Как же Козетта?..

Глава 67

У нее не вырвалось ни жеста удивления, ни движения радости: вся она была радость. Этот простой вопрос: «Как же Козетта?» был задан с такой глубокой верой, с таким убеждением, с таким полным отсутствием всякого беспокойства и сомнения, что он не нашелся ответить ни слова. Она продолжала:

— Я знала, что вы здесь. Я спала, но чувствовала, что вы пришли. Давно уже я вижу вас, я наблюдала за вами всю ночь. Вы были среди сияния славы и окружены небесными ликами.

Он поднял глаза на распятие.

— Но скажите же мне, где Козетта? Почему ее не положили ко мне на постель перед моим пробуждением?

Он машинально пробормотал что-то такое, чего никак не мог припомнить впоследствии. К счастью, пришел доктор, которого предупредили, и подоспел на помощь господину Мадлену.

— Голубушка, — сказал он, — успокойтесь, ваш ребенок здесь.

Глаза Фантины просияли и озарили светом все лицо ее. Она сложила руки с выражением мольбы, в то же время и страстной и кроткой.

— О, — воскликнула она, — принесите мне ее.

Трогательная иллюзия матери! Козетта продолжала быть для нее ребеночком, которого носят на руках.

— Нет еще, не теперь, — возразил доктор. — У вас еще лихорадка. Вид вашего ребенка взволнует вас и плохо подействует на здоровье. Надо сначала выздороветь.

Она перебила его с горячностью:

— Но я уже выздоровела! Говорят вам, что я выздоровела! Вот осел этот доктор! Я хочу

видеть своего ребенка, слышите!

— Вот видите, как вы волнуетесь. Пока вы будете такая, я не позволю привести к вам ребенка. Недостаточно ее видеть, надо жить для нее. Когда вы будете рассудительны, я сам приведу ее к вам.

Бедная мать поникла головой.

— Господин доктор, прошу у вас прощения, право же, искренне рощу прощения. В прежнее время я не стала бы так говорить, но со мной было так много несчастий, что я иногда сама не знаю, что говорю. Я понимаю: вы боитесь, чтобы я не волновалась, — я буду ждать сколько вам угодно, но клянусь вам, мне не повредило бы повидаться с моей дочкой. Я вижу ее, я не свожу с нее глаз со вчерашнего вечера. Знаете, если бы мне ее принесли хоть сейчас, я стала бы с ней потихонечку разговаривать. Вот и все. Разве не понятно, что мне хочется видеть своего собственного ребенка, за которым специально ездили в Монфермейль? Я вовсе не раздражаюсь. Я знаю только, что буду счастлива. Всю ночь я

видела светлые предметы и лица, которые мне улыбались. Когда господин доктор пожелает, он принесет мне мою Козетту. У меня больше нет лихорадки — ведь я выздоровела; я отлично чувствую, что у меня ничего не болит; но я сделаю так, будто больна, и не буду двигаться, чтобы доставить удовольствие здешним дамам. Когда увидят, что я совсем спокойна, тогда и скажут: «Надо дать ей ребенка».

Господин Мадлен присел на стул около ее постели. Она повернулась к нему; очевидно, она делала усилие, чтобы казаться спокойной и «паинькой», как она выражалась в своем болезненном детском бессилии; она хотела, чтобы окружающие, увидев ее такой спокойной, не делали затруднений и привели ей Козетту. Однако, несмотря на то, что она старалась сдержаться, она засыпала господина Мадлена тысячей разнообразных вопросов.

— Хорошо ли путешествовали, господин мэр? О, как вы добры, что ездили за ней. Расскажите мне только, какова она? Хорошо ли

вынесла дорогу? Увы, она меня и не узнает! Она уже позабыла обо мне, моя бедная крошка! У детей совсем нет памяти. Они точно птички. Сегодня видят одно, завтра — другое и ни о чем не думают. Было ли у нее, по крайней мере, чистое белье? Чисто ли держали ее эти Тенардье? Как ее кормили? О, как я страдала во времена моей нищеты, задавая себе все эти вопросы! Теперь все прошло! Я рада и счастлива! Ах, как мне хотелось бы ее увидеть! Господин мэр, как вы нашли ее — хорошенькая она? Не правда ли, красавица у меня дочка? Нельзя ли привести ее хоть на одну минуточку? Сейчас же опять унести можно! Прикажите, ведь вы здесь хозяин; если хотите, все сделают!

Он взял ее за руку.

— Козетта красавица, она совсем здорова, вы скоро ее увидите, но успокойтесь, ради бога. Вы говорите слишком много и, потом, высовываете руки из-под одеяла, оттого и кашляете.

Действительно, приступы кашля прерывали Фантину чуть не на каждом слове.

Фантина не стала возражать; она побоялась, уж не нарушила ли она своими слишком страстными жалобами то доверие, которое желала внушить; она стала заниматься вещами посторонними.

— Там довольно мило, в Монфермейле, не правда ли? Летом туда предпринимают увеселительные прогулки. Что, хорошо ли идут дела у этих Тенардье? Плохой у них трактир! Немного народу ездит по той местности.

Господин Мадлен продолжал держать ее за руку и смотрел на нее с тревогой; очевидно, он пришел сообщить ей вещи, которых теперь не в силах был выговорить. Доктор, окончив свой визит, удалился. Одна сестра Симплиция оставалась с ними.

Между тем, среди молчания, Фантина вдруг воскликнула:

— Я слышу ее, Господи, я ее слышу!

Она протянула руку, чтобы вокруг нее замолчали, задержала дыхание и стала

прислушиваться с восхищением.

Во дворе играл ребенок — дочь дворничихи или какой-то работницы. Это была одна из тех случайностей, которые как будто составляют принадлежность таинственной обстановки грустных событий. Девочка бегала, прыгала, чтобы согреться, хохотала и громко пела. Увы, к чему только не примешиваются детские игры. Песенку этой девочки услышала Фантина.

Ребенок ушел, голос умолк. Фантина слушала еще некоторое время, лицо ее нахмурилось, и Мадлен слышал, как она шептала:

— Злой, право, злой этот доктор, не позволяет мне видеть моего ребенка! У этого человека прескверное лицо!

Однако веселая подкладка ее мыслей вернулась. Она продолжала говорить сама с собой, лежа на подушках:

— Как же мы будем счастливы! У нас будет маленькой садик! Господин Мадлен мне обещал; моя дочка будет играть в саду. Теперь она,

должно быть, уже знает азбуку. Я научу ее читать. Она будет бегать по травке за бабочками. А я буду смотреть. Потом она будет причащаться в первый раз! Когда это будет?

Она принялась считать по пальцам:

— Раз, два, три, четыре… Теперь ей семь, значит, через пять лет. Мы наденем ей белую вуаль, ажурные чулки, она будет похожа на маленькую женщину. Ах, добрая сестрица, если бы вы знали, какая я глупая — я уже мечтаю о первом причастии моей дочки!

Она засмеялась.

Он опустил руку Фантины. Он слушал эти речи, как слушают бушующую бурю, — слушал, потупив глаза, погруженный в бездну мыслей. Вдруг она перестала говорить, и это заставило его поднять на нее глаза.

Фантина стала страшна.

Она уже не говорила, не дышала; она до половины приподнялась на постели; ее исхудалое плечо выставилось из рубашки; лицо ее, сиявшее

радостью еще за несколько мгновений перед тем, вдруг помертвело; она уставила свои расширенные глаза во что-то грозное, ужасающее на другом конце комнаты.

— Господи! — воскликнул он. — Что с вами сделалось, Фантина?

Она не отвечала, она даже не отвела глаз от страшного предмета; одной рукой она прикоснулась к его рукаву а другой сделала ему знак, чтобы он смотрел назад.

Он оглянулся и увидел Жавера.

Глава 68

Тем временем вот что произошло.

Пробило половину первого, когда господин Мадлен вышел из залы аррасского суда. Он успел в свою гостиницу как раз вовремя, чтобы уехать с почтовой каретой, в которой заранее взял себе место. Около шести часов утра он уже был в Монрейле, и первым его делом было занести на

почту письмо к господину Лаффитту; потом он поспешил в больницу навестить Фантину.

Между тем едва успел он выйти из зала суда, как прокурор, оправившись от переполоха, произнес речь, в которой сетовал о безумном поступке уважаемого мэра города Монрейля, объявив кстати, что убеждения его нисколько не изменились благодаря этому странному случаю, который разъяснится впоследствии, и требовал пока осуждения Шанматье, очевидно, настоящего Жана Вальжана. Настойчивость прокурора заметно шла вразрез с общим чувством — и публики, и суда, и присяжных. Защитнику нетрудно было разбить эту речь по всем пунктам и доказать, что, вследствие разоблачений господина Мадлена, то есть настоящего Жана Вальжана, суть дела совершенно изменилась, и присяжные видят перед собой человека ни в чем не повинного. Адвокат привел несколько рассуждений, к несчастью, не новых — о судебных ошибках и т. д., и т. д. Председатель в своем резюме присоединился к защитнику, и

присяжные через несколько минут сняли с Шанматье все возводимые на него обвинения.

Между тем прокурору во что бы то ни стало нужен был Жан Вальжан, и, не имея больше в руках Шанматье, он принялся за Мадлена.

Немедленно после освобождения Шанматье прокурор заперся наедине с председателем. Они совещались насчет «необходимости арестовать господина мэра Монрейля». Эта фраза, принадлежащая господину прокурору, была написана его рукой на черновой его доклада генеральному прокурору. Когда прошло первое потрясение, председатель представил слабые возражения. Надо же было в самом деле дать ход правосудию. И к тому же, хотя председатель был человек добрый и довольно умный, он в то же время был роялист, и даже из ярых; его шокировало то, что мэр города Монрейля, говоря о высадке в Канне, сказал император, а не Буонапарт.

Итак, приказ об аресте был отправлен. Прокурор послал его в Монрейль с верховым

курьером и поручил исполнить это дело инспектору полиции Жаверу.

Известно, что Жавер вернулся в Монрейль немедленно после дачи показаний на суде.

Он поднимался с постели в то время, когда нарочный передал ему приказ об аресте.

Нарочный этот был тоже полицейский, довольно ловкий, и в двух словах объяснил Жаверу все, что случилось в Аррасе. Приказ об аресте, подписанный прокурором, был следующего содержания: «Инспектору Жаверу дано полномочие взять под стражу Мадлена, мэра Монрейля, который в заседании сегодня был признан освобожденным каторжником Жаном Вальжаном». Кто-нибудь посторонний, не знавший Жавера, увидя его в ту минуту, когда он входил в прихожую больницы, не мог бы ничего угадать по его лицу и, пожалуй, нашел бы, что у него самый обыкновенный вид. Он был холоден, спокоен, важен; его седые волосы гладко приглажены на висках; он поднялся по лестнице своим обычным тихим шагом. Но всякий, кто

знал его близко и внимательно наблюдал за ним в ту минуту, содрогнулся бы. Пряжка его кожаного воротника вместо того, чтобы быть позади, очутилась около левого уха. Уже одно это было признаком чрезвычайного волнения.

Жавер обладал характером цельным — он не допускал ни складочки на своем мундире, ни малейшего уклонения в своих обязанностях: он был методичен со злодеями, аккуратен до суровости относительно пуговиц своей одежды. Чтобы криво застегнуть пряжку воротника, — надо было, чтобы внутри его происходило какое-нибудь волнение, вроде тех сильных смятений, которые можно назвать внутренними землетрясениями.

Он явился просто, без хлопот; потребовал себе капрала и двух солдат на соседней гауптвахте, оставил их во дворе и велел дворничихе провести его в комнату Фантины; старуха ничего не подозревала, привыкнув к тому, что вооруженные люди то и дело спрашивают господина мэра.

Дойдя до комнаты Фантины, Жавер повернул ручку, отворив дверь с осторожностью сиделки или шпиона, и вошел.

Собственно говоря, он не входил. Он остановился на пороге полурастворенной двери, не снимая шляпы, заложив руку между пуговиц сюртука, наглухо застегнутого до самого горла. В сгибе локтя высовывался свинцовый набалдашник его чудовищной трости, исчезавшей позади.

Он оставался в таком положении с минуту, никем не замеченный. Вдруг Фантина подняла глаза, увидела его и заставила господина Мадлена повернуться в его сторону.

В ту минуту, когда взгляд Мадлена встретился со взглядом Жавера, Жавер, не двигаясь, не шелохнувшись, не сделав ни шага вперед, вдруг стал ужасен. Никакое чувство не может так страшно исказить лицо человеческое, как радость.

То было лицо демона, который обрел погибшую душу.

Уверенность в том, что, наконец, он держит в своей власти Жана Вальжана, вызвала на его лицо все, что у него скопилось на душе. Самолюбие, оскорбленное тем, что он немного сбился с пути и хоть несколько минут заблуждался насчет этого Шанматье, сглаживалось гордым сознанием, что он так верно угадал сразу и что у него сохранился такой чуткий инстинкт. Радость Жавера изобразилась в его царственной позе. Все безобразие торжества расцвело на этом узком лбу. Это радостное лицо представляло ужасный вид.

Жавер в ту минуту был на верху блаженства. Сам не отдавая себе ясно отчета, но все-таки смутно сознавая свою необходимость, свой успех, он, Жавер, олицетворял собою правосудие, свет и истину, исполнял их небесное призвание — подавлять зло. За ним и вокруг него сияли яркие звезды: власть, закон, совесть, кара преступления; он охранял порядок, он метал громы закона, он мстил за общество, он являлся представителем правосудия; он предстал окруженный сиянием славы; в его победе был

остаток вызова и борьбы; он стоял гордый и повелительный, торжествующий и представлял собою нечеловеческий образ разгневанного архангела; грозный призрак того действия, которое он призван был исполнить, заставлял угадывать в его судорожно сжатом кулаке сверкающий меч закона; счастливый и негодующий, он попирал пятою преступление, порок, мятеж, душегубство, ад; он весь сиял, он истреблял, он улыбался; было несомненное величие в этом чудовищном Михаиле Архангеле.

Жавер был страшен, но в нем не было ничего низкого.

Честность, искренность, прямодушие, глубокое убеждение, сознание долга — это такие вещи, которые, попадая на ложный путь, могут стать чудовищными и все-таки оставаться великими; их величие не теряется и среди жестокости: это добродетели, у которых есть один порок — заблуждение. Беспощадная честная радость фанатика, совершающего жестокий поступок, сохраняет в себе какое-то

мрачное сияние, внушающее уважение. Сам того не подозревая, Жавер в своем счастье был достоин жалости, как всякое существо, торжествующее в неведении. Ничто не могло быть таким жалким, таким ужасным, как эта фигура, в которой изображалась, если можно так выразиться, вся дурная сторона добра.

Глава 69

Фантина не видела Жавера ни разу с тех пор, как господин мэр вырвал ее из рук этого человека. Ее больной мозг не отдавал себе отчета ни в чем, но она не сомневалась ни минуты, что он пришел за ней. Она не могла вынести вида этой страшной фигуры; она почувствовала, что умирает, закрыла лицо руками и воскликнула с тоской:

— Господин Мадлен, спасите меня!

Жан Вальжан — отныне мы не будем называть его иначе — привстал и обратился к Фантине своим самым кротким, тихим голосом:

— Будьте покойны. Не за вами он пришел.

Потом, обернувшись к Жаверу, он сказал:

— Я знаю, что вам нужно.

Жавер отвечал:

— Ступай живее!

В выражении этих двух слов было что-то дикое и неистовое. Никакое правописание не передаст ударения, с которым они были произнесены; то были не слова человеческие, а рычание зверя.

Он не поступил так, как поступал обыкновенно; он не стал пускаться в объяснения, не представил приказа об аресте. Для него Жан Вальжан был каким-то таинственным, неуловимым борцом, с которым он боролся целых пять лет и никак не мог одолеть. Этот арест был не началом, а венцом дела. Он только и сказал:

— Ступай живее!

Произнося эти слова, он не подвинулся ни на шаг вперед; он кинул на Жана Вальжана взгляд, которым обыкновенно, как железным крюком, притягивал к себе несчастных.

Этот самый взгляд пронзил Фантину до мозга костей два месяца тому назад.

На крик Жавера Фантина раскрыла глаза. Но господин мэр был тут, при ней. Чего же ей бояться?

Жавер вышел на середину комнаты и крикнул:

— Идешь ты, что ли, или нет?

Несчастная оглянулась вокруг. В комнате никого не было, кроме монахини и господина мэра. К кому же он мог обращаться с этим уничижительным «ты»? К ней одной. Она содрогнулась.

И вот она увидела вещь чудовищную, до того чудовищную, что никогда ничего более страшного не представлялось ей в бреду горячки. Она увидела, как сыщик Жавер ухватил господина мэра за ворот; увидела, что господин

мэр покорно нагнул голову. Ей почудилось, что весь мир рушится.

Жавер действительно схватил Жана Вальжана за ворот.

— Господин мэр! — крикнула Фантина.

Жавер разразился смехом, тем ужасным смехом, который обнажал у него все зубы.

— Здесь нет никакого господина мэра!

Жан Вальжан не пробовал высвободиться от руки, державшей его за ворот сюртука. Он сказал:

— Жавер…

— Называй меня господин инспектор! — перебил Жавер.

— Господин инспектор, — продолжал Жан Вальжан, — я желал бы азать вам несколько слов наедине.

— Говори громко! Со мной иначе не говорят!

Жан Вальжан продолжал, понизив голос:

— У меня есть к вам просьба…

— Слышишь, говори, чего тебе надобно, громко.

— Но никто этого не должен знать, кроме вас…

— А мне что за дело? Я и слушать не хочу.

Жан Вальжан нагнулся к нему и проговорил быстро, тихим голосом:

— Дайте мне только три дня! Три дня, чтобы привезти ребенка этой несчастной женщины! Я заплачу что угодно! Вы можете ехать со мной, если хотите!

— Что ты, насмехаешься, что ли, надо мной! — закричал Жавер. — Ну, не думал я, что ты так глуп! Ты просишь три дня, чтобы улизнуть! И уверяешь, будто поедешь за ребенком этой твари! Ха! Ха! Ха! Вот это мило! Право, очень мило!

Фантина вся задрожала.

— Мой ребенок! — воскликнула она. — Ехать за моим ребенком! Его разве нет здесь? Сестрица,

отвечайте, где Козетта? Я хочу видеть свою дочь! Господин Мадлен, господин мэр!

Жавер топнул ногой.

— Ну вот, теперь другая начинает! Замолчишь ли ты, мерзкая! Вот так страна! Здесь каторжники — важные чиновники, а публичных женщин холят, как каких-нибудь графинь! Да нет, теперь все изменится — давно пора!

Он пристально взглянул на Фантину, снова захватив рукой воротник, галстук и рубашку Жана Вальжана:

— Говорят тебе, нет здесь никакого господина Мадлена, никакого господина мэра. А есть вор, есть разбойник, есть каторжник по имени Жан Вальжан! Его-то и держу, вот и все!

Фантина вскочила, опираясь на окоченевшие руки, взглянула на Жана Вальжана, взглянула на Жавера, взглянула на монахиню, потом раскрыла рот, словно собираясь говорить; страшный хрип вырвался из ее груди, зубы ее застучали, она протянула руки с глубокой тоской, конвульсивно

разжимая и сжимая пальцы, точно утопающий, потом вдруг упала на подушки.

Голова ее стукнулась об изголовье постели и опустилась на грудь, с открытым ртом, широко раскрытыми потухшими очами.

Она умерла.

Жан Вальжан дотронулся до державшей его руки Жавера и разжал ее с такой легкостью, словно это была рука ребенка.

— Вы убили эту женщину, — сказал он Жаверу.

— Однако скоро ли будет конец! — крикнул Жавер в исступлении. — Я пришел сюда не для того, чтобы выслушивать рассуждения. Бросим все это; стража ждет, ступай тотчас же, а не то ручные кандалы…

В углу комнаты стояла старая железная кровать, довольно расшатанная, служившая постелью для сестер, когда они проводили ночь около больной; Жан Вальжан подошел к кровати, в одно мгновение оторвал прут от изголовья —

дело нетрудное для таких крепких мускулов, схватил этот прут и взглянул на Жавера. Жавер попятился к двери.

Жан Вальжан с железным прутом в руке тихо приблизился к постели Фантины, обернулся к Жаверу и промолвил тихим, едва слышным голосом:

— Не советую вам трогать меня в эту минуту.

Несомненно то, что Жавер задрожал.

У него мелькнула мысль позвать солдат, но Жан Вальжан мог воспользоваться этой минутой, чтобы скрыться. Итак, он остался, захватил свою трость с тонкого конца и прислонился к косяку, не сводя глаз с Жана Вальжана.

Жан Вальжан оперся локтем на изголовье, склонил голову на руку и устремил взор на Фантину, неподвижную и окоченелую. Он долго оставался в таком положении, безмолвный, сосредоточенный, очевидно забыв про все в мире. На лице его, во всей позе выражалось одно — несказанная жалость. После нескольких

мгновений созерцания он нагнулся к Фантине и стал что-то говорить ей тихим голосом.

Что он говорил ей? Что мог сказать этот человек, вынесший такие тяжелые испытания, этой мертвой женщине? Какие это были слова? Никто в мире не слышал их. Услышала ли их покойница? Есть трогательные иллюзии, которые, быть может, превращаются в действительность. Несомненно то, что сестра Симплиция, единственная свидетельница этой сцены, часто рассказывала, что в ту минуту, когда Жан Вальжан нагнулся к уху Фантины, она ясно увидела, как блаженная улыбка озарила эти бледные уста, эти тусклые зрачки, полные могильной неподвижности.

Жан Вальжан взял обеими руками голову Фантины и уложил ее на подушки, как мать сделала бы для своего ребенка, завязал шнурки ее рубашки, спрятал ее волосы под чепчик. Потом закрыл ей глаза.

Лицо Фантины в эту минуту казалось озаренным странным светом.

Рука покойницы свешивалась с кровати, Жан Вальжан опустился перед ней на колени, тихонько поднял эту руку и поцеловал.

Потом он поднялся и, обернувшись к Жаверу, сказал:

— Теперь я ваш.

Глава 70

Жавер доставил Жана Вальжана в городскую тюрьму. Арест господина Мадлена произвел в Монрейле необыкновенное впечатление или, вернее сказать, настоящее потрясение. Грустно прижаться, что по одному только слову: «Это был каторжник», почти все отвернулись от него. В два каких-нибудь часа все добро, которое он сделал, было забыто — он стал каторжником и ничем более. Правда, по справедливости надо заметить, что еще не знали подробностей происшествия в Аррасе. Целый день в разных концах города только и слышны были разговоры вроде следующего:

— А вы не слышали? Он был каторжник.

— Кто такой?

— Мэр.

— Ба! Господин Мадлен?

— Конечно.

— Неужели?

— Его звали вовсе не Мадленом, а каким-то отвратительным прозвищем, что-то вроде Вежана, Божана, Бужана.

— Ах, боже мой!

— Его арестовали.

— Арестовали?

— Он в тюрьме, в городской тюрьме, покуда его не переведут.

— Скажите! Куда же его переведут-то?

— Сначала его еще будут судить за грабеж на большой дороге, когда-то совершенный им.

— Ну, по правде сказать, я так и знал. Этот человек был слишком добр, слишком

безукоризнен, слишком набожен! Он отказался от ордена и раздавал милостыню разным маленьким негодяям, которых встречал на дороге. Я всегда был уверен, что тут кроется что-то неладное.

Салоны в особенности были неистощимы по этому предмету. Одна старая дама, подписчица газеты «Белое знамя», изрекла следующее глубокомысленное размышление.

— Я этому рада. Это урок бонапартистам!

Таким-то образом призрак, носивший имя Мадлена, мало-помалу рассеялся в городе Монрейле. Всего три-четыре человека остались верными его памяти, в том числе старуха-привратница, служившая ему.

Вечером того же дня добрая старуха сидела в своей сторожке, еще вся взволнованная и погруженная в печальные размышления. Фабрика была закрыта целый день, ворота заперты, улица пустынна. Во всем доме не было ни души, кроме двух монахинь, сестры Симплиции и сестры Перпетуи, которые сидели над телом Фантины.

Около того часа, когда Мадлен обыкновенно возвращался домой, добрая женщина машинально встала, взяла из ящика ключ от комнаты господина Мадлена и подсвечник, который он брал каждый вечер, поднимаясь на лестницу, потом повесила ключ на обычный гвоздик, а подсвечник поставила около, словно ждала его. Потом она опять уселась на место и задумалась. Бедная старуха проделала все это совершенно бессознательно.

Только по прошествии двух часов она вышла из задумчивости и вдруг воскликнула:

— Господи Иисусе, а я повесила ключ на гвоздик!

В эту самую минуту форточка сторожки отворилась, чья-то рука просунулась в отверстие, схватила ключ и зажгла свечку о другую, горевшую в сторожке.

Дворничиха подняла глаза и замерла, сдерживая крик, готовый сорваться с ее губ. Она хорошо знала эти пальцы, эту руку, этот рукав.

Это был господин Мадлен.

Прошло несколько секунд, прежде чем она была в состоянии говорить, ошеломленная, как она сама выражалась впоследствии, рассказывая это приключение.

— Создатель! Господин мэр, — воскликнула она наконец, — а я думала…

Она запнулась, конец фразы был бы непочтителен. Жан Вальжан все еще был для нее господином мэром. Он докончил ее мысль.

— Вы думали, что я в тюрьме. Я там и был, но я сломал решетку окна, спустился по крыше, и вот я здесь. Я иду в свою комнату, ступайте, позовите ко мне сестру Симплицию. Она, вероятно, около этой бедной женщины.

Старуха торопливо повиновалась.

Он не давал ей никаких наставлений; он был уверен, что она побережет его еще лучше, нежели он сам.

Никому не удалось объяснить, как он проник во двор, не отпирая ворот. Правда, он всегда

носил с собою ключ, отворявший калитку; но ведь его, вероятно, обыскивали и отобрали у него ключ. Это так и осталось неразъясненным.

Он поднялся по лестнице, ведущей в его комнату. Дойдя до верха, он поставил подсвечник на ступени, бесшумно отпер дверь, ощупью запер окно и ставни, потом вернулся за подсвечником и вошел в комнату. Предосторожность была не лишняя; известно, что это окно видно было с улицы.

Он окинул взглядом всю комнату — стол, стул, постель, которую не стлали три дня. Нигде не оставалось никаких следов беспорядка. Дворничиха прибрала комнату. Только в золе камина она нашла два кованых наконечника палки да монету в сорок су, почерневшую от огня, и аккуратно положила их на столик.

Он взял лист бумаги и написал на нем: «Вот наконечники моей кованой палки и монета в сорок су, украденная мной у малыша Жервэ, о чем я говорил суду». Он положил оба предмета на лист бумаги так, чтобы они бросились в глаза,

когда кто-нибудь войдет в комнату. Потом вынул из шкафа старую рубашку, разорвал ее и стал завертывать в тряпки свои серебряные подсвечники; впрочем, в нем не заметно было ни торопливости, ни волнения. Укладывая подсвечники, он откусывал от краюхи черного хлеба. Весьма вероятно, что это был тюремный хлеб, который он захватил с собою во время побега.

Это было дознано на основании крошек хлеба, найденных на полу комнаты позднее, когда было произведено следствие.

Кто-то осторожно постучался в дверь.

— Войдите, — сказал он.

Это была сестра Симплиция. Она была бледна, глаза ее красны, свеча, которую она держала, тряслась в ее руке. Жестокие явления судьбы имеют ту особенность, что, как бы мы ни были усовершенствованы или зачерствелы, они вызывают из глубины нашего существа человеческие чувства. Среди волнений этого дня

монахиня опять стала женщиной. Она плакала, она дрожала.

Жан Вальжан написал еще несколько строк на клочке бумаги и подал его монахине со словами:

— Сестра, передайте это нашему кюре.

Бумага была не свернута, она бросила на нее взгляд.

— Можете прочесть, — прибавил он.

Она прочла: «Прошу господина кюре принять в свое ведение все, что я оставляю. Пусть он заплатит судебные издержки по моему процессу и выдаст средства на погребение женщины, которая умерла сегодня. Остальное бедным».

Сестра порывалась сказать что-то, но едва могла вымолвить несколько бессвязных звуков.

— Не желает ли господин мэр, — проговорила она наконец, — увидеться в последний раз с этой несчастной?

— Нет, — отвечал он, — за мной гонятся и могут арестовать в ее комнате, это нарушит ее

спокойствие.

Едва успел он вымолвить эти слова, как внизу на лестнице послышался страшный шум. Поднялась суета, беготня, старая дворничиха говорила громким резким голосом:

— Право, ей-богу же, сударь, сюда никто не входил во весь день, во весь вечер, и даже я не отходила от ворот!

Мужской голос возражал:

— Однако же есть свет в этой комнате.

Они узнали голос Жавера.

Комната была расположена таким образом, что дверь, отворяясь, маскировала угол стены направо. Жан Вальжан задул свечу и встал в угол.

Сестра Симплиция упала на колени возле стола.

Дверь отворилась. Вошел Жавер.

Слышен был шепот голосов и уверения дворничихи в коридоре.

Монахиня не поднимала глаз. Она молилась.

Свеча стояла на камине и бросала слабый свет.

Жавер увидел сестру и остановился в изумлении.

Без сомнения, читатель помнит, что само существо Жавера, его стихия, воздух, которым он дышал — заключались в преклонении перед всякой властью. Это была натура цельная, не допускающая ни уклонений, ни ограничений. Для него, само собою разумеется, духовная власть стояла на первом месте; он был религиозен, педантичен и строг по этому пункту, как и по всем остальным. В его глазах священник был дух чистый, никогда не заблуждающийся, монахиня существо непогрешимое. То были души, разобщенные с миром, отделенные от него дверью, из которой исходила одна истина.

Когда он увидел сестру, первым его побуждением было удалиться.

Однако другой долг связывал его и настойчиво толкал его в обратном направлении.

Вторым его движением было остаться и рискнуть задать хоть один вопрос.

Перед ним была сестра Симплиция, та самая Симплиция, которая во всю свою жизнь не произнесла ни единого слова лжи. Жавер это знал и почитал ее вдвойне именно за это.

— Сестра, — сказал он, — вы одни в этой комнате?

Наступила страшная минута, в продолжение которой бедная дворничиха почувствовала, что ей делается дурно. Сестра подняла голову и промолвила:

— Да.

— Итак, — продолжал Жавер, — извините меня, если я настаиваю, но это мой долг — не видели ли вы сегодня вечером одну личность, мужчину, который бежал из тюрьмы; мы его ищем — этого Жана Вальжана, вы не видали?

Сестра отвечала:

— Нет.

Она солгала. Она солгала дважды кряду, не колеблясь, быстро, как человек, совершающий поступок самопожертвования.

— Извините, — сказал Жавер и удалился с низким поклоном.

О, святая женщина! Уже много лет как ты удалилась из этого мира; ты давно присоединилась в царстве света к своим сестрам — девственницам и к своим братьям — ангелам; пусть эта ложь зачтется тебе на небесах!

Ответы сестры были для Жавера настолько убедительны, что он даже не заметил одной странности — потушенная свеча еще дымилась на столе.

Час спустя какой-то человек быстро шел между деревьями среди вечернего тумана по направлению к Парижу. Человек этот был Жан Вальжан. Было определено на основании свидетельств двух-трех извозчиков, повстречавших его на пути, что он нес сверток и был одет в блузу. Где он добыл эту блузу? Этого никто не мог узнать, однако несколько дней перед

тем в фабричном лазарете умер старый рабочий и оставил одну только блузу. Быть может, это была та самая.

Одно последнее слово о Фантине.

У всех нас есть мать — земля. Фантину отдали этой матери.

Кюре думал, что хорошо поступает и, быть может, действительно поступил, как следует, оставив из всего имущества Жана Вальжана как можно больше денег в пользу бедных. И, правду сказать, кого касалось это дело? Каторжника и публичной женщины. Поэтому-то он упростил похороны Фантины и ограничил их крайней необходимостью, а именно общей могилой.

Итак, Фантина была похоронена в углу кладбища, принадлежащем всем и никому — туда сваливают бедных. К счастью, Бог знает, где найти душу. Фантину положили во мраке, около первых попавшихся костей. Она была брошена в общую яму. Могила ее походила на ее ложе.

Глава 71

В прошлом году (1861), прекрасным майским утром, прохожий, рассказывающий эту историю, шел из Нивелля по направлению к Ла Юльпу. Шел он пешком по широкому, обсаженному двумя рядами деревьев шоссе, извивающемуся среди холмов, беспрестанно приподымающих и опускающих дорогу, подобно огромным волнам. Путник миновал Лиллуа и Буа-Сеньер-Исаак. На западе показалась аспидная крыша колокольни Брэн л'Алле, в форме опрокинутой вазы. Он оставил позади лес на холме и кабак, стоящий на перекрестке проселочной дороги, около обросшего мхом столба с надписью: «Бывшая застава No 4». Над дверью кабака красовалась вывеска: «Гостиница четырех ветров. Частная кофейная Эшабо».

Пройдя с четверть мили дальше, он очутился в маленькой долине, где струилась вода сквозь арку, проделанную в насыпи дороги. Лесок довольно редкий, но поражающий глаз яркостью зелени, наполняет долину по одну сторону шоссе,

а с другой стороны разбегается по лугам и в грациозном беспорядке исчезает по направлению Брэн-л’Аллё.

Направо, на окраине дороги, стоит постоялый двор, у ворот его четырехколесная повозка, большая связка жердей с хмелем, плуг, куча сухого хвороста у живой изгороди, известь, дымящаяся в квадратной яме, естница, приставленная к ветхому сараю, крытому соломой. Молодая девушка полола в огороде, и там же развевалась по ветру прибитая столбу большая желтая афиша, извещающая, вероятно, о каком-нибудь балагане на деревенском празднике. На углу постоялого двора, около лужи, где полоскалась целая стая уток, пролегала сквозь хворостник плохо вымощенная тропинка. Туда и направился наш путник.

Пройдя сотню шагов вдоль стены в стиле XV столетия, увенчанной острым кирпичным шпилем, он очутился перед большими каменными воротами с прямолинейным импостом в строгом стиле Людовика XIV и с

двумя плоскими медальонами. Строгий фасад господствовал над воротами. Перпендикулярная фасаду стена почти касается ворот и образует около них резкий прямой угол. На лужайке тут же валяется подъемная решетка, сквозь перекладины которой растут в беспорядке пестрые майские цветы. Ворота запираются ветхими створками, снабженными старым заржавленным молотком.

Солнце ласково светило; ветки колыхались с тем тихим майским шелестом, который как будто исходит из гнезд, а не от ветра. Какая-то милая птичка, наверное влюбленная, заливалась без памяти на ветке большого дерева.

Прохожий нагнулся и стал рассматривать в камне налево около двери довольно широкую круглую пробоину, похожую на ячейку. В эту минуту растворились ворота и оттуда вышла женщина.

Она увидела прохожего и заметила, что он рассматривает.

— Это след французского ядра, — сказала она. — А то, что вы видите вот там, повыше, в

двери, около гвоздя, это отверстие, пробитое большой картечью. Картечь не тронула дерева.

— Как называется эта местность? — спросил прохожий.

— Гугомон, — ответила крестьянка.

Прохожий выпрямился. Он отошел на несколько шагов и стал смотреть поверх изгороди. На горизонте, сквозь деревья, виднелся род пригорка, а на пригорке нечто, издали похожее на льва.

Он находился на поле сражения при Ватерлоо.

Глава 72

Гугомон — вот то мрачное место, где великий европейский дровосек, носивший имя Наполеон, встретил при Ватерлоо первое препятствие, первое сопротивление; то был первый жесткий сук под ударом его топора.

Прежде там был замок, а теперь — простая ферма. Книжный червь называет это место не

Hougomont, а Hugomons. Замок был построен Гюго, властелином сомерельским, тем самым, который одарил своими вкладами аббатство Виллье.

Прохожий толкнул дверь, задев по дороге локтем старую коляску, стоявшую под навесом, и вошел во двор.

Первая вещь, бросившаяся ему в глаза на лужайке, были ворота в стиле шестнадцатого века, имевшие вид арки, так как вокруг них все развалилось. Руины часто принимают монументальный вид. Около арки открывалась в стене другая дверь, со сводами времен Генриха IV; сквозь нее виднелись деревья фруктового сада. Тут же рядом — навозная яма, лопата и грабли, несколько повозок, старый колодец с каменной плитой и железной шестерней, резвящийся жеребенок, индийский петух, растопыривший хвост веером, часовенка с маленькой колокольней, грушевое дерево, все в цвету, прислонившееся к стене часовни, — вот этот двор, завоевание которого было мечтой

Наполеона. Если бы он только мог овладеть им — этот уголок земли, быть может, дал бы ему весь мир. Куры рылись там в песке. Слышалось рычание большой собаки, которая скалила зубы и заменяла собой англичан.

Здесь англичане были изумительны. Четыре гвардейские роты Кука устояли в течение семи часов против страшного натиска целой армии.

Гугомон, если смотреть по карте, включая строения и дворы, представляет собою неправильный четырехугольник, один угол которого словно обрезан. На этом-то углу — южные ворота, защищаемые стеной, которая обстреливает их в упор. У Гугомона двое ворот: южные — ворота замка и северные — ворота фермы. Наполеон послал против Гугомона своего брата Жерома; дивизии Гилльемино, Фуа и Башелю напирали на него безуспешно, почти весь корпус Рейлля был пущен в ход и отбит; ядра Келлермана оказались бессильны против этой геройской стены. Только с помощью бригады Бодуэна смогли ворваться в Гугомон с

севера, а бригаде Суа удалось только едва закрепиться с юга, не овладев им.

Строения фермы окаймляют двор с южной стороны. Обломки северных ворот, разбитых французами, до сих пор висят на петлях. Это четыре доски, скрепленные двумя поперечниками, на них еще виднеются рубцы атаки.

В глубине лужайки полурастворенные северные ворота, выбитые французами; они прямо вырублены в стене, внизу каменной, а вверху кирпичной; стена эта ограждает двор с северной стороны. Это обыкновенные ворота для повозок, какие бывают на каждой ферме — широте, дощатые, а за ними расстилаются луга. Борьба из-за этого входа была ужасной. Долго виднелись на досках ворот следы окровавленных рук. Тут был убит Бодуэн.

Во дворе до сих пор еще остались разрушения; там как бы окаменел есь ужас рукопашного боя, точно все это случилось вчера. На стенах следы агонии, камни валятся, бреши

вопиют; пробоины зияют, как раны; деревья, склонившиеся и трепещущие, словно собираются обратиться в бегство.

Двор этот в 1815 году был более застроен, чем теперь; разные строения, разрушенные тогда, образовывали в нем выступы, углы, прямоугольные повороты.

Англичане засели там за баррикадами; французы проникли туда, но не в состоянии были удержаться на месте. Близ часовни стоит один флигель, единственный остаток Гугомонского замка, стоит весь разрушенный, так сказать, выпотрошенный. Замок служил крепостью, часовня — блокгаузом. Там была резня. Французы, обстреливаемые со всех сторон, из-за стен, с чердаков, из погребов, изо всех окон, изо всех отдушин и щелей, принесли, наконец, кипы хвороста и подожгли стены и людей. На картечь они ответили огнем.

В разоренном флигеле, сквозь окна с железными решетками, виднеются разрушенные комнаты, где английские гвардейцы устроили

засаду; винтовая лестница, треснувшая сверху донизу, похожа на внутренности разбитой раковины. Лестница простиралась на два этажа; англичане, осаждаемые на ней и зажатые на верхних ступенях, разрушили нижние ступени. Это широкие плиты сизого камня, сваленные в кучу и обросшие кругом крапивой. С десяток ступеней еще держатся в стене; на первой ступени вырезано изображение трезубца. Эти неприступные ступени крепко сидят в своих впадинах. Все остальное смахивает на беззубую челюсть. Там растут два старых дерева: одно совсем высохло, у другого поранены корни, но оно все-таки зеленеет в апреле. С 1815 года оно принялось расти сквозь лестницу.

В часовне происходила резня. Внутренность ее теперь представляет очень странный вид. Со времени кровопролития там больше не служили обедни. Однако престол остался на месте, престол некрашеного дерева, прислоненный к грубому камню. Четыре стены, выбеленные известью, дверь напротив престола, два небольших овальных окошка, на двери большое

деревянное распятие, над распятием квадратный люк, заткнутый связкой сена, в углу на полу старая рама с побитыми стеклами — вот эта часовня. Около алтаря прибита к стене статуя святой Анны, XV века; голова Младенца Иисуса оторвана картечью. Французы, на минуту овладевшие часовней, а потом снова выбитые оттуда, подожгли ее. Пламя наполнило эту развалину, в ней было настоящее пекло. Дверь подгорела, пол сгорел, но деревянное распятие уцелело. Пламя подточило ноги Христа, потом остановилось. Это было чудо, как рассказывают местные жители.

Стены покрыты надписями. У подножия распятия начертано имя: Henquinez {Хенкинез (исп.).}. Затем другие: Conde de Rio Major. Marques y Marquesa de Almagro (Habana) {Граф де Рио Майор. Маркиз и маркиза де Альмагро (Хабана) (исп.).}. Тут же рядом французские имена с гневными восклицательными знаками. В 1849 году стену побелили заново. На ней народы оскорбляли друг друга.

У дверей часовни подняли труп, державший топор в руках. Это был труп подпоручика Легро.

Выйдите из часовни, налево перед вами будет колодец. В этом дворе их два. Спрашивается — почему у этого колодца нет ведра и ворота? Потому что из него больше не черпают воду. Почему же не черпают? Потому что он наполнен скелетами.

Последний, черпавший воду из этого колодца, некто Гильом ван Кильсом. Это был крестьянин, работавший в Гугомоне садовником 18 июня 1815 года; его семейство бежало и приютилось в лесу.

Лес вокруг аббатства Виллье в течение нескольких дней и ночей укрывал все это несчастное, обезумевшее население. До сих пор еще сохранились в лесу их следы; ветхие, обгорелые пни показывают в чаще кустарника место лагеря этих жалких, продрогших от холода беглецов.

Гильом ван Кильсом остался в Гугомоне стеречь замок и спрятался в погреб. Англичане

отыскали его, вытащили из засады и при помощи ударов сабель плашмя заставили этого запуганного человека служить им. Их мучила жажда; Гильом приносил им напиться; из этого-то колодца он черпал воду. Многие пили тут свой последний глоток. Этому колодцу, напоившему стольких мертвецов, суждено было погибнуть, став их могилой.

После сражения поспешили зарыть трупы. Смерть имеет способность тревожить победу — вслед за славой она посылает эпидемию. Тиф — один из спутников триумфа. Колодец этот был глубок — его превратили в могилу. Туда свалили до 300 мертвецов. Быть может, даже слишком поспешно. Все ли они были мертвы? Легенда говорит, что нет. В ночь вслед за погребением слышались будто бы из глубины слабые, жалостные стоны, молившие о помощи.

Этот колодец стоит одиноко посреди двора. Три его стены, наполовину каменные, наполовину кирпичные, в форме ширм окружают его с трех сторон, изображая как бы часть

квадратной башни. Четвертая сторона остается открытой. Оттуда-то черпали воду. В задней стене видно что-то вроде неправильного люка: быть может, это отверстие, пробитое гранатой. Башенка имела крышу, от которой остались теперь одни бревна. Нагибаешься вниз, и взор тонет в глубоком цилиндре, выложенном кирпичом и наполненном густым мраком. Все вокруг колодца заросло крапивой.

У колодца нет впереди той широкой сизой каменной плиты, которая составляет неизменную принадлежность всех бельгийских колодцев. Эта плита заменена брусом, на который опирается пять-шесть деревянных обрубков, сучковатых и безобразных, напоминающих чудовищные человеческие кости. Нет там ни ведра, ни цепи, ни блока; но еще сохранился каменный резервуар, служивший стоком. Там собирается дождевая вода, да изредка птицы из соседних лесов прилетят, напьются и улетят прочь.

Дом посреди этих руин, дом фермы до сих пор жилой. Дверь его выходит во двор. Рядом с

красивым готическим замком к двери приделана наискосок железная ручка в форме трилистника. В ту минуту, когда ганноверский поручик Вильда ухватился за эту ручку, чтобы укрыться на ферме, французский сапер отсек ему руку ударом топора.

Семейство, занимающее этот дом, является потомками бывшего садовника ван Кильсома, который уже давно умер. Седоволосая женщина рассказала мне: «И я была там. Мне тогда минуло всего три года. Моя сестра, постарше меня, испугалась и расплакалась. Нас унесли в лес. Я сидела на руках у матери. Все прикладывали ухо к земле и прислушивались. А я передразнивала пушку и распевала — бум, бум».

Мы уже говорили, что из двора одна дверь налево ведет во фруктовый сад. Сад этот был ужасен.

Он состоит из трех частей, или, если можно так выразиться, из трех действий. Первая часть — собственно цветник, вторая — плодовый сад, третья — роща. Все эти три части обнесены

общей оградой, со стороны входа их замыкают строения замка и фермы, налево забор, направо стена, и в глубине стена. Справа входишь в цветник. Он весь был засажен смородиновыми кустами, а теперь зарос дикой растительностью и заканчивается высокой каменной террасой, украшенной балюстрадой с двояко выпуклыми балясинами. Это был барский сад в старом французском стиле; сейчас все в нем — разрушение и тернии. Пилястры увенчаны шарами, которые имеют вид каменных ядер. До сих пор насчитывают сорок три цельных балюстрады, остальные лежат в траве. Почти на всех видны следы от ружейных пуль. Одна балюстрада, совсем разбитая, валяется тут же, как сломанная нога.

В этот-то сад, пониже плодового, забрались шесть вольтижеров и, не имея возможности оттуда выбраться, запертые и затравленные, как медведи в берлоге, вступили в бой с целыми двумя ганноверскими ротами, из которых одна была вооружена карабинами. Ганноверцы облепили балюстрады и палили сверху.

Вольтижеры, отвечая снизу, — шестеро против двухсот человек, неустрашимые, без всякого прикрытия, кроме смородинных кустов, дрались четверть часа, прежде чем умереть.

Надо взобраться на несколько ступеней, чтобы перейти в сам фруктовый сад. Там, на пространстве нескольких квадратных саженей, тысяча пятьсот человек пали за какой-нибудь час времени. Стена словно опять готова к бою. Все тридцать восемь бойниц, пробитых в ней англичанами в разных местах, уцелевших до сих пор. Перед шестнадцатой бойницей находятся две английские гранитные могилы. Бойницы существуют только в южной стене; главная атака была направлена оттуда. Стена эта была замаскирована с наружной стороны высокой живой изгородью; французы наступали, думая, что имеют дело с одной этой изгородью, перелезли через нее и увидели перед собой стену, препятствие и засаду; позади них была английская гвардия, впереди огонь изо всех тридцати восьми бойниц сразу целая гроза

картечи и пуль; бригада Суа полегла тут на месте. Так началась битва при Ватерлоо.

Фруктовый сад, однако, был взят. У французов не было лестниц, они карабкались, цепляясь ногтями. Завязался рукопашный бой под деревьями. Вся трава была пропитана кровью. Целый нассауский батальон, семьсот человек, был разгромлен здесь. С наружной стороны стена, против которой были направлены две батареи Келлермана, вся изуродована картечью.

Но даже в этом саду, как и во всяком другом, отражается веяние весны. У него свои полевые цветы, свои маргаритки, в нем растет высокая трава, в которой пасутся рабочие лошади, волосяные веревки, на которых сушится белье, протянуты между деревьями и заставляют прохожих нагибать голову; идешь по этой рыхлой земле, и нога вязнет в кротовых норках. В траве виднеется ствол, вырванный с корнем, зеленеющий. Майор Блакман прислонился к нему, испуская последний вздох. Под соседним

большим деревом пал немецкий генерал Дюпла, потомок французской фамилии, бежавший после отмены Нантского эдикта. Тут же рядом склоняется старая больная яблоня с перевязкой из соломы и глины. Почти все яблони так и падают от ветхости. Нет ни одной, которая не получила бы пули или картечи. Скелеты высохших деревьев изобилуют в этом саду. Вороны летают по веткам; за садом — роща, полная фиалок.

Бодуэн убит, Фуа ранен; пожар, резня, избиение, целый поток английской крови, неистовое смешение немецкой и французской, целый колодец, заваленный трупами, нассауский и брауншвейгский полки истреблены, Дюпла убит, Блакман убит, английские гвардейцы перебиты, Двадцать французских батальонов из сорока, входивших в корпус Рейлля, разбиты, три тысячи человек, скученные в этой жалкой ферме Гугомона, изрублены саблями, перерезаны, перестреляны, сожжены; и все это ради того, чтобы нынче какой-нибудь крестьянин говорил путешественнику: «Господин, пожалуйте три

франка; если вам угодно, я объясню вам все подробности битвы при Ватерлоо».

Глава 73

Вернемся назад, — это одно из прав рассказчика, — вернемся к 1815 году и даже немного ранее того времени, когда началось дело, рассказанное в первой части этой книги.

Если бы не шел дождь в ночь с 17 на 18 июня 1815 года, будущность Европы была бы иная. Несколько лишних капель дождя завершили эпоху побед Наполеона. Для того чтобы Ватерлоо стало концом Аустерлица, Провидению понадобилось немного дождя, и какой-нибудь тучи, проплывшей по небу в неблагоприятном направлении, было достаточно, чтобы перевернуть вверх ногами целый мир.

Битва при Ватерлоо могла начаться не раньше половины двенадцатого, и это дало время Блюхеру подоспеть на помощь. Почему она не началась раньше? Потому что почва была

влажная. Пришлось подождать, пока она несколько подсохнет, чтобы артиллерия могла маневрировать.

Наполеон был артиллерийский офицер, и это отражалось во всем. Этот удивительный полководец весь в словах своего доклада директории об Абукире: «Такое-то наше ядро убило шестерых человек». Все его планы сражений приспособлены для ядер. Сосредоточить артиллерию на такой-то данный пункт — для него это был ключ победы. Он смотрел на стратегию неприятельского генерала как на цитадель и пробивал в ней брешь. Он осыпал слабое место залпами, он завязывал и заканчивал сражения пушкой. Гений его отчасти был в стрельбе. Проломить каре, стереть в прах полки, смять ряды, сокрушить и рассеять массы — для него все заключалось в этом — разить, разить беспрерывно, и он вверял это дело пушечному ядру. Вот — грозный метод, который в соединении с гением делал непобедимым в течение пятнадцати лет этого мрачного атлета войны.

18 июня 1815 года он тем более рассчитывал на артиллерию, потому что превосходство в численности ее было на его стороне. У Веллингтона было всего сто пятьдесят девять пушек; у Наполеона — двести сорок.

Предположите, что земля была бы суха, артиллерия могла бы двигаться: дело началось бы в шесть часов утра. Тогда сражение было бы окончено и выиграно в два часа, т. е. за три часа до появления пруссаков.

Насколько виновен был Наполеон в том, что проиграл сражение? Разве можно приписывать кораблекрушение кормчему? Быть может, заметный физический упадок Наполеона осложнялся в эту эпоху некоторым упадком нравственных сил? Быть может, двадцать лет войны затупили клинок и сломали ножны, истощили и тело и душу? Быть может, ветеран давал себя невыгодно чувствовать в полководце? Словом, уж не померк ли тогда этот гений, как думали многие авторитетные историки? Не предавался ли он неистовству, чтобы скрыть от

самого себя свое бессилие? Не пошатнулся ли он под напором бури приключений? Не потерял ли он сознание опасности, что весьма важно для генерала? У великих материалистов, которых можно назвать исполинами действия, наступает пора близорукости гения; старость не имеет власти над гениями идеала; для Данте и Микеланджело стариться — значит возвышаться, но для Ганнибалов и Наполеонов стариться — не значит ли падать? Не утратил ли Наполеон безошибочное чутье победы? Не потерял ли он способность предугадывать ловушку, различать скользкий край пропасти? Он, который когда-то знал все пути к славе и с высоты своей молниеносной колесницы указывал их своим повелительным перстом — теперь в каком-то зловещем ослеплении вел в бездну свои легионы. Не овладело ли им в сорок шесть лет какое-то непостижимое безумие? Не превратился ли этот титанический возница судьбы в слепого головореза?

Мы этого не думаем.

Его план сражения был, по общему мнению, образцовым. Идти прямо на центр союзной линии, пробить брешь в ней, разрезать противника надвое, толкнуть британскую часть армии на Галь, а прусскую на Тонгрес, обессилить Веллингтона и Блюхера, овладеть горою Сен-Жан, захватить Брюссель, сбросить немцев в Рейн, а англичан в море. Все это для Наполеона заключалось в этом одном сражении. Затем, думал он, посмотрим, что делать.

Конечно, мы не претендуем писать здесь историю Ватерлоо; но одна из существенных сцен драмы, которую мы рассказываем, связана с этим сражением; история эта, впрочем, уже написана, и написана капитально, с одной точки зрения — Наполеоном, а с другой — целой плеядой историков (Вальтер Скотт, Ламартин, Волабель, Шаррас, Кинэ, Тьер). Что касается нас, то мы оставляем свободное поле историкам; мы являемся только сторонним зрителем, прохожим, блуждающим по равнине, искателем, роющимся в этой почве, удобренной человеческими телами, быть может, принимая кажущееся за

действительность; мы не имеем права разбирать во имя науки взаимосвязь фактов, в которых, быть может, есть доля миража; у нас нет ни военной практики, ни стратегических познаний, чтобы держаться системы; по нашему мнению, при Ватерлоо целая череда случайностей тяготела над обоими полководцами; а когда вопрос коснется рока, мы судим как народ, этот наивный судья.

Глава 74

Кто хочет ясно представить себе сражение при Ватерлоо, пусть вообразит на земле очертания громадной буквы А. Левая половина буквы — дорога в Нивелль, а правая — дорога в Женап, соединительная поперечная черта представляет собой дорогу из Отэна в Брэн л'Алле. Вершина буквы — гора Сен-Жан: там стоял Веллингтон; левая нижняя оконечность — Гугомон: там находились Рейлль с Жеромом Бонапартом; правая нижняя оконечность — Бель-Алльянс. Там стоял Наполеон. По самой середине поперечной

перекладины лежит тот пункт, где окончательно определился исход битвы. Там-то поставили льва — символ высокого героизма императорской гвардии.

Треугольник у вершины А, заключающийся между двумя сторонами буквы и поперечиной, — плато горы Сен-Жан. Борьба за это плато — вот и все сражение.

Обе армии расположили свои крылья направо и налево от дорог Женапской и Нивелльской; Эрлон стоял против Пиктона, Рейлль — против Гилля.

За вершиной буквы А, позади Сен-Жанского плато, расстилается Суаньский лес.

Что касается самой равнины, то представьте себе обширную волнистую местность; каждая волна господствует над другой; все эти волны сбегаются к холму Сен-Жан и заканчиваются у леса.

Два неприятельских войска на поле брани — это два борца. Они впиваются друг в друга. Один

старается повалить другого. Соперники цепляются за все — какой-нибудь куст служит точкой опоры; угол стены — поддержкой, подкреплением; из-за отсутствия какого-нибудь домишки, чтобы прислониться, целый полк теряет почву под ногами; рытвина в равнине, неровность почвы, какая-нибудь поперечная тропа, лес, овраг могут остановить колосса, называемого армией, и отрезать ему отступление. Кто покидает поле, тот разбит. Отсюда следует для ответственного полководца необходимость исследовать все — малейшую группу деревьев, заметить всякое возвышение.

Оба полководца тщательно изучили Сен-Жанскую равнину, теперь называемую полем Ватерлоо. Еще за год до битвы Веллингтон с редкой прозорливостью наметил ее на случай большого сражения. На этом пространстве и в этом поединке все преимущество принадлежало Веллингтону. Английская армия была наверху, а французская — внизу.

Почти лишним будет рисовать здесь облик Наполеона верхом, с подзорной трубой в руках, на Россомских высотах, на заре 18 июня 1815 года. Весь мир видел его таким. Этот спокойный профиль под маленькой шляпой Бриеннской школы, этот зеленый мундир, белый отворот, скрывающий звезду, сюртук, скрывающий эполеты, угол красной ленты, виднеющийся из-под жилета, белая лошадь в чепраке малинового бархата с вензелями N по углам, с коронами и орлами, ботфорты поверх шелковых чулок, серебряные шпоры, шпага Маренго, — вся эта фигура последнего из Цезарей еще стоит у всех в воображении, — одни вспоминают о нем с восторгом, другие со строгим осуждением.

Этот образ долго оставался озаренным каким-то лучезарным светом; это зависело от известного легендарного затмения, распространяемого вокруг себя большинством героев и более или менее долго скрывающего истину; но в наше время история рассеяла мрак.

Этот свет — история — беспощаден; он имеет в себе нечто странное и божественное: несмотря на то, что история — свет, и именно потому, что она свет, она часто кладет тени там, где были видны одни лучи; одного и того же человека она превращает в двух различных призраков — один борется с другим, мрак деспота борется с блеском полководца. Разоренный Вавилон умаляет славу Александра; Рим, закованный в цепи, уменьшает славу Цезаря; погубленный Иерусалим уменьшает славу Тита. Тирания переживает тирана. Несчастье для человека оставлять за собой мрак, принимающий его очертания.

Глава 75

Всем известна первая фаза этого сражения; начало смутное, неопределенное, колеблющееся, зловещее для обеих армий, но для англичан еще в большей степени, чем для французов.

Дождь лил всю ночь; земля была изрыта, вода скопилась тут и там в рытвинах, как в бассейнах;

в некоторых местах повозки обоза вязли по самые ступицы; с упряжи лошадей струилась жидкая грязь; если бы пшеница и рожь, смятые этой массой обозов, не заполнили рытвин и не образовали подстилки под колесами, всякое движение, в особенности в долине около Папелотта, оказалось бы невозможным.

Дело началось поздно; Наполеон, как мы уже говорили, имел привычку держать всю артиллерию в руках, наготове, как пистолет, прицеливаясь то в ту, то в другую точку сражения, и ему хотелось подождать, пока конные батареи в состоянии будут свободно действовать; для этого было необходимо, чтобы взошло солнце и просушило почву. Но солнце не показывалось. Это уже не было знаменитое солнце Аустерлица. Когда раздался первый пушечный выстрел, английский генерал Кольвилль взглянул на часы и заметил, что было тридцать пять минут двенадцатого.

Бой был начат с яростью, с большей яростью, чем того желал император, — левым

французским крылом, ударившим на Гугомон. В то время Наполеон атаковал центр, направив бригаду Кио на Ге-Сент, Ней двинул правое французское крыло на левое английское, опиравшееся на Папелотт.

Атака на Гугомон была в некотором роде военной хитростью: привлечь туда Веллингтона, заставить его податься влево, — вот каков был план. Этот план и удался бы, если бы четыре роты английской гвардии и храбрые бельгийцы дивизии Перпонше не удерживали так упорно свои позиции, так что Веллингтон, вместо того чтобы сосредоточивать там силы, мог ограничиться отправкой туда в виде подкреплений еще четырех гвардейских рот и брауншвейгского батальона.

Атака правого французского крыла на Папелотт имела целью смять английскую гвардию, отрезать возможность отступления на Брюссель, заградить проход пруссакам, форсировать гору Сен-Леан, оттеснить Веллингтона на Гугомон, оттуда на Брэн л Алле,

оттуда на Галь — нет ничего проще. За исключением нескольких частностей, атака эта удалась. Папелотт был взят; Ге-Сент захвачен.

Надо отметить следующую подробность. В английской пехоте, в особенности в бригаде Кемпта, было множество новобранцев. Эти молодые солдаты перед нашими грозными пехотинцами были неустрашимы; при всей своей неопытности они вели себя прекрасно; в особенности отличались они в качестве стрелков; солдат-стрелок, отчасти предоставленный самому себе, становится, так сказать, сам себе генералом; эти рекруты проявили чисто французскую изобретательность и горячность; новички-пехотинцы отличались энтузиазмом. Это не понравилось Веллингтону.

После взятия Ге-Сента исход сражения был еще неопределен.

От полудня до четырех часов наступил темный промежуток; середина сражения неопределенна и смутна, как темная свалка. Наступают сумерки. Среди мглы виднеются как

бы громадные волны, головокружительный мираж, в глазах мелькают все тогдашние атрибуты войны, почти неведомые ныне; гусарские шапки с языками, развевающиеся ташки, перевязи крест-накрест, лядунки для гранат, доломаны гусар, красные сапоги с множеством складок, тяжелые кивера, обвитые жгутами, почти черная пехота Брауншвейга, перемешанная с пурпурной пехотой Англии, с ее толстыми белыми жгутами на плечах вместо эполет, ганноверская легкая кавалерия в продолговатых кожаных касках с медными бляхами и красными гривами, шотландцы с голыми коленями и клетчатыми пледами, высокие белые сапоги гренадеров, — все это картины, а не стратегические линии, материал для Сальватора Розы, а не для Грибоваля.

Сражение всегда имеет что-то общее с бурей, Quid obscurum, quid divinum {Нечто темное, нечто божественное (лат.).}. Каждый историк рисует какие ему нравятся очертания этого хаоса. Каковы бы ни были комбинации генералов, столкновение вооруженных масс имеет

непредвиденные отливы и движения; в пылу действия планы обоих полководцев сталкиваются друг с другом и теряют первоначальную форму. Такой-то пункт сражения пожирает большее количество людей, чем другой, как рыхлая почва, которая быстрее другой впитывает в себя воду. Появляется потребность пожертвовать такому-то пункту больше солдат, чем ожидали полководцы. Это, так сказать, непредвиденные расходы. Боевая линия изгибается и вьется, как нить, потоки крови льются напрасно, фронт армии колеблется, полки, входя в ряды или выходя, образуют мысы или впадины, все эти массы беспрерывно движутся, волнуются; там, где была пехота — появляется артиллерия, где была артиллерия — туда подоспевает кавалерия; батальоны подвижны, как дым. Здесь что-то было, теперь ищите — оно: уже исчезло; прогалины перемещаются; темные складки надвигаются и отступают; какой-то могильный ветер движет, раздувает, толкает вперед эти трагические массы. Что такое битва? Непрерывное колебание. Неподвижность

математического плана выражает один момент, а не целый день. Чтобы писать картину сражения, требуется художник, владеющий могучей кистью, способной изобразить хаос; Рембрандт выше Вандермелена. Вандермелен точен в полдень, но лжет в три часа. Геометрия обманчива; только ураган правдив. Есть известный момент, когда сражение дробится, разбивается на массу подробностей, которые, по выражению самого Наполеона, принадлежат скорее биографии полков, чем истории армии. В этом случае историк, очевидно, имеет право быть кратким. Он не может схватить главных очертаний борьбы, и никакому повествователю, как бы он ни был добросовестен, не дано определить в точности форму этой страшной тучи, называемой сражением. Эта черта, свойственная всем великим вооруженным столкновениям, особенно применима к сражению при Ватерлоо. Однако после полудня, в известный момент, бой несколько определился.

Глава 76

Около четырех часов положение английской армии стало серьезным. Принц Оранский командовал центром, Гилль правым крылом, Пиктон левым. Принц Оранский, неустрашимый, неистовый, кричал своим голландцам и бельгийцам: «Нассау! Брауншвейг! Стоять на месте!» Ослабевший Гилль опирался на Веллингтона, Пиктон погиб. В ту самую минуту, когда англичане захватили у французов знамя 105-го линейного полка, французы убили у англичан генерала Пиктона, прострелив ему голову пулей. Сражение для Веллингтона имело две точки опоры — Гугомон и Ге-Сент. Гугомон еще держался, но пылал; Ге-Сент был взят. От немецкого батальона, занимавшего его, осталось в живых всего сорок два человека; все офицеры, за исключением пяти, были убиты или захвачены в плен. Три тысячи сражающихся перебили друг друга в этом месте. Сержант английской гвардии, чемпион Англии по боксу, слывший неуязвимым среди товарищей, был убит там малорослым

французским барабанщиком. Бэринг был сбит с позиции, Альтен зарублен саблей. Несколько знамен было потеряно, в том числе знамя дивизии Альтена и знамя Люксбургского батальона, которое держал принц фамилии Цвейбрюкен. Серых шотландцев уже не существовало; громадные драгуны Понсомби были изрублены. Эта великолепная кавалерия была смята уланами Бро и кирасирами Траверса; из 1200 лошадей оставалось всего 600; из двух подполковников — двое лежали распростертые на земле; Гамильтон был ранен, Матерн убит. Понсомби пал, пронзенный семью ударами пикой. Гордон умер, Марш умер. Две дивизии, пятая и шестая, были разгромлены.

Гугомон уже был почти захвачен, Ге-Сент взят, оставался всего один оплот — этот продолжал крепко держаться. Веллингтон еще подкрепил его. Он послал туда Гилля, бывшего в Мэрб-Брэне, вызвал и Шассе, находившегося в Брэн л’Алле.

Центр английской армии, несколько вогнутой формы, очень плотный и сомкнутый, занимал сильную позицию. Он находился на плато Мон-Сен-Жан, за ним расстилалось селение, а позади склон, в то время довольно крутой. Он опирался на массивное каменное здание, бывшее в то время вотчиной Нивелля, на перекрестке дорог; то было прочное строение XVI века, до того крепкое, что ядра отскакивали от него рикошетом, не пробивая. Вокруг плато англичане подрезали кое-где изгороди, сделали амбразуры среди боярышника, расставили тут и там пушки между ветвей, обломали кусты. Артиллерия их засела в чаще хворостинка. Это вероломство, бесспорно дозволяемое во время войны, которое допускает и засады, и ловушки, было исполнено так искусно, что Гаксо, посланный императором в девять часов утра на рекогносцировку неприятельских батарей, не заметил ничего и, вернувшись, доложил Наполеону, что нет никаких препятствий, кроме двух баррикад, загораживающих дороги в Нивелль и Женап. В ту пору хлеба были уже высоки; на окраине плато

батальон 95-й бригады Кемпта, вооруженный карабинами, залег среди высокой ржи.

Обеспеченный и усиленный таким образом центр англо-голландской армии был в выгодном положении. Опасность этой позиции заключалась в Суаньском лесу, бывшем по соседству с полем битвы и перерезанном прудами Грёнендаля и Буафорта. Армия не могла бы отступить туда, не раздробившись; полки немедленно перемешались. Артиллерия погибла бы в болотах. Отступление, по мнению нескольких специалистов, мнению, однако, оспариваемому другими, представляло бы собой беспорядочное бегство армии.

Веллингтон стянул к этому центру бригаду Шассе, взятую из правого крыла, затем еще дивизию Клинтона. Своим англичанам, полкам Галькетта, бригаде Митчелла, мэтландской гвардии он дал в качестве подкрепления брауншвейгскую пехоту, нассаусцев, ганноверцев Кильмансегге и немцев Омитеды. Таким образом, под рукой у него было двадцать шесть

батальонов. Правое крыло, как говорил Шаррас, было отведено за центр. Громадная батарея была замаскирована мешками с землей на том месте, где находится ныне так называемый Ватерлооский музей. Веллингтон, кроме того, держал в резерве в небольшой лощине гвардейских драгун Сомерсета — 1400 всадников. Там была вторая половина английской кавалерии, имевшая заслуженно превосходную репутацию. Понсомби был уничтожен, оставался Сомерсет.

Батарея, — которая, будь она окончена, превратится почти в редут, — была расположена позади садовой ограды, очень низкой и наскоро покрытой мешками с песком и широким земляным валом. Эта работа не была доделана; не успели окружить ее кольями.

Веллингтон, с виду невозмутимый, хотя и встревоженный, верхом на лошади оставался весь день на одном и том же месте, стоя несколько впереди старой мельницы Мон-Сен-Жана, существующей до сих пор, под вязом, который

был куплен впоследствии энтузиастом-англичанином за двести франков, распилен и вывезен. Там Веллингтон проявил свой холодный героизм. Ядра так и летали вокруг него. Адъютант Гордон был убит рядом с ним. Лорд Гилль, показывая ему на разорвавшуюся бомбу, сказал: «Милорд, каковы ваши инструкции, какие приказания вы оставляете нам, если вас убьют?» — «Поступайте так, как я», — отвечал Веллингтон. Клинтону он сказал лаконично: «Держаться — до последнего человека». Очевидно, дела принимали плохой оборот. Веллингтон кричал своим старым товарищам по Талавере, Витории и Саламанке: «Ребята! Можно ли думать об отступлении? Вспомните старую Англию!»

Около четырех часов английская линия стала подаваться назад. Вдруг на гребне плато стали видны только артиллерия и стрелки — все остальное исчезло; полки, гонимые французскими ядрами и гранатами, отступили до того места, где еще до сих пор пролегает тропинка на ферму Мон-Сен-Жан; произошло

обратное движение: фронт англичан скрылся. Веллингтон попятился назад.

— Начало отступления! — воскликнул Наполеон.

Глава 77

Хотя император был болен и ему было трудно держаться в седле, но никогда еще он не был в таком прекрасном расположении духа. С утра этот непроницаемый человек улыбался. 18 июня 1815 года эта глубокая душа с мраморной оболочкой необъяснимо сияла. Человек, который был сумрачным под Аустерлицем, был весел при Ватерлоо. У величайших избранников часто бывают такие непонятные явления.

— Ridet Caesar, Pompejus flebit {Смеется Цезарь, Помпей заплачет (лат.).}, — говорили воины легиона Fulminatrix {Молниеносный (лат.).}. Помпею на этот раз не суждено было плакать, но несомненно то, что Цезарь смеялся.

Еще накануне, в час ночи, исследуя верхом, во время грозы с дождем, вместе с Бертраном холмы, соседние с Рассомом, радуясь при виде длинной линии английских огней, освещающих весь горизонт от Фришмона до Брэн л'Алле, ему казалось, что рок, которому он назначил свидание под Ватерлоо, повиновался ему; он остановил лошадь, оставался несколько минут неподвижным, смотрел на молнии, прислушивался к грому; окружающие слышали, как этот фаталист кинул во мрак таинственные слова: «Мы с тобой согласны!» Наполеон ошибался. Они уже не были согласны.

Он не спал ни минуты; вся ночь была для него сплошной радостью. Он прошел мимо линий полевого караула, останавливаясь тут и там поговорить с часовыми. В половине третьего близ Гугомонского леса он услышал шаги движущейся колонны: был момент, когда он думал, что это отступление Веллингтона. «Это английский арьергард тронулся с места и убирается, — сказал он. — Я возьму в плен те шесть тысяч англичан, которые только что

высадились в Остенде». Он говорил радостно, к нему вернулось его увлечение времен высадки 1 марта, когда он показывал великому маршалу энтузиаста-крестьянина у Жуанского залива, восклицая: «Ну, Бертран, вот уже и подкрепления!» В ночь с 17 на 18 он подшучивал над Веллингтоном: «Этого маленького англичанина надо проучить», — говорил Наполеон. Дождь усилился; гром гремел в то время, когда говорил император.

В половине четвертого утра он простился с одной из своих иллюзий; офицеры, посланные на рекогносцировку, доложили ему, что неприятель не двигается с места. Никто не шелохнулся, бивуачные огни не потухли. Английская армия спала. На земле царствовало глубокое безмолвие; только в небе гремел гром. В четыре часа разведчики привели к нему крестьянина; он служил проводником бригаде английской кавалерии, вероятно, бригаде Вивиена, отправившейся занять позицию в селении Оэн, на самый край левого крыла. В пять часов два бельгийских дезертира донесли ему, что они

только что покинули свои полки и что английская армия ждет битвы. «Тем лучше! — воскликнул Наполеон. — Я предпочитаю смять их, нежели прогнать назад».

Утром на склоне, образующем поворот дороги Планшенуа, он сошел с лошади среди грязи, велел принести себе из Рассомской фермы кухонный стол и простой стул, уселся, подостлав под ноги связку соломы вместо ковра, и разложил на столе карту поля сражения, заметив Сульту: «Славная шахматная доска!»

Вследствие проливного дождя ночью обозы с провиантом, завязшие в размокших дорогах, могли прибыть не раньше утра; солдаты не спали, вымокли, проголодались; это не мешало Наполеону весело крикнуть Нею: «У нас девяносто шансов из ста». В восемь часов императору подали завтрак. Он пригласил нескольких генералов. За завтраком рассказывали, что Веллингтон третьего дня был на балу в Брюсселе у герцогини Ричмондской, и Сульт, этот суровый воин с лицом архиепископа,

заметил: «Сегодня у нас бал». Император подсмеивался над Неем, который говорил: «Веллингтон не будет настолько прост, чтобы ожидать ваше величество». Впрочем, у Наполеона была уж такая манера. «Он охотно шутил», — говорит о нем Флери де Шабулон. «Сущность его нрава — игривость», — говорит Гурго. «Он был неистощим по части шуток, скорее странных, чем остроумных», — говорит Бенжамен Констан. Эти шуточки титана заслуживают того, чтобы на них остановиться. Он прозвал своих гренадеров «les grognards» {Ворчуны (фр.).}, щипал их за уши, дергал за усы. «Император то и дело проделывает над нами разные шутки», — вот что говорил о нем один из гренадеров. Во время таинственного переезда с острова Эльбы во Францию, 27 февраля, среди моря, французский военный бриг, встретившись с бригом «Inconstant» {Неверный (англ.).}, на котором скрывался Наполеон, осведомился, как поживает император. Наполеон, у которого в то время все еще была на шляпе белая с малиновым кокарда, усеянная пчелами, которую он носил на

острове Эльба, смеясь, схватил рупор и отвечал сам: «Император здоров!» Кто так шутит — не страшится событий. В продолжение завтрака 18 июня у Наполеона было несколько приступов смеха. После завтрака он сосредоточился на четверть часа, потом два генерала уселись на связке соломы с листами бумаги на коленях, с перьями в руках, и император продиктовал им боевой порядок.

В девять часов, в тот момент, когда французская армия, построенная эшелонами и пришедшая в движение пятью колоннами, развернулась вся, с артиллерией между бригадами, с барабанным боем, сигналами трубачей — могучая, необъятная, ликующая, целое море касок, сабель, штыков на горизонте, император в умилении воскликнул два раза подряд: «Великолепно! Великолепно!»

От девяти часов до половины одиннадцатого вся армия, — почти невероятная вещь, — успела занять позиции, расположилась шестью линиями, образуя, по выражению самого императора,

«фигуру из шести V». Спустя несколько минут после образования боевого порядка, среди глубокого затишья, предвестника бури, глядя, как проходили две батареи по двенадцать орудий, взятые по его приказанию у корпусов Друэ д'Эрлона, Рейлля и Лобо, и предназначенные начать сражение, ударив по Мон-Сен-Жан, где сходятся дороги из Нивелля и Женапа, император хлопнул Гаксо по плечу со словами: «Вот двадцать четыре красивых девушки, генерал!» Уверенный в исходе, он приветствовал улыбкой проходившую мимо него роту саперов первого корпуса, предназначенную им засесть в Мон-Сен-Жане, как только будет взято селение. Это радостное настроение было только однажды нарушено словом надменного сострадания; увидев, как по левую сторону, в том месте, где теперь возвышается громадная могила, сосредоточивались удивительные серые шотландцы на своих чудных конях, он промолвил: «Это жаль».

Потом он сел на лошадь, проехал несколько дальше Рассома и выбрал для наблюдательного

пункта узкий холмик, устланный дерном, направо от дороги из Женапа в Брюссель; это было вторым местом его пребывания во время сражения. Третий пункт — в семь часов вечера, Между Бель-Алльянсом и Ге-Сент — был страшен; это довольно высокий бугор, существующий и поныне; позади него в углублении равнины была сосредоточена гвардия. Вокруг холма ядра отскакивали рикошетом, ударялись о мостовую шоссе и долетали чуть не до самого императора. Как и в Бриенне, над головой его свистели пули и картечь. Почти на том самом месте, где стояла его лошадь, находили впоследствии осколки ядер, старые сабельные клинки, изъеденные ржавчиной. Несколько лет тому назад вырыли гранату, еще заряженную, но у нее была сломана трубка. На этой-то последней стоянке император говорил своему проводнику Лакосту, крестьянину лживому, враждебному, трусливому, которого привязали к гусарскому седлу и который вертелся при каждом залпе, стараясь спрятаться за Наполеона: «Дурак, это стыдно. Тебя убьют

сзади». Пишущий эти строки сам нашел в рыхлом склоне кургана, роясь в песке, остатки бомбы, заржавевшей за эти сорок шесть лет, и старые железные осколки, ломавшиеся в руках, как ветки бузины.

Волнообразная равнина, наклоненная в разные стороны, где происходила битва Наполеона с Веллингтоном, теперь уже вовсе не та, чем она была 18 июня 1815 года. Когда на этом могильном поле сооружали монумент, то уничтожили его природные выпуклости, и сбитый с толку историк уже не узнает его. Поле изуродовали, с целью прославить. Веллингтон два года спустя, увидев снова Ватерлоо, воскликнул: «Мне подменили мое поле сражения». Там, где теперь возвышается громадная земляная пирамида, увенчанная львом, была возвышенность, спускавшаяся к Нивеллю отлогим склоном, но круто обрывавшаяся со стороны Женапского шоссе. Высота этой крутизны может до сих пор быть измерена высотой насыпей двух больших могил, окаймляющих дорогу из Женапа в Брюссель;

одна из них — английская могила, другая — немецкая. Французской могилы нет. Для Франции все это поле — обширная гробница. Благодаря тысячам и тысячам повозок земли, использованным для сооружения насыпи в сто пятьдесят футов высотой и в полмили окружностью, плато Мон-Сен-Жан теперь обратилось в отлогую покатость; в день битвы, в особенности со стороны Ге-Сент, оно образовывало крутой обрывистый склон. Оно было сильно наклонено, так что английские пушки не видели под собой ферму, лежащую в глубине долины, центр сражения. 18 июня 1815 года дожди вдобавок изрыли эту крутизну, грязь затрудняла еще более подъем; по мере того как приходилось карабкаться, вязли в иле. Вдоль окраины плато проходил род рва, который издали невозможно было заметить.

Что это за ров? Объясним. Брэн л'Алле — бельгийская деревушка, Оэн — другая деревушка. Эти селения, скрытые оба в извилинах почвы, соединяются дорогой, длиною приблизительно в полторы мили, пересекающей волнообразную

равнину: дорога эта часто спускается и прорезает холмы, как борозда, вследствие чего в некоторых местах она образует род оврага. В 1815 году, как и сейчас, эта дорога перерезала окраину плато Мон-Сен-Жан между Женапским и Нивелльским шоссе; только в настоящее время она уже на одном уровне с равниной, а тогда она шла впадиной. Всю землю по обе стороны ее взяли на сооружение монумента-кургана. Эта дорога была настоящей траншеей почти на всем своем протяжении, траншеей, углубленной в некоторых местах почти на 12 футов; ее слишком крутые склоны обваливались тут и там, в особенности зимой, во время проливных дождей. Нередко бывали там несчастные случаи. Дорога была так узка близ Брэн л’Аллё, что один прохожий был раздавлен в этом месте повозкой, как свидетельствует каменный крест, на котором вырезано имя покойного: «Господин Дебри, брюссельский купец» и день несчастного случая — февраль 1637 года. Дорога вдавливалась так глубоко на плато Мон-Сен-Жан, что один крестьянин, Матье Никэз, был

раздавлен обвалом в 1783 году, как свидетельствует другой каменный крест, верхушка которого погибла, но опрокинутый пьедестал все еще виднеется на склоне из дерна по левую сторону шоссе между Ге-Сент и Мон-Сен-Жаном.

В день боя эта дорога, неожиданно образующая впадину на окраине плато Мон-Сен-Жана, этот овраг на вершине крутизны, скрытый в земле, был невидим издали и, следовательно, страшно опасен.

Глава 78

Итак, в утро сражения при Ватерлоо Наполеон был весел. И почему не быть веселым: задуманный им план сражения был действительно превосходен.

Когда началось сражение, его разнообразные перипетии мало волновали Наполеона: Гугомон отчаянно сопротивлялся, Ге-Сент упорствовал, Бодуэн был убит, Фуа выбыл из строя, бригада

Суа разбилась о неожиданную стену, Гильемино сделал роковой промах, не запасшись ни патронами, ни пороховницами; батареи вязли в грязи, пятнадцать орудий без эскорта были опрокинуты Укстбриджем в лощине, снаряды производили слабое действие в английских рядах; падая, они зарывались в рыхлую почву, размокшую от дождя, и поднимали целые вулканы грязи; демонстрация Пире на Брэн л'Аллё оказалась бесполезна, — вся эта кавалерия в 15 эскадронов была почти истреблена; нападения на правое английское крыло неудачны, к тому же произошло странное недоразумение, Ней построил четыре дивизии первого корпуса одной колонной каждую, вместо того чтобы расположить эшелонами, так что целые массы людей в двадцать семь рядов и по двести человек в каждом выставлялись под картечь, ядра пробивали в них страшные бреши; наступающие колонны были разъединены, фланговая батарея оставлена без прикрытия, Буржуа, Донзело, Дюрют находились в опасности, Кио был отбит, поручик Вьё — этот

геркулес из политехнической школы — ранен в ту минуту, когда он ударами топора выламывал ворота Ге-Сента под страшным огнем английской батареи, заграждавшей поворот дороги из Женапа в Брюссель; дивизия Марконье, попав между пехотой и кавалерией, была расстреляна среди хлебных полей Бестом и Паком, его батарея в семь орудий сбита, принц Саксен-Веймарский продолжал держаться, несмотря на усилия графа Эрлона, в Фришмоне и Смоэне, знамена 105-го и 45-го полков были взяты, прусский черный гусар, захваченный между Вавром и Планшенуа, рассказывал очень неутешительные вещи; Груши запоздал, полторы тысячи человек положены за какой-нибудь час во фруктовом саду Гугомона, тысяча восемьсот человек перебиты в еще меньший промежуток времени вокруг Ге-Сента — все эти бурные эпизоды, мелькавшие перед Наполеоном, как тучи, едва омрачили его взор и не нарушили его олимпийской уверенности. Наполеон привык смотреть войне прямо в глаза; он никогда не складывал цифру за цифрой горьких ее подробностей; ему не было

дела до цифр, лишь бы они давали итог: победу; пусть вначале будут неудачи, — он не тревожился, убежденный, что исход битвы в его руках; он умел ждать, полагая, что для него победа вне сомнения, он обращался с судьбой, как равный. Он как будто говорил судьбе: «Ты не посмеешь».

Сотканный наполовину из мрака и света, Наполеон чувствовал, что ему покровительствуют в добре и терпят в нем зло. Он пользовался или, по крайней мере, воображал, что пользуется, как бы сообщничеством событий, равносильным неуязвимости в древнем мире.

Тому, кто перенес Березину, Лейпциг и Фонтенбло, мне кажется, надо было бы опасаться Ватерлоо. Небеса грозно насупились.

В тот момент, когда Веллингтон попятился, Наполеон вздрогнул. Внезапно он увидел, как плато Мон-Сен-Жан очищается и фронт английской армии исчезает. Она скрылась, но в это время сосредоточивалась. Император

приподнялся на стременах. Молния победы сверкнула перед его очами.

Загнать Веллингтона в Суаньский лес и истребить — это окончательное поражение Англии Францией; это отместка за Креси, Пуатье, Мальплаке и Рамийи. Победитель при Маренго уничтожал Азенкур.

Тогда император, обдумывая эту страшную развязку, в последний раз оглядел через подзорную трубу все пункты поля битвы. Его свита позади наблюдала за ним с каким-то обожанием. Он углубился в раздумье; исследовал склоны, заметил каждый откос, рассматривал группы деревьев, полосы ржи, тропинки; он как будто пересчитывал все кусты. Пристально уставился он в английские баррикады на обоих шоссе, две широкие засеки из деревьев: баррикада на Женапском шоссе повыше Ге-Сента, вооруженная двумя пушками, единственными во всей английской артиллерии, простреливавшими все поле сражения, и баррикада на Нивелльской дороге, где сверкали

голландские штыки бригады Шассе. Он заметил около этой баррикады старую часовню Святого Николая, выкрашенную белой краской на углу поперечной дороги, идущей на Брэн л'Аллё. Он нагнулся и стал тихо говорить о чем-то с проводником Лакостом. Тот отрицательно покачал головой, должно быть, с коварным умыслом.

Император выпрямился и сосредоточился с мыслями. Веллингтон подался назад.

Оставалось только довершить это движение, сокрушив его. Наполеон, быстро обернувшись, отправил эстафету в Париж с вестью, что сражение выиграно.

Наполеон был один из тех гениев, которые мечут громы. И вот его самого ожидал громовой удар. Он отдал приказ кирасирам Мильо овладеть плато Мон-Сен-Жан.

Глава 79

Их было три тысячи пятьсот человек. Они растянулись фронтом на четверть мили. То были люди-великаны на исполинских конях. Их было двадцать шесть эскадронов; за ними в виде подкрепления стояли — дивизия Лефевра Денуэтта, 106 отборных жандармов, 1197 человек гвардейских конных егерей и гвардейские уланы — 880 пик. На них были каски без султанов и латы кованого железа, пистолеты в чушках на луке и длинные сабли. Утром вся армия любовалась ими, в 9 часов, когда при звуках труб и при громе музыки, игравшей «Будем на страже», они, пройдя плотной колонной с одной батареей во фланге, с другой в центре, выстроились двумя линиями между шоссе Женапа и Фришмона и заняли свое место во второй линии, так искусно составленной Наполеоном и которая, имея на левой оконечности кирасиров Келлермана, а на правой кирасиров Мильо, так сказать, обладала двумя железными крыльями.

Адъютант Бернар привез им приказ императора; Ней обнажил шпагу и встал во главе. Громадные эскадроны тронулись.

Тогда глазам представилось грозное зрелище.

Вся эта кавалерия, с обнаженными саблями, развевающимися по ветру штандартами, построенная в колонны по дивизиям, единым духом, как один человек, с силой и правильностью бронзового тарана, пробивающего брешь, спустилась по холму Бель-Алльянс, свернула в страшную глубь, где пало уже столько людей, исчезла там среди дыма, потом, выступая из мрака, появилась на другом склоне холма, такая же плотная и сжатая, взбираясь крупной рысью, сквозь облако картечи, лопающейся на их пути, по страшному, илистому склону плато Мон-Сен-Жан. Они все поднимались: величавые, грозные, невозмутимые; в промежутках между залпами ружей и артиллерии слышался их исполинский топот. Их было две дивизии, следовательно, две колонны; дивизия Ватье — справа, дивизия

Делора — слева. Издали казалось, будто на гребень плато ползут две чудовищные стальные змеи. Они прошли сквозь все поле битвы, как чудо.

Ничего подобного не было видно со времени взятия большого московского редута кавалерией; тут недоставало Мюрата, зато был Ней. Казалось, что вся эта масса превратилась в одно чудовище и имела одну душу. Эскадроны извивались и надувались, как кольца полипа. Они виднелись сквозь обширные облака дыма, разорванные тут и там. Хаос касок, криков, сабель, порывистые движения лошадиных крупов среди пушечных залпов, дисциплинированная, страшная сумятица; и поверх этого кирасиры, как чешуя гидры.

Этот рассказ как будто принадлежит иным векам. Нечто подобное этому видению являлось, вероятно, в древних мифологических эпопеях, где рассказывалось о полулюдях и полуконях, об античных гипантропах, титанах с человеческими головами и лошадиными туловищами, которые

вскачь взобрались на Олимп, страшные, неуязвимые, сверхъестественные.

Странное совпадение чисел — двадцать шесть батальонов готовились встретить эти двадцать шесть эскадронов. За гребнем плато, под тенью замаскированной батареи, английская пехота, построенная в тринадцать каре по два батальона в каждом и в две линии — семь в первой и шесть — во второй, с ружьями наперевес, прицелившись в пространство, ожидала спокойная, безмолвная, неподвижная. Она не видела кирасир, кирасиры не видели ее. Она слышала, как поднимались эти грозные живые волны. Она слышала, как постепенно усиливался топот этих трех тысяч лошадей, мерные удары копыт, шелест лат, звяканье сабель, какое-то дикое дыхание. Наступило зловещее безмолвие, потом внезапно над гребнем появился длинный ряд рук, потрясающих саблями, ряд касок, труб и штандартов, и три тысячи голов с седыми усами прогремели: «Да здравствует император!» Вся эта кавалерия вылетела на плато, и это появление было подобно землетрясению.

Вдруг — налево от англичан, направо от нас — голова кирасирской колонны встала на дыбы со страшным шумом. Дойдя до высшей точки гребня, кирасиры, необузданные, освирепевшие, в пылу увлечения своей всесокрушающей атаки на каре и батареи, вдруг увидели между собой и англичанами ров. То была дорога в Оэн, образующая впадину.

Это мгновение было ужасно. Ров неожиданно разверзся перед ними, зиял под самыми копытами лошадей, глубиной в две сажени, между откосами. Второй ряд столкнул туда первый; а третий столкнул второй; лошади взвивались на дыбы, откидывались назад, падали на круп, скользили, подняв все четыре ноги кверху, давили, мяли под собой всадников; никакой возможности отступить — вся колонна была как одно ядро; сила, приобретенная, чтобы раздавить англичан, сокрушила французов, неумолимый ров мог сдаться не иначе, как наполненный доверху; всадники и лошади валились туда как попало, давя друг друга, образуя одну сплошную массу тел в этой

пропасти, и когда ров наполнился живыми людьми, по ним прошли остальные. Почти треть бригады Дюбуа погибла в этой пропасти.

С этого началось поражение.

Местное предание, очевидно преувеличенное, говорит, что две тысячи лошадей и полторы тысячи людей были зарыты живьем в этом рву. Эта цифра, вероятно, включает и другие трупы, брошенные в ров на другой день после битвы.

Заметим кстати, что эта самая бригада Дюбуа, так жестоко пострадавшая, за час перед тем во время атаки захватила знамя люнебургского батальона.

Наполеон, прежде чем отдать приказ кирасирам Мильо произвести атаку, исследовал почву, но не мог видеть этой прорытой дороги, не образовавшей ни морщинки на поверхности плато. Предупрежденный, однако, и встревоженный маленькой белой часовней на углу этой дороги и Нивелльского шоссе, предвидя, вероятно, какое-нибудь препятствие, он обратился с вопросом к проводнику Лакосту. Тот

отвечал — нет. Можно почти сказать, что от этого кивка головы произошла вся катастрофа Наполеона.

Наступили и другие неприятности.

Была ли возможность у Наполеона выиграть это сражение? Отвечаем — нет. Почему? Благодаря Веллингтону? Благодаря Блюхеру? Нет. Благодаря Всевышнему.

Бонапарт победитель при Ватерлоо — это было бы событием вне законов XIX века. Готовилась другая череда событий, где Наполеону уже не было места. Немилость событий обнаружилась заранее.

Этому великому человеку пора было пасть.

Его непомерное значение в человеческих судьбах нарушало равновесие. Одно это существо больше значило, чем вся мировая масса; жизненная сила всего человечества, сосредоточенная в одной голове, в мозгу одного человека — это не могло продолжаться дольше, это было бы смертоносно для цивилизации.

Настала минута, когда высшая неподкупная справедливость должна была вмешаться. Вероятно, принципы и элементы, от которых зависит правильное тяготение в нравственном и материальном порядке, требовали этого. Дымящаяся кровь, переполненные кладбища, матери, обливающиеся слезами, — все это грозные обвинения. Когда мир страдает от излишнего бремени, в тени раздаются таинственные стоны и бездна внемлет им.

На императора был сделан донос на небесах, и падение его было решено.

Он мешал Богу.

Ватерлоо — не битва; это поворот развития всей вселенной.

Глава 80

Почти в ту же минуту, как перед французами возник ров, загремела батарея.

Все шестьдесят пушек и все тринадцать каре стали громить кирасиров чуть не в упор.

Неустрашимый генерал Делор сделал военный салют английской батарее.

Вся летучая английская кавалерия вскачь вернулась в каре. Кирасиры не остановились ни на один миг. Катастрофа во рву сократила их ряды, но не лишила мужества. Они были из тех людей, которые, уменьшаясь числом, приобретают мужество.

Дивизия Ватье одна пострадала от бедствия; дивизия Делора, которую Ней вел левее, словно предчувствуя западню, пришла в целости.

Кирасиры ринулись на английские каре. Они неслись на всем скаку, отпустив узды, с саблями в зубах, пистолетами в руках, — вот какова была атака.

В сражениях есть моменты, когда душа человека закаляется до того, что он превращается в статую, когда тело становится гранитом. Английские батальоны под бешеной атакой не дрогнули.

Тогда наступило нечто страшное.

Все английские каре были атакованы сразу. Бешеный вихрь окутал их. Эта хладнокровная пехота оставалась непоколебимой. Первый ряд, опустившись на одно колено, встречал кирасиров в штыки, второй ряд расстреливал их; за вторым рядом канониры заряжали пушки, фронт каре раздвигался, пропускал залп картечи и закрывался снова. Кирасиры отвечали, давя людей. Их гигантские кони взвивались на дыбы, перескакивали через ряды, через штыки и падали, как колоссы, среди этих живых четырех стен. Ядра делали бреши среди кирасиров, кирасиры пробивали бреши в каре. Целые ряды людей исчезали, сплюснутые под лошадьми. Штыки вонзались в брюхо кентавров. Отсюда причина невиданных разорванных ран. Каре, терзаемые этой бешеной кавалерией, смыкались, но не подавались. Своим неистощимым запасом картечи они производили опустошения в рядах атакующих. Картина этого боя была чудовищной. Эти каре были уже не батальоны, а кратеры; кирасиры — не кавалерия, а ураган. Каждое каре

было вулканом, охваченным облаком; лава боролась с громом и молнией.

Правое крайнее каре, более всего подверженное атаке, было почти совершенно истреблено с первого же натиска. Оно состояло из 75-го полка шотландских горцев. В самом его центре, в то время когда вокруг шла резня, шотландец играл на волынке песни гор, сидя на барабане, с полнейшим равнодушием потупив свой меланхоличный взор, еще полный отражений холмов и озер. Шотландцы умирали, помышляя о Бен Лотиане, точно так же, как греки вспоминали об Аргосе. Сабля кирасира, отсекая волынку вместе с державшей ее рукой, прекратила пение, убив певца.

Кирасиры, сравнительно немногочисленные, да еще ослабленные катастрофой во рву, имели против себя чуть ли не всю английскую армию, но они увеличивали свое число тем, что каждый из них дрался за десятерых. Между тем несколько ганноверских полков отступили. Веллингтон увидел это и подумал о своей

кавалерии. Если бы в этот же момент Наполеон вспомнил о своей пехоте, он выиграл бы сражение. Эта забывчивость была его великой, роковой ошибкой.

Внезапно нападающие кирасиры почувствовали, что их атакуют. За спиной у них была английская кавалерия. Впереди каре, позади Сомерсет, то есть 1400 гвардейских драгун. У Сомерсета по правую руку был Дорнберг с немецкой легкой кавалерией, а по левую Трип с бельгийскими карабинерами. Кирасиры, атакуемые и с фронта, и с флангов, и с тыла, и пехотой, и кавалерией, должны были отбиваться со всех сторон. Но что им до этого? Ведь они были вихрем. Их доблесть стала невообразимой.

Кроме того, в тылу у них непрерывно гремела батарея. Только благодаря этому эти люди могли быть ранены в спину. Одна из их кирас, пробитая у левой лопатки картечью, находится в коллекции музея Ватерлоо.

Для подобных французов противниками могли быть только такие же англичане.

То была не свалка, а туча, какое-то бешенство, головокружительный вихрь храбрости, ураган сабель, сверкающих как молнии. В один момент тысяча четыреста гвардейских драгун превратились в восемьсот; подполковник Фуллер пал мертвый. Ней подоспел с уланами и егерями Лефевра-Денуэтта. Плато Мон-Сен-Жан было взято. Кирасиры оставляли кавалерию и принимались за пехоту; в этой страшной сумятице они дрались врукопашную, не выпуская друг друга из рук. Каре продолжали держаться.

Было двенадцать атак. Под Неем убили четырех лошадей. Половина кирасиров осталась на плато. Эта борьба длилась два часа.

Она поставила английскую армию на грань поражения. Нет никакого сомнения, что если бы кирасиры не были ослаблены в самом начале катастрофой со рвом, они смяли бы центр и решили победу. Эта изумительная кавалерия поразила Клинтона, видевшего Бадахос и Талаверу. Веллингтон, на три четверти

побежденный, сам любовался ими, говоря: «Изумительно!» — это его подлинные слова.

Кирасиры уничтожили семь каре из тринадцати, захватили и заклепали шестьдесят пушек, отняли у английских полков шесть знамен, которые были принесены императору перед фермой Бель-Альянс тремя кирасирами и тремя егерями конной гвардии.

Положение Веллингтона ухудшилось. Эта странная битва была как оы поединком между двумя остервенелыми ранеными, которые, каждый со своей стороны нападая и отбиваясь непрерывно, истекают кровью. Кто падет первый?

Борьба на плато продолжалась.

До какого места дошли кирасиры? Никто не мог определить. Несомненно одно, на другой день после битвы труп кирасира с его лошадью был найден у весов для взвешивания повозок в Мон-Сен-Жане, в том месте, где перекрещиваются четыре дороги — из Нивелля, Женапа, Ла-Юльпа и Брюсселя. Этот всадник

пробился сквозь английские линии. Один из людей, поднявших этот труп, до сих пор проживает в Мон-Сен-Жане. Его зовут Дегаз. Тогда ему было восемнадцать лет.

Веллингтон почувствовал, что начинает колебаться. Кризис был близок.

Кирасиры не достигли успеха, в том смысле, что не сокрушили центра. Все обладали плато, оно, собственно, никому не принадлежало, — однако большая часть его все-таки оставалась за англичанами. Веллингтон владел селением и верхней равниной, Ней удерживал только гребень и склон. Обе стороны словно пустили корни в эту могильную почву.

Но ослабление англичан казалось непоправимым. Потери в армии были ужасны. Кемпт, на левом крыле, требовал подкреплений. «Их нет, — отвечал Веллингтон, — пусть даст себя убить!» Почти в тот же момент — и это странное сближение рисует истощение обеих армий, Ней требовал у Наполеона пехоты и

Наполеон восклицал: «Пехоты! А где я ее возьму! Не могу же я ее создать!»

Однако английская армия страдала еще сильнее. Бешеные натиски этих гигантских эскадронов с коваными латами и стальной грудью смяли пехоту. Несколько человек, сосредоточенных вокруг знамени, обозначали место такого-то полка; многими батальонами командовали капитаны или поручики; дивизия Альтена, уже сильно пострадавшая у Ге-Сента, была почти истреблена; неустрашимые бельгийцы бригады Ван-Клузе усеяли своими телами ржаное поле вдоль Нивелльской дороги; не оставалось почти ни единого человека от тех голландских гренадеров, которые в 1881 году в Испании дрались в одних рядах с французами против Веллингтона, а в 1815 году, примкнув к англичанам, сражались против Наполеона. Потери среди офицеров были очень значительны. У лорда Уксбриджа, который на другой день велел похоронить свою ногу, было раздроблено колено. Со стороны французов во время атаки кирасиров Делор, Леритье, Кольбер, Дноп,

Траверс и Бланкар выбыли из строя, зато и у англичан — Альтен был ранен, Бэрн — ранен, Деланси — убит, Ван-Меерен — убит, Омитеда — убит. Весь генеральный штаб Веллингтона пострадал, — и на долю Англии выпадала горькая участь в этом кровавом равновесии. 2-й полк гвардейской пехоты лишился пяти полковников, четырех капитанов, трех поручиков; первый батальон 30-го пехотного полка потерял двадцать четыре офицера и сто двенадцать солдат, у 79-го полка горцев было ранено двадцать четыре офицера, убито восемнадцать офицеров и четыреста пятьдесят рядовых. Ганноверские гусары Кумберленда — целый полк с полковником Гаке во главе (которого впоследствии судили и разжаловали) — повернули коней и бежали по направлению к Суаньскому лесу, сея панику, до самого Брюсселя. Обоз, фургоны, полные раненых, увидев, что французы овладевают полем боя и продвигаются к лесу, кидались туда; голландцы, изрубленные саблями французской кавалерии, били тревогу. От Вер-Куку до

Грёнендаля, на протяжении почти двух миль по направлению Брюсселя, вся местность была запружена беглецами, по свидетельству очевидцев, которые живы до сих пор. Эта паника была до того сильна, что охватила принца Колде в Мехельне и Людовика XVIII — в Генте. За исключением слабого резерва, расположенного эшелонами позади лазарета, устроенного в ферме Сен-Жан, и бригад Вивиена и Ванделера, на левом крыле, у Веллингтона не оставалось больше кавалерии. Множество орудий валялись с разбитыми лафетами.

Эти факты подтверждены Сиборном, а Прингль, преувеличивая бедствие, говорит даже, будто англо-голландская армия уменьшилась до тридцати четырех тысяч человек. Железный герцог оставался невозмутимым, но губы его побелели. Австрийский военный агент Винцент, испанский агент Алава, присутствовавшие при сражении в английском штабе, считали герцога погибшим. В пять часов Веллингтон вынул часы и прошептал мрачные слова: «Блюхер или ночь!»

Примерно в это время ряд штыков сверкнул вдалеке на высотах в стороне Фришмона.

Тогда и наступил перелом в этой исполинской драме.

Глава 81

Всем известно горькое заблуждение Наполеона: он надеялся, что идет Груши, вместо него явился Блюхер. Смерть — вместо жизни.

Судьба иногда делает такие крутые повороты: человек ждет всемирного престола и вместо того получает Святую Елену.

Если бы маленький пастух, служивший проводником Бюлову, посоветовал ему выйти из леса повыше Фришмона, а не ниже Планшенуа, быть может, тогда ход XIX века был бы иной. Наполеон выиграл бы сражение при Ватерлоо. Следуя всякому иному пути, кроме пролегающего ниже Планшенуа, прусская армия наткнулась бы на овраг, непроходимый для артиллерии, и Бюлов не подоспел бы вовремя. Между тем еще один

час промедления (это говорит прусский генерал Мюфлинг) и тогда Блюхер уже не застал бы Веллингтона на ногах — «сражение было бы окончательно проиграно».

Как видно, пора было Блюхеру явиться. Он, впрочем, сильно запоздал. Он стоял бивуаком на Дион-ле-Моне и выступил с зарей. Но дороги везде оказались непроходимы, дивизии застревали в грязи. Пушки вязли по самые ступицы колес. Кроме того, пришлось переправляться через реку Диль по узкому Ваврскому мосту; улица, ведущая к мосту, была подожжена французами; артиллерийские фуры не могли пройти сквозь двойной ряд пылающих домов и должны были подождать, пока потухнет пожар. Был уже полдень, а авангард Бюлова еще не добрался до Шапель-Сен-Ламбер.

Если бы сражение началось двумя часами ранее, оно окончилось бы в четыре часа, и Блюхер застал бы сражение, выигранное Наполеоном. Таковы эти великие случайности, которых мы не можем постичь.

Еще в полдень император первым заметил на горизонте с помощью подзорной трубы нечто, привлекшее его внимание. «Я вижу там вдали облако, — сказал он, — которое кажется мне войском». Потом он обратился к герцогу Далматскому: «Сульт, что вы видите по направлению Шапель-Сен-Ламбер?» Маршал, направив свою подзорную трубу, отвечал: «Четыре или пять тысяч человек, ваше величество. Это, очевидно, Груши». Между тем предмет не двигался во мгле. Все подзорные трубы штабных офицеров изучали «облако», замеченное императором. Некоторые говорили: это колонны войск на отдыхе. Но большинство полагало, что это деревья. Император отрядил на рекогносцировку туда дивизион легкой кавалерии Домона.

Бюлов действительно не двигался. Авангард его был очень слаб и ни на что не способен. Он вынужден был ждать главные силы армии, и ему был дан приказ сосредоточиться, прежде чем выстроиться в линии; но в пять часов, видя опасность Веллингтона, Блюхер приказал Бюлову

наступать и произнес знаменитые слова: «Надо дать вздохнуть английской армии».

Немного спустя дивизии Лостина, Гиллера, Гаке и Рисселя развернулись перед корпусом Лобо, кавалерия принца Вильгельма Прусского выступила из Парижского леса, Планшенуа было объято пламенем, и прусские ядра посыпались градом, доходя до самых рядов гвардии, стоявших в резерве позади Наполеона.

Глава 82

Остальное известно; появление третьей армии, внезапный гром 86 пушечных жерл, появление Пирха I вместе с Бюловом, кавалерия Цитена, предводительствуемая самим Блюхером; французы оттеснены, Марконье сбит с Оэнского плато, Дюрют выбит из Папелота, Данзело и Кио отбиты, Лобо окружен, — новые испытания обрушились в сумерках на наши разрозненные полки, вся английская линия перешла в наступление, гигантская брешь пробита во французской армии, английская и прусская

картечи свирепствуют заодно, производя опустошение с фронта и с флангов. И вот среди этого страшного разрушения в бой вступает гвардия.

Предчувствуя, что ей суждено умереть, гвардия восклицала: «Да здравствует император!» В истории нет ничего трогательнее этой агонии, сопровождаемой восторженными возгласами.

Весь день небо было покрыто тучами. Вдруг в этот самый момент — в восемь часов вечера — тучи на горизонте разорвались и пропустили сквозь большие вязы на Нивелльской дороге зловещий красный отблеск заходящего солнца. Это солнце всходило под Аустерлицем.

Каждый гвардейский батальон был под начальством генерала. Фриан, Мишель, Рагэ, Гарлэ, Малье, Поре де Морван — все они были там. Когда во мгле свалки появились высокие шапки гвардейских гренадеров, с орлами, симметрично выстроенные в линии, невозмутимые, неприятель почувствовал уважение к Франции; казалось, будто двадцать

побед вступили на поле битвы с распущенными крыльями, и победители, считая себя побежденными, вдруг попятились; но Веллингтон крикнул: «Вперед, гвардейцы, и цельтесь вернее!» Красный полк английской гвардии, залегший позади изгороди, вскочил, и целая туча пуль пробила трехцветное знамя, трепещущее над нашими орлами; все ринулись вперед, и началась невообразимая резня. Императорская гвардия чувствовала в потемках, как армия колеблется вокруг нее, чувствовала общее потрясение, предвестник беспорядочного бегства, слышала крики: «Спасайся!» вместо: «Да здравствует император!», и в то время, когда все бежало за ней, продолжала идти вперед, изнемогая все более и более, оставляя павших на каждом шагу. Среди них не было ни робких, ни нерешительных. Каждый солдат и офицер здесь был таким же героем, как и генерал. Ни один человек не уклонился от самоубийства.

Ней, обезумевший, неустрашимый, готовый принять смерть, подставлял грудь ударам среди этой бури. Под ним убили пятую лошадь. Весь в

поту, со сверкающими глазами, с пеной у рта, с расстегнутым мундиром, с одним эполетом, полуотсеченным сабельным ударом, со звездой, пробитой пулей, забрызганный кровью и грязью, великолепный, он потрясал сломанной шпагой и восклицал: «Смотрите, как умирает маршал Франции!» Но тщетно: он не умер. Он обезумел и негодовал. Он спросил Друэ д'Эрлона: «Разве тебе не страшно самого себя?» Среди артиллерии, сокрушающей горсть людей, он кричал: «Разве не найдется ничего на мою долю! О, как я желал бы, чтобы эти английские ядра все впились в мое тело!» Несчастный, ты сохранился для того, чтобы погибнуть от французских пуль!

Глава 83

Бегство позади гвардии было повальным.

Армия вдруг подалась со всех сторон сразу — у Гугомона, Ге-Сента, Папелота и Планшенуа; вслед за криками: «Измена!» раздалось: «Спасайся!» Армия, приходящая в расстройство — это как оттепель. Все подается,

лопается, трещит, валится, сталкивается, спешит, кидается в стороны. Невообразимое расстройство. Ней берет у кого-то лошадь, вскакивает на нее без шляпы, без галстука, без шпаги, становится поперек Брюссельского шоссе, останавливает и англичан, и французов. Он старается удержать армию, зовет, осыпает ее ругательствами, цепляется за бегущих. Но его не слушают, солдаты бегут с криками: «Да здравствует маршал Ней!» Два полка Дюрюта мечутся взад и вперед как ошалелые, между сабель уланов и залпов бригад Кемита, Беста, Пака и Риландта; самая худшая свалка — это бегство; друзья убивают друг друга; эскадроны и батальоны разбиваются один о другой и рассеиваются — это страшная пена битвы. Лобо на одном крыле, Рейлль на другом — увлечены потоком. Тщетно Наполеон делает заграждения при помощи остающейся у него гвардии; тщетно он тратит на последнее усилие свои запасные эскадроны. Кио отступает перед Вивиеном, Келлерман — перед Ванделером, Лобо — перед Бюловом, Моран — перед Пирхом, Домон и

Сюбервик — перед принцем Вильгельмом Прусским. Гюйо, который повел в атаку эскадроны императора, затоптан английскими драгунами. Наполеон галопом скачет вдоль рядов беглецов, увещевает их, грозит, умоляет. Все уста, кричавшие утром: «Да здравствует император!», теперь безмолвствуют; его почти не узнают. Вновь прибывшая прусская кавалерия кидается на них, разит, рубит, убивает, истребляет. Конная артиллерия сталкивается; упряжные лошади бесятся, солдаты обоза распрягают лошадей и спасаются на них, фургоны, опрокинутые колесами кверху, загромождают дорогу, что еще усиливает резню. Люди давят друг друга, топчут мертвецов и живых. Руки рубят напропалую. Беспорядочная толпа наводняет дороги, тропинки, мосты, равнины, холмы, долины — все это переполнено обращенной в бегство сорокатысячной массой. Крики, отчаяние… ранцы и ружья летят в рожь, дорогу расчищают саблями — нет больше ни товарищей, ни офицеров, ни генералов — остается один невообразимый ужас. Цитен рубит

французов вволю. Львы превращаются в зайцев. Вот что такое бегство.

В Женапе попробовали остановиться, выстроиться в ряды, Лобо собрал до трехсот человек. Устроили баррикады при входе в селение, но при первом же залпе прусской артиллерии все снова пустилось бежать, и Лобо был взят в плен. До сих пор остались следы этого залпа картечи на ветхом кирпичном домишке по правую сторону дороги и некотором расстоянии от входа в Женап. Пруссаки с яростью накинулись на Женап, гневаясь, что им так легко досталась победа. Погоня была чудовищная. Блюхер приказал пленных не брать. Рагэ подал мрачный пример, пригрозив смертью всякому гренадеру, который приведет к нему прусского пленного. Блюхер перещеголял Рагэ. Генерал молодой гвардии, Дюгем, прижатый к дверям одной женапской гостиницы, отдал свое оружие гусару, тот взял оружие и убил пленного. Победа закончилась избиением побежденных. В качестве историка мы вынуждены признать: старик Блюхер обесчестил себя. Это зверство

переполнило чашу бедствия. Отчаянная, беспорядочная толпа бегущих промчалась через Женап, через Катр-Бра, промчалась через Гассели, через Фран, через Шарлеруа, через Туин и остановилась лишь на границе. Увы! И кто же бежал таким образом? Великая армия. И это смятение, этот ужас, эта гибель величайшей храбрости, когда-либо удивлявшей историю, — неужели все это было так, без причины? Нет. Тень Божьего перста падает на Ватерлоо. Это роковой день. Нечеловеческая сила создала его. Оттого-то в ужасе преклонились эти головы; оттого-то все эти великие души сложили оружие. Победители всей Европы пали сокрушенные, они оказались бессильны, они ощущали присутствие чего-то грозного и таинственного. Hoc erat in fatis {Так было суждено (лат.).}. В этот день будущее человеческого рода изменилось. Ватерлоо — это великий поворот XIX века. Исчезновение великого человека было необходимо для наступления великого века. И это дело приняло на себя существо, которому не возражают. Паника героев легко объясняется. В сражении

при Ватерлоо промчалось не облако, а метеор. Тут видно присутствие Бога.

Когда сгущался мрак ночи, Бернар и Бертран в поле близ Женапа поймали за полу сюртука человека растерянного, задумчивого, сумрачного; увлеченный туда потоком общего бегства, он слез с лошади, взял в руку уздечку и с растерянным взором одиноко возвращался к Ватерлоо. То был Наполеон, пытавшийся идти вперед, великий лунатик своей разрушенной мечты.

Глава 84

Несколько каре гвардии, неподвижные среди потока общего бегства, как утесы среди волн, держались до вечера. Настала ночь, а с нею смерть; они ждали, когда опустится над ними этот двойной мрак и, непоколебимые, окунулись в него. Каждый полк, отделенный от другого и не имея более никакой связи с армией, умирал сам по себе. Для этого последнего дела они заняли позиции частью на Россомских высотах, частью на равнине Мон-Сен-Жан. Там, покинутые,

побежденные, грозные — эти мрачные каре умирали страшной смертью. В них умирали Ульм, Ваграм, Иена, Фридланд.

В сумерках, около девяти часов вечера, у подошвы горы Сен-Жан оставалось еще одно каре. В роковой долине, у подножия склона, на который взбирались кирасиры и который теперь наводнен был английскими войсками, под перекрестным огнем победоносной неприятельской артиллерии, под страшной тучей снарядов — это каре продолжало бороться. Им командовал неизвестный офицер, некто Камбронн. При каждом залпе каре таяло и отбивалось. Оно отвечало на картечь пулями, все теснее смыкая свои ряды. Вдали беглецы, останавливаясь минутами для отдыха, слышали во мраке раскаты этого грома, постепенно ослабевавшие.

Когда легион превратился в горсть людей, когда ружья, истощив пули, стали простыми палками, когда груда трупов стала больше кучки живых, победители ощутили какой-то священный

ужас вокруг этих благородных умирающих воинов, и английская артиллерия умолкла, точно переводя дыхание. То был как бы отдых. Сражающиеся увидели вокруг себя рой каких-то призраков, силуэты людей на конях, черный профиль пушек, беловатое небо сквозь колеса и лафеты; колоссальная мертвая голова, которую герои всегда видят сквозь дым, в глубине сражения надвигалась на них и смотрела им в очи. Во мгле сумерек они могли слышать, как заряжали орудия; зажженные фитили, светящиеся как глаза тигров в темноте, образовали цепь вокруг их голов; все фитили английских батарей приблизились к пушкам, и тогда, взволнованный, держа страшный момент на весу, английский генерал Кольвилль — другие говорят — Мэтланд, воскликнул: «Храбрые французы, сдавайтесь!» Камбронн отвечал им: «Merde!» {Дерьмо! (фр.).}

Глава 85

Французский читатель требует уважения, поэтому нельзя повторять самое чудное слово,

когда-либо произнесенное французом. Этот запрет вносит высокий элемент в историю.

На свой собственный страх и риск, мы переступим через этот запрет.

Итак, среди этих исполинов был титан — Камбронн.

Произнести это слово и потом умереть — есть ли что-нибудь более возвышенное? Ибо идти на смерть — значит умереть, и человек этот не виноват, если он остался в живых, когда вокруг него сыпалась картечь.

Сражение при Ватерлоо выиграл не разгромленный Наполеон, не Веллингтон, отступивший в четыре часа и доведенный до отчаяния в пять часов, не Блюхер, который вовсе не сражался; человек, выигравший сражение при Ватерлоо, — Камбронн.

Сразить таким словом гром, убивающий вас — это значит победить.

Бросить такой ответ в лицо смерти, сказать это судьбе, положить такое основание будущему

льву, кинуть эту реплику ночному ливню, предательской стене Гугомона, Оэнскому оврагу, промедлению Груши, прибытию Блюхера, быть иронией могилы, потопить в двух слогах всю европейскую коалицию, превратить самое последнее слово в самое первое, придав ему блеск, свойственный Франции, дерзко завершить Ватерлоо карнавалом, соединить доблесть Леонида с вольностью Рабле, воспроизвести эту победу удивительным, пусть и неудобопроизносимым словом, потерять почву под ногами, но прославить себя в истории, после всей этой резни потешить любителей посмеяться — это колоссально. Это оскорбление грому, это достигает эсхилловского величия.

Слово Камбронна производит впечатление, — удара силой презрения; это взрыв агонии. Кто победил? Веллингтон? Нет. Без Блюхера он погиб бы. Блюхер? Нет, если бы Веллингтон не начал, Блюхер не мог бы закончить. Победил Камбронн. Этот человек, явившийся в последнюю минуту, этот неизвестный солдат, эта бесконечно малая единица войны, чувствует вдруг, что есть какая-

то ложь в катастрофе, и в ту минуту, когда он разражается яростью, ему предлагают как на посмеяние — жизнь! Как не возмутиться? Вот они тут перед вами, все эти Юпитеры-громовержцы; у них сто тысяч победоносных войск, а за этими ста тысячами — миллион; их пушки с фитилями наготове зияют; они попирают пятой императорскую гвардию и великую армию, они сокрушили Наполеона, остался один Камбронн; для протеста остался один этот червь. Но он будет протестовать. Он ищет выражения, как другой ищет шпаги. У него пена у рта, и эта пена выражается этим словом. Перед этой победой, без победителей, один человек в отчаянии воспрянул; он подчиняется чудовищности этой победы, но признает и ее ничтожность, он плюет на нее и даже более; и подавленный численностью, силой, материей, он находит в душе своей одно слово! Повторяем: сказать это, поступить так, как он поступил, значит — стать победителем.

Дух славных дней вошел в этого неизвестного человека в роковую минуту; Камбронн отыскал

это знаменитое слово битвы при Ватерлоо, как Руже де Лиль отыскал «Марсельезу», по наитию свыше. Порыв божественной бури коснулся этих людей, они дрогнули, у одного вылилась великая песня, у другого — вырвалось это ужасное восклицание. Камбронн бросает это слово титанического презрения не только всей Европе от имени империи, — этого мало; он бросает его прошлому от имени революции. В Камбронне чувствуется душа былых гигантов. Словно слышишь восклицание Дантона или рык Клебера.

В ответ на слово Камбронна английский голос воскликнул: «Пли!», батареи сверкнули, холм затрясся, все чугунные пасти сразу изрыгнули последний страшный залп картечи, появилось необъятное облако дыма, слегка побелевшее от лунного света, и, когда рассеялось облако, — все исчезло. Эта грозная горсть была истреблена, гвардии не стало. Четыре стены живого редута лежали распростертые, — тут и там пробегала дрожь между трупами; вот как французские легионы, более великие, нежели римские, пали на плато Мон-Сен-Жан, на земле, измокшей от

дождя и крови, среди темных нив, в том месте, где теперь каждый день в четыре часа утра проезжает, весело посвистывая и стегая свою лошадку, Жозеф, который возит почту в Нивелль.

Глава 86

Сражение при Ватерлоо — загадка. Загадка такая же темная как для тех, кто его выиграл, так и для тех, кто его проиграл. Для Наполеона это была паника {Оконченное сражение, исправленные ложные меры, величайший успех, обеспеченный на следующий день, — все погибло благодаря моменту панического ужаса (Наполеон, Dictées de Sainte-Helene).}; Блюхер видит в нем один огонь, Веллингтон в нем ровно ничего не понимает. Взгляните на донесения. Бюллетени смутны, комментарии запутанны. Одни сбиваются, другие заикаются, Жомини делит сражение при Ватерлоо на четыре этапа; Мюффлинг видит в нем три; Шаррас — хотя в некоторых случаях мы и не соглашаемся с ним, — один охватил своим орлиным взглядом

характерные очертания этой катастрофы человеческого гения в борьбе с божественным предопределением. Все историки как будто ослеплены и среди ослепления ходят ощупью. Действительно, это был грозный день, разрушение военной монархии, которое, к великому изумлению европейских королей, увлекло за собой все королевства, — падение силы, прекращение войны.

В этом событии, носящем печать сверхъестественной неизбежности, доля людей ничтожна.

Отнять Ватерлоо у Веллингтона, у Блюхера — значит ли это отнять что-нибудь у Англии и у Германии? Нет. Ни о славной Англии, ни о величественной Германии не может быть и речи в вопросе о Ватерлоо. Благодаря Богу народы велики независимо от печальных событий войны. Ни Германия, ни Англия, ни Франция не держали мечей в ножнах. В эту эпоху бряцания мечей кроме Блюхера у Германии есть Шиллер, у Англии кроме Веллингтона есть

Байрон. Обширная заря мысли свойственна нашему веку, и в этой заре Англия и Германия сияют лучезарным светом. Они величественны, потому что мыслят. Поднятие ими уровня цивилизации нераздельно с ними — оно происходит от них самих, а не от случайности. Величие их в XIX веке проистекает не из Ватерлоо. Только одни варварские народы быстро растут после победы; это как временное разлитие потока после бури. Цивилизованные народы, в особенности в наши времена, не поднимаются и не падают благодаря удаче или неудаче полководцев. Их вес в истории человечества зависит от более важных событий, нежели сражение. Слава богу, их честь, их достоинство, их просвещение, их гений не номера, которые герои и полководцы, как игроки, вытягивают на лотерее сражений. Часто бывает, что сражение проиграно, прогресс завоеван. Поменьше славы, побольше свободы. Барабанный бой умолкает, разум поднимает голову. Это игра, в которой выигрывает тот, кто проиграл. Итак, будем говорить о Ватерлоо хладнокровно, обсуждая его

с двух сторон. Воздадим случаю, что принадлежит ему, а Богу, что принадлежит Богу. Что такое Ватерлоо? Победа? Нет. Это игра в кости, выигранная Европой, оплаченная Францией.

Не очень-то стоило ставить там льва.

Ватерлоо, впрочем, самое странное столкновение в истории. Наполеон и Веллингтон — это не враги, а контрасты. Никогда еще Бог не сводил вместе такие разительные противоположности. С одной стороны, точность, прозорливость, геометрия, расчет, обеспеченное отступление, заготовленные запасы, упорное хладнокровие, невозмутимый метод, правильная стратегия, тактика, уравновешивающая батальоны, резня, сдержанная дисциплиной, война с часами в руках, старая классическая храбрость, безусловная правильность; с другой стороны, какое-то ясновидение, дар предугадывания, военная оригинальность, нечеловеческий инстинкт, пронзающий взор, взор орла и сила грома небесного, изумительное

искусство, соединенное с презрительной пылкостью, — все тайны глубокой души; сами реки, равнины, леса, холмы призваны повиноваться велениям деспота, который доходит до того, что пытается подчинить себе само поле сражения: это вера в звезду, смешанная со стратегическим искусством. Веллингтон был Баремом войны, а Наполеон — ее Микеланджело, и на этот раз гений был побежден расчетом.

С обеих сторон кого-то ожидали. Успех выпал на долю того, кто точнее рассчитал. Наполеон ждал Груши; он не явился. Веллингтон ждал Блюхера; он прибыл.

Веллингтон — это классическая война, берущая реванш. Бонапарт на взлете своей славы встретил ее в Италии и победоносно сокрушил. Старая сова бежала перед юным ястребом. Старая тактика была не только поражена, но и оконфужена. Кто был этот двадцатишестилетний корсиканец, этот великолепный невежда, который, имея против себя все, — без провианта, без запасов, без пушек, без обуви, почти без

армии, с горстью людей против громадных масс, кидался на европейскую коалицию и нелепо, невозможным образом выигрывал сражения? откуда вырвался этот грозный безумец, который, почти не переводя дыхания, с одними и теми же силами, сокрушил в прах одну за другой пять армий императора германского, опрокинул Больe на Альвинци, Вурмсера — на Больe, Меласа — на Вурмсера, Макка — на Меласа. Военная академия предала его отлучению. Отсюда возникла непримиримая вражда между старым цезаризмом и новым, вражда между вышколенной саблей и огненным мечом, вражда между шахматной доской и гением. 18 июня 1815 года было сказано последнее слово этой борьбы и под Лоди, Монтебелло, Мантуей, Маренго, Арколе, было начертано: «Ватерлоо — триумф посредственностей». Судьба допустила эту иронию. На закате своей славы Наполеон увидел перед собой помолодевшего Вурмсера. Действительно, чтобы получить Вурмсера, достаточно побелить волосы Веллингтона.

Ватерлоо — великая битва, выигранная посредственным полководцем.

Чему надо удивляться в сражении при Ватерлоо — так это Англии, английской стойкости, английской решимости, английскому хладнокровию; всего достойнее удивления в этом бою была сама Англия; не ее полководец, а ее армия.

Веллингтон с черной неблагодарностью заявляет в письме к лорду Бетгёрсту, что его армия — армия, сражавшаяся 15 июня 1815 года, — «отвратительная армия». Что думает об этом мрачная груда костей, зарытых в земле Ватерлоо?

Англия была слишком скромна в отношении Веллингтона. Возвеличить таким образом Веллингтона — значит умалить Англию. Веллингтон такой же герой, как и всякий другой. Но что было действительно величественно — это его серые шотландцы, эта конная гвардия, эти полки Метланда, эта пехота Нака и Кемпта, эти горцы, играющие на волынке под градом картечи,

эти батальоны Рейланда, эти рекруты, едва умеющие владеть мушкетами и устоявшие против старых вояк Эсслинга и Риволи. Веллингтон отличался стойкостью, то была его заслуга, и мы ее не оспариваем; но последний из его пехотинцев и его всадников был так же стоек, как он сам. Железный солдат стоит железного герцога. Что касается нас, то вся наша похвала принадлежит английскому солдату, английской армии, английскому народу. Если есть трофеи в этом сражении, то ими обязаны Англии. Колонна Ватерлоо по справедливости должна была бы вместо изображения одного человека возвести к небесам статую целого народа.

Великая Англия, может быть, придет в гнев от того, что мы говорим здесь. После своего 1688 года и после нашего 1789 она еще сохранила феодальную иллюзию. Она верит в наследственность и в иерархию. Этот народ, которому нет равного в могуществе и славе, ценит себя как нацию, а не как народ. Что касается народа, то он охотно подчиняется лорду.

Как рабочий, англичанин позволяет презирать себя, как солдат — он дает бить себя палкой.

Известно, что после Инкерманского сражения сержант, который, очевидно, спас всю армию, не мог быть упомянут лордом Рагланом, так как английская военная иерархия не дозволяет включать в рапорты героев ниже офицерского чина.

Чему мы удивляемся больше всего в сражении при Ватерлоо — так это изумительному искусству случая. Ночной дождь, Гугомонская стена, Оэнский овраг, Груши, не услышавший пушек, проводник, обманувший Наполеона, проводник, показавший правильный путь Бюлову, — вся эта цепь событий чудесно проведена.

В итоге скажем, что при Ватерлоо было больше резни, чем сражения.

Ватерлоо изо всех правильных сражений имеет наименьший фронт на такое количество сражающихся. Наполеоновские силы растянуты на три четверти мили, силы Веллингтона — на

полмили; с каждой стороны по семьдесят две тысячи сражающихся; от этой густоты масс и произошла резня.

Получается следующая пропорция. Потери людьми: под Аустерлицем — у французов четырнадцать процентов; у русских тридцать процентов; у австрийцев сорок четыре процента. При Ваграме у французов тринадцать процентов, у австрийцев четырнадцать. Под Москвой у французов тридцать семь процентов, у русских сорок четыре. При Бауцене у французов тринадцать процентов, у русских и у пруссаков четырнадцать. При Ватерлоо у французов пятьдесят шесть процентов, у союзной армии тридцать один. Сто сорок четыре тысячи сражающихся; шестьдесят тысяч трупов.

В настоящее время поле Ватерлоо дышит безмятежным спокойствием, свойственным земле, невозмутимому оплоту человека; это поле похоже на все равнины.

Впрочем, по ночам какая-то призрачная мгла отделяется от него, и когда прохожий путник

бродит по нему, вглядываясь, прислушиваясь, мечтая, — как Вергилий на роковых равнинах Филипп, его охватывает галлюцинация катастрофы. Страшное 18 июня снова оживляет курган — монумент исчезает, лев стушевывается, поле битвы воскресает со всей реальностью; ряды пехоты извиваются по равнине; кавалерия в бешеном галопе мелькает на горизонте; испуганный мечтатель видит сверканье сабель, блеск штыков, вспышки выстрелов, перекрестные молнии, ему слышится стон из глубины могил, смутный гул призрачного сражения; эти тени — это гренадеры; эти мелькающие огни — кирасиры; этот скелет — Наполеон, а этот — Веллингтон. Все это уже не существует, но продолжает сражаться. Овраги обагряются кровью, деревья трепещут, яростный бой поднимается до самых небес, и в потемках эти грозные высоты, Мон-Сен-Жан, Гугомон, Фришмон, Папелот, Планшенуа, являются смутно увенчанные вихрем призраков, истребляющих друг друга.

Глава 87

Существует либеральная школа, очень почтенная, которая не осуждает Ватерлоо. Мы не принадлежим к ней. Для нас Ватерлоо не более как негаданное нарождение свободы. Что такой орел вылупился из подобного яйца, это было, конечно, неожиданностью.

Если встать на высшую точку зрения вопроса, Ватерлоо есть контрреволюционная победа. Это Европа против Франции; это Петербург, Берлин, Вена против Парижа; это status quo {Существующее положение вещей, застой (лат.).} против инициативы, это нападение на 14 июля 1789 через 20 марта 1814 года; это тревога, поднятая монархиями против неукротимого французского мятежа. Подавить наконец этот великий народ, волнующийся в течение двадцати шести лет, — вот какова была мечта. Солидарность Брауншвейгов, Нассау, Гогенцоллернов, Габсбургов с Бурбонами. Ватерлоо несет на себе восстановление священных прав. Правда, что так как империя

была деспотической, то королевская власть в силу естественной реакции поневоле должна была быть либеральной, и конституционный режим родился из Ватерлоо, к великому сожалению победителей. Дело в том, что революция не может быть побеждена; она роковым образом появляется снова — до Ватерлоо в Бонапарте, свергнувшем старые престолы, после Ватерлоо в Людовике XVIII. Бонапарт возводит форейтора на неаполитанский престол и сержанта на престол шведский, — самой этой неравностью доказывая равенство; Людовик XVIII в Сент-Уэне подписывает декларацию прав человека. Хотите вы дать себе отчет в том, что такое революция, назовите ее прогрессом; а хотите знать, что такое прогресс, назовите его завтрашним днем. Завтрашний день неудержимо делает свое дело и начинает его с сегодняшнего дня. Странным образом он всегда достигает своей цели. Через посредство Веллингтона он делает из Фуа, который был только воином, — оратора. Фуа падает в Гугомоне и поднимается на трибуне. Так идет

прогресс. Он не брезгает любыми средствами. Он не смущаясь приспосабливает к своему божественному делу и человека, перешагнувшего через Альпы, и бедного больного, шатающегося старика. Он пользуется и подагриком, и победителем; победителем извне, подагриком внутри. Ватерлоо, положив конец разрушению европейских престолов мечом, не имело иного действия, как продолжение революционного дела с другой стороны. Воины закончили свое дело, мыслители принялись за свое. Сражение при Ватерлоо пыталось остановить век, но он просто перешагнул через него и продолжал свой путь. Эта зловещая победа была побеждена свободой.

В сущности бесспорно, что при Ватерлоо торжествовала контрреволюция. Она улыбалась позади Веллингтона, она подносила ему все маршальские жезлы Европы, не исключая, говорят, и французского; она весело катала тачки с землей вперемешку с костями для сооружения кургана со львом, она торжественно написала на пьедестале число: 15 июня 1815; она поощряла Блюхера рубить бегущих, она с высот плато Мон-

Сен-Жан склонилась над Францией как над добычей, — это все она, контрреволюция. Она шептала гнусное слово: расчленение. Явившись в Париж, она вблизи увидела кратер, почувствовала, что эта зола жжет ей подошвы, и одумалась. Она залепетала о хартии.

В Ватерлоо мы видим только то, что есть в нем, не более. Преднамеренной свободы в нем нет. Контрреволюция поневоле была либеральна, так точно, как Наполеон невольно был революционером. 15 июня Робеспьер был выбит из седла.

Глава 88

Конец диктатуры. Целая система рушилась в Европе. Империя пала во мрак, напоминая собой умирающую Римскую империю. Разверзлась бездна, как во времена варваров. Только варварство 1815 года — иначе контрреволюция, быстро запыхалась, у нее не хватило дыхания, она остановилась. Империя, надо признаться, была оплакана, оплакана слезами героев. Если

слава заключается в мече, превратившемся в скипетр, то империя была воплощенной славой. Она распространила по земле весь свет, который способна разлить тирания — мрачный свет. В сравнении с истинным светом это темная ночь.

Людовик XVIII вернулся в Тюильри. Хороводные пляски 8 июля сгладили восторг 20 марта. Корсиканец стал антитезой беарнца. Над Тюильри взвился белый флаг. Изгнанники восторжествовали. Еловый стол Горвелля занял место перед украшенным лилиями креслом Людовика XIV. О Бувине и Фонтенуа говорили как о вчерашнем дне, Аустерлиц устарел. Алтарь и престол величественно побратались. Одна из несомненных форм общественного блага в XIX веке установилась во Франции и на континенте. Европа пришпилила белую кокарду. Трестальон стал знаменит. Девиз non pluribus impar {Превыше всего (лат.).} появился снова на каменном изображении солнца над фасадом казармы Орсейской набережной. Арка карусели, вся загроможденная трофеями, чувствуя себя неловко среди этих новостей, как будто немного

стыдясь Арколе и Маренго, выпуталась из затруднения, соорудив статую герцогу Аргулемскому. Маделенское кладбище, страшная общая могила 93 года, украсилось мрамором и яшмой, так как там были кости Людовика XVI и Марии-Антуанетты. В Венсенском рву выросла из земли могильная колонна, напоминающая, что герцог Энгиенский умер в месяц коронования Наполеона. Папа Пий VII, помазавший его в императоры, спокойно благословил его падение, точно так же, как благословлял его величье. В Шенбруне оказалась маленькая тень четырех лет от роду, которую считалось предосудительным называть римским королем.

Все это совершилось; короли опять заняли свои престолы, властитель Европы был посажен в клетку, старый режим стал новым, тень и свет на земле переместились, и все это потому, что однажды в летний день пастух сказал пруссаку в лесу: «Пройдите здесь, а не там!»

Этот 1815 год был вроде какой-то печальной весны. Ветхая, гнилая, ядовитая

действительность покрылась новым лоском. Ложь примешалась к 1789 году, священные права замаскировались хартией, фикции стали конституционными, предрассудки, задние мысли, суеверия с 14-й статьей в центре, заново покрылись лаком либерализма. Так змеи меняют шкуру.

Человек в то же время был и возвеличен и умален Наполеоном. Идеал, при этом блестящем царствовании материализма, получил странное название идеологии. Серьезная неосторожность великого человека — отдавать будущность на посмеяние! Однако народы, это пушечное мясо, столь приверженное своему канониру, искали его глазами.

— Что он делает? Где он?

— Наполеон умер, — сказал прохожий ветерану Маренго и Ватерлоо.

— Он-то умер! — воскликнул солдат. — Хорошо же вы его знаете!

Люди в своем воображении возводили в степень божества этого свергнутого героя. В глубине Европы после Ватерлоо скопился мрак. Долго оставалась там как бы огромная зияющая яма после того, как исчез Наполеон.

Короли заняли это пустое место. Старая Европа воспользовалась им для своего перерождения. Создали Священный Союз — Бель-Алльянс (прекрасный союз) заранее предсказало, что поле Ватерлоо окажется роковым.

Перед лицом этой старой Европы, переделанной заново, определились очертания новой Франции. Будущее, над которым насмехался император, выступило на сцену. На челе его сияла звезда: свобода. Пламенные взоры молодых поколений обратились на нее. Странная вещь! Влюбились сразу и в это будущее — свободу, и в это прошлое — Наполеона. Поражение еще более возвеличило побежденного. Павший Бонапарт казался выше

Наполеона в его славе. Те, которые вначале торжествовали, теперь почувствовали страх.

Англия поручила стеречь его Гудсону Лоу, Франция — Моншеню. Его скрещенные на груди руки продолжали тревожить престолы. Александр называл его: моя бессонница. Этот ужас происходил от количества скрытой в нем революции. Это объясняет и оправдывает бонапартистский либерализм. От этого призрака содрогался старый мир. Государи чувствовали неловкость, видя на горизонте скалу Святой Елены.

В то время, когда Наполеон угасал в Лонгвуде, шестьдесят тысяч человек, павших на поле Ватерлоо, мирно сгнили, и доля их спокойствия распространилась по всему миру. Венский конгресс создал трактаты 1815 года, и Европа окрестила это именем Реставрации.

Вот что такое Ватерлоо.

Какое дело вечности до этого? Вся эта буря, эта туча, эта война, затем этот мир не омрачили ни на мгновение сияния лучезарного ока, перед

которым мошка, которая копошится в траве, равна орлу, парящему над колокольнями башен собора Парижской Богоматери.

Глава 89

Вернемся на роковое поле сражения — как этого требует наш рассказ.

18 июня 1815 года было полнолуние. Свет месяца благоприятствовал яростному преследованию Блюхера, осветил следы беглецов, передал всю эту злополучную массу во власть освирепелой прусской кавалерии, помог избиению. В катастрофах часто бывает такое трагическое сообщничество ночи.

Раздался последний пушечный выстрел, и равнина Мон-Сен-Жан опустела.

Англичане заняли лагерь французов; обычное последствие победы — растянуться на постели побежденного. Они расположились бивуаком за Россомом. Пруссаки, пустившиеся в погоню, двинулись еще дальше, Веллингтон отправился в

селение Ватерлоо составлять донесение лорду Бетгёрсту.

Если когда-либо была применима поговорка sic vos non vobis {Так вы не для себя (лат.).} — так именно к этой деревня Ватерлоо. Ватерлоо ни в чем не участвовало и оставалось в полумиле от места сражения. Мон-Сен-Жан обстреливался пушками, Гугомон был сожжен, Папелотт — сожжен, Ге-Сент — взят приступом, Бель-Альянс видел объятия обоих победителей, имена эти, однако, мало известны, и только Ватерлоо, всего лишь наблюдавшему бой, досталась вся слава.

Мы не из тех, которые льстят войне; при всяком удобном случае мы говорим ей правду в глаза. Война имеет свою ужасную красоту, которую мы не скрыли; но у нее есть и свои безобразия. Одно из самых удивительных — это быстрое ограбление мертвых после победы. Когда восходит солнце, оно всегда озаряет обнаженные трупы.

Кто это делает? Кто так оскверняет триумф? Чья гнусная рука втихомолку прокрадывается в карман победы? Какие это мошенники устраивают свои делишки за спиной славы? Философы, между которыми Вольтер, утверждают, что это делают сами виновники этой славы. Оставшиеся в живых будто бы грабят павших. Герой днем является вампиром ночью. Правда, не имеют они разве некоторого права слегка обчистить тело, которое сами уложили на месте? Но мы этому не верим. Пожинать лавры и воровать сапоги с мертвеца — это кажется нам невозможным для одной и той же руки.

Несомненно одно, что обыкновенно вслед за победителями являются воры. Но оградим от подозрений солдата, в особенности солдата современного.

У всякой армии есть хвост, в этом ее нечего винить. Это существа вроде летучих мышей, полуразбойники, полулакеи, разного сорта нетопыри, порождаемые мраком, называемым войной, люди, носящие мундиры, но не

сражающиеся, мнимые больные, опасные калеки, сомнительные маркитанты, которые часто вместе с женами плетутся на маленьких тележках и воруют то, что продали, нищие, предлагающие себя проводниками офицерам, слуги, мародеры; весь этот люд тащился по пятам армии прежнего времени, мы не говорим о современной, и назывался на специальном языке «отсталыми». Никакая армия, никакая нация не была ответственна за этих людей; они говорили по-итальянски и следовали за немцами, говорили по-французски и следовали за англичанами. Один из таких негодяев, испанский дезертир, обманув маркиза де Фервака своим пикардийским наречием, предательски убил его и ограбил тут же, на самом поле сражения, в ночь после Серизольской битвы. Мародерство породило мародера. Отвратительный принцип «жить за счет неприятеля» вызвал эту проказу, которая может быть излечена только строжайшей дисциплиной. Бывает очень обманчивая слава; не всегда известно, почему тот или другой генерал так популярен. Тюренна обожали его солдаты,

потому что он терпел грабеж; дозволенное зло зависит от доброты; Тюренн был до того добр, что позволил предать огню и мечу весь Палатинат. В хвосте армии тащится большее или меньшее число мародеров, смотря по степени строгости полководца. У Гоша и Марсо не было мародеров, у Веллингтона, надо отдать ему справедливость, их было мало.

Однако в ночь с 18 на 19 мертвых грабили. Веллингтон был суров; он отдал приказ расстреливать всякого, захваченного на месте преступления; но грабеж упорен. Мародеры воровали на одной стороне поля в то время, как их братию расстреливали на другом.

Луна разливала на поле угрюмый свет.

Около полуночи какой-то человек бродил или, вернее, полз близ Оэнского оврага. Он принадлежал, судя по наружности, к разряду тех существ, которых мы охарактеризовали — ни англичанин, ни француз, ни поселянин, ни солдат, не человек, а скорее ведьма, почуявшая мертвецов и, пользуясь победой для грабежа,

явившаяся грабить Ватерлоо. Он был одет в блузу, немного смахивающую на шинель, он был труслив и дерзок, он шел вперед и беспрестанно оглядывался назад. Что это за человек? Очевидно, он больше принадлежал ночи, нежели дню! У него не было с собой мешка, но были, вероятно, обширные карманы в одежде. Время от времени он останавливался, оглядывал равнину, точно боясь, что его увидят, быстро нагибался, рылся на земле в чем-то неподвижном и безмолвном, потом поднимался и убегал. Его скользящая походка, его приемы, его резкие таинственные жесты напоминали тех ночных духов, которые посещают развалины и которых старинные нормандские легенды зовут «шатунами».

Некоторые ночные голенастые птицы дают такие силуэты в болотах. Внимательный взор, тщательно исследовав эту мглу, мог бы различить на некотором расстоянии, полускрытый позади домика на окраине Нивелльского шоссе, — род маленького маркитантского фургона с камышовым просмоленным верхом,

запряженного тощей клячей, пощипывающей крапиву между трупов; в фургоне сидела какая-то женщина на сундуках и узлах. Быть может, была связь между этим фургоном и этим ночным бродягой.

Ночь была ясная. Ни облачка в зените. Что в том, что земля красна от крови, луна неизменно остается светлой. Это равнодушие неба. Среди лугов ветки деревьев, надломленные картечью, но еще не свалившиеся, тихо колыхались по ветру. Какой-то шелест, словно дыхание, шевелил кустарник. По траве пробегала дрожь, словно души, улетавшие в пространство.

Вдали смутно слышались шаги патруля в английском лагере.

Гугомон и Ге-Сент продолжали пылать, образуя на востоке и на западе два широких очага пламени, соединяющихся, как рубиновым ожерельем, цепью огней английского бивуака, растянутым громадным полукругом вдоль холмов на горизонте.

Мы описали катастрофу в Оэнском овраге. Какая смерть постигла здесь стольких храбрецов — страшно и подумать.

Если есть что-нибудь ужасное, если есть действительность страшнее самого страшного сна, — так это вот что: жить, видеть солнце, обладать полной силой, пользоваться здоровьем и радостью, доверчиво смеяться, бежать навстречу славе, ослепительно сияющей перед вами, чувствовать в своей груди здоровые легкие, бьющееся сердце, разумную волю, говорить, мыслить, надеяться, иметь мать, жену, детей, видеть свет, — и вдруг на какое-нибудь мгновение обрушиться в бездну, упасть, быть раздавленным и давить других, видеть вокруг себе колосья, цветы, листья, ветки, не имея возможности удержаться ни за что, ощущать свой меч бесполезным, чувствовать людей под собой, лошадей над собой, тщетно биться, слышать, как трещат кости под копытами, вдруг чувствовать на лице каблук, который выдавливает вам глаза, с яростью грызть лошадиные подковы, задыхаться,

хрипеть, извиваться в страшных муках и думать: только что я еще был жив!

Там, где хрипела эта горестная масса, теперь царствовало безмолвие. Овраг был завален конями и всадниками беспорядочной кучей. Страшная путаница! Не было больше обрывов по сторонам дороги, трупы сровняли дорогу с равниной и доходили до самых краев, как полная мера ячменя. Груда тел в более возвышенной части, целый поток крови в низменной: такова была эта дорога в вечер 18 июня 1815 года. Кровь лилась до самого Нивелльского шоссе и собиралась в широкой луже перед засекой деревьев, заграждавшей шоссе; это место до сих пор показывают. Если читатель помнит, кирасиры обрушились в пропасть в противоположном пункте, по направлению Женапского шоссе. Слой трупов был пропорционален глубине дороги. Посередине, на том месте, где дорога не так глубоко врезается в почву и где прошла дивизия Депорта, слой мертвецов был тоньше.

Ночной бродяга, которого мы описали, направлялся в ту сторону. Он рылся в этой громадной могиле. Он заглядывал повсюду, словно делал страшный смотр мертвецам. Он шел по колено в крови.

Вдруг он остановился.

В нескольких шагах перед ним, на дороге, в том месте, где прерывалась груда трупов и коней, высовывалась разжатая рука, освещенная луной.

На пальце этой руки сверкало золотое кольцо. Человек нагнулся, присел на корточки, и, когда поднялся с земли, кольца на руке уже не было.

Он, собственно, и не поднимался, а продолжал оставаться в неловкой испуганной позе, повернувшись спиной к груде мертвецов, пытливо оглядывая горизонт; он стоял на коленях, опираясь верхней частью тела на пальцы рук. Четвероногая фигура шакала удобна для известных подвигов.

Потом, вдруг приняв внезапное решение, он приподнялся. Но в ту же минуту подскочил как

ошпаренный. Кто-то схватил его сзади.

Он обернулся; рука сжалась и схватила полы его одежды.

Честный человек испугался бы. Но этот только рассмеялся.

— Ишь, каков мертвец, — молвил он. — По правде сказать, уж лучше привидение, чем жандарм.

Между тем рука, схватившая его, тотчас же ослабла и упала.

— Что же это, наконец! — продолжал бродяга. — Жив, что ли, этот мертвец? Посмотрим-ка.

Он снова нагнулся, порылся в яме, устранил, что мешало, схватил руку, потянул ее, высвободив голову, потом туловище, несколько минут спустя он тащил во мраке оврага бездыханного человека, или, по крайней мере, в бесчувственном состоянии. Зто был кирасир, офицер, в довольно большом чине; густая золотая эполета выступала из-под лат; на нем не было

каски. Сильный удар саблей рассек ему лицо, и оно было залито кровью. Впрочем, не было заметно, чтобы у него были переломы; по какой-то счастливой случайности, — если можно так выразиться, мертвецы образовали над ним как бы свод и предохранили его тело от увечий. Веки его были сомкнуты.

На нем был серебряный крест Почетного легиона. Бродяга сорвал этот крест, и он исчез в глубине его карманов. Затем он ощупал мундир офицера, вытащил часы и взял их себе; наконец, пошарил в жилете, отыскал кошелек и тоже сунул в карман.

Когда он дошел до этой стадии своей заботы об умирающем, офицер раскрыл глаза.

— Благодарю, — промолвил он слабым голосом.

Резкость движений человека, который тормошил его, свежесть ночи, восстановленная свобода дыхания вызвали его из забытая.

Бродяга не отвечал. Он насторожил уши. Послышался шум шагов на равнине; должно быть, приближался патруль.

Офицер прошептал едва слышным, умирающим голосом:

— Кто выиграл сражение?

— Англичане, — отвечал мародер.

— Поищите у меня в карманах, — продолжал офицер. — Там найдете часы и кошелек. Возьмите их себе.

Это уже было сделано раньше. Бродяга исполнил, что ему было велено, и сказал:

— Там нет ничего.

— Меня обокрали, — молвил офицер, — очень жаль. Эти вещи были бы для вас.

Шаги патруля раздавались все яснее и яснее.

— Сюда идут, — прошептал бродяга и собрался уходить. Офицер с усилием приподнял руку и остановил его:

— Вы спасли мне жизнь. Кто вы такой?

Бродяга пробормотал быстро и тихим голосом:

— Я принадлежал, как и вы, к французской армии. Я должен вас покинуть. Если меня поймают, то непременно расстреляют. Я спас вам жизнь. Теперь сами выпутывайтесь, как знаете.

— В каком вы чине?

— Сержант.

— Как вас зовут?

— Тенардье.

— Я не забуду этого имени, — сказал офицер. — И вы запомните мое. Меня зовут Понмерси.

Глава 90

Жана Вальжана опять схватили.

На нас не посетуют, если мы не будем останавливаться на этих грустных подробностях. Ограничимся приведением двух заметок, появившихся в газетах того времени, несколько

месяцев спустя после поразительных событий, случившихся в Монрейле.

Эти статьи довольно скупы. Не надо забывать, что тогда еще не существовало «Судебной газеты».

Приводим первую статью из «Белого знамени» от 25 июля 1823 года.

«Один из округов Па-де-Кале стал недавно ареной необычайного происшествия. Какой-то человек (не уроженец департамента), по имени Мадлен, несколько лет тому назад поднял, благодаря разным новым приемам, старинную местную отрасль ремесла — стеклярусное производство. Этим он нажил себе состояние и обогатил весь округ. В признательность за эти заслуги его выбрали мэром. Полиция открыла, что г. Мадлен не кто иной, как бывший каторжник, приговоренный в 1796 году за кражу; звали его Жан Вальжан. Жан Вальжан был снова отправлен на галеры. Говорят, что до его ареста ему удалось взять из банка г. Лаффитта сумму в полмиллиона, которую он раньше положил туда

и, как оказывается, вполне законно заработал своей торговлей. Никак не могли разузнать, куда Жан Вальжан спрятал эту сумму перед возвращением его на тулонские галеры».

Вторая статья, несколько более подробная, заимствована из «Парижской газеты» от того же числа.

«Бывший, выпущенный на свободу каторжник, по имени Жан Вальжан, предстал перед судом Барского департамента при обстоятельствах, заслуживающих внимания. Этому злодею удалось обмануть бдительность полиции; он присвоил себе не принадлежащее ему имя и разными происками заставил избрать себя мэром одного из маленьких городков севера. В этом городе он учредил довольно обширную торговлю. Его наконец разоблачили и арестовали благодаря неутомимому усердию общественных властей. Он имел сожительницей публичную женщину, которая умерла от потрясения в момент его ареста. Этот негодяй, обладающий геркулесовой силой, сумел скрыться, но три-

четыре дня спустя полиция снова арестовала его в Париже, в ту минуту, когда он садился в дилижанс, курсирующий между столицей и селением Монфермейлем (Сена и Уаза). Говорят, он воспользовался этими днями свободы, чтобы взять из банка принадлежащую ему значительную сумму. Сумму эту определяют в шестьсот—семьсот тысяч франков. Если верить обвинительному акту, он зарыл ее в месте, одному ему известном; как бы то ни было, Жан Вальжан привлечен к суду по обвинению в ограблении на большой дороге несколько лет тому назад одного из тех честных ребят, которые, по выражению патриарха фернейского, —

Приходят из Савойи каждый год

И сажею забитый дымоход

Искусно в вашем доме прочищают.

Этот разбойник отказался защищаться. Благодаря искусному и красноречивому органу общественной власти дознано, что ограбление было совершено в сообщничестве с другими злодеями и что Жан Вальжан принадлежал к

целой шайке воров на юге. Вследствие этого Жан Вальжан был приговорен к смертной казни. Преступник отказался подавать кассацию. Король, в своем неистощимом милосердии, соизволил смягчить наказание, заменив его каторжными работами пожизненно. Жан Вальжан был немедленно препровожден на тулонские галеры».

Читатель, вероятно, не забыл, что Жан Вальжан в бытность свою в городе Монрейле имел набожные привычки. Некоторые газеты, в том числе «Конституционалист», представили это смягчение наказания торжеством партии духовенства.

Жан Вальжан переменил номер на каторге. Он стал номером 9430.

Скажем кстати, что вместе с господином Мадленом процветание города Монрейля исчезло; сбылось все, что он предвидел в ту ночь лихорадочных волнений и колебаний: его не стало — исчезла душа. После его падения в Монрейле совершился тот эгоистический дележ,

который обыкновенно бывает после ухода великих людей, роковое разрушение былого процветания; нечто подобное совершается втихомолку чуть ли не каждый день в человеческом обществе, но история заметила это всего раз, когда это случилось после смерти Александра. Поручики венчаются королями, подмастерья неожиданно превращаются в хозяев. Возникла зависть и соперничество. Обширные мастерские мсье Мадлена закрылись; здания развалились, рабочие рассеялись. Одни покинули край, другие совсем бросили ремесло. Отныне все стало вестись в маленьких размерах, вместо того чтобы расширяться; все пошло на наживу, вместо того чтобы идти на общее благо. Центр исчез; повсюду явились конкуренция и жадность. В былое время Мадлен управлял и руководил всем. Он пал, и каждый начал тянуть в свою сторону; дух борьбы заменил дух организации, неприязнь заменила дружелюбие, взаимная ненависть заменила доброту основателя фабрики в отношении всех; нити, завязанные господином Мадленом, спутались и порвались; стали

подделывать товар, ухудшили качество продукции, убили доверие; сбыт уменьшился, заказы сократились, заработок упал, мастерские стали простаивать, наступило разорение. Ни гроша более не поступало на бедных. Все рухнуло.

Само правительство заметило, что где-то что-то подавлено. Года четыре спустя после приговора суда, удостоверившего тождественность господина Мадлена с Жаном Вальжаном, расходы по взиманию налогов были удвоены в округе Монрейля, и в феврале 1827 года господин Виллель указал на это обстоятельство на трибуне.

Глава 91

Прежде чем продолжать рассказ, уместно будет сообщить с некоторой подробностью странный факт, случившийся около того же времени в Монфермейле и, быть может, находящийся в связи с некоторыми подозрениями властей.

В Монфермейле существует очень старинное поверье, тем более любопытное и драгоценное, что народное поверье по соседству с Парижем такая же редкость, как алоэ в Сибири. Мы вообще уважаем все, что принадлежит к разряду редких растений. Вот в чем заключается монфермейльское поверье. Думают, что черт с незапамятных времен выбрал местный лес, чтобы скрывать в нем свои сокровища. Кумушки уверяют, что частенько можно встретить в сумерках, в отдаленных чащах леса, черного человека, похожего с виду на рабочего или на дровосека, обутого в сабо, в холщовых штанах и блузе; вместо шапки у него на голове торчат громадные рога. Поэтому-то его и узнают. Человек этот обыкновенно роет яму. Есть три способа вести себя при такой встрече. Первый способ — подойти к человеку и заговорить с ним. Тогда убеждаешься, что это простой крестьянин, что он вначале казался черным, потому что дело было в сумерках, что он вовсе и не думает рыть яму, а косит траву для коров, а то, что можно было издали принять за рога — просто-напросто

навозные вилы, которые он держит за спиной и зубья которых точно выросли у него из головы. Вы приходите домой после этого и умираете в течение недели. Второй способ состоит в том, чтобы проследить за ним, подождать, пока он окончит рыть яму, засыплет ее и уйдет, потом поскорее подбежать к яме, разрыть ее и вынуть клад, спрятанный черным человеком. В таком случае вы умираете в тот же месяц. Наконец третий способ — не заговаривать с черным человеком, не глядеть на него и пуститься бежать со всех ног. В таком случае вы умираете в тот же год.

Так как все три способа имеют свои неудобства, то обыкновенно выбирается второй способ, представляющий хоть какие-нибудь преимущества, между прочими — обладание кладом, хоть на один месяц. Находились смельчаки, которые, как уверяют, раскапывали ямы, вырытые черным человеком, и пробовали обокрасть черта. Оказывается, что эта афера не очень-то прибыльна, по крайней мере, если верить преданию и в особенности двум

загадочным стишкам на варварской латыни, оставленным на этот счет каким-то норманнским монахом, отчасти колдуном, по имени Трифон. Этот Трифон похоронен в аббатстве Сен-Жорж де Бошервиль, близ Руана; на его могиле родятся жабы.

Итак, надо приложить громадные усилия; обыкновенно эти ямы очень глубокие, человек роет, трудится всю ночь (это непременно делается по ночам); вся рубашка у него пропитана потом, свеча сгорает дотла, заступ зазубривается, а когда он добирается до дна ямы, когда наконец прикасается к кладу, что он получает? В чем заключается, в самом деле, клад черта? Иногда в одном су, иногда в экю; бывало, что находили камень, скелет, окровавленный труп, а то и привидение, согнутое в три погибели, как лист бумаги в портфеле; бывало, что и ровно ничего не находили. Это-то и возвещают нескромному любопытному стихи Трифона:

Fodit et in fossa thesauros condit opaca

As, nummos, lapides, cadaver, simulacra, nihilque

В наши дни там будто бы тоже находят то пороховницу с пулями, то старую засаленную колоду карт, очевидно служившую черту. Трифон не упоминает об этих двух находках, ввиду того что он жил в XII веке, и, должно быть, черт не был настолько умен, чтобы выдумать порох раньше Рожера Бэкона или карты раньше Карла VI.

Кто будет играть в эти карты, может быть уверен, что спустит все до нитки; что касается этого пороха, то он имеет способность взрывать ружье прямо в лицо его обладателя.

Немного спустя после того времени, когда властям показалось, что освобожденный каторжник Жан Вальжан бродил вокруг Монфермейля, в том же селении заметили, что один бывший дорожный рабочий, некто Булатрюель, что-то беспрестанно рыщет по лесу. По той местности ходил слух, что этот Булатрюель был когда-то на каторге; он состоял

под надзором полиции, и так как нигде не мог найти себе работу, то администрация за пониженную плату заставляла его исправлять проселочную дорогу из Ганьи в Ланьи.

На Булатрюеля косо смотрели все местные жители: он был слишком почтительный, слишком льстивый, всегда готов ломать шапку перед кем угодно, трясся и улыбался при виде жандарма; про него говорили, что, по всей вероятности, он принадлежал к шайке воров, и подозревали, что он по ночам стережет добычу, забившись в кусты. В его пользу было только одно обстоятельство — то, что он был пьяница.

Вот что будто бы заметили: с некоторых пор Булатрюель рано заканчивал свою работу по исправлению дороги и уходил в лес со своим заступом. Его встречали в сумерках в самых пустынных прогалинах, в самых диких чащах; он будто что-то искал, иногда рыл ямы. Прохожие кумушки принимали его сначала за Вельзевула, потом они узнавали Булатрюеля, но, по-видимому, нимало не успокаивались. Эти

встречи, вероятно, раздражали Булатрюеля. Ясно было, что он что-то искал и что в его поступках была какая-то таинственность.

В деревне поговаривали: должно быть, опять показывался черт. Булатрюель видел его и теперь ищет клад. Правда, с него станется украсть клад Люцифера. Вольтерианцы прибавляли: кто кого одолеет — Булатрюель черта или черт Булатрюеля? Старухи беспрестанно крестились.

Между тем скоро проделки Булатрюеля в лесу прекратились и он аккуратно принялся за свою работу. Об этом перестали говорить.

Некоторые, впрочем, продолжали любопытствовать, думая, что в этом деле хотя и нет сказочных сокровищ легенды, а наверное, какая-нибудь корысть, более серьезная и более осязательная, чем банковские билеты черта. Изо всех самыми заинтересованными оказались школьный учитель и трактирщик Тенардье, который был дружен со всеми и не пренебрегал сблизиться с Булатрюелем.

— Он был на галерах, — говорил Тенардье. — Э, боже мой! Разве кому известно, кто на галерах или кто туда попадет!

Раз вечером школьный учитель уверял, что в былое время правосудие непременно расследовало бы, чем Булатрюель занимается в лесу по ночам, что он, наверное, проговорился бы, что в случае надобности его подвергли бы пытке и что, наконец, Булатрюель не устоял бы, например, против пытки водой.

— А вот подвергнем-ка его пытке вином, — предложил Тенардье.

Их собралось четверо, и они подпоили старого рабочего. Булатрюель пил очень много, но говорил мало. Он необыкновенно искусно соединял жажду пьяницы со сдержанностью судьи. Однако Тенардье и школьный учитель так часто возвращались к расспросам, так тщательно запоминали и сопоставляли немногие вырвавшиеся у него слова, что составили из этих отрывков следующий рассказ:

Однажды утром на рассвете Булатрюель, идя на работу, очень удивился, увидев в отдаленном углу леса под кустами лопату и заступ, как будто кем-то спрятанные. Однако он мог подумать, что этот заступ и лопата принадлежали дяде Сифуру, водовозу, и забыл об этом. Но вечером того же дня он будто бы видел, совсем случайно, так как был скрыт за толстым деревом, как какой-то человек «не из здешних, но хорошо известный Булатрюелю» направился в чащу леса. Вольный перевод Тенардье: товарищ по каторге. Булатрюель упорно отказывался сказать его имя. У человека этого была ноша — что-то такое квадратное, вроде маленького сундучка или шкатулки. Булатрюель подивился, но будто бы только по прошествии семи-восьми минут ему пришло в голову следовать за человеком. Но было уже поздно, человек успел скрыться в чаще; наступила ночь, и Булатрюель не мог его настигнуть. Тогда он решился наблюдать за опушкой леса. Светила луна. Два или три часа спустя Булатрюель увидел, как тот же человек выходил из леса, уже без сундучка, а с заступом и

лопатой. Булатрюель пропустил его и не подумал подходить к нему, потому что тот был по крайней мере втрое сильнее его, к тому же вооружен лопатой и заступом и непременно убил бы его, если бы понял, что его узнали. Трогательная встреча двух старых товарищей! Но лопата и заступ были лучом, просветившим Булатрюеля; утром он осмотрел кусты и не нашел там этих орудий. Из этого он заключил, что его знакомый, углубившись в лес, вырыл там яму заступом, спрятал туда сундучок и опять зарыл яму лопатой. Сундучок был слишком мал, чтобы содержать труп, значит, в нем были деньги. На этом и основывались его розыски. Булатрюель исследовал весь лес, рылся повсюду, где только ему казалось, что земля недавно вскопана. И все напрасно.

Он ничего не нашел. В Монфермейле скоро все об этом забыли и думать. Только некоторые добрые кумушки толковали: так и знайте, что Булатрюель не понапрасну затевал возню, он точно знает, что приходил черт.

Глава 92

В конце октября этого самого 1823 года тулонские жители видели, как входил в их порт после бури для исправления некоторых повреждений корабль «Орион», позднее использовавшийся в Бресте в качестве учебного судна, а в то время входивший в состав средиземноморской эскадры.

Это судно, хотя и искалеченное бурей, произвело некоторый эффект, входя на рейд. На нем развевался уже не помню какой флаг, в честь которого ему салютовали по уставу одиннадцатью пушечными выстрелами, на что он отвечал таким же количеством, итого: двадцать два выстрела. Вычислено, что на разные салюты, королевские и военные почести, на обмен шумными любезностями, на сигналы, требуемые этикетом, на формальности портов и крепостей, на салюты восходящему и заходящему солнцу, проделываемые ежедневно всеми крепостями и всеми военными судами, цивилизованный мир тратит в сутки полтораста тысяч бесполезных

выстрелов. Считая по шести франков на каждый пушечный выстрел, это составит девятьсот тысяч франков ежедневно. Выходит, что ежегодно триста миллионов разлетаются в дым. Это только к слову. Тем временем бедняки умирают с голоду.

1823 год был, как называла его Реставрация, «эпохой Испанской войны». Эта война включала в себя много событий и представляла немного странностей. Тут было важное семейное дело для Бурбонского дома: французская ветвь поддерживает и покровительствует мадридской ветви, то есть исполняет долг старшинства; обнаруживается видимый возврат к нашим национальным традициям, усложненный раболепством и подчинением северным кабинетам; герцог Ангулемский, прозванный либеральными газетами героем Андухара, с торжественной осанкой, подавляет старый, реальный терроризм инквизиционного суда, борющийся с химерным терроризмом либералов; воскресают санкюлоты, к великому ужасу почтенных дам, под названием des-camidos {Безрубашечники (исп.).}; теории 89 года

внезапно прерваны в их подпольной работе; Европа восклицает: «Стой!» французской идее; рядом с французским престолонаследником в качестве генералиссимуса принц Кариньяне, впоследствии Карл-Альберт, поступает волонтером в этот крестовый поход королей против народов и носит гренадерские эполеты красной шерсти; солдаты Империи снова выступают в поход после восьмилетнего отдыха, состарившиеся, грустные, под белой кокардой; за границей трехцветное знамя развевается над геройской горстью французов, подобно тому, как белое знамя развевалось в Кобленце тридцать лет назад; монахи перемешиваются со старыми французскими солдатами: дух свободы и нововведений приводится к порядку штыками; принципы разрушаются пушечными выстрелами; Франция разоряет своим оружием то, что она создала своим умом; неприятельских вождей продают, солдаты колеблются, города осаждаются; нет никаких военных опасностей, а между тем постоянная возможность взрыва, как в захваченной мине; мало пролитой крови, мало

приобретенной чести, позор для многих, славы — ни для кого: вот какова эта война, созданная принципами потомков Людовика XIV и ведомая генералами, происходящими от Наполеона. У нее была печальная участь в том отношении, что она не напомнила ни великой войны, ни великой политики.

Несколько военных подвигов были серьезны; например, взятие Трокадеро — великое дело оружия; но, вообще говоря, повторяем, трубы в этой войне издают надтреснутый звук, вся она как-то сомнительна; история одобряет Францию за то, что она колебалась принять этот ложный триумф. Обнаружилось, что некоторые испанские офицеры, которым поручено было сопротивляться, слишком легко уступали; мысль о подкупе примешалась к победе; казалось, что скорее покупали генералов, чем выигрывали сражения, и солдат-победитель был унижен. Бесславная война, в которой между складок знамен можно было прочесть: «Банк Франции».

Солдаты войны 1808 года хмурили брови в 1823 году, глядя, как легко растворялись цитадели, и стали сожалеть о Палофоксе. Таков уж французский нрав, который предпочитает иметь противником Растопчина, а не Баллестероса.

С точки зрения еще более важной, на которой нелишне остановиться, эта война, оскорбляя во Франции военный дух, вместе с тем возмущала дух демократический. То было предприятие с целью порабощения. В этой кампании целью французского солдата, сына демократии, было добыть иго для других. Чудовищное противоречие. Франция создана, чтобы пробуждать дух народов, а не для того, чтобы подавлять его. Свобода воссияла из Франции. Это солнечное явление. Слеп тот, кто этого не видит! Это сказал Бонапарт.

Война 1823 года, покушение на благородную испанскую нацию в то же время были покушением на французскую революцию. И Франция совершала это чудовищное насилие.

Что касается Бурбонов, то война 1823 года была для них пагубна. Они приняли ее за успех. Они не заметили, как опасно убивать идею. В своей наивности они ошиблись настолько, что ввели в свое управление в качестве элемента могущества страшно ослабляющий элемент преступления. Дух навета пришел в их политику. 1830 год ведет свое начало из 1823 года. Испанская кампания стала аргументом в пользу насильственных поступков и нарушений священных прав. Франция, восстановив el rev netto {Короля-внука (исп.) — то есть Филиппа Анжуйского, внука Людовика XIV.} в Испании, могла восстановить неограниченную монархию и у себя. Бурбоны впали в страшное заблуждение, приняв повиновение солдата за согласие нации. Такая уверенность губит престолы.

Вернемся к кораблю «Орион».

Во время военных действий армии под начальством принца-генералиссимуса, в Средиземном море крейсировала эскадра. Мы уже говорили, что «Орион» принадлежал к этой

эскадре и что из-за бури он вернулся в Тулонский порт.

Присутствие военного судна в гавани имеет нечто заманчивое для толпы. Это величественно, а народ любит все величественное.

Военное судно — одна из великолепнейших форм борьбы человеческого гения с силой природы.

Военное судно состоит в то же время из самых тяжелых и самых легких элементов, потому что оно имеет дело с тремя формами вещества: с твердым, жидким и воздушным, и должно одновременно бороться с ними. У корабля одиннадцать когтей, которыми он зацеплял за камни на дне морском, у него больше крыльев и усиков, нежели у насекомого, чтобы удерживать воздух. Его дыхание вылетает из ста двадцати пушек, как из громадных горнов; он гордо отвечает громам. Океан силится сбить его с пути среди страшного однообразия его волн, но у корабля есть своя душа, свой компас, который руководит им и всегда указывает на север. В

темные ночи его огни заменяют звезды. Против ветра у него есть канаты и паруса, против воды — дерево, против скал — железо, медь, свинец, против тьмы — свет, против пространства — магнитная игла.

Чтобы составить себе представление о гигантских пропорциях, которые в целом образуют военное судно, — стоит только войти в один из крытых шестиэтажных стапелей в портах Бреста или Тулона. Строящиеся там суда, так сказать, под колпаком. Вот это колоссальное бревно — рея; вот эта толстая деревянная колонна, распростертая на земле и которой конца не видно, — это большая мачта. Если измерить ее от основания в трюме и до вершины, в ней длины 60 сажен, а толщина ее в диаметре у основания — три фута. Большая английская мачта возвышается на двести семнадцать футов над уровнем воды. Наши отцы употребляли во флоте канаты, в наше время употребляют цепи. Груда цепей с одного стопушечного судна имеет четыре фута высоты, двадцать футов ширины. А чтобы построить это судно, — сколько надо

дерева? Три тысячи кубических метров. Это целый плавучий лес.

А между тем надо заметить, здесь говорится о военных судах прежнего времени, сорок лет тому назад, о простом парусном судне; пар был тогда еще в состоянии младенчества, и с тех пор прибавил новые чудеса к тому диву, которое называется военным судном.

Не говоря о новых чудесах, старый корабль Христофора Колумба и Рюйтера — одно из величайших творений человека. Он неистощим в силе, он захватывает ветер в свои паруса, он точен среди необъятного пространства волн, он плавает и царствует.

Однако наступает час, когда шквал разбивает как соломинку эту рею в шестьдесят футов длиной, когда буря гнет как тростник ту мачту в четыреста футов высоты, когда этот тяжелый якорь пляшет в волнах, как удочка рыбака, когда эти чудовищные пушки издают жалобный, бесполезный рев, уносимый ветром в пространство, среди мрака ночи, когда все это

могущество, все это величие поглощаются высшим могуществом, высшим величием.

Вот почему толпа любопытных, сама не объясняя себе причины, теснится во всех портах вокруг этих чудесных орудий войны и навигации.

Каждый день, с утра до вечера, набережные и молы Тулонского порта были усеяны толпой праздношатающихся зевак, не имеющих иного занятия, как смотреть на корабль «Орион».

«Орион» было судно уже неоднократно поврежденное. В прежние его плавания толстый слой раковин скопился на его подводной части, так что это убавило ему хода почти наполовину; в прошедшем году его отправили в доки, чтобы отскоблить раковины, потом он опять пустился в море. Но это соскабливание повредило крепления подводной части. Близ Балеарских островов открылась небольшая течь. Налетел равноденственный шквал и нанес кораблю другие повреждения. Вследствие этого «Орион» вынужден был вернуться в Тулон.

Он стоял на рейде близ арсенала. Его снаряжали и исправляли. Корпус не был поврежден, но тут и там по обыкновению сняли обшивку, чтобы дать возможность воздуху проникнуть в трюм.

В одно утро толпа, глазевшая на него, была свидетельницей несчастного случая.

Экипаж привязывал паруса к рее. Марсовый матрос, которому было поручено поднять верхний угол паруса, вдруг потерял равновесие. Все видели, как он покачнулся; толпа, собравшаяся на набережной арсенала, испустила крик; голова перевесила туловище, человек завертелся вокруг реи и с распростертыми руками рухнул в пропасть; падая, он ухватился за концы сначала одной рукой, потом другой и повис на них. Повис над морем на страшной высоте. Толчок при падении сообщил канатам довольно сильное движение наподобие качелей. Человек качался туда и сюда на конце веревки, как камень пращи.

Поспешить ему на помощь значило подвергнуться страшной опасности. Ни один из матросов, ни один из прибрежных рыбаков не рискнул отважиться на этот подвиг. Между тем несчастный матрос изнемогал; издали на лице его нельзя было видеть страха, но все члены его выражали полное истощение. Руки судорожно подергивались. Каждое его усилие, чтобы подняться, еще увеличивало колебание канатов. Он не кричал, опасаясь потерять силу. Все ждали только того мгновения, когда он выпустит веревку, и порою все головы отворачивались, чтобы не видеть, как он сорвется. Бывают минуты, когда конец веревки, какая-нибудь ветка, шест — это сама жизнь, и ужасно видеть живое существо, которое отделяется от своего последнего оплота и падает, как спелый плод.

Вдруг увидели человека, который взбирался по снастям с проворством тигра-кота. Этот человек был одет в красное — значит, каторжник; на нем была зеленая шапка, значит, он осужден пожизненно. Когда он взобрался до высоты марса, ветер сорвал с него шапку и обнажил

белую как лунь голову; это был человек немолодой.

Действительно, один из каторжников партии, работавшей на судне, с первой же минуты побежал к вахтенному офицеру и среди смятения и колебания всего экипажа выпросил у офицера позволения рискнуть жизнью, чтобы спасти матроса.

Офицер утвердительно кивнул головой, и каторжник одним ударом молотка разбил цепь, прикованную к колодке на его ноге, потом бросился на ванты. В ту минуту никто не заметил, с какой легкостью была разбита цепь. Только впоследствии вспомнили об этом.

В одно мгновение он уже был на рее. Он остановился на несколько секунд и словно измерял ее глазами. Эти мгновения, в течение которых ветер качал матроса, повиснувшего на кончике нити, показались зрителям целым веком. Наконец, каторжник поднял глаза к небу и сделал шаг вперед. Толпа вздохнула свободнее. Видели, как он бегом пробежал по рее. Дойдя до

оконечности, он привязал к ней конец принесенной им веревки, а другой конец пустил висеть свободно, потом начал спускаться на руках вдоль этого каната; тогда всех охватила невыразимая тревога — вместо одного человека двое повисли над пучиной.

Точно паук, подоспевший, чтобы схватить муху; только здесь паук нес жизнь, а не смерть. Десять тысяч взоров были устремлены на эту группу. Ни единого восклицания, ни единого слова, только дрожь пробегала по телам зрителей. Все затаили дыхание, точно боялись прибавить хоть слабое дуновение к ветру, колыхавшему обоих несчастных.

Между тем каторжнику удалось достичь матроса. Казалось, еще минута — и этот человек, обессилевший, свалится в пучину; каторжник крепко привязал его к канату, за который держался одной рукой, в то же время работая другой. Наконец увидели, как он снова поднимается на рею и втягивает туда матроса; одно мгновение он поддерживал его, чтобы дать

ему собраться с силами, потом схватил его на руки, понес его по рее до эзельгофта, оттуда до марса, где отдал его на руки его товарищей.

В эту минуту толпа принялась аплодировать; старые надсмотрщики над каторжниками прослезились; женщины обнимались; слышались растроганные голоса, кричавшие с какой-то яростью:

— Помилование этому человеку!

Он же счел долгом немедленно спуститься для присоединения к своей партии. Чтобы сделать это поскорее, он скользнул по снастям и побежал по нижней рее. Все взоры следили за ним. Была минута, когда на всех нашел страх; неизвестно, утомился ли он, или просто у него закружилась голова, но все видели, как он споткнулся и зашатался. Вдруг толпа испустила страшный крик — каторжник сорвался в воду.

Падение было опасное. Фрегат «Альхесирас» стоял около самого «Ориона», и бедный каторжник свалился между двух судов. Боялись, как бы он не попал под один из них. Четыре

человека поспешно бросились в лодку. Толпа поощряла их; тревога снова овладела всеми сердцами. Человек больше не появлялся на поверхности. Он исчез в море, не возмутив его поверхности, словно канул в бочку с маслом. Ныряли, разыскивали — напрасно. Искали его до вечера; не могли найти даже тела.

На другой день одна тулонская газета напечатала следующие строки.

«17 ноября 1823 года. Вчера один каторжник, находившийся на „Орионе“, оказывая помощь матросу, упал в воду и утонул. Тело его не могли отыскать. По всей вероятности, оно застряло между свай набережной арсенала. Человек этот записан в колодничью роспись под No 9430, под именем Жана Вальжана».

Глава 93

Монфермейль лежит между Ливри и Шеллем, на южной окраине возвышенного плато, отделяющего р. Урк от Марны. В наши времена

это довольно большой пригород, украшенный круглый год дачами, а по воскресным дням наполненный веселыми буржуа. В 1823 году в Монфермейле не было ни такого количества белых домиков, ни такого множества довольных буржуа: это была простая деревушка среди леса. Изредка попадались там кое-какие виллы минувшего столетия, отличающиеся своим чопорным видом, своими балконами с чугунными перилами, своими продолговатыми окнами, мелкие стекла которых образуют на белом фоне закрытых ставень разнообразные зеленые оттенки. Но Монфермейль тем не менее оставался селением. Суконщики, удалившиеся от дел, адвокаты на отдыхе еще не успели наводнить его. То был тихий прелестный уголок, вдали от больших дорог; там жилось дешево мирной деревенской жизнью, столь привольной и легкой. Только в воде чувствовался недостаток, по причине возвышенности плато.

Приходилось доставлять ее издалека. Часть селения, обращенная к Ганьи, брала воду из великолепных лесных прудов; другой край села

вокруг церкви, обращенный к Шеллю, получал хорошую воду только из маленького родника близ Шелльской дороги, на расстоянии четверти часа пути от Монфермейля.

Хлопотливое было дело для каждой семьи запасать воду. Большие дома местной аристократии, к которым, между прочим, принадлежал трактир Тенардье, платили по лиару с ведра старику, который занимался доставкой воды и зарабатывал своим предприятием водоснабжения приблизительно по восемь су в день; но старичок работал летом только до семи часов вечера, а зимой всего до пяти, и как только наступала ночь, как только запирались ставни, всякий, у кого выходила вся вода для питья, должен был или идти за водой сам, или обходиться без нее.

То был предмет ужаса для бедного маленького существа, носившего имя Козетты. Козетта приносила пользу супругам Тенардье двумя способами: они тянули деньги с ее матери и заставляли ребенка прислуживать. Поэтому, когда

деньги от матери совсем перестали поступать, Тенардье все-таки оставили у себя Козетту. Она заменяла им служанку; в качестве работницы она бегала за водой, когда появлялась необходимость. Девочка, страшась одной только мысли, что придется идти на родник ночью, всегда заботилась, чтобы в доме всегда была вода.

Рождество 1823 года было особенно блестящим в Монфермейле. Начало зимы было довольно мягкое; до сих пор морозы не наступили и снег не выпал. Труппа фокусников, прибывших из Парижа, получила от господина мэра разрешение соорудить балаганы на главной улице села, и несколько странствующих торгашей, пользуясь такой же снисходительностью, открыли лавочки на церковной площади до самого переулка Буланже, где, как известно, находился трактир Тенардье. Это событие наполняло постоялые дворы и кабаки посетителями, придавало этому тихому уголку шумную веселую жизнь. Чтобы быть верными истории, мы должны прибавить, что в числе диковинок, выставленных на площади, был

зверинец, где отвратительные паяцы, обвешанные лохмотьями и появившиеся бог весть откуда, показывали в 1823 году монфермейльским обывателям одного из страшных бразильских коршунов, экземпляр которого наш королевский музей приобрел лишь в 1845 году и у которого вместо глаза трехцветная кокарда. Естествоиспытатели называют эту птицу, кажется, «caracara polyborus»; она из породы хищников и из семейства коршунов. Некоторые завзятые бонапартистские солдаты, проживавшие в селе, ходили смотреть на ястреба с каким-то благоговением. Фокусники выдавали эту трехцветную кокарду за единственный в мире феномен, созданный Богом специально для их зверинца.

В рождественский сочельник, вечером, несколько людей — извозчиков и торговцев — сидели и пили вокруг пяти-шести сальных свечек в общей комнате трактира Тенардье. Комната эта походила на все кабаки: несколько столов, оловянные кружки, бутылки, пьянство, дым от трубок; мало света, много шума, впрочем, там

находилось еще два предмета, бывших тогда в моде у буржуазии: на столе в сторонке стояли калейдоскоп и жестяная лампа. Сама Тенардье наблюдала за ужином, который жарился на ярком огне; муж Тенардье пил с посетителями и толковал о политике.

Кроме политических бесед, вращавшихся главным образом вокруг Испанской войны и герцога Ангулемского, слышалась смесь местных толков вроде следующих.

— Поблизости Нантера и Сюренна нынче благодать на вино. Где рассчитывали на десять, получили двенадцать бочек. Много дало сока.

— Должно быть, виноград не был зрелый?

— В тех краях его не собирают зрелым.

— Так, значит, винцо-то плохое?

— Еще хуже, чем в здешних местах.

Дальше говорил мельник.

— Разве мы можем ручаться, что в мешках? Мы находим в них кучу разной посторонней

примеси, которую не можем же выбирать по зернышкам, и она тоже идет под жернова; тут и головолом, и медунка, и чернуха, и журавлиный горох, и конопля, и мало ли всякой дряни, не говоря уже о камушках, которых попадается множество, особенно в бретонском зерне. Я не охотник молоть бретонское зерно; судите сами, сколько это дает посторонней пыли. После этого еще жалуются на муку. Напрасно. Мука не из-за нас такая.

У простенка между окнами косарь сидел за столом с землевладельцем и нанимался косить у него луг весной.

— Не беда, если трава мокровата, — говорил он. — Ее легче косить. Роса не дурное дело, сударь. Ваша-то трава, правда, молодая, и с ней беда будет. Мягкая, нежная, так и гнется под косой и т. д.

Козетта сидела на обычном своем месте, на перекладине кухонного стола около очага; она была в лохмотьях, ее голые ноги были обуты в сабо; она вязала при свете пламени шерстяные

чулки для маленьких Тенардье. Котенок резвился под стульями. Из соседней комнаты доносятся смех и звонкое щебетанье двух детских голосов; то были Эпонина и Азельма.

В углу у печки на гвоздике висела плеть.

Время от времени из какого-то отдаленного угла дома, среди говора, стоявшего в кабаке, раздавался плач маленького ребенка. Это ревел маленький сын Тенардье, которого она родила в одну из предыдущих зим. «Неизвестно отчего, наверно, от холода», — говорила она; теперь ему было около трех лет. Мать выкормила его сама, но не любила. Когда отчаянный визг мальчишки становился слишком надоедливым, Тенардье говорил жене:

— Твой сын ревет, ступай же, уйми его.

— Вот еще, — отвечала маменька, — он мне надоел до смерти. И покинутый ребенок продолжал кричать в потемках.

Глава 94

До сих пор читатель видел чету Тенардье только в профиль; теперь пора познакомиться с ними основательнее, со всех сторон.

Тенардье перевалило за пятьдесят лет; госпоже Тенардье стукнуло сорок, — возраст, равносильный для женщины пятидесяти годам у мужчины, так что между мужем и женой было приблизительное равенство по возрасту.

Быть может, читатели с первого же ее появления в нашем рассказе сохранили некоторое воспоминание об этой Тенардье, рослой, дюжей, белокурой, краснолицей, мясистой и проворной; мы уже говорили, что она была из породы тех великанш, которых показывают на ярмарках с булыжниками, привязанными к волосам. Она исполняла всю работу по дому — стелила постели, убирала комнаты, стирала белье, стряпала, распоряжалась, ругалась. Вместо прислуги у нее была одна Козетта — мышь помощницей у слона. От звука ее голоса все

дрожало — стекла, мебель и люди. Ее широкое лицо, испещренное веснушками, было похоже на кухонную шумовку. У нее росла борода. Она представляла идеал рыночного носильщика, переодетого женщиной. Она ругалась артистически и хвасталась, что может расколоть орех ударом кулака. Не начитайся она романов, благодаря которым порою выступала жеманница из-под этой грубой оболочки людоедки, никому не пришло бы в голову сказать о ней: это женщина. Эта Тенардье была как бы странной смесью сентиментальной барышни и рыночной торговки. Слушая, как она говорит, о ней выражались: это жандарм; глядя, как она пьет, замечали: это извозчик; наблюдая, как она тормошит Козетту говорили: это палач. В спокойном состоянии у нее торчал изо рта один зуб.

Сам Тенардье был человечек низенький, тощий, бледный, костлявый, угловатый, хилый; он имел больной вид, но обладал великолепным здоровьем; с этого начиналось его плутовство. Обыкновенно он осторожно улыбался, был

вежлив почти со всеми, даже с нищим, которому отказывал в гроше. У него был взгляд хорька и вид ученого человека. Он очень походил на портреты аббата Делиля. Он пил с извозчиками, но никому никогда не удавалось напоить его. Курил он большую трубку, носил блузу, а под блузой потертый черный сюртук. У него были претензии на литературу и материализм. Он часто цитировал разные имена в подкрепление своих мнений, упоминал Вольтера, Рэналя, Парни и, странное дело, — святого Августина. Он утверждал, что у него есть система. В конце концов, это был ловкий мошенник, так сказать, плут-философ. Эта разновидность несомненно существует. Вероятно, припомнят, что он служил в армии; с некоторой гордостью он рассказывал, как при Ватерлоо, будучи сержантом какого-то полка, он один против целого эскадрона гусар смерти прикрыл своим телом и спас сквозь град картечи какого-то «генерала, опасно раненного». Отсюда происходили его знаменитая вывеска и прозвище его трактира «кабаком Ватерлооского сержанта». Он был либерал, классик и

бонапартист. В селе поговаривали, что он учился с целью посвятить себя духовному сану.

Мы думаем, что он скорее учился в Голландии трактирному искусству. Этот законченный негодяй был скорее всего фламандцем из Фландрии, который в Париже слыл за француза, в Брюсселе за бельгийца и прекрасно чувствовал себя и там и там. Известно, каков был его подвиг при Ватерлоо. Как видите, он несколько преувеличил его. Приливы и отливы, перемены, приключения — вот элементы его существования, и весьма вероятно, что в бурную эпоху Ста дней Тенардье принадлежал к тому сорту маркитантов-мародеров, о которых мы уже говорили и которые, то воруя, то торгуя, тащатся со всей семьей, с женой и ребятами в какой-нибудь жалкой таратайке вслед за армией, с инстинктом прицепиться к победителям. Окончив кампанию, сколотив деньжат, как он выражался, он приехал в Монфермейль открывать трактир.

Деньги эти, состоявшие из кошельков, часов, золотых колец и серебряных крестов,

наворованных им в момент жатвы среди нив, засеянных трупами, дали не бог весть какую сумму и не дали возможности развернуться маркитанту, превратившемуся в трактирщика.

В жестах Тенардье было что-то напоминавшее не то казарму, не то семинарию. Он был краснобай, любил слыть за ученого. Однако школьный учитель замечал, что он не особо тверд в грамматике. Он артистически составлял счета проезжим, но привычный глаз нередко встречал в них орфографические ошибки. Тенардье был лукав, алчен, ленив и ловок. Он не брезгал служанками, так что жена перестала их держать. Великанша была ревнива. Она воображала, что этот маленький человечек, тощий и желтый, должен служить предметом соблазна для всех.

Тенардье — человек хитрый и коварный, был осторожным мошенником. Эта порода самая опасная; в ней много лицемерия.

Нельзя сказать, чтобы Тенардье не был способен при случае воспылать гневом почти в такой же степени, как и его супруга; это

случалось редко, но зато в эти минуты он гневался на весь род человеческий, питал в себе целое горнило ненависти, принадлежа к числу людей, которые мстят постоянно, которые обвиняют всех в своих неудачах и готовы свалить на первого встречного всю вину за разочарования, потери и бедствия своей жизни. Он действительно был ужасен, когда все эти дрожжи поднимались в нем и клокотали. Горе тому, кто тогда попадался под его рассвирепевшую руку!

Помимо других своих качеств, Тенардье был наблюдателен, прозорлив, молчалив или болтлив, смотря по обстоятельствам, и всегда с большой сметливостью. В его взгляде было что-то свойственное морякам, которые привыкли моргать глазами, глядя в подзорную трубу. Тенардье был государственный человек.

Всякий, входивший в первый раз в трактир, мог подумать при виде мадам Тенардье: вот кто хозяин в доме. Заблуждение. Она не была даже хозяйкой. Муж был всем — и хозяином, и

хозяйкой. Она исполняла, он изобретал. Он всем управлял в силу какого-то магнетического действия, непрестанного и невидимого. Достаточно было его слова, иногда знака, и мастодонт повиновался беспрекословно. Муж был для жены, хотя она не отдавала себе в том ясного отчета — особенным, высшим существом. У нее были свои добродетели; если бы даже она не соглашалась с мсье Тенардье в какой-нибудь мелочи (предположение, впрочем, едва ли вероятное), она никогда бы публично не решилась перечить мужу.

Никогда она не сделала бы перед чужими этой ошибки, в которую так часто впадают женщины; хотя их единодушие давало в результате одно зло, но было какое-то поклонение в ее подчинении мужу. Эта крикливая женщина повиновалась одному мановению мизинца этого хилого деспота. Здесь проявлялась, с ее мелочной и карикатурной стороны, великая мировая истина: обожание духа материей.

В Тенардье было что-то неведомое, неразгаданное, — отсюда происходила неограниченная власть этого мужчины над этой женщиной. В известные минуты ее глаза видели его, как зажженную свечу, в другие моменты она ощущала на себе его когти.

Эта женщина была свирепым существом, которое любило только своих детей и боялось одного мужа. Она была матерью только потому, что принадлежала к породе млекопитающих. Впрочем, ее материнские чувства не шли дальше дочерей и не распространялись на мальчиков. Что касается мужа, то у него была одна только мысль — нажива.

Ему не везло. Недоставало достойной сцены для этого великого таланта. Тенардье разорялся в Монфермейле, если разорение возможно при нуле; в Швейцарии, в Пиренеях, этот нищий нажил бы миллионы. Но где судьба привязывает трактирщика, там он и должен пастись.

Понятно, что здесь слово «трактирщик» употреблено в ограниченном смысле и не

обнимает целое сословие.

В этом самом 1823 году у Тенардье было на шее около 1500 франков срочного долга и это сильно заботило его.

Как упорно ни преследовала его судьба своей несправедливостью, Тенардье понимал в совершенстве самым глубоким и самым современным образом ту вещь, которая считается добродетелью у варваров и торговлей у цивилизованных народов — это гостеприимство. Вдобавок он был замечательный браконьер и славился меткостью выстрела. У него был необычный, холодный, спокойный смех, который был особенно опасен.

Его трактирные теории иногда вырывались у него проблесками вдохновения, у него были свои профессиональные афоризмы, которые он старался вбить в голову своей жене: «Долг трактирщика, — говорил он однажды с жаром вполголоса, — состоит в том, чтобы продавать первому встречному еду, отдых, свет, тепло, грязные простыни, услуги, блох, улыбки;

останавливать на пути прохожих, опустошать тощие кошельки, честным образом облегчать тугие, почтительно давать убежище семействам в дороге, драть с мужчины, общипывать женщину, лупить с ребенка; обложить данью решительно все — и открытое окно и закрытое, и место у очага, и кресло, стул, и табурет, и скамеечку под ноги, и перину, и тюфяк, и связку соломы; рассчитать, насколько отражение портит зеркало, и этот предмет обложить тарифом; черт возьми, надо драть с проезжего за все, даже за мух, которых ловит его собака».

Этот мужчина с этой женщиной были сочетанием хитрости и свирепости — гнусный, страшный союз.

Пока муж размышлял и комбинировал, жена не думала об отсутствующих кредиторах, она не заботилась ни о сегодняшнем, ни о завтрашнем дне, она жила необузданностью, вся отдаваясь минуте.

Таковы были эти два существа. Находившаяся между ними Козетта, подвергаясь их двойному

давлению, подобно существу, которое в одно и то же время давят между жерновами и терзают на части клещами. И мужчина и женщина имели каждый свои особенности: Козетту постоянно били и наказывали — этим она была обязана жене; зимой она ходила босиком — это благодаря мужу.

Козетта бегала по лестницам, стирала, чистила, скребла, подметала, была на побегушках, запыхавшись, ворочала тяжести и исполняла всю черную работу, несмотря на свою хилость. Никакой жалости: свирепая хозяйка, ехидный хозяин. Постоялый двор Тенардье был словно паутиной, куда попала Козетта и билась в ней. Идеал угнетения был воплощен в этом роковом подчинении. Точно муха, прислуживающая паукам.

Бедный ребенок молчал и повиновался.

При виде этой крошки, полуодетой и с самого рассвета трудящейся среди мужчин, невольно возникал вопрос: что же происходило в душах этих людей, забывших Бога?

Глава 95

Вошло еще четыре путешественника.

Козетта сидела печальная, задумчивая; хотя ей было всего восемь лет, она уже столько выстрадала, что ей часто приходили на ум мрачные мысли, как у взрослой женщины.

Веки на одном ее глазу совсем почернели от затрещины, которую дала ей хозяйка, и та то и дело говорила, глядя на ребенка: «Экий урод с синяком под глазом!»

Козетта размышляла, что наступила ночь, что очень темно на дворе, что надо было бы заранее наполнить кувшины и графины в комнатах вновь прибывших путешественников и что в резервуаре нет больше воды.

Одно ее несколько успокаивало — то, что в доме Тенардье редко пили воду. Правда, там было немало жаждущих, но жажду свою они скорее утоляли вином, чем водой. Если бы кто вздумал спросить стакан воды среди этих стаканов вина, это показалось бы дикостью. Настала, однако,

минута, когда девочка затрепетала; Тенардье приподняла крышку с кастрюли, кипевшей на плите, схватила стакан и торопливо подошла к резервуару. Она повернула кран, ребенок поднял голову и следил за каждым движением. Тоненькая струйка воды побежала из крана и до половины наполнила стакан.

— Ишь ты, — заметила хозяйка, — вода вся вышла!

Минута молчания. Ребенок затаил дыхание.

— Ба, — молвила Тенардье, рассматривая стакан, — пожалуй, на сегодня хватит.

Козетта опять принялась за работу, но в продолжение, по крайней мере, четверти часа она чувствовала, как сердце ее колотится в груди как комок.

Она считала минуты, ей хотелось бы, чтобы поскорее настало завтрашнее утро.

Время от времени кто-нибудь из пьющих посматривал в окно и восклицал: «Экая темь на дворе, ни зги не видно!» или: «Надо быть

кошкой, чтобы ходить в эту пору без фонаря!» И Козетта всякий раз вздрагивала.

Вдруг вошел один из разносчиков, остановившихся в трактире, и сказал грубым голосом:

— Мою лошадь до сих пор не напоили.

— Как же, поили, ей-богу, — возразила Тенардье.

— Говорят вам — нет, — настаивал торговец.

Козетта вылезла из-под стола.

— Ах, право же, господин, лошадь пила из ведра, полнехонькое ведро выпила, я сама ей носила и даже разговаривала с ней.

Это была неправда. Козетта лгала.

— Вот еще какая нашлась: от горшка два вершка, а уже лжет с гору, — воскликнул торговец. — Говорят тебе, что ее не поили, мерзкая девчонка! У нее особенная привычка сопеть, когда ее не напоят, и я эту привычку твердо знаю.

Козетта продолжала настаивать и прибавила голосом, хриплым от страха и еле слышным:

— И даже знатно поили!

— Ну-с, — крикнул рассвирепевший торговец, — сейчас же напоить мою лошадь без разговоров, и дело с концом!

Козетта опять забилась под стол.

— И то правда, — сказала Тенардье, — если скотину не поили, ее следует напоить. А куда же девчонка-то запропастилась? — прибавила она, оглянувшись вокруг.

Она нагнулась и увидела Козетту, забившуюся под дальний конец стола, почти под ногами у посетителей.

— Вылезай, что ли! — крикнула Тенардье.

Козетта вылезла из своей засады.

— Эй ты, собачонка, ступай, напои лошадь.

— Но, — робко возразила Козетта, — воды больше нет.

Тенардье распахнула настежь входную дверь и молвила:

— Ну так что же, сходи за водой.

Козетта опустила голову и взяла пустое ведро, стоявшее возле печки. Ведро было больше ее, и ребенок мог бы легко усесться в нем.

Тенардье вернулась к своей стряпне, попробовала деревянной ложкой из кастрюли, кипевшей на огне, бормоча себе под нос:

— Воды в роднике вдоволь. Нехитрая штука. Мне кажется, следовало бы мне процедить лук.

Она порылась в ящике, где были гроши, перец и чеснок.

— Вот, на, аспид, — прибавила она, — на обратном пути зайдешь в булочную и возьмешь там большой хлеб. Вот пятнадцать су.

У Козетты был боковой кармашек в переднике; ни слова не говоря, она взяла монету и сунула ее туда.

Потом остановилась как вкопанная, с ведром в руках перед растворенной дверью, словно ждала, что кто-нибудь придет ей на помощь.

— Пойдешь ли ты, наконец! — крикнула Тенардье.

Козетта вышла. Дверь захлопнулась за нею.

Глава 96

Ряд лавок на открытом воздухе, как известно, от самой церкви тянулся до трактира Тенардье.

В ожидании обывателей, которые должны были идти в церковь на полночную службу, лавки были ярко освещены свечами, горевшими в бумажных рожках, что, по выражению школьного учителя, сидевшего в ту минуту за столом в трактире, производило волшебный эффект. Зато на небе не было ни одной звездочки.

Крайний барак, помещавшийся как раз напротив двери в трактир, был занят игрушечной лавкой, так и сверкавшей фольгой, мишурой, стекляшками и разными великолепными

предметами из жести. На первом плане, впереди, торговец поместил на белой скатерти громадную куклу фута в два высотой, наряженную в розовое платье, с золотыми колосьями на голове, с настоящими волосами и глазами из эмали. Весь день эта прелесть красовалась на удивление всем прохожим моложе десяти лет, и до сих пор в Монфермейле не нашлось ни одной матери, настолько расточительной или настолько богатой, чтобы подарить ее своему ребенку. Эпонина и Азельма целыми часами глядели на нее, и даже Козетта украдкой осмеливалась любоваться ею.

В ту минуту, когда Козетта вышла за дверь со своим ведром в руках, угрюмая и удрученная, она не могла удержаться от соблазна поднять глаза на эту изумительную куклу, на эту «даму», как она ее называла. Бедняжка остановилась, остолбенелая. Она еще не видела куклу вблизи. Эта лавчонка казалась ей дворцом; эта кукла была не кукла, а видение, мечта. То была радость, роскошь, богатство, счастье, явившееся в каком-то химерном сиянии перед этим крошечным существом, так глубоко погрязшем в холодной

нищете. Козетта с наивной и грустной прозорливостью, свойственной детству, измеряла бездну, отделявшую ее от этой куклы. Она думала, что надо быть королевой или, по крайней мере, принцессой, чтобы обладать подобной вещью. Она рассматривала это красивое розовое платье, прекрасные приглаженные волосы и думала: «Как эта кукла должна быть счастлива!» Глаза ее не в силах были оторваться от этой фантастической картины. Чем больше она смотрела, тем сильнее эти прелести ослепляли ее. Она представляла себе, что видит рай. Позади большой куклы были другие, поменьше, которые казались ей феями и гениями. Хозяин лавки, ходивший взад и вперед в своем бараке, представлялся ей чем-то вроде Отца Небесного.

Погруженная в созерцание, она забыла все, даже свое поручение. Вдруг грубый голос Тенардье возвратил ее к действительности.

— Как, негодница! Ты еще и не думала ходить?! Вот я тебя, погоди! Скажите на милость, чем она занимается! Ступай, урод.

Тенардье случайно выглянула на улицу и увидела засмотревшуюся Козетту.

Козетта кинулась со всех ног.

Глава 97

Так как трактир Тенардье помещался в той части селения, которая была около церкви, то Козетте приходилось ходить за водой к лесному роднику по Шелльской дороге.

Она уже не останавливалась любоваться ни на одну выставку товаров. Пока она шла по переулку Буланже и в окрестностях церкви, освещенные лавки освещали ей путь, но вот скоро исчез последний огонек последней лавки. Бедная девочка очутилась впотьмах. Она погрузилась в этот мрак. Чувствуя одолевающий страх, она сколько могла тормошила ручку ведра. Это производило шум, от которого ей становилось не так жутко.

Чем дальше она шла, тем больше сгущался мрак. На улицах не было ни души, Впрочем, ей

попалась навстречу какая-то женщина, и та удивленно обернулась на нее, бормоча про себя: «Куда это только может идти такой малыш? Уж не оборотень ли?» Вдруг она узнала Козетту. «Ах, это Жаворонок!» — молвила она.

Козетта прошла по лабиринту пустынных и извилистых улиц, замыкающих село со стороны Шелля. Покуда были дома или хотя бы только стены по обе стороны дороги, она шла довольно смело. То тут, то там она видела мерцание свечи сквозь щелку ставень — видела свет и жизнь; там люди, думала она, и это успокаивало ее. Но вот, по мере того как она продвигалась, походка ее постепенно замедлялась. Завернув за угол крайнего дома, Козетта остановилась. Идти дальше последней лавки было трудное дело, но идти дальше крайнего дома становилось невозможным… Она поставила ведро на землю, запустила пальцы в волосы и принялась медленно почесывать голову, жест, свойственный детям в страхе и нерешительности. Перед ней расстилалось поле — мрачное, пустынное пространство. Она с отчаянием уставилась в эту

тьму, где не было ни живой души, а быть может, были страшные звери или привидения. Она внимательно озиралась вокруг, видела, как звери копошатся в траве, ясно различала привидения, качавшиеся на сучьях деревьев. Тогда она схватила ведро, страх придал ей смелости: «Ну так что ж, — молвила она, — я скажу, что вода вся вышла!» И решительно повернула назад в Монфермейль.

Едва она сделала сто шагов, как остановилась снова и опять принялась почесывать в голове. Теперь ей представилась в воображении сама Тенардье, Тенардье страшная, с ее мощными кулаками и глазами, сверкающими гневом. Ребенок кинул жалостный взгляд вперед и назад. Что делать? Как быть? Куда идти? Впереди призрак Тенардье, позади все призраки ночи и лесов. Она больше боялась Тенардье. Стрелой пустилась она к роднику, выбежала из села, добежала до леса ничего не видя, ничего не слыша. Она бежала до тех пор, пока у нее не захватило дух; но и тогда не остановилась. Она все шла вперед, в каком-то исступлении.

Ей хотелось плакать. Ночной трепет леса окутывал ее всю. Она ничего не думала, ничего не видела. Необъятная ночь поглощала это маленькое существо. С одной стороны необъятный мрак, с другой — атом.

Было всего семь-восемь минут пути от опушки леса до родника. Козетта знала дорогу, потому что не раз ходила по ней днем. Странное дело! Она не заблудилась. Инстинкт смутно руководил ею. Впрочем, она не оглядывалась ни направо, ни налево, боясь увидеть что-нибудь страшное в ветвях или кустарнике. Так добралась она до родника.

Это был узкий естественный бассейн, прорытый водой в глинистой почве фута в два глубиной, окруженный мхом, высокой кудрявой травой, которую называют воротником Генриха IV, и выложенный большими плитами. Ручеек вытекал оттуда с тихим журчанием.

Козетта не дала себе времени передохнуть. Было очень темно, но она привыкла ходить на родник. Левой рукой она ощупала молодой дуб,

наклоненный над родником и обыкновенно служивший ей точкой опоры, отыскала сук, повисла на нем и окунула ведро в воду.

То был такой страшный момент, что силы ее утроились. Оставаясь некоторое время в этом положении, она не заметила, как что-то вывалилось из кармашка ее передника. Монета в пятнадцать су упала в воду. Козетта не видела и не слышала, как она падала. Она вытащила ведро почти полное и поставила его на траву.

Окончив это дело, она почувствовала, что изнемогает от усталости. Ей очень хотелось бы пуститься в обратный путь сейчас же, но усилие, сделанное ею, чтобы наполнить ведро, так обессилило ее, что она не в силах была сделать ни шагу. Волей-неволей она должна была присесть на траву и прикорнула на ней.

Она зажмурила глаза, потом снова открыла их, сама не зная почему, но не в силах была удержаться от этого движения. Возле нее вода в ведре плескалась и образовывала круги, похожие на беловатых огненных змей.

Над ее головой небо было окутано необъятными черными тучами, словно облаками дыма. Трагическая маска тьмы смутно насупилась над ребенком.

Юпитер закатывался за горизонт.

Ребенок смотрел растерянным взором на эту крупную звезду, которой не знал и которая пугала его. Действительно, планета находилась в ту минуту близко от горизонта и пробивалась сквозь густой слой мглы, придававший ей страшный красноватый оттенок. Мгла, окрашенная пурпуром, увеличивала звезду и придавала ей вид кровавой раны.

Холодный ветер дул с равнины. Лес был мрачен, не слышалось того живого шелеста листьев, который свойственен летнему времени. Громадные ветви торчали, принимая страшные очертания. Тощий уродливый кустарник шелестел в прогалинах. Высокая густая трава колыхалась и извивалась под ветром, как ужи. Ветки терновника переплетались, как длинные руки, вооруженные когтями, готовыми схватить

жертву. Сухой вереск, гонимый ветром, склонялся в сторону, точно с ужасом убегал от чего-то страшного. Со всех сторон расстилалось унылое пространство.

Тьма производит головокружение. Человеку нужен свет. Всякий углубляющийся во мрак чувствует, как у него сжимается сердце. Когда в глазах темно, ум помрачается. Во мраке ночи, среди густой мглы, становится жутко даже самым сильным. Никто не ходит ночью по лесу один, не ощущая дрожи. Тени и деревья — две грозные чащи.

Химерные образы являются в смутной глубине. Непонятное, необъяснимое рисуется в нескольких шагах перед вами со страшной отчетливостью. Вы видите, как плавает в пространстве или в вашем собственном мозгу нечто смутное, неуловимое, как сон задремавшего цветка. На горизонте появляются какие-то дикие очертания. Вы вдыхаете испарения этой необъятной черной бездны. Вам жутко, вас тянет оглянуться назад. Темные

пещеры ночи, предметы, принявшие какие-то дикие очертания, угрюмые профили, рассевающиеся при приближении, сумрачные косматые призраки, необъятное могильное безмолвие, неведомые предметы, ставшие возможными, таинственно наклоненные ветви, страшные торсы деревьев, длинные космы трепещущих трав, — против всего этого вы беззащитны. Нет смельчака, который не содрогнулся бы и не почувствовал близости томительной тоски. Ощущаешь нечто чудовищное, словно душа сочетается с мраком. Это ощущение мрака невыносимо тягостно для ребенка.

Лес — это неизвестность, и маленькая душа трепещет под их чудовищным сводом.

Не отдавая себе отчета, что именно она ощущает, Козетта чувствовала, что ее охватывает эта мрачная громада природы. То был уже не страх, а нечто даже ужаснее страха. Она вся вздрагивала. Не выразить словами странного ощущения этой дрожи, леденившей ее до

глубины сердца. Глаза ее приняли дикое выражение. Она как будто сознавала, что против своей воли придет на это место завтра в тот же час.

Тогда, в силу какого-то инстинкта, чтобы выйти из невыносимого состояния, которого она не понимала, но которое пугало ее, она принялась считать громко: раз, два, три, четыре и до пяти, потом начала снова. Это возвратило ей присутствие духа, осознание окружающих предметов. Она почувствовала холод в руках, которые замочила, черпая воду. Она встала. К ней вернулся страх. У нее была одна мысль — бежать, бежать со всех ног, по лесу, по полям, скорее к домам, к окнам, к зажженным свечам. Взгляд ее упал на ведро, стоявшее рядом. Так велик был ужас, внушаемый ей Тенардье, что она не посмела убежать, не взяв ведра. Она схватила ручку обеими руками и с усилием приподняла ведро. Она сделала с десяток шагов, но ведро было полное, очень тяжелое, она вынуждена была поставить его на землю. Передохнув, она снова схватила ручку и продолжала идти, и на

этот раз шла немного дольше. Но скоро пришлось опять остановиться. После нескольких секунд отдыха она пустилась в путь. Шла она нагнувшись вперед, с поникшей головой, как старуха; тяжесть ведра напрягала ее худенькие руки. От железной ручки окончательно заледенели ее маленькие мокрые пальцы; временами она вынуждена была останавливаться, и всякий раз холодная вода выплескивалась из ведра и обливала ее голые ноги. Это происходило в чаще леса, ночью, в зимнюю пору, вдали от человеческих глаз, с восьмилетним ребенком: один Бог в ту минуту видел эту печальную картину.

А может быть, увы! — это видела и ее мать.

Ибо есть вещи, от которых разверзаются очи мертвых в могилах.

Девочка тяжело дышала с каким-то болезненным хрипом; рыдания сжимали ей горло, но она не смела плакать, так сильно боялась Тенардье, даже на расстоянии. Уж такая у

нее была привычка всегда представлять себе, что Тенардье тут, около нее.

Между тем она медленно подвигалась и шла очень тихим шагом. Как ни сокращала она отдых, как ни старалась идти без остановки, как можно дольше, а все думала с тоской, что ей потребуется по крайней мере час, чтобы вернуться таким образом в Монфермейль, и что Тенардье непременно прибьет ее. Эта боязнь примешивалась к ужасу быть одной в лесу среди ночи. Она изнемогала от усталости, а еще не выбралась из лесу. Дойдя до знакомого ей старого каштанового дерева, она сделала последнюю остановку, дольше остальных, чтобы хорошенько отдохнуть, потом собрала последние силенки, схватила ведро и мужественно пустилась в путь. Однако у бедного маленького существа в отчаянии невольно вырвалось восклицание:

— О боже мой, о боже мой!

Вдруг она почувствовала, что ведро совсем полегчало. Рука, показавшаяся ей огромной, схватила ручку и с силой приподняла ведро. Она

подняла голову. Высокая темная фигура шла рядом с ней в темноте. Какой-то человек подошел к ней сзади неслышно и, ни слова ни говоря, взял ручку ведра, которое она несла.

Глава 98

В тот самый рождественский сочельник 1823 года, после полудня, какой-то человек долго бродил в самой пустынной части бульвара л’Опиталь в Париже. Он как будто искал квартиру и охотнее останавливался перед самыми скромными домами разоренной окраины предместья Сен-Марсо.

Впоследствии будет видно, что человек этот действительно нанял себе комнату в захолустном квартале.

По своей одежде и по всей фигуре этот мужчина подходил к типу, так сказать, благородного нищего, — крайняя нищета соединялась в нем с необыкновенной опрятностью. Это довольно редкое сочетание,

внушающее развитому уму двойное уважение, какое обыкновенно чувствуешь к человеку очень бедному и к человеку очень достойному. На нем были старая, тщательно вычищенная шляпа, сюртук, потертый до нитки, из грубого сукна цвета охры — что в то время не казалось странным, — большой жилет с карманами старинного покроя, черные панталоны, побелевшие на коленках, черные шерстяные чулки и толстые башмаки с модными пряжками. Он смахивал на бывшего наставника из благородного дома, вернувшегося из эмиграции. По его белым как лунь волосам, морщинистому лбу, бледным губам, по всему лицу его, дышавшему утомлением жизнью, можно было дать ему гораздо больше шестидесяти лет. Но судя по его твердой, хотя и медленной походке, по необыкновенной силе, запечатленной в каждом его движении, — ему нельзя было дать и пятидесяти. Морщины на лбу его имели благородный характер и расположили бы в его пользу всякого внимательного наблюдателя. Губы его, сжимаясь, образовывали странную складку,

казавшуюся строгой, но в действительности в ней можно было прочесть смирение. В глубоком его взоре была какая-то сумрачная безмятежность. В левой руке он нес сверток, завязанный в платке; правой опирался на палку, вырубленную где-нибудь в лесу. Палка эта была отделана с некоторой тщательностью и имела красивый вид; сучки были аккуратно подчищены, и вместо набалдашника конец был залит красным сургучом наподобие коралла. Это была скорее дубина, имевшая вид трости.

Мало встречалось прохожих на бульваре, в особенности зимой. Человек этот, без всякой, впрочем, аффектации, казалось, скорее избегал их, чем искал встречи.

В то время король Людовик XVIII почти каждый день ездил в Шуази-ле-Руа. Это была его любимая прогулка. Почти неизменно около двух часов можно было видеть королевскую карету с кавалькадой, скачущей в карьер по бульвару л’Опиталь.

Это служило вместо часов беднякам околотка, которые говорили: «Значит, два часа, вон он скачет обратно в Тюильери». И одни выбегали навстречу, другие сторонились, потому что проезд короля всегда вызывает некоторую суматоху. Появление и исчезновение Людовика XVIII производило большой эффект на улицах Парижа. Появление мимолетное, но величественное. Этот немощный король имел пристрастие к езде в карьер; не будучи в силах ходить, он любил скакать; этот калека желал бы мчаться на крыльях вихря. Он проезжал, строгий и важный, среди обнаженных сабель. Его массивный, раззолоченный экипаж, с витками лилий на дверцах, катился с грохотом. Едва можно было успеть заглянуть внутрь. В правом углу кареты виднелись откинутое на белые атласные подушки широкое, твердое, свежее лицо, свеженапудренные волосы с хохолком, гордый, жесткий, лукавый взгляд, умная улыбка, два толстых эполета на гражданском платье, Золотое Руно, крест Людовика Святого, крест Почетного легиона, серебряная звезда Святого

Духа, большой живот и широкая голубая лента — вот каков был король. Вне Парижа он держал свою шляпу с белыми перьями на коленях, закутанных в высокие английские гетры; но когда въезжал в город, он надевал шляпу и кланялся мало. Холодно смотрел он на народ, который платил ему тем же. Когда он впервые появился в квартале Сен-Марсо, все впечатление, произведенное им, высказалось в замечании одного жителя Фобурга своему товарищу: «Вон этот толстяк, представляющий собой правительство».

Итак, неизбежное появление короля в один и тот же час составляло ежедневное событие бульвара л’Опиталь.

Прохожий в желтом сюртуке, очевидно, был не местный житель, быть может, даже был новичок в Париже, потому что не знал этой подробности. В два часа, когда королевский экипаж, окруженный эскадроном лейб-гвардии, расшитой серебряными галунами, появился на бульваре, обогнув Сальпетриер, он казался

удивленным и почти испуганным, он был один в боковой аллее и поспешно скрылся за угол ограды, что Не помешало герцогу Гавре заметить его. Герцог Гавре, как капитан лейб-гвардии, дежурный в тот день, сидел в карете против короля. Он заметил его величеству: «Вот человек подозрительного вида». Полицейские, караулившие по дороге, также заметили его; одному из них было поручено проследить за ним. Но человек углубился в узкие захолустные улицы предместья, а так как начинало смеркаться, то агент потерял его след, как и значилось в донесении, поданном в тот же вечер графу д'Англесу, министру и префекту полиции.

Человек в желтом сюртуке, отделавшись от агента, ускорил шаг, оборачиваясь несколько раз, чтобы удостовериться, что никто за ним не следит. В четверть пятого, то есть когда уже совсем смерклось, он прошел мимо театра Порт-Сен-Мартен, где давали в тот день пьесу «Два каторжника». Эта афиша, освещенная театральными фонарями, поразила его, и хотя он шел очень быстро, но остановился прочесть ее.

Минуту спустя он очутился в глухом переулке Планшет и вошел в трактир «Оловянное блюдо», где находилось бюро омнибусов, идущих в Ланьи. Дилижанс отходил в половине пятого, лошади уже были запряжены, и путешественники, по зову кучера, взбирались по высокой лесенке.

— Есть еще место? — спросил человек.

— Есть одно, рядом со мной, на козлах, — отвечал кучер.

— Я беру его.

— Садитесь.

Однако перед отъездом кучер окинул взглядом бедную одежду путешественника, его тощую поклажу и заставил его заплатить вперед.

— Вы едете до Ланьи? — спросил кучер.

— Да, — отвечал путешественник.

Тронулись в путь. Миновав заставу кучер попробовал было завязать разговор, но путешественник отвечал полусловами. Кучер

принялся посвистывать и понукать своих лошадей. Он закутался в плащ: было холодно. Но путешественник, по-видимому, и не думал о холоде. Так проехали через Гурне и Нейлльи-на-Марне.

К шести часам вечера прибыли в Шелль. Кучер остановился, чтобы дать передохнуть лошадям перед извозчичьим постоялым двором, помещавшимся в ветхом здании королевского аббатства.

— Я выйду здесь, — сказал человек.

Он взял сверток, палку и соскочил с козел. Минуту спустя он уже исчез. Он не вошел на постоялый двор.

Когда через несколько мгновений карета тронулась в Ланьи, он не повстречался ей по Шелльской дороге.

— Этот человек не здешний, — обратился кучер к седокам внутри экипажа, — я его никогда не встречал прежде. На вид у него нет ни гроша за душой; а между тем он не очень-то считает

деньги: заплатил мне до Ланьи, а сам слезает в Шелле. Теперь ночь, все дома заперты, на постоялый двор он не зашел, и след его простыл. Словно провалился сквозь землю.

Человек не провалился сквозь землю, а быстро зашагал в темноте по большой дороге Шелля; потом, не доходя до церкви, повернул налево по проселочной дороге, ведущей в Монфермейль; он шел как человек, хорошо знающий дорогу и не раз бывавший в тех местах.

В том месте, где эта дорога пересекает старый окаймленный деревьями тракт из Ганьи в Ланьи, он услышал шаги. Поспешно юркнул он в ров и подождал, пока прохожие удалились. Предосторожность почти излишняя, так как декабрьская ночь была очень темная. Две-три звездочки мерцали на небе.

В этом месте начинался склон холма. Человек не повернул по дороге в Монфермейль; он взял направо по полям и крупными шагами направился к лесу.

Очутившись там, он замедлил шаги, тщательно стал осматривать все деревья, подвигался шаг за шагом, точно искал чего-то, и следовал по таинственному пути, одному ему известному. Настал момент, когда он как будто заблудился и остановился в нерешительности. Наконец он добрался ощупью до прогалины, где лежала груда беловатых камней. Быстро подошел он к камням, внимательно осмотрел их в ночной мгле; в нескольких шагах от камней стояло большое дерево, покрытое сучками и шишками, похожими на бородавки. Он направился к этому дереву, провел рукой по коре, как будто стараясь узнать и сосчитать все бородавки.

Напротив этого дерева, оказавшегося ясенем, был старый хилый каштан, с ободранной в одном месте корой; на нем была наложена в виде повязки прибитая гвоздями цинковая планка. Он поднялся на цыпочках и коснулся этой планки.

Потом стал топтать ногами пространство земли между деревом и камнями, как будто желая

удостовериться, что земля не была недавно разрыта.

Проделав все это, он сориентировался и продолжал путь по лесу. Этого самого человека встретила Козетта.

Пробираясь в чаще леса, по направлению Монфермейля, он увидел эту маленькую тень, двигавшуюся с тяжелыми стонами, то ставя на землю свою ношу, то опять пускаясь в путь. Он подошел поближе и убедился, что это ребенок с огромным ведром воды. Приблизившись к ребенку, он молча взялся за ручку ведра.

Глава 99

Как мы уже заметили, Козетта не испугалась.

Незнакомец заговорил с ней серьезным, почти тихим голосом:

— Дитя мое, ты несешь тяжелую ношу.

— Да, сударь, — ответила Козетта, подняв голову.

— Дай сюда, я понесу сам.

Козетта выпустила ведро из рук. Человек пошел с ней рядом.

— В самом деле, очень тяжело, — проговорил он сквозь зубы. — Который тебе год, девочка?

— Восемь лет, сударь.

— Издалека ты идешь?

— От самого родника, что в лесу.

— А далеко тебе идти?

— Добрых четверть часа ходьбы.

Человек помолчал несколько минут и вдруг резко спросил:

— У тебя, значит, нет матери?

— Не знаю, — молвила девочка.

Прежде чем человек успел сказать слово, она добавила:

— Не думаю, чтоб была. У других у всех есть матери. А у меня нет.

— Кажется, никогда и не было, — добавила она после некоторого молчания.

Человек остановился, поставил ведро на землю, нагнулся и, положив обе руки на плечи ребенка, силился разглядеть ее лицо в темноте.

Худенькое, хилое личико Козетты смутно вырисовывалось в хмуром свете неба.

— Как тебя зовут? — спросил он.

— Козетта.

Он вздрогнул, как от электрической искры, снова взглянул ей прямо в лицо, потом снял руки с ее плеч, схватил ведро и пошел далее.

— Где ты живешь, малютка?

— В Монфермейле, если вы знаете, где это.

— Мы идем туда?

— Да, сударь. Новая пауза.

— Кто же послал тебя в такую пору в лес за водой?

— Мадам Тенардье.

Человек продолжал тоном, который старался сделать равнодушным, но в котором замечалась странная дрожь:

— Чем она занимается, твоя мадам Тенардье?

— Это моя хозяйка, она держит постоялый двор.

— Постоялый двор? — сказал он. — Ну, так я пойду ночевать туда сегодня. Проводи меня.

— Мы туда и идем, — молвил ребенок.

Человек шел довольно скоро. Козетта едва поспевала за ним. Но она уже не чувствовала усталости. Временами она вскидывала глаза на незнакомца с каким-то необъяснимым спокойствием и доверчивостью. Никто не учил ее обращаться к Провидению и молиться. Между тем она ощущала что-то похожее на надежду и радость, взывавшую к Богу.

Прошло несколько минут. Человек продолжал:

— Разве у мадам Тенардье нет служанки?

— Нет.

— И ты совсем одна?

— Да.

Опять наступило непродолжительное молчание. Козетта продолжала:

— Есть еще две девочки.

— Какие девочки?

— Понина и Зельма.

Ребенок упрощал по-своему романтические имена, столь любезные мадам Тенардье.

— Кто это такие — Понина и Зельма?

— Это барышни Тенардье, так сказать, ее дочки.

— А что они делают?

— О, — воскликнула она, — у них красивые куклы, вещицы с золотом, разные разности. Они играют, забавляются.

— Весь день?

— Да, сударь.

— А ты?

— Я работаю.

— Так и работаешь целый день?

Ребенок вскинул на него свои большие глаза, в них блестела слезинка, которую не видно было в темноте.

— Да, сударь, — тихо промолвила она.

После некоторого молчания она продолжала:

— Иногда, когда я кончу работу и мне позволят, я тоже играю.

— Ну, как же ты играешь?

— Как придется, одна. У меня нет игрушек. Понина и Зельма не позволяют мне играть их куклами. У меня есть только маленькая свинцовая сабля — вот какая!

Девочка показала мизинцем.

— И она не режет, не правда ли?

— Как же, режет, — возразила она, — режет салат и головки у мух.

Они вошли в село; Козетта повела незнакомца по улицам. Они миновали булочную, но Козетта не вспомнила о хлебе, который ей велели купить. Незнакомец прекратил свои расспросы и хранил мрачное молчание. Когда они миновали церковь, увидев лавку на открытом воздухе, он спросил Козетту:

— Разве здесь ярмарка?

— Нет, праздник, Рождество.

Приближаясь к трактиру, Козетта робко коснулась его руки:

— Господин…

— Что такое, дитя мое?

— Теперь дом недалеко…

— Ну так что же?

— Отдайте мне, пожалуйста, ведро.

— Для чего?

— Если хозяйка увидит, что вы несли его, она меня прибьет.

Человек отдал ей ведро. Минуту спустя они очутились у дверей трактира.

Глава 100

Козетта не могла удержаться от искушения искоса взглянуть на огромную куклу, все еще красовавшуюся в игрушечной лавке. Потом она постучалась: дверь отворилась, и на пороге показалась Тенардье со свечой в руках.

— А, это ты, бездельница! Долго же ты прошаталась! Наверное, где-нибудь забавлялась все время, негодная!

— Сударыня, — прошептала дрожащая Козетта, — вот господин пришел ночевать.

Тенардье мигом заменила свое свирепое выражение лица любезной гримасой, перемена, свойственная трактирщикам, и жадно устремила глаза на пришельца.

— Это вы? — сказала она.

— Да, сударыня, — отвечал человек, коснувшись шляпы.

Богатые путешественники не бывают так вежливы. Этот жест и взгляд, брошенный Тенардье на костюм и поклажу незнакомца, мгновенно согнали с ее лица любезную гримасу и опять заставили появиться свирепую мину.

— Войди, старичок, — сказала она сухо.

«Старичок» вошел. Тенардье еще раз окинула его взглядом, особенно тщательно осмотрела его сильно потертый сюртук и шляпу, слегка помятую, потом неприметным кивком головы, наморщив нос и мигнув глазом, посоветовалась с мужем, который продолжал пить с извозчиками. Муж отвечал легким движением указательного пальца, что в соединении с выпячиванием губ означало в данном случае: голь перекатная. После этого Тенардье воскликнула:

— Вот что, любезный, мне очень жаль, но у меня больше не найдется места.

— Поместите меня где хотите, на чердаке или в конюшню. Я заплачу как за комнату.

— Сорок су.

— Пусть будет сорок су, я согласен.

— Как, разве сорок су? — прошептал один из извозчиков хозяину. — Ведь мы платим по двадцать.

— А для него сорок, — бросила Тенардье, не изменяя тона. — Я бедных не принимаю за меньшую плату.

— Это правда, — прибавил муж с кротостью, — держать такой народ только срамить дом.

Между тем путник, оставив на лавке свой узелок и палку, уселся за стол, на который Козетта поспешила подать бутылку вина и стакан. Торговец, потребовавший ведро воды, пошел сам поить лошадь. Козетта поместилась на обычное место под кухонным столом и принялась за свое вязанье.

Незнакомец, обмакнув губы в стакан вина, смотрел на девочку со странной внимательностью. Козетта была дурна собой. В счастье она похорошела бы. Мы уже описали эту маленькую печальную фигурку. Она была худая и бледная; ей было восемь лет, а на вид казалось не больше шести. Ее большие глаза, окруженные темными кругами, почти потухли от слез. Углы рта были тоскливо опущены с выражением, свойственным осужденным и отчаянно больным. Руки ее, как верно угадала ее мать, потрескались от холода. Пламя, освещавшее ее в ту минуту, особенно резко выдавало угловатость ее костей и делало ее худобу почти страшной. Так как она всегда дрожала от холода, то усвоила привычку прижимать коленки одну к другой. Ее одежда была сплошными лохмотьями, которые возбудили бы жалость летом и ужас зимой. На ней была одна дырявая холстина и ни клочка шерсти. Тут и там виднелось ее тело, покрытое синяками от побоев Тенардье. Ее босые ноги были красны и худы. Глядя на ее впалые ключицы, становилось жалко ее до слез. Вся

фигура этого ребенка, ее походка, ее манера держать себя, звук ее голоса, робкая, запинающаяся речь, ее взгляд, ее молчание, малейший ее жест выражали одну мысль, одно чувство — страх.

Страх заполонял ее, так сказать, покрывал ее с ног до головы; страх заставлял ее прижимать локти к бедрам, подбирать пятки под юбку, стараться занимать как можно меньше места, удерживать дыхание; страх стал привычкой ее тела и мог только увеличиваться, а не уменьшаться. В глубине ее глаз был удивленный уголок, где гнездился ужас. Запуганность была до того сильна в ней, что, придя домой вся вымокшая, она не посмела посушиться у огня и молчаливо принялась за работу.

Выражение глаз этого восьмилетнего ребенка было обыкновенно так мрачно и порою так трагично, что иной раз можно было подумать, что она превращается в идиотку или в демона.

Никогда никто не учил ее молиться, ни разу в жизни она не была в церкви.

— Разве у меня есть на это время? — говорила Тенардье.

Человек в желтом сюртуке не сводил глаз с Козетты.

Вдруг Тенардье воскликнула:

— Кстати, а где же хлеб?

Козетта, по своему обыкновению, всякий раз как Тенардье повышала голос, живо выскакивала из-под стола. Она совсем забыла о хлебе и прибегла к уловке, свойственной запуганным детям. Она солгала.

— Сударыня, булочная была заперта.

— Надо было постучаться.

— Я стучалась.

— Ну и что же?

— Булочник не отпер.

— Вот погоди, завтра я узнаю, правда ли это, и если ты лжешь, то получишь знатную трепку. А покуда подавай сюда мои деньги.

Козетта опустила руку в карман передника и побелела. Монета в пятнадцать су исчезла.

— Ты слышала, что тебе говорят? — крикнула Тенардье. Козетта вывернула карман — ничего. Куда могли деваться деньги?

Несчастная девочка не находила слов. Она окаменела.

— Потеряла ты, что ли, деньги? — заревела Тенардье. — Или хочешь обокрасть меня?

Она протянула руку к плетке, висевшей на гвоздике у печки. Этот грозный жест дал Козетте сил закричать:

— Простите, сударыня! Я больше не буду.

Тенардье сняла плетку с гвоздя. Между тем человек в желтом сюртуке пошарил в жилетном кармане, незаметно ни для кого из присутствующих. К тому же остальные посетители пили или играли в карты, не обращая на него ни малейшего внимания.

Козетта с ужасом прижималась в угол возле печки, стараясь спрятать свои жалкие полунагие

члены. Тенардье замахнулась.

— Извините, сударыня, — молвил человек, — но я сейчас видел, как что-то выпало из передника этой девочки и покатилось по полу. Быть может, это и есть, что вы ищете.

Он нагнулся и сделал вид, что шарит по полу.

— Может быть, это, — продолжал он, приподнимаясь, и протянул монету Тенардье.

— Да, это самое, — проговорила она.

Это вовсе было не то, а монета в двадцать су, но Тенардье получала барыш. Она сунула деньги в карман, кинув свирепый взгляд на ребенка и процедив сквозь зубы:

— Смотри, чтобы с тобой этого больше не случалось!

Козетта убралась в свою конуру, как ей велела Тенардье, и ее большие глаза, устремленные на незнакомого путешественника, приняли небывалое выражение. Пока это было только наивным удивлением, но с примесью какой-то недоумевающей доверчивости.

— Кстати, хотите ужинать? — спросила Тенардье у путешественника.

Он не отвечал. Он казался погруженным в глубокую думу.

— Что это за человек? — бормотала она сквозь зубы. — Какой-нибудь отвратительный нищий, у которого нет даже гроша за душой, чтобы поужинать. Заплатит ли он мне за ночлег? Хорошо еще, что ему не вздумалось украсть деньги, что валялись на полу.

Отворилась дверь, и в комнату вошли Эпонина и Азельма. Это были две действительно прелестные девочки, скорее из буржуазной, чем крестьянской семьи; они были восхитительны, одна с блестящими каштановыми косами, другая с длинными черными локонами, ниспадающими до пояса, обе живые, чистенькие, пухленькие, свежие и здоровые, так что, глядя на них, сердце радовалось. Одеты они были очень тепло, но с таким материнским искусством, что толщина тканей нисколько не скрывала кокетливости наряда.

Эти две девочки распространяли вокруг себя свет. К тому же они держали себя как принцессы. В их наряде, в их веселости, в шумных играх проглядывала властность. Когда они вошли, Тенардье обратилась к ним в ворчливом тоне, в котором так и сквозило обожание.

— А, вот и вы пожаловали!

И, притянув их к себе, каждую по очереди, пригладив их волосы, поправив ленты, она потом отталкивала их от себя с той ласковой манерой трясти детей за плечи, которая свойственна матерям.

— Ишь как наряжены! — заметила она.

Они уселись у огня. У них была кукла, которую они вертели в руках с веселым щебетанием. Время от времени Козетта поднимала глаза от своего вязания и печально смотрела, как они играют.

Эпонина и Азельма не глядели на Козетту. Для них она была все равно, что собака. Этим трем девочкам вместе не было и двадцати четырех лет,

а они уже представляли собою человеческое общество — с одной стороны, зависть, а с другой — презрение.

Кукла сестер Тенардье была очень истрепанная, очень старая и поломанная, но тем не менее она была очаровательной в глазах Козетты, у которой за всю жизнь не было куклы, настоящей куклы — выражение, понятное всем детям.

Вдруг Тенардье, ходившая взад и вперед по зале, заметила, что Козетта отвлекается от дела и вместо того, чтобы работать, занимается играющими девочками.

— А! Так вот как ты работаешь! Постой, будешь у меня работать, как попробуешь плетки!

Незнакомец, не вставая с места, повернулся в сторону Тенардье.

— Сударыня, — промолвил он с улыбкой почти боязливой, — позвольте ей поиграть.

Со стороны всякого путешественника, который съел бы ломоть жаркого, выпив бутылки

две вина за ужином, и который наружностью не походил бы на гнусного нищего, такое желание было бы сочтено за приказание. Но чтобы человек в такой шляпе позволил себе высказать Желание, чтобы нищий в таком сюртуке осмелился выражать волю — этого Тенардье не могла вынести.

— Она должна работать, потому что жрет, — возразила она резко. — Я не могу кормить ее даром.

— Что это она делает? — продолжал незнакомец кротким голосом, представлявшим странный контраст с его нищенской одеждой и дюжими плечами носильщика.

Тенардье снизошла дать ответ:

— Чулки вяжет, если вам угодно знать. Чулки для моих девочек, у которых их нет и которые ходят босиком.

Незнакомец взглянул на бедные, посиневшие от холода ноги Козетты и продолжал:

— Когда же она закончит эту пару?

— Работы осталось дня на три-четыре. Эдакая лентяйка!

— А сколько может стоить такая пара чулок, когда будет готова?

— По крайней мере тридцать су, — ответила Тенардье, кинув на него презрительный взгляд.

— А уступите вы их за пять франков?

— Черт возьми! — воскликнул один из извозчиков с грубым смехом. — Пять франков! Как не уступить! Еще бы! Целых пять кругляков.

— Да, — вмешалась Тенардье, — если такова ваша фантазия, сударь, то можно будет уступить. Мы ни в чем не отказываем постояльцам!

— Только деньги на стол сейчас же, — прибавил муж своим отрывистым, решительным тоном.

— Я покупаю эту пару чулок, — отвечал человек, выкладывая на стол монету в пять франков, — вот и деньги. Теперь твоя работа принадлежит мне, — обратился он к Козетте. — Ступай, играй, дитя мое.

Извозчик был до того поражен пятифранковиком, что бросил пить и подбежал к ним.

— Ишь ты, ведь и правда! — восклицал он, рассматривая монету. — Настоящее заднее колесо и не фальшивое!

Подошел Тенардье и молча сунул монету в карман. Жена его не возражала. Она принялась кусать губы, и лицо ее приняло выражение ненависти.

Между тем Козетта вся дрожала; с усилием решилась она спросить:

— Сударыня, правда, что мне можно играть?

— Играй, — заревела Тенардье грозным голосом.

— Благодарю, сударыня.

И в то время, когда уста ее благодарили Тенардье, вся маленькая душа ее была переполнена благодарностью к путешественнику. Тенардье опять принялся пить. Жена нагнулась к его уху:

— Что это может быть за птица этот желтый человек?

— Я видывал, — отвечал Тенардье глубокомысленно, — я видывал миллионеров, которые носили такие сюртуки.

Козетта перестала вязать, но не оставила своего места. Она всегда старалась двигаться как можно меньше. Она вынула из коробочки, стоявшей позади, какие-то старые лоскутки и свою маленькую свинцовую саблю. Эпонина и Азельма не обращали никакого внимания на то, что делалось вокруг. Они только что совершили весьма важную операцию: завладели кошкой. Кукла была брошена на пол, и Эпонина, старшая, пеленала котенка, несмотря на его мяуканье и сопротивление, в множество тряпок, красных и голубых. Выполняя эту важную и трудную работу, она щебетала на прелестном детском языке, очарование которого, подобно яркой пыли на крыльях бабочек, отлетает, как только захочешь передать ее.

— Видишь ли, сестрица, эта кукла забавнее той. Она барахтается, она кричит, она вся тепленькая. Давай играть в нее, сестрица. Это будет моя дочка. Я буду дама и приду к тебе в гости; ты и станешь смотреть на нее. Вдруг заметишь, что у нее усы, и удивишься. Потом увидишь ушки и хвостик и тоже удивишься. Вот ты и скажешь: «Ах, боже мой!», а я скажу: «Да, у меня такая дочка. Теперь все такие девочки стали».

Азельма слушала Эпонину с восхищением. Между тем посетители загорланили непристойную песню и хохотали так, что стекла звенели. Сам Тенардье поощрял их и аккомпанировал.

Как птички вьют гнезда из чего попало, так и дети изо всего способны создать куклу. Пока Эпонина и Азельма пеленали котенка, Козетта, со своей стороны, запеленала свою сабельку. Она уложила ее на руку и тихо убаюкивала песенкой. Кукла — одна из самых необходимых потребностей и в то же время один из

прелестнейших инстинктов женской натуры… Нянчить, одевать, наряжать, кутать, раздевать, учить, слегка журить, баюкать, ласкать, представлять себе, что это живое существо, — в этом вся будущность женщины. Мечтая и болтая таким образом, нашивая приданое и пеленки, измышляя маленькие платьица, лифчики, фартучки, ребенок становится девочкой, девочка — взрослой девушкой, а девушка превращается в женщину. Первый ребенок — продолжение последней куклы. Маленькая девочка без куклы почти так же немыслима, как женщина без ребенка. Итак, Козетта устроила себе куклу из сабли.

Тенардье между тем подсела к желтому человеку.

«Муж прав, — думала она, — быть может, это сам господин Лаффитт. Есть богатые люди такие чудаки!»

— Господин… — начала она, положив локти на стол.

При этом обращении человек обернулся. До сих пор Тенардье величала его «старичком» или «любезным».

— Видите ли, в чем дело, — продолжала она слащавым тоном, еще более противным в ней, чем ее свирепость, — мне и самой хочется, чтобы ребенок играл, я не прочь, да ведь это хорошо раз, два, уж коли вы такой великодушный. Ведь у нее ни гроша нет. Надо работать.

— Так это не ваша девочка? — спросил он.

— Господи, какое наша! Это просто бедняжка, которую мы подобрали так, из милости. И какой-то тупоумный ребенок. Должно быть, у нее водянка в голове. Ишь какая башка, сами видите. Мы делаем для нее что можем, сами люди небогатые. Должно быть, мать ее умерла.

— А, — процедил незнакомец и снова погрузился в раздумье.

— Ну и дрянь же была эта мать, — добавила Тенардье. — Она бросила своего ребенка.

Во время этого разговора Козетта, инстинктивно предчувствуя, что речь идет о ней, не спускала глаз с Тенардье. Она смутно прислушивалась. Временами до нее долетали отдельные слова.

Между тем гости почти все перепились и повторяли свой бесстыдный припев с удвоенным весельем. То было веселье с особенным кощунственным оттенком: сюда примешивались имена Божьей Матери и Младенца Иисуса. Тенардье тоже присоединилась к мужчинам и принялась хохотать во всю глотку. Козетта под столом устремила на огонь неподвижный взор, в котором отражалось пламя; она снова принялась укачивать свои тряпочки и припевала тихим голосом: «Мать умерла! Мать умерла! Мать умерла!»

По настоянию хозяйки желтый человек-«миллионщик» согласился, наконец, поужинать.

— Что вам угодно кушать?

— Хлеба с сыром, — отвечал он.

— Нет, решительно это нищий, — подумала Тенардье.

Пьяницы продолжали горланить свою песню, а ребенок под столом мурлыкал свою. Вдруг Козетта запнулась. Обернувшись, она заметила куклу маленьких Тенардье, которую те бросили, занявшись котенком; она валялась на полу в нескольких шагах от кухонного стола.

Девочка уронила свою саблю, закутанную в лоскутки и не совсем удовлетворявшую ее, и медленно обвела глазами комнату. Хозяйка шепталась с мужем и считала деньги, Эпонина и Зельма играли с кошкой, посетители пили или занимались пением, никто не обращал на нее внимания. Нельзя было терять ни минуты. Она вылезла из-под стола на четвереньках; еще раз убедилась, что никто на нее не смотрит, с живостью прокралась к кукле и схватила ее. Через мгновение она уже была опять на своем месте, сидела смирно, неподвижно, повернувшись так, чтобы тень падала на куклу, которую держала на руках. Счастье поиграть

куклой было до такой степени редкое, что имело для нее какое-то острое наслаждение.

Никто ее не видел, кроме незнакомца, который медленно ел свой скудный ужин. Эта радость продолжалась с четверть часа. Но какие предосторожности ни принимала Козетта, она не заметила, что одна нога куклы высовывалась и пламя освещало ее. Эта яркая розовая нога вдруг привлекла внимание Азельмы, и та шепнула Эпонине: «Посмотри-ка, сестрица!»

Обе девочки остановились пораженные. Козетта осмелилась стащить их куклу! Эпонина встала, не выпуская кошки, подбежала к матери и принялась дергать ее за юбку.

— Да оставь же меня в покое! — сказала мать. — Что тебе надо?

— Мама, гляди! — проговорил ребенок, указывая пальцем на Козетту.

А Козетта, вся поглощенная восторгом обладания своим сокровищем, ничего не видела, ничего не слышала.

Лицо Тенардье приняло то особенное грозное выражение, которое, примешиваясь к мелочам жизни, доставляет подобного рода женщинам прозвище мегер. На этот раз оскорбленная гордость еще усиливала ее гнев. Козетта переступила все границы. Козетта посягнула на куклу барышень. Так какая-нибудь королева, видя, как мужик примеряет регалии ее царственного сына, не смогла бы иметь более раздраженного вида. Она рявкнула голосом, хриплым от негодования:

— Козетта!

Козетта вздрогнула, словно земля разверзлась под нею. Она обернулась.

— Козетта! — повторила Тенардье.

Козетта взяла куклу и тихо положила ее на пол с каким-то благоговением, соединенным с отчаянием. Не отрывая от нее глаз, она сложила руки и, что страшно видеть у ребенка такого возраста, заломила их; у нее полились слезы, которых ни одно из страданий того дня не могло у нее исторгнуть, — ни путешествие в лесу, ни

тяжесть ведра, ни потеря денег, ни вид плетки, ни даже свирепые слова Тенардье. Она разразилась рыданиями.

Между тем путешественник поднялся с места.

— В чем дело? — спросил он.

— Разве вы не видите? — сказала Тенардье, показывая на жертву преступления, распростертую у ног Козетты.

— Так что же? — продолжал он.

— Эта негодница осмелилась тронуть куклу детей.

— И весь этот шум из-за таких пустяков! — заметил незнакомец. — Так что, если она и поиграла куклой?

— Она притронулась к ней своими грязными руками, — продолжала Тенардье, — своими мерзкими руками!

Рыдания Козетты усилились.

— Замолчишь ли ты? — крикнула на нее хозяйка. Незнакомец подошел к двери, распахнул

ее и вышел.

Тенардье воспользовалась этим временем, чтобы пнуть Козетту под столом ногой, отчего девочка завопила во весь голос. Растворилась дверь, незнакомец вернулся, держа в обеих руках сказочную куклу, на которую любовались с утра все ребятишки села. Он поставил ее перед Козеттой и промолвил:

— Бери, это тебе.

Надо полагать, что в течение часа, который он провел там, погруженный в свои мысли, он заметил эту игрушечную лавку, освещенную плошками и свечами так великолепно, что ее видно было сквозь окна кабака, как иллюминацию.

Козетта подняла глаза; она видела, как человек подходил к ней с куклой, и ей казалось, что к ней приближается солнце, она слышала невероятные слова: «это тебе»; она взглянула на него, взглянула на куклу, потом медленно попятилась и забилась далеко под стол, в угол

около стенки. Она уже не плакала, не кричала, она старалась затаить дыхание.

Тенардье, Эпонина и Азельма окаменели, как статуи. Даже пьяницы замолкли. В кабаке водворилась торжественная тишина. Тенардье, пораженная и безмолвная, соображала в уме: «Что это за старикашка? Нищий? Или миллионер? Быть может, и то и другое, то есть вор».

На лице ее мужа прорезалась характерная морщина, которая ярко подчеркивает человеческую сущность, когда на нем проявляется господствующий инстинкт со всей его животной силой. Кабатчик глядел поочередно то на куклу, то на незнакомца; он обнюхивал этого человека, чуя в нем мешок с деньгами. Это продолжалось какое-нибудь мгновение. Он подошел к жене и тихо пробормотал:

— Эта штука стоит по крайней мере тридцать франков. Без глупостей. На задние лапы перед этим человеком.

Грубые натуры имеют ту общую черту с натурами наивными, что они не знают переходов.

— Ну что же, Козетта, — сказала Тенардье голосом, который она силилась сделать кротким, но который выходил слащаво-кислым, как обыкновенно у злых женщин, — отчего ты не берешь куклу?

Козетта отважилась вылезти из своей норки.

— Моя маленькая Козетта, — начал муж Тенардье ласковым тоном, — господин дарит тебе куклу. Возьми ее. Она твоя.

Козетта уставилась на чудную куклу с каким-то ужасом. Лицо ее было еще облито слезами, но глаза сияли, как небо на утренней заре, странным блеском радости. В ту минуту ее чувство походило, на то, если бы сказали вдруг: «Девочка, ты королева Франции». Ей казалось, что если она притронется к кукле, на нее обрушатся громы небесные.

До известной степени это была правда, — она говорила себе, что Тенардье ее отругает и

прибьет. Однако притягательная сила одержала верх. Она наконец приблизилась и робко промолвила, обернувшись к Тенардье.

— Можно, сударыня?..

Никакими словами не передать ее отчаянного, вместе с тем испуганного и восхищенного вида.

— Экая какая! — отвечала Тенардье. — Говорят тебе, она твоя. Господин подарил ее тебе.

— Правда, сударь? — пролепетала Козетта. — В самом деле правда? Эта дама моя собственная?

У незнакомца глаза были полны слез. Казалось, он дошел до той степени волнения, когда боишься говорить, чтобы не заплакать. Он кивнул головой Козетте и положил руку «дамы» в ее маленькую ручку.

Козетта с живостью отдернула руку, словно «дама» обожгла ее, и устремила глаза на пол. Мы должны заметить, что в эту минуту она несоразмерно высунула язык. Вдруг она выпрямилась и порывисто схватила куклу.

— Я назову ее Катериной, — проговорила она.

Наступило странное мгновение, когда лохмотья Козетты коснулись и смешались с лентами и свежими розовыми одеждами куклы.

— Сударыня, можно посадить ее на стул?

— Да, дитя мое, — процедила Тенардье.

Теперь Эпонина и Азельма глядели на Козетту с завистью. Козетта посадила Катерину на стул, сама присела на пол перед ней и оставалась неподвижной, не говоря ни слова, в позе созерцания.

— Играй же, Козетта, — молвил незнакомец.

— О! Я играю, — отвечал ребенок.

Этот незнакомец, этот пришелец, словно ниспосланный Провидением ради Козетты, был в ту минуту предметом, который тетка Тенардье сильнее всего ненавидела на свете. Однако приходилось сдерживаться. Это было волнение, которое она не в силах была преодолеть, хотя и привыкла к скрытности, подражая мужу во всех

его поступках. Она поспешила отправить своих дочек спать и попросила у желтого человека позволения отослать и Козетту, «которая сильно умаялась за день», прибавила она с материнским попечением. Козетта ушла спать, унося Катерину в объятиях.

Тенардье то и дело ходила на другой конец комнаты, где был ее муж, чтобы «отвести душу», как она выражалась. Она обменивалась с ним словами, тем более яростными, что не смела высказывать их вслух.

— Старый черт! Какой дьявол сидит в нем! Пришел сюда нас беспокоить! Требует, чтобы этот урод играл! Дарит ей куклы. Куклы в сорок франков собаке, которую я саму с радостью отдала бы ей, сорок су! Еще не хватало, чтобы он величал ее вашим высочеством, как герцогиню Беррийскую! Есть ли тут какой-нибудь смысл? Он совсем помешался, старый колдун!

— Почему же? Дело простое, — отвечал Тенардье. — Если его это забавляет! Вот тебе нравится, чтобы маленькая работала, а ему

нравится, чтобы она играла. Он имеет на это полное право. Если старик этот филантроп, тебе-то какое до этого дело? Что ты вмешиваешься? Деньги у него есть, и дело с концом.

Речь хозяина и трактирщика, не терпящая возражений. Человек облокотился на стол и снова погрузился в задумчивость. Все остальные посетители, торговцы и извозчики, успокоились и больше не пели. Они смотрели на него издали с какой-то почтительной боязливостью. Этот человек, так бедно одетый, вытаскивавший из кармана франковики с такой легкостью и одаривающий куклами маленьких замарашек в сабо, без сомнения, был богач щедрый и именитый.

Так прошло несколько часов. Полночное богослужение было совершено, рождественский пир окончился, пьяницы разошлись, кабак заперт, зала опустела, огонь в очаге потух — а незнакомец все сидел на том же месте и в той же позе и только порой менял локоть, на который опирался. Но он не произнес ни слова с тех пор,

как ушла Козетта. Одна только чета Тенардье оставалась еще в зале из приличия и из любопытства.

— Неужели он здесь ночевать будет? — ворчала хозяйка.

Когда пробило два часа ночи, она объявила себя побежденной и сказала мужу: «Я иду спать. Делай с ним, что хочешь». Муж уселся за стол, в уголке, зажег свечку и принялся читать «Французский вестник».

Так прошло еще с час. Достойный трактирщик перечел по крайней мере раза три всю газету, от заголовка до названия типографии. Незнакомец не шелохнулся.

Хозяин стал возиться, кашлять, отплевываться, сморкаться, скрипеть стулом. Человек оставался неподвижен. «Уж не спит ли он?» — подумал про себя Тенардье. Человек не спал, но ничто не могло вывести его из задумчивости.

Наконец Тенардье снял свой колпак, тихонько подкрался к нему и рискнул заговорить:

— Разве господину не угодно будет пожаловать почивать?

Сказать «идти спать» казалось ему в высшей степени неприличным и фамильярным. «Почивать» — это слово отзывалось роскошью и почтительностью. Такие слова обладают таинственной способностью раздувать на другой день цифру счета. Комната, где просто спят, стоит двадцать су; комната, где почивают, стоит двадцать франков.

— Ах, и правда, — промолвил незнакомец. — Где ваша конюшня?

— Пожалуйте, господин, — отвечал Тенардье с улыбкой, — я провожу вас.

Он взял свечу, незнакомец — свой сверток и палку; Тенардье повел его в комнату на первом этаже, отличавшуюся необычайной роскошью — мебель вся красного дерева, кровать лодкой, красные бумажные занавески.

— Что это такое? — удивился путешественник.

— Это, сударь, наша брачная комната. Теперь мы занимаем другую с супругой. Сюда входят раза два-три в год.

— Я предпочел бы конюшню, — резко кинул незнакомец.

Тенардье пропустил мимо ушей это нелюбезное замечание. Он зажег две новенькие восковые свечи на камине. Яркий огонь пылал в очаге. На том же камине под стеклянным колпаком красовался женский головной убор из серебристых ниток и померанцевых цветов.

— А это что такое? — полюбопытствовал он.

— Это свадебный убор моей супруги.

Путешественник кинул на этот предмет взгляд, в котором так и сквозила мысль: «Неужели же было время, когда это чудовище была невинной девой?»

Впрочем, Тенардье лгал. Когда он взял в аренду эту лачугу, чтобы открыть трактир, он уже

застал убранство этой комнаты, купил и мебель, и померанцевый венок, воображая, что это набросит грациозную тень на его супругу и придаст его дому респектабельность, как говорят англичане.

Едва путешественник успел отвернуться, как хозяин уже исчез. Он незаметно удалился, не посмев даже пожелать покойной ночи, не желая третировать непочтительно человека, которого завтра же собирался порядком обобрать.

Трактирщик отправился в свою спальню. Жена его уже легла, но не спала. Услышав шаги мужа, она сказала ему:

— Знаешь, я завтра же выброшу эту Козетту вон.

— Ишь какая прыткая, — отвечал холодно Тенардье.

Они не обменялись больше ни единым словом, и несколько минут спустя их свеча потухла.

Путешественник между тем положил в угол свою палку и узелок. Когда ушел хозяин, он сел в кресло и некоторое время оставался в задумчивости. Потом снял башмаки, взял одну из свечей, задул другую, отворил дверь и вышел из комнаты, озираясь вокруг, словно отыскивая что-то. Он прошел по коридору и уперся в лестницу. Тут он услышал какой-то тихий звук, похожий на детское дыхание. Ведомый этими звуками, он добрался до треугольного углубления под лестницей. Там, среди старых корзин, разного старого хлама, в пыли и паутине, была постель, если можно назвать постелью старый продранный тюфяк, набитый соломой, и старое дырявое одеяло. Простынь не было. Все это валялось на полу В этой постели спала Козетта.

Человек подошел к ней и долго не спускал с нее глаз. Она спала глубоким сном, одетая. Зимой она обыкновенно не раздевалась, чтобы не очень зябнуть. Она крепко прижала к себе куклу, большие глаза которой сверкали в потемках. Временами у девочки вырывались глубокие вздохи, точно она просыпается, и руки ее

судорожно сжимали куклу. Около ее постели стоял всего один сабо.

Сквозь открытую дверь около жалкой конуры Козетты виднелась большая темная комната. Незнакомец вошел туда. В глубине ее, сквозь стеклянную дверь, выделялись две беленькие кроватки — Эпонины и Азельмы. За кроватками стояла плетеная люлька без полога: в ней спал мальчик, прокричавший весь вечер.

Незнакомец догадался, что эта комната сообщается со спальной супругов Тенардье. Он уже собирался уходить, когда взор его упал на камин — огромный трактирный камин, где всегда бывает такое слабое пламя и который имеет такой холодный, неприветливый вид. В камине огня не было, не было даже золы, но кое-что, привлекшее внимание путешественника. То были два детских башмачка разного размера и кокетливой формы; он припомнил древний милый обычай детей ставить обувь в камин на Рождество, в надежде, что их добрая фея опустит туда какую-нибудь блестящую монету. Эпонина и Азельма не

изменили древнему обычаю, каждая из них поставила свой башмачок в камин.

Путешественник нагнулся. Фея, то есть мать, уже являлась и в каждом башмачке сверкала новенькая монета в десять су.

Он поднялся и хотел уйти, как вдруг увидел совсем в сторонке, в темном уголке очага, еще предмет. Он узнал деревянный башмак, безобразный сабо из грубого дерева, надтреснутый и сплошь покрытый золой и высохшей грязью. То был сабо Козетты. И она поставила свою обувь в камин с трогательной детской доверчивостью, которую легко можно обмануть, но которая никогда окончательно не теряет надежды.

Высокое трогательное чувство — надежда в ребенке, который никогда не знал ничего, кроме отчаяния. В этом сабо ничего не было. Незнакомец пошарил в кармане, нагнулся и опустил в сабо Козетты золотой. Потом он вернулся в свою комнату, пробираясь на цыпочках.

Глава 101

На следующее утро, часа за два до рассвета, муж Тенардье сидел со свечой в общей зале кабака и занимался составлением счета путешественнику в желтом сюртуке.

Жена, нагнувшись над его плечом, следила за его движениями. Они не говорили друг другу ни слова. С одной стороны, было глубокое размышление, с другой — благоговейный восторг, с каким созерцают рождение и расцвет какого-нибудь чуда человеческого ума. В доме слышалась возня — Жаворонок подметала лестницу.

Потрудившись с четверть часа, сделав кое-где помарки, Тенардье произвел на свет следующий шедевр:

СЧЕТ ГОСПОДИНА ИЗ No 1

Ужин — 3 фр.

Номер — 10

Свечи — 5

Отопление — 4

Прислуга — 1

Итого 23 фр.

— Двадцать три франка! — воскликнула жена с энтузиазмом, смешанным с некоторым колебанием.

Как все великие артисты, Тенардье не был вполне доволен собой.

— Экая важность! — промолвил он.

В этом возгласе было выражение, с которым Кестльри на Венском конгрессе составлял счет, по которому пришлось расплачиваться Франции.

— Ты прав, Тенардье, так ему и надо, — пробормотала жена, вспомнив о кукле, подаренной Козетте в присутствии ее дочерей, — это справедливо, но уж чересчур много. Пожалуй, он не захочет платить.

— Заплатит, — сказал Тенардье со своим холодным смехом.

Смех этот был выражением глубокой уверенности и авторитета. То, о чем говорилось таким тоном, должно было исполниться. Жена не прекословила. Она принялась убирать столы. Муж зашагал по комнате взад и вперед.

— Ведь я же должен полторы тысячи франков! — добавил он после некоторого молчания.

Он уселся у камина, погруженный в размышления, положив ноги в горячую золу.

— Кстати вот что! — продолжала жена. — Надеюсь, ты не забыл, что я сегодня же выпроваживаю Козетту? Экий урод! Она мне сердце гложет со своей куклой! Право, я скорее согласилась бы выйти за Людовика Восемнадцатого, чем лишний день продержать ее в доме!

Тенардье зажег трубку и отвечал, выпуская клубы дыма:

— Ты отдашь ему счет.

С этими словами он вышел. Едва успел он скрыться за дверью, как появился путешественник. Тенардье тотчас же опять вернулся за ним и притаился за дверью, которая была полуотворена, так что только жена могла его видеть. Желтый человек нес в руках узелок и палку.

— Так рано изволили подняться? — сказала трактирщица. — Разве уже покидаете нас?

Она со смущенным видом вертела и мяла в руках счет. На ее грубом лице сквозило не совсем привычное выражение — робость и совестливость. Преподнести подобный счет человеку, который на вид так похож на нищего, казалось ей несколько неловким.

Путешественник имел вид озабоченный и рассеянный.

— Да, я ухожу, — сказал он.

— У вас, значит, не было никаких дел в Монфермейле?

— Нет, я здесь проездом. Сколько я вам должен? — прибавил он.

Тенардье, не отвечая, подала ему сложенный счет.

Человек развернул бумагу и взглянул на нее; но внимание его, очевидно, было отвлечено чем-то другим.

— Как идут ваши дела в Монфермейле? — продолжал он.

— Да так себе, — отвечала хозяйка, пораженная тем, что не встречает отпора. — Времена тяжкие, сударь, — продолжала она элегическим жалостным тоном. — Так мало порядочных господ в наших краях! Все разная мелюзга, как сами видите. Если бы не перепадало нам изредка таких богатых и щедрых постояльцев, как вы, сударь, то нам плохо жилось бы. Вот хоть бы эта девчонка, чего она только стоит мне — беда!

— Какая девчонка?

— Да та девчонка, вы знаете! Козетта! Жаворонок, как ее прозывают в наших краях.

— А! — процедил он.

— Ну не глупы ли мужики с их прозвищами, — продолжала она. — Девчонка скорее смахивает на летучую мышь, чем на жаворонка. Вот видите ли что, сударь, нам и хотелось бы делать добро, да средств нет. Мы не выручаем ничего, а платежей куча. И за патент, и разные налоги; двери и окна и те обложены! Сами знаете, что правительство дерет страшные деньги. Опять же у меня свои дочки. Нечего мне кормить чужих детей.

Незнакомец отвечал голосом, которому старался придать равнодушное выражение, но который слегка дрожал:

— А если бы вас избавили от нее?

— От кого это? От Козетты?

— Да.

Красная грубая рожа трактирщицы расцвела от восторга и стала еще гнуснее.

— Ах, сударь! Берите ее, увезите, унесите, съешьте, коли хотите, делайте с ней что угодно, и да благословит вас Пресвятая Богородица со всеми святыми!

— Итак, решено.

— Правда! Вы берете ее?

— Беру.

— И сейчас?

— Сейчас. Кликните ребенка.

— Козетта! — позвала Тенардье.

— А пока я расплачусь с вами. Сколько я должен?

Он кинул взгляд на счет и не мог удержаться от удивленного жеста:

— Двадцать три франка!

Он взглянул на трактирщицу и повторил:

— Двадцать три франка!

В выражении, с которым были произнесены эти слова, было нечто среднее между знаком

вопросительным и знаком восклицательным. Трактирщица успела оправиться от смущения.

— Ну да, конечно, двадцать три франка, — молвила она с апломбом.

Незнакомец выложил на стол пять монет по пять франков.

— Ступайте, приведите малышку, — сказал он.

В эту минуту выступил на середину залы сам Тенардье.

— Вы должны нам двадцать шесть су, — проговорил он. — Как так! Двадцать шесть су! — воскликнула жена.

— Двадцать су за комнату, — холодно продолжал хозяин, — и шесть су за ужин. Что касается девочки, то мне надо с вами поговорить. Оставь нас, жена.

Трактирщица почувствовала на минуту точно ослепление при виде такого неожиданного проблеска таланта. Она чувствовала, что великий

актер выступает на сцену, и вышла, не вымолвив ни слова.

Как только они остались вдвоем, Тенардье предложил путешественнику стул. Сам он не садился, и лицо его приняло выражение добродушия и простоты.

— Вот что я доложу вам, сударь, я обожаю эту девочку.

Путешественник пристально посмотрел на него:

— Какую девочку?

— Странное дело, — продолжал тот. — Привязываешься к ребенку! Ни к чему эти деньги! Возьмите назад свое золото. Да, сударь, этого ребенка я обожаю.

— Да кого же? — настаивал незнакомец.

— Нашу маленькую Козетту! А вы вот хотите увезти ее. Ну, скажу вам откровенно, так истинно, как вы честный человек, я не могу на это согласиться. Я стосковался бы по ней. Я видел ее вот какой крошкой. Правда, она стоит

нам денег, у нее есть кое-какие недостатки, и мы люди небогатые, правда и то, что я потратил до четырехсот франков на одни лекарства во время ее болезни! Но ведь надо же что-нибудь делать для Бога. У меня хватит хлеба и на себя, и на нее. У нее ни отца, ни матери, и я воспитал ее. Да и к тому же мне дорог этот ребенок. Вы понимаете, приобретаешь привязанность; я добрый малый, я не рассуждаю, а просто люблю ее. Жена моя немного вспыльчива, но тоже любит ее. Она словно наш собственный ребенок. Я люблю детскую болтовню в доме.

Незнакомец продолжал пристально смотреть на него.

— Вы меня извините, — сказал трактирщик, — но нельзя же отдавать своего ребенка ни с того ни с сего прохожему. Не так ли? Я не говорю, вы человек богатый, вы похожи с виду на добрейшего человека, быть может, в этом ее счастье! Но ведь надо сперва разузнать. Поймите, что если бы я и отпустил ее, принес бы эту жертву, то желал бы знать, куда ее отпускаю,

желал бы не терять ее из виду, знать, у кого она живет, изредка навещать ее, чтобы она чувствовала, что ее добрый папа тут и охраняет ее. Словом, это вещь невозможная. Я даже не знаю, как вас зовут. Вдруг я отпущу ее и буду думать про себя: куда это пропал мой Жаворонок? Надо, по крайней мере, повидать хоть какой-нибудь документ, хоть клочок паспорта.

Незнакомец, не переставший все время смотреть на него взглядом, так сказать, пронизывающим до глубины совести, отвечал серьезным и твердым тоном:

— Господин Тенардье, никто не берет с собой паспорта, чтобы съездить за пять лье от Парижа. Если я беру Козетту, то возьму ее без разговоров. Вы не узнаете моего имени, вы не узнаете, где я живу, где она находится, вообще я намерен, чтобы она больше не виделась с вами во всю свою жизнь. Я порву всякую связь ее с вами, если она уйдет со мной. Согласны вы на это: да или нет?

Подобно тому как демоны и гении по известным признакам узнавали присутствие высшего существа, так и Тенардье раскусил, что имеет дело с человеком очень сильным. Это было какое-то наитие — он сообразил это своим быстрым, прозорливым умом. Накануне, пьянствуя с извозчиками, куря трубку и распевая песни, он весь вечер наблюдал за незнакомцем, подстерегал его, как кот, изучал, как математик. Он наблюдал и для своего собственного удовольствия, ради инстинкта, а кроме того, шпионил, словно ему за это платили. Ни один жест, ни одно движение человека в желтом сюртуке не ускользнули от него. Прежде чем незнакомец успел ясно выразить свое участие к Козетте, Тенардье чутьем угадал его. Он уловил глубокие взгляды, беспрестанно бросаемые стариком на ребенка. С какой стати это участие? Кто этот человек? Почему, имея столько денег в кошельке, он одет в такое жалкое рубище? Все эти вопросы он задавал себе, но не в состоянии был решить их, и это его злило. Он продумал всю ночь. Это не мог быть отец Козетты. Уж не дед ли

какой-нибудь? В таком случае, отчего не признаться сразу? Когда кто-то имеет права, то он предъявляет их. Очевидно, этот человек не имел никаких прав на Козетту. Кто же он такой? Тенардье терялся в догадках. Он предполагал все, но ничего не мог понять. Как бы то ни было, начиная разговор с незнакомцем, он был убежден, что тут кроется какая-то тайна, убежден, что незнакомцу выгодно оставаться в тени, поэтому он чувствовал себя сильным. Но, услышав решительный, твердый ответ незнакомца, увидев, что таинственный человек так прост, при всей таинственности, он почувствовал себя слабым. Он не ожидал ничего подобного. Все его предположения ничего не дали. Все это он взвесил в одну секунду. Тенардье был из тех людей, которые с одного взгляда судят об известном положении. Он решил, что настал момент идти напролом, не задумываясь. Он поступил, как великие полководцы поступают в решительную минуту, которую они одни умеют угадывать — он демаскировал свою батарею.

— Мне нужны полторы тысячи франков, — выпалил он.

Незнакомец вынул из кармана свой потертый кожаный бумажник, открыл его и положил на стол три банковских билета. Потом он прижал их своим широким пальцем и обратился к кабатчику:

— Позовите Козетту.

Пока все это происходило, что делала Козетта? Проснувшись, она кинулась к своему сабо и нашла в нем золотую монету. Это был не наполеондор, а одна из тех новеньких двадцатифранковых монет времен Реставрации, на изображении которых прусский хвостик заменил лавровый венок. Козетта была ослеплена. Счастье начинало опьянять ее.

Она не знала, что такое золотая монета, она никогда ее не видела и поскорее сунула деньги в карман, точно украла их. Между тем она осознавала, что это ее собственность, догадывалась, откуда появился подарок, но ощущала какую-то радость, смешанную с

боязнью. Она была и довольна, и поражена. Все эти великолепные красивые вещи казались ей мечтой, а не действительностью. Кукла пугала ее, золотая монета тоже пугала. Она смутно трепетала перед этим великолепием. Один только незнакомец не пугал ее. Напротив, он ее успокаивал. Со вчерашнего дня, сквозь свое изумление, сквозь сон, она думала своим детским умом об этом человеке, который имел вид такого бедного, такого грустного старика, а на деле был так богат и так добр. С той минуты, как она встретила этого путника в лесу, вся жизнь ее словно преобразилась. Козетта, менее счастливая, чем всякая птичка Божия, никогда не знала, что такое приютиться под крылышком матери. Целых пять лет подряд, то есть сколько она могла себя помнить, несчастный ребенок непрерывно трепетал и дрожал от холода. Она всегда стояла непокрытой, обнаженной под суровой бурей невзгод, — теперь ей казалось, что она одета. Прежде в ее душе был холод, — теперь в ней разлилось тепло. Козетта потеряла даже всякий

страх перед Тенардье. Она уже не была одна, за ней стоял кто-то сильный.

Проворно принялась она за свою утреннюю работу. Этот золотой, который был у нее в том же самом кармане, откуда выпали накануне пятнадцать су, делал ее рассеянной. Она не смела дотрагиваться до него, но по пять минут любовалась им, высовывая язык. Подметая лестницу, она вдруг останавливалась как вкопанная, забывая о щетке и о всем на свете, погруженная в созерцание звездочки, блестевшей в ее кармане.

В таком созерцании ее застала хозяйка. По приказанию мужа она пошла за девочкой. Странное, небывалое дело, она не дала ей затрещину и не обругала ее.

— Козетта, — проговорила она почти ласково, — иди сейчас же сюда.

Минуту спустя Козетта уже была в зале. Незнакомец взял свой узелок и развязал его. В узелке были детское платьице, фартучек, фланелевая кофточка, юбка, косынка, шерстяные

чулки, башмаки, полный туалет для семилетней девочки; все это было черного цвета.

— Дитя мое, — сказал незнакомец, — возьми это и пойди оденься поскорее.

Рассветало, когда монфермейльские обыватели, отпирая двери домов своих, увидели проходившего по дороге в Париж старика, очень бедно одетого; он вел за руку девочку, всю в трауре, которая держала в руках розовую куклу. Они шли по направлению Ливри. Это были наш незнакомец и Козетта.

Никто не знал этого человека, а так как Козетта уже не была в рубище, то многие даже не узнали ее.

Козетта уходила. С кем? Она не знала. Куда? Неизвестно. Она сознавала одно — что навсегда покидает кабак Тенардье. Никому не пришло в голову проститься с ней, да и она ни с кем не прощалась. Она ушла из этого дома с ненавистью в сердце и внушая ненависть к себе.

Бедное забитое существо, сердце которого до той минуты не знало добрых чувств.

Козетта шла серьезно, широко раскрыв глаза и разглядывая небо. Она положила свой золотой в карман нового передника. Время от времени она украдкой поглядывала на него, потом вскидывала глаза на старика. Она как будто чувствовала близость самого Господа Бога.

Глава 102

Мадам Тенардье по своему обыкновению предоставила мужу полную свободу действий. Она приготовилась к важным событиям. Когда незнакомец с Козеттой ушли, трактирщик выждал с добрых четверть часа, потом отвел ее в сторону и показал полторы тысячи франков.

— Только-то! — проговорила она.

В первый раз, с самого начала их брачной жизни, она осмелилась критиковать поступки своего властелина. Удар попал в цель.

— В самом деле, ты права, — сказал он. — Я дурак. Давай мне поскорей шляпу.

Он свернул банковские билеты, сунул их в карман и поспешно вышел из дому; но вначале он ошибся и пошел направо. Соседи, у которых он справлялся, указали ему нужное направление, говоря, что старика с девочкой видели на дороге в Ливри. Он последовал этому указанию и поспешно зашагал, рассуждая сам с собой.

— Очевидно, этот человек воплощенный миллион в желтом сюртуке, а я — животное! Сначала он дал двадцать су, потом пять франков, потом пятьдесят франков, наконец, полторы тысячи — и все с одинаковой легкостью. Он дал бы и пятнадцать тысяч, не моргнув. Но я догоню его.

И к тому же это платье, заранее приготовленное для девочки, — все это очень подозрительно; тут кроется какая-нибудь тайна. А тайны нельзя так легко выпускать из рук. Секреты богачей — это губки, полные золота,

надо только уметь выжимать их. Все эти мысли проносились вихрем в его мозгу.

— Я скотина, — повторял он.

Выйдя из Монфермейля и дойдя до поворота дороги на Ливри, видно, как эта дорога расстилается перед вами до горизонта, извиваясь по плоскогорью. Добравшись до поворота, он рассчитывал увидеть старика с Козеттой. Тенардье принялся озираться, но не увидел ничего. А время шло. Прохожие сказали ему, что человек с ребенком, которого он искал, направились к лесу в сторону Ганьи. Он бросился туда.

Они, правда, выиграли много времени, но ребенок идет медленно, а он почти бежал. И потом, вся местность была ему известна как свои пять пальцев.

Вдруг он остановился и ударил себя по лбу, как человек, позабывший самое главное и готовый повернуть обратно.

— Следовало бы взять с собой ружье, — сказал он.

Тенардье был из тех двойственных натур, которые иногда проходят мимо нас незаметно и исчезают бесследно, потому что судьба обнаруживает их только с одной стороны. Участь многих людей прожить так всю жизнь, проявив себя лишь наполовину. В спокойном и ровном состоянии у Тенардье нашлось бы все, что нужно, чтобы прослыть честным коммерсантом, добрым буржуа. Между тем, при известных обстоятельствах, при известных потрясениях, пробуждавших его скрытые инстинкты, в нем оказалось все что нужно, чтобы стать негодяем. Это был лавочник, в котором был материал для злодея. Если бы сам Сатана посетил трущобу, в которой жил Тенардье, он мог бы порадоваться при виде этого отвратительного образца искусства преисподней.

— Ба, — молвил он после минутного колебания, — должно быть, они успели улизнуть!

Он продолжал идти дальше, быстро шагая, с уверенностью лисицы, которая чует стаю куропаток.

Действительно, миновав пруды, перерезав наискосок большую прогалину, расстилающуюся направо от аллеи Бель-Вю, и дойдя до заросшей травой полянки, покрывающей свод канала Шелльского аббатства, он вдруг увидел над густым кустарником шляпу, по поводу которой он построил столько догадок и предположений. Это была шляпа незнакомца. Кустарник был невысокий. Тенардье догадался, что старик и Козетта отдыхают. Ребенка не было видно, но из-за кустов торчала голова куклы.

Тенардье не ошибался. Незнакомец действительно присел, чтобы дать немножко отдохнуть Козетте. Трактирщик обогнул кустарники и внезапно очутился перед глазами тех, кого искал.

— Прошу покорно извинения, — проговорил он запыхавшись.

С этими словами он протянул незнакомцу три банковских билета. Старик поднял на него глаза.

— Что это значит?

— Это значит, сударь, что я беру назад Козетту!

Козетта вздрогнула и прижалась к своему покровителю, а он, пристально глядя в глаза Тенардье, сказал тихо, упирая на каждый слог:

— Вы берете назад Козетту?

— Да, сударь, я беру ее. Я раздумал. В сущности, я не имею права отдавать ее вам. Видите ли, я человек честный. Ребенок принадлежит не Мне, а матери. Мать доверила ее мне, и я могу отдать ее только матери. Вы, пожалуй, возразите, что мать ее умерла. Прекрасно. В таком случае, я имею право отдать ребенка только тому лицу, которое принесет мне документ, подписанный матерью. Это ясно как божий день.

Старик, не отвечая ни слова, порылся в кармане, и перед глазами Тенардье снова

появился черный бумажник с банковскими билетами. Трактирщик затрепетал от радости.

«Отлично, — подумал он, — постоим за себя. Он хочет меня подкупить!» Прежде чем раскрыть бумажник, путешественник оглянулся вокруг. Местность была совершенно пустынная. Ни души в лесу и в долине. Незнакомец раскрыл бумажник и вынул оттуда — но не пачку банковских билетов, на которые рассчитывал Тенардье, а простой клочок бумаги, который развернул и подал трактирщику, заметив:

— Вы правы. Прочтите. Тенардье взял бумагу и прочел:

«Монрейль. 25 марта 1823 года.

Господин Тенардье,

Передайте Козетту подателю сего письма. Все мелочи будут вам уплачены. Имею честь быть с совершеннейшим почтением вашей покорной слугой

— Вам знакома эта подпись? — продолжал незнакомец.

То, несомненно, была подпись Фантины. Тенардье узнал ее. Возразить было нечего. Он почувствовал двойное разочарование — возможность лишиться денег, на которые рассчитывал, и досаду на то, что был побежден.

— Вы можете сохранить документ, чтобы снять с себя ответственность, — прибавил незнакомец.

— Подпись славно подделана, — огрызнулся Тенардье. — Впрочем, пусть будет по-вашему!

Он предпринял последнее отчаянное усилие.

— Все это прекрасно, уж коли вы податель письма. Но мне следует заплатить за все мелочи. Мне задолжали целую кучу.

Старик выпрямился и проговорил, щелчками выбивая пыль из своего потертого рукава:

— Господин Тенардье, в январе месяце мать посчитала, что она задолжала вам сто двадцать франков; в феврале вы прислали ей счет в пятьсот франков; в конце февраля вы получили триста франков, а в начале марта опять триста

франков. С тех пор прошло девять месяцев, и если считать по условленной плате, то есть по пятнадцать франков, то выходит сто тридцать пять франков. А я вам только что дал полторы тысячи.

Тенардье почувствовал то, что чувствует волк, когда его сжимают железные когти капкана.

«Это черт, а не человек», — подумал он.

И он поступил так, как поступает волк, попавший в капкан, рванулся изо всех сил. Однажды смелость уже удалась ему.

— Господин Безымянный, — сказал он решительно и отбросив на этот раз в сторону все почтительные церемонии, — или я беру назад Козетту, или вы мне выложите тысячу франков.

— Пойдем, Козетта, — спокойно промолвил незнакомец.

Он протянул Козетте левую руку, а правой поднял свою дубину, валявшуюся на земле. Тенардье бросились в глаза толщина дубины и уединенность местности. Человек углубился в

чащу леса с ребенком, оставив трактирщика пораженным и сконфуженным. Когда они удалялись, Тенардье смотрел на его широкие, немного сутуловатые плечи и на его огромные кулаки. Потом невольно окинул глазами свои собственные тощие, хилые руки.

«Экий я дурак, — подумал он, — как было не взять с собою ружья, когда я шел на охоту!»

Однако трактирщик все еще не унывал:

— Я хочу знать, куда он пойдет, — и стал следить за ними, держась на некотором расстоянии.

В руках его оставались две вещи: насмешка — клочок бумаги, подписанный Фантиной, и утешение — полторы тысячи франков.

Старик повел Козетту по направлению Ливри и Бонди.

Он шел медленно с поникшей головой и грустным задумчивым видом. Зимою лес стал прозрачным, так что Тенардье не терял их из

виду, держась на довольно большом расстоянии. Временами старик оборачивался и смотрел, не следят ли за ними. Вдруг он заметил Тенардье. Тогда он быстро углубился с ребенком в заросли, где оба могли скрыться.

— Экая чертовщина, — пробормотал Тенардье и ускорил шаги.

Густота зарослей заставила его приблизиться к ним. Дойдя до самой чащи, старик обернулся. Напрасно Тенардье старался спрятаться за ветвями, но ему не удалось укрыться от внимания незнакомца. Тот бросил на него тревожный взгляд, покачал головой и продолжал путь. Трактирщик все шел за ними. Вдруг незнакомец обернулся еще раз и снова увидел Тенардье. На этот раз он бросил на него такой грозный взгляд, что Тенардье счел бесполезным дальнейшее преследование. Он повернул домой.

Глава 103

Жан Вальжан не умер.

Когда он падал или, вернее, бросился в море, на нем, как известно, не было цепей. Он нырнул и проплыл под водой до одного судна, стоявшего на якоре и к которому была прицеплена баржа. Он нашел возможность спрятаться на барже до вечера. Ночью он вплавь добрался до берега недалеко от мыса Брен. Не имея недостатка в деньгах, он мог приобрести себе новую одежду. В окрестностях Балагье был в то время кабачок, который занимался выгодной деятельностью снабжать одеждой беглых каторжников. Затем, подобно всем беглецам, которые стараются обмануть бдительность правосудия, Жан Вальжан избрал сложный и беспокойный путь. Первое убежище он нашел в Прадо, близ Боссе. Затем он направился к Гран-Виллару, близ Бриансона, в департаменте Приморские Альпы. То было лихорадочное бегство, тревожное и извилистое, как путь крота. Позднее отыскали некоторые следы его в Эне, на территории Сивриё, в Пиренеях, в Арсоне, в местности, прозванной Гранж-Думек, в окрестностях Перигё, в Брюни, в кантоне Ша-пель Ганаге.

Наконец он добрался до Парижа. Затем мы видели его в Монфермейле.

Первой его заботой по прибытии в Париж было купить траурную одежду для семи-восьмилетней девочки и отыскать квартиру. Исполнив это, он отправился в Монфермейль. Читатель не забыл, что во время первого своего бегства он совершил туда таинственное путешествие, о котором смутно догадывалось правосудие.

Впрочем, его считали умершим, и это еще более сгущало окружавший его мрак. В Париже ему попалась в руки одна газета, сообщавшая о факте его смерти. Он почувствовал успокоение, почти умиротворенность, точно в самом деле умер.

В тот же день, когда Жан Вальжан вырвал Козетту из когтей Тенардье, он вернулся в Париж. Он вошел в город в сумерках, с ребенком, через заставу Монсо. Там он сел в кабриолет, который довез его до площади Обсерватории. Он сошел, расплатился с извозчиком, взял Козетту за руку, и

оба уже глубокой ночью направились к бульвару л’Опиталь по захолустным улицам, примыкающим к Урсину и Гласьеру.

День был странный, полный разнообразных впечатлений для Козетты; путники ели украдкой, скрываясь за заборами, питаясь хлебом с сыром, купленным в уединенных трактирах; часто меняли омнибусы, делали большие переходы пешком. Девочка не жаловалась, но она устала. Жан Вальжан видел это по тому, что она все сильнее и сильнее висла на его руке. Он понес ее на спине; Козетта, не выпуская из рук Катерины, положила голову на плечо Жана Вальжана и уснула.

Глава 104

Сорок лет тому назад прохожий, которому случалось забраться в глухую окраину Сальпетриер и дойти по бульвару до Итальянской заставы, попадал в такие места, где Париж, так сказать, исчезает. Это не было совершенной глушью, потому что встречались прохожие; не

было и полем, потому что там тянулись дома и улицы; не было и городом, потому что по дороге встречались канавы, заросшие травой; не было наконец и селом, потому что дома были чересчур высоки. Что же это такое? Местность жилая, где никого не видно, пустыня, населенная кем-то; то был бульвар большого города, Парижская улица, где по ночам было страшнее, чем в лесу, а днем угрюмее, чем на кладбище.

Это был старый квартал Лошадиного рынка.

Прохожий, отважившись зайти дальше полуразваленных стен этого рынка, миновав улицу Пети-Банкье и оставив по правую руку двор, обнесенный высокими стенами, поля, на которых громоздятся кучи толченой дубовой коры подобно гигантским бобровым шалашам, далее дворы, заваленные лесом, бревнами, кучами пней, стружек и щепок, на верхушке которых лаял сторожевой пес, еще дальше низенькую, почти развалившуюся стену с небольшой черной, точно траурной, калиткой, обросшей мхом и на которой летом растут цветы,

наконец, безобразное ветхое строение, на котором красуется надпись крупными буквами: «Запрещено наклеивать объявления», — этот отважный прохожий добирался наконец до угла улицы Винь-Сен-Марсель, т. е. до местности, мало известной. Там, около какого-то завода и между двух садовых заборов, виднелась в то время лачуга, которая с первого взгляда казалась маленькой, как хижина, а в действительности была обширна, как собор. Она выходила на большую дорогу боком, этим объясняется ее кажущаяся миниатюрность. Почти весь дом был скрыт. Наружу выступали только окно и дверь. Лачуга была двухэтажная.

При внимательном взгляде бросалась в глаза следующая деталь — дверь эта была такого вида, что могла быть разве только дверью в трущобу, между тем как окно, будь оно прорублено в плотном камне, а не в песчанике, могло бы, пожалуй, служить окном для отеля.

Дверь была просто сколочена из старых, подточенных червями досок, грубо соединенных

перекладинами вроде нетесаных поленьев. Она открывалась прямо на крутую лестницу с высокими ступенями, грязную, пыльную, запущенную, одной ширины с дверью; с улицы было видно, как она круто поднималась наподобие приставной лестницы и уходила куда-то в темноту. Верх безобразного просвета над этой дверью был забит узенькой доской, в которой выпилено треугольное отверстие, не то форточка, не то слуховое окно. На внутренней стороне двери было изображено кистью, обмакнутой в чернила, число 52, а над отверстием той же кистью был намазан номер 50. Так что являлось сомнение: что это такое? Над дверью значилось: No 50, а внутри No 52. Какие-то тряпки пыльного цвета колыхались на треугольной форточке в виде занавесок.

Окно было широкое, достаточно высокое, украшенное решетчатыми ставнями и большими стеклами; только на стеклах виднелись во многих местах повреждения, выдаваемые искусной наклейкой бумажных полосок, а ставни, расшатанные и полуотворенные, скорее угрожали

прохожим, чем охраняли жителей. На них не хватало горизонтальных планок, и в некоторых местах они наивно заменялись досками, прибитыми перпендикулярно, так что былая претензия на жалюзи превратилась в грубые ставни.

Эта дверь, имевшая гнусный вид, и это приличное окно, хотя оба разоренные, находясь в одном и том же доме, производили впечатление двух разнохарактерных нищих, которые идут рядом, с совершенно различными обличьями, хотя одинаково покрыты рубищами — один всю свою жизнь был попрошайкой, а другой когда-то был благородным дворянином.

Лестница вела в очень обширную часть здания, похожую на сарай, превращенный в жилой дом. Внутри оно пересекалось длинным коридором, на который выходили по обе стороны каморки различных размеров, скорее похожие на лавочки, чем на кельи. Окна этих комнат выходили на окрестные пустыри. Все здесь было темно, безобразно, грустно, сумрачно: в доме

хозяйничали сквозняки из-за щелей в кровле и в стенах. Интересная и живописная особенность этого рода жилищ — чудовищные размеры пауков.

Налево от входной двери в стене, выходящей на бульвар, замурованное слуховое окно образовало нишу, полную камней, которые бросали туда ребятишки. Часть этого строения разрушена. То, что осталось от него в настоящее время, может дать понятие о том, что это было. Всему зданию не должно быть больше ста лет — это юность для церкви и ветхость для дома. Словно жилищу человека присуща его недолговечность, а жилищу Божию Его бессмертие.

Почтальоны называли эту лачугу No 52—50; но в квартале она известна была как лачуга Горбо. Объясним, откуда произошло это название.

Любители мелких происшествий, коллекционирующие анекдоты и запоминающие числа различных мимолетных дат, рассказывают,

что в прошлом столетии было в Париже около 1770 года два прокурора в Шатле — один Корбо, другой Ренар. Два имени, прославленных Лафонтеном («Ворона и Лисица»). Случай был слишком благодарный, чтобы им не воспользовались остряки из писарей: тотчас же по коридорам суда распространилась пародия в форме несколько неправильных стихов:

На груду папок раз ворона взобралась,

Арестный лист она во рту зажала.

Лиса, приятным запахом прельстясь,

Из лесу прибежала

И перед ней такую речь держала:

«Здорово, друг!..» и т. д.

Почтенные судьи, стесняемые этими шуточками и уязвленные взрывами хохота, сопровождавшими их, когда они проходили мимо, решили избавиться от своих фамилий и обратились к королю. Прошение их было подано Людовику XV в тот самый день, когда папский нунций, с одной стороны, а кардинал Ла Рош

д’Эмон — с другой, благоговейно коленопреклоненные, в присутствии его величества обували в туфли голые ноги г-жи Дюбарри, которая вставала с постели. Смеявшийся король продолжал смеяться, когда ему подали прошение, весело перешел от епископов к прокурорам и избавил обоих просителей от их фамилий или, по крайней мере, позволил изменить их. Король разрешил метру Корбо прибавить хвостик к начальной букве и отныне называться Горбо; что касается метра Ренара, то ему посчастливилось еще меньше, он мог добиться только милости прибавить букву П к своей фамилии, и из Ренара вышел Пренар: так что и второе имя оказалось не менее похожим на первоначальное.

Согласно местным преданиям, этот самый Горбо был владельцем здания под номером 52—50 на бульваре л’Опиталь. Он даже был автором монументального окна. Отсюда и получилось прозвище лачуги Горбо.

Напротив номера 52—50 возвышается среди деревьев бульвара большой вяз, на три четверти высохший, тут же идет улица Гобеленовой заставы, улица в то время немощеная, обсаженная запущенными деревьями, зеленеющая или полная грязи, смотря от времени года, и упирающаяся прямо в стену города Парижа. Запах купороса клубами вылетает из высоких труб соседней фабрики.

Застава была близко. В 1823 году стена вокруг города еще существовала. Сама эта застава воскрешала в воображении мрачные образы. Это был путь в Бисетр. Отсюда при Империи и Реставрации входили в Париж приговоренные к смерти в день казни. Там было совершено около 1829 года таинственное убийство, известное под именем «преступления у заставы Фонтенебло» — убийство, виновников которого правосудию так и не удалось найти, страшная загадка, оставшаяся неразъясненной. Еще несколько шагов — и вы попадаете в роковую улицу Крульбар, где Ульбах заколол кинжалом козью пастушку из Иври при раскатах грома, как

в мелодраме. Еще дальше вы очутитесь у отвратительных обезглавленных вязов заставы Сен-Жак — этой выдумки филантропов, скрывающей эшафот, этой жалкой и позорной Гревской площади, измышленной обществом лавочников, которое, испугавшись смертной казни, не сумело ни отменить ее с величием, ни сохранить с авторитетом.

Тридцать семь лет тому назад, если оставить в стороне эту площадь Сен-Жака, которая всегда была как бы предопределена судьбой и всегда была ужасной, — самым мрачным уголком на всем этом мрачном бульваре было место, столь мало привлекательное и в наше время, где находилась лачуга под номером 50—52.

Большие дома здесь стали строить лишь через двадцать пять лет. Место было невеселое. К похоронным мыслям, охватывающим каждого, присоединялось воспоминание, что находишься между Сальпетриер, купол которого виднелся неподалеку, и между Бисетром, т. е. между безумием женщины и безумием мужчины.

Насколько могло хватать зрение, виднелись бойни, городская стена и изредка фасады фабрик вроде казарм или монастырей; повсюду бараки, ветхие стены, почерневшие как саваны, новые стены, белые как пелены, повсюду параллельные ряды деревьев, вытянутые в струнку постройки, плоские здания, бесконечные холодные линии и мрачные прямые углы. Ни малейшей извилины в почве, ни малейшей складки, ни малейшей архитектурной прихоти. Это был ансамбль леденящий, правильный, страшный. Ничто так не холодит сердце, как симметрия. Симметрия — это скука, а скука — основа грусти. Отчаяние наводит зевоту. Если можно представить себе что-нибудь ужаснее ада, где жестоко страдают, — это ад, в котором царит скука. Если существовал подобный ад, то мрачный бульвар л’Опиталь мог бы служить достойным к нему путем.

В сумерках, когда надвигается ночь, зимой в особенности, в тот час, когда ночной ветер срывает с вязов их последние пожелтевшие листья, когда мрак становится непроницаемым, беззвездным, когда месяц и ветер разрывают

тучи, бульвар становится ужасным. Черные линии углубляются и теряются во мраке. Прохожий невольно вспоминает многочисленные местные предания, в которых существенную роль играет виселица. Уединенность местности, где совершилось столько преступлений, имеет что-то ужасное. Так и чудятся западни в потемках, смутные призраки ночи кажутся подозрительными, и продолговатые четырехугольные впадины между деревьями походят на могилы. Днем это безобразно, вечером — печально, ночью — ужасно.

Летом в сумерках, тут и там какие-то старухи сидят под вязами на скамьях, заплесневелых от дождей и сырости. Бедные женщины охотно просят милостыню.

Впрочем, этот обветшалый квартал уже тогда стремился преобразоваться. Кто желал видеть его как он есть, должен был поторопиться. Каждый день какая-нибудь деталь этого целого ускользала. Двадцать лет назад близ старого предместья вырос из земли вокзал Орлеанской

железной дороги и преобразил его окончательно. Всякий раз, как поместят на окраине столицы вокзал железной дороги, это всегда гибель для предместья и зарождение новых кварталов. Так и кажется, что вокруг этих великих центров движения народов, при грохоте могучих машин, при пыхтении чудовищных коней цивилизации, которые питаются углем и изрыгают пламя, земля, полная новых зародышей, разверзается, поглощая ветхие людские жилища и нарождая новые. Старые дома рушатся, новые возводятся.

С тех пор как железнодорожный вокзал вторгся в окрестности Сальпетриер, старые узкие улицы, примыкающие к рвам Сен-Виктора и к Ботаническому саду, точно пошатнулись; четыре-пять раз в день их пересекали дилижансы, фиакры, омнибусы; это движение, так сказать, способно с течением времени раздвинуть дома направо и налево: ибо есть вещи, которые кажутся странными, но которые тем не менее строго справедливы, — например, сущая правда, что в больших городах под влиянием лучей солнца вырастают фасады домов на южной

стороне, точно так же верно, что частый проезд экипажей расширяет улицы. Симптомы новой жизни становятся очевидны. В этом старом провинциальном квартале, в самых диких закоулках появляется мостовая, выползает и удлиняется линия тротуаров, даже там, где нет прохожих. В одно утро, в памятное утро июля 1845 года, обыватели бульвара вдруг увидели черные дымящиеся котлы асфальта; в этот день, можно сказать, цивилизация достигла улицы Урсин, и Париж вошел в предместье Сен-Марсо.

Глава 105

Перед этой самой лачугой Горбо и остановился Жан Вальжан. По примеру ночных птиц он выбрал это пустынное место, чтобы свить себе гнездо.

Он пошарил в жилетном кармане, вынул что-то похожее на отмычку, отпер двери, тщательно запер их за собой и поднялся по лестнице, неся на руках Козетту. Дойдя до верху, он вынул из кармана другой ключ и отпер какую-то дверь.

Комната, в которую он вошел и поспешно закрыл за собой, была вроде жалкого чердака, довольно просторного, с матрацем, положенным на голый пол, со столом и несколькими стульями вместо мебели. В углу помещалась печь, которая в тот момент топилась. Фонарь на бульваре тускло освещал эту скудную обстановку. В глубине комнаты была каморка с простой постелью. Жан Вальжан поднес ребенка к постели и осторожно уложил его, не разбудив.

Он высек огонь кремнем и зажег свечу; все это заранее было приготовлено на столе. Затем, как и накануне, он стал любоваться Козеттой взглядом, полным восторга, взглядом, в котором нежность и доброта доходили почти до самозабвения. Девочка со спокойной доверчивостью, свойственной только чрезвычайной силе или чрезвычайной слабости, уснула, не сознавая, с кем она, и продолжала спать, не зная, где она.

Жан Вальжан нагнулся и поцеловал руку ребенка. Девять месяцев тому назад он точно так

же приложился к руке матери, также уснувшей, но сном вечности.

То же чувство, горестное, благоговейное, острое, наполняло его сердце. Он опустился на колени перед постелью Козетты.

Совсем уже рассвело, а ребенок все еще не просыпался. Бледный луч декабрьского солнца проник в окно чердака и отбрасывал на потолке длинные полосы света и тени. Вдруг повозка, тяжело нагруженная камнями, проезжая по бульвару, потрясла весь барак, как раскатом грома, и здание зашаталось с верху до низу.

— Иду! Сударыня! — воскликнула Козетта, вскочив спросонья. — Сейчас, сейчас!

Она кинулась с постели, веки ее еще слипались от сна, а рука протянулась в угол комнаты.

— Боже мой! Где же моя метла? — проговорила она.

Вдруг глаза ее окончательно открылись, и она увидела перед собой улыбающееся лицо Жана

Вальжана.

— Ах, правда, я и забыла, — прошептала она. — Доброе утро, сударь.

Дети с легкостью свыкаются с радостью и счастьем, потому что они сами по природе — счастье и радость.

Козетта увидела Катерину у своей постели, схватила ее на руки и, играя, осыпала Жана Вальжана разнообразными вопросами.

— Где она? Очень ли велик Париж? Далеко ли от них мадам Тенардье? Не придет ли она? и т. д.

Вдруг она воскликнула:

— А как здесь хорошо!

Это была отвратительная трущоба; но девочка чувствовала себя свободной.

— Прикажете мести? — спросила она наконец.

— Играй, — сказал Жан Вальжан.

Так прошел весь день. Козетта, ни о чем не заботясь и не желая ничего понимать, была несказанно счастлива со своей куклой и этим стариком.

Глава 106

На следующий день, на рассвете, Жан Вальжан опять стоял у постели Козетты и неподвижно ждал ее пробуждения.

Какое-то новое чувство закралось в его душу

Жан Вальжан никогда и никого не любил. Целых двадцать пять лет он был одинок на свете, как перст. Никогда не был он отцом, любовником, мужем, другом. На каторге он был нелюдим, мрачен, целомудрен, невежествен и дик. Сестра его и ее дети оставили в нем смутное, отдаленное воспоминание, которое, наконец, изгладилось почти совершенно. Он употребил все старания, чтобы разыскать их, но, не сумев найти, позабыл о них совершенно. Человеческая природа так устроена. Другие нежные впечатления его

молодости, если они и были у него, канули в бездну.

Когда он увидел Козетту, взял ее с собой, унес, избавил от притеснения, он почувствовал потрясение во всем своем внутреннем существе. Все, что было в нем нежности и страсти, пробудилось и вылилось на этого ребенка. Он подходил к ее постели и весь дрожал от счастья; сердце его трепетало материнской нежностью, и он сам не сознавал, что это такое. Смутное и сладостное чувство — этот великий и странный порыв сердца, которое познало любовь.

Бедное старое сердце, вдруг обновленное!

Ему было пятьдесят пять лет, а Козетте восемь, и вся любовь, копившаяся в течение всей его жизни, вылилась каким-то блаженным сиянием.

Во второй раз в жизни ему являлось светлое видение. Епископ пробудил в его душе зарю добродетели, а Козетта — зарю любви. Первые дни прошли для него в каком-то ослеплении любовью.

Со своей стороны, и Козетта, бедное маленькое создание, бессознательно становилась совсем иной. Она была так мала, когда с ней рассталась мать, что она уже не помнила ее. Все дети, как молодые виноградные лозы, цепляются за все, так и она пыталась любить, но напрасно. Все оттолкнули ее: супруги Тенардье, их дети, ее сверстники. Она полюбила собаку, но та умерла, и после этого никому не нужна была ее привязанность. Грустно сказать, но в восемь лет сердце ее было холодно как лед. Это была не ее вина, у нее не было недостатка в способности любить, но, увы, не было возможности. И вот теперь с первого же дня она всеми чувствами, всеми помыслами привязалась к этому старику. Она чувствовала то, чего с ней никогда не было, точно она вся расцвела.

Старик не казался ей ни старым, ни бедным. Она находила Жана Вальжана красавцем, точно так же, как считала свою трущобу прелестной.

Таково действие детства, юности, радости. Новизна места имела здесь немалое значение.

Ничто не может быть прелестнее ясного отражения счастья на чердаке. У всех нас в прошлом была такая лазурная мансарда.

Природа, разница в возрасте — на целых пятьдесят лет, воздвигли глубокую пропасть между Жаном Вальжаном и Козеттой; судьба сгладила эту пропасть. Судьба внезапно сблизила и сочетала со своим неудержимым могуществом эти две расшатанные жизни, различные по возрасту и близкие по несчастью. Инстинкт Козетты искал отца, инстинкт Жана Вальжана искал ребенка. Встретиться значило обрести друг друга. В тот таинственный момент, когда соприкоснулись их руки, они срослись навеки. Эти две души, встретившись, почувствовали потребность друг в друге и тесно сроднились.

Благодаря этому Жан Вальжан как бы по велению неба стал отцом Козетты.

Таинственное ощущение, возникшее у Козетты в чаще Шелльского леса от соприкосновения с рукой Жана Вальжана, схватившей ее руку в потемках, было не

иллюзией, а действительностью. Вторжение этого человека в судьбу этого ребенка было как бы появлением самого Бога.

Жан Вальжан удачно выбрал убежище. Он был там в почти полной безопасности. Комната с каморкой, занимаемая ими, была та самая, окно которой выходило на бульвар. Это было единственное в доме окно, и нечего было опасаться любопытства соседей ни сбоку, ни напротив. Нижний этаж дома номер 50—52 представлял собой нечто вроде разоренного сарая и не имел никакого сообщения с верхним этажом. Он отделялся от него полом, не имевшим ни лестниц, ни люков, и который разделял строение сплошной поперечной перегородкой. Верхний этаж заключал в себе, как мы уже говорили, несколько комнат и чердаков, из которых только один был занят старухой, готовившей еду для Жана Вальжана. Остальные были пусты.

У этой самой старухи, носившей название «главной жилицы», а в сущности исполнявшей обязанности дворничихи, он снял квартиру в

рождественский сочельник. Он выдал себя за рантье, разоренного на испанских бумагах, и сказал, что придет сюда жить со своей девочкой. Жан Вальжан заплатил за шесть месяцев вперед и поручил старухе меблировать комнату и каморку, как мы описали. Эта же старуха затопила печку и приготовила все к их прибытию.

Неделя шла за неделей, а старик и дитя вели в этой жалкой конуре счастливое существование.

С раннего утра Козетта смеялась, болтала и распевала. У детей, как у птиц, есть свои утренние песенки. Иногда Жан Вальжан вдруг брал ее маленькую красную ручку, всю обветрившуюся и опухшую от холода, и целовал ее. Бедный ребенок, привыкший к побоям, не понимал, что это значит, и отходил в смущении. Порою она вдруг становилась серьезной и поглядывала на свое черное платьице. Козетта была уже не в лохмотьях, а в трауре. Она вышла из нищеты и вступила в другую жизнь.

Жан Вальжан начал учить ее читать. Порою, заставляя ребенка твердить слоги, ему приходила

мысль, что он сам учился читать на каторге, но с намерением делать зло. И теперь это намерение обратилось в желание научить читать ребенка. Тогда старый каторжник улыбался задумчивой, ангельской улыбкой.

Он чувствовал здесь предопределение свыше, волю кого-то, кто стоит над человеком, и погружался в думы. Добрые помыслы имеют свою бездну, как и дурные.

Учить Козетту читать и любоваться, как она играет, — в этом была почти вся жизнь Жана Вальжана. Он говорил ей о матери и заставлял молиться. Она называла его «отец» и не знала за ним другого имени.

Целые часы проводил он, любуясь, как она одевает и раздевает куклу, слушая, как щебечет. Жизнь казалась ему отныне полной интереса и содержания, люди казались ему добрыми и справедливыми, мысленно он никого ни в чем не обвинял, он не видел причин, почему бы ему не дожить до глубокой старости, коль скоро этот ребенок привязался к нему. Он видел перед собой

целую будущность, озаренную Козеттой, как прелестным сиянием. Лучшие люди не чужды эгоизма: бывали минуты, когда он с какой-то радостью думал, что она будет дурна собой.

Конечно, это личное мнение, но нам кажется, что, судя по состоянию, в котором находился Жан Вальжан, когда привязался к Козетте, он, вероятно, нуждался в этой любви, чтобы не сбиться с пути добродетели. Он увидел в новом проявлении людскую злобу, ничтожество общества, которое роковым образом раскрылось перед ним только с дурной стороны, видел судьбу женщины, воплощенную в Фантине, общественную власть, воплощенную в Жавере; он вернулся на каторгу в этот раз за то, что делал добро; он испытал новую горечь; снова овладевало им отвращение и утомление жизнью; само воспоминание о епископе порой как бы начинало тускнеть, хотя скоро опять воскресло перед ним лучезарным и торжественным, но как бы то ни было, это священное воспоминание начинало меркнуть. Кто знает, быть может, Жан Вальжан уже был на пороге отчаяния и падения

духом? Но он полюбил, и к нему вернулись силы. Увы! К этому он шел такими же робкими шагами, как и Козетта. Теперь он опекал ее, а она укрепляла его. Благодаря ему она могла идти твердым шагом по жизненному пути; благодаря ей он мог удержаться на стезе добродетели. Он был опорой этому ребенку, а ребенок был его поддержкой. О! Неизмеримая божественная тайна равновесия судеб!

Глава 107

Жан Вальжан имел осторожность никогда не выходить днем из дома. Но каждый вечер, в сумерках, он гулял час или два, иногда один, часто с Козеттой, отыскивая самые уединенные боковые аллеи бульвара и заходя в церкви, когда смеркалось. Он охотно посещал церковь Сен-Медара, которая была поблизости. Когда он не брал с собой Козетту, она оставалась со старухой, но для девочки было величайшей радостью гулять со стариком. Она предпочитала провести один час с ним, чем даже очаровательные часы с

глазу на глаз с Катериной. Он шел, держа ее за руку и нежно разговаривая на самые разные темы.

Козетта оказалась очень веселой девочкой. Старуха вела хозяйство, стряпала, ходила за продуктами. Жили они скромно, хотя и не нуждаясь в самом необходимом, как люди очень стесненные в средствах. Жан Вальжан ничего не прибавил к своей обстановке, но только велел заменить стеклянную дверь сплошной, которая вела в каморку Козетты. На нем были его неизменный желтый сюртук, черные штаны и старая потертая шляпа. На улице его принимали за нищего. Зачастую добрые женщины оборачивались и подавали ему су. Жан Вальжан брал эту монету и низко кланялся. Случалось также, что, встретив какого-нибудь несчастного, просящего милостыню, он с живостью озирался, не смотрит ли на него кто-нибудь, и опускал в руку нищего монету, чаще всего серебряную, и удалялся крупными шагами. Это имело свои отрицательные стороны. В квартале он стал

известен под названием «нищего, который раздает милостыню».

Старуха, главная жилица, существо угрюмое, завистливое, зорко наблюдающее за ближним, как и все завистники, пристально следила за Жаном Вальжаном, хотя он этого не замечал. Она была глуховата и вследствие этого болтлива. От ее прошлого у нее осталось только два зуба, один вверху, один внизу, и они беспрестанно натыкались друг на друга. Она пробовала расспрашивать Козетту, но та, ничего не зная, ничего не могла сказать, разве только, что они пришли из Монфермейля. Раз утром она увидела Жана Вальжана, входившего с каким-то, как ей показалось, особенным видом в одну из незанятых каморок лачуги. Она прокралась за ним, как старая кошка, и стала наблюдать сквозь щелку двери. Жан Вальжан, вероятно, из предосторожности, стоял спиной к двери. Старуха увидела, как он, пошарив в кармане, вынул оттуда футляр, ножницы и иголки, потом распорол подкладку сюртука, вытащил из отверстия пожелтелую бумагу и развернул ее.

Женщина с ужасом убедилась, что это банковский билет в тысячу франков. То был всего второй или третий подобный билет, который она видела за всю свою жизнь. Она поскорее убежала, очень испуганная.

Несколько минут спустя Жан Вальжан подошел к ней и просил ее разменять билет, сказав, что это треть его годового дохода, полученная им накануне.

«Где полученная?» — подумала старуха.

Он выходил в шесть часов вечера, а государственный банк, конечно, не может быть открыт в такой час. Старуха отправилась менять билет, строя всяческие предположения. Этот билет в тысячу франков, обогащенный тысячами новых подробностей, вызвал множество недоумевающих толков среди кумушек улицы Винь-Сен-Марсель.

На следующий день случилось, что Жан Вальжан в одном жилете пилил дрова в коридоре. Старуха была одна в комнате и хозяйничала. Козетта наблюдала, как пилят дрова. Старуха

увидела сюртук, повешенный на гвоздик, и осмотрела его; подкладка была заново подшита. Она внимательно ощупала ее и почувствовала в полах и у проймы толстые пачки бумаги. Вероятно, еще банковские билеты по тысяче франков!

Кроме того, она заметила, что в карманах лежит много разных предметов. Не только нитки, иголки, ножницы, которые она уже видела раньше, а очень толстый бумажник, большой нож и, что всего подозрительнее — несколько париков разных цветов. Каждый из карманов сюртука казался целым складом на случай непредвиденных событий. Жители лачуги дожили таким образом до зимы.

Глава 108

Близ церкви Сен-Медара сидел обыкновенно нищий на краю заваленного колодца, и Жан Вальжан охотно подавал ему милостыню. Редко проходил он мимо этого человека, не сунув ему в руку несколько мелких монет. Иногда он даже

заговаривал с ним. Завистники этого нищего уверяли, что он из полиции. Это был старый семидесятипятилетний церковный сторож, постоянно бормотавший молитвы.

Раз вечером Жан Вальжан, проходя по тому месту, на этот раз один без Козетты, опять увидел нищего на его обычном месте под фонарем, только что зажженным. По своей привычке он сидел сгорбившись и казался погруженным в молитву. Жан Вальжан подошел к нему и сунул ему в руку свое обычное подаяние. Нищий быстро вскинул глаза, пристально взглянул на Жана Вальжана и снова поспешно опустил голову. Это движение было быстро, как молния, но Жан Вальжан почувствовал точно потрясение. Ему показалось, что он увидел при свете фонаря не спокойное, невозмутимое лицо старого церковного сторожа, а какой-то страшный, знакомый грозный образ. Впечатление было такое, словно он вдруг очутился во мраке лицом к лицу с тигром. Он отшатнулся в ужасе, пораженный, не смея ни дышать, ни сказать слово, ни бежать и пристально уставившись на

нищего, который понурил голову, обмотанную тряпкой, и, казалось, не обращал больше ни на что внимания. В этот странный момент инстинкт, быть может таинственный, инстинкт самосохранения удержал Жана Вальжана, и он не произнес ни слова. У нищего был тот же самый рост, те же тряпки, тот же вид, как и в предыдущие дни.

«Что со мной?.. — подумал Жан Вальжан. — Я с ума сошел! Это сон, этого быть не может!» — И он пришел домой глубоко встревоженный.

Он едва осмеливался признаться самому себе, что ему почудилось лицо Жавера.

Ночью, размышляя об этом, он пожалел, что не заговорил с нищим, чтобы заставить его еще раз поднять голову.

На следующий день в сумерках он опять отправился туда. Нищий сидел на своем месте.

— Здравствуй, милый человек, — решительно обратился к нему Жан Вальжан, подав ему су.

Нищий поднял голову и ответил своим жалобным голосом:

— Спасибо, сударь.

Без сомнения, это был старый сторож.

Жан Вальжан почувствовал себя окончательно успокоенным. Он даже засмеялся.

«И чего это мне почудился Жавер? — подумал он. — Я, кажется, становлюсь мнительным».

Больше он об этом не думал.

Несколько дней спустя, часов в восемь вечера, сидя в своей комнате и слушая, как Козетта читает вслух, он вдруг услышал, как кто-то отпирает, а потом запирает входную дверь лачуги. Это показалось ему странным. Старуха, единственная обитательница дома кроме него, ложилась спать, как только стемнеет, чтобы не жечь понапрасну свечи. Жан Вальжан знаком велел Козетте замолчать. Он слышал, как кто-то поднимался по лестнице. Пожалуй, это могла быть и старуха, которая вдруг захворала и ходила в аптеку. Жан Вальжан начал прислушиваться.

Шаги были тяжелые и звучали как мужские; но ведь и старуха носила грубые башмаки, а шаги старой женщины очень похожи на шаги мужчины. Однако Жан Вальжан задул свечу.

Он послал Козетту спать, прошептав ей: «Ступай, ложись потихоньку и не шуми» — и когда он целовал ее в лоб, шаги вдруг смолкли. Жан Вальжан замер, безмолвный, неподвижный, обернувшись спиной к двери, не тронувшись со стула, затаив дыхание в темноте. По прошествии некоторого времени, не слыша ни звука, он бесшумно обернулся к двери и увидел свет сквозь замочную скважину. Этот свет казался зловещей звездой на черном фоне стены. Очевидно, там кто-то держал свечу и прислушивался.

Прошло несколько минут, и свет исчез. Но только он не услышал удалявшихся шагов, и это доказывало, что подслушивавший у двери снял сапоги.

Жан Вальжан бросился, не раздеваясь, на постель и не мог сомкнуть глаз всю ночь. На рассвете, в ту минуту, когда он задремал от

утомления, его вдруг разбудил скрип двери, отпиравшейся в мансарде в глубине коридора, затем он услышал те же мужские шаги, как и накануне. Шаги приближались. Он вскочил с постели и приложил глаз к замочной скважине, достаточно большой, надеясь увидеть человека, пришедшего ночью в лачугу и подслушивавшего у его двери. Это был действительно мужчина, который прошел мимо комнаты Жана Вальжана на этот раз не останавливаясь. В коридоре было еще слишком темно, чтобы можно было различить его лицо; но когда человек подошел к лестнице, луч света, падая сверху, обрисовал резко его силуэт, и Жан Вальжан ясно увидел его сзади. Он был высокого роста, одет в длинный сюртук и нес дубинку под мышкой. У этого незнакомца была могучая шея Жавера.

Жан Вальжан мог бы увидеть его в окно, выходящее на бульвар. Но для этого следовало открыть окно, и он на это не решился.

Очевидно, человек этот вошел со своим ключом, как домой. Кто дал ему ключ? И что все

это значит?

В семь часов утра, когда старуха пришла прибирать комнату, Жан Вальжан бросил на нее пристальный взгляд, но не задал ни одного вопроса. У женщины был ее обычный вид.

Подметая комнату, она сказала ему:

— Не слышали ли вы, как кто-то входил к нам сегодня ночью?

В те времена и на этом бульваре восемь часов вечера уже считалось глухой ночью.

— Кстати, — заметил он самым естественным тоном, — кто это был в самом деле?

— Новый жилец в нашем доме, — отвечала старуха.

— А как его зовут?

— Толком не знаю. Кажется, Дюмон или Домон, что-то в этом роде.

— А кто такой этот господин Дюмон?

Старуха взглянула на него своими маленькими глазками, как у хорька, и отвечала:

— Такой же рантье, как и вы.

Быть может, она сказала это без всякого умысла. Но Жану Вальжану показалось, что слова ее имеют какой-то особенный смысл.

Когда старуха ушла, он вынул из шкафа сто франков и сунул их в карман. Как он ни старался выполнить это дело как можно осторожнее, чтобы не слышно было звона денег, но одна монета выпала у него из рук и с шумом покатилась по полу.

Когда наступили сумерки, он сошел вниз и стал внимательно озираться по сторонам. Он не увидел ни души; бульвар был совершенно пустынен. Правда, можно было спрятаться за деревьями.

Он поспешно поднялся наверх.

— Пойдем, — сказал он Козетте.

Он взял ее за руку, и они вышли из дома.

Глава 109

К этим и последующим страницам, которые читатель встретит дальше, необходимо сделать небольшое отступление.

Много лет протекло с тех пор, как автор этой книги, вынужденный поневоле говорить здесь о себе, покинул Париж. С тех пор столица преобразилась. Новый незнакомый ему город вырос на месте старого. Излишне говорить, что автор любит Париж. Это родной город его души. Вследствие многочисленного сноса старых домов и строительства новых Париж его юности, тот Париж, который он благоговейно хранит в своей памяти, ныне уже достояние прошлого. Да будет ему позволено говорить об этом Париже, как будто он еще существует. Очень может быть, что автор поведет читателя на такую улицу, укажет ему такой дом, которых уже давно нет. Читатели могут проверить, если им это не трудно. Что касается автора, то он не знает нового Парижа, он пишет, имея перед глазами старый Париж, как иллюзию, дорогую его сердцу. Для него отрадно

представить себе, что еще сохранилось кое-что из того, что он видел, когда жил на родине, и что еще не все исчезло. Когда живешь в своем родном городе, думаешь, что эти улицы для вас безразличны, что эти двери, эти окна для вас — ничто, что эти стены чужды вам, что эти деревья — первые встречные, на которые не стоит обращать внимания, что эти чужие дома вам не нужны, что эта мостовая, по которой вы ходите, — камни и не более того. Но впоследствии, когда вы покинули эти места, вы замечаете, что эти улицы вам дороги, что эти кровли, эти окна, эти двери нужны вам, что эти деревья — ваши любимые друзья, что эти дома, в которые вы не входили, близки вам и что на самой этой мостовой вы оставили часть самого себя, своей крови, своего сердца. Все эти места, которые вы уже не видите и, быть может, никогда не увидите более и образ которых вы сохранили в памяти, становятся для вас землей обетованной, являются перед вами окруженными меланхолическим ореолом, так сказать, принимают облик самой Франции, вы любите их,

они воскресают в памяти такими, какими были прежде, вы упорно цепляетесь за них, ничего не хотите изменить в них, ибо облик родины дорог каждому, как лицо матери.

Итак, позвольте говорить о прошлом, как о настоящем. Сделав эту оговорку, мы просим читателя не упускать ее из виду и продолжаем наш рассказ.

Жан Вальжан тотчас же оставил бульвар и углубился в переулки, стараясь насколько возможно чаще сворачивать за угол и часто возвращаясь назад, чтобы убедиться, что никто за ним не следит.

Это маневр, свойственный зверю, которого травят охотники. На почве, где остаются следы, эта уловка имеет между прочими преимуществами то, что сбивает с толку охотников и собак. На охотничьем языке это называется «ложный уход на логово».

Ночь была лунная. Жану Вальжану это было даже на руку. Луна, еще невысоко поднявшаяся над горизонтом, отбрасывала по улицам большие

пятна тени и света. Он мог идти вдоль домов и стен по темной стороне и наблюдать освещенную сторону. Должно быть, он не учел, что и теневая сторона ускользала от его наблюдения. Впрочем, пробираясь по пустынным переулкам, примыкающим к улице Паливо, он был почти убежден, что никто не следит за ним.

Козетта покорно шла, не задавая никаких вопросов. Страдания, пережитые ею за первые шесть лет ее жизни, придали какую-то пассивность ее натуре. К тому же — и мы не раз вынуждены будем вернуться к этому замечанию — она уже привыкла к странностям старика и к прихотям судьбы, и, наконец, около него она чувствовала себя в безопасности.

Жан Вальжан знал не больше самой Козетты, куда он идет. Он вверял себя воле Божией, подобно тому как она уповала на него. Ему тоже казалось, что его ведет за руку какое-то высшее, невидимое существо. У него не было никакого определенного намерения, никакого плана. Он даже не был совершенно уверен, что это Жавер,

да если это и был Жавер, то он мог и не узнать его, Жана Вальжана. Разве не был он переодет? Разве не считали его мертвым? Однако за последние дни происходили довольно странные вещи. Этого было для него достаточно. Он твердо решил не возвращаться больше в лачугу Горбо. Как зверь, выгнанный из логовища, он искал ямы, куда спрятаться, пока не найдет себе жилища.

Жан Вальжан описал несколько зигзагов в разных направлениях по кварталу Муфтар, уже погруженному в сон, как будто еще существовала средневековая дисциплина раннего тушения огня; с искусным стратегическим расчетом он различными способами миновал улицы Сан-Зье, улицу Копо, Баттуар Сен-Виктор и улицу Пюи л'Эрмат. Там попадались и ночлежные приюты, но он не заходил в них, не видя ничего подходящего. Он даже не сомневался, что, если бы стали искать его следы, их непременно потеряли бы.

В то время, когда било одиннадцать часов в церкви Сент-Этьенн-дю-Мон, он проходил мимо

бюро полицейского комиссара на улице Понтуаз. Несколько минут спустя он обернулся, повинуясь инстинкту. В это мгновение он ясно увидел, благодаря предательскому фонарю комиссара, трех людей, которые следовали за ним на довольно близком расстоянии и прошли один за другим под этим фонарем по темной стороне улицы. Один из троих вошел в аллею, ведущую к дому комиссара. Тот, который шел впереди, безусловно показался ему подозрительным.

— Пойдем, дитя, — сказал он Козетте и поспешно покинул улицу Понтуаз.

Он сделал крюк, обошел Пассаж Патриархов, запертый по причине позднего времени, и углубился в Почтовую улицу. Там есть перекресток, где находится ныне коллеж Роллен и куда примыкает улица Нев-Сент-Женевьев.

Месяц озарял перекресток ярким светом. Жан Вальжан встал под воротами, рассчитывая, что если эти люди все еще следуют за ним, то он хорошенько разглядит их, когда они пройдут по этому яркому пятну.

Действительно, не прошло и трех минут, как люди появились. Теперь их было четверо; все высокого роста, в длинных темных сюртуках, круглых шляпах и с толстыми дубинками в руках. Они способны были возбудить тревогу не только своим высоким ростом и могучими кулаками, но и своим мрачным таинственным шествием среди ночи. Точно четыре привидения, переодетых в буржуа.

Они остановились на перекрестке посреди улицы и образовали группу деловых людей, совещающихся между собою. Казалось, они были в нерешительности. Тот, кто, по-видимому, руководил ими, обернулся и с живостью указал правой рукой то направление, в котором следовал Жан Вальжан, другой с некоторой настойчивостью указывал в противоположную сторону. В то мгновение, когда обернулся первый, луна осветила его лицо. Жан Вальжан безошибочно узнал Жавера.

Глава 110

Все сомнения у Жана Вальжана пропали; но, к счастью, они еще продолжались у тех людей. Он воспользовался их колебанием; они теряли время, а он выигрывал. Выйдя из-под ворот, где он прятался, он пошел вдоль Почтовой улицы, по направлению к Ботаническому саду. Козетта начала уставать; он взял ее на руки и понес. Ни одного прохожего на улице; фонари не были зажжены, так как светила луна.

Он ускорил шаги. В одну минуту достиг он горшечной фабрики Габле, на фасаде которой ясно можно было прочесть при свете месяца старую надпись:

Здесь фабрика Габле и сына.

Прохожий, покупать спеши!

Горшки, тазы, котлы, кувшины —

Все предлагаем от души.

Он оставил позади Ключевую улицу, фонтан Сен-Виктор, прошел вдоль Ботанического сада и

добрался до набережной. Там он обернулся. Набережная была пустынна. Улицы тоже. Ни души позади. Он вздохнул свободнее.

Вот и Аустерлицкий мост. В то время еще существовала плата за проход по мосту.

Он подошел к будке сборщика и выложил су.

— Следует два су, — заметил инвалид. — Вы несете большого ребенка, который может идти сам. Платите за двоих.

Он заплатил, раздосадованный тем, что привлек внимание. Беглец должен скользить незаметно, как уж.

Одновременно с ним большая повозка переезжала на правый берег Сены. Ему это было на руку, он мог пройти по всему мосту, скрываясь в тени повозки.

На середине моста Козетта, у которой отекли ноги, пожелала идти сама. Он спустил ее на землю и взял за руку.

Пройдя мост, он увидел немного вправо перед собой дровяные склады. Жан Вальжан

направился туда; чтобы добраться до них, надо было отважиться пройти по довольно обширному пространству, совершенно открытому и ярко освещенному.

Он сделал это не колеблясь. Преследовавшие его, очевидно, потеряли след, и Жан Вальжан считал себя в безопасности. Его искали — это правда, но уже не шли за ним по пятам.

Узенькая улица, прозванная Шемен-Вер-Сент-Антуан, начиналась между двух дровяных складов, обнесенных высоким забором. Она была узка, темна, точно нарочно создана для него. Прежде чем войти в нее, он стал озираться.

С того места, где он стоял, виден был Аустерлицкий мост на всем его протяжении. На мосту появились четыре тени. Они шли от Ботанического сада и направлялись к правому берегу. Это были те самые люди, которых он опасался.

Жан Вальжан вздрогнул, как пойманный зверь. Ему оставалась одна надежда, что эти люди еще не вошли на мост в ту минуту, когда он,

держа Козетту за руку, прошел наискось по большому освещенному пространству, и, следовательно, не могли видеть его.

В таком случае, если он углубится в узенькую улицу, простиравшуюся перед ним, если ему удастся дойти до дровяных складов, до болот, до незастроенных мест, то он еще может ускользнуть.

Он подумал, что можно довериться этой узенькой, безмолвной улице, и вошел в нее.

Глава 111

Пройдя шагов триста, он дошел до места, где улица раздваивалась, расходясь вправо и влево. Перед ним было две ветви в форме буквы Y. Которую выбрать?

Он не колеблясь пошел направо. Почему?

Дело в том, что левое ответвление вело к предместью, то есть к местам населенным, а правое — к воде, то есть в места пустынные.

Однако они шли довольно медленно. Мелкие шаги Козетты замедляли походку Жана Вальжана.

Он опять понес ее. Козетта положила голову на плечо старика и не вымолвила ни слова.

Порой он оборачивался и озирался. Он тщательно старался держаться неосвещенной стороны. Улица за ним тянулась прямо, без поворотов. Обернувшись первые два-три раза, он ничего не увидел, кругом царила глубокая тишина; он продолжил путь, слегка успокоенный. Вдруг, в очередной раз обернувшись, ему показалось, будто что-то движется по той же улице, далеко позади, среди темноты. Он кинулся вперед со всех ног, надеясь свернуть на какую-нибудь боковую улицу, скрыться в ней и таким образом еще раз сбить их со следа.

Он уперся в стену.

Эта стена, впрочем, не исключала возможности идти далее; она тянулась вдоль поперечной улицы, куда упиралась та, по которой он шел.

Еще раз приходилось решать — повернуть налево или направо. Он пошел направо. Переулок был застроен двумя рядами строений — сараев или амбаров, и заканчивался высокой глухой стеной, ярко белевшей вдали.

Он взглянул налево. С этой стороны переулок был открыт и на расстоянии двухсот шагов пересекался какой-то улицей. Вот где было спасение.

В тот момент, когда Жан Вальжан решил повернуть налево, чтобы добраться до улицы, видневшейся в конце переулка, он увидел на углу его какую-то мрачную неподвижную фигуру, словно статую.

Это был человек, очевидно, сторoживший в этом месте, преграждая ему путь.

Жан Вальжан отшатнулся назад.

Та часть Парижа, где находился Жан Вальжан, заключающаяся между предместьем Сент-Антуан и Папэ, принадлежит к числу тех, которые теперь имеют совершенно другой вид; по мнению

некоторых, это их обезобразило, а по мнению других — украсило. Пустыри, огороды, дровяные склады, старые строения — все это исчезло. Теперь там широкие улицы, совсем новые, площади, цирки, ипподромы, железнодорожные вокзалы, между прочим, тюрьма — Мазас; как видите — прогресс вместе с исправительным учреждением.

Полвека тому назад, на обиходном народном языке, который весь основан на традициях и упорно называет институт «Четырьмя нациями», а Комическую оперу — «Федо», то место, куда попал Жан Вальжан, называлось «Малый Пикпюс». Есть много имен старого Парижа, таких, как ворота Сен-Жак, Парижские ворота, застава Сержантов, Свинари, Галиот, Целестинцы, Капуцины, Молотки, Грязи, Краковское дерево, Малая Польша, Малый Пикпюс, которые уцелели до сей поры. Эти обломки прошлого сохраняются в народной памяти.

Малый Пикпюс, который, впрочем, существовал недолго и всегда только напоминал квартал, имел в то время монашеский облик испанского городка. Дороги были плохо вымощены, улицы еле застроены. За исключением двух-трех улиц, о которых мы упомянем, там были одни стены, одни пустыри. Ни одной лавки, ни одного экипажа, тут и там изредка виднелся свет в окнах, и тот тушился повсеместно после десяти часов. Сады, монастыри, дровяные склады, болота, редкие, низенькие домишки, заборы, за которыми не было видно домов.

Вот каков был этот квартал в минувшем столетии. Революция уже сильно исковеркала его. Республиканские власти разорили его, проломали в нем бреши, переиначили по-своему. Там были устроены склады мусора. Тридцать лет тому назад этот квартал уже исчезал под новыми строениями. Теперь его уже нет. Малый Пикпюс, от которого не осталось и следа на современных планах, довольно ясно обозначен на плане 1727 года, изданном в Париже у Дениса Тьерри на

улице Сен-Жак, а в Лионе у Жана Жирена, на улице Мерсьер. Пикпюс состоял, как мы уже говорили, из улиц, образующих букву Y — это была улица Сент-Антуан, делящаяся на две ветви, и та, что слева, имеющая название улицы Малый Пикпюс, а справа название улицы Поленсо. Обе ветви Y соединялись наверху перекладиной; эта перекладина называлась улицей Прямой Стены. В нее упиралась улица Поленсо; улица же Малый Пикпюс доходила до рынка Ленуар. Прохожий, направляясь от Сены и дойдя до оконечности улицы Поленсо, имел по левую сторону улицу Прямой Стены, круто поворачивающую и образующую прямой угол, перед собой — стену этой улицы, а направо продолжение той же улицы Прямой Стены — глухой переулок Жанро.

Именно в этом месте очутился Жан Вальжан.

Завидев черный силуэт, сторживший на углу улицы Прямой стены и улицы Малый Пикпюс, он отшатнулся. Сомнений не могло быть никаких. Эта тень подстерегала его.

Что делать?

Отступать и возвращаться было уже поздно. Движущиеся люди, которых он видел в тени на некотором расстоянии, без сомнения, были Жавер с его полицейскими. Жавер уже, вероятно, находился в начале той улицы, по которой шел Жан Вальжан. По всему было видно, что Жавер заранее изучил эту паутину улиц и принял меры, отправив одного из своих людей стеречь выход. Эта догадка, столь близкая к истине, вихрем пронеслась в измученном мозгу Жана Вальжана. Он осмотрел глухой переулок Жанро — там стена. Взглянул на улицу Малый Пикпюс — там стража. Эта сумрачная фигура выделялась силуэтом на белесоватой мостовой, залитой лунным светом.

Двинуться вперед значило наткнуться на этого человека. Отступить — значило отдаться в руки Жавера. Жан Вальжан чувствовал, будто он попал в петлю, которая медленно затягивается на его шее. Он взглянул на небо, полный отчаяния.

Глава 112

Чтобы понять все дальнейшее, надо ясно представить себе улицу Прямой стены и в особенности угол, который вы оставляете слева, выходя из улицы Поленсо и входя в этот переулок. Почти на всем своем протяжении улица Прямой стены была застроена с правой стороны вплоть до улицы Малый Пикпюс убогими домами, а с левой тянулось строгой линией одно только здание, состоящее из нескольких построек, постепенно повышающихся на один или на два этажа по мере приближения к улице Малый Пикпюс, так что это здание, очень высокое у этой улицы, значительно понижалось к улице Поленсо. Там, на углу, о котором мы уже говорили, оно спускалось до того, что образовало только одну стену. Эта стена не вдавалась в улицу прямым углом, а образовала срезанную часть, сильно осевшую, и скрадывавшуюся при помощи двух своих углов от наблюдателей, из которых один был бы на улице Поленсо, а другой на улице Прямой стены. От этого срезанного угла стена

шла вдоль улицы Поленсо, заканчиваясь у дома под No 49, а по улице она была гораздо короче, доходя до мрачного здания, о котором мы уже упоминали; упираясь в здание, стена образовала на улице другой вдающийся вглубь угол. Эта часть здания была довольно мрачного вида; в нем виднелось одно-единственное окно, или, вернее, две ставни, обитые цинковым листом и никогда не отворявшиеся.

Места эти описаны здесь с самой строгой точностью и, без сомнения, это описание вызовет весьма ясное воспоминание в жителях старого квартала.

Срезанная часть стены представляла собой колоссальные, но жалкие ворота. Это было собрание огромных неуклюжих перпендикулярных досок, причем верхние были шире нижних; скреплялись они длинными поперечными железными перекладинами. Рядом были ворота нормальных размеров, пробитые, очевидно, лет пятьдесят назад, никак не раньше.

В этом месте большая липа свешивала свои ветки над стеной, сплошь покрытой плющом со стороны улицы Поленсо.

Среди смертельной опасности, в которой находился Жан Вальжан, это мрачное здание привлекло его своим нежилым отшельническим видом. Он быстро окинул его глазами и подумал, что, если бы удалось ему проникнуть туда, он, быть может, был бы спасен. У него сейчас же промелькнула эта мысль, эта надежда.

В средней части фасада здания, выходящего на улицу Прямой стены, у окон во всех этажах были старые цинковые водостоки с воронками. Разнообразные ответвления, идущие от центрального желоба и примыкающие к этим воронкам, обрисовывали на фасаде род дерева.

Эти угловатые разветвления труб походили на старые обнаженные виноградные лозы, которые извиваются на фасадах старых ферм. Эти странные шпалеры с железными ветвями прежде всего бросились в глаза Жану Вальжану. Он усадил Козетту около трубы и велел ей сидеть

смирно, а сам побежал к тому месту, где водосточная труба доходила до земли. Нет ли возможности, думал он, влезть здесь и таким образом проникнуть в дом. Но труба была совсем развалившаяся и едва держалась на стене от ветхости. К тому же все окна этого безмолвного жилища были снабжены массивными железными решетками, и даже мансарды под крышей. К довершению всего, луна ярко озаряла этот фасад и человек, подстерегавший Жана Вальжана в конце улицы, непременно увидел бы, как он взбирается по трубам. Да и наконец, что делать с Козеттой? Как втащить ее на крышу трехэтажного дома?

Он отказался от мысли влезть по трубе и прополз вдоль стены, чтобы вернуться на улицу Поленсо.

Дойдя до срезанной части стены, где он оставил Козетту, он заметил, что там никто не может его видеть.

Там он был скрыт от всех взоров, откуда бы они ни были направлены. Кроме того, он был в

тени. Наконец, там двое ворот. Нельзя ли выбить их? Стена, над которой виднелась липа и плющ, очевидно, выходила в сад, где он, по крайней мере, мог укрыться, хотя не было еще листьев на деревьях, и провести остаток ночи.

Между тем время шло. Надо было торопиться.

Он ощупал ворота и тотчас же убедился, что они были завалены и с внутренней, и с наружной стороны.

Он подошел к другой двери уже с большей надеждой. Она была страшно ветхая, все доски прогнили насквозь, железные связки, которых осталось всего три, были заржавлены. Казалось очень возможным проломать эту изъеденную червями дверь.

Но, рассмотрев ее ближе, он увидел, что это вовсе и не дверь. У нее не было ни петель, ни замка, ни разреза посередине. Железные полосы пересекали ее в разных направлениях. Сквозь скважины досок он увидел камни, грубо скрепленные цементом. С сожалением он вынужден был признать, что эта мнимая дверь не

что иное, как обивка строения, к которому она примыкала. Пожалуй, легко было сорвать одну доску, но тогда он очутился бы лицом к лицу с глухой стеной.

Глава 113

В эту минуту глухой мерный звук стал раздаваться яснее и яснее на некотором расстоянии. Жан Вальжан отважился выглянуть из-за угла. Семь или восемь солдат только что строем вошли в улицу Поленсо. Он видел, как сверкали штыки их ружей. Они направлялись в его сторону.

Солдаты, во главе которых выступала рослая фигура Жавера, двигались медленно, почти что ощупью. Они то и дело останавливались. По всему видно было, что солдаты шарили по всем углам, под всеми воротами, во всех аллеях.

Вероятно, это был какой-нибудь патруль, который Жавер встретил и забрал с собой для преследования. Оба его спутника шли в их рядах.

Двигаясь так медленно и останавливаясь на каждом шагу, им надо было по крайней мере четверть часа, чтобы добраться до того места, где находился Жан Вальжан. Настала страшная минута. Несколько мгновений отделяли Жана Вальжана от ужасной пропасти, разверзавшейся перед ним в третий раз. И теперь каторга была для него не просто каторгой, а утратой Козетты навеки, то есть жизнью, похожей на могилу.

Оставалась еще единственная надежда. Особенностью Жана Вальжана было то, что он, так сказать, нес в себе две котомки: в одной были помыслы чистые, как у святого, в другой — все таланты, присущие каторжнику. Он обращался то к одной, то к другой, смотря по необходимости.

Между прочими способностями, благодаря своим частым побегам с каторги, он, как известно, был мастер в невероятном искусстве карабкаться без лестниц, без крючьев, с помощью одних мускулов, опираясь головой, плечами, бедрами и коленями, едва пользуясь редкими уступами в камнях — карабкаться по отвесной

стене, если нужно, до шестиэтажной высоты; это искусство, которое придало такую странную известность углу двора в Консьержери, откуда бежал лет двадцать тому назад осужденный Батмоль.

Жан Вальжан смерил глазами стену, над которой виднелись липовые ветки. Она была приблизительно восемнадцать футов высотой. Угол, образуемый ею со зданием, был заполнен снизу плотным каменным треугольником, вероятно, с целью оградить этот удобный уголок от остановок прохожих. Такое предупредительное ограждение уголков очень часто можно встретить в Париже.

Этот каменный треугольник возвышался футов на пять. От его верхушки оставалось пространство около 14 футов до вершины стены: стена была увенчана плоским камнем без всяких шпилей.

Вся трудность заключалась в Козетте. Козетта не могла карабкаться на стену. Покинуть ее? Эта мысль даже не приходила в голову Жану

Вальжану. Взять ее с собой было невозможно. Вся сила потребуется ему для подъема на стену. Любой новый груз переместил бы его центр тяжести, и он мог свалиться. Тут нужна была веревка. Но ее не было. Где в самом деле взять веревку в полночь на улице Поленсо? В эту минуту, без сомнения, будь во власти Жана Вальжана целое царство, он отдал бы его за веревку. Во всех отчаянных положениях бывают проблески, как молнии, которые то ослепляют нас, то вдруг просвещают наш ум.

Отчаянный взор Жана Вальжана упал на фонарный столб в глухом переулке Жанро. В те времена не было еще газовых рожков на парижских улицах. Когда наступала ночь, зажигали фонари, которые поднимались и опускались с помощью веревки, тянувшейся снаружи и закрепленной в выемке столба. Рогатка, на которую наматывалась веревка, была приделана под фонарем, в маленьком железном шкафчике, от которого ключ был у фонарщика, а сама веревка защищена металлическим футляром. Жан Вальжан с энергией отчаяния

быстро перебежал через улицу, кинулся в глухой переулок, сломал замок шкафчика лезвием ножа и в одну минуту вернулся к Козетте. Он раздобыл веревку. Быстро орудуют эти темные люди в борьбе со злым роком.

Мы уже говорили, что в ту ночь фонари не зажигались. Следовательно, не было ничего странного, что фонарь в переулке Жанро потушен и можно было пройти мимо, не заметив, что он висит ниже обычного.

Между тем поздний час, место, где они находились, тревога Жана Вальжана, его странное поведение, суета — все это начинало тревожить Козетту. Всякий другой ребенок давно принялся бы плакать. Но она только дергала Жана Вальжана за полу сюртука. Все яснее и яснее раздавались шаги приближающегося патруля.

— Отец, — тихо молвила она, — мне страшно. Кто это идет?

— Тише, — прошептал несчастный, — это Тенардье.

Козетта вздрогнула.

— Молчи, — прибавил он. — Дай мне сделать дело. Если ты будешь плакать, кричать, Тенардье заберет тебя. Она идет за тобой.

И вот, не торопясь, не делая лишних движений, с твердой аккуратностью, особенно замечательной в такой момент, когда вот-вот мог явиться патруль с Жавером во главе, он развязал свой галстук, осторожно обвязал им Козетту под мышками и, следя, чтобы ребенку не было больно, прикрепил галстук к концу веревки при помощи узла, который моряки называют ласточкиным узлом, потом захватил другой конец веревки в зубы, снял башмаки и чулки, которые перебросил за стену, и стал карабкаться по углу стены и здания с такой уверенностью и силой, как будто у него были ступени под ногами. Не прошло и полминуты, как он уже стоял на коленях на верхушке стены.

Козетта смотрела на него оторопев, не произнося ни слова. Приказание Жана Вальжана и имя Тенардье ввергли ее в какое-то оцепенение.

Вдруг она услышала его голос, говоривший внятным шепотом:

— Прислонись к стене.

Она повиновалась.

— Не говори ни слова и не бойся, — продолжал он.

Она почувствовала, что ее поднимают с земли. Едва успела она опомниться, как уже очутилась на верху стены.

Жан Вальжан обхватил ее, взвалил на спину, забрал ее ручки в свою левую руку и прополз по стене до того места, где была срезанная часть. Он правильно угадал, там было строение, крыша которого начиналась у верхушки деревянной обшивки и низко спускалась к земле довольно покатой плоскостью, слегка касаясь липы.

Удачное обстоятельство, потому что с этой стороны стена была гораздо выше, чем со стороны улицы. Жан Вальжан увидел, что земля глубоко под ним.

Он добрался до ската крыши и еще не выпустил из рук гребня стены, как вдруг сильный шум возвестил о приходе патруля. Раздался громовой голос Жавера:

— Обыскать глухой переулок! Улица Прямой стены охраняется, Малый Пикпюс тоже. Ручаюсь, что он в глухом переулке.

Солдаты кинулись в переулок Жанро. Жан Вальжан скользнул вдоль крыши, все еще поддерживая Козетту, добрался до липы и спрыгнул на землю. Страх ли это был или мужество, но Козетта не издала ни звука. Руки ее были слегка ободраны.

Глава 114

Жан Вальжан очутился в каком-то обширном саду довольно странного вида; то был один из тех унылых садов, которые будто созданы для того, чтобы смотреть на них зимой и ночью.

Сад был продолговатой формы, в глубине тянулась аллея тополей, по углам довольно

высокие деревья, посередине открытое пространство, на котором виднелось огромное одинокое дерево, потом несколько фруктовых деревьев, ветвистых, как огромные пучки хворостника, грядки овощей, дынная грядка, стеклянные колпаки которой блестели при лунном свете, и старая сточная яма. Тут и там стояли старые каменные скамейки, почерневшие от мха. Прямые аллеи были обсажены кустарником. Дорожки до половины заросли травой, а зеленоватая плесень покрывала все остальное.

Около Жана Вальжана возвышалось строение, крыша которого послужила ему для спуска, тут же лежали вязанки хвороста, сваленные в кучу, а позади, у самой стены, была каменная статуя с изувеченным лицом, смутно выступавшим в темноте как безобразная маска.

Это строение представляло собой развалины, в которых можно было различить разоренные комнаты; одна из них, вся загроможденная, по-видимому, служила амбаром. Главное здание

улицы Прямой стены, выходившее также на улицу Малый Пикпюс, было обращено двумя своими внутренними фасадами, стоявшими под прямым углом, в сад. Все окна его были снабжены решетками. С внутренней стороны эти фасады имели еще более мрачный вид, чем с наружной. Нигде не пробивался ни один луч света. Окна в верхних этажах были как в тюрьмах. Один из фасадов отбрасывал на другой тень, расстилавшуюся в саду как огромное черное покрывало.

Других домов не было видно. Конец сада исчезал во мгле ночи. Впрочем, там смутно можно было различить стены, скрещивающиеся друг с другом, и низкие кровли вдоль улицы Поленсо.

Нельзя себе представить ничего более дикого и мрачного, чем этот сад. Там не было ни души, — и это понятно, если принять во внимание поздний час; но это место как будто не было создано для того, чтобы люди ходили по нему, даже среди ясного дня. Первым делом Жана

Вальжана было отыскать свои башмаки и обуться, потом войти в сарай с Козеттой. Беглеца всегда мучает страх, что он еще недостаточно хорошо спрятался. Девочка, не переставая думать о Тенардье, тоже инстинктивно старалась забиться как можно дальше. Козетта дрожала и прижималась к старику. Слышался шум и суета, производимые патрулем, который обыскивал глухой переулок и улицу, раздавались удары прикладами по камню, обращения Жавера к агентам, которых он расставил по разным местам, его ругательства, перемешанные со словами, которых нельзя было разобрать.

Через четверть часа шум за стеной стал стихать и удаляться. Жан Вальжан затаил дыхание. Он тихо положил руку на губы Козетты. Впрочем, в уединенном месте, в котором он находился, царило такое невозмутимое спокойствие, что этот страшный шум, столь близкий и яростный, не набрасывал на него и тени тревоги. Эти стены казались выстроенными из глухих камней, о которых говорит Святое Писание.

Вдруг среди безмятежной тишины раздались новые звуки; звуки небесные, божественные, несказанные, столь же очаровательные, насколько первые были ужасны. Из темноты лился гимн; лучезарная молитва и гармония разливались среди мрачного безмолвия ночи: это оыли женские голоса, смесь чистых девственных и наивных детских голосов; это были голоса неземные, похожие на те звуки, которые еще слышатся новорожденным и уже раздаются в ушах умирающих. Пение исходило из мрачного здания, господствовавшего над садом. В ту минуту, как удалялся содом демонов, приближался во тьме хор ангелов.

Козетта и Жан Вальжан упали на колени. Они не знали, что это такое, где они, но оба чувствовали, и старик и ребенок, и кающийся грешник и невинный младенец, что надо пасть ниц. Эти голоса имели ту особенность, что они не мешали зданию казаться пустынным. Это было словно чудесное, сверхъестественное пение в необитаемом жилище.

Пока голоса пели, Жан Вальжан уже ни о чем не думал. Он не видел мрака, перед глазами его было лазурное небо. Внутри его как будто вырастали крылья, ощущение, знакомое всем нам.

Пение смолкло. Быть может, оно продолжалось долго; Жан Вальжан не сознавал, сколько времени. Часы экстаза всегда длятся одно мгновение. Все снова погрузилось в безмолвие. Все исчезло — и то, что страшило, и то, что успокаивало душу. Ветер шелестел на гребне стены сухими былинками, производя тихий заунывный звук.

Глава 115

Дул холодный ночной ветер, указывавший, что наступил второй час ночи. Бедная Козетта не промолвила ни слова. Так как она сидела, прижавшись к нему и прислонив к нему головку, то он думал, что она уснула.

Он нагнулся и взглянул на нее. Козетта смотрела широко раскрытыми глазами, с задумчивым выражением, от которого у Жана Вальжана защемило сердце.

Она продолжала дрожать.

— Хочется тебе спать? — спросил он.

— Мне очень холодно, — сказала девочка. — Что, она еще не ушла? — прибавила она после некоторого молчания.

— Кто? — спросил Жан Вальжан.

— Мадам Тенардье.

Жан Вальжан уже забыл то средство, которое он использовал, чтобы заставить Козетту молчать.

— А! — отвечал он. — Она уже ушла. Не бойся ничего.

Девочка вздохнула, точно тяжесть свалилась с ее груди. Земля была сырая, сарай открыт со всех сторон, ветер становился холоднее и холоднее.

Старик снял с себя сюртук и завернул в него Козетту.

— Теперь тебе не так холодно?

— О да, отец.

— Подожди меня здесь минуту, я сейчас вернусь.

Он вышел из развалин и пошел вдоль стены, отыскивая убежище получше. Ему попадались двери, но неизменно запертые. На всех окнах нижнего этажа были железные решетки.

Миновав внутренний угол здания, он заметил окна с дугообразными сводами и увидел там свет. Он приподнялся на цыпочках и заглянул в одно из окон. Все они выходили в залу, довольно обширную, выложенную широкими плитами, перерезанную арками и колоннами; на всем пространстве виднелись один только слабый луч света и огромные пятна теней.

Свет исходил от ночника, горевшего в углу. Зала была пуста и погружена в безмолвие. Однако, чем дольше он вглядывался, тем яснее

различал на полу нечто, как будто покрытое саваном и похожее на человеческую фигуру. Она лежала ничком, с лицом, прижатым к земле, крестообразно раскинув руки, с неподвижностью смерти. Рядом тянулось на полу что-то похожее на змею, и можно было думать, что у этого мрачного призрака надета веревка на шее.

Вся зала утопала во мгле, свойственной полуосвещенным местам, и эта мгла еще больше усиливала впечатление ужаса.

Жан Вальжан часто говорил впоследствии, что хотя он много видел на своем веку страшных зрелищ, но никогда не попадалось ему на глаза ничего более леденящего душу и более рокового, чем эта загадочная фигура, совершающая какую-то неведомую тайну в этом мрачном месте среди ночи. Страшно было подумать, что это мертвец, еще страшнее представить, что это живое существо.

Он набрался смелости прижаться лицом к стеклу и наблюдать, пошевельнется ли предмет. Но напрасно наблюдал он — распростертая

фигура не двигалась. Вдруг он почувствовал невыразимый ужас и кинулся бежать к сараю без оглядки. Ему казалось, что если он обернется, то увидит фигуру, быстро идущую позади и размахивающую руками.

Он добежал до развалин запыхавшись. У него подкашивались колени; все тело его обливалось потом.

Куда он попал? Можно ли было представить себе такую могилу среди Парижа? Что это за странный дом? Жилище, полное ночных тайн, завлекающее души ангельским пением, обещая открыть лучезарные врата рая, а когда души приближаются, перед ними вдруг предстает страшное видение, разверзаются двери могилы! И это было действительно здание, дом, помеченный номером по улице, а не сон! Чтобы поверить в это, Жан Вальжан дотронулся до камней рукой.

Холод, ужас, беспокойство, волнения, перенесенные в ту ночь, вызвали у него

настоящую лихорадку; мысли его путались. Он подошел к Козетте. Она спала.

Глава 116

Девочка положила голову на камень и уснула. Он сел около нее и стал на нее смотреть. Чем дольше он любовался ею, тем больше он успокаивался и к нему мало-помалу возвращалось самообладание.

Он ясно сознавал истину, составлявшую отныне основу его жизни, — что пока она будет с ним, ему ничего не нужно лично для себя, а все для нее, ничто не вызовет страха за себя, а только за нее. Он даже не чувствовал, что продрог, так как снял с себя сюртук, чтобы прикрыть ее.

Между тем сквозь свои мысли он слышал раздававшийся с некоторых пор странный звук, точно звон колокольчика. Звук этот отчетливо, хотя и довольно слабо, слышался из сада. Он походил на смутный тихий шум, производимый колокольчиками скота на пастбище ночью.

Звук этот заставил Жана Вальжана обернуться. Он стал внимательно озираться и увидел, что в саду кто-то копошится. Существо, похожее на человека, ходило между колпаков дынной гряды, то поднимаясь, то нагибаясь, порою останавливаясь с правильными движениями, точно он что-то тащил и расстилал по земле. Существо это слегка прихрамывало.

Жан Вальжан вздрогнул с привычным для гонимых людей чувством страха. Все им кажется враждебным и подозрительным. Они не доверяют дню, потому что днем их легче видеть, не доверяют и ночи, потому что мрак помогает настигать их врасплох. Он только что вздрагивал, чувствуя, что сад пустынен; теперь он весь трясся, увидев там живое существо.

Из воображаемых страхов он впал в страх действительный. Он подумал, что Жавер и полицейские, быть может, еще не ушли, что, без сомнения, они оставили на улице людей сторожить его; что, наконец, если этот человек обнаружит их в саду, он закричит: «Караул!» и

выдаст их. Он осторожно поднял на руки спящую Козетту и отнес ее в самый отдаленный угол сарая, за кучу старой негодной утвари. Козетта не шевельнулась.

Оттуда он стал наблюдать за человеком, который копошился в дынной грядке. Странно было то, что звон колокольчика сопровождал все движения человека. Он приближался — и звук приближался вместе с ним; он делал какое-нибудь резкое движение — и колокольчик выделывал тремоло; останавливался он — и шум замолкал. Очевидно, колокольчик был прикреплен к человеку; но что же это могло значить? Что это за человек с колокольчиком, как какой-нибудь баран или бык?

Задавая себе эти вопросы, он коснулся рук Козетты. Они были холодны как лед.

— Боже мой! — прошептал он.

Он стал тихо звать ее:

— Козетта!

Она не открывала глаз. Он стал трясти ее, она не проснулась.

— Неужели умерла? — промолвил он и вскочил на ноги, дрожа с головы до ног.

Самые страшные мысли в беспорядке мелькали в его голове. Есть минуты, когда чудовищные предположения осаждают нас, как толпа фурий, и силой проникают во все клетки нашего мозга. Когда дело коснется тех, кого мы любим, наш рассудок рисует всевозможные ужасы. Он вспомнил, что сон может быть смертельным на открытом воздухе в холодную ночь.

Козетта, вся бледная, свалилась как сноп на землю у его ног без движения. Он прислушался к ее дыханию; она дышала, но ее дыхание показалось слабым и готовым угаснуть.

Как согреть ее? Как привести к жизни? Только об этом он и думал. Он кинулся без памяти из развалин. Не позже четверти часа надо во что бы то ни стало, чтобы Козетта оказалась в постели, перед огнем.

Глава 117

Он прямо направился к человеку, которого увидел в саду, держа в руке сверток с деньгами. Человек нагнул в это время голову и не заметил, как он подошел. Жан Вальжан крикнул ему:

— Сто франков!

Тот вздрогнул и поднял глаза.

— Сто франков, — продолжал Жан Вальжан, — если вы дадите мне убежище на эту ночь.

Луна ярко освещала встревоженное лицо Жана Вальжана.

— А! Это вы, господин Мадлен? — воскликнул человек.

Это имя, произнесенное в ночную пору, в этом незнакомом месте незнакомым человеком, заставило Жана Вальжана отшатнуться. Он ждал чего угодно, только не этого. Говоривший был старик хромой и сгорбленный; одет он был почти как крестьянин; на правом колене его был ремень

с довольно большим колокольчиком. Лица его не было видно, на него падала тень.

Между тем старик снял шапку и восклицал в страхе:

— Боже мой! Как вы сюда попали, господин Мадлен? Откуда вошли? Господи Иисусе! Не с неба ли свалились! Откуда же вам и падать, как не оттуда! Да и в каком вы виде! На вас нет ни галстука, ни шляпы, ни сюртука! Знаете ли, вы можете напугать всякого, кто вас не знает! И без сюртука! Господи Боже мой, видно, святые угодники с ума посходили? Скажите же, как вы сюда попали?

Слова так и сыпались с его языка; старик говорил с деревенской словоохотливостью, в которой не было ничего враждебного. Все это было сказано со смесью изумления и наивного добродушия.

— Кто вы такой? Что это за дом? — спросил Жан Вальжан.

— Ну, вот это уж слишком! — воскликнул старик. — Вы же сами поместили меня в этот дом, и этот дом как раз тот, куда вы меня поместили. Неужто не узнаете меня?

— Нет, — отвечал Жан Вальжан. — А каким образом вы знаете меня?

— Вы спасли мне жизнь, — сказал он.

Он повернулся, луч месяца осветил его профиль, и Жан Вальжан узнал старика Фошлевана.

— А, вот вы кто! Теперь я узнаю вас, — воскликнул Жан Вальжан.

— Слава тебе господи, — промолвил старик с легкой укоризной.

— Что это вы здесь делаете?

— А вот видите, закрываю дыни!

Фошлеван действительно держал в руке в ту минуту, когда Жан Вальжан подошел к нему, край рогожки, которую расстилал над грядой. Он уже наложил несколько таких покрывал с тех пор, как

появился в саду. Во время этой работы он и делал те странные движения, за которыми наблюдал Жан Вальжан из сарая. Старик продолжал болтать.

— Ишь ты, думаю, месяц светит ясно, значит, мороз будет. Не надеть ли, думаю, плащи моим дыням? Право, и вам не мешало бы сделать то же, — засмеялся он, оглядев Жана Вальжана. — Как же вы сюда попали?

Жан Вальжан, убедившись, что этот человек его знает хотя бы под именем Мадлена, стал осторожен. Он сам начал задавать вопрос за вопросом. Странное дело, роли их переменились. Расспрашивал теперь он.

— Что это у вас за колокольчик на колене?

— Это? — отвечал Фошлеван. — Это чтоб меня избегали.

— Как так — избегали?

Старик Фошлеван подмигнул с непередаваемым выражением.

— Да очень просто: в этом доме, видите ли, великое множество женщин, молодых девиц. Ну вот, должно быть, со мной им опасно встречаться. Колокольчик их предупреждает; чуть я покажусь, они и убегают.

— Что же это за дом такой?

— Будто вы и не знаете?

— Право, не знаю.

— Да вы сами же поместили меня сюда садовником!

— Отвечайте мне прямо, предположите, что я ничего не знаю.

— Ну, это монастырь Малого Пикпюса.

Жан Вальжан понемногу стал припоминать. Случай, то есть Провидение, направил его как раз в тот монастырь квартала Сент-Антуан, куда старика Фошлевана, изувеченного падением, приняли по его рекомендации года два тому назад. Он громко повторил, словно говоря сам с собой:

— Монастырь Малого Пикпюса!

— А в самом деле, — начал снова Фошлеван, — каким это, черт возьми, образом вы забрались сюда, господин Мадлен? Хоть вы и святой, да все же мужчина, а мужчин сюда не впускают.

— Вы же живете тут.

— Только я один и живу.

— Как хотите, — сказал Жан Вальжан, — а я должен здесь остаться.

— Боже мой! — воскликнул Фошлеван.

Жан Вальжан приблизился к старику и сказал ему торжественным голосом:

— Дядюшка Фошлеван, я спас тебе жизнь.

— Я первый об этом вспомнил, — отвечал старик.

— Ну а теперь ты можешь сделать для меня то, что я сделал для тебя когда-то.

Фошлеван схватил в сморщенные дрожащие руки обе сильные руки Жана Вальжана и

несколько мгновений не в силах был выговорить ни слова. Наконец воскликнул:

— О, это была бы благодать Божия, если бы я хоть немножко мог отплатить за это! Спасти вам жизнь, господин мэр! Располагайте мной, стариком.

Радость преобразила старика. Лицо его словно озарилось лучом счастья.

— Что надо делать? — спросил он.

— Я сейчас объясню. Есть у тебя каморка?

— У меня уединенная лачужка, вон там, позади развалин старого монастыря, в отдаленном закоулке, которого никто не видит. Там три комнаты…

Барак был действительно так хорошо спрятан за развалинами и так удобно расположен, что Жан Вальжан даже не заметил его.

— Ладно, — сказал Жан Вальжан. — Первонаперво я прошу у тебя две вещи.

— В чем дело, господин мэр?

— Во-первых, ты никому не скажешь того, что знаешь обо мне. Во-вторых, ты не будешь стараться узнать ничего более.

— Как вам угодно. Я знаю одно, что все, что вы делаете, честно и что вы всегда были Божий человек. Да и к тому же сами вы устроили меня здесь. Это ваше дело. Я весь к вашим услугам.

— Прекрасно. Теперь пойдем со мной. Надо принести ребенка.

— А, — молвил Фошлеван, — тут есть и ребенок!

Он не прибавил ни слова и пошел вслед за Жаном Вальжаном, как собака за своим хозяином.

Полчаса спустя Козетта, порозовевшая от жаркого огня, спала на постели старого садовника. Жан Вальжан надел свой галстук и сюртук; шляпа, брошенная в саду, была найдена; пока Жан Вальжан облекался в свое платье, Фошлеван снял наколенник с колокольчиком и повесил его на стену рядом с ивовой корзинкой.

Оба старика грелись, облокотившись на стол, куда Фошлеван поставил кусок сыра, ситный хлеб, бутылку вина и два стакана. Старик говорил Жану Вальжану:

— А, вот вы какой, господин Мадлен! Не узнали меня сразу! Спасаете жизнь людям, а потом и забываете о них! Нехорошо! А они-то помнят о вас! Экий неблагодарный!

Глава 118

События, закулисную сторону которых мы только что увидели, совершились самым простым образом.

Когда Жан Вальжан бежал из муниципальной тюрьмы города Монрейля в ту самую ночь, когда Жавер арестовал его у постели мертвой Фантины, полиция сейчас же предположила, что беглый каторжник направился в Париж. Париж — это Мальстрим, в котором все теряется; в этом центре мира все исчезает, как в морской пучине. Никакой лес не укроет человека так надежно, как

эта толпа. Беглецы всякого рода хорошо это знают. Они кидаются в Париж, как в омут: есть омуты спасительные. Полиция тоже знает это и ищет в Париже то, что потеряла в другом месте. Она и принялась разыскивать в столице бывшего мэра города Монрейля. Жавер был призван в Париж руководить поисками. Он действительно помог захватить Жана Вальжана.

Усердие и сметливость Жавера были замечены господином Шабулье, секретарем префектуры при графе Англесе. Шабулье, уже раньше покровительствовавший Жаверу, прикомандировал его к парижской полиции. Там Жавер проявил себя с наилучшей стороны, снискав заслуженное уважение.

Он перестал думать о Жане Вальжане — для этих ищеек, вечно пребывающих на охоте, один зверь заставляет забывать другого; но вот в декабре 1823 года он как-то раз взял в руки газету, он, который никогда не читал газет; но Жавер, как монархист, пожелал узнать подробности торжественного въезда принца-

генералиссимуса в Байонну. Прочтя интересовавшую его статью, ему попалось на глаза в конце страницы имя, привлекшее его внимание. Газета сообщала, что Жан Вальжан умер, и констатировала факт смерти в таких формальных выражениях, что Жавер не усомнился, потом кинул газету и забыл об этом думать.

Некоторое время спустя префектурой Сены и Уазы было прислано в парижскую префектуру полицейское донесение о похищении ребенка, случившееся в Монфермейле при странных обстоятельствах: маленькая девочка семи-восьми лет, оставленная своей матерью на попечение местного трактирщика, была украдена каким-то незнакомцем; девочку звали Козеттой, она была дочерью падшей женщины по имени Фантина, умершей в больнице — где и когда неизвестно. Это донесение попалось на глаза Жаверу и заставило его призадуматься.

Имя Фантины было ему хорошо известно. Он помнил, как Жан Вальжан насмешил его,

попросив трехдневной отсрочки, чтобы поехать за ребенком этой женщины. Он вспомнил, что Жан Вальжан был арестован в Париже в ту минуту, когда садился в дилижанс, отходивший в Монфермейль. Судя по некоторым указаниям, это даже была вторая его поездка в это селение, так как накануне его видели в окрестностях Монфермейля. Зачем он туда ездил? Никто этого не мог угадать. Теперь Жавер понял все. Там была дочь Фантины. Жан Вальжан собирался ехать за ней. Между тем ребенок был украден незнакомцем! Кто это мог быть? Уж не сам ли Жан Вальжан? Но ведь Жан Вальжан умер… Жавер, никому не сказав ни слова, сел в дилижанс, отходивший от трактира «Оловянное блюдо» в переулке Планшетт, и съездил в Монфермейль.

Он ожидал разъяснений, а вместо того нашел полнейший мрак. В первые дни супруги Тенардье, раздосадованные, много болтали. Исчезновение Жаворонка наделало шуму в селе. Тотчас же пошли разнообразные слухи и,

наконец, решили, что ребенок был похищен. Отсюда и возникло полицейское донесение.

Между тем, когда прошла первая досада, Тенардье своим чутким инстинктом быстро сообразил, что не очень-то удобно беспокоить господина королевского прокурора, и жалоба его по поводу «похищения» Козетты будет иметь прежде всего результатом то, что обратят внимание на него самого и на его темные делишки. Совы больше всего не любят, чтобы к ним подносили свечу. Да и к тому же как он объяснит полученные им тысячу пятьсот франков? Подумал, подумал, велел жене молчать и притворялся удивленным, когда с ним заговаривали об украденном ребенке. Он, дескать, не понимает, что это значит; конечно, сначала он жаловался, что у него так внезапно «отняли» его милую девочку; ему хотелось бы оставить ее у себя еще денька два-три; но за ней пришел ее родной дедушка. Он присочинил дедушку ради приличия. Эту-то историю преподнесли Жаверу, когда он приехал в

Монфермейль. «Дедушка» заслонил собой Жана Вальжана.

Жавер, однако, задал несколько вопросов, стараясь лучше проверить историю, выдуманную Тенардье.

— Что это за дедушка и как его зовут?

Тенардье отвечал очень просто:

— Это богатый землевладелец, я даже его паспорт видел. Его, кажется, зовут господин Гильом Ламбер.

Ламбер почтенное имя, вполне внушающее доверие. Жавер вернулся в Париж.

«Жан Вальжан действительно умер, — размышлял он, — а я глупец».

Он уже опять начинал забывать всю эту историю, как вдруг в марте 1824 года услышал о какой-то странной личности, жившей в приходе Святого Медара и прозванной «нищим, который раздает милостыню». Говорили, что это рантье, имени его никто в точности не знал, жил он одиноко с маленькой девочкой, тоже ничего не

знавшей, кроме того, что она из Монфермейля. Монфермейль! Это имя постоянно встречалось, и на этот раз Жавер опять насторожился. Старый нищий-шпион, бывший церковный сторож, добавил еще несколько штрихов. Этот рантье очень нелюдим, выходит из дому только по вечерам, не говорит ни с кем, разве иногда с нищими, и никого к себе не допускает. Одет он в отвратительный старый желтый сюртук, которому цена несколько миллионов, так он весь начинен банковскими билетами. Это сильно подзадорило любопытство Жавера. Чтобы увидеть вблизи этого фантастического богача, не спугнув его, он взял однажды у сторожа его лохмотья и занял то место, где старый шпион обыкновенно садился по вечерам, бормоча под нос псалмы.

«Подозрительная личность» действительно подошла к Жаверу и подала ему милостыню; в это мгновение Жавер поднял голову, и оба почувствовали одинаковое сотрясение — Жану Вальжану показалось, что он узнает Жавера, а Жаверу, что он узнает Жана Вальжана.

Однако в темноте можно было ошибиться, думал Жавер; смерть Жана Вальжана констатирована официально; итак, у него остались одни сомнения; а коль скоро есть хоть малейшее сомнение, Жавер, как человек самой строгой честности, никогда никого не хватал за шиворот.

Он проследил за человеком до самой лачуги Горбо и без особого труда заставил старуху разговориться. Старуха подтвердила факт существования сюртука, начиненного миллионами, и рассказала эпизод с тысячефранковым билетом. Она сама его видела собственными глазами, сама его трогала. Жавер нанял комнату и поселился в ней в тот же вечер. Он подходил к дверям таинственного жильца, надеясь услышать звук его голоса, но Жан Вальжан, увидев пламя свечи сквозь замочную скважину, расстроил планы сыщика, храня глубокое молчание.

На следующий день Жан Вальжан решил сменить квартиру. Но звон пятифранковой

монеты, которую он уронил, был услышан старухой; услышав, что перебирают деньги, оба сообразила, что ее жилец собирается переезжать, и поспешила предупредить Жавера. Вечером, когда Жан Вальжан вышел, Жавер сторожил его за деревьями бульвара с двумя помощниками.

Жавер потребовал в префектуре вооруженной помощи, но не сказал имени того лица, которое надеется схватить. Это была его тайна, и ой, хранил ее по трем причинам: во-первых, потому, что малейшая неосторожность могла всполошить Жана Вальжана, во-вторых, потому, что. захватить старого беглого каторжника, да еще прослывшего мертвым, схватить осужденного, когда-то занесенного полицией в разряд «злодеев опаснейшего сорта», — это был великолепный подвиг, до которого старые служаки парижской полиции ни за что не допустили бы Жавера; наконец, еще потому, что Жавер был артист в душе и имел пристрастие к неожиданным эффектам. Он ненавидел успехи, о которых трубят заранее. Он любил замышлять свои

лучшие дела втайне и затем внезапно осуществлять их.

Жавер следовал за Жаном Вальжаном от дерева к дереву, от одного угла к другому и не терял его из виду ни на одно мгновение; даже в минуты, когда беглец считал себя в безопасности, глаз Жавера был прикован к нему. Почему же Жавер не арестовал Жана Вальжана? Дело в том, что он все еще сомневался.

Надо отметить, что полиция в то время не чувствовала себя свободной в действиях, независимая печать стесняла ее. Несколько произвольных арестов, о которых прокричали газеты, дошли до сведения палат и внушили робость префектуре. Посягать на личную свободу — дело серьезное. Агенты боялись ошибиться; префект строго взыскивал за это; всякая ошибка означала увольнение от должности. Можно себе представить, какой эффект произвела бы в Париже следующая краткая заметка, воспроизведенная десятками газет: «Вчера один старый парижанин,

убеленный сединами, почтенный рантье, прогуливавшийся со своей восьмилетней внучкой, был арестован как беглый каторжник и препровожден в тюрьму».

Добавим, что Жавер сам отличался большой щепетильностью, голос его совести присоединялся к приказаниям префекта. Он действительно сомневался. Жан Вальжан шел в темноте, повернувшись к нему спиной.

Горе, беспокойство, тревога, — это новое несчастье, заставившее его бежать ночью, искать наугад убежища для себя и Козетты, необходимость приноровливать шаги к походке ребенка — все это независимо от него самого изменило походку Жана Вальжана и придало его фигуре и движениям такой стариковский характер, что сама полиция, воплощенная в Жавере, могла обмануться и действительно обманулась. Невозможность подойти к нему ближе, его костюм старого наставника-эмигранта, заявление Тенардье, который произвел его в дедушки, наконец, мнимая смерть его на

каторге — все это увеличивало сомнение, скопившееся в голове Жавера.

Была минута, когда он уже решился потребовать у него документы. Но если этот человек не Жан Вальжан, если он и не старый почтенный рантье, то, вероятно, это какой-нибудь плут, искусно и глубоко замешанный в темные деяния, какой-нибудь предводитель опасной шайки, раздающий милостыню, чтобы скрыть свои прочие подвиги. У него, наверное, сообщники, клевреты, запасные убежища, куда он может скрыться. Зигзаги, которые он описывает по улицам, доказывают, что он не простой старик. Арестовать его слишком поспешно — значит «убить курицу, несущую золотые яйца». Почему не подождать. Жавер был слишком уверен в том, что его жертва не ускользнет.

Итак, он шел в довольно сильном волнении, задавая себе множество вопросов об этой загадочной личности.

Было уже поздно, когда на улице Понтуаз он безошибочно узнал Жана Вальжана, благодаря яркому освещению из кабака.

Два существа на свете ощущают глубокое потрясение и трепет — это мать, обретающая своего ребенка, и тигр, находящий свою добычу. Жавер испытал это чувство.

Как только он удостоверился, что перед ним Жан Вальжан, опасный каторжник, он заметил, что их всего трое, и потребовал подкрепления у полицейского комиссара на улице Понтуаз. Прежде чем схватить колючую ветку, надевают перчатки.

Это промедление и остановка на перекрестке Роллен для совещания со своими агентами чуть не заставили его потерять след. Однако он скоро догадался, что Жан Вальжан захочет перебраться за реку, спасаясь от своих преследователей. Он наклонил голову и задумался, как гончая, прикладывающая нос к земле, чтобы напасть на верный след. Жавер, руководимый своим чутким инстинктом, пошел прямо к Аустерлицкому

мосту. Одно слово сторожа направило его на правильный путь.

— Не видели ли вы человека с маленькой девочкой?

— Я заставил его заплатить два су, — ответил инвалид.

Жавер вступил на мост как раз вовремя, чтобы увидеть, как по ту сторону Жан Вальжан, ведя Козетту за руку, проходил по пространству, освещенному луной. Он видел, как они направились по улице Шемэн-Вер-Сент-Антуан, и подумал о глухом переулке Жанро, расположенном в виде западни на единственном выходе из улицы Прямой стены на улицу Малый Пикпюс. Он немедленно послал одного из агентов кружным путем стеречь этот выход. Мимо проходил патруль, возвращавшийся на гауптвахту арсенала; он остановил его и заставил идти за собой. В таких предприятиях солдаты — козыри. Да и такое уж правило — чтобы одолеть кабана, требуются искусство охотника и сила собак. Организовав все это, осознавая, что Жан

Вальжан попался между переулком Жанро направо, его агентом налево, самим Жавером позади, он остановился и угостил себя понюшкой табаку.

Потом началась игра. Для него наступила минута какого-то дьявольского наслаждения; он пустил свою жертву вперед, сознавая, что крепко держит ее в своей власти, но насколько возможно дольше откладывая момент ареста; он был счастлив, чувствуя, что Жан Вальжан уже попался, хотя пока разгуливает на свободе; он любовался им с наслаждением паука, который дает мухе свободу полетать еще немного, или кота, который гоняет перед собой мышь. Когти ощущают чудовищное сладострастие в трепете животного, захваченного в их тиски. Какое наслаждение душить!

Жавер наслаждался. Петли его сети были надежны. Он был уверен в успехе; теперь ему оставалось только сжать руку. С таким эскортом, как у него, даже мысль о сопротивлении была невозможна, как бы Жан Вальжан ни был

энергичен, силен и доведен до отчаяния. Жавер двигался осторожно, медленно, проверяя и обыскивая по дороге все закоулки улицы как карманы вора. Но, дойдя до центра паутины, он не нашел в ней муху.

Можно себе представить его бешенство.

Он бросился расспрашивать агента, сторожившего на углу улиц Прямой стены и Малый Пикпюс; агент, невозмутимо стоявший на своем месте, не видел никого.

Случается иногда, что оленю каким-то образом удается ускользнуть, хотя за ним по пятам следует целая свора собак, и тогда самые старые и опытные охотники разводят руками. Дювивье, Линвилль и Депре становятся в тупик. При неудаче такого рода Артонж воскликнул:

— Да это не олень, а колдун!

Жавер готов был воскликнуть то же самое. В известный момент его разочарование граничило с отчаянием и исступлением. Несомненно, что Наполеон делал ошибки в русской кампании, что

Александр делал ошибки в индийской войне, Цезарь в африканской войне, а Кир в скифской, несомненно и то, что Жавер наделал промахов в своей охоте на Жана Вальжана. Быть может, он напрасно медлил, опознав бывшего каторжника. Ему достаточно было одного взгляда. Напрасно он не схватил его просто-напросто в самой лачуге; напрасно не арестовал его тотчас же, когда окончательно узнал его на улице Понтуаз. Нечего было совещаться со своими помощниками при ярком лунном свете на перекрестке Роллен. Конечно, советы полезны; недурно иногда положиться на помощь и нюх надежных гончих; но охотник должен быть до крайности осторожен и предусмотрителен, преследуя беспокойных зверей, как волки и каторжники. Жавер, слишком заботясь о том, чтобы направить свою свору гончих на след, спугнул зверя и дал ему улизнуть. Главной ошибкой было то, что, напав снова на след жертвы на Аустерлицком мосту, он стал играть в опасную и бессмысленную игру, желая удержать такого человека на конце нитки. Он слишком понадеялся на свои силы и счел

возможным играть со львом, как с мышью. В то же время он опять-таки недооценил свои силы, найдя нужным взять новое подкрепление. Роковая предосторожность, потеря драгоценного времени. Жавер совершил все эти промахи, а между тем он был одним из самых искусных сыщиков, когда-либо существовавших. Он был в полном смысле слова тем, что на охотничьем языке называется умной собакой. Но есть ли совершенство на свете? На величайших стратегов находит затмение.

Большие глупости часто сплетаются, как толстые канаты, из множества мелких нитей. Расщепите канат по ниткам, возьмите каждую из них порознь и разорвите: «Неужели это так некрепко!» — скажете вы. А между тем сплетите, свейте их вместе, и выйдет сила; это Аттила, колеблющийся между Марцианом на Востоке и Валентинианом на Западе; это Ганнибал, застрявший в Капуе; это Дантон, засыпающий в Арсисе-на-Обе.

Как бы то ни было, в тот самый момент, когда Жавер увидел, что Жан Вальжан от него ускользает, он не потерял голову. Убежденный, что беглый каторжник не мог еще убежать далеко, он расставил караульных, устроил западни и ловушки и бродил по кварталу всю ночь. Первое, что ему бросилось в глаза, — это беспорядок, произведенный в фонаре, у которого была отрезана веревка. Драгоценная мысль, впрочем, сбившая его с толка, сосредоточив розыски на глухом переулке Жанро. Там есть довольно низкие заборы, выходящие в сады, смежные с обширными полями под паром. Очевидно, Жан Вальжан улизнул туда. Жавер обшарил эти сады и поля, точно искал иголку.

На рассвете он оставил караулить двух сметливых агентов, а сам отправился в префектуру, пристыженный, как сыщик, проведенный вором.

Глава 119

С полвека тому назад ворота дома номер 62 на улице Малый Пикпюс походили на самые обыкновенные ворота. Почти всегда они были раскрыты самым гостеприимным образом, и оттуда виднелись предметы, не представляющие ничего угрюмого — двор, обнесенный стеной, покрытой вьющимся виноградом, и лицо праздного привратника. Над стеной, в глубине двора, высились большие деревья. Когда луч солнца оживлял двор и когда стакан вина оживлял привратника, невозможно было пройти мимо номер 62, не унося с собой радостное впечатление. Однако это было мрачное место.

На пороге была улыбка, а в доме — скорбь и молитва. Если вам удается миновать привратника, что нелегко и почти ни для кого недоступно, ибо требовалось знать особый таинственный пароль; если вам удается это исполнить, вы входите направо на маленькое крыльцо, откуда идет лестница, до такой степени узкая и зажатая между двух стен, что по ней

могло пройти не более одного человека сразу; если вам не противны вымазанные канареечно-желтой краской стены лестницы с плинтусом шоколадного цвета и если вы отважитесь подняться наверх, то, пройдя одну площадку, затем другую, вы попадаете во второй этаж, где охра и шоколадный плинтус преследуют вас с какой-то невозмутимой настойчивостью. И лестница, и коридор освещены двумя красивыми окнами. Коридор образует поворот и погружается во мрак. Еще несколько шагов, и вы лостигаете двери, тем более таинственной, что она не заперта. Отворяете ее и входите в маленькую комнатку приблизительно в шесть квадратных футов, выстланную плитами, чисто вымытую, холодную, оклеенную желтоватыми обоями с зелеными цветочками по 15 су за рулон. Оглядываетесь — нет ни души, прислушиваетесь — не слышно ни звука человеческого голоса, ни шороха шагов. Белесоватый матовый свет льется из большого окна с мелкими стеклами, занимающего всю

ширину стены налево. Стены голы, комната лишена всякой мебели — ни одного стула.

Присматриваетесь ближе и видите в стене напротив двери четырехугольное отверстие величиной с квадратный фут, снабженное решеткой с перекрестными железными перекладинами, почерневшими, узловатыми, крепкими, образующими квадратики или, вернее, петли сети, пальца в полтора по диагонали. Зелененькие цветочки на желтоватых обоях спокойно и в порядке доходят вплоть до железных перекладин, нисколько не смущаясь ими. Если и предположить живое существо, настолько тощее, что оно могло бы пролезть сквозь это квадратное слуховое окно — то решетка все-таки помешала бы ему. Она не пропускала тела, а пропускала только взор, то есть душу. Вероятно, и об этом подумали, потому что за решеткой в виде подкладки вделан в стену на некотором расстоянии жестяной лист, испещренный множеством маленьких отверстий. В нижней части листа пробито отверстие, как у

ящика для писем. Шнурок от звонка висит направо от решетчатого слухового окна.

Если дернуть за шнурок, раздавался звонок и тут же слышался голос до того близко, что заставлял вас вздрагивать.

— Кто там? — произносил женский голос, до того тихий, до того кроткий, что казался скорбным.

Здесь опять требовалось магическое слово. Если посетитель не знал его, голос умолкал, стена погружалась в безмолвие, словно по ту сторону царил грозный мрак могилы.

Если же таинственное слово произносилось, голос отвечал:

— Войдите направо.

Тут вы замечаете направо, напротив окна, окрашенную в серую краску дверь со стеклянным переплетом вверху. Поднимаете скобку, и вас охватывает впечатление, совершенно сходное с тем, которое вы ощущаете, входя в театр в ложу бенуара с решеткой, раньше чем опущена

решетка и зажжена люстра. Действительно, вы находитесь точно в театральной ложе, едва освещенной тусклым светом из стеклянной двери, ложе узкой, обставленной всего двумя стульями и ветхой истрепанной циновкой; это настоящая ложа с довольно низким барьером почерневшего дерева. Ложа снабжена решеткой, только это не решетка позолоченного дерева, как в опере, а чудовищные железные перекладины, грубые, неправильные и вделанные в стену на огромных крюках, похожих на сжатые кулаки.

Проходит несколько минут, ваш взор начинает привыкать к подвальному полумраку и старается скользнуть за решетку, но не в состоянии проникнуть далее шести дюймов. Там он встречает преграду в виде черных ставен, скрепленных деревянными поперечниками, окрашенными темно-желтой краской. Эти ставни складные, делятся на длинные тонкие полосы и маскируют решетку по всей длине. Они неизменно закрыты.

По прошествии нескольких минут за ставнями раздается голос:

— Я здесь. Что вам от меня нужно?

И это любимый голос, часто голос обожаемого существа. Вы не видите никого. До вас едва долетают слова тихие, как дуновенье. Как будто голос из глубины могилы.

При известных условиях, чрезвычайно редких, одна из узких полосок ставни против вас открывается, и голос с того света превращается в видение. За решеткой, за ставнями, вы видите женскую голову — но только один рот и подбородок — остальное скрыто черным покрывалом. Перед вами смутно вырисовываются черный апостольник и неясная фигура, окутанная черным саваном. Она говорит с вами, но не смотрит на вас и никогда не улыбается.

Свет, падающий из двери позади вас, расположен таким образом, что она является перед вами светлой, а вас она видит черным. Этот свет — символ.

Между тем взор ваш жадно погружается сквозь маленькое отверстие в это место, сокрытое от всех глаз. Смутная мгла окутывает эту траурную фигуру. Глаза стараются пронизать мглу и различить, что окружает это видение. Но скоро вы убеждаетесь, что нельзя различить ничего. Перед вами мрак, ночь, бездна, холодная мгла, смешанная с могильными испарениями, какой-то ужасающий мир, безмолвие, не нарушаемое ни единым вздохом, тьма, в которой нет даже призраков.

Словом, вы видите внутренность монастыря. Это внутренность мрачной и строгой обители, называемой монастырем бернардинок «Вечного моления»; ложа, где вы находитесь — так называемая разговорная. Первый голос, говоривший с вами, принадлежит привратнице, которая неизменно сидит безмолвная и неподвижная по ту сторону стены у квадратного слухового окна, защищенного, как двойным забралом, железной решеткой и жестяной доской с множеством дырочек.

Мрак, в который погружена ложа, происходит оттого, что разговорная, имеющая окна со стороны мира, лишена окна со стороны обители. Взор непосвященных не должен проникать в это священное убежище.

Однако ведь есть же свет за этим мраком; есть жизнь в недрах этой могилы! Хотя этот монастырь замурован строже прочих, но мы попробуем проникнуть туда с читателем и, не переступая границ дозволенного, сообщить вещи, которые ни один рассказчик никогда не видел и, следовательно, не мог рассказать.

Глава 120

Этот монастырь, издавна существовавший на улице Малый Пикпюс, был общиной бернардинок послушания Мартина Верги.

Эти бернардинки, следовательно, принадлежали не к Клерво, как бернардинцы, а к Сито, как бенедиктинцы. Другими словами, они

были под началом не святого Бернарда, а святого Бенедикта.

Кто немного рылся в фолиантах, знает, что Мартин Верга основал в 1425 году конгрегацию бернардинок-бенедиктинок; штаб-квартира ордена была в Саламанке, а отделение его находилось в Алкале.

Позднее эта конгрегация распространила свои ветви по всем католическим странам Европы. Подобное слияние одного ордена с другим — вещь довольно обыкновенная в латинской церкви. Если говорить только об ордене святого Бенедикта, о котором здесь главным образом идет речь, то с ним связаны, кроме послушания Мартина Верги, еще четыре конгрегации: две в Италии, Монте-Кассино и святой Жюстины в Падуе, две во Франции — в Клюни и Сен-Море, и девять орденов — Валломброзы, Граммона, селестинцы, шартрезы, камальдульцы, оливаторы, сильвестринцы и, наконец, орден Сито; ибо Сито, считающийся стволом для других орденов, не более как отпрыск от ордена

святого Бенедикта. Сито основан со времен святого Роберта, аббата Молемского, в епархии Лангреса в 1098, а еще в 529 году случилось, что дьявол, удалившийся в пустыню Субиако (вероятно, он состарился и стал отшельником?), был изгнан из древнего храма Аполлона, где он жил, святым Бенедиктом, в то время семнадцатилетним юношей.

После устава кармелиток, которые ходят босиком, носят ивовые нагрудники, сжимающие им горло, и никогда не садятся, самый строгий устав у бернардинок-бенедиктинок Мартина Верги. Они одеты в черное с апостольником, который, по строгому предписанию святого Бенедикта, доходит до самого подбородка. Одежда из саржи с широкими рукавами, широкое шерстяное покрывало, апостольник до подбородка, квадратно вырезанный на груди, повязка, спускающаяся до самых глаз — вот их одеяние. Все черное, кроме повязки белого цвета. У послушниц та же одежда, но только белая. Постриженные монахини носят кроме того четки, висящие на боку.

Бернардинки-бенедиктинки Мартина Верги исполняют обряд «Вечного моления» точно так же, как и бенедиктинки, называемые сестрами Святого Причастия, которые в начале настоящего столетия имели в Париже две обители — в Тампле и на улице Нев-Сент-Женевьев. Впрочем, бернардинки-бенедиктинки, о которых у нас идет речь, были орденом, совершенно не похожим на орден сестер Святого Причастия в Тампле и улице Нев-Сент-Женевьев. В их уставах было много различий, была разница и в одежде. Бернардинки-бенедиктинки Малого Пикпюса носили черный апостольник, а у бенедиктинок Святого Причастия апостольник был белый, и кроме того, они носили на груди изображение чаши Святых Даров, около трех дюймов высотой, из позолоченного серебра или меди. Монахини Малого Пикпюса не носили такой чаши. «Вечное моление» — правило, общее для обоих монастырей — и монастыря Малого Пикпюса, и монастыря Тампля; во всем же остальном они совершенно различны. Сходство между ними заключается только в этом обряде, подобно тому,

как существовало сходство по части изучения и прославления таинств, относящихся к детству, жизни и смерти Иисуса Христа и Божией Матери — между двумя орденами, весьма, однако, различными между собою и при случае враждебными друг другу: это оратория итальянская, основанная во Флоренции Филиппом Нерийским, и оратория французская, учрежденная в Париже Петром Берульским. Оратория французская претендовала на первенство, так как Филипп Нерийский только святой, а Петр Берульский был кардиналом.

Вернемся к строгому испанскому уставу Мартина Верги. Бернардинки-бенедиктинки этого послушания постятся круглый год, воздерживаются от пищи в посты и многие другие дни, специально установленные ими, прерывают свой первый сон ночью и от часа до трех читают молитвы и поют утреню; спят они на простынях из грубой саржи во всякое время года и на соломе, не употребляют ванн, никогда не топят у себя печей, подвергают себя истязаниям по пятницам, соблюдают правило молчания,

разговаривают только в весьма непродолжительные часы отдыха, носят власяницу в течение шести месяцев от 14 сентября, праздника Воздвижения Честного Креста, и вплоть до Пасхи. Этот шестимесячный срок уже послабление: в уставе назначено носить власяницу круглый год; но она невыносима во время летней жары и вызывала лихорадку с нервными спазмами. Пришлось поневоле сократить срок ее ношения. Даже и при этом послаблении, 14 сентября, когда монахини надевают власяницу, они страдают от лихорадки три-четыре дня подряд. Послушание, бедность, целомудрие, стойкость — вот их обеты, значительно усиленные уставом.

Настоятельница избирается на три года «матерями гласными», называемыми так потому, что они имеют голос в капитуле. Настоятельница может быть избираема всего три раза подряд, так что девять лет — крайний срок владычества игуменьи.

Монахини никогда не видят священника, совершающего богослужение, он всегда скрыт от них саржевой завесой девять футов высотой. Во время проповеди, когда священник на кафедре, они опускают покрывала на лицо; они обязаны всегда говорить вполголоса, ходить с опущенными глазами и наклоненной головой. Один-единственный мужчина имеет право входить в обитель — это архиепископ местной епархии.

Есть, правда, и другой мужчина, имеющий право доступа в святилище, — это садовник. Но это всегда бывает старик, и для того, чтобы монахини могли избежать его, ему привязывают к колену колокольчик.

Они подчиняются настоятельнице безусловным, пассивным повиновением. Это каноническое подчинение со всем его самоотречением. Повиновение беспрекословное, как бы голосу самого Христа, его малейшему жесту, первому же знаку, с радостью, с терпением, с какой-то слепой доверчивостью, как

орудие в руках работника; они не имеют даже права ни писать, ни читать что бы то ни было без особого разрешения.

По очереди каждая из монахинь совершает так называемое «искупление» — reparation. Это молитва за все грехи, за все проступки, все вины, все насилия, всю ложь, все преступления, совершаемые в мире, течение двенадцати часов кряду, от четырех часов утра до четырех часов вечера, сестра, совершающая молитву, стоит на коленях на камне перед Святыми Дарами, со сложенными руками и веревкой на шее. Когда утомление становится слишком невыносимым, она ложится распростертая на полу, прижав лицо к земле, раскинув руки крестом — вот все ее облегчение. В этом положении она молит небо за всех грешников мира. В этой молитве какое-то сверхъестественное величие. Так как оно совершается перед столбом, на котором горит светильник, то говорится одинаково или «совершать молитву за грехи мира», или «быть у столба». Сами монахини по духу смирения предпочитают это последнее выражение,

заключающее в себе мысль о мученичестве и уничижении.

Эта молитва поглощает всю душу, все существо. Сестра у столба не повернулась бы ни за что, хотя бы позади нее разразились громы небесные.

Кроме того, всегда непрерывно одна из монахинь стоит коленопреклоненная перед Святыми Дарами. Стояние это продолжается час. Они меняются как солдаты на карауле. Это и есть «Вечное моление».

Настоятельницы и матери носят почти всегда имена, отмечающие какое-нибудь исключительно важное событие из жизни Иисуса Христа, а не имена святых и мучениц, например: мать Зачатие, мать Вознесение, Мать Страсти Господни. Впрочем, имена святых тоже не возбраняются.

Когда монахини показываются, у них виден только рот.

У всех у них желтые зубы. Никогда зубная щетка не вторгалась за монастырские стены.

Чистить зубы значило бы стать на вершину лестницы, в конце которой погибель души.

Они никогда не говорят: мой или моя. У них нет ничего своего, они не должны ничем дорожить; обо всем они говорят: наш, наша: наше покрывало, наши четки, если бы они когда-либо упоминали о рубашке, то и тогда сказали бы: «наша рубашка». Иногда случается им привязаться к какому-нибудь предмету — к молитвеннику, освященному образку; но, едва заметят эту суетную привязанность, они тотчас должны расстаться с любимой вещью. Они помнят слова святой Терезы в ответ на просьбу одной знатной дамы, готовившейся поступить в ее орден:

— Позвольте мне, честная мать, послать за Библией, которой я очень дорожу.

— А! Вы дорожите чем-нибудь! — отвечала святая Тереза. — В таком случае не поступайте к нам.

Существует запрещение запираться и иметь, так сказать, свою собственную комнату, свой

уголок. Монахини живут в кельях, никогда не запираемых. Встречаясь между собою, одна из них говорит: «Слава и поклонение пречестным Дарам алтаря!» Другая отвечает: «Аминь». Та же церемония, когда одна монахиня стучится в дверь к другой; едва она успеет к ней прикоснуться, как другой голос поспешно отвечает: «Аминь!» Как и все обряды, этот обычай становится машинальным благодаря привычке, и монахиня уже отвечает «аминь» прежде, чем другая успеет выговорить довольно длинную фразу: «Слава и поклонение пречестным Дарам алтаря».

У монахинь ордена Визитации входящая произносит: «Ave Maria» {Радуйся, Мария (лат.).}, а та, к которой входят в келью, отвечает: «Gratia plena» {Благодатная (лат.).}. Это их приветствие, как у нас «здравствуйте».

Каждый час дня три удара колокола раздаются в монастырской церкви. По этому сигналу игуменья, матери гласные, монахини постриженные, послушницы прерывают свои дела, слова, мысли и все разом говорят, если,

например, пять часов: «В пять часов и на всякий час да будет слава и поклонение Святым Дарам алтаря». Если пробило восемь часов, говорится: «В восемь часов и на всякий час» и т. д., таким образом, смотря по тому, который час дня.

Этот обычай, имеющий целью отвлекать мысль от земного и непрерывно обращать ее к Богу, существует во многих общинах, только формула видоизменяется. Так, например, в монастыре Младенца Иисуса говорят: «В такой-то час да воспылает сердце мое любовью ко Христу!» Бенедиктинки-бернардинки Мартина Верги, поселившиеся пятьдесят лет назад на улице Малый Пикпюс, поют богослужение строгим чистым напевом во весь голос в продолжение всей службы. Повсюду, где встречается звездочка в служебнике, они делают паузу и тихо произносят: «Иисус-Мария-Иосиф». Для заупокойной службы они берут такой низкий тон, что с трудом веришь, чтобы женские голоса могли спускаться так низко. Это производит поразительный и трагический эффект.

Монахини Малого Пикпюса устроили у себя склеп под алтарем для погребения сестер своей общины. Правительство, как они выражались, не позволило опускать гробы в склеп. Следовательно, после смерти они покидали монастырь. Это огорчало и смущало их, как нарушение устава. Они добились (слабое утешение!) милости погребать своих покойниц в особый час и в отдельном уголке кладбища Вожирар, находящегося на участке, принадлежавшем когда-то общине.

По четвергам монахини стоят позднюю обедню, вечерню и все службы, как по воскресным дням. Кроме того, они строго до тонкости соблюдают все второстепенные праздники, незнакомые мирянам, но когда-то установленные во множестве церковью во Франции и до сих пор существующие в Испании и Италии. Что касается числа и продолжительности их молений, то о них можно составить себе лучшее понятие из наивных слов одной из них: «Молитвы сестер просто ужасны,

молитвы послушниц еще того хуже, а молитвы матерей хуже всего».

Раз в неделю собирается весь капитул; игуменья председательствует, матери гласные присутствуют. Каждая сестра поочередно становится на колени на камне и кается вслух перед всеми в грехах и проступках, совершенных ею в течение недели. Честные матери совещаются после каждой исповеди и вслух назначают эпитимии.

Кроме исповеди вслух, для которой оставляются прегрешения более или менее крупные, существует для всех мелких проступков так называемое покаяние или эпитимия, la coulpe. Совершать покаяние — значит распластаться ничком на полу перед настоятельницей во время богослужения до тех пор, пока последняя, которую они называют не иначе как «наша мать», даст знать кающейся легким ударом по дереву скамьи, что она может встать. Покаяние налагается за малейшую безделицу — разбитый стакан, разорванное покрывало, невольное

опоздание на несколько секунд на службу, фальшивая нота в пении и пр. — этого достаточно, и монахиня обязана подвергнуться покаянию. Это покаяние добровольно, сама виновная осуждает и подвергает себя наказанию. В воскресные и праздничные дни четыре матери-певчие поют богослужение перед большим аналоем в четыре пюпитра. Однажды мать-певчая запела псалом, начинавшийся словом «Ессе» {Сей (лат.).} и вместо него громко произнесла три ноты: ut, si, sol; за эту рассеянность она подверглась эпитимии, продолжавшейся всю службу. Вина оказалась особенно важной потому, что весь капитул рассмеялся.

Когда монахиню призывают в приемную, будь это сама настоятельница, она опускает покрывало так, что виден один рот. Одна настоятельница может иметь сношения с чужими. Прочие могут видеться только с близкой родней, и то очень редко. Если случится, что явится кто-нибудь из мира, желая повидаться с монахиней, которую знал или любил когда-то, то начинаются долгие переговоры. Если это лицо женщина, то иногда

дается разрешение на свидание; монахиня приходит, и посетительница разговаривает с ней сквозь ставни, которые открываются только для матери или сестры. Само собой разумеется, что мужчины, добивающиеся свидания, всегда получают отказ. Таков устав святого Бенедикта, еще значительно усиленный Мартином Вергой.

Эти монахини не веселы, не свежи и не румяны, как бывают иногда сестры других орденов. Они бледны и унылы. С 1825 до 1830 года три из них сошли с ума.

Глава 121

Не менее двух лет полагается быть на искусе, иногда даже целых четыре года; послушницей также четыре года. В редких случаях пострижение совершается раньше 23 или 24 лет. Бернардинки-бенедиктинки Мартина Верги не допускают вдов в свой орден.

Они предаются в своих кельях многочисленным таинственным истязаниям, о

которых никогда не должны говорить.

В тот день, когда постригается послушница, ее одевают в самые парадные одежды, надевают ей на голову венок из белых роз, расчесывают и завивают ее волосы, потом она падает ниц, ее окутывают большим черным покрывалом и совершают над ней отпевание. Монахини разделяются на две шеренги; одна из них проходит мимо постригаемой и поет заунывным напевом: «Сестра наша умерла»; другая шеренга отвечает ликующими голосами: «Она жива во Христе».

В ту эпоху, к которой относится наш рассказ, при монастыре находился пансион. Воспитательное заведение для благородных девиц, по большей части богатых; между ними замечали девиц Сент-Олер и Белиссен и одну англичанку, носившую громкое католическое имя Тальбот. Этим молодым девушкам, воспитываемым монахинями в четырех стенах, с детства прививалось отвращение к миру и суетности века. Одна из них выразилась

однажды: «Один вид уличной мостовой бросал меня в дрожь». Одеты они были в голубое, с белыми чепчиками и с серебряным или медным изображением чаши на груди. По большим праздникам, в особенности в день святой Марфы, в виде особой милости и высокого счастья, им позволяли одеваться в монашеские одежды и совершать службу и обряды устава в продолжение целого дня. В первые времена монахини одалживали им свои черные одежды. Но это показалось профанацией, и было запрещено настоятельницей. И с тех пор давать монашеские одежды позволялось только послушницам. Интересно отметить, что эти представления, терпимые и, вероятно, поощряемые в монастыре, несомненно, с тайной целью вербовать новообращенных и чтобы дать детям вкусить сладость ношения священных одежд, доставляли великое счастье и развлечение пансионеркам. Это просто-напросто забавляло их.

Это было ново, вносило перемену в их жизнь. Невинные детские понятия, которые, однако, не в

силах убедить нас, мирян, в счастье держать в руках кропильницу и петь, стоя целыми часами перед аналоем.

За исключением особых строгостей, воспитанницы соблюдали весь монастырский устав. Случалось, что молодая девушка, оставив монастырь и пробыв уже несколько лет замужем, все еще не могла отвыкнуть от его привычек и поспешно произносила «аминь» всякий раз, как кто-нибудь стучался к ней в комнату. Как и все монахини, пансионерки виделись с родителями только в приемной. Сами матери не могли добиться позволения поцеловать их. Вот до какой степени доходила строгость на этот счет. Однажды к одной из воспитанниц приехали мать и трехлетняя сестренка. Воспитанница плакала, потому что ей очень хотелось бы поцеловать ребенка. Невозможно. Она стала умолять, чтобы по крайней мере позволили ребенку просунуть ручку сквозь решетку, чтобы она могла поцеловать ее. И в этом ей было отказано с возмущением.

Глава 122

Тем не менее эти девочки оставили в этом мрачном доме прелестные воспоминания о себе. В определенные часы монастырь словно начинал искриться детским весельем. Раздавался рекреационный звонок. Тяжелая дверь скрипела на петлях. Птицы в саду щебетали друг другу: «А! Вот и дети!» Рой девочек наводнял этот сад, прорезанный крестом, как саван. Ликующие, свежие личики, невинные глаза, полные веселого блеска, рассыпались по мрачному саду. После всех псалмопений, колоколов, похоронного звона, всех этих служб, вдруг раздавался веселый шум маленьких девочек, как жужжание пчелок. Улей радости открывался и, казалось, приносил свой мед. Начинались игры, беготня, возня, собирались группы; хорошенькие ротики щебетали по углам; издали монахини наблюдали за их смехом, — тени стерегли лучи света, но что до этого! — веселье, смех шли своим чередом. Эти мрачные четыре стены сияли время от времени. Смутно озаренные отражением детских

радостей, они были свидетельницами этой очаровательной суеты. Словно розовый дождь рассыпался среди мрака и печали. Девочки резвились на глазах монахинь; их строгий взор не стеснял невинности. По милости этих детей, среди стольких часов суровости выпадал час наивного веселья. Маленькие прыгали, большие — танцевали. В этой обители к играм примешивалось что-то небесное. Нет ничего очаровательнее и выше этих чистых ликующих душ. Гомер посмеялся бы здесь вместе с Перро; в этом мрачном саду было столько юности, здоровья, шума, криков, веселья, счастья! — достаточно, чтобы разгладить морщины всех бабушек как древней эпопеи, так и современной сказки, как в хижинах, так и во дворцах, начиная от Гекубы и кончая бабушкой из «Красной Шапочки».

В этом доме, быть может более, чем где-нибудь, произносилось детских фраз, проникнутых такой прелестью и заставляющих смеяться смехом, полным задумчивости. В этих-

то мрачных четырех стенах пятилетний ребенок воскликнул однажды:

— Матушка! Одна «большая» сейчас сказала, что мне остается быть здесь только девять лет и десять месяцев. Какое счастье!

Там же происходил следующий разговор.

Монахиня. О чем вы плачете, дитя мое?

Ребенок (шести лет, рыдает). Я сказала Алисе, что я знаю историю Франции. А она говорит, что я не знаю, а я все-таки знаю.

Алиса («большая», девяти лет). Нет, она не знает.

Монахиня. Как так, дитя мое!

Алиса. Она велела мне открыть книгу наугад и задать ей какой-нибудь вопрос, и она ответит.

Монахиня. Ну, что же?

Алиса. Она не ответила.

Монахиня. Посмотрим. Что такое вы спросили?

Алиса. Я открыла книжку наугад, как она говорила, и задала первый вопрос, который мне попался на глаза.

Монахиня. Какой вопрос?

Алиса. Я спросила: «Что случилось далее?»

Там же было сделано следующее глубокомысленное замечание о попугае, немного жадном, принадлежавшем одной из дам, живущих в монастыре.

— Какой он миленький! Он слизывает верх тартинки, точно живой человек!

На плитах того же монастыря была найдена следующая исповедь, написанная семилетней грешницей заранее, чтобы не забыть: «Отец мой, — я грешна в скупости. Отец мой, — я грешна в прелюбодеянии. Отец мой, — я грешна в том, что поднимала глаза на мужчин».

На одной из дерновых скамеек этого сада была рассказана розовыми губками шестилетнего ребенка следующая сказочка, которую жадно

слушали четырех- и пятилетние крошки, широко раскрыв голубые глазенки.

«Жили-были три петушка в царстве, где было много, много цветов. И вот они нарвали цветов и сунули их себе в карман. Потом нарвали листьев и тоже положили их себе в игрушки. В этом краю было много леса, и в лесу волк — он и съел петушков».

Другая поэма:

Хлопнули палкой. Это Полишинель прибил кошку.

Это ей не было приятно, а очень больно.

Тогда одна дама посадила Полишинеля в тюрьму.

Там же были сказаны одной маленькой сироткой, найденышем, которую монастырь воспитывал из сострадания, следующие грустные, кроткие слова. Она слышала, как другие говорили о своих матерях, и прошептала в своем уголке:

— А у меня матери не было, когда я родилась!

Была там толстая сестра-ключница, вечно спешившая по коридорам со связкой ключей и называвшаяся сестрой Агатой. «Старшие из больших», т. е. свыше десяти лет, звали ее Агафоклеей.

В трапезной, большой продолговатой комнате, освещаемой только одним окном со сводами, расположенным на одном уровне с садом, было темно и сыро и, как выражались дети, там копошились букашки. Все соседние места поставляли туда свой контингент насекомых.

Каждый угол получил на языке пансионерок особенное выразительное наименование. Был угол пауков, угол гусениц, угол мокриц и угол сверчков. Угол сверчков был ближе к кухне и пользовался уважением. Там было не так холодно, как в остальной части залы. От столовой эти прозвища перешли на пансион и служили для отличия четырех «наций», как в бывшей коллегии Мазарини. Каждая воспитанница принадлежала к

одному из четырех разрядов, смотря по тому, у какого угла она садилась во время трапезы. Однажды архиепископ, посетив монастырь, увидел, что в класс входит хорошенькая девочка, вся розовая, с чудными белокурыми волосами; он спросил другую воспитанницу, прелестную брюнетку со свежими щечками:

— Кто это такая?

— Это паук, ваше преосвященство.

— Ба! А та другая?

— Сверчок.

— А вот эта?

— Гусеница.

— Правда? А вы сами кто?

— Я мокрица, ваше преосвященство.

Каждое заведение такого рода имеет свои особенности. В начале нынешнего столетия Экуан был благочестивым и строгим местом, где протекало в таинственной тени детство молодых девушек. В Экуане, когда совершалась процессия

вынесения Святых Даров, различали «дев» и «цветочниц». Были также «балдахинщицы» и «кадильщицы»: одни несли шнурки балдахина, другие кадили перед Святыми Дарами. Цветы принадлежали по праву цветочницам. Впереди шли четыре «девы». Утром в этот великий день не в диковинку было слышать в дортуаре: «Кто из вас „девы“?»

Госпожа Кампан передает слова одной «маленькой» семи лет, обращенные к «большой», шестнадцати, выступающей во главе процессии, между тем как она, маленькая, оставалась в хвосте:

— Ты вот дева, а я нет.

Глава 123

Над дверями трапезы красовалась крупными черными буквами молитва, так называемая «Беленькое отченаш», и обладавшая свойством вводить людей прямо в рай. Начиналась она так: «Миленькое беленькое отченаш, Господь его

сотворил, Господь его говорил, Господь его в рай посадил». И затем: "Вечером, ложась спать, я нашла трех ангелов у своей постели: одного в изголовье, другого — в ногах, и Богородицу посередине. Она сказала мне, чтобы я ложилась, ничего не страшась. Господь — отец мой, Пресвятая Дева — моя мать, три апостола — мои братья, три девы — мои сестры. Сорочка, в которой родился Христос, покрывает мое тело, крест святой Маргариты начертан на моей груди; Богородица идет по полям, оплакивая Христа, и встречает святого Иоанна. — «Святой Иоанн, откуда идешь?» — «Я иду от вечерни». — «Не видел ли ты Христа?» — «Он на древе креста, ноги и руки пригвождены, и на голове венок из белых терний». Кто будет произносить эту молитву трижды утром и вечером под конец попадет в рай.

В 1827 году эта характерная молитва исчезла со стены под густым слоем краски. В настоящее время она уже начинает окончательно изглаживаться из памяти молодых девушек, теперь уже давно дряхлых старух.

Большое распятие, прибитое к стене, довершало украшение трапезы, единственная дверь которой выходила в сад. Два узких стола с деревянными скамьями тянулись двумя параллельными линиями из конца в конец столовой. Стены были выбелены известью, столы черные — эти два цвета неизменно чередуются в монастыре. Еда была неприхотлива, и даже детей кормили скудно. К столу подавалось одно блюдо — мясо с овощами или соленая рыба — вот и вся роскошь. Однако и эта простая пища, подаваемая только пансионеркам, составляла исключение. Дети ели молча, под строгим наблюдением дежурной монахини, которая, если бы муха осмелилась пролететь и зажужжать в это время, с шумом захлопывала и открывала книгу в деревянном переплете. Это молчание было приправлено чтением жития святых с маленькой кафедры под распятием. Чтицами были воспитанницы из старших, дежурившие по неделе. На голом столе стояли тут и там глиняные чашки, в которых воспитанницы сами мыли каждая свою тарелку и стопку, а иногда бросали

туда негодные куски — жесткое мясо или гнилую рыбу; за что их наказывали. Эти чашки назывались «Круговыми чашами».

Ребенок, нарушивший молчание, делал «крест языком». Спрашивается — где? На полу. Девочка обязана была лизать пол. Прах — этот конец всех радостей — призван был наказывать эти бедные розовые лепестки, виновные в щебетанье.

В монастыре была книга в единственном экземпляре, которую строго запрещено было читать. Это было правило святого Бенедикта, таинственное святилище, куда не должен был проникать глаз непосвященного. Nemo regulas, seu constitutiones nostras, externis communicabir {Никто не будет сообщать наших правил или установлений посторонним (лат.).}.

Пансионеркам удалось однажды стащить эту книгу, и они принялись с жадностью читать ее; чтение беспрестанно прерывалось страхом быть пойманными, заставлявшим поспешно захлопывать книгу. Впрочем, из этого рискованного мероприятия они извлекли весьма

мало удовольствия. Несколько туманных страниц о грехах молодых мальчиков, вот что оказалось «самым интересным».

Они играли в аллее сада, окаймленной чахлыми фруктовыми деревьями. Несмотря на зоркую бдительность и строгость наказаний, когда ветер качал деревья, им удавалось иногда поднять украдкой неспелое яблоко, испорченный абрикос или подточенную червями грушу. Здесь я приведу выдержку из письма, написанного двадцать пять лет тому назад бывшей пансионеркой, ныне герцогиней — одной из самых элегантных женщин Парижа: «Прячешь яблоко или грушу, как сможешь. Вечером, когда все идут стлать постель, в ожидании ужина, суешь плоды под изголовье, а потом съедаешь их в постели, а если и это не удается, то съедаешь грушу или яблоко в известном месте». Это было величайшим наслаждением.

Однажды, во время посещения монастыря архиепископом, девица Бушар, в жилах которой текла кровь Монморанси, держала пари, что она

попросит отпуск домой на один день — это было чудовищной мыслью в такой строгой общине. Пари было заключено, но ни та ни другая сторона, по правде сказать, не верила в его исполнимость. Когда настал удобный момент и архиепископ проходил мимо воспитанниц, мадемуазель Бушар, к неописуемому ужасу своих подруг, вышла из рядов и сказала: «Ваше преосвященство, прошу разрешить мне один день отпуска!» Мадемуазель Бушар была свеженькая стройная девушка, с прелестнейшим розовым личиком. Архиепископ де Келен улыбнулся и отвечал: «Как же, милое дитя, не только один день, целых три дня! Я даю вам три дня!» Настоятельница не могла ничего поделать против воли самого архиепископа. Скандал в монастыре, но ликование в пансионе. Можно себе представить, какое было впечатление!

В эту суровую обитель, однако, проникали иногда мирская жизнь, драма страстей, даже роман. В доказательство мы расскажем вкратце один истинный, бесспорный факт, не имеющий сам по себе никакого отношения к нашей

истории. Но мы упомянем о нем исключительно для того, чтобы дать читателю более полное представление о монастыре.

Приблизительно в то же время жила в монастыре таинственная личность, не монахиня, но с которой все обходились с величайшим уважением. Звали ее госпожа Альбертина. Ничего не было о ней известно, кроме того, что она не в своем уме и что в миру ее считают умершей. Под этой историей скрывались, как говорили, известные соображения относительно наследства, необходимые для какого-то великосветского брака.

Это была женщина лет тридцати — не больше, темноволосая, довольно красивая, с большими черными глазами и невидящим взором. Видела ли она что-нибудь? Сомнительно. Она скорее скользила, нежели шла; никогда не произносила она ни слова — не были даже уверены, дышит ли она. Ее ноздри были сжаты и бескровны, как у мертвеца. Прикоснуться к ее руке было все равно, что коснуться льда. В ней, однако, была какая-то

особенная прозрачная прелесть. Одна сестра, увидев, как она проходила мимо, сказала другой:

— В мире она слывет умершей.

— Быть может, это и правда, — отвечала та.

О госпоже Альбертине ходили разнообразные россказни. Она составляла вечный предмет любопытства для пансионерок. В церкви была трибуна, называемая «бычий глаз». На этой-то трибуне, имевшей только круглый просвет вроде слухового окна, госпожа Альбертина присутствовала при богослужениях. Обыкновенно она была там одна, потому что с трибуны, помещавшейся во втором этаже, был виден проповедник или служащий священник, что воспрещалось инокиням. Однажды кафедра была занята молодым священником знатного рода, герцогом де Роганом, пэром Франции, бывшим офицером красных мушкетеров в 1815 году; он умер в 1830 году кардиналом и архиепископом безансонским. В этот день де Роган впервые произносил проповедь в монастыре. Госпожа Альбертина обыкновенно

присутствовала на проповеди и богослужении в состоянии полнейшей невозмутимости и неподвижности. В этот день, увидев герцога де Рогана, она привстала и произнесла громко среди тишины, царствовавшей в часовне: «Вот как! Огюст!» Вся община, пораженная, повернула головы в ее сторону, проповедник поднял глаза, но мадам Альбертина снова впала в свою неподвижность. Дуновенье внешнего мира, проблеск жизни мелькнули на мгновение на этом угасшем ледяном лице, затем все исчезло и безумная опять превратилась в труп.

Однако эти два слова дали пищу к разным толкам в монастыре; об этом болтали все, кто только мог. Сколько разоблачений в этих двух словах: «Вот как! Огюст!» Господина де Рогана действительно звали Огюстом. Ясно, что госпожа Альбертина принадлежала к очень знатному кругу, коль скоро была знакома с герцогом де Роганом, да и сама занимала, вероятно, очень высокое положение, если говорила о таком важном лице в фамильярном тоне, быть может,

была даже связана с ним узами родства, весьма тесными, ибо знала его имя: Огюст.

Две герцогини, очень строгой нравственности, герцогиня Шуазель и де Серан, часто посещали монастырь, куда проникали, вероятно, в силу привилегии Magnates mulieres {Знатных дам (лат).}, и пугали весь пансион. Когда эти старые дамы проходили мимо все девочки дрожали и опускали глаза.

Господин де Роган был, впрочем, сам того не подозревая, предметом внимания для всех воспитанниц. В это время он только что был назначен, в ожидании епископства, главным викарием архиепископа парижского. Он взял себе в привычку приходить довольно часто петь обедню в часовне монастыря. Ни одна из юных затворниц не могла его видеть, но они научились различать его кроткий и немного жидкий голос. Он когда-то был мушкетером; да и к тому же рассказывали, что он большой франт, что его прекрасные каштановые волосы красиво убраны в форме руло, что у него великолепный черный

муаровый пояс, а его черная ряса самого элегантного покроя. Словом, он сильно занимал собой воображение пятнадцатилетних девушек.

Никакие мирские звуки не проникали за стены монастыря. Однако выпал такой год, когда там раздались звуки флейты. Это было целое событие, и тогдашние пансионерки должны помнить его.

Где-то по соседству играли на флейте, и все один мотив, теперь давно устаревший: «Моя Зетюльбе, приди царить в душе моей». Это повторялось раза два-три в день. Девочки проводили целые часы, слушая музыку, монахини впали в отчаяние, юные умы работали, наказания сыпались градом.

Это продолжалось несколько месяцев. Все воспитанницы до единой были более или менее влюблены в неизвестного музыканта. Каждая мечтала, что она и есть Зетюльбе. Звуки флейты доносились со стороны улицы Прямой стены. Они отдали бы все, чтобы увидеть хоть одну секунду «молодого человека», который так

восхитительно играет и, сам того не ведая, играет в то же время на струнах их душ. Некоторые воспитанницы проскользнули через боковую дверь и взобрались на третий этаж, выходящий на улицу Прямой стены, чтобы увидеть что-нибудь. Безуспешно. Одна из них дошла до того, что просунула руку сквозь решетку над головой и стала махать белым платком. Нашлись две, еще более смелые. Они отыскали средство вскарабкаться на крышу и наконец увидели «молодого человека». Это был старый дворянин-эмигрант, слепой и разорившийся: он забавлялся игрой на флейте от скуки.

Глава 124

В ограде Малого Пикпюса было три здания, совершенно обособленных друг от друга, — большой монастырь, где жили монахини, пансион, где жили воспитанницы, и, наконец, так называемый малый монастырь. Это был корпус с садом, где жили сообща старые монахини разных орденов, из монастырей, разоренных

революцией; там была пестрая смесь всяких инокинь — черных, белых и серых, принадлежавших к всевозможным общинам и самого разного толка орденам. Если позволительно употребить подобное выражение — это был лоскутный монастырь.

Со времен Империи было разрешено этим бедным обездоленным женщинам приютиться под крыло бенедиктинок-бернардинок. Правительство выдавало им маленькое пособие; сестры Малого Пикпюса приняли их с готовностью. Там была самая странная путаница. Каждая соблюдала свой устав. Иногда позволяли воспитанницам, в виде особенного развлечения, посещать их; и многие молодые головы сохранили воспоминания о матери Василисе, матери Схоластике и матери Якобе.

Одна из этих пришлых монахинь оказалась почти дома. Это была монахиня из Сент-Ор, единственная, пережившая свой орден. Бывший монастырь сестер Сент-Ор занимал в начале XVIII века как раз тот самый дом, который

принадлежал впоследствии бенедиктинкам Мартина Верти. Эта святая женщина, слишком бедная, чтобы носить великолепную одежду своего ордена — белое платье с пурпуровым наплечником, набожно украсила им манекен, который с удовольствием показывала всем и на смертном одре завещала монастырю. В 1824 году от ордена оставалась всего-навсего одна инокиня; теперь от него осталась только кукла.

Кроме этих достойных сестер несколько старых светских женщин добились от настоятельницы позволения, как госпожа Альбертина, удалиться от мира в малый монастырь. К числу их принадлежали госпожа Бофор Гопуль и маркиза Дюфрень. Между этими дамами была одна, известная во всем монастыре только своим необыкновенно звучным сморканием. Воспитанницы называли ее «Мадам Шумихини».

Около 1820 или 1821 года госпожа де Жанлис, издававшая в то время маленький периодический сборник под названием «Неустрашимый»,

просила разрешения поступить в монастырь Малого Пикпюса. Ее рекомендовал герцог Орлеанский. Великое смятение в улье; капитул струсил; госпожа де Жанлис сочиняла когда-то романы; но она объявила, что первая ненавидит их, и к тому же она достигла стадии ярой набожности. С помощью Божией, а также и стараниями принца, она поступила в монастырь. Но месяцев через шесть или семь покинула его под предлогом, что в саду нет тени. Монахини были в восторге. Будучи уже очень старой, она все еще играла на арфе, и даже прекрасно.

Уходя, она оставила по себе память в своей келье. Госпожа Жанлис была женщина суеверная и латинистка. Эти два слова полностью ее характеризуют. Несколько лет тому назад еще можно было видеть в маленьком шкафчике, где она обыкновенно прятала деньги и драгоценности, записочку, заключавшую следующие пять стихов, написанных ее рукою красными чернилами на желтой бумаге. По ее мнению, эти стихи обладали свойством отпугивать воров:

Imparibus meritis pendant tria corpora ramis:

Dismas et Gesmas, media est divina potestas.

Alta petit Dismas, infelix, infima, Gesmas.

Nos et res nostras conservet summa potestas.

Hos versus dicas, ne tu furto tuo perdas.

Эти стихи VI века на латыни возбуждают вопрос — как звали разбойников на Голгофе: Димас и Гестас, как думают обыкновенно, или Дисмас и Гесмас. Это написание отвергает претензию, заявленную в прошлом столетии виконтом Гестас на происхождение от нечестивого разбойника.

Монастырская церковь, устроенная так, что служит как бы стеной между большим монастырем и пансионом, само собой разумеется, была общей и для большого монастыря, и для пансиона, и для малого монастыря. Сюда допускалась даже публика через особый вход, проделанный на улицу. Но все было расположено таким образом, что ни одна из обитательниц монастыря не могла видеть ни одного

постороннего лица. Представьте себе церковь, клирос которой, как бы схваченный и согнутый исполинской рукой, не образует, как в обыкновенных церквях, продолжение за престолом, а род залы или темной пещеры направо от священника; предположите, что зала скрыта занавесом в семь футов высотой; там, во мраке этой завесы, скучены на деревянных сиденьях налево монахини, образующие хор, направо пансионерки, а посередине послушницы и сестры, и это даст вам некоторое понятие о том, как монахини Малого Пикпюса присутствовали при богослужении. Эта пещера, называемая клиросом, сообщалась с монастырем коридором. Церковь получала свет из сада. Когда монахини присутствовали на службах, на которых, согласно уставу, они обязаны хранить молчание, публика узнавала об их присутствии только по стуку палочек у церковных стульев, поднимавшихся и опускавшихся.

Глава 125

В течение шести лет, с 1819 по 1825 год, настоятельницей монастыря была девица де Блемёр, названная по пострижении матерью Иннокентией. Она принадлежала к семейству Маргариты де Блемёр, автора «Жития Святых ордена Святого Бенедикта». Она была выбрана во второй раз. Это была женщина лет шестидесяти, приземистая, дородная, с голосом как у «надтреснутого горшка» — говорится в том же письме, о котором мы упоминали выше; впрочем, добрейшая душа, единственная веселая во всем монастыре и за это любимая до обожания.

Мать Иннокентия наследовала качества своей родственницы Маргариты, настоящей учредительницы ордена. Она была женщина ученая, начитанная, книжница, знаток истории, нашпигованная латынью, греческой и еврейской эрудицией; она скорее была бенедиктинец, а не бенедиктинка.

Помощницей настоятельницы была старая, почти слепая монахиня, мать Синерес. Самыми почитаемыми среди «гласных» монахинь были: мать святая Онорина, казначейша, мать святая Гертруда, начальница над послушницами, мать Аннунсиата, заведующая ризницей, единственная злая во всем монастыре; затем мать святая Мехтильда (девица Говен), совсем еще молодая, обладающая чудным голосом; мать Ангела (девица Друе); мать святая Иозефа (девица Коголуддо); мать святая Аделаида (девица д'Оверне); мать Мизерикордия (девица Суфуентес, которая не в состоянии была выносить суровостей устава); мать Милосердия (девица Мильтиер, принятая в общину шестидесяти лет, вопреки уставу; очень богатая); мать Провиденция (девица Лодиньер); мать святая Седина (сестра скульптора Сераччи), сошедшая с ума; мать святая Шанталь (девица де Сюзон), тоже сошедшая с ума.

В числе красивых была прелестная двадцатитрехлетняя девушка с острова Бурбон, потомок кавалера Розы; в мире она носила это

имя, а в пострижении называлась мать Вознесение.

Мать Мехтильда, заведовавшая хоровым пением, охотно привлекла в хор воспитанниц. Она брала обыкновенно полную гамму — семь девочек от 10 до 16 лет включительно, подбирая голоса и рост, и заставляла их петь стоя в линию по росту от самой маленькой до самой высокой. Это представляло глазу как бы свирель из молодых девушек, род живой флейты Пана, составленной из ангелов.

Из постриженных сестер пансионерки любили больше всего сестру Эфразию, Маргариту, сестру Марту, впавшую в детство, и сестру Мишель, длинный нос которой забавлял их.

Все эти женщины были ласковы с детьми. Монахини отличались суровостью только к самим себе. Печи топились лишь в пансионе, а пища у девочек, по сравнению с монашеской, была изысканная. Кроме того, бесконечная забота

о них. Но если ребенок, проходя мимо монахини, заговаривал с ней, она никогда не отвечала.

Правило молчания породило то, что во всем монастыре дар слова был отнят у живых существ и предоставлен предметам неодушевленным. То раздавался церковный колокол, то звенел бубенчик садовника. Очень звонкий колокол, помещавшийся около привратницы и звучавший на весь дом, возвещал, при помощи разнообразных сигналов, наподобие акустического телеграфа, о разных явлениях повседневной жизни; он-то и призывал в приемную ту или другую обитательницу дома. Каждое лицо и каждый предмет имели свой специальный сигнал. Сигнал настоятельницы — один и один удар; помощницы ее — один и два. Шесть—пять ударов означали время идти в класс, так что воспитанницы вместо «собираться в класс» говорили «идти в пять-шесть». Четыре-четыре было сигналом госпожи де Жанлис. Он раздавался очень часто. «Бесовский звон для бесовки», — говорили насмешницы. Девятнадцать ударов возвещали о важном

событии. Это означало, что отворялась настежь входная монастырская дверь, ужасная железная доска со множеством запоров, которая поворачивалась на петлях только перед особой архиепископа.

Исключая его и садовника, ни один мужчина, как мы уже говорили, не проникал в монастырь. Пансионерки, впрочем, видели еще двух особ мужского пола: священника, аббата Банеса, старого и отвратительного; им они могли любоваться на клиросе сквозь решетку; другой мужчина, учитель рисования господин Ансю, описан в упомянутом нами письме «ужасным старым горбуном». Как видно, все мужчины были тщательно подобраны.

Таков был этот любопытный дом.

Глава 126

Обрисовав нравственное лицо обители, нелишне описать в нескольких словах ее

наружный вид. Читатель уже имеет о нем некоторое понятие.

Монастырь Малого Пикпюса Святого Антония заполнял собою почти всю обширную трапецию, образуемую пересечением улицы Поленсо, улицы Прямой стены, улицы Малый Пикпюс и глухого переулка, носящего в старых планах название улицы Омарэ. Эти улицы окружали трапецию наподобие рва. Монастырь состоял из нескольких строений и сада. Главный корпус здания, взятый в целом, состоял из целого комплекса строений, которые с птичьего полета представляют довольно точно фигуру виселицы, положенной на землю плашмя. Длинный рукав виселицы тянется вдоль всего пространства улицы Прямой стены, заключавшегося между улицей Малый Пикпюс и улицей Поленсо; короткий рукав состоит из высокого строгого серого фасада с решеткой, выходящего на улицу Малый Пикпюс; ворота под номером 62 обозначают его оконечность. Около середины этого фасада находились старые низкие ворота со сводом, побелевшие под слоем пыли и паутины;

эти ворота отпирались по воскресеньям, на час или на два, да еще в редких случаях, когда проносили гроб одной из монахинь. Это был общий вход в церковь для мирян. Угол виселицы образовала квадратная зала, служившая кладовой. В длинном рукаве помещались кельи матерей, сестер и послушниц. В коротком рукаве — кухни, столовая и церковь. Между воротами, под номером 62 и углом глухого переулка Омарэ, помещался пансион, которого не было видно извне. Остальную часть трапеции занимал сад, уровень которого был гораздо ниже улицы Поленсо, вследствие чего стены его были гораздо выше с внутренней стороны, чем с наружной. Сад с легкой горбинкой посередине имел в центре, на верхушке бугорка, прекрасную ель, остроконечную, в форме конуса, и от нее исходили, как от центра щита, четыре большие аллеи и восемь маленьких, расположенных попарно между большими, так что, будь сад круглым, геометрический план аллей представлял бы крест, положенный на колесо. Аллеи, все до единой, примыкающие к

неправильно расположенным стенам сада, были неравной длины. Они были обсажены смородинными кустами. В глубине сада аллея тополей тянулась от развалин старого монастыря, находившегося на углу улицы Прямой стены, до здания малого монастыря, помещавшегося на углу переулка Омарэ. Перед малым монастырем находился так называемый малый сад. Прибавьте ко всему этому еще двор, разнообразные углы, образуемые внутренними строениями, тюремные стены, а вместо всякой перспективы и соседства длинную черную линию крыш, окаймлявшую противоположную сторону улицы Поленсо, — и вы составите себе довольно полное понятие о том, каков был 45 лет тому назад монастырь бернардинок Малого Пикпюса. Эта святая обитель построена как раз на том самом месте, где находился знаменитый зал для игры в мяч XIV—XVI века, прозванный «вертепом одиннадцати тысяч чертей».

Все эти улицы принадлежат к числу самых древних в Париже. Названия Прямая стена, Омарэ очень давние, а улицы, носящие их, еще

более старые. Переулок Омарэ назывался раньше переулком Могу; улица Прямой стены носила имя улицы Эглантье.

Глава 127

Раз уж мы углубились в подробности о прошлом монастыря Малого Пикпюса и осмелились заглянуть в эту строгую обитель, да позволит нам читатель еще маленькое отступление, в сущности, полезное в том смысле, что оно дает понятие, как в самом монастыре могут встречаться оригинальные образы.

Жила там, между прочим, столетняя старуха, поступившая из аббатства Фонтевро. До революции она жила в мире. Она много и часто говорила о господине Мироменile, министре юстиции при Людовике XVI, и о жене президента Дюпла, с которой была коротко знакома. Величайшим ее удовольствием и гордостью было то и дело вспоминать этих господ. Она рассказывала чудеса об аббатстве Фонтевро, —

будто это целый город, и внутри монастырской ограды проложены улицы.

Она говорила с пикардийским акцентом, забавлявшим пансионерок. Каждый год она торжественно возобновляла свой обет, но в ту минуту, когда приходилось присягать, она говорила священнику: «Монсеньор святой Франсуа вручил свой обет монсеньору святому Евсевию, Монсеньор святой Евсевий — монсеньору святому Прокопию и т. д., и т. д., а мой я вручаю вам, святой отец». И пансионерки принимались хохотать исподтишка под покрывалами, прелестным сдержанным смехом, при котором матушки гласные хмурили брови.

Столетняя монахиня постоянно рассказывала разные истории. Во времена ее молодости, говорила она, бернардинцы не уступали мушкетерам. Ее устами говорил век, но век восемнадцатый. Она рассказывала об одном обычае, существовавшем в Шампани и Бургундии до революции. Когда какое-нибудь именитое лицо, маршал Франции, принц, герцог

или пэр проезжал по одному из городов этих провинций, городской совет встречал его приветствием и подносил ему в четырех кубках четыре различных сорта вина. На первом кубке была надпись: «Обезьянье вино», на втором — «Львиное вино», на третьем — «Баранье вино» и на четвертом — «Свинское вино». Эти четыре надписи изображали четыре фазы, которые испытывает пьяница: первая степень опьянения веселая, вторая степень — раздражающая, третья — от которой человек тупеет, и, наконец, четвертая — когда он превращается в скота.

Она хранила у себя в шкафу, под ключом, таинственный предмет, которым чрезвычайно дорожила. Устав аббатства Фонтевро не запрещал этого. Она никому не хотела показывать этого предмета и запиралась всякий раз, когда сама хотела еще раз полюбоваться им. Если в это время она слышала шаги в коридоре, то быстро закрывала шкаф своими дрожащими руками. Лишь только с ней заговаривали об этом, она молчала, хотя обыкновенно болтала очень

охотно. Самые любопытные не в силах были сломить ее молчания, самые настойчивые не сумели одолеть ее упорства. Это служило предметом пересудов для всех праздных или скучающих обитателей монастыря. Что это за таинственный и драгоценный предмет, составлявший сокровище столетней старухи? Без сомнения, какая-нибудь священная книга? Редкостные четки? Чудодейственные мощи? Терялись в догадках. Когда бедная старуха умерла, то бросились к шкафу быстрее, чем того требовало приличие, и открыли его. Таинственный предмет нашли завернутым в тройной полотняный покров, как священный дискос. Это было блюдо, изображавшее летающих амуров, преследуемых аптекарскими учениками, вооруженными огромными клистирными трубками. Один из прелестных амурчиков уже попался. Он барахтается, машет крылышками и еще пробует улететь, но аптекарь хохочет сатанинским хохотом. Мораль: любовь, побежденная резью в желудке. Это любопытное блюдо, быть может, вдохновлявшее Мольера, еще

существовало в сентябре 1845 года; оно продавалось у старьевщика на бульваре Бомарше.

Эта добрая старушка никогда не соглашалась принимать никаких посещений.

— Потому, — говорила она, — что разговорная слишком уж мрачна.

Глава 128

Впрочем, эта «могильная разговорная», о которой мы старались дать некоторое понятие, — явление местное и не повторяется с одинаковой суровостью в других монастырях. В монастыре улицы Тампль, принадлежавшем, правда, к другому ордену, черные ставни заменялись кофейной завесой, а сама приемная была залом с паркетным полом, с белыми кисейными занавесами на окнах, с различными картинами на стенах — например: портретом бенедиктинки с открытым лицом, изображением букетов цветов и даже головой турка.

В саду монастыря улицы Тампль находился знаменитый индийский каштан, слывший самым красивым и роскошным во Франции; среди парижан в XVIII веке он пользовался прозвищем «патриарха всех каштанов королевства».

Мы уже говорили, что монастырь Тампля был занят бенедиктинками «Вечного моления», бенедиктинками, совершенно отличными от тех, которые вели начало из Сито. Этот орден «Вечного моления» был образован не столь давно: начало его положено не более 200 лет тому назад. В 1649 году Святые Дары были осквернены дважды, почти в одно и то же время (разница была в несколько дней), в двух храмах Парижа, в церкви Святого Сульпиция и в церкви Сен-Жан-ан-Грев. Это страшное, редко случающееся святотатство всполошило весь город. Викарий Сен-Жермен-де-Прё повелел совершить торжественную процессию всем духовенством при сослужении папского нунция. Но это не показалось достаточным двум достойным женщинам, госпоже Куртен, маркизе де Бук, и графине Шатовьё. Оскорбление,

нанесенное Святым Дарам, хотя и мимолетное, никак не могло изгладиться из их благочестивых душ, и они решили, что оно может быть смыто лишь «Вечным молением» в каком-нибудь женском монастыре. И вот обе, одна в 1652, другая в 1653 году, пожертвовали крупные суммы бенедиктинской монахине Катерине де Бар, чтобы основать с этой благочестивой целью монастырь ордена Святого Бенедикта. Первое разрешение на основание такого монастыря было дано Катерине де Бар господином Мецом, аббатом сен-жерменским, «при условии, чтобы ни одна из девиц не принималась иначе, как с годовым доходом в 300 ливров, что составляет шесть тысяч ливров капитала». Вслед за аббатом сен-жерменским король выдал патентные грамоты и все вместе — аббатская хартия и королевская грамота — было утверждено контрольной палатой и парламентом в 1654 году.

Таково происхождение и основание учреждения бенедиктинок «Вечного моления» в Париже. Первый их монастырь был «построен

заново» в улице Касетт на средства, пожертвованные госпожами де Бук и Шатовьё.

Как видно, этот орден не имел ничего общего с бенедиктинками из Сито. Он происходит от аббата Сен-Жермен-де-Прё, подобно тому как сестры Сердца Иисусова зависели от генерала ордена иезуитов, а сестры Милосердия — от генерала лазаристов.

Этот орден был также совершенно отличен от бернардинок Малого Пикпюса, внутреннюю жизнь которого мы уже показали. В 1657 году Папа Александр VII разрешил посредством особой грамоты бернардинкам Малого Пикпюса практиковать «Вечное моление», по примеру бенедиктинок Святого Причастия. Но оба ордена тем не менее сохранили за собой все присущие им особенности.

Глава 129

С самого начала реставрации монастырь Малого Пикпюса находился в большом упадке;

после XVIII века этот орден понемногу угасал, как и все религиозные ордена. Созерцание и молитва — потребность человечества; но как и все, чего коснулась революция, они стали преобразовываться и вместо того, чтобы быть враждебными социальному прогрессу, стали благоприятствовать ему.

Монастырь Малого Пикпюса быстро пустел. В 1840 году малый монастырь уже исчез, пансион тоже. Не было там больше ни старых монахинь, ни молодых девушек; одни умерли, другие разошлись. Volaverunt {Улетели (лат.).}.

Правило «Вечного моления» пугает своей суровостью; желающих посвятить себя ему становится все меньше и меньше, орден не находит новобранцев. В 1845 году еще иногда находились желающие жить в монастыре, но пострижений в монахини не было вовсе. Сорок лет тому назад монахинь было более ста; пятнадцать лет назад их было не более двадцати восьми. Сколько их теперь? В 1847 году настоятельница была молодая, — ей не было и

сорока лет — доказательство того, что выбор стал ограниченный. По мере уменьшения числа утомление возрастает; бремя для каждой из них становится более тяжким; предстоит момент, когда останется всего с десяток согбенных и наболевших спин, чтобы нести тяжкий устав святого Бенедикта. Это бремя неумолимо, и остается одним и тем же, как для большого, так и для малого числа. Оно тяготело над ними, придавливало их своей тяжестью. Зато они и умирали то и дело. В то время, когда автор этой книги еще жил в Париже, две монахини умерли. Одной было двадцать пять лет, другой двадцать три года. Последняя могла сказать, как Юлия Альпинула: «Hic jaceo. Vixi anvos viginti et tres» {Здесь я покоюсь. Прожила я двадцать три года (лат.).}. Вследствие этого упадка монастырь отказался от воспитания девиц.

Мы не могли пройти мимо этого странного таинственного мрачного дома, чтобы не зайти туда и не ввести читателей, следящих, быть может, не без пользы для иных, за грустной историей Жана Вальжана. Мы проникли в эту

общину, переполненную древними обрядами, которые кажутся столь новыми в наши дни. Это замкнутый сад. Hortus conclusus. Мы говорили об этом странном месте с благоговением, по крайней мере настолько, насколько благоговение, уважение и разбор по деталям совместимы. Мы не все понимаем, но ни во что не бросаем грязью. Мы настолько же далеки от смирения Жозефа де Местра, который доходил до того, что благословлял палача, и от издевательств Вольтера, который надругался над распятием.

И добавим мимоходом, это нелогичность со стороны Вольтера, ибо он защищал бы Иисуса, как защищал Калласа; и даже для тех, кто отрицает сверхъестественное воплощение, что такое представляет распятие? Убийство праведника.

В XIX веке религиозная идея подвергается кризису. Отвыкают от многого и хорошо делают, лишь бы, забывая одно, учились другому. Не должно быть пустоты в сердце человеческом. Совершается известная ломка, и прекрасно —

лишь бы только она сопровождалась созиданием чего-нибудь нового.

А пока будем изучать вещи уже минувшие. Необходимо ознакомиться с ними, хотя бы для того, чтобы избегать их. Подделки прошлого принимают фальшивые имена и охотно выдают себя за будущее. Прошлое — это привидение, способное подделывать свой паспорт. Обратим внимание на эту ловушку. Будем остерегаться. У прошлого свое лицо — суеверие и маска — лицемерие. Откроем лицо и сорвем маску.

Что касается монастырей, то они представляют сложный вопрос. Цивилизация осуждает их, свобода защищает.

Глава 130

Настоящая книга, это драма, в которой главным действующим лицом является бесконечность.

Человек занимает в ней второе место.

Поэтому, встретив монастырь на своем пути, мы вошли туда. Зачем? Потому что монастырь, свойственный как Востоку, так и Западу, как древности, так и новейшим временам, как язычеству, буддизму, магометанству, так и христианству, есть один из оптических приборов, приложенных человеком к познанию бесконечности.

Здесь не место развивать подробно некоторые идеи; однако, сохраняя свои оговорки, ограничения и даже негодование, мы должны признаться, что всякий раз, как встречаем в человеке стремление к бесконечному, мы чувствуем уважение. В синагоге, в мечети, в пагоде, в вигваме есть сторона отвратительная, которую мы презираем, но есть сторона высокая, которой мы поклоняемся. Какое созерцание для души, какое глубокое, бездонное размышление! Отражение божества в человечестве.

Глава 131

С точки зрения истории, разума и истины, монастырь осуждается. Если монастыри изобилуют у какой-нибудь нации, они являются помехами, препятствующими свободному движению, учреждения лишние, центры праздности там, где нужны центры труда. Монашеские общины составляют для большой специальной общины то же, что омела для дуба или бородавка на теле человеческом. Их процветание и благоденствие означают обеднение страны. Монашеский режим, полезный на первых порах цивилизации, способный сдерживать грубость и насилие, с помощью духовной материи — вреден для развитого народа. Кроме того, когда он входит в период распущенности и все-таки продолжает подавать пример, то становится вредным по тем же самым причинам, по которым был полезен в период своей чистоты.

Монастыри отжили свой век. Полезные для первоначального воспитания современной

цивилизации, они стали тормозом для ее роста и развития; как учреждение воспитательное для человека, монастыри, полезные в X веке, возможные в XV веке, невыносимы в XIX веке. Монашеская проказа разъела почти до костей две прекрасные нации, Италию и Испанию; одна из них была светочем, другая — роскошью Европы в течение веков и только в наше время эти два знаменитых народа начинают излечиваться лишь благодаря здравой, мощной гигиене 1789 года.

Монастырь, в особенности старинный женский монастырь, в том виде, в каком он является еще на рубеже нынешнего века в Италии, Австрии, Испании, — одно из самых мрачных явлений Средних веков. Монастырь, именно такой монастырь, средоточие всех ужасов. Католический монастырь в полном смысле этого слова переполнен черным призраком смерти.

Особенно мрачна испанская обитель. Там во мраке, под сводами, полными мглы, под куполами, до того темными, что они принимают

смутные очертания, высятся массивные алтари, грандиозные, как соборы; там висят на цепях, среди мрака, громадные белые распятия; там распростерты на черном дереве большие изображения Христа из слоновой кости — окровавленные, кровоточащие, страшные и вместе с тем величественные, с обнаженными костями на локтях, с изможденными коленями, с разорванными ранами, выставляющими живое мясо; увенчаны они серебряными терниями, пригвождены золотыми гвоздями, на челе их струятся капли крови из рубинов, а на глазах слезы из бриллиантов. Рубины и алмазы сверкают, словно от влаги, и, глядя на них, там внизу проливают слезы окутанные покрывалами существа, у которых все тело изможднено власяницей и бичеванием: грудь сдавлена ивовыми нагрудниками, а колени ободраны стоянием на молитве. Это — женщины, мнящие себя невестами Христа, призраки, считающие себя серафимами. Мыслят они? Нет. Есть у них желания? Нет. Нервы их превратились в кости, а кости — в камни. Их покрывало соткано из

ночной тьмы. Их дыхание под покрывалами походит на какое-то трагическое дыхание смерти. Аббатисса, кажущаяся привидением, освящает их подвиги и держит их в трепете. Таковы старинные испанские монастыри. Убежища грозного благочестия, вертепы девственниц, места лютые, свирепые.

Католическая Испания перещеголяла в усердии даже Рим. Испанский монастырь — по преимуществу католическая обитель. Там пахнет востоком. Архиепископ — небесный кизляр-ага, запирает и стережет этот сераль душ, уготованных для Бога. Инокиня — одалиска, священник — евнух. Один взгляд на внешний мир был неверностью. Грозный и Расе {Подземная темница (лат.).} заменял кожаный мешок. На Востоке кидали в волны, на Западе кидали в недра земли. И там и здесь женщины в муках ломали руки; одним доставались на долю волны, другим — могила; одни утопали, других хоронили заживо. Страшная параллель.

Ныне защитники прошлого, не будучи в состоянии отрицать всего этого, отделываются смешками. Вошла в моду удобная и странная манера устранять разоблачения истории, уничтожать комментарии философии и обходить все щекотливые факты и мрачные вопросы. Пустая декламация, говорят ловкие люди. Декламация, вторят за ними простаки. Жан-Жак — фразер, Дидро — фразер, Вольтер о Калласе — фразер, Лабарр и Сирвен — фразеры. Не помню кто, но кто-то доказывал недавно, что «Тацит — фразер, что Нерон — жертва и что решительно стоит пожалеть об этом бедняжке Олоферне».

Но факты нелегко сбить с толку и отменить, — они держатся упорно. Автор этой книги видел собственными глазами в восьми лье от Брюсселя (всякий может убедиться в этом средневековом явлении), в аббатстве Виллье, яму, служившую подземной темницей, среди лужайки, бывшей двором монастыря, а на берегу Тиля четыре каменные темницы, наполовину под землей, наполовину под водой. Это и были in

расе. При каждой темнице — остатки железной двери, отхожее место и решетчатое слуховое окно, которое с наружной стороны лежит на два фута над рекой, а с внутренней стороны — в шести футах над землей. Почва в этих темницах всегда сырая. Обитатель такого in расе имел ложем эту влажную землю. В одной из подземных келий виден обломок железного ошейника, вделанного в стену; в другом находится род квадратного ящика из гранита, слишком короткого, чтобы в нем лечь, слишком низкого, чтобы выпрямиться. Туда клали живое существо и сверху прикрывали гранитной крышкой. Это факт. Все это можно увидеть и потрогать. Эти in расе, эти темницы, эти железные двери, эти ошейники, это высокое слуховое окно, на уровне которого протекает река, эта каменная коробка, прикрытая гранитной крышкой, как могила, с той разницей, что здесь покойник живое существо, эта илистая почва, эти сырые стены — все это фразерство!

Глава 132

Монашество, в том виде, в каком оно существовало в Испании и существует до сих пор в Тибете — род чахотки для цивилизации. Оно останавливает жизнь. Оно просто-напросто губит население. Монастырское заточение — кастрация. Монашество было бичом Европы. Прибавьте к этому частые насилия над совестью, пострижения против воли; прибавьте то, что феодальная власть опиралась на монастырь, что право первородства заточало туда лишних членов семьи; прибавьте все эти зверства, о которых мы говорили, эти in pace, обеты безмолвия, столько заточенных умов, скованных вечными узами, погребение душ заживо. Прибавьте индивидуальные мучения к национальным унижениям, и кто бы вы ни были, вы содрогнетесь перед рясой и покрывалом, этими саванами, изобретенными человечеством.

Однако в некоторых отношениях и в некоторых местах, вопреки всякой философии, вопреки прогрессу, монашеский дух сохранился

среди XIX века и странное возрождение аскетизма удивляет в настоящее время цивилизованный мир. Упорство отживших учреждений вечно возрождаться похоже на упорство выдохшихся духов, которые не хотели бы расстаться с нашими волосами, на претензию испорченной рыбы, чтобы ее непременно съели, на упорство, с каким детское платье навязывалось бы человеку, ставшему взрослым, или на нежность трупов, которые пришли бы лобызать живых.

Неблагодарные, говорит одежда, я вас укрывала от непогоды, — почему же я вам больше не нужна? Я прямо из моря, — говорит рыба. Я когда-то была розой, — твердят выдохшиеся духи. Я вас любил, — говорит труп. Я цивилизовал вас, — говорит монастырь. На все это один ответ: это было когда-то. Мечтать о бесконечном продлении вещей, отживших свой век, реставрировать догматы, пришедшие в упадок, золотить заново раки, подновлять монастыри, освящать вновь ковчеги с мощами, освежать суеверия, фанатизм, восстанавливать

монашество и милитаризм, верить в спасение общества посредством размножения паразитов, навязывать прошлое настоящему — по меньшей мере странно.

Есть, однако, сторонники этих теорий. Теоретики (люди, впрочем, умные) практикуют весьма простой способ: они смазывают прошлое составом, который называют социальным порядком, божественным правом, нравственностью, семьей, уважением предков, священной традицией, законностью, религией и кричат: «Вот вам, берите, добрые люди». Эта логика была известна древним. Ее практиковали гаруспики. Они натирали мелом черную телку и говорили: «Она белая». Bos cretatus {Набеленный мелом бык (лат.). — Ювенал, Сатиры.}.

Что касается нас, то мы в иных случаях уважаем и во всем щадим прошлое, лишь бы оно действительно согласилось умереть.

Но коль скоро оно стремится ожить, мы протестуем и стараемся сокрушить его.

Суеверия, святошество, ханжество, лицемерие, предрассудки, несмотря на свою призрачность, упорно цепляются за жизнь; у них есть зубы и когти, хотя они не более как дым; с ними надо бороться врукопашную, вести беспрерывную войну; ибо роковой удел человечества вечно бороться с призраками. Трудно схватить тень за горло и сокрушить.

Монастырь во Франции среди XIX века — это гнездо сов среди белого дня. Монастырь, где жив аскетический дух, посреди этого города 1789, 1830 и 1848 года, Рим, расцветающий посреди Парижа, — чистейший анахронизм. В обыкновенное время, чтобы рассеять анахронизм, стоит только указать на год, но мы живем не в обыкновенное время. Будем бороться.

Будем бороться, но осмотрительно. Свойство истины — никогда не предаваться излишеству. Для чего ей преувеличивать? Есть вещи, которые приходится разрушать, и другие, которые надо просто осветить и рассмотреть. Кроткое,

серьезное исследование — какая сила! Не станем вносить пыла туда, где достаточно одного света.

Итак, в XIX веке мы вообще относимся враждебно к аскетическим заточениям у всех народов, как в Азии, так и в Европе, как в Индии, так и в Турции. Монастырь — это болото. Разлагающее влияние того и другого очевидно, их застой вредоносен, их брожение заражает народы лихорадкой и губит их; размножение монастырей становится египетской язвой. Мы не можем без ужаса помыслить о тех странах, где факиры, бонзы, сантоны, калоиеры, морабу, талапуаны и дервиши кишат, как черви.

Помимо этого, религиозный вопрос остается. В этом вопросе известные таинственные стороны, почти грозные, — да будет нам позволено взглянуть на них прямо.

Глава 133

Люди соединяются и живут сообща. В силу какого права? В силу права объединения.

Они запираются у себя. В силу какого права? В силу права каждого человека отворять или запирать свою дверь.

Они не выходят из четырех стен. По какому праву? По праву свободного передвижения, включающего также право оставаться у себя дома. Но там, дома, что они делают?

Они говорят тихим голосом, не поднимая глаз, трудятся. Они отрекаются от мира, от городов, чувственных наслаждений, удовольствий, суетности, гордыни и корысти. Они облекаются в грубую шерсть или холст. Ни один из них не владеет никакой собственностью. Поступая в монастырь, кто был богат, становится бедным. Что он имел, отдается всем. Кто был благородным дворянином, вельможей, становится равным тому, кто был простым крестьянином. Келья уравнивает всех. Все имеют одинаковую тонзуру, носят одинаковые рясы, едят один и тот же черный хлеб, спят на той же соломе, умирают на том же пепле. Одинаковый мешок за спиной, одна и та же веревка вокруг пояса. Если устав

требует ходить босиком — все ходят босиком. Среди них может встретиться принц, но и он такая же тень, как и все. Нет более титулов. Даже фамилии исчезают. Остаются одни имена, данные при крещении. Они отторгаются от мирской семьи, создают в своей общине семью духовную. Их родственники — все люди. Они помогают бедным, ухаживают за недужными. Они избирают из своей среды тех, кому безоговорочно повинуются. Они говорят друг другу: «Брат мой».

Вы, пожалуй, остановите меня и скажете: «Но ведь это идеальный монастырь».

Достаточно, чтобы это был возможный вариант, и в таком случае я должен принять его в расчет.

Вот почему в предыдущих главах я говорил об одной обители в почтительном тоне. Отстранив Средние века, отстранив Азию, оставив в стороне исторический и политический вопрос, с точки зрения чистой философии, и условившись, что пострижение было вполне добровольное, я всегда готов относиться к монастырской общине

серьезно и в некоторых отношениях с уступчивостью. Там, где община, там и коммуна; а там, где коммуна, там право. Монастырь продукт формулы: равенство, братство. О, как велика свобода! Какое великолепное преображение! Достаточно одной свободы, чтобы превратить монастырь в республику.

Продолжаем.

Эти мужчины или женщины запираются в четырех стенах, облекаются в грубые одежды, они все равны между собой, называют друг друга братьями или сестрами — прекрасно; но делают ли они еще что-нибудь?

Да.

Что именно?

Они устремляют взор во мрак, становятся на колени, складывают руки. Что же это значит?

Глава 134

Они молятся.

Кому?

Богу.

Молиться Богу, что значит это слово?

Есть ли бесконечность вне нас самих? И есть ли эта бесконечность постоянная, нескончаемая, необходимо предметная, — так как она бесконечность, и если бы ей недоставало материи, она была бы этим ограничена, — необходимо разумная, потому что она бесконечна, и если бы ей не хватало разума, она тут бы и кончалась?

Не есть ли это абсолютное, по отношению к которому мы являемся относительным?

И в то же время как существует бесконечность вне нас, нет ли бесконечности в нас самих? Эти две бесконечности (какое страшное множественное число) не противопоставляются ли друг другу? Не есть ли вторая бесконечность, так сказать, зеркало, отражение, эхо — бездна, отражающая другую бездну. Эта вторая бесконечность не такая ли же разумная? Мыслит

она, любит, желает? Если обе бесконечности разумны, у каждой есть принцип воли и как в высшей, так и в низшей есть личное я. Это я в низшей — душа, а в высшей — Бог.

Мысленно ставить в соприкосновение бесконечность низшую с бесконечностью высшей — значит молиться.

Ничего не будем отнимать у человеческого ума; уничтожать нехорошо. Надо преобразовывать и улучшать. Некоторые способности человека направлены к неведомому. Неведомое — океан. Что такое совесть? Это компас среди неведомого. Мысль, созерцание, молитва — это великие лучи тайны. Надо уважать их. Куда идут эти грандиозные радиусы души? К тени, то есть к свету.

Величие демократии в том и заключается, что она ничего не отрицает, ничего не отвергает. Наряду с правами человека стоят права души.

Подавлять фанатизм и глубоко чтить бесконечное Существо — вот закон. Не будем ограничиваться тем, что падем ниц перед древом

творения и будем созерцать его бесконечную ветвистость, полную звезд. У нас есть долг: работать над душой человеческой, предохранять тайну от чудес, обожать непонятное и отвергать нелепое, допускать в области необъяснимого лишь необходимое, оздоровлять верования, освобождать религию от предрассудков, обнять Бога.

Глава 135

Что касается способов молиться, все они хороши, лишь бы были искренни. Бросьте вашу молитвенную книгу и обратитесь к бесконечности.

Знаем, что есть философия, отрицающая бесконечность. Есть также философия, род болезни, отрицающая солнце; эта философия называется слепотой.

Возводить чувство, которого нам не хватает, в источник истины — прекрасное доказательство для слепого.

Любопытны эти горделивые снисходящие замашки, которые усваивает эта слепая философия, по отношению к той, которая видит и познает Бога. Точно крот, восклицающий: «Как они жалки со своим солнцем!»

Есть, как нам известно, знаменитые могучие атеисты. Они, в глубине души обращенные к истине, в силу их собственной мощи, не вполне уверены, что они атеисты; и что касается их, то это только вопрос терминологии; во всяком случае, если они не верят в Бога, то величие их ума подтверждает существование Бога.

Мы поклоняемся в них философам, в то же время осуждая их философию.

Продолжаем.

Достойна также удивления эта легкость, с которой многие отделываются словами. Одна метафизическая школа севера, слегка туманная, вообразила, что производит целый переворот в людских понятиях, заменив слово «сила» словом «воля».

Говорить: растение хочет, вместо — растение произрастает — было бы действительно очень плодотворно, если бы прибавили: вселенная хочет. Почему? Потому что из этого выходит следующее: если у растения — воля, следовательно, у него есть личное я; у вселенной воля — значит, в ней есть Бог.

Что касается нас, мы, однако, в противоположность этой школе, ничего не отвергаем a priori, нам кажется, что гораздо труднее допустить волю в растении, чем волю во вселенной, отрицаемую этой школой.

Отрицать волю бесконечности, то есть Бога, можно только при условии отрицания бесконечности, — мы это доказали.

Отрицание бесконечности ведет прямо к нигилизму. Все становится «концепцией разума».

С нигилизмом невозможен всякий спор, ибо логический нигилизм сомневается в существовании своего собеседника и не совсем уверен в своем собственном существовании.

С его точки зрения возможно, что он есть сам по себе не более как «концепция своего разума».

Но он не замечает, что все, что он отрицал, им же признается в массе только одним произнесением слова: разум.

В сумме никакой путь для мысли не открыт философией, которая все сводит к слову: нет.

На нет есть один только ответ: да.

Нигилизм без будущности.

Нет бездны. Нуль не существует. Все представляет собой что-нибудь. Ничто и есть ничто.

Человек живет утверждением еще больше, чем хлебом. Видеть и показывать, этого даже недостаточно. Философия должна быть энергией; она должна иметь целью и действием совершенствование человека. Сократ должен воплотиться в Адама и произвести Марка Аврелия; другими словами, заставить из человека, преданного блаженству, выйти человека мудрости. Превратить Эдем в ликей Аристотеля.

Наслаждаться — какая жалкая цель и какое вздорное стремление! И животное наслаждается. Мыслить — вот истинное торжество души. Предлагать Мысль для утоления жажды человека, давать им всем в виде эликсира Познание Бога, братски соединять в них совесть со знанием, делать их справедливыми посредством этого таинственного союза — таково назначение истинной философии. Нравственность — это расцвет истин. Созерцание ведет к действию. Безусловное должно быть практично. Надо, чтобы идеал сроднился со всеми потребностями ума человеческого. Именно идеал имеет право сказать:

— Примите, ядите: сие есть тело Мое, сия есть кровь Моя.

Мудрость есть святое причастие. При этом условии она перестает быть бесплодной любовью к науке, становится высоким способом единения людей и из философии превращается в религию.

Философия не должна быть архитектурным украшением, построенным на таинственности и

предназначенным только для того, чтобы смотреть на него с любопытством.

Что касается нас, то, откладывая развитие нашей мысли до другого случая, мы скажем только, что не понимаем человека как точку отправления, ни прогресс как цель, без этих двух сил, действующих в качестве двигателей: веры и любви. Прогресс есть цель, идеал есть образец.

Что такое идеал? Это Бог.

Идеал, совершенство, бесконечность — синонимы.

Глава 136

История и философия имеют обязанности, вечные и в то же время весьма простые; бороться против Каиафы — как первосвященника, Дракона — как судьи, Тримальхиона — как законодателя, Тиберия — как императора; это ясно, просто, не сложно и не представляет ничего туманного. Но к праву жить отчужденно даже при его неудобствах и злоупотреблениях надо

относиться осторожно. Отшельничество — проблема человечества.

Говоря о монастырях — этих убежищах заблуждений, но вместе с тем непорочности и добрых намерений, невежества, но вместе с тем и самоотречения, истязаний, но и мученичества, — всегда приходится говорить и да, и нет.

Монастырь — это противоречие. Цель его — спасение души, средство — жертвы. Монастырь — это высокий эгоизм, имеющий движущей силой высокое самоотречение.

Отречься от власти, чтобы властвовать, — вот, по-видимому, девиз монашества.

В монастыре страдают, чтобы наслаждаться. Ценой земного мрака покупают небесное блаженство.

Пострижение в иноки — самоубийство, за которое платится вечной жизнью.

Не думаю, чтобы по такому вопросу насмешки были уместны. Все в нем серьезно, как добро, так и зло.

Человек справедливый хмурит брови, но никогда не улыбается злой усмешкой. Мы понимаем гнев, но не злобу.

Глава 137

Еще несколько слов.

Мы осуждаем церковь, когда она пропитана интригами; мы презираем все духовное, алчное к мирскому, но мы всегда уважаем человека созерцающего.

Мы с почтением относимся к тому, кто преклоняет колени. Вера — это потребность для человека. Горе неверующему!

Быть погруженным в созерцание — не значит быть праздным. Есть труд видимый и труд невидимый.

Созерцать — это то же, что пахать; мыслить — то же, что действовать.

Сложенные руки трудятся. Воздетые к небу глаза делают свое дело. Фалес четыре года

оставался неподвижным. Он основал философию.

В наших глазах иноки — не праздные люди, а пустынники — не лентяи. Размышлять о непостижимом — вещь серьезная.

Не отказываясь ни от чего из сказанного выше, мы думаем, что постоянная память о могиле подобает живущим. В этом отношении духовное лицо и философ похожи. Умирать надо. Аббат ордена Траппистов перекликается с Горацием.

Примешивать к своей жизни известное присутствие могилы — это закон аскета. В этом смысле аскет и мудрец сходятся.

Существует материальное развитие; мы желаем его. Но есть также нравственная высота — ее мы ценим. Люди легкомысленные, скорые на заключения, говорят:

— К чему эти неподвижные фигуры? Кому они нужны? Что они делают?

Увы! Среди мрака, который нас окружает и ожидает нас, не ведая, что станется с нами, мы отвечаем:

— Быть может, нет деяния выше того, что делают эти души, быть может, нет труда более полезного.

Люди, вечно молящиеся, нужны ради тех, кто никогда не молится. В наших глазах весь вопрос в количестве мысли, примешанной к молитве.

Молящийся Лейбниц — это величественно. Вольтер, поклоняющийся божеству — прекрасно. Deo erexit Voltaire {Богу вознес молитву Вольтер (лат.).}.

Мы стоим за религию против религий.

Мы из тех, кто верит в ничтожество обрядных молитвословий и в высокое значение молитвы.

Впрочем, в момент, который мы переживаем, момент, который, к счастью, не сообщит XIX веку свой образ в такой час, когда столько людей с узким умом и низменной душою, среди стольких живущих, у которых вместо

нравственности на первом плане наслаждение и которые поглощены стяжательством, всякий, кто удаляется от мира, заслуживает в наших глазах уважения. Монастырь — отречение. Жертва, в основе которой заблуждение, все-таки остается жертвой. Поставить себе долгом суровое заблуждение — это не лишено величия.

Взятый сам по себе, с идеальной точки зрения, монастырь, в особенности женский, ибо в нашем обществе женщина страдает более мужчины, — а в этом монастырском заточении заключается протест, — монастырь женский, бесспорно, имеет известное величие.

Этот монастырский быт, столь суровый и мрачный, который мы только что обрисовали, — не жизнь, потому что в нем нет свободы; это и не могила, потому что в нем нет успокоения; это странное место, откуда как с вершины высокой горы виднеется с одной стороны бездна, где мы находимся, с другой — бездна, ожидающая нас. Это узкая туманная грань, разделяющая два мира, освещенная и омрачаемая одновременно, и где

слабый луч жизни смешивается со смутным лучом смерти, это полумрак могильный.

Что касается нас, которые не верят в то, во что веруют эти женщины, но как и они живут верой, мы никогда не могли видеть без некоторого религиозного страха, без известного сострадания, соединенного с завистью, этих самоотверженных, трепещущих, доверчивых существ, этих смиренных, но возвышенных душ, которые осмеливаются жить на самом краю тайны, между замкнутым для них миром и небом, которое еще не отверзлось перед ними; они проводят жизнь, обратив лицо к невидимому свету, имея одно счастье познавать, где этот свет, стремясь к бездне и неведомому, обратив взор в неподвижный мрак, коленопреклоненные, исступленные, трепещущие, порою волнуемые глубоким дыханием вечности.

Глава 138

В эту-то обитель Жан Вальжан, по выражению Фошлевана, и «свалился с неба».

Он перелез через стену сада, образующую угол улицы Поленсо. Ангельский гимн, услышанный им среди глухой ночи, было пение утрени монахинями; зала, которую он видел в полумраке, — была часовня; призрак, распростертый на земле, — сестра, творящая молитву за грехи мира; колокольчик, звук которого так удивил его, — был привязан к колену садовника, дяди Фошлевана.

Когда Козетта уснула, Жан Вальжан и Фошлеван, как уже сказано, поужинали с куском хлеба с сыром и стаканом вина перед ярким пылающим огнем; затем, так как единственная постель в сторожке была занята Козеттой, они улеглись каждый на охапку соломы. Прежде чем сомкнуть глаза, Жан Вальжан проговорил: «Я должен остаться здесь». Эти слова всю ночь не шли из головы у Фошлевана.

По правде сказать, ни тот ни другой не спали.

Жан Вальжан, сознавая, что его открыли и что Жавер идет за ним по пятам, понимал, что он и Козетта погибли, если только они вернутся в

город. Коль скоро новый порыв ветра занес его в монастырь, он только и помышлял о том, чтобы в нем остаться. Для несчастного в его положении этот монастырь был в одно и то же время местом и самым опасным, и самым надежным; опасным потому, что ни один мужчина не мог туда проникнуть, и если бы его там открыли, это сочли бы за преступление, и он прямо попал бы из монастыря в тюрьму; самым верным, потому что если бы ему удалось каким-нибудь образом добиться позволения там остаться, тогда никто бы не пришел за ним туда. Жить в месте недоступном — вот спасение.

Со своей стороны, Фошлеван ломал себе голову. С начала до конца он не понимал ровно ничего в этой истории. Каким образом господин Мадлен очутился тут, если кругом стены? Через монастырские стены трудно перебраться. Как он попал сюда с ребенком? Немыслимо перелезть через такую стену с ребенком на руках. Что это за ребенок? Откуда они явились оба? С тех пор как Фошлеван поступил в монастырь, он не слышал

ничего о мэре города Монрейля и ничего не знал о случившемся.

Мадлен держал себя так, что не допускал никаких расспросов, и к тому же Фошлеван размышлял про себя: «Святого человека нечего расспрашивать». Господин Мадлен сохранил в его глазах свое былое обаяние. Единственное, что только мог заключить садовник из нескольких слов, вырвавшихся у Жана Вальжана, что господин Мадлен, вероятно, обанкротился в тяжкие времена и его преследуют кредиторы; или что он скомпрометирован по политическому делу и потому скрывается; нельзя сказать, чтобы это не понравилось Фошлевану, который, подобно многим из наших крестьян севера, сохранил старую бонапартистскую закваску. Скрываясь, господин Мадлен избрал монастырь пристанищем, и ясно, что ему хотелось там остаться. Но самое загадочное, заставлявшее Фошлевана ломать себе голову, было то, что господин Мадлен очутился тут и вдобавок с ним маленькая девочка. Фошлеван видел их, дотрагивался до них, но все не мог поверить, что

они тут. Необъяснимое вторглось в хижину Фошлевана. Он путался в догадках и ничего не мог сообразить кроме одного: господин Мадлен спас ему жизнь. Этого единственного довода было достаточно, и он рассеял его сомнения. «Теперь моя очередь», — рассуждал он. А совесть его добавила: «Господин Мадлен не раздумывал так долго, когда пришлось лезть под повозку и вытаскивать меня оттуда», он решил, что спасет господина Мадлена.

Впрочем, он задал себе несколько вопросов и ответил на них. «После всего, что он для меня сделал, спас бы я его или нет, если бы он оказался вором? Спас бы, это все равно. А если бы он был убийцей? То же самое. А раз он святой, спасу я его? Понятное дело».

Но как оставить его в монастыре, вот что было задачей! Перед этой почти фантастической проблемой Фошлеван, однако, не отступил; этот бедный пикардийский крестьянин, не имея ничего, кроме своей преданности, пламенного желания и деревенской хитрости, на этот раз

направленной к великодушной цели, предпринял трудное дело — одолеть строгости монастыря и неприступные крутизны устава святого Бенедикта. Дядюшка Фошлеван всю жизнь свою был эгоистом и на склоне своих лет, хромой калека, нашел отраду в благодарности и, увидев перед собой добродетельный поступок, кинулся на него, точно человек, вдруг увидевший перед смертью стакан хорошего вина, которого никогда не пробовал. Надо добавить, что воздух, которым он дышал в этом монастыре, уничтожил в нем эгоизм и внушил потребность совершить какое-нибудь доброе дело.

Итак, он принял решение пожертвовать собою для господина Мадлена. Мы назвали его бедным пикардийским крестьянином. Название справедливое, но не полное. В этом месте нашей истории некоторая информация о дядюшке Фошлеване не будут лишней. Он был крестьянин, когда-то служивший письмоводителем у деревенского нотариуса, и это прибавляло некоторую долю сутяжничества к его сметливости и проницательности — к его

наивности. Потерпев неудачу в делах по разным причинам, он из письмоводителей превратился в извозчика и поденщика. Но среди ругательств и битья кнутом, по-видимому, необходимых для лошадей, в нем сохранились остатки прежней профессии. У него был природный ум; он не говорил «пришедши» или «поснедамши»; он умел разговаривать — вещь редкая в деревне, и крестьяне отзывались о нем: «Ишь, говорит словно барин в шляпе». Фошлеван действительно принадлежал к тому сорту людей, которые на дерзком и легкомысленном лексиконе прошлого века именовались полубуржуа, полудеревенщина и которые на языке метафор носили ярлык: не то мужик, не то горожанин, ни рыба ни мясо. Хотя Фошлеван был жестоко испытан судьбой и хотя бедная старая душа его много вынесла, но все-таки он был человек, повинующийся первому побуждению — черта драгоценная, не допускающая человека творить зло. Его недостатки и его пороки — они у него водились — были второстепенные; вообще говоря, его лицо было из тех, которые производят

недурное впечатление на наблюдателя. На этом старом лице не было неприятных морщин на лбу, означающих злобу или глупость.

На рассвете, о многом передумав, дядя Фошлеван открыл глаза и увидел господина Мадлена, который, сидя на своей связке соломы, любовался на спящую Козетту. Фошлеван сел и проговорил:

— Ну а теперь, коли вы сюда забрались, каким образом вы сюда войдете?

Эти слова подытоживали положение и вывели Жана Вальжана из его задумчивости.

Старики стали держать совет.

— Во-первых, — начал Фошлеван, — вы не выйдете отсюда, из этой комнаты, ни вы, ни девочка. Один шаг в сад — и мы пропали.

— Это верно.

— Господин Мадлен, — продолжал Фошлеван, — вы попали сюда в очень хорошую минуту, то есть я хотел сказать, очень дурную — одна из наших дам очень больна. Поэтому сейчас

не до нас. Кажется, она совсем при смерти. О ней молятся по сорок часов сряду. Во всей общине переполох. Там сейчас более не до чего. Умирающая-то — святая женщина. Впрочем, все мы здесь святые, вся разница между ними и мной в том, что они говорят: «Наша келья», а я говорю: «Моя каморка». Теперь будут читать отходную, а потом за упокой души. На сегодняшний день мы можем быть здесь спокойны; но за завтрашний день я не ручаюсь.

— Однако, — заметил Жан Вальжан, — эта лачужка расположена в углу стены, скрыта развалиной, тут много деревьев, и ее вовсе не видно из монастыря.

— А я добавлю, что монахини никогда сюда не подходят.

— Так в чем же дело? — спросил Жан Вальжан.

Этот вопрос означал: мне кажется, здесь можно остаться скрытым. На эту мысль Фошлеван отвечал:

— А девочки?

— Какие девочки? — спросил Жан Вальжан.

Фошлеван собирался было открыть рот, чтобы объяснить свои слова, как вдруг раздался колокол.

— Монахиня умерла, — молвил он. — Вот и похоронный звон.

Он сделал Жану Вальжану знак, чтоб он прислушался. Колокол ударил во второй раз.

— Это звон по умершей, господин Мадлен. Колокол так и будет звонить постоянно в течение 24 часов, до выноса тела из церкви. Но вот видите ли, девочки играют. Стоит мячику закатиться куда-нибудь, и они, несмотря на запреты, бегут и шарят здесь повсюду. Чистые чертенята эти херувимчики!

— Да кто же это? — полюбопытствовал Жан Вальжан.

— Девочки. Вас быстро обнаружат, будьте покойны. Они закричат: «А, мужчина!» Сегодня-то нет никакой опасности. Прогулки не

полагается. Весь день пройдет в молитве. Вот, слышите, опять колокол. Я говорил вам, будет по одному удару в минуту. Это звонят по покойнице.

— Понимаю, дядюшка Фошлеван. Здесь есть пансионерки.

И Жан Вальжан подумал про себя:

«О воспитании Козетты нечего было бы и беспокоиться».

— Еще бы! Как не быть девчуркам! А кто бы щебетал вокруг вас, а кто бы бегал прочь! Здесь быть мужчиной все равно, что быть зачумленным. Видите, мне привязали колокольчик к ноге, словно дикому зверю.

Жан Вальжан все глубже погружался в размышления.

— Этот монастырь спасет нас, — шептал он.

— Самое затруднительное, как здесь остаться, — проговорил он, возвысив голос.

— Нет, — ответил Фошлеван, — труднее всего — выйти отсюда.

Жан Вальжан почувствовал, как вся кровь отхлынула у него от сердца.

— Выйти отсюда!..

— Да, господин Мадлен, чтобы вернуться, надо сначала выйти.

Пропустив один удар колокола, Фошлеван продолжал:

— Вас никак не должны застать здесь. Откуда вы вошли? Для меня вы свалились с неба, потому что я вас знаю; но для монахинь надо, чтобы вы вошли в ворота.

Вдруг раздался довольно сложный трезвон других колоколов.

— А! — молвил Фошлеван. — Теперь созывают матушек гласных. Они отправятся на капитул. Всегда созывают капитул, когда ктонибудь умрет. Она умерла на рассвете. Обыкновенно все умирают на рассвете. Но нельзя ли вам выйти оттуда же, откуда пришли? Ну-ка скажите — право, это не ради

любопытства — каким манером вы сюда забрались?

Жан Вальжан побледнел; одна мысль вернуться на ту ужасную улицу бросала его в дрожь. Представьте, что вы вышли из леса, полного тигров, и вдруг вам подают дружеский совет вернуться туда. Жан Вальжан представлял себе, что улица все еще кишит полицейскими, повсюду ему чудились агенты, караульные, грозные кулаки, протягивающиеся к его вороту; а на перекрестке, быть может, сам Жавер.

— Невозможно! — проговорил он. — Фошлеван, допусти, что я свалился с неба.

— Да я-то верю, верю, — отвечал Фошлеван. — Вам нет нужды убеждать меня. Бог, верно, взял вас в руку, чтобы разглядеть поближе, а потом и выпустил. Только он хотел кинуть вас в мужской монастырь, да ошибся. Ну, еще трезвон. На этот раз предупреждают привратника, чтобы он пошел звать врача освидетельствовать тело. Экая, подумаешь, церемония умирать. Не очень-то они любят этот визит, наши добрые дамы.

Доктора — это народ, который ни во что не верит. Доктор прямо поднимает покрывало; случается, что поднимает и кое-что другое. А быстро они на этот раз позвали врача. Что бы это значило? А ваша маленькая девочка все еще спит? Как ее звать?

— Козеттой.

— Дочка она вам или, так сказать, вы будете ей дедушкой?

— Да.

— Для нее выбраться отсюда — плевое дело. Для меня есть черная дверь, ведущая во двор. Стучу, привратник отворяет; у меня плетенка за спиной, девочка сидит в ней, и я выхожу. Дядюшка Фошлеван прошел со своей плетенкой — чего проще? Маленькой вы накажете сидеть тихо. Она будет под парусиной. Я отнесу ее на время к одной своей старой глухой приятельнице, торговке на улице Шемен-Вер; у нее найдется постель для девочки. Я прокричу торговке в уши, что это моя племянница и чтоб она оставила ее у себя до завтра. Потом малышка

вернется вместе с вами, потому что вы все-таки вернетесь сюда — это надо устроить непременно. Но вот оказия, как вам-то выйти?

Жан Вальжан покачал головой.

— Весь вопрос в том, чтобы никто меня не видел, дядюшка Фошлеван. Найдите средство вынести и меня, как Козетту, в плетеной корзинке и под парусиной.

Фошлеван почесывал себе за ухом средним пальцем левой руки, — признак серьезного замешательства.

В третий раз звонки прервали разговор.

— Вот теперь уходит доктор, — заметил Фошлеван. Он посмотрел и сказал: — Ладно, она умерла. Когда доктор визирует паспорт в рай, контора погребальных церемоний присылает гроб. Если покойница была честная мать, ее кладут в гроб матушки, если это была сестра — ее укладывают сестры. Затем я заколачиваю гроб. Это входит в мои обязанности садовника. Садовник отчасти и могильщик. Ее ставят в

покой около церкви, сообщающийся с улицей и куда ни один мужчина не может войти, кроме доктора. Себя и факельщиков я не считаю мужчинами. В этом-то покое я заколачиваю гроб. Факельщики являются за ними, и кучер стегает по лошадям! Вот так-то путешествуют на небо. Приносят пустой ящик, а уносят его с поклажей.

Вот что такое похороны. De profundis {«Из глубины взываю» (лат.) — начало заупокойного псалма.}.

Луч солнца скользил по лицу спящей Козетты, полуоткрывшей губы и похожей на ангела, который упивается светом. Жан Вальжан принялся смотреть на нее. Он уже не слушал Фошлевана. Это не мешало доброму старому садовнику мирно продолжать свою болтовню:

— Вот роют яму на кладбище Вожирар. Рассказывают, что скоро вовсе его упразднят. Это старое кладбище, не признающее уставов, не имеющее мундира, и ему скоро дадут отставку. Это жалко, потому что оно удобно. Там у меня есть приятель, дядя Метиенн, могильщик.

Здешние монахини имеют поблажку — их отвозят на это кладбище в сумерках. Есть на это особый приказ префектуры. Подумаешь, сколько событий со вчерашнего дня! Мать Крусификсион умерла, а дядя Мадлен…

— Похоронен, — промолвил Жан Вальжан с печальной улыбкой. Фошлеван подхватил шутку:

— А ведь и правда! Останься вы здесь навсегда, это было бы настоящим погребением.

В четвертый раз зазвонил колокол. Фошлеван проворно снял со стены наколенник с колокольчиком и пристегнул его к ноге.

— На этот раз зовут меня. Мать-настоятельница требует. Господин Мадлен, сидите здесь, не трогайтесь с места и ждите меня. Случилось что-то новое. Если вы проголодались, тут есть хлеб, вино и сыр.

Он вышел из лачуги, приговаривая: «Иду, сейчас иду».

Жан Вальжан видел, как он торопливо бежал по саду, насколько позволяла ему хромая нога,

искоса поглядывая на свои дынные грядки.

Минут десять спустя дядюшка Фошлеван, распугивая своим колокольцем монахинь по дороге, осторожно стучался в дверь, и тихий голос говорил: «Аминь, аминь», то есть войдите.

Это была особая дверь в разговорную, предназначенная для надобностей службы. Разговорная была смежна с залой, где заседал капитул. Настоятельница сидела на единственном стуле приемной и ждала Фошлевана.

Глава 139

Взволнованный и торжественный вид составляет принадлежность некоторых характеров и профессий в критических случаях; он свойственен именно священникам и монахам. В ту минуту, когда вошел Фошлеван, эта двойная форма озабоченности отражалась на лице настоятельницы — той самой очаровательной и ученой девицы де Блемёр, матери Иннокентии, которая отличалась неизменной веселостью.

Садовник робко поклонился и остановился на пороге кельи.

Настоятельница, перебиравшая четки, подняла на него глаза и произнесла:

— А, это вы, дядя Фован.

Такое сокращение было принято в монастыре. Фошлеван снова отвесил поклон.

— Дядя Фован, я за вами посылала.

— Вот я и явился, честная мать.

— Мне надо поговорить с вами.

— А мне со своей стороны, — сказал Фошлеван с отвагой, втайне испугавшей его самого, — мне тоже надо кое-что передать вам, ваше преподобие.

Настоятельница взглянула на него.

— А! Вы желаете сделать мне сообщение!

— Нет, это просьба.

— Ну, говорите.

Старик Фошлеван, бывший деревенский письмоносец, принадлежал к категории мужиков с апломбом. Известная умелая простота — своего рода сила; никто не думает ее остерегаться, а она-то и проводит вас. За те два с лишним года, которые он прожил в монастыре, Фошлевану повезло в общине. Он был вечно одинок, наблюдая за своим садом, ему не оставалось иного занятия, как изучать все вокруг. Вдали от этих закутанных покрывалами женщин, снующих взад и вперед, он сначала видел в них какие-то мелькающие тени. Но с помощью внимания, проницательности ему удалось облечь эти призраки в плоть и кровь, и эти мертвецы ожили в его глазах. Он был как глухой, у которого развивается до тонкости зрение, или как слепой, с необычайно чутким ухом. Он постарался изучить смысл всевозможных звонков и достиг в этом совершенства, так что загадочная и мрачная обитель не имела от него тайн; этот сфинкс разбалтывал ему на ухо все свои секреты. В том-то и заключалось его искусство. Весь монастырь считал его придурковатым. Великое достоинство

в глазах монашествующих. Матери гласные ценили Фошлевана. Это был немой любопытный. Он внушал к себе доверие. Да и к тому же он был аккуратен, выползал из своей избушки лишь тогда, когда этого требовал уход за фруктовым садом и огородом. Такую скромность заметили и зачли в число его достоинств. Тем не менее он заставил проболтаться двух людей: в монастыре консьержа, и узнал от него все подробности «разговорной», а на кладбище — могильщика, от которого разведал все частности погребения. Таким образом, он имел о монахинях сведения двоякого рода — одни о жизни, другие о смерти. Но он не злоупотреблял ими. Конгрегация очень дорожила им. Старый, колченогий, подслеповатый, вероятно, слегка тугой на ухо, — сколько достоинств! Его трудно было бы заменить.

С уверенностью человека, сознающего себе цену, старик затянул перед настоятельницей деревенскую речь, весьма пространную и глубокомысленную. Он подробно распространился о своей старости, своих

немощах, о бремени лет, о возрастающих требованиях работы, о величине сада, о том, что ему приходится проводить ночи без сна, как, например, прошлую ночь, когда он расстилал рогожки над дынями, и в конце концов пришел к следующему: есть у него брат (настоятельница сделала движение), человек уж очень не молодой (другое движение, но уже более спокойное), и если будет на то милость ее преподобия, этот брат мог бы прийти жить с ним и помогать ему; он славный садовник, и его услуги окажутся очень полезными общине, еще полезнее его собственных; наконец, если на то не дадут разрешения, то он, старший брат, чувствуя себя совсем разбитым и не способным исполнять всю работу, к сожалению, должен будет уйти; у брата есть маленькая девочка, которую он тоже приведет с собой, она может воспитываться здесь же в страхе Божием и — кто знает — быть может, когда-нибудь сделается инокиней.

Когда он кончил, настоятельница перестала перебирать четки и промолвила:

— Можете вы до сегодняшнего вечера достать крепкий железный брус?

— Для чего это?

— Чтобы заменить рычаг.

— Точно так, могу, честная мать, — отвечал Фошлеван.

Настоятельница, не говоря ни слова, встала и перешла в соседнюю комнату, где, вероятно, заседал капитул и собрались все матери гласные. Фошлеван остался один.

Глава 140

Прошло с четверть часа. Настоятельница вернулась и опять села на стул. Оба собеседника казались озабоченными. Постараемся передать их разговор со стенографической точностью.

— Дядя Фован?

— Что угодно, честная мать?

— Вы знаете капеллу?

— Как же, у меня есть там своя клетушка, откуда я слушаю обедню.

— И вам случалось бывать на клиросе по делам службы?

— Раза два-три.

— Придется приподнять каменную плиту.

— Тяжелую?

— Ту плиту, что у самого престола.

— Которая закрывает склеп?

— Ту самую.

— В подобном случае, хорошо бы иметь двоих мужчин.

— Мать Вознесение сильна как мужчина, она поможет вам.

— Женщина все же не то, что мужчина.

— Что делать, у нас найдется только женщина, чтобы помочь вам. Каждый трудится по мере сил своих. Из-за того, что дон Мабильон дает четыреста семнадцать посланий святого

Бернарда, а Мерлоний Горстий дает лишь триста шестьдесят семь, я не могу презирать Мерлония Горстия.

— И я также.

— Заслуга в том, чтобы трудиться по своим силам. Монастырь не лесной двор.

— А женщина не мужчина. А вот брат мой — то-то силач.

— К тому же у вас будет рычаг.

— Это единственный ключ, подходящий к такого рода дверям.

— В плите есть кольцо.

— Я продену в него рычаг.

— Камень приспособлен так, что повернется на оси.

— Ладно, честная мать, я открою склеп.

— Четыре матери-певчие помогут вам.

— А когда склеп будет открыт?

— Придется опять завалить его.

— И это все?

— Нет.

— Приказывайте, ваше преподобие.

— Фован, мы вам доверяем.

— Для того я здесь и нахожусь, чтобы все исполнять.

— И обо всем молчать.

— Так точно, честная мать.

— Когда склеп будет открыт…

— Я его опять завалю.

— Но перед тем…

— Что такое, честная мать?

— Надо опустить туда кое-что.

Наступило молчание. Настоятельница нарушила его с легким движением нижней губы, смутно выражающей некоторое колебание.

— Дядя Фован!

— Что угодно, честная мать?

— Вы знаете, что сегодня утром скончалась монахиня.

— Нет, не знаю.

— Разве вы не слышали колокола?

— В конце сада ничего не слыхать.

— В самом деле?

— Я едва распознаю свой звонок.

— Она преставилась на рассвете.

— Да и к тому же ветер дул не в мою сторону.

— Это мать Крусификсион. Праведница.

Игуменья умолкла на мгновение, зашевелила губами, творя молитву, и продолжала:

— Три года тому назад одна янсенистка, госпожа де Бетюн, обратилась в правую веру только из-за того, что видела, как молится эта святая женщина.

— Ах да, теперь я слышу похоронный звон, честная мать.

— Монахини отнесли ее в покойницкую, что около церкви.

— Знаю.

— Ни один мужчина, кроме вас, не смеет и не может проникнуть в эту комнату. Наблюдайте за этим хорошенько. Славно было бы, если бы мужчина вдруг вошел в покойницкую.

— Как бы не так!

— Что такое?

— Как бы не так!

— Что это вы говорите?

— Я говорю — как бы не так!

— Я вас не понимаю. Почему вы говорите: как бы не так?

— Я хотел вторить вам, честная мать.

— Да ведь я не говорила как бы не так.

— Правда, вы-то не говорили, а я все-таки сказал, чтобы вторить за вами.

В эту минуту пробило девять часов утра.

— В девять часов и на всякий час, хвала и поклонение пречестным Дарам престола, — произнесла настоятельница.

— Аминь, — заключил Фошлеван.

Часы пробили кстати. Они прервали историю с «как бы не так». Иначе настоятельница и Фошлеван, пожалуй, никогда бы не выпутались из этой канители.

Фошлеван вытер себе лоб, покрытый потом.

Настоятельница что-то прошептала, вероятно священное, и продолжала громко:

— При жизни своей мать Крусификсион совершала обращения в истинную веру; после смерти она будет творить чудеса!

— Конечно будет! — отозвался Фошлеван, стараясь попасть в надлежащий тон, чтобы уж больше не сбиваться.

— Дядя Фован, община была благословенна в лице матери Крусификсион. Конечно, не всем дано счастье умирать, как кардинал Верульский за служением святой мессы, и испускать

последнее дыхание со словами: Hanc igitur oblationem {«Вот это приношение» (лат.) — слова из католической мессы.}. Но хотя мать Крусификсион и не достигла столь высокого счастья, однако смерть ее была блаженная. До последней минуты она была в памяти. Она говорила с нами, потом беседовала с ангелами. Она передала нам свою последнюю волю. Если бы в вас было немного больше веры и если бы вы могли быть в ее келье, она исцелила бы вашу больную ногу одним прикосновением. Она все время улыбалась. Так и чувствовалось, что она воскресает во Христе. К этой кончине примешивалось райское блаженство.

Фошлеван думал, что настоятельница читала молитву.

— Аминь, — произнес он.

— Дядя Фован, надо выполнить волю усопшей.

Настоятельница перебирала четки. Фошлеван молчал. Наконец она продолжала:

— Я советовалась по этому вопросу со многими отцами церкви, сочинения которых представляют несравненный источник знаний.

— Ваше преподобие, а ведь отсюда похоронный звон слышнее, чем из сада.

— К тому же это не простая усопшая, а святая.

— Как и вы, честная мать.

— В течение двадцати лет она спала в своем гробу, по особому разрешению нашего святейшего отца Пия VII.

— Того самого, что короновал императора Буонапарта.

Для человека такого ловкого, как Фошлеван, воспоминание было весьма неудачное. К счастью, игуменья, вся погруженная в свою мысль, не слышала его.

— Дядя Фован? — продолжала она.

— Что угодно, честная мать?

— Святой Диодор, архиепископ каппадокийский, пожелал, чтобы на его могиле начертали единственное слово: «Acarus», то есть земляной червь, и это было исполнено. Не так ли?

— Точно так, честная мать.

— Блаженный Меццокан, аббат аквильский, пожелал быть погребенным под виселицей, и это было исполнено.

— Это правда.

— Святой Терентий, епископ Порта у устьев Тибра, потребовал, чтобы на его могиле был сделан такой же знак, какой делается у отцеубийц в надежде, что прохожие будут плевать на его прах. Это было исполнено. Надо повиноваться усопшим.

— Аминь.

— Тело Бернарда Гвидония, родившегося во Франции близ Рош-Абель, было, по его повелению и вопреки запрещению короля кастильского, перевезено в церковь

доминиканцев в Лиможе, хотя Бернард Гвидоний был епископ города Тюи в Испании. Можно ли возражать против этого?

— Ну уж конечно нельзя, честная мать.

— Факт засвидетельствован Плантавитом Фосса.

Настоятельница в молчании принялась перебирать четки.

— Дядя Фован, — продолжала она, — мать Крусификсион будет предана земле в том самом гробу, в котором спала в течение двадцати лет.

— Так и следует.

— То будет как бы продолжением ее сна.

— Значит, мне придется заколачивать ее в этом гробу?

— Да.

— А гроб, доставленный конторой, надобно спрятать?

— Именно.

— Я готов к услугам честной общины.

— Четыре матери помогут вам.

— Заколачивать гроб? Да мне не нужно помощи.

— Нет, опускать его.

— Куда?

— В склеп.

— Какой склеп?

— Под престолом.

Фошлеван так и подскочил.

— Склеп под престолом?..

— Ну да, разумеется.

— Да ведь…

— У вас будет железный брус.

— Да, но ведь…

— Вы приподнимете плиту железным шестом при помощи кольца.

— Но ведь…

— Надо повиноваться воле усопших. Быть погребенной в склепе под престолом капеллы, не быть преданной грешной земле, оставаться после смерти там, где она была при жизни, — такова была воля матери Крусификсион. Она нас просила об этом, а ее просьба — закон.

— Да ведь это запрещено.

— Запрещено людьми, повелено Богом…

— А если узнают как-нибудь?

— Мы вам доверяем.

— О, я, что до меня касается, так я нем, как камень ваших стен.

— Капитул собрался. Матушки гласные, с которыми я еще советовалась и которые теперь совещаются, решили, что мать Крусификсион будет погребена, согласно ее желанию, в своем гробу и под нашим престолом. Посудите сами, дядя Фован, вдруг здесь станут твориться чудеса. Какая благодать Божия для общины! Чудеса исходят из могил.

— Ваше преподобие, а если вдруг агент санитарного ведомства…

— Святой Бернард, по вопросу о погребении, боролся с Константином Погонатом.

— Однако полицейский комиссар…

— Хонодмер, один из семи германских королей, вступивших в Галлию в царствование Констанция, признал право монашествующей братии погребать своих усопших в благочестии, то есть под престолом.

— Но ведь инспектор префектуры…

— Весь мир ничто перед честным Крестом. Мартин, одиннадцатый генерал шартрезов, дал своему ордену следующий девиз: Stat crux dum volvitur orbis {Крест стоит, пока вращается вселенная (лат.).}.

— Аминь, — молвил Фошлеван, невозмутимо выходя из затруднительного положения таким образом всякий раз, как слышал латынь.

Для человека, долго молчавшего, все равно, кто его слушает. В тот день, когда ритор

Гимнасторас вышел из тюрьмы, с головой, переполненной массой долго сдерживаемых дилемм и силлогизмов, он остановился у первого дерева, произнес перед ним речь и употребил все усилия, чтобы убедить его. Так и настоятельница, подчиняясь обыкновенно правилу молчания и чувствуя, что ее переполняет желание высказаться, поднялась с места и разразилась потоком слов, как прорванная плотина:

— По правую руку у меня святой Бенедикт, по левую святой Бернард. Кто такой Бернард? Первый епископ клервонский. Фонтэн в Бургундии — благословенное место, где он родился. Отец его назывался Меселен, а мать Алета. Он начал с Сито и дошел затем до Клерво; он был рукоположен в аббаты епископом Шалона на Соне Гильомом де Шампо; У него было семьсот послушников, и он основал сто шестьдесят монастырей; он победил Абеляра на соборе в Сансе в 1140 году, затем Пьера Врю и Генриха, его ученика; он привел в смущение Арнольда Брешианского, победил монаха Рауля, избивавшего евреев, диктовал свою волю в 1148

году на Рейнском соборе, заставил осудить Жильберта Перейского, епископа Пуатье, осудил Эон л'Этуаль, уладил неурядицы между принцами, просветил короля Людовика Молодого, давал советы папе Евгению III, благословлял Крестовые походы, сотворил в течение своей жизни двести пятьдесят чудес и до тридцати девяти в один день. А что такое Бенедикт? Это патриарх Монте-Кассино; это второй столп монашества, это Василий Великий Запада. Из его ордена вышли сорок пап, двести кардиналов, пятьсот патриархов, тысяча шестьсот архиепископов, четыре тысячи шестьсот епископов, четыре императора, двенадцать императриц, сорок шесть королей, сорок одна королева, три тысячи шестьсот святых, канонизированных церковью, существующего 1400 лет. С одной стороны святой Бернард, с другой — санитарный агент! С одной стороны святой Бенедикт, с другой — полицейский инспектор! Государство, полиция, контора погребальных церемоний, уставы, администрация — разве мы знаем все это?

Всякий прохожий возмутится тем, как с нами обращаются. Мы не имеем даже права предавать прах свой Христу! Наше санитарное ведомство — революционная выдумка. Подчинять Господа Бога полицейскому комиссару, — каков век! Молчи, Фован!

Фошлеван под этим потоком слов чувствовал себя не совсем в своей тарелке. Настоятельница продолжала:

— Права монастыря насчет погребения несомненны для каждого. Отрицать их могут разве фанатики и заблудшие. Мы переживаем времена страшного заблуждения. Люди не знают именно того, что им следует знать, и знают то, чего не следует. Ныне век невежд и богохульников. В нашу эпоху есть люди, не умеющие отличить великого святого Бернарда от некоего доброго священника Бернарда, жившего в XIII веке. Другие доводят богохульство до того, что сравнивают эшафот Людовика XVI с крестом Христовым. Людовик XVI был король и не более. Надо помнить Бога! Нет больше справедливости

на земле. Все знают имя Вольтер, а не ведают имени Цезаря Бюсского. А между тем Цезарь Бюсский был праведник, а Вольтер нечестивец. Последний архиепископ кардинал Перигорский не знал даже, что Шарль Гондренский был преемником Берульского, Франсуа Бургоенский — преемником Гондренского, а Жан-Франсуа Сено последовал за Бургоенским. Имя отца Котона известно не потому, что он был один из трех святителей, содействовавших основанию оратории, а потому, что он служил мишенью для критики гугенотскому королю Генриху IV Святой Франсуа Салийский потому только приятен светским людям, что он плутовал в игре. А потом еще бранят религию. Почему? Потому что были и дурные священники, потому что Сагитарий, епископ гаппский, был брат Салона, епископа амбрёнского, и оба последовали за Моммолем. Что же из этого? Разве это помешало Мартину Турскому быть праведником и отдать половину своего плаща нищему? Святых подвергают гонениям. Истины умышленно не хотят видеть. Потемки —

привычное состояние людей. Самые свирепые животные — животные слепые. Никто не помышляет об аде. О, развращенный народ. «Во имя короля» — означает ныне «во имя революции». Неизвестно, что мы должны воздавать мертвым. Воспрещается умирать смертью праведников. Обряд погребения — дело гражданское. Это ужас! Лев II написал два специальных послания — одно Петру Нотарскому, другое королю визиготов с целью ратовать против власти экзарха и императора по всем вопросам, касающимся усопших. Готье, епископ шадонский, боролся по этому поводу с Оттоном, герцогом бургундским. Старая магистратура вполне соглашалась с этим. В былые времена мы имели голос в совете даже по делам мирским. Аббат ситосский, генерал ордена, был советником в бургонском парламенте. Мы можем поступать с нашими мертвецами, как нам угодно. Разве останки самого святого Бенедикта не находятся во Франции, в аббатстве Флери, между тем как он преставился в Италии в Монте-Кассино, в субботу, 21 марта лета 543? Все это

неоспоримо. Я ненавижу лицемеров, презираю еретиков, но возненавидела бы еще сильнее того, кто стал бы утверждать противное. Стоит почитать Арнуля Виона, Габриеля Бюселена, Тритема, Мауроликуса и Луку Антерийского.

Настоятельница перевела дух и обернулась к Фошлевану.

— Итак, решено, дядя Фован?

— Решено, ваше преподобие.

— Можно на вас положиться?

— Я повинуюсь.

— Прекрасно.

— Я душой предан монастырю.

— Превосходно. Вы закроете гроб. Сестры снесут его в капеллу, отслужат панихиду, затем удалятся в монастырь. Между одиннадцатью часами и полуночью вы явитесь с железным брусом. Все произойдет под покровом глубокой тайны. В капелле не будет никого, кроме

четверых матушек певчих, матери Вознесения и вас.

— А сестра у столба?

— Та не обернется.

— Но услышит.

— Она не будет слушать. Да и к тому же что известно монастырю, неведомо миру.

Наступило молчание. Настоятельница продолжала:

— Вы снимете свой колокольчик. Нет надобности, чтобы сестра у столба заметила ваше присутствие.

— Ваше преподобие?

— Что еще, дядя Фован?

— А доктор уже окончил свой визит?

— Он придет сегодня в четыре часа; уже прозвонил сигнал, призывающий доктора. Да вы, кажется, не слышите никаких звонков?

— Я обращаю внимание только на свой звонок.

— Это похвально, дядя Фован.

— Честная мать, понадобится рычаг по крайней мере длиной футов шесть.

— Где вы его добудете?

— Где много решеток, там нет недостатка и в железных прутьях. У меня целая куча железного хлама в конце сада.

— Не забудьте, приблизительно три четверти часа перед полуночью.

— Честная мать?

— Что надо?

— Если когда случится другая работа в таком роде — так мой брат — страх какой силач. Настоящий турок!

— Вы, конечно, поторопитесь.

— Ну, я не больно прыток. Я калека; для этого-то мне и нужен помощник. Я прихрамываю.

— Хромота не порок, а может быть, даже благодать. Император Генрих II, боровшийся против антипапы Григория и восстановивший Бенедикта VIII, имел два прозвища: Святого и Хромого. А вот что, Фован, я теперь сообразила, на это дело понадобится целый час. Будьте у престола со своим железным брусом ровно в одиннадцать. Служба начинается в полночь. Надо, чтобы все было кончено за добрых четверть часа.

— Я употреблю все силы, чтобы доказать общине свое усердие. Дело сладится вот как: я заколочу гроб. В одиннадцать часов ровно я явлюсь в капеллу. Там уже будут матушки певчие и мать Вознесение. Двое мужчин — куда бы лучше. Да уж что делать! У меня будет рычаг. Мы откроем склеп, опустим туда гроб и опять закроем склеп. Затем никаких следов. Правительство ни о чем не проведает. Честная мать, значит, все тем и кончится, не так ли?

— Нет.

— Что же еще?

— Остается пустой гроб.

Наступила пауза. Настоятельница задумалась. Задумался и Фошлеван.

— Дядя Фован, а что делать с пустым гробом?

— Мы повезем его хоронить?

— Пустой?

Опять молчание. Фошлеван сделал левой рукой жест, как бы отгоняющий тревожную мысль.

— Ваше преподобие, ведь я буду заколачивать гроб в покое около церкви, и никто не может туда входить, кроме меня; я сам и наложу на него покров.

— Да, но носильщики, ставя гроб на дроги и опуская его в могилу, почувствуют, что в нем ничего нет.

— Ах ты че!.. — воскликнул Фошлеван.

Настоятельница осенила себя крестным знамением и пристально посмотрела на

садовника. Конец слова застрял у него в горле.

Он постарался поскорее найти выход из затруднения, чтобы заставить забыть свое крепкое словцо.

— Честная мать, я наложу земли в гроб. Это будет иметь такой вид, будто там кто-то есть.

— Вы правду говорите. Земля, прах — это то же, что человек. Итак, вы уладите дело насчет пустого гроба.

— Берусь все устроить.

Лицо настоятельницы, до тех пор хмурое, прояснилось. Она сделала начальнический жест, в знак того, что разрешает подчиненному удалиться. Фошлеван направился к двери. Он уже собирался выйти, как вдруг снова раздался голос настоятельницы:

— Дядя Фован, я довольна вами; завтра после похорон приведите мне вашего брата, да скажите ему, чтобы он захватил с собой и девочку.

Глава 141

Шаги хромоногого, как и взгляды косого — не скоро добираются до цели. Да и к тому же Фошлеван был взволнован. Он употребил целых четверть часа, чтобы вернуться в лачужку. Козетта уже проснулась. Жан Вальжан усадил ее к пылающему огню. В ту минуту, когда входил Фошлеван, Жан Вальжан показывал ей на садовничью корзину, висевшую на стене:

— Выслушай меня хорошенько, Козетта, — говорил он. — Нам придется выйти из этого дома, но мы скоро вернемся, и нам будет здесь очень хорошо. Этот старичок унесет тебя на плечах в своей корзине. Ты подождешь меня у одной женщины, а я приду за тобой. Если ты не хочешь, чтобы Тенардье забрала тебя, слушайся и не говори ни слова.

Козетта кивнула головой с серьезным видом.

При звуке отворявшейся двери Жан Вальжан обернулся.

— Ну что? — спросил он Фошлевана.

— Все улажено, а в сущности ничего не улажено, — отвечал тот. — Я получил позволение привести вас, но для этого надо сначала предоставить вам возможность выбраться отсюда. Вот где зацепка. Относительно малышки дело плевое.

— Ты унесешь ее на спине.

— Только будет ли она молчать?

— Ручаюсь, что будет.

— Ну а вы?.. С вами как быть, дядя Мадлен?

И после некоторого молчания, полного тоски, Фошлеван продолжал:

— Да выходите, наконец, откуда пришли.

Как и в первый раз, Жан Вальжан ограничился одним словом:

— Невозможно.

Фошлеван, беседуя более с самим собою, нежели с Жаном Вальжаном, бормотал:

— Меня мучит еще другая вещь. Я сказал, что наложу туда земли. А теперь как подумаю,

земля-то вместо тела вовсе не будет ладно, заколыхается, пожалуй, пересыпаться станет, люди-то и заметят. Понимаете, дядя Мадлен. Долго ли до греха, правительство и узнает.

Жан Вальжан пристально посмотрел на него; ему показалось, что он бредит.

— Каким манером, черт возьми, вы отсюда выберетесь? А ведь надо все это оборудовать до завтрашнего дня. Завтра велено привести вас. Настоятельница вас ждет.

И он объяснил Жан Вальжану, что это награда за услугу, оказываемую им, Фошлеваном, общине, что в число его обязанностей входило прислуживание при погребениях, что он заколачивает гроб и помогает могильщику. Он рассказал далее, что монахиня, преставившаяся поутру, пожелала быть погребенной в склепе под престолом церкви, что это запрещено полицейскими правилами, но что это одна из тех усопших, которым ни в чем нельзя отказать; вот настоятельница и намерена исполнить желание покойной; тем хуже для правительства; он,

Фошлеван, заколотит гроб, поднимет плиту над склепом и опустит туда тело. А чтобы отблагодарить его, настоятельница допустит в дом его брата в качестве садовника, а племянницу в качестве пансионерки. Брат его — господин Мадлен, а племянница — Козетта.

— Наконец, — заключил он, — настоятельница приказала привести его завтра вечером после мнимого погребения на кладбище. Но на деле он не может привести Мадлена с улицы, потому что Мадлен внутри здания. А потом еще есть у него, Фошлевана, одно затруднение — пустой гроб.

— Что это за пустой гроб? — спросил Жан Вальжан.

— Да казенный гроб.

— Как так?

— Видите, в чем дело. Умирает монахиня. Является муниципальный доктор и говорит: монахиня умерла. Тогда правительство присылает гроб. А на другой день присылает

дроги и факельщиков, чтобы забрать тело и свезти его на кладбище. Придут факельщики, поднимут гроб, а там ничего и нет.

— Положите туда что-нибудь.

— Мертвеца? Да у меня его нет.

— Нет, не мертвеца.

— А что же такое?

— Живого человека.

— Какого живого?

— Да хоть меня, — отвечал Жан Вальжан.

Фошлеван, спокойно сидевший на месте, подскочил, словно петарда выстрелила у него под стулом.

— Вас?!

— Почему же нет?

На лице Жана Вальжана появилась одна из тех улыбок, которые озаряли его, как луч солнца на зимнем небе.

— Помнишь, Фошлеван, ты сказал: «Мать Крусификсион скончалась», а затем добавил: «А господин Мадлен похоронен». Так и будет на самом деле.

— Ну да вы смеетесь, а не серьезно говорите?

— Очень серьезно. Ведь надо выйти отсюда?

— Конечно, надо.

— Я же говорил тебе, что для меня тоже надо отыскать плетеную корзину и парусину.

— Ну так что же из этого?

— Плетенка будет сосновая, а вместо парусины черное сукно.

— Во-первых, покров будет белый, монахинь хоронят в белом.

— Пусть будет белый покров.

— Вы не такой человек, как все прочие, дядя Мадлен.

Эта пылкая фантазия, которая была не что иное, как дикая и смелая изобретательность каторги, примешанная к мирному и тихому

течению монастырской жизни, повергла Фошлевана в сильное изумление, которое можно сравнить разве с изумлением прохожего, вдруг увидевшего морскую чайку, ловящую рыбу в канаве улицы Сен-Дени.

— Весь вопрос в том, чтобы выйти незаметно, — продолжал Жан Вальжан. — Это и будет подходящее средство. Только объясни мне, как все это происходит. Где стоит этот гроб?

— Пустой-то?

— Да.

— Внизу, в так называемой покойницкой. Он на подмостках и покрыт погребальным покровом.

— А какова длина гроба?

— Шесть футов.

— Что это за покойницкая?

— Комната в нижнем этаже, имеющая снабженное решеткой окно, выходящее в сад и запираемое снаружи ставнями, и затем две

двери — одна ведет в монастырь, другая в церковь.

— В какую церковь?

— В ту, что выходит на улицу, в общую для мирян.

— Есть у тебя ключи от этих дверей?

— Нет. У меня только ключ от двери, сообщающейся с монастырем, а другой ключ у консьержа.

— А когда консьерж отпирает эту дверь?

— Единственно для того, чтобы впустить факельщиков, которые приходят взять гроб. Гроб вынесут, и дверь опять запирается.

— А кто заколачивает его?

— Я.

— А кто кладет покров?

— Опять-таки я же.

— Ты один?

— Никакой другой мужчина, кроме полицейского врача да меня, не может войти в покойницкую. Это даже на стене написано.

— А можешь ли ты ночью, когда в монастыре все погружено в сон, спрятать меня в этой комнате?

— Нет, но я могу спрятать вас в маленькую темную клетушку, куда я складываю свои погребальные орудия и от которой у меня есть ключ.

— В котором часу приедет завтра катафалк за гробом?

— К трем часам дня. Погребение совершится на Вожирарском кладбище, незадолго до наступления ночи. Это не близко отсюда.

— Я останусь спрятанным в твоей клетушке с орудиями всю ночь и все утро. А как быть с едой? Я проголодаюсь.

— Я вам принесу что-нибудь перекусить.

— Можешь прийти заколачивать меня в гроб в два часа.

Фошлеван отшатнулся и так заломил руки, что суставы захрустели.

— Да это невозможно!

— Ну вот! Взять молоток и набить гвоздей в доски?

То, что казалось чудовищным Фошлевану, повторяю, было совершенно естественным в глазах Жана Вальжана. Он переживал еще худшие испытания. Всякому, кто побывал в заключении, известно искусство сжиматься в соответствии с размерами лаза, ведущего на волю. Для заключенного бегство — то же самое, что для больного кризис, который спасает его или губит. Бегство это выздоровление. На что только не согласится человек, чтобы выздороветь? Дать себя заколотить и унести в ящике, как какой-нибудь тюк, долго просуществовать в коробке, находить воздух, которого нет, сдерживать дыхание целыми часами, уметь задыхаться, не умирая — то был один из многих талантов Жана Вальжана.

Впрочем, гроб, в котором находится живое существо, эта уловка каторжника, была пущена в ход даже императором. Если верить монаху Аустину Кастильскому, к этому средству прибег Карл V после своего отречения в монастыре Святого Юста.

Фошлеван, слегка очнувшись, воскликнул:

— Но как же вы будете дышать?

— Ничего, кое-как буду дышать!

— В этом-то ящике! Я как подумаю, так от одной мысли задыхаюсь.

— У тебя, наверно, найдется бурав, проделай несколько дырочек вокруг рта, а заколачивая гроб, не слишком надавливай верхнюю доску.

— Хорошо! А если вам случится кашлянуть либо чихнуть?

— Кто скрывается, тот не кашляет и не чихает. Дядюшка Фошлеван, — прибавил он, — надо решаться: или меня поймают здесь, или вынесут отсюда в гробу.

Всякому случалось заметить наклонность кошек останавливаться и мешкать между двумя половинками полуотворенной двери. Кто не говорил кошке: «Да войди же, наконец!» Есть и люди, которые в нерешеных вопросах также имеют наклонность мешкать, колебаться между двумя решениями, рискуя быть раздавленными судьбой, которая внезапно захлопнет полуоткрытую дверь. Самые осторожные люди, несмотря на свои кошачьи наклонности, и даже именно вследствие этих наклонностей, подвергаются иногда большим опасностям, чем самые смелые люди. Фошлеван был из породы нерешительных. Однако хладнокровие Жана Вальжана невольно передалось и ему.

— В самом деле, ведь нет другого средства, — пробормотал он.

— Единственно, что меня беспокоит, — продолжал Жан Вальжан, — это то, что произойдет на кладбище.

— Именно это-то меньше всего заботит меня, — воскликнул Фошлеван. — Если вы

уверены, что выдержите в гробу, я вполне уверен, что вытащу вас из могилы. Могильщик — горький пьяница и большой мой приятель. Зовут его дядя Метиенн. Могильщик распоряжается мертвецами, а я верчу могильщиком, как мне угодно. Хотите, расскажу вам, как все это будет? Приедем мы незадолго до сумерек, за три четверти часа до запора решетки на кладбище. Катафалк подкатим к самой могиле. Я буду шествовать позади; это моя обязанность. Дроги останавливаются, факельщики обвязывают гроб веревкой и спускают вас. Священник прочтет молитву, сделает крестное знамение и уйдет. Я остаюсь один с дядей Метиенном. Это мой приятель, говорю вам. Одно из двух — либо он будет уже пьян или еще трезв. Если он не пьян, я скажу ему: «Пойдем-ка, пропустим шкалик в трактире „Спелая айва“, который еще открыт». Увожу его, подпаиваю, а дядю Метиенна не трудно подпоить, он всегда наполовину готов, он у меня свалится под стол, а я беру его входной билет на кладбище и возвращаюсь один. Тогда вы будете иметь дело только со мной. Если же он

пьян, я скажу ему: «Ступай-ка домой, я за тебя сделаю дело». Он уйдет, а я вас вытащу из ямы.

Жан Вальжан протянул ему руку — и Фошлеван схватил ее с трогательной деревенской сердечностью.

— Итак, решено, дядюшка Фошлеван. Все пойдет как по маслу.

«Лишь бы что не помешало, — подумал Фошлеван. — А вдруг как выйдет страшная история?..»

Глава 142

На другой день, когда солнце было уже на закате, редкие прохожие по Менскому бульвару снимали шапки по пути катафалка старинного образца, украшенного мертвыми головами, костями и слезами. На нем стоял гроб, покрытый белым покровом, на котором расстилался большой черный крест, точно мертвец, свесивший вниз руки. За катафалком следовала траурная карета, в ней виднелись священник в

стихаре и мальчик-певчий в красной скуфейке. Факельщики в серых одеждах с черными галунами шествовали по бокам катафалка. Позади ковылял хромой старик в костюме рабочего. Шествие направлялось к Вожирарскому кладбищу.

Из кармана старика торчали рукоятка молотка, резец и пара клещей.

Вожирарское кладбище было исключением в числе парижских кладбищ. У него были свои особые обычаи; в него вели ворота, боковые калитки которых на языке старожилов квартала, дорожащих старинными названиями, прозывались конной дверью и пешей дверью. Бернардинки-бенедиктинки Малого Пикпюса имели, как мы уже говорили, разрешение погребать своих покойниц в отдельном уголке кладбища, на участке, принадлежавшем когда-то их общине, и вдобавок вечером. Таким образом, могильщики этого кладбища, имея летом и зимой вечернюю работу, подчинялись особой дисциплине. Ворота всех парижских кладбищ

запирались с заходом солнца, а так как на это было особое муниципальное распоряжение, то Вожирарское кладбище подчинялось ему наравне с другими. Конная дверь и пешая дверь образовывали две смежные решетки, а рядом возвышался павильон, построенный архитектором Перонне, где жил кладбищенский сторож. Итак, обе решетки неумолимо замыкались в ту минуту, когда солнце скрывалось за куполом Дома Инвалидов. Если какому-нибудь могильщику случалось замешкаться на кладбище, ему оставалось одно средство, чтобы выйти: предъявить свой билет, выданный управлением погребальных церемоний. Нечто вроде ящика для писем было устроено в ставнях сторожки. Могильщик бросал свой билет в ящик, сторож слышал, как билет падает, тянул за веревку, и калитка для пешеходов отпиралась. Если у могильщика не оказывалось билета, он называл себя по имени; сторож, иногда уже успевший заснуть, вставал, удостоверялся в личности могильщика и отпирал калитку

ключом; могильщик выходил, но платил пятнадцать франков штрафа.

Это кладбище своими оригинальностями и несоблюдением правил стесняло административное единообразие. Его упразднили вскоре после 1830 года. Кладбище Монпарнасс, прозванное западным, заняло его место и наследовало знаменитый кабак на углу Вожирарского кладбища, выходивший с одной стороны на могилы; он был увенчан изображением айвы на вывеске, с надписью «Спелая айва».

Вожирарское кладбище было, так сказать, кладбище, отжившее свои век. Оно пришло в ветхость и запустение. Его заполонила плесень, и цветы уже больше не росли на нем. Буржуа не любили Вожирара; Пер-Лашез — вот это другое дело! Быть похороненным на кладбище Пер-Лашез почти то же самое, что иметь мебель красного дерева. Это признак изящного вкуса. Вожирарское кладбище было почтенное старое место, расположенное по образцу старинных

французских садов. Прямые аллеи, буковые деревья, хмель, древние могилы под сенью старых ив, высокая трава. По вечерам кладбище представляло грустный вид своими унылыми очертаниями.

Солнце еще не зашло, когда дроги с белым покровом и черным крестом въехали в аллею, ведущую к Вожирарскому кладбищу. Хромой человек, ковылявший позади, был не кто иной, как Фошлеван.

Погребение монахини в склепе под престолом, выход Козетты из монастыря, проникновение Жана Вальжана в покойницкую — все это прошло гладко, без зацепок.

Заметим мимоходом, что, по нашему мнению, погребение матери Крусификсион под престолом монастыря — дело вполне простительное. Это одно из тех заблуждений, которые похожи на исполнение долга. Монахини совершили его не только без смущения, но с тайной внутренней радостью. В монастыре то, что называется

«правительством», не что иное, как постороннее вмешательство, и вмешательство всегда сомнительное. Прежде всего монастырский устав; а что касается кодекса, то еще посмотрим. Люди, создавайте сколько вам угодно законов, но только оставляйте их про себя. Дань Цезарю подобает воздавать уже после дани Богу. Власть ничто в сравнении с принципом.

Фошлеван ковылял за катафалком очень довольный. Оба его замысла, один с монахинями, другой с Мадленом, один в пользу монастыря, другой против него, удались без препятствий. Хладнокровие Жана Вальжана было той могучей невозмутимостью, которая невольно сообщается и другим. Фошлеван уже не сомневался в успехе. Остальное — сущие пустяки. В течение двух лет он раз десять подпаивал могильщика, доброго дядю Метиенна, толстощекого старичка. Он играл им, как пешкой, вертел им по своей воле и прихоти. Успех дела не вызывал у Фошлевана сомнений.

В ту минуту, когда погребальная процессия вошла в аллею, ведущую на кладбище, Фошлеван, счастливый, смотрел на катафалк и потирал свои заскорузлые руки, бормоча про себя:

— Вот так штука!

Вдруг катафалк остановился; добрались до входной решетки; надо было предъявить свидетельство на погребение. Один из служителей конторы погребальных церемоний вступил в переговоры с кладбищенским сторожем. Во время этих прений, всегда отнимающих две-три минуты времени, какой-то незнакомец встал позади катафалка, рядом с Фошлеваном. Он был похож на рабочего, одет в куртку с большими карманами и держал заступ под мышкой.

Фошлеван оглядел незнакомца.

— Кто вы такой? — спросил он.

— Я — могильщик.

Если бы человек мог остаться в живых после того, как получил прямо в грудь пушечное ядро, у него, наверное, было бы такое же выражение лица, какое было у Фошлевана в ту минуту.

— Могильщик?!

— Да.

— Вы-то могильщик?

— Я самый.

— Да ведь могильщик дядя Метиенн.

— Был когда-то.

— Как так?

— Он умер.

Фошлеван приготовился к чему угодно, только не к тому, чтобы могильщик мог умереть. Однако это была сущая правда: могильщики тоже умирают. Роют, роют яму для других и наконец сами попадают в нее.

Фошлеван так и оторопел. Едва нашлось у него силы прошептать:

— Быть не может!

— Однако это так.

— Но, — слабо возражал он, — могильщик-то ведь дядя Метиенн.

— После Наполеона Людовик Восемнадцатый. После Метиенна Грибье. Деревенщина, меня зовут Грибье.

Фошлеван, весь бледный, посмотрел на этого Грибье.

Это был человек длинный, сухопарый, бледный; имеющий совершенно похоронный вид. Он смахивал на неудавшегося лекаря, превратившегося в могильщика.

Фошлеван расхохотался.

— Какие, однако, чудные вещи случаются на свете. Дядя Метиенн умер; но старый дядя Ленуар жив! Знаете ли, что такое дядя Ленуар? Это кружечка красненького по шесть су, за печатью. Бутылочка сюреннского, настоящего сюреннского из Парижа. А! Так он умер, старикашка Метиенн! Жалко; веселый был

малый. Да ведь и вы тоже веселый малый, не так ли, товарищ? Пойдем-ка, сейчас выпьем вместе.

— Я получил образование, — отвечал тот. — Я закончил четыре класса. Я никогда не пью.

Катафалк опять двинулся в путь и катился по главной аллее кладбища.

Фошлеван замедлил шаг. Он сильнее захромал, больше от тревоги, чем от немощи. Могильщик шел впереди. Фошлеван еще раз оглядел этого нежданного-негаданного Грибье. Он был из того сорта людей, которые хотя и молоды, но кажутся стариками, и хотя худощавы, но очень сильны.

— Дружище! — окликнул его Фошлеван. Тот обернулся.

— Ведь я монастырский могильщик.

— Мой коллега, — отозвался тот.

Фошлеван, человек неграмотный, но проницательный, тотчас же понял, что имеет дело с опасной породой, с краснобаем.

— Итак, дядя Метиенн отправился на тот свет.

— Положительно. Господь Бог заглянул в свою книгу сроков. Настала очередь дяди Метиенна. Дядя Метиенн и умер.

Фошлеван повторил машинально:

— Господь Бог…

— Да, Господь Бог, — произнес могильщик авторитетным тоном. — У философов — бессмертный Отец; у якобинцев — Всевышнее Существо.

— Мы так и не сведем знакомство друг с другом?

— Мы уже познакомились. Вы крестьянин, а я парижанин.

— Какое это знакомство, пока не выпьешь вместе? Кто опорожняет стакан, тот обнажает душу. Пойдем выпьем. От этого не отказываются.

— Обязанности прежде всего.

Фошлеван подумал про себя: «Я пропал».

Катафалку оставалось проехать всего несколько шагов до маленькой аллеи, которая вела в участок, принадлежавший монахиням.

— Крестьянин, — молвил могильщик, — у меня семеро ребятишек, которых надо кормить. Так как они кушать просят, то мне не подобает пить. Их голод — враг моей жажды, — прибавил он с довольным видом человека серьезного, произносящего умную фразу.

Катафалк обогнул группу кипарисов, выехал из главной аллеи, направился по боковой аллее, выбрался на открытое пространство и углубился в кустарник. Это означало близость монашеского участка. Фошлеван замедлял шаг, но не мог удержать лошадей. К счастью, колеса вязли в земле, размокшей от зимних дождей, и замедляли путешествие.

Он подошел поближе к могильщику.

— Там есть такое славное аржантейльское винцо, — прошептал Фошлеван.

— Братец мой, — отвечал тот, — по-настоящему, я не должен быть могильщиком. Мой отец был привратником в Пританее. Он готовил меня к литературной карьере. Но его постигло несчастье. Он проигрался на бирже. И я должен был отказаться от профессии писателя. Впрочем, я сейчас пишу.

— Значит, вы не могильщик, — проговорил Фошлеван, цепляясь за эту слабую соломинку.

— Одно не мешает другому. Я исправляю две должности сразу. Фошлеван не понимал, что ему говорили.

— Да пойдем же выпьем, — сказал он.

Здесь необходимо одно замечание. Фошлеван, несмотря на свою тревогу, предлагал выпить, но не объяснялся насчет одного пункта: кто будет платить? Обыкновенно Фошлеван предлагал, а дядя Метиенн расплачивался. Предложение выпить, очевидно, проистекало из нового положения, созданного новым могильщиком, это предложение необходимо было сделать, но старый садовник коварно оставлял в тени вопрос

о том, кто раскошелится. Несмотря на свое волнение, Фошлеван вовсе не имел намерения платить.

Могильщик продолжал с улыбкой превосходства:

— Надо чем-нибудь питаться. Я принял на себя должность покойника Метиенна. Когда человек почти что кончил курс, он становится, так сказать, философом. К должности писца я прибавил черную работу. У меня есть писарское бюро на рынке Севрской улицы. Знаете, наверное? Зонтичный рынок. Все кухарки квартала обращаются ко мне. Я им строчу записочки к милым дружкам. По утрам пишу любовные записочки, а по вечерам рою могилы. Вот какова жизнь, крестьянин.

Дроги подвигались. Фошлеван с тоской озирался вокруг. Крупные капли пота струились по его лбу.

— Впрочем, — продолжал могильщик, — нельзя служить двум господам сразу. Придется

выбирать между пером и заступом. Заступ портит мне почерк.

Дроги остановились.

Мальчик-певчий вышел из траурной кареты, а за ним священник. Одно из передних колес дрог слегка поднялось на бугорок, за которым зияла могила.

— Вот так штука, — повторял Фошлеван, совсем растерянный.

Глава 143

Кто лежал в этом гробу? Читатель уже знает — Жан Вальжан. Он ухитрился существовать в этом ящике и дышал с грехом пополам.

Странное дело, до какой степени спокойствие совести придает невозмутимость всему остальному. Комбинация, задуманная Жаном Вальжаном, шла своим порядком и шла хорошо со вчерашнего дня. Он рассчитывал, как и Фошлеван, на дядю Метиенна. Он нисколько не

сомневался в исходе. Положение было самое критическое, а между тем спокойствие полнейшее.

От четырех досок гроба веет каким-то страшным миром, словно покой смерти сообщался спокойствию Жана Вальжана. Из глубины гроба он мог следить и следил за всеми фазами той драмы, которую он разыгрывал со смертью. Вскоре после того как Фошлеван закончил приколачивать крышку, Жан Вальжан почувствовал, как его уносят, потом везут. По ослабевшим толчкам он понял, что с мостовой переехали на немощеную землю, то есть покинули улицы и добрались до бульваров, По глухому гулу он угадал, что переезжают через Аустерлицкий мост. При первой остановке он подумал: вот и могила.

Вдруг он почувствовал, что гроб подхватили на руки, затем услышал глухое трение о доски; он сообразил, что обвязывают веревку вокруг гроба, чтобы спустить его в вырытую яму.

Вслед за этим он ощутил словно головокружение.

Вероятно, факельщики и могильщик слишком раскачали гроб и опустили его головой вниз. Он быстро очнулся и почувствовал, что лежит горизонтально и неподвижно. Гроб коснулся дна.

Его охватила дрожь.

Над ним раздался голос торжественный и холодный. Медленно прозвучали латинские слова, смысла которых он не понимал:

— Qui dormiunt in terrae pulvere, evigilabunt; alii in vitam aeternam et alii in opprobrium, ut videant semper {Спящие во прахе земли пробудятся: одни на вечную жизнь, а другие на вечное Учение; пусть всегда это помнят (лат.).}.

Детский голос произнес:

— De profundis.

Торжественный голос продолжал:

— Requiem aeternam dona ei, Domine {Вечный покой даруй ему, Господи (лат.).}.

— Et lux perpetua luceat ei {Да светит ему вечный свет (лат.).}, — закончил детский голосок.

Он услышал на крышке, покрывавшей его, как бы тихий звук дождевых капель. Вероятно, кропили святой водой.

«Сейчас будет конец, — подумал он. — Еще немножко терпения. Священник удалится. Фошлеван уведет Метиенна в кабак. Меня оставят в покое. Потом Фошлеван вернется один, и я выберусь отсюда. Все это дело какого-нибудь часа, не больше».

— Requiescat in pace {Да почиет в мире (лат.).}, — произнес мужской голос.

— Аминь, — проговорил ребенок.

Жан Вальжан напряг слух, и ему почудились как бы звуки удаляющихся шагов.

«Вот они и уходят, — подумал он. — Теперь я один».

Вдруг он услышал над головой шум, показавшийся ему раскатом грома.

Лопата земли упала на гроб. За ней другая.

Одну из дырочек, с помощью которых он дышал, залепило землей.

Третья лопата земли упала на гроб.

Затем четвертая.

Есть вещи, с которыми не совладать самому сильному человеку. Жан вальжан лишился чувств.

Глава 144

Вот что происходило над гробом, в котором лежал Жан Вальжан.

Когда катафалк удалился, когда священник с мальчиком сели в карету и уехали, Фошлеван, не спускавший глаз с могильщика, увидел, что тот наклоняется и берет свою лопату, воткнутую в кучу земли.

Тогда Фошлеван принял отчаянное решение. Он встал между могилой и могильщиком, сложил руки на груди и проговорил:

— Я плачу!

Могильщик оглядел его с изумлением:

— Что такое, крестьянин?

— Я плачу! — повторил Фошлеван.

— Да за что же?

— За вино.

— Какое такое вино?

— Аржантейльское.

— Какое еще аржантейльское?

— В трактире «Спелая айва».

— Ступай к черту! — отвечал могильщик. И снова кинул земли на гроб.

Гроб издал глухой звук. Фошлеван почувствовал, что зашатался и сам чуть не кинулся в яму. Он крикнул хриплым, удушливым голосом:

— Товарищ, пойдем-ка, пока еще не заперли кабак!

Могильщик захватил еще лопату земли.

— Я плачу, — снова начал Фошлеван и схватил могильщика за рукав. — Выслушайте меня, товарищ. Я монастырский могильщик, пришел помочь вам. Дело сделается и ночью. Сначала выпьем малую толику.

И, говоря это, цепляясь за эту отчаянную, упорную мысль, он печально размышлял про себя:

«А если он и согласится пить, еще вопрос: даст ли он себя подпоить?»

— Поселянин, — сказал могильщик, — если вы непременно настаиваете, я согласен. Мы выпьем. Только после работы, не раньше.

И он снова взмахнул лопатой, но Фошлеван остановил его:

— Винцо аржантейльское славное!

— Однако, — заметил могильщик, — вы настоящий звонарь. Динь-дон, динь-дон, только и слышно. Отстаньте.

Еще полная лопата земли.

В эту минуту Фошлеван дошел до того состояния, когда человек уже не знает, что говорит.

— Да пойдем же наконец, выпьем, — крикнул он, — говорят вам, что я плачу!

— Когда уложим ребеночка.

Третий ком земли полетел вниз.

Потом он воткнул лопату в землю и прибавил:

— Видите ли, нынче ночью будет холодно, и покойница закричит нам вслед, если мы так бросим ее без одеяла.

В эту минуту, набирая свою лопату, он наклонился, и карман его куртки раскрылся.

Растерянный взор Фошлевана машинально упал на этот карман и остановился на нем. Солнце еще не зашло; было достаточно светло, чтобы можно было различить что-то белое в глубине раскрытого кармана. Искра сверкнула в глазах пикардийского крестьянина. Ему пришла в голову мысль. Незаметно для могильщика, поглощенного своей работой, он запустил ему

руку в карман и вытащил белый предмет, высовывавшийся оттуда.

Могильщик бросил на гроб четвертый ком земли. В эту минуту, когда он обернулся, чтобы захватить пятый, Фошлеван взглянул на него с невозмутимым спокойствием и проговорил:

— А кстати, при вас билет?

Могильщик остановился.

— Какой билет?

— Солнце уже почти зашло.

— Ладно, пусть себе надевает ночной колпак.

— Кладбищенские ворота закроются.

— Прекрасно, что же из того?

— Да есть ли у вас билет-то?

— А, билет? — догадался наконец могильщик и принялся шарить в кармане.

Порылся в одном кармане, потом в другом. Перешел затем к жилетным кармашкам, обыскал один, вывернул другой.

— Нет у меня билета, — проговорил он. — Должно быть, я где-то оставил его.

— Пятнадцать франков штрафа, — произнес Фошлеван. Могильщик позеленел; зеленый оттенок — бледность людей с землистым цветом лица.

— Ах! О господи, останови луну! — воскликнул он. — Пятнадцать Франков штрафа!

— Три монетки по сто су, — заметил Фошлеван.

Могильщик выронил из рук лопату. Теперь настала очередь Фошлевана действовать.

— Ну, ну, молодец, к чему отчаиваться. Дело не так еще плохо, чтооы лишать себя жизни и кидаться в могилу. Пятнадцать франков не бог есть что, да и нет надобности платить их. Я стреляный воробей, а вы из новичков. Я все эти штуки знаю. Хотите, дам дружеский совет. Одно ясно и несомненно: солнце заходит, оно уже касается купола Инвалидов и кладбище запрут минут через пять.

— Это правда, — вымолвил могильщик.

— За пять минут вам ни за что не завалить этой ямы, она чертовски глубокая, и вы не успеете выбраться отсюда до закрытия ворот.

— Совершенно верно.

— В таком случае, пятнадцать франков штрафа.

— Пятнадцать франков…

— Но вы успеете… Погодите, где вы живете?

— В двух шагах от заставы, четверть часа ходьбы отсюда. Улица Вожирар, номер восемьдесят семь.

— Успеете еще выбежать отсюда вовремя.

— Правда.

— Раз выбрались за решетку, бегите домой во весь дух, возьмите билет и возвращайтесь, кладбищенский сторож вам отворит. У вас билет будет при себе, значит, вы ничего не заплатите. И тогда зароете своего покойника. Я покуда постерегу его, чтоб не сбежал.

— Старик, я тебе обязан жизнью.

— Ступайте живей, — сказал Фошлеван.

Вне себя от радости, могильщик с силой потряс ему руку и удалился бегом.

Когда могильщик скрылся в чаще кустарника, Фошлеван подождал, пока шаги его совсем не заглохнут, потом нагнулся к могиле и прошептал:

— Господин Мадлен!

Ответа не было.

Фошлеван вздрогнул. Опрометью скатился он в яму, нагнулся к изголовью гроба и крикнул:

— Вы здесь?

Молчание в гробу.

Фошлеван не дышал от страха, дрожащими руками схватил клещи и молоток и отбил крышку гроба. Лицо Жана Вальжана показалось в полусвете, бледное, с закрытыми глазами.

У Фошлевана волосы встали дыбом. Он выпрямился во весь рост, потом вдруг

прислонился к стенке ямы, чуть не свалившись на гроб. Он еще раз взглянул на Жана Вальжана.

Жан Вальжан лежал неподвижный и бледный.

— Он умер! — прошептал Фошлеван голосом слабым, как дуновение. Вдруг он опять выпрямился, скрестил руки с такой силой, что оба сжатых кулака стукнулись о плечи, и воскликнул:

— Вот как я его спас!

И бедняга зарыдал, говоря сам с собою, — ошибочно думают, что монологи не в нашей натуре. Сильное волнение часто выражается вслух.

— Во всем виноват дядя Метиенн. С какой стати было умирать этому дураку? Какая надобность была издыхать как раз тогда, когда этого от него не ждали? Из-за него погиб господин Мадлен! Вот лежит он в гробу, и уж на кладбище снесен. Все готово. Да и возможно ли выделывать такие штуки? Есть ли тут здравый смысл? Господи боже мои. Вот он и умер! Ну,

теперь что я стану делать с его девочкой? Что скажет торговка? Шуточное ли дело, чтобы такой человек да так умирал? Как я подумаю, что он сам полез под мою повозку! Господин Мадлен! Как бы не так! Он задохнулся. Ведь я ему говорил! Он не хотел мне верить. Ну, вот теперь! Славно распорядились! Умер мой дорогой, добрейший из добрых созданий Божиих. А малютка-то его! Ну, хорошо же, я туда не вернусь вовсе. Останусь здесь. Выдать такую штуку! Старые дураки! Но каким это образом он пробрался в монастырь? С этого все и началось. Таких вещей нельзя делать. Господин Мадлен! Господин Мадлен! Господин Мадлен, господин мэр! Не слышит. Вот и выпутывайся!

Он рвал на себе волосы.

Вдали из-за деревьев слышался пронзительный скрип. Запирали кладбищенские ворота.

Фошлеван нагнулся над Жаном Вальжаном; вдруг он отскочил и подался назад, насколько

позволяло пространство ямы. Жан Вальжан раскрыл глаза и смотрел на него.

Вид смерти страшен, но видеть воскрешение столь же ужасно. Фошлеван словно окаменел, бледный, растерянный, взволнованный всеми этими разнообразными ощущениями, не зная, с кем имеет дело — с живым человеком или с мертвецом, он глядел на Жана Вальжана, который, со своей стороны, тоже уставился на него.

— Я было задремал, — проговорил наконец Жан Вальжан и сел в гробу.

Фошлеван кинулся на колени.

— Пресвятая Богородица! Как вы меня напугали!

Он вскочил и воскликнул:

— Спасибо вам, господин Мадлен!

Жан Вальжан был лишь в обмороке. Свежий воздух привел его в себя. Радость — отлив ужаса. Фошлевану было почти столь же трудно прийти в себя, как и Жану Вальжану.

— Так вы не умерли! Ах, какой же вы умница! Я так громко звал вас, что вы и очнулись. Когда я увидел вас с закрытыми глазами, я подумал про себя: ну, кончено, он задохнулся. Я готов был с ума сойти, я был близок к помешательству. Меня посадили бы в Бисетр. Что бы я делал, если бы вы умерли? А малышка-то ваша! Вот бы моя торговка удивилась! Прямо кидают ей ребенка на руки, а дедушка умирает ни с того ни с сего. Вот так история! Святые угодники, какая оказия! Ну, да вы живы, вот что главное!

— Мне холодно, — сказал Жан Вальжан.

Эти слова окончательно отрезвили Фошлевана. У обоих, хотя они и пришли в себя, была бессознательная тоска в душе, какое-то странное чувство, внушаемое угрюмостью места, где они находились.

— Уйдем скорей отсюда! — воскликнул Фошлеван.

Он порылся в карманах и вытащил фляжку, которую взял на всякий случай.

— Прежде всего надо пропустить по капле, — сказал он.

Фляжка довершила то, что было начато свежим воздухом. Жан Вальжан выпил глоток водки и окончательно пришел в себя.

Он вылез из гроба и помог Фошлевану снова заколотить крышку. Три минуты спустя оба выбрались из могилы. Впрочем, Фошлеван был совершенно спокоен. Он не слишком торопился. Кладбище было заперто. Внезапного появления могильщика Грибье нечего было опасаться. Молодец был у себя дома, занимался поисками билета и никак не мог найти его, по той простой причине, что он находился в кармане у Фошлевана. А без билета он никаким образом не мог вернуться на кладбище.

Фошлеван взял лопату, Жан Вальжан заступ, и оба быстро зарыли пустой гроб.

Когда могила была завалена, Фошлеван сказал Жану Вальжану:

— Пойдем отсюда. Я оставлю себе лопату а вы возьмите заступ.

Надвигалась ночь. Жану Вальжану сначала трудно было двигаться и ходить. В гробу его ноги одеревенели и делали похожим на труп. Оцепенение смерти охватило его между этими четырьмя досками. Он должен был как бы оттаять после могилы.

— Вы оцепенели, — сказал Фошлеван. — Жалко, что я хромоногий, а то бы мы пустились во всю прыть.

— Ничего, — отвечал Жан Вальжан, — через несколько минут я смогу идти нормально.

Они направились по тем же аллеям, по которым проезжал катафалк. Достигнув решетки и будки сторожа, Фошлеван, державший в руке билет могильщика, кинул его в ящик; сторож потянул за шнурок, калитка отворилась, и они вышли.

— Как все хорошо идет! — сказал Фошлеван. — Славная мысль пришла вам в

голову, господин Мадлен!

Они прошли по Вожирарской заставе самым естественным образом. В окрестностях кладбища лопата и заступ служат настоящим паспортом. Улица Вожирар была пустынна.

— Господин Мадлен, — сказал Фошлеван, осматривавший по дороге дома, — у вас глаза моложе моих. Укажите мне номер 87.

— Вот он как раз и есть, — сказал Жан Вальжан.

— На улице ни души, — продолжал Фошлеван. — Дайте-ка мне заступ и подождите меня здесь минутки две.

Фошлеван вошел в дом номер 87 и, руководимый инстинктом, который всегда ведет бедняка на чердак, поднялся наверх и постучался впотьмах в дверь мансарды. Послышался голос:

— Войдите.

Это был сам Грибье.

Фошлеван отворил дверь. Квартира могильщика была, как и все подобные бедные жилища, чердаком без мебели, заваленным хламом. Ящик для укупорки, а может быть, и гроб, заменял комод, горшок изпод масла заменял кадку для воды, соломенный тюфяк заменял постель, голый пол заменял и стол, и стулья. В углу на лохмотьях, обрывке ковра, сидела исхудалая женщина с кучей детей. Это бедное жилище носило следы недавней бури. Словно там произошло землетрясение. Все было перерыто. Крышки сняты, тряпки раскиданы, кувшин расколот, мать была заплакана, дети, вероятно, побиты; словом, все следы неудачных, яростных поисков. Очевидно, могильщик с остервенением искал свой билет, и его потеря отозвалась в чердаке на всем, начиная от кувшина и кончая женой. Вид у него был отчаянный.

Но Фошлеван слишком торопился покончить с этим приключением и едва заметил грустную сторону своих успехов. Он вошел и сказал:

— Вот, я принес вам назад вашу лопату и заступ.

Грибье взглянул на него с изумлением.

— Ах, это вы, поселянин? Что это значит?

— Это значит, что вы выронили свой билет из кармана, что я нашел его на земле, когда вы ушли, что я сам похоронил вашего мертвеца, завалил могилу, сделал за вас дело, а сторож отдаст вам завтра ваш билет, и вы не заплатите пятнадцати франков. Вот и все.

— Спасибо, крестьянин! — воскликнул Грибье в восхищении. — В следующий раз я плачу за выпивку.

Глава 145

Час спустя, среди густого мрака ночи, двое мужчин с ребенком подошли к дому номер 72 по улице Малый Пикпюс. Старший из них взялся за молоток и постучал. То были Фошлеван, Жан Вальжан и Козетта.

Оба старика зашли за Козеттой к торговке на улицу Шемен-Вер, где Фошлеван оставил ее накануне. В течение этих двадцати четырех часов ничего не понимавшая Козетта молча дрожала. Она дрожала так сильно, что не находила слов. Она ничего не ела и совсем не спала. Добрая торговка засыпала ее расспросами, не получая иного ответа, кроме грустных взглядов. Козетта не выдала ничего из того, что видела и слышала за последние два дня. Она угадывала, что они переживают кризис. Она глубоко сознавала, что надо быть умницей. Кто не испытал на себе великой силы трех слов, произнесенных с известным выражением на ухо маленького запуганного существа: «Не смей говорить!» Страх — нем. Да и никто не умеет соблюсти тайну так хорошо, как ребенок.

Но зато, после этих мрачных суток, увидев Жана Вальжана, она испустила такой крик радости, словно вырвалась из бездны.

Фошлеван был монастырский житель и знал условленные пароли. Все двери отворились перед

ним. Таким-то образом была решена сложная двойная задача: выйти и войти.

Привратник, которому были даны инструкции, отпер маленькую дверцу, сообщавшую двор с садом и которую еще двадцать лет тому назад можно было видеть в глубине двора, против главных ворот. Привратник провел их всех через эту калитку, и оттуда они пробрались во внутреннюю комнату, разговорную, где накануне настоятельница отдавала приказания Фошлевану.

Настоятельница, с четками в руках, уже ждала их. Одна из матерей гласных, с опущенным покрывалом, стояла рядом. Свеча тускло озаряла разговорную.

Настоятельница оглядела Жана Вальжана. Опущенные в землю глаза — самые зоркие. Потом начались расспросы.

— Это вы его брат?

— Да, честная мать, — отвечал за него Фошлеван.

— Как зовут?

— Ультим Фошлеван.

У Фошлевана действительно был брат Ультим, который давно умер.

— Откуда вы, из каких краев?

— Из Пикиньи, близ Амьена.

— Который вам год?

Фошлеван отвечал:

— Пятьдесят.

— Какая ваша профессия?

Фошлеван опять-таки отвечал за него:

— Садовник.

— Хороший вы христианин?

— В нашей семье все таковы.

— Малышка ваша?

— Да, честная мать.

— Вы ей отец?

— Нет, дед.

Мать гласная вполголоса заметила настоятельнице:

— Он хорошо отвечает.

Жан Вальжан, однако, не произнес ни единого слова. Фошлеван все говорил за него.

Настоятельница со вниманием осмотрела Козетту и тихо заметила другой монахине:

— Она будет дурнушка.

Обе матушки шепотом совещались между собой несколько минут в углу разговорной; наконец настоятельница обернулась и проговорила:

— Дядя Фован, вы получите второй наколенник с колокольчиком. Теперь их понадобится два.

На следующий день действительно два колокольчика звенели в саду, и монахини не могли устоять от искушения приподнять кончик покрывала. В конце сада, под деревьями, двое людей копали рядом, Фован и какой-то другой. Невероятное событие. Молчание было нарушено,

и монахини говорили между собой: «Это помощник садовника». Матушки гласные прибавляли: «Это брат старика Фована».

Жан Вальжан действительно устроился в своей должности по всем правилам; у него был кожаный наколенник с колокольчиком; отныне он занял официальное положение в монастыре и носил имя Ультима Фошлевана.

Решающей причиной, повлиявшей на его принятие в монастырь, было замечание настоятельницы насчет Козетты: «Она будет дурна».

Произнося это предсказание, настоятельница немедленно почувствовала к Козетте особенное расположение и приняла ее бесплатной пансионеркой из милости.

Это совершенно логично. Ничего не значит, что нет зеркала в монастыре; у женщин тонкое чутье насчет своей наружности; девушки, которые чувствуют, что они красивы, неохотно постригаются в монахини, и так как призвание находится в обратной пропорции с красотой, то

на дурных больше надеются, чем на хорошеньких. Отсюда и происходит решительная склонность к дурнушкам.

Все это приключение возвеличило добряка Фошлевана; он одержал тройной успех: перед Жаном Вальжаном, которого спас и приютил, перед могильщиком Грибье, который рассуждал про себя: он уберег меня от штрафа, и, наконец, в глазах монастыря, который, сохранив, благодаря ему, останки матери Крусификсион под престолом, обошел Цезаря и угодил Богу. Гроб с умершей остался в Малом Пикпюсе, а гроб пустой захоронен на Вожирарском кладбище; конечно, это глубоко потрясло общественный порядок, но никто этого не заметил. Что касается Фошлевана, то монастырь почувствовал к нему великую благодарность. Фошлеван стал драгоценнейшим слугой и лучшим из садовников. При следующем посещении архиепископа настоятельница рассказала обо всем его преосвященству, как бы исповедуясь и вместе с тем слегка хвастаясь. Архиепископ затем потихоньку и с одобрением поведал

историю господину Ватилю, духовнику его высочества, а впоследствии архиепископу реймскому и кардиналу. Слава Фошлевана разнеслась далеко и дошла до Рима. У нас было перед глазами письмо, написанное тогдашним папой, Львом XII, одному из своих родственников, нунцию в Париже; в этом письме встречаются следующие строки: «Говорят, есть в одном из парижских монастырей превосходный садовник и святой человек, по имени Фован». Однако эта слава не дошла до самого Фошлевана в его хижине; он продолжал прививать свои деревья, продолжал полоть и закрывать рогожами свои дынные парники, нисколько не подозревая о своих достоинствах и святости. Он столь же мало сознавал свою славу, сколько какой-нибудь дургамский или серрейский бык, портрет которого появляется в «Иллюстрированных лондонских новостях» с надписью: «Бык, получивший приз на выставке рогатого скота».

Глава 146

Козетта продолжала молчать и в монастыре. Она, естественно, считала себя дочерью Жана Вальжана. Впрочем, не зная ровно ничего, она и не могла ничего сказать, да и во всяком случае ни за что не проболталась бы. Мы уже заметили, что ничто так не учит детей молчанию, как несчастье. Козетта столько выстрадала, что боялась всего, боялась даже говорить. Одно слово, бывало, так часто навлекало на нее целую бурю. Она начинала понемногу успокаиваться лишь с тех пор, как стала с Жаном Вальжаном. Она довольно быстро свыклась с жизнью в монастыре. Об одном жалела она — о своей Катерине; но не смела этого сказать. Один только раз заметила Жану Вальжану: «Отец, если бы я знала, я взяла бы ее с собой».

Козетта, поступая пансионеркой в монастырь, обязана была облечься в форму воспитанниц этого заведения. Жан Вальжан добился, чтобы ему отдали одежду, снятую с нее. Это было то самое траурное платьице, в которое он одел ее,

уходя из трактира Тенардье; оно еще не было очень изношено. Жан Вальжан запер эти тряпки, а также шерстяные чулки и башмаки, пересыпав их камфарой и разными благовониями, изобилующими в монастырях, в маленький чемодан, который ему удалось добыть. Чемоданчик стоял на стуле у его постели, и ключ от него всегда был при нем.

— Отец, — спросила его однажды Козетта, — что у тебя такое в этом ящике, от которого так хорошо пахнет?

Кроме той славы, которую он даже не подозревал, Фошлеван был еще вознагражден за свое доброе дело: во-первых, это осчастливило его самого; во-вторых, у него стало гораздо меньше работы, так как она уменьшилась ровно вдвое. Наконец, он был большой охотник до табака, и присутствие Жана Вальжана доставило ему ту выгоду, что он потреблял втрое большее количество этого вещества, чем прежде, и к тому же с гораздо большим наслаждением, потому что господин Мадлен платил за это угощение.

Имя Ультим в монастыре не прижилось: Жана Вальжана называли «другой Фован».

Если бы у этих благочестивых девушек был такой глаз, как у Жавера, они в конце концов заметили бы, что, когда предстояло выйти из монастыря за поручениями для надобностей сада, выходил всегда старший Фошлеван, старый, немощный, хромоногий, и никогда другой; потому ли, что взоры их, обращенные к Богу, не умели шпионить, или потому, что они охотнее следили друг за дружкой, — они не обратили внимания на это обстоятельство.

Впрочем, Жан Вальжан хорошо делал, что сидел смирно и не трогался с места. Жавер зорко наблюдал за кварталом целый месяц.

Этот монастырь представлялся Жану Вальжану островом, окруженным океаном. Отныне эти четыре стены заключали для него в себе весь мир. Он достаточно видел в нем света, чтоб быть веселым, и достаточно виделся с Козеттой для того, чтоб быть счастливым.

Для него началась тихая спокойная жизнь.

Он занимал вместе со стариком Фошлеваном хижину в конце сада. Эта сторожка, еще существовавшая в 1845 году, состояла, как уже известно, из трех каморок с совершенно голыми стенами. Главная комнатка была уступлена Фошлеваном господину Мадлену почти силой, как ни сопротивлялся Жан Вальжан. Стена этой комнаты, кроме двух гвоздей, предназначенных для наколенника и плетеной корзинки, имела украшением роялистский кредитный билет 93 года, прибитый к стене над камином. Эта вандейская ассигнация была оставлена предыдущим садовником, бывшим шуаном, который умер в монастыре и которого Фошлеван заменил в его должности.

Жан Вальжан ежедневно работал в саду и приносил большую пользу. Когда-то он занимался лесничеством и теперь охотно превратился в садовника. Он знал много рецептов и секретов по части ухода за деревьями: он воспользовался ими. Почти все деревья сада были дики, он привил их, и они стали приносить чудесные плоды.

Козетте было позволено каждый день приходить к нему и проводить с ним час. Так как сестры были печальны, а он ласков, то ребенок, сравнивая их между собой, боготворил старика. В положенный час она летела к нему. Когда она входила в сторожку, она наполняла ее райским сиянием. Жан Вальжан расцветал и чувствовал, что его личное счастье усиливается благодаря Козетте. Радость, которую мы доставляем другим, имеет ту прелесть, что вместо того, чтобы ослабевать, как всякое отражение, она снова еще ярче, лучезарнее падает на нас самих. В часы отдыха Жан Вальжан издали глядел, как она играет и резвится, и отличал ее смех от смеха всех остальных.

Теперь Козетта научилась смеяться. Даже лицо ее до известной степени изменилось. С него исчезло мрачное выражение. Смех — это солнце; он сгоняет зиму с лица человеческого.

Когда время отдыха заканчивалось и Козетта шла домой, Жан Вальжан смотрел на окна ее

классной комнаты, а ночью он вставал и глядел на окна ее дортуара.

Пути Господни неисповедимы; монастырь, как и Козетта, способствовал тому, что сохранял и довершал в Жане Вальжане дело, начатое егшскопом. Несомненно, что одна из сторон добродетели ведет к гордыне. Там есть мост, воздвигнутый дьяволом. Быть может, Жан Вальжан невольно приблизился к этому месту в то время, когда Провидение забросило его в монастырь; пока он сравнивал себя только с епископом, то находил себя недостойным и оставался смиренным, но с некоторых пор он стал сравнивать себя с людьми, и в нем зарождалась гордость. Кто знает? Может быть, тем путем он медленно вернулся бы к ожесточению.

Монастырь остановил его на этом скользком пути. То было второе место заключения, которое он видел на своем веку. В молодости, в начале жизни, и позднее, еще недавно, он видел другое страшное место, место, наводящее ужас и

строгость которого всегда казалась ему несправедливостью со стороны правосудия и преступлением закона. Теперь, после каторги, он увидел монастырь, и, вспоминая, что он был на каторге, а теперь, так сказать, увидел монастырь изнутри, он сравнивал их в своей голове с некоторой тревогой.

Часто, опираясь на лопату, он медленно спускался в бездонные спирали мыслей. Он вспоминал своих бывших товарищей; какие они были жалкие; вставали с зарей, работали до глубокой ночи; им едва позволяли пользоваться сном; спали они на походных койках, где допускались тюфяки в два пальца толщиной, в сараях, отопляемых лишь в самые суровые месяцы года; одевались они в ужасные красные куртки; в виде милости разрешались парусинные панталоны во время жары да шерстяной балахон в суровые холода; пили вино и ели мясо лишь тогда, когда отправлялись на тяжелый труд. Существовали они, утратив имена, которые заменялись номером, проводили жизнь под

палкой, в позоре, с опущенными глазами, тихим голосом, выбритыми головами.

Затем мысль его обращалась к тем существам, которые были у него перед глазами.

И они жили с обрезанными волосами, потупив очи, понизив голос, но не в позоре, а среди насмешек света; спины их не были исполосованы плетьми, а изможденны суровыми истязаниями. У них тоже исчезли мирские имена, они носили священные наименования. Они никогда не вкушали мяса и не пили вина; часто оставались до вечера без пищи; одевались они не в красную куртку, а в черный саван, слишком душный летом, слишком легкий зимою, не смея ничего ни прибавить к нему, ни убавить, не имея даже, смотря по сезону, облегчения в виде холщовой одежды или шерстяного плаща; шесть месяцев в году носили они власяницу от которой у них выступала лихорадка. Жили они не в залах, отоплявшихся в самые суровые холода, а в кельях, где никогда не топили; спали не на тюфяках в два пальца, а на соломе. Наконец, им

не дано даже пользоваться сном; каждую ночь, после многотрудного дня, в истоме первого сна, в ту минуту, когда они едва начинали засыпать и согреваться, — приходилось вставать, идти молиться в ледяную мрачную часовню, преклоняя колени на камне. В известные дни каждое из этих созданий по очереди обязано было двенадцать часов подряд стоять коленопреклоненным на плитах или распростертым, лицом к земле, руки крестом.

Те другие — мужчины, а эти женщины.

Что сделали те мужчины? Они украли, ограбили, убили. То были разбойники, отравители, поджигатели, убийцы, отцеубийцы. Что же сделали эти женщины? Они ничего дурного не сделали.

С одной стороны разбой, обман, насилие, похоть, душегубство — всевозможные святотатства, все разновидности преступления, посягательств, с другой стороны одно — невинность.

Невинность полная, совершенная, словно похищенная с небес и еще привязанная к земле добродетелью.

С одной стороны вполголоса поверяют друг другу содеянные преступления; с другой стороны, громогласно каются в своих проступках. И какие это преступления! И какие проступки!

С одной стороны, миазмы, с другой — несказанное благоухание. С одной стороны нравственная чума, под строгим надзором, под пушкой, медленно пожирающая свои зачумленные жертвы; с другой стороны целомудренное объятие всех душ в одном жилище. Там мрак, здесь тень, но тень полная сияний, лучезарного света.

Два места заключения; но в первом возможность освобождения, в перспективе граница, проведенная законом, или бегство. Во втором — заключение на всю жизнь; вместо всякой надежды, в дальнем будущем — луч той свободы, которую люди называют смертью.

В первом — человек прикован лишь цепями, во втором — прикован своей верой. Что исходит из первого? Великое проклятие, отчаянная злоба, крик ярости против человеческого общества, издевательство над небом. А из второго что исходит? Благодать и любовь.

И в обоих этих местах, столь сходных и столь различных, эти два противоположных сорта существ выполняют одно и то же назначение: покаяние.

Жан Вальжан понимал покаяние первых: покаяние личное, искупление за свои грехи. Но он не понимал покаяния этих женщин, безупречных, незапятнанных, и с трепетом задавал себе вопрос: покаяние в чем? Искупление за что?

Голос его совести отвечал: это самое божественное людское великодушие, искупление за других.

Здесь мы воздержимся от всякой личной теории: мы повествователи, не более того. Мы

ставим себя на точку зрения Жана Вальжана и передаем его впечатления.

Перед глазами у него был верх самоотречения, высочайшая вершина добродетели, какая только возможна, — непорочность, прощающая людям их прегрешения и за них искупляющая грехи; перед ним было уничижение, добровольное самоистязание, муки, выносимые существами безгрешными ради падших душ, любовь к человечеству, любовь к Богу; он видел кроткие существа, которые выносили лишения наказанных и улыбались улыбкой награжденных.

И он вспоминал, что еще осмеливался роптать!

Часто, среди ночи, он вставал и прислушивался к благодарственному пению этих непорочных существ, обремененных суровыми строгостями, и холод пробирал его до мозга костей, когда он думал, что те, которые несут достойное наказание, возвышают голос к небу лишь для богохульства и что он сам, презренный, грозил кулаком Богу.

Одна поразительная вещь заставляла его задумываться глубоко, как тайное предостережение Самого Провидения: это перелезание через стену, трудный тяжелый подъем, все усилия, которые он совершил, чтобы выбраться из того, другого места покаяния, он совершил их ради того, чтобы попасть как раз сюда. Не символ ли это его судьбы?

Этот дом был тоже тюрьмой и имел мрачное сходство с тем другим домом, откуда он бежал; однако никогда ему не приходила в голову подобная мысль. Он снова видел решетки, запоры, железные перекладины, но кого они стерегли: ангелов.

Эти высокие стены, которые когда-то на его глазах ограждали тигров, теперь снова являлись перед ним, но ограждающими агнцев. То было место покаяния, а не наказания, а между тем оно было еще суровее, еще неумолимее другого. Эти девственницы несли более тяжелое бремя, чем каторжники. Холодный суровый ветер, тот самый, что леденил его юность, проносился по

клетке ястребов; но еще более резкий, еще более жестокий ветер дул сквозь клетку голубиц.

И почему? Когда он размышлял об этих вещах, все существо его поглощалось этой высокой тайной.

Среди размышлений гордость смиряется. Он много думал о самом себе, чувствовал себя слабым и жалким, и зачастую слезы выступали у него на глазах. Все перемены в его жизни за последние шесть месяцев возвращали его к святым наставлениям епископа; Козетта посредством любви, а монастырь — посредством смирения. Зачастую, вечером, в тот час, когда сад был пустынен, он стоял на коленях посреди аллеи, смежной с часовней, перед окном, в которое смотрел в день вступления своего в монастырь, обратив лицо к тому месту, где он знал, что сестра молится за грехи мира. Он тоже молился, преклонив колени перед этой сестрой, словно не осмеливался пасть ниц перед Самим Богом.

Все окружающее его, мирный сад, душистые цветы, радостные крики детей, эти смиренные серьезные женщины, молчаливый монастырь — все это медленно завладевало им, и мало-помалу душа его прониклась безмолвием монастыря, благоуханием цветов, миром этого сада, простотой этих женщин и радостью детей. И потом он размышлял, что два Божьих дома приняли его в два критических момента его жизни — первый, когда все двери закрылись перед ним и когда людское общество отторгло его, и второй, в тот момент, когда это общество снова кинулось преследовать его и каторга раскрывалась перед ним; он думал про себя, что, не будь первого убежища, он снова впал бы в преступление, а не будь второго — подвергся бы новым мукам.

Сердце его прониклось благодарностью, и он любил все сильнее и сильнее.

Так прошло несколько лет; Козетта подрастала.

Глава 147

У Парижа есть дитя, у леса есть птичка. Птичка называется воробьем, дитя — гаменом {Уличный мальчишка, беспризорник.}.

Соедините эти две идеи — пылающую печь и утреннюю зарю; от столкновения этих двух искр — Парижа и детства — появляется маленькое существо. «Homuncio» {Человечек (лат.).}, сказал бы Плавт.

Это маленькое существо жизнерадостно. Оно ест не каждый день, а отправляется в театр, если ему заблагорассудится, каждый вечер. У него нет рубашки на теле, башмаков на ногах, кровли над головой; оно, как птица небесная, не знает этих вещей.

Гамену от семи до тринадцати лет. Он живет в компании, весь день проводит на улице, спит на открытом воздухе, носит старые отцовские штаны, которые спускаются ему ниже пят, старую шляпу какого-нибудь другого отца, которая нахлобучена ниже ушей, и одну-

единственную подтяжку с желтой каемкой. Он бегает, ищет, подстерегает, теряет время, курит трубку, бранится, как извозчик, шляется по кабакам, знается с ворами, сходится на «ты» с уличными женщинами, говорит на воровском жаргоне, поет непристойные песни, но в сердце у него нет ничего дурного. Дело в том, что у него в душе жемчужина — невинность, а жемчуг не растворяется в грязи. Пока человек ребенок, Богу угодно, чтобы он был невинен.

Если бы у огромного города спросили: «Кто это?» — он ответил бы: «Это мое дитя».

Глава 148

Парижский гамен — это карлик, рожденный от великана.

Не будем преувеличивать. У этого уличного херувима иногда бывает рубашка, но во всяком случае только одна; бывают изредка башмаки, но без подошв; бывает иногда и жилище, которое он любит, потому что видит в нем свою мать, но

которому все-таки предпочитает улицу, так как находит там свободу. У него свои собственные игры, свои шалости, основанием которых служит чаще всего ненависть к буржуа; свои метафоры — умереть значит на его языке «есть одуванчики с корня», свои способы зарабатывать на жизнь — приводить фиакры, опускать подножки карет, устраивать переправу через улицы во время сильных дождей — «faire des ponts des arts» {Устраивать искусственные мосты (фр.).}, по его выражению, и выкрикивать речи, произнесенные властями в пользу французского народа; у него собственные деньги, состоящие из маленьких кусочков меди, которые он подбирает на улицах. Эти курсовые монеты — «loques» {Клочки (фр.).} — имеют точно определенную ценность и находятся в постоянном обращении среди этой детской богемы.

Есть у него и своя фауна, которую он внимательно наблюдает где-нибудь в уголках: божья коровка, тля — мертвая голова, паук — коси сено, «черт» — черное насекомое, поднимающее в виде угрозы хвост, вооруженный

двумя рожками. Наконец, есть у него и свое баснословное чудовище с покрытым чешуей брюхом, — но это не ящерица, с бородавками на спине, но и не жаба, — которое живет в старых ямах для обжигания извести и высохших сточных колодцах. Это черное, волосатое, липкое пресмыкающееся, то медленное, то быстрое; оно не издает никакого звука, но только глядит, и причем так ужасно, что его никто никогда не видит. Таинственное существо это называется «глухарем». Отыскивать глухарей между камнями — большое, но несколько опасное удовольствие. Другое удовольствие — быстро поднять булыжник и полюбоваться на мокриц.

Каждая местность Парижа славится какими-нибудь интересными находками по этой части. На дровяных дворах урсулинок водятся уховертки; в Пантеоне — тысяченожки, а во рвах Марсова поля — головастики.

У гамена, как у Талейрана, никогда нет недостатка в остротах. Он так же циничен, но гораздо честнее. Веселость его вспыхивает

неожиданно какими-то порывами. Он озадачивает лавочника своим безумным хохотом и смело переходит от высокой комедии к фарсу.

Идет похоронная процессия. Среди провожающих покойного — доктор.

— Каково! — кричит гамен. — С каких это пор доктора сами относят свою работу?

Другой гамен попал в толпу. Солидный господин в очках, весь в брелоках, вдруг с негодованием оборачивается и говорит:

— Негодяй, ты «схватил талию» моей жены!

— Я?.. Обыщите меня.

Глава 149

Вечером, благодаря нескольким су, которые гамен всегда сумеет добыть, он идет в театр. Переступив за этот магический порог, он сразу преображается. Он был гаменом — он становится жаворонком. Театры — те же корабли, но перевернутые трюмом вверх. В этот-то трюм и

набиваются жаворонки. Гамен относится к жаворонку, как личинка к бабочке; то же самое существо, но сначала ползающее, а потом летающее. Достаточно одного его присутствия, его сияющего счастьем лица, его способности радоваться и восторгаться, его аплодисментов, похожих на хлопанье крыльев, чтобы этот тесный, смрадный, темный, нездоровый, ужасный, отвратительный трюм действительно превратился в «раек».

Дайте какому-нибудь существу бесполезное и отнимите у него все необходимое, и вы получите гамена.

Гамен не совсем невежда по части литературы. Но направление, которого он придерживается, — говорим это с крайним сожалением, — совсем не в духе классицизма. Он по самой природе своей не имеет ничего общего с академией. Так, например, популярность, которой пользовалась среди этой буйной детской публики мадемуазель Марс, была приправлена

оттенком иронии. Гамен прозвал артистку «мадемуазель Шептунья».

Этот странный ребенок кричит, насмехается, издевается, спорит; одетый в тряпки, как младенец, и в рубище, как философ, он удит в сточных трубах, охотится в клоаках, умеет сохранять веселость даже среди нечистот, оглашает своими остротами перекрестки, зубоскалит и кусается, свистит и поет, восторженно приветствует и бранится, распевает все, начиная с молитвы за усопших и кончая куплетами, находит, не отыскивая, и знает, не изучая. Он непреклонен до плутовства, безумен до мудрости, лиричен до грязи; он готов взобраться на Олимп, а валяется в грязи и выходит оттуда чистым и сияющим, как звезда. Парижский гамен — это Рабле в миниатюре.

Он недоволен своими панталонами, если в них нет кармашка для часов.

Он редко удивляется, пугается еще реже, сочиняет песенки, в которых осмеивает суеверия, уменьшает до надлежащих размеров

преувеличения, подшучивает над тайнами, показывает язык привидениям, обличает манерничание, смеется над эпической напыщенностью. Не потому что он прозаичен. Нет, далеко не поэтому. Он только заменяет торжественное видение шуточной фантасмагорией. Если бы перед ним появился Адамастор, он, наверное, воскликнул бы: «Вот так пугало!»

Глава 150

Париж начинается зевакой и кончается гаменом; эти два типа не может произвести никакой другой город. Пассивная безучастность, довольствующаяся лишь тем, что смотрит, и неистощимая инициатива, Прюдон и Фуйу. У одного только Парижа есть такие типы в его естественной истории.

Этот бледный ребенок парижских предместий живет и развивается, «завязывается и расцветает» в страдании, наблюдает социальную действительность и дела человеческие и

задумывается над ними. Он сам себя считает беззаботным, но это неверно. Он смотрит, готовый смеяться, но готов и на кое-что другое. Кто бы вы ни были, как бы вы ни назывались — Предрассудком, Злоупотреблением, Притеснением, Беззаконием, Деспотизмом, Несправедливостью, Фанатизмом, Тиранией, — бойтесь гамена.

Этот ребенок вырастет.

Из какой глины он вылеплен? Из первой попавшейся грязи. Пригоршня земли, дуновение — и Адам готов. Теперь нужно только прикосновение Бога. А Бог всегда касается гамена. Судьба принимает на себя заботу об этом маленьком существе. Под словом «судьба» мы отчасти подразумеваем случай. Этот пигмей, кое-как вылепленный из простой грубой земли, невежественный, необразованный, вульгарный, вышедший из черни, — станет ли он ионийцем или беотийцем. Подождем, currit rota {Колесо вертится.}, парижский дух, этот демон, создающий людей случая и людей рока, не следуя

примеру латинского горшечника, превратит кружку в амфору.

Глава 151

Гамен любит город, но так как он отчасти мудрец, то любит уединение. Urbis amator {Любитель города (лат.).}, как Фуск, ruris amator {Любитель деревни (лат.).}, как Флакк.

Бродить и думать, то есть фланировать, — самое подходящее времяпрепровождение для философа, а в особенности за городом, в местности, представляющей собой что-то вроде деревни, несколько искусственной, довольно некрасивой, но причудливой и какой-то двойственной. Таков характер всех окрестностей больших городов, в том числе Парижа. Наблюдать эти окрестности все равно, что наблюдать амфибию. Тут кончаются деревья и начинаются крыши; кончается трава и начинается мостовая; кончаются поля и начинаются лавки; кончаются привычки и начинаются страсти; умолкает говор природы и раздается людской

шум. Все это придает городским окрестностям необыкновенный интерес.

И эти-то малопривлекательные и по общепринятому мнению «скучные» места нравятся мечтателю, и он совершает там свои, по общему мнению, бесцельные прогулки.

Пишущий эти строки любил бродить за парижскими заставами, и эти прогулки служат для него источником глубоких воспоминаний. Этот подстриженный дерн, эти каменистые тропинки, меловая или мергелевая почва, суровое однообразие нив и распаханных полей, молоденькие ростки на огородах, неожиданно появляющихся на заднем плане, эта смесь дикого и возделанного, уединенные закоулки, где идут военные учения и откуда доносится громкий, напоминающий сражение барабанный бой, пустыри днем и разбойничьи притоны ночью, какая-нибудь нескладная мельница, крылья которой вертятся по ветру, колеса машин в каменоломнях, кабачки около кладбищ, таинственное очарование высоких, мрачных стен,

прорезывающих под прямым углом громадные пространства земли, залитые солнцем и полные бабочек, — все это привлекало меня.

Мало кто знает эти странные места — Гласьер, Кюнет, ужасную, испещренную пулями стену Гренелля, Монпарнас, Лафосс-о-Лу, Обье, на высоком берегу Марны, Мон-Сури, Томб-Иссуар, Пьер-Плат Де-Шатильон, где есть старая, уже выработанная каменоломня, в ней теперь растут грибы, и она закрывается вровень с землею дверью из сгнивших досок. В римской деревне есть идея, есть она и в окрестностях Парижа. Видеть только поля, дома и деревья в открывающейся перед нами картине природы — еще недостаточно. Это значит оставаться на поверхности. Все видимые вещи — мысли божии. Место, где поля сливаются с городом, всегда проникнуто какой-то глубокой меланхолией. Здесь слышатся в одно и то же время голоса природы и человечества. Здесь резче выступают все местные особенности.

Тому, кто подобно нам бродил по этим пустынным, смежным с предместьями окрестностям Парижа — его преддверием, наверно, случалось видеть в самых уединенных местечках и в самую неожиданную минуту за каким-нибудь плохоньким забором или в уголке около мрачной стены шумные толпы грязных, запыленных, оборванных ребятишек, которые, украсив свои всклокоченные волосы васильками, играют в мельницу. Все это маленькие беглецы из бедных семей.

За городом им легче дышать. Окрестности Парижа принадлежат им. Они постоянно болтаются здесь без дела и наивно распевают весь свой репертуар непристойных песен. Они сходятся сюда или, вернее, живут здесь, вдали от всех взоров, в мягком сиянии майского или июньского дня, и, вырвавшись на волю, свободные, счастливые, то нагибаются, стоя на коленях, над какой-нибудь ямкой в земле, то подбрасывают ногами и катают шары, то устраивают ссоры из-за грошей.

Увидав нас, они сейчас же вспоминают, что им нужно зарабатывать деньги, и предлагают вам купить старый шерстяной чулок, доверху набитый майскими жуками, или букетик сирени. Эти встречи с детьми придают особую мучительную прелесть прогулкам по парижским окрестностям.

Иногда в толпе мальчиков попадаются и девочки — сестры их, что ли? — довольно большие девочки, худые, резкие, с загорелыми руками и лицами в веснушках, босые, веселые, в венках из ржаных колосьев и мака на головах. Некоторые из них едят вишни, сидя во ржи. Вечером слышно, как они хохочут. Эти группы, залитые горячим полуденным солнцем или смутно выделяющиеся в сумерках, недолго занимают мечтателя, и странные виденные им образы примешиваются к его снам.

Париж — центр; его окрестности — окружность. Вот и весь детский мирок. Они никогда не решаются выйти за его пределы: они так же не могут существовать без парижского

воздуха, как рыба без воды. Для них на расстоянии двух лье от заставы уже кончается весь мир. Иври, Жантильи, Аркейль, Бельвиль, Обервилье, Менильмонтан, Шуази-ле-Руа, Билланкур, Медон, Неси, Ванвр, Севр, Пюто, Иейльи-сюр-Сен, Женви-лье, Коломб, Романвиль, Шату, Аньер, Буживаль, Нантер, Энгмен, Нуази-ле-Сек, Ножан, Гурнэ, Драней, Гонесе — вот и вся их вселенная.

Глава 152

В эпоху, когда происходит действие этого романа — впрочем, эпоху почти современную, — полицейские агенты не стояли, как теперь, на углу каждой улицы (благодеяние, о котором здесь не время рассуждать), и уличных бесприютных детей было очень много в Париже. По статистическим сведениям видно, что в среднем число детей, которых забирала полиция в разных неогороженных местах, строящихся домах и под арками, доходило до двухсот шестидесяти в год. В одном из этих притонов, получившем

известность, вывелись «ласточки Аркольского моста». Беспризорные дети — одно из самых ужасных общественных зол. Все преступления взрослого зарождаются в бродяжничестве ребенка.

Впрочем, исключим Париж. Несмотря на вышеприведенные цифры Париж, конечно, лишь относительно может по всей справедливости считаться исключением. Тогда как во всяком другом большом городе ребенок-бродяга уже заранее может считаться погибшим человеком, тогда как почти всюду предоставленный самому себе ребенок почти наверняка обрекается на гибель и погружается в бездну общественных пороков, заглушающих в нем честь и совесть, — парижский гамен, мы настаиваем на этом, остается почти нетронутым внутри, хотя и кажется испорченным снаружи. Чудно явление, выступающее так ярко на удивительной честности наших народных революций. Что-то чистое, не поддающееся порче, является следствием идеи, которая заключается в воздухе

Парижа, как соль в океане. Дышать Парижем — это сохранить душу.

Но, несмотря на все, что мы говорили выше, сердце все так же болезненно сжимается каждый раз, когда видишь этих оторванных от семьи детей. При настоящей, далеко еще не совершенной цивилизации такие распадающиеся во мраке семьи, выбрасывающие своих детей на улицу и не знающие, что стало с ними, не считаются особенно ненормальным явлением, и несчастные дети вырастают, не зная своего происхождения. Это стало так обыденно, что сложилось даже особое выражение: «быть выброшенным на парижскую мостовую».

Кстати сказать, свергнутая монархия не применяла никаких мер против такого пренебрежения к судьбам детей. Небольшое количество бродяг в низших слоях общества представляло известное удобство для высших сфер и было на руку власть имущим. К тому же в то время относились с большим предубеждением к распространению образования в народной

среде. «Что хорошего в полуобразовании?» — такова была мораль. А беспризорный ребенок, безусловно, останется невежественным.

Кроме того, монархии иногда бывали нужны дети, и тогда она пользовалась улицами.

Людовик XIV, чтобы не заходить слишком далеко, решил, что очень разумно создать флот. Мысль была хорошая. Посмотрим на средство. Флот немыслим, если, кроме парусных кораблей, плавающих только по ветру, нет судов, которые могут идти, куда хотят, при помощи весел или пара. В то время вместо современных Пароходов использовались галеры. Итак, нужно было построить побольше галер; но галеры не могут двигаться без гребцов, значит, нужны галерники. Кольбер распорядился, чтобы парламенты и высшие власти в провинциях ссылали на галеры как можно больше народа. Магистратура очень любезно содействовала этому. Кто-нибудь не снимал шляпы, в то время как мимо проходил крестный ход, — его отправляли на галеры как гугенота. На улице попадался мальчик; если ему

было больше пятнадцати лет и он не имел приюта на ночь, его тоже ссылали на галеры. Великое царствование, великий век!

При Людовике XV дети начали пропадать в Париже; их похищала полиция для каких-то таинственных целей. Народ с ужасом перешептывался, делая чудовищные предположения. Иногда случалось, что полицейские, охотясь на детей, захватывали таких, у которых были семьи. Тогда отцы в отчаянии бросались по горячим следам за полицейскими. В таких случаях вступался парламент и отдавал приказ повесить — кого? Полицейских? Нет, отцов.

Глава 153

Парижские гамены — как бы совсем отдельная каста, и нужно прибавить: не всякий желающий может попасть в нее.

Слово «гамен» перешло из народного языка в литературный и попало в первый раз в печать в

1834 году. Оно появилось в небольшом рассказе «Клод Гё». Скандал вышел на славу. Но слово осталось и привилось.

Причины, вызывающие уважение гаменов друг к другу, очень разнообразны. Мы близко знали одного гамена, пользовавшегося большим почетом в своей среде и возбуждавшего всеобщий восторг благодаря тому, что он видел, как какой-то человек упал с колокольни собора Богоматери; другой добился такого же уважения потому, что ему удалось пробраться на задний двор, куда на время поставили статуи с купола Дома Инвалидов, и «подтибрить» с них немножко свинца; третий — потому что видел, как опрокинулся дилижанс; четвертый — потому что знал солдата, который чуть не выколол глаза какому-то буржуа.

Таким образом, становится вполне понятным восклицание одного парижского гамена — полное глубокого смысла восклицание, над которым смеются невежды, не понимая его: «Господи боже мой! Какой же я несчастный! До сих пор я

ни разу не видал, чтобы кто-нибудь упал с пятого этажа!»

Недурно однажды выразился и один крестьянин.

— Ваша жена заболела и умерла от своей болезни, — сказали ему. — Почему вы не пригласили доктора?

— Что же делать, сударь, — отвечал он. — Мы люди бедные и умираем сами.

Но если в этом ответе выразилась вся пассивная покорность крестьянина, то в словах, которые мы приводим ниже, высказалась вполне вся свободомыслящая анархия гамена. Приговоренный к смерти преступник, едущий к месту казни, слушает своего духовника. «Он разговаривает со своим попом! — кричит парижский гамен. — Эдакий трус!»

Некоторая смелость в деле религии возвышает гамена. Вольнодумство придает ему большой вес.

Присутствовать при казнях считается непременной обязанностью. Показывают друг

другу на гильотину и смеются. Ей дают разные шутливые прозвища: «Конец супа, Ворчунья, Голубая маменька (с небес!), Последний глоток» и т. д. Чтобы не упустить ничего из предстоящего зрелища, влезают на стены, взбираются на балконы, карабкаются на деревья, висят на решетках, цепляются за трубы. Гамен родится кровельщиком так же, как и моряком. Крыша не страшна ему, как не страшна мачта.

Никакое празднество не может сравниться для гамена с Гревской площадью. Сансон и аббат Монтес — самые популярные имена. Осужденному на смерть преступнику шикают, чтобы ободрить его. Иногда им восхищаются. Ласнер, будучи гаменом, смотрел на казнь ужасного Дотена и, видя, как мужественно он умирает, сказал фразу, в которой выразилась целая будущность: «Я завидовал ему».

В среде гаменов не имеют никакого понятия о Вольтере, но знают Папавуана. В одном и том же перечне смешивают политических преступников и убийц. Сохраняются предания насчет

последней одежды каждого из них. Известно, что Таллерон был в шапке кочегара, Авриль — в фетровой фуражке, Лувель — в круглой шляпе; что старик Делапорт был с непокрытой лысой головой, Кастенг — румян и красив, что у Бариеса была романтическая эспаньолка, Жан Мартен носил подтяжки, а Лекуфе и его мать ссорились между собою.

Один гамен, желая рассмотреть Дебакера, но не видя ничего из-за толпы, лезет на фонарный столб на набережной. Стоящий на посту жандарм хмурит брови.

— Пожалуйста, господин жандарм, позвольте мне влезть на него, — просит гамен и, чтобы смягчить правосудие, прибавляет: — Я не упаду.

— Очень меня беспокоит, упадешь ты или нет, — ворчит жандарм.

В среде гаменов всякий несчастный случай придает большое значение пострадавшему. Уважение к товарищу достигает высшей точки, если он порежется очень сильно, «до кости».

Кулак тоже пользуется немалым уважением. Гамен очень любит похвалиться им: «Смотри, какой я сильный, видишь?» Левша возбуждает зависть. Косые глаза считаются большим преимуществом.

Глава 154

Летом гамен превращается в лягушку; по вечерам, когда темнеет, он с борта угольной баржи или плота прачек, около Аустерлицкого или венского моста, бросается вниз головой в Сену, нарушая все законы стыдливости и полиции. Но так как полиция бодрствует, то положение становится в высшей степени драматическим и немудрено, что оно как раз вызвало достопамятный братский возглас. Этот возглас, полуивший известность в 1830 году, не что иное, как стратегическое предостережение одного гамена другому. Его скандируют, как стихи Гомера, с ударением, которое так же трудно объяснить, как мелопею элевзинских таинств. В нем слышится древнее «Эвое». Вот этот возглас:

«Эй! Ге-ге! Тюти! Крючок идет! Шевелись! Собирай манатки и шастай в сточную трубу!»

Иногда эта мошкара — так он сам себя называет — умеет читать, иногда пишет и всегда умеет кое-как рисовать, изображая в публичных местах всяческие непристойности. При помощи какого-то таинственного взаимного обучения гамен приобретает все таланты, могущие принести пользу общественному делу. С 1815 по 1830 год гамен подражал крику индюка; с 1830 по 1848 год он рисовал на стенах груши. Раз летним вечером Луи-Филипп, возвращаясь во дворец пешком, увидел совсем крошечного мальчугана, который поднимался на цыпочках и пыхтел, стараясь нарисовать углем гигантскую грушу на одном из столбов решетки Нейи; король с тем добродушием, которое перешло к нему по наследству от Генриха IV, помог гамену дорисовать грушу, а потом дал ему луидор и сказал: «Видишь, и внизу есть груша».

Гамен любит шум. Всякая неурядица нравится ему. Он ненавидит «попов». Раз на

Университетской улице один из этих плутишек рисовал огромный нос на воротах дома No 69.

— Зачем ты это делаешь? — спросил его какой-то прохожий.

— Тут живет поп, — отвечал гамен.

В этом доме действительно жил папский нунций.

Но каким бы вольтерианцем ни был гамен, он, если представится случай, охотно поступит в церковный хор и в таком случае будет держать себя прилично во время службы. Есть две цели, к которым он, как Тантал, страстно стремится, но которых никогда не достигает: низвергнуть правительство и отдать заштопать свои штаны.

Гамен знает до тонкости всех парижских полицейских и, встретившись с каждым из них, сумеет назвать его по имени. Он пересчитывает их по пальцам. Он изучает их характеры и может дать о каждом самые точные сведения. Он читает в душе полицейских как в открытой книге и объявит вам быстро без запинки: «Вот этот —

фискал, этот — колючка, этот — добряк, этот — смехач» (все эти слова «фискал», «колючка», «добряк», «смехач» имеют в его устах какое-то особое значение). Вот этот воображает, что Новый мост принадлежит ему, и запрещает публике ходить по карнизу с наружной стороны перил, а у этого скверная привычка драть людей за уши и т. д. и т. д.

Глава 155

У Мольера, сына рынка, было кое-что родственное с гаменом, было оно и у Бомарше. Гаменство — оттенок галльского духа. Примешанное к здравому смыслу, оно иногда придает ему крепость, как алкоголь вину.

Иногда оно бывает недостатком. Гомер пустословит — пусть так; но зато про Вольтера можно сказать, что он смел, как гамен. Камилл Демулен жил в предместье, Шампионе, отвергавший чудеса, вырос на парижской мостовой, будучи еще мальчишкой, он ухитрялся

оставлять непристойные следы на паперти Сен-Жан-де-Бовэ и Сент-Этьен-дю-Мон.

Парижский гамен почтителен, насмешлив, дерзок. У него скверные зубы, потому что он плохо питается, и прекрасные глаза, потому что он умен. Даже в присутствии самого Иеговы он, подпрыгивая на одной ножке, взобрался бы на ступени, ведущие в рай. Всевозможные превращения доступны ему. Сегодня он играет в канаве, завтра начинается восстание, и он сразу вырастает. Его дерзость не отступает перед картечью. Это повеса. Это герой. Как маленький фивянин, потрясает он львиной шкурой. Барабанщик Бара был парижским гаменом. Он кричит: «Вперед!» и в одно мгновение превращается из мальчика в великана.

Это дитя улицы — в то же время дитя идеала. Измерьте расстояние между Мольером и Бара. Словом, можно сказать, гамен забавляется, потому что несчастен.

Глава 156

Резюмируем еще раз: парижский гамен в настоящее время то же, чем был когда-то римский graeculus {Грек (презрительно) (лат.).}. Это народ-дитя, у которого на лбу морщина вселенной. Гамен прелесть нации и в то же время ее недуг. И недуг, который нужно лечить. А чем? Образованием. Образование оздоровляет. Образование просвещает.

Все лучшее в отношениях людей и общества — результат влияния науки, литературы, искусства, образования. Воспитывайте людей, образовывайте их. Дайте им света, чтобы они согревали вас. Рано или поздно великий вопрос всеобщего образования заявит о себе с непреодолимым авторитетом абсолютной истины. И тогда тем, кто будет управлять, придется выбирать одно из двух: или сынов Франции, или парижских гаменов — яркие лучи света или блуждающие во мраке огоньки.

Гамен — олицетворение Парижа, Париж — олицетворение всего мира. Потому-то Париж — итог всего. Париж — кровля над всем человечеством. Этот удивительный город заключает в себе в миниатюре все старинное и все современное. Тот, кто видит Париж, видит как будто изнанку всей истории, с небом и созвездиями в промежутках.

В Париже есть свой Капитолий — Отель де-Вилль, свой Парфенон — собор Богоматери, свой Авентинский холм — Сент-Антуанское предместье, свой Азинариум — Сорбонна, свой Пантеон — тоже Пантеон, своя Священная дорога — бульвар Итальянцев, своя Башня ветров — общественное мнение. Его майо называется хлыщом, его транстиверинец — жителем предместья, его гаммаль — рыночным носильщиком, его ладзарони — шайкой воров, кокни — фатом.

Все находящееся где бы то ни было есть и в Париже. Торговка рыбой Дюмарсо не уступит зеленщице Эврипида, метатель диска Веян

возрождается в канатном плясуне Фориозо, воин Ферапонтигон не отказался бы пойти под руку с гренадером Вадебонкером, старьевщик Дамасипп почувствовал бы себя вполне счастливым в нынешних магазинах старинных вещей, Венсен арестовал бы Сократа и, как Агора, засадил бы в тюрьму Дидро, Гримо де ла Ренер изобрел бы ростбиф на сале, Куртилл — жареного ежа. Под куполом Арки Звезды мы вновь видим трапецию Плавта, глотавший шпаги Песиль, которого встретил Апулей, глотает шпаги и теперь на Новом мосту, племянник Рамо и паразит Куркулион как нельзя более подходящая пара, Эртазил попросил бы Эгрфейля представить его Камбасересу, четыре римских щеголя — Алкесимарх, Федрон, Дьяволус и Агриппа — как будто все живы, и мы видим, как они спускаются с Куртиля в коляске Лабатю, Авл Геллий стоял бы перед Конгрио не больше, чем Шарль Нодье перед Полишинелем. Мартон — не тигрица, но и Пардалиска не была драконом, шут Панталобус высмеивает и теперь в английском кафе гуляку Номентануса; Гермоген — тенор на Елисейских

полях, а около него нищий Фразий, одетый паяцем, собирает деньги, надоедливый господин в Тюильри, хватающий вас за пуговицу, заставляет вас повторить через две тысячи лет изречение Фесприона: «Quis properantem me prehendit pallio?» {Кто меня, спешащего, хватает за полу плаща? (лат.).} Сюренское вино подделка альбанского, полный стакан вина Дезожье соответствует большой чаше Балатрона, на кладбище Пер-Лашез мерцают после ночных дождей такие же огоньки, как и на Эсквилине, а могила бедняка, купленная на пять лет, стоит взятого напрокат гроба раба.

Найдите хоть что-нибудь, чего не было бы в Париже. Все, что было в чане Трофония, есть и в сосуде Месмера, Эргафилай воскресает в Калиостро, брамин Вазафанта воплощается в графе Сен-Жермене, на кладбище Сен-Медар совершается столько же чудес, как и в мечети Умумиэ в Дамаске.

У Парижа есть свой Эзоп — Майе, своя Канидия — девица Ленорман, Париж вызывает

духов, как Дельфы, и так же пугается, когда они являются, он вертит столы, как Додона треножники. Он сажает на трон гризетку, как Рим — куртизанку, и если Людовик XV хуже Клавдия, то г-жа Дюбарри лучше Мессалины. Париж создает небывалый тип, — этот тип существовал, и мы с ним сталкивались, — в котором совмещаются греческая нагота, еврейская скорбь и гасконская шутка. Он сливает в одно Диогена, Иова и Пальяса, одевает призрак в старые номера «Конституционной газеты» и создает Шедрюка Дюкло. Хоть Плутарх и говорит, что «покорность не смягчит тирана», Рим при Сулле и при Домициане все-таки терпел и разбавлял водою вино. Тибр был Летой, если можно верить несколько доктринерской похвале Вара Вибиска: «Contra Gracchos Tiberim habemus. Bibere Tiberim, id est seditionem oblivisci» {Против братьев Гракхов у нас есть река Тибр, а отведать Тибра — это забыть о мятеже (лат.).}. Париж выпивает миллион литров воды в день, но это не мешает ему бить при случае в набат и поднимать тревогу.

Но, вообще говоря, Париж добрый малый и легко мирится со всем. Он не предъявляет больших требований к Венере, его Каллипига — готтентотка. Если ему смешно, он готов простить все. Безобразие его забавляет, уродливость — смешит, порок — развлекает. Если вы забавны, вам позволяется быть хоть негодяем. Даже лицемерие, этот верх цинизма, не возмущает Парижа. Он настолько образован, что не зажимает носа от писаний Базиля, а молитва Тартюфа так же мало оскорбляет его, как Горация «икота» Приапа. Каждая черта всемирного лика повторяется в профиле Парижа. Хотя бал в саду Мабиль и не похож на пляски на Яникульском холме, но там торговка старым платьем так же жадно следила за девой Планезиум. Барьер-дю-Комба, конечно, не Колизей, но кулачные бойцы свирепствуют там, как будто в присутствии Цезаря. Сирийская трактирщица привлекательнее тетки Сагэ, но если Виргилий был завсегдатаем римского кабачка, то Давид д'Анжер, Бальзак и Шарле так же часто посещали парижские кабачки.

Париж царит, и гении сверкают в нем. Адонай проносится там в своей молниеносной колеснице о двенадцати колесах, Силен появляется на своем осле, Силен — читайте Рампоно.

Париж — синоним космоса. В нем совмещаются Афины, Рим, Пантен, Сибарис и Иерусалим. Все цивилизации находятся здесь в миниатюре, а также и все варварства. Париж был бы очень недоволен, если бы у него отняли гильотину.

Кусочек Гревской площади — вещь недурная. Чего стоил бы этот вечный праздник без такой приправы? Законы наши очень точно принимают это во внимание, и благодаря им кровь с ножа гильотины падает капля по капле на веселый парижский карнавал.

Глава 157

У Парижа нет границ. Ни один город не обладал такой властью, часто осмеивающей тех, кого он порабощает. «Нравится вам, о

афиняне!» — восклицал Александр. Париж издает законы, но этого еще мало; он предписывает моду и, что еще важнее, вводит рутину. Париж может быть глупым, если ему заблагорассудится, и он иногда позволяет себе эту роскошь. Тогда и весь мир глупеет вместе с ним. Потом Париж вдруг просыпается, протирает глаза, говорит: «Ну, не глуп ли я?!» — и разражается громким хохотом в лицо человечеству.

Что за чудо такой город! И странно, что грандиозное и шутовское так мирно уживаются в нем, что величию не мешает пародия и что одни и те же уста могут сегодня трубить в трубу страшного суда, а завтра дудеть в дудку! Париж обладает державной веселостью. Его веселье сверкает, как молния, его фарс держит скипетр. Его буря иногда начинается гримасой. Его взрывы, битвы, шедевры, чудеса, эпопеи разносятся по всей вселенной вместе с его остротами. Его смех — жерло вулкана, обрызгивающее всю землю, его шутки — искры. Его карикатуры и его идеалы становятся

достоянием всех народов, самые высокие памятники человеческой цивилизации выносят его иронию и отдают свою вечность в жертву его проказам.

Париж великолепен. У него есть чудесное 14 июля, освободившее весь мир, ночь на 4 августа, уничтожившая в три часа тысячелетний феодализм. Все виды великого заключаются в нем; его отблеск лежит на Вашингтоне, Боливаре, Костюшко, Боццарисе, Риего, Беме, Манине, Лопесе, Джоне Брауне, Гарибальди. Он всюду, где загорается надежда на лучшее будущее, — в Бостоне в 1779 году, на острове Леоне в 1820 году, в Пеште в 1848 году, в Палермо в 1860 году. Он шепчет могучий пароль «свобода» на ухо американским аболиционистам, толпящимся на пароме Гарперса, и патриотам Анконы, собирающимся на морском берегу, около таверны Гоцци, он создает Канариса, Квирогу и Пизакане. Ему обязано своим происхождением все великое на земле. Увлеченный его идеями, Байрон умирает в Миссолонги, а Мазэ — в Барселоне. Он становится трибуной под ногами Мирабо и

кратером под ногами Робеспьера, его книги, его театр, его искусство, его наука, его литература, его философия руководят всем человечеством. У него Паскаль, Ренье, Корнель, Декарт, Жан-Жак, Вольтер на все минуты, Мольер на все века. Он заставляет говорить на своем языке все народы, и этот язык становится всемирным языком; он пробуждает во всех умах идею прогресса; освободительные догматы, которые он кует, становятся достоянием целых поколений; дух его мыслителей и поэтов создал всех народных героев, начиная с 1789 года. Но все это не мешает ему дурачиться. И этот великий гений, который называется Парижем, видоизменяя весь мир своим светом, в то же время рисует углем нос Бужинье на стене Тезеева храма и пишет «Кредевиль — вор» на пирамидах. Париж всегда скалит свои зубы: когда он не ворчит, то смеется.

Таков Париж. Дым его труб разносит идеи по всей вселенной. Париж не только велик — он необъятен. А почему? Потому что он дерзает.

Дерзать — этой ценой достигается прогресс. Все великие победы более или менее являются наградой за смелость.

Для того чтобы зажегся пожар революций, мало предугадывания Монтескье, мало пропаганды Дидро, мало декламаций Бомарше, аргументов Кондорсе, подготовки Аруэ и замыслов Руссо — нужны были дерзость Дантона и его инициатива.

Возглас: «Смелее!». Это fiat lux! {Да будет свет! (лат.).} Для движения вперед человечеству нужно, чтобы оно постоянно видело перед собой на вершинах великие уроки мужества. Смелость придает блеск истории и является одним из самых ярких лучей, просвещающих человека. Заря дерзает, когда загорается. Пробовать, осмеливаться, настаивать, упорствовать, быть верным самому себе, бороться с судьбою, не испытывать страха перед катастрофой и удивлять ее этим, смело нападать на несправедливость, надругаться над опьяневшей победой, твердо стоять на своем — вот примеры, которые нужны

для человечества, вот свет, воодушевляющий его. Та же самая грозная молния исходит от факела Прометея и от трубки Камбронна.

Глава 158

Что касается парижского народа, то он и в образе взрослого человека остается все тем же гаменом. Обрисовывая ребенка, мы тем самым обрисовываем город. Вот почему мы изучали этого орла под видом простодушного воробушка.

Парижская раса — повторяем это еще раз — проявляется больше всего в рабочих предместьях. Там — ее настоящее лицо, там — самая чистая кровь. Там народ работает и страдает, а страдание и труд — это весь человек.

В предместьях великое множество неведомых закоулков, где кишат разные странные типы, начиная с грузчика в Рапэ и кончая живодером на Монфоконе. «Fex urbis!» {Отбросы столицы (лат.).} — восклицает Цицерон; «чернь», добавляет возмущенный Берк. Чернь, подонки,

сброд, — все это очень легко сказать. Но если даже и так, то что же из этого? Что из того, что они ходят босые? Они неграмотны — тем хуже. Неужели вы из-за этого покинете их? Обратите в проклятие их страдания? Разве не может свет проникнуть сквозь эти массы? Повторим снова наш возглас: «Света!» Будем упорно стоять на этом: «Света! Света!» Кто осмелится утверждать, что эта темнота не рассеется? Ступайте, философы, учите, просвещайте, думайте вслух, говорите громко, выходите на свет солнца, братайтесь с беднотой, возвещайте добрые вести, щедро раздавайте буквари, провозглашайте его права, пойте «Марсельезу», внушайте энтузиазм, срывайте зеленые ветки с дубов. Превратите идею в вихрь. Народ можно возвысить. Сумейте только воспользоваться этими вспышками принципов и добродетелей, этим пожаром, который трещит и пылает в иные минуты. Эти босые ноги, голые руки, лохмотья, это невежество, унижение, темнота — все это может быть употреблено на достижение идеала. Смотрите внимательно на народ, и вы увидите

истину. Бросьте в горнило этот презренный песок, который вы попираете ногами. Он расплавится, перекипит и превратится в чудный кристалл, благодаря которому Галилей и Ньютон будут открывать светила небесные.

Глава 159

Восемь или девять лет спустя после событий, описанных во второй части этого романа, на бульваре Тампль и в Шато-д’О можно было часто встретить мальчика одиннадцати-двенадцати лет. Он как раз подходил бы под сделанное нами выше описание гамена, если бы сердце его не было так пусто и мрачно, несмотря на то, что он не прочь был посмеяться, как настоящий ребенок. Он носил мужские штаны, но не отцовские, и женскую кофту, но не материнскую. Чужие люди одели его из милости в эти лохмотья. А между тем у него были и отец и мать. Но отец совсем не думал о нем, а мать не любила его. Он принадлежал к числу тех беспризорных детей, больше всех остальных заслуживающих

сострадания, у которых есть и отец и мать, но которые все-таки остаются сиротами.

Этот мальчик чувствовал себя лучше всего на улице. Мостовая была для него не так жестка, как сердце его матери.

Родители вытолкнули его в жизнь пинком.

И он полетел.

Это был шумливый, бледный, веселый, проворный, насмешливый мальчик, с живым, но бледным лицом. Он бегал то туда, то сюда, пел, играл в бобы, рылся в канавах, немного воровал, но весело, как кошки или воробьи, смеялся, когда его называли мальчишкой, и сердился, когда его называли негодяем. У него не было ни крова, ни хлеба, ни тепла, ни любви, но он был весел, потому что чувствовал себя свободным.

Когда эти несчастные создания вырастают, жернова социального строя почти всегда захватывают и перемалывают их; но в детстве им удается спастись. Они еще так малы, что могут ускользнуть в каждую дырочку.

Однако, как ни покинут был этот ребенок, он все-таки изредка, один раз в два или три месяца, говорил себе: «Пойду-ка я к своей маме!» Тогда он покидал бульвар, проходил мимо цирка и ворот Сен-Мартен, спускался на набережную, шел по мостам, достигал предместий, добирался до больницы Сальпетриер и подходил — куда? Да к тому самому дому с двойным номером 50—52, который уже знаком читателю, — к дому Горбо.

В это время в доме под No 50—52, всегда пустом и вечно украшенном объявлением «Сдаются комнаты», было, против обыкновения, довольно много жильцов, которые, как это всегда бывает в Париже, не поддерживали друг с другом никаких отношений и связей. Все они принадлежали к тому бедному классу, который начинается с мелкого, стесненного в средствах буржуа и, постепенно спускаясь все ниже и ниже к самым подонкам общества, заканчивается двумя существами, к которым приходит вся материальная сторона цивилизации: мусорщиком, вывозящим нечистоты, и тряпичником, подбирающим лохмотья.

«Главная жилица» времен Жана Вальжана умерла, и ее заменила другая, совершенное подобие первой. Не знаю, какой философ сказал: «В старухах никогда не бывает недостатка».

Эта новая старуха называлась госпожой Бюрган; в ее жизни не было ничего замечательного, кроме трех попугаев, которые один за другим царили в ее сердце.

Из всех жильцов дома в самом жалком положении была семья, состоявшая из четырех лиц: отца, матери и двух почти взрослых дочерей. Они все четверо помещались на чердаке, в одной из тех каморок, которые мы уже описывали раньше. Эта семья не представляла на первый взгляд ничего особенного, кроме своей крайней бедности. Отец, нанимая комнату, назвал себя Жондреттом. Через некоторое время после своего переезда, удивительно напоминавшего, по выражению главной жилицы, «переезд пустого места», Жондретт сказал этой женщине, которая, как и ее предшественница, исполняла должность привратницы и мела лестницу:

— Вот что, матушка: если кто-нибудь будет спрашивать поляка или итальянца, а может, и испанца, то знайте, что это я.

К семье Жондреттов принадлежал и веселый босоножка. Он приходил сюда, видел здесь бедность и отчаяние, но, что еще грустнее, не видал ни одной улыбки: холодный очаг и холодные сердца. Когда он входил, его спрашивали:

— Откуда ты?

— С улицы, — отвечал он.

Когда он уходил, его снова спрашивали:

— Куда ты идешь?

И он, как всегда, отвечал:

— На улицу.

— Зачем ты приходишь сюда? — не раз спрашивала его мать.

Этот ребенок жил, лишенный любви, как та бледная травка, которая растет в погребах. Он не страдал от этого и не обвинял никого. Он просто

не знал, какими должны быть отец и мать. Впрочем, мать любила его сестер.

Мы забыли сказать, что на бульваре Тампль этот мальчик был известен под именем Гаврош. Почему назывался он Гаврошем? Да, должно быть, потому, что отец его назывался Жондреттом.

Некоторые бедные семьи как бы по инстинкту разрывают связывающие их нити.

Комната, которую занимала семья Жондреттов в лачуге Горбо, была крайней, в конце коридора. В комнате рядом с ними жил очень бедный молодой человек, которого звали Мариусом.

Объясним, кто такой этот Мариус.

Глава 160

Между обывателями улиц Бушера, Нормандской и Сентонж еще и теперь можно найти несколько человек, которые сохранили воспоминание о старике Жильнормане и снисходительно отзываются о нем. Жильнорман

был уже стариком в то время, когда они сами были еще молоды. Для тех, кто грустно вглядывается в тот смутный рой теней, который называется «прошлым», этот образ еще не совсем исчез из лабиринта улиц, соседних с Тамплем. При Людовике XVI этим улицам давали названия французских провинций, подобно тому как теперь улицам нового квартала Тиволи дают названия европейских столиц. Шаг вперед, кстати сказать, такой шаг, в котором действительно виден прогресс.

Жильнорман, еще совсем бодрый в 1831 году, принадлежал к числу людей, возбуждающих любопытство только тем, что они слишком долго жили на свете, и которые кажутся странными, потому что в свое время были похожи на всех, а теперь не похожи ни на кого. Это был своеобразный старик, человек прошлого века, типичный представитель несколько надменных буржуа XVIII столетия, носящий свое почтенное звание буржуа с таким же видом, с каким маркиз носит свой титул.

Жильнорману перевалило уже за девяносто лет, но он держался прямо, говорил громко, видел хорошо, много пил и ел, крепко спал и всласть храпел. У него сохранились все тридцать два зуба. Он надевал очки, только когда читал. Он был очень влюбчив, но говорил, что десять лет тому назад совершенно и решительно отказался от женщин. «Я уже не могу нравиться, — говорил он, — я слишком беден». Но он никогда не заменял последней фразы словами: «Я слишком стар». Напротив, он не раз прибавлял: «Вот если бы я не разорился, то… хе-хе-хе!..»

На самом деле его годовой доход равнялся пятнадцати тысячам ливров. Он мечтал получить наследство и иметь сто тысяч франков ренты, чтобы завести любовниц. Все это доказывает, что Жильнорман не принадлежал к числу тех хилых стариков, которые, как Вольтер, умирают всю жизнь. И это была не живучесть надтреснутого горшка — нет, этот крепкий старик всегда отличался прекрасным здоровьем. Он был человеком легкомысленным, живым, вспыльчивым. Из-за всякого вздора он поднимал

бурю и чаще всего вопреки здравому смыслу. Если ему противоречили, он замахивался тростью; он бил своих людей, как в старину, в великий век. У него была незамужняя дочь лет пятидесяти с лишним, которую он, рассердившись, очень больно колотил и охотно бы высек. Она казалась ему и теперь восьмилетней девочкой. Он раздавал здоровые оплеухи своим слугам, приговаривая: «Ах вы, твари!» Его любимым выражением порицания было: «Par la pantoufloche de la pantouflochade!» {Соответствует русскому: «Из кулька в рогожку!»}

Временами он как-то странно успокаивался. Его каждый день брил цирюльник, который был одно время сумасшедшим и ненавидел его, так как ревновал к нему свою хорошенькую кокетливую жену. Жильнорман ставил необыкновенно высоко свое собственное суждение обо всем на свете и хвалился своей проницательностью. Вот одна из его острот: «Я в самом деле очень догадлив. Если меня укусит

блоха, я могу узнать, от какой женщины она ко мне попала».

Чаще всего он произносил слова: «чувствительный человек» и «природа». Этому последнему слову он не придавал такого широкого значения, какое оно получило в наше время. Но он любил потолковать о природе на свой лад и включать ее в свои шуточки у камина.

«Природа, — говорил он, — заботясь о том, чтобы у цивилизации было всего понемногу, дает ей довольно забавные примеры в виде диких стран. У Европы есть образцы Азии и Африки, но в миниатюре. Кошка — домашний тигр, ящерица — карманный крокодил. Оперные танцовщицы — те же людоедки. Только они не съедают людей, а грызут их понемножку. Или же они колдуньи. Они превращают людей в устриц и глотают их. Людоеды оставляют только кости, они — только раковины. Таковы наши нравы. Мы не едим, а грызем, не истребляем, а выпускаем когти и царапаем».

Глава 161

Он жил в квартале Марэ, на улице Филь-дю-Кальвер, в своем собственном доме под No 6. Теперь этого дома не существует. Его уже давно сломали и вместо него выстроили другой, а так как номера домов на парижских улицах постоянно меняются, то и номер его теперь уже, наверное, не тот.

Жильнорман занимал большую старинную квартиру на первом этаже, окна которой выходили с одной стороны на улицу а с другой — в сад. Стены ее были завешаны до самого потолка гобеленами, изображающими пастушеские сцены; сюжеты потолков и панно повторялись в миниатюре на обивке кресел. Кровать была заставлена большими девятистворчатыми ширмами Коромандельского лака. Длинные пышные гардины, образуя роскошные складки, ниспадали с окон. В сад, разбитый около самого дома, можно было попасть через угловую застекленную дверь по лестнице в двенадцать—пятнадцать ступенек,

которые старик очень легко преодолевал, проворно взбираясь наверх и спускаясь вниз. Кроме библиотеки, смежной со спальней, в квартире был будуар, которым Жильнорман очень дорожил. Это был прелестный уголок, обтянутый обоями из соломы, усеянными лилиями и другими цветами, выделанными во время Людовика XIV; де Вивонн заказал их каторжникам для своей любовницы. Жильнорману досталась эта редкость по наследству после своей двоюродной бабушки с материнской стороны, суровой старухи, дожившей до ста лет.

Он был женат два раза. Его манеры напоминали отчасти придворного, кем он никогда не был, отчасти судью, кем он мог бы стать. Он, когда хотел, был весел и приветлив. В молодости он принадлежал к числу мужчин, которых всегда обманывают жены и никогда — любовницы, потому что они преотвратительные мужья и в то же время премилые любовники.

Он был знатоком живописи. В его спальне висел великолепный портрет какого-то неизвестного лица кисти Йорданса, написанный широкими мазками, по-видимому, небрежно, но со множеством деталей. Одевался Жильнорман не по той моде, которая царила во времена Людовика XV или Людовика XVI. Нет, он придерживался костюма щеголей Директории. До той эпохи он считал себя молодым и следовал моде. Он носил фрак из легкого сукна, с широкими отворотами, узенькими фалдочками в виде хвостика и огромными стальными пуговицами, короткие штаны и башмаки с пряжками. Пальцы его были вечно засунуты за проймы жилета. И он говаривал: «Французская революция — это шайка негодяев».

Глава 162

Однажды вечером, когда Жильнорман, тогда еще шестнадцатилетний юноша, был в опере, две довольно зрелые, но знаменитые, воспетые Вольтером красавицы — Камарго и Салле —

сделали ему честь обратить на него свой взор. Попав таким образом меж двух огней, он смело Ретировался к молоденькой, темного происхождения танцовщице Наэнри, которой, как и ему, было шестнадцать лет. Он влюбился в нее. него была бездна воспоминаний.

«Ах, как была мила Гимар-Гимардини-Гимардинетта, — восклицал он, — когда я видел ее в последний раз в Лоншане! Она была в локонах „неувядаемые чувства“, с бирюзовыми побрякушками, в платье цвета новорожденного младенца и с муфтой „волнение“!»

В юности Жильнорман носил камзол Нэн Лондрен, который описывал очень охотно и с большим увлечением.

— Я был одет, как левантийский турок, — говорил он.

Мадам де Буффле, увидев его случайно, когда ему было двадцать лет, прозвала его «очаровательным безумцем». Его приводили в негодование имена современных государственных деятелей и людей, стоящих у

власти: они казались ему низкими и буржуазными. Читая журналы и газеты, он едва удерживался от смеха.

— Господи, что это за люди! — восклицал он. — Корбьер! Гюманн! Казимир Перье! И это министры! Представляю себе в газете: «Господин Жильнорман министр». Вот была бы потеха. Ну что же? Они такие ослы, что и это могло бы сойти.

Он не церемонясь называл вещи своими именами, не обращая внимания на то, прилично или неприлично это слово, и нисколько не стеснялся при женщинах. Но он говорил непристойности так просто и спокойно, что это придавало его речи своего рода изящество. Так откровенно выражались все в его время. Эпоха перифраз в стихах была веком неблагопристойности в прозе. Крестный отец Жильнормана предсказал, что он будет гениальным человеком, и дал ему двойное знаменательное имя: Лука Разумник.

Глава 163

В детстве он получал награды в школе своего родного города Мулена, а раз ему даже возложил на голову венок сам герцог Нивернэ, которого он называл герцогом Невером. Ни Конвент, ни смерть Людовика XVI, ни Наполеон, ни восстановление Бурбонов — ничто не могло изгладить из его памяти это достопамятное событие. Герцог Невер был в его глазах одним из самых великих представителей века. «Какой очаровательный вельможа! — говорил он. — И как к нему шла его голубая орденская лента!»

По мнению Жильнормана, Екатерина II искупила свое преступление — раздел Польши, — тем, что купила у Бестужева за три тысячи рублей секрет приготовления золотого эликсира.

Вспоминая об этом, Жильнорман воодушевлялся.

— Золотой эликсир! — восклицал он. — Тинктура Бестужева и капли генерала Ламотта

продавались в восемнадцатом веке по луидору за полунции. Это было чудесное лекарство против несчастной любви, великое целебное средство против Венеры. Людовик Пятнадцатый послал двести флаконов этого эликсира папе.

Он страшно рассердился бы и вышел из себя, если бы стали уверять, что золотой эликсир не что иное, как хлористое железо.

Жильнорман обожал Бурбонов; 1789 год внушал ему ужас и отвращение. Он очень любил рассказывать, как ему удалось спастись во время террора и сколько ума и присутствия духа нужно было ему, чтобы избежать казни. Если какой-нибудь молодой человек осмеливался хвалить при нем республику, он приходил в страшный гнев и чуть не падал в обморок от раздражения. Иногда, намекая на свои девяносто лет, он говорил: «Надеюсь, что мне не приведется пережить дважды 1793 год». Порой он объявлял, что рассчитывает прожить до ста лет.

Глава 164

У Жильнормана были свои теории. Вот одна из них: «Если мужчина страстно любит женщин, и у него имеется своя собственная жена, не представляющая для него никакого интереса, некрасивая, угрюмая, законная, вооруженная правами, опирающаяся на своды законов да к тому же ревнивая, — ему остается одно только средство отделаться от нее и обеспечить себе покой: он должен отдать в ее руки свои денежные дела. Такое отречение от своих прав возвращает ему свободу. Теперь его жена занята по горло. Прикосновение к деньгам привлекает ее, она пачкает себе руки медью, обучает арендаторов, дрессирует фермеров, созывает поверенных, заседателей у нотариусов, отправляется к приказным, ведет процессы, затевает тяжбы, диктует контракты, сознает себя владычицей, продает, покупает, устраивает, раздает приказания, обещает, прибегает к третейскому суду, ставит условия, отказывается от них, дарит, уступает и переуступает, приводит в порядок,

путает, копит деньги, мотает их. Она делает глупости, то есть испытывает величайшее личное счастье — это утешает ее. В то время как муж пренебрегает ею, у нее остается удовольствие разорять его».

Эту теорию Жильнорман применил на практике к самому себе, и она повлияла на всю его жизнь. Его вторая жена так усердно заведовала его имуществом, что, когда он в один прекрасный день очутился вдовцом, У него остались самые незначительные средства, едва достаточные для жизни. Большую часть своих денег он употребил на приобретение пожизненной ренты в пятнадцать тысяч франков, которая после его смерти должна была уменьшиться на три четверти. Жильнорман без малейшего колебания согласился на это: ему было безразлично, что после него не останется наследства. К тому же он видел, что с родовыми имуществами случаются иногда довольно странные вещи, что они, например, какими-то неведомыми путями внезапно превращаются в имущества, «в полной мере национальные»; он

сам был свидетелем чудесных превращений укрепленных за третьим лицом сумм и не слишком доверял книге государственных долгов.

Мы уже упоминали, что дом, в котором жил Жильнорман, принадлежал ему. Он держал двух слуг: «человека и женщину». Нанимая новую прислугу, Жильнорман перекрещивал ее. Он давал мужчинам имена, смотря по тому, из какой провинции они были родом: из Пикардии, Нима, Конте, Пуату. Его последний слуга был с больными ногами, страдавший одышкой толстяк лет пятидесяти пяти, который был не в состоянии пробежать и двадцати шагов, но так как он родился в Байонне, то Жильнорман называл его Баском. Что касается служанок, то они все превращались в Николетт — даже Маньон, о которой будет речь ниже.

Один раз к нему пришла наниматься кухарка из знатной породы консьержей, отлично знающая свое дело.

— Сколько желаете вы получать в месяц? — спросил ее Жильнорман.

— Тридцать франков.

— Как вас зовут?

— Олимпия.

— Ну, так я дам тебе пятьдесят франков, и ты будешь называться Николеттой.

Глава 165

Горе выражалось у Жильнормана гневом. Испытывая страдание, он приходил в бешенство. У него было множество предрассудков, и он позволял себе все вольности. Больше всего гордился он перед другими и восхищался в душе сам тем, что за ним установилась репутация восторженного поклонника женщин и что он на самом деле до сих пор остался им.

Он называл это «королевской известностью». Но эта королевская известность иногда подносила ему странные сюрпризы. Раз ему принесли в длинной корзине, похожей на корзину для устриц, толстенького новорожденного мальчугана, который был завернут в пеленки и

отчаянно ревел. Служанка, которую он прогнал полгода тому назад, объявила, что это его ребенок. В то время Жильнорману было уже целых восемьдесят четыре года. Окружающие пришли в негодование и подняли крик. Неужели эта бесстыдная тварь воображает, что ей поверят? Какая наглость! Какая гнусная клевета!

Сам Жильнорман нисколько не рассердился. Он поглядел на младенца с добродушной улыбкой человека, польщенного клеветой, и сказал:

— Ну что же? Что такое случилось? В чем дело? Вы удивляетесь и ахаете, как сущие невежды. Герцог Ангулемский, незаконный сын Карла Девятого, женился восьмидесяти пяти лет на пятнадцатилетней дурочке. Когда господину Виржиналю, маркизу д’Аллюи, брату кардинала Сурди, архиепископа Бордосского, было восемьдесят три года, у него родился от горничной президентши Жакен сын, настоящий сын любви, который был впоследствии мальтийским рыцарем и государственным

советником; один из величайших людей нашего века, аббат Табаро — сын восьмидесятилетнего старика. Это случается сплошь и рядом. А Библия-то! В заключение объявляю, что этот младенец не мой. Но пусть о нем позаботятся. Это не его вина.

Поступок великодушный. Та же самая женщина, которую звали Маньон, через год прислала ему другого младенца, тоже мальчика. На этот раз Жильнорман капитулировал. Он возвратил матери обоих мальчиков и обязался платить за их содержание по восьмидесяти франков в месяц, но с условием, чтобы она не делала ему больше подобных сюрпризов. «Надеюсь, что мать будет хорошо обращаться с ними, — прибавил он. — Я стану время от времени навещать их». И он сдержал слово.

У него был брат-священник, занимавший в продолжение тридцати трех лет должность ректора академии в Пуатье и умерший семидесяти девяти лет. «Он умер молодым», — говорил Жильнорман. Этот брат, которого он

мало помнил, вел тихую жизнь и был страшно скуп. Как священник, он считал своей обязанностью подавать милостыню встречавшимся ему нищим, но обыкновенно давал им совсем стертые монеты, которые уже потеряли ценность. Таким образом он нашел средство отправиться в ад, идя по дороге в рай.

Что касается Жильнормана-старшего, то он не выгадывал на милостыне и давал охотно и щедро. Он был добродушным, редко сострадательным человеком, и, будь он богат, его слабостью была бы роскошь. Он желал, чтобы все, касающееся его, делалось с размахом, даже мошенничество. Раз ему пришлось получать наследство, и поверенный обобрал его самым грубым и явным образом.

— Фи, как это неряшливо сделано! — торжественно воскликнул Жильнорман. — Мне, право, стыдно за такие приемы! Все измельчало в этом веке, даже мошенники. Черт возьми! Не так следует обкрадывать человека такого сорта, как я. Меня ограбили, как в лесу, но скверно ограбили.

Sylvae sint consule dignae {Леса должны быть достойны консула (лат.).}.

Мы уже говорили, что он был женат два раза: от первой жены у него осталась дочь, не вышедшая замуж, от второй — тоже дочь, умершая, когда ей было около тридцати лет. По любви или по какой другой причине она вышла замуж за выслужившегося из рядовых офицера, участвовавшего в войнах Республики и Империи, получившего крест после Аустерлица и чин полковника после Ватерлоо. «Это позор моей семьи», — говорил старик Жильнорман. Он очень усердно нюхал табак и как-то особенно грациозно приминал свое кружевное жабо. В Бога он верил мало.

Глава 166

Таков был Люк-Эспри Жильнорман. Волосы его сохранились до сих пор и были даже не совсем седые, а скорее с проседью. Он носил какую-то странную прическу вроде собачьих ушей. Но в общем, несмотря на все, старик имел

очень почтенный вид. Он олицетворял собою XVIII век — легкомысленный и величественный.

В первые годы Реставрации Жильнорман, еще молодой — в 1814 году ему было только семьдесят четыре года, жил в Сен-Жерменском предместье на улице Серванден около церкви Святого Сульпиция. Он переехал в квартал Марэ только после того, как покинул свет, то есть когда ему перевалило уже за восемьдесят лет.

И, отказавшись от света, он замкнулся в своих привычках. Главная из них, которой он никогда не изменял, состояла в том, чтобы держать свою дверь на запоре днем и не принимать никого, кто бы это ни был и по какому бы делу ни пришел, иначе как вечером. Он обедал в пять часов, и затем двери его отворялись. Таков был обычай в его время, и он не хотел отступить от него.

— День слишком тривиален, — говорил он, — и не заслуживает ничего, кроме запертой двери. У порядочных людей воспламеняется ум, когда на небе загораются звезды.

И он запирался днем от всех и не принял бы никого, будь то хоть сам король. Старинная элегантность его времени.

Глава 167

Мы уже упоминали, что у Жильнормана были две дочери. Между ними было десять лет разницы. В молодости они так мало походили одна на другую и характером и лицом, что никто не принял бы их за сестер. Младшая обладала чудной душой, стремившейся ко всему светлому. Она любила цветы, поэзию, музыку, уносилась в какой-то лучезарный мир, была восторженной энтузиасткой и с детства мечтала о герое, образ которого смутно рисовался перед ней. У старшей тоже была своя мечта: ей виделся поставщик, какой-нибудь очень богатый, добродушный, толстый поставщик провианта, муж очаровательно глупый, миллион в виде человека. Или же префект. Приемы в префектуре, швейцар с цепью на шее в передней, официальные балы, речи в мэрии. Быть «женой префекта» — вот что

носилось вихрем в ее воображении. Итак, каждая из этих двух сестер, в то время как они были молодыми девушками, погружалась в свои думы и забывалась в своих мечтах. У обеих были крылья: у одной — крылья ангела; у другой — крылья гусыни.

Никакое желание не осуществляется вполне, по крайней мере в этом мире. Никакой рай невозможен на земле в наше время. Младшая сестра вышла замуж за героя своих грез, но умерла, старшая совсем не вышла замуж. Она появляется в нашем романе уже старухой. В то время она была добродетельной, страшно чопорной девой и обладала необыкновенно острым носом и замечательно тупой головой. Характерная особенность: за исключением ее маленькой семьи никто не знал ее имени. Все обыкновенно называли ее мадемуазель Жильнорман-старшая. По части чопорности мадемуазель Жильнорман-старшая могла бы дать несколько очков вперед любой мисс. Чопорность доходила у нее до крайности. В ее жизни было одно ужасное воспоминание: один раз какой-то

мужчина увидел ее подвязку! Эта неприступная добродетель еще увеличилась с годами. Материя шемизетки никогда не казалась ей достаточно плотной, а сама шемизетка, по ее мнению, никогда не закрывала шею достаточно высоко. Она увеличивала число крючков и булавок там, куда никто и не воображал смотреть. Подобные особы обыкновенно ставят тем больше часовых, чем меньше опасности угрожает крепости.

И между тем — пусть объяснит кто может эту тайну — она охотно позволяла целовать себя уланскому офицеру, своему внучатому племяннику, которого звали Теодюлем.

Но, несмотря на этого счастливца-улана, эпитет «чопорная» необыкновенно подходил к ней. У мадемуазель Жильнорман была какая-то сумеречная душа. Чопорность — полудобродетель, полупорок.

Эта неприступность соединилась у нее с ханжеством — самая подходящая подкладка. Она принадлежала к братству Пресвятой Девы, надевала в известные праздники белое

покрывало, бормотала какие-то особые молитвы, почитала «святую кровь» и «святое сердце Иисусово», проводила целые часы в созерцании перед иезуитским алтарем в стиле рококо, в капелле верных, и уносилась душою к маленьким мраморным облачкам и длинным лучам из золоченого дерева. У нее была подруга по церкви, мадемуазель Вобуа, такая же старая дева, как она, но совершенно тупоумная, в сравнении с которой мадемуазель Жильнорман могла с удовольствием чувствовать себя орлом. Вне сферы Agnus dei и Ave Maria {Католические молитвы (прим. ред.).} мадемуазель Вобуа не имела понятия ни о чем, кроме различных способов варить варенье. И, дойдя в этом до совершенства, она во всем остальном была, если можно так выразиться, белым горностаем тупоумия без единого черного пятнышка ума.

Нужно заметить, что, состарившись, мадемуазель Жильнорман скорее выиграла, чем потеряла. Так всегда бывает с натурами пассивными, на никогда не была зла, а это можно считать относительной добротой; тому же годы

сглаживают угловатости, и время мало-помалу смягчило ее. Она была грустна какой-то неясной грустью, причины которой не понимала сама. Но на ней лежал отпечаток оцепенения уже кончавшейся, но еще не начавшейся жизни.

Она вела хозяйство в доме отца. Жильнорман жил с дочерью, как монсеньор Бьенвеню — с сестрой. Такие семьи, состоящие из старика и старой девы, встречаются не очень редко и всегда производят трогательное впечатление двух слабых существ, опирающихся друг на друга.

Кроме того, в доме со стариком и старой девой жил еще ребенок, маленький мальчик, всегда дрожащий и безмолвный в присутствии Жильнормана. Старик говорил не иначе как строгим голосом, а иногда и подняв трость. «Пожалуйте сюда, сударь!», «Поди-ка, поди-ка сюда, бездельник!», «Ну, отвечай, негодяй!», «Стой так, чтобы я тебя видел, сорванец!» и т. д. и т. д. Он страстно любил мальчика.

Это был его внук. Мы еще вернемся к этому ребенку.

Глава 168

Когда Жильнорман жил на улице Серванден, он был почетным посетителем нескольких влиятельных аристократических салонов. Несмотря на то что он был буржуа, его принимали везде. Его знакомства даже искали, и он был всюду почетным гостем, как человек умный вдвойне, — умом, который был у него на самом деле, и тем, который ему приписывали. Он отправлялся только туда, где мог играть главную роль. Есть люди, которые желают во что бы то ни стало подчинять всех своему влиянию и быть предметом общего внимания; там, где они не могут быть оракулами, они превращаются в шутов. Жильнорман не принадлежал к числу таких людей. Он приобрел влияние в роялистских салонах, которые посещал, не поступаясь собственным достоинством. Он был оракулом всюду. Ему случалось состязаться с де Бональдом и даже с Бенжи-Пюи-Валлэ, и он не уступал ни тому ни другому.

Около 1817 года он проводил неизменно два вечера в неделю у жившей с ним по соседству на улице Ореру баронессы Т., достойной и уважаемой женщины, муж которой занимал при Людовике XVI пост французского посланника в Берлине. Барон Т., страшно увлекавшийся магнетическими видениями и экстазами, умер, разоренный эмиграцией. Единственное оставшееся после него наследство заключалось в десяти рукописных томах с золотым обрезом, переплетенных в красный сафьян. Это были весьма интересные мемуары о Месмере и его сосуде. Из чувства собственного достоинства баронесса Т. не напечатала этих мемуаров и существовала на маленькую ренту, уцелевшую каким-то чудом. Она держалась вдали от двора. «Там слишком смешанное общество», — говорила она и жила в бедности и благородном уединении.

Несколько друзей собирались два раза в неделю около ее вдовьего амелька, и благодаря этому в ее доме открылся самый настоящий роялистский салон. У баронессы пили чай и,

смотря по тому, откуда дул ветер — со стороны элегии или дифирамба, сокрушенно вздыхали или приходили в ужас от нынешнего века, от хартии, бонапартистов, слишком щедрых пожалований голубых орденских лент людям буржуазного происхождения, якобинства Людовика XVIII. И затем начинались тихие разговоры о надеждах, которые подавал брат короля, впоследствии Карл X.

В этом салоне восторгались рыночными песенками, в которых Наполеона называли простофилей. Герцогини, самые изящные и прелестные светские женщины, восхищались глупыми и неприличными куплетами по адресу «федератов»:

Эй, ты, засунь в штаны рубаху!

Ведь скажут про тебя, дурак,

Что санкюлоты все со страху

Уж поднимают белый флаг!

Там забавлялись каламбурами, которые считались необыкновенно грозными, невинной

игрой слов, казавшейся язвительной, четверостишиями и даже двустишиями, которые сочинялись на министерство и сторонников умеренной партии.

Играли словами, высмеивая умеренность кабинета министров Десолля и его товарищей Деказа и Десера в стихах:

Чтоб мигом укрепить сей шаткий трон,

Деказ, Десоль, Десер, вас надо выгнать вон.

Или же принимались за палату пэров, «палату отвратительно якобинскую» и на списке ее членов комбинировали имена так, что выходили насмешливые фразы.

В этом обществе пародировали революцию и старались подражать ей, но обращали гнев в противоположную сторону. Здесь распевали свое маленькое: «Ca ira»:

Ах, дело пойдет на лад, на лад!

Бонапартистов на фонарь!

Песня похожа на гильотину; она так же равнодушно рубит сегодня одну голову, а завтра другую. Это только новый вариант.

В деле Фуальдеса, которое разбиралось в это время, в 1816 году, роялисты держали сторону Бастида и Жозиона, потому что Фуальдес был «бонапартистом». Либералов называли «братьями и товарищами», и дальше этого не могло идти оскорбление.

Из всех посетителей салона баронессы двое стояли на первом плане: Жильнорман и граф Ламот-Валуа, о котором с некоторым уважением шептали друг другу: «Знаете? Это тот самый Ламот, который был замешан в деле об ожерелье». Политические партии охотно отпускают грехи своим сторонникам.

Добавим еще, что уважаемое положение в буржуазии страдает от того, что отношения завязываются слишком легко. Нужно осторожнее сходиться с людьми. Подобно тому, как мы теряем теплоту от соседства с теми, кому холодно, так теряем мы и уважение в глазах

других от близости с людьми, достойными презрения. Старинный высший свет считал себя выше этого, как и выше всех других законов. Мариньи, брат мадам Помпадур, бывал на приемах у Принца Субиза. Несмотря? Нет, потому что Дюбарри, выведший в свет небезызвестную Вобернье, был желанным гостем у маршала Ришелье. Высший свет — тот же Олимп. И Меркурий, и Гуменэ чувствуют себя там как дома. Туда примут и вора, лишь бы он был богат, то есть родня Богу.

Граф де Ламот, который в 1815 году был уже семидесятипятилетним стариком, не отличался ничем особенным, кроме молчаливости, несколько учительского тона, угловатой фигуры, холодного лица, необыкновенно учтивых манер, застегнутого до самого галстука сюртука и длинных, всегда скрещенных ног в обвислых панталонах цвета жженой глины. Лицо его было такого же цвета, как и панталоны.

Граф де Ламот занимал почетное положение в этом салоне по случаю своей «знаменитости» и,

как это ли странно, потому что его звали Валуа.

Что касается Жильнормана, то уважение, которым он пользовался, было действительно самой высокой пробы. На него смотрели как на авторитет. Несмотря на все свое легкомыслие, он обладал какой-то особой манерой держать себя — величественно-благородной, в высшей степени порядочной и буржуазно-гордой. А к тому же оказывал влияние и его преклонный возраст. Не шутка прожить целое столетие. Годы в конце концов образуют над головой старца какой-то внушающий уважение ореол.

Кроме того, от Жильнормана можно было услышать остроты, искрящиеся блестящим остроумием старинного дворянства. Так, когда король прусский, посадивший на престол Людовика XVIII, посетил его под именем графа де Рюппена, потомок Людовика XIV принял его, как маркиза Бранденбургского, с самой утонченной дерзостью. Жильнорман одобрил это: «Все короли, кроме французского, — провинциальные короли», — сказал он.

Раз, во время благодарственного молебствия по случаю годовщины Реставрации Бурбонов, Жильнорман, увидев проходившего Талейрана, заметил: «Вот его превосходительство зло».

Жильнорман являлся обыкновенно в сопровождении дочери, долговязой барышни, которой было в то время сорок с лишним лет, а на вид казалось пятьдесят, и хорошенького мальчика лет семи, беленького, розового, свеженького, со счастливыми доверчивыми глазками. каждый раз, как этот мальчик входил в салон, со всех сторон раздавался шепот: «Какой он хорошенький! Какая жалость! Бедный ребенок!»

Это был внук Жильнормана, — мы уже говорили о нем. Его называли «бедным», потому что он был сын «луарского разбойника».

А луарский разбойник был тот самый зять Жильнормана, о котором мы тоже упоминали и которого Жильнорман называл «позором своей семьи».

Глава 169

Всякий, кому случалось быть в эту эпоху в маленьком городке Верноне и проходить по прекрасному монументальному мосту, который, может быть, скоро заменят каким-нибудь ужасным железным сооружением, наверное, обратил бы внимание, если бы взглянул вниз, на человека лет пятидесяти, с кожаной фуражкой на голове, в панталонах и куртке из грубого серого сукна, к которой было пришито что-то желтое, бывшее когда-то красной орденской ленточкой, в деревянных башмаках, с загоревшим от солнца, почти черным лицом, почти белыми волосами и широким рубцом, пересекавшим лоб и щеку.

Сгорбленный, состарившийся раньше времени, он почти каждый день ходил с садовым ножом и заступом в руках по одному из огороженных участков около моста, которые цепью террас окаймляют левый берег Сены. Это прелестные уголки, полные цветов, их можно было бы назвать садами, если бы они были побольше, и букетами, будь они поменьше. Все

они прилегают одним концом к реке, а другим — к домам. Человек в куртке и деревянных башмаках жил около 1817 года в самом скромном из этих домиков, с самым маленьким огороженным кусочком земли. Он жил тут один тихо и бедно, со служанкой ни старой, ни молодой, ни красивой, ни безобразной, не то крестьянкой, не то горожанкой. Маленький четырехугольник, который он называл садом, славился в городе своими чудными цветами. Уход за ними был его занятием. При помощи труда, настойчивости, внимательности и щедрой поливки ему удалось сделаться в некотором роде творцом и создать несколько сортов тюльпанов и георгинов, как бы забытых природой. Он был изобретателен и еще раньше Суланжа Бодена занялся освоением культур редких американских и китайских кустарников. С раннего утра летом он ходил по своим аллеям, обчищал, подрезал, полол, поливал, прохаживаясь среди цветов с добродушным, печальным и кротким видом. Иногда он задумывался и целыми часами стоял неподвижно, слушая пение сидящей на дереве

птички или лепет ребенка в соседнем доме, а не то смотря на какую-нибудь былинку, на которой капля росы сверкала на солнце, как драгоценный камень.

Он питался плохо, пил больше молока, чем вина, готов был уступить каждому ребенку, и служанка нередко бранила его за это. Робкий до того, что казался угрюмым, он редко выходил за пределы дома с садом и не видел никого, кроме нищих, стучавшихся к нему в окно, и своего приходского священника, доброго старика аббата Мабеф. Впрочем, если кто-нибудь из городских жителей или приезжих, желая полюбоваться его тюльпанами и розами, дергал за колокольчик в его маленьком домике, он с улыбкой отворял дверь. Это был «луарский разбойник».

Всякому, читавшему в ту эпоху военные мемуары, биографии, «Монитор» и бюллетени из Великой армии, не раз попадалось имя Жоржа Понмерси. Еще совсем молодой, этот Жорж Понмерси был рядовым в полку Сентонжа. Вспыхнула революция. Полк Сентонжа

присоединился к Рейнской армии. Старые полки королевской армии даже и после падения монархии сохранили названия провинций и были соединены в бригады лишь в 1794 году. Понмерси участвовал в битвах при Шпейере, Вормсе, Нейштадте, Тюркгейме и Майнце, где принадлежал к отряду в двести человек, составлявшему арьергард Гушара. Он держался с одиннадцатью товарищами против корпуса принца Гессенского за старым Андернахским валом и присоединился к главной части армии только после того, как неприятельские пушки пробили брешь от края до раската бруствера.

Он участвовал в битве при Маршиенах под начальством Клебера и в сражении у Мон-Палиссель, где какой-то бискаец ранил его в руку. Потом он перешел на границу с Италией и был в числе тридцати гренадер, защищавших Тендское ущелье под командой Жубера. За это дело Жубер был произведен в генералы, а Понмерси — в подпоручики. Он стоял под картечью рядом с Бертье во время битвы при Лоди, после которой Бонапарт сказал: «Бертье был в этот день

кононіром, кавалеристом и гренадером». Понмерси видел, как пал в сражении при Нови его бывший командир, генерал Жубер, в ту самую минуту, как, подняв саблю, закричал: «Вперед!»

Посланный по какому-то поручению, Понмерси отплыл со своей ротой в легком гребном судне, которое шло из Генуи в один из маленьких береговых портов, и неожиданно очутился между семью или восемью английскими кораблями. Капитан-генуэзец хотел выкинуть пушки в море, спрятать солдат в междупалубном пространстве и проскользнуть в темноте под видом купеческого корабля. Понмерси не согласился на это. Он велел поднять на мачте национальный флаг и гордо прошел под пушками британских фрегатов. В двенадцати милях дальше его отвага так возросла, что он со своим суденышком напал на большое английское транспортное судно и захватил его. Оно везло войска в Сицилию и, нагруженное людьми и лошадьми, очень глубоко сидело в воде.

В 1805 году Понмерси служил в дивизии Малера, отбившей Гринцбург у эрцгерцога Фердинанда. При Вельтингене он под градом пуль принял на руки смертельно раненного полковника Мопети, находившегося во главе 9-го драгунского полка. При Аустерлице он участвовал в знаменитом переходе эшелонами под неприятельским огнем. Когда отряд русских конногвардейцев разбил 4-й пехотный батальон, Понмерси был в числе тех, которые отомстили за это и опрокинули конногвардейцев. Император пожаловал ему крест. Понмерси видел, как один за другим были взяты в плен: Вурмзер при Мантуе, Мелас при Александрии, Мак при Ульме. Он был в 8-м корпусе Великой армии, которым командовал Мортье и который взял Гамбург. Потом он перешел в 55-й пехотный полк, бывший Фландрский. При Эйлау он бился на том кладбище, где геройский капитан Луи Гюго, дядя автора этой книги, выдерживал со своей ротой в восемьдесят три человека в продолжение двух часов натиск неприятельской армии. Понмерси был одним из троих, вышедших

с этого кладбища живыми. Он участвовал в битве при Фридланде. Он видел Москву, потом Березину, потом Люцен, Бауцен, Дрезден, Вахау, Лейпциг и ущелья Гемнгаузен, потом Монмирайль, Шато-Тьери, Краон, берега Марны, берега Эны и ужасную позицию при Лаоне. При Арно-ле-Дюк Понмерси, будучи капитаном, изрубил десять казаков и спас не своего генерала, а своего капрала. При этом он был тяжело ранен; из одной только левой руки у него вынули двадцать семь осколков кости. За неделю до капитуляции Парижа Понмерси обменялся местами с товарищем и перешел в кавалерию. Он обладал способностью одинаково хорошо — в качестве солдата — владеть саблей или ружьем, а в качестве офицера — управлять эскадроном или батальоном. Благодаря этой-то способности, усовершенствованной военным обучением, создались те совершенно особые роды войск, как, например, драгуны, которые были в одно и то же время и кавалеристы и пехотинцы.

Понмерси последовал за Наполеоном на остров Эльбу. При Ватерлоо он командовал

эскадроном кирасир в бригаде Дюбуа. Отбив знамя у Люнебургского полка, он бросил его к ногам императора. Он был весь в крови: ему рассекли лицо саблей, в то время как он отбивал знамя.

— Ты — полковник, барон и кавалер Почетного легиона! — воскликнул восхищенный император.

— Благодарю, ваше величество, за мою вдову, — отвечал Понмерси. А спустя час после этого он упал в Оэнский овраг.

Кто же такой этот Жорж Понмерси? Да все тот же «луарский разбойник».

Мы уже имеем некоторое понятие об истории его жизни.

После Ватерлоо его, как мы знаем, вытащили из оврага, ему удалось присоединиться к армии, и, переходя из одного походного госпиталя в другой, он, наконец, добрался до лагеря, разбитого на Луаре.

Реставрация оставила его на половинном окладе и отправила на жительство, то есть под надзор, в Вернон. Людовик XVIII, считая недействительным все происходившее в течение Ста дней, не признал ни его чина полковника, ни права на орден Почетного легиона, ни титула барона. Понмерси же со своей стороны не упускал ни одного случая подписаться: «Полковник барон Понмерси». У него был единственный старый синий сюртук, и он никогда не выходил, не приколов к нему ленточки ордена Почетного легиона. Королевский прокурор дал ему знать, что прокурорский надзор будет преследовать его «за противозаконное ношение не присвоенного ему ордена». Когда один из чиновников, по поручению прокурора, известил его об этом, Понмерси с горькой улыбкой сказал:

— Не знаю, я ли разучился понимать французский язык, вы ли перестали говорить на нем. Но дело в том, что я положительно не понимаю вас.

И после этого он восемь дней подряд выходил со своей орденской ленточкой.

Его не посмели больше тревожить.

Раза два или три военный министр и начальник округа писали ему, адресуя: «Господину майору Понмерси». Он отсылал письма обратно нераспечатанными. В это время и Наполеон на острове Святой Елены поступал совершенно так же с письмами сэра Гудсона Лоу, адресованными «Генералу Бонапарту». Понмерси действовал одинаково со своим императором.

Таковы были пленные карфагенские солдаты в Риме, отказывавшиеся приветствовать Фламиния. В них как бы перешла частичка души Ганнибала.

Как-то раз Понмерси, встретившись на улице Вернона с прокурором, спросил его:

— Разрешается ли мне носить вот этот рубец на лице, господин королевский прокурор?

У него не было ничего, кроме жалкой половинной пенсии эскадронного командира. Он нанял в Верноне самый маленький домик, какой

только мог найти, и жил один, мы уже знаем как. Во время Империи он между двумя войнами нашел время жениться на мадемуазель Жильнорман. Возмущенный в душе, старый буржуа со вздохом согласился на этот брак, сказав:

— Самые знатные семьи вынуждены снисходить до этого.

В 1815 году мадам Понмерси, женщина во всех отношениях прекрасная, образованная, редкая и достойная своего мужа, умерла, оставив ему ребенка. Этот ребенок был бы радостью полковника в его уединении, но дед повелительно потребовал своего внука к себе, объявив, что в случае отказа лишит его наследства. Отец согласился в интересах сына, а так как теперь уже не мог видеть своего мальчика, то пристрастился к цветам.

Он отказался от политики, не составлял заговоров, не старался произвести возмущения; мысли его были заняты невинными предметами, которыми он занимался, и великими событиями,

в которых принимал участие раньше. Он проводил время, то надеясь вырастить какую-нибудь гвоздику, то вспоминая Аустерлиц.

Жильнорман не имел никаких сношений со своим зятем. Полковник был для него «бандитом», а сам он был для полковника «глупцом». Жильнорман никогда не говорил о Понмерси, только изредка он делал иронические намеки на его «баронство». Между ними было условлено, что полковник никогда не будет стараться видеться со своим сыном или говорить с ним; в противном случае дед мальчика выгонит и лишит наследства. Для Жильнорманов Понмерси был какой-то зачумленный. Они желали воспитать ребенка на свой лад.

Понмерси, может быть, не следовало бы принимать эти условия, но, дав свое согласие, он исполнял их, думая, что поступает хорошо и приносит в жертву только одного себя. Наследство старика Жильнормана было невелико, но зато наследство мадемуазель Жильнорман-старшей было очень значительно.

Эта тетка, оставшаяся в девушках, была очень богата со стороны матери, и сын ее сестры был ее прямым наследником.

Мальчик, которого звали Мариусом, знал, что у него есть отец, — но и только. Никто никогда не говорил ему о нем. Но перешептывания, намеки и переглядывания в том обществе, куда водил его дед, мало-помалу проникли в ум мальчика, и у него явились кое-какие догадки. А так как он, в силу длительного воздействия окружавших его людей, вполне естественно воспринимал их мысли и взгляды, бывшие, так сказать, средой, которою он дышал, он постепенно привык думать о своем отце не иначе как со стыдом и стесненным сердцем.

В то время как мальчик рос, полковник раз в два или три месяца украдкой, как преступник, опасающийся, что его схватят, приезжал в Париж и шел в церковь Святого Сульпиция к тому часу, когда тетушка Жильнорман приводила Мариуса к обедне. Там, дрожа от страха, что тетка обернется, полковник, прячась за колонну и не

смея дышать, смотрел на своего ребенка. Этот воин, лицо которого носило следы вражеской сабли, боялся старой девы.

Поездки полковника в Париж послужили причиной его дружбы с кюре, аббатом Мабеф.

Брат этого достойного священника был церковным старостой церкви Святого Сульпиция и не раз видал полковника, смотревшего на своего ребенка, видел рубец у него на щеке и крупные слезы на глазах. Этот ветеран, такой мужественный и в то же время плачущий, как женщина, поразил церковного старосту, и его лицо осталось у него в памяти.

Один раз он приехал в Вернон повидаться с братом и, встретившись на мосту с полковником Понмерси, узнал в нем незнакомца, которого видал в церкви. Он рассказал о нем брату, и оба они под каким-то предлогом отправились с визитом к полковнику. За этим визитом последовали другие. Полковник, вначале очень сдержанный, постепенно рассказал все, и таким образом кюре и староста узнали его историю,

узнали, что он пожертвовал своим счастьем ради будущего ребенка. После этого кюре почувствовал глубокое уважение и нежность к полковнику, а тот, с своей стороны, полюбил кюре. Никто не сближается так легко, как старый священник и старый солдат, если оба они добрые и искренние люди. В сущности это одно и то же. Один посвящает себя земной отчизне, другой — небесной. Вот и вся разница.

Два раза в год, первого января и в день святого Георгия, Мариус присылал своему отцу чисто официальные письма, которые диктовала ему тетка и которые были, казалось, списаны с какого-нибудь письмовника. Это все, что допускал Жильнорман. Отец, с своей стороны, отвечал полными глубокой нежности посланиями, которые, впрочем, дед, не читая, преспокойно засовывал в карман.

Глава 170

В салоне госпожи Т. заключался для Мариуса весь свет. Это было единственным окном, через

которое он мог видеть жизнь. Но это окно было темно, и через него проникало больше холода, чем тепла, виднелась чаще ночь, чем день. Этот ребенок, полный радости и света при вступлении в мир, скоро стал печальным и, что еще менее подходило к его возрасту, серьезным. Окруженный всеми этими величественными, странными фигурами, он с удивлением глядел вокруг себя. Все как бы соединилось, чтобы усилить в нем это изумление. В салоне госпожи Т. бывали старые, знатные, очень почтенные дамы, называвшиеся разными библейскими именами. Эти старые лица и библейские имена смешивались в уме мальчика с историей Ветхого Завета, которую он учил наизусть. Когда все эти дамы собирались и сидели у догорающего камина, слабо освещенные лампой под зеленым абажуром, со своими строгими профилями, с седеющими или совсем седыми волосами, в длинных платьях самых мрачных цветов, сшитых по моде прошлого века, когда они произносили время от времени торжественные и суровые слова, маленький Мариус испуганно смотрел на

них, думая, что видит не женщин, а патриархов и волхвов, не живые существа, а призраки.

К этим призракам примешивалось довольно много духовных лиц, постоянных посетителей этого старинного салона, и несколько знатных Дворян: маркиз де Сассенэ, личный секретарь г-жи де Берри, виконт Де Валери, печатавший оды под псевдонимом Шарля-Антуана, принц Де Бодофремон, еще довольно молодой, но уже седеющий, приезжавший с хорошенькой остроумной женой, сильно декольтированные туалеты которой из алого бархата с золотыми витыми шнурами разгоняли окружающий мрак салона, маркиз Кориолис д'Эспинус, в совершенстве изучивший тайну «учтивости в меру», граф д'Амандр, старичок с добродушным подбородком, и шевалье де Пор де Гюи, столп Луврской библиотеки, называемой кабинетом короля. Шевалье де Пор де Гюи, лысый и прежде времени состарившийся, любил рассказывать, как в 1793 году, когда он был шестнадцатилетним юношей, его сослали на галеры за то, что он не хотел дать присягу, и сковали с

восьмидесятилетним епископом Мирпуа, тоже не пожелавшим присягать. Это было в Тулоне. На их обязанности лежало подбирать по ночам около эшафота головы и тела гильотинированных днем, они уносили на спине эти трупы, из которых лилась кровь, и на их красных арестантских куртках образовалась сзади на вороте запекшаяся корочка крови, сухая утром и влажная вечером.

Такие трагические рассказы изобиловали в салоне Т., и, проклиная Марата, гости ее доходили до того, что начинали восхвалять Трестальона. Несколько каких-то допотопных депутатов играли здесь в вист — Тибор де Шалар, Лемаршан де Голенкур и знаменитый шутник правой оппозиции, Корнэ Денкур. Бальи де Феррет со своими тощими ногами и короткими штанами иногда заходил сюда, отправляясь к Талейрану. Он был товарищем графа д'Артуа и кутил вместе с ним; и в противоположность Аристотелю, ползавшему перед Компаспой, он заставил ползать на четвереньках Гимару и таким образом явил векам пример бальи, отомстившего за философа.

Что касается духовных лиц, то салон Т. посещали: аббат Гальма, тот самый, которому Лароз, его сотрудник в «Грозе», говорил: «Ба! Кому же теперь нет пятидесяти лет? Разве только каким-нибудь молокососам», аббат Летурнер, королевский проповедник, аббат Фрейсину, который еще не был ни графом, ни епископом, ни министром, ни пэром и ходил в старой сутане, у которой не хватало пуговиц, аббат Керавенан, кюре церкви Сен-Жермен де Прэ; папский нунций, монсеньор Макки, архиепископ низибийский, впоследствии кардинал, замечательный своим длинным меланхолическим носом, другой монсеньор, аббат Пальмиери, один из семи протонотариев святейшего престола, и, наконец, два кардинала: кардинал де ла Люзернь и кардинал де Клермон Тоннер. Первый из них был писатель, и на его долю спустя несколько лет выпала честь помещать свои статьи в «Консерваторе» рядом с Шатобрианом. Кардинал Клермон де Тоннер был тулузским архиепископом и часто приезжал в Париж к своему племяннику, маркизу де Тоннер,

занимавшему пост морского и военного министра. Кардинал был маленьким веселым старичком, показывавшим из-под подвернутой сутаны свои красные чулки. Его специальностью были ненависть к энциклопедии и страстная любовь к бильярдной игре. Люди, которым в то время случалось проходить летними вечерами мимо его отеля, останавливались и прислушивались к стуку шаров и резкому голосу кардинала, кричавшего своему конклависту, монсеньору Коттрет, епископу in partibus {В иноверческих странах (лат.).} користскому: «Отмечай, аббат, я делаю карамболь!»

Кардинала Клермона Тоннера ввел к Т. его задушевный друг, де Роклор, бывший епископ санлисский и один из сорока бессмертных. Де Роклор отличался своим высоким ростом и усердным посещением академии. Через стеклянную дверь залы, смежной с библиотекой, где в то время происходили заседания членов французской академии, любопытные могли каждый четверг созерцать бывшего епископа санлисско-го, напудренного, в фиолетовых

чулках, обыкновенно стоящего спиной к двери, должно быть для того, чтобы дать возможность получше рассмотреть его узенький воротник.

Все эти духовные лица, несмотря на то, что они по большей части были не только служителями церкви, но и вполне светскими людьми, придавали салону Т. еще больше серьезности, а пять пэров Франции: маркиз де Вирбэ, маркиз де Таларю, маркиз д'Эрбувилль, виконт Дамбрэ и герцог Валентинуа еще более подчеркивали его строго аристократический тон. Герцог Валентинуа, хоть и владетельный герцог Монако, то есть иностранный государь, ставил так высоко Францию и пэрство, что подчинял им все. Он говорил: «Кардиналы — римские пэры Франции, лорды — английские пэры Франции». Впрочем, в тогдашний век революция проникала всюду — первую роль в этом феодальном салоне играл буржуа. В нем царил Жильнорман.

Тут была эссенция и квинтэссенция высшего парижского общества. Тут подвергались сомнению громкие репутации, даже роялистские.

Слава — своего рода анархия. Шатобриан, попав сюда, произвел бы впечатление отца Дюшена. Впрочем, несколько вновь присоединившихся допускались в этот чистый мир. Граф Беньо был принят сюда на исправление.

Нынешние аристократические салоны совсем не походят на прежние. Современное Сен-Жерменское предместье уже далеко не то. Нынешние роялисты — демагоги, говорим это в похвалу им.

Салон Т., в который собиралось самое избранное общество, отличался необыкновенно изящным и высокомерным тоном, приправленным самой изысканной учтивостью. Здесь невольно поддавались разным утонченным привычкам настоящего старинного режима, погребенного, но еще живого. Некоторые из этих привычек, в особенности относящиеся к манере говорить, казались странными. Люди поверхностные приняли бы, пожалуй, за провинциализмы только несколько обветшалые обороты речи. Так, вдову или жену генерала там

называли «генеральшей»; в ходу была и «полковница». Прелестная госпожа де Леон, вероятно, в память герцогинь Лонгвиль и де Шеврез, предпочитала это название титулу принцессы. Маркиза де Крэки тоже любила, чтобы ее называли «полковницей».

Этот маленький аристократический кружок придумал, как нечто особенно утонченное, во время интимного разговора с королем называть его «король» в третьем лице и никогда не употреблять выражения «ваше величество», так как оно «осквернено узурпатором».

В этом салоне судили о событиях и людях. Здесь подсмеивались над веком, что избавляло от труда понимать его. Помогали друг другу удивляться, и каждый спешил поделиться с соседом тем, что понимал сам. Мафусаил разъяснял дело Эпимениду. Глухой учил слепого. Здесь признавали недействительным время, протекшее с Кобленца. Подобно тому как Людовик XVIII был, божией милостью, на двадцать пятом году своего царствования,

эмигранты были по праву на двадцать пятом году своей юности.

Все в этом кружке было в полной гармонии, ничто не жило здесь слишком долго; слава была дуновением; газета, вполне подходящая к салону, казалась папирусом. В передней ливреи приходили в ветхость. Всем этим уже давно состарившимся господам прислуживали такие же старые слуги. Здесь пахло склепом, охранять, охранение, охранитель — вот и весь их словарь. Это был мир мумий. Господа были набальзамированы, слуги набиты соломой.

Почтенная старая маркиза, разорившаяся эмигрантка, державшая только одну служанку, все еще продолжала говорить: «Мои слуги».

Что же делали в салоне Т.? Там были «ультра».

Хотя понятие, связанное с этим словом, может быть, существует и до сих пор, само слово потеряло в настоящее время всякий смысл. Объясним его.

Быть «ультра» значит переходить все границы. Это значит нападать на скипетр во имя престола, на митру во имя алтаря, обвинять костер за то, что он мало поджаривает еретиков; упрекать идола за недостаток обожания; оскорблять от избытка уважения; находить недостаточно папизма у папы, роялизма у короля, мрака у ночи, быть недовольным алебастром, снегом, лебедем и лилией во имя белизны; быть горячим сторонником чего-нибудь до превращения во врага, так упорно стоять «за», что становишься «против».

Дух «ультра» особенно характеризует первые годы Реставрации.

В истории нет ничего похожего на этот период, начавшийся в 1814 году и закончившийся около 1820 года, с присоединением к правым практичного де Виллеля. Эти шесть лет представляют собой замечательный исторический момент, в одно и то же время блестящий и тусклый, веселый и мрачный, освещенный как бы загорающейся зарею и

одновременно окутанный мраком великих катастроф, которые еще заволакивали горизонт и медленно погружались в прошлое. И там, среди этого света и мрака, существовал маленький мирок, новый и старый, шутовской и грустный, юный и древний, протиравший себе глаза. Ничто так не похоже на пробуждение, как возвращение к старому.

Эта группа смотрела на Францию с досадой, а та, со своей стороны, отвечала ей ироничным взглядом. Всюду на улицах попадались в то время старые совы — маркизы, вернувшиеся назад, точно выходцы с того света, разные бывшие аристократы, удивлявшиеся всему, честные и достойные люди, которые радовались, что вернулись во Францию, и в то же время грустили, были в восторге, что видят свою родину, и в отчаянии, что не находят своей монархии. Дворянство крестовых походов относилось с презрением к дворянству Империи, то есть к дворянству военному; исторические расы перестали понимать смысл истории: потомки сподвижников Карла Великого презирали

сподвижников Наполеона. Мечи, как мы уже говорили, оскорбляли друг друга, меч Фонтенуа казался смешным и ржавым; меч Маренго возбуждал ужас. «Прошлое» не признавало «вчерашнего». Чувство великого было утрачено, как и чувство смешного. Кто-то назвал Бонапарта Скапеном.

Теперь этого мира уже нет. Ничего, повторяем еще раз, не осталось от него в настоящее время. Когда мы выхватываем из него наудачу какую-нибудь фигуру и стараемся оживить ее в воображении, она кажется нам странной, как бы принадлежащей к допотопному миру. Да и на самом деле этот мир был поглощен потопом. Он исчез под двумя революциями. Какие могучие волны — идеи! Как быстро покрывают они все, что им предназначено истребить и похоронить, и как скоро вырывают они пропасти страшной глубины!

Таково было лицо салонов той старинной и простодушной эпохи, когда Мартенвиль считался умнее Вольтера. У этих салонов были своя

политика и своя литература. Они верили в Фьеве. Ажье предписывал им законы. Там комментировали Кольне, публициста-букиниста набережной Малане. Наполеон считался там настоящим корсиканским чудовищем. Позднее, чтобы сделать уступку духу времени, в историю был введен маркиз де Буонапарте, генерал-лейтенант королевской армии.

Чистота этих салонов была недолговечной. С 1818 года там начали появляться доктринеры — признак опасный. Особенность доктринеров состояла в том, что они были роялистами и извинялись в этом. Там, где ультрароялисты чувствовали гордость, доктринеры испытывали некоторый стыд. Они были умны и умели молчать; их политический догмат был в надлежащей степени приправлен спесью; их успех был обеспечен. Они чересчур злоупотребляли, и, кстати сказать, не без пользы, белыми галстуками и застегнутыми доверху сюртуками. Ошибка или несчастье партии доктринеров заключалось в том, что они создали старую юность. Они принимали позы мудрецов,

мечтали привить к абсолютному принципу ограниченную власть. Они противополагали — и нередко весьма остроумно — либерализму разрушающему либерализм охранительный. «Пощадите роялизм, — говорили они. — Он оказал не одну услугу. Он восстановил традиции, культ, религию, уважение. В нем много верности, храбрости, рыцарства, любви и преданности. Он примешал, хоть и против воли, к новому величию нации вековое величие монархии. Его ошибка в том, что он не понимает революции, Империи, славы, свободы, новых идей, новых поколений, теперешнего века. Но если он виноват в этом перед нами, то не бываем ли и мы иногда виноваты перед ним? Революция, которую мы наследовали, должна понимать все. Нападать на роялизм — значит грешить против либерализма. Какая ошибка! И какое ослепление! Франция революционная оказывает неуважение Франции исторической, то есть своей матери, иначе сказать, самой себе. После пятого сентября с дворянством монархии обращаются совершенно так же, как обращались после 8 июля с

дворянством Империи. Они были несправедливы к орлу, мы несправедливы к лилии. Неужели же нужно всегда что-нибудь преследовать? Счищать позолоту с короны Людовика XIV, выскабливать герб Генриха IV — разве в этом есть хоть какая-нибудь польза? Мы смеемся над Вобланком, стиравшим буквы N с Иенского моста. А что он делал? Да то же самое, что и мы. Бувин принадлежит нам так же, как и Маренго. Лилии наши, как и буквы N. Это наше родовое наследие. Зачем же умалять его? Не следует отрекаться от своего отечества не только в настоящем, но и в прошлом. Почему не признавать всей истории? Почему не любить всей Франции?»

Вот как доктринеры критиковали и защищали роялизм, который был недоволен, что его критикуют, и приходил в ярость, что ему оказывают покровительство.

Ультрароялисты ознаменовали первый период роялизма; доктринеры охарактеризовали второй. За горячим порывом последовали умение и ловкость.

На этом мы и закончим наш очерк.

В постепенном ходе этого романа автору попался на пути интересный момент современной истории; он должен был мимоходом бросить на него взгляд и изобразить некоторые странные черты теперь уже забытого общества. Но он недолго останавливался на этом и без всякой горечи или насмешки. Дорогие и священные воспоминания, так как они касаются его матери, привязывают его к этому прошлому. Кроме того нужно сознаться, что в этом маленьком мире было своего рода величие. Можно улыбаться, вспоминая о нем, но нельзя ни презирать, ни ненавидеть его. Это та же Франция, но Франция прошлого.

Мариус Понмерси учился так же, как и все дети. Когда он вышел из рук тетушки Жильнорман, дед поручил его достойному наставнику самой чистой классической невинности. Таким образом юная, только что открывшаяся душа перешла от чопорной девы к педанту. Мариус провел несколько лет в коллеже,

а потом поступил в школу правоведения. Он был роялистом, фанатиком и аскетом. К своему деду он не чувствовал большой привязанности: веселость и цинизм старика оскорбляли его; относительно отца он был мрачным и сдержанным.

В общем Мариус был юноша пылкий и холодный, благородный, великодушный, гордый, религиозный, экзальтированный, честный до суровости, чистый до дикости.

Глава 171

Мариус закончил свое учение в то самое время, как Жильнорман отказался от общества. Старик распростился с Сен-Жерменским предместьем и салоном госпожи Т. и перебрался в квартал Марэ, в свой дом на улице Филль-дю-Кальвер. Кроме портье, у него были две прислуги: кухарка Николетта, поступившая после Маньон, и задыхающийся от одышки толстяк Баск, о котором мы уже упоминали выше.

В 1827 году Мариусу исполнилось семнадцать лет. Однажды, вернувшись вечером домой, он увидал, что его дед держит в руке какое-то письмо.

— Мариус, — сказал старик, — тебе нужно завтра ехать в Вернон.

— Зачем? — спросил Мариус.

— Чтобы повидаться с отцом.

Мариус вздрогнул. Ему никогда не приходило в голову, что наступит день, когда ему придется увидеться с отцом. Ничто не могло бы так поразить его, показаться ему таким неожиданным и, нужно добавить, таким неприятным. Он был так далек от отца, что невольно уклонялся от сближения. Он чувствовал не досаду, а стеснение.

Не только политические взгляды полковника были антипатичны Мариусу; он, кроме того, был убежден, что отец, этот «рубака», как называл его в хорошие минуты Жильнорман, не любит его. Да, это очевидно — иначе он не бросил бы своего

сына, не отдал бы его деду. Вполне уверенный, что его не любят, он не любил и сам. «Как же может быть иначе?» — думал он.

Мариус был так поражен, что не стал расспрашивать Жильнормана.

— Он, по-видимому, болен и зовет тебя, — продолжал старик и прибавил после небольшой паузы: — Поезжай завтра утром. Кажется, дилижанс отходит со двора Фонтен в шесть часов утра и приезжает в Вернон вечером. Отправляйся с ним. Отец пишет, что нельзя терять времени.

Старик смял письмо и сунул его в карман. Мариус мог бы уехать в тот же вечер и быть у отца на другой день. Дилижанс с улицы Булуа ездил в то время в Руан ночью и проезжал через Вернон. Но ни Жильнорману, ни Мариусу не пришло в голову навести справки.

На другой день Мариус уже в сумерках приехал в Вернон. В городе начали зажигаться огни. Обратившись к первому встретившемуся прохожему, он спросил у него, где живет господин Понмерси. В душе Мариус

придерживался взгляда Реставрации и не признавал своего отца ни полковником, ни бароном.

Ему указали дом. Он позвонил. Какая-то женщина с лампой в руке отворила ему дверь.

— Господин Понмерси? — спросил Мариус.

Женщина не отвечала.

— Он живет здесь? — снова спросил Мариус.

Женщина кивнула головой.

— Могу я говорить с ним?

Женщина отрицательно покачала головой.

— Но я его сын, — настаивал Мариус. — Он ждет меня.

— Он уже не ждет вас, — сказала женщина. Тут только заметил Мариус, что она плачет.

Она показала ему на дверь низкой комнаты. Он вошел.

В этой комнате, освещенной одной сальной свечой, стоявшей на камине, было трое мужчин.

Один стоял, другой был на коленях, третий в одной рубашке лежал во весь рост на полу. Этот лежавший на полу человек был полковник. Двое других были доктор и молившийся стоя на коленях священник.

Три дня тому назад полковник заболел воспалением мозга. В самом начале болезни он, как бы предчувствуя свою смерть, написал Жильнорману, прося прислать к нему сына. Болезнь усилилась. В тот самый день, как Мариус приехал в Вернон, у полковника был припадок бреда. Несмотря на усилия служанки удержать его, он вскочил с постели, крича: «Мой сын не едет! Я сам пойду к нему!» Потом он бросился из своей комнаты и упал на пол в передней. Он умер.

Позвали доктора и священника. Доктор пришел слишком поздно, священник пришел слишком поздно. И сын приехал слишком поздно.

При тусклом свете сальной свечи на бледной щеке лежащего полковника видна была крупная слеза, выкатившаяся из его мертвого глаза. Глаз

потух, но слеза не высохла. Эту слезу вызвало напрасное ожидание сына.

Мариус смотрел на умершего, которого видел в первый и последний раз, смотрел на это почтенное, мужественное лицо, эти открытые, но ничего не видящие глаза, эти седые волосы, могучие руки, на которых местами виднелись темные полосы — следы сабельных ударов и какие-то красноватые звездочки — зажившие раны от пуль. Он смотрел на страшный шрам, положивший печать героизма на это лицо, на которое Бог наложил печать доброты.

Он подумал, что этот человек — его отец и что он умер, и остался холоден. Ему было только немного грустно, но эта грусть была совершенно такая же, какую он почувствовал бы при виде всякого другог0 умершего человека.

А между тем посторонние, бывшие в этой комнате, очевидно, испытывали горе, глубокое горе. Служанка плакала в уголке, молитва священника прерывалась рыданиями, доктор вытирал глаза, даже сам труп плакал. Этот

доктор, этот священник и эта служанка, несмотря на свое горе, изредка молча бросали взгляды на Мариуса. Не они, а он был здесь чужой. Мариус, которого так мало тронула смерть отца, чувствовал некоторый стыд и смущение от своего неловкого положения. У него в руке была шляпа. Он нарочно уронил ее на пол, чтобы подумали, что горе лишило его сил. В то же время он чувствовал как бы угрызение совести и презрение к себе за такой поступок. Но разве это его вина? Он просто не любил отца.

После полковника не осталось никакого имущества. Денег, вырученных от продажи мебели и домашней утвари, едва хватило на похороны. Служанка нашла клочок исписанной бумаги и отдала его Мариусу.

На нем рукою полковника было написано:

«Моему сыну. Император сделал меня бароном на поле битвы при Ватерлоо. Так как Реставрация не признает моего титула, за который я заплатил кровью, то сын мой примет

его и будет носить. Само собою разумеется, что он будет достоин его».

На обороте полковник прибавил:

«Во время этого самого сражения при Ватерлоо один сержант спас мне жизнь. Его звали Тенардье. Он в последнее время держал, как кажется, маленький трактир в окрестностях Парижа, в Шелле или Мон-фермейле. Если сын мой встретится с Тенардье, он сделает ему столько добра, сколько будет в силах».

Не из уважения к памяти отца, а просто вследствие смутного почтения к смерти, которое так могущественно в душе человека, Мариус взял эту бумагу и спрятал ее.

Ничего не осталось от полковника. Жильнорман велел продать старьевщику его шпагу и мундир. Соседи разграбили его сад и обобрали редкие цветы. А остальные растения зачахли и погибли.

Мариус пробыл в Верноне только двое суток. После похорон он вернулся и принялся за свое

право, совсем не думая об отце, как будто тот никогда и не жил на свете. Через два дня полковник был похоронен, через три — забыт.

У Мариуса был креп на шляпе. Вот и все.

Глава 172

Мариус сохранил религиозные привычки своего детства. Как-то раз, воскресенье, он отправился к обедне в церковь Святого Сюльпиция, тот самый придел Пресвятой Девы, куда его водила тетка, когда он был ребенком. В этот день он был как-то больше обыкновенного задумчивым и рассеянным. Подойдя к стоявшему за колонной креслу, обитому утрехтским бархатом, на спинке которого стояла надпись: «Господин Мабеф, церковный староста», Мариус машинально опустился на него. Когда началась служба, какой-то старик подошел к нему и сказал:

— Извините, это мое место.

Мариус торопливо встал и уступил кресло старику. По окончании обедни Мариус продолжал стоять, задумавшись, в нескольких шагах от старика. Тот снова подошел к нему.

— Прошу вас извинить меня, — сказал он, — некоторое время тому назад я потревожил вас, а теперь опять беспокою. Но вы, наверное, сочли меня очень неделикатным, и я должен объясниться с вами.

— Это совершенно лишнее, — ответил Мариус.

— Нет, нет, — возразил старик. — Я не хочу, чтобы вы дурно думали обо мне. Дело в том, что я очень дорожу этим местом. Мне с него и служба кажется лучше. Почему? Я сейчас объясню вам. На этом самом месте видал я в течение десяти лет аккуратно приходившего сюда каждые два-три месяца несчастного, любящего отца, который, по семейным обстоятельствам, только здесь имел возможность видеть своего ребенка. Он приходил к тому часу, когда, как он знал, его сына приводили к обедне. Может быть,

тот даже не знал, что у него есть отец, бедняжка! А отец прятался за колонну, чтобы его не увидали. Он смотрел на ребенка и плакал. Этот человек обожал своего мальчика: я видел это. Вот почему это место стало для меня священным, и я привык занимать его во время службы. Тут я чувствую себя лучше, чем на приходской скамье, на которой я мог бы сидеть как церковный староста. Я даже немножко знал этого несчастного человека. У него был тесть, богатая свояченица, какие-то родные, грозившие лишить ребенка наследства, если отец будет видеться с ним. И он пожертвовал собою, чтобы его сын был впоследствии богат и счастлив. Его разлучили с ребенком из-за политических взглядов. Я, конечно, одобряю политические взгляды, но есть люди, не знающие меры ни в чем. Господи, помилуй! Нельзя же считать человека чудовищем только из-за того, что он бился при Ватерлоо! Нельзя же из-за этого разлучить отца с сыном. Он был полковником Бонапарта и теперь, кажется, уже умер. Жил он в Верноне, где живет мой брат, кюре, и звали его как-то вроде Понмерси или

Монперси. Лицо его было прорезано глубоким шрамом от сабельного удара.

— Понмерси? — спросил Мариус, бледнея.

— Совершенно верно, Понмерси. Разве вы знали его?

— Это мой отец.

— А! Так это вы тот мальчик! — воскликнул старик, всплеснув руками. — Да, да, теперь ребенок уже должен был превратиться в мужчину. Ну, бедное дитя мое, вы можете сказать, что ваш отец горячо любил вас.

Мариус подал старику руку и проводил его до самого дома. На другой день утром он сказал Жильнорману:

— У нас устраивается поездка на охоту с несколькими товарищами. Позволите вы мне уехать на три дня?

— Хоть на четыре, — отвечал дед. — Поезжай, повеселись. И, подмигнув дочери, он шепнул ей:

— Наверное, какая-нибудь интрижка!

Глава 173

Читатель узнает впоследствии, куда уехал Мариус.

Он пропадал три дня. Вернувшись в Париж, он отправился прежде всего в библиотеку школы правоведения и спросил старые номера «Монитора». Он прочитал их, прочитал все, относящееся к Республике и Империи, мемуары Наполеона на острове Святой Елены, бюллетени с театра войны, прокламации, дневники. Целую неделю ходил он как в лихорадке, после того как встретил в первый раз имя отца в бюллетенях из Великой армии. Он посетил генералов, под начальством которых служил его отец, между прочим графа Г. Церковный староста Мабеф, у которого он тоже побывал, рассказал ему об отставке полковника, о его жизни в Верноне, его цветах и его уединении. И Мариус узнал наконец этого редкого человека, великого и кроткого, этого льва-ягненка, который был его отцом.

Занятый этим изучением, которое отнимало у него время и поглощало все его мысли, Мариус теперь редко видел деда и тетку. Он появлялся в часы завтрака и обеда, а потом исчезал. Его искали и не находили. Тетка ворчала; дед подсмеивался.

— Ба! Наступила пора девчонок! — говорил он и иногда прибавлял: — Черт возьми, я, кажется, ошибся! Это, по-видимому, уже не интрижка, а страсть.

И это была на самом деле страсть. Мариус начинал боготворить своего отца.

В то же время изумительный переворот совершался в его взглядах. Фазы этого переворота были многочисленными и постепенно следовали одна за другой. Так как то же самое переживают многие умы и в наше время, мы считаем полезным проследить шаг за шагом за этими фазами и обозначить их.

Страница истории, которую прочитал Мариус, смутила его.

Первым впечатлением было ослепление.

Республика, Империя были для него до сих пор только чудовищными словами. Республика — гильотиной в сумерках. Империя — шпагой во мраке ночи. Он заглянул туда и там, где не ожидал увидать ничего, кроме хаоса и мрака, с необыкновенным изумлением, к которому примешивались страх и радость, увидал сверкающие звезды Мирабо, Сент-Жюста, Робеспьера, Камилла Демулена, Дантона и восходящую звезду Наполеона. Он не понимал, что происходит с ним. Он отступал, ослепленный блеском. Мало-помалу, когда прошло первое изумление, он привык к сиянию, стал рассматривать события без головокружения, людей без ужаса. Революция и Империя обрисовались в лучезарной перспективе перед его мысленным взором. Обе эти группы событий и людей складывались в его глазах в двух величайших фактах: Республика — в верховности гражданских прав, возвращенных массам, Империя — в верховенстве французской идеи, предписанной Европе. Он увидал выступавший

из революции великий образ народа, из Империи — великий образ Франции. И в глубине души он нашел все это прекрасным.

Мы не считаем нужным указывать здесь на пропуски, которые сделал Мариус в своем ослеплении при этой первой, слишком синтетической оценке. Мы описываем лишь ход его мысли.

Мариус увидел, что до этой минуты он не понимал ни своей родины, ни своего отца. Он не знал ни того ни другого, глаза его окутывал какой-то добровольный мрак. Теперь он видел. С одной стороны, он восхищался, с другой — боготворил.

Его мучили сожаления и угрызения совести, и он с отчаянием говорил себе, что обо всем, чем теперь полна его душа, он может сказать только могиле. Ах, если бы его отец не умер, если бы он еще был у него, если бы Бог в своем милосердии и сострадании позволил, чтобы отец его жил, как бы он побежал, как бы бросился он к нему, как бы закричал своему отцу: «Отец, я пришел к

тебе! Это я! У меня одно сердце с тобой! Я твой сын!» Как бы он обнял его седую голову, облил слезами его волосы, смотрел на его шрам, жал ему руки, боготворил бы даже его одежду, целовал бы его ноги! О, зачем отец его умер так рано, умер преждевременно, не дождавшись справедливости, не дождавшись любви своего сына! Мариус постоянно чувствовал как бы рыдание в сердце. В то же время он постепенно становился все более сознательным, все более серьезным, суровым и уверенным в своих убеждениях и мыслях. Ежеминутно свет истины озарял его разум. Он чувствовал, что растет нравственно благодаря своему отцу и родине, благодаря тому, чего до сих еще не знал.

Теперь у него был как будто ключ, отпиравший все. Он уяснил себе то, что ненавидел, проник в то, к чему относился с презрением. Теперь он видел ясно роковой, божественный и человеческий смысл тех великих событий, которые приучили его ненавидеть, и тех великих людей, которых его научили проклинать. И когда он думал о своих прежних убеждениях,

только вчерашних, но казавшихся ему такими старыми, он и негодовал, и улыбался.

Оправдав своего отца, он естественно перешел к оправданию Наполеона.

Однако это последнее обошлось ему не без труда.

С самого детства он проникся теми взглядами на Наполеона, которых придерживалась партия 1814 года. А все предубеждения Реставрации, все ее интересы, все ее инстинкты стремились к тому, чтобы представить Наполеона в самом ужасном виде. Она ненавидела его еще больше, чем Робеспьера, и очень ловко воспользовалась утомлением нации и ненавистью матерей. Бонапарт превратился в какое-то баснословное чудовище. Чтобы сильнее поразить им воображение народа, партия 1814 года показывала его под самыми страшными масками, начиная с величественно-страшных и кончая ужасными и грубо комичными — с Тиберия до нелепого пугала. Таким образом, говоря о Бонапарте, всякий мог по своему усмотрению

или рыдать, или хохотать до упаду, лишь бы в том и другом случае основанием была ненависть. Таких взглядов придерживался и Мариус относительно «этого человека», как его называли. И он придерживался их с упорством, свойственным его натуре. В нем сидел маленький человечек, ненавидевший Наполеона.

По мере того как Мариус читал историю, а в особенности изучал ее по документам и материалам, завеса, скрывавшая от него Наполеона, мало-помалу разорвалась. Перед ним мелькнул какой-то исполинский образ, и у него появилось подозрение, что он до сих пор ошибался в Наполеоне, как и во всем остальном. С каждым днем взгляд его прояснялся. И медленно, шаг за шагом, сначала чуть ли не с сожалением, потом с восторгом, повинуясь неодолимому очарованию, он начал восходить сперва по темным, затем по слабо освещенным и, наконец, по сверкающим ступеням энтузиазма.

Как-то ночью он был один в своей маленькой комнатке под крышей. Он читал при зажженной

свече, облокотившись на стол, около открытого окна. Разные грезы прилетали к нему извне и примешивались к его мыслям. Что за чудное зрелище — ночь! Слышатся какие-то смутные, неизвестно откуда идущие звуки. Юпитер, в двенадцать раз превосходящий землю, горит как пылающий уголь, лазурь темна, звезды сверкают — какая грозная картина!

Мариус читал бюллетени Великой армии, эти героические строфы, написанные на поле битвы. Он встречал там иногда имя отца, всегда — имя императора. И вся великая империя предстала перед ним. Он чувствовал, что в нем как будто поднимается прилив. Минутами ему казалось, что отец проносится около него, как дуновение, шепчет ему на ухо. С ним происходило что-то странное: ему слышались барабанный бой, гром пушек, звуки труб, мерный шаг батальонов, глухой, отдаленный топот конницы. Время от времени он поднимал глаза к небу и смотрел на сверкающие в бездонной глубине громадные светила, потом опускал их на книгу и видел, как смутно движутся тоже исполинские образы.

Сердце его сжималось. Он был в исступлении, он дрожал и задыхался. Вдруг, не сознавая, что с ним и чему он повинуется, Мариус встал, протянул руки из окна, устремил глаза во мрак, в безмолвие, в темную бесконечность, в вечную беспредельность и воскликнул:

— Да здравствует император!

С этой минуты все было кончено: корсиканское чудовище, узурпатор, тиран, комедиант, бравший уроки у Тальма, яффский отравитель, тигр Буонапарте, — все это исчезло и сменилось в его уме ослепительным сиянием, в котором на недостижимой высоте сверкал блудный мраморный призрак Цезаря. Для отца Мариуса император был только любимым полководцем, которым восхищаются и которому предаются всей душой; для самого Мариуса Наполеон стал гораздо большим. Он был предназначенным судьбою строителем французского народа, к которому перешло после римлян владычество над миром. Он был преемником и продолжателем Карла Великого,

Людовика XI, Ришелье, Людовика XIV и Комитета общественной безопасности. Конечно, и у него были свои недостатки, свои ошибки и даже свое преступление — иначе сказать, он был человек. Но он был велик в своих ошибках, блестящ в своих недостатках, могуч в своем преступлении. Он был избранник судьбы, заставивший сказать все народы: «великая нация». Но этого еще мало. Он был олицетворением самой Франции, он покорил Европу шпагой, а весь мир — исходящим от него светом. Для Мариуса Бонапарт был сверкающим призраком, который будет всегда стоять на границе и охранять будущее. Деспот, но диктатор, деспот, вышедший из республики и повлекший за собой революцию. Наполеон стал в глазах Мариуса народочеловеком, подобно тому как Иисус был богочеловеком.

Его, как это всегда бывает с новообращенными в какую-нибудь религию, опьяняло его обращение, он жадно стремился к присоединению и заходил слишком далеко. Такова была его натура. Раз попав на наклонную

плоскость, он уже не мог остановиться. Фанатизм к мечу овладел им и усложнил в его уме энтузиазм к идее. Он не замечал, что восхищается не только гением, но и силой, то есть поклоняется, с одной стороны, божественному, с другой — звериному. Во многих отношениях он впадал в другую ошибку. Он признавал все. Можно впасть в заблуждение, идя к истине. Он был до того прямодушен, что брал все без исключения. На новом пути, на который он вступил, обсуждая недостатки старого режима и измеряя славу Наполеона, он не признавал никаких смягчающих обстоятельств.

Как бы то ни было, важный шаг был сделан. Там, где он видел раньше падение монархии, он видел теперь величие Франции, он переменил положение, и на месте прежнего запада очутился восток.

Семья его не подозревала, что в нем совершаются все эти перевороты.

Когда в нем происходила эта таинственная работа, когда он сбросил с себя старую оболочку

приверженца Бурбонов и «ультра», когда он освободился от аристократизма и роялизма и превратился в настоящего революционера, он отправился к граверу на набережную Орфевр и заказал сотню визитных карточек: «Барон Мариус Понмерси».

Это было лишь логическим следствием происшедшей в нем перемены, в которой все тяготело к его отцу. Но так как у него совсем не было знакомых и он не мог раздавать свои карточки портье, то он положил их в карман.

По мере того как Мариус становился ближе к своему отцу, к его памяти и к тому за что полковник бился на протяжении двадцати пяти лет, он удалялся от деда. Это было другим логическим следствием свершившейся в нем перемены. Мы уже говорили, что характер Жильнормана был Мариусу давно не по душе. Между дедом и внуком уже легли трещины, какие бывают всегда между серьезным молодым человеком и легкомысленным стариком.

Веселость Жеронта оскорбляет и раздражает Вертера.

Пока они придерживались одних политических взглядов и идей, они хоть в этом сходились между собою. То был как бы мост, соединявший их. А когда этот мост рухнул, между ними разверзлась пропасть. К тому же Мариус испытывал страшное возмущение при мысли, что не кто другой, как Жильнорман, из-за каких-то глупых побуждений безжалостно отнял его у полковника, лишил отца сына и сына — отца.

Из-за глубокой жалости к отцу Мариус дошел почти до ненависти к деду.

Все это, однако, Мариус хранил в себе и ничем не выдавал. Он только делался все холоднее и холоднее, молчаливее за столом и реже бывал дома. Когда тетка начинала бранить его за это, он кротко выслушивал ее и ссылался на свои занятия, лекции, экзамены и т. п. А дед все еще считал непогрешимым свой диагноз: «Влюблен! Я знаю в этом толк».

Время от времени Мариус отлучался из дома.

— Куда же это он уезжает? — удивлялась тетка.

В одну из таких поездок, всегда очень коротких, Мариус, повинуясь цказаниям отца, отправился в Монфермейль и принялся разыскивать оьшшего ватерлооского сержанта, трактирщика Тенардье. Оказалось, что трактир закрыт, а Тенардье разорился и никто не знает, что с ним стало. Из-за этих розысков Мариус четыре дня не был дома.

— Он, как кажется, совсем свихнулся, — сказал дед.

Заметим, что у Мариуса появилась на шее черная ленточка и что он рячет на груди под рубашкой что-то, надетое на этой ленточке.

Глава 174

Мы уже упоминали об одном улане. Это был правнук Жильнормана с отцовской стороны, проводивший жизнь в гарнизоне, вдали от

родных и семейных очагов. Поручик Теодюль Жильнорман обладал всем, что требуется для так называемого красивого офицера. У него были талия, как у барышни, умение как-то особенно победоносно волочить за собой саблю и длинные, лихо закрученные усы. Он редко приезжал в Париж, так редко, что Мариус даже не видал его. Двоюродные братья знали друг друга только по имени. Теодюль — мы, кажется, уже говорили это — был любимцем тетушки Жильнорман, которая отдавала ему предпочтение потому, что редко его видела. Не видя людей, легко наделять их всевозможными совершенствами.

Как-то рано утром мадемуазель Жильнорман-старшая пришла к себе настолько взволнованная, насколько это было возможно при ее невозмутимости. Мариус опять просил у деда позволения сделать небольшую поездку, рассчитывая уехать в тот же день вечером.

— Поезжай, — сказал дед и пробормотал про себя, подняв брови: «Он все чаще не ночует дома».

Мадемуазель Жильнорман вошла в свою комнату, сильно заинтригованная. Когда она всходила по лестнице, у нее вырвалось восклицание: «Это уж слишком!» и затем вопрос: «Но куда же, наконец, он ездит?»

У нее явилось смутное предчувствие какой-нибудь сердечной истории, более или менее предосудительной, она видела женщину в тени, свидание, тайну и охотно сунула бы туда свой нос, вооруженный очками, смакуя тайну, как будто сама участвуя в романтическом приключении, а благочестивые души не прочь побаловаться этим. В глубоких тайниках ханжества скрывается любопытство к скандалам.

Итак, тетушка умирала от желания узнать историю племянника.

Чтобы немножко отвлечься от этого любопытства, которое так непривычно волновало ее, мадемуазель Жильнорман прибегла к своим талантам и начала обметывать бумагой фестоны на одном из тех вышиваний, бывших в моде во времена Империи и Реставрации, где так много

дырочек с паутинками, похожих на колесики. Работа была скучна, работница угрюма. В продолжение нескольких часов сидела она на своем стуле, как вдруг дверь отворилась. Мадемуазель Жильнорман подняла нос — перед ней стоял поручик Теодюль и приветствовал ее по-военному, приложив пальцы ко лбу. Она вскрикнула от радости. Можно быть старухой, чопорной, ханжой, теткой — и все-таки испытывать удовольствие, видя в своей комнате улана.

— Ты здесь, Теодюль! — воскликнула она.

— Проездом, тетя.

— Поцелуй же меня.

— Извольте.

И Теодюль поцеловал ее.

Мадемуазель Жильнорман подошла к своему бюро и отворила его.

— Но ты пробудешь у нас хоть неделю? — спросила она.

— Нет, тетя, я уезжаю сегодня же вечером.

— Невозможно!

— Математически верно.

— Останься, дружок, прошу тебя.

— Сердце говорит «да», а служба «нет», — возразил Теодюль. — Дело вот в чем. Нас переводят в другой город. Мы стояли в Мелёне, а теперь переходим в Гальон. Париж пришелся как раз по пути. И я сказал себе: «Поеду повидаться с тетей».

— Вот тебе за труд.

И мадемуазель Жильнорман сунула ему в руку десять луидоров.

— Вы хотите сказать — за удовольствие, милая тетя.

Теодюль поцеловал ее еще раз, и она с радостью почувствовала, что галуны его мундира оцарапали ей шею.

— Ты едешь верхом со своим полком? — спросила она.

— Нет, тетя, мне хотелось повидаться, и я добился позволения ехать отдельно. Денщик ведет мою лошадь. А я поеду в дилижансе. Кстати, я хочу кое о чем спросить вас.

— Что такое?

— Разве мой кузен, Мариус Понмерси, тоже уезжает куда-нибудь?

— Почему ты знаешь? — воскликнула тетка, вновь загораясь любопытством.

— Приехав в город, я пошел в контору дилижансов, чтобы заранее взять себе место.

— Ну?

— Одно место на империале было уж занято. Я прочел в списке имя путешественника.

— Какое имя?

— Мариус Понмерси.

— Ах, повеса! — воскликнула тетушка. — Да, твой двоюродный брат ведет себя далеко не так хорошо, как ты. Скажите пожалуйста — он ездит по ночам в дилижансе!

— Как и я.

— Ты — дело другое. Ты едешь по обязанности, а он по испорченности.

— Черт возьми!

Тут нечто необыкновенное случилось с мадемуазель Жильнорман: у нее блеснула прекрасная мысль. Будь она мужчиной, она непременно хлопнула бы себя по лбу.

— А ведь твой двоюродный брат, кажется, ни разу не видал тебя? — спросила она.

— Ни разу. Я как-то видел его, но он не соизволил обратить на меня свое внимание.

— Значит, вы поедете вместе?

— Он — на империале, я — внутри.

— Куда идет этот дилижанс?

— В Анделис.

— Так Мариус едет туда?

— Да, если только не выйдет где-нибудь по дороге. Я со своей стороны остановлюсь в

Верноне, чтобы захватить корреспонденцию в Гальон. О маршруте Мариуса я не имею ни малейшего понятия.

— Мариус! Какое отвратительное имя! И пришло же в голову назвать его Мариусом. Как хорошо, что тебя зовут Теодюль.

— Мне бы лучше хотелось, чтобы меня звали Альфредом, — сказал улан.

— Послушай, Теодюль.

— Слушаю, тетя.

— Как можно внимательнее.

— Очень внимательно.

— Готов ты?

— Вполне.

— Ну, так знай же, что Мариус стал часто отлучаться из дома.

— Эге!

— Он уезжает куда-то.

— Ага!

— Он не ночует дома.

— Ого!

— Нам хотелось бы знать причину этого.

— Какая-нибудь юбка, — равнодушно проговорил Теодюль.

И, усмехнувшись про себя, прибавил уверенно:

— Какая-нибудь девчонка!

— Наверное, так! — воскликнула тетка, которой показалось, что она слышит самого Жильнормана.

Слово «девчонка», произнесенное правнуком почти таким же тоном, каким произносил его дед, вполне убедило ее.

— Сделай нам одолжение, — продолжала она, — последи немножко за Мариусом. Тебе это будет не трудно — он не знает тебя. Так как тут замешана женщина, то постарайся увидать ее. Ты нам напишешь обо всем. Это позабавит дедушку.

Теодюля нисколько не привлекало такого рода шпионство, но десять луидоров глубоко тронули его — к тому же весьма возможно, что последует и продолжение. Ввиду этого он решился взять на себя поручение.

— Я готов исполнить ваше желание, тетя, — сказал он и прибавил про себя: «Так, значит, я попал в дуэньи!»

Мадемуазель Жильнорман поцеловала его.

— Вот ты, мой друг, не способен на такие шалости. Ты повинуешься дисциплине, свято исполняешь приказания начальства, ты человек совести и долга и не бросил бы семью из-за какой-нибудь дрянной девчонки!

Улан состроил удовлетворенную гримасу, гримасу Картуша, которого похвалили за честность.

Вечером в тот самый день, как происходил этот разговор, Мариус взобрался на империал дилижанса, нимало не подозревая, что за ним следят. Что же касается самого шпиона, то он

первым делом заснул. Сон его был крепкий и вполне добросовестный. Аргус преспокойно прохрапел всю ночь.

На рассвете кучер закричал:

— Верной! Остановка в Верноне! Кто выходит в Верноне?

И поручик проснулся.

— Хорошо, — пробормотал он, еще не совсем опомнившись, — я выхожу здесь.

Потом, по мере того как прояснялась его память, он вспомнил о тетке, об ее десяти луидорах и о своем обещании прислать ей подробный отчет о похождениях Мариуса. Это рассмешило его.

«Может быть, Мариус уж давно сошел с дилижанса, — подумал он, застегивая мундир. — Он мог остановиться в Пуасси, мог выйти в Триеле, Мелане, Манте, если только не сошел в Рельбуазе или Пасси и не свернул налево в Эвре или направо в Ларош-Гюйон. Попробуй-ка сама

побегать за ним, любезная тетушка! Что же, черт возьми, напишу я этой доброй старухе?»

В эту минуту черные панталоны спускавшегося с империала пассажира показались в окне кареты.

«Уж не Мариус ли это?» — подумал поручик.

Это был действительно Мариус.

Около дилижанса молодая крестьянка, пробравшись между кучерами и лошадьми, предлагала путешественникам цветы.

— Купите цветов для ваших дам! — кричала она.

Мариус подошел к ней и выбрал самые лучшие цветы с ее лотка.

«Однако это становится интересно, — подумал, выскакивая из кареты поручик. — Кому, черт возьми, преподнесет он эти цветы? Для такого чудного букета нужна очень хорошенькая женщина. Я хочу взглянуть на нее».

И теперь уже не по поручению тетушки, а из желания удовлетворить свое собственное любопытство поручик последовал за Мариусом. Так иногда охотничьи собаки охотятся не для хозяина, а для себя лично, повинуясь инстинкту.

Мариус не обращал никакого внимания на Теодюля. Красивые женщины выходили из дилижанса: он не смотрел и на них. Казалось, он не видел ничего окружающего.

«Ну и влюблен же он!» — подумал поручик.

Мариус направился к церкви.

«Отлично! — пробормотал поручик. — Церковь! Лучше этого и не придумаешь. Свидания, немножко приправленные обедней, самые лучшие. Перемигиваться из-за молитвенника — какая прелесть!»

Подойдя к церкви, Мариус не вошел в нее, а свернул в проход около хор и исчез за углом одного из контрфорсов.

«Значит, свидание будет под открытым небом, — подумал поручик. — Ну, поглядим,

какова девчонка».

И он на цыпочках пошел к углу, за которым скрылся Мариус.

Дойдя до него, он остолбенел.

Мариус, закрыв лицо руками, стоял на коленях на заросшей травой могиле. Он осыпал ее цветами из своего букета. На одном конце могильной насыпи, около небольшого возвышения, обозначавшего изголовье, стоял черный крест, на котором была надпись белыми буквами:

ПОЛКОВНИК БАРОН ПОНМЕРСИ

Слышны были рыдания Мариуса.

Вместо «девчонки» оказалась могила.

Глава 175

На эту могилу приходил Мариус в первую свою поездку из Парижа. Сюда же приходил он каждый раз, как Жильнорман говорил: «Он не ночует дома».

Поручик Теодюль совсем растерялся, так неожиданно очутившись около могилы. Он почувствовал какое-то странное и неприятное ощущение, которого не мог определить и в котором уважение к смерти соединилось с уважением к чину полковника. Он отступил, оставив Мариуса одного на кладбище, и в этом отступлении повиновался своего рода дисциплине. Смерть предстала перед ним в густых полковничьих эполетах, и он чуть не отдал ей честь. Не зная, что написать тетке, он решил совсем не писать. И, по всей вероятности, ничего бы не вышло из открытия, сделанного поручиком насчет любовных похождений Мариуса, если бы по одной из странных и далеко не редких случайностей сцена в Верноне не отразилась, так сказать, почти сейчас же в Париже.

Мариус вернулся из Вернона на третий день и рано утром приехал домой. Утомленный двумя проведенными в дороге ночами, он почувствовал желание освежиться и, поспешно сняв дорожный

сюртук и черную ленточку, которую носил на шее, отправился купаться.

Жильнорман, проснувшись очень рано, как просыпаются все обладающие хорошим здоровьем старики, услышал, как приехал Мариус, и торопливо, насколько позволяли ему старые ноги, стал взбираться по лестнице, ведшей под самую крышу, где жил Мариус. Жильнорману хотелось расцеловать его и кстати расспросить, чтобы узнать, откуда он приехал.

Но юноша сошел вниз быстрее, чем старик поднялся наверх, и, когда Жильнорман вошел в мансарду, Мариуса уже не было там.

Постель была не смята, и на ней доверчиво лежали сюртук и черная ленточка.

— Так будет, пожалуй, еще лучше, — сказал старик.

Через минуту он вошел в гостиную, где сидела мадемуазель Жильнорман-старшая, вышивая свои колесики. Вход был

необыкновенно торжественным. Старик держал в одной руке сюртук, в другой — черную ленточку.

— Победа! — воскликнул он. — Мы сейчас откроем его тайну! Мы узнаем все, разберем по косточкам любовные похождения нашего скрытного молодца! Вот тут весь его роман. Я принес портрет!

На ленточке в самом деле висел маленький футляр из черной шагреневой кожи, похожий на медальон.

Старик взял этот футляр и некоторое время, не открывая, смотрел на него с восхищением и гневом голодного бедняка, который видит, как у него под носом проносят великолепный обед, предназначенный не для него.

— Да, это, очевидно, портрет. Меня не проведешь. К таким вещам обыкновенно относятся очень нежно, носят их около сердца. Ведь этакие олухи! Какая-нибудь уродина, а они трепещут, глядя на нее! У нынешних молодых людей преотвратительный вкус.

— Поглядим на портрет, — сказала старая дева.

Жильнорман нажал пружинку, и футляр открылся. В нем не оказалось ничего, кроме старательно сложенной бумажки.

— От той же к тому же! — сказал, разразившись хохотом, Жильнорман. — Я знаю, что это такое, — это любовное письмо.

— Ах! Так прочитаем его! — сказала тетка.

И она надела очки. Они развернули бумажку и прочли несколько написанных на ней строк.

«Моему сыну. Император сделал меня бароном на поле битвы при Ватерлоо. Так как Реставрация не признает моего титула, за который я заплатил кровью, то сын мой примет его и будет носить. Само собою разумеется, что он будет достоин его».

Невозможно передать, что почувствовали при этом отец и дочь. На Их как будто повеяло леденящим дыханием смерти. Они не обменять

ни словом. Только Жильнорман прошептал, как бы говоря сам с собою:

— Это почерк рубаки.

Тетка осмотрела бумагу со всех сторон и положила назад в футляр.

В это время длинный четырехугольный сверточек в голубой бумаге выпал из кармана сюртука. Мадемуазель Жильнорман подняла его и развернула голубую бумажку. Это была сотня визитных карточек Мариуса. Она передала одну из них отцу, и он прочитал: «Барон Мариус Понмерси».

Старик позвонил. Пришла Николетта. Он взял ленточку, футляр и сюртук, бросил все это на пол посреди гостиной и сказал:

— Унесите отсюда этот хлам!

Целый час прошел в глубоком молчании. Старик и его дочь сидели, отвернувшись друг от друга, и каждый из них думал, по всей вероятности, об одном и том же.

Наконец мадемуазель Жильнорман сказала:

— Да, очень мило!

Через несколько минут после этого появился Мариус. Он только что вернулся домой.

Еще не входя в гостиную, он заметил, что дед держит в руке одну из его перчаток. Увидев Мариуса, старик крикнул своим привычным тоном буржуазного, насмешливого превосходства, в котором было что-то подавляющее:

— Каково! Каково! Каково! Так ты теперь уже барон? Поздравляю тебя. Что это значит?

Мариус слегка покраснел и отвечал:

— Это значит, что я сын моего отца.

Жильнорман перестал усмехаться и резко проговорил:

— Твой отец — я.

— Мой отец, — продолжал Мариус сурово, опустив глаза, — был человек скромный, но герой, который со славою служил Республике и Франции, который был велик в самых великих

подвигах, когда-либо совершенных людьми, который жил в продолжение четверти столетия на бивуаке, днем — под картечью и пулями, ночью — в снегу, в грязи, под дождем, который взял два неприятельских знамени, получил двадцать ран, умер забытый, покинутый, виновный лишь в том, что слишком горячо любил двух неблагодарных — свою родину и меня!

Мариус сказал больше, чем мог вынести Жильнорман. При слове «Республика» старик встал или, лучше сказать, вскочил и выпрямился во весь рост. Каждое слово, которое произносил Мариус, действовало на него, как кузнечные мехи на горящий уголь. Темное лицо его сделалось красным, из красного пунцовым, из пунцового багровым.

— Мариус! — воскликнул он. — Ты говоришь ужасные вещи! Я не знаю, каков был твой отец, и не хочу знать! Я ничего не знаю о нем, не знаю, и все! Я знаю только, что между всеми этими людьми не было никогда ни одного порядочного человека! Все они были негодяи,

убийцы, красные колпаки, воры! Все, решительно все! Я не знал среди них ни одного порядочного! Все без исключения! Слышишь, Мариус? Ты такой же барон, как моя туфля! Только одни бандиты служили Робеспьеру! Только разбойники служили Бу-о-на-парте! Изменники, которые предали, предали, предали своего законного короля! Трусы, бежавшие перед пруссаками и англичанами при Ватерлоо! Вот что я знаю! Если ваш любезный родитель принадлежал к их числу — очень жаль, тем хуже — ваш покорный слуга!..

Теперь Мариус в свою очередь запылал, как уголь, под действием кузнечных мехов Жильнормана. Юноша дрожал всем телом и не знал, что делать. Голова его горела. Он чувствовал то же, что почувствовал бы священник, видя, как оскорбляют его святыню, или факир, видя, как оплевывают его божество. Он не мог допустить, чтобы подобные вещи безнаказанно говорили ему в лицо. Но что же сделать? Его отца оскорбляли, топтали ногами в его присутствии, и кто же? Его дед. Как

отомстить за одного, не обидев другого? Он не мог оскорбить деда, но не мог не отомстить и за своего отца. С одной стороны, священная могила, с другой — седые волосы. Несколько мгновений какой-то вихрь кружился у него в голове, и он стоял, ошеломленный, не зная, на что решиться. Но вдруг он поднял глаза, устремил их на деда и крикнул громовым голосом:

— К черту Бурбонов, долой эту жирную свинью, Людовика Восемнадцатого!

Людовик умер четыре года тому назад, но это было безразлично для Мариуса.

Лицо старика из багрового сделалось вдруг белым, как его волосы. Он повернулся к бюсту герцога Беррийского, стоявшему на камине, и с каким-то странным величием низко поклонился ему. Потом он медленно и молча прошелся два раза от камина к окну и от окна к камину поперек всей гостиной; он походил на каменную статую, и паркет трещал у него под ногами. Пройдя два раза по гостиной, он нагнулся к дочери, которая присутствовала при этой ссоре с видом

оторопевшей от испуга старой овцы, и сказал, улыбаясь, почти спокойно:

— Такой барон, как этот господин, и такой буржуа, как я, не могут оставаться под одной кровлей.

Потом он выпрямился бледный, дрожащий, ужасный, гневный, протянул руку к Мариусу и крикнул ему:

— Вон!

Мариус ушел из дома.

На другой день Жильнорман сказал дочери:

— Вы будете каждые полгода посылать этому кровопийце по шестьдесят пистолей. И прошу вас никогда не упоминать его имени!

Так как в душе старика еще кипел громадный запас гнева, который не на кого было излить, то он в продолжение трех месяцев говорил своей дочери «вы».

Мариус, со своей стороны, удалился возмущенный. Одно обстоятельство еще более

усилило его раздражение. Маленькие роковые случайности часто усложняют семейные драмы. Раздражение усиливается, хоть обиды в сущности не увеличились. Николетта, которой Жильнорман велел убрать из гостиной «хлам», спеша поскорее унести его в комнату Мариуса, нечаянно выронила, должно быть, на темной лестнице, ведущей наверх, черный шагреневый медальон, в котором хранилась записка полковника. Ни этой записки, ни медальона не могли найти. Мариус был уверен, что «г-н Жильнорман» — с этого дня он не называл его иначе — бросил в огонь завещание его отца. Он знал наизусть несколько написанных полковником строк, и потому ничто в сущности не было потеряно, но бумага, почерк — эта священная реликвия — были дороги ему. Что с ними сделали?

Мариус ушел, не сказав, куда уходит, и сам не зная этого, с тридцатью франками в кармане, часами и кое-какими пожитками в дорожном мешке. Он взял на бирже кабриолет и отправился наугад в Латинский квартал.

Что будет с Мариусом?

Глава 176

В эту эпоху, на вид такую холодную, уже чувствовался революционный трепет. Веяния, вылетавшие из глубины 1789 и 1792 годов, носились в воздухе. Молодежь — да простят нам это выражение — начинала, линяя, сбрасывать кожу. Перерождение совершалось незаметно, вместе со временем. Стрелка, двигающаяся по циферблату, двигается и в сердцах людей. Каждый делал вперед шаг, который должен был сделать. Роялисты становились либералами, либералы — демократами.

Это был как бы прилив, сдерживаемый тысячью отливов. Особенность отливов состоит в том, что они производят смешение; благодаря этому появились весьма странные сочетания идей. В одно и то же время преклонялись пред Наполеоном и свободой. Мы строго придерживаемся истории. Таковы были миражи того времени. У взглядов есть свои фазы.

Вольтерианскому роялизму — явлению очень странному — был как раз на пару не менее странный бонапартистский либерализм. Другие кружки были серьезнее. Там доискивались первопричин, стремились к справедливости. Там увлекались абсолютным, которое, по самой неподвижности своей, направляет умы ввысь и заставляет их носиться в беспредельном. Ничто так не пробуждает мечты, как догмат, и ничто так не благоприятствует будущему, как мечта. Сегодня — утопия, завтра — плоть и кровь.

Передовые взгляды пользовались потайными ходами. А начало таинственности грозило «существующему порядку», подозрительному и скрытному. Признак в высшей степени революционный. Тайный умысел власти встречается в подкопе с тайным умыслом народа. Назревающие возмущения подают реплику подготовляющимся государственным переворотам.

В то время во Франции еще не было серьезных подпольных организаций, подобных

немецкому тугенбунду или итальянскому карбонаризму, но то тут, то там уже начиналась невидимая работа. Кугурда зарождалась в Эксе, в Париже, в числе других организаций такого рода существовало общество «друзей Абецеды» — азбуки.

Что же такое друзья азбуки? Это было общество, по-видимому, поставившее себе целью образование детей, а на самом деле наставлявшее взрослых. Члены его назывались друзьями «Абецеды». А под «Абеце» подразумевалась не азбука, а l'abaissé {Латинский алфавит начинается с A, B, C — отсюда созвучие «абэссе» (abaissé) — угнетенный, приниженный.}, то есть униженный народ, который хотели поднять. Восстановить права народа было целью этой тайной организации.

Напрасно кто-нибудь стал бы смеяться над этой игрой слов. То, что скрывалось под маской каламбура, зачастую играло немаловажную роль в политике.

Друзья «Абецеды» были немногочисленны. Это тайное общество еще только зарождалось. Мы бы даже назвали его не обществом, а кружком, если бы кружки могли создавать героев. Члены организации собирались в Париже в двух местах: около рынка, в кабачке «Коринф», о котором речь впереди, и около Пантеона, на площади Сен-Мишель, в маленьком кафе, так называемом «Кафе Мюзен», в настоящее время не существующем. Первое из этих мест прилегало к кварталу рабочих, второе — к кварталу студентов.

Тайные собрания общества «Друзей Абецеды» происходили обыкновенно в задней комнате кафе Мюзен.

Эта комната, довольно отдаленная от общей залы и соединявшаяся с ней очень длинным коридором, имела два окна, с выходом по потайной лестнице на улицу Де-Грэ. Здесь кутили, пили, играли, смеялись, громко говорили о разных пустяках, а шепотом кое о чем другом. К стене был прибита старая карта Франции

времен Республики — обстоятельств вполне достаточное, чтобы возбудить подозрение полицейского агента.

Друзьями «Абецеды» были по большей части студенты, находившиеся в дружеском согласии кое с кем из рабочих. Мы назовем имена самых главных из них. Они в некотором отношении принадлежат истории: Анжолрас, Комбферр, Жан Прувер, Фейи, Курфейрак, Багорель, Легль, Жан Грантэр.

Молодые люди были так дружны между собою, что составляли как бы одну семью. Все они, кроме Легля, были южане.

Это был замечательный кружок. Он исчез в невидимой глубине, которая разверзается позади сегодняшнего нашего дня.

В этом месте нашей драмы будет, пожалуй, не лишним бросить луч света на эти юные головы, прежде чем читатель увидит, как они погрузятся во мрак трагического предприятия.

Анжолрас, которого мы назвали первым, — и не без причины, как увидят впоследствии, — был единственный сын богатых родителей.

Это был прелестный юноша, который мог быть грозным. Прекрасный, как ангел, он походил на Антиноя, но на Антиноя сурового. Судя по его задумчивому взгляду, казалось, что он в какой-нибудь предыдущей жизни уже пережил революционный апокалипсис. Он хранил его традицию как очевидец и знал все его мельчайшие подробности. У него была натура первосвященника и воина, не подходящая для юноши. С точки зрения того времени это был воин демократии и жрец идеала, если подняться над современностью.

У него был глубокий взгляд, красноватые веки, полная, легко выражающая презрение нижняя губа и высокий лоб. Высокий лоб на лице — то же, что обширное небо на горизонте. Подобно некоторым, рано прославившимся молодым людям конца прошлого и начала нынешнего столетия, он казался моложе своих

лет и был свеж, как молодая девушка, хотя порой бледность покрывала его щеки. Уже мужчина, он смотрелся мальчиком. Ему было двадцать два года, а на вид казалось семнадцать. Всегда серьезный, он как будто не знал, что на свете есть существо, которое называется женщиной. У него было только одно страстное стремление — к справедливости, один замысел — ниспровергнуть препятствие. На Авентинском холме он был бы Гракхом, в Конвенте — Сен-Жюстом. Он почти не замечал роз, не знал весны, не слышал пения птиц. Обнаженная шея Эвадниеи так же мало взволновала бы его, как и Аристигона, для него, как для Гармодия, цветы были годны лишь для того, чтобы скрывать в них меч. Он был суров к наслаждению. Перед всем, что было не республикой, он целомудренно опускал глаза. Это был человек из мрамора, влюбленный в свободу. Речь его была сурово вдохновенна и звучала, как гимн. Он неожиданно распускал крылья. Горе женщине, которая задумала бы завести с ним интрижку. Если бы какая-нибудь гризетка с площади Камбре или улицы Сен-Жан де-Бове,

увидев это юное лицо, эту фигуру пажа, эти длинные белокурые ресницы, эти голубые глаза, развевающиеся по ветру волосы, розовые щеки, целомудренные губы, великолепные зубы, пленилась этой утренней зарей и решила испробовать на Анжолрасе действие своих чар, его изумленный и строгий взгляд мгновенно показал бы ей бездну и дал бы ей понять разницу между любезным херувимом Бомарше и грозным херувимом Езекииля.

Рядом с Анжолрасом, который воплощал логику революции, стоял Комбферр, воплощавший ее философию. Между логикой и философией революции та разница, что логика может привести к войне, тогда как философия приводит только к миру. Комбферр дополнял и исправлял Анжолраса. Он был не так возвышен, но зато шире. Он хотел, чтобы умы развивались под влиянием великих принципов общих идей. «Да! Революция, но и цивилизация с нею», — говорил он и над отвесной горой открывал обширный голубой небосклон. А потому во всех предположениях Комбферра было что-то

доступное и практичное. Революция с Комбферром во главе была бы не так сурова, как с Анжолрасом. Анжолрас воплощал ее божественное право, Комбферр — право естественное. Первый примыкал к Робеспьеру, второй к Кондорсе. Комбферр жил полнее, чем Анжолрас, и жил, как все. Если бы эти два молодых человека сыграли роль в истории, один из них олицетворил бы собою справедливость, другой — мудрость. Анжолрас был мужественнее, Комбферр — гуманнее. Homo et vir {Человек и муж (лат.).}, — эти два слова как нельзя лучше отражают их характеры. Мягкость Комбферра, так же как и строгость Анжолраса, была следствием его душевной чистоты. Он любил слово «гражданин», но ставил еще выше слово «человек». Он охотно сказал бы: «Hombre» вместе с испанцами. Он читал все, ходил в театры, слушал публичные лекции, изучал по Араго поляризацию света, восторгался лекцией Жоффруа Сент-Илера, объяснившего двойную функцию сонной артерии; знал все, что делается на свете, следил шаг за шагом за наукой, сличал

Сен-Симона с Фурье, изучал иероглифы, разбирал камни и толковал о геологии, рисовал на память шелкопряда, указывал на ошибки в академическом словаре, изучал Пюисегюра и Делеза, воздерживался от категоричных утверждений и отрицаний, включая привидения и чудеса, перелистывал комплекты «Монитора» и много думал. Он находил, что будущее народа находится в руках школьного учителя, и потому его заботили вопросы образования. Он хотел, чтобы общество неутомимо работало над поднятием умственного и нравственного уровня масс, над популяризацией науки и идей и развитием молодежи. Но он в то же время боялся, как бы современная скудость методов, ограниченность литературной точки зрения, довольствующейся лишь двумя или тремя классическими веками, тиранический догматизм официальных педантов, схоластические предрассудки и рутина не превратили в конце концов наши коллежи в садки для искусственного размножения устриц. Он был ученый, турист, любил точность, обладал сведениями по всем

отраслям, усидчиво работал и вместе с тем любил мечтать «до химер», по выражению его друзей. Он верил во все эти химеры: в железные дороги, устранение боли при хирургических операциях, фотографические снимки, электрический телеграф, управление воздушными шарами. Его не пугали крепости, воздвигнутые всюду против рода человеческого суевериями, деспотизмому и предрассудками. Он принадлежал к числу людей, твердо убежденных что наука изменит все. Анжолрас был вождем, Комбферр — вожаком С одним хорошо было биться, за другим — идти. Это не значит, что Комбферр был неспособен к битве. Нет, он не отказался бы бороться с препятствием, но предпочитал другое. Ему хотелось бы при помощи распространения позитивных законов и аксиом постепенно вести человеческий род по предназначенному ему пути. И если бы ему пришлось выбирать между рассветом и пожаром, он выбрал бы рассвет конечно, и пожар может произвести зарю, но почему же не подождать восхода солнца. Вулкан освещает, но свет зари

еще лучше. Комбферр предпочитал белизну прекрасного сверканию великолепного. Сияние, омраченное дымом, прогресс, купленный ценою жестокости, не могли дать полного удовлетворения этой нежной и серьезной душе. Стремительное вторжение народа в истину, новый 1793 год пугал его; однако застой отвращал его еще больше — он чуял в нем гниение и смерть. Он предпочитал пену миазмам, поток — клоаке, Ниагарский водопад — Монфоконскому озеру. Он не хотел ни остановки, ни торопливости. И в то время как его пылкие друзья, рыцарски влюбленные в абсолютное, боготворили великие революционные движения и желали бы вызвать их, Комбферр стоял за прогресс, за надежный прогресс, может быть холодный, но зато чистый, методический, безупречный, слишком спокойный, но непоколебимый. Комбферр готов был молить на коленях, чтобы будущее наступило во всей чистоте и чтобы ничто не нарушало великой незапятнанной эволюции народов. «Нужно, чтобы добро было безупречно», — часто

повторял он. И на самом деле, если величие революции состоит в том, чтобы, видя перед собою ослепительный идеал, стремиться к нему среди молний, с обагренными кровью руками, то красота прогресса заключается в незапятнанной чистоте. Между Вашингтоном, воплощением первого, и Дантоном, олицетворением второго, существует такая же разница, как между ангелом с белоснежными крыльями лебедя и ангелом с орлиными крыльями.

Жан Прувер был еще мягче Комбферра. Он назывался Жеганом по той мимолетной прихоти, которая пристала к могущественному и глубокому движению, вызвавшему столь необходимое изучение Средних веков. Жан Прувер был влюблен, ухаживал за цветами, играл на флейте, писал стихи, любил народ, жалел женщину, плакал над ребенком, одинаково верил в Бога и в будущее и осуждал революцию за то, что по ее вине пала царственная голова — голова Андре Шенье. Голос его, обыкновенно мягкий, иногда становился мужественным. Он читал так много, что стал ученым и ориенталистом. Вместе

с тем он был добр и — вещь, понятная для того, кто знает, как много общего между добротой и величием — предпочитал в поэзии необъятное. Он знал языки: итальянский, латинский, греческий, еврейский, но пользовался ими лишь для того, чтобы читать четырех поэтов: Данте, Ювенала, Эсхила и Исайю. Из французских писателей он ставил Корнеля выше Расина и Агриппу Д'Обинье выше Корнеля. Он любил бродить по полям, заросшим овсом и васильками, облака занимали его столько же, сколько и события. У его ума были, так сказать, две стороны: одна, обращенная к человеку, другая — к Богу; он или исследовал, или созерцал. Целыми днями он изучал социальные науки. Его интересовали вопросы заработной платы, капитала, кредита, брака, религии, свободы мысли, свободы любви, образования, бедности, ассоциации, собственности, производства и распределения; он старался разгадать загадку низших классов общества, застилающую тенью весь человеческий муравейник. А по вечерам он смотрел на звезды, на эти громадные светила.

Прувер, как и Анжолрас, был богат и единственный сын. Он говорил тихо, опустив голову, потупив глаза, краснел из-за всякого вздора, улыбался натянуто, одевался плохо, был неловок и очень застенчив, но вместе с тем смел.

Фейи был рабочий-веерщик. Круглый сирота, он с трудом зарабатывал три франка в день и лелеял одну заветную мечту — освободить весь мир. У него, впрочем, была еще одна забота — самообразование; это он тоже называл освобождением. Он самостоятельно выучился читать и писать: все свои знания он приобрел сам. У Фейи было великодушное сердце и широкий кругозор. Этот сирота усыновил народы. У него не было матери — он заменил ее родиной. Он хотел, чтобы на земле не было ни одного человека, лишенного отечества. С глубокой проницательностью простолюдина он уяснил себе и таил в душе то, что мы называем теперь идеологией национальностей. Он изучил историю специально для того, чтобы иметь основание для негодования. В этом кружке утопистов, занятых главным образом Францией,

он один изображал собою космополитизм. Его занимали Греция, Венгрия, Румыния, Италия. Он кстати и некстати упоминал о них с упорством, вытекающим из чувства справедливости. Турция захватила Грецию и Фессалию, Австрия — Венгрию, — все эти насильственные захваты раздражали его.

Таков был обычный разговор Фейи. Этот бедный рабочий взял под свою опеку справедливость, и она вознаграждала его, придавая ему величие. В самом деле, справедливость вечна. Рано или поздно затопленная страна выплывает и снова показывается на поверхности. Греция вновь становится Грецией, Италия — Италией. Протест справедливости против насилия не умирает. Кража целого народа не знает срока давности. Такие крупные мошенничества не прочны. С целой нации нельзя спороть метку, как с носового платка.

У Курфейрака был отец, г-н де Курфейрак. Одним из превратных понятий буржуазии времен

Реставрации относительно аристократии и дворянства была вера в частичку «де». Эта частичка, как известно, не имеет никакого значения. Но буржуа времен «Минервы» ставили это жалкое «де» так высоко, что считали долгом отказываться от него. Так, де Шавелен хотел, чтобы его звали просто Шавеленом, де Комартен — Комартеном, де Констан, де Ребекк — Бенжаменом Констаном, де Лафайет — Лафайетом. Де Курфейрак, не желая отстать от других, тоже назывался просто Курфейраком.

Относительно Курфейрака-сына нам достаточно было бы сказать: Курфейрак, см. Толомьес.

Курфейрак действительно обладал тем пылом юности, который можно назвать молодостью и свежестью ума. Позднее это проходит, как миловидность котенка, и двуногое существо превращается в буржуа, а четвероногое — в кота.

Такого рода ум переходит у молодежи из поколения в поколение, передается из рук в руки, почти в одном и том же виде. А потому всякий,

услышав Курфейрака в 1828 году, мог подумать, что слышит Толомьеса в 1817-м. Только Курфейрак был честный малый. Несмотря на кажущееся наружное сходство, разница между ним и Толомьесом была, в сущности, очень велика. В Толомьесе сидел прокурор, в Курфейраке — паладин.

Анжолрас был вождь, Комбферр — вожак, Курфейрак — центр притяжения. Другие давали больше света, он — больше тепла. Дело в том, что главными качествами его характера были открытость, приветливость, доброта.

Багорель принимал участие в кровавом возмущении в июне 1822 года по случаю похорон юноши Лаллемана.

Багорель был весельчак, далеко не безупречного поведения, страшный мот, расточительный, но иногда великодушный, болтун, иногда красноречивый, смельчак, иногда доходящий до наглости, и добряк, каких мало. Он носил самых ярких цветов жилеты и придерживался самых красных убеждений, был

буян в широких размерах, то есть любил ссору, больше ссоры — возмущение, а больше возмущения — революцию, был всегда готов разбить стекло, потом повытаскивать камни из мостовой, а затем свергнуть правительство, чтобы посмотреть, что из этого выйдет. Уже одиннадцатый год числился он студентом, интересовался правом только издали, не изучая его. Он взял себе девиз: «не быть адвокатом», а в качестве герба — ночной столик, на котором лежал колпак. Каждый раз как ему случалось проходить мимо школы правоведения, что бывало очень редко, он доверху застегивал редингот — пальто в то время еще не было изобретено — и принимал гигиенические предосторожности. Про портал школы он говорил: «Какой красивый старик!», а про декана Дельвенкура: «Какой монумент!» Багорель пользовался лекциями только как сюжетом для песен, а профессорами — как моделями для карикатур. Он проживал, ничего не делая, довольно порядочный пенсион, что-то около трех тысяч франков. Своим

родителям, крестьянам, ему удалось внушить уважение к их сыну.

— Это крестьяне, а не буржуа, — говорил он про них, — вот почему они умны.

Как человек непостоянный, Багорель посещал разные кафе. У других были привычки, у него — нет. Он любил фланировать. Бродить свойственно человеку, фланировать — парижанину. В сущности, Багорель обладал проницательным умом и был гораздо глубокомысленнее, чем казался с вида.

Он служил как бы связью между «Друзьями Абецеды» и другими, еще бесформенными, кружками, которые должны были возникнуть позднее.

В этом собрании молодых голов была одна лысая.

Маркиз д’Аварэ, которого Людовик XVIII сделал герцогом за то, что тот помог ему сесть в наемный кабриолет в тот день, как он эмигрировал, рассказывал, что в 1814 году, когда

Людовик вернулся во Францию и выходил на берег в Кале, какой-то человек подал ему прошение. «Чего вы просите?» — спросил король. «Почтовое бюро, ваше величество». — «Как ваша фамилия?» — «Легль».

Король нахмурил брови, взглянул на подпись в прошении и прочитал фамилию, написанную не l'Aigle {Орел (фр.).}, а Lesgle. Эта совсем не бонапартистская орфография тронула короля, и он начал улыбаться.

«Ваше величество, — сказал человек, подавший прошение. — Мой предок был псарь, по прозванию Легель. От этого прозвища произошла моя фамилия. По-настоящему меня зовут Легель, в сокращении Lesgle, в искажении L'Aigle».

Король продолжал улыбаться.

Впоследствии он дал Леглю почтовое бюро в Мо, вспомнив о встрече или случайно, — не известно.

Лысый член общества «Друзей Абецеды» был сын этого Легля и подписывался «Легль из Мо». Товарищи называли его для краткости «Боссюэтом».

Боссюэт был неудачник, но неудачник веселый. Особенность его состояла в том, что ему ничто не удавалось. Зато он и смеялся над всем. В двадцать пять лет он был уже лысый. Отец его в конце концов нажил дом и землю. А он, сын, поспешил как можно скорее развязаться с этим имуществом, впутавшись в какую-то сомнительную спекуляцию. И у него не осталось буквально ничего. У него были знания и ум, но ему не везло. Ничто не удавалось ему, все обманывало его, все его начинания рушились. Если он рубил дрова, то непременно ранил себе палец. Если у него была любовница, он скоро открывал, что у нее есть и приятель. Каждую минуту случалась с ним какая-нибудь беда, но он не унывал и был всегда весел. «Я живу под крышей, с которой постоянно валится черепица», — говорил он. Без особого удивления, так как никакая неудача не была для него

непредвиденной, он спокойно принимал удары судьбы и смеялся над ее нападками, как над забавными шутками. Кошелек его был пуст, но зато запас веселости никогда не истощался. Часто сидел он без единого су, но никогда не случалось, чтобы он терял свои веселый смех. Когда беда приходила к нему, он дружески кивал ей, как старой знакомой, хлопал по плечу катастрофу. Он так близко сошелся с невзгодами, что называл их уменьшительным именем. «Здравствуй, невзгодушка», — говорил он.

Постоянные преследования судьбы сделали его изобретательным. Он был необыкновенно находчивым и изворотливым. У него совсем не было денег, а между тем он находил возможным делать когда заблагорассудится «безумные траты». Раз он даже дошел до того, что истратил сто франков на ужин с какой-то девицей и среди оргии вдохновенно произнес достопамятные слова: «Ну-ка, пятилуидоровая девица, стащи с меня сапоги!»

Боссюэт изучал право по способу Багореля и потому очень медленно продвигался к адвокатской профессии. Он редко бывал дома, иногда у него даже совсем не было квартиры. Он жил то у одного товарища, то у другого, чаще всего у Жоли, который был на два года моложе его и изучал медицину.

Несмотря на свою молодость, Жоли представлял собою тип мнимого больного. Занятия медициной послужили ему к тому, что он сам стал больным, а не врачом. Ему было только двадцать три года, а между тем он находил у себя всевозможные болезни и целыми днями рассматривал в зеркало свой язык. Он утверждал, что человека можно намагничивать, как иголку, и ставил свою постель головой к югу, а ногами к северу, чтобы великий магнетический ток земного шара не нарушил его кровообращения. Во время грозы он всегда щупал себе пульс. Но в сущности это был самый веселый из всех членов кружка. Все эти несообразности — молодость и мания, воображаемая болезненность и веселость — отлично уживались вместе, а в

результате получалось преэксцентричное и премилое существо, которое товарищи, щедрые на крылатые согласные, называли Жоллли.

— Ты можешь улететь на четырех л {Ailes — крылья (фр.).}, — говорил ему Жан Прувер.

У Жана была привычка дотрагиваться тростью до кончика носа, что служит признаком проницательного ума.

У всех этих столь непохожих друг на друга молодых людей, к которым нужно в сущности относиться вполне серьезно, была одна религия — прогресс. Все они были настоящими сынами французской революции. Самые легкомысленные из них становились серьезными, говоря о 1789 годе. Отцы их по плоти были или оставались и до сих пор фельянами, роялистами, доктринерами, но это не имело никакого значения.

Образовав общество, они втайне созидали идеал.

Среди всех этих пылких сердец и убежденных умов был один скептик. Как попал он сюда? По контрасту. Этого скептика звали Грантэром, и он обыкновенно подписывался Ребусом Р (большое р).

Грантэр остерегался верить во что бы то ни было. Он принадлежал к числу студентов, научившихся многому во время прохождения курса в Париже. Он знал, что самый вкусный кофе подается в кафе Ламблен, что лучший бильярд находится в кафе Вольтер, самые лучшие галеты и самые добрые девушки в Эрмитаже, на бульваре Мэн; великолепные цыплята у тетушки Саге, чудесная рыба по-флотски — у заставы Кюнет и очень недурное белое вино — у заставы Комба! Словом, он знал все хорошие местечки. Кроме того, он умел танцевать, отлично дрался на палках и был далеко не прочь выпить. Внешне он был страшен, как смертный грех. Ирма Буасси, самая хорошенькая гризетка того времени, была возмущена его безобразием и объявила такой приговор: «Грантэр невозможен!» Но самодовольство Грантэра не знало колебаний. Он

нежно и пристально глядел на всех женщин с таким видом, как будто говорил: «Если бы я только захотел!» — и старался уверить товарищей, что все они от него без ума.

Такие понятия, как «права народа, права человека, французская революция, республика, демократия, человечество, цивилизация, религия, прогресс», не имели почти никакого значения для Грантэра. Он усмехался, слыша их. Скептицизм, эта костоеда ума, не оставила ему ни одной цельной мысли. Ко всему в жизни он относился с иронией. «Только одно достоверно, — утверждал он, — мой полный стакан». Это была его аксиома. Он глумился над самоотвержением, в какой бы партии ни встречал его, и одинаково подсмеивался над Робеспьером-младшим и над Луазеролем. «Они много выиграли тем, что умерли», — говорил он. Гуляка, игрок, кутила, часто пьяный, он, к досаде юных мечтателей, постоянно напевал песню: «Я люблю девушек и хорошее вино» на мотив «Да здравствует Генрих IV».

Впрочем, и этот скептик был в одном отношении фанатиком. Он относился с фанатизмом не к идее, не к догмату, не к искусству, не к науке, а к человеку. Этот человек был Анжолрас. Грантэр восхищался им, любил его и благоговел пред ним. И к кому примкнул этот сомневающийся анархист из всей фаланги абсолютных умов? К самому абсолютному. Чем же покорил его Анжолрас? Идеями? Нет. Своим характером. Подобное явление наблюдается часто. Скептик, льнущий к верующему, — это так же естественно, как закон дополнительных цветов. То, чего недостает нам самим, притягивает нас. Никто так не любит дневного света, как слепой. Карлица боготворит тамбурмажора. У жабы глаза всегда глядят вверх. Для чего? Чтобы смотреть на летающую птицу. Грантэр, которого мучило сомнение, любил смотреть на парящую в Анжолрасе веру. Анжолрас был необходим ему. Эта целомудренная, здоровая, твердая, прямая, суровая, искренняя натура очаровывала его, хоть он и не отдавал себе в этом ясного отчета и даже

не старался объяснить себе причину этого. Он инстинктивно восхищался совершенно противоположным ему по характеру человеком. Его вялые, колеблющиеся, бессвязные, больные идеи искали опору в Анжолрасе. Нравственно слабый, он опирался на его силу и твердость. Только в присутствии Анжолраса Грантэр становился человеком. Впрочем, характер его состоял из двух элементов: насмешливости и сердечности. При всем своем равнодушии он мог любить. Ум его обходился без веры, но сердце не могло обойтись без дружбы. Глубокое противоречие, так как привязанность тоже вера. Такова была его натура. Есть люди, как бы созданные для того, чтобы быть изнанкой, оборотной стороной других. Это Поллуксы, Патроклы, Гефестионы. Они живут лишь в том случае, если могут прислониться к другому. Имена их только продолжение другого имени, и им всегда предшествует союз «и»; они живут не своей жизнью и служат лишь оборотной стороной другого существования. Грантэр

принадлежал к числу таких людей. Он был оборотной стороной Анжолраса.

Можно, пожалуй, сказать, что сродство начинается с самых букв азбуки. В алфавите О и П неразрывны. Вы можете, по желанию, произносить О и П, или Орест и Пилад.

Грантэр, неизменный спутник Анжолраса, принадлежал к этому кружку молодых людей. Только там он жил и чувствовал себя хорошо, а потому следовал за ними всюду. Отуманенный винными парами, он с удовольствием смотрел на их мелькающие перед ним силуэты. Его терпели за его всегда хорошее расположение духа.

Анжолрас, как верующий, презирал этого скептика и, как человек строго воздержанный, этого пьяницу. Он уделял ему лишь немного горделивой жалости. Грантэр был Пилад, которого не хотели признать. Постоянно терпя суровое обращение Анжолраса, грубо отталкиваемый и снова возвращающийся, он говорил про Анжолраса: «Какой прекрасный мрамор!»

Глава 177

В один прекрасный день, имевший, как увидят впоследствии, некоторую связь с рассказанными выше событиями, Легль из Мо стоял, удобно прислонившись к двери кафе Мюзен. Он казался отдыхающей кариатидой и стоял, глубоко задумавшись и смотря на площадь Сен-Мишель. Прислониться к чему-нибудь то же, что лежать стоя, и мечтатели ничего не имеют против такой позы. Легль из Мо думал без особой грусти о маленькой неприятности, случившейся с ним третьего дня в школе правоведения, — неприятности, перевернувшей вверх дном все его планы относительно будущего, впрочем, и без того весьма неопределенные.

Мечты не мешают кабриолету проехать по улице, а мечтателю — обратить на него внимание. Легль из Мо, взгляд которого рассеянно блуждал по площади, заметил, несмотря на задумчивость, жалкий двухколесный кабриолет, двигавшийся вперед шагом и как бы нерешительно. Что нужно здесь этому кабриолету? И почему едет он

шагом? Легль посмотрел внутрь. Там рядом с извозчиком сидел молодой человек, а около этого молодого человека лежал довольно большой дорожный мешок. К нему был пришит кусок картона, на котором все прохожие могли прочитать написанное крупными черными буквами имя: «Мариус Понмерси».

Увидав это имя, Легль переменил положение. Он выпрямился и крикнул молодому человеку:

— Господин Мариус Понмерси!

Кабриолет остановился.

Сидевший в нем молодой человек, тоже, по-видимому, глубоко задумавшийся, поднял глаза.

— В чем дело? — спросил он.

— Вы господин Мариус Понмерси?

— Да, конечно.

— Я искал вас, — продолжал Легль из Мо.

— Меня? — спросил Мариус.

Это был действительно Мариус, ехавший от деда. Он с удивлением смотрел на Легля,

которого видел в первый раз.

— Я не знаю вас.

— Я сам знаю вас не больше, — сказал Легль.

Мариус подумал, что встретил шутника, которому вздумалось устроить мистификацию посреди улицы. Он был совсем не расположен шутить в эту минуту и нахмурил брови.

— Вы не были вчера на лекциях? — невозмутимо продолжал Легль.

— Очень возможно.

— Не только возможно, но и несомненно.

— Вы студент? — спросил Мариус.

— Да, как и вы. Третьего дня я случайно зашел в школу. Знаете, бывают иногда такие странные фантазии. Профессор делал как раз перекличку. Вы, конечно, замечаете, какие забавные бывают они в это время. Если вы пропустите три переклички, вас вычеркивают из списка. И шестьдесят франков все равно что брошены в печку.

Мариус начал слушать внимательнее.

— Перекличку делал Блондо, — продолжал Легль. — Вы знаете Блондо?.. У него очень острый и чуткий нос, и он с наслаждением выслеживает отсутствующих. С какой-то коварной целью он начал с буквы П. Я не слушал, — это не моя буква. Перекличка шла недурно. Никого нельзя было вычеркнуть, — вся вселенная была налицо. Блондо был грустен, а я думал про себя: «Блондо, душа моя, сегодня тебе не придется проделать и самой маленькой экзекуции!» Вдруг Блондо вызывает: «Мариус Понмерси!» Никто не отвечает. Блондо с оживившейся надеждой повторяет громче: «Мариус Понмерси!» и берет перо. Я не какой-нибудь бессердечный, милостивый государь. Я тотчас же сказал себе: «Вот славный малый, которого сейчас вычеркнут. Он неаккуратен, значит, он весельчак и гуляка. Это не какой-нибудь примерный студент, не зубрила, вечно сидящий над книгами, не молокосос-педант, съевший собаку в науках, литературе, теологии и всякой премудрости, не надутый дурак. Это —

достойный уважения лентяй, который фланирует, отправляется за город, водит знакомство с гризетками, ухаживает за красавицами, который в эту самую минуту, может быть, сидит у моей любовницы. Спасем его. Смерть Блондо!» В это мгновение Блондо обмакивает свое перо в чернила, окидывает взглядом аудиторию и повторяет в третий раз: «Мариус Понмерси!» — «Здесь», — отвечаю я. Вот почему вас не вычеркнули…

— Позвольте… — начал Мариус.

— А вычеркнули меня, — докончил Легль из Мо.

— Я не понимаю вас, — сказал Мариус.

— Это очень просто, — снова начал Легль. — Чтобы ответить Блондо, я подошел к кафедре, а чтобы удрать от него, пододвинулся к двери. Профессор очень внимательно оглядел меня и вдруг — он, должно быть, обладает тем «коварным чутьем», о котором говорит Буало, — вдруг перескакивает на букву Л. Это — моя буква. Я из Мо, и меня зовут Легль.

— Легль! — прервал его Мариус. — Какое прекрасное имя.

— Ну-с, Блондо доходит до этого прекрасного имени и кричит: «Легль!» Я отвечаю: «Здесь!» Тогда Блондо взглядывает на меня с кротостью тигра, улыбается и говорит: «Так как вы Понмерси, то не можете быть Леглем». Фраза как будто несколько неучтивая относительно вас, но в сущности пагубная только для меня. Сказав это, Блондо вычеркивает меня из списка.

— Мне очень жаль!.. — воскликнул Мариус.

— Прежде всего, — прервал его Легль, — я желаю набальзамировать Блондо несколькими прочувствованными словами. Предположим, что он умер. Это мало изменило бы его по части худобы, бледности, холодности и окоченелости. И вот я говорю: Erudimini qui judicatus terram {Учитесь, вы, судящие землю! (лат.).}. Здесь лежит Блондо, Блондо Носатый, Блондо Nasica, вол дисциплины, bos disciplinae, страж порядка, ангел переклички, который был прямолинеен,

основателен, пунктуален, суров, безупречен и отвратителен. Господь Бог вычеркнул его, как он сам вычеркнул меня.

— Мне очень неприятно… — снова начал Мариус.

— Да послужит вам это уроком, молодой человек, — сказал Легль. — На будущее время будьте поаккуратнее…

— Ради бога, извините меня!

— И не подвергайте исключению ваших ближних.

— Я, право же, в отчаянии…

Легль расхохотался.

— А я в восторге. Мне предстояло сделаться адвокатом. Это исключение спасает меня. Я отказываюсь от адвокатских триумфов. Мне не придется защищать вдову и нападать на сироту. У меня не будет тоги, не будет и искуса, то есть подготовительных практических занятий. Вот чего я добился благодаря вычеркиванию. И так как я обязан этим вам, господин Понмерси, то

считаю своим долгом сделать вам торжественный благодарственный визит. Где вы живете?

— В этом кабриолете, — отвечал Мариус.

— Это доказывает, что у вас хорошие средства, — спокойно сказал Легль. — Поздравляю вас. Ваша квартира стоит не меньше девяти тысяч франков в год.

В эту минуту из кафе вышел Курфейрак. Мариус грустно улыбнулся.

— Я нанял эту квартиру всего два часа тому назад, — сказал он, — и очень бы желал оставить ее. Но дело в том, что мне некуда деваться.

— Поедемте ко мне, — сказал Курфейрак.

— Первенство по-настоящему принадлежит мне, — заметил Легль, — но я не могу воспользоваться им: у меня нет квартиры.

— Молчи, Боссюэт, — сказал Курфейрак.

— Боссюэт? — повторил Мариус. — Но ведь, кажется, ваша фамилия Легль?

— Из Мо, — добавил Легль. — Метафорически Боссюэт.

Курфейрак сел в кабриолет.

— Поезжай в отель де-ла-Порт-Сен-Жак, — сказал он извозчику.

И в тот же вечер Мариус устроился в отеле де-ла-Порт-Сен-Жак и поселился в комнате, бок о бок с Курфейраком.

Глава 178

Через несколько дней Мариус уже подружился с Курфейраком. Молодость — пора быстрых сближений и быстрого зарубцевания ран. В обществе Курфейрака Мариус дышал свободно, а это было так ново для него. Курфейрак не задавал ему никаких вопросов: это даже не пришло ему в голову. В эти годы все можно узнать по лицу. Слова излишни. Лица говорят сами за себя. Достаточно взглянуть друг на друга, чтобы понять, с кем имеешь дело.

Однако один раз утром Курфейрак вдруг спросил Мариуса:

— А кстати, придерживаетесь вы каких-нибудь политических убеждений?

— Конечно, — ответил несколько обиженный таким вопросом Мариус.

— Каких же?

— Я демократ-бонапартист.

— Серовато-мышиный оттенок, — заметил Курфейрак.

На другой день он ввел Мариуса в кафе Мюзен и с улыбкой шепнул ему на ухо:

— Я должен помочь вам вступить в революцию.

Затем он провел его в заднюю комнату «Друзей Абецеды» и познакомил с товарищами, прибавив вполголоса: «Ученик». Мариус не понял, что он хотел сказать этим. Мариус попал в осиное гнездо умов. Впрочем, несмотря на свою

молчаливость и серьезность, он обладал такими же крыльями и таким же жалом, как они.

До сих пор он вел одинокую жизнь и был склонен к монологам и разговорам про себя как по привычке, так и по натуре, а потому несколько смутился, очутившись среди такого множества молодых людей. Они и привлекали и пугали его. От бурных порывов этих свободных, постоянно работающих и исследующих умов мысли кружились у него в голове. Иногда в смятении они заходили так далеко, что ему трудно было собрать их. Он слушал, как говорили о философии, литературе, искусстве, истории, религии и высказывали при этом самые неожиданные мысли. Перед ним мелькали какие-то странные виды — виды без перспективы, казавшиеся ему вследствие этого хаосом. Отрекшись от воззрений деда и приняв воззрения отца, Мариус считал свои убеждения вполне установившимися; теперь, не решаясь еще сознаться себе в этом, он с беспокойством начал подозревать, что ошибся. Угол его зрения снова стал перемещаться. Какое-то колебание

приводило в движение его умственный кругозор. Странная внутренняя перестановка. Он почти страдал от нее.

Для этих молодых людей не было, казалось, ничего «священного». Обо всем слышал Мариус весьма странные суждения, смущавшие его еще робкий ум. Попадалась, например, театральная афиша, в заголовке которой стояла какая-нибудь трагедия старинного, так называемого классического репертуара.

— Долой трагедию, дорогую сердцам буржуа! — кричал Багорель.

— Ты не прав, Багорель, — возражал Комбферр. — Буржуазия любит трагедию, и в этом отношении нужно оставить буржуазию в покое. Старинная трагедия имеет право на существование. Я не согласен с теми, которые во имя Эсхила оспаривают у нее это право. В самой природе нет недостатка в пародиях. Клюв и вместе с тем не клюв, крылья и в то же время не крылья, плавники не плавники, лапы не лапы, жалобный крик, вызывающий смех, — вот утка.

А раз такие домашние птицы существуют наряду с настоящими, я не вижу причины, почему бы и классической трагедии не существовать наряду с античной.

Или же, например, происходил такой разговор, когда Мариус случайно проходил по улице Жан-Жака Руссо, между Анжолрасом, с одной стороны, и Курфейраком — с другой.

— Обратите внимание, — сказал Курфейрак, беря его за руку, — это улица Платриер, переименованная в настоящее время в улицу Жан-Жака Руссо, потому что лет шестьдесят тому назад здесь жила странная пара. Это были Жан-Жак и Тереза. Время от времени тут рождались маленькие существа. Тереза производила их на свет, а Жан-Жак отправлял их в воспитательный дом.

— Молчите! — резко остановил его Анжолрас. — Я преклоняюсь пред этим человеком. Он отрекся от своих детей, — пусть так, но зато он усыновил народ.

Ни один из этих молодых людей не произносил слова «император». Только один Жан Прувер иногда говорил «Наполеон»; все остальные называли его Бонапартом, а Анжолрас даже произносил «Буонапарт».

Мариус испытывал какое-то смутное удивление, то самое, которое является initium sapientiae {Началом знания (лат.).}.

Глава 179

Один разговор между этими молодыми людьми, при котором Мариус присутствовал и в который изредка вмешивался, произвел на него огромное впечатление.

Дело происходило в дальней комнате кафе Мюзен. В этот вечер собрались почти все друзья «Абецеды». Говорили о том о сем очень шумно, но без увлечения. За исключением Анжолраса и Мариуса, которые молчали, каждый болтал, что приходило в голову. Такая мирная, беспорядочная болтовня бывает во время товарищеской беседы.

Это был не только разговор, но и что-то вроде игры. Перебрасывались словами и подхватывали их на лету. Во всех четырех углах разглагольствовали наперебой.

Ни одна женщина не допускалась в эту комнату, кроме Луизон, посудомойки кафе, которая время от времени проходила через нее, направляясь из буфета в «лабораторию».

Грантэр, совсем пьяный, оглашал криком угол, в котором сидел; он во все горло то философствовал, то молол всякую чепуху:

— Я жажду! Смертные, я видел во сне, что с бочкой Гейдельберга приключился удар, что ей приставили дюжину пиявок, и я сам был одной из них. Я хочу пить. Я хочу забыться от жизни. Жизнь — гнусная выдумка. Она продолжается недолго, а не стоит положительно ничего. Жизнь — декорация. Счастье — старая рама, выкрашенная с одной стороны. Экклезиаст говорит: «Суета сует!» Я вполне согласен со старикашкой Соломоном, которого, кстати сказать, и не было на свете. Нуль, не желая

показываться совсем голым, рядится в суетность. О суета. Прикрашивание всего громкими словами. Кухня становится лабораторией, плясун — профессором, скоморох — гимнастом, кулачный боец — боксером, аптекарь — химиком, парикмахер — артистом, растиральщик извести — архитектором, жокей — спортсменом, и даже мокрица стала называться каким-то мудреным латинским именем. У тщеславия есть свое лицо и изнанка. Лицо тупоумно — это негр со своими побрякушками. Изнанка глупа — это философ в своем рубище. Я плачу над одним и смеюсь над другим. То, что называется почестями и высоким положением, и даже самая честь и величие — не что иное, как сплав. Цезари делают себе игрушку из человеческого тщеславия. Калигула сделал консулом лошадь. Карл Второй возвел в рыцари филейный ростбиф. Вот и не угодно ли порисоваться между консулом Лошадью и баронетом Ростбифом! Да и действительная ценность людей заслуживает не большего уважения! Прислушайтесь к панегирику, какой сосед расточает соседу. Белое

всегда жестоко к белому. Ах, как бы отделала голубку лилия, если бы она могла говорить! Ханжа, расписывающая другую ханжу, ядовитее всякой змеи. Очень жаль, что я неуч, не будь этого, я привел бы вам целую кучу примеров. Но я ничего не знаю. Ум у меня всегда был. Когда я учился у Гро, то, вместо того чтобы пачкать бумагу, крал яблоки. Вот каков я. Но и вы, все остальные, не лучше меня. Наплевать мне на ваши качества, достоинства, совершенства. Каждое достоинство переходит в недостаток. Бережливость граничит со скупостью, щедрость — с расточительностью, храбрость идет рядом с хвастовством, благочестие — с ханжеством. В добродетели столько же дыр, как и в плаще Диогена. Кем восхищаетесь вы — убитым или убийцей? Цезарем или Брутом? Обыкновенно становятся на сторону убийцы. Да здравствует Брут! Он убил. Вот вам и добродетель. Добродетель — пусть так, но вместе с тем и глупость. И у этих великих людей есть свои пятна. Брут, убивший Цезаря, был влюблен в статую мальчика, работы греческого скульптора

Странгилиона. Этот скульптор изваял также статую амазонки Эвкнемозы, которую Нерон возил с собою в путешествиях. Странгилион оставил только эти две статуи, примирившие Брута с Нероном. Брут был влюблен в одну из них, Нерон — в другую. Вся история не что иное, как скучное переливание из пустого в порожнее. Один век бесцеремонно крадет у другого. Битва при Маренго — сколок с битвы при Пидне; Толбиак Хлодвига и Аустерлиц Наполеона похожи, как две капли крови. Я не придаю никакой цены победам. Что может быть глупее их! Настоящая слава не в том, чтобы побеждать, а в том, чтобы убеждать. Постарайтесь же наконец доказать хоть что-нибудь! А вы довольствуетесь лишь успехом — какая мелочность! И победой — какое малодушие! Увы, тщеславие и низость завладели всем! Все подчиняется успеху, даже грамматика. Si volet usus {Того желает обычай (лат.).}, — говорит Гораций. А потому я презираю человеческий род. Не попробовать ли нам перейти от общего к частному? Может быть, вы хотите, чтобы я начал восхищаться народами?

Какую же страну мы вымрем? Грецию, что ли? Афиняне, эти парижане древности, убили Фокиона — не так же ли, как Колиньи, — и сильно льстили тиранам. В продолжение пятнадцати лет самым важным лицом в Греции был грамматик Филет, такой маленький и тщедушный, что принужден был заливать свинцом подошвы своей обуви, чтобы его не унесло ветром. На главной площади Коринфа стояла статуя, изваянная Силанионом и внесенная в каталог Плинием. Эта статуя изображала Эпистата. А чем прославился Эпистат? Он изобрел croc-en-jambe {Подножка, недозволенный прием в борьбе (фр.).}. Вот вкратце вся Греция и ее слава. Пойдем дальше. Преклоняться мне перед Англией или Францией? Пред Францией — но почему же? Из-за Парижа? Я уже сказал вам свое мнение об Афинах. А почему Англией? Из-за Лондона? Я ненавижу Карфаген. Кроме того, Лондон — столица роскоши, в то же время столица нищеты. В одном только Чаринг-Кроссе ежегодно умирает с голода сто человек. Вот он Альбион. Прибавлю. Кстати,

что видел раз англичанку, которая танцевала в венке из роз и в синих очках. Но если я не восхищаюсь Джоном Булем, то, может быть, приду в восторг от брата Джонатана? Нет, мне не по вкусу этот брат-рабовладелец. Отнимите у Англии «время — деньги». Что останется от Англии? Отбросьте «хлопок — король». Что останется от Америки? Германия — патока, Италия — желчь. Или прикажете мне приходить в восторг от России? Положим, Вольтер восхищался ею, но он восхищался и Китаем. Одно и то же явление у всех цивилизованных народов служит предметом удивления для мыслителя. Я говорю про войну. А война, война цивилизованная, заключает в себе все формы разбоя, начиная с грабежа организованных шаек и кончая разбоем индейцев-команчей в горных ущельях. «Ну что же? — пожалуй, скажете вы. — Европа все-таки лучше Азии». Согласен, что Азия — фарс. Однако я не признаю за вами права смеяться по поводу великого ламы, в то время как вы сами благоговеете, невзирая на тонкость вашего вкуса и стремление быть на уровне эпохи,

перед мощами и реликвиями только потому, что они принадлежат высочайшим особам, начиная от грязной сорочки королевы Изабеллы и кончая просиженным стулом французского наследного принца. Все это вздор, господа смертные! В Брюсселе пьют больше всего пива, в Стокгольме — водки, в Мадриде — шоколада, в Амстердаме — джина, в Лондоне — вина, в Константинополе — кофе, в Париже — абсента. Вот вам и все полезные сведения. В общем, Париж все-таки одерживает верх. В Париже даже тряпичники сибаритствуют. Диогену было бы так же приятно быть тряпичником на площади Мабер, как и философом в Пирее. Нужно еще добавить, что кабачки тряпичников называются «bibines». Самые известные из них «Кастрюля» и «Бойня». Итак, о кабаки, кабачки, таверны, портерные, bibines тряпичников, караван-сараи калифов, объявляю вам, что я сибарит, что я обедаю у Ришара по сорока су с рыла, что мне нужны персидские ковры для нагой Клеопатры! Где Клеопатра? А, это ты, Луизон? Здравствуй! Здравствуй!..

Так разглагольствовал в своем уголке, в задней комнате кафе Мюзен, пьяный Грантэр, задев по дороге судомойку. Боссюэт, протянув к нему руку, хотел заставить его замолчать, но Грантэр не унялся.

— Долой лапы, орел из Мо! — крикнул он. — На меня не подействует твой жест Гиппократа, отвергающего приношения Артаксеркса. Избавляю тебя от труда укрощать меня. К тому же мне грустно. Что могу я сказать вам? Человек плох, человек безобразен. Да, Бог промахнулся, создав этакую сволочь. Бабочка удалась, человек не удался. Толпа — сборище всяких уродств. Кто ни попадись — все негодяи, а femme {Женщина (фр.).} рифмуется с infâme {Бесчестная (фр.).}. Да, у меня сплин, осложненный меланхолией и ипохондрией, а потому я злюсь, бешусь, зеваю, скучаю, и потому все мне надоело и опротивело. К черту всех!

— Замолчи же наконец, прописное Р! {Игра слов: «grand R» — «прописное Р», звучит как фамилия Грантэр.} — сказал Боссюэт, который

обсуждал с кем-то в сторонке трудный юридический вопрос и запутался среди длинной фразы на судейском жаргоне. Вот выдержка из нее:

«…и я, хоть юрист еще неопытный и, так сказать, прокурор-любитель, поддерживаю нижеследующий тезис: согласно обычному праву Нормандии ежегодно в Михайлов день подати уплачивались сеньору всеми и каждым как с свободных от залога, так и с находящихся под запрещением или отданных в долгосрочную аренду земель, а равно с поместий, спорных и свободных от всяких повинностей или же заложенных и принятых в залог…»

Эхо, грустная нимфа… —

затянул Грантэр.

Около него стоял столик, за которым было очень тихо. Лист бумаги, чернильница и перо между двумя рюмками указывали на то, что здесь сочиняется водевиль. Это важное дело обсуждалось вполголоса, и две трудящиеся головы чуть не касались одна другой.

— Начнем с имен. Раз придуманы имена, найдется и сюжет.

— Верно. Диктуй. Я буду писать.

— Господин Доримон.

— Рантье?

— Конечно. Его дочь Целестина.

— …тина. Дальше?

— Полковник Севваль.

— Ну, это слишком избито. Я лучше напишу Вальсен.

Рядом с водевилистами сидела еще пара, которая тоже, пользуясь шумом, говорила тихо. Здесь обсуждалась дуэль. Тридцатилетний старик поучал семнадцатилетнего юношу и описывал, с каким противником ему придется иметь дело.

— Черт возьми! Вы должны остерегаться. Он великолепно дерется на шпагах. У него чистая игра. Он ловко нападает, не пропустит ни одного финта, обладает твердостью руки, пылом,

задором, верным выпадом и математической защитой, черт побери! И к тому же он левша.

В противоположном углу от того, в котором сидел Грантэр, Жоли и Багорель играли в домино и толковали о любви.

— Какой ты счастливчик! — говорил Жоли. — Твоя возлюбленная всегда смеется.

— И напрасно. Возлюбленной смеяться не полагается. Это подзадоривает изменить ей. Когда видишь ее веселой, не чувствуешь угрызений совести. Другое дело, если она грустна. Тогда как-то совестно обмануть ее.

— Какой ты неблагородный! Так приятно, когда женщина смеется! И вы никогда не ссоритесь!

— Благодаря условию, которое мы заключили. Вступив в священный союз, мы определили друг другу границы и никогда не переступаем их. Вот почему у нас не нарушается мир.

— Во время мира еще больше уясняешь себе счастье,

— А ты, Жоли? В каком положении твоя ссора с мамзель?.. Ты знаешь, о ком я говорю.

— Она дуется на меня с каким-то жестоким упорством.

— А между тем ты, как влюбленный, мог бы растрогать ее своей худобой.

— Увы!

— На твоем месте я разошелся бы с нею.

— Это легко сказать.

— И сделать. Как ее зовут — кажется, Музикетта?

— Да. Ах, Багорель, это такая прелестная девушка, развитая и всегда мило одетая, с маленькими ручками и ножками, беленькая, пухленькая, с глазами волшебницы. Я без ума от нее.

— В таком случае старайся понравиться ей, будь поэлегантнее, займись костюмом. Купи-ка у

Штауба панталоны из английского сукна. Средство недурное и может помочь тебе.

— А как цена? — крикнул Грантэр.

В третьем углу затеялся горячий спор о поэзии. Языческая мифология сцепилась с мифологией христианской. Дело шло об Олимпе, который в силу своего романтизма привлек на свою сторону Жана Прувера, горячо защищавшего его.

Жан Прувер был застенчив только в спокойном расположении духа. Придя в возбужденное состояние, он вспыхивал, как порох, что-то шаловливое примешивалось к его энтузиазму, и он становился в одно и то же время весел и лиричен.

— Не будем оскорблять богов, — убеждал он. — Может быть, боги еще существуют. Юпитер, по-моему, совсем не похож на мертвого. Вы утверждаете, что боги — мечта. Но даже и теперь, когда эти мечты развеялись, природа хранит в себе следы великих языческих мифов. Какая-нибудь гора, например, хоть бы Виньемаль,

похожая в профиль на крепость, похожа вместе с тем и на головной убор Кибелы. Никто не докажет мне, что Пан не приходит по ночам играть на душистых стволах ив, затыкая пальцами поочередно то одну, то другую дырочку. И я всегда был убежден, что нимфа Ио и есть причина возникновения водопада Писсеваш {Писсеваш — мочащаяся корова.}.

В последнем углу рассуждали о политике. Бранили конституционную хартию Людовика XVIII. Комбферр вяло защищал ее, Курфейрак энергично пробивал в ней брешь. На столе лежал злополучный экземпляр знаменитой хартии Туке. Курфейрак схватил ее и потрясал ею, подкрепляя свои доказательства шелестом бумаги.

— После смерти Франциска Первого, — говорил он, — государственный долг Франции равнялся ежегодной ренте в тридцать тысяч ливров; после смерти Людовика Четырнадцатого он достиг двух миллиардов шестисот миллионов, считая по 28 ливров на марку, что, по словам Демаре, равнялось бы в 1760 году четырем

миллиардам пятистам миллионам, а в наше время двенадцати миллиардам. Конституционные хартии, не в гнев будет сказано Комбферру, вредны для цивилизации. Смягчать переходы, ослаблять удар, заставлять народ переходить незаметно от монархии к демократии при помощи конституционных фикций, — все это никуда не годится. Нет, нет! Не следует просвещать народ ложным светом. Принципы обесцвечиваются и бледнеют в вашем конституционном подвале. Не нужно послаблений. Не нужно компромиссов. Я отказываюсь наотрез от вашей хартии. Хартия — это маска, под ней ложь. Народ, принимающий хартию, отрекается от своих прав. Только взятое во всем своем объеме право может считаться правом. Нет, не нужно никаких хартий!

Это происходило зимой; два полена трещали в камине. Соблазн был велик, и Курфейрак не устоял против него. Он сжал в кулаке несчастную хартию Туке и бросил ее в огонь. Бумага запылала. Комбферр смотрел с философским равнодушием, как горело произведение

Людовика XVIII, и ограничился лишь тем, что сказал:

— Хартия, превращенная в пламя.

И язвительные насмешки, остроты, шутки, французская живость, английский юмор, дельные и неубедительные доводы — все эти ракеты шумного разговора, поднявшись сразу и перекрещиваясь во всех концах залы, образовали над головами что-то вроде веселой бомбардировки.

Глава 180

Столкновение юных умов замечательно тем, что никогда нельзя предвидеть искру или угадать молнию. Что появится сию минуту? Неизвестно. Иногда умиление заканчивается взрывом смеха; иногда шутка влечет за собою серьезное. Настроение зависит от первого попавшегося слова, каких-нибудь пустяков достаточно, чтобы открыть путь неожиданному. Все подчиняется прихоти каждого. Подобные разговоры резко

переходят с предмета на предмет, и перспектива внезапно меняется.

Случайность руководит этими беседами.

Серьезная мысль, странно выделившаяся из пустой болтовни, вдруг прорезала шумный беспорядочный спор Грантэра, Багореля, Прувера, Боссюэта, Комбферра и Курфейрака.

Как возникает иногда фраза среди разговора? Почему она как бы подчеркивается в сознании слышавших ее! Никто не решит этого вопроса. Посреди страшного шума Боссюэт вдруг закончил обращенное к Комбферру возражение знаменательным числом:

— Восемнадцатое июня тысяча восемьсот пятнадцатого года: Ватерлоо.

Услышав слово «Ватерлоо», Мариус, облокотившийся на стол, на котором стоял стакан воды, принял руку от подбородка и стал внимательно следить за присутствующими.

— Черт возьми! — воскликнул Курфейрак. — Как это странно! Восемнадцать — число роковое

для Бонапарта. Поставьте Людовика впереди, а Брюмер позади, и перед вами вся судьба человека, с той замечательной особенностью, что конец идет по пятам за началом.

Анжолрас, до сих пор не сказавший ни слова, нарушил молчание и заметил, обращаясь к Курфейраку:

— Ты хочешь сказать искупление — за преступлением.

«Преступление!» Этого уж не в силах был вынести Мариус, который и без того был сильно взволнован неожиданным упоминанием о Ватерлоо.

Он встал, не спеша подошел к висящей на стене карте Франции и, положив палец на нарисованный внизу островок, сказал:

— Это Корсика, маленький островок, сделавший Францию такой великой!

Казалось, вдруг пронесся порыв ледяного ветра. Все разговоры смолкли. Все чувствовали, что сейчас начнется что-то.

Багорель, возражая Боссюэту, только что собирался принять свою любимую позу, которой особенно дорожил. Он отказался от твоего намерения и стал слушать.

Анжолрас, голубые глаза которого были устремлены в пространство и, казалось, не видали никого, отвечал, не взглянув на Мариуса:

— Франция не нуждается ни в какой Корсике, чтобы быть великой. Франция велика, потому что она Франция. Quia nominar leo {Ибо зовусь львом (лат.).}.

Мариус не чувствовал ни малейшего желания отступать. Он обернулся к Анжолрасу, и голос его загремел и задрожал от глубокого охватившего его волнения.

— Сохрани меня бог умалять величие Франции. Но соединять с ней Наполеона не значит умалять ее. Поговорим откровенно. Я еще новичок среди вас, но должен сознаться, что вы удивляете меня. До чего мы дошли? Кто мы? Кто вы и кто я? Объяснимся насчет императора. Вы называете его Буонапартом, упирая на у, как

роялисты. Знайте же, что мой дед превзошел вас в этом отношении: он говорит «Буонапарте». Я считал вас молодыми людьми. На что же идет ваш энтузиазм?.. Что вы с ним делаете?.. Перед кем преклоняетесь, если не преклоняетесь перед императором? И чего же вам нужно больше? Если вы не признаете этого великого человека, то каких же великих людей вам нужно? У него было все. Он был совершенством. Он обладал в высшей степени всеми человеческими способностями. Он составлял своды законов, как Юстиниан, диктовал, как Цезарь, в его разговоре слышались громы Тацита и сверкали искры блестящего красноречия Паскаля. Он творил историю и писал ее, его бюллетени — та же Илиада, он оставлял за собою на Востоке слова, великие, как пирамиды, в Тильзите он учил величию императоров, в Академии наук возражал Лапласу, в Государственном совете не уступал Мерлину. Он одушевлял все, был законоведом с юристами, астрономом с астрономами. Подобно Кромвелю, задувавшему одну свечу, если ему подавали две, он сам ходил в Тампль за кистями

для занавесок и торговался, покупая их. Он видел все, он знал все, но это не мешало ему добродушно улыбаться у колыбели своего ребенка. И вдруг испуганная Европа начинала прислушиваться: армии выступали в поход, с громом катились артиллерийские парки, через реки протягивались плавучие мосты, тучи конницы неслись, как вихрь, раздавались крики, звуки труб, всюду колебались троны, изменялись границы государств и слышался звук вынимаемого из ножен сверхчеловеческого меча. А затем он сам появлялся на горизонте с пылающим мечом в руке и пламенем в очах и раскрывал среди громов свои два крыла — великую армию и старую гвардию. Это был грозный гений войны!

Все молчали, Анжолрас стоял, опустив голову. Молчание всегда имеет вид как бы согласия или невозможности возражать. Мариус, почти не переводя духа, продолжал еще с большим одушевлением:

— Будем справедливы, друзья. Быть империей такого императора — какая блестящая судьба для народа, если этот народ — Франция, прибавляющая свой гений к гению императора! Появляться и царить, идти и побеждать, останавливаться на привалы во всех столицах, делать своих гренадеров королями, предписывать падение династий, преобразовывать Европу, давая чувствовать, что у вас в руках меч божий, следовать за человеком, совмещающим в себе Ганнибала, Цезаря и Карла Великого, быть подданными императора, дающего вам возможность постоянно одерживать блестящие победы, иметь будильником пушку Инвалидов, бросать в сияющие бездны вечности чудные слова — Маренго, Арколе, Аустерлиц, Иена, Ваграм! Заставлять каждую минуту загораться на зените веков созвездие побед, делать Французскую империю подобием империи Римской, быть великой нацией и порождать Великую армию, отправлять по всей земле свои легионы, разлетающиеся, как орлы с высокой горы, побеждать, владычествовать, громить, быть

в Европе народом, как бы поглощенным славой, оглашать историю трубными звуками титанов, покорять мир дважды — силою оружия и обаянием — какое величие! Что может быть выше этого?

— Быть свободным, — сказал Комбферр.

Мариус в свою очередь опустил голову. Эти простые, холодные слова пронизали, как стальной клинок, его эпические излияния, и он почувствовал, как они замирают в нем.

Когда он поднял глаза, Комбферра уже не было в комнате. Должно быть, удовлетворившись своим возражением, он ушел, и все, кроме Анжолраса, последовали за ним. Зала опустела. Анжолрас, оставшийся наедине с Мариусом, серьезно глядел на него. Между тем Мариус, немножко собравшись с мыслями, не хотел признать себя побежденным. В нем еще кипело волнение, которое, по всей вероятности, излилось бы в длинных силлогизмах против Анжолраса, если бы ему не помешали. Кто-то спускался по лестнице и пел. Это был голос Комбферра:

Если бы Цезарь мне дал

И славу и войну,

И мне пришлось бы покинуть

Свою дорогую мать,

Я сказал бы великому Цезарю:

«Возьми свой скипетр и меч,

Я больше люблю свою мать, о ге!

Я больше люблю свою мать!»

Нежное и в то же время суровое выражение, с каким пел эту песенку Комбферр, придавало ей какое-то странное величие. Мариус задумчиво поднял глаза вверх и машинально повторил:

— Свою мать!

Рука Анжолраса легла ему на плечо.

— Гражданин, — сказал он, — моя мать — это республика.

Глава 181

Этот вечер произвел на Мариуса потрясающее впечатление и оставил в его душе тяжелое ощущение. Он испытал то, что, может быть, испытывает земля, когда ее прорезают железом, чтобы бросить семя. Она чувствует только боль от раны, а трепетание зародыша и радость от образования плода приходят уже позднее.

Мариус был в самом мрачном настроении. Он только что нашел веру. Неужели уж нужно отречься от нее? Он убеждал себя, что этого никогда не будет, говорил себе, что не станет сомневаться против воли. Стоять на распутье между двумя религиями, из которых одной еще не оставил, а в другую еще не веришь, — невыносимо тяжелое состояние. Такие сумерки могут нравиться только летучим мышам. Но Мариус обладал хорошим зрением, и ему нужен был дневной свет. Полумрак сомнения действовал на него угнетающим образом. Как ни хотелось ему оставаться там, где он был, и не трогаться с места, он, подчиняясь непобедимому

влиянию, подвигался, исследовал, размышлял, шел вперед. Куда это приведет его? Сделав столько шагов, приближавших его к отцу, он теперь боялся снова отдалиться от него. Его мучительное состояние становилось еще тяжелее от размышления. Он не был согласен ни с дедом, ни с друзьями; один считал его слишком дерзновенным, другие — слишком отсталым. Он чувствовал себя одиноким вдвойне — его отвергали и молодость и старость. И он перестал ходить в кафе Мюзен.

Тревога, овладевшая его совестью, мешала ему думать о некоторых серьезных сторонах существования. Но от действительности не уйдешь: она сейчас же напомнит о себе.

Раз утром хозяин отеля вошел в комнату Мариуса и сказал:

— Господин Курфейрак поручился за вас. Я желал бы получить деньги.

— Попросите Курфейрака зайти ко мне, — сказал Мариус, — мне нужно поговорить с ним.

Курфейрак пришел, а хозяин удалился. Тогда Мариус рассказал Курфейраку, — раньше это не пришло ему в голову, — что он одинок на свете и что у него все равно как будто бы нет родных.

— Что же с вами будет? — спросил Курфейрак.

— Не знаю.

— Что вы намерены делать?

— Тоже не знаю.

— Есть у вас деньги?

— Пятнадцать франков.

— Хотите занять у меня?

— Нет, ни за что.

— Есть у вас платье?

— Вот оно.

— А вещи?

— У меня есть часы.

— Серебряные?

— Нет, золотые. Вот они.

— Я знаю торговца платьем, который купит ваш редингот и пару панталон.

— Отлично.

— В таком случае у вас останутся только одни панталоны, сюртук, жилет и шляпа.

— И сапоги.

— Неужели? Значит, вы не будете ходить босиком? Какая роскошь!

— Этой роскоши для меня вполне достаточно.

— У меня есть знакомый часовщик, который купит у вас часы.

— Прекрасно.

— Нет, не прекрасно. Что же вы будете делать потом?

— Все, что придется. По крайней мере все, что считаю честным.

— Знаете вы английский язык?

— Нет.

— А немецкий?

— Тоже не знаю.

— Тем хуже.

— Почему?

— Потому что один мой приятель, книготорговец, задумал издать что-то вроде энциклопедии. Вы могли бы переводить для него статьи с английского или немецкого. Плата не велика, но на нее все-таки можно жить.

— Я выучусь по-английски и по-немецки.

— А до тех пор?

— До тех пор буду жить тем, что дадут за платье и часы.

Позвали торговца платьем. Он купил пожитки Мариуса за двадцать франков. Часовщик дал сорок пять франков за часы.

— Ну что же, это недурно, — сказал Мариус, вернувшись в отель с Курфейраком. — У меня

теперь целых восемьдесят франков с моими пятнадцатью.

— А здешний счет? — напомнил Курфейрак.

— Ах, я и забыл про него, — сказал Мариус.

Хозяин прислал счет, по которому требовалась немедленная уплата. Оказалось, что нужно заплатить семьдесят франков.

— Итак, у меня останется всего десять франков, — сказал Мариус

— Черт возьми! — воскликнул Курфейрак. — Значит, вам придется жить на пять франков, пока вы будете учиться английскому языку, и на пять франков, пока будете учиться немецкому. Чтобы добиться этого, нужно или необычайно быстро изучить язык, или необыкновенно медленно тратить монету в сто су.

Между тем тетушка Жильнорман, женщина в сущности добрая, особенно в тяжелое время, разузнала наконец, где живет Мариус. Раз утром, вернувшись из школы правоведения, он нашел у себя письмо тетки и запечатанную шкатулку, в

которой лежали шестьдесят пистолей, то есть шестьсот франков золотом.

Мариус отослал деньги обратно с приложением почтительного письма к тетке, в котором объявлял, что у него есть средства к жизни, вполне достаточные для удовлетворения всех его потребностей. В это время у него оставалось только три франка. Тетка не сказала деду об отказе Мариуса, чтобы еще больше не раздражить его. К тому же ведь он запретил ей упоминать имя «этого кровопийцы». А Мариус, не желая входить в долги, распростился с отелем де-ла-Порт-Сен-Жак.

Глава 182

Жизнь стала суровой для Мариуса. Проедать платье и часы еще ничего не значило; ему пришлось, кроме того, терпеть и холод и голод. Как ужасны эти дни без хлеба, ночи без огня, вечера без свечи, очаг без огня, недели без работы, будущее без надежд, протертый на локтях сюртук, старая шляпа, возбуждающая

смех у молодых девушек, просроченная плата за комнату, которую вследствие этого находишь по возвращении запертой, наглость портье и кухмистера, усмешки соседей, унижения, оскорбленное самолюбие, отвращение, горечь, упадок духа! Мариус научился проглатывать все это, узнал, что иногда только это одно и приходится глотать. В ту пору жизни, когда человеку в особенности нужна гордость, потому что ему нужна любовь, Мариус чувствовал себя осмеянным, потому что был плохо одет, и презираемым, потому что был беден. В годы, когда молодость переполняет сердце царственной гордостью, он не раз опускал глаза на свои дырявые сапоги и узнал ложный стыд и мучительную краску бедности. Чудное и ужасное испытание, из которого слабые выходят бесчестными, сильные — великими. Это горнило, в которое судьба бросает человека, когда хочет сделать из него негодяя или полубога.

Много великих подвигов совершается в этих мелких битвах. Есть люди, обладающие мужеством и настойчивостью, люди неизвестные,

которые делают шаг за шагом, защищаясь во мраке от рокового наплыва нужды и низости. Благородные, скрытые от всех победы, которых не видит ни один взгляд, не вознаграждает никакая слава, не приветствуют никакие трубные звуки. Жизнь, несчастье, одиночество, заброшенность, бедность — вот поле битвы, на котором бьются эти герои — герои безвестные, но иногда более великие, чем прославленные знаменитости.

Сильные, редкие натуры так созданы. Нищета, почти всегда мачеха, иногда бывает и матерью. Лишения порождают силу души и ума. Отчаяние вскармливает гордость. Страдания — здоровое молоко для великодушных натур.

В жизни Мариуса было время, когда он сам подметал свою площадку на лестнице, покупал на один су сыр бри у торговки или ждал, когда стемнеет, и отправлялся в булочную, где покупал хлебец и украдкой уносил его на свой чердак, точно он был краденый. Иногда видели, как в мясную лавку на углу пробирался вслед за грубо

подшучивающими кухарками, толкавшими его, неловкий молодой человек, застенчивый и суровый, с книгами под мышкой. Входя в лавку, он снимал шляпу, вытирал потный лоб, отвешивал низкий поклон хозяйке, так же низко кланялся приказчику-мяснику, спрашивал баранью котлетку, платил за нее шесть или семь су, завертывал ее в бумагу, клал под мышку между двумя книгами и уходил. Это был Мариус. Этой котлетой, которую сам жарил, он питался три дня.

В первый день он ел мясо, во второй — жир, в третий — обгладывал кость.

Тетушка Жильнорман не ограничилась только одной попыткой и еще несколько раз присылала ему шестьдесят пистолей, но он упорно отсылал их назад, уверяя, что не нуждается ни в чем.

Он носил еще траур по отцу, когда в нем произошел переворот, о котором мы говорили. С тех пор он постоянно ходил в черном. Но мало-помалу платье его приходило в ветхость. Наконец в один прекрасный день он остался без сюртука.

Панталоны еще могли сойти. Что делать? Курфейрак, которому он оказал несколько дружеских услуг, отдал ему свой старый сюртук. За тридцать су какой-то портье перешил его, вывернув наизнанку, и получилось новое платье. Но оно было не черное, а зеленое. Тогда Мариус стал выходить из дома только поздно вечером. В темноте одежда его казалась черной. Не желая снимать траур, он облекался в темноту. Несмотря на все лишения, Мариус окончил курс и добился звания адвоката. Все думали, что он живет с Курфейраком. У этого молодого человека была приличная комната, в которой несколько старых юридических книг, дополненных томами разрозненных романов, составляли требуемую правилами библиотеку. Для писем Мариус обыкновенно давал адрес Курфейрака.

Став адвокатом, Мариус уведомил об этом деда сухим, но почтительным письмом. Жильнорман задрожал, взяв письмо, прочитал его, разорвал на четыре части и бросил в корзину. Спустя два или три дня после этого мадемуазель Жильнорман услыхала, что отец ее, сидевший

один в комнате, говорит громко. Это случалось с ним, когда он бывал сильно взволнован. Она прислушалась.

— Не будь ты набитым дураком, — говорил старик, — ты понял бы, что нельзя быть в одно и то же время и бароном, и адвокатом.

Глава 183

Про нищету можно сказать то же, что и про другие невзгоды. Кончается тем, что она становится выносимой. Человек прозябает, то есть существует самым жалким образом, но все же может прокормиться. Посмотрим, как устроился Мариус.

Он уже перенес самое худшее; теперь узкое ущелье немножко расширилось перед ним. При помощи труда, мужества, настойчивости и силы воли ему удалось добиться заработка в семьсот франков в год. Он выучился английскому и немецкому языкам. Благодаря Курфейраку, познакомившему его со своим приятелем

книготорговцем, Мариус стал исполнять в литературе роль «полезности». Он составлял проспекты, переводил статьи из журналов, делал отзывы об изданиях, составлял компиляции, писал биографии и т. д. И в дурной и в хороший год он имел те же семьсот франков. И он жил на них. Жил недурно. Мы сейчас объясним, как именно.

Мариус занимал в лачуге Горбо за тридцать франков в год конуру без камина, носившую название кабинета, в котором стояла только самая необходимая мебель. Эта мебель принадлежала Мариусу. Он платил три франка в месяц старухе, главной жилице, за то, что она прибиралась в его комнате и приносила каждое утро немного горячей воды, свежее яйцо и хлебец в один су. Этим хлебцем и яйцом он завтракал. Завтрак стоил ему от двух до четырех су, смотря по тому, были ли дешевы или дороги яйца. В шесть часов вечера он отправлялся в улицу Сен-Жак и обедал у Руссо, напротив лавки Бассэ, торговца эстампами на углу улицы Матюрэн. Супа он не ел. Он обыкновенно спрашивал порцию мяса за

шесть су, полпорции овощей за три су и десерта на три су. Хлеба давалось сколько угодно, тоже за три су. Вместо вина он пил воду. Расплачиваясь около конторки, где величественно восседала г-жа Руссо, толстая, но еще свежая женщина, он давал су гарсону, а г-жа Руссо награждала его улыбкой. Затем он уходил. Улыбка и обед стоили ему шестнадцать су.

Этот ресторан Руссо, где опорожняли так мало бутылок и такое множество графинов, можно было назвать скорее успокоительным {Calmant — успокоительное средство.} средством, чем укрепляющим {Restaurant — укрепляющее средство и ресторан.}. Его не существует в настоящее время. У хозяина было прекрасное прозвище, его звали «Руссо водяной».

Итак, завтрак обходился Мариусу в четыре су, обед в шестнадцать, то есть еда стоила ему двадцать су в день, что составляло триста шестьдесят пять франков в год. Прибавим сюда тридцать франков за комнату, тридцать шесть франков старухе и мелкие расходы. Таким

образом за четыреста пятьдесят франков в год у Мариуса были квартира, прислуга и стол. Одежда стоила ему сто франков, белье пятьдесят, стирка тоже пятьдесят, а все расходы не превышали шестисот пятидесяти франков. Следовательно, у него еще оставалось пятьдесят франков. Он был богат и мог, при случае, одолжить десять франков приятелю. Раз Курфейрак занял у него даже целых шестьдесят. Что касается отопления, то, не имея камина, Мариус совсем уничтожил этот расход.

У Мариуса было всегда две пары платья, одна старая — для каждого дня, другая, совсем новая, — для каких-нибудь особых случаев. Обе они были черные. У него было только три рубашки: одна на себе, другая — в комоде, третья — у прачки. Он подновлял их, по мере того как они изнашивались. Они были всегда изорваны, что заставляло его застегивать сюртук до самого подбородка.

Мариусу понадобились целые годы, чтобы дойти до такого цветущего положения. В тяжелые

годы, в течение которых с таким трудом приходилось то пробираться, то карабкаться, Мариус не изменил себе ни разу. Он выносил все лишения, делал все, кроме долгов. Он мог с гордостью сказать, что никогда не был должен никому ни одного су. Для него долг был началом рабства. По его мнению, кредитор был даже хуже властелина: властелину принадлежит только ваша личность, тогда как кредитор держит в своей власти ваше достоинство и может унижать его. Ему было приятнее не есть, чем занимать. И было немало дней, когда ему приходилось голодать. Понимая, что крайности сходятся и что без предосторожностей материальная нужда может привести к душевной низости, он ревниво оберегал свое достоинство. Какой-нибудь поступок, на который он при других обстоятельствах посмотрел бы снисходительно, теперь казался ему пошлым, и он гордо выпрямлялся. Он не отваживался ни на что, не желая отступать. Он был застенчивым до суровости.

Во всех этих испытаниях его поддерживала, а иногда как бы окрыляла тайная внутренняя сила. Душа помогает телу и минутами как бы приподнимает его. Это единственная птица, поддерживающая свою клетку.

Рядом с именем отца в сердце Мариуса запечатлелось другое имя — имя Тенардье. В силу своей восторженной и серьезной натуры, Мариус окружал как бы ореолом человека, которому был обязан жизнью отца, этого храброго сержанта, спасшего полковника среди пуль и ядер Ватерлоо. Он никогда не отделял воспоминания о Тенардье от воспоминания об отце и соединял их в своем благоговении. Это было что-то вроде поклонения, но не в одинаковой степени, — большой жертвенник для полковника, маленький — для Тенардье. Благодарность его еще увеличивалась при мысли о несчастье, постигшем Тенардье. Мариус узнал в Монфермейле о разорении и банкротстве бедного трактирщика. С тех пор он употреблял все силы, чтобы найти следы Тенардье и постараться приблизиться к нему в той мрачной

бездне нищеты, которая поглотила его. Мариус объездил все окрестности: Шелль, Бонди, Гурне, Ножент, Ланьи. В продолжение трех лет он занимался этими поисками, тратя а поездки все свои сбережения. Никто не мог дать ему никаких сведении о Тенардье, думали, что он уехал за границу. Кредиторы, хоть и не одушевленные любовью, как Мариус, тем не менее так же усердно, как он, разыскивали своего должника, но не могли найти его. Мариус полагал, что виной неудачи является он сам, и досадовал на себя. Полковник оставил ему только этот единственный долг, и Мариус считал делом чести уплатить его.

«Когда мой отец лежал умирающий на поле битвы, — думал он, — Тенардье сумел найти его в дыму и под градом картечи и вынести на своих плечах. А он еще не был ничем обязан моему отцу. Неужели же я, стольким обязанный Тенардье, не сумею отыскать его в темноте, где он тоже борется со смертью, и в свою очередь вынести его от смерти к жизни! О, я найду его!»

Чтобы найти Тенардье, Мариус охотно пожертвовал бы рукою, а чтобы вырвать его из нищеты, отдал бы всю свою кровь. Увидеть Тенардье, оказать ему какую-нибудь услугу, сказать ему: «Вы меня не знаете, но я знаю вас! Я здесь! Располагайте мною!»

Это была самая любимая, самая чудная мечта Мариуса.

Глава 184

В это время Мариусу было двадцать лет. Прошло три года, с тех пор как он расстался с дедом. В их отношениях не произошло никакой перемены. Ни с той, ни с другой стороны не делалось никаких попыток к сближению, ни тот ни другой не искали встречи. Да и к чему видеться? Чтобы снова начались столкновения? И кто из них уступил бы? Мариус был тверд, как железо, но и старик Жильнорман был не слабее его.

Нужно заметить, что Мариус не понял сердца своего деда. Он был вполне уверен, что Жильнорман никогда не любил его, что этот веселый, резкий, суровый старик, который постоянно бранился, кричал, выходил из себя и замахивался тростью, чувствовал к нему в лучшем случае только самую незначительную привязанность, соединенную с очень значительной строгостью. Мариус ошибался. Бывают отцы, не любящие своих детей, но не найдется деда, который не обожал бы своего внука. В глубине души — мы уже упоминали об этом — Жильнорман боготворил Мариуса. Боготворил, конечно, по-своему, с добавкой брани и даже выволочек. И когда внук ушел, старик вдруг почувствовал в сердце полную пустоту. Он потребовал, чтобы о Мариусе не упоминали, а в душе жалел, что приказание его исполняется так строго. В первое время он надеялся, что этот буонапартист, якобинец, террорист вернется. Но проходили недели, месяцы, годы, а «кровопийца», к величайшему отчаянию Жильнормана, не возвращался.

«Что же мог я сделать, как не выгнать его? — рассуждал сам с собою дед и спрашивал себя: — Поступил ли бы я по-прежнему, если бы то же самое произошло теперь?» Гордость его отвечала «да», но старая голова, которой он молча покачивал, грустно говорила «нет».

Иногда он совсем падал духом. Ему недоставало Мариуса. Старикам нужна любовь, как солнце, — она согревает их.

Как ни сильна была его натура, отсутствие Мариуса произвело в нем перемену. Ни за что в мире не сделал бы он шага к этому «негодному мальчишке», но он страдал. Он никогда не спрашивал о нем, но зато думал всегда. Жизнь его в Марэ становилась все уединеннее. Как и прежде, он был весел и вспыльчив, но в его веселости было что-то резкое и судорожное, в ней чувствовались страдание и гнев. А его припадки бешенства обыкновенно заканчивались теперь каким-то тихим и мрачным унынием.

«Ах, если бы он вернулся, какую славную пощечину закатил бы я ему!» — иногда думал он.

Что касается тетки, то она слишком мало думала, чтобы много любить. Мариус превратился для нее в какой-то темный, неясный силуэт, и кончилось тем, что мысли о нем начали занимать ее гораздо меньше, чем о своей кошке или попугае.

Тайные муки Жильнормана увеличивались еще оттого, что он должен был хранить их в себе и скрывать от всех. Горе его походило на недавно изобретенные печи, сами поглощающие свой дым. Иногда случалось, что кто-нибудь, думая оказать ему любезность, спрашивал о Мариусе: «А что поделывает ваш внук?»

И старый буржуа, вздыхая, если был грустен, или щелкая по манжету, если хотел казаться веселым, отвечал: «Господин барон Понмерси сутяжничает где-нибудь в захолустье».

В то время как старик горевал, Мариус радовался. Как всегда бывает с добрыми людьми, несчастье сделало его мягче. Он думал теперь о Жильнормане без всякой горечи, но твердо решил ничего не брать от человека, так дурно

относившегося к его отцу. Вот во что превратилось и насколько смягчилось теперь его прежнее возмущение.

Кроме того, он был счастлив тем, что страдал и еще продолжал страдать. Он страдал за отца. Полная лишений жизнь, которую он вел, удовлетворяла его и нравилась ему. Он говорил себе с какой-то радостью, что этого еще мало, что это искупление, что не будь этого, он был бы наказан позднее и гораздо строже за свое нечестивое равнодушие к отцу и к такому отцу, что было бы несправедливостью, если бы отец его взял на себя все страдание, а ему самому не осталось бы ничего. Да и что значат его труд и лишения сравнительно с полной героизма жизнью полковника? Единственная возможность приблизиться к отцу и быть на него похожим состоит для него в том, чтобы так же мужественно бороться с бедностью, как отец его бился с неприятелем. Вот что, должно быть, и хотел сказать полковник словами «он будет достоин его», то есть баронского титула. Эти

слова Мариус продолжал хранить не на груди, так как записка полковника пропала, а в сердце.

В тот день, как дед выгнал его, Мариус был ребенком, теперь он стал мужчиной. Он чувствовал это. Нищета, повторяем это еще раз, принесла ему пользу. Бедность в юные годы хороша тем, что она обращает всю силу воли на труд, а душу — к высшим стремлениям. Бедность обнажает жизнь материальную и внушает к ней отвращение, а последствием этого являются страстные порывы к жизни идеальной. У богатого молодого человека сотни блестящих и грубых развлечений — скачки, охота, собаки, табак, игра, хороший стол и много другого. Все это удовлетворяет лишь низменные стороны человеческой природы в ущерб высшим духовным потребностям. Бедный юноша трудится, добывая свой хлеб, а когда он поест, ему остается только мечтать. Он наслаждается бесплатными зрелищами, которые дает ему Бог. Он смотрит на небо, на звезды, на цветы, на детей, на человечество, среди которого страдает, на творение, среди которого занимает первое

место. Он так внимательно глядит на человечество, что видит душу, так внимательно глядит на творение, что видит Бога. Он мечтает и чувствует себя великим; продолжает мечтать и чувствует, что сердце его полно любви. От эгоизма страдающего человека он переходит к состраданию человека размышляющего. Чудное чувство охватывает его — забвение себя и жалость ко всем. Размышляя о бесчисленных радостях, которые природа предлагает, дает и расточает душам открытым и в которых отказывает душам замкнутым, он, наслаждающийся всем этим, начинает жалеть миллионеров. Из сердца его уходит вся ненависть, по мере того как просветляется его разум. Разве он несчастлив? Нет. Бедность в молодости не делает человека несчастным. Как бы беден ни был юноша, он со своим здоровьем, своей силой, быстрой походкой, горячей кровью, пульсирующей у него в жилах, со своими блестящими глазами, черными волосами, свежим цветом лица, розовыми губами, белыми зубами будет всегда предметом зависти для старика, будь

то хоть сам король. К тому же он каждое утро снова принимается зарабатывать свой хлеб; и в то время как руки его работают, спина гордо выпрямляется, а ум обогащается новыми идеями. Закончив работу, юноша возвращается к созерцанию и радостям. Тело его испытывает лишения и борется с трудностями, ноги опутаны терниями и иногда вязнут в грязи, но голова окружена светом. Он тверд, весел, кроток, спокоен, внимателен, серьезен, доволен малым, приветлив. И он благодарит Бога, давшего ему два сокровища, которых лишены многие богачи: труд, делающий его свободным, и мысль облагораживающую его.

То же самое происходило и с Мариусом. Он даже, говоря правду слишком предавался созерцанию. Добившись почти верного заработка достаточного для жизни, он остановился на этом, находя, что хорош быть бедным, и, отнимая время от работы, отдавал его мысли. Иногда он проводил целые дни в размышлении, погруженный в немую негу экстаза и внутреннего просветления. Вот как разрешил он

проблему своей жизни: как можно меньше труда физического и как можно больше труда умственного, то есть он решил отдавать несколько часов реальной жизни и бросать все остальное в бесконечность. Он не замечал, что понятое таким образом созерцание есть одна из форм лени; что он добился удовлетворения лишь самых насущных потребностей и слишком рано начал отдыхать.

Для такой энергичной, великодушной натуры это состояние было, очевидно, лишь переходным. При первом же столкновении с неизбежными осложнениями жизни Мариус должен был пробудиться.

А пока, несмотря на свое звание адвоката, он, вопреки ожиданиям Жильнормана, не только не «сутяжничал», но и совсем не вел никаких дел. Мечты отклонили его от адвокатской деятельности: посещать стряпчих, бегать в суд, разыскивать дела — какая скука! И зачем? Он не видел никаких причин менять свое занятие на другое. Работа при книжной торговле давала ему

теперь верный заработок, не требующий большого труда и, как мы уже говорили, вполне достаточный для него.

Один из книготорговцев, у которых он работал, г-н Мажимель, предложил ему хорошее помещение у себя в доме и обещал постоянную работу с жалованьем в полторы тысячи франков в год. Хорошее помещение! Полторы тысячи франков. Это, конечно, недурно. Но отказаться от свободы! Быть наемником? Чем-то вроде литератора-приказчика! По мнению Мариуса, положение его изменилось бы и к лучшему и к худшему, если бы он принял это место. Средства его увеличивались, но достоинство утрачивалось. Бедность — бедность настоящая и благородная — превращалась в жалкое и смешное полудовольство, что-то вроде слепого, ставшего кривым. И он отказался.

Мариус жил уединенно. Вследствие своей склонности удаляться от жизни и полученного слишком сильного потрясения он не примкнул к кружку, во главе которого стоял Анжолрас. Они

остались добрыми товарищами, готовы были при случае помогать друг другу всем, чем можно, — но и только.

У Мариуса было два друга: молодой — Курфейрак и старый — Мабеф. Он отдавал предпочтение старику. Во-первых, он был обязан ему переворотом, который произошел в нем, во-вторых, благодаря ему он узнал и полюбил своего отца. «Он снял у меня пелену с глаз», — говорил он.

Этот церковный староста оказал решающее влияние на судьбу Мариуса.

Но, в сущности, г-н Мабеф был в этом случае лишь бессознательным и бесстрастным орудием провидения. Он просветил Мариуса случайно, сам не сознавая этого, подобно свече, которую вносит кто-нибудь, он был именно свечой, а не кем-нибудь.

Что же касается переворота в политических взглядах Мариуса, то Мабеф был неспособен ни понять, ни желать его, ни играть при этом руководящую роль.

Так как мы еще встретимся с г-ном Мабефом, то не мешает сказать о нем несколько слов.

Глава 185

Когда г-н Мабеф говорил Мариусу: «Я, конечно, одобряю политические взгляды», то он выражал как раз свое настоящее мнение. Все политические взгляды были для него безразличны, и он одобрял их все без исключения, лишь бы его оставили в покое. Так греки говорили про фурий: «прекрасные, добрые, прелестные» Эвмениды. Политические убеждения Мабефа состояли в том, что он страстно любил растения, а еще больше книги. Он, как и все, обладал своим окончанием на «ист», без которого нельзя было существовать в то время, но не был ни роялистом, ни бонапартистом, ни хартистом, ни орманистом, ни анархистом, он был букинистом.

Мабеф не понимал, как могут люди ненавидеть друг друга из-за такого вздора, как хартия, демократия, легитимизм, монархия,

республика и т. д., когда в мире столько различных трав, мхов, кустарников, которыми можно любоваться, столько фолиантов и даже книг в тридцать вторую долю листа, которые можно просматривать. Он остерегался быть бесполезным. Его страсть к старым книгам не мешала ему читать. Будучи ботаником, он вместе с тем был и садовником. Когда между ним и полковником Понмерси завязалось знакомство, у них нашлась общая симпатия. Полковник выращивал цветы, Мабеф — плоды. Ему удалось вывести сорт груш, таких же сочных, как сен-жерменские. Благодаря одной из его комбинаций, у нас появилась знаменитая теперь осенняя мирабелла, не уступающая ароматом летней. Он ходил в церковь скорее по привычке, чем по набожности; к тому же, любя смотреть на человеческие лица и ненавидя шум, он только в церкви находил тихую, безмолвную толпу людей. Чувствуя, что нужно приносить хоть какую-нибудь пользу государству, он занял должность церковного старосты. Ему никогда не удавалось полюбить ни одну женщину больше луковицы

тюльпана и ни одного мужчину больше эльзевира. Ему уже давно перевалило за шестьдесят лет, когда кто-то спросил его:

— Разве вы не были никогда женаты?

— Я позабыл, — отвечал он.

Если ему случалось иногда говорить — с кем не случается этого: — «Ах, если бы я был богат!», то он говорил это, не любуясь хорошенькой девушкой, как Жильнорман, а заглядываясь на какую-нибудь старинную книгу.

Он жил один со старухой-экономкой. У него была легкая хиратра, и, когда он спал, одеяло приподнималось на его старых, скорченных от ревматизма пальцах. Он написал и издал книгу «Флора окрестностей Котереца» с раскрашенными таблицами. Она пользовалась довольно большой известностью. Он хранил у себя клише и продавал книгу сам. Два или три раза в день к нему, на улицу Мезьер, приходили покупатели. Он выручал на книге тысячи две франков в год: в этом заключался почти весь его доход.

Несмотря на скудные средства, ему удалось с помощью терпения, лишений и времени собрать драгоценную коллекцию редких образцов разного рода. Он выходил не иначе как с книгой под мышкой, а возвращался нередко с двумя. Единственное украшение его квартиры в нижнем этаже, состоявшей из четырех комнат с садиком, составляли гербарии, оправленные в рамки, и картины старинных мастеров. Один вид шпаги или ружья приводил его в ужас. Во всю свою жизнь он ни разу не подходил к пушке, даже у Дома Инвалидов. У него был сносный желудок, у него был брат кюре, совсем белые волосы, рот без зубов и такого же сорта ум, дрожание во всем теле, пикардийский акцент, детский смех, необыкновенная боязливость и вид старого барана. К этому нужно добавить, что он не чувствовал ни дружбы, ни привычки ни к одному живому существу кроме старика-книготорговца у ворот Сен-Жак, которого звали Руайоль. Мечтой Мабефа было акклиматизировать во Франции индиго.

Служанка его была тоже в своем роде разновидностью простодушия. Добрая старушка осталась девственницей. Ее старый кот, Султан, царил в ее сердце и поглощал весь запас заключавшейся в ней любви. Она никогда не мечтала о мужчине. Она не могла бы изменить своему коту. У нее так же, как у него, росли усы. Белые чепцы, которые она постоянно носила, составляли ее единственную гордость. В воскресенье, после обедни, она обыкновенно считала свое белье в чемодане и раскладывала на кровати куски материи на платья, которые она покупала, но никогда не отдавала шить. Она умела читать. Мабеф прозвал ее «тетушкой Плутархом».

Мабеф относился к Мариусу благосклонно, потому что тот со своей молодостью и мягким характером согревал его старость, не запугивая его робости. Молодость, соединенная с кротостью, действует на стариков, как солнце без ветра. Когда Мариус пресыщался военной славой, пулями, походами, контрмаршами и всеми знаменитыми битвами, в которых его отец

раздавал и получал страшные сабельные удары, он шел к Мабефу, и старик рассказывал ему о герое, как о любителе цветов.

Около 1830 года брат Мабефа, кюре, умер и почти тотчас же вслед за этим весь горизонт, как при наступлении ночи, омрачился для Мабефа. Банкротство нотариуса лишило его десяти тысяч франков — в этом заключалось все его имущество, как лично ему принадлежавшее, так и доставшееся по наследству от брата. Июльская революция произвела кризис в книжной торговле. А когда денежные дела плохи, то прежде всего перестают покупать разные «Флоры». И продажа книги «Флора окрестностей Котереца» сразу остановилась. Неделя проходила за неделей, а покупателей не было. Иногда Мабеф вздрагивал, услышав звонок. «Это водовоз, сударь», — грустно говорила ему тетушка Плутарх. Кончилось тем, что в один прекрасный день Мабеф покинул улицу Мезьер, сложил с себя обязанности церковного старосты, распростился с церковью Святого Сюльпиция, продал часть не книг, а гравюр, которыми дорожил меньше, и

поселился в маленьком домике на бульваре Монпарнас. Однако он прожил там только четверть года по двум причинам: во-первых, нижний этаж с садом стоил триста франков в год, а он не мог тратить на квартиру больше двухсот франков, во-вторых, рядом с домом помещался тир Фату, и оттуда постоянно раздавались пистолетные выстрелы, чего не в силах был выносить Мабеф.

Забрав с собою свою «Флору», свои клише, гербарии, папки и книги, он поселился около больницы Сальпетриер, в селении Аустерлиц. За пятьдесят экю в год он нанял домик, или, вернее, хижину в три комнаты с огороженным садом и колодцем. Он воспользовался этим переселением, чтобы продать почти всю свою мебель. В день переезда на новую квартиру он был очень весел, собственноручно вбил гвозди для своих гербариев и гравюр, а потом рылся целый день в саду. Вечером, заметив, что тетушка Плутарх приуныла и раздумывает о чем-то, он хлопнул ее по плечу и с улыбкой сказал:

— Ба! У нас еще остается индиго!

Только два посетителя — книготорговец у ворот Сен-Жак и Мариус — допускались в эту хижину в Аустерлице — название слишком громкое и, сказать по правде, довольно неприятное для Мабефа.

Впрочем, как мы уже говорили раньше, умы, погруженные в мудрость или безумие или же, что случается довольно часто, в то и другое сразу, обращают мало внимания на материальную сторону жизни. Их собственная судьба не интересует их. Следствием этого является пассивность, которая могла бы назваться философией, будь она осмысленна. Люди отклоняются в сторону, спускаются вниз, даже падают, не замечая этого. Правда, в конце концов все-таки наступает пробуждение, но уже слишком поздно. А до тех пор такие люди занимают как бы нейтральное положение в игре, которая ведется между их счастьем и несчастьем. Они служат ставкой и равнодушно следят за партией.

Точно так же и Мабеф, несмотря на то, что надежды его угасали одна за другой среди окружающего его мрака, оставался по-прежнему невозмутимо спокойным. Его умственные привычки походили на движения маятника. Заведенный какою-нибудь иллюзией, он качался очень долго, даже после того, как иллюзия проходила. Часы не останавливаются сразу в ту самую минуту, как от них потерян ключ.

У Мабефа были и свои развлечения — невинные, ничего не стоящие и неожиданные. Малейшая случайность могла доставить их. Раз тетушка Плутарх читала роман, сидя в уголке. Она читала вслух, так как полагала, что так легче понять. При таком чтении мы как бы подтверждаем себе то, что читаем. Иные читают очень громко и имеют при этом такой вид, как будто ручаются своим честным словом за все прочитанное.

Так же выразительно читала свой роман и тетушка Плутарх, держа его в руке. Мабеф слышал, хоть и не прислушивался.

Речь шла о красавице и драгунском офицере. Тетушка Плутарх прочитала: «Красавица рассердилась, а драгун…»

Тут она остановилась и начала вытирать очки.

— Будда и дракон… — вполголоса проговорил Мабеф. — Да, это так. Был дракон, который из глубины своей пещеры выбрасывал из пасти пламя и сжигал небо. Уже много звезд сожгло это чудовище, у которого к тому же были когти тигра. Будда пришел к нему в пещеру и усмирил его. Вы читаете хорошую книгу, тетушка Плутарх. Это одна из самых прекрасных легенд.

И Мабеф задумался, погрузившись в сладостные мечты.

Глава 186

Мариус полюбил этого простодушного старика, который мало-помалу впадал в бедность, что начинало уже несколько удивлять, но еще не огорчало его. Мариус заходил к Курфейраку

случайно, а общества Мабефа искал. Он, впрочем, бывал у него редко — самое большее раз или два в месяц.

Любимым занятием Мариуса были длинные одинокие прогулки по внешним бульварам, Марсову полю или самым пустынным аллеям Люксембургского сада. Иногда он по целым часам глядел на какой-нибудь огород, на засаженные салатом грядки, на кур, роющихся в навозе. Прохожие с любопытством оглядывали его, причем некоторым наружность его казалась подозрительной, а вид зловещим. На самом же деле это был просто бедный молодой человек, забывшийся в неопределенных мечтах.

В одну из таких прогулок Мариус открыл дверь лачуги Горбо. Пустынная местность и низкая цена соблазнили его, и он поселился там. Все в доме знали его только под именем г-на Мариуса.

Некоторые из старых генералов и прежних товарищей полковника, узнав Мариуса, пригласили его бывать у них. Он не отказывался

от этих приглашений. Они давали ему возможность говорить об отце. И он изредка бывал у графа Пажоля, у генералов Беллавеня и Фририона, в Доме Инвалидов. Там занимались музыкой и танцевали. Для таких визитов Мариус надевал свое новое платье. Но он отправлялся на эти вечера и балы только в самые сильные морозы; у него не было средств нанимать карету, а прийти не в блестящих, как зеркало, сапогах он не хотел.

Не раз говорил он, но без всякой горечи: «Вы можете быть грязны нравственно, являясь в салон, но у вас должны быть чистые сапоги. Так уж созданы люди. Для того чтобы вас радушно приняли, только одно должно быть у вас безукоризненно чисто. Совесть? Нет — сапоги».

Мечтания заглушают все страсти, кроме сердечных. От них же прошла и политическая горячка Мариуса. Много помогла еще революция 1830 года, удовлетворившая и успокоившая его. Он остался все тем же за исключением прежних гневных вспышек. Он придерживался тех же

убеждений, только они стали мягче. Это были даже не убеждения, а симпатии. К какой партии он принадлежал? К партии человечества. В человечестве он избрал Францию, в нации — народ, в народе — женщину. Его сострадание направлялось главным образом к ней. Теперь он ставил идею выше факта, поэта выше героя, такую книгу, как книга Иова, выше такого события, как Маренго. А когда после целого дня, проведенного в размышлениях, он возвращался вечером домой по бульварам и между ветками деревьев видел безграничное пространство, неизреченный свет, бездну, тень, тайну, все человеческое казалось ему слишком мелким.

Он полагал, что нашел, а может быть, нашел и на самом деле правду жизни и человеческой философии и кончил тем, что, оставив землю, стал смотреть на небо, которое только одно и может видеть истину из глубины своего колодца.

Это нисколько не мешало ему составлять множество планов и думать о будущем. Если бы кто-нибудь мог заглянуть в душу Мариуса, когда

тот погружался в мечты, он был бы поражен ее необыкновенной чистотой. Если бы нашим глазам была дана способность проникать в чужую совесть, мы могли бы гораздо вернее судить о человеке по его мечтам, чем по мыслям. В мыслях участвует воля, в мечтах ее нет. Мечта всегда самопроизвольна; она принимает и сохраняет даже в необъятном и идеальном образ нашего духа. Ничто не исходит так непосредственно и искренно из самой глубины нашей души, как необдуманные и чрезмерные стремления к тому, что мы считаем величием. В этих стремлениях гораздо больше, чем в связных и обдуманных мыслях, виден настоящий характер человека. Наши мечты больше всего похожи на нас. Каждый мечтает о неведомом и невозможном на свой лад.

Примерно в середине 1831 года старуха, прислуживавшая Мариусу рассказала ему, что его соседям, несчастной семье Жондреттов, отказано от квартиры. Мариус, чуть не на целые дни уходивший из дома, едва ли даже знал, что у него есть соседи.

— Почему же им отказали? — спросил он.

— Потому что не платят за квартиру. Они задолжали за два месяца.

— Сколько они должны?

— Двадцать франков.

У Мариуса лежали в ящике стола запасные тридцать франков.

— Вот вам двадцать пять франков, — сказал он старухе. — Заплатите за этих бедных людей и отдайте им пять франков. Только не говорите, что деньги дал я.

Глава 187

Полк, в котором служил лейтенант Теодюль, был неожиданно переведен в Париж. Это послужило причиной того, что вторая идея пришла в голову тетушке Жильнорман. В первый раз ей вздумалось поручить Теодюлю надзор за Мариусом; теперь она задумала заместить Мариуса Теодюлем.

На всякий случай и в виду того, что у деда могло явиться смутное желание видеть в доме молодое лицо — лучи зари иногда приятны развалинам, — не мешало найти другого Мариуса. «Это то же, что опечатка в книге, — думала тетушка: — Мариус — читай Теодюль».

Внучатый племянник почти то же, что внук; за неимением адвоката можно взять улана.

Раз утром в то время, как Жильнорман читал «Ежедневную газету», вошла его дочь и сказала самым сладким голосом, так как дело шло об ее любимце:

— Сегодня утром Теодюль явится засвидетельствовать вам свое почтение, батюшка.

— Что это за Теодюль?

— Ваш внучатый племянник.

— А! — сказал старик.

И он снова принялся читать, не думая больше о своем внучатом племяннике, каком-то Теодюле, и начиная мало-помалу раздражаться, что всегда бывало с ним, когда он читал. Его газета,

конечно, роялистская, извещала об одном незначительном событии, весьма обыденном для тогдашнего Парижа: «Завтра в полдень на площади Пантеона соберутся Для совещания студенты школы правоведения и медицины». Дело шло о возникшем в то время вопросе об артиллерии национальной гвардии и столкновении между военным министром и городской милицией по поводу пушек, стоящих во дворе Лувра. Этот вопрос и должен был служить предметом совещания студентов. Этого было вполне достаточно, чтобы взбесить Жильнормана.

Он подумал о Мариусе, который тоже был студентом и который тоже, наверное, пойдет вместе с другими совещаться в поддень на площадь Пантеона.

В то время как им овладели эти тяжелые думы, вошел поручик Теодюль в штатском платье, что было умно с его стороны. Его осторожно ввела в комнату тетушка Жильнорман.

«Старый хрыч ухлопал не весь свой капитал в пожизненную ренту, — рассудил Теодюль. — Из-за того, что у него осталось, стоит изредка наряжаться штафиркою».

— Теодюль, ваш внучатый племянник, — громко сказала отцу мадемуазель Жильнорман, а потом шепнула улану: «Соглашайся со всем», — и ушла.

Поручик, не привыкший делать визиты людям такого почтенного возраста, довольно робко пробормотал: «Здравствуйте, дядя!» — и отвесил какой-то странный поклон, который машинально начал по-военному и поспешил закончить на манер штатского.

— А, это вы, — сказал дед. — Садитесь.

И, проговорив это, он тотчас же забыл об улане.

Теодюль сел, а Жильнорман встал. Он начал ходить взад и вперед по комнате, засунув руки в жилетные карманы, злобно теребя своими

старыми пальцами двое часов, лежавших в обоих карманах, и рассуждая вслух:

— Это шайка молокососов — вот и все! Они собираются на площади Пантеона! Скажите пожалуйста! Мальчишки, вчера только сидевшие на руках у кормилиц! У них еще молоко на губах не обсохло! И они будут совещаться завтра в полдень! Куда мы идем, куда мы идем? Очевидно, к погибели. Вот куда ведут нас эти разбойники. Городская артиллерия! Они будут толковать о городской артиллерии! Будут под открытым небом тараторить о национальной гвардии! Не угодно ли полюбоваться, куда ведет якобинство! Держу пари на миллион против сантима, что туда соберутся только беглые преступники да отбывшие срок каторжники. Республиканцы и галерники — одного поля ягода. Карно спрашивал: «Куда мне идти, изменник?» — «Иди, куда хочешь, болван!» — отвечал Фуше. Вот каковы республиканцы.

— Совершенно верно, — сказал Теодюль.

Жильнорман чуть-чуть повернул голову и, увидев Теодюля, продолжал:

— И подумать только, что у этого негодяя хватило наглости сделаться карбонарием! Зачем ушел ты из дома? Чтобы сделаться республиканцем. Пс-с-ст! Прежде всего знай, что народ не хочет твоей республики — да, не хочет, потому что у него есть здравый смысл. Он знает, что короли были всегда и будут всегда, знает, что народ в конце концов только народ и поднимает на смех твою республику, — слышишь, дуралей? Что может быть ужаснее такой прихоти? Влюбиться в «Отца Дюшена», делать глазки гильотине, распевать романсы и бренчать на гитаре под балконом 1793 года — да за это стоит только плюнуть на этих молокососов, до такой степени они тупоумны! И все они там. Ни один не увернулся. Достаточно вдохнуть в себя воздух улиц, чтобы сойти с ума. Девятнадцатый век — яд. Всякий мальчишка отпускает себе козлиную бородку, считает себя необыкновенно умным и бросает своих старых родителей. Это по-республикански, это романтично. А что такое

романтизм? Потрудитесь, пожалуйста, объяснить мне, что это такое? Да великие глупости — и больше ничего. Год тому назад все бегали на «Эрнани». Как вам это нравится — «Эрнани!» Антитезы! Мерзости, написанные даже не по-французски! А теперь уже принялись за пушки во дворе Лувра. Вот до чего дошел разбой в наше время.

— Вы правы, дядя, — сказал Теодюль.

— Пушки во дворе музея, — продолжал Жильнорман. — С какой стати? Или вы хотите стрелять картечью в Аполлона Бельведерского? Что общего между пушками и Венерой Медицейской? О, все нынешние молодые люди негодяи! И их Бенжамен Констан ничего не стоит. А кто из них не разбойник, тот болван! Они делают все возможное, чтобы быть как можно безобразнее. Они отвратительно одеваются, боятся женщин, вертятся около юбок с таким видом, как будто просят милостыни, и добиваются только того, что девчонки покатываются со смеха, глядя на них. Честное

слово, эти бедняги как будто боятся любви. Они безобразны и подбавляют к этому еще глупость. Они повторяют каламбуры Тьерселена и Потье, ходят в сюртуках, которые сидят на них мешком, носят жилеты из грубого сукна, сапоги из грубой кожи. А разговор их вполне подходит к одежде. И у всех этих глупых юнцов есть политические убеждения! Следовало бы строго запретить иметь политические убеждения. Они фабрикуют системы, переделывают общество, уничтожают монархию, втаптывают в грязь все законы, делают чердак подвалом и моего портье королем! Они потрясают до основания всю Европу, перестраивают мир, а весь успех их у женщин ограничивается тем, что они любуются украдкой на икры прачек, когда те влезают на свои тележки! Ах, Мариус! Ах, бездельник! Кричать на площади! Спорить, обсуждать, принимать меры! Они называют это мерами, о великий боже! Беспорядок мельчает и становится ничтожным. Я видел хаос, я вижу кутерьму. Школьники будут толковать о национальной гвардии. Да это не видано и у краснокожих. Даже

дикари, которые ходят голыми, утыкают себе голову перьями, устраивая на ней что-то вроде волана, и держат в лапе дубину, — даже они не такие скоты, как эти бакалавры. Такие молокососы и корчат умников, высказывают свое мнение, исследуют, обсуждают! Это — конец света. Да, очевидно, приходит конец этому жалкому шару из земли и воды. Франция умирает, испускает последний вздох. Рассуждайте, болваны! Это будет продолжаться до тех пор, пока они будут читать газеты под арками Одеона. Они платят только один су, Но теряют при этом здравый смысл, понимание, сердце, душу, ум. А кончается тем, что бросают свои семьи! Все газеты — настоящая чума. Все, даже «Белое знамя». Ведь Мартенвиль был, в сущности, якобинцем. О, праведное небо! Ты можешь похвалиться тем, что довел до отчаяния своего деда!

— Это очевидно, — сказал Теодюль.

И, пользуясь тем, что Жильнорман на минуту остановился, чтобы перевести дыхание, улан

прибавил поучительным тоном:

— Следовало бы допустить только одну газету — «Монитор» и одну книгу — «Военный ежегодник».

— Все они такие же, как их Сийес, — снова начал Жильнорман. — Цареубийца, а потом сенатор! Этим кончают они все. Говорят друг другу «ты» и «гражданин», а зачем? Чтобы их потом называли «господин граф». Господин граф толщиною в руку, господа сентябрьские убийцы! Философ Сийес! Могу похвалиться, что никогда не придавал никакого значения философии этих философов. Я видел раз, как по набережной Малаке проходили сенаторы в мантиях из фиолетового бархата, усеянного пчелами, и в шляпах в стиле Генриха IV. Они были отвратительны. Настоящие обезьяны при дворе тигра! Граждане, объявляю вам, что ваш прогресс — безумие, ваша гуманность — мечта, ваша революция — преступление, ваша республика — чудовище, что ваша юная, девственная Франция выходит из публичного

дома! Я говорю это всем вам, кто бы вы ни были — публицисты, экономисты, законоведы, сторонники свободы, равенства и братства, даже более рьяные, чем нож гильотины! Вот мое мнение, друзья любезные!

— Черт возьми! — воскликнул поручик. — Как это глубоко и верно!

Жильнорман не закончил жест, который было начал, обернулся, пристально взглянул на Теодюля и сказал:

— Вы дурак!

Глава 188

Мариус в это время был красивым молодым человеком среднего роста, с густыми черными волосами, высоким умным лбом, широко открытыми страстными ноздрями, со спокойным, чистосердечным видом и выражением гордости, задумчивости и невинности в лице. Его профиль, все очертания которого были округлены, не теряя при этом твердости, отличался германской

мягкостью, проникшей во французский тип из Эльзаса и Лотарингии, и тем полным отсутствием угловатости, по которой было так легко узнать сикамбров среди римлян и которая отличает расу львиную от расы орлиной.

Для Мариуса наступила пора жизни, когда ум мыслящих людей состоит почти в равной мере из глубины и наивности. Очутившись в каком-нибудь серьезном положении, он мог оказаться несообразительным; еще минута, и он был на высоте положения. Он держал себя сдержанно, холодно, вежливо. Так как у него был красивый рот с ярко-красными губами и белыми зубами, то улыбка смягчала серьезное выражение его лица. В иные минуты странный контраст представляли его целомудренный лоб и чувственная улыбка. У него были небольшие глаза, но глубокий взгляд.

В то время как Мариус испытывал самую крайнюю нужду, он не раз замечал, что молодые девушки оглядываются на него, когда он проходит мимо. И он с мукой в сердце спешил ускользнуть или спрятаться, так как думал, что

они глядят на его старое платье и смеются над ним. На самом же деле они заглядывались на его красивое лицо и мечтали о нем.

Это немое недоразумение между ним и хорошенькими девушками, с которыми он встречался, сделало его нелюдимым. Он не выбрал ни одной из них по той простой причине, что бегал от всех. Так и жил он, Не зная любви, — жил «по-дурацки», по выражению Курфейрака.

— Не будь таким почтенным философом, — говорил ему Курфейрак; они были на «ты», как всегда бывают друзья в молодости. — Вот тебе мой совет, любезный друг: читай поменьше книг и поглядывай хоть изредка на хорошеньких болтушек. В этих плутовках много хорошего, о Мариус! Если ты будешь только краснеть да бегать от них, ты отупеешь.

Иногда Курфейрак, встречаясь с ним, говорил:

— Здравствуйте, господин аббат.

После таких выходок Курфейрака Мариус целую неделю еще старательнее избегал всех женщин, старых и молодых, избегал, кроме того, и самого Курфейрака.

Впрочем, во всей обширной вселенной были две женщины, от которых Мариус не бегал и которых не опасался. Он даже удивился бы, если бы ему сказали, что это женщины. Одна из них была бородатая старуха, убиравшая его комнату. «Видя, что его служанка отпускает бороду, — говорил Курфейрак, — Мариус бреет свою». Другая была девочка-подросток, которую он видел часто, но на которую не обращал никакого внимания. Уже больше года заметил Мариус в одной из самых пустынных аллей Люксембургского сада, тянувшейся вдоль ограды Питомника, мужчину и девочку, которые всегда сидели рядом на одной и той же скамье, в самом уединенном конце аллеи, около Западной улицы. Каждый раз как случай, всегда вмешивающийся в прогулки людей, взор которых обращен внутрь, приводил Мариуса в эту аллею, что бывало почти каждый день, он находил здесь эту пару.

Мужчине было на вид лет шестьдесят, он казался печальным и серьезным. По мужественной фигуре и утомленному виду его можно было принять за отставного военного. Будь на нем орден, Мариус сказал бы: «Это отставной офицер». Несмотря на доброе лицо, в нем было что-то неприступное, и сам он никогда не смотрел ни на кого. Он носил синие панталоны, синий редингот и широкополую шляпу, — все это всегда выглядело новым, с иголочки, — черный галстук и квакерскую рубашку, то есть ослепительно-белую, но из толстого полотна. Какая-то гризетка, проходя мимо него, сказала: «Вот чистенький вдовец!» У него были совсем белые волосы.

В первый раз как сопровождавшая старика девочка уселась с ним на скамью, которую они выбрали, ей было лет тринадцать или четырнадцать. Это была неловкая, невзрачная девочка, худая до того, что казалась некрасивой, только одни глаза были у нее недурны. Но они были всегда подняты с какой-то неприятной уверенностью. Одежда ее, старушечья и вместе с

тем детская, напоминала костюм монастырских воспитанниц; она носила неловко сшитое черное мериносовое платье. Старик и девочка были, по-видимому отец и дочь.

В первые два-три дня Мариус вглядывался в этого старого мужчину, которого еще нельзя было назвать дряхлым, и в эту девочку, которую нельзя было назвать девушкой, а потом перестал обращать на них внимание. Они с своей стороны, казалось, тоже совсем не замечали его и спокойно, равнодушно разговаривали между собою. Девочка то и дело принималась весело болтать. Старик говорил мало и по временам останавливал на ней взгляд, полный невыразимой отеческой нежности.

Мариус как-то машинально привык гулять по этой аллее. Он каждый раз видел их тут. Вот как это происходило. Мариус чаще всего начинал свою прогулку с конца аллеи, противоположного тому, где стояла их скамья. Дойдя до нее, он проходил мимо них, затем поворачивал назад, возвращался к тому месту, с которого вышел, и

начинал сначала. Он проходил аллею во всю длину пять-шесть раз во время прогулки, а гулял он здесь пять-шесть раз в неделю. Но ни разу не случалось ему обменяться даже поклоном с этими людьми.

Несмотря на то, что старик и девочка, казалось, избегали посторонних взглядов, а может быть, именно благодаря этому они обратили на себя внимание нескольких студентов, иногда гулявших по этой аллее; прилежные приходили сюда после лекций, ленивые — после партии на бильярде. Курфейрак, принадлежавший к числу этих последних, в первое время наблюдал за ними; но так как девушка показалась ему дурнушкой, то он скоро удалился. Он бежал, как парфянин, придумав для них прозвище. Ему больше всего бросился в глаза цвет платья девочки и волос старика, и он прозвал их мадемуазель Ленуар {Черный (фр.).} и господин Леблан {Белый (фр.).}. Так как фамилии их никто не знал, то это прозвище и осталось за ними.

— А, господин Леблан уже сидит на своей скамье! — говорили студенты.

Мариус, как и остальные, называл старика господином Лебланом.

Мы для удобства последуем его примеру и тоже будем называть его так.

В продолжение первого года Мариус видел эту пару почти каждый день в один и тот же час. Старик нравился ему, девочка казалась довольно неприятной.

Глава 189

На второй год, как раз в то время, до которого мы довели наш рассказ, Мариус, сам хорошо не зная почему, перестал ходить в Люксембургский сад. Около полугода он ни разу не заходил в свою аллею. Но вот однажды он решил вновь пойти туда. Было ясное летнее утро, и Мариус был весел, как бываем мы все в хорошую погоду. Ему казалось, что у него в сердце звучит все пение

птиц, которое он слышит, заключается вся лазурь неба, которую он видит сквозь зелень деревьев.

Он направился прямо в «свою аллею» и, дойдя до конца ее, увидал все на той же скамье знакомую пару. Но когда он подошел ближе, оказалось, что старик остался все тот же, но девочка стала совсем другой. Перед ним было высокое, прекрасное создание, обладающее прелестными формами женщины в ту пору, когда они еще соединяются с наивной грацией ребенка, — пору чистую и мимолетную, которая выражается в этих двух словах: пятнадцать лет. У нее были великолепные каштановые волосы с золотистым отливом, лоб, как бы изваянный из мрамора, щеки, точно лепестки розы, нежный румянец, прелестный рот, улыбка которого сияла, как луч, а слова звучали, как музыка, головка, которую Рафаэль взял бы моделью для Мадонны, шея, которую Жан Гужон взял бы для Венеры. И этому прелестному лицу придавал еще больше очарования не прекрасный, а хорошенький нос; он не был ни прямой, ни орлиный, ни итальянский, ни греческий — это был парижский

нос, то есть нечто умное, лукавое и неправильное, приводящее в отчаяние художника и очаровывающее поэта.

Проходя мимо, Мариус не мог видеть ее глаз, так как они были опущены. Он видел только ее длинные каштановые, стыдливо опущенные ресницы.

Это не мешало прекрасной девушке улыбаться, слушая седого старика, говорившего ей что-то, и трудно было найти что-нибудь очаровательнее этой свежей улыбки с опущенными глазами.

В первую минуту Мариус подумал, что это другая дочь старика, вероятно, сестра прежней девочки. Но когда он, как всегда во время прогулки, подошел к скамейке во второй раз и внимательно взглянул на девушку, оказалось, что это та же самая. В какие-нибудь шесть месяцев девочка превратилась в девушку. Такие превращения случаются очень часто. Наступает минута, и девушки распускаются в одно

мгновение и становятся розами. Вчера вы оставили их детьми, сегодня они волнуют вас.

Эта девушка не только выросла, но и приобрела одухотворенность. Как в апреле для некоторых деревьев достаточно трех дней, чтобы покрыться цветами, так и для нее достаточно было шести месяцев, чтобы облечься красотой. Ее апрель наступил.

Случается, что люди бедные, скромные вдруг как бы пробуждаются, переходят внезапно от нужды к роскоши, тратят деньги направо и налево, становятся блестящими, расточительными, великолепными. Дело в том, что они получили свою ренту; вчера был срок платежа. И эта девушка получила свою полугодовую ренту.

Вдобавок это была уже не пансионерка в плюшевой шляпке, мериносовом платье, башмаках школьницы и с красными руками. Вкус ее развился вместе с красотой. Она была прекрасно одета, изящно, богато, но просто. На ней было черное шелковое платье, такая же

накидка и белая креповая шляпа. Белые перчатки обтягивали ее узенькие ручки, в которых она вертела ручку зонтика из китайской слоновой кости, шелковый башмачок обрисовывал ее маленькую ножку, и от всего ее костюма исходил проникающий аромат юности: это чувствовал всякий, проходивший мимо нее.

Что касается старика, то в нем не произошло никакой перемены.

Когда Мариус проходил мимо скамейки во второй раз, девушка подняла ресницы. У нее были глубокие, голубые, как небо, глаза, но в этой, как бы задернутой лазури был еще взгляд ребенка. Она взглянула на Мариуса так же равнодушно, как посмотрела бы на мальчика, бегающего под сикоморами, или на мраморную вазу, бросавшую тень на скамейку. И Мариус со своей стороны продолжал прогулку, думая о другом.

Он еще раз пять или шесть прошел мимо скамейки, на которой сидела молодая девушка, но ни разу даже не взглянул на нее.

В следующие дни он по-прежнему приходил в Люксембургский сад, по-прежнему видел «отца и дочь», но не обращал на них внимания. Он так же мало думал об этой девушке теперь, когда она стала прекрасной, как и в то время, когда она была некрасива. Он проходил около самой ее скамьи только потому, что это вошло у него в привычку.

Глава 190

В один прекрасный день, когда воздух был теплым, Люксембургский сад заливало игрою света и тени. Небо было чисто, как будто ангелы вымыли его утром, воробьи чирикали в густой зелени каштанов. Мариус раскрыл всю свою душу природе, он не думал ни о чем, он только жил и дышал. Когда он проходил мимо скамьи, молодая девушка подняла на него глаза, и их взгляды встретились.

Что было на этот раз во взгляде молодой девушки? Мариус не мог бы определить этого. В

нем не было ничего и было все. Он блеснул, как молния.

Девушка опустила глаза, а Мариус пошел дальше.

То, что он видел, был не наивный, простодушный взгляд ребенка; перед ним открылась и тотчас же замкнулась таинственная бездна.

Наступает день, когда каждая девушка смотрит так. Горе тому, на кого упадет такой взгляд.

Этот первый взгляд еще не сознающей себя души похож на зарю, загорающуюся в небе. Это пробуждение чего-то сверкающего и неизвестного. Ничто не передаст опасного очарования этого внезапного света, который смутно озаряет чудный мрак и заключает в себе всю невинность настоящего и всю страсть будущего. Это что-то вроде нерешительной нежности, которая неожиданно пробуждается и ждет. Это ловушка, которую невинность расставляет помимо воли и куда она заманивает

сердца, не желая и не сознавая этого. Это — девственница, которая смотрит, как женщина.

Редко случается, чтобы такой взгляд не вызвал глубокой мечтательности в том, на кого он упал. Вся чистота, вся непорочность заключается в этом небесном и роковом луче. Он могущественнее всех самых кокетливых взглядов и обладает волшебной силой, под влиянием которой в глубине души внезапно распускается тот таинственный, полный благоухания и яда цветок, который называется любовью.

Вечером, вернувшись в свою каморку, Мариус поглядел на свое платье и в первый раз заметил, что с его стороны было в высшей степени неопрятно и глупо гулять в Люксембургском саду в костюме «для каждого дела», то есть в поломанной шляпе, грубых, как у извозчика, сапогах, черных, побелевших на коленях панталонах и черном, потертом на локтях сюртуке.

Глава 191

На другой день, в обычный час, Мариус вынул из шкала свой новый сюртук, свои новые панталоны, свою новую шляпу и свои новые сапоги. Одевшись во все эти доспехи, он натянул перчатки — неслыханная роскошь! — и пошел в Люксембургский сад.

По дороге ему встретился Курфейрак, но он сделал вид, будто не заметил его. Придя домой, Курфейрак сказал товарищам:

— Я встретил новую шляпу и новый сюртук Мариуса, а в них и его самого. Он, должно быть, шел на экзамен. У него был замечательно глупый вид.

Войдя в сад, Мариус обошел вокруг бассейна и посмотрел на лебедей, а потом долго стоял в созерцании перед статуей, у которой не хватало одного бедра, а голова совсем почернела от плесени. Около бассейна ему встретился буржуа лет сорока, с порядочным брюшком. Он держал за ручку мальчика лет пяти и говорил ему:

— Избегай крайностей, сын мой. Держись на одинаковом расстоянии от деспотизма и анархизма.

Мариус слушал, что говорил буржуа. Потом он еще раз обошел бассейн и, наконец, направился в «свою аллею», но медленно, как бы нехотя. Казалось, что-то удерживало и в то же время принуждало его идти. Но сам он не замечал ничего этого и думал, что держит себя, как всегда.

Войдя в аллею, он увидал на другом конце, на «их скамье», господина Леблана и его дочь. Мариус застегнул сюртук доверху, обтянул его сзади, чтобы не было складок, не без самодовольства взглянул на глянцеватые складки своих панталон и пошел на скамью. Это шествие походило на атаку, в нем, несомненно, была надежда на победу. А потому я и говорю: «Он пошел на скамью», как сказал бы про Ганнибала: «Он пошел на Рим».

Впрочем, Мариус проделывал все это машинально, причем течение его мыслей

нисколько не прерывалось. В эту самую минуту он думал, что «Руководство к экзамену на степень бакалавра» необыкновенно глупая книга, что ее, наверное, составляли замечательные кретины, так как в ней разбираются как образцовые произведения человеческого ума три трагедии Расина и только одна комедия Мольера. В ушах у него раздавался резкий звон. Приближаясь к скамье, он начал обтягивать сюртук, и глаза его устремились на молодую девушку. Ему казалось, что от нее исходит голубоватое сияние и заливает весь конец аллеи.

По мере того как он продвигался вперед, шаги его все больше и больше замедлялись. Приблизившись на некоторое расстояние к скамье, но еще далеко не дойдя до конца аллеи, он остановился и, сам не зная как, вдруг повернул назад. Он сделал это, совсем не думая, даже не сказав себе, что не дойдет до конца. Молодая девушка едва ли могла рассмотреть его издали и заметить, каким молодцом смотрится он в своем новом платье. Но он все-таки старался держаться как можно прямее, чтобы иметь

бодрый вид на случай, если бы кто-нибудь стал смотреть на него сзади.

Он дошел до противоположного конца аллеи, повернул назад и на этот раз подошел немножко ближе к скамье. Ему даже удалось дойти довольно далеко — до скамьи осталось только три дерева с промежутками между ними, — но тут он вдруг почувствовал, что не может идти дальше. Ему показалось, что молодая девушка нагнулась в его сторону. Он сделал страшное усилие и продолжал идти вперед. Через несколько секунд он прошел мимо скамейки, прямой, твердый, красный до ушей, не решаясь взглянуть ни направо, ни налево, засунув руку за борт сюртука, как какой-нибудь государственный человек.

В ту минуту как он проходил мимо самого опасного места, сердце его страшно забилось. Она была, как и накануне, в шелковом платье и креповой шляпе. Он услышал чудный голос — «ее голос». Она спокойно разговаривала с отцом. Она была очень хорошенькая. Он

чувствовал это, хоть не пробовал взглянуть на нее.

«Она, наверное, отнеслась бы ко мне с уважением, — думал он, — если бы знала, что я автор рассуждения о «Маркосе Обрегоне де ла Ронда», которое Франсуа де Нёфшато выдал за свое и поместил в предисловии к своему изданию «Жильблаза».

Он дошел до конца аллеи, который был почти около самой скамейки, потом повернул назад и снова прошел мимо прелестной девушки. На этот раз он был очень бледен. В сущности он испытывал только самые неприятные ощущения. Он шел, удаляясь от скамьи и молодой девушки, и, будучи к ней спиной, надеялся, что она смотрит на него, и потому начал спотыкаться.

Он не пытался подойти к скамье еще раз. Остановившись на середине аллеи, он — чего с ним до сих пор никогда не случалось — сел и, посматривая в сторону, задумался. Не может же быть, чтобы люди, черным платьем и белой шляпкой которых он восхищается, остались

совершенно нечувствительными к его блестящим панталонам и новому сюртуку!

Через четверть часа он встал, как бы собираясь идти к окруженной ореолом скамье. Но он стоял нерешительно, не двигаясь с места. В первый раз за все пятнадцать месяцев ему пришло в голову, что господин, сидевший тут каждый день со своей дочерью, наверное, обратил на него внимание и находит странным его постоянные прогулки по этой аллее.

В первый раз он также счел непочтительным назвать этого старика даже мысленно тем прозвищем, которое дал ему Курфейрак. Несколько минут стоял Мариус, опустив голову и чертя на песке узоры тросточкой, которую держал в руке.

Потом он вдруг повернул в сторону, противоположную скамье, Леблану и его дочери, и пошел домой.

В этот день он забыл пообедать. Только в восемь часов вечера Мариус вспомнил об обеде, но так как было уже слишком поздно идти на

улицу Сен-Жак, то он сказал: «Пустяки!» — и съел кусок хлеба.

Прежде чем лечь в постель, Мариус вычистил свое платье и аккуратно сложил его.

Глава 192

На другой день старуха-дворничиха, приходящая прислуга — главная жилица лачуги Горбо, госпожа Бугон, или Мам Бугон, как прозвал ее ничего не уважающий Курфейрак, с изумлением заметила, что господин Мариус опять ушел из дома в новом платье.

Он отправился в Люксембургский сад, но дошел только до половины аллеи. Здесь он сел, как и накануне, на свою скамью и стал смотреть издали на белую шляпку, черное платье и голубое сияние; все это он видел ясно, а в особенности сияние. Он не тронулся с места и не пошел домой до тех пор, пока не стали запирать ворота сада. Он не видел, как ушли Леблан и его дочь. Из этого он заключил, что они прошли в другие

ворота, выходящие на Западную улицу. Когда впоследствии, спустя несколько недель, ему вспоминался этот день, он никак не мог припомнить: обедал он вечером или нет.

На следующий день — это был уже третий — Мам Бугон была снова поражена, как громом: Мариус опять ушел в своем новом платье.

— Три дня подряд! — воскликнула она.

Она попробовала было пойти за ним, но Мариус шел так быстро и делал такие огромные шаги, что она очутилась в положении бегемота, преследующего верблюда. Через какие-нибудь две минуты она уже потеряла его из вида и вернулась домой запыхавшаяся, чуть не задохнувшаяся и страшно рассвирепевшая.

— Надевать каждый день новое платье и заставлять бегать за собой, — ворчала она, — разве есть в этом хоть какой-нибудь смысл?

А Мариус снова пошел в Люксембургский сад.

Молодая девушка была там с Лебланом. Делая вид, что читает книгу, Мариус подошел к ним насколько мог ближе, что в сущности было еще очень далеко, и затем вернулся к своей скамье. Тут он просидел целых четыре часа, смотря на прыгающих по аллее воробьев, которые, казалось ему, подсмеивались над ним.

Так прошло две недели. Мариус ходил в Люксембургский сад не для того, чтобы гулять, а чтобы сидеть там, неизвестно зачем, на одной и той же скамье. Усевшись на нее, он уже не трогался с места. Каждое утро надевал он свое новое платье, чтобы посидеть в нем, никому не показываясь, а на другой день принимался за то же.

Молодая девушка была на самом деле очень красива. Единственное критическое замечание, которое можно было сделать относительно ее наружности, состояло в том, что контраст между ее грустным взглядом и веселой улыбкой придавал ее лицу несколько странное выражение. И в иные минуты это нежное личико, оставаясь

все таким же прелестным, становилось странным.

Глава 193

В один из последних дней второй недели Мариус сидел, как всегда, на своей скамье, держа в руке развернутую книгу, в которой в течение двух часов не перевернул ни одной страницы. Вдруг он вздрогнул. Необыкновенное событие произошло на конце аллеи. Леблан и его дочь встали со своей скамейки; дочь взяла отца под руку, и они тихо пошли к середине аллеи, к тому месту, где сидел Мариус. Он закрыл книгу, снова открыл ее, старался читать. Он дрожал. Сияние шло прямо к нему.

«О господи! — думал он. — Я ни за что не успею принять красивую позу!»

Между тем старик и молодая девушка приближались. Мариусу то казалось, что прошел целый век, то — что промелькнула только одна секунда.

«Зачем они идут сюда? — спрашивал он себя. — Как? Она пройдет здесь? Ее ножки будут ступать по этому песку, по этой аллее, в двух шагах от меня!»

Он совсем потерялся. Ему хотелось быть очень красивым, хотелось, чтобы у него на груди был крест. Он слышал, как приближался тихий, мерный звук их шагов. Ему казалось, что Леблан бросает на него яростные взгляды.

«Неужели он заговорит со мной?» — думал Мариус.

Он опустил голову, а когда поднял ее, они были около самой его скамейки. Молодая девушка прошла мимо и, проходя, подняла на него глаза. Она взглянула на него пристально, с задумчивой кротостью. Мариус вздрогнул всем телом. Ему показалось, что она упрекает его за то, что он так долго не подходил к ней, и говорит ему: «Я пришла сама». Ее глаза, лучистые, ослепили его. Голова его пылала. Она пришла к нему — какое счастье! И как она посмотрела на него!

Теперь она была еще красивее, чем когда-либо прежде. Она была прекрасна женственной и ангельской красотой, красотой идеальной, которую воспел бы Петрарка и перед которой преклонил бы колени Данте. Мариус утопал в блаженстве, но в то же время страшно досадовал, что у него была пыль на сапогах. Он был уверен, что она посмотрела на сапоги. Он следил за ней глазами до тех пор, пока она не пропала из вида. Потом он стал метаться по саду, как безумный. Очень возможно, что минутами он смеялся и разговаривал громко сам с собою. У него был такой восторженный вид, когда он проходил мимо нянек, гулявших с детьми, что каждая из них вообразила, что он влюблен в нее.

Он вышел из сада, надеясь найти молодую девушку на улице.

Встретившись под аркадами Одеона с Курфейраком, он сказал ему:

— Иди со мной обедать.

Они отправились к Руссо и истратили шесть франков. Мариус ел за двоих. Он дал шесть су

гарсону. За десертом он сказал Курфейраку:

— Читал ты газеты? Какую прекрасную речь сказал Обри де Пюираво!

Он был влюблен до безумия.

После обеда Мариус предложил Курфейраку идти в театр.

— Плачу я, — прибавил он.

Они отправились в театр Порт-Сен-Мартен смотреть Фредерика в «Адретской гостинице». И Мариус отлично повеселился.

Вместе с тем его дикость усилилась еще больше. Выходя из театра, он отказался взглянуть на подвязку модистки, которая перепрыгивала через канавку, а когда Курфейрак сказал: «Я был бы не прочь присоединить эту женщину к своей коллекции», — он пришел в ужас.

Курфейрак пригласил его завтракать на другой день в кафе Вольтер. Мариус пришел и ел еще больше, чем накануне. Он был задумчив, но очень весел, и пользовался каждым удобным случаем похохотать. Когда ему представили

какого-то провинциала, он очень нежно обнял его. Студенты уселись в кружок около стола. Сначала толковали о глупостях, которые произносятся с кафедры Сорбонны и оплачиваются государством, потом заговорили об ошибках и пробелах в словарях и рапсодиях Кишера. Вдруг Мариус прервал разговор, воскликнув:

— А ведь, право же, приятно иметь орден!

— Вот так потеха! — шепнул Жану Пруверу Курфейрак.

— Совсем нет, — отвечал Жан Прувер. — Это очень серьезно.

И это было на самом деле очень серьезно. Для Мариуса наступила та восторженная и чудная пора, которая служит предвестником великой страсти. Все это сделал один взгляд. Это вполне естественно, когда мина заряжена и готова взорваться. Взгляд — это искра. Все было кончено. Мариус любил женщину. Его судьба вступала в область неизвестного.

Взгляд женщины похож на некоторые машины, на вид спокойные, на самом деле грозные. Каждый день вы проходите мимо них, мирно, безнаказанно, доверчиво. Наступает минута, когда вы даже совсем забываете, что эти машины стоят тут. Вы ходите то туда, то сюда, думаете, говорите, смеетесь. И вдруг чувствуете, что вас что-то захватило. И все кончено. Колеса держат вас, взгляд захватил вас. Все равно, как и почему это сделалось, но вы во всяком случае погибли. Машина втянет вас всего. Сцепление таинственных сил овладевает вами. Тщетно боретесь вы; никакая человеческая помощь уже невозможна для вас. Вас втягивает все дальше и дальше, вы переходите от одного мучения к другому, от одной пытки к другой — вы сами, ваш ум, ваше счастье, ваше будущее, ваша душа. И смотря по тому, попадете ли вы во власть злой женщины или благородного сердца, вы выйдете из этой ужасной машины или обезображенным стыдом, или же преображенным страстью.

Глава 194

Уединение, отчуждение от всего, гордость, независимость, любовь к природе, отсутствие постоянной работы для добывания средств к жизни, самоуглубление, тайная борьба целомудрия, экстаз перед всем творением, — все это подготовило Мариуса к тому, что называется страстью. Его преклонение перед отцом мало-помалу перешло в культ и, как всякая религия, укрылось в глубине души. Нужно было еще что-нибудь на первый план. И пришла любовь.

В продолжение целого месяца Мариус ходил каждый день в Люксембургский сад. Когда наступал известный час, ничто не могло удержать его. «Он дежурит», — говорил Курфейрак.

А Мариус блаженствовал. Он убедился, что молодая девушка смотрит на него.

Мало-помалу он стал смелее и начал подходить к скамье. Но теперь он уже никогда не проходил мимо: его удерживала инстинктивная робость и осторожность влюбленных. Он считал

благоразумным не привлекать внимания «отца». С глубоким макиавеллизмом рассчитывал он свои позиции за деревьями и пьедесталами статуй и всегда становился так, чтобы дочь могла его видеть как можно больше, а старик как можно меньше. Иногда он по получасу стоял неподвижно в тени какого-нибудь Леонида или Спартака, держа в руке открытую книгу. А глаза его смотрели поверх и искали очаровательную девушку, которая со своей стороны с неопределенной улыбкой поворачивалась к нему своим прелестным профилем. Совершенно спокойно и непринужденно разговаривая со стариком, она устремляла на Мариуса свой девственный и страстный взгляд. Старинная уловка, которую знала уже Ева с первого дня творения и которую знает всякая женщина с первого дня своей жизни. Губы ее отвечали одному, глаза — другому.

Нужно, однако, думать, что Леблан начал наконец замечать кое-что, потому что часто, когда Мариус приходил, он вставал и начинал прохаживаться. Он оставил свое привычное

место и стал садиться на скамейку на другом конце аллеи, около Гладиатора, как будто с тем, чтобы посмотреть, последует ли за ними Мариус. И Мариус сделал эту ошибку, не поняв цели старика. «Отец» начал приходить в сад неаккуратно и теперь уже не каждый день приводил сюда «дочь». Иногда он являлся один. В таком случае Мариус тотчас же уходил. Это была другая ошибка.

Мариус не замечал этих признаков. Фаза робости естественным и роковым путем сменилась в нем фазой ослепления. Любовь его росла. Он видел молодую девушку во сне каждую ночь. К тому же ему выпало на долю неожиданное счастье, которое подействовало на его страсть, как масло на огонь, и еще больше затуманило его глаза. Раз в сумерках он нашел на скамье, с которой только что встали г-н Леблан и его дочь, носовой платок, совсем простой, без вышивки, но белый и тонкий; ему казалось, что от него исходит какое-то чудное благоухание. Он с восторгом схватил его. На нем была метка «У. Ф.». Мариус не знал ничего об очаровательной

девушке, не знал ни ее фамилии, ни семьи, ни квартиры. Эти две буквы — эти чудные инициалы дали ему первое сведение о ней, и он тотчас же воздвигнул на них целое здание догадок. «У» — это первая буква ее имени. «Наверное, Урсула! — подумал он. — Какое восхитительное имя!» Он целовал платок, вдыхал его аромат, клал его к сердцу днем, а ночью, засыпая, прижимал в губам.

— Я как будто чувствую ее душу! — восклицал он.

Это был платок старика, попросту выронившего его из кармана.

После своей находки Мариус показывался в Люксембургском саду не иначе как с платком в руке, который он то целовал, то прижимал к сердцу. Молодая девушка не понимала, что это значит, и чуть заметными знаками выказывала ему свое недоумение.

«О, стыдливость!» — думал Мариус.

Глава 195

Так как мы употребили слово «стыдливость» и притом не скрывае ничего, то должны сказать, что однажды, несмотря на все восторги Мариуса, «его Урсула» не на шутку рассердила его. Это случилось в один и тех дней, когда она заставляла Леблана вставать со скамьи и ходить по аллее. Дул довольно сильный весенний ветер, колебавший верхушки платанов. Отец и дочь прошли под руку мимо скамьи Мариуса. Он встал, когда они прошли, и следил за ними взглядом, как приличествовало человеку в его положении, совсем потерявшему голову от любви.

Вдруг порыв ветра, более шаловливый, чем другие, и как раз подходящий для весны, вылетел из Питомника, понесся по аллее, охватил молодую девушку восхитительным трепетом, достойным нимф Виргилия и фавнов Феокрита, и приподнял ее платье — платье священное, как покрывало Изиды, — почти до самых подвязок. Открылась ножка прелестной формы. Мариус

увидел ее. Это страшно раздражило его и привело в ярость.

Молодая девушка божественно пугливым движением поспешно опустила платье, но он тем не менее был возмущен. Положим, в аллее, кроме него, не было ни души. Ну а что, если бы тут был еще кто-нибудь. Только представьте себе такую вещь! Ведь это ужасно, что она сделала!

Увы! Бедная девушка ничего не сделала. Тут был лишь один виновный — ветер, но Мариус, в котором пробудился Бартоло, таящийся в Керубино, решился быть недовольным и ревновал к своей тени. Так действительно пробуждается в человеческом сердце и охватывает его даже без всякого основания мучительная и странная ревность плоти. Впрочем, даже помимо ревности, вид этой прелестной ножки не доставил ему никакого удовольствия; ему было бы приятнее взглянуть на белый чулок первой попавшейся женщины.

Когда его «Урсула», дойдя до конца аллеи, повернула с Лебланом назад и прошла мимо

скамьи, на которую снова сел Мариус, он бросил на молодую девушку угрюмый и свирепый взгляд. В ответ на это она слегка откинула голову и приподняла брови, как бы спрашивая: «Ну, в чем же дело?»

Это была их первая ссора.

Только успел Мариус проделать эту сцену при помощи глаз, как кто-то пересек аллею. Это был сгорбленный, весь в морщинах, седой как лунь инвалид в мундире времен Людовика XV, с овальной нашивкой из красного сукна, на которой перекрещивались два меча — солдатский орден святого Людовика. Кроме того, инвалид был украшен серебряным подбородком и деревянной ногой, а один рукав его мундира висел пустой.

Мариусу показалось, что у этого солдата был необыкновенно довольный вид. Ему даже представилось, что старый циник, ковыляя иимо него, весело и дружески подмигнул ему, как будто случай сблизил их и они насладились вместе чем-нибудь приятным. Чему же так радуются эти развалины Марса? Что общего между этой

деревянной ногой и ногой другой? Ревность Мариуса разгорелась еще больше. «Может быть, он был тут, — подумал он. — Может быть, он видел!» И ему хотелось уничтожить этого инвалида.

Но время притупляет всякое острие. Как ни справедлив, как ни законен был гнев Мариуса на Урсулу, он мало-помалу прошел. Мариус простил; но это стоило ему больших усилий. Он дулся на молодую девушку целых три дня.

Однако, несмотря на все это и благодаря всему этому, страсть его росла и становилась безумной.

Глава 196

Читатель знает, как Мариус открыл или вообразил, будто открыл, что «ее» зовут Урсулой.

Чем больше любишь, тем больше хочется любить. Знать, что ее зовут Урсулой, казалось сначала так много; потом этого стало слишком мало. В три-четыре недели Мариус поглотил это

блаженство; ему захотелось еще чего-нибудь. Ему нужно было знать, где она живет.

Его первая ошибка состояла в том, что он попал в ловушку около скамьи Гладиатора. Вторая — в том, что он не оставался в саду, когда Леблан приходил туда один. Наконец теперь он сделал и третью, громаднейшую, — он пошел из сада вслед за Урсулой.

Она жила на Западной улице, в самой глухой части ее, в новом трехэтажном доме скромного вида.

С этой минуты к счастью, которое испытывал Мариус, видя ее в Люксембургском саду, прибавилось еще счастье — провожать ее до дома. Он становился все ненасытнее. Он знал, как ее зовут, знал если не фамилию, то по крайней мере хоть ее имя, имя прелестное, самое подходящее для женщины; он знал, где она живет. Теперь ему захотелось узнать, кто она.

Однажды вечером, проводив Леблана с дочерью до самого дома и подождав, пока они

скрылись под воротами, Мариус вошел вслед за ними и смело спросил у портье:

— Это вернулся господин, живущий в первом этаже?

— Нет, это жилец третьего этажа.

Еще один шаг вперед. Этот успех ободрил Мариуса.

— Его квартира окнами на улицу? — спросил он.

— Конечно, — отвечал портье. — В этом доме все квартиры выходят окнами на улицу.

— Чем же занимается этот господин? — снова спросил Мариус.

— Он — рантье, человек очень добрый и много помогает бедным, хоть сам не богат.

— А как его фамилия? — продолжал свои расспросы Мариус. Портье поднял голову.

— Уж не шпион ли вы? — в свою очередь спросил он.

Мариус ушел довольно сконфуженный, но в полном восторге. Он продвигался вперед.

«Отлично, — думал он, — я знаю, что ее зовут Урсулой, что она дочь рантье и живет в третьем этаже вон того дома на Западной улице».

На следующий день Леблан и его дочь очень недолго пробыли в Люксембургском саду. Они ушли оттуда еще задолго до сумерек. Мариус, как всегда, последовал за ними до самого дома. Дойдя до ворот, Леблан пропустил дочь вперед, а потом остановился, обернулся назад и пристально взглянул на Мариуса.

На другой день Леблан и его дочь не пришли в сад, и Мариус напрасно прождал их до самого вечера.

Когда стемнело, он отправился на Западную улицу. Окна в третьем этаже были освещены. И он прохаживался под этими окнами до тех пор, пока не погас огонь. На следующий день Леблан и его дочь опять не пришли в сад. Мариус ждал их весь день, а потом пошел на ночное дежурство под окнами. Он ходил около дома до десяти часов

вечера, ему было уже не до обеда. Горячка питает больного, любовь — влюбленного.

Так прошло восемь дней. Леблан и его дочь не показывались больше в Люксембургском саду. Мариус терялся в разных грустных догадках. Он не осмеливался сторожить у ворот днем и только с наступлением вечера приходил созерцать красноватый свет в окнах. Иногда он видел, как там мелькали какие-то тени, и сердце его усиленно билось.

Когда он на восьмой день пришел к дому, в окнах не было света.

«Что это значит? — подумал он. — Почему они не зажигают лампы? Ведь уже совсем стемнело. Или они, может быть, ушли куда-нибудь?»

Он ждал их до десяти часов, до полуночи, до часа ночи. На третьем этаже не зажигали огня, и никто не входил в дом. Мариус ушел мрачный.

На следующий день — он жил теперь только следующими днями, сегодня как бы не

существовало для него, — на следующий день их снова не было в Люксембургском саду, что, впрочем, не было для него неожиданностью. В сумерки он пошел к их дому и увидел неосвещенные окна с опущенными жалюзи. Во всем третьем этаже было темно.

Мариус постучал в ворота, вошел к портье и спросил:

— Дома жилец третьего этажа?

— Он переехал.

Мариус пошатнулся и прошептал:

— Когда?

— Вчера.

— Где живет он теперь?

— Не знаю.

— Разве он не оставил своего адреса?

— Нет.

Портье поднял голову и узнал Мариуса.

— А, это вы! — воскликнул он. — Да вы, как кажется, в самом деле шпион.

Глава 197

Во всех человеческих обществах есть то, что называется в театре преисподней. Под социальной почвой всюду существуют подкопы, то для добра, то для зла. Они лежат один под другим. Есть верх и низ в этом темном подземелье, которое иногда обрушивается под цивилизацией и которое мы в нашем равнодушии и нашей беспечности попираем ногами. В прошлом веке «Энциклопедия» была подкопом, подведенным чуть не под открытым небом. Тьма, среди которой зрело первобытное христианство, ждала только случая, чтобы вспыхнуть при цезарях и залить светом весь род человеческий. Ибо в священной тьме таится скрытый свет. Вулканы полны мрака, ежеминутно готового вспыхнуть. Всякая лава бывает сначала тьмою. Катакомбы, в которых служили первую обедню,

были не только подземельем Рима, но и подземельем вселенной.

Под социальным строем, этим соединением роскоши и нищеты, существует много подземных ходов. Они разветвляются во все стороны, иногда встречаются и братаются между собою. Жан-Жак ссужает Диогену свою кирку, а тот ему свой фонарь. Иногда здесь происходит борьба. Кальвин хватает за волосы Содзини. Но ничто не останавливает и не прерывает напряжения всех этих энергий, их стремления к цели, их одновременной деятельности, которая идет вперед, направляется то в ту, то в другую сторону и медленно преобразовывает внешнее посредством внутреннего. Это гигантская тайная работа. Общество почти не подозревает о существовании этих подземных этажей. Что зарождается в этих социальных глубинах? Грядущий мир!

Чем глубже спускаешься вниз, тем таинственнее становятся работники. До известной степени, которую социальный

философ умеет распознавать, работа хороша, ниже она сомнительна, еще ниже она становится ужасной. На известной глубине дух цивилизации уже не проникает в подземные ходы, граница, где может дышать человек, пройдена, здесь становятся возможны чудовища.

Идущая вниз лестница имеет странный вид. Каждая ее ступенька соответствует этажу, где может основаться философия и где встречаются ее труженики, иногда прекрасные, иногда уродливые. Ниже Яна Гуса находится Лютер, ниже Лютера — Декарт, ниже Декарта — Вольтер, ниже Вольтера — Кондорсэ, ниже Кондорсэ — Робеспьер, ниже Робеспьера — Марат, ниже Марата — Бабеф, властитель дум бедняцкого Парижа. Еще ниже, на границе, отделяющей неясное от невидимого, смутно виднеются другие, может быть еще не существующие, мрачные фигуры. Вчерашние люди — призраки, завтрашние — личинки. Умственное око смутно различает их. Зарождение Будущего — вот одно из видений философа,

созерцающего работу этой эмбриональной сферы.

Новый сияющий мир в состоянии утробного плода — какое неслыханное зрелище!

Хотя невидимая цепь и соединяет всех этих подземных пионеров нового мира, которые не сознают этого и почти всегда считают себя одинокими, но работа их очень различна, и свет одних представляет контраст с мерцанием других. Одни — существа высокие, другие — трагические. У одних в глазах — свет, у других — мрак.

И, невзирая на этот контраст, все эти созидатели нового мира, от самых возвышенных и до тех, кто работает в ночном мраке, от мудрецов до безумцев, — все они имеют общий признак — бескорыстие. Марат также забывал о себе, как Иисус. Они все пренебрегают своей личностью. Они о себе не помышляют. Они заняты другими вещами. Они устремляют взгляды к «совершенному миру». Первый видит небо перед собою, а загадочный взор другого

таит еще бледный свет бесконечности. Чтите их, что бы они ни делали, узнавайте их по их признаку: звездное сияние глаз.

Мрак во взоре — дурной признак. С него начинается зло. Трепещите перед тем, у кого нет ясности во взгляде.

Но под всеми ходами, под всеми галереями, под всей этой подземной венозной системой прогресса и утопии, еще глубже в земле, ниже Марата, ниже Бабефа, еще ниже, гораздо ниже и без всякого сообщения с верхними ярусами, лежит последний подкоп. Место страшное. Это то, что мы назвали преисподней. Это яма мрака. Это подземелье слепых. Inferi {Преисподняя (лат.).}.

Оно сообщается с бездной.

Глава 198

Тут бескорыстие исчезает. Тут смутно обрисовывается демон, каждый думает только о себе. Безглазое «я» воет, ищет, ощупывает,

грызет. Социальный Уголино скрывается в этой бездне.

Свирепые, бродящие в этой пропасти фигуры — не то звери, не то призраки — не думают о всемирном прогрессе; они даже не знают ни этой идеи, ни самого слова, и заботятся лишь об удовлетворении своих личных потребностей. Они действуют почти бессознательно и как-то страшно обезличиваются.

У них две матери или, вернее, две мачехи — нищета и невежество; их единственный руководитель — нужда, единственное стремление — удовлетворение потребностей. Они зверски прожорливы, иначе говоря, свирепы, но не как люди, а как тигры. От страдания они переходят к преступлению, роковое сцепление — логика мрака. В преисподней пресмыкается уже не подавленное стремление к абсолютному, а протест материи. Человек становится драконом. Голод, жажда — вот точка отправления, а

превращает в Сатану — результат. Из этого подземелья выходит страшный убийца Ласенер.

Мы уже видели в книге четвертой одно из отделений верхнего подземелья. Этот огромный политический подкоп — революционный и философский. Там, конечно, возможны ошибки, и они бывают. Но и сами заблуждения происходят от хороших побуждений. Совокупность работ, производимых там, носит имя «Прогресс».

Заглянем теперь в другие глубины, глубины отвратительные.

Под обществом есть и будет до тех пор, пока не рассеется мрак невежества, громадный вертеп зла.

Этот вертеп лежит ниже всех подземных ходов и враг им всем. Его ненависть не знает исключений. Он не имеет понятия о философии. Его нож никогда не чинил пера. Его чернота не имеет ничего общего с чернотой чернильницы. Никогда пальцы этих невежественных людей, сжимающиеся под удушливым сводом, не перелистывали книги, не развертывали газеты.

Бабеф — эксплуататор с точки зрения Картуша, Марат — аристократ в глазах Шиндерганна. Разрушение всего — вот цель этого вертепа. Да, всего. Включая сюда и верхние мины, которые он проклинает. Он подкапывается под философию, науку, право, человеческую мысль, цивилизацию, прогресс. Это мрак, жаждущий хаоса, невежество служит ему сводом.

Но невежество, примешиваясь к человеческой массе, чернит ее. И эта несмываемая чернота проникает внутрь человека и становится злом.

Глава 199

Квартет, состоявший из разбойников Клаксу, Гельмера, Бабэ и Монпарнаса, управлял с 1830 по 1835 год третьим этажом парижского подвала.

Гельмер был настоящий Геркулес. Трущоба Арш-Марион служила ему берлогой. Он был шести футов ростом, обладал мраморной грудью, медными двуглавыми мышцами, дыханием, как из бочки, туловищем колосса и птичьим черепом.

При взгляде на него казалось, что видишь перед собою Геркулеса Фарнезского, одетого в панталоны из трико и плисовую куртку. При таком богатырском сложении Гельмер мог бы укрощать чудовищ; он нашел, что гораздо проще стать чудовищем самому. Низкий лоб, широкие виски с гусиными лапками, несмотря на то, что ему не было еще сорока лет, короткие, жесткие волосы, щетинистая борода — вот какова была наружность Гельмера. Мускулы его требовали работы, его тупость отказывалась от нее. Это была громадная, но ленивая сила. Он стал убийцей по беспечности. Его считали креолом. Он, по всей вероятности, был замешан в деле об убийстве маршала Брюна, так как в 1815 году был носильщиком в Авиньоне. После этого дебюта он сделался разбойником.

Воздушность Бабэ представляла резкий контраст с массивностью Гельмера. Бабэ был тощ и учен. Он был прозрачен, но непроницаем. Кости его просвечивали, но ничего нельзя было узнать по его глазам. Он выдавал себя за химика. Он был фокусником у Бабеша и фигляром у

Бобино. Он разыгрывал водевили в Сен-Мигиеле. Это был человек изобретательный, умевший красиво говорить, подчеркивавший свои улыбки, ставивший в кавычки свои жесты. Он промышлял тем, что продавал на улицах гипсовые статуэтки и портреты «главы государства». Кроме того, он вырывал зубы. Он показывал разные диковинки на ярмарках и был владельцем балагана с трубой и прибитым к нему объявлением: «Бабэ, артист-дантист, член академий, делает физические опыты над металлами и металлоидами, вырывает с корнем зубы, выдергивает обломки зубов, оставленные его коллегами. Плата: за один зуб — один франк пятьдесят сантимов, за два зуба — два франка, за три зуба — два франка пятьдесят сантимов. Пользуйтесь случаем». Это «пользуйтесь случаем» означало: вырывайте как можно больше зубов. У него была жена, были дети, но он не знал о них ничего. Он потерял их, как теряют носовой платок. Среди темных людей, к обществу которых принадлежал Бабэ, он представлял блестящее исключение — он читал

газеты. Раз, когда семья его еще жила с ним в его балагане на колесах, он вычитал в «Мессаже», что какая-то женщина родила здорового ребенка с телячьей мордой. «Вот счастье-то! — воскликнул он. — У моей жены не хватит ума родить мне такого ребенка!» Потом он бросил все, чтобы «приняться за Париж». Это его собственное выражение.

Что представлял из себя Клаксу? Он был олицетворением ночи. Он появлялся только с наступлением темноты. Вечером он выползал из своей норы, в которую снова скрывался еще до рассвета. Где была его нора? Никто этого не знал. Среди самой глубокой темноты он говорил со своими сообщниками не иначе как повернувшись к ним спиною. Действительно ли звали его Клаксу? Нет. Он говорил: "Мое имя: «Совсем нет». Если приносили свечу, он надевал маску. Он был чревовещателем. «Клаксу — двухголосая ночная птица», — говорил Бабэ. В Клаксу было что-то неопределенное, блуждающее, страшное. Никто не знал, есть ли у него имя, Клаксу было прозвище. Не знали точно, есть ли у него голос,

он говорил чаще животом, чем ртом. Не знали наверное, есть ли у него лицо: все видели только маску. Он исчезал, как призрак; он появлялся неожиданно, как будто из-под земли.

Монпарнас — юноша, еще не доживший до двадцати лет, представлял самое жалкое существо. У него было хорошенькое личико, губы, точно вишни, прелестные черные волосы, сияние весны в глазах. Он обладал всеми пороками и стремился ко всем преступлениям. Переваривая дурное, он желал еще чего-нибудь худшего. Это был гамен, превратившийся в воришку, и воришка, превратившийся в разбойника. Он был красив, изнежен, грациозен, силен, вял, жесток. Края его шляпы были приподняты с левой стороны, и из-под них виднелась пышная прядь волос по моде 1829 года. Он промышлял воровством и убийствами. Его редингот, хоть и потертый, был великолепного покроя. Монпарнас походил на модную картинку, но был беден и совершал убийства. Причиной всех преступлений этого юноши было желание иметь изящный костюм.

Первая гризетка, сказавшая ему: «Ты красавец!», заронила в его сердце первую дурную мысль и из этого Авеля сделала Каина. Сознавая себя красавцем, он желал быть щегольски одетым. Для того чтобы быть щеголем, нужна прежде всего праздность, а праздность для бедняка — преступление. Не многие бродяги наводили такой страх, как Монпарнас. Ему минуло только восемнадцать лет, а позади него было уже несколько трупов. Не один прохожий падал, раскинув руки, и оставался неподвижным, лежа ничком в луже крови, по милости этого негодяя. Завитый, напомаженный, с перетянутой талией, женскими бедрами, грудью прусского офицера; провожаемый восторженным шепотом бульварных женщин, с искусно повязанным галстуком, кастетом в кармане и цветком в петлице, вызывая шепот восторга бульварных женщин, — вот каков был франт этого вертепа.

Глава 200

Из этих четырех разбойников, взятых вместе, выходило что-то вроде Протея. Они увертывались от полиции, старались избегать нескромных взглядов Видока, принимая всевозможные образы, одалживали друг другу свои имена и хитрые уловки, прятались в своей собственной тени, отделывались от своей личности так же легко, как снимают фальшивый нос на маскараде, иногда сокращались до того, что все четверо казались одним существом, иногда увеличивались до такой степени, что сам Коко-Лакур принимал их за толпу.

Эти четыре человека не были четырьмя отдельными людьми. Они образовали что-то вроде одного таинственного четырехголового чудовища, дерзко орудовавшего в Париже. Это был чудовищный полип зла, живущий в подземелье общества.

Благодаря своим обширным связям в подземном царстве, Бабэ, Гельмер, Клаксу и

Монпарнас взяли как бы подряд на все преступления в департаменте Сены. Нападения на прохожих замышлялись внизу, на дне. Их придумывали люди с сильным воображением, а само исполнение поручали этим четырем негодяям. Им набрасывали только эскиз; постановку на сцене они брали на себя. Они всегда имели возможность доставить подходящего человека для всякого темного дела, если только оно было достаточно выгодно. Когда нужны были руки для какого-нибудь преступления, они поставляли их. Целая труппа подпольных актеров была в их распоряжении для всех трагедий подземелья.

Они обыкновенно сходились в сумерках — в это время они просыпались — на одном из пустырей, окружающих Сальпетриер. Там они совещались. К их услугам было целых двенадцать часов мрака, и они распределяли между собою роли.

Это товарищество, состоящее из четырех разбойников, было известно в преисподней под

названием «Патрон-Минет». На старинном причудливом народном языке, который мало-помалу совсем исчезает, «Патрон-Минет» значит утро, подобно тому как выражение «Entre chien et loup» {Между волком и собакой (фр.). Патрон-Минет — время закладки последней Взрывой шашки.} означает сумерки. Это название «Патрон-Минет» произошло, вероятно, от времени, когда кончалась их работа. С зарею исчезают призраки и расходятся разбойники. Эти четыре человека были известны под этим прозвищем. Председатель суда присяжных, посетив в тюрьме Ласенера, расспрашивал его об одном, приписываемом ему преступлении, которое тот отрицал.

— Кто же его совершил? — спросил председатель.

На этот вопрос Ласенер дал загадочный для председателя, но вполне ясный для полиции ответ:

— Может быть, Патрон-Минет.

Иногда можно составить себе некоторое понятие о пьесе по списку Действующих лиц, точно так же можно оценить шайку по списку разбойников. Вот какие прозвища были у главных членов Патрон-Минет:

Паншо, он же Весенний, он же Бигрнайль.

Брюжон (была целая династия Брюжонов, мы, может быть, еще поговорим о них).

Булатрюэль, шоссейный работник, которого читатель уже немножко знает.

Лавев.

Финистер.

Гомер Гогю (негр).

Мардисуар (Вторник-Вечер).

Депеша.

Фонтлерда, по прозванию Цветочница.

Глорие, отбывший наказание каторжник.

Барркарос, он же господин Дюпон.

Южная Эспланада.

Пуссагрив.

Карманьоле.

Крюиденье, он же Бязарро.

Манждантель.

Ноги вверх.

Пол-Лиар, он же Два Миллиарда.

И т. д. и т. д.

Некоторых мы пропускаем, но не худших. У этих имен есть своя физиономия. Они служат выражением не только отдельных личностей, но и целых родов. Каждое из них соответствует какой-нибудь разновидности тех уродливых грибов, которые растут на дне цивилизации.

Эти люди, неохотно показывавшие свои лица, были не из числа тех, которых можно встретить на улицах. Утомленные страшной ночной работой, они спали днем в ямах для обжигания извести или в заброшенных каменоломнях Монмартра и Монружа, а иногда в сточных трубах. Они прятались в земле.

Что стало с этими людьми? Они существуют и теперь. Они существовали всегда. Гораций говорит о них: «Ambubaiarum collegia pharmacopolae, mendici, mimae» {Постоянная угроза — это уличные флейтистки, шарлатаны, нищие (лат.).}. И пока общество будет тем, что оно есть, и они будут такими же, как теперь. Под темным сводом своего подземелья они постоянно возрождаются из просачивающихся подонков общества. Они вновь возвращаются, эти призраки, всегда одинаковые, только у них другие имена и новая кожа.

Отдельные личности гибнут, племя продолжает существовать.

Они одарены одними и теми же способностями. От праздношатаю щегося до бродяги раса остается чистой. Они угадывают кошельки в карманах. Они чуют часы в жилетах. Золото и серебро имеют для них запах. Есть наивные буржуа, которые как будто созданы для того, что бы их обкрадывали. Они терпеливо

следят за такими буржуа. При виде иностранца или провинциала они вздрагивают, как пауки.

Эти люди испугают вас, если вы встретитесь с ними или увидите их мельком ночью на каком-нибудь пустынном бульваре. Они кажутся не людьми, а существами, сотканными из тумана. Можно подумать, что они обыкновенно составляют с мраком одно нераздельное целое и сливаются с ним, что душа их — тьма и что только на короткое время, чтобы прожить несколько минут чудовищной жизнью, они отделились от ночи.

Глава 201

Прошло лето, потом осень, наступила зима. Ни Леблан, ни его дочь не показывались в Люксембургском саду. Мариус был поглощен лишь одной мыслью — мыслью увидеть кроткое, прелестное личико Урсулы. Он искал ее постоянно, искал везде и не находил. Он сильно изменился. Это был уже не прежний мечтатель-энтузиаст, не прежний решительный, твердый и

пылкий юноша, вызывавший на бой судьбу, строивший планы будущего, — юноша, ум которого был переполнен проектами, идеями, гордостью, волей. Теперь он походил на потерявшего собаку хозяина. Он впал в самое мрачное настроение. Все было кончено. Работа опротивела ему, прогулки утомляли его, уединение надоедало; необъятная природа, когда-то полная света, форм, голосов, советов, перспектив, горизонтов, наставлений, теперь была пуста. Ему казалось, что все исчезло.

Он размышлял, и теперь он не мог поступать иначе, но размышления не доставляли ему удовольствия. На все, что мысли постоянно нашептывали и предлагали ему, он отвечал: «К чему?»

Он осыпал себя упреками: «Зачем я провожал ее до дома? Я был так счастлив уж и тем одним, что видел ее. Она смотрела на меня. Разве этого мало? Она, казалось, любила меня. Разве не в этом все счастье? Я хотел — но чего же? Больше

этого ничего быть не может, Я был глуп, — это моя вина» и т. д. и т. д.

Курфейрак, с которым он не привык делиться своими мыслями — такова была его натура, — но который все-таки кое о чем догадался — такова была натура Курфейрака, — начал поздравлять его, что он влюбился, но вместе с тем был удивлен. Потом, видя, что Мариус впал в меланхолию, сказал ему: «Ты просто скотина. Пойдем-ка в Шомьер».

Раз, доверившись яркому сентябрьскому солнцу, Мариус сдался На уговоры Курфейрака, Боссюэта и Грантэра и отправился с ними на бал в Со, надеясь в душе — какая мечта! — встретить «ее» там. Само обою разумеется, что ее там не было.

— А ведь именно здесь и можно встретить всех потерянных женщин, — ворчал про себя Курфейрак.

Мариус оставил друзей на балу и отправился домой пешком, одинокий, усталый, взволнованный, с мутными печальными глазами.

Его оглушал шум и ослепляла пыль от проезжавших мимо него экипажей, набитых пассажирами, которые возвращались с праздника и весело распевали. А он шел унылый и, чтобы хоть немножко освежиться, вдыхал острый запах ореховых деревьев, росших по сторонам дороги.

Он стал вести еще более уединенную жизнь, еще чаще оставался один. Удрученный горем, он отдавался весь своей душевной муке, метался в своем отчаянии, как попавший в западню волк, и, совсем обезумев от любви, всюду искал пропавшую.

Спустя некоторое время после бала одна встреча произвела на него очень сильное впечатление. На одной из маленьких улиц, прилегающих к бульвару Инвалидов, ему попался навстречу какой-то старик в одежде рабочего и фуражке с очень большим козырьком, из-под которого выбивалась прядь совсем седых волос. Мариуса поразила красота этих волос, и он внимательно взглянул на рабочего, который шел медленно и, казалось, был погружен в тяжелое

раздумье. И — странно! — ему показалось, что это Леблан. Совершенно такие же волосы, тот же профиль, насколько его можно было видеть из-под козырька, та же походка, только вид более грустный, но почему он одет рабочим? Что это значит? К чему это переодевание? Мариус совсем растерялся от изумления. А когда он опомнился, первым его движением было броситься за стариком. Кто знает, может быть, он наконец напал на след, который так долго искал! Во всяком случае, нужно взглянуть на этого рабочего поближе и разрешить загадку. Но эта мысль пришла ему в голову слишком поздно — старик уже исчез. Он, должно быть, свернул в один из боковых переулков, и Мариус не мог найти его. Эта встреча занимала его мысли несколько дней, а потом он мало-помалу забыл о ней.

«Меня, должно быть, обмануло сходство», — думал он.

Глава 202

Мариус продолжал жить в лачуге Горбо. Он не обращал внимания ни на кого из живущих там. Правда, в то время в доме не было никаких других жильцов, кроме него и семьи Жондретт, за которых он как-то внес квартирную плату, но ему никогда не случалось говорить ни с отцом, ни с матерью, ни с дочерьми Жондретт. Остальные жильцы или переехали, или умерли, или были выселены за неуплату.

Как-то раз этой самой зимой солнышко выглянуло после полудня. Но это случилось второго февраля, в день Сретения, когда коварное солнце является предвестником шестинедельных холодов. Оно даже внушило Матье Ленсбергу следующее, сделавшееся классическим, двустишие:

Пусть солнце светит, пусть оно сияет —

В берлогу все-таки медведь идет.

А Мариус только что вышел из своей. Уже совсем стемнело, пора было идти обедать. Как-

никак, а пришлось все-таки начать обедать. Увы! Таково бессилие идеальных страстей!

Он вышел из своей комнаты в коридор, который в эту самую минуту старуха Бугон подметала, произнося в то же время такой замечательный монолог:

— Что дешево в наше время? Все дорого. Дешевы только горести людские. Да, горе ничего не стоит — оно дается даром!

Мариус тихо поднимался вверх по бульвару, к заставе на улице Сен-Жак. Он шел задумавшись, опустив голову.

Вдруг кто-то толкнул его. Было уже довольно темно. Он обернулся и увидел двух молоденьких девушек в лохмотьях; одна была высокая и худая, другая — немного поменьше. Испуганные, задыхающиеся, они шли очень быстро, как бы, спасаясь от кого-то, и, проходя мимо Мариуса, не заметили его и толкнули. Он различил, несмотря на темноту, их посиневшие лица, растрепанные волосы, безобразные чепчики, оборванные юбки

и босые ноги. Они бежали, разговаривая между собою.

— Пришли фараоны! — прошептала старшая. — Они чуть-чуть не сцапали меня.

— Да, я видела их, — сказала другая. — Уж какого же стрекача я задала!

Из этих фраз на зловещем жаргоне Мариус понял, что девушкам удалось бежать или от жандармов, или от городских полицейских, которые чуть не схватили их.

Девочки бросились под деревья бульвара; в течение нескольких мгновений фигуры их смутно белели в темноте, а потом исчезли. Мариус на минуту остановился. А когда он хотел идти дальше, то увидел на земле, около своих ног, небольшой сероватый пакет. Мариус нагнулся и поднял его. Это было что-то вроде конверта и, по-видимому, с бумагами.

«Должно быть, эти несчастные уронили его!» — подумал он.

Он вернулся назад, начал звать их, но безуспешно; они, вероятно, были уже далеко. Тогда он положил пакет в карман и пошел обедать.

Проходя по улице Муфтар, он увидел в проходе покрытый черным сукном детский гробик, поставленный на три стула; около него горела свеча. Две девушки, встретившиеся с ним в темноте, вспомнились ему.

«Бедные матери! — подумал он. — Видеть, как умирают дети, еще не самое худшее. Еще ужаснее, когда они дурно живут».

Потом эти тени, отвлекшие в другую сторону его грусть, вылетели у него из памяти, и он снова отдался своему постоянному горю. Он начал думать о своей любви, о счастье, которое он испытывал на протяжении шести месяцев на чистом воздухе, при свете солнца, под прекрасными деревьями Люксембургского сада.

«Как мрачна стала моя жизнь! — думал он. — Молодые девушки попадаются мне и теперь.

Только прежде это были ангелы, а теперь — ведьмы».

Глава 203

Вечером, когда Мариус раздевался, собираясь ложиться спать, он нащупал в кармане сюртука пакет, который поднял на бульваре. Он совсем забыл о нем. Ему пришло в голову, что его следует открыть, так как там, может быть, найдется адрес молодых девушек, если действительно они потеряли его. А если и нет, то в нем во всяком случае могут найтись какие-нибудь указания на потерявшее пакет лицо.

Мариус открыл конверт. Он был не запечатан и заключал в себе четыре тоже незапечатанных письма. На них были надписаны адреса. От всех четырех исходил запах отвратительного табака. Первое письмо было адресовано: «Госпоже маркизе де Грюшере, на площади напротив палаты депутатов, No …»

Мариус подумал, что в этом письме могут быть нужные ему сведения, и, так как оно к тому же было не запечатано, то он не счел нескромностью прочитать его. Вот содержание письма:

«Госпожа маркиза,

Добродетель милосердия и сострадания больше всякой другой соединяет общество. Отдайтесь христианскому чувству и бросьте взгляд сострадания на несчастного испанца, жертву верности и преданности священному делу легитимизма, который заплатил своею кровью и отдал все свое состояние на защиту этого дела и теперь находится в крайней бедности. Он уверен, что такая почтенная особа, как вы, не откажет ему в пособии и пожелает облегчить существование, в высшей степени тягостное для образованного, честного, покрытого ранами офицера. Рассчитываю заранее на человеколюбие, одушевляющее вас, и на сострадание, которое госпожа маркиза питает к столь несчастной нации. Наша просьба не будет

напрасна и наша признательность сохранит о ней чудесное воспоминание.

Примите уверение в глубоком уважении, с каким имею честь быть,

Дон Альварес, капитан испанской кавалерии, роялист, эмигрировавший во Францию, который находится на пути на свою родину и не имеет средств продолжать путешествие».

После подписи не было адреса. Мариус взял другое письмо, адресованное: «Ее сиятельству, графине Моньерне, улица Кассет, No 9», надеясь, что, может быть, адрес писавшего найдется здесь.

Вот что прочитал Мариус:

«Ваше сиятельство!

К вам обращается несчастная мать семейства, обремененная шестью детьми, из которых младшему только восемь месяцев. Я больна с последних родов, муж бросил меня уже как пять месяцев, и все это время я не имею никаких средств к существованию и нахожусь в самой крайней нищете.

В надежде на ваше сиятельство, имею честь быть,

милостивая государыня, с истинным почтением

Мариус перешел к третьему письму, тоже просительному, как и предыдущие.

Вот его содержание:

«Г-ну Пабуржо, избирателю, негоцианту — чулочнику, торгующему оптом на углу улиц Сен-Дени и О-Фер.

Осмеливаюсь обратиться к вам с этим письмом, чтобы просить вас оказать мне драгоценную милость вашего сочувствия и заинтересовать вас судьбою литератора, только что представившего свою драму во французский театр. Сюжет ее исторический, место действия — Овернь во времена Империи. Слог ее простой, лаконичный и, смею надеяться, обладает некоторыми достоинствами. В четырех местах есть куплеты для пения. Комическое, серьезное, неожиданное смешиваются в этой

пьесе с разнообразием характеров и оттенком романтизма, который слегка окрашивает всю интригу. Она таинственно развивается и с поразительным эффектом доходит после ряда блестящих сцен до развязки.

Моя главная цель заключается в том, чтобы удовлетворить желанию, одушевляющему человека нашего времени, иначе сказать, моде, этому капризному и причудливому флюгеру, меняющему положение почти с каждым дуновением ветра.

Несмотря на все достоинства пьесы, я имею основания опасаться, что зависть и эгоизм привилегированых авторов постараются не допустить меня в театр. Я знаю, скольким неприятностям обыкновенно подвергаются новички.

Господин Пабуржо, справедливо заслуженная вами репутация просвещенного покровителя литераторов дает мне смелость послать к вам мою дочь, которая опишет вам наше бедственное положение, скажет, что мы сидим без куска хлеба

и без дров в эту зимнюю пору. Обращаясь к вам с просьбою сделать мне честь принять посвящение как этой драмы, так и всех остальных, которые напишу впоследствии, я тем самым доказываю, насколько ценю честь укрыться под вашим покровительством и украсить мои произведения вашим именем. Если вы удостоите почтить меня самым скромным пособием, я тотчас же примусь писать благодарственное стихотворение, чтобы уплатить вам мой долг признательности. Это стихотворение, которое я постараюсь довести до возможного совершенства, я пришлю вам раньше, чем оно будет напечатано в начале драмы и произнесено со сцены.

Свидетельствую свое нижайшее почтение г-ну и г-же Пабуржо

P. S. Хоть только сорок су.

Извините, что посылаю к вам дочь и не являюсь сам лично. Грустное состояние моего костюма — увы! — не позволяет мне выходить».

Мариус открыл последнее, четвертое письмо. Оно было адресовано: «Господину

благотворителю церкви Сен-Жак-дю-О-Па». Вот его содержание:

«Великодушный благотворитель!

Если вы сочтете возможным последовать за моей дочерью, вы увидите крайнюю нищету, и я представлю вам мои свидетельства.

Когда вы просмотрите их, ваше великодушное сердце проникнется чувством глубокого сострадания, ибо истинные философы испытывают сильные чувства. Вы, как человек сострадательный, поймете, как тяжело, дойдя даже до самой крайней нужды и желая хоть немного облегчить ее, обращаться для засвидетельствования своей бедности к власти, как будто человек не может страдать и умереть с голода, в ожидании, пока ему окажут помощь. Судьба слишком немилосердна к одним и слишком щедро покровительствует другим.

Ожидая вашего посещения или пособия, если вы удостоите оказать его, прошу вас принять уверение в моем уважении, с которым имею

честь быть, истинно великодушный благотворитель, вашим покорнейшим слугою

Прочитав эти четыре письма, Мариус убедился, что знает не больше прежнего. Во-первых, ни под одной из подписей не было адреса. Во-вторых, эти письма были, по-видимому, от четырех разных лиц — дона Альвареса, женщины Бализар, поэта Жанфло и драматического артиста Фабанту, а между тем все они были написаны одним и тем же почерком.

Какой же вывод можно было сделать из прочитанного? Да только то, что их писало одно лицо. Наконец, что делало это предположение еще более вероятным, так это то, что все письма были написаны на совершенно одинаковой, простой серой бумаге, от всех исходил запах одного и того же табака, и хоть слог очевидно старались разнообразить, во всех письмах с невозмутимым спокойствием воспроизводились все те же грамматические ошибки, от которых не были свободны ни литератор Жанфло, ни испанский капитан.

Все усилия Мариуса разгадать эту тайну не привели ни к чему. Если бы письма не были находкой, их можно было бы принять за мистификацию. Мариус был в слишком грустном настроении, чтобы отнестись добродушно даже к шутке случая и принять участие в игре, которую, по-видимому, завела с ним уличная мостовая. Ему казалось, что он играет в жмурки с этими четырьмя письмами и они смеются над ним.

Ничто, во всяком случае, не указывало на то, что эти письма принадлежат девушкам, которых Мариус встретил на бульваре. Это были, очевидно, не имеющие никакой цены бумаги.

Мариус снова положил их в конверт, бросил его в угол и лег в постель.

Около семи часов утра он встал, позавтракал и попробовал приняться за работу.

Только он сел за нее, как кто-то тихонько постучал в дверь.

Так как у Мариуса не было почти никакого имущества, то он запирал свою комнату только в

очень редких случаях, когда у него была какая-нибудь спешная работа. Даже уходя из дома, он оставлял ключ в замке.

— Уж вас когда-нибудь обворуют! — говорила Мам Бугон.

— У меня нечего украсть, — отвечал Мариус.

Однако в один прекрасный день у него к величайшему торжеству Мам Бугон действительно украли пару старых сапог.

В дверь снова постучали так же тихо, как и в первый раз.

— Войдите, — сказал Мариус.

Дверь отворилась.

— Что вам нужно, Мам Бугон? — спросил Мариус, не отрывая глаз от книг и рукописей, лежавших на столе.

— Извините, сударь… — произнес чей-то незнакомый голос.

Это был голос глухой, слабый, сдавленный — голос старика, охрипшего от водки.

Мариус поспешно обернулся и увидал молодую девушку.

Глава 204

Молоденькая девушка стояла в полуотворенной двери. Окно каморки было как раз напротив этой двери, и пробивавшийся в него бледный свет падал на девушку. Это было истощенное, жалкое, хилое создание. Ничего, кроме рубашки и юбки, не было на ее дрожащем, окоченевшем теле. Она была подпоясана шнурком вместо пояса, волосы ее были тоже подвязаны шнурком, худые плечи высовывались из рубашки. У нее было бледное лицо, ключицы землистого цвета, красные руки, полуоткрытый рот с бесцветными губами, плохие зубы, тусклые дерзкие глаза, сложение еще неразвившейся девушки и взгляд развратной старухи. Пятьдесят лет и вместе с тем пятнадцать. Это было одно из тех существ, слабых и в то же время ужасных, при виде которых охватывает трепет или выступают на глазах слезы.

Мариус встал и в остолбенении смотрел на эту девушку, похожую на те туманные образы, которые являются лишь во сне.

Еще более тяжелое впечатление она производила потому, что не была некрасива от природы. В детстве она даже, наверное, была хорошенькой. Прелесть юности еще и теперь боролась с отвратительной преждевременной старостью — следствием разврата и нищеты. Остаток красоты гас на этом лице пятнадцатилетней девушки, как гаснет за страшными тучами бледное солнце на заре зимнего дня.

Лицо ее не было совсем незнакомо Мариусу. Ему показалось, что он как будто видел ее прежде.

— Что вам угодно? — спросил он.

— Я принесла вам письмо, господин Мариус, — сказала девушка своим голосом пьяного галерника.

Она назвала Мариуса по имени — значит, тут нет никакой ошибки и она действительно пришла к нему. Но что это за девушка? Откуда она знает его имя?

Не дожидаясь, чтобы он попросил ее войти, она вошла сама, вошла, смело осматривая с какой-то уверенностью, от которой сжималось сердце, всю комнату и неоправленную постель. Она была босиком. Сквозь большие дыры в юбке видны были ее длинные ноги и худые колени. Она дрожала от холода.

В руке у нее было на самом деле письмо, которое она подала Мариусу.

Распечатывая конверт, он заметил, что огромная сургучная печать была еще сыра.

Послание не могло прийти издалека. Вот что он прочитал:

«Любезный молодой сосед!

Я узнал о вашей доброте ко мне, узнал, что вы заплатили за мою квартиру полгода тому назад. Примите мое благословение, молодой человек!

Моя старшая дочь объяснит вам, что мы все четверо вот уже два дня сидим без куска хлеба и что моя жена больна. Если надежда не обманывает меня, смею думать, что ваше великодушное сердце сжалится, узнав об этом, и внушит вам желание оказать мне помощь и удостоить меня небольшой лептой.

С истинным уважением, с каким следует относиться к благодетелям человечества, имею честь быть

P. S. Моя дочь будет ждать ваших приказаний, любезный Мариус».

Загадочный случай, занимавший Мариуса со вчерашнего вечера, сразу объяснился. Это письмо осветило его, как освещает зажженная свеча темный подвал. Теперь все было ясно.

Это письмо пришло оттуда же, откуда и остальные четыре. Это был тот же почерк, тот же слог, то же правописание, та же бумага, тот же запах табака,

Тут было пять посланий, пять разных биографий, пять фамилий, пять подписей и только один корреспондент. Испанский капитан дон Альварес, несчастная мать Балищар, драматический поэт Жанфло и старый актер Фабанту соединялись все вместе в одном Жондретте, если только сам Жондретт был действительно Жондреттом.

Мариус жил уже довольно давно в лачуге Горбо, но, как мы говорили, имел мало случаев видеть даже мельком своих несчастных соседей. Мысли его были далеко, а где мысли, туда обращается и взгляд. Мариус, вероятно, не раз встречался с Жондреттами в коридоре и на лестнице, но для него это были лишь тени. Он так мало обращал на них внимания, что накануне вечером, столкнувшись на бульваре с дочерьми Жондретта — это, очевидно, были они, — он даже не узнал их. А теперь, когда одна из них пришла к нему в комнату, ему вместе с отвращением и жалостью, которые она возбудила в нем, только смутно припомнилось, что он где-то видел ее раньше.

Теперь он понял все. Он понял, что его сосед Жондретт дошел в своей нищете до того, что стал эксплуатировать милосердие добрых людей, что он добывал адреса богатых благотворителей и писал им под разными вымышленными именами письма, которые разносили его дочери на свой страх и риск. Этот отец дошел до того, что рисковал своими дочерьми. Он начал игру с судьбой, и ставкой были его дочери. Мариус понял и то, что эти девушки занимались еще какими-нибудь темными делами; это доказывало их бегство накануне, их ужас и жаргон, на котором они говорили. А как результат всего этого в человеческом обществе появились два жалких существа, ни дети, ни девушки, ни женщины, что-то вроде нечистых и невинных чудовищ, порожденных нищетою.

Эти несчастные создания не имеют ни имени, ни пола, ни возраста, для них невозможно ни добро, ни зло, у них после поры детства не остается ничего в мире — ни свободы, ни добродетели, ни ответственности. Это души, только что распустившиеся и уже поблекшие,

подобные упавшим на мостовую цветам, которые пачкает всякая грязь, прежде чем их раздавит колесо.

В то время как Мариус глядел с изумлением и грустью на молодую девушку она быстро ходила то туда, то сюда по мансарде, нисколько не стесняясь своей наготы. Иногда ее разорванная рубашка спускалась чуть не до самого пояса. Она передвигала стулья, переставляла туалетные принадлежности на комоде, дотрагивалась до платья Мариуса и шарила по всем углам.

— Каково! — вдруг воскликнула она. — У вас есть зеркало!

И она напевала, как будто была одна, куплеты из водевилей с игривыми припевами, которым ее грубый хриплый голос придавал зловещее выражение. Но под ее смелостью сквозило что-то принужденное, беспокойное и смиренное. Наглость — тот же стыд.

Тяжело было смотреть, как она порхала по комнате, точно птичка, которую пугает дневной свет или у которой сломано крыло. Казалось, что

при других условиях жизни и воспитания свободные и живые движения молодой девушки могли быть привлекательными. У животных существо, рожденное голубкой, никогда не превращается в орлана. Это бывает только у людей.

Мариус задумался и позволил ей делать, что угодно.

— Ах, книги! — сказала она, подойдя к столу. Тусклые глаза ее блеснули.

— А ведь я умею читать! — прибавила она, и по ее тону видно было, как она счастлива, что может похвалиться хоть чем-нибудь: эта слабость свойственна всякому человеческому существу.

Она схватила со стола развернутую книгу и довольно бегло прочла: «…Генерал Бодуэн получил приказ взять с пятью батальонами своей бригады замок Гугомон, стоявший на равнине Ватерлоо…» Она остановилась.

— А, Ватерлоо! Я знаю, что это такое. Там была битва в старину. Мой отец участвовал в ней.

Он служил в армии. В нашей семье все бонапартисты — вот как! При Ватерлоо бились с англичанами. — Она положила книгу и, взяв перо, воскликнула: — Я умею и писать!.. Хотите посмотреть? — прибавила она, обмакнув перо в чернила и обернувшись к Мариусу. — Я вам напишу что-нибудь.

И прежде чем он успел ответить, она написала на листе чистой бумаги, лежавшем посреди стола: «Пришли фараоны».

— Ошибок нет, — сказала она, бросив перо. — Посмотрите сами. Мы учились, моя сестра и я, и не всегда были такими, как теперь. Мы родились не на то…

Она остановилась, устремила свои тусклые глаза на Мариуса и, разразившись хохотом, крикнула тоном, в котором звучала душевная мука, заглушённая цинизмом:

— Эх!

И она запела на веселый мотив:

Отец, голодна я,

А нету котлет.

О, мать, я озябла,

А кофточки нет.

Дрожи, Лолотта!

Рыдай, Жако!

— Ходите вы когда-нибудь в театр, Мариус? — спросила она, закончив куплет. — Я часто хожу. У меня есть братишка, который водится с актерами и дает мне билеты. Только не терплю я этих скамеек на галерке! Там всегда такая давка и так скверно. Иногда туда набирается простой народ и от иных очень гадко пахнет.

Она пристально и как-то странно взглянула на Мариуса и сказала:

— А знаете что, господин Мариус? Вы, право же, очень красивый мальчик!

Он вспыхнул, а она улыбнулась.

— Вы не обращаете на меня внимания, господин Мариус, — продолжала она, подойдя к

нему и положив ему руку на плечо, — а я знаю вас. Я встречала вас здесь, на лестнице, и кроме того, не раз видела, как вы входили к старику Мабефу, живущему в Аустерлице, когда гуляла там… А вам очень идут ваши спутанные волосы!

Она старалась придать своему голосу нежность, но добилась только того, что он стал очень тихим. Часть слов пропадала на пути от гортани к губам, как пропадает звук на клавиатуре, если его издают не все клавиши.

Мариус тихо отодвинулся.

— Я нашел пакет, — сказал он своим обычным холодным и серьезным тоном, — который, как я полагаю, принадлежит вам. Позвольте мне вручить его.

И он подал ей конверт, заключавший четыре письма.

— А мы-то искали его везде! — воскликнула она, захлопав в ладоши.

Потом она схватила пакет и открыла его, говоря:

— Господи боже мой! А уж как мы шарили везде с сестрой! И вы нашли его! На бульваре, ведь так? Наверное, на бульваре! Мы выронили его в то время, как бежали. Моя сестренка сделала эту глупость. Придя домой, мы увидали, что пакета нет. Так как мы не хотели, чтобы нас побили — это бесполезно, совершенно бесполезно, — то мы сказали своим родителям, что разнесли письма, но что нас всюду выпроводили вон! Вот они, эти несчастные письма! А почему вы узнали, что они мои? Да, конечно, по почерку! Значит, это на вас мы налетели вчера? Была такая темень! Я сказала сестре: «Это, кажется, какой-то господин». — «Кажется, так», — сказала сестра.

Развернув одно из просительных писем, адресованное «господину благотворителю церкви», она воскликнула:

— Ага! Это к тому старику, который ходит к обедне. Теперь как раз самое время. Я отнесу ему письмо. Может быть, он даст нам на что позавтракать. — Она снова засмеялась и

прибавила: — Знаете, чем будет для нас этот завтрак? Мы съедим вместе с ним позавчерашний завтрак, позавчерашний обед, вчерашний завтрак, вчерашний обед и все это сразу, сегодня утром. Хорошо? Ну, если вы все еще недовольны, так издыхайте, собаки!

Это напомнило Мариусу, зачем несчастная пришла к нему. Он пошарил в жилетном кармане, но ничего не нашел.

А молодая девушка продолжала говорить, как бы совсем забыв о присутствии Мариуса.

— Часто я ухожу вечером. Часто не ночую дома. Прошлой зимой, когда мы еще не сняли эту квартиру, мы жили под арками мостов. Уж как же мы прижимались друг к другу, чтобы совсем не замерзнуть! Моя маленькая сестра плакала. Вода — это так грустно! Когда мне хотелось утопиться, я говорила себе: «Нет, слишком холодно!» Я ухожу совсем одна, если хочу. Я сплю в ямах. Знаете, по ночам, когда я иду по бульвару и гляжу на деревья, ветки которых похожи на виллы и на дома, совсем черные и

огромные, как башни, мне представляется, что белые стены — река, и я думаю: «Там течет вода!» Звезды кажутся мне плошками, которые зажигают во время иллюминации. Они как будто дымятся, и ветер гасит их. И голова у меня идет кругом, в ушах раздается точно лошадиный храп. Хоть уж совсем ночь, а мне слышатся звуки шарманки, грохот прядильных машин и еще бог знает что! Мне кажется, что в меня швыряют каменьями и я бегу, а все кружится, кружится у меня перед глазами! Как странно чувствуешь себя, когда ничего не ешь!

И в лице ее было какое-то безумное выражение.

Между тем Мариус, обыскивая все карманы, набрал наконец пять франков шестнадцать су. В настоящую минуту в этом заключался весь его капитал.

«Вот это я оставлю на нынешний обед, — подумал он, — а завтра увидим».

Он взял себе шестнадцать су и подал девушке пять франков.

— Ах, как славно! — воскликнула она, схватив монету. — Проглянуло солнышко!

И как будто солнце обладало способностью растоплять в ее уме снежные глыбы жаргона, она продолжала:

— Пятерочка! Светлячок! И в такой дыре! Чудеса, да и только! Вы славный малый! Спасибо вам! Теперь у нас будет вдоволь всякой жратвы!

Она низко поклонилась Мариусу, сделала дружеский жест рукой и подошла к двери, сказав:

— До свидания! Все равно. Пойду к своему старику.

Проходя мимо комода и увидав на нем валявшуюся в пыли, заплесневелую сухую корку хлеба, она жадно схватила ее и начала грызть.

— Ах, как вкусно! — бормотала она. — Какая она жесткая! Я сломаю себе все зубы!

И она ушла.

Глава 205

В продолжение пяти лет Мариус жил в бедности, терпел лишения, доходил даже до нищеты, но убедился, что, несмотря на все это, еще не имел понятия о настоящей бедности. Только теперь ее грозный призрак промелькнул перед ним. И действительно тот, кто видел лишь нищету мужчины, в сущности еще ничего не видел; ему нужно увидать нищету женщины. А кто видел нищету женщины, тоже видел еще далеко не все; ему нужно увидеть нищету ребенка.

Дойдя до последней крайности, человек в то же время теряет и последнюю надежду. Горе беззащитным существам, окружающим его! Труд, заработок, хлеб, топливо, бодрость, охота — всего лишается он сразу. Дневной свет как бы гаснет снаружи, свет нравственный погасает внутри. В этой тьме мужчина находит два слабых существа — женщину и ребенка и безжалостно угнетает их, доводя до позора.

Тогда возможны любые ужасы. Лишь слабые преграды отделяют отчаяние от порока и преступления.

Здоровье, молодость, честь, святое, суровое целомудрие еще юной плоти, сердце, девственность, стыдливость, эта нежная оболочка души — все это пустые слова. Отцы, матери, дети, братья, сестры, мужчины, женщины, девушки сливаются почти как химические соединения в этом туманном смешении полов, родства, возрастов, позора и невинности. Они теснятся, прижимаясь друг к другу в этой яме, предназначенной им судьбой. Они жалобно смотрят друг на друга. О несчастные! Как они бледны! Как им холодно! Кажется, как будто они живут на другой планете, гораздо дальше от солнца, чем мы. Эта молодая девушка была для Мариуса чем-то вроде посланницы мрака.

Она показала ему отвратительную сторону ночи.

Мариус почти упрекал себя за то, что был слишком занят своими мечтами и любовью,

мешавшими ему обратить внимание на своих соседей. То, что он внес за них квартирную плату, было чисто машинальным движением — всякий сделал бы то же самое на его месте. Но ему, Мариусу, не следовало ограничиваться только этим. Как? Всего одна стена отделяла его от этих заброшенных людей, которые жили как бы ощупью, во мраке, в стороне от остальных живущих, он сталкивался с ними, был, так сказать, последним звеном человеческого рода, к которому они прикасались, и он не обращал на них внимания. Каждый день, каждую минуту слышал он, как они ходят то туда, то сюда, как они говорят, и не слушал их! В их словах звучали стоны, а он даже не замечал итого! Мысли его были далеко, они уносились в область грез, невозможного счастья, недостижимой любви, безумств. А в это время человеческие существа, его братья во Христе, его братья из народа, умирали рядом с ним! Умирали бесполезно! Он даже приносил им вред, усиливал их несчастье. Будь у них другой сосед, не такой мечтатель, но более внимательный человек, простой и

сострадательный, он, наверное, заметил бы их нищету, обратил бы внимание на них отчаяние и, может быть, давно уже помог бы им и спас их. Положим, они очень испорчены, развращены, порочны, даже гнусны, но ведь немногие люди, впав в крайнюю нищету, способны остаться чистыми, неопозоренными. К тому же, дойдя до известного положения, несчастные и порочные сближаются между собою, так как к ним можно применить одно и то же роковое слово — отверженные. Чья это вина? И притом разве сострадание не должно быть еще сильнее именно тогда, когда встречает самое глубокое падение?

Случалось, что Мариус, как все люди истинно честные, становился сам своим собственным наставником и бранил себя даже больше, чем того заслуживал. Теперь, читая себе наставление, он смотрел на стену, отделяющую его от Жондреттов, как будто полный сострадания взгляд его мог проникнуть сквозь нее и согреть этих несчастных!

Разделявшая две комнаты оштукатуренная перегородка из планок и брусьев была очень тонка; через нее были ясно слышны голоса, и можно было разобрать каждое слово. Только такой мечтатель, как Мариус, мог не заметить этого раньше. Перегородка не была оклеена обоями ни у Мариуса, ни у Жондреттов; ее грубое устройство было все на виду Мариус бессознательно смотрел на нее. Бывает, что человек, погруженный в мечты, разглядывает, наблюдает и исследует предмет как человек размышляющий. Вдруг Мариус встал. Он заметил наверху, под самым потолком, треугольную щель между тремя планками. Штукатурка вывалилась оттуда и, взобравшись на комод, можно было через это отверстие заглянуть в конуру Жондреттов. У сострадания есть и должно быть свое любопытство. Эта щель была чем-то вроде потайного окошечка. Позволительно взглянуть украдкой на несчастье, если желаешь помочь ему.

«Посмотрим, что это за люди, — подумал Мариус, — и как они живут». Он влез на комод,

приложил глаз к щели и стал смотреть.

Глава 206

В городах, как и в лесах, есть свои пещеры, в которых скрывается все самое злое и опасное. Только то, что прячется в городах, свирепо, низко и мелко, то есть безобразно, тогда как то, что скрывается в лесах, свирепо, дико и величественно, то есть прекрасно. Берлоги зверей лучше берлог людей. Берлога лучше трущобы.

А Мариус видел теперь именно такую трущобу

Он тоже был беден, и обстановка его комнаты была самая скудная, но бедность его была благородная, и потому в его мансарде все было чисто и опрятно. Комната же, на которую он смотрел в эту минуту, была грязная, зловонная, мрачная, отвратительная. Вся меблировка состояла из соломенного стула, сломанного стола, нескольких черепков разбитой посуды и двух

ужасных, неописуемых кроватей, стоявших по углам комнаты.

Мансарда освещалась одним только маленьким, затянутым паутиной окном в четыре стекла. Через это окно проходило как раз столько света, чтобы превратить человеческое лицо в лицо призрака. Стены, точно изъеденные проказой, были покрыты шрамами и рубцами, как лицо, обезображенное какой-нибудь ужасной болезнью. Капли гнойной сырости выступали на них. Местами видны были непристойные рисунки, грубо начерченные углем.

Пол мансарды, которую занимал Мариус, был выложен кирпичом, хоть и расколотым во многих местах; в комнате же Жондреттов пол был не кирпичный и не дощатый, а простой земляной. На этом неровном полу с инкрустацией из пыли, по-видимому не имевшем понятия о щетке, прихотливо группировались созвездия старых носков, стоптанных башмаков и отвратительных тряпок. В комнате был, однако, камин, почему она и сдавалась за сорок франков в год. Чего

только не было в этом камине! Жаровня, котелок, сломанные доски, тряпье, висевшее на гвоздях, птичья клетка, зола и даже немного огня. В нем грустно дымились две головни.

Комната казалась еще ужаснее оттого, что была очень велика. В ней были выступы, углы, темные углубления, что-то вроде бухт и мысов. Благодаря этому получались ужасные, недоступные исследованию закоулки, где, должно быть, гнездились пауки величиною с кулак, мокрицы длиною в фут и, может быть, даже какие-нибудь страшные неведомые человеческие существа.

Одна кровать помещалась около двери, другая — около окна. Обе они были приставлены спинками к камину и стояли как раз напротив Мариуса.

В углу, ближайшем к щели, в которую смотрел Мариус, висела на стене в черной рамке раскрашенная гравюра, под ней была сделана крупными буквами надпись: «Сон». Она изображала спящую женщину со спящим

ребенком на коленях; над ним парил орел, а пониже, в облаке, спускалась корона, которую женщина, и не думая просыпаться, отстраняла от головы ребенка; в глубине стоял окруженный сиянием Наполеон, прислонясь к темно-синей колонне с желтой капителью, украшенной такой надписью:

МАРЕНГО АУСТЕРЛИЦ ИЕНА ВАГРАМ ЭЙЛАУ

Под гравюрой стояла на полу продолговатая деревянная рама, прислоненная не совсем плотно к стене. Она походила или на перевернутую картину, или на оконную раму, или же на снятое со стены зеркало, на время приставленное к стене.

Около стола, на котором стояла чернильница и лежали бумага и перо, сидел мужчина лет шестидесяти, низенький, худощавый, посиневший от холода, угрюмый, с хитрым, жестоким, тревожным взглядом, — настоящий тип негодяя.

Лафатер, увидав это лицо, нашел бы в нем смесь ястреба с сутягой. Хищная птица и кляузник становились еще отвратительнее, дополняя друг друга, сутяга придавал хищной птице низость, птица делала человека ужасным.

У этого старика была длинная седая борода. Он был в женской рубашке, обнажавшей его волосатую грудь и руки, покрытые жесткой седой щетиной. Из-под рубашки виднелись грязные панталоны и сапоги, из которых высовывались пальцы. У него во рту была трубка — он курил. В жалкой комнате не было хлеба, но еще оставался табак.

Старик писал, должно быть, письмо вроде тех, которые читал Мариус.

На углу стола лежала старая книга в красноватой обертке; по старинному формату в двенадцатую долю листа, обычному в библиотеках для чтения, видно было, что это роман. На обертке было отпечатано крупными буквами заглавие: «Роман Дюкре-Дюмениля.

1814 год». — Не переставая писать, старик громко говорил сам с собою.

Толстая женщина, которой могло быть от сорока до ста лет, скорчилась около камина, присев на голые пятки.

На ней тоже была только рубашка да вязаная юбка с заплатами из старого сукна. Фартук из толстого холста закрывал юбку до половины. Хоть эта женщина согнулась и съежилась, видно было, что она очень высокого роста.

По сравнению с мужем она казалась настоящей великаншей. У нее были безобразные, рыжевато-белокурые волосы с проседью, которые она время от времени откидывала со лба своими огромными лоснящимися руками с плоскими ногтями. Около нее лежала на полу открытая книга такого же формата, как и лежащая на столе, — должно быть, другой том того же романа.

На одной из кроватей сидела, спустив ноги, высокая, бледная, совсем почти голая девочка:

она как будто ничего не видела, не слышала, даже не жила.

Это, должно быть, была младшая сестра той девушки, которая приходила к Мариусу.

Ей казалось на вид лет одиннадцать-двенадцать. Но, вглядевшись в нее повнимательнее, вы убеждались, что ей не меньше четырнадцати. Это была та девочка, которая накануне вечером говорила на бульваре: «Уж какого же стрекача я задала!»

Она принадлежала к числу тех болезненных детей, которые долго не растут, а потом вдруг вытягиваются сразу. Бедность выводит эти жалкие человеческие ростки. У таких несчастных нет ни детства, ни юности. В пятнадцать лет они кажутся двенадцатилетними, в шестнадцать им можно дать двадцать. Сегодня девочки, завтра — женщины. Они быстро шагают в жизни, как бы для того, чтобы поскорее покончить с нею.

Теперь эта девочка казалась ребенком.

В комнате не было никаких принадлежностей работы: ни станка, ни прялки, ни рабочих инструментов. В углу валялось какое-то поломанное железо подозрительного вида. Тут царила та угрюмая праздность, которая следует за отчаянием и предшествует агонии.

Мариус в течение нескольких минут смотрел на это жилище, которое было ужаснее могилы, потому что здесь билась человеческая душа и трепетала жизнь.

Трущобы, подвалы, ямы, где пресмыкаются на самом дне некоторые бедняки — еще не настоящее кладбище, это его преддверие.

Старик замолчал, женщина не говорила ни слова, девочка, казалось, даже не дышала. Слышен был только скрип пера по бумаге.

— Мерзость! Мерзость! Всюду мерзость! — проворчал старик, не переставая писать.

При этом варианте возгласа Соломона женщина вздохнула.

— Успокойся, дружок, — сказала она, — не повреди себе, милый. Ты слишком добр, муженек, что пишешь всем этим людям.

Бедность, как и холод, заставляет тела людей теснее прижиматься одно к другому, но сердца отдаляются. Эта женщина, по-видимому, любила когда-то своего мужа всей силой любви, какая была в ее натуре; но среди ежедневных взаимных упреков и страшной нужды, тяготевшей над всей семьей, эта любовь, по всей вероятности, угасла. Теперь от нее остался лишь пепел. Но ласкательные имена, как это нередко бывает, пережили самую любовь. Уста этой женщины говорили: «дружок», «милый», «муженек», а сердце ее молчало. Старик снова принялся писать.

Глава 207

Мариус с тяжелым сердцем хотел уже спуститься со своего импровизированного наблюдательного поста, когда какой-то шум привлек его внимание и удержал на месте.

Дверь комнаты вдруг отворилась. На пороге показалась старшая дочь. Она была в грубых мужских башмаках, перепачканных грязью, которая обрызгала даже ее покрасневшие лодыжки, и старом, дырявом плаще; Мариус не видел его, когда она приходила к нему; должно быть, она сняла его за дверью, чтобы возбудить к себе побольше сострадания, а потом опять надела.

Она вошла, толкнула ногой дверь, чтобы та заперлась, перевела дух — она совсем запыхалась — и крикнула с выражением радости и торжества:

— Он идет!

Отец взглянул на нее, мать повернула голову, младшая сестра осталась неподвижной.

— Кто? — спросил отец.

— Господин…

— Благотворитель?

— Да.

— Церкви Сен-Жак?

— Ну да.

— Старик?

— Конечно, старик.

— И он придет?

— Сейчас, вслед за мной.

— Ты знаешь наверняка?

— Наверняка.

— И ты говоришь правду? Он действительно придет?

— Он едет в фиакре.

— В фиакре? Да это Ротшильд!

И старик встал.

— Почему ты так уверена в этом? Если он едет в фиакре, то как же ты могла попасть сюда раньше его? Дала ли ты ему адрес? Хорошо ли объяснила ему, что наша дверь в самом конце коридора, последняя направо? Только бы он не

ошибся! Прочитал он мое письмо? Что он сказал тебе?

— Та, та, та! — воскликнула дочь. — Ты уж слишком разволновался, старина! Слушай. Я вошла в церковь: он был на своем постоянном месте. Я поклонилась ему, отдала письмо, он прочитал его и сказал: «Где вы живете, мое дитя?» — «Я покажу вам дорогу, сударь», — отвечала я. «Нет, дайте мне ваш адрес, — сказал он. — Моя дочь должна сделать кое-какие покупки. Я возьму фиакр и буду у вас в одно время с вами». Я дала ему адрес. Когда я назвала наш дом, он как будто удивился и колебался с минуту, а потом сказал: «Ну, все равно, я приеду». Когда окончилась обедня, я видела, как он вышел из церкви вместе с дочерью и сел с нею в фиакр. Я хорошо объяснила ему все и сказала, что наша дверь в самом конце коридора, последняя направо.

— А почему ты знаешь, что он приедет?

— Я видела фиакр, который он нанял, на улице Пти-Банкье. Вот почему я прибежала

сломя голову.

— Как же ты могла узнать фиакр?

— Так и узнала. Я заметила его номер.

— Какой номер?

— Четыреста сорок.

— Ладно. Ты девка с мозгами.

Дочь дерзко взглянула на отца и показала ему на свои башмаки.

— Так-то оно так, может быть, я девка с мозгами, но говорю тебе раз и навсегда, что я не надену больше этих башмаков. Я не хочу заболеть и не хочу пачкаться в грязи. Уж очень противно, когда подошвы у тебя шлепают и с каждым шагом слышится: «Хлюп, хлюп, хлюп!» Лучше я буду ходить босиком.

— Ты права, — отвечал отец кротким тоном, представлявшим резкий контраст с грубостью молодой девушки, — но в таком случае тебя не будут пускать ни в церкви, ни в дома, — с горечью прибавил он и снова вернулся к

занимавшему его предмету. — Так ты наверняка знаешь, что он придет?

— Он идет за мной по пятам, — сказала девушка. Старик выпрямился. Лицо его просияло.

— Слышишь, жена? — крикнул он. — Идет благотворитель. Туши скорее огонь!

Озадаченная жена смотрела на него и не трогалась с места. Тогда старик с проворством фокусника схватил стоявший на камине разбитый горшок с водой и залил головешки.

— Ну, — обратился он к старшей дочери, — продави стул! Дочь не понимала.

Он сам схватил стул, ударил пяткой в сиденье и пробил его, так что нога вышла наружу. Высвобождая ногу, он спросил дочь:

— Холодно сегодня?

— Очень холодно. Идет снег.

Старик обернулся к младшей дочери, сидевшей на кровати, около окна, и крикнул

громовым голосом:

— Долой с постели, лентяйка! Живо! Ты вечно лодырничаешь! Выбей стекло!

Девочка, дрожа от холода, вскочила с постели.

— Выбей стекло! — повторил он.

Дочь продолжала нерешительно стоять.

— Не слышишь ты, что ли? — закричал отец. — Я говорю тебе, чтобы ты выбила стекло!

Девочка с какой-то пугливой покорностью поднялась на цыпочки и ударила кулаком в стекло. Оно со звоном разлетелось вдребезги.

— Вот так! — сказал отец.

У него был серьезный, решительный вид. Взгляд его быстро обегал все закоулки комнаты.

Он походил на главнокомандующего, делающего последние приготовления перед битвой.

Мать, до сих не говорившая ни слова, приподнялась и спросила глухим голосом,

медленно произнося одно слово за другим, как будто они застывали у нее в горле.

— Что ты хочешь сделать, мой дорогой?

— Ложись в постель! — сказал ей муж.

Тон его не допускал возражений. Жена повиновалась и тяжело опустилась на кровать.

В это время в углу послышалось рыдание.

— Это что такое? — спросил старик.

Младшая дочь, не выходя из темного уголка, куда она забилась, показала свой окровавленный кулак. Выбивая стекло, она поранила себе руку. Потом девочка встала, подошла к матери и, тихо плача, встала около нее.

— Видишь? — воскликнула мать, приподнявшись на постели. — Вот до чего довели твои глупости! Ты велел ей выбить стекло, и она разрезала себе руку!

— Тем лучше, — сказал старик. — Я знал заранее, что так будет.

— Как «тем лучше»?! — воскликнула жена.

— Молчи! — остановил ее муж. — Отменяю свободу слова!

И, разорвав женскую рубашку, которая была на нем, он оторвал от нее кусок холста и обвязал окровавленную руку дочери.

Покончив с этим, он с удовольствием взглянул на свою разорванную рубашку.

— Теперь и рубашка готова, — сказал он. — Все в порядке.

Ледяной ветер со свистом врывался в комнату. Туман проникал в нее снаружи и расстилался, как беловатая вата, растягиваемая какими-то невидимыми руками. В разбитое окно виден был падающий снег. Холод, который предвещало солнце, выглянувшее накануне, в день Сретения, действительно наступил.

Отец оглядел комнату, как бы желая убедиться, не забыл ли чего, и, взяв старую лопатку, засыпал золой мокрые головни, чтобы совсем закрыть их.

Потом он выпрямился и прислонился к камину.

— Ну, теперь мы можем принять благотворителя, — сказал он.

Глава 208

Старшая дочь подошла к отцу и дотронулась до его руки.

— Пощупай, как мне холодно, — сказала она.

— Пустяки! — отвечал он. — Мне еще холоднее твоего.

— У тебя всегда всего больше, чем у других, — горячо проговорила жена, — даже дурного!

— Молчать! — крикнул старик и так взглянул на нее, что она не решилась продолжать.

На минуту наступило молчание. Старшая дочь равнодушно счищала грязь с подола плаща. Младшая продолжала плакать. Мать обхватила ее голову руками и, осыпая ее поцелуями, шептала:

— Сокровище мое, успокойся, пожалуйста, это скоро пройдет! Не плачь, а то отец рассердится!

— Нет, — сказал старик, — напротив, реви погромче. Это даже хорошо.

Потом он обратился к старшей дочери:

— А его все нет! Что, если он совсем не приедет? Неужели я зря погасил огонь, пробил стул, разорвал рубашку и выбил стекло?

— И ранил девочку! — прошептала мать.

— А знаете что? — продолжал отец. — Ведь у нас на чердаке дьявольский холодище! Что, если благотворитель не придет? Впрочем, если он и явится, так заставит себя подождать. Как же иначе? Он, наверное, думает: «Они таковские — могут и подождать!» Ах, как я ненавижу его! С каким удовольствием, с какой радостью, с каким восторгом удавил бы я его. — Он помолчал. — Однако куда же запропастилась эта благотворительная рожа? Когда он наконец

удостоит явиться? Или это животное забыло адрес? Побьюсь об заклад, что старая скотина…

В эту минуту раздался легкий стук в дверь. Старик бросился к ней, распахнул ее и с низкими поклонами и почтительными улыбками воскликнул:

— Пожалуйте, сударь! Удостойте войти, уважаемый благодетель, вместе с вашей прелестной барышней!

Пожилой человек и молодая девушка показались на пороге мансарды.

Мариус все еще смотрел в щель. Невозможно передать словами, что он почувствовал в эту минуту.

Это была она.

Всякий, испытавший любовь, знает, каким лучезарным сиянием окружены три буквы этого слова: «она».

Да, это действительно была она. Мариус с трудом мог различить ее сквозь сверкающий туман, который вдруг разлился у него перед

глазами. Перед ним было то нежное, исчезнувшее существо, та звезда, которая сияла ему в продолжение шести месяцев, те глаза, тот лоб, те уста, то прелестное личико, которое, исчезнув, погрузило все в ночь. Видение пропало и теперь снова явилось.

Явилось в этом мраке, на чердаке, в отвратительной трущобе среди этого ужаса!

Мариус был вне себя и дрожал всем телом. Как? Это она! Сердце его билось так сильно, что у него потемнело в глазах. Он чувствовал, что у него, того и гляди, брызнут слезы. Неужели он наконец снова видит ее, после того как так долго искал! Ему казалось, что он потерял свою душу и теперь снова обрел ее.

Его Урсула была все та же, только немножко побледнела. Фиолетовая бархатная шляпа обрамляла ее прелестное личико, черная атласная шубка скрывала ее фигуру. Из-под длинного платья виднелась ее маленькая ножка, затянутая в шелковый башмачок. С ней, как и всегда, был

господин Леблан. Она вошла в комнату и положила на стол довольно большой сверток.

Старшая дочь Жондретта встала за дверь и мрачно смотрела оттуда на бархатную шляпу, атласную шубку и прелестное счастливое лицо молодой девушки.

Глава 209

В мансарде было так темно, что всякому, входившему в нее, казалось, будто он попал в подвал. Поэтому Леблан и его дочь шли вперед несколько нерешительно, с трудом различая окружающие их туманные фигуры, тогда как хозяева, привыкшие к темноте, отлично видели и разглядывали их.

Господин Леблан подошел к Жондретту и, взглянув на него своими добрыми грустными глазами, сказал:

— В этом свертке вы найдете новую одежду, чулки и шерстяные одеяла.

— Наш ангел-благотворитель осыпает нас благодеяниями! — сказал Жондретт, кланяясь чуть не до земли.

И в то время как посетители осматривали его убогое жилище, он быстро шепнул старшей дочери:

— Ну что? Не правду я говорил? Тряпье, а не деньги! Они все на один покрой. А кстати, какой фамилией было подписано письмо к этому старому олуху?

— Фабанту, — отвечала дочь.

— Драматический артист? Так.

Жондретт как раз вовремя получил нужные сведения, так как в эту самую минуту господин Леблан обернулся к нему и сказал, очевидно, забыв его фамилию:

— Я вижу, что вы находитесь в ужасном положении, господин…

— Фабанту, — подсказал ему Жондретт.

— Да, Фабанту, теперь я припоминаю.

— Драматический артист, сударь, пользовавшийся когда-то большим успехом.

И, считая минуту подходящей, чтобы обойти благотворителя, Жондретт воскликнул голосом, в котором слышалось и самодовольство ярмарочного фигляра, и смирение нищего на большой дороге:

— Ученик Тальма, сударь! Я ученик Тальма! Счастье когда-то улыбалось мне, теперь пришла очередь несчастья. Вы видите, благодетель, у нас нет ни хлеба, ни топлива! Мои бедные девочки сидят без огня! У моего единственного стула нет сиденья! Оконное стекло разбито и в такую погоду! Моя жена в постели — больна.

— Бедная женщина! — сказал Леблан.

— Моя младшая дочь поранила руку! — прибавил Жондретт. Девочка, отвлеченная прибытием незнакомых посетителей, так засмотрелась на «барышню», что перестала плакать.

— Да плачь же! Реви! — шепнул ей Жондретт.

И, говоря это, он ущипнул ее за больную руку. Все это было проделано с ловкостью фокусника.

Девочка громко зарыдала.

Прелестная молодая девушка, которую Мариус называл в своем сердце «моя Урсула», торопливо подошла к ней.

— Бедное, милое дитя! — сказала она.

— Посмотрите, добрая барышня, — продолжал Жондретт, — у нее вся рука в крови! Это все наделала машина — бедная девочка ходила работать за шесть су в день. А теперь, может быть, придется отнять ей руку!

— Неужели? — тревожно спросил Леблан.

Девочка, приняв слова отца за чистую монету, зарыдала еще громче.

— Увы, это верно, благодетель! — отвечал Жондретт.

В течение нескольких минут он как-то странно приглядывался к «благодетелю».

Разговаривая с ним, он в то же время внимательно всматривался в него, точно стараясь припомнить что-то. Наконец, воспользовавшись минутой, когда посетители с участием расспрашивали его младшую Дочь о ее больной руке, он прошел мимо жены, которая с тупым и удрученным лицом лежала на постели, и быстро шепнул ей:

— Посмотри повнимательнее на этого человека!

И затем, повернувшись к Леблану, продолжал жалобным тоном:

— Поглядите, сударь! Мне приходится ходить в одной рубашке, да и та женина, вся изорванная! И это в холод, зимой! Я не могу выйти из-за того, что у меня нет платья. Будь у меня хоть какая-нибудь одежда, я пошел бы к мадемуазель Марс, которая знает и любит меня. Где-то она Живет? Должно быть, все там же, на улице Тур-де-Дам. Ведь мы играли вместе в провинции, сударь,

вместе пожинали лавры! Селимена помогла бы мне! Эльвира подала бы милостыню Велизарию. Но нет ничего. Ни одного су в доме! Моя жена больна, а денег нет! Моя дочь опасно порезалась, а у нас ни одного сантима! Моя жена страдает припадками удушья — уж годы ее такие, да и нервы тут замешались. Ей нужна помощь так же, как и моей дочери! Но доктора! Аптека! Чем мы заплатим? У нас нет ни лиара! Я готов встать на колени перед монетой в десять су, сударь! Вот до чего дошло искусство! Моя прелестная барышня, мой великодушный покровитель! Знаете ли вы, исполненные добродетели и доброты, напоминающие благоуханием храм, что моя бедная дочь, приходя туда молиться, видит вас каждый день. Потому что я воспитываю моих дочерей в благочестии, сударь. Я не хотел, чтобы они поступили на сцену. А, негодные! Только попробуйте у меня свихнуться! Нет, со мной шутки плохи! Я вколачиваю им в голову правила нравственности, чести и добродетели! Вот спросите-ка их самих. Они должны идти прямой дорогой. У них есть отец. Они не из тех

несчастных, у которых сначала совсем нет семьи, а потом семьей делается весь свет. Девица Никто становится госпожой Все. Черт возьми! Этого не будет в семье Фабанту! Я хочу воспитать их в добродетели, хочу, чтобы они были честны и верили в Бога, черт возьми!.. А завтра — знаете ли вы, мой почтенный благодетель, что будет завтра? Завтра четвертое февраля, роковой день, последний срок, данный мне хозяином дома. Если я не заплачу ему сегодня вечером, завтра нас всех — меня, мою старшую дочь, мою жену, которую трясет лихорадка, мою младшую, раненую девочку — нас всех выгонят отсюда, вышвырнут на улицу, на бульвар. И мы останемся без пристанища под дождем, под снегом! Да, сударь, я задолжал за четыре срока, за весь год, целых шестьдесят франков!

Жондретт лгал. Годовая плата за квартиру составляла всего сорок франков, и кроме того, он не мог задолжать за четыре срока, так как полгода тому назад Мариус заплатил за два.

Леблан вынул из кармана пять франков и положил их на стол.

— Негодяй! — ухитрился шепнуть Жондретт на ухо старшей дочери. — Неужели он воображает, что я могу обойтись его пятью франками? Этого мало даже за сломанный стул и разбитое стекло! Вот и тратьтесь после этого!

Между тем Леблан снял с себя длинный коричневый рединготт, который был на нем поверх синего и бросил его на спинку стула.

— У меня с собой всего только пять франков, господин Фабанту, — сказал он, — но, проводив дочь домой, я вернусь к вам. Ведь вы должны заплатить за квартиру сегодня вечером?

Лицо Жондретта осветилось каким-то странным выражением.

— Да, мой почтенный покровитель, — живо отвечал он, — в восемь часов я должен быть у хозяина.

— Так я буду у вас в шесть часов и принесу вам шестьдесят франков.

— Благодетель! — воскликнул вне себя от радости Жондретт.

И он шепнул жене:

— Вглядись в него получше!

Леблан подал дочери руку и повернулся к двери.

— До свидания, друзья мои, — сказал он, — до вечера.

— В шесть часов? — спросил Жондретт.

— Ровно в шесть.

— Вы забыли ваш редингот, сударь, — остановила его старшая дочь Жондретта, заметив висевшее на стуле пальто.

Жондретт устремил на нее радостный взгляд и грозно пожал плечами.

— Я не забыл, а оставил его, — с улыбкой сказал, обернувшись, Леблан.

— О, мой покровитель! — воскликнул Жондретт. — Мой высокий покровитель! Я не

могу удержать слез! Позвольте мне проводить вас до фиакра!

— Если вы выйдете, так наденьте редингот, — сказал Леблан, — на дворе действительно очень холодно.

Жондретт не заставил себя просить и тотчас же надел коричневое пальто. И они вышли все трое: впереди Жондретт, а за ним господин Леблан с дочерью.

Глава 210

Хоть вся эта сцена происходила перед глазами Мариуса, он, в сущности, ничего не видел. Он не спускал глаз с молодой девушки, сердце его устремилось к ней, как только она вошла в мансарду и, так сказать, наполнила ее собою всю. Пока она была тут, он был в состоянии экстаза, когда человек забывает все материальное и душой его всецело овладевает лишь что-нибудь одно. Мариус созерцал, но не молодую девушку, а сияние, облеченное в атласную шубку и

бархатную шляпку. Он не был бы так ослеплен даже и в том случае, если бы звезда Сириус вдруг появилась в комнате.

В то время как молодая девушка развязывала сверток, вынимала из него одежду и одеяла, с участием расспрашивала больную мать и нежно говорила с раненой девочкой, Мариус следил за каждым ее движением и старался вслушиваться в ее слова. Он знал ее глаза, лоб, ее красоту, фигуру, походку, но не знал звука ее голоса. Один только раз в Люксембургском саду ему показалось, что он слышал несколько произнесенных ею сяов, но он не был вполне уверен в этом. Он отдал бы десять лет жизни, чтобы услышать ее, унести в своем сердце музыку ее голоса. Но звуки ее пропадали в жалобных причитаниях и громовых возгласах Жондретта. И к восхищению Мариуса примешивался гнев. Глаза его были прикованы к молодой девушке. Он не мог поверить, что действительно видит ее, видит это божественное создание среди отвратительных существ, в этой

ужасной трущобе. Она казалась ему колибри среди жаб.

Когда она вышла из комнаты, одна мысль овладела им: следовать за ней, идти по ее следам, не упускать ее из вида до тех пор, пока не узнает, где она живет, не потерять ее снова после того, как таким чудесным образом нашел ее! Он спрыгнул с комода и схватил шляпу. Однако, взявшись за дверную ручку, он вдруг остановился. Коридор был длинный, лестница крутая. Жондретт любит поболтать, а потому господин Леблан, вероятно, еще не успел сесть в экипаж. Если в коридоре, на лестнице или у выходной двери он обернется и увидит его, Мариуса, в этом доме, он без всякого сомнения встревожится и найдет средство снова скрыться от него. И на этот раз уже навсегда. Что делать? Немножко подождать? Но в это время фиакр может уехать. Мариус некоторое время стоял, не зная, на что решиться. Наконец он рискнул и вышел из комнаты.

В коридоре не было никого. Он бросился к лестнице. Там тоже не было ни души. Он поспешно спустился с нее и добежал до бульвара как раз в то время, как фиакр повернул за угол улицы Пти-Банкье и направился к центру города.

Мариус бросился в ту сторону. Добежав до угла бульвара, он снова увидал фиакр, быстро спускавшийся вниз по улице Муфтар. Фиакр был уже очень далеко; не было никакой возможности догнать его. Не побежать ли за ним? Нет, это невозможно. К тому же сидящие в экипаже, наверное, обратят внимание на бегущего за ними со всех ног человека, и отец узнает его. В эту минуту — необыкновенная, чудесная случайность! — Мариус увидел кабриолет, ехавший порожняком около бульвара. Ему оставалось только одно: сесть в этот кабриолет и ехать за фиакром. Это было средство верное, действительное и безопасное.

Мариус сделал кучеру знак остановиться и крикнул ему:

— По часам!

Мариус был без галстука, в своем старом рабочем сюртуке, у которого не хватало пуговиц, и в разорванной на груди рубашке.

Кучер остановил лошадь, подмигнул и, протянув к Мариусу левую руку, потер большим пальцем об указательный.

— Что такое? — спросил Мариус.

— Денежки вперед! — сказал кучер.

Мариус вспомнил, что у него только шестнадцать су.

— Сколько? — спросил он.

— Сорок су.

— Я заплачу по возвращении.

Вместо ответа кучер засвистел и стегнул лошадь.

Мариус растерянно смотрел на уезжавший кабриолет. Из-за того что у него не было сорока су, он терял свою радость, свое счастье, свою любовь! Он снова погружался в мрак! Он только что прозрел и опять стал слепым! С болью и,

нужно сознаться, с глубоким сожалением вспомнил он о пяти франках, которые только утром отдал этой жалкой девушке. Будь у него пять франков, он был бы спасен, он возродился бы для новой жизни, вышел бы из мрака, одиночества, тоски, вдовства! Он снова связал бы черную нить своей судьбы с чудной золотой нитью, которая промелькнула у него перед глазами и снова оборвалась! Он вернулся домой в отчаянии.

Мариус мог бы утешиться, если бы знал, что Леблан обещал вернуться вечером, так как это давало возможность ему самому, подготовившись, проследить за ним до квартиры, но он был так занят созерцанием, что не слышал обещания г-на Леблана.

В ту минуту когда Мариус собирался взойти на лестницу, он увидал по ту сторону бульвара около стены на пустынной улице Барьер Гобеленов Жондретта в рединготе «благодетеля». Он разговаривал с одним из тех людей подозрительного вида, которых обыкновенно

называют придорожными бродягами. Лица таких субъектов не внушают доверия, и они всегда таинственно перешептываются, как бы замышляя что-то дурное; спят они днем, из чего можно заключить, что они работают ночью.

Эти два человека разговаривали, стоя неподвижно под крутящимися хлопьями падающего снега. Полицейский наверняка обратил бы на них внимание, Мариус только мельком взглянул на них.

Но как ни был он озабочен, он не мог не заметить, что бродяга, с которым разговаривал Жондретт, был очень похож на некоего Паншо, он же Весенний, он же Бигрнайль, которого как-то раз показал ему Курфейрак и который считался довольно опасным негодяем в той части города. В предыдущей книге мы уже упоминали о нем. Этот Паншо-Весенний-Бигрнайль фигурировал впоследствии в нескольких уголовных делах и прославился как знаменитый мошенник. Пока он был еще только известным мошенником. Память о нем сохранилась до сих пор среди воров и

грабителей. В конце последнего царствования он создал школу. И в вечерние часы, когда люди сходятся вместе и ведут тихие беседы, о нем говорили в тюрьме «Лафорс». В этой самой тюрьме, в том месте, где проходит сточная труба из отхожих мест, через которую в 1843 году каким-то чудом бежали днем тридцать арестантов, можно было прочесть над плитой имя Паншо. Во время одной из своих попыток к бегству он смело нацарапал его на стене, мимо которой обыкновенно проходил обход. В 1832 году полиция уже следила за Паншо, но он еще не сделал ничего особенно выдающегося.

Глава 211

Мариус медленно поднялся по лестнице. В ту минуту как он собирался войти в свою комнату, он увидел в коридоре позади себя старшую дочь Жондретта, которая шла за ним. Ему был ненавистен вид этой девушки. У нее были его пять франков, и теперь было уже слишком поздно требовать их обратно: кабриолет уехал, а фиакр

уже давно скрылся из виду. Да она и не отдала бы денег. Спрашивать же ее, где живут господин Леблан и его дочь, было совершенно бесполезно; она, очевидно, не знает их адреса, так как письмо за подписью Фабанту было адресовано: «Господину благотворителю церкви Сен-Жак-дю-О-Па».

Мариус вошел к себе в комнату и потянул за собою дверь. Но она не затворилась вплотную. Он обернулся и увидел руку, которая придерживала и не давала ей притвориться.

— Что это такое? — спросил он. — Кто там?

Это была старшая дочь Жондретта.

— Это вы? — довольно резко спросил Мариус. — Опять вы? Что вам нужно?

Она казалась задумчивой и не смотрела на него. Ее утренней уверенности не было и следа. В комнату она не вошла, а стояла в темном коридоре, Мариус видел ее в полуотворенную дверь.

— Ну что же, отвечайте! — продолжал Мариус. — Что вам нужно?

Она подняла на него свои тусклые глаза, в которых как будто блеснул слабый свет, и сказала:

— У вас грустный вид, Мариус. Что такое случилось с вами?

— Со мной?

— Да, с вами.

— Со мной ничего не случилось.

— Случилось.

— Нет.

— А я вам говорю, что да.

— Оставьте меня в покое.

Мариус снова хотел притворить дверь, девушка продолжала держать ее.

— Погодите, — сказала она, — вы напрасно поступаете так. Хотя вы небогаты, вы были добры сегодня утром. Будьте таким же добрым и

теперь. Вы дали мне на что купить еды, а теперь скажите, что с вами. У вас горе — это видно. Мне не хотелось бы, чтобы у вас было горе. Что нужно сделать, чтобы оно прошло? Могу я помочь чем-либо? Располагайте мною. Я не спрашиваю у вас ваших тайн, вам не нужно будет говорить мне ничего, и все-таки я могу быть полезна. Я помогу вам, ведь помогаю же я отцу. Когда нужно разнести письма, ходить по домам, от одной двери к другой, раздобыть чей-нибудь адрес, следить за кем-нибудь — все это поручается мне. Скажите, что с вами, и я пойду поговорю с кем нужно. Иногда этого одного достаточно, чтобы разобраться в вопросе и уладить все. Располагайте мною.

Счастливая мысль промелькнула в уме Мариуса. За какую ветку не ухватится человек, когда падает! Он подошел к девушке.

— Слушай… — начал он.

— Да, да, говорите мне «ты» — так будет лучше! — воскликнула она, и глаза радостно блеснули.

— Так слушай, — продолжал он. — Ты привела сюда старика с дочерью?

— Да.

— Знаешь ты их адрес?

— Нет.

— Найди его для меня.

Взор девушки сначала тусклый, потом радостный, стал теперь мрачным.

— Так вот что вам нужно! — сказала она.

— Да.

— Разве вы знакомы с ними?

— Нет.

— То есть, — быстро прибавила она, — вы незнакомы с нею, но хотите познакомиться.

Вместо того чтобы сказать «с ними», она сказала «с нею», и в выражении, с каким она произнесла эти слова, было что-то значительное и горькое.

— Ну что же? Можешь ты сделать это? — спросил Мариус.

— У вас будет адрес хорошенькой барышни.

В словах «хорошенькой барышни» снова звучал оттенок, неприятный для Мариуса.

— Все равно. Адрес отца и дочери. Их адрес.

Она пристально взглянула на него.

— А что вы мне дадите за это?

— Все, что захочешь!

— Все, что хочу?

— Да.

— Вы получите адрес.

Она наклонила голову, а потом резким движением захлопнула дверь.

Мариус остался один.

Он упал на стул, облокотился обеими руками на постель и опустил на нее голову, кружившуюся под наплывом мыслей, которых он не мог уловить. Все, что произошло с утра, —

появление ангела, его исчезновение, слова этой жалкой девушки, луч надежды, блеснувший среди глубокого отчаяния, — вот что смутно проносилось у него в уме. Вдруг его грубо вывели из задумчивости. Он услышал громкий, резкий голос Жондретта, произнесший несколько слов, полных для него, Мариуса, какого-то странного интереса:

— Ведь говорю же я тебе, что это он. Я совершенно уверен в этом, так как узнал его.

О ком говорил Жондретт? Кого он узнал? Леблана. Отца его Урсулы? Как? Неужели Жондретт знает его? Неужели он, Мариус, получит так быстро и неожиданно все сведения, без которых его жизнь стала так мрачна? Узнает ли он, наконец, кого любит, кто эта молодая девушка и ее отец? Рассеется ли густая тень, до сих пор скрывавшая их? Разорвется ли покров? О боже!

Он одним прыжком очутился на комоде и приложил глаз к потайному окошечку в стене.

Перед ним снова была мансарда Жондреттов.

Глава 212

Вся перемена, происшедшая в семье Жондретта, состояла в том, что жена и дочери его уже воспользовались кое-чем из свертка и были теперь в чулках и шерстяных кофтах. Два новых одеяла лежали на постелях.

Сам Жондретт, очевидно, только что вошел в комнату.

Он еще задыхался от усталости. Дочери его сидели на полу около камина; старшая перевязывала руку младшей. Жена лежала на постели около камина и с изумлением смотрела на мужа. Сам Жондретт ходил большими шагами взад и вперед по комнате. В его глазах было какое-то странное выражение.

Наконец, жена, видимо озадаченная и робевшая перед мужем, решилась спросить его:

— Неужели это правда? Ты уверен в этом?

— Ну еще бы! Положим, прошло восемь лет, но я все-таки узнал его. Да, я узнал его! Узнал

тотчас же! Неужели это не бросилось тебе в глаза?

— Нет.

— А ведь я говорил тебе: «Смотри повнимательнее». Это та же фигура, тот же голос, то же лицо, едва ли даже постаревшее, — есть люди, которые, бог весть почему, совсем не старятся. Он только теперь лучше одет, вот и все! А, старый таинственный дьявол, наконец-то ты у меня в руках!

Он остановился и, обернувшись к дочерям, сказал:

— Ну, убирайтесь вон!.. Странно, что это не бросилось тебе в глаза!

Дочери послушно встали.

— С больной рукой? — прошептала мать.

— Воздух принесет ей пользу, — решил Жондретт. — Марш!

Видно было, что этот человек принадлежит к числу тех, которым не возражают. Дочери его

пошли к двери.

В ту минуту, когда они выходили из комнаты, отец удержал за руку старшую и сказал ей каким-то особенным тоном:

— Вы вернетесь ровно в пять часов. Обе. Вы мне понадобитесь.

Мариус стал слушать еще внимательнее.

Оставшись один с женою, Жондретт раза два или три прошел взад и вперед по комнате. Потом он в течение нескольких минут заправлял за пояс панталон выбившийся подол своей женской рубашки.

Вдруг он повернулся к жене и, скрестив руки, воскликнул:

— Хочешь ты узнать еще кое-что? Барышня…

— Ну что же? — сказала жена: — Барышня…

Мариус не мог сомневаться — говорили о ней. Он тревожно прислушивался. Вся его жизнь сосредоточилась в слухе.

Но Жондретт нагнулся к жене и тихонько сказал ей что-то. Потом он выпрямился и прибавил громко:

— Это она!

— Та самая?

— Да.

Невозможно передать выражение, с каким жена произнесла эти слова: «Та самая». Тут было и удивление, и ярость, и ненависть, и гнев, слившиеся вместе в какой-то чудовищной интонации. Достаточно было одного слова, вероятно, имени, которое муж шепнул ей на ухо, чтобы эта сонная женщина проснулась и из существа отталкивающего стала ужасным.

— Не может быть! — воскликнула она. — И подумать только, что мои дочери ходят босиком, что у них нет платья! Скажите пожалуйста! Атласная шубка, бархатная шляпа, башмачки и все такое! Да на ней одна одежда стоит больше двухсот франков! Ведь ее примешь за даму! Нет, ты ошибаешься! Во-первых, та была уродина, а

эта недурна, право же, очень недурна! Нет, это не она!

— А я тебе говорю, что она. Увидишь сама.

При этих уверенных словах женщина подняла свое красное, обросшее рыжими волосами лицо и с зловещим выражением устремила глаза в потолок. В эту минуту она показалась Мариусу еще ужаснее мужа. Это была свинья со взглядом тигрицы.

— Как? — воскликнула она. — Так эта отвратительная, расфранченная барышня, с сожалением оглядывавшая моих дочерей, та нищая?! А! Так бы и затоптала ее до смерти!

Она вскочила с постели и с минуту стояла растрепанная, с раздувающимися ноздрями, полуоткрытым ртом, сжатыми, откинутыми назад кулаками, а потом снова упала на постель. Жондретт продолжал ходить взад и вперед по комнате, не обращая внимания на жену.

После нескольких минут молчания он подошел к ней и остановился, скрестив руки, как

несколько минут тому назад.

— Я хочу сказать тебе еще одну вещь.

— Что такое? — спросила она.

— А то, что теперь я богатый человек!

Жена устремила на него взгляд, как бы говоривший: «Неужели он сошел с ума?»

— Черт возьми! — продолжал Жондретт. — Я уж и так слишком долго сидел без хлеба и мерз без огня! Довольно с меня нищеты. Пусть-ка попробуют ее другие! Я не шучу, тут нет ничего забавного! Я хочу есть, сколько влезет, пить, сколько душа примет! Жрать, спать, ничего не делать! Я хочу тоже пожить всласть, прежде чем издохну! И мне хочется быть миллионером!

Он прошелся по комнате и прибавил:

— Как другие.

— Что ты хочешь сказать? — спросила жена.

Он покачал головой, подмигнул и возвысил голос, как фокусник на ярмарке, старающийся привлечь внимание публики.

— Что я хочу сказать? Слушай!

— Тише! — остановила его жена. — Не кричи же так, если будешь говорить о том, чего не должны слышать другие.

— Ба! Кто же эти другие? Сосед, что ли? Так я видел, как он ушел. И разве он слышит что-нибудь, этот долговязый олух? К тому же, повторяю тебе, я сам видел, как он ушел.

Тем не менее Жондретт инстинктивно понизил голос, но не настолько, чтобы его слова не доходили до соседа. Мариусу помогло еще то, что выпавший снег заглушал стук проезжавших по мостовой бульвара экипажей.

— Так слушай же хорошенько, — продолжал Жондретт. — Наш богач попался. Это верно. Все уже устроено, все подготовлено. Я поговорил кое с кем. Он придет сегодня в шесть часов, принесет свои шестьдесят франков, негодяй! Видела ты, как я ловко поддел его — шестьдесят франков, хозяин, четвертое февраля! А в это число и никакого срока-то не бывает. Господи, что за дурак!.. Итак, он придет в шесть часов. В это

время сосед уходит обедать, а тетка Бугон моет посуду в городе. Значит, в доме не останется ни души. Сосед никогда не возвращается раньше одиннадцати часов. Девочки покараулят, а ты нам поможешь. Ему придется уступить.

— А если он не уступит?

— В таком случае мы произведем экзекуцию, — со зловещей ухмылкой сказал Жондретт.

И он расхохотался.

В первый раз услышал Мариус, как он смеется. Это был тихий, холодный смех, от которого дрожь пробегает по телу.

Жондретт отворил сделанный в стене около камина шкаф, вынул из него старую фуражку и, почистив рукавом, надел на голову.

— Ну, я ухожу — сказал он. — Мне еще нужно повидаться кое с кем. С хорошими людьми. Ты увидишь, что у нас дело пойдет, как по маслу. Я вернусь, как только будет можно. Постереги дом.

И, засунув руки в карманы панталон, он на минуту задумался, а потом воскликнул:

— А знаешь, ведь это очень хорошо, что он не узнал меня! Случись это, он не вернулся бы сюда и снова ускользнул бы от нас. Меня спасла борода! Моя романтическая бородка! Моя хорошенькая романтическая бородка!

И он снова захохотал. Потом он подошел к окну. Снег продолжал падать, застилая серое небо.

— Экая собачья погодка! — воскликнул он, запахнув редингот. — Слишком широка мне эта шкура. Ну да ничего, сойдет и так. Этот старый негодяй чертовски хорошо сделал, что оставил ее мне. Не будь этого, мне нельзя было бы выйти из дома, и все бы пропало! От каких мелочей иногда все зависит!

Он нахлобучил фуражку на глаза и вышел из комнаты. Но, сделав несколько шагов по коридору, он снова вернулся. Дверь отворилась, и в проеме показался его хищный и умный профиль.

— Я забыл предупредить тебя, — сказал он: — Приготовь жаровню с углями.

И он бросил в фартук жены оставленную «благодетелем» пятифранковую монету.

— Жаровню с углями? — переспросила жена.

— Да.

— Сколько мер?

— Две.

— Это стоит тридцать су. А на остальное я куплю что-нибудь для обеда.

— Нет, не купишь, черт возьми!

— Почему?

— Не вздумай истратить всю монету в сто су!

— Но почему же?

— Потому что и мне придется купить кое-что.

— Что такое?

— Да уж я знаю что.

— А сколько денег тебе понадобится?

— Где тут ближайшая скобяная лавка?

— На улице Муфтар.

— Ах да, знаю, на углу. Я видел ее.

— Но скажи же мне, сколько понадобится тебе на свою покупку?

— Пятьдесят су или три франка.

— Немного же останется на обед.

— Сегодня не до еды. Нам предстоит кое-что получше.

— Хорошо, мой дорогой.

Жондретт затворил дверь, и Мариус слышал, как он прошел по коридору и поспешно спустился с лестницы.

В эту самую минуту на колокольне Сен-Медара пробило час.

Глава 213

У Мариуса, несмотря на всю его мечтательность, был, как мы уже говорили, твердый и энергичный характер. Привычка к одиночеству и размышлению, развив в нем участие и сострадание, может быть, несколько ослабила способность раздражаться, что, впрочем, не мешало ему негодовать и возмущаться. Доброжелательность брамина соединялась в нем со строгостью судьи. Он жалел жабу, но раздавил бы змею. А теперь перед ним была как раз нора змей. Глаза его были устремлены на гнездо чудовищ. «Нужно уничтожить этих негодяев!» — думал он.

Против ожидания Мариуса тайна загадки не разъяснилась, окружавший их мрак даже как будто еще более сгустился. Ничего нового он не узнал о прелестной девушке из Люксембургского сада и о старике, которого называл Лебланом, — ничего, кроме того, что их знает Жон-дретт. Из темных намеков этого человека он понял лишь одно: что готовится какая-то ловушка,

неизвестная, но ужасная, что отцу и дочери грозит большая опасность — отцу точно, дочери весьма вероятно, что нужно их спасти, что нужно расстроить ужасные замыслы Жондретта, разорвать паутину этих пауков.

Он с минуту смотрел на жену Жондретта. Она вытащила из угла старую железную печку и рылась в железном хламе.

Мариус тихонько спустился с комода, стараясь не делать никакого шума.

Несмотря на весь свой ужас перед тем, что готовилось, и отвращение, которое возбудили в нем Жондретты, он испытывал удовольствие при мысли, что ему, может быть, удастся оказать услугу любимой девушке.

Но как поступить? Предупредить тех, кому угрожает опасность? А где их найти? Ведь он не знает их адреса. Они на минуту появились у него перед глазами и снова исчезли в бездонных глубинах Парижа. Подождать Леблана около двери и, когда он придет, предупредить его об опасности? Но Жондретт и его товарищи заметят,

что он караулит у дверей. Это место пустынное, сила будет на их стороне, они найдут средство схватить или удалить его, и тот, кого Мариус хочет спасти, погибнет. Недавно пробил час, а засада готовится к шести. В распоряжении Мариуса было пять часов.

Оставалось только одно.

Он надел свой новый сюртук, повязал на шею платок, взял шляпу и вышел так тихо, как будто ступал босыми ногами по мху.

К тому же жена Жондретта все еще рылась в старом железе.

Выбравшись из дома, Мариус отправился на улицу Пти-Банкье.

Дойдя до середины ее, он пошел вдоль выходившей на пустырь стены, настолько низкой, что в иных местах через нее можно было перешагнуть. Он шел тихо, озабоченный, снег заглушал его шаги. Вдруг совсем близко от него послышались голоса. Он обернулся; на улице не было ни души, а между тем он ясно слышал звук

голосов. Ему пришло в голову заглянуть через стену, мимо которой он шел.

Там действительно сидели на снегу, прислонившись к стене, двое мужчин и тихо разговаривали между собою. Лица их были ему незнакомы; один был бородатый, в блузе, другой — лохматый, в рубище. На бородатом была греческая феска; товарищ его был с открытой головой и со снегом на волосах.

Перегнувшись через стенку, Мариус мог слышать их разговор.

Лохматый толкнул товарища локтем и сказал:

— С Патрон-Минетом дело, наверное, выгорит.

— Так ли? — спросил бородатый.

— Каждому достанется пятьсот кругляков, а засадят, в худшем случае, на пять или на шесть и, самое большее, на десять лет.

— Да, вот от этого уже не отвертишься, — нерешительно сказал бородатый, дрожа от холода

в своей греческой феске. — На это не всякий пойдет.

— Да говорят же тебе, что дело выгорит, — возразил его товарищ. — Фура дяди Как-Бишь-Его будет запряжена.

Потом они начали толковать о мелодраме, которую видели накануне в театре Гетэ.

Мариус пошел дальше.

Ему казалось, что загадочные слова этих людей, сидевших на корточках на снегу и так таинственно прятавшихся за стеной, имели некоторое отношение к ужасным замыслам Жондретта. Это, по всей вероятности, было то самое «дело».

Мариус направился к предместью Сен-Марсо, и в первой попавшейся по пути лавке спросил, где ближайший полицейский участок.

Ему указали на улицу Понтуаз, дом No 14.

Мариус пошел туда.

Проходя мимо булочной, он купил хлеба на два су и съел его дорогой, предчувствуя, что ему не придется обедать.

Он от души благодарил провидение. Если б он не отдал утром дочери Жондретта своих пяти франков, он поехал бы за фиакром Леблана, не узнал бы ничего о грозившей этому старику опасности, ничто не помешало бы Жондретту привести в исполнение свой замысел, и в таком случае господин Леблан погиб бы, а вместе с ним, вероятно, и его дочь.

Глава 214

Добравшись до дома No 14 на улице Понтуаз, Мариус поднялся на первый этаж и спросил полицейского комиссара.

— Полицейского комиссара нет в настоящую минуту — сказал писарь. — Вместо него здесь инспектор. Хотите поговорить с ним? У вас спешное дело?

— Да, — отвечал Мариус.

Тогда писарь провел его в кабинет комиссара. Человек высокого роста стоял за решеткой, прислонившись к печке и приподняв обеими руками полы своего широкого сюртука с тройным воротником; у него было квадратное лицо, твердый решительный рог с тонкими губами, густые свирепые бакенбарды с проседью и взгляд, способный вывороти ваши карманы. Это был взгляд не проницательный, а обшаривающий. У этого человека был почти такой же жестокий и опасный вид, как у Жондретта; иногда встретиться с догом так же страшно, как с волком.

— Что вам угодно? — спросил он Мариуса, не прибавив слова «господин».

— Я желал бы видеть полицейского комиссара.

— Он уехал. Я заменяю его.

— Дело секретное.

— Так говорите.

— И очень спешное.

— В таком случае говорите скорее.

Этот человек, спокойный и резкий, пугал и в то же время успокаивал. Он возбуждал страх и доверие. Мариус объяснил ему, в чем дело: господина, которого он знает только по виду, заманят сегодня вечером в ловушку. Сам он, адвокат Мариус Понмерси, живет в комнате, соседней с притоном, и слышал все через перегородку. Злодея, составившего заговор, зовут Жондреттом, у него будут сообщники, по всей вероятности, ночные бродяги, между прочим, некто Паншо, по прозванию Весенний, он же Бигрнайль, дочери Жондретта будут караулить. Нет никакой возможности предупредить человека, которому грозит опасность, так как он, Мариус, не знает даже его имени, и, наконец, все это должно произойти в шесть часов вечера в самой пустынной части бульвара Опиталь в доме No 50—52.

Услышав номер дома, инспектор поднял голову и спокойно спросил:

— Значит, в самой последней комнате по коридору?

— Именно так, — сказал Мариус и прибавил: — Разве вы знаете этот дом?

Инспектор с минуту молчал, а потом ответил, грея у огня подошву сапога:

— По всей вероятности, так.

И пробормотал сквозь зубы, как бы обращаясь не к Мариусу, а к своему галстуку:

— Здесь не обойдется без Патрон-Минета.

— Патрон-Минета? — с изумлением повторил Мариус. — Я действительно, слышал, как употребляли это выражение.

И он передал инспектору разговор, происходивший между бородатым человеком и его лохматым товарищем, сидевшими на снегу за стеной на улице Пти-Банкье.

— Лохматый, по всей вероятности, Брюжан, — проворчал инспектор, — а бородатый, должно быть, Пол-Лиар, он же Два Миллиарда.

Он снова опустил глаза и задумался.

— Что касается дяди Как-Бишь-Его, я подозреваю, кто это… Ну, вот я и прожег сюртук. Они всегда разводят слишком сильный огонь в этих проклятых печах!.. Итак, No 50—52. Старинное владение Горбо.

Он поднял глаза и взглянул на Мариуса.

— Вы видели только двоих: бородатого и лохматого?

— И Паншо.

— А не заметили вы, не шатался ли в тех местах довольно подозрительный франтик?

— Нет.

— И не видели вы громадного, массивного толстяка, похожего на слона в Ботаническом саду?

— Нет.

— А плутоватого прожженного молодца?

— Нет.

— Ну а что касается четвертого, то его не видит никто, не исключая и его адъютантов — помощников и служащих. Неудивительно, что вы не видели его.

— Не видал. Что же это за люди? — спросил Мариус.

— К тому же это совсем не их час, — пробормотал вместо ответа инспектор.

Он снова замолчал, а потом проговорил:

— 50—52. Я знаю эту лачугу. Спрятаться внутри нет никакой возможности без того, чтобы не заметили эти артисты. И тогда они, конечно, отменят свой водевиль. Они так скромны! Публика стесняет их. Нет, это не годится. Я хочу послушать, как они запоют, и заставлю их поплясать.

Проговорив этот монолог, инспектор обернулся к Мариусу и, пристально взглянув на него, спросил:

— Испугаетесь вы?

— Чего?

— Этих людей?

— Не больше, чем вас! — резко ответил Мариус, заметив наконец, что этот шпион ни разу не обратился к нему вежливо.

Инспектор еще пристальнее взглянул на Мариуса и сказал торжественным и поучительным тоном:

— Вы говорите, как человек смелый и честный. Смелость не боится преступления, честность — власти.

— Прекрасно, — прервал его Мариус. — Что же вы намерены делать?

— У каждого жильца этого дома, — сказал инспектор, не обращая внимания на его вопрос, — свой ключ от входной двери на случай позднего возвращения домой. У вас тоже, наверное, есть такой ключ?

— Да.

— Он с вами?

— Со мной.

— Дайте его мне.

Мариус вынул из жилетного кармана ключ и подал его инспектору.

— Поверьте моему слову, — сказал он, — захватите с собой побольше людей.

Инспектор взглянул на Мариуса так, как посмотрел бы Вольтер на какого-нибудь провинциального академика, вздумавшего предложить ему рифму. Потом он засунул свои огромные руки в бездонные карманы сюртука, вынул оттуда два маленьких пистолета и дал их Мариусу, проговорив резким отрывистым тоном:

— Возьмите их. Вернитесь домой. Спрячьтесь в своей комнате. Пусть думают, что вас нет дома. Пистолеты заряжены. Каждый двумя пулями. Вы будете наблюдать, ведь вы говорили, что в перегородке есть щелка. Они придут. Дайте им немножко разойтись. Когда вам покажется, что пора остановить их, выстрелите из пистолета. Только не слишком рано. А остальное — мое дело. Стреляйте в воздух, в потолок — все равно. Главное — не слишком

рано. Подождите, чтобы началась экзекуция. Вы адвокат и должны понимать, что это такое.

Мариус взял пистолеты и положил их в карман сюртука.

— Нет, так очень заметно, — заметил инспектор, — они слишком выпирают. Положите их лучше в жилетные карманы.

Мариус переложил пистолеты.

— А теперь нам нельзя терять ни минуты, — продолжал инспектор. — Который час? Половина третьего. Назначено в семь часов?

— Нет, в шесть.

— Ну, время у меня есть, — сказал инспектор, — но кроме времени нет ничего. Не забудьте, что я вам говорил. Паф! Один выстрел из пистолета.

— Будьте покойны, — ответил Мариус.

В ту минуту, как он взялся за дверную ручку, собираясь уходить, инспектор крикнул ему:

— Кстати, если я зачем-нибудь понадоблюсь вам до тех пор, приходите или пришлите кого-нибудь сюда. Пусть спросят инспектора Жавера.

Глава 215

Через некоторое время после этого, около трех часов, Курфейрак случайно проходил по улице Муфтар, в сопровождении Боссюэта. Снег падал все гуще и покрывал землю. Боссюэт только что собирался сказать товарищу: «Смотря на эти падающие снежные хлопья, можно подумать, что на небе начался мор белых бабочек». Вдруг он увидел Мариуса, который шел по направлению к заставе. У него был какой-то странный вид.

— Смотри-ка! Ведь это Мариус! — воскликнул Боссюэт.

— Я его видел, — сказал Курфейрак. — Не нужно подходить к нему.

— Почему?

— Потому что он занят.

— Чем?

— Да разве ты не заметил, какое у него лицо?

— Какое же?

— У него такой вид, как будто он следит за кем-нибудь.

— Это правда, — согласился Боссюэт.

— Посмотри, какие глаза он делает! — воскликнул Курфейрак.

— Но кого же, черт возьми, он выслеживает?

— Какую-нибудь красотку. Он влюблен.

— Да я не вижу тут никакой красотки, — возразил Боссюэт. — На улице нет ни одной женщины.

Курфейрак огляделся и воскликнул:

— Ага! Он следит за мужчиной!

На самом деле какой-то старик в фуражке шел шагах в двадцати впереди Мариуса. Курфейрак и Боссюэт видели не лицо, а спину этого человека,

но сбоку можно было различить его седую бороду.

Он был в новеньком, слишком широком для него рединготе, из-под которого виднелись отвратительные, все перепачканные в грязи, оборванные панталоны.

Боссюэт расхохотался.

— Что это за фигура! — воскликнул он.

— Эта?.. — сказал Курфейрак. — Это — поэт. Поэты часто ходят в панталонах, как у тряпичников, и в рединготах, как у пэров Франции.

— Посмотрим, куда идет Мариус и куда идет этот человек. Пойдем за ними. Хорошо?..

— Боссюэт! — воскликнул Курфейрак. — Орел из Мо! Ты замечателен! Следить за человеком, который выслеживает другого!

И они повернули назад.

Мариус, увидев проходившего по улице Муфтар Жондретта, действительно стал следить

за ним.

А Жондретт, ничего не подозревая, шел вперед.

Он свернул с улицы Муфтар, и Мариус видел, как он вошел в одну из самых ужасных лачуг улицы Грасьез. Он оставался там около четверти часа и снова вернулся на улицу Муфтар. Потом он вошел в скобяную лавку, которая в то время была на углу улицы Пьер-Ломбар; через несколько минут он вышел оттуда, держа в руке большое долото с белой деревянной рукояткой, и спрятал его под своим редингтотом. В конце улицы Пти-Жантильи Жондретт повернул направо и быстро дошел до улицы Пти-Банкье. Начинало темнеть; снег, на минуту переставший, снова повалил. Мариус не пошел за Жондреттом и спрятался на самом углу улицы Пти-Банкье, как и всегда безлюдной. И хорошо сделал, потому что Жондретт, дойдя до низкой стены, за которой Мариус слышал разговор двух приятелей, бородатого и лохматого, оглянулся и внимательно осмотрелся кругом. Удостоверившись, что

поблизости никого нет, что никто не следит за ним и не видит его, Жондретт перешагнул через стену и исчез.

Тянувшийся за стеной пустырь примыкал к заднему двору пользовавшегося дурной славой каретника, который когда-то отдавал внаем экипажи, а потом обанкротился. Впрочем, у него под навесом еще стояло несколько старых экипажей.

Мариус нашел, что благоразумнее всего, пользуясь отсутствием Жондретта, вернуться теперь же домой. К тому же становилось темно. Тетка Бугон, уходя мыть посуду в город, обыкновенно запирала входную дверь.

А так как Мариус отдал свой ключ инспектору, то ему нужно было поторопиться.

Наступил вечер, и уже почти совсем стемнело. Багровая луна выплывала из-за низкого купола больницы Сальпетриер.

Мариус торопливо подошел к дому No 50—52. Входная дверь была еще отперта. Он на

цыпочках поднялся по лестнице и проскользнул около самой стены коридора до своей комнаты. По обеим сторонам этого коридора были, как известно, каморки; теперь они сдавались внаймы и стояли пустые. Тетка Бугон оставляла всегда их двери отворенными. Когда Мариус проходил мимо одной из дверей, ему показалось, что в комнате виднеются четыре неподвижных головы, освещенные бледным светом, падавшим из слухового окна. Мариус не стал вглядываться: он боялся, как бы не увидели его самого. Ему удалось тихо и незаметно добраться до своей комнаты. И было как раз время. Минуту спустя он слышал, как тетка Бугон ушла и заперла за собой дверь.

Глава 216

Мариус сел на кровать. Было около половины шестого. Только полчаса отделяло его от того, что должно было произойти. Он слышал биение своего сердца, как слышат в темноте тиканье часов. Он думал о двойном движении, которое

совершалось во мраке в эту самую минуту; с одной стороны, приближалось преступление, с другой — шло правосудие. Мариус не чувствовал страха, но какой-то трепет охватывал его, когда он думал о том, чему предстояло свершиться. Как бывает со всеми, внезапно застигнутыми каким-нибудь необыкновенным приключением, весь этот день казался ему сном, и только ощущение холода, идущее от двух пистолетов в жилетных карманах, убеждало его, что он не жертва кошмара.

Снег перестал. Луна, становившаяся все ярче, выплывала из облаков, и ее свет, примешиваясь к белому отражению снега, придавал комнате какой-то сумеречный вид.

В мансарде Жондретта был огонь. Из щели в перегородке пробивался красный свет, казавшийся Мариусу кровавым.

Этот свет не могло, очевидно, отбрасывать пламя свечи. Однако в комнате не слышно было никакого движения, никто там не шевелился, не говорил, не дышал, в ней царила глубокая, как бы

ледяная тишина, и, не будь света, можно было бы подумать, что это склеп.

Мариус тихонько снял сапоги и поставил их под кровать. Прошло еще несколько минут. Вдруг заскрипели петли отворившейся внизу двери, тяжелые быстрые шаги прозвучали по лестнице, затем по коридору, и задвижка двери громко Щёлкнула.

Это вернулся Жондретт.

И в то же мгновение раздалось несколько голосов. Вся семья была в мансарде. Только она молчала в отсутствие своего главы, как молчат волчата, когда уходит волк.

— Вот и я, — сказал Жондретт.

— Здравствуй, отец, — запищали дочери.

— Ну что же? — спросила мать.

— Все идет как по маслу, — ответил Жондретт, — только ноги у меня совсем окоченели. А ты принарядилась — вот это хорошо. Ты должна внушать доверие.

— Я совсем готова и могу идти.

— Ты не забудешь, что я говорил тебе? Сделаешь все, как следует?

— Будь покоен.

— Дело в том… — начал было Жондретт, но не кончил своей фразы. Мариус слышал, как он положил на стол что-то тяжелое, по всей вероятности, купленное долото.

— А вы ели? — спросил Жондретт.

— Да, — отвечала жена. — Я купила три большие картофелины и соли. Так как у нас был огонь, то я испекла их.

— Отлично, — сказал Жондретт. — Завтра я поведу вас обедать с собой. У нас будет утка и всякая штука. Вы пообедаете, как Карл X. Все идет как нельзя лучше.

И, понизив голос, он прибавил:

— Мышеловка открыта. Коты там. Положи это в огонь.

Мариус услыхал, как затрещали уголья, которые ворочали щипцами или каким-то железным орудием.

— А ты смазала салом дверные петли, чтобы они не скрипели? — спросил Жондретт.

— Смазала, — ответила жена.

— Который теперь час?

— Скоро шесть. Недавно пробило половину на колокольне Сен-Медар.

— Черт возьми! — воскликнул Жондретт. — Девчонкам пора отправляться на караул… Ну, идите сюда, слушайте!

За перегородкой зашептались.

— Бугон ушла? — снова громко спросил Жондретт.

— Ушла, — ответила жена.

— Ты точно знаешь, что в комнате соседа никого нет?

— Его целый день не было дома, а в это время он, как ты знаешь, всегда обедает.

— Ты уверена, что его нет?

— Конечно.

— Ну, все равно, — сказал Жондретт. — Ничего дурного не будет, если мы посмотрим, не здесь ли он. Возьми-ка свечу, дочурка, да сходи туда.

Мариус встал на четвереньки и осторожно заполз под кровать. Только что успел он притаиться, как сквозь дверные щели блеснул свет.

— Его нет дома, отец, — крикнул женский голос. Мариус узнал голос старшей дочери.

— Входила ты в комнату? — спросил отец.

— Нет. Когда его ключ в замке, значит, он ушел.

— Все равно войди, — закричал отец.

Дверь отворилась, и Мариус увидал старшую дочь Жондретта со свечою в руке. Она была такая же, как и утром, только казалась еще ужаснее при освещении.

Она пошла прямо к постели, одно мгновение Мариус испытывал мучительную тревогу. Но оказалось, что девушку привлекло висевшее над кроватью зеркало. Она поднялась на цыпочки и погляделась в него. А в соседней комнате передвинули что-то железное.

Девушка пригладила ладонями волосы и несколько раз улыбнулась перед зеркалом, напевая своим разбитым, могильным голосом:

Любили мы друг друга лишь неделю,

Как сладкий сон она для нас прошла!

И только восемь дней мы знали счастье,

Тогда как вечность для любви нужна!

О да, вся вечность для любви нужна!

Мариус дрожал. Ему казалось невозможным, чтобы она не услышала его дыхания.

Девушка подошла к окну и посмотрела в него, проговорив со своим несколько безумным видом:

— Как некрасив Париж, когда надевает белую рубашку.

Она снова подошла к зеркалу и стала делать гримаски, рассматривая себя то анфас, то в профиль.

— Ну чего же ты там запропастилась! — крикнул отец.

— Смотрю под кровать и под мебель, — отвечала она, оправляя волосы. — Нигде никого нет.

— Дура! — заревел отец. — Иди сюда сию же минуту! Нам нельзя терять времени.

— Иду! Иду! В этой конуре ни на что нет времени! — ответила дочь и запела:

Покинешь ты меня, на славу променяешь,

Но сердце грустное с тобою полетит…

Она бросила последний взгляд в зеркало и вышла, притворив за собою дверь.

Через минуту Мариус услыхал шаги босых ног. Это шли по коридору девушки.

— Смотрите внимательнее! — крикнул им отец. — Одна должна стоять в той стороне, где

застава, другая — на углу улицы Пти-Банкье. Ни на минуту не теряйте из виду двери дома, и как только увидите что-нибудь, сейчас же бегите сюда! Одним духом! У вас есть ключ от входной двери.

— Сторожить, стоя босыми ногами на снегу! — проворчала старшая дочь.

— Завтра у вас будут красные шелковые башмаки, — сказал отец.

Они спустились с лестницы, и через несколько секунд входная дверь захлопнулась. Они ушли.

В доме остались только супруги Жондретты, Мариус и, по всей вероятности, те таинственные существа, которых он видел в темноте за дверью необитаемой каморки.

Глава 217

Мариус нашел, что ему надо занять свой наблюдательный пост. В одно мгновение он с

ловкостью, свойственной его возрасту, был уже около щелки перегородки.

Он заглянул в нее.

Комната Жондретта представляла собой странный вид, и Мариус понял теперь, от чего происходил замеченный им красноватый свет.

Свеча горела в ржавом подсвечнике, но, в сущности, не она освещала комнату. Вся мансарда была озарена светом горящих углей в железной жаровне, стоявшей в камине. Это была та самая жаровня, которую жена Жондретта приготовила утром. Уголь пылал, жаровня раскалилась докрасна, синие огоньки пробегали по углям, а на них лежало купленное Жондреттом на улице Пьер-Ломбар длинное долото.

В углу около двери виднелись, как бы специально положенные тут, кучка старого железа и моток веревки. В уме человека, не подозревающего о том, что здесь готовилось, вся эта обстановка могла бы вызвать или самую зловещую, или очень обыкновенную мысль. Освещенная странным светом мансарда походила

больше на кузницу, чем на преддверие ада, но сам Жондретт при этом освещении казался скорее демоном, чем кузнецом.

Жар от пылающих углей был так велик, что стоявшая на столе свеча оплывала с той стороны, которая была обращена к жаровне. Большой медный глухой фонарь, достойный Диогена, превратившегося в Картуша, стоял на камине.

Так как жаровня помещалась в самом камине, около полупотухших угольев, то почти весь чад уходил в трубу, и запаха в комнате не было.

Луна, заглядывая в окно, бросала свой бледный свет в багровую пылающую мансарду. И поэтическому воображению Мариуса, мечтающего даже во время самого действия, это казалось мыслью неба, примешанной к уродливым грезам земли.

Струя холодного воздуха врывалась в разбитое стекло; чистый воздух разгонял остатки чада и, застилая жаровню, как облаком, скрывал ее.

Берлога Жондретта, если читатель помнит наше описание лачуги Горбо, как нельзя более годилась для совершения какого-нибудь жестокого темного дела и была подходящей рамкой для преступления. Это была самая дальняя комната в самом уединенном доме самого пустынного бульвара Парижа. Если бы ловушек не существовало, их должны были изобрести именно в такой комнате.

Вся толщина стен дома и целый ряд необитаемых мансард отделяли эту берлогу от бульвара, а ее единственное окно выходило на пустыри, обнесенные изгородями и стенами.

Жондретт закурил свою трубку и уселся на продавленный стул. Жена что-то говорила ему.

Если бы Мариус был Курфейраком, то есть одним из тех людей, которые смеются при любых обстоятельствах, он, наверное, расхохотался бы, взглянув на жену Жондретта. На ней была черная шляпа с перьями, похожая на шляпы герольдов во время коронации Карла X, широчайшая шаль из клетчатой шотландской материи, надетая поверх

вязаной юбки, и мужские башмаки, к которым так презрительно отнеслась утром ее дочь. Этот-то костюм вызвал у Жондретта восклицание. «А, ты принарядилась, вот это хорошо. Ты должна внушать доверие».

Что касается самого Жондретта, то он остался в новом, слишком широком для него рединготе, который дал ему господин Леблан, и в его одежде все еще сохранялся контраст между новеньким пальто и обтрепанными панталонами, составляющий, по мнению Курфейрака, идеал поэта.

Вдруг Жондретт возвысил голос:

— А кстати, вот что пришло мне в голову. По такой погоде он, наверное, приедет в фиакре. Зажги фонарь и сойди с ним вниз. Стой там около входной двери. Как только услышишь, что подъехал фиакр, тотчас же отвори дверь. Когда наш благодетель выйдет, посвети ему на лестнице и в коридоре, а когда он войдет сюда, как можно скорее сойди с лестницы, заплати извозчику и отпусти фиакр.

— А деньги? — спросила жена.

Жондретт порылся в кармане и дал ей пятифранковую монету.

— Откуда это? — воскликнула она.

— Эту штучку дал сегодня утром сосед, — с достоинством сказал Жондретт и прибавил: — Знаешь что? Нам бы нужно было поставить сюда два стула.

— Зачем?

— Чтобы было на чем сесть.

Мариус почувствовал, как дрожь пробежала у него по телу, когда жена Жондретта спокойно ответила:

— Ну что же, я возьму их у соседа.

И быстрым движением она отворила дверь своей мансарды и вышла в коридор.

У Мариуса не было физической возможности успеть соскочить с комода, добраться до кровати и спрятаться под ней.

— Возьми свечу, — сказал Жондретт.

— Нет, она только помешает мне, — ответила жена, — ведь мне придется нести два стула. При луне светло и так.

Мариус услыхал, как тяжелая рука начала шарить в темноте, ощупью отыскивая ключ. Дверь отворилась, Мариус стоял неподвижно; страх и неожиданность приковали его к месту.

Женщина вошла.

В окно мансарды пробился луч лунного света, а по обеим сторонам лежала густая тень. Стена, к которой прислонился Мариус, была в тени, так что его трудно было рассмотреть.

Жена Жондретта подняла глаза и, не заметив Мариуса, взяла два стула — у него и было только два — и ушла с ними. Дверь с громом захлопнулась за ней.

— Вот стулья, — сказала она, входя в свою мансарду.

— А вот и фонарь, — сказал Жондретт. — Ступай скорее вниз.

Она поспешно ушла, и Жондретт остался один.

Он поставил стулья по обеим сторонам стола, перевернул долото на горящих углях, поставил перед камином старые ширмы, закрывшие жаровню, а потом пошел в угол, где лежали веревки, и нагнулся, как бы отыскивая что-то. Тут только Мариус заметил, что это не беспорядочный моток веревок, как ему показалось сначала, а очень хорошо сделанная веревочная лестница с деревянными ступенями и двумя крюками для зацепки.

Этой лестницы и нескольких массивных железных инструментов, лежавших вместе со старым железом, сваленным за дверью, в мансарде утром не было. Жондретт, вероятно, принес их днем во время отсутствия Мариуса.

«Это слесарные инструменты», — подумал Мариус.

Будь он немножко поопытнее по этой части, он понял бы, что это не слесарные инструменты, а разные приспособления для того, чтоб отпирать

замки, отмыкать двери, вырезать стекла — словом, целый арсенал воровских инструментов.

Камин и стол с двумя стульями были как раз напротив Мариуса. Жаровня была скрыта, только одна свеча освещала теперь комнату, и каждый маленький черепок на столе и на камине отбрасывал длинную тень. От разбитого горшка с водой падала тень, закрывавшая половину стены. В этой комнате стояла какая-то зловещая и грозная тишина. В ней чувствовалось ожидание чего-то ужасного.

Трубка Жондретта погасла — верный признак того, что он был озабочен. Он снова сел. При пламени свечи резко выступали угловатые линии его умного и жестокого лица. Он хмурил брови и делал резкие жесты правой рукой, как бы отвечая на свой же мысленный монолог. После одного из таких жестов он быстро выдвинул ящик стола, вынул оттуда длинный кухонный нож и попробовал его лезвие ногтем. Потом он снова положил нож в ящик и задвинул его.

Мариус, со своей стороны, выхватил пистолет из правого жилетного кармана и взвел курок.

Послышался резкий отрывистый звук.

Жондретт вздрогнул и приподнялся на стуле.

— Кто там? — крикнул он.

Мариус затаил дыхание. Жондретт прислушался, а потом расхохотался и сказал:

— Что я за олух! Это затрещала перегородка!

Мариус оставил пистолет в руке.

Глава 218

Вдруг издали донесся меланхолический звон колокола. На колокольне Сен-Медар пробило шесть часов.

Жондретт кивал головою при каждом новом ударе. Когда пробил последний, шестой, он снял пальцами нагар со свечи.

Потом он зашагал по комнате, на минуту остановился и прислушался около двери в

коридор, опять принялся ходить и снова стал прислушиваться.

— Только бы он приехал! — пробормотал он и подошел к своему стулу.

Едва успел он сесть, как дверь распахнулась.

Его жена отворила ее и стояла в коридоре, скорчив ужасную, но, по ее мнению, любезную улыбку, на которую снизу падал свет через одну из дверок глухого фонаря.

— Войдите, сударь, — сказала она.

— Войдите, наш благодетель, — повторил приглашение Жондретт, вскочив со стула.

Показался Леблан.

Ясное выражение лица придавало ему необыкновенно почтенный вид.

Он положил на стол четыре луидора и сказал:

— Вот деньги за вашу квартиру, господин Фабанту, и на первые надобности, а потом посмотрим.

— Воздай вам Господь, наш великодушный благодетель! — воскликнул Жондретт и, подойдя к жене, шепнул ей: «Отпусти фиакр!»

Она ускользнула, в то время как муж ее расточал поклоны и предлагал Леблану стул.

Через минуту она вернулась и шепнула на ухо мужу:

— Все сделано.

Снега, не переставшего падать с самого утра, навалило так много, что не слышно было ни как подъехал, ни как уехал фиакр.

Леблан сел.

Жондретт занял другой стул, напротив него, Теперь, для того чтобы составить себе понятие о последующей сцене, пусть читатель представит себе морозную ночь, занесенные снегом пустыри Сальпетриер, белеющие под лунным светом как громадные саваны, красноватый свет фонарей, мерцающих кое-где на мрачных бульварах, длинные ряды черных возов, лачугу Горбо, еще более ужасную, безмолвную и мрачную, чем

когда-либо, а в этой лачуге среди этих пустырей и этого мрака — обширную мансарду Жондретта и в этой мансарде двух человек, сидящих за столом, — господина Леблана, спокойного, безмятежного, и Жондретта, улыбающегося, ужасного, его жену, эту волчицу, притаившуюся в углу, а за перегородкой невидимого Мариуса с пистолетом в руке, не пропускающего ни одного слова, ни одного движения и внимательно следящего за всем.

Мариус испытывал только отвращение, но ни малейшего страха, и был спокоен.

«Я остановлю этого негодяя, когда захочу», — думал он.

Он знал, что полицейские скрываются где-нибудь в засаде и ждут только условленного сигнала, чтоб явиться на помощь.

Вместе с тем Мариус надеялся, что от столкновения между Жондреттом и Лебланом несколько выяснится все то, что так интересовало его самого.

Глава 219

Только что успев сесть, Леблан взглянул на пустые постели.

— Как чувствует себя бедная раненая девочка? — спросил он.

— Плохо, — с грустной признательной улыбкой ответил Жондретт, — очень плохо. Старшая сестра повела ее в больницу, чтобы ей сделали перевязку. Вы их увидите, они вернутся с минуты на минуту.

— А Фабанту, как кажется, лучше? — продолжал господин Леблан, взглянув на странный костюм его жены.

Она стояла в угрожающей, почти боевой позе между ним и дверью, как бы охраняя выход.

— Нет, ей хуже, она чуть не умирает, — ответил Жондретт, — но дело в том, сударь, что она необыкновенно выносliва. Это не женщина, а бык.

Жена, тронутая таким комплиментом, воскликнула, жеманясь, как польщенное чудовище:

— Ты всегда слишком добр ко мне, Жондретт!

— Жондретт, — повторил Леблан. — Но ведь ваша фамилия, кажется, Фабанту?

— Фабанту, он же Жондретт, — поспешил вмешаться муж: — Это мое театральное прозвище.

И, незаметно для Леблана, пожав плечами по адресу жены, он продолжал напыщенным и вкрадчивым тоном:

— Да, мы всегда жили дружно: эта бедняжка и я! С чем бы мы остались, если б у нас не было и этого? Мы так несчастны, почтенный благодетель! У нас есть руки, но нет работы! Есть желание трудиться, но нет занятия! Не знаю, как устраивает это правительство — я не якобинец, сударь, я ничего не имею против правительства, — но даю вам честное слово, что,

будь я на месте министров, дело пошло б иначе. Да, вот вам пример. Я хотел выучить дочерей картонажному ремеслу. Как ремеслу? — скажете вы. Да, ремеслу, простому ремеслу, чтобы добывать кусок хлеба! Какое падение, сударь! Какое унижение после того, чем мы были прежде! Увы! У нас не осталось ничего от нашего богатства, ничего, кроме картины, которой я очень дорожу. Но делать нечего, придется расстаться с ней, потому что нужно жить! Да, нужно жить!

В то время как Жондретт говорил, беспорядочно перескакивая с предмета на предмет, причем лицо его сохраняло свое обычное умное и проницательное выражение, Мариус поднял глаза и увидел в глубине комнаты какого-то мужчину, которого раньше не было здесь. Он вошел так тихо, что не слышно было, как отворилась дверь. На нем была старая вязаная фиолетовая фуфайка, обтрепанная, испачканная и разорванная по всем швам, широкие плисовые панталоны и носки. Он был без рубашки и без галстука, голые руки его были покрыты

татуировкой, лицо вымазано чем-то черным. Он молча уселся на ближнюю кровать и скрестил руки. Так как он поместился позади жены Жондретта, то его было трудно рассмотреть.

По какому-то магнетическому инстинкту, предупреждающему зрение, господин Леблан взглянул на незнакомца почти в одно время с Мариусом. Он не мог удержаться от легкого жеста удивления, не ускользнувшего от Жондретта.

— А, понимаю! Вы смотрите на свой редингот? — воскликнул Жондретт, с самодовольным видом застегивая пуговицы. — Он как раз по мне! Клянусь честью, он как раз по мне!

— Что это за человек? — спросил Леблан.

— Это?.. — сказал Жондретт. — Это сосед. Не обращайте на него внимания.

У соседа был очень странный вид. Впрочем, в предместье Сен-Марсо много химических заводов, а у рабочих этих заводов часто

перепачканы лица. И вся фигура Леблана дышала самым искренним, не знающим страха доверием.

— Извините, — сказал он, — вы что-то говорили мне, Фабанту?

— Я вам говорил, дорогой покровитель, — отвечал Жондретт, облокотившись на стол и устремив на Леблана пристальный, нежный взгляд, похожий на взгляд боа, — я говорил вам, что у меня есть картина на продажу.

Легкий шум послышался около двери: другой человек вошел и сел на кровать, позади жены Жондретта. У него, как у первого, были голые руки и перепачканное в чернилах или саже лицо.

Хотя этот новый посетитель буквально проскользнул в комнату, господин Леблан все-таки заметил его.

— Не обращайте внимания, — сказал Жондретт, — это здешние жильцы. Так я говорил, что у меня есть драгоценная картина. Не хотите ли взглянуть, сударь?

Он встал, подошел к стоявшей около стены раме, о которой мы уже упоминали, перевернул ее и опять приставил к стене. Это было действительно что-то вроде картины. Бледный свет свечи падал на нее, но Мариус почти ничего не мог рассмотреть, так как Жондретт заслонил ему картину. Он только заметил, что это была самая грубая пачкотня, а какая-то фигура на первом плане по бросающейся в глаза яркости красок напоминала рисунки на ширмах или раскрашенные холсты ярмарочных балаганов.

— Что это такое? — спросил господин Леблан.

— Это работа мастера, очень ценная картина, мой благодетель! — воскликнул Жондретт. — Я дорожу ею, как своими дочерьми, — с ней связано столько воспоминаний! Но я уже говорил вам и не стану отпираться от своих слов: я так беден, что вынужден расстаться с ней.

Может быть случайно, а может быть, начиная беспокоиться, господин Леблан, рассматривая картину, поглядел в глубину комнаты. Там было

теперь уже четыре человека; трое сидели на постели, а один стоял около двери; у всех были голые руки и перепачканные черным лица. Один из сидевших на постели прислонился к стене и закрыл глаза: он, казалось, спал. Это был старик, и его седые волосы, спускавшиеся на черное лицо, производили ужасное впечатление. Два других казались молодыми; один был бородатый, другой — лохматый. Башмаков не было ни на одном, а иные были даже без носков, с босыми ногами.

Жондретт заметил, что Леблан смотрит на них.

— Это приятели, соседи, — сказал он. — Они перепачканы в саже, потому что дело их такое. Они печники. Не обращайте на них внимания, благодетель, лучше купите у меня картину. Имейте сострадание к моей бедности. Я не запрошу за нее слишком дорого. Во сколько вы ее цените?

— Но ведь это, — сказал Леблан, смотря Жондретту прямо в глаза, как человек,

начинающий остерегаться, — ведь это что-то вроде кабацкой вывески — она стоит франка три.

— С вами ваш бумажник? — кротко спросил Жондретт. — Я готов уступить вам картину за тысячу экю.

Леблан встал, прислонился к стене и оглядел комнату. Влево от него, у окна стоял Жондретт, вправо около двери помещались его жена и четверо приятелей. Эти четыре человека не сдвинулись с места и как будто даже ничего не видели. Жондретт снова принялся говорить жалобным голосом, с таким блуждающим взглядом и таким плаксивым голосом, что Леблан мог бы принять его просто за человека, обезумевшего от нищеты.

— Если вы не купите у меня картины, дражайший благодетель, — продолжал Жондретт, — я останусь совсем без средств, и мне придется броситься в реку. Как подумаешь, что я хотел выучить своих дочерей картонажному ремеслу, хотел, чтобы они делали хорошенькие коробки и бонбоньерки. И что же? Оказалось, что

для этого нужен стол с приделанной к нему доской, чтобы не могли упасть стекла, нужна особая печь, горшок с тремя отделениями для трех сортов клея, смотря по тому, что склеиваешь — дерево, бумагу или материю, нужен нож, чтобы резать картон, форма для прилаживания, молоток для гвоздиков, кисточки и черт знает что еще! И все это для того, чтобы добыть четыре су в день! А работать приходится четырнадцать часов! И каждая коробка тринадцать раз попадает в руки работницы! И нужно мочить бумагу! И чтобы нигде не было ни пятнышка! И чтобы клей был всегда теплый! И черт и дьявол! Слышите? Четыре су в день! Как же тут жить?

Во время этого монолога Жондретт не смотрел на Леблана, который, со своей стороны, наблюдал за ним. Глаза Леблана были устремлены на Жондретта, глаза Жондретта — на дверь. Мариус с напряженным вниманием следил то за одним, то за другим. Леблан, казалось, спрашивал себя: «Идиот это, что ли?» А Жондретт раза два или три повторил на разные

лады протяжным, жалобным голосом: «Мне остается только одно — броситься в реку! Как-то на днях я уже сошел с трех ступенек около Аустерлицкого моста». Вдруг грозное пламя блеснуло в его тусклых глазах. Этот низенький человек выпрямился и стал страшен. Он пододвинулся к господину Леблану и крикнул громовым голосом:

— Не в этом дело! Узнаете ли вы меня?

Глава 220

Дверь мансарды вдруг распахнулась, и в нее вошли трое мужчин в синих холщовых блузах и масках из черной бумаги. Один из них, очень худой, держал в руке окованную железом дубину; другой, настоящий великан, нес за середину рукоятки топор, способный убить быка; третий, широкоплечий, не такой тощий, как первый, и не такой массивный, как второй, сжимал в кулаке огромный ключ, должно быть, украденный от какой-нибудь тюремной двери. Жондретт,

видимо, только и ждал. Между ним и худым человеком с дубиной начался быстрый разговор.

— Все готово? — спросил Жондретт.

— Да, — ответил худой.

— А где же Монпарнас?

— Первый любовник остановился поболтать с твоей дочерью.

— С которой?

— Со старшей.

— Стоит внизу фиакр?

— Да.

— Запряжена фура?

— Запряжена.

— Парой хороших лошадей?

— Великолепных.

— Она стоит там, где я сказал?

— Да.

— Хорошо.

Леблан был очень бледен. Он осматривался кругом, как человек, понявший, куда попал, и медленно с изумлением поворачивал голову, внимательно глядя на все окружавшие его лица, но незаметно было, что он испытывал страх. Этот человек, казавшийся всего несколько минут назад простым, добродушным стариком, внезапно превратился в атлета и, воспользовавшись столом, как ретраншементом, угрожающим жестом опустил на спинку стула свой могучий кулак.

Этот человек, столь твердый и мужественный перед лицом такой опасности, принадлежал, по-видимому, к числу натур, мужество которых так же естественно и просто, как их доброта. Отец любимой женщины не может быть для нас чужим. И Мариус гордился отцом «своей Урсулы».

Трое мужчин с голыми руками, про которых Жондретт сказал: «они печники», подошли к куче старого железа. Один из них взял оттуда большие ножницы для резки металла. Другой — клещи,

третий — молоток, и затем все они встали молча около двери. Старик остался на постели и только открыл глаза. Жена Жондретта села рядом с ним.

Мариус, вполне уверенный, что через несколько секунд ему придется вмешаться в дело, поднял правую руку к потолку, в сторону коридора и приготовился стрелять.

Переговорив с человеком, державшим дубину, Жондретт снова обернулся к Леблану и повторил свой вопрос, сопровождая его тихим, сдержанным, ужасным смехом:

— Знаете вы меня?

— Нет, — ответил Леблан, взглянув ему в лицо.

Тогда Жондретт подошел к столу. Он нагнулся над свечой, скрестил руки, приблизил к спокойному лицу Леблана свои угловатые свирепые челюсти, подался вперед, насколько мог дальше, причем Леблан не отступил ни на шаг, и, стоя в этой позе готового укусить дикого зверя, крикнул ему:

— Моя фамилия не Фабанту и не Жондретт! Меня зовут Тенардье! Я трактирщик из Монфермейля! Слышите? Тенардье! Теперь узнаете вы меня?

Легкая краска разлилась по лбу Леблана, но он отвечал, как всегда, спокойно, не возвышая голоса, в котором не слышалось дрожи:

— Не узнаю и теперь.

Мариус не слышал его ответа. Он стоял растерянный, ошеломленный, пораженный, как громом. Когда Жондретт сказал: «Меня зовут Тенардье», — Мариус задрожал всем телом и прислонился к стене. Как будто холодное лезвие шпаги пронзило ему сердце. Потом его правая рука, готовая подать условленный сигнал, тихо опустилась и, когда Жондретт повторил: «Слышите, Тенардье!», — ослабевшие пальцы Мариуса чуть не выронили пистолета. Жондретт, открыв свою настоящую фамилию, не смутил Леблана, но страшно взволновал Мариуса. Эта фамилия Тенардье, по-видимому неизвестная Леблану, была слишком знакома Мариусу. Пусть

читатель вспомнит, чем она была для него. Он носил ее в сердце: она была упомянута в завещании его отца. Он хранил ее в своих мыслях, в своей памяти, помня священный завет: «Один сержант спас мне жизнь. Его звали Тенардье. Если сын мой встретит Тенардье, он сделает ему столько добра, сколько будет в силах». Эта фамилия, как, вероятно, помнит читатель, была одной из святынь Мариуса. В своем поклонении он соединял ее с именем отца. Неужели же это тот самый Тенардье, тот монфермейльский трактирщик, которого он так долго и тщетно искал? Наконец он нашел его, но каким? Человек, спасший его отца, был разбойник! Человек, которому Мариус так страшно желал доказать свою преданность, оказался чудовищем! Тот, кто вынес с поля битвы полковника Понмерси, готовился совершить преступление — Мариус еще не знал какое, но, по-видимому, убийство! И кого же хотел он убить, о боже! Какая роковая случайность! Какая горькая насмешка судьбы! Отец приказывал ему из глубины своей могилы сделать Тенардье

столько добра, сколько будет в его силах, и на протяжении четырех лет Мариус только и думал о том, как бы выполнить долг, оставленный отцом. А теперь, когда он собирался предать в руки правосудия разбойника, судьба объявляла ему: это Тенардье! За жизнь своего отца, спасенного под градом картечи на героическом поле Ватерлоо, он заплатит этому человеку, заплатит эшафотом! Он обещал себе при встрече с Тенардье броситься к его ногам, и он нашел его, но лишь для того, чтобы предать палачу! Отец говорил ему: «Помогай Тенардье!», а он ответит на этот священный, обожаемый голос тем, что погубит Тенардье. Этого человека, спасшего от смерти его отца с опасностью для своей собственной жизни, казнят на площади Сен-Жак и казнят по милости его, Мариуса, сына спасенного! И какая насмешка — так долго носить в груди последнюю волю отца, написанную его рукой, и поступить как раз наоборот! Но, с другой стороны, неужели он будет свидетелем преступления и не помешает ему? Неужели он осудит жертву и пощадит

убийцу? Разве можно считать себя обязанным такому негодяю долгом признательности? Все, что занимало мысли Мариуса в последние четыре года, было разрушено этим неожиданным ударом. Он содрогался. Все зависело от него. Он держал в своих руках судьбу всех этих людей, собравшихся здесь, у него перед глазами. Если он выстрелит, господин Леблан спасен, а Тенардье погиб. Если не станет стрелять, господин Леблан будет жертвой и — кто знает? — может быть, Тенардье ускользнет. Сбросить одного или дать упасть другому! Угрызения совести и тут и там. Что делать? Что выбрать? Изменить самым дорогим воспоминаниям, самым торжественным обязательствам, принятым перед самим собою, изменить самому священному долгу! Не исполнить завещания отца или дать совершиться преступлению! Ему казалось, что, с одной стороны, он слышит голос «своей Урсулы», умоляющей его спасти отца, а с другой — голос полковника, поручающего ему заботиться о Тенардье. Он чувствовал, что сходит с ума. Колени его подгибались, и у него не было даже

времени подумать — с такой бешеной быстротой разыгрывалась сцена, бывшая у него перед глазами. Вихрь, которым он думал управлять по своей воле, уносил его самого. Была минута, когда он чуть не упал без сознания.

Между тем Тенардье, — отныне мы не будем называть его иначе, — как бы обезумевший от торжества, прохаживался взад и вперед перед столом.

Он схватил свечу и переставил на камин, так сильно хлопнув подсвечником, что свеча чуть не потухла, а сало обрызгало стену.

Потом он обернулся к господину Леблану и крикнул:

— Попался! Поддели! Теперь не увильнуть! Капут!

И он снова принялся ходить, как безумный.

— А, наконец-то я вас отыскал, философ! — воскликнул он. — Господин истрепанный миллионер, раздающий куколки! Старый простофиля! Так вы не знаете меня? Конечно нет!

Ведь не вы приходили в мой трактир в Монфермейле восемь лет тому назад, в ночь под Рождество 1823 года, не вы увели с собою ребенка Фантины — Жаворонка! Не на вас был желтый сюртук и сверток с разной рухлядью, как сегодня утром у меня! Слышишь, жена? Должно быть, уж такая у него манера таскать по домам свертки с шерстяными чулками! Скажите пожалуйста, какой благодетель выискался! Уж не чулочник ли вы, господин миллионер? Не разносите ли вы бедным товар из своей лавки, господин святоша? Ах вы, шут гороховый! Так вы не узнаете меня? Ну-с, а я узнал вас. Я узнал вас в ту же минуту, как вы сунули сюда свое рыло. Ага! Вы увидите теперь, что не всегда сходят с рук такие делишки! Забраться в чужой дом под предлогом, что это трактир, напялить на себя отрепье, прикинуться нищим, надувать людей, притвориться великодушным, отнять у них средство к пропитанию, да еще стращать их в лесу! И вы воображаете, что расплатились за все это тем, что принесли этим людям, когда они разорились, слишком широкий редингот да два

больничных одеяла? Так, что ли, старый плут, крадущий детей?

Он остановился и на минуту задумался. А потом, как бы заканчивая разговор с самим собою, крикнул, стукнув по столу кулаком:

— И при этом такой простоватый вид! Черт возьми! Вы когда-то посмеялись надо мною! — снова обратился он к Леблану. — Вы причина всех моих несчастий! Вы заплатили мне полторы тысячи франков за девчонку, которая уже принесла мне порядочно денег и из которой я мог вытянуть столько, что мне хватило бы до самой смерти. Девчонка вознаградила бы меня за все, что я потерял в этом отвратительном трактире с его шумом и гамом, где я, как дурень, проел все, что у меня было! Ах, как было бы хорошо, если бы все вино, какое у меня выпили, превратилось в яд для пивших его! Ну, да черт с ними! Скажите пожалуйста, вы, должно быть, сочли меня большим олухом, когда ушли с Жаворонком? С вами была дубина в лесу. На вашей стороне была сила. А теперь козыри у меня в руках, и я хочу

отыграться. Вы попались, старина! Господи, какая потеха! Меня так и разбирает смех! Как ловко провел я его! Я сказал, что был актером, что моя фамилия Фабанту, что я разыгрывал комедии с мадемуазель Марс, что мой хозяин требует завтра, 4 февраля, плату за квартиру. А он даже не сообразил, что срок восьмого января, а не четвертого февраля! Этакий олух! И он принес мне четыре жалких ливра. А, каналья! У него даже не хватило сердца расщедриться хоть на сто франков! А как он верил всему моему вранью! Это забавляло меня. Я говорил себе: «Ты в моих руках! Утром я лижу тебе лапы, вечером изгрызу и истерзаю твое сердце!»

Тенардье замолчал; он задыхался. Его узкая грудь поднималась и опускалась, как кузнечные мехи. В глазах его сверкала низкая радость слабого, жестокого, трусливого существа, которое может наконец поразить того, кого боялось, и оскорбить того, кому льстило. Это радость карлика, попирающего ногой голову Голиафа, радость шакала, терзающего больного быка,

слишком слабого, чтобы защищаться, но настолько живого, чтобы страдать.

Господин Леблан не прерывал его, но, когда тот остановился, сказал:

— Я не понимаю, что вы хотите сказать. Вы ошибаетесь. Я человек бедный, а совсем не миллионер. Я вас не знаю. Вы принимаете меня за другого.

— А! — прохрипел Тенардье. — Вы повторяете опять то же самое? Вам не хочется расстаться с этой шуткой? И охота же вам городить вздор, старина! Так вы не узнаете меня? Не видите, кто я?

— Извините, сударь, — ответил Леблан вежливым тоном, производившим необыкновенно странное и сильное впечатление в такую минуту, — я вижу, что вы разбойник.

Всякий знает, что у самых низких людей есть свое самолюбие, что негодяи обидчивы. При слове «разбойник» жена Тенардье вскочила с

постели, а сам он схватил стул, как бы собираясь сломать его.

— Сиди смирно! — крикнул он жене и обратился к господину Леблану

— Разбойник! Да, я знаю, что вы называете нас так, господа богачи! Еще бы нет! Я разорился, скрываюсь, сижу без хлеба, без единого су — значит, я разбойник! Целых три дня у меня не было куска во рту — я разбойник! А вы греете себе ноги, носите великолепную обувь, рединготы на вате, как у архиепископов. Вы живете в первых этажах домов со швейцарами, едите трюфели, зеленый горошек, спаржу, пучок которой стоит в январе сорок франков. Вы объедаетесь, а когда хотите узнать, холодна ли погода, смотрите в газету или на термометр. А мы? Мы сами термометры — нам нечего ходить на набережную и смотреть на угловой башне, сколько градусов мороза. У нас стынет кровь в жилах, мы Чувствуем, как холод забирается к нам в тело! А вы приходите в наши берлоги — да, берлоги — и называете нас разбойниками! Но мы

поврем, мы уничтожим вас, жалкие карлики! Знайте вот что, господин миллионер. Я в свое время занимал известное положение, у меня был патент. Я был избирателем. Я — буржуа, а вы — еще неизвестно, кто вы такой! — Тенардье сделал шаг к людям, стоявшим около двери, и взволнованно проговорил: — И как подумаешь, что он осмеливается говорить со мной, как с сапожником! — Потом он снова обернулся к господину Леблану и сказал с удвоенной яростью: — Вам следует узнать еще кое-что, господин филантроп! Я не какой-нибудь подозрительный человек, имени которого никто не знает! Я не забираюсь в чужие дома и не краду детей! Я старый французский солдат. Мне следовало бы получить орден! Я был при Ватерлоо — да! И я спас во время сражения генерала, какого-то графа. Он сказал мне свою фамилию, но голос его был чертовски слаб, и я не расслышал ее. Я только и услыхал одно слово: «Мерси». Его фамилия была бы мне гораздо нужнее благодарности, это помогло бы мне разыскать его. Знаете вы, кто изображен на этой

картине, нарисованной Давидом в Брюсселе? На ней изображен я. Давид пожелал обессмертить мой подвиг. Видите: генерал у меня на плечах, и я уношу его под градом картечи. Вот как было дело. И он даже ничего не сделал для меня, этот генерал, — он был не лучше других! А ведь я спас ему жизнь с опасностью для своей собственной. У меня есть доказательства — целая куча удостоверений. Я солдат Ватерлоо, черт возьми! А теперь, когда я был настолько любезен, что рассказал вам все это, покончим наше дельце. Мне нужны деньги, много денег, пропасть денег, или, клянусь богом, я уничтожу вас!

Мариус немножко оправился от своего волнения и слушал. Исчезла последняя тень сомнения. Это был действительно тот самый Тенардье, о котором говорилось в завещании. Мариус вздрогнул при этом упреке в неблагодарности его отцу — упреке, который он сам роковым образом был готов оправдать. Его колебание усилилось. В словах Тенардье, в его тоне, жестах, взгляде, загоравшемся при каждой фразе, в этой вспышке испорченной натуры, в

этом смешении хвастовства и низости, гордости и мелочности, ярости и безумия, в этом хаосе искренних жалоб и притворных чувств, в этой наглости злого человека, наслаждающегося жестокостью, в этой бесстыдной обнаженности грязной души, в этом соединении страданий и ненависти — сквозило что-то ужасное, как зло, и горькое, как правда.

Картина мастера, картина кисти Давида, которую Тенардье предлагал купить господину Леблану, была, как читатель уже, наверное, догадался, не что иное, как вывеска его трактира, нарисованная им же самим. Это была единственная вещь, сохранившаяся у него после разорения в Монфермейле.

Так как теперь Тенардье уже не заслонял Мариусу картины, тот мог рассмотреть ее. Эта пачкотня действительно изображала сражение; на заднем плане все было окутано дымом, а на переднем какой-то человек нес на себе другого. Это были, очевидно, Тенардье и Понмерси, спаситель-сержант и спасенный полковник.

Мариус точно опьянел. Эта картина как будто оживляла перед ним образ отца; это была не трактирная вывеска, а воскресение мертвого, полураскрывшаяся могила, над которой приподнимался призрак. Мариус чувствовал, как стучит у него в висках, ему слышался грохот пушек, фигура его истекающего кровью отца, нарисованная на этой картине, смущала его, и ему казалось, что этот бесформенный призрак пристально глядит на него.

Переводя дух, Тенардье устремил на Леблана налившиеся кровью глаза и проговорил тихим, отрывистым голосом:

— Что можешь ты сказать, прежде чем мы примемся за тебя?

Леблан не отвечал. И среди глубокой тишины какой-то разбитый голос насмешливо крикнул из коридора:

— Если нужно колоть дрова, я здесь!

Это забавлялся человек с топором. В то же время у двери показалось широкое лицо

землистого цвета с всклокоченными волосами и послышался ужасный хохот, причем обнажились не зубы, а какие-то клыки. Это было лицо человека с топором.

— Зачем снял ты маску? — злобно крикнул ему Тенардье.

— Чтобы посмеяться.

Несколько минут Леблан настороженно следил за всеми движениями Тенардье в то время, как тот, ослепленный яростью, ходил взад и вперед по своей мансарде. Он не остерегался, зная, что дверь охраняется, что его сообщники вооружены, а пленник безоружен, что их девять человек против одного, если госпожу Тенардье считать только за одного мужчину.

Разговаривая с человеком, державшим топор, Тенардье стоял спиной к господину Леблану. Воспользовавшись этой минутой, тот оттолкнул ногой стул, а кулаком стол и одним прыжком с удивительной быстротой, прежде чем Тенардье успел обернуться, был уже около окна. Отворить его, вспрыгнуть на подоконник и перебросить

через него ноги было делом одной секунды. Он уже до половины высунулся из окна, как шесть дюжих рук схватили его и втащили назад в вертеп. Это были три печника, бросившиеся на него. В то же время жена Тенардье вцепилась ему в волосы. Услышав шум, остальные разбойники прибежали из коридора. Сидевший на постели старик, по-видимому пьяный, тоже встал и, шатаясь, подошел, держа в руке молоток. Один из «печников», на вымазанное сажей лицо которого падал свет свечи и в котором Мариус, несмотря на эту маску из сажи, узнал Планшо-Весеннего-Бигрнайля, поднял над головой Леблана железную полосу со свинцовыми гирями на концах.

Мариус не мог вынести этого зрелища. «Отец, прости меня!» — подумал он и ощупал пальцем курок пистолета. Он уже хотел выстрелить, как вдруг раздался голос Тенардье: «Не троньте его!»

Отчаянная попытка жертвы не раздражила, а, напротив, успокоила Тенардье. В нем совмещалось два человека — свирепый и ловкий.

До этой минуты в упоении торжества в виду побежденной недвижимой жертвы в нем преобладал человек свирепый, но, когда жертва начала отбиваться и попробовала бороться, одержал верх человек ловкий.

— Не троньте его! — повторил он и, сам не подозревая этого, остановил выстрел и парализовал Мариуса, которого успокоили эти слова.

Так как обстановка изменилась, то он решил еще немного подождать. Кто знает, может быть, какая-нибудь счастливая случайность избавит его от необходимости делать выбор и решать, кем пожертвовать — отцом Урсулы или человеком, спасшим от смерти полковника.

Началась исполинская борьба. Ударом кулака Леблан отбросил старика, который отлетел на середину комнаты и растянулся на полу. Потом двумя ударами наотмашь он свалил двоих из нападавших и наступил на них коленями. Негодяи хрипели под его тяжестью, как под гранитной глыбой, но остальные четверо

схватили грозного старика за руки и за шиворот и навалились на него, придавив еще больше двух лежащих под ним «печников». Таким образом, одолев одних и осиленный другими, давя тех, которые были внизу, задыхаясь под напиравшими на него самого сверху и тщетно пытаясь освободиться, Леблан исчезал под этой ужасной группой разбойников, как кабан под стаей воющих догов и ищеек.

Наконец им удалось повалить его на ближайшую к окну постель. Они крепко держали его, а госпожа Тенардье не выпускала из рук его волос.

— Тебе нечего тут мешаться, — сказал ей муж, — ты только разорвешь себе шаль.

Она отошла, но заворчала, как волчица, повинующаяся волку.

— Ну-ка, обыщите его! — распорядился Тенардье.

Господин Леблан, по-видимому, отказался от сопротивления. Его обыскали. Нашелся только

кожаный кошелек с шестью франками да носовой платок.

Тенардье положил платок в карман.

— Неужели нет бумажника? — спросил он.

— Нет и часов, — прибавил один из «печников».

— Ну, все равно, — сказал голосом чревовещателя человек, державший ключ, — с этим стариком справиться нелегко!

Тенардье пошел в угол, за дверь, взял оттуда связку веревок и бросил их около постели.

— Привяжите его к кровати. — сказал он и взглянул на старого «печника», сбитого с ног господином Лебланом и лежавшего неподвижно.

— Разве Бюлатрюэль умер? — спросил Тенардье.

— Нет, — ответил Бигрнайль, — он пьян.

— Так уберите его в угол.

Два «печника» оттолкнули пьяного ногами к куче железа.

— Зачем ты привел столько народа, Бабэ? — шепотом спросил Тенардье у человека с дубиной. — Это лишнее.

— Ничего не поделаешь! — ответил тот. — Всем хотелось идти. Бремя теперь глухое. Никаких дел нет.

Кровать, на которую повалили Леблана, походила на больничную койку, с четырьмя грубо сделанными и почти необтесанными деревянными столбиками. Господин Леблан не сопротивлялся. Разбойники крепко привязали его в стоячем положении, так что ноги касались пола, к одной из стоек кровати, самой дальней от окна и ближайшей к камину. Когда был завязан последний узел, Тенардье взял стул и сел почти напротив Леблана. Тенардье был теперь совсем не похож на самого себя. В течение нескольких минут лицо его преобразилось: выражение неистовой ярости сменилось выражением спокойной и лукавой кротости. Мариус с трудом узнавал в вежливой улыбке негодяя почти животную пасть, покрытую пеной всего

несколько минут тому назад. Он с изумлением смотрел на это удивительное и опасное превращение и испытывал то, что испытал бы всякий, увидав тигра, превратившегося в чиновника.

— Милостивый государь… — начал Тенардье, и, отстранив рукою разбойников, все еще державших Леблана, сказал: — Отойдите немножко, я хочу поговорить с этим господином.

Разбойники отошли к двери.

— Милостивый государь, — снова заговорил Тенардье, — вы напрасно хотели выпрыгнуть из окна, вы могли сломать себе ногу. Теперь, если позволите, мы поговорим спокойно. Прежде всего мне хотелось бы сообщить вам одно наблюдение, которое я сделал, — вы еще ни разу не крикнули.

Тенардье был прав, так оно было на самом деле, хоть Мариус в своем волнении не обратил на это внимания. Господин Леблан произнес только несколько слов, да и то не возвышая голоса, и даже во время борьбы У окна с шестью

разбойниками хранил глубокое и очень странное молчание.

— Господи боже мой, — продолжал Тенардье, — я не счел бы неприличным, если бы вы крикнули: «Грабят!» Иные в таких случаях кричат: «Караул! Режут!» Говоря откровенно, я ничего бы не имел и против этого. Как же немножко не пошуметь, если попал в общество людей, не внушающих большого доверия! И вздумай вы на самом деле кричать, вас не стали бы останавливать, вам даже не заткнули бы рта. Я сейчас объясню вам почему. Дело в том, что из этой комнаты ничего не слышно. У нее только и есть это одно достоинство, но зато она обладает им вполне, — настоящий подвал. Если бы здесь выстрелили из пушки, в ближайшей караульне подумали бы, что это захрапел пьяница. Очень удобная комната. Но вы не кричали, с чем вас и поздравляю. Тем лучше. А знаете, какое заключение вывел я из этого? Скажите-ка, мой любезнейший, кто является, когда начинают звать на помощь? Само собою разумеется, полиция. А за полицией? Правосудие. Ну-с, так я полагаю,

что вы ни разу не крикнули потому, что боитесь полиции и правосудия не меньше нас самих. Значит — я давно уже подозревал это, — вам нужно что-то скрывать. В таком же положении находимся и мы. Следовательно, мы еще можем поладить.

Говоря все это, Тенардье так и впивался глазами в господина Леблана, как бы стараясь заглянуть ему в самую совесть. А довольно изысканные выражения, которые он употреблял в своей проникнутой сдержанной дерзостью речи, указывали на то, что этот негодяй когда-то занимался науками, готовясь к духовному званию.

Молчание, которое так упорно хранил господин Леблан, его осторожность, доходившая до презрения опасности, до того, что он, вопреки чувству самосохранения, удерживался от вполне естественного в подобную минуту крика, — все это после высказанного замечания неприятно поразило Мариуса.

Вполне основательное замечание Тенардье еще более сгустило для Мариуса таинственный мрак, за которым скрывался серьезный и странный старик, прозванный Курфейраком Леблaном. Но кто бы он ни был, даже и теперь связанный веревками, окруженный палачами, так сказать, до половины погруженный в яму, с каждой минутой опускаясь в нее все глубже и глубже, вынося и ярость, и кротость Тенардье, — он оставался все таким же невозмутимым. И Мариус не мог не восхищаться в такую минуту его глубоко меланхолическим лицом.

Леблан, очевидно, обладал душой, не доступной страху, и не знал, что такое паника. Это был один из тех людей, которые не теряют присутствия духа даже в самом отчаянном положении. Как ни ужасен был кризис, как ни неизбежна катастрофа, в его взгляде не было заметно агонии утопающего, открывающего под водой полные ужаса глаза.

Тенардье непринужденно встал, подошел к камину, отодвинул ширмы, приставил их к

соседней кровати и таким образом открыл жаровню, полную пылающих углей, на которых Леблан мог ясно различить раскаленное добела долото, местами испещренное красными искорками.

Затем Тенардье снова уселся около Леблана.

— Итак, я продолжаю, — сказал он. — Мы можем поладить. Покончим это дельце мирно. Несколько минут тому назад я слишком погорячился, — этого не следовало делать. Я совсем потерял голову, зашел слишком далеко и наболтал много вздора. Так это только потому, что вы миллионер, я сказал, что мне нужны деньги, много денег, пропасть денег. Такое требование было неразумно. Что же из того, что вы богаты. У всякого свои потребности — у кого же их нет! Я не хочу разорять вас, я не какой-нибудь ростовщик. Я не из тех людей, которые, находясь в выгодном положении, слишком рассчитывают на него и становятся смешны. Я не таков! Я готов принести жертву и со своей

стороны. Мне нужно только двести тысяч франков.

Леблан не промолвил ни слова.

— Как видите, — продолжал Тенардье, — я подлил достаточно воды в свое вино. Я не знаю, какое у вас состояние, но мне известно, что вы не придаете большого значения деньгам и занимаетесь благотворительностью. А такой человек может дать двести тысяч франков несчастному отцу семейства. Кроме того, вы настолько рассудительны, что, конечно, не вообразите себе, будто я трудился сегодня и устроил всю эту штуку к вечеру — и устроил, по мнению этих господ, очень недурно — только для того, чтобы попросить у вас деньжат на бутылку красного вина и кусок телятины у Денойе. Нет, это будет вам стоить двести тысяч франков. Как только вы выложите из кармана эту безделицу, даю вам слово, что все будет кончено и вам положительно нечего будет бояться. Вы, может быть, скажете: «Со мною нет двухсот тысяч франков». О, конечно, это весьма возможно! Я и

не требую их сию же минуту. Я желаю только одного, чтобы вы написали несколько строк под мою диктовку. — Тенардье на минуту остановился, а потом прибавил с ударением, глядя с улыбкой на жаровню: — Предупреждаю вас, что не поверю, если вы вздумаете уверять, будто не умеете писать.

Сам великий инквизитор мог бы позавидовать его улыбке.

Тенардье придвинул стол вплотную к Леблану и вынул чернильницу, перо, лист бумаги из ящика, который оставил незадвинутым; в нем сверкало острие ножа.

Тенардье положил бумагу перед Лебланом.

— Пишите, — сказал он.

Пленник наконец заговорил:

— Как же я буду писать? У меня связаны руки.

— Верно, верно! Прошу извинить меня! — сказал Тенардье. — Вы совершенно правы, — и,

обратившись к Бигрнайлю, он крикнул: — Развяжите этому господину правую руку!

Паншо, он же Весенний, он же Бигрнайль, исполнил приказание Тенардье. Когда правая рука Леблана была развязана, Тенардье обмакнул перо в чернила и подал ему.

— Не забывайте, сударь, — сказал он, — что вы в нашей власти, в нашем распоряжении и что никакая сила в мире не может вырвать вас из наших рук. Мы будем в отчаянии, если вы вынудите нас прибегнуть к крайним мерам. Я не знаю ни вашей фамилии, ни вашего адреса. Предупреждаю вас, что вы будете связаны до тех пор, пока не вернется лицо, которому я поручу отвезти написанное вами письмо. А теперь потрудитесь писать.

— Что? — спросил Леблан.

— Я сейчас продиктую вам. Леблан взял перо. Тенардье начал диктовать: «Дочь моя…»

Пленник вздрогнул и поднял глаза на Тенардье.

— Нет, напишите: «Моя милая дочь», — сказал тот.

Леблан повиновался. «Приезжай сейчас же…» Он остановился.

— Ведь вы говорите ей «ты», не правда ли?

— Кому?

— Черт возьми! Конечно, девочке. Жаворонку!

— Я не понимаю вас, — сказал спокойно, без всякого признака волнения Леблан.

— Все равно, продолжайте, — сказал Тенардье. И он снова принялся диктовать: — «Приезжай сейчас же. Ты мне очень нужна. Особе, которая вручит тебе эту записку, поручено привезти тебя ко мне. Жду тебя. Приезжай и не тревожься».

Леблан кончил писать.

— Нет, лучше зачеркните «и не тревожься». А то она, пожалуй, подумает, что дело не совсем просто и есть причины тревожиться.

Леблан зачеркнул три последние слова.

— А теперь подпишитесь, — продолжал Тенардье. — Как вас зовут?

Пленник положил перо.

— К кому это письмо? — спросил он.

— Вы сами знаете, — ответил Тенардье. — Конечно, к девочке. Ведь я же говорил вам.

Он, очевидно, избегал называть молодую девушку, о которой шла речь. Он говорил то «девочка», то «Жаворонок», но имени ее не произносил, — предосторожность ловкого человека, не желающего выдавать свою тайну сообщникам. Сказать им — значило открыть им все дело, дать им возможность узнать больше, чем им следовало знать.

— Подпишитесь, — сказал он. — Как вас зовут?

— Урбан Фабр, — ответил пленник.

Тенардье опустил руку в карман и вынул оттуда носовой платок Леблана. Он нашел метку

и поднес ее к свече.

— У. Ф. Совершенно верно. Урбан Фабр. Подпишитесь.

Пленник подписался.

— Так как нужны две руки, чтобы сложить письмо, то дайте его мне, — сказал Тенардье и сложил письмо. — А теперь напишите адрес. На вашу квартиру, мадемуазель Фабр. Я знаю, что вы живете где-то тут, по соседству, недалеко от церкви Сен-Жак, потому что ходите туда каждый день к обедне, но не знаю, на какой улице. Я вижу, что вы понимаете свое положение. Вы не обманули меня относительно вашего имени, не обманете и относительно адреса. Напишите его сами.

Пленник на минуту задумался, а потом взял перо и написал: «Мадемуазель Фабр. Улица Сен-Доминик д'Анфер, No 17, квартира Фабр».

Тенардье с лихорадочной поспешностью схватил письмо.

— Жена! — крикнул он.

Она подбежала к нему.

— Вот письмо. Ты знаешь, что нужно делать. Фиакр внизу. Поезжай сию же минуту и как можно скорее возвращайся. — Затем, обратившись к человеку с топором, он прибавил: — Так как ты снял свое кашне, то поезжай с нею. Ты встанешь на запятки. Знаешь, где стоит фура?

— Знаю, — ответил тот и, поставив в угол топор, пошел за женой Тенардье.

Когда они вышли в коридор, Тенардье высунул голову в полуотворенную дверь и крикнул:

— Главное, не потеряй письма. Не забудь, что оно стоит двести тысяч франков.

— Не беспокойся, — отвечал сильный голос жены, — я положила его за пазуху.

Не прошло и минуты, как послышалось хлопанье бича, сначала громкое, потом едва слышное. А затем все стихло.

— Отлично! — пробормотал Тенардье. — Они едут быстро. При такой езде жена вернется через три четверти часа.

Он поставил стул около камина и уселся, скрестив руки и протянув к жаровне свои грязные сапоги.

— У меня что-то озябли ноги, — сказал он.

Теперь в вертепе, кроме Лебдана и Тенардье, осталось только пятеро разбойников. Эти люди, с лицами, скрытыми под масками или вымазанными сажей, которых, смотря по степени страха, можно было принять за угольщиков, негров или демонов, стояли молча и угрюмо. Видно было, что они совершают преступление, как работу, спокойно, без гнева и без жалости, как будто даже со скукой. Все они сгрудились в одном углу, как скот, и не произносили ни слова. Тенардье грел себе ноги. Пленник впал в свое прежнее безмолвие. Мрачное молчание последовало за диким шумом, наполнявшим мансарду несколько минут тому назад. Свеча слабо освещала большую комнату, угли в

жаровне потускнели, и все головы отбрасывали длинные, чудовищные тени на стены и на потолок.

Не слышно было ничего, кроме спокойного дыхания спящего пьяного старика. Мариус ждал, и волнение его все усиливалось. Загадка казалась еще неразрешимее, чем прежде. Что это за девочка, которую Тенардье называл «Жаворонком»? Неужели это «его Урсула?» Пленник как будто нисколько не смутился при слове «Жаворонок» и отвечал совершенно спокойно: «Я не понимаю вас». С другой стороны, выяснилось, что две буквы «У. Ф.» инициалы имени и фамилии старика «Урбан Фабр», и его Урсула оказывается совсем не Урсула. Это Мариус сознавал яснее всего остального. Какая-то страшная сила приковала его к месту, с которого он наблюдал за всей сценой. Он оставался тут, почти не способный Ни двигаться, ни размышлять, подавленный этим ужасом, который видел так близко. Он ждал, надеясь, сам не зная на что, и не в силах был

собраться с мыслями и прийти к какому-нибудь решению.

«Во всяком случае, — думал он, — если Жаворонок действительно „она“, я узнаю это, так как жена Тенардье привезет ее сюда. Тогда все будет решено. Я отдам, если нужно, всю свою кровь и саму жизнь, но спасу ее! Ничто не остановит меня!»

Прошло около получаса. Тенардье был, по-видимому, погружен в мрачные размышления.

Пленник оставался по-прежнему неподвижным, но Мариусу казалось, что время от времени в той стороне, где он стоял, слышится какой-то легкий, глухой шум.

Вдруг Тенардье обратился к пленнику.

— Мне кажется, лучше теперь же разъяснить вам все, господин Фабр, — сказал он.

Эти несколько слов были, казалось, началом объяснения. Мариус насторожил уши.

— Моя жена скоро вернется, — продолжал Тенардье. — Потерпите еще немножко. Я

полагаю, что Жаворонок действительно ваша дочь, и нахожу вполне естественным, чтобы она осталась у вас. Только дело вот в чем: моя жена отправилась к ней с вашим письмом. Я велел жене приодеться, как вы, вероятно, заметили сами, чтобы ваша барышня не побоялась поехать с ней. Они обе сядут в фиакр, а мой товарищ встанет на запятки. В одном известном мне местечке, недалеко от заставы, стоит фура, запряженная парою отличных лошадей. Туда и отвезут вашу барышню. Она выйдет из фиакра. Мой приятель сядет вместе с нею в фуру, а жена вернется сюда и скажет: «Дело сделано». Что же касается вашей барышни, то с ней не будет ничего дурного. Фура отвезет ее в такое место, где она будет в безопасности, и, как только вы выложите мне двести тысяч франков, вам отдадут ее. Если же вы устроите, что меня арестуют, мой приятель прихлопнет Жаворонка. Вот и все.

Пленник не произнес ни слова.

— Это очень просто, как видите, — продолжал после небольшой паузы Тенардье. —

Ничего дурного не выйдет, если вы сами не захотите этого. Я рассказал вам все. Я хотел предупредить вас заранее. — Он остановился, пленник не прерывал молчания, и Тенардье снова заговорил: — Как только вернется жена и скажет мне: «Я отправила Жаворонка», — мы вас отпустим, и вам можно будет вернуться к себе и ночевать дома. Как видите, мы не замышляем ничего дурного.

Страшные картины рисовались в воображении Мариуса. Как! Значит, молодую девушку похитили и не привезут сюда? Одно из этих чудовищ спрячет ее во мрак! И там?.. А если это она? Да и какие тут сомнения: ясно, что это она. Мариус чувствовал, как у него замирает и перестает биться сердце. Что делать? Выстрелить? Выдать этих негодяев правосудию? Но ужасный человек с топором и молодая девушка будут все так же недосягаемы. И Мариус вспомнил полные кровавого значения слова Тенардье: «Если же вы устроите, что меня арестуют, мои приятель прихлопнет Жаворонка». Теперь Мариуса останавливало уже не одно

только завещание полковника, а любовь и опасность, которой подвергалась любимая девушка.

Это ужасное положение, продолжавшееся уже более часа, с каждой минутой изменялось. У Мариуса хватило сил перебрать в уме все самые мучительные предположения. Он искал какой-нибудь выход и не находил его. Беспорядочное смятение его мыслей представляло резкий контраст с могильной тишиной вертепа, в котором он находился.

Вдруг среди этой глубокой тишины послышался стук отворившейся внизу и снова захлопнувшейся двери.

Пленник сделал движение в своих узах.

— Вот и жена, — сказал Тенардье.

Только что успел он произнести это, как его жена, красная, задыхающаяся, со сверкающими глазами, ворвалась в комнату и крикнула, хлопнув себя толстыми руками по бедрам:

— Фальшивый адрес!

Разбойник, уехавший с нею, тоже вошел в комнату и взял свой топор.

— Фальшивый адрес?! — повторил Тенардье.

— Никого! — продолжала его жена. — На улице Сен-Доминик No 17 нет никакого Урбана Фабра! Никто не знает, кто это такой! — Она остановилась перевести дух, а потом продолжала: — Послушай, Тенардье, этот старикашка насмеялся над тобой! Ты слишком добр — вот в чем дело. Я на твоем месте разбила бы ему рожу для начала! А вздумай он и после этого артачиться, я сварила бы его живьем! Тогда ему пришлось бы заговорить, пришлось бы сказать, где девчонка и где кубышка! Вот как повела бы я это дельце! Правду говорят, что мужчины куда глупее женщин! Никого в No 17! Это просто большие ворота! Никакого Фабра нет на улице Сен-Доминик! А мы-то ехали сломя голову и дали кучеру на чай и все такое! Я говорила с портье и его женой — такая толстая, красивая женщина. Представьте себе: они и не слыхивали ни о каком Фабре!

Мариус облегченно вздохнул. Она, Урсула или Жаворонок, та, которую он даже не знал как назвать, — спасена!

В то время как рассвирепевшая жена Тенардье кричала, сам он присел на стол. С минуту сидел он молча, покачивая не достававшей до пола правой ногой и задумчиво, дико поглядывая на жаровню.

— Фальшивый адрес! — сказал он наконец тихим свирепым тоном, обращаясь к пленнику. — На что же ты рассчитывал?

— Я хотел выиграть время! — громовым голосом воскликнул тот. И в то же мгновение он сбросил с себя веревки. Они были перерезаны, и только одна нога пленника была еще привязана к кровати.

Прежде чем семь человек, находившиеся в комнате, успели опомниться и броситься на него, он нагнулся к камину, протянул руку к жаровне, выпрямился и встал в грозной позе, держа над головой отливавшее зловещим светом раскаленное долото. Тенардье, его жена и

разбойник были так поражены, что отскочили в другой конец комнаты.

Судебное следствие, производившееся впоследствии по поводу ловушки, устроенной в лачуге Горбо, выяснило, что в мансарде Тенардье было найдено явившейся туда полицией медное су, распиленное особым образом. Это су было одним из чудес искусства и терпения, которые производятся во мраке и для мрака тюрем, — чудес, представляющих не что иное, как орудие для бегства. Эти отличающиеся замечательно тонкой работой произведения искусства занимают в ювелирном мастерстве такое же место, как метафоры арго в поэзии. В тюрьмах есть свои Бенвенуто Челлини, подобно тому как в поэзии есть свои Вийоны. Несчастный, страстно жаждущий свободы, находит возможность иногда без всяких инструментов, с помощью какого-нибудь старого ножа, распилить монету на две тонкие пластинки, выдолбить эти пластинки с внутренней стороны, не испортив наружной, и устроить на ребре монеты крошечный винтик, чтобы можно было скреплять обе половинки. Их

можно развинчивать и завинчивать, так что выходит что-то вроде футляра. В нем прячут часовую пружинку, и при умении эта пружинка перепиливает толстые цепи и железные полосы. Думают, что у бедного каторжника только и есть одно су, а между тем он обладает свободой. Такое-то су, развинченное, в виде двух отдельных половинок, нашла во время обыска полиция в мансарде Тенардье под кроватью, стоявшей ближе к окну. Нашлась и маленькая стальная пилка, которую можно было поместить в распиленной монете. Должно быть, в то время как разбойники обыскивали пленника, с ним было это су, и ему удалось зажать его в кулаке. А потом, когда ему развязали правую руку, он развинтил су, вынул из него пилку и перерезал веревки. Вот отчего происходил легкий шум, замеченный Мариусом.

Не решаясь нагнуться, чтобы не выдать себя, Леблан не перерезал веревок на левой ноге.

Разбойники, растерявшиеся в первую минуту от неожиданности, тотчас же опомнились.

— Не беспокойся, — сказал Бигрнайль, обращаясь к Тенардье, — одна нога у него еще привязана — он не уйдет от нас. Я сам скрутил ему эту лапу.

— Вы — негодяй, — сказал пленник. — Жизнь моя не стоит того, чтобы так упорно защищать ее. Но если вы воображаете, что можете заставить меня говорить или писать, чего я не хочу, то… — Он засучил левый рукав и воскликнул: — Смотрите!

Говоря это, он вытянул руку и приложил к голому телу раскаленное долото, держа его в правой руке за деревянную рукоятку.

Послышалось шипение обожженного тела, и по мансарде разнесся запах, какой бывает в камерах пытки. Пораженный ужасом, Мариус пошатнулся, и даже сами разбойники содрогнулись.

Между тем лицо странного старика только чуть-чуть исказилось от боли, и, в то время как раскаленное железо впивалось в дымящуюся рану, он, невозмутимый, величественный,

устремил на Тенардье ясный, чуждый ненависти взгляд, в котором страдание исчезало в величавом спокойствии.

У великих, возвышенных натур возмущение тела и чувств под влиянием физической боли обнаруживает душу, которая и выступает на первое место, как командир во время мятежа в войсках.

— Негодяи! — воскликнул пленник. — Не бойтесь меня, как я не боюсь вас! — И, вырвав из раны долото, он выбросил его в открытое окно; страшное раскаленное орудие исчезло во мраке и, завертевшись, упало вдали и потухло в снегу.

— Теперь делайте со мной, что хотите! — сказал пленник. Он был безоружен.

— Схватите его! — сказал Тенардье.

Два разбойника положили руки на плечи старика, а замаскированный человек с голосом чревовещателя встал напротив него, готовый при малейшем движении раздробить ему череп ударом своего огромного ключа.

В то же время Мариус услыхал тихие голоса около перегородки, в которую он смотрел, причем говорившие стояли так близко от нее, что он не мог видеть их.

— Остается только одно.

— Укокошить его?

— Конечно, так.

Это совещались шепотом муж и жена.

Тенардье не спеша подошел к столу, выдвинул ящик и достал из него нож.

Мариус сжимал в руке пистолет. Ужасная нерешительность! В продолжение целого часа два голоса боролись в его душе: один настаивал на исполнении завещания полковника, другой требовал, чтобы он помог пленнику. Эти два голоса все время боролись между собой, и эта борьба заставляла Мариуса испытывать страшные муки. До сих пор он все еще не терял надежды совместить эти две лежащие на нем обязанности, но ничего подходящего не представлялось. А между тем опасность

приближалась, последняя граница ожидания была пройдена, и всего в нескольких шагах от пленника уже стоял, задумавшись, Тенардье с ножом в руке.

Мариус растерянно огляделся кругом — последняя машинальная попытка отчаяния.

Вдруг он вздрогнул.

Прямо под ним на столе лунный свет освещал и как бы показывал ему лист бумаги. На этом листе он прочитал написанную утром дочерью Тенардье фразу:

«Пришли фараоны».

Счастливая мысль блеснула в уме Мариуса. Вот средство, которое он искал, вот решение страшной, мучившей его загадки: пощадить убийцу и спасти жертву. Он опустился на колени на комоде, протянул руку, схватил бумагу, осторожно отломил кусочек штукатурки от перегородки, завернул его в бумагу и бросил из щели в середину вертепа.

И было как раз время. Тенардье победил свои последние опасения, свою совестливость и уже направился к пленнику.

— Что-то упало! — воскликнула жена.

— Что такое? — спросил он.

Женщина бросилась, подняла обернутый в бумагу кусочек штукатурки и подала его мужу.

— Откуда это взялось? — спросил он.

— Черт возьми! Конечно, из окна, — отвечала жена. — Откуда же еще?

— Я видел, как этот комочек летел, — сказал Бигрнайль. Тенардье торопливо развернул бумагу и поднес ее к свечке.

— Это почерк Эпонины. Ах, черт возьми!

Он сделал знак жене, которая быстро подошла, показал ей написанные на бумаге слова и сказал глухим голосом:

— Живо! Лестницу! Бросим сало в мышеловке — нужно удирать!

— Не перерезав ему горла? — воскликнула жена.

— У нас нет времени.

— Куда бежать? — спросил Бигрнайль.

— Улизнем через окно, — отвечал Тенардье. — Понина бросила записку в него, значит, с этой стороны дом не оцеплен.

Замаскированный человек с голосом чревовещателя положил на пол свой ключ, поднял руки и, не говоря ни слова, три раза хлопнул в ладоши. Это произвело такое же действие, как сигнал тревоги на корабле. Разбойники, державшие пленника, выпустили его, в мгновение ока веревочная лестница была развернута, спущена из окна и прицеплена двумя мощными железными крюками к подоконнику.

Пленник не обращал внимания ни на что, происходившее кругом него. Он, казалось, размышлял или молился.

Как только лестницу прикрепили, Тенардье крикнул: «Иди, жена!» — и бросился к окну.

Но когда он хотел вскочить на него, Бигрнайль грубо схватил его за шиворот.

— Нет, постой, старый шут! Вылезешь после нас!

— Да, после нас! — заревели разбойники.

— Вы точно дети! — сказал Тенардье. — Мы теряем время. Ищейки гонятся за нами по пятам!

— Так кинем жребий, кому бежать первому, — продолжал один из разбойников.

— Да вы совсем рехнулись! — воскликнул Тенардье. — Что за олухи! Терять время! Кидать жребий! Соломинками, что ли? Или написать наши имена и бросить их в шапку?

— Не хотите ли мою шляпу? — крикнул кто-то около двери.

Все обернулись.

Это был Жавер.

Он держал в руке шляпу и с улыбкой протягивал ее.

Глава 221

Когда стемнело, Жавер расставил своих людей и спрятался сам за деревьями на углу улицы Заставы Гобеленов, напротив лачуги Горбо по другую сторону бульвара. Прежде всего он «открыл карман», чтобы сунуть туда двух молодых девушек, карауливших около дома. Но ему удалось «сцапать» только младшую, Азельму. Что же касается Эпонины, то она бросила свой пост и исчезла, так что ему не удалось схватить ее. Потом Жавер засел в засаде и стал ожидать условленного сигнала. Он видел, как приезжал и уезжал фиакр, и это сильно взволновало его. Наконец он не выдержал и, не желая терять удобный случай, уверенный, что «захватит все гнездо», так как узнал разбойников, вошедших в дом, решил сделать облаву, не дожидаясь выстрела.

Читатель знает, что Мариус отдал ему свой ключ от входной двери. Жавер явился как раз вовремя.

Перепуганные разбойники бросились за своим оружием, которое побросали, собираясь бежать. В одну секунду эти семь человек сгруппировались и приготовились защищаться: один держал топор, другой — ключ, третий — железную палку с гирьками, остальные — ножницы, клещи, молот. Тенардье сжимал в руке нож. Его жена вооружилась огромным камнем, лежавшим в углу, около окна, и служившим табуреткой ее дочерям.

Жавер надел шляпу и сделал два шага вперед, скрестив руки, держа палку под мышкой и не вынимая шпаги из ножен.

— Стойте! — крикнул он. — К чему спускаться в окно и подвергать себя опасности? Проходите лучше в дверь. Вас семеро, а нас пятнадцать. Не стоит хватать друг друга за шиворот. Будем немножко полюбезнее.

Бигрнайль вынул пистолет, спрятанный под блузой, и вложил его в Руку Тенардье, шепнув ему:

— Это — Жавер. Я не смею выстрелить в него. Осмелишься ли ты?

— Черт возьми, еще бы нет! — пробормотал Тенардье.

— Так стреляй!

Тенардье взял пистолет и прицелился в Жавера.

Жавер, стоявший в трех шагах, пристально взглянул на него и ограничился тем, что сказал:

— Не стреляй! Будет осечка.

Тенардье спустил курок. Выстрела не последовало.

— Ведь я же говорил тебе, — сказал Жавер. Бигрнайль бросил свою железную палку к его ногам.

— Ты — царь всех чертей! — воскликнул он. — Я сдаюсь.

— А вы? — спросил Жавер остальных разбойников.

— И мы сдаемся, — отвечали они.

— Вот это дело, — спокойно сказал Жавер. — Я так и знал, что вы будете умницами.

— Я прошу только одного, — сказал Бигрнайль, — чтобы мне не отказывали в табаке, когда я буду сидеть в тюрьме.

— Согласен, — отвечал Жавер. И, обернувшись к двери, крикнул:

— Теперь можете входить!

Отряд жандармов с саблями наголо и полицейских с кастетами и дубинами ворвался в комнату.

Разбойников перевязали.

Эта толпа людей, слабо освещенных одной свечой, наполняла вертеп мраком.

— Надеть браслеты на всех! — распорядился Жавер.

— Попробуйте-ка подойти поближе! — крикнул голос, по-видимому, не мужской, но который никто не принял бы за женский.

Жена Тенардье стояла в углу, около окна; это закричала она.

Жандармы и полицейские отступили.

Она сбросила шаль, но осталась в шляпе. Сам Тенардье, скорчившись позади нее, совсем почти исчез под упавшей шалью; жена закрывала его своим телом и поднимала над головой камень, покачивая его, как великанша, готовая бросить утес.

— Берегитесь! — крикнула она.

Все отскочили и столпились у коридора. Середина комнаты опустела. Женщина взглянула на разбойников, позволивших связать себя, и пробормотала хриплым, гортанным голосом:

— Трусы!

Жавер улыбнулся и выступил вперед, в пустое пространство, с которого она не спускала глаз.

— Не подходи, убирайся! — крикнула она. — А не то я проломлю тебе голову!

— Какой гренадер! — сказал Жавер. — Ну, матушка, у тебя растет борода, как у мужчины, а у меня есть когти, как у женщины!

И он продолжал идти вперед. Тенардье, растрепанная и ужасная, расставила ноги, откинулась назад и бешено бросила камень в голову Жавера. Он нагнулся. Камень пролетел над ним, стукнулся в противоположную стену, отбил от нее огромный кусок штукатурки и, отскочив рикошетом, упал к ногам Жавера.

В то же мгновение Жавер подошел к чете Тенардье. Одна из его огромных рук опустилась на плечо женщины, другая — на голову мужчины.

— Наручники! — крикнул он.

Полицейские вошли толпою, и через несколько секунд приказание Жавера было исполнено. Тенардье, совсем разбитая, взглянула на скрученные руки мужа, потом на свои и, бросившись на пол, воскликнула, рыдая:

— Мои дочери!

— О них позаботились, — сказал Жавер. Между тем полицейские, увидев пьяного, заснувшего за дверью старика, разбудили его.

— Все кончено, Жондретт? — пробормотал он, проснувшись.

— Конечно, — ответил Жавер.

Шесть связанных бандитов стояли перед ним. Они все еще казались какими-то призраками — трое оставались по-прежнему в масках, у остальных троих лица были вымазаны сажей.

— Можете не снимать масок, — сказал Жавер.

И, оглядев их поочередно, как Фридрих II солдат на смотру в Потсдаме, он сказал трем «печникам»:

— Здравствуй, Бигрнайль, здравствуй, Брюжан, здравствуй, Два Миллиарда.

Потом, обернувшись к трем разбойникам в масках, он сказал человеку с топором:

— Здорово, Гельмер.

Человеку с дубиной:

— Здравствуй, Бабэ.

И чревовещателю:

— Мое почтение, Клаксу.

В эту минуту он заметил пленника, который со времени прибытия полиции не произнес ни слова и стоял, опустив голову.

— Развяжите этого господина, — сказал Жавер, — и пусть никто не уходит!

Сказав это, он важно сел к столу, на котором еще стояли свеча и чернильница, вынул из кармана лист гербовой бумаги и начал составлять протокол.

Написав первые строки, которые всегда пишутся по одной известной форме, он поднял голову.

— Подведите сюда господина, которого эти люди связали.

Полицейские огляделись по сторонам.

— Ну, где же он? — спросил Жавер.

Пленник разбойников — господин Леблан, Урбан Фабр, отец Урсулы пли Жаворонка — исчез.

Дверь сторожили, у окна не было никого. Как только пленника развязали, — Жавер в это время писал, — он воспользовался смятением, суетой, полусветом и, улучив такую минуту, когда никто не обращал на него внимания, скрылся в окно.

Один из полицейских бросился к окну и выглянул на улицу. Там не было никого.

Веревочная лестница еще дрожала.

— Черт возьми! — пробормотал сквозь зубы Жавер. — Этот был, должно быть, почище всех!

Глава 222

На другой день после событий, происходивших в доме Горбо, на бульваре Опиталь, какой-то мальчик, идущий, по-видимому, со стороны Аустерлицкого моста, шел по правой боковой аллее к заставе Фонтенбло. Наступила уже ночь. Мальчик, бледный, худой,

одетый в лохмотья, в холщовых панталонах, несмотря на февраль, во все горло распевал.

На углу улицы Пти-Банкье какая-то старуха, нагнувшись, рылась в куче мусора при свете фонаря.

Мальчик толкнул ее, проходя мимо, а потом отскочил и воскликнул:

— Вот так чудеса! А ведь я думал, что это огромная, огромная собака!

Он произнес слово «огромная» во второй раз еще насмешливее и громче, чем в первый: «Огромная, огромная собака!» Рассвирепевшая старуха немного приподнялась.

— Ах ты, висельник! — заворчала она. — Не стой я вот так, нагнувшись, так хороший бы пинок дала тебе ногой!

Но мальчик уже успел отойти от нее на почтительное расстояние.

— Кис, кис! — крикнул он. — А ведь я, пожалуй, и не ошибся!

Задыхаясь от негодования, старуха совсем выпрямилась, и красноватый свет фонаря упал на ее посиневшее, изрытое морщинами лицо, с гусиными лапками, доходившими чуть не до самых уголков рта. Фигура ее оставалась в тени, и видна была только одна голова. Казалось, это маска дряхлости, вынырнувшая из мрака.

Мальчик посмотрел на нее.

— Сударыня, — сказал он, — род вашей красоты не в моем вкусе.

И он пошел дальше, распевая:

Король Ударь-Ногой Собрался на охоту, Поехал бить ворон…

Пропев эти три строчки, мальчик остановился. Он дошел до дома No 50—52 и, видя, что дверь заперта, принялся колотить в нее ногой.

Это были сильные, громкие удары, приличествующие скорее надетым на нем мужским башмакам, чем его собственным маленьким ногам.

Та самая старуха, которую он встретил на углу улицы Пти-Банкье, бежала к нему с громкими криками и отчаянными жестами:

— Что это такое? Что это такое? Господи владыка! Выбивают дверь! Ломают дом!

А удары продолжались своим чередом. Старуха выбилась из сил.

— Разве можно так ломиться в двери!

Вдруг она остановилась: она узнала мальчика.

— Как! Это опять ты, дьяволенок!

— Скажите на милость, да это старуха Бугон! Здравствуй, тетушка! Я пришел навестить моих предков.

Старуха скорчила весьма сложную гримасу, к сожалению пропавшую даром в темноте, замечательную импровизацию ненависти, старости и безобразия.

— Никого из твоих тут нет, постреленок!

— Неужели? Где же отец?

— В тюрьме Лафорс.

— Вот так штука! А мать?

— В Сен-Лазар.

— Так. А сестры?

— В смирительном доме.

Мальчик почесал за ухом, взглянул на Мам Бугон и проговорил:

— А!..

Потом он повернулся на одной ноге, и остановившаяся около двери старуха через минуту услышала, как он запел своим звонким детским голосом, углубляясь под черные вязы, трепетавшие от зимнего ветра:

Король Ударь-Ногой Собрался на охоту, Поехал бить ворон, Взобравшись на ходули. Кто проходил внизу — Платил ему два су.

Глава 223

1831 и 1832 годы, непосредственно следующие за июльской революцией, представляют собой один из самых своеобразных

и интересных исторических моментов. Оба этих года возвышаются точно горы посреди предшествовавших и последующих лет. От них веет революционным величием. В них так и видны пропасти. Общественные массы, сами основы цивилизации, плотная группа интересов, тесно связанных между собою, вековые очертания древнего французского строя, — все это то появляется, то исчезает в бурных облаках систем, страстей и теорий. Эти возникновения и исчезновения были названы сопротивлением и движением. Временами в них виднеется истина, этот свет человеческой души.

В настоящую минуту эта замечательная эпоха достаточно отдалена от нас, так что теперь мы уже можем схватить ее главные черты. Попытаемся сделать это.

Реставрация была одной из тех промежуточных фаз, трудных для определения, где были утомление, смутный гул, ропот, сон, шум, все что знаменует собою прибытие великой нации на новый этап. Подобные эпохи очень

своеобразны и всегда обманывают политиков, желающих воспользоваться ими. Сначала народ требует только отдыха; у него одно стремление — мир, одно притязание — быть незаметным. Он желает оставаться спокойным. Все уже достаточно насмотрелись на великие события, на великие приключения, на великих людей. Теперь охотно променяли бы Цезаря на Прузия, Наполеона — на короля Ивето, о котором говорят: «Ах, какой это был славный маленький король!» Народ находился в походе с самого раннего утра, а теперь наступил вечер долгого, тяжелого дня. Первый переход сделали с Мирабо, второй — с Робеспьером, третий — с Бонапартом. Все измучились и жаждали отдыха.

Утомленное самопожертвование, состарившийся героизм, насытившееся честолюбие, нажитые состояния, — все это ищет, умоляет и требует одного — убежища. И они получают его. Они вступают в обладание миром, спокойствием, досугом и, наконец, они довольны. Между тем в это же время возникают известные события; они дают себя чувствовать и со своей

стороны стучатся в дверь. Эти события порождены революциями и войнами; они существуют, живут, имеют право занять свое место в обществе и занимают его. В большинстве же случаев факты этих событий являются как бы квартирмейстерами и фурьерами, которые только подготавливают место принципам. И вот что тогда предстает перед взорами политических философов; в то время как усталые люди жаждут отдыха, свершившиеся факты требуют гарантий. Гарантии для фактов — то же самое, что отдых для людей. Этого именно требовала Англия у Стюартов после протектора и Франция у Бурбонов после Империи. Такие гарантии являются потребностью времени, и их поневоле приходится давать.

Государи «жаловали» гражданские гарантии, но в действительности, конечно, эти гарантии гражданственности были вырваны у них силою. Глубокая и безусловная истина. В ней убедились Стюарты в 1660 году, и ее не могли усвоить Бурбоны даже в 1814 году!

Королевская фамилия, вернувшаяся во Францию после падения Наполеона, имела наивность вообразить, что эти гарантии даны ею, а не временем, и что поэтому она всегда вправе взять их обратно, что политические права, данные хартией Людовика XVIII, не что иное, как только частица их божественного права, отданная Бурбонами и любезно представленная народу до тех пор, когда им вздумается взять ее обратно. Однако, судя по неудовольствию, с каким они делали это, Бурбоны должны были бы понять, что они вынуждены были сделать этот дар. Эта семья брюзжаньем встретила XIX век. Она делала недовольную гримасу при всяком расцвете нации. Пользуясь нелитературным, но верным, потому что оно простонародно, словом, эта семья «насупилась». И народ это видел.

Они вообразили, что обладают силой, потому что Империя перед их появлением была сметена, как театральная декорация. Они и не заметили, что сами были водворены той же рукой, которая свергла Наполеона. Бурбоны вообразили, что пустили глубокие корни, потому что

представляли собою прошлое, но они ошибались; они составляли только часть прошлого, представляемого самой Францией. Корни французского общества были не в Бурбонах, а в самом народе. Эти невидимые, но живучие корни составляли вовсе не права одного семейства, а историю целого народа.

Дом Бурбонов являлся для Франции славным и кровавым узлом в ее истории, но уже не был главной сущностью ее судьбы и необходимым основанием ее политики. Без Бурбонов можно было обойтись. Без них и обходились целых двадцать два года — промежуток, которого они, однако, как будто не заметили. Да и как они могли бы его заметить, когда были убеждены, что Людовик XVII царствовал 9 термидора, а Людовик XVIII — в день сражения при Маренго? Никогда еще с самого начала истории французские властители не были так слепы к фактам и к содержавшейся в них верховной воле.

Бурбоны сделали огромную ошибку, наложив руку на «пожалованные» в 1814 году гарантии, на

эти уступки, как они их называли. Печальное явление! Их уступки — наши завоевания, наши «захваты» были нашим правом.

Когда Реставрации, чувствовавшей себя победительницей над Бонапартом и глубоко укоренившейся в стране, показалось, что настала пора показать свое настоящее лицо, она вдруг решилась и рискнула нанести давно задуманный ею удар. В одно прекрасное утро она поднялась перед Францией во весь рост в своем настоящем виде и, возвысив голос, стала оспаривать у народа то, что ему было дано и к чему он уже привык. Она вздумала оспаривать верховную власть народа и отнимать гражданскую свободу. В этом вся суть тех знаменитых актов, которые называются «июльскими приказами».

Реставрация пала. Она пала по справедливости. Между тем нужно сознаться, что она не была безусловно враждебна всем формам прогресса. Но великое совершилось, а она безучастно оставалась в стороне.

При Реставрации народ привык спокойно обсуждать свои дела, чего не мог делать при Республике, привык к величавости мира, которым не пользовался при Империи. За это время Франция представляла собой отрадное зрелище для остальных народов Европы. При Робеспьере слово принадлежало революции, при Бонапарте — пушке, а при Людовике XVIII и Карле X пришла очередь заговорить рассудку. Ветер утих, и светоч разума снова загорелся. На чистых вершинах затрепетал яркий свет мысли. Это было великолепное, чарующее и полезное зрелище. В течение пятнадцати лет можно было наблюдать, как посреди полного мира, на открытой общественной площади шла работа великих принципов, очень старых для мыслителя, но совершенно новых для человека государственного: равенства перед законом, доступа ко всем должностям всех способных людей и т. д. Так шли дела до 1830 года. Бурбоны были орудием цивилизации, но орудием сломавшимся.

Падение Бурбонов было полно величия, но не с их стороны, а со стороны народа. Они покинули трон, хотя и с важностью, но без всякого авторитета. Их исчезновение во мраке не было одним из тех величественных исчезновений, которые оставляют потрясающий след в истории. Оно не походило ни на величавое спокойствие Карла I, ни на орлиный крик Наполеона. Они удалились — вот и все. Они сложили с себя корону, но не сохранили сияния вокруг чела. Они держали себя с достоинством, но не являли собою всего величия своего несчастья. Приказывая сделать из круглого стола квадратный во время своего путешествия в Шербург, Карл X, очевидно, более заботился о сохранении этикета, чем о поддержании рушившейся монархии. Это измельчание было горестно не только тем простым людям, которые были преданы Бурбонам как лицам, но и тем серьезным служителям трона, которые уважали в них род. Что же касается народа, то он был удивителен. Когда против него поднялось нечто вроде королевского мятежа, этот народ

почувствовал в себе столько силы, что не проявил даже гнева. Нация защищалась, сдерживалась, привела все в порядок, отправила Бурбонов в ссылку и затем вдруг остановилась. Она извлекла старого Карла X из-под того балдахина, который осенял Людовика XIV, и бережно опустила его на землю. Она прикасалась к королевским особам тихо и осторожно, с глубокой печалью. Не один и не кучка людей, а целая Франция, вся победоносная и опьяненная своей славой Франция как будто припомнила и применила на глазах всего света благородные слова Гильома дю Бэра, сказанные им после дня баррикад: «К попавшему в несчастье государю легко быть дерзким тем людям, которые привыкли пользоваться милостынями великих мира сего и, как птицы, порхать с ветки на ветку, от увядшего цветка к свежему, но я всегда буду относиться с уважением к моим королям, в особенности к тем из них, которые страдают».

Бурбоны унесли с собою уважение, но не сожаление. Как мы уже говорили, их несчастье

было величавее их самих. Они незаметно стушевались на горизонте.

Июльская революция тотчас же приобрела себе друзей и врагов в целом мире. Одни бросились к ней с восторгом и радостью. Другие отвернулись от нее; вообще, каждый отнесся к ней, смотря по своей природе. Европейские государи — эти совы и филины революционной зари, ошеломленные и почти раненные ее ослепительным светом, в первое мгновение закрыли глаза. Они открыли их снова только для мести и угрозы. Спохватившийся ужас, затаенная ярость! А между тем эта странная революция совершилась очень спокойно. И против нее ничего не было предпринято. Даже самые недовольные, самые раздраженные, самые негодующие приветствовали ее. Ведь как бы ни был силен наш эгоизм, как бы ни была сильна наша злопамятность, мы все-таки невольно чувствуем какое-то таинственное уважение к тем событиям, в которых видна десница существа, стоящего выше человека. Июльская революция — это торжество права,

опрокидывающего факты. Дело, полное блеска. Право, опрокидывающее факты. Отсюда блеск революции 1830 года, отсюда ее благодушие. Восторжествовавшее право не нуждается в насилии.

Право — это справедливость и правда. Неотъемлемая черта права — это вечно хранить чистоту общественного блага. Положение вещей, сколь бы необходимым оно ни казалось по внешности, всегда превратится в нечто бесформенное и чудовищное, если в нем элементы права представлены слабо или отсутствуют вовсе. Если вы желаете видеть, до каких отвратительных пределов может доходить это фактическое положение вещей при отсутствии права, то проследите через несколько веков это положение, взгляните на Макиавелли.

Макиавелли — это вовсе не гений зла, это — не демон, не низкий или презренный писатель. Это всего только запись фактов. Эти факты, это положение вещей характерны не только для Италии: они типичны для всей Европы XVI века.

Они отвратительны, если их сопоставить с моральными принципами нашего времени.

Эта борьба права и факта длится с момента возникновения общества. Дело общественной мудрости окончить эту борьбу, сделать сплав чистых идей с реальной человеческой массой, добиться проникновения одного в другое и слияния их.

Глава 224

Но труд мудрецов и труд ловких людей совершенно различны.

Революция 1830 года окончилась быстро. Как только революция пристает к берегу, ловкие люди начинают делить добычу. Эти люди в наш век сами присвоили себе название государственных людей, так что понятие, заключающееся в словах «государственный человек», наконец опошлилось. Пусть не забывают, что там, где есть только ловкость, необходима должна быть и

мелочность. Сказать «ловкий человек» почти то же, что сказать «человек посредственный».

Если верить ловким людям, то революции, подобные июльской, есть не что иное, как перерезанные артерии, на которые нужно как можно скорее наложить повязку. Право, слишком широко провозглашенное, расшатывает. А раз право установлено, следует упрочить государство. Свобода обеспечена, поэтому следует подумать о власти.

Политики уверяют, что первая потребность народа, входящего в состав европейской монархии после революции, заключается в том, чтобы подыскать себе династию. Только таким путем, говорят они, народ и может воспользоваться миром после революции, то есть иметь время залечить свои раны и привести в порядок свой домашний очаг.

Но не всегда легко подыскать династию. В сущности, чтобы создать себе короля, достаточно найти гениального смельчака или просто кого-нибудь удачно подвернувшегося. Первый случай

мы видим в Бонапарте, второй — в Итурбиде. Но, чтобы создать династию, недостаточно первой попавшейся фамилии. Для династии необходима известная доля древности рода; морщины веков нельзя подделать.

Если встать на точку зрения «государственных людей», в известном смысле этого слова, и именно на ту точку, на которой они стоят после революции, то каковы должны быть качества новой династии? Она прежде всего должна быть национальной, в силу усвоенных ею идей. Кроме того она должна иметь прошлое, быть исторической, иметь будущность и быть симпатичной.

Из всего этого становится понятным, почему первые революции довольствуются просто человеком — Кромвелем или Наполеоном, а вторые революции непременно ищут уже фамилию, Брауншвейгскую или Орлеанскую.

Королевские дома похожи на те индийские деревья, каждая ветвь которых, нагибаясь к земле, пускает корни и сама становится деревом.

Каждая ветвь королевского дома может сделаться династией с тем лишь непременным условием, чтобы эта ветвь нагнулась к народу. Такова теория ловких людей.

Итак, великое искусство быть «государственным человеком» состоит в том, чтобы уметь показать вид, будто известный успех обусловливался катастрофой, чтобы те, которые будут пользоваться этим успехом, трепетали от боязни и чтобы другим неповадно было искать такого успеха. Чтобы перегнуть кривую социального перехода до степени отклонения от прогресса, сделать отвратительной революционную зарю, влить горечь в волны энтузиазма, сбить углы и состричь орлиные когти, погасить триумф и задушить право, завернуть гигантский народ в пеленки и уложить его в постель, посадить его на диету, Геркулеса объявить больным, принять меры предосторожности против всякого большого успеха, на революционный светоч надеть абажур.

1830 год приложил на практике эту теорию, которая уже была применена Англией в 1688 году. Революция 1830 года была революцией, остановившейся на полпути.

Кто же остановил революцию на полдороге? Буржуазия. Почему? Потому что буржуазия — это удовлетворенный интерес. Вчера был аппетит, сегодня стало в меру, завтра будет пресыщение. Явление, происходившее в 1814 году после Наполеона, повторилось в 1830 году после Карла X. Совершенно напрасно хотят буржуазию считать особым классом. Буржуазия — это попросту удовлетворенная всем часть народа.

Буржуа — это человек, получивший возможность присесть. Стул еще не может быть сословием. Но буржуазии хочется сидеть спокойно, раньше, чем это могут себе позволить основные массы людей, буржуазия для исполнения своего желания хочет остановить движение всего человечества. Это ее самая частая ошибка, но уменье делать ошибки не превращает

ее в класс. Эгоизм еще не есть основание для установления социального порядка. Но надо быть справедливым и к эгоизму. После толчка 1830 года буржуазия не была выражением инертности и лени, она не влекла за собою сонное состояние общества; она вся выражается в понятии «привала», остановки.

«Привал» — это понятие, вызывающее двойную и противоречивую ассоциацию: армия в походе, то есть движение, и остановка армии, то есть отдых.

«Привал» — это восстановление сил, вооруженный и бодрствующий отдых. «Привал» предполагает битву вчера и сражение завтра. Так это и было между 1830 и 1848 годами. Но то, что здесь названо битвой, есть в сущности движение вперед.

Буржуазия нуждалась в человеке, который олицетворял бы собою понятие «привала» и передышки, в человеке, которого можно было бы прозвать словечками, «хотя бы потому что», который был бы сложной индивидуальностью,

мирившей прошлое с настоящим, стабилизацию с революцией.

Такой человек нашелся тут же, под рукой. Это был Луи-Филипп Орлеанский.

Собрание Двухсот двадцати одного провозгласило Луи-Филиппа королем. Лафайет взял на себя помазание на царство. Парижская городская ратуша заменила Реймский собор. Эта замена трона полутроном была тем, что называется «делом 1830 года».

Когда ловкие люди сделали свое дело, в нем обнаружился громадный недочет. Все это было совершено вне абсолютного права. Абсолютное право крикнуло: «Протестую!», а затем укрылось в тени. И это было очень зловещим признаком.

Революции косят сплеча, но у них счастливая рука. Они разят твердо, и у них точный выбор. Даже такая неполная, такая скомканная, слабая и низведенная до степени младшей революции, какова была революция 1830 года, даже она носит в себе источник света и провиденциальности

настолько, что ее невозможно унизить. Ее затмение не было предательством.

Однако не следует льстить революциям без разбора; они тоже впадают в ошибки, и в ошибки очень тяжелые.

Глава 225

Обратимся, однако, к 1830 году. Несколько отклонившись от первоначального пути, этот год был удачным. При том положении дел, которое сложилось после «маленькой» революции, монарх был важнее, чем сама монархия. Луи-Филипп был превосходным выбором.

Сын человека, за которым история несомненно признает смягчающие обстоятельства, Луи-Филипп, во всяком случае, был настолько же достоин уважения, насколько его отец заслуживал порицания. Он обладал всеми добродетелями частного человека и многими качествами общественного деятеля, он заботился о своем здоровье и о своем состоянии,

о своей особе и о своих делах, знал цену минуте, но не всегда цену году. Трезвый, миролюбивый, спокойный и терпеливый, он жил хорошо со своей женой и находил полезным после незаконных связей старшей линии демонстрировать перед всем народом чистоту своей супружеской жизни. Он знал все европейские языки и, что еще лучше, языки всех интересов и умел говорить на них. Превосходный представитель третьего сословия, он во многих отношениях был выше его. Будучи очень умен, он дорожил кровью, которая текла в его жилах, но в то же время умел ценить себя и по своему внутреннему достоинству, был очень чувствительным по отношению к своему роду постоянно говоря, что он Орлеан, а не Бурбон. В те дни, когда он был только высочеством, он очень гордился своим званием принца крови, но стал показывать себя настоящим буржуа в день получения титула величества. На публике он был многословен, а в своем семейном кругу лаконичен, слыл скупцом, но бездоказательно. В сущности это был один из тех экономных людей,

которые легко становятся расточительными, когда у них появится какая-нибудь прихоть или когда заговорит долг. Он был образован, но не особенно интересовался литературой, был дворянином, но не рыцарем, был прост, спокоен и тверд. Его любила семья. Очаровательный собеседник, разумный государственный человек, внутренне холодный, всегда подчинявшийся влиянию непосредственного интереса, он всем прекрасно управлял. Одинаково неспособный к злопамятности и к признательности, он безжалостно пользовался превосходством над посредственностью и умел искусно доказывать при помощи парламентского большинства неправоту тех глухих сил, ропот которых гудит под престолами, был общителен и иногда неосторожен в своих выражениях, но эта неосторожность была в высшей степени ловкая, был изобретателен в различных уловках и искусен в принятии какого угодно лица и какой угодно маски, пугал Францию Европой, а Европу — Францией, несомненно любил свое отечество, но еще больше свою семью,

господство ставил выше авторитета, а авторитет выше достоинства, — склонность, имеющая ту пагубную черту, что, все обращая к успеху, она допускает хитрость и не безусловно отвергает низость: зато в ней та выгода, что она предохраняет политику от резких потрясений, государство — от ломки, а общество — от катастроф. Мелочный, аккуратный, бдительный, внимательный и проницательный, он иногда противоречил самому себе. Смелый относительно Австрии в Анконе, упорный относительно Англии в Испании, он бомбардировал Антверпен и платил Притчарду, с убеждением пел «Марсельезу», был недоступен унынию, усталости, любви к прекрасному и к идеалу, чуждался смелого великодушия, утопии, химеры, гнева, тщеславия, боязни, обладал всеми формами личной неустрашимости, был генералом при Вальми и солдатом при Жемаппе; испытав целых восемь раз покушение на свою жизнь, он всегда улыбался; храбрый, как гренадер, мужественный, как мыслитель, он трусил только ввиду возможности европейского

потрясения и не был способен к великим политическим приключениям; всегда был готов рисковать жизнью, но не делом, старался больше влиять, нежели приказывать, и желал, чтобы его слушались не как короля, а как умного человека; был одарен наблюдательностью, но не предвидением, плохо видел гения, но был знаток в людях, обладал живым, природным умом, здравым смыслом, практической мудростью, свободной речью и замечательной памятью — это было единственным его сходством с Цезарем, Александром и Наполеоном. Он знал все факты, подробности, числа и собственные имена, игнорируя только стремления, познал все страсти и разнообразные склонности толпы, все внутренние ожидания, скрытые движения души, — словом, знал все то, что можно назвать невидимыми течениями людской совести. Признанный верхами Франции, но имея очень мало общего с ее нижними слоями, он отлично лавировал в этом положении. Может быть, он слишком много управлял и слишком мало царствовал. Будучи сам своим первым

министром, он отлично умел из мелочей действительности создавать преграду для необъятности идей. Примешивая к своей выдающейся способности содействовать цивилизации, порядку и организации что-то сутяжническое, являясь основателем и защитником новой династии и совмещая в себе часть Карла Великого и часть стряпчего, — Луи-Филипп в общем был личностью видной и оригинальной, государем, умевшим создать власть, несмотря на тревогу Франции, и могущество, несмотря на зависть Европы. Он непременно займет на страницах истории место в рядах замечательных людей своего века. Он был бы причислен к самым знаменитым историческим личностям, если бы хотя бы немного заботился о славе и так же хорошо понимал бы великое, как понимал полезное.

Луи-Филипп был красив в молодости и сохранил привлекательную наружность в старости. Не всегда встречая сочувствие нации, он постоянно нравился толпе. Он обладал способностью очаровывать, зато ему недоставало

величия. Он не носил короны, хотя был королем, и не имел седых волос, хотя был стар. Его манеры напоминали старый режим, а его привычки — новый. Это была какая-то смесь благородного и буржуазного, которая так нравилась в 1830 году. Луи-Филипп был олицетворением царящей переходной эпохи, хотя сохранил старое произношение и старое правописание. Он носил костюм национальной гвардии, как Карл X, и ленту Почетного легиона, как Наполеон.

Он мало посещал церковь, никогда не участвовал в охотах и не бывал в опере. Он был неподкупен для духовенства, псарей и танцовщиц: это входило в его программу создания себе популярности среди буржуазии. Двора у него не было. Он выходил на улицу с зонтом под мышкой, и этот зонт долго составлял часть его ореола. Он был немного масоном, садовником и лекарем. В качестве лекаря он однажды пустил кровь почтальону, упавшему с лошади. Луи-Филипп не расставался с ланцетом, как Генрих III с кинжалом. Роялисты смеялись

над этим королем, пролившим кровь с целью лечения.

Вообще, жалобы, имеющиеся у истории на Луи-Филиппа, следует несколько уменьшить. Здесь имеются обвинения против королевской власти, против управления и против самого короля. Каждый из этих трех столбцов обвинения дает различный итог. Права демократии были попраны. Прогресс был признан делом второстепенным. Уличные выступления были жестоко подавлены, против восставших были пущены в ход оружие и военные советы. Народное движение помнит улицу Транснонэн. Угнетение «подлинной» Франции Францией, «охраняемой законом», правление трехсот тысяч привилегированных, отказ от Бельгии, жестокие военные действия в Алжире, подобные варварству Англии в индийских «опытах цивилизации», недоверие Абд-аль-Кадера, Блая, подкупы Деца, Причарда — вот основные факты этого царствования. А в остальном — политика, годная для семьи, но не для государства и нации.

Но вся его ошибка состояла в том, что он скромничал во имя Франции. Отчего произошла эта ошибка? Попробуем разобраться.

Луи-Филипп был королем чересчур семейным. Занимаясь семьей, предназначенной им для династии, он всего боялся и не желал, чтобы его тревожили; отсюда та чрезмерная робость, которая мало подходила к народу, занесшему в свою гражданскую летопись 14 июля, а в военную — день Аустерлица. Поэтому, если исключить гражданские обязанности, которые, во всяком случае, должны стоять на первом плане, нежность Луи-Филиппа к своему семейству была вполне законна, тем более что она заслуженна. Действительно, это семейство достойно удивления. В нем добродетели процветали наряду с талантами. Одна из дочерей Луи-Филиппа, Мария Орлеанская, так же прославила имя своего рода среди художников, как Карл Орлеанский — между поэтами. Она вложила всю свою душу в сделанное ее рукою мраморное изваяние Жанны д`Арк. Двое сыновей Луи-Филиппа исторгли у Меттерниха

следующую замечательно меткую похвалу: «Это — молодые люди, какие редко встречаются, и принцы, каких не бывает вовсе».

Вот ничем не прикрашенная, но и не умаленная истина о Луи-Филиппе.

Быть принцем «Эгалитэ», носить в себе контрасты Реставрации и Революции, страдать в качестве революционера той неуверенностью, которая в нем, как в правителе, превратилась в твердую уверенность, — таков был Луи-Филипп в 1830 году. В сущности, никогда еще не встречалось более полного соответствия человека событию; они оба сошлись и слились в одно. Луи-Филипп — это воплощение 1830 года. Кроме того, на его стороне было как бы предназначение к престолу — ссылка. Он был беден, изгнан и скитался. Он жил своим трудом. В Швейцарии этому обладателю богатейших княжеских поместий во Франции пришлось продать лошадь, чтобы прокормиться. В Рейхенау он давал уроки математики, в то время как его сестра Аделаида шила и вышивала ради денег. Эти воспоминания

о короле возбуждали энтузиазм буржуазии. Луи-Филипп собственными руками разорил железную клетку Мон-Сен-Мишеля, устроенную Людовиком XI и утилизированную потом Людовиком XV. Он был товарищем Дюмурье, другом Лафайета и принадлежал к якобинскому клубу. Мирабо хлопал его по плечу. Дантон говорил ему: «Молодой человек!» Двадцати четырех лет, будучи просто господином де Шартром, он присутствовал в одной из тайных лож Конвента при процессе Людовика XVI, которого он удачно назвал «злосчастным тираном».

Он видел слепое ясновидение революции, ломающей королевство, связанное с королем, отрывающей короля от королевства, не замечая жизни отдельных людей в этой горячей мыслительной ломке, революция прошла перед ним в виде заседаний трибуналов, гнева народа, вопрошающего Капета, который не знает, что ответить. Сумрачные и яркие картины отпечатлелись в его мозгу с дивной неизгладимостью. В его памяти эти годы

остались минута за минутой. Однажды перед свидетелем, которому мы не можем не доверять, он рассказал на память все фамилии на букву А списка членов Учредительного собрания.

Сам Луи-Филипп был королем среди ясного дня. В его царствование сентябрьские законы были полны света. История зачтет ему эту законность.

Луи-Филипп, как все сошедшие со сцены исторические личности, ныне подвергнут суду человеческой совести. Но его дело находится еще в первой инстанции. Тот час, когда история произнесет свой строгий и беспристрастный приговор, еще не пробил; не настал еще момент окончательно высказаться об этом короле. Самый знаменитый и строгий историк Луи Блан недавно смягчил свой первоначальный приговор. Луи-Филипп был избран теми недоносками, которые называются собранием двухсот двадцати одного и 1830 годом, то есть полупарламентом и полуреволюцией. И, во всяком случае, с той высокой точки зрения, на которой должна стоять

философия, мы можем судить его только с известными оговорками, но мы уже сейчас можем сказать, что сам Луи-Филипп с точки зрения человеческой доброты всегда останется — употребим выражение старого языка древней истории — одним из лучших государей, которые когда-либо занимали престол.

Если же вы отделите от Луи-Филиппа короля, останется только хороший человек, хороший до такой степени, что порой он становится прямо достойным удивления. Часто среди самых серьезных забот, после целого дня, проведенного в борьбе со всей континентальной дипломатией, он возвращался домой — и там, усталый и сонный, что же он делал? Брал какое-нибудь судебное дело и проводил всю ночь, разбирая его. Он находил, что, хотя и важно бороться со всей Европой, но еще важнее — вырвать человека у палача. Он восставал против своего хранителя печати, оспаривал шаг за шагом у прокуроров, этих «болтунов закона», как он их называл, права гильотины. Иногда весь его стол бывал завален судебными делами, и он их все просматривал

лично: для него было мучительно не сделать всего, что от него зависело, чтобы спасти эти жалкие осужденные головы. Однажды он сказал тому свидетелю, о котором мы упоминали выше: «Сегодня ночью мне удалось выиграть у смерти семерых». В первые годы его царствования смертная казнь была как бы отменена, и восстановление эшафота было насилием над королем. Так как старая Гревская площадь была уничтожена вместе со старшей линией королевского дома, то была устроена новая, буржуазная, под названием Застава Сен-Жак. Люди «практичные» почувствовали потребность в казни — законной гильотине. Это было одной из побед Казимира Перье, представлявшего ограниченность буржуазии, над Луи-Филиппом, представлявшим ее либеральность. Луи-Филипп собственноручно правил книгу Беккария. После взрыва машины Фиески он воскликнул: «Как жаль, что я не был ранен! Я мог бы тогда даровать ему помилование». В другой раз, намекая на сопротивление своих министров по делу тогдашнего политического преступника —

одной из самых светлых личностей нашего времени, он написал следующее: «Помилование уже даровано ему. Мне остается только выпросить его». Вообще Луи-Филипп был мягок, как Людовик IX, и добр, как Генрих IV.

А для нас те из исторических личностей, которые отличались добротою, этой редчайшей жемчужиной у таких личностей, стоят выше тех, которые были только просто велики.

Ввиду того что Луи-Филипп подвергался слишком строгой оценке со стороны одних и слишком суровой со стороны других, неудивительно, что некто, сам теперь превратившийся в тень, отлично знавший этого короля, явился свидетельствовать за него пред историей. Это свидетельство, каково бы оно ни было, прежде всего совершенно бескорыстно; эпитафия, написанная мертвецом, всегда искренна; одна тень имеет право утешать другую, право это дается им одинаковою участью. И едва ли нужно опасаться, чтобы о двух могилах в изгнании было сказано: вот эта польстила той.

Глава 226

В такой момент, когда наша драма готовится проникнуть в глубину одного из тех трагических облаков, которые окутывают начало царствования Луи-Филиппа, нельзя допускать недомолвок, поэтому было необходимо, чтобы мы дали по возможности полное объяснение личности этого короля.

Луи-Филипп вступил на престол без насилия, без непосредственного воздействия с его стороны, просто в силу революционного поворота, очевидно, мало имевшего что-либо общего с настоящей целью революции и совершившегося помимо инициативы самого герцога Орлеанского. Он родился принцем и считал себя королем избранным. Он не сам возложил на себя эти полномочия, не захватывал трон. Ему предложили его, и он его принял. Он был убежден, вполне искренно, что предложение было сделано по праву и что он должен был принять его. Этим узаконивалось его обладание властью. Можно сказать по совести, что так как

Луи-Филипп законно завладел властью, а демократия не менее законно нападала, то весь ужас социальной борьбы нельзя ставить в вину ни королю, ни демократии. Во всяком случае, не следует порицать тех, кто борется, очевидно, одна из сторон заблуждается, право не может, подобно Родосскому колоссу, стоять одновременно на двух берегах: одною ногою опираясь на Республику, а другою на Монархию. Оно нераздельно, поэтому должно находиться целиком на одном берегу, и те, которые в данном случае заблуждаются, делают это искренно. Слепой не более виновен, чем вандеец в разбое. Потому признаем, что эти грозные столкновения обусловливаются только одними роковыми обстоятельствами. Каковы бы ни были по своему характеру эти бури, люди в них отчасти неответственны.

Закончим это объяснение. Правительству 1830 года сразу пришлось очень трудно. Вчера едва успев возникнуть, сегодня оно уже должно было вступить в борьбу. Едва водворенное, оно уже почувствовало, как со всех сторон поднимается

треск июльского сооружения, только что возведенного и не успевшего еще окрепнуть. Сопротивление проявилось на следующий же день, а быть может, оно уже существовало и накануне. Враждебность возрастала с каждым месяцем, и из глухой она превращалась в открытую. Июльская революция, как мы уже говорили, плохо встреченная властителями вне Франции, различно толковалась и в ней самой.

Бог передает людям свою волю посредством событий — это неясный текст, написанный на таинственном языке. Люди тотчас же делают с этого текста переводы — переводы торопливые, неправильные, полные ошибок, пропусков и противоречий. Очень немногие способны понять божественный язык. Наиболее проницательные, спокойные и глубокие умы разбирают его медленно, и, когда они оканчивают свой перевод, дело сделано раньше их: в ходу уже двадцать переводов, сработанных на публичной площади. Каждый из этих переводов образовал уже партию, а каждая его бессмыслица — секцию; каждая партия уверена, что только она одна

обладает верным переводом, и каждая секция убеждена, что лишь она овладела светом.

В революциях встречаются пловцы, стремящиеся плыть против течения, — это старые партии. Представители этих партий видели в революции только противозаконность, поэтому считали себя вправе восставать против нее.

Старые легитимистские партии, как приверженцы Бурбонов, нападали на революцию 1830 года со всей силой, проистекавшей из ложного суждения. Заблуждения — очень сильные снаряды. Они метко поражали революцию как раз в те места, где она была уязвима за неимением брони, то есть за недостатком логики. Эти партии набрасывались на установленную революцией государственную власть и кричали: «Революция, почему у тебя появился этот король?» Легитимисты — это слепцы, но метко попадающие в цель.

Республиканцы испускали тот же крик, но с их стороны он был логичен. То, что являлось

слепотой у легитимистов, было проницательностью у демократов. 1830 год обанкротился перед народом, и негодующая демократия упрекала его в этом.

Атакованное одновременно прошлым и будущим, июльское здание трещало. Оно представляло собою минуту, которой приходилось биться и с целым рядом монархических веков, и с вечным правом будущего, грозно на него наступавшим. Кроме того, 1830 год, перестав быть революцией и превратившись в монархию, был вынужден идти нога в ногу с остальной Европой. Сохранять мир — это лишнее затруднение. Гармония, которой добиваются насильно, вопреки здравому смыслу, иногда тягостнее самой войны. Из этого глухого конфликта, хотя и сдерживаемого намордником, но вечно рычащего, возник вооруженный мир, этот разорительный изворот цивилизации, которая подозрительна сама себе. Июльское королевство брыкалось в упряжи европейских кабинетов. Меттерних охотно надел бы на него хомут. Толкаемое само во Франции

прогрессом, это королевство поневоле толкало и другие европейские монархии, этих тихоходов. Его тащили на буксире, со своей стороны и оно тащило других.

Между тем внутри государства страшною тяжестью нависли всевозможные проблемы, все увеличивавшиеся и осложнявшиеся: пауперизм, пролетариат, воспитание, система наказания за преступления и т. п.

А вне собственно политических партий происходило другое движение. Брожению демократии соответствовало брожение философии. Избранные умы чувствовали то же смущение, какое чувствовала и толпа, — другое, быть может, но столь же сильное.

Мыслители размышляли в то время, как почва, то есть народ, изборожденная революционными течениями, дрожала и колебалась под ними, точно под действием каких-то эпилептических толчков.

Эти мыслители поодиночке и группами, тихо, но глубоко копались в общественных вопросах;

это были мирные минеры, спокойно прорывавшие свои галереи в недрах вулкана, не смущаясь глухими подземными толчками и видневшимися вдали очагами пламени. Это спокойствие было не последним из прекрасных зрелищ той бурной эпохи. Люди мысли занялись решением вопроса о человеческом благополучии, предоставляя политикам разбираться в вопросах права. Они хотели извлечь из общества все то, что может служить благосостоянию людей. Вопросы чисто материальные: о земледелии, промышленности, торговле, они ставили почти на одну ступень с религией. При той форме цивилизации, какая существует в настоящее время, очень мало зависящей от Бога и слишком много от людей, интересы комбинируются, сливаются и срастаются в твердую, как скала, компактную массу согласно закону динамики. Эта-то скала так терпеливо и исследуется экономистами, этими геологами политики.

Эти люди, группировавшиеся под различными наименованиями, старались пробуравить эту скалу и извлечь из нее живую воду человеческого

благополучия. Их труды обнимали все: начиная с вопроса об эшафоте и кончая вопросом о воине. К правам мужчины, провозглашенным французской революцией, они прибавили права женщины и права ребенка.

Думаем, что никто не удивится, если мы по различным причинам не станем здесь вдаваться в подробный теоретический разбор поднятых ими вопросов и ограничимся лишь указанием этих вопросов.

Оставляя в стороне космогонические бредни и мистические грезы, все задачи этих людей можно подвести под две категории.

Первая категория этих задач имела целью производство богатства, вторая — распределение этого богатства. Первая категория заключала в себе вопрос о работе, вторая — вопрос о плате за работу. Первая категория касалась применения сил, вторая — распределения результатов труда.

От правильного применения сил зависит общественное могущество, а от разумного распределения благ — индивидуальное счастье.

Англия взялась решить первую из этих задач. Она превосходно создает богатство, но плохо его распределяет. Это одностороннее решение приводит ее роковым образом к двум крайностям: к чудовищному богатству и к чудовищной нищете. Все блага являются достоянием немногих, все лишения — достоянием массы, то есть народа; привилегии, исключения, монополии, феодализм — все это производится там самим трудом. Это ложное и опасное положение, которое основывает общественное могущество на частной нищете, питает величие государства страданиями личности. Величие плохое, потому что в нем соединены все материальные элементы, но нет ни одного нравственного.

Принцип дележа имущества без обобщения орудий производства и аграрный закон надеются решить вторую задачу. Они ошибаются. Их способ распределения убивает производительность. Равный дележ уничтожает соревнование. Раз нет соревнования, труд теряет свое значение. Этот способ распределения как

будто заимствован у мясника, который убивает то, что делит. Поэтому останавливаться на таком решении задачи не стоит. Уничтожать источник богатства не значит распределять его. Для правильного и точного разрешения обе задачи следовало решать совместно. Оба решения должны слиться и составлять одно.

Если вы решите только первую из задач, то уподобитесь Англии или Венеции. Как Венеция, вы будете обладать искусственным могуществом, а как Англия — могуществом материальным; вы будете дурным богачом. Вы погибнете путем действий, как погибла Венеция, или путем банкротства, как должна погибнуть Англия. И мир даст вам погибнуть и умереть, потому что мир допускает до гибели и смерти все, в чем виден один эгоизм, что не представляет человечеству добродетели или идеи.

Под словами «Англия» и «Венеция» следует понимать не народы, а известный общественный строй: олигархии, стоящие над народами, а не сами народы. К народам мы всегда чувствуем

уважение и симпатию. Венеция как народ возродится; Англия как аристократия падет; но Англия как народ бессмертна. Объяснив это, мы продолжаем.

Решайте обе задачи, поощряйте богача и оказывайте покровительство бедняку, подавите нищету, обуздайте зависть того, кто еще находится в пути, к тому, который уже достиг цели, приспособьте по-братски и с математической точностью плату к труду, дайте подрастающему поколению обязательное и бесплатное образование и сделайте из науки основу зрелости; занимая руки, давайте развитие и умам; будьте в одно и то же время и могущественным народом и семьей счастливых людей, умейте создавать богатство, но умейте также и распределять его. Тогда вы будете иметь и материальное величие и нравственное, и только тогда будете достойны называться Францией.

Вот вне всяких распрей над всякими сектами то, что надо именовать социализмом. Вот

желанный общественный строй. Вот то, что рисуется умам нашего времени.

Луи-Филиппу было очень трудно. Новые теории, появляющиеся отовсюду препятствия, неожиданно возникшая для государственного человека необходимость считаться с философами, надвигавшиеся со всех сторон новые явления, необходимость выработать новую политику, которая соответствовала бы требованиям старого мира, не будучи в то же время слишком противоположной новым революционным идеалам, и не лишала бы возможности пользоваться Лафайетом для защиты Полиньяка, просвечивавшее из-под мятежа стремление к прогрессу, контраст требований палат и улицы, необходимость уравновесить кипевшие вокруг него вожделения, его вера в революцию, проистекавшее из доверенной ему высшей власти смутное сознание того, что следует многому покориться, его желание остаться верным своему роду, его тяготение к семье, его искреннее уважение к народу, его собственная честность — все это

порознь и вместе мучительно тяготило его и время от времени, несмотря на его силу и мужество, угнетало его, придавливало, заставляло чувствовать всю трудность быть королем.

Он чувствовал под собой страшное сотрясение почвы, которое, однако, не угрожало окончательным распадом Франции, так как Франция более прежнего оставалась сама собою. Горизонт заволакивался темными тучами. Какая-то таинственная тень постепенно все закрывала собою: людей, вещи, идеи. Это была тень, обусловливавшаяся раздраженностью общества и борьбою противоположных систем. Все, что было наскоро подавлено, зашевелилось и забродило вновь. Иногда совести честного человека приходилось сдерживать дыхание: так много дурного носилось в этом воздухе, где к истинам примешивались софизмы. Посреди этой общественной тревоги умы трепетали, как листья при приближении грозы. Электрическое напряжение было так сильно, что в некоторые минуты первый встречный, совершенно дотоле

безвестный, все вокруг освещал. Но затем снова сгущался мрак. Раздававшиеся время от времени глухие удары свидетельствовали, как много было грозы в нависшей туче.

Едва успело пройти двадцать месяцев после июльской революции, как предстал с угрожающим, зловещим видом 1832 год. К грозному рокоту идеи примешивался не менее грозный шум событий. Картина представлялась следующей: народ обнищал, рабочие голодали, последний принц Конде исчез во мраке, Брюссель изгнал Нассауский дом, как Франция изгнала Бурбонов, Бельгия, предлагавшая себя французскому принцу была отдана английскому, впереди — ненависть русского императора Николая, позади — два демона юга: Фердинанд в Испании, Мигуэль в Португалии, в Италии землетрясение, Меттерних протягивает руку к Болонье, Франция оскорбляет Австрию в Анконе, Франция находится под перекрестным огнем раздраженных взглядов всей Европы, Англия, эта подозрительная союзница, готовится толкнуть все, что колеблется, и наброситься на то, что

упадет, пэрство прячется за Беккарией, чтобы спасти от закона четыре головы, с королевского экипажа соскабливаются лилии, с собора Парижской Богоматери срывается крест. Лафайет унижен, Лафайет разорен, Бенжамен Констан умирает в бедности, в обеих столицах государства — в Париже, городе мысли, и в Лионе, городе труда, — объявляется сразу болезнь и политическая и социальная; в первом городе свирепствует война гражданская, во втором — война труда, и тут и там одинаковое адское пекло; на челе народа горит багровый отблеск пылающего кратера; юг фанатизирован, запад охвачен смутою, герцогиня Беррийская очутилась в Вандее: повсюду заговоры, мятежи, и ко всему этому грозный призрак надвигающейся холеры.

Глава 227

Около конца апреля положение дел еще ухудшилось. Брожение перешло в кипение. С 1830 года то и дело вспыхивали восстания,

которые хотя и быстро подавлялись, но почти тотчас же возобновлялись, а это свидетельствовало о существовании широкой подпольной агитации. Впереди смутно обрисовывались очертания чего-то, походившего на новую революцию. Вся Франция напряженно смотрела на Париж. Париж, в свою очередь, внимательно всматривался в Сент-Антуанское предместье. Это предместье, невидимо подогреваемое, начинало уже закипать.

Кабаки улицы Шаронн, несмотря на свое веселое предназначение, были полны бури и грозы.

Правительство было там предметом живейшего обсуждения. Публично спорили на тему о том, начинать ли драться или оставаться спокойными. В комнатке позади лавки приводили к присяге рабочих, встреченных на улице: «При первых криках и призывах к оружию вступать в бой, не считая числа врагов».

Рабочие, приглашенные однажды, запоминали звонкий голос, говоривший им: «Теперь ты

слышал. Помни, что ты поклялся!»

Несколько раз они поднимались на второй этаж в темную комнатку, где происходило нечто похожее на масонское ритуальное собрание. Посвящаемому предлагали принести присягу по формуле: «Служить так, как дети должны служить отцам».

В низеньких комнатках читали брошюры «О ниспровержении правительства». «Они поносили власть», — сообщал секретный донос того времени.

Там слышались слова и обрывки фраз: «Мне неизвестны имена вождей. Мы узнаем назначенный день не раньше как за два часа». Один рабочий говорил: «Нас три сотни. Если каждый кинет по десять су, то вот вам полтораста франков на порох и пули». Другой говорил: «Мне не нужно шести месяцев, я и двух не прошу: меньше чем в две недели мы сравняемся с правительством. Двадцать пять тысяч человек могут стать с ним лицом к лицу». А по соседству слышались слова: «Я не сплю по ночам, так как

готовлю пыжи и заряды». Время от времени приходили граждане буржуазного вида, приносили с собою всем некоторое стеснение, пожимали руки «самым важным» и удалялись. Никто из них не оставался здесь больше десяти минут. Тихими голосами обменивались известиями: «Заговор созрел, дело готово». Или, если пользоваться местным жаргоном, эту готовность надо выразить словами: «Дело под купол подошло». Экзальтация была так сильна, что однажды при массе присутствующих один рабочий крикнул: «У нас нет оружия!», на что его товарищ ответил: «Оно есть у солдат», пародируя, сам того не зная, короткое обращение Бонапарта к солдатам в Италии.

В одном секретном рапорте полиции отмечается: «Когда они имели какую-либо тайну, то на эту тему разговоры прекращались». Но непонятно, что им было еще скрывать после того, как было высказано так много.

Сборища иногда принимали характер периодических собраний. На одних

присутствовало не более восьми или десяти одних и тех же товарищей, на другие приходили граждане без разбора, и помещения так были полны, что приходилось стоять. Одни шли сюда со страстным энтузиазмом. Другие? — другие потому, что «им было по дороге на работу». Тут были, так же как в Великую революцию, женщины-патриотки, которые приветствовали вновь приходящих.

Новый день загорался на небе.

Люди входили в трактир, пили и, выходя, говорили, обращаясь к трактирщику: «Революция заплатит стоимость».

У трактирщика на улице Шаронн избирали уполномоченных революции. Записки с именами тайком писались в каскетках рабочих. Рабочие собирались у одного фехтовальщика, дававшего уроки на улице де Котт. Роль оружия там играли палки, дубинки, эспадроны и шпаги. И однажды наконечники с подлинного оружия были сняты.

Один рабочий сказал: «Нас двадцать пять человек, но меня не считают, так как я иду за

машину». Впоследствии эта «машина» прославилась: это был Кениссэ. Некоторые замыслы понемногу стали до странности очевидными. Какая-то женщина, разговаривая у открытой двери, сказала соседке: «Уже давно вовсю идет работа по изготовлению зарядов».

На улицах открыто читались прокламации, обращенные к национальной гвардии округов. Одна из них содержала подпись: «Бюрто — виноторговец».

Однажды у дверей лавочки на рынке Ленуар какой-то бородатый прохожий с итальянским акцентом влез на тумбу и громко читал послание, исходившее, казалось, от какого-то тайного правительства. Толпа, стоявшая вокруг, аплодировала. Записаны были те места его речи, которые более всего взволновали слушателей: «Нашему учению ставят препятствия, наши воззвания разорваны, наши глашатаи схвачены и посажены в тюрьму… Будущее народа выковывается в наших темных рядах… Вот вам пределы, положенные каждому: хочешь ли ты

идти вперед или попятишься, на чьей ты стороне: революции или контрреволюции. Ибо в нашу эпоху нельзя оставаться неподвижным. Надо выбрать — с народом ты или против народа. В тот день, когда мы не будем вам более нужны, вы можете нас сменить, но теперь помогите нам идти вперед».

Все это говорилось среди бела дня. Другой случай такой же смелости: 4 апреля 1832 года некий прохожий, вскочив на тумбу на углу улицы Сен-Маргерит, закричал: «Я бабувист!» Но народ чуял Бабефа в другом человеке: это был Жискэ. Говоривший эти слова восклицал далее: «Долой собственность! Левая оппозиция — это трусы и предатели. Она демократична, чтобы не быть битой, она роялистка, чтобы не сражаться. Граждане рабочие, бойтесь наших республиканцев! Не верьте им!»

— Замолчи, полицейский шпик! — крикнул ему один рабочий. Этот возглас прекратил дискуссию.

Происходили и таинственные случаи. На склоне дня один рабочий повстречал у канала «хорошо сложенного» человека, который обратился к нему с вопросом:

— Куда идешь, гражданин?

— Сударь, — ответил рабочий, — я не имею чести вас знать.

— Но я тебя знаю, — сказал незнакомец и добавил: — Не бойся, я уполномоченный Комитета. Тебя подозревают и называют ненадежным. Ты знаешь, что если ты что-нибудь раскроешь, то на тебя есть глаз.

С этими словами, пожав руку рабочему, он ушел, произнеся только:

— Мы скоро увидимся.

Полиция прислушивалась не только в кабачках, но и на улицах к странным диалогам:

— Прими поскорее, — говорил ткач столяру.

— Почему?

— Там надо сделать выстрел.

Двое прохожих в рваных одеждах обменивались репликами, весьма замечательными по родству с языком Жакерии:

— Ну, а кто нами правит-то?

— Да вот этот господин Филипп!

— Нет! Правит буржуазия!

Вы сделаете ошибку, думая, что автор придает слову «Жакерия» дурной смысл. Жаки — это были бедняки. В другой раз двое проходящих говорили друг с другом:

— У нас есть прекрасный план атаки!

Еще более значительная интимная беседа происходила между четырьмя собеседниками, облокотившимися на барьер у Троны:

— Будет сделано все возможное, чтобы «он» больше не прогуливался по Парижу.

— Кто «он»?

— Грозная таинственность.

«Главные вожди», как их называли в предместьях, держались в стороне. Некоторые

думали, что они собирались в одном кабачке на углу Святого Евстафия.

Один из них, по имени Ог…, стоявший во главе кассы взаимопомощи портных улицы Монде-Тур, считался главным посредником между «главными вождями» и предместьем Святого Антуана. Тем не менее многие вожди так и остались неизвестными, и никакая улика не могла сломить гордости ответа одного рабочего, допрашивавшегося впоследствии судом Палаты пэров:

— Кто был вашим вождем?

— Я не знал его никогда, и я никогда не узнавал, кто он.

Правда, это были лишь слова, понятные, хотя ничего не открывавшие. Иногда слова, брошенные случайно, — слухи или сплетни, которые ничего не раскрывали. Но были указания другого рода. Однажды плотник, заколачивавший гвозди в изгородь палисадника улицы Де-Рейли, нашел на участке строящегося дома обрывок следующего документа: «…надо, чтобы Комитет

принял меры, чтобы воспрепятствовать набору в секции…». И в постскриптуме: «…Мы узнали, что на улице Фо-бур-Пуассоньер No 5 (bis) имеются ружья, числом пять-шесть тысяч во дворе одного оружейника. У секции нет ружей». Это встревожило плотника, который понес находку соседям. А пройдя несколько шагов, он поднял еще более знаменательную бумажку. Воспроизводим ее, ради исторического интереса, который вызывает этот оригинальный документ.

{| |width="20%"| К |width="20%"| Ц |width="20%"| Д |width="20%"| Р |width="20%"| Заучите это письмо наизусть и потом разорвите. Люди, причастные к делу, сделают так же, когда вы им передадите приказания.

ю ог а ' ф |}

Лица, составлявшие тайну этой записки, обнаружены были только много позже в четырех прописных буквах, начинающих четыре разделенные графы. Это — названия революционных степеней: Квинтурион, Центурион, Декурион и Эклерер (Разведчик). А

смысл букв: ю ог а1 ф обозначал собою дату — 15 апреля 1832 года. Под каждой прописной буквой было вписано имя с целым рядом характерных указаний, а именно: Q. — Баннерель. 8 ружей. 83 заряда. Человек верный. С. — Бубьер. 1 пистолет. 40 зарядов. D. — Коллэ. 1 шпага. 1 пистолет. 1 фунт пороха. Е. — Теиссье. 1 сабля. 1 патронташ. Террёр. 8 ружей. Храбрец и т. д.

Наконец, этот же плотник нашел на том же пустыре третью бумагу, на которой начертана была карандашом, очень, впрочем, разборчиво, следующая загадочная запись.

Единство. Бланшард. Арбр-Сек. 6.

Барра. Суац. Саль о-Конт.

Косцюшко. Обри-мясник?

Ж. Ж. Р.

Кай Гракх.

Право осмотров. Дюфон. Фур.

Падение жирондистов. Дербак. Мобюэ.

Вашингтон. Пэнсон. 1 пистолет. 86 зарядов.

Марсельеза.

Народное спасение. Мишель. Кенкампуа. Сабля.

Зарубка.

Марсо. Платон Арбр-Сек.

Варшава. Тилли-Глашатай «Попюлер».

Честный буржуа, в руки которого попала эта бумажка, остался в неведении относительно ее значения. Оказалось, что эта записка была полным перечислением секции четвертого округа общества «Прав человека» с именами вождей секции. Теперь, когда все это стало достоянием истории, их можно опубликовать. Следует добавить, что основание союза «Прав человека», казалось, было значительно позже, чем дата, стоящая на этом клочке бумаги. Быть может, это был только ранний набросок.

Однако, судя по отдельным словам и всей фразе, и по записанным значкам, дело это по существу стало понемногу проясняться путем сопоставлений.

На улице Потенкур у старьевщика было найдено в ящике комода семь листков серой бумаги одинакового размера, сложенных вчетверо. Эти листки прикрывали двадцать шесть четырехугольных кусков такой же серой бумаги свернутых для патронов и карточку, на которой было написано следующее:

«Селитра — 12 унций

Сера — 2 унции

Уголь — 2½ унции

Воды — 2 унции»

Протокол обыска отметил сильный запах пороха, исходивший от ящика.

Один каменщик, возвращаясь после рабочего дня, забыл на скамейке у Аустерлицкого моста небольшой пакет. Нашедший его случайно отнес этот пакет в кордегардию. Там его вскрыли и нашли два оттиска диалогов, подписанных именем Лаотьер, и анонимную песнь, начинавшуюся словами: «Соединяйтесь, пролетарии!..»

Кроме того, в пакете оказался жестяной ящичек с зарядами.

Другой случай: рабочий выпивал с товарищем и, обмахиваясь от жары, зацепил блузу соседа; под блузой прощупывался пистолет.

В канаве на бульваре между Пер-Лашез и Тронной заставой, в очень пустынном месте, дети, играя, откопали в куче щепок и опилок мешок, в котором нашли форму для отливки пуль, деревянную мерку для зарядов, кадочку с зернами охотничьего пороха и маленький чугунный котелок с явными признаками свинцовой плавки.

Два полицейских агента, неожиданно нагрянув в пять часов утра к некоему Пардону, который впоследствии фигурировал в качестве члена секции Баррикада-Мерри и был убит во время восстания в апреле 1834 года, застали его за изготовлением ружейных зарядов.

В обеденный перерыв на фабрике двое граждан встретились между изгородью Пинтоса и Шарентона на тропинке около трактирной

стены. Один извлек пистолет из-под блузы и вручил другому, но, так как порох отсырел под рубашкой, другой, высыпав горсточку из лядунки, подсыпал свежего пороху на полку. Затем оба они расстались и исчезли.

Некий Галле, убитый впоследствии на улице Бобур в апрельской схватке, хвастался тем, что у него есть семьсот готовых зарядов и двадцать четыре ружейных кремня.

Правительство однажды получило донесение о том, что в предместьях гражданам раздается оружие и распределяются двести тысяч ружейных зарядов. Неделю спустя были розданы еще тридцать тысяч зарядов. Удивительно, что полиции не удалось ничего найти.

Перехваченное полицией письмо сообщало: «Недалек тот день, когда в четыре часа пополуночи восемьдесят тысяч граждан встанут под ружье». Все это брожение происходило на глазах общества. Неминуемое восстание хладнокровно готовило бурю над головой власти. Все особые признаки глубокого подземного

кризиса были налицо и уже ощущались на поверхности. Горожане тихо спрашивали рабочих: «Ну, как продвигаются ваши приготовления?» — таким тоном, каким спрашивают обычно: «Как поживает ваша супруга?»

Мебельщик на улице Моро спрашивал: «Ну, когда же атака?»

А другой лавочник говорил: «Скоро выступление. Месяц тому назад вас было пятнадцать тысяч, а теперь уже двадцать пять». Он предложил свое ружье, а его сосед — пистолет стоимостью в семь франков.

Революционная горячка охватила все, ни один уголок Парижа, ни одно местечко Франции не были пропущены ею. Всюду чувствовалось биение ее пульса. Как огонь лихорадки, воспламеняющий человеческий организм, сеть тайных обществ охватила страну.

Союз «Друзей народа», доступный и тайный в одно и то же время, родился в недрах секции «Прав человека», которая датировала свои

приказы по революционному календарю: «Плювиоз, сороковой год Республики…» Пережив уголовный суд, постановивший о ее роспуске, она не колеблясь называла свои отряды многозначительными именами:

Пики

Набат

Сигнальный выстрел

Фригийский колпак

21 января

Гезы

Нищие

Вперед

Робеспьер

Ватерпас

Настанет день

Общество «Прав человека» породило «Комитет действия».

Это был союз наиболее стремительных людей, забегавших вперед.

Прочие ассоциации развертывались в недрах основавших их секций. Члены секций жаловались на то, что их слишком разбирают по разным секциям одновременно. Так говорили в «Союзе Галлов», в «Комитете городских организаторов», в ассоциациях: «Свобода печати», «Народное образование», «Личная свобода», «Борьба с косвенным налогом», «Общество рабочего уравнения», «Коммунисты», «Реформисты».

Секция «Бастильская армия» носила исключительно военный характер: делилась на когорты, каждая четверка имела капрала, каждый десяток — сержанта, двадцатью командовал младший лейтенант, сорока командовал лейтенант, но знали друг друга в секции не более пяти человек. Осторожность сочеталась со смелостью. Казалось, эти черты перешли во французскую революцию от венецианского гения организации. Центральный комитет, бывший

головой революции, имел две руки: с одной стороны «Комитет действия», с другой — «Бастильскую армию».

Парижские общества имели филиалы в крупнейших городах. В Лионе, Нанте, Лилле и Марселе имелись секции «Прав человека», «Карбонариев» и «Свободного человека». В Эксе был революционный союз, носивший название «Кугурда». Мы уже произнесли однажды это слово.

В Париже предместье Сен-Марсо кипело не меньше, чем Сент-Антуанское. Не было лучшей школы для граждан, нежели парижские предместья. Но и школы предместий были захвачены революционной волной. Кофейная на улице Сент-Ясинт и курильня «Семи бильярдов» были местом веселых сборищ учащихся.

«Друзья Абецеды», тесно связанные с «Кугурдой» в Эксе, собирались, как свидетельствуют очевидцы, в кофейной «Мюзэн». Молодежь собиралась также, как я уже это говорил, в кабачке на улице Мондетур под

названием «Коринф». Эти собрания происходили втайне, хотя иногда имели и открытый характер. О смелости этой молодежи можно судить по ответам, которые она давала на позднейших судебных допросах.

— В каком месте происходили собрания?

— На улице Де-ла-Пэ.

— У кого?

— Просто на улице.

— Какие секции там собирались?

— Только одна.

— Какая?

— Секция «Маюэль».

— Кто был вожаком?

— Я!

— Вы чересчур молоды, чтобы взять на себя такое тяжелое дело, как нападение на правительство. Откуда исходили даваемые вам указания?

— От Центрального комитета.

Армия была разагитирована в одинаковой степени с населением, как это впоследствии доказали волнения в Бельфорте, Люневилле, Эпинале. В движении приняли участие 52-й полк, 5-й, 8-й, 37-й и 20-й легкие кавалерийские. В Бургундии и в южных городах сажали «дерево свободы», то есть шест, увенчанный красным колпаком.

Таково было положение дел. Это положение ярче всего обрисовывалось в Сент-Антуанском предместье. Старинный парижский пригород, населенный густо, как муравейник, трудолюбивый, отважный и гневный, как улей, трепетал от страстного нетерпения в ожидании революционного взрыва. Все в нем волновалось, но так, что по лицу этого пригорода ни о чем нельзя было догадаться. Жгучая скорбь жила под кровлями этого предместья вместе со свойствами редчайшей разумности, горячей и ясной. Ясность ума и отчаяние — это страшное сочетание противоречивых элементов.

Сент-Антуанское предместье имело и другие причины для трепета и содрогания: оно первое получало все контрудары политических потрясений и связанных с ними последствий: торговых кризисов, банкротств, стачек, безработиц и т. п. Во время революции нужда в одно и то же время является и причиной, и следствием. Наносимый удар чувствует и разящая рука.

Население этой части Парижа, полное суровой и гордой доблести, способное к широкому проявлению душевной горячности, всегда готовое схватиться за оружие, быстро вспыхивающее гневом, глубоко пропитанное пропагандой, казалось, только и ждало искры. И всякий раз, когда на горизонте Парижа возникала горящая точка, гонимая ветрами событий, мысли всех устремлялись к Сент-Антуанскому предместью и к той грозной случайности, воля которой положила у самых дверей Парижа эту пороховницу безумных страданий и жгучих замыслов.

Кабачки «Предместья Антуана», уже не раз упомянутые в этом очерке, приобрели историческую известность. В пору волнений там возбуждались горячими словами более, нежели вином. В них веял пророческий дух, и волны будущего омывали берег тогдашнего времени, воспламеняя сердца людей и окрыляя их души. Кабачки Сент-Антуанского предместья напоминают те таверны у Авентинского холма, которые были построены на месте пещеры Сибиллы и сообщались с глубокими подземными течениями вдохновений. Их столики были почти треножниками. Там пили ту чашу, которую Энний назвал «сибиллинским вином».

Сент-Антуанское предместье — это народный резервуар. Революционные потрясения делали в нем пробоины, из которых текла верховная власть народа. Быть может, эта верховная власть могла ошибаться, как и всякая, но даже в заблуждениях она была велика по значению. О ней можно сказать то же, что античность сказала о слепом Циклопе — ingens {Неизмеримо огромен.}.

В 1793 году в зависимости от того, хороша или плоха была преобладавшая в те дни идея, был ли то день фанатизма или энтузиазма, — из Сент-Антуанского предместья появлялись или дикие легионы, или отряды героев.

Дикие. Объяснимся относительно этого выражения. Чего хотели эти ощетинившиеся, рассвирепевшие люди, устремившиеся на старый смятенный Париж, рыча и негодуя, с поднятыми пиками и с саблями в руках? Они хотели конца угнетению, конца тирании, гибели монархии. Они стремились добиться человеческих условий труда для мужчин, грамоты для детей, общественного внимания к положению женщины, они стремились к свободе, равенству и братству, удовлетворению хлебом и мыслью всех людей. Это святое и прекрасное дело они провозглашали как свою задачу, но наводили ужас, потрясая дубинами и кулаками. Эти «дикари» целиком принадлежат цивилизации. Они провозглашали господство права с остервенением, они хотели страхом и силой принудить род человеческий поспешить к дверям

рая. Они казались варварами, но были спасителями. Под маской ночи они несли ослепительный свет.

На первый взгляд и по внешности эти люди, мы согласимся с этим, дики и ужасны. Но эта дикость, этот внешний ужас — во благо. Есть другие люди — улыбающиеся, расшитые золотом, украшенные лентами и звездами, в шелковых чулках и белых плюмажах, в желтых перчатках и лакированных башмаках. Они, опершись локтем на бархатный столик около мраморного камина, настойчиво и незаметно работают над законами и ведут политику сохранения прошлого: средневековья, божественного права, фанатизма, невежества и рабства, невыносимого труда, войны, восхваляя вполголоса и с мягкостью прелести сабельных ударов, костра и эшафота.

Что касается нас, то в случае необходимости произвести выбор между этими «варварами в цивилизации» и «цивилизаторами в варварстве»,

мы, конечно, остановим свой выбор на революционных варварах.

Но, благодарение небу возможен еще выбор. По существу нет необходимости ломать копья, и не было ее в прошлом. Мы не хотим ни монархии, ни террора. Мы стремимся к естественному движению вперед. Смягчить этот путь — вот задача божественной политики.

Глава 228

Приблизительно в это время Анжолрас, ввиду возможности событий, произвел своего рода тайную ревизию. Все были собраны в кофейне Мюзэн. Анжолрас произнес речь, украшая ее полузагадочными метафорами, скрывавшими ее многозначительность.

— Надо узнать и проверить достигнутые результаты и рассчитать, на кого мы можем положиться. Кто хочет иметь бойцов, тот должен уметь их создать. Надо иметь и то, чем бьют, — это не повредит. Идя по дороге навстречу стаду,

легче попасть на рога, чем идя по пустой дороге. Подсчитаем. Сколько нас? Нельзя откладывать это дело на завтра. Берегись неожиданности каждый! Не дадим застать себя врасплох. Разгладьте швы, попробуйте — прочно ли сшито! Сегодня же! Курфейрак, повидай политехников. Среда: они в отпуску! Фейи, это вы? Идите к товарищам в Лагласьер. Комбферр, иди в Пиктос. Там все бурлит. Багорель — в Эстрападу. Прувер — к каменщикам. Ты принесешь новости из Гренеля. Жоли, иди в клинику Дюпюнтерна, пощупай пульс товарищей медиков. Боссюэт ко дворцу — поболтай с канониками. Я сам — в Лозу.

— Вот все устроено! — воскликнул Курфейрак.

— Нет.

— А что еще?

— Серьезное дело!

— Ну? — спросил Курфейрак.

— Мэнская застава! — ответил Анжолрас; подумав с минуту, он продолжал. — У Мэнской заставы много мраморщиков, живописцев, практикантов по скульптурным мастерским. Это все народ легко увлекающийся, но так же легко и охладевающий. Не знаю, что с ними сделалось в последнее время. Они думают совсем не о том, о чем следует. Начали уже остывать. Проводят время за игрой в домино. Нужно бы пойти к ним и посерьезнее поговорить с ними. Они собираются у Ришфе. Их там можно застать между полуднем и часом. Надо постараться раздуть посильнее этот огонь. Я рассчитывал в этом деле на Мариуса. Он малый порядочный; но я больше не вижу его здесь. Мне бы необходимо кого-нибудь для Мэнской заставы, но никого нет.

— А я-то, — сказал Грантэр. — Разве я не гожусь?

— Ты?

— Я.

— Тебе наставлять кого-нибудь?! Тебе разогревать во имя принципов эти охладевшие

сердца?!

— Почему же нет?

— Да разве ты годишься на что-нибудь?

— Осмеливаюсь думать, что гожусь, — ответил Грантэр.

— Да ведь ты ни во что не веришь.

— Я верю в тебя.

— Грантэр, хочешь сослужить мне службу?

— С удовольствием! Если нужно, я и сапоги тебе вычищу.

— Этого не нужно. Будь только добр, не суйся в наши дела. Потягивай себе свой абсент и успокойся на этом.

— Ты неблагодарный, Анжолрас!

— И ты серьезно воображаешь себя способным идти к Мэнской заставе?

— Что ж тут мудреного? Спущусь по улице Грэ, перейду площадь Святого Михаила, пройду насквозь по улице Принца, заверну в улицу

Вожирар, миную Кармы, обогну улицу Ассас, дойду до улицы Шерш-Миди, миную Военный совет, пройду по улице Старого Тюильри, перебегу бульвар, выйду на Мэнское шоссе, доберусь по нем до заставы, а там зайду к Ришфе. Я на это вполне способен… способны и мои сапоги.

— А знаешь ли ты хоть немного тех, которые собираются у Ришфе?

— Немного знаю. Мне приходилось говорить с ними.

— Что же ты им теперь скажешь?

— Потолкую с ними о Робеспьере, черт возьми! Можно, пожалуй, и о Дантоне и о принципах.

— Это ты-то?!

— Ну да, я! Меня не умеют ценить, а между тем я в деле — прямо зверь. За какую ты скотину меня принимаешь, однако!.. У меня лежит в ящике старая прокламация. Я даже немного гебертист. Если понадобится, могу битых шесть

часов подряд разглагольствовать о самых прекрасных вещах…

— Главное, будь посерьезнее, — перебил Анжолрас.

— Я не только буду серьезен, а даже прямо свиреп, если понадобится, — произнес Грантэр.

Анжолрас подумал немного, потом сделал движение, доказавшее, что он принял какое-то решение.

— Грантэр, — торжественно проговорил он, — я готов испытать тебя. Ступай к Мэнской заставе.

Грантэр жил в меблированных комнатах рядом с кафе Мюзен. Он вышел и вскоре вернулся. Оказалось, что он сходил домой, чтобы надеть жилет а-ля Робеспьер.

— Вот я и красный, — сказал он, пристально глядя на Анжолраса. Потом, сильно хлопнув ладонями рук по сторонам жилета, он подошел к Анжолрасу и шепнул ему на ухо:

— Будь спокоен.

Затем энергичным движением нахлобучил себе на лоб шляпу и ушел.

Четверть часа спустя задняя комната в кафе Мюзен опустела. «Друзья Абецеды» разбрелись в разные стороны, каждый по своему делу. Анжолрас, взявший на себя Лозу, ушел последним.

Члены Лозы в Париже собирались в то время на равнине Исси, в одной из покинутых каменоломен, которых там было тогда довольно много.

Направляясь к этому месту, Анжолрас мысленно анализировал положение дел. Важность событий была очевидна. Когда факты, эти предвестники скрытой социальной болезни, только-только начинают проявляться, то малейшее изменение может их осложнить и запутать. Этим явлением и обусловливаются все разрушения и возрождения. Анжолрас смутно ощущал светлый подъем под темным покровом будущего. Он был доволен. Горнило начинало пылать. В эту самую минуту порох, в лице его

друзей, рассыпался по всем концам Парижа. Анжолрас мысленно сопоставлял философское убедительное красноречие Комбферра с космополитическим энтузиазмом Фейи, с пылкостью Курфейрака, с грустью Жана Прувера, со смехом Багореля, с научностью Жоли и с сарказмами Боссюэта. Из этой смеси получится такой состав, который зажжет все, к чему бы он ни прикоснулся. Это было хорошо. Теперь все при деле. И результат, наверное, будет соответствовать приложенному труду. Вдруг он вспомнил о Грантэре.

«Постой, — подумал он, — ведь Мэнская застава мне почти по пути. Что, если я пройду к Ришфе? Не мешало бы взглянуть, что там делает Грантэр и каковы результаты его деятельности».

На колокольне Вожирар пробил час, когда Анжолрас достиг табачной Ришфе. Он толкнул дверь и, скрестив на груди руки, вошел в нее. Дверь сама затворилась за ним, толкнув его в спину. Остановившись у порога, он оглянул залу, наполненную столами, людьми и табачным

дымом. Среди волн сизого дыма слышался громкий голос, то и дело прерывавшийся другим. Это Грантэр вел с кем-то разговор.

Грантэр сидел со своим собеседником за мраморным столом, усеянным хлебными крошками и костями домино. Грантэр стучал кулаками по мрамору и громко кричал. Вот какого рода лаконичную беседу услыхал Анжолрас:

— Двойная шестерка!

— Четверка.

— Свинья! У меня нет ее.

— Ты пропал. Двойка.

— Шестерка!

— Тройка.

— Очко!

— Мне ходить.

— Четыре очка!

— Вот началось. Тебе ходить!

— Я сделал большую ошибку.

— Ты идешь хорошо!

— Пятнадцать.

— Еще семь!

— Это составляет двадцать два (мечтательно), двадцать два!

— Ты не ждал двойной шестерки. Если б я поставил ее вначале, вся игра пошла бы по-другому.

— Двойка!

— Очко.

— Туз?.. Ну, вот тебе пятерка!

— У меня нет пятерки.

— Кажется, ты ставил?

— Да.

— Чистая!

— Ну, счастье же ему! Просто так со всех сторон и прет! (Долгое раздумье.) Ну, двойка.

— Очко!

— Ни пятерки, ни туза! Штука для тебя не совсем приятная.

— Домино!

— Ах ты, собака!

Глава 229

Мариус присутствовал при неожиданной развязке засады, на следы которой он навел Жавера. Но едва Жавер успел покинуть трущобу и увезти с собою на трех фиакрах своих пленников, как Мариус, в свою очередь, вышел из дома.

Было только девять часов вечера. Мариус направился к Курфейраку, который уже не являлся более невозмутимым обитателем Латинского квартала. Он «по политическим причинам» перешел на улицу Верери, в квартал, где в то время свободомыслие прививалось легче.

— Я пришел к тебе ночевать, — объявил Мариус, увидев Курфейрака. Курфейрак вытащил из своей постели один из своих тюфяков, которых у него было два, постлал его на полу и сказал:

— Бери и ложись.

На другой день в семь часов утра Мариус вернулся в дом Горбо. Он расплатился с тетушкой Бугон за квартиру и за все остальное, заставил нагрузить на ручную тележку весь свой скарб: книги, постель, стол, два стула и комод, и удалился, не оставив своего нового адреса, так что, когда немного погодя явился Жавер, чтобы расспросить Мариуса насчет вчерашних событий, он не нашел никого, кроме госпожи Бугон, которая сказала ему, что Мариус съехал. Тетушка Бугон была уверена, что Мариус был отчасти сообщником захваченных ночью воров.

— Кто бы мог подумать это? — восклицала она, болтая с соседними привратницами. — Ведь этот молодой человек на вид настоящая красная девушка!

Две причины побудили Мариуса к такому быстрому переселению. Во-первых, ему стало страшно в этом доме, где он вблизи, во всех ужасающих и отталкивающих подробностях, видел картину такого крайнего общественного разложения. Во-вторых, ему не хотелось фигурировать в процессе, который, несомненно, должен был состояться и в котором он был бы вынужден свидетельствовать против Тенардье.

Жавер подумал, что молодой человек, имени которого он не запомнил, струсил и убежал или вовсе не возвращался еще к себе во время «дела». Тем не менее Жавер сделал несколько попыток разыскать беглеца, но, ничего не добившись, оставил эти попытки.

Прошел месяц, затем другой. Мариус все время оставался у Курфейрака. Он узнал от одного адвоката, постоянно посещавшего зал суда, что Тенардье находится в одиночной камере, и каждый понедельник передавал для него в контору тюрьмы Форс пять франков.

Не имея сам больше денег, Мариус занимал их у Курфейрака. Раньше он никогда не занимал денег. Эти пять франков, еженедельно занимаемые, были загадкой и для Курфейрака, который давал их, и для Тенардье, который их получал.

— Кому идут эти деньги? — удивлялся Курфейрак.

— Откуда бы мне это? — изумлялся Тенардье.

В общем Мариус чувствовал себя сильно подавленным. Все снова исчезло перед ним, точно в бездне. Он более ничего не видел впереди. Жизнь его опять погрузилась в темноту, в которой он мог бродить только на ощупь. На одну минуту ему мелькнули было во мраке и та молодая девушка, которую он любил, и тот старик, который казался ее отцом, — мелькнули эти таинственные существа, составляя всю его надежду в этом мире, весь его интерес. Но в то мгновение, когда он хотел приблизиться к ним, какое-то дуновение сразу рассеяло эти тени. При

этом страшном ударе не сверкнуло ни одной искорки уверенности и истины. Все его догадки не приводили ни к чему. Он не знал даже ее имени, хотя воображал, что знает. Очевидно, Урсула вовсе не была Урсулой. «Жаворонок» же, наверное, было только прозвище. А что думать о старике? Действительно ли он скрывался от полиции? Мариусу пришел на память тот рабочий с белыми волосами, которого он встретил вблизи Площади Инвалидов, и вдруг он сделал заключение, что этот рабочий и Леблан — одно и то же лицо. Следовательно, он переодевался? В этом человеке было что-то героическое и вместе с тем двусмысленное. Почему он не позвал на помощь? Почему бежал? Отец ли он молодой девушки? Наконец, действительно ли он тот самый человек, которого Тенардье будто бы узнал? Не мог ли Тенардье ошибиться? Все это были неразрешимые загадки. Но ангельская прелесть девушки Люксембургского парка от этого не уменьшалась. Горе было беспросветным. В сердце Мариуса горела страсть. Перед его глазами был мрак. Его

что-то толкало, куда-то тянуло, но он не мог пошевельнуться. Все исчезло для него, кроме любви. Да и самая любовь своим инстинктом и вдохновением более уже не руководила им. Ведь часто это — пламя, которое сжигает нас, но нередко и освещает окружающий нас мрак. Мариус более не слышал внутри себя тайных откровений любви. Он ни разу не сказал себе: «Не пойти ли мне туда-то? Не попробовать ли вот этот способ узнать, что нужно?» Та, которую он не считал более возможным называть Урсулой, очевидно, скрылась где-то, ни ничто не подсказывало ему, где именно ее искать. Вся его жизнь теперь описывалась несколькими словами: полнейшая неизвестность среди густого тумана. Увидеть ее! Он горячо желал этого, но не надеялся более ни на что.

В довершение всего, на него надвигалась нужда. Он уже чувствовал позади себя ее ледяное дыхание. Из-за своих потрясений он давно бросил работу, а этого не следовало делать, от этого теряется привычка к труду — привычка, которую легко бросить, но нелегко вновь усвоить.

Некоторое количество мечтательности хорошо действует, как легкий наркоз. Это уменьшает горячку нервно работающего ума и производит нежные освежающие пары, которые смягчают слишком резкие очертания чистой мысли, заполняют пробелы и промежутки, связывают разрозненные идеи и сглаживают их угловатости. Но излишек мечтательности заливает и топит. Горе работнику мысли, который отрывается от нее, с тем, чтобы всецело погрузиться в мечту! Он воображает, что ему легко будет вынырнуть обратно и что, в сущности, мысль и мечта — одно и то же, но он горько заблуждается.

Мысль — работа ума, мечтательность — его наслаждение. Заменять мысль мечтанием — все равно, что класть в пищу яд. Мариус, если читатель помнит, именно с мечты и начал. Его охватила страсть и властно толкнула в бездонную пропасть туманных химер. Он выходил из дома только для того, чтобы помечтать. Бесплодная поблажка лени, стоячее, засасывающее болото! По мере того как он меньше работал, увеличивалась нужда. Это — закон. Человек в

состоянии мечтательности обыкновенно бывает мягок и расточителен. Расслабленный мозг не способен придерживаться нужных границ. В этом образе жизни есть своя доля добра и зла, потому что если расслабленность пагубна, то великодушие прекрасно. Но человек бедный, великодушный и благородный погиб, если он не работает. Средства иссякают, потребности увеличиваются.

Это роковой склон, по которому одинаково катятся вниз не только люди слабые и порочные, но и самые твердые и честные. Эта покатость ведет только к двум пропастям: к самоубийству или к преступлению. Привычка выходить из дома единственно с целью помечтать в конце концов приводит к тому, что в один скверный день выйдешь для того, чтобы броситься в воду. Избыток мечтательности производит Эскусов и Лебра.

Мариус медленными шагами спускался по этому склону, устремив глаза на ту, которой больше уже не видел. То, что мы пишем, может

казаться странным, а между тем все это вполне правдиво. Память об отсутствующем горит светочем во мраке сердца; чем дальше от нас исчезнувший, тем ярче горит светоч; погруженная в мрачное отчаяние душа видит свет на своем горизонте; этот свет служит звездою душевной ночи. Все мысли Мариуса сосредоточились только на ней одной. Более он ни о чем не мог думать. Он смутно сознавал, что его старое платье становится невозможным для носки, а новое становится старым, что его рубашки, его шляпа, его сапоги изнашиваются, и говорил себе: «Хоть бы мне увидать ее прежде, чем я умру!»

Ему оставалось только одно утешение: мысль, что она его любила, что она высказывала ему это взглядом, что она, хотя и не знает его имени, зато знает его душу, и что, быть может, где бы она ни была, но и сейчас все еще любит его. Как знать, не думает ли она так же о нем, как он думает о ней? Иногда, когда его среди тоски вдруг охватывал смутный трепет беспричинной радости, как это бывает у любящих, он говорил

себе: «Это ее мысли долетают до меня, — и прибавлял: — Может быть, и мои мысли так же доходят до нее».

Эта иллюзия, по поводу которой он в следующее мгновение сам качал головой, однако, бросала ему в душу лучи, походившие иногда на надежду. Иногда, в особенности в вечерние часы, когда тоска более всего мучает мечтателей, он набрасывал в тетради, только для этого и служившей, самые чистые, самые безличные, самые идеальные из тех грез, которыми любовь наполнила его мозг. Он называл это «писать к ней».

Но не следует думать, что ум его пришел в расстройство. Напротив, утратив способность работать и неуклонно двигаться к определенной цели, он более чем когда-либо отличался проницательностью и здравым суждением. Мариус видел в совершенно правильном, хотя и своеобразном освещении все, что происходило у него перед глазами, видел даже то, к чему относился безразлично, и все верно обсуждал со

свойственной ему честностью и с полным беспристрастием. Рассудок его, почти отрешенный от надежды, парил в высоте.

В этом состоянии ума ничто не ускользало от него, ничто не обманывало, и он на каждом шагу проникал в самую глубь жизни человечества и судьбы. Счастлив тот, даже глубоко страдающий, кому Бог даровал душу, достойную любви и несчастья! Кто не видел мир и человеческое сердце сквозь этот двойной свет, тот не видел ничего истинного и ничего не знает. Душа, которая любит и страдает, находится в самом возвышенном состоянии.

Но дни шли за днями, а нового ничего не было, ему казалось только, что с каждым шагом сокращается темное пространство, которое ему оставалось еще пройти. Ему чудилось, что он уже ясно видит впереди бездонную пропасть под крутизной.

— Как! — твердил он самому себе. — Неужели я не увижу ее еще раз перед тем?

Когда пройдешь улицу Сен-Жак, оставишь в стороне заставу и некоторое время проследуешь вдоль старого внутреннего бульвара, то дойдешь до улицы Сантэ, потом до улицы Гласьер и, не доходя немного до речки Гобеленов, увидишь нечто вроде поля, которое в бесконечно однообразном поясе парижских бульваров представляет единственное место, где Рейсдал почувствовал бы искушение остановиться.

Все здесь дышит какой-то особенной прелестью, хотя в сущности тут нет ничего особенного: лужок с протянутыми веревками, на которых сушится на воздухе разное тряпье; старая, окруженная огородами ферма времен Людовика XIII с большой, вычурно прорезанной мансардами крышей; разоренные палисадники; немного воды под тополями; женщины, смех, оживленные голоса. На горизонте — Пантеон, деревья учреждения для глухонемых, церковь Валь-де-Грас — черная, коренастая, фантастичная, великолепная, а в глубине этой панорамы — строгий четырехугольник башен собора Богоматери. Так как это место

заслуживает внимания, то сюда никто и не приходит. Лишь изредка, раз в четверть часа, проедет здесь экипаж или тележка.

Как-то раз Мариус во время своей прогулки забрел на этот лужок возле речки. Пораженный дикой прелестью этого места, он спросил случайного прохожего:

— Как называется этот уголок?

— Это Жаворонково поле, — ответил прохожий и добавил: — Здесь Ульбах убил пастушку из Иври.

Но после слова «Жаворонково» Мариус уже ничего не слышал. Когда человек находится в состоянии мечтательности, иногда бывает достаточно одного слова, чтобы произвести у него в уме род оцепенения. Весь мозг его вдруг сосредоточивается вокруг одной идеи и уже более неспособен ни к каким другим восприятиям. «Жаворонок» было то самое слово, которым Мариус в своей тоске заменил имя Урсулы.

«А! Это ее поле, — подумал он в приступе временного затмения рассудка. — Я узнаю здесь, где она живет».

Это было нелепо, но непреодолимо. И он каждый день стал ходить на Жаворонково поле.

Глава 230

Торжество Жавера в доме Горбо казалось полным, но в действительности оно не было таким.

Прежде всего — и это была его главная забота — Жавер упустил самого пленника. Убегающая жертва подозрительнее убивающего. Весьма вероятно, что эта личность, являвшаяся такой драгоценной добычей для разбойников, была бы не менее прекрасной находкой для властей.

Второй неудачей было то, что Монпарнас ускользнул от Жавера. Нужно было ожидать другого случая, чтобы наложить руку на этого «дьявольского нетопыря».

Действительно, Монпарнас, встретив Эпонину, караулившую под деревьями бульвара, увел ее с собой, предпочитая разыгрывать Неморена с дочерью, чем Шиндергана с отцом. И хорошо сделал. Теперь он был свободен. Что же касается Эпонины, то Жаверу удалось поймать ее. Но это было слабым утешением. Эпонина присоединилась в Маделонетах к Азельме.

Наконец, по дороге от дома Горбо до тюрьмы скрылся один из главных арестованных — Клаксу. Никто не знал, как это случилось; агенты и жандармы решительно ничего не могли понять. Он точно превратился в пар, выскользнул из рук, улетучился сквозь щели плохого экипажа. Вообще ничего не было известно, кроме того, что когда доехали до тюрьмы, то Клаксу уже не оказалось в карете. Тут или было замешано колдовство, или же была виновата полиция. Если Клаксу не растаял во мраке, как тают снежные хлопья в воде, то не было ли в самом деле тайного потворства агентов? А может быть, этот человек составлял часть двойной загадки порядка и беспорядка, представлял собою не только силу

поступательную, но и силу задерживающую? Не опирался ли этот сфинкс передними лапами на преступление, а задними на власть? Сам Жавер не допускал этих комбинаций и запротестовал бы перед мыслью о такой сделке, но в его отделении были и другие инспекторы. Хотя они и находились под его начальством, однако могли лучше него знать тайны префектуры, а Клаксу был такой негодяй, что мог быть очень хорошим осведомителем. Находиться в близких отношениях с ночными злодеями было очень выгодно и удобно для полиции. Бывают такие двуличные люди. Как бы там ни было, но Клаксу как в воду канул. Жавер, казалось, этим более раздражен, чем удивлен.

Что же касается Мариуса, этого «рохли-адвоката», как его называл Жавер, забыв его имя, то он, по мнению того же Жавера, наверное, струсил и поэтому не представлял для него особого интереса. Адвоката всегда можно найти. Да и был ли еще Мариус в действительности «адвокатом»?

Началось следствие. Следственный судья нашел полезным не сажать одного из шайки Патрон-Минет в одиночное заключение, рассчитывая на то, что он в кругу других скорее проболтается. Это был Брюжон, косматый бродяга улицы Пти-Банкье. Его оставили на дворе Карла Великого, где он находился под неусыпным надзором сторожей.

Имя Брюжона связано со многими воспоминаниями о тюрьме Форс. На знаменитом дворе так называемого Нового здания, именуемого администрацией двором Сен-Бернар, а ворами — Львиным рвом, на покрытой плесенью и лишаями стене, возвышающейся на левой стороне на одном уровне с крышами зданий, около старой проржавленной железной двери, ведшей в древнюю часовню бывшего герцогского отеля Форс, превращенную в спальню разбойников, — лет двадцать тому назад еще виднелся грубо нацарапанный гвоздем абрис Бастилии и над ним надпись:

«БРЮЖОН, 1811».

Брюжон 1811 года был отец Брюжона 1832 года. Последний, которого читатель видел только мельком в ловушке Горбо, был молодой малый, очень хитрый и ловкий, хотя на вид тупой и жалкий. Считая его по его виду придурковатым, следственный судья и решил дать ему относительную свободу, полагая, что он будет полезнее на дворе Карла Великого, чем в одиночной камере.

Пребывание в руках правосудия не мешает ворам продолжать свое дело. Такой безделицей они не стесняются. Находиться в тюрьме за одно преступление вовсе не препятствует им задумывать тотчас же другое. Воры — это те же художники, которые выставили картину в Салоне и усердно работают над другой в своей мастерской.

Брюжон казался совсем придавленным тюрьмой. Иногда его видели стоявшим целыми часами во дворе Карла Великого перед окошечком шинкаря и упершимся бессмысленным взглядом в выставленную там

карту цен на имевшиеся в этой лавке жалкие предметы потребления.

Этот прейскурант начинался с чеснока, стоившего шестьдесят два сантима за головку, и кончался сигарами, стоившими пять сантимов за штуку. Или же Брюжон проводил время в том, что весь трясся, стучал зубами, жаловался на лихорадку и справлялся, не свободна ли одна из двадцати восьми коек в больничной палате для лихорадочных.

Вдруг около середины февраля 1832 года прошел слух, что Брюжон, «эта сонная рыба», дал местным комиссионерам не под своим именем, а под именами трех своих товарищей, три различных поручения, стоивших ему чистоганом целых пятьдесят су. Такой небывалый в тюрьме расход привлек внимание даже начальника тюремной бригады.

Стали докапываться, в чем дело. Справившись по таблице комиссионной таксы, вывешенной в приемной арестантов, узнали, что сумма в пятьдесят су должна состоять из следующих

слагаемых: поручение в Пантеон — десять су, в Валь-де-Грас — пятнадцать су, к Гревской заставе — двадцать пять су. Последняя цена была самая высокая во всей таблице. Во всех трех поименованных местах обыкновенно имели пристанище трое наиболее опасных бродяг: Крюиденье, прозванный Би-зарро, бывший каторжник Глорье и Бар-Каросс. Этот случай обратил на них внимание полиции, отвлекшееся было на время от них. Предполагалось, что они являются союзниками Патрон-Минета, двоих вожаков которого, Бабэ и Гельмера, успели задержать раньше. Предполагалось дальше, что в посылках Брюжона, переданных, как оказалось, не в сами дома, которые были обозначены на адресах, а в руки людей, дожидавшихся на улице, заключались указания относительно какого-нибудь нового злодеяния. Названных бродяг схватили и посадили в тюрьму, этим думая предупредить замыслы Брюжона.

Через неделю после принятия этих мер один из дозорных, обходивший ночью снаружи дортуары Нового здания и опускавший в ящик

каштан (в доказательство того, что дозорные аккуратно исполняют свои обязанности, они должны были каждый час класть по каштану во все ящики у дортуарных дверей), заметил в дверное окошечко, что Брюжон что-то пишет, сидя на койке, пользуясь слабым светом ночника. Сторож вошел. Брюжона посадили на месяц в карцер, но того, что он писал, не нашли.

На следующий день выяснилось, что из двора Карла Великого в Львиный ров, через крышу пятиэтажного здания, разделявшего эти оба двора, был выпущен так называемый «почтальон».

«Почтальоном» у заключенных назывался хорошо скатанный хлебный шарик, а перебрасывание его с одного двора на другой через крыши называлось «снарядить почтальона в Ирландию». Поднявший этот шарик открывает его и находит в нем записочку, адресованную кому-нибудь из арестантов этого двора. Если эта находка попадется в руки заключенного, то он передает записку по назначению; если же ее

поднимет сторож или один из тех продажных арестантов, которых в тюрьме называют баранами, а на каторге — лисицами, то записка через тюремную контору препровождается в полицию.

На этот раз «почтальон» достиг своего прямого назначения, несмотря на то, что тот, кому он был послан, в это время находился в секретной камере. Адресат записки был Бабэ, один из четырех главарей Патрон-Минета.

Хлебный шарик содержал скрученную бумажку, на которой было написано всего две строчки: «Бабэ. Есть дело в улице Плюмэ. Решетка, за которой сад». Это и было то, что Брюжон писал ночью, когда его увидел дозорный. Несмотря на бдительный надзор в обеих тюрьмах, Бабэ нашел способ переслать записку из своего места заключения в Сальпетриер одной своей хорошей знакомой, сидевшей там. Эта женщина в свою очередь сумела передать записку другой женщине, некоей Маньон, находившейся пока еще на свободе, но под зорким наблюдением

полиции. Маньон, имя которой уже известно читателю, имела сношения с семейством Тенардье, о чем будет сказано ниже. Посещая Эпонину, Маньон могла служить, так сказать, мостом между Сальпетриером и Мацелонатами.

Как раз в это время дочери Тенардье, Эпонина и Азельма, были выпущены на свободу за недостаточностью против них улик. Когда Эпонина выходила из тюрьмы, Маньон, караулившая ее у ворот, передала ей записку Бабэ с поручением вместе с тем «разъяснять» дело.

Эпонина отправилась на улицу Плюмэ. Она узнала решетку и сад, внимательно всмотрелась в дом и некоторое время незаметно следила за ним, а через два-три дня отнесла Маньон, жившей на улице Клошперс, сухарь, который Маньон передала любовнице Бабэ в Сальпетриер. Сухарь на символическом языке тюрем означает: «Делать нечего».

Таким образом, когда через неделю после посылки «почтальона» Бабэ и Брюжон встретились в тюремном переходе, идя один на

следствие, а другой со следствия, и Брюжон спросил Бабэ: «Ну что улица П?», хот ответил только одним словом: «Сухарь».

Таким образом преступление, задуманное Брюжоном в тюрьме, не удалось, но имело такие последствия, которые вовсе не входили в планы Брюжона. В этом читатель вскоре убедится. Часто вместо одной нити завязывается другая.

Глава 231

Мариус ни к кому больше не ходил, но ему случалось иногда встречаться со стариком Мабефом. В то время как Мариус медленно спускался по тем мрачным ступеням, которые составляют, так сказать, лестницу бездны и ведут в те беспросветные места, где слышишь над собою шаги счастливых, туда же, со своей стороны, спускался и Мабеф.

«Флора Каутереца» нигде не находила более сбыта. Опыты с культивировкой индиго в маленьком, плохо расположенном саду

Аустерлица не удались, и Мабефу пришлось ограничиться разведением в нем нескольких редких растений, требующих сырости и тени. Но он не унывал. Ему удалось добиться уголка в Ботаническом саду, почва которого была более пригодна для индиго, в этом-то уголке он за «свой счет» и возобновил опыты с капризным растением. Для этого он заложил в Мон-де-Пиетэ медные клише своей «Флоры». В то же время старик стал ограничивать свой завтрак двумя яйцами, одно из которых, впрочем, оставлял своей старой служанке, уже пятнадцать месяцев не получавшей жалованья. Часто этот чересчур скромный завтрак оставался его единственной трапезой на весь день. Он больше уже не смеялся своим детским смехом, сделался угрюм и не принимал гостей. Мариус правильно сделал, что перестал к нему ходить. Но иногда, в те часы, когда Мабеф шел в Ботанический сад, он встречался с Мариусом на бульваре Опиталь. Старик и юноша не заговаривали друг с другом, а только печально кивали один другому головой. Грустное явление — нищета, разъединяющая

людей! Они оба были друзьями, а теперь вследствие нищеты сделались простыми шапочными знакомыми.

Книготорговец Ройоль умер, и Мабеф занимался теперь только своими книгами, своим садом и своими посадками индиго. В эти три формы облеклись для него счастье, удовольствие и надежда. Но этого было достаточно для его существования. Он говорил себе: «Когда я начну изготовлять синие шарики, я разбогатею, выкуплю свои клише и пущу в ход свою „Флору“ с помощью рекламы и газетных объявлений. Я куплю тогда в одном знакомом мне месте экземпляр „Искусства мореплавания“ Петра Медины, издания 1559 года». В ожидании этих благ он целые дни трудился над культурой индиго, а вечера проводил в том, что поливал свой садик и читал свои книги. В это время Мабефу было около восьмидесяти лет.

Однажды вечером ему пригрезилось странное видение. Он вернулся на этот раз домой, когда было еще совсем светло. Тетушка Плутарх

немного захворала и легла в постель еще до его прихода. Старик пообедал костью, на которой оставалось немного мяса, и куском хлеба, найденным им на кухонном столе, потом отправился в сад и уселся там на опрокинутую каменную тумбу, служившую ему скамейкой.

Возле его сиденья стоял, как это бывало в старинных плодовых садах, большой, полуразвалившийся двухъярусный ящик, сколоченный из брусьев и досок; нижнее отделение ящика было устроено для кроликов, а верхнее — для хранения плодов. В настоящее время кроликов не было, зато от зимнего запаса оставалось еще немного яблок.

Мабеф надел очки и принялся перелистывать и читать две книжки, которые последнее время сильно его интересовали и даже увлекали, что было еще важнее в его годы. Природная робость делала его восприимчивым к известной дозе суеверия. Одна из занимавших его книг было знаменитое исследование президента Деланкра «О непостоянстве демонов», другая, в четвертую

долю листа, носила заглавие «О вовертских дьяволах и бьеврских домовых», автором которой был Мютор де ла Рюбодьер. Последняя книжка особенно интересовала Мабефа потому, что его сад был одним из описанных в ней мест, где водились домовые.

Под влиянием спускавшихся сумерек небо начало белеть, а земля стала чернеть. Читая, Мабеф временами бросал взгляд на свои растения, с особенной любовью останавливаясь на великолепном рододендроне, его первом любимце. Четвертый день стояла сильная жара без единой капли дождя, и растения сильно страдали: стебли гнулись, цветочные чашечки уныло повисли, и свернувшиеся от зноя листы опадали. Более других страдал рододендрон.

Мабеф был из тех людей, которые считают, что и растения имеют душу. Хотя старик был разбит усталостью, проработав целый день над своим индиго, но он все-таки заставил себя подняться с места, чтобы полить погибавшие от недостатка влаги цветы. Положив книги на тумбу,

сгорбившись, он неверными шагами побрел к колодцу. Но, взявшись за цепь у колодца, он не в силах был даже снять ее с крючка. Мабеф обернулся и поднял полный смертельной тоски взор к небу, на котором начали выступать звезды.

Вечер отличался той ясностью, которая имеет свойство заглушать человеческие горести какою-то смутною, но беспредельною радостью. Ночь обещала быть такою же сухою, как и день. «Сколько звезд, — прошептал старик, — и ни малейшего облачка, ни одной капельки дождя!» И голова его, приподнявшаяся было на мгновение, снова тяжело опустилась на грудь. Но он вторично поднял ее и, посмотрев на небо, опять пробормотал: «Хотя бы одна росинка! Хотя бы немного жалости!» Он вторично повернулся к колодцу и попытался еще раз снять цепь с крючка, но так же безуспешно, как и в первый раз.

Вдруг он услышал голос:

— Дедушка Мабеф, хотите, я полью ваш сад? — проговорил кто-то.

Вместе с тем в кустах послышался такой шорох, точно по ним пробирался зверь, и вслед за тем перед стариком очутилась высокая худая девушка, смело смотревшая ему в глаза. Она скорее походила на призрак, образовавшийся из сумерек, чем на человеческое существо. Мабеф не успел еще ответить, будучи, как мы уже видели, очень пуглив и робок, как странное существо, неизвестно откуда вынырнувшее, с резкими движениями животного сняло с крючка колодезную цепь, опустило в колодец ведро и вытащило его оттуда обратно, затем наполнило лейку и быстро начало носиться между клумбами, орошая их живительной влагой.

Старик в немом изумлении смотрел на это таинственное существо с босыми ногами, в короткой обтрепанной юбке, и с восторгом прислушивался к тому, как по листьям растений стекала вода. Он был уверен, что теперь рододендрон наслаждается счастьем.

Опорожнив ведро, загадочная незнакомка наполнила его во второй раз, потом в третий. Она

полила весь сад. Глядя на нее, как она черным силуэтом летала по аллеям, размахивая длинными костлявыми руками под изорванной косынкой, ее можно было принять за нечто вроде большой летучей мыши.

Когда она закончила, старик со слезами на глазах подошел к ней, положил ей руку на голову и сказал растроганным голосом:

— Да благословит вас Бог! Вы — ангел, если так любите цветы.

— Нет, — возразила она, — я — дьявол, но мне это все равно.

Не ожидая такого ответа и не расслышав ее слов, Мабеф продолжал:

— Какое горе, что я так беден и жалок, что не могу ничего сделать для вас!

— Кое-что вы можете сделать, — сказала незнакомка.

— Что же именно?

— Сказать мне, где живет Мариус.

Но старик, очевидно, не понял.

— Какой Мариус? — переспросил он и поднял свой мутный взор, точно вглядываясь во что-то далекое.

— Тот молодой человек, который иногда бывал у вас, — пояснила девушка.

Между тем Мабеф успел порыться в своей памяти и начал припоминать, о ком его спрашивают.

— Ах да! — воскликнул он. — Я знаю, что вы хотите сказать. Постойте… Мариус… барон Мариус Понмерси, да, да… Он живет… впрочем, там он уже больше не живет… Я теперь не знаю… — Говоря, он нагнулся и с задумчивым видом стал оправлять ветку рододендрона. — Погодите, я вспомнил, — продолжал он. — Мариус очень часто проходит по бульвару по направлению к Гласьер, на улицу Крульбарб, на Жаворонково поле. Ступайте туда. Там его можно встретить.

Когда Мабеф снова поднял голову, перед ним уже никого не было: странная девушка исчезла. Ему стало немного жутко. «Право, — размышлял он, — если бы мой сад не был полит, я подумал бы, что это был дух».

Час спустя Мабеф улегся в постель, и в тот смутный момент, когда мысль, подобно той сказочной птице, которая превращается в рыбу, чтобы переправиться через море, мало-помалу принимает форму грезы, чтобы перейти в сновидение, старик полубессознательно пробормотал сам себе: «В самом деле, это очень похоже на то, что рассказывает Рюбодьер о домовых… Неужели это был домовой?»

Глава 232

Спустя несколько дней после появления «домового» старику Мабефу в одно утро — это было в понедельник, то есть как раз в тот день, когда Мариус занимал сто су у Курфейрака для Тенардье, — Мариус решил немного пройтись, прежде чем отнести в тюрьму эти пять франков.

Он надеялся, что прогулка несколько его освежит, что по возвращении домой он будет в состоянии заняться делом. Это, впрочем, была старая песня. Обыкновенно, поднявшись с постели, он садился за книгу и брал лист бумаги, чтобы взяться за перевод. В описываемое время он взялся было перевести с немецкого языка на французский знаменитый спор между Гансом и Савиньи. Он брал Ганса, брал Савиньи, читал из того и другого строки по четыре, потом делал попытку написать хоть одну строку сам, но не мог, постоянно видя между собой и бумагой ярко сиявшую звезду. Тогда он вскакивал со своего стула и со словами: «Пойду лучше прогуляюсь. Это приведет меня в нормальное состояние», — отправлялся на Жаворонково поле.

Там он еще яснее видел звезду, а Ганс и Савиньи окончательно меркли в его голове.

Он возвращался домой, снова принимался за работу, но с тем же успехом. Порванные в мозгу нити положительно не связывались. Он говорил себе, что завтра не пойдет гулять, потому что это

мешает ему работать, но на другой день все-таки шел. Он больше жил на Жаворонковом поле, чем в квартире Курфейрака. Его настоящий адрес был следующий: «Бульвар Сантэ, у седьмого дерева, считая от улицы Крульбарб».

В это утро он сел не под деревом, как обыкновенно, а на берегу речки Гобеленов. Сквозь свежие молодые листья деревьев весело светило солнце. Мариус мечтал о «ней». Потом вдруг мысль его с глубоким упреком обратилась к нему самому: он искренно заскорбел о своей лени, об этом параличе души, постепенно прогрессировавшем, о том мраке, который с минуты на минуту все более и более сгущался перед его внутренним оком, так что молодой человек уже переставал видеть даже само солнце.

Между тем, пока он предавался этим мыслям, которые, в сущности, были тоже очень смутны и должным образом не формулировались, потому что мозг слишком ослаб для этого, до его сознания все-таки доходили впечатления внешнего мира. Сидя спиной к реке, он слышал,

как на обоих берегах прачки полоскали и колотили белье и как над ним в ветвях вязов щебетали и чирикали птички. С одной стороны неслись звуки свободы, счастливой беспечности, крылатого досуга, с другой — шум работы, труда. Эти жизнерадостные звуки едва не вывели Мариуса из его меланхолии.

Вдруг среди своего внешнего оцепенения и внутреннего экстаза он услышал знакомый голос, проговоривший:

— Ага, вот и он!

Мариус поднял голову и увидел перед собою ту несчастную девушку, которая приходила к нему как-то утром, — старшую дочь Тенардье, Эпонину, имя которой теперь было ему известно.

Она была на вид еще беднее и вместе с тем еще красивее, хотя и то и другое одновременно, казалось, было невозможным. В ней произошло двойное изменение — к свету и к бедности. Девушка была босая и в лохмотьях, как в тот день, когда она так смело появилась в его комнате, но теперь ее лохмотья были на два

месяца старее, дыры в них увеличились, и они сделались еще безобразнее. У нее самой был тот же хриплый голос, тот же лоб, почерневший и точно сморщенный от загара, тот же смелый, но блуждающий, неустойчивый взгляд. Однако на ее лице теперь лежал отпечаток какого-то испуганного и жалкого выражения — последствие пребывания в тюрьме. В волосах у нее застряли стебельки соломы и сена, но не как у Офелии, которая заразилась безумием Гамлета, а оттого, что она, очевидно, провела ночь в какой-нибудь конюшне. И при всем этом она была хороша. О юность, как ты могуча!

Она остановилась перед Мариусом; на ее бледном лице выражалось что-то вроде слабой радости, сопровождавшейся еле заметной улыбкой. Несколько мгновений она точно не в состоянии была ничего сказать.

— Ну вот, встретила-таки я вас! — начала она. — Старик Мабеф был прав: он сказал мне, что вы бываете на этом бульваре… Ах, если бы вы знали, как я вас искала!.. Я ведь просидела в

тюрьме целые две недели. Вы этого не знали?.. Они выпустили меня потому, что «ничего не нашли на мне», да и года мне еще не вышли. Не хватало двух месяцев… Ах, как я вас ищу уже около шести недель! Значит, вы там уж больше не живете.

— Нет, не живу, — ответил Мариус.

— А, понимаю! Вы съехали из-за той истории?.. Да, ужасно неприятная вещь эти истории… А скажите, зачем вы носите такую старую шляпу? Такой молодой человек, как вы, должен быть хорошо одет… Знаете что, господин Мариус? Дедушка Мабеф величает вас бароном, и знаю почему. Ведь вы не барон, да? Все бароны, должно быть, старики, которые ходят в Люксембург, чтобы греться там перед дворцом на солнышке и читать «Ежедневник», по одному су за номер. Меня один раз посылали с письмом к одному барону. Ему было лет сто с лишком, и он всегда так делал… Но где же вы живете теперь?

Мариус ничего не отвечал.

— Ах, — продолжала она, — у вас рубашка изорвана. Я вам зашью ее… Но вы как будто не рады видеть меня? — прибавила она упавшим голосом.

Мариус все молчал. Девушка тоже на минуту замолчала, потом вдруг воскликнула:

— А если б я захотела, то могла бы сделать, чтобы у вас был довольный вид!

— Да? — встрепенулся молодой человек. — Что вы хотите этим сказать?

— Вы прежде говорили мне «ты», почему же теперь не говорите так?

— Ну, хорошо, что же ты хочешь сказать мне?

Она закусила губу и, видимо, колебалась, как бы выдерживая внутреннюю борьбу, потом сказала:

— Ну, все равно. Будь что будет!.. Вы выглядите таким грустным, а я хочу чтобы вы были веселы. Обещайте мне только, что вы засмеетесь. Я хочу видеть, как вы засмеетесь, и хочу слышать, как вы скажете: «Вот это хорошо!»

Бедный господин Мариус! Помните, вы мне обещали дать все, чего захочу?

— Помню, помню! Но говори скорее, что имеешь мне сказать.

Девушка взглянула ему прямо в глаза и медленно проговорила:

— У меня есть адрес…

Мариус побледнел. Кровь отлила у него от лица.

— Какой адрес? — спросил он, не решаясь верить своей догадке.

— Тот самый, который вы у меня просили. — И, сделав над собой усилие, добавила: — Вы сами знаете какой.

— Неужели у тебя… — с трудом произнес Мариус и не закончил вопроса.

— Ну да, адрес барышни.

Выговорив эти слова, девушка тяжело вздохнула. Мариус вскочил со своего места и порывисто схватил ее за руку

— О, как это хорошо!.. Веди меня! Требуй с меня, чего хочешь!.. Где же он?

— Пойдемте со мной, — отвечала она. — Я не знаю в точности улицы и номера дома, но могу указать дом по виду. Это на другом конце Парижа. Пойдемте.

Она выдернула у молодого человека свою руку и прибавила с таким выражением, которое тронуло бы всякого другого, кроме Мариуса, ничего не замечавшего в эту минуту:

— Ах, как вы рады!

Лицо Мариуса омрачилось. Он снова схватил девушку за руку и произнес:

— Поклянись мне в одном.

— Что такое! — с изумлением воскликнула Эпонина. — Чего вы требуете от меня?.. Ах да, — вдруг поняла она. — Вы хотите, чтобы я дала клятву? — И она засмеялась.

— Твой отец… Эпонина, поклянись мне, что ты не скажешь этого адреса своему отцу!

Она обернулась к нему с видом крайнего удивления.

— Эпонина! — повторила она. — Откуда вы знаете, что меня зовут Эпониной?

— Обещай то, что я прошу тебя!

Она как будто не слышала его.

— Как это мило! — сказала она. — Вы назвали меня Эпониной!

Мариус схватил ее за обе руки.

— Да отвечай же мне, ради бога! — крикнул он. — Слушай же, что я тебе говорю: поклянись мне, что ты не скажешь своему отцу этого адреса!

— Моему отцу? — повторила она. — Ах да: моему отцу… Будьте спокойны, отец сидит в тюрьме… Да потом, разве я уж так интересуюсь моим отцом?

— Но ты не даешь мне обещания, которого я прошу!

— Да пустите же меня! — со смехом проговорила она. — Зачем вы так трясете меня за плечо!.. Ну, хорошо, хорошо, обещаю… клянусь вам… Не все ли мне равно?.. Не скажу адреса отцу. Ну, теперь вы довольны?

— И никому другому не скажешь? — приставал Мариус.

— Никому.

— Так веди меня теперь.

— Вы хотите сейчас идти?

— Конечно, сейчас!

— Идемте… О, как он доволен! — с подавленным вздохом заметила она.

Сделав несколько шагов, она остановилась и сказала:

— Вы напрасно идете со мной почти рядом. Идите подальше от меня и не показывайте вида, что следуете за мной. Нехорошо, если увидят такого прекрасного молодого человека в обществе такой женщины, как я.

Никакой язык не в состоянии передать то, что заключалось в слове «женщина», произнесенном этим ребенком.

Пройдя еще несколько шагов, она снова остановилась. Когда Мариус поравнялся с ней, она проговорила, не оборачиваясь:

— Кстати, помните, вы мне обещали дать что-нибудь?

Мариус пошарил у себя в кармане. У него ничего не было кроме тех пяти франков, которые он занял для старика Тенардье. Он их достал и сунул в руку девушке.

Она разжала пальцы, так что монета покатилась на землю, и, мрачно взглянув на него исподлобья, процедила сквозь зубы:

— Мне не нужно ваших денег.

Глава 233

Примерно в середине прошлого столетия некий председатель парижской судебной палаты

из буржуа имел тайную любовницу. Всячески стараясь, чтобы о ней никто не узнал, — в то время знатные лица выставляли своих метресс напоказ, а буржуа их скрывали, — он построил маленький домик в Сен-Жерменском предместье, на пустынной улице Бломэ, ныне называемой Плюмэ, недалеко от места, которое было известно тогда под названием «Звериной травли».

Домик состоял из двух этажей: в нижнем этаже находились две залы и помещалась кухня, а в верхнем были две обыкновенные комнаты и будуар. Под крышей был чердак. Перед домом раскинулся сад, окруженный большой железной решеткой, выходившей прямо на улицу. Сад был довольно обширен. Прохожие, кроме этого сада и стоявшего в нем домика в виде павильона, ничего не могли видеть. Между тем на противоположной от улицы стороне был узкий двор, в глубине которого ютился низенький флигелек с двумя комнатами и подвалом; очевидно, этот флигелек служил запасным зданием, чтобы в случае необходимости в нем можно было укрыть ребенка с кормилицей. Флигель сообщался

посредством потайной двери, отворявшейся секретным способом, с длинным, узким, извилистым, сверху открытым, а внизу вымощенным ходом, между двух стен, удивительно искусно скрытых от посторонних глаз. Ход этот вел к другой потайной двери, находившейся далеко от первой, в пустынной оконечности Вавилонской улицы, почти в другом квартале.

Председатель палаты так ловко пользовался своими секретами, что если бы даже кто-нибудь, кто заметил бы его ежедневное исчезновение куда-то, стал следить за ним, то все-таки не мог бы догадаться, что он, входя в дом на улице Плюмэ, направляется, собственно, на Вавилонскую улицу. Благодаря удачному приобретению соседних участков земли, изобретательный председатель мог все это устроить бесконтрольно, так как работал на своей земле. Впоследствии он распродал по мелким частям под сады и огороды лишнюю землю по обе части потаиного хода, так что новые соседи, видя перед собою только стены владения

президента, и не подозревали о существовании этой длинной мощеной ленты, которая вилась между двух стен, среди их грядок и фруктовых посадок. Только птицы могли видеть эту диковинку, и можно предполагать, что малиновки и синички прошлого столетия порядочно посплетничали насчет господина председателя палаты.

Домик на улице Плюмэ, представлявший собой каменный павильон во вкусе Мансара и убранный в стиле Ватто, снаружи походил на жеманный парик, а внутри — на грот. Окруженный тройным рядом цветов, этот домик имел вид и загадочный, и кокетливый, и вместе с тем величавый, как, впрочем, и подобает быть зданию, вызванному к жизни любовной прихотью почтенного представителя магистратуры.

Этот дом и потайной ход, существовавшие еще пятнадцать лет тому назад, теперь исчезли. В 1793 году здание было куплено на слом одним котельщиком; но когда тот оказался не в

состоянии уплатить за него сполна, то был объявлен банкротом, так что оказался разоренным не дом, а покупатель. С тех пор дом оставался необитаемым и медленно приходил в упадок, как всякое жилье, которое за отсутствием в нем людей лишено жизни. В нем все оставалось по-старому, и он вечно продавался или сдавался внаймы, о чем те десять или двенадцать человек, которые в течение года случайно попадали на улицу Плюмэ в качестве прохожих, извещались пожелтевшей и полустертой запиской, красовавшеюся с 1810 года на садовой решетке.

В конце эпохи Реставрации прохожие могли заметить, что эта записка исчезла и что даже ставни во втором этаже были открыты. Действительно, домик был занят. На окнах появились «занавесочки», что свидетельствовало о присутствии в доме женщины.

В октябре 1829 года явился какой-то пожилой господин и нанял дом в том виде, в каком его нашел, включая, по уговору, и задний флигелек вместе с ходом, ведшим в Вавилонскую улицу.

Заключив условие о найме, этот господин поправил испортившиеся замки обеих потайных дверей. Так как оставалась в целости вся прежняя обстановка, то съемщик только кое-что подновил, кое-что прибавил, вымостил заново двор, подправил ступени всех лестниц, паркетные полы и окна, в которые были вставлены новые стекла. Потом, когда все это было готово, он поселился в снятом доме вместе с молодой девушкой и старой служанкой. Перебрался он совершенно тихо, незаметно, точно не вошел открыто в дом, а тайком прокрался в него. Соседи не обсуждали это событие, Потому что их попросту не было.

Этот тихий жилец дома на улице Плюмэ был Жан Вальжан, а бывшая с ним молодая девушка была Козетта. Служанку звали Туссен; это была старая дева, которую Жан Вальжан спас от больницы и от нищеты. Он решил взять ее с собой, потому что она была стара, провинциалка и заика. Дом он нанял под именем рантье Фошлевана. Во всем, рассказанном ранее, читатель, вероятно, еще раньше Тенардье, узнал Жана Вальжана.

Но почему Жан Вальжан покинул монастырь? Что случилось? Да ничего особенного. Читатель, быть может, помнит, что Жан Вальжан был счастлив в монастыре, так счастлив, что под конец совесть его начала тревожиться. Он каждый день видел Козетту, чувствовал, что в нем все сильнее и сильнее развивается отеческая любовь к девушке. Он говорил себе, что она принадлежит ему, что так будет продолжаться вечно, что Козетта, наверное, сделается монахиней, потому что он ежедневно незаметно старается склонить ее к этой мысли, что, таким образом, монастырь будет для нее вселенной, как для него самого, что он в монастыре состарится, а Козетта в нем вырастет, потом в свою очередь состарится она, а он умрет, что, наконец, — и это было главное для него — они никогда не разлучатся. Однако, предаваясь этим сладким мыслям и надеждам, он вдруг почувствовал сомнение. Он стал строго допытываться у себя, действительно ли он имеет право на такое счастье, не будет ли его счастье в ущерб счастью другого лица — счастью этого ребенка, которого

он, старик, укрыл у себя и присвоил себе? Не совершает ли он этим кражу? Он говорил себе, что девочка имеет право узнать жизнь прежде, чем отречься от нее, что отнимать у нее все радости жизни под предлогом спасти ее от неразлучных с ними горестей и пользоваться ее незнанием и одиночеством, чтобы привить ей искусственное влечение к монашеству, значит уродовать человеческую душу и лгать перед Богом. Кто знает, не настанет ли день, когда Козетта начнет отдавать себе во всем отчет и горько пожалеет о своем обете, данном ею по неведению? Не возненавидит ли она тогда его, своего «отца», толкнувшего ее на этот путь? Это последнее соображение, почти эгоистическое и менее геройское, чем остальные, оказало на него решающее влияние: он решил покинуть монастырь.

Но он решился на это с душевной болью, сознавая, что это необходимо. Возражений у него против этого не было никаких, по крайней мере основательных. Пятилетнее пребывание в четырех стенах уничтожило все поводы к

опасениям. Он состарился, и все изменилось. Кто теперь его узнает? К тому же, в худшем случае, если и существовала опасность, то лишь для одного его, и он не имел права осудить Козетту на заключение в монастыре только потому, что сам был осужден на каторгу. Что значит опасность перед долгом? Да, наконец, что же помешает ему быть осторожным и принять необходимые меры? Что же касается воспитания Козетты, то оно было почти окончено.

Раз приняв такое решение, Жан Вальжан стал выжидать случая привести его в исполнение. Случай вскоре представился. Старик Фошлеван умер. Жан Вальжан попросил аудиенции у настоятельницы монастыря и объявил ей, что, получив по смерти брата небольшое наследство, благодаря которому ему можно будет прожить без труда и забот, он покидает службу при монастыре и берет с собой дочь, а так как будет несправедливостью, если Козетта, получив в монастыре даровое воспитание, уйдет из него, ничем не отплатив за это благо, то отец усердно просит позволения внести пять тысяч франков в

общину за те пять лет, которые его дочь провела в монастыре.

Вот при каких условиях Жан Вальжан покинул монастырь Непрестанного поклонения.

Выходя из монастыря, он сам нес маленький чемоданчик, ключ от которого всегда находился при нем. Этот чемодан сильно интересовал Козетту исходившим от него ароматом. Заметим кстати, что с этого дня Жан Вальжан никогда не расставался со своим чемоданчиком. Он всегда держал его в своей спальне. Это была первая и, пожалуй, единственная вещь, которую он всегда уносил с собой при своих переездах. Козетта со смехом называла чемоданчик его неразлучным спутником и уверяла, что ревнует к нему отца.

Однако старик вышел на свободу не без сильной внутренней тревоги. Подыскав подходящий дом на улице Плюмэ, он поселился в нем под именем Ультима Фошлевана. В то же время он нанял еще две квартиры в Париже, чтобы при первой же опасности иметь куда скрыться и не очутиться в таком затруднительном

положении, как в ту ночь, когда ему только чудом удалось избавиться от Жавера. Обе эти квартиры были довольно невзрачные и находились в двух очень удаленных один от другого кварталах: одна на Западной улице, а другая на улице Омм Армэ.

Находя неудобным подолгу жить в одном квартале, чтобы не обратить на себя внимания, он временами переезжал то на ту, то на другую квартиру и оставался там на месяц или полтора. Козетту он брал с собою, а старушку Туссен оставлял в доме улицы Плюмэ. В этих запасных, так сказать, квартирах ему прислуживали привратники, и он выдавал себя за деревенского рантье, имеющего по своим делам необходимость в городской квартире.

Таким образом этот высокодобродетельный человек вынужден был иметь в Париже три квартиры, чтобы скрываться от полиции.

Глава 234

Главным местопребыванием Жана Вальжана был, разумеется, нанятый им дом на улице Плюмэ. Теперь он устроил свою жизнь следующим образом. Павильон он передал в полное распоряжение Козетты. Молодой девушке принадлежали теперь обширная спальня с покрытыми живописью панелями, гостиная с ковровой обивкою и глубокими креслами и сад.

Жан Вальжан распорядился поставить к ней в спальню кровать со старинным балдахином из трехцветной шелковой материи, положил перед этой кроватью такой же старинный и великолепный персидский ковер, приобретенный им у старухи Гоше на улице Смоковницы Святого Павла. Впечатление этой чересчур тяжелой старинной роскоши он смягчил различными современными изящными безделушками, хорошеньким письменным столиком с полным прибором и разными фигурками, этажеркой с книгами в переплетах с золотыми обрезами, рабочим столиком с перламутровой

инкрустацией, эмалевым несессером, туалетом из японского фарфора и т. п. Окна верхнего этажа были украшены гардинами под стать балдахину кровати, а в нижнем этаже были повешены красивые вышитые занавески. Всю зиму домик отапливался снизу доверху. Сам Жан Вальжан поместился в надворном флигельке, где не было ничего, кроме простой койки с тюфяком, стола из некрашеного дерева, двух соломенных стульев, фаянсового кувшина для воды, полки с несколькими книгами и его дорогого чемоданчика, помещавшегося в углу. Огня старик никогда не разводил. Обедал он у Козетты, и ему всегда подавался ломоть черного хлеба. Нанимая к себе Туссен, он объявил ей, что хозяйкой в доме будет Козетта.

— А вы-то, сударь, тогда как же? — заикаясь, спросила она.

— Я выше хозяина — я отец, — ответил он.

И старушка удовольствовалась этим объяснением.

Козетта еще в монастыре была приучена к хозяйству и отлично справлялась с расходами, которые были очень скромными. Жан Вальжан ежедневно ходил гулять под руку с девушкой. Обыкновенно он водил ее в Люксембургский сад, где выбирал самую безлюдную аллею, а по воскресеньям отправлялся с ней всегда в одну и ту же церковь Сен-Жак, которая нравилась ему тем, что была очень далеко от улицы Плюмэ. Так как приход этой церкви был очень бедный, то Жан Вальжан раздавал там щедрую милостыню, и бедные обступали его целыми толпами. Это и подало Тенардье повод прозвать его благотворителем названной церкви. Вместе с тем он охотно водил Козетту к больным и бедным.

В дом улицы Плюмэ из посторонних никто не допускался. Провизию покупала на рынке Туссен, а воду носил сам Жан Вальжан из бассейна близ бульвара. Дрова и вино убирались в полуподземный искусственный грот близ Вавилонской улицы, служивший председателю палаты необходимым в свое время дополнением к приюту любви.

К калитке ограды, выходившей на Вавилонскую улицу, был прибит ящик для писем и газет, но так как трое обитателей домика в улице Плюмэ не получали ни тех ни других, то вся польза ящика, когда-то служившего посредником для любовной переписки старого волокиты, теперь ограничивалась только тем, что в него клались повестки сборщика податей и национальной гвардии. Рантье Ультим Фошлеван состоял в национальной гвардии; ему не удалось ускользнуть от переписи 1831 года. Сведения, собранные муниципалитетом, указывали, что Фошлеван долгое время находился в монастыре Малый Пикпюс, а так как этот монастырь представлял собою в данном случае нечто вроде священного и непроницаемого облака, то вышедший из него был в глазах мэрии достоин всякого уважения, а потому и мог служить в национальной гвардии.

Раза три или четыре в год Жан Вальжан надевал мундир и являлся на службу. Он делал это с большой охотой, потому что таким образом он участвовал в общественной жизни, оставаясь в

то же время неприкосновенным. Ему было уже шестьдесят лет, и он, по закону, был избавлен от воинской повинности, но на вид он казался лет на десять моложе и притом вовсе не имел желания уклоняться от службы и досаждать графу Лобо.

У него не было гражданского положения, он скрывал свое настоящее имя, свои года, свою личность — словом, скрывал все, и был, так сказать, добровольцем национальной гвардии. Ему очень хотелось походить на первого встречного, призванного к отбыванию отечественных повинностей, и он достиг этого. Стремясь уподобиться ангелам внутренне, наружно он желал быть буржуа и ничем не отличаться от остальных людей.

Упомянем еще об одной подробности. Когда Жан Вальжан выходил гулять с Козеттой, он одевался военным, а когда выходил из дома один, что обыкновенно случалось вечером, то всегда надевал рабочую блузу и фуражку с длинным козырьком, так чтобы не было видно его лица. Что побуждало его изображать из себя

рабочего — осторожность или скромность? И то и другое вместе.

Козетта уже привыкла к загадочности своего положения и едва ли замечала странности отца. Что же касается старухи Туссен, то та положительно благоговела перед Жаном Вальжаном и находила прекрасным все, что бы он ни делал. Как-то раз мясник, у которого Туссен забирала провизию, назвал Жана Вальжана чудаком, она горячо возразила, что это святой.

Ни Жан Вальжан, ни Козетта, ни Туссен никогда не входили в дом и не выходили из него иначе, как через калитку на Вавилонской улице, так что было очень трудно догадаться, что они живут собственно на улице Плюмэ. Решетка сада, выходившая на последнюю улицу, никогда не отворялась, сад нарочно был оставлен в своем запущенном виде, чтобы не привлекать внимания.

Но, рассчитывая на все это, Жан Вальжан мог ошибиться.

Глава 235

Этот сад, более полувека предоставленный одной природе, был воистину прелестен в своей запущенности. Лет сорок тому назад редкие прохожие по улице Плюмэ, вероятно, не раз останавливались, чтобы полюбоваться садом, не подозревая тайн, скрывавшихся за его свежей зеленой чащей. Вероятно, не один мечтатель той эпохи взорами и мыслью пытался проникнуть за старинную решетку, которая теперь постоянно была заперта, погнута и шаталась между позеленевшими от мха столбами.

В одном из углов сада оставалась еще каменная скамья, кое-где из чащи выглядывали попорченные непогодой статуи, на стене гнили полуразрушенные ветром трельяжи. От прежних аллей не оставалось и следа: все дорожки были затянуты густым ковром травы. Как только удалился садовник, за дело взялась природа. Предоставленная самой себе, земля обрадовалась и поспешила произвести как можно больше зелени, справляясь лишь собственными силами и

творя по своему вкусу. Наступило торжество диких растений. Ничто более в этом саду не препятствовало естественному стремлению сил природы к жизни. Деревья пригнули книзу свои ветви, которые смешались с терновником, в свою очередь тянувшимся кверху, ползучие растения тоже взбирались вверх; то, что обыкновенно расстилается по земле, соединилось здесь с тем, что тянулось к небу, и почувствовало здесь влечение к тому, что было внизу; все стволы, веточки, листья, усики, пучки, лозы, завитушки, шипы переплелись между собою, перепутались, перекрутились, составили одну сплошную зеленую чащу, слившись тут, на этом клочке земли пространством в несколько сот квадратных футов, в тесных объятиях; растительность совершала и праздновала, к полному удовольствию Создателя, священное таинство братского единения, как символ братства людей. Этот сад не был более садом, а был одной сплошной зарослью, то есть непроходимым, как девственный лес, населенным, как город, колышущимся, как птичье гнездо, мрачным, как

собор, благоухающим, как букет цветов, уединенным, как могила, полным жизни, как толпа.

Весной эта густая заросль, свободная за своей решеткой и четырьмя стенами, со страстной энергией примыкала к таинственному труду всемирного творчества, трепетала при восходящем солнце почти так же, как живое сознательное существо, жаждущее воздействия космической любви и чувствующее, как в его жилах закипают и бродят апрельские соки: потрясая по ветру своей роскошной зеленой гривой, она сыпала на влажную землю, на изъеденные временем статуи, на шаткие ступени павильона и даже на мостовую пустынной улицы звезды цветов, жемчуг росы, давала красоту, жизнь, радость, благоухание. В полдень в разгар весны и лета там появлялись тысячи белых бабочек, представляя дивное зрелище живого снежного вихря среди зелени. Там, в веселом сумраке растительности, хор невинных голосов ласково беседовал с человеческой душой, и что забыли сказать своим щебетаньем птички, то

досказывали своим жужжанием насекомые. Вечером из недр этой заросли поднималась какая-то таинственная дымка, точно сотканная из грез, и всю ее окутывала, сливаясь со спускавшеюся с спокойного неба серой туманной пеленой. В этот тихий час отовсюду несся опьяняющий запах жимолости и вьюнков — запах, полный чарующей прелести, слышались прощальные крики пичуг и синичек, прятавшихся в листве, и невольно чувствовалась какая-то священная таинственная связь между деревом и птицей, выражающаяся, между прочим, в том, что днем крылья птицы оживляют листву дерева, а ночью эта листва осеняет ее крылья.

Зимой садовая чаща представлялась черной, блестящей от сырости, взъерошенной и дрожащей от холодного ветра, и сквозь нее с улицы становился немного виден скрывшийся в ней павильон. Вместо цветов на ветках и вместо росы на цветах виднелись только длинные серебристые нити, проведенные слизняками по холодному густому ковру желтых листьев. Но во

всех своих видах и во всякое время года — весной, зимой, летом и осенью — этот небольшой уголок огороженной земли дышал меланхолией, созерцанием, одиночеством, свободою, отсутствием человека, присутствием Бога, и старая заржавленная решетка имела такой вид, точно говорила прохожим: «Этот сад — мой».

Несмотря на то что возле сада тянулась парижская мостовая, несмотря на соседство классических роскошных отелей улицы Варенн и близость Дома Инвалидов и Палаты депутатов, несмотря на гул колес великолепных карет, торжественно катившихся по улицам Бургон и Сен-Доминик, находившихся тоже неподалеку, и на шум перекрещивавшихся на ближайшей площади желтых, коричневых, белых и красных омнибусов, несмотря на все это, улица Плюмэ была совершенно пустынной. Достаточно было смерти прежних владельцев, бури революции, разрушения былых состояний, отсутствия людей, погружения в забвение, сорока лет заброшенности и полной свободы, чтобы этот привилегированный уголок весь заселился

папоротниками, царскими скипетрами, омегою, дикой гречихою, пышной травой, крупными, точно гофрированными, растениями с широкими бледно-зелеными, словно суконными, листьями, ящерицами, жучками и множеством других беспокойных быстрокрылых насекомых, чтобы вызвать из недр земли и распространить между четырьмя стенами ограды нечто величавое в своей первобытной дикости, чтобы природа, которая любит расстраивать мелкие предприятия людей и всегда устраивается по-своему лишь только дают ей волю, будь то в муравейнике или в гнезде орла, развернулась в этом жалком парижском садике с такою же силою и с таким же величием, как в девственных лесах Нового Света.

Действительно, в природе нет ничего мелкого и ничтожного. Это известно всякому, кто умеет проникать в ее тайны. Хотя любви к познанию не дается полного удовлетворения философией, которая так же неспособна вполне определить причину, как ограничить следствие, тем не менее философ неизбежно приходит в полный восторг при виде работы всех сил природы, стремящихся

к единству, трудящихся одна для другой и вместе с тем для всех.

Алгебру можно применить и к облакам; лучеиспускание звезд идет на пользу розе, ни один серьезный мыслитель не осмелится сказать, что аромат боярышника бесполезен небесным светилам. Кто может определить путь ничтожной былинки? Кто скажет нам, не решается ли грандиозное творение новых миров в силу простого падения песчинок? Кому известен закон взаимных приливов и отливов бесконечно великого и бесконечно малого? Кто знает, как отзываются в пучинах бытия и в лавинах творения последствия причин? Каждый атом имеет свое значение: малое — велико, великое — мало. Все представляет собой равновесие в необходимом, и все это восхищает и удивляет пытливый ум. Между существами и предметами видно чудесное взаимоотношение, в необъятном целом, называемом вселенной, начиная с солнца и кончая едва заметной былинкой, нет места презрению: там все нуждается одно в другом. Унося в лазурную высь земные благоухания, свет

знает, что делает; ночь раздает эссенцию звезд заснувшим цветам. Каждая птица, летающая в небе, держит в своих когтях нить бесконечного. Творческая сила одинаково участвует как в образовании метеора, так и в движении птенца, когда неоперившаяся ласточка своим носиком пробивает скорлупу яичка: эта сила одновременно подготавливает появление земляного червя и появление Сократа. Где кончается царство телескопа, там начинается царство микроскопа. Которое из них обширнее, решайте сами. Плесень — это скопище цветов, туманное пятно — скопище звезд. Та же близость, еще более удивительная, существует между явлениями мира чисто духовного и явлениями мира материального. Элементы и принципы смешиваются, соединяются, взаимно проникают друг в друга, один другого дополняют и умножаются сами в себе, и все это для того, чтобы привести оба мира — духовный и материальный — к одному и тому же свету. Явления вечно возвращаются сами к себе. В неисчислимых космических сменах и обменах

мировая жизнь движется сама назад и вперед неведомыми путями и двигает все в непроницаемой тайне и невидимыми для нас силами, ничем не пренебрегая, ничего не теряя — даже простого сновидения какого-нибудь существа; здесь зарождая инфузорию, там кроша на части звезду — двигаясь и извиваясь, превращает свет в движущую силу, а мысль — в элемент; все разлагая и растворяя, за исключением геометрической точки, представляемой нашим личным я, все сводя к душе-атому, все соединяя в Боге, сцепляя между собой во мраке головокружительного механизма все проявления деятельности, начиная с самой высшей и кончая самой низшей, связывая полет насекомого с движением Земли, подчиняя, быть может, хотя только по тождеству закона, течение кометы на небесном своде движению инфузории в капле воды, — она, мировая жизнь, живет и дышит. Вселенная — это машина, созданная духом, это гигантский механизм, первый двигатель которого — мошка, а последнее колесо — зодиак.

Глава 236

Сад, окружавший дом на улице Плюмэ, казалось, преобразился. Созданный сначала для того, чтобы скрывать любовные тайны, он теперь стал достойным охранять тайны целомудрия. В нем больше не было ни крытых аллей, ни лужаек для игры в шары, ни тоннелей, ни гротов; теперь в нем царил таинственный сумрак, узорчатым покровом своим окутывавший дом. Пафос снова превратился в Эдем. Чувствовалось, что как будто чье-то раскаяние очистило это убежище. Невидимая обладательница этого сада посвящала теперь свои цветы только душе. Этот кокетливый уголок, когда-то служивший греху, вернулся к служению девственности и целомудрию. Председатель палаты и садовник (один, по простоте душевной, вообразил себя преемником Ламуаньона, а другой — вторым Ленотром) обработали сад, подрезали, подчистили, убрали и нарядили для галантных похождений; природа же, снова захватив этот клочок земли в свою

власть, поспешила наполнить его сумраком и по-своему разукрасила для любви.

Теперь в этом уединении очутилось и сердце, вполне готовое любить. Любви стоило только показаться. Она нашла бы здесь храм, созданный из зелени, трав, мха, птичьих вздохов, мягкой тени и колыхающихся ветвей, и душу, сотканную из кротости, веры, чистоты, надежды, порывов и грез.

Козетта вышла из монастыря почти ребенком; ей было немного более четырнадцати лет, то есть она находилась в самом неблагоприятном для наружности возрасте. Мы уже говорили, что за исключением глаз она была скорее некрасива, нежели хороша. Правда, неприятной черты у нее не было ни одной, зато она была угловата, робка, но в то же время смела и неуклюжа в движениях — словом, это был подросток.

Воспитание ее было окончено, так как ее учили Закону Божию и, главное, набожности, учили «истории», то есть тому, что подразумевается в монастырях под этим

названием, учили понемногу географии, грамматике, музыке, ей дали понятие о французских королях, учили, как рисовать носы, но что касается всего остального, то она ровно ничего не знала: это представляло собой и особого рода прелесть, и большую опасность. Душа молодой девушки не должна оставаться во мраке неведения, для того чтобы впоследствии не появлялось в ней резких и ярких миражей, как это бывает у запертых в темной комнате. Такую душу, напротив, следует осторожно, постепенно приучать к свету и сначала показывать ей только его отблеск, чтобы не испугать ее его беспощадной яркостью. Нужно давать полусвет, нежный в самой своей поучительности, способный не только рассеивать детские страхи, но и оберегать от неожиданных нападений. Один материнский инстинкт — это чудное непосредственное чувство, в которое входят воспоминания девушки и опытность женщины, — знает, как и из чего должен состоять этот полусвет. Инстинкт этот ничем не заменим. Чтобы воспитать душу девушки, монахини всего

мира, вместе взятые, не могут сравниваться с одной матерью. У Козетты же не было матери; она имела их несколько, но они не могли заменить ей родную мать. Что же касается Жана Вальжана, то хотя в нем и было бесконечно много нежности и заботы, но ведь в сущности он был только старик, ничего не понимавший в этом деле. А между тем в деле воспитания, этом важном акте подготовки женщины к жизни, нужно много искусства, чтобы суметь успешно бороться с тем великим неведением, которое зовется невинностью. Ничто так не способствует развитию в молодой девушке страстности, как пребывание в монастыре. Монастырь обращает все помыслы именно к неведомому. Сердце, сосредоточенное на самом себе, разъедает себя в глубину, не будучи в состоянии развиться в ширину. Отсюда получаются всевозможного рода видения, предположения, догадки, зачатки романов, желания приключений, фантастические грезы, воздушные замки, воздвигаемые во внутреннем мраке мысли, здания темные и полные тайных извилин, где свивают себе гнезда

страсти, лишь только им дана возможность проникнуть туда. Вообще монастырь — это гнет, который, чтобы восторжествовать над человеческой душой, должен давить всю жизнь.

Для покинувшей монастырь Козетты не могло быть убежища более привлекательного, но вместе с тем и более опасного, как дом на улице Плюмэ. Переселение в этот дом было для нее продолжением затворничества, соединенного с началом свободы. Это был для нее тот же замкнутый сад, но сад, в котором царила острая, пышная, душистая, опьяняющая, полная сладострастия природа. Здесь могли продолжать развиваться те же грезы, как в монастыре, но к ним могли примешиваться мелькавшие сквозь решетку фигуры проходивших молодых людей, потому что хотя и существовала ограда, но она выходила на улицу и была прозрачной.

Впрочем, повторяем, когда Козетта переехала в дом на улице Плюмэ, она была еще ребенком. Жан Вальжан передал запущенный сад в ее полное распоряжение, сказав, что она может

делать в нем все, что хочет. Козетта была в восторге от этого. Она весело бегала по саду, обшарила там все кусты и перевернула все камни в поисках за «зверьками», играла там, как настоящее дитя, пока еще не наступила пора любовных грез. Она любила этот сад пока еще за копошившийся у нее под ногами мир насекомых, в ожидании того, когда полюбит его ради звезд, ярко сиявших по ночам над ее головой сквозь сень зеленых ветвей.

Притом она любила своего отца, то есть Жана Вальжана, любила его всей душой, с наивной детской страстностью, делавшей для нее общество добродушного старика желанным и приятным. Читатели помнят, что Мадлен много читал. Жан Вальжан продолжал чтение и достиг того, что умел быть интересным рассказчиком; в этом скромном человеке таилось много ума и прекрасных способностей, которые он старался сам развить в тиши. В его характере оставалось ровно настолько строгости, чтобы обуздывать его излишнюю доброту. Это был человек твердого ума, но мягкого сердца. Во время своих прогулок

вдвоем с Козеттой по Люксембургскому саду он подробно толковал ей обо всем, что знал из книг и из личного горького опыта. Слушая старика, девочка в то же время с любопытством озиралась по сторонам.

Этот простой человек так же хорошо удовлетворял ее умственным запросам, как запущенный сад — ее чувству. Набегавшись до устали за бабочками, она, вся запыхавшись, прибегала к старику и кричала: «Ах, как я устала!» — и он нежно целовал ее в лоб.

Козетта положительно обожала старика и следовала за ним как тень. Где был Жан Вальжан, там было всего приятнее и для нее. Так как Жан Вальжан не жил ни в павильоне, ни в саду, то она чувствовала себя лучше на заднем вымощенном дворе, чем в полном цветов саду, и в маленьком домике с убогой мебелью, чем в большой гостиной, покрытой коврами и уставленной удобной мягкой мебелью. Жану Вальжану с улыбкой счастья, вызываемого тем, что его так

часто тревожили, то и дело приходилось говорить:

— Да ступай же к себе, Козетта! Позволь мне немножко побыть одному.

Она каждый день журила его с истинно детской нежностью:

— Отец, что это у тебя как холодно? Почему ты не постелешь на полу ковра и никогда не топишь?

— Потому, милая девочка, — отвечал он, — что есть много людей, несравненно более меня достойных, у которых над головой нет даже крова.

— Почему же тогда у меня так тепло и есть все, что нужно?

— Потому, что ты женщина и ребенок.

— Вот еще! Значит, мужчины обязательно должны мерзнуть и жить дурно?

— Некоторые — да.

А то, бывало, она скажет ему:

— Отец, почему ты ешь такой гадкий хлеб?

— Потому что так нужно, дочка.

— Ну, раз ты его ешь, значит, и я буду есть.

После этого Жан Вальжан тоже принимался есть белый хлеб, чтобы Козетта не была вынуждена есть черный.

Козетта очень смутно помнила свое детство. Утром и вечером она молилась за свою мать, хотя и не знала ее. Супруги Тенардье представлялись в ее воспоминании двумя страшными призраками, точно виденными ею когда-то во сне. Девочка помнила, что раз ночью она ходила за водою в лес. Ей казалось, что это было очень далеко от Парижа и что ее жизнь началась в какой-то бездне, из которой она была извлечена Жаном Вальжаном. Вообще ее детство представлялось ей временем, когда вокруг нее не было других живых существ, кроме сороконожек, пауков и змей. Размышляя вечером перед сном о себе и о своей жизни и не сознавая вполне ясно, дочь ли она Жана Вальжана и отец ли он ей, девочка воображала себе, что в этого доброго человека

вселилась душа ее матери, не пожелавшей покинуть свою дочь.

Иногда, когда старик сидел, она прижималась своей свежей щекой к его седым волосам и молча орошала их слезами, думая про себя: «Почем знать, может быть, этот человек действительно моя мать?» Как это ни покажется странным, но в качестве монастырской воспитанницы Козетта не имела ни малейшего понятия о материнстве и в конце концов начала воображать, что она появилась на свет помимо матери, тем более что она не знала даже ее имени. Всякий раз, как она спрашивала об этом Жана Вальжана, он отделывался молчанием. Когда же она приставала, он только улыбался. Однажды она стала очень упорно приставать к нему, тогда его улыбка превратилась в слезу.

Молчание Жана Вальжана покрывало мраком Фантину. Почему он молчал: из осторожности, уважения или из боязни поверить это имя случайности другой памяти, кроме своей собственной? Пока Козетта была совсем

маленькой, Жан Вальжан охотно говорил ей о матери, когда же она начала превращаться в молодую девушку, это сделалось для него невозможным. Ему казалось, что он не имеет права более делать этого. Кого он тут оберегал: Козетту или Фантину? Он испытывал какой-то религиозный ужас при мысли, что эта тень может остаться в сердце Козетты и что покойница станет как бы участницей в их жизни. И чем священнее становилась для него эта тень, тем больший страх он ощущал. Когда он думал о Фантине, ему казалось, что его все более и более сковывает обязанность молчать о ней. Иногда ему мерещился в потемках прижатый к устам палец. Не охраняло ли Фантину в ее могиле то целомудрие, которое было в ней при жизни и, насильственно вынужденное покинуть ее, теперь, скорбное и негодующее, вернулось к ее гробу, чтобы бодрствовать над ее покоем? И не подчинялся ли Жан Вальжан бессознательно влиянию этого целомудрия? Веруя в смерть, мы готовы допустить это таинственное толкование.

Отсюда и проистекала невозможность произнести имя Фантины даже перед Козеттой.

Как-то раз девушка сказала ему:

— Отец, я нынче ночью видела во сне свою мать. У нее были большие крылья. Должно быть, при жизни она была близка к святости.

— Да, своим мученичеством, — ответил старик.

В общем Жан Вальжан был счастлив. Выходя с ним на прогулку, Козетта, гордая и довольная, радостно опиралась на его руку. При выражении такой искренней нежности, обращенной исключительно к нему, Жан Вальжан испытывал глубокое наслаждение. Старик весь трепетал от переполнявшей его сердце радости, он уверял себя, что так будет продолжаться всю жизнь, ему казалось, что он слишком мало страдал, для того чтобы заслужить такое громадное счастье, и в глубине души восторженно благодарил Бога, допустившего по отношению к нему, отверженному, любовь такого невинного существа.

Глава 237

Заглянув однажды случайно в зеркало, Козетта нашла, что она почти хороша. Это открытие повергло ее в какое-то странное смущение. До этой минуты она никогда не думала о своей наружности. Глядясь и раньше в зеркало, она как бы не видела себя. К тому же она часто слышала, как ее называли дурнушкой; один Жан Вальжан с обычной своей мягкостью возражал против этого. Козетта с ребяческой беззаботностью мало этим огорчалась и выросла в сознании, что она — дурнушка. Но вот вдруг зеркало говорит ей так же, как Жан Вальжан, что это неправда.

Она не спала всю следующую ночь, думая о том, что она показалась самой себе хорошенькой и что было бы очень забавно, если бы это оказалось правдой. Вспоминая тех из своих монастырских подруг, которые славились красотой, она мысленно выражала желание походить на ту или другую из них.

На другой день она уже нарочно посмотрела на себя в зеркало и сказала себе: «Что это за вздор пришел мне вчера в голову? Нет, я дурна и больше ничего!» Это происходило оттого, что она плохо спала, а потому была бледна и в глазах не было блеска. Накануне она не особенно обрадовалась, увидев себя красивой, а теперь очень огорчилась, не найдя подтверждения этому. Она отошла от зеркала и более двух недель старалась обходиться без него, даже причесываясь.

После обеда Козетта обыкновенно занималась каким-нибудь выученным в монастыре рукоделием, сидя в гостиной рядом с Жаном Вальжаном, который читал ей что-нибудь вслух.

И вот однажды она, подняв глаза от работы, была удивлена, заметив, что отец смотрит на нее с выражением глубокой тревоги.

В другой раз, проходя по улице, ей послышалось, что кто-то сзади нее сказал: «Хорошенькая, но дурно одета!» — «Ну, — подумала она, — это не про меня: я дурна и

хорошо одета». Она была в мериносовом платье и в плюшевой шляпке.

Потом как-то, находясь у себя в саду, она услыхала, как старушка Туссен говорила хозяину:

— Какой хорошенькой становится наша барышня!

Ответа старика Козетта не расслышала, но слова Туссен послужили для нее своего рода сильным толчком. Она тут же прямо из сада побежала в свою комнату и бросилась к зеркалу, в которое не заглядывала около трех месяцев, и вскрикнула от изумления, ослепленная самой собой.

Теперь Козетта не могла не почувствовать, что она действительно хороша: это говорила не только Туссен, но свидетельствовало и зеркало. Фигура ее сделалась выше, тоньше и стройнее, лицо побелело, волосы стали блестящими, голубые глаза засверкали новым огнем. Убедившись теперь в своей красоте и вспоминая слова Туссен, она поняла, что и слышанные ею на улице слова относились именно к ней. Вся

охваченная счастливым сознанием, что она красива, девушка, гордая как королева, возвратилась в сад, и, хотя стояла глубокая осень, ей вдруг показалось, что птички щебечут, что небо золотится, что цветы цветут, что солнце сияет и деревья зелены — словом, она безумствовала в опьянении своего торжества.

Между тем Жан Вальжан чувствовал, как сердце его сжимается глубокой острой тоской. С некоторых пор он с ужасом наблюдал, как милое личико девушки все пышнее расцветает красотою, и сильно терзался. Что для других было только сияющею зарею, для него являлось зловещим закатом.

Козетта похорошела задолго до того, как заметила это. Но этот свет красоты, так неожиданно засиявший во всем существе девушки и с каждым днем все более и более окружавший ее своими лучами, жестоко ранил Жана Вальжана. Он чувствовал, что наступает перемена в его счастливой жизни, — до такой степени счастливой, что он боялся

пошевельнуться, чтобы не нарушить своего блаженства. Этот человек, который испытал все страдания, и раны которого, нанесенные рукою судьбы, все еще не зажили, который был чуть не злодеем, а теперь стал почти святым, который некогда волочил цепь каторжника, а теперь носил, хотя и невидимую, но еще более тяжелую цепь отверженности, который все еще находился во власти закона, способного каждую минуту извлечь его из тени добродетели и выставить на свет публичного позора, — этот человек все покорно принимал, все прощал, все благословлял, всему благожелал и просил у провидения, у людей, у закона, у общества, у природы, у всего мира только одного — любви Козетты. Он молил Бога только о том, чтобы Козетта продолжала его любить, чтобы Бог не отвратил от него сердца этого ребенка, чтобы оно принадлежало навеки ему одному. Любимый Козеттой, он чувствовал себя исцеленным, отдохнувшим, успокоенным, облагодетельствованным, награжденным, увенчанным; любимый ею, он чувствовал себя

счастливым и ничего более не требовал от судьбы.

Все, что могло хотя бы слегка задеть это состояние, страшило его, всякая перемена пугала его. Он никогда, в сущности, не понимал, что такое женская красота, но инстинктивно чувствовал, что это нечто страшное. С ужасом смотрел он из глубины своего несчастья, своей старости, своей отверженности и своего унижения на эту красоту, которая с торжеством все пышнее и пышнее расцветала на этом невинном, угрожаемом опасностями, личике молодой девушки. Он говорил себе: «Как она хороша! Что же теперь будет со мной?» В этом заключалась разница между его любовью и нежностью матери: то, что для него было мучением, для матери было бы радостью.

Первые признаки последствий красоты вскоре не замедлили обнаружиться. На следующий же день после того, когда Козетта любовалась своей красотой, она стала заниматься своим туалетом. Она вспомнила замечание прохожего:

«Хорошенькая, но плохо одета». Это было для нее дуновением оракула, пронесшимся мимо нее и исчезнувшим в пространстве, но заронившим ей в сердце одно из тех двух семян, которые впоследствии должны были дать содержание всей женской жизни, — семя кокетства; второе семя — семя любви — еще ожидало своей очереди.

Вера Козетты в свою красоту заставила в ней проснуться женщину. Она стала ужасаться своего мериносового платья и стыдиться своей плюшевой шляпки. Отец никогда ни в чем не отказывал ей. Она вдруг поняла всю тайну шляпки, платья, накидки, ботинок, манжеток, материи и цвета к лицу, усвоила всю ту науку, которая делает из парижанки нечто особенно прелестное, неотразимое и опасное. Название «опьяняющей женщины» придумано специально для парижанок. Не прошло и месяца, как маленькая Козетта в своей пустыне, носившей название Вавилонской улицы, превратилась в одну из женщин не только самых хорошеньких, — что уже было много, — но и

самых красиво одетых во всем Париже, что имело гораздо больше значения. Теперь ей очень хотелось снова встретить того разборчивого прохожего, чтобы показать ему себя в новом виде и услышать, что он скажет. Действительно, она стала очаровательной во всех отношениях и отлично умела отличить шляпу Жерара от шляпки Гербо.

Жан Вальжан с тревогой в душе смотрел на эту внезапную перемену. Сознавая про себя, что он может только ползти и, самое большее, кое-как идти по земле, старик со страхом видел, что у Козетты стали вырастать крылья.

Но каждая женщина, взглянув на туалет Козетты, тотчас же заметила бы, что у нее нет матери. Лишенная наставницы, Козетта не соблюдала известных условий, нарушала известного рода приличия. Так, например, будь у Козетты мать, она растолковала бы, что молодой девушке неприлично наряжаться в тяжелые шелковые материи.

В первый раз, когда Козетта оделась в новое платье, накинула черную шелковую накидку, надела на голову белую креповую шляпку и, приготовившись идти гулять с Жаном Вальжаном, вся розовая, гордая, Радостная, сияющая, лучезарная, она спросила его:

— Ну как ты меня находишь, отец?

И Жан Вальжан, голосом, в котором как бы слышалась горечь, ответил:

— Очень милой.

Во все время прогулки старик был таким, как всегда, но, возвратившись домой, он спросил у Козетты:

— Разве ты уже больше не наденешь платье и шляпку, в которых ходила гулять прежде?

Вопрос этот был предложен им в комнате Козетты. Молодая девушка обернулась к открытому гардеробу, в котором висели ее пансионерские доспехи, и воскликнула:

— Это монастырское тряпье? Что ты, отец, разве можно!.. О нет, я ни за что больше не

надену этого безобразия! С этим куриным гнездом на голове я похожа бог знает на кого!

Жан Вальжан глубоко вздохнул, но ничего не сказал.

С этого дня старик стал замечать, что Козетта, прежде всегда желавшая оставаться дома, говоря, что ей гораздо веселее с ним, теперь то и дело просила идти гулять. Да оно и верно: к чему быть хорошенькой и нарядной, если нельзя этого показывать? Заметил старик и то, что молодая девушка уже меньше любит бывать на заднем дворе. Теперь она гораздо чаще находилась в саду и с видимым удовольствием прохаживалась перед решеткой, выходившей на улицу. Сам же он, одичав совершенно, никогда не бывал в саду, постоянно прячась на своем задворке, как собака.

Сознавая теперь себя хорошенькой, Козетта утратила всю прелесть неведения своей красоты, потому что красота, оттеняемая неведением, становится особенно привлекательной, и нет ничего милее лучезарной невинности, которая, сама того не сознавая, держит в руках ключ к

раю. Но, лишившись обаяния наивности, Козетта зато выиграла задумчивостью и серьезностью. Вся ее особа, проникнутая радостью юности, невинности и красоты, дышала теперь какой-то поэтической грустью.

В эту-то эпоху и увидел ее вновь в Люксембургском саду Мариус после шестимесячного промежутка.

Глава 238

Как Мариус в своем одиночестве, точно так же и Козетта в своем новом затворничестве каждую минуту была готова воспламениться. Судьба со своей таинственной и роковой медлительностью понемногу приближала друг к другу эти два существа, полные электричеством страсти и томившиеся в ожидании, когда наступит минута разряжения. Это были две души, носившие в себе любовь, как грозовые тучи носят молнию и гром, и обреченные столкнуться и слиться в одном взгляде, как сталкиваются тучи при первой молнии.

В любовных романах так много злоупотребляли силой первого взгляда, что, наконец, перестали придавать значение этой силе. Теперь едва решаешься сказать, что двое полюбили друг друга при первой встрече. А между тем именно при первом взгляде и возникает любовь. Остальное уже приходит после. Ничто не может быть действительнее тех могучих потрясений, которые испытываются двумя душами, обменявшимися искрой первого взгляда.

В ту минуту, когда Козетта бессознательно бросила взгляд, смутивший Мариуса, последний так же бессознательно взволновал своим взглядом Козетту. Они оба причинили друг другу одинаковое добро и одинаковое зло.

Козетта уже заметила Мариуса и рассматривала его, как вообще молодые девушки рассматривают мужчин, делая вид, что смотрят совсем в другую сторону. Мариус еще считал Козетту дурнушкой, когда она уже находила его

красивым. Но так как он не обращал на нее внимания, то и он был ей безразличен.

Тем не менее она не могла отрицать, что у него прекрасные волосы, прекрасные глаза, прекрасные зубы и очень приятный голос, когда он разговаривал с приятелями, что хотя у него и неловкая походка, но она отличается какой-то своеобразной грацией, что он, должно быть, далеко не глуп, что от него веет благородством, кротостью, благовоспитанностью и гордостью и что, наконец, он хотя и беден, но выглядит хорошо.

В тот день, когда взоры их встретились и наконец высказали друг другу те смутные и невыразимые чувства, которые только и могут быть выражены взором, Козетта в это мгновение ничего ясно не сознала. Она только вернулась задумчивою в квартиру на Западной улице, куда Жан Вальжан переселился на шесть недель. Проснувшись на другой день, она невольно опять задумалась о том незнакомом молодом человеке, который так долго был холоден и равнодушен к

ней, а теперь вдруг как будто стал обращать на нее внимание, но ей показалось, что это внимание нисколько ее не радует. Напротив, в ней точно шевелился гнев на этого красивого гордеца. В сердце ее закипало чувство враждебности, и она с чисто детской радостью говорила себе, что теперь отомстит за себя. Хотя еще смутно, но она уже сознавала в своей красоте сильное оружие. Женщины играют своей красотой, как дети ножом, и часто ранят при этом самих себя.

Пусть читатель припомнит колебания Мариуса, его трепет и страхи. Он сидел на своей скамейке и не подходил к Козетте. Это сердило молодую девушку. Однажды она сказала Жану Вальжану:

— Отец, пройдемся немного вон в ту сторону.

Видя, что Мариус не идет к ней, она сама пошла к нему. В подобных случаях каждая женщина походит на Магомета. Кроме того, как это ни кажется странным, любовь молодого человека прежде всего выражается

застенчивостью, а молодой девушки — смелостью. Это кажется противоестественным, а между тем ничто не может быть проще. В этом выражаются два пола, стремящиеся сблизиться и обменивающиеся своими качествами.

В этот день взгляд Козетты свел Мариуса с ума, а взгляд Мариуса вызвал в Козетте трепет. Мариус ушел с надеждой в душе, а Козетта удалилась встревоженной. Начиная с этого дня они стали обожать друг друга. Первое, что испытала в этот день Козетта, была смутная, но глубокая грусть. Ей казалось, что душа ее вдруг потемнела. Она не узнавала более своей души. Белизна душ молодых девушек, образующаяся из холодности и беззаботной веселости, походит на снег: она тает от любви, которая является для нее солнцем.

Козетта еще не знала, что такое любовь. Это слово в его чисто земном значении при ней ни разу еще не произносилось. В тетрадях светской музыки, проникавших в монастырь, слово «amour» (любовь) везде было заменено словами:

«tambour» (барабан) или «pandour» (венгерский солдат). Это порождало загадки, над разрешением которых изощрялось воображение старших воспитанниц. Конечно, девушек не могло не заинтересовать, что могла означать, например, такая фраза: «Ah, que le tambour est agréable!» (Ах, как приятен барабан) или: «La pitié n'est pas un pandour» (Сострадание — не пандур). Но Козетта вышла из монастыря еще слишком юной, чтобы долго задумываться над «пандуром». Поэтому она и не знала, как назвать то, что теперь вдруг почувствовала. Но разве больной менее страдает, если не знает названия свой болезни?

Она любила с особенной страстностью, потому что не имела еще понятия о любви. Она не знала, хорошо это или дурно, полезно или вредно, благотворно или смертельно, вечно или мимолетно, дозволено или запрещено; она любила — и более ничего. Она очень бы удивилась, если бы ей сказали: «Вы не спите? Но ведь это запрещено! Вы не едите? Но ведь это очень дурно! Вы чувствуете щемление в груди и

сердцебиение? Но ведь это ненормально! Вы краснеете и бледнеете, когда в конце зеленой аллеи показывается некто, одетый в черное? Но ведь это ужасно!» Она не поняла бы и ответила бы: «Как же я могу быть виновата в том, чего я не знаю и против чего я не властна ничего сделать?»

Случилось так, что столь внезапно охватившая ее любовь была именно такой, какая всего лучше подходила к состоянию ее души. Это было чем-то вроде обожания на расстоянии немого созерцания, обоготворения неведомого. Это было явление юного юному, ночная греза, превратившаяся в роман, но все еще оставшаяся грезой, желанный призрак, наконец воплотившийся, но не получивший еще имени, не заклейменный ни виной, ни пятном, еще не выказывавший ни одного недостатка, — словом, это был далекий и пребывающий еще в идеале возлюбленный, мечта, получившая форму. Всякая встреча, более близкая и осязательная, в это первое время испугала бы Козетту, остававшуюся еще наполовину погруженной в сумрак монастырской жизни. В ней еще смешивались

детские страхи со страхами монастырскими. Монастырский дух, которым она прониклась за пять лет, выходил из нее слишком медленно, застилая все вокруг нее своим колеблющимся светом. В этом состоянии ей нужен был не возлюбленный, даже не влюбленный, а было нужно именно видение. Она начала обожать Мариуса, как нечто прелестное, светоносное и невозможное.

Так как крайнее простодушие соприкасается с крайним кокетством, то Козетта откровенно улыбалась Мариусу. Она каждый день с нетерпением ожидала часа прогулки, чтобы встретить Мариуса, она чувствовала себя при этом безгранично счастливой и искренно воображала, что выражает всю свою мысль, когда говорила Жану Вальжану:

— Какая прелесть этот Люксембургский сад!

Мариус и Козетта пребывали друг для друга во мраке, они не говорили между собой, не кланялись один другому не были знакомы, они только виделись и, подобно звездам на небе,

отделенным одна от другой целыми миллионами миль, жили созерцанием друг друга.

Таким образом, Козетта понемногу становилась женщиной. Прекрасная и любящая, она развивалась, сознавая свою красоту, но не ведая своей любви, и по невинности кокетничала.

Глава 239

Все положения имеют свой инстинкты. Старая и вечная мать-природа глухо предостерегала Жана Вальжана о присутствии Мариуса. Старик трепетал в сокровеннейших глубинах своего сердца. Он ничего не видел, ни о чем не знал, однако с напряженным вниманием всматривался в окружавший его мрак, точно чувствуя, что там, с одной стороны, что-то созидается, а с другой — что-то разрушается. Мариус, также предупрежденный матерью-природой, по неисповедимым законам божиим, делал все, что только мог, лишь бы не попадаться на глаза «отцу». Тем не менее иногда случалось, что Жан Вальжан его замечал. Мариус перестал держать

себя естественно. У него проявлялась подозрительная осторожность и неловкая смелость.

Он уже не подходил близко, как делал прежде. Он садился поодаль и, видимо, пребывал в восторженном состоянии; имел в руках книгу и притворялся читающим. Почему же притворялся? Прежде он приходил в своей старой одежде, а теперь каждый день наряжался в новую. Жану Вальжану даже казалось, что молодой человек стал завиваться; во всяком случае, у него были теперь очень странные глаза и он начал носить перчатки. Словом, Жан Вальжан от всего сердца возненавидел этого юношу.

Козетта не давала ничего угадывать в себе. Не сознавая ясно, что с ней делается, она чувствовала, что внутри нее что-то неладно и что это нужно скрывать.

Жан Вальжан понял многозначительную связь между вдруг проснувшейся у Козетты страстью к нарядам и непривычным щегольством молодого незнакомца. Быть может, это было простой

случайностью, но и в случайности старик усматривал нечто угрожающее. Он никогда ни слова не говорил Козетте об этом незнакомце. Но как-то раз он не утерпел и с храбростью отчаяния, побуждавшего его прозондировать глубину своего несчастья, сказал своей спутнице:

— Какой надутый вид у этого молодого человека!

Годом раньше Козетта, будучи еще равнодушной девочкой, наверное, ответила бы на это: «Вовсе нет, папа. Он очень мил». Десять лет спустя, с сердцем, переполненным любовью к Мариусу, она сказала бы: «Да, вы правы, он действительно имеет несносный вид». Но в настоящий момент ее жизни и при описанном состоянии ее сердца она ограничилась только тем, что совершенно спокойно спросила:

— Какой молодой человек?.. Ах, этот!

Точно она видела Мариуса в первый раз в жизни.

«Какой я дурак! — подумал про себя Жан Вальжан. — Она даже не замечала его. Нужно же мне было заставить ее обратить на него внимание!»

О простота старцев и мудрость детей!

В силу того же закона первых лет забот и страданий, вызываемых живой борьбой первой любви с первыми препятствиями, молодая девушка не поддается никаким ловушкам, а молодой человек обязательно попадается в любую. Жан Вальжан начал против Мариуса глухую войну, которой тот в своей святой простоте страсти и своего возраста не замечал. Жан Вальжан расставлял ему множество ловушек: изменял часы прогулок, переменил скамью, на которую обыкновенно садился с Козеттой, раз забыл свой платок, несколько раз приходил один в Люксембургский сад. Мариус, очертя голову, бросался во все эти капканы, на каждом шагу расставляемые ему Жаном Вальжаном, и на все его вопросительные знаки бесхитростно отвечал: «Да». Между тем Козетта

так тщательно замкнулась в своей кажущейся беззаботности и в своем невозмутимом спокойствии, что Жан Вальжан в конце концов пришел к следующему заключению: «Этот молокосос без памяти влюблен в Козетту, а она даже и не подозревает о его существовании».

Однако, несмотря на это рассуждение, сердце его болезненно трепетало. Час, когда для Козетты настанет пора любви, мог пробить каждую минуту. Не начинается ли все с равнодушия?

Один только раз Козетта сделала одну ошибку, мелкую саму по себе, но страшно взбудоражившую старика. Однажды, когда Жан Вальжан после трехчасового сидения встал наконец со скамьи, Козетта не удержалась от восклицания: «Уже!»

Жан Вальжан и после этого не прекратил прогулок в сад, не желая ничем нарушать обычного порядка, а главное, чтобы не возбудить подозрения Козетты, но в продолжение этих столь сладких для влюбленных часов, в то время когда Козетта посылала улыбки Мариусу, а тот в

своем упоении переставал видеть что-либо, кроме ее лучезарного личика, Жан Вальжан готов был съесть молодого человека своими сверкающими и грозными глазами. Старик, вообразивший, что он уже не способен более на какое бы то ни было дурное чувство, теперь переживал такие минуты, когда казался самому себе свирепым и жестоким, и в присутствии Мариуса чувствовал, как из глубины его души против этого молодого человека поднимается прежняя злоба, которой он в себе не подозревал. Иногда в нем словно открывались даже новые, еще неведомые ему кратеры.

Зачем этот повеса всегда здесь? Что ему тут нужно? Почему он вечно шатается по этому саду, высматривает, выглядывает, прицеливается? На всем его существе так и написано: «Гм! Отчего бы и нет?» Так и вертится вокруг его, Жана Вальжана, счастья, чтобы вдруг похитить его и унести! «Да, — продолжал рассуждать Жан Вальжан, — это, наверное, так! Чего он тут ищет? Очевидно, приключения. Чего он хочет? — любовной интрижки. Ну а я-то что? Что будет со

мною, если бы ему это удалось? Я, бывший сначала самым дурным из людей, стал бы теперь самым несчастным. Про меня можно бы тогда сказать, что я прополз шестьдесят лет на коленях, что я перестрадал все, что только может перестрадать человек, что я состарился, не быв никогда юным, что я прожил жизнь без семейства, без родителей, без друзей, без жены, без детей, что я оставлял капли своей крови на всех камнях, на всех шипах, на всех межевых столбах, вдоль всех стен, что я мог бы быть кротким, хотя ко мне были жестоки, мог бы быть добрым к злым, что я, несмотря ни на что, стал было честным человеком, что я раскаялся во всем, что сделал дурного, и простил то зло, которое было сделано мне, и что в тот момент, когда я почувствовал себя вознагражденным за все, когда все прежнее миновало, когда я достиг цели, когда получил то, чего хотел, когда мне стало хорошо, легко, когда я все искупил, все получил, — все это улетучилось! Лишившись Козетты, я лишусь своей жизни, своей радости, своей души, и все это только потому, что какому-

то длинному дураку вздумалось шляться в то же самое время по Люксембургскому саду!»

Глаза старика загорелись каким-то необыкновенным, зловещим светом. Предаваясь своим размышлениям, он смотрел на Мариуса. Но это был не человек, смотрящий на человека, это был и не враг, глядящий на врага, нет! Это был сторожевой пес, наблюдающий за вором.

Остальное уже известно. Мариус продолжал безумствовать. Как-то раз он проследил Козетту до Западной улицы. На следующий день он уже заговорил там с привратником. Привратник со своей стороны проболтался об этом Жану Вальжану.

— Сударь, — сказал он ему, — про вас расспрашивал один любопытный молодой человек.

На другой день Жан Вальжан бросил Мариусу взгляд, который наконец был замечен юношей. Через неделю Жан Вальжан снова переселился на улицу Плюмэ. Он дал себе слово не показываться больше ни в Люксембургском саду, ни в квартире

на Западной улице. Что же касается Козетты, то она не жаловалась, не говорила ни слова, ни о чем не расспрашивала. Она уже находилась в том возрасте, когда люди боятся, как бы их не разгадали и как бы им не выдать себя. Жан Вальжан, в свою очередь, был совершенно неопытен в этих делах, в которых столько прелести, — он их совершенно не понимал. Поэтому он и не понял, какое важное значение имело молчание Козетты. Он только заметил, что она грустна, и сам стал от этого мрачен. Это была взаимная борьба двух неопытных. Один раз с целью испытать ее он спросил Козетту:

— Хочешь пойти в Люксембургский сад?

Бледное лицо девушки озарилось лучом радости.

— Да, — ответила она.

И они отправились. Прошло три месяца с того дня, как они были там в последний раз. Мариус тоже перестал ходить туда; его не было там и на этот раз.

На другой день Жан Вальжан опять спросил Козетту:

— Хочешь опять в Люксембургский сад?

Она тихо и грустно ответила:

— Нет.

Жан Вальжан почувствовал себя раздраженным этой грустью и тронутым кротостью девушки.

Что происходило в ее уме, оказавшемся таким непроницаемым, несмотря на ее молодость? Что в ней происходило? Что творилось в ее душе? Часто, вместо того чтобы ложиться спать, Жан Вальжан подолгу просиживал возле убогой койки и, подперев голову руками, проводил целые ночи в разрешении мучившего его вопроса: что таится в мыслях Козетты? Он силился представить себе, о чем именно она могла думать. О, какие горестные взгляды бросал он в эти минуты по направлению к монастырю — этой чистой вершине, этой обители ангелов, этому неприступному глетчеру добродетели! С каким

восторгом мысленно созерцал он этот монастырский сад, полный цветов и девственных затворниц, из которого все благоухания и все души поднимаются прямо к небу! Как он боготворил этот рай, навсегда теперь для него закрывшийся, который он так безумно и добровольно покинул! Как он сожалел о своем самопожертвовании, в пылу которого он так глупо ввел Козетту в мир, — он бедный герой своего самопожертвования, сокрушенный своей собственной преданностью! С каким ужасом твердил он про себя: «Что я сделал?!»

Впрочем, все это оставалось скрытым от Козетты. При ней старик не проявлял ни раздражения, ни резкости. Она видела его всегда с одинаково добрым и ясным лицом. Обращение его с нею сделалось даже более нежным и отеческим, чем прежде. Только разве что его возраставшая кротость и могла выдать, что творилось в его сердце.

С своей стороны мучилась и Козетта. Она так же сильно страдала в отсутствие Мариуса, как

наслаждалась в его присутствии, но страдала как-то странно, сама вполне не сознавая этого. Когда Жан Вальжан перестал водить ее в Люксембургский сад, женский инстинкт на дне ее души смутно подсказал ей, что не следует показывать вида, что она дорожит этими прогулками, что если она будет относиться с вида равнодушно к посещению Люксембургского сада, то старик скорее снова поведет ее туда. Но проходили дни, недели, месяцы, Жан Вальжан молчаливо принял молчаливое согласие Козетты. Она стала сожалеть о своем молчании, но теперь было уже поздно заговаривать. В тот день, когда она снова попала в сад, Мариуса там уже не было. Мариус исчез — стало быть, все кончено! Что теперь делать? Увидит ли она его еще когда-нибудь? Сердце ее сжалось от тоски, и эта тоска с каждым днем все возрастала. Она не знала более, что теперь: зима или лето, светит солнце или идет дождь, поют птицы или нет, цветут георгины или маргаритки, где лучше, в Люксембурге или в Тюильри, плохо или хорошо накрахмалено принесенное прачкою белье, плоха

или хороша закупленная Туссен провизия. Она оставалась целыми днями угнетенной, сосредоточенной, поглощенной одной и той же мыслью, с блуждающим пристальным взглядом, каким люди смотрят ночью в пустое мрачное пространство, куда только что скрылось видение. Она ничем не выдавала своего душевного состояния Жану Вальжану, кроме своей бледности, и лицо ее постоянно носило свое обыкновенное кроткое выражение.

Однако и этой бледности было вполне достаточно, чтобы мучить Жана Вальжана.

— Что с тобой? — спрашивал он иногда у девушки.

— Ничего, — обыкновенно отвечала она, но после короткого молчания, как бы угадывая его грусть, она добавляла: — А с тобой что, отец?

— Со мной?.. Тоже совершенно ничего, — говорил он.

Эти два существа, любившие друг друга такой исключительной любовью, теперь вместе

страдали, не высказывая этого, не желая этого и улыбаясь один другому.

Глава 240

Но более несчастным из них двоих был все-таки Жан Вальжан. Юность даже в своих горестях сохраняет в себе достаточно света.

Бывали минуты, когда Жан Вальжан страдал так сильно, что становился прямо ребячески вздорным. Горю свойственно заставлять человека обнаруживать свое ребячество. Старик проникся сознанием, что Козетта ускользает от него. Ему хотелось бороться против этого, удержать ее, заинтересовать чем-нибудь внешним, блестящим. Эти ребяческие, но в то же время и старческие мысли привили ему, однако, самым своим ребяческим оттенком довольно верные понятия о влиянии мишуры на воображение молодых девушек. Раз он увидел на улице едущего верхом генерала в парадной форме. Это был граф Кутар, парижский комендант. Старик позавидовал этому раззолоченному человеку. Он подумал, с каким

бы удовольствием и он облекся в такой же мундир. Как была бы ослеплена блеском этого мундира Козетта, а когда он проходил бы в таком виде под руку с Козеттой мимо решетки Тюильри, то часовые отдавали бы ему честь ружьем, и это, наверное, так удовлетворило бы Козетту, что у нее пропала бы охота засматриваться на молодых людей.

Вдруг к его печальным размышлениям примешалось неожиданное открытие. В уединенной жизни, которую он вел с Козеттой, с тех пор как они поселились на улице Плюмэ, у них стало привычкой доставлять себе иногда удовольствие ходить по утрам любоваться солнечным восходом. Это удовольствие одинаково как для тех, которые только вступают в жизнь, так и для тех, которые готовятся ее покинуть.

Для того, кто любит уединение, утренняя прогулка равнозначна ночной, с той лишь только разницей, что утром природа веселее. Улицы пусты, птички поют. Козетта, сама точно птичка,

охотно вставала рано. Утренние прогулки подготавливались накануне. Жан Вальжан предлагал, Козетта соглашалась. Это выглядело как заговор. Выходили из дома еще до рассвета, и одно уже это доставляло невинную радость Козетте.

Юность любит такие нарушения обычного течения жизни.

Как известно, у Жана Вальжана была склонность к пустынным местам, уединенным закоулкам и малообитаемым улицам. В то время около парижских застав были небольшие поля, почти сливающиеся с городом; на этих полях летом росли тощие колосья, а осенью после жатвы казалось, что они были не сжаты серпом или скошены косою, а точно выдернуты из земли по одному. Жан Вальжан отдавал этим уединенным полям особое предпочтение, не скучала там и Козетта. Старик искал и находил там тишину пустыни, Козетта любила пригородный простор. Очутившись на одном из полей, она превращалась снова в маленькую

девочку, могла бегать и чуть ли не играть. Сняв шляпу и положив ее на колени к Жану Вальжану, она принималась рвать цветы и составлять из них букеты. Она любовалась бабочками, перелетавшими с цветка на цветок, но не трогала их; любовь порождает нежность и сострадание, и молодая девушка, носящая в себе хрупкий воздушный идеал, жалеет крылышки бабочки. Она плела венки из красного мака и надевала их себе на голову; пронизываемые горячим солнцем, алые чашечки цветов казались огненными языками на прелестной головке девушки. Жан Вальжан и Козетта сохранили привычку этих ранних утренних прогулок и после того, когда жизнь их омрачилась.

И вот в одно октябрьское утро, соблазнившись удивительной ясностью осени 1831 года, они вышли из дома и на рассвете очутились близ Мэнской заставы. Рассвета в собственном значении этого слова еще не было, а только-только занималась заря, представлявшая чудный захватывающий вид. Тут и там на бледной, но глубокой небесной лазури виднелось несколько

созвездий, земля была еще окутана черным флером, в высоте все было бело, по траве пробегал предутренний трепет, повсюду царило таинственное затишье полусумрака. Жаворонок, точно затерянный посреди звезд, пел в высоте; казалось, что гимн крохотного создания бесконечности умиротворял необъятность. На востоке резко вырисовывались на прозрачном, со стальным отливом горизонте темные очертания церкви Валь-де-Грас, из-за купола которой поднималась ослепительная Венера, точно светоносный дух, вырывающийся из мрачного здания. Все вокруг дышало миром и тишиною; на шоссе не было ни души, лишь в отдалении мелькали одиночные фигуры рабочих, отправлявшихся на работу.

Жан Вальжан сел около боковой дорожки на бревна, сваленные у ворот лесного склада, устроившись лицом к дороге и спиной к свету. Старик забыл о солнце, которое готовилось взойти над землей. Он впал в то глубокое созерцание, когда мысль бывает сосредоточена в самом себе и когда зрение как бы парализуется и

окружает человека непроницаемою для внешних влияний оградою. Есть размышления, которые можно назвать вертикальными, потому что когда находишься на дне этих размышлений, то нужно известное время для того, чтобы вновь подняться на поверхность земли. Жан Вальжан как раз находился в таком состоянии. Он думал о Козетте, о возможном счастье, если бы ничто не встало между ним и ею, о том свете, которым она наполняла его жизнь и который служил дыханием для его души. Он был почти счастлив в этих мечтах. Козетта, стоя рядом с ним, наблюдала, как алеют облака. Вдруг она воскликнула:

— Смотри-ка, отец, как будто сюда кто-то едет!

Жан Вальжан поднял глаза. Козетта была права. Как известно, шоссе, ведущее к старой Мэнской заставе, составляет продолжение Севрской улицы и пересекается под прямым углом внутренним бульваром. На том месте, где шоссе пересекается с бульваром, со стороны последнего выползало что-то бесформенное, и

несся шум, необычный в эту раннюю утреннюю пору.

Неопределенная темная масса вырастала. Казалось, эта масса, представлявшаяся щетинистой и трепещущей, движется в их сторону. Издали это походило на повозку, но кто сидел в этой повозке, нельзя было различить. Виднелись только лошади и колеса, и доносились крики хлопанье бичей. Мало-помалу очертания определились, хотя еще тонули во мраке. Это действительно была повозка; она повернула с бульвара на шоссе и направлялась к заставе, возле которой сидел Жан Вальжан. За первою повозкою показалась вторая, потом третья, четвертая и так далее. Наконец, оказалось семь повозок совершенно одинакового вида, следовавших одна за другой, так что головы лошадей касались задков идущих перед ними повозок. На повозках шевелились люди. В полутьме сверкали какие-то искорки, точно от обнаженных сабель. Слышался звон, походивший на бряцание цепей. Все это постепенно двигалось вперед, голоса становились явственнее. Это было

нечто такое, что напоминало видения, иногда поднимающиеся со дна воображения во время сна.

По мере приближения все это принимало все более и более определенные формы и вырисовывалось за деревьями бледными красками миража. Из темной масса превращалась в светлую. Разгоравшаяся заря набрасывала прозрачную дымку на эту призрачную, но вместе с тем и живую процессию. То, что перед тем казалось силуэтами, теперь представлялось головами и лицами трупов. В действительности же это было вот что. По шоссе тянулись в ряд, одна за другой, семь повозок. Первые шесть имели странное устройство. Они походили на роспуски бондарей. Это было нечто вроде длинных лестниц, положенных на два колеса и образующих на переднем конце носилки. Каждые роспуски или, вернее, каждая лестница тащились четырьмя лошадьми, запряженными гуськом. На лестницах сидели группами люди; их нельзя было еще различить, но они угадывались. На каждой повозке было двадцать четыре человека,

по двенадцати с каждой стороны, они сидели, прислонившись спинами друг к другу, лица их были обращены к прохожим, а ноги висели в воздухе. За спиной у каждого из них что-то бряцало — то были цепи, а на шее что-то сверкало — то был железный обруч. Цепь для всех была одна, так что если бы все эти двадцать четыре человека сошли с повозки и пошли пешком, то они оказались бы составляющими одно целое и начали бы извиваться по земле в виде исполинской сороконожки, позвоночником которой служила бы цепь. На передках и на задках каждой повозки стояло по два человека с ружьями; каждый имел у себя под ногами конец цепи. Шейные обручи были квадратные. Седьмая повозка, представлявшая громадный фургон с решеткой, но без навеса, имела четыре колеса, и в нее было впряжено шесть лошадей. Она была нагружена грудой звенящих чугунных котлов, жаровен и цепей; посреди всего этого лежало врастяжку несколько связанных людей, очевидно, больных. Весь этот сквозной фургон был утыкан

растрепанными розгами, вероятно, служившими для наказаний по старинному образцу.

Повозки держались как раз середины шоссе. По обеим их сторонам в два ряда шли конвойные в обвислых треугольных шляпах, какие носили солдаты Директории, в мундирах инвалидов, с красными погонами, в рваных серых с синим панталонах, как у факельщиков, в желтых перевязях, с ружьями и палками в руках. Испачканные, рваные, жалкие, эти солдаты имели очень непрезентабельный вид, соединяя в себе убожество нищих с важностью палачей. Тот, который казался их начальником, держал в руках бич, какие бывают у кучеров. Все эти подробности, обыкновенно стушевывавшиеся в сумерках, теперь, по мере того как рассветало, вырисовывались с каждой секундой все яснее и яснее. Впереди и позади обоза ехали с обнаженными саблями важные и угрюмые жандармы. Караван был такой длинный, что, когда первая повозка достигла заставы, последняя еще только сворачивала с бульвара на шоссе.

Вдруг, бог весть откуда, собралась большая толпа, как это часто бывает в Париже, и стала тесниться по обеим сторонам шоссе. Из соседних переулков неслись крики людей, звавших друг друга полюбоваться даровым зрелищем, и слышался топот деревянных башмаков огородников, тоже сбегавшихся взглянуть на это интересное зрелище.

Скученные на повозках люди молча тряслись на неровной дороге. Лица у них посинели от утренней прохлады. Все они были в холстинных панталонах и в деревянных башмаках на босу ногу. Остальная часть одежды была составлена по прихоти нищеты и отличалась полнейшей разнохарактерностью, производившей гнетущее впечатление. Ничто не может быть противнее арлекина в лохмотьях. Измятые до невозможности фетровые шляпы, фуражки из просмоленной парусины, отвратительные шерстяные колпаки, рядом с рваной курткой — черный сюртук с продранными локтями. У одних на головах красовались женские шляпки, у других — какие-то плетушки. Виднелись почти

открытые волосатые груди, на которых сквозь лохмотья можно было различить татуировки в виде храмов любви, пылающих сердец, купидонов и т. п. На некоторых можно было рассмотреть лишаи и красные припухлости кожи. Двое или трое сквозь бока повозки продели соломенные жгуты, которыми и пользовались как стременами, чтобы не держать ноги на весу. Один держал в руке что-то вроде черного камня, от которого время от времени откусывал, — это был черный хлеб. Глаза у этих людей были или сухие, потухшие или горели зловещим огнем. Конвойные ругались, узники молчали. Нередко слышался глухой удар палкою по плечу или по голове кого-либо из скованных. Одни из них тихо стонали, другие громко зевали. Лохмотья были ужасны, ноги свешивались, беспомощно болтаясь в воздухе, плечи колыхались, головы сталкивались, цепи звенели, глаза свирепо вращались и сверкали, кулаки грозно сжимались или неподвижно висели вдоль тела, как у мертвых. Позади обоза несся визгливый хохот ребятишек.

Этот обоз производил удручающее впечатление. Глядя на него, каждый невольно должен был подумать, что если его на дороге застигнет сильный дождь, все эти жалкие лохмотья промокнут насквозь, что, раз промокнув, эти несчастные люди уже больше не высохнут и, продрогнув от холода, больше не согреются, что мокрые холщовые панталоны прилипнут у них к костям; что вода зальет их деревянные башмаки, что удары бичей не заглушат стука их челюстей, что цепь не перестанет тянуть их за шею, что их ноги по-прежнему будут болтаться в воздухе, что их ожидает только худшее. Нельзя было не содрогаться при виде этих людей, нанизанных на цепь, страдавших под осенним холодом, отданных на произвол дождям, стуже, всем невзгодам под открытым небом, подобно деревьям и камням.

Палочные удары не щадили даже больных. Эти несчастные, связанные веревками, неподвижно лежали в седьмой повозке, очевидно

брошенные туда так же, как бросают мешки с мусором.

Вдруг появилось солнце, с востока брызнул громадный сноп ослепительных лучей и точно зажег все эти дикие лица. Языки развязались, разразились потоки злых насмешек, сквернословия и песен. Широкая горизонтальная полоса света разрезала пополам весь обоз, осветив головы и лица и оставив в темноте ноги и колеса. На лицах проступили мысли. Это была ужасная минута: демоны предстали без масок, свирепые души обнажились. Залитая ярким светом, вся эта ватага тем не менее оставалась сумрачной. Но и среди нее нашлись весельчаки, придумавшие забаву, они выдували в толпу какую-то гадость из трубочек гусиных перьев, стараясь по возможности попасть в женщин. Образуя черные тени, свет еще резче обрисовывал жалкие профили этих людей. Не было ни одного человека, который не был бы обезображен нищетой. Зрелище это было так чудовищно, точно солнечный свет был молнией, внезапно прорезавшей густой мрак и озарившей

невидимые до того страшные призраки. Передняя повозка была всех шумнее, сидящие в ней вдруг с чисто каторжным удальством загорланили знаменитое попурри Дезожье из «Весталки». Окружающие деревья как-то зловеще шелестели своими листьями, глазевшая толпа с бессмысленным наслаждением слушала веселые куплеты, распеваемые призраками.

В этом обозе, как в хаосе, соединились все ужасы человечества. Здесь вы могли видеть профили всех животных, здесь были старики, юноши, обнаженные черепа, седые бороды, чудовищная циничность, мрачная покорность, дикие усмешки, позы, каких нигде больше не увидите, свиные рыла в фуражках, что-то вроде девичьих лиц с локонами в виде спиралей на висках, детские лица, поэтому еще более ужасные, тощие облики скелетов, которым недоставало только смерти. На первой повозке находился негр, который, наверное, был невольником и теперь мог сравнить свои нынешние цепи с теми, которые носил раньше. Страшный уравнитель общественных низов —

позор — наложил свое клеймо на все эти лица; было видно, что все они прошли последние степени унижения и более уже не могли понизиться ни в каком отношении. Невежество одних, перешедшее в отупение, равнялось уму других, превратившемуся в отчаяние. Между этими людьми, представлявшими собой, так сказать, сливки грязи, невозможен был никакой выбор. Очевидно, неизвестные устроители этой ужасной процессии не пытались и классифицировать эти несчастные существа. Все они были связаны между собою, соединены друг с другом как попало, быть может по алфавиту, и посажены на повозки без всякого другого порядка. Однако в соединенных вместе ужасах всегда найдется что-нибудь общее. Сложите все несчастья, и вы получите общий итог. Так и здесь. Из каждой цепи исходила общая душа, каждая повозка имела свою особенную физиономию. Рядом с той, на которой пели, следовала другая, на которой выли, пассажиры третьей повозки клянчили у зрителей подачку, на четвертой скрежетали зубами, на пятой

разражались угрозами в отношении зевак, на шестой изощрялись в ругательствах, только на седьмой царило безмолвие могилы. Данте увидел бы в этом обозе все семь кругов ада в жизни.

Это было шествие осужденных на казнь — шествие мрачное, совершавшееся не на огненных колесницах Апокалипсиса, но что было еще ужаснее — на тюремных повозках.

Какая-то старуха из толпы показывала на них пальцем пятилетнему мальчугану и говорила:

— Смотри, негодный мальчишка, вот тебе урок!

— Отец, кто эти люди? — проговорила Козетта в ужасе и недоумении.

— Каторжники, — отвечал несчастный старик.

Это действительно шел арестантский обоз, который, выступив еще до рассвета из Бисетра, направился по дороге в Мэн.

Жан Вальжан вернулся домой, страшно удрученный подобной встречей. Возвращаясь с

Козеттой на Вавилонскую улицу, старик не слышал ее расспросов по поводу виденного ими у заставы; он был слишком погружен в свои горестные размышления, чтобы воспринимать ее слова и отвечать на них. Только вечером, когда Козетта уходила спать, он услышал, как она, вероятно бессознательно, проговорила про себя вполголоса:

— О господи, можно умереть только от того, что окажешься рядом с таким человеком!

К счастью, на следующий день после этой жуткой встречи по всему Парижу происходили различные празднества в честь какого-то официального события: смотр на Марсовом поле, гонки на Сене, представления на Елисейских полях и повсеместные иллюминации. Отбросив свои привычки, Жан Вальжан повел Козетту на эти увеселения, чтобы отогнать от нее воспоминания вчерашнего дня, изгладить веселой суетой Парижа впечатление того ужасного зрелища, свидетельницей которого она так неожиданно стала. Смотр, с которого начиналось

празднество, сделал вполне естественным появление большого числа людей в мундирах по всему городу. Жан Вальжан тоже нарядился в свой мундир национальной гвардии с чувством человека, надевающего на себя маску. Но как бы там ни было, цель прогулки казалась достигнутой. Козетта, которая поставила себе за правило угождать отцу и для которой к тому же такое зрелище было совершенно ново, приняла это развлечение с податливостью юности и не выказывала пренебрежения к веселью толпы, вызываемому народным празднеством. Жан Вальжан имел полное основание поверить, что ему удалось его намерение — изгнать из памяти девушки следы страшного видения.

Несколько дней спустя в одно прекрасное солнечное утро они оба сидели на крыльце дома, что было новым нарушением правил Жана Вальжана и усвоенной за последнее время Козеттой привычки предаваться грусти наедине в своей комнате. Козетта была в утреннем платье, которое так красиво окутывает молодую девушку, напоминая звезду в облаке. С залитою светом

головою, вся розовая от недавнего сна, под лаской умиленного взора доброго старика, она ощипывала лепестки маргаритки.

Козетта не знала прелестной легенды о том, как девушка, обрывающая эти лепестки, говорит: «Люблю тебя немножко, страстно» и т. д. Она совершенно инстинктивно, без всякой задней мысли, играла цветком, не зная, что обрывать лепестки маргаритки значит расщипывать сердце. Если бы существовала четвертая грация и называлась бы меланхолией, но с улыбающимся лицом, то она, наверное, походила бы на Козетту. Очарованный видом нежных пальчиков с цветком, Жан Вальжан забыл весь мир, отдаваясь во власть лучезарной прелести этой девушки. Рядом в кустах щебетала красношейка. По небу неслись белые облачка с таким радостным видом, словно они только что были выпущены из неволи на свободу. Козетта продолжала внимательно ощипывать цветок. Она, казалось, о чем-то размышляла и, вероятно, о чем-нибудь прекрасном. Вдруг девушка с нежной

плавностью лебедя повернула голову в сторону старика и спросила:

— Отец, а что такое каторга?

Глава 241

Таким образом, жизнь их постепенно омрачалась. У них теперь оставалось только одно развлечение, которое прежде было счастьем: носить хлеб голодным и одежду дрожавшим от холода. В этих посещениях бедняков, совершаемых Жаном Вальжаном иногда вдвоем с Козеттой, они находили следы своих прежних радостей. Если случалось, что день был особенно удачный, то есть когда они успели облегчить многие нужды, согреть и оживить много бедных детей, то вечером Козетта бывала веселее обыкновенного. В это-то именно время они посетили трущобу Жондретта.

На другой день после этого посещения Жан Вальжан пришел утром в павильон спокойный, как всегда, но с широкой раной на левой руке;

рана была сильно воспалена, злокачественна и походила на ожог; происхождение ее он объяснил какой-то пустячной случайностью. Рана эта вызвала у него лихорадку, из-за которой он вынужден был проболеть целый месяц, не имея возможности выходить из дома. К врачу он ни за что не хотел обращаться. Когда Козетта настаивала на этом, он сказал ей:

— Ну, если ты непременно хочешь, то позови ветеринара.

Молодая девушка каждое утро и каждый вечер сама перевязывала ему рану. Она делала это с такой небесной нежностью и с видом такого счастья, испытываемого ею при возможности быть ему хоть чем-нибудь полезною, что Жан Вальжан блаженствовал по-прежнему. Все его страхи и тревоги начали рассеиваться. Любуясь Козеттой, он думал про себя: «О благодатная рана! О милая болезнь!»

Во время болезни отца Козетта покинула павильон и снова пристрастилась к маленькому домику на заднем дворе. Она проводила почти

целые дни возле Жана Вальжана и читала ему те книги, которые он находил по своему вкусу. Это были преимущественно описания путешествий. Жан Вальжан стал поправляться. Счастье вернулось к нему с новой лучезарностью. Люксембургский сад, незнакомый молодой повеса, охлаждение Козетты, — все эти тучи, омрачавшие в последнее время его душу, исчезли. И он говорил себе: «Все это я сам для себя выдумал. Я — старый глупец!»

Счастье его было так велико, что страшная встреча с Тенардье в трущобе Жондретта, которой он никак не мог ожидать, почти не подействовала на него. Ему самому удалось скрыться, и след его был потерян для других, какое же было ему дело до всего остального! Если он и вспоминал об этом, то только с чувством сожаления о тех несчастных людях. «Теперь они в тюрьме, — думал он, — и уже более не в состоянии вредить мне. Но что это за злополучная, страдающая семья!» Что же касается страшного видения у Мэнской заставы, то Козетта более не заговаривала об этом.

Когда Козетта была в монастыре, ее учили музыке. Девушка имела голос малиновки, одаренной душою. И вот теперь молодая девушка по вечерам в убогом жилище больного старика часто пела грустные песни, доставлявшие огромное наслаждение Жану Вальжану.

Наступила весна. Сад был так хорош в эту пору года, что Жан Вальжан как-то сказал Козетте:

— Ты никуда не ходишь, погуляла хотя бы в саду.

— Хорошо, отец, — отвечала девушка.

И, чтобы угодить ему, она снова начала свои прогулки по саду, большей частью одна, как мы уже говорили. Жан Вальжан, вероятно боявшийся, что его могут увидеть с улицы сквозь решетку, почти никогда в саду не показывался.

Рана старика была настоящим развлечением. Когда Козетта заметила, что отец уже меньше страдает, начинает выздоравливать и кажется довольным, она очень обрадовалась. Радость ее

была так сильна, что не допускала в ней никаких других ощущений, на которых ей пришлось бы останавливаться. Кроме того, на дворе был уже март, дни удлинялись, зима, всегда уносящая с собою часть наших горестей, удалялась, потом наступил апрель, этот предвестник лета, свежий, как каждый рассвет, веселый, как юность, хотя немного и плаксивый, как бывают все новорожденные. В этом месяце природа дарит нас чудесными лучами, которые с неба, с облаков, с деревьев, с лугов, с цветов проникают прямо в душу человека.

Козетта была еще слишком молода, чтобы не проникнуться ликованием апреля, так походившего на нее саму. Незаметно, понемногу из ее сердца уходила мрачная грусть. Весной омраченные души озаряются светом так же, как в яркий полдень светлеет в темных подвалах. Козетта переставала грустить. Это было несомненно, хотя она сама и не замечала этого. Утром, часов около десяти, после завтрака, когда ей удавалось уговорить отца выйти на четверть часа в сад, она, водя его по солнцу перед

крыльцом и заботливо поддерживая его больную руку, все время бессознательно смеялась и была счастлива.

Жан Вальжан с упоением замечал, что она снова становилась свежей и розовой. «О милая рана!» — потихоньку про себя не переставал твердить он.

Как только рана старика зажила, он возобновил свои одинокие вечерние прогулки. Было бы ошибочно думать, что можно прогуливаться по безлюдным местностям Парижа, ни разу не натолкнувшись на какое-нибудь приключение.

Глава 242

Раз вечером маленький Гаврош мучился от голода: он ничего не ел целый день. Он вспомнил, что не ел и накануне. Это становилось наконец скучным, и он решил попытаться достать себе чего-нибудь на ужин. С этой целью он отправился побродить по пустынным

окрестностям Сальпетриер, где иногда можно было получить подачку; там, где редко кто бывает, скорее можно надеяться найти что-нибудь. Незаметно он дошел до поселка, который показался ему деревней Аустерлицем.

Во время одной из своих прежних экскурсий в эту местность он заметил там старый запущенный сад, в котором росла очень недурная яблоня и по которому иногда бродили какие-то старички — мужчина и женщина. Возле яблони он также заметил нечто вроде маленькой кладовой для плодов, очевидно, не запиравшейся, так что в ней, наверное, можно было поживиться яблочком. Яблоко — это ужин, а ужин — жизнь. То, что погубило Адама, могло спасти Гавроша.

Сад тянулся вдоль немощеного пустынного переулка, окаймленного кустарником в тех местах, где не было никаких строений. От переулка сад отделялся изгородью.

Гаврош подошел к этому саду, почти сразу найдя его местоположение. Он узнал яблоню и маленькую кладовую и внимательно осмотрел

изгородь, через которую ему ничего не стоило перебраться. День померк. В переулке не было видно даже кошки. Время было вполне подходящее. Гаврош начал было уже перелезать в сад, как вдруг остановился, услыхав, что там разговаривают. Он снова слез и заглянул сквозь щели изгороди.

В двух шагах от него по ту сторону забора лежал опрокинутый камень, очевидно служивший скамейкой, на камне сидел старик, которого Гаврош видел раньше в этом саду, перед стариком стояла старуха и о чем-то ворчала.

Не отличаясь скромностью, Гаврош стал подслушивать.

— Господин Мабеф! — говорила старуха.

«Мабеф?.. Какое чудное имя!» — подумал Гаврош.

Старик не шевелился. Старушка продолжала:

— Господин Мабеф!

Не поднимая от земли глаз, старик наконец откликнулся:

— Что вам, тетушка Плутарх?

«Тетушка Плутарх? Тоже преуморительное прозвище!» — думал Гаврош.

Поощренная откликом старика, старушка уже смелее продолжала, вовлекая его в беседу:

— Ведь хозяин-то наш недоволен.

— Чем это?

— А тем, что мы задолжали ему за три срока.

— А еще через три месяца мы будем должны за четыре срока.

— Он говорит, что заставит вас ночевать на улице.

— Ну что ж, я и пойду.

— Зеленщица тоже требует по счету. Больше ничего не хочет отпускать. Потом, чем же мы будем топить эту зиму? Ведь у нас нет дров.

— Зато есть солнце.

— И мясник отказывается давать в долг. Ни одного кусочка мяса больше у него не

выпросишь.

— И прекрасно: я плохо перевариваю мясо. Это слишком тяжело для моего желудка.

— Что же мы будем есть?

— Хлеб.

— Пекарь тоже требует деньги по счету. «Если, — говорит, — у вас нет денег, то у меня нет для вас хлеба».

— Ну и отлично.

— Что же вы будете есть?

— А яблоки-то наши.

— Но, сударь, нельзя же так жить без денег!

— Откуда я их возьму?

Старуха ушла, старик остался один. Он задумался. Гаврош, со своей стороны, тоже размышлял. Между тем почти совсем стемнело.

Первым результатом размышлений Гавроша было то, что он, вместо того чтобы перебраться

через изгородь, прикорнул под ней в том месте, где расходились ветви кустарника.

«Ишь ведь какая славная постель!» — мысленно говорил он себе, свертываясь в комочек. Почти прислонившись спиной к камню, на котором сидел Мабеф, он ясно слышал дыхание этого восьмидесятилетнего старика.

Гаврош старался заменить еду сном. Кошки спят только одним глазом, так спал и Гаврош. Сквозь дремоту он следил за всем, что происходило вокруг. На землю легло отражение белесоватого сумеречного неба, и переулок обозначился бледной чертой между двумя рядами темных кустов. Вдруг в этой белесоватой полосе появились два силуэта.

Один из этих силуэтов шел впереди, другой следовал за ним на некотором расстоянии.

— Вон несет каких-то двоих! — прошептал себе под нос Гаврош.

Первый силуэт походил на старого, сгорбленного, задумчивого буржуа, одетого более

чем просто и тихо передвигавшего разбитые годами ноги. Очевидно, он вышел из дома только затем, чтобы немного побродить при сиянии звезд. Второй силуэт отличался тонкостью, стройностью и живостью. Хотя эта фигура и соразмеряла свои шаги с шагами первой, тем не менее в ее вынужденно медленной походке чувствовались гибкость и проворство. Несмотря на элегантную внешность второй фигуры, от нее веяло чем-то неприятным и подозрительным. Фигура эта, также мужская, была в шляпе красивой формы, в черном, прекрасно сшитом сюртуке, вероятно, из дорогого сукна, сидевшем как нельзя лучше. Голову незнакомец держал прямо, со своеобразной грацией и силой. Из-под шляпы в сумерках виднелся молодой профиль. В этом незнакомце Гаврош сразу узнал хорошо знакомого ему Монпарнаса. Что же касается того, который шел впереди, то о нем Гаврош мог сказать разве только то, что это какой-нибудь старый простачок.

Гаврош принялся зорко наблюдать. Очевидно, один из этих прохожих что-то замыслил насчет

другого. Гаврош находился в положении как нельзя более удобном для наблюдения над другими, между тем как сам не мог быть никем замеченным.

Появление Монпарнаса в этом месте, в эту пору, кравшегося по следам другого, не предвещало ничего хорошего. Мальчику страшно стало жаль незнакомого старичка, которого, очевидно, преследовал Монпарнас.

Что было делать Гаврошу? Вмешаться в то, что он предвидел? Но разве один слабосильный может помочь другому? Такая попытка только бы рассмешила Монпарнаса. Гаврош отлично понимал, что для этого восемнадцатилетнего отъявленного разбойника ничего не стоило одним ударом прикончить старика и ребенка.

Пока Гаврош размышлял таким образом, ожидаемое им нападение совершилось с поразительной быстротой. Это было нападение тигра на онагра, паука на муху. Монпарнас вдруг бросил розу, которую до того времени держал в губах, кинулся на старика, схватил его за ворот и

вцепился в него, как дикая кошка. Глядя на это, Гаврош едва мог удержаться от крика ужаса. Спустя минуту один из прохожих с хрипом бился на земле, придавленный сильным, точно мраморным, коленом другого, упершимся ему в грудь. Но вышло совсем не так, как ожидал Гаврош: лежавший на земле был Монпарнас, а победителем оказался старик.

Все это произошло в нескольких шагах от Гавроша.

Старик выдержал внезапный удар молодого и вернул его, но с такой силой, что нападавший и подвергшийся нападению в один миг поменялись ролями.

«Вот так старик!» — подумал Гаврош.

И он невольно захлопал в ладоши, но его рукоплескание не донеслось до слуха противников, оглушенных друг другом и все еще продолжавших возиться, тяжело дыша один другому в лицо и напрягая все силы в борьбе.

Наступила тишина. Монпарнас вдруг перестал биться. Гаврош спрашивал себя: «Уж не убит ли этот разбойник?»

Старик во все время не издал ни крика, ни звука. Только когда Монпарнас приподнялся из своего согнутого положения, Гаврош услышал, как старик сказал:

— Вставай!

Монпарнас встал, но старик не выпускал его из рук — Монпарнас имел приниженный и разъяренный вид волка, которого одолела овца.

Гаврош слушал и смотрел вовсю, стараясь удвоить зрение слухом. Мальчик забавлялся от всей души. Он был вполне вознагражден за свое добросовестное внимание в качестве зрителя всего происходившего. Он отлично мог расслышать следующий разговор, которому ночной мрак придавал нечто трагическое. Старик спрашивал, Монпарнас отвечал:

— Сколько тебе лет?

— Девятнадцать.

— Ты парень здоровый и сильный, почему ты не работаешь?

— Потому что мне это не нравится.

— А кто ты такой?

— Бездельник.

— Отвечай серьезно. Могу я сделать что-нибудь для тебя? Кем бы ты хотел быть?

— Вором.

Наступило молчание. Старик, по-видимому, глубоко задумался. Он стоял неподвижно, не выпуская, однако, Монпарнаса. Изредка молодой, сильный и ловкий разбойник вздрагивал, как пойманный в капкан зверь. Он вырывался, пробовал ударить своего противника ногами, отчаянно выгибался всем туловищем, стараясь как-нибудь освободиться. Но старик точно не замечал ничего этого, с уверенностью геркулесовской силы сжимая одною рукою обе руки молодца, как в железных тисках, из которых не было никакой возможности вырваться.

Подумав некоторое время, старик устремил пристальный взгляд на своего противника и мягким голосом, торжественно зазвучавшим в ночной тишине, обратился к нему со следующей речью, из которой Гаврош не пропустил мимо ушей ни одного слова:

— Дитя мое, лень твоя толкает тебя в самую беспокойную жизнь. Ты называешь себя бездельником? Приготовься же работать! Видал ты страшную машину, которая называется прокатным станом? Ее следует остерегаться: это вещь предательская и злобная. Если она даже хоть чуть-чуть зацепит тебя за край одежды, то втянет тебя целиком в свои колеса. Такая же машина и праздность. Остановись, пока еще есть время, и опасайся! Иначе ты погибнешь. Не успеешь и опомниться, как будешь в зубьях колес. А раз попался в них — уже не жди спасения. Она заставит тебя работать без отдыха. Рука беспощадного труда схватила тебя и уже больше не выпустит. Ты не хочешь зарабатывать себе на хлеб, не хочешь дела, не хочешь иметь никаких обязанностей, не хочешь быть, как

другие, потому что тебе не нравится трудовая жизнь? Ну, и не будешь, как другие. Труд — это закон. Кто не хочет подчиниться ему по лени, тот должен будет подчиниться ему как тяжелому наказанию. Ты не хочешь быть рабочим, так будешь рабом. Труд если и выпустит тебя с одной стороны, то только для того, чтобы помочь захватить с другой. Если ты отказываешься быть другом труда, то будешь его негром. Ты избегаешь усталости честного человека? Так обливайся же потом осужденных на муки! Там, где другие поют, ты будешь стонать. Издали, снизу, ты будешь видеть, как другие работают, и тебе будет казаться, что они отдыхают. Пахарь, жнец, матрос, кузнец явятся тебе в таком же сиянии, каким окружены праведники в раю. Какой яркий свет испускает наковальня! Какое наслаждение вести плуг, связывать снопы! Барка, свободно плывущая по ветру, — какой праздник! Ты же, ленивец, копай, таскай, вытягивай из себя жилы, выбивайся из сил! Волоки свое ярмо, ты станешь вьючным животным в аду!.. Ты поставил себе целью праздность? Так знай же, что ты не

будешь иметь ни одной недели, ни одного дня, ни одной минуты без страшного напряжения всех своих сил. Ты ничего не будешь в состоянии поднять без усиленного труда. Каждую минуту все твои мускулы будут надрываться от непомерного усилия. То, что для других будет иметь вес пера, для тебя превратится в тяжелую каменную глыбу. Самые простые вещи будут для тебя крутыми утесами. Вся жизнь вокруг тебя сделается адски чудовищной. Ходить, двигаться, дышать — все это будет для тебя страшным трудом. Твои легкие покажутся тебе страшной тяжестью. Пройти здесь, а не там будет для тебя самой трудной задачей. Каждому, желающему выйти из дома, стоит только толкнуть дверь — и дело сделано, а тебе в этом случае придется пробивать стену. Что делают люди, чтобы выбраться из дома на улицу? Спускаются с лестницы. А тебе для этого придется рвать простыни, вить из них веревку, связывать между собою куски, привязывать ее к окну и висеть на этой нитке над пропастью в темную ночь среди дождя, бури, грозы, и если веревка окажется

слишком короткой, то тебе останется только одно: выпустить ее и упасть. Упасть наудачу, бог весть с какой высоты, бог весть в какую бездну, в которой бог весть что находится. А возможно, тебе придется выбираться через печную трубу, рискуя там сгореть, или ползти по стокам отхожих мест, рискуя там захлебнуться. Я уж не говорю о пробоинах, которые нужно делать стенах и которые нужно уметь прикрывать, чтобы их не заметили, не говорю о вынутых из этих пробоин камнях, которые десятки раз приходится то вынимать, то вставлять обратно, или о штукатурке с них, которую нужно прятать под тюфяком постели. Представь себе, что тебе нужно отпереть замок. Каждый честный гражданин имеет для этого ключ. У тебя нет ключа, поэтому ты должен будешь понести страшный труд, чтобы обойтись без ключа. Ты возьмешь маленькую монету и перепилишь ее пополам орудием, которое сам же изобретешь и сделаешь. Как ты все это сделаешь — твоя забота. Потом ты как можно осторожнее, чтобы не испортить материала, выдолбишь обе

половинки монеты и сделаешь по краям нарезки, чтобы можно было плотно ввернуть одну в другую и чтобы посторонний не мог заметить, что эта монета превратилась в такую штуку, в которую можно будет спрятать один предмет. А какой именно предмет? Небольшой кусок стали, например, кусок часовой пружины, на которой ты сделал зазубрины и таким образом превратил ее в пилу. С этой пилой, длиной в булавку и укладывающейся в маленькую монету, ты должен перепилить ушко замка, стержень задвижки, решетку на окне и оковы на ноге. Предположим, все это ты выполнил, потратил страшно много труда, изобретательности, терпения и ловкости, — и вдруг все это откроется! Какая же тебе будет за это награда, как ты думаешь? А вот какая: тебя запрут в одиночную камеру. Вот каково твое будущее. Праздность, страсть к удовольствиям — бездонная пропасть. Понимаешь ли ты, какое ужасное решение — желать ничего не делать, тунеядствовать за счет общества, быть бесполезным, то есть вредным, — сознаешь ли ты, что все это ведет по

прямому пути в бездну погибели? Горе тому, кто хочет быть паразитом! Он будет ядовитой тлей, которую все будут стараться уничтожить!.. Тебе не нравится работать? У тебя только одна забота: как бы получше поесть, попить и поспать. Но ты будешь есть черствый черный хлеб, пить вонючую воду и спать на голых досках с цепью на руках и ногах. Холод этой цепи ты всю ночь будешь чувствовать на своем теле. Положим, ты разорвешь эту цепь и убежишь. Хорошо, что же дальше? Тебе придется ползти на животе по кустам и питаться травой, как лесные звери. Вскоре тебя опять схватят. Тогда ты проведешь целые годы в низком подземелье, прикованный к стене, ощупью будешь отыскивать кружку с водой, грызть в потемках отвратительный хлеб, который не станут есть даже голодные собаки, глотать бобы, которыми раньше тебя уже питались черви. Превратишься в погребную мокрицу. О, пожалей самого себя, несчастный ребенок, не более двадцати лет тому назад еще сосавший грудь своей кормилицы! Наверное, у тебя жива еще мать, пожалей хоть ее! Умоляю

тебя: послушайся меня! Ты хочешь тонкого сукна, лакированных ботинок, хочешь завиваться, душить свои кудри приятно пахнущим маслом, хочешь нравиться женщинам, быть красивым. Вмест всего этого ты достигнешь только того, что тебя остригут наголо, нарядят в красную куртку и наденут на ноги деревянные башмаки. Тебе хочется щеголять в перстнях — тебе наденут железный обруч на шею. За каждый взгляд на женщину ты получишь удар палкой. Войдешь в тюрьму двадцатилетним юношей, а выйдешь оттуда пятидесятилетним стариком. Войдешь молодым, свежим, цветущим, с блестящими глазами, с густыми юношескими волосами и с крепкими белыми зубами, а выйдешь согбенным, разбитым, сморщенным, беззубым, страшным, седым!.. О мой бедный мальчик, ты вступил на ложный путь: лень твоя ведет тебя к погибели. Самый тяжелый труд — воровство. Послушайся меня: оставь этот чересчур тяжелый путь празднолюбцев! Поверь мне: негодяю живется очень трудно, гораздо легче быть честным человеком… Ступай теперь и помни, что я

говорил тебе… Кстати, чего ты хотел от меня? Моего кошелька? Вот он.

И старик, выпустив руки Монпарнаса, сунул ему свой кошелек. Молодой негодяй взвесил кошелек на руке; потом, с привычной осторожностью вора, положил его себе в один из задних карманов сюртука. Между тем старик спокойно повернулся и продолжал свою прогулку.

— Дурак! — пробормотал ему вслед Монпарнас.

Кто был этот старик, — читатель, вероятно, уже угадал.

Изумленный Монпарнас стоял на месте, глядя, как фигура старика теряется в темноте. Это созерцание сделалось для него роковым.

Когда старик стал удаляться, Гаврош начал приближаться. Убедившись сначала одним быстрым взглядом, что Мабеф, вероятно, задремав, все еще сидит на своей скамейке, мальчик потихоньку выполз из кустарника и

ползком направился к Монпарнасу, неподвижно стоявшему к нему спиной. Незаметно добравшись до разбойника, Гаврош осторожно засунул руку в карман его тонкого сюртука, ощупал там кошелек, быстро выхватил его и, зажав в руке, с ловкостью ящерицы мгновенно проскользнул назад в кусты. Монпарнас, не имевший никакой причины быть настороже и в первый раз в жизни задумавшийся, ничего не заметил. Гаврош же, вернувшись на прежнее место около скамейки Мабефа, перебросил кошелек через изгородь и поспешил скрыться бегством.

Кошелек упал прямо к ногам Мабефа. Стук его о землю вывел старика из дремотного состояния. Он нагнулся и поднял кошелек. Ничего не понимая, он машинально раскрыл кошелек и увидел, что он с двумя отделениями: в одном отделении было немного мелочи, а в другом — шесть золотых монет.

Испуганный старик поспешил показать кошелек своей домоправительнице.

— Это нам с неба свалилось, — просто сказала тетушка Плутарх.

Глава 243

Грусть, так сильно мучившая Козетту четыре или пять месяцев тому назад, понемногу незаметно для молодой девушки стала проходить. Природа, весна, молодость, любовь к отцу, веселье птичек, красота цветов постепенно, изо дня в день, капля по капле, вливали в эту юную девственную душу нечто похожее на забвение. Потух ли пожар окончательно или огонь только покрылся слоем золы? Как бы то ни было, но молодая девушка уже почти вовсе не чувствовала прежнего жгучего горя. Один раз она вдруг почему-то вспомнила о Мариусе, но тотчас же сказала себе: «Э, да я, кажется, перестала о нем думать!»

На этой же неделе, проходя по своему саду мимо решетки, она заметила очень красивого уланского офицера в очаровательном мундире, с осиной талией, с девичьими щеками, с саблей

под мышкой, с закрученными усиками и в блестящем кивере. В общем, этот офицер с его белокурыми волосами, голубыми навыкате глазами и с круглым, нахальным, глупым, хотя и красивым лицом составлял полную противоположность Мариусу. В зубах у него торчала сигара. Козетта сообразила, что этот красавчик должен принадлежать к полку, казармы которого находились на Вавилонской улице. На другой день Козетта опять увидела офицера проходящим мимо сада и заметила час, в который он проходит.

Начиная с этого времени, он стал проходить почти каждый день. Было ли это простой случайностью?

Товарищи офицера заметили, что в этом запущенном саду, за старой решеткой в стиле рококо, почти всегда прогуливается какая-то довольно хорошенькая девушка как раз в то время, когда проходил мимо красивый поручик, который уже немного известен читателю и которого звали Теодюлем Жильнорманом.

— Смотри-ка! — говорили ему товарищи. — Ведь тут есть девочка, которая заглядывается на тебя.

— Есть мне время смотреть на всех девиц, которые заглядываются на меня! — отвечал поручик.

Именно в эти дни Мариус впадал в агонию отчаяния и говорил себе: «Только бы мне увидать ее хоть один раз, прежде чем умереть!» Если бы исполнилось его желание и он увидел бы ее, но увидел бы заглядывающейся на улана, он в ту же минуту умер бы от горя, не произнеся ни одного слова.

Чья была бы это вина? Ничья. Мариус принадлежал к тем натурам, которые всецело погружаются в тоску и не могут более вынырнуть из нее. Козетта же, наоборот, была из тех, которые хотя тоже опускаются на дно горя, но потом снова поднимаются на поверхность.

Козетта, впрочем, переживала то опасное время, то роковое состояние мечтательности женской души, предоставленной самой себе,

когда сердце молодой одинокой девушки походит на завитки виноградной лозы, которые, смотря по случаю, могут прицепиться и к мраморной колонне, и к кабацкому столбу. Это момент мимолетный, решительный и критический для всякой сироты, будь она бедная или богатая; богатство не защитит ее от дурного выбора. Бывают неравные браки и в высших слоях общества. Настоящий неравный брак обусловливается неравенством душ. Юноша безвестный, без имени, без рода, без состояния часто оказывается мраморною колонною, поддерживающею храм возвышенных чувств и великих мыслей, а светский человек, богатый и самодовольный, щеголяющий лаковыми сапогами и блестящими речами, если рассматривать его не с внешней стороны, а с внутренней, — что обыкновенно достается на долю только его жене, — так же часто изображает собой простой неотесанный столб, поддерживающий логовище всевозможных грубых, гнусных, неистовых страстей, то есть кабак.

Что содержала в себе душа Козетты: успокоившуюся, уснувшую страсть или живую любовь, прозрачную и блестящую сверху, мутную на глубине и мглистую на дне? На поверхности этой души отражался образ красавца-офицера, а в глубине, быть может, таилось воспоминание о другом? Должно быть так, но сама Козетта не знала этого. Вдруг произошел странный случай.

Глава 244

В первой половине апреля Жан Вальжан куда-то уехал. Как известно, ему случалось иногда уезжать из Парижа. Уезжал он обыкновенно на день или два, не более. Куда он отправлялся, этого никто не знал, даже сама Козетта. Только один раз она провожала старика в фиакре до угла небольшого тупичка, название которого она прочла: «Тупик де-ла-Бланшет». Там Жан Вальжан сошел, а Козетта отправилась в том же фиакре обратно в Вавилонскую улицу.

Обыкновенно старик уезжал тогда, когда в доме оставалось мало денег.

Итак, Жан Вальжан был в отсутствии. Уезжая, он сказал, что вернется через три дня. Был вечер. Козетта сидела одна в своей гостиной. Скучая, она открыла фисгармонию и стала играть и, аккомпанируя самой себе, петь: «Охотники заблудились в лесу!», являющейся чуть ли не лучшим из всех музыкальных произведений. Окончив пение, Козетта задумалась.

Вдруг ей показалось, что кто-то ходит по саду. Отец там не мог ходить, потому что его не было дома, не могла быть там и Туссен: она уже легла спать. Было десять часов. Козетта подошла к закрытому ставнем окну и приложила к нему ухо. Шаги были тихие, но отличались твердостью мужской походки.

Молодая девушка проворно поднялась наверх в свою спальню, открыла там одну половину окна и выглянула в сад. Стояло полнолуние, поэтому в саду было светло как днем. Никого не было видно.

Козетта открыла и другую половинку окна. В саду царила полнейшая тишина, такая же тишина была и в прилегающей к дому части улицы. Молодая девушка подумала, что ошиблась, что шаги ей только почудились. Может быть, это была простая галлюцинация, вызванная мрачной и чудной музыкой Вебера, которая открывает мысли неведомой глубины, трепещет перед внутренним оком подобно девственному лесу и наглядно представляет слуху треск сухих веток под тревожными шагами мелькающих в сумраке охотников. Не слыша и не видя ничего, Козетта перестала об этом думать.

По природе своей она была не из боязливых. В ее жилах текла кровь цыганки, искательницы приключений, привыкшей ходить босиком. Как мы уже знаем, она скорее походила на жаворонка, чем на голубку. В основе ее характера были мужество и отвага.

На другой день вечером, но пораньше, когда только начинало смеркаться, Козетта гуляла в саду. Среди смутных мыслей, занимавших ее, ей

казалось, будто временами слышится шорох, вроде вчерашнего, точно кто-то вблизи нее крадется в темноте под деревьями, но она приписывала это шелесту веток, раздвигающихся сами собой, — тому шелесту, который очень напоминает шаги человека, идущего по траве, и перестала обращать на это внимание. К тому же ничего особенного не было видно.

Наконец, она вышла из-за чащи деревьев и хотела перейти зеленую лужайку, отделявшую ее от крыльца. Позади только что взошла луна, и, когда Козетта выходила из чащи, она увидела на лужайке свою собственную тень. Но рядом с ее тенью лунный свет отчетливо вырисовывал какую-то другую тень в круглой шляпе, страшную и грозную.

Козетта остановилась, оцепенев от испуга. Это была, без сомнения, тень мужчины, стоявшего под деревьями, в нескольких шагах от нее.

Несколько мгновений Козетта не была в состоянии ни крикнуть, ни позвать на помощь, ни

шевельнуться, ни повернуть головы. Наконец она собралась с мужеством и решительно оглянулась — снова никого не было. Козетта взглянула на лужайку — тень скрылась. Девушка вернулась в чащу, смело обошла все глухие закоулки сада, прошла вдоль решетки на улицу, но не нашла никого.

Она вся похолодела. Неужели это опять была галлюцинация? Два дня подряд галлюцинации! С одной галлюцинацией еще можно помириться, но с двумя! Ужаснее всего было то, что увиденная ею тень едва ли была простым призраком. Насколько ей было известно, привидения не носят круглых шляп.

На другой день Жан Вальжан вернулся домой. Козетта рассказала ему все, что ее испугало в два минувших вечера. Она была уверена, что отец успокоит ее и, пожав плечами, скажет: «Какая ты глупенькая девочка!», но вместо этого Жан Вальжан нахмурился и процедил как-то странно сквозь зубы:

— Это что-нибудь да значит.

Придумав какой-то предлог, он отправился в сад и долго с большим вниманием осматривал там всю решетку.

Ночью Козетта проснулась. Она ясно слышала, как кто-то ходит в саду под ее окном. Сомневаться в действительности слышанного теперь не было уже никакой возможности: шум шагов был слишком отчетлив. Она встала, подбежала к окну и открыла форточку. Действительно, в саду был человек с толстой дубиной в руках. Она уже собиралась крикнуть, как вдруг луна осветила профиль этого человека, и молодая девушка узнала своего отца. Козетта снова спокойно улеглась и подумала: «Однако он сильно встревожен!»

Жан Вальжан провел в саду не только эту ночь, но и две следующие. Козетта видела его сквозь отверстие ставня.

На третью ночь убывающая луна поднялась позднее.

Вдруг около часа ночи Козетта услышала сквозь сон громкий хохот, а потом голос отца,

который звал ее:

— Козетта! Козетта!

Она вскочила, накинула на себя капот и открыла окно. Отец стоял на лужайке.

— Я разбудил тебя, чтобы успокоить насчет твоего призрака, — сказал он. — Вот он, и в своей круглой шляпе.

И он показал ей на лужайке тень, действительно вполне походившую на мужскую фигуру в круглой шляпе. Это было не что иное, как тень печной трубы с колпаком, высившейся над крышей соседнего дома. Козетта тоже расхохоталась. Все ее мрачные предположения, вызванные этой тенью, сразу исчезли, и на другой день, завтракая с отцом, она смеялась над зловещим садом, в котором витают призраки печных труб.

Жан Вальжан вполне успокоился. Козетта не подумала проверить, находилась ли тень печной трубы в том самом месте, где она в первый раз видела тень мужчины в круглой шляпе, и

находилась ли луна на небе в том же месте, как в тот вечер. Она даже не задумалась над тем, что было бы чересчур странным, если бы тени печных труб боялись быть замеченными и спешили скрыться, лишь только кто-нибудь взглянет на них, как исчезла та тень, когда Козетта обернулась, увидав ее отражение на лужайке: в этом молодая девушка была твердо убеждена. Как бы там ни было, но Козетта тоже совершенно успокоилась. Доказательство отца казалось ей несомненным, и она перестала думать, чтобы кто-нибудь чужой мог ходить по вечерам или ночью по их саду.

Однако, несколько дней спустя, случился новый инцидент.

Глава 245

В саду около решетки, выходившей на улицу, была каменная скамейка, скрытая кустами от любопытных взоров, но рука прохожего свободно могла достать до нее сквозь решетку и кусты.

Один раз вечером, в том же апреле, когда Жана Вальжана не было дома, Козетта вышла в сад и села на эту скамейку. Солнце уже зашло. По вершинам деревьев проносился свежий ветерок. Козетта задумалась. Ее вдруг охватила беспричинная тоска — та непобедимая тоска, которая иногда нападает на человека по вечерам и неизвестно отчего происходит — быть может от надвигающегося сумрака, напоминающего тайну смерти.

А может быть, возле Козетты в эту минуту витал дух Фантины. Козетта поднялась со скамейки, тихо обошла весь сад по росистой траве. Сквозь подавлявшую девушку тоску у нее, однако, пробивалось сознание действительности, и она подумала: «Нужно будет завести деревянные башмаки для прогулок по саду в эту пору, иначе схватишь насморк, а не то что-нибудь и еще похуже».

После этого она снова вернулась к скамейке. Собираясь сесть на нее, она увидела на ней

довольно большой камень, которого за несколько минут перед тем там не было.

Козетта посмотрела на этот камень и недоумевала, откуда бы он мог взяться. Мысль о том, что камень не мог попасть сюда сам, что кто-нибудь положил его на скамейку и что этот кто-нибудь протягивал с ним руку сквозь решетку, обдала ее холодом ужаса.

На этот раз ужас казался основательным, потому что камень был предметом вполне осязательным. Сомнений тут никаких не могло быть.

Не трогая камня, Козетта бросилась прямо домой, где тотчас же закрыла ставнем и заперла задвижкой входную стеклянную дверь.

— Вернулся отец? — спросила она у Туссен.

— Нет еще, мадемуазель, — ответила та.

Жан Вальжан, как любитель одиноких ночных прогулок, иногда возвращался очень поздно.

— Туссен, а вы запираете на ночь дверь в сад? Хорошо ли вы задвигаете железную

задвижку? — продолжала девушка.

— Будьте спокойны, мадемуазель, я делаю все, что нужно, — сказала Туссен.

Козетта, в сущности, нисколько не сомневалась в добросовестности служанки, поэтому добавила в виде оправдания своего вопроса:

— Здесь очень пустынно.

— Да, уж это верно! — подхватила Туссен. — Здесь запросто могут зарезать, так что не успеешь и пикнуть. А хозяин, как нарочно, все пропадает по ночам. Но вы все-таки не бойтесь, мадемуазель: я так крепко запираю весь дом, что в него не скоро проберутся… Да в самом деле жутко одним женщинам! Представьте себе, что ночью к вам прямо в спальню вдруг залезут разбойники, пригрозят вам, чтобы вы молчали, и примутся резать вам горло!.. Тут страшна не самая смерть: умереть всем когда-нибудь придется, а ужаснее всего подумать, что попадешь в руки негодяев… Потом и ножи у них, наверное, плохо режут… О господи!..

— Будет вам! — перебила Козетта. — Заприте лучше окна.

Напуганная словами старухи, а может быть, и воспоминанием об явлениях прошлой недели, Козетта не решилась сказать ей, чтобы она пошла и посмотрела на таинственный камень, опасаясь, как бы во время ее отсутствия кто-нибудь не забрался в дом через садовую дверь. Она только распорядилась, чтобы служанка как можно крепче заперла все двери и окна и осмотрела весь дом от подвала до чердака. Потом она тщательно заперлась сама в своей спальне; посмотрев у себя под кроватью, она разделась и легла, но спала очень плохо. Всю ночь она видела перед собою камень, выросший в целую гору, изрытую темными пещерами.

Утром при солнечном свете (утреннее солнце обладает свойством заставлять нас смеяться над нашими ночными страхами, и тем сильнее, чем мы более терзались страхом в темноте) вечерние ужасы показались Козетте простым кошмаром.

«И что это только пришло мне в голову? Это вроде тех шагов, которые мне почудились ночью в саду, и тени от печной трубы! Неужели я становлюсь трусихой?» — подумала она.

Солнце, пробивавшееся сквозь щели ставен и окрашивавшее в пурпур шелковые занавесы окон, так ободрило Козетту, что у нее не осталось и следа какой бы то ни было боязни. Даже к камню она отнеслась скептически.

«Наверное, вовсе и не было никакого камня, — говорила она себе, — Как не было мужчины в круглой шляпе, должно быть, он почудился мне, как и все остальное».

Она оделась, спустилась в сад и побежала к скамье. Однако, взглянув на нее, снова похолодела от испуга: камень лежал на месте. Но испуг ее продолжался только одно мгновение. То, что ночью причиняет испуг и ужас, днем вызывает только любопытство.

«Что это за камень?» — спросила себя Козетта.

Она смело приподняла его и увидела под ним что-то похожее на письмо. Это был конверт из белой бумаги. Козетта взяла его и осмотрела. Адреса и печати на нем не было. Между тем он, хотя и незаклеенный, не был пуст. В нем лежали какие-то бумаги. Козетта вытащила эти бумаги, которые оказались сшитыми в тетрадь и пронумерованными постранично. Тетрадь была исписана мелким и, как показалось Козетте, красивым почерком.

Молодая девушка теперь чувствовала уже не страх, даже не простое любопытство, а нечто вроде смутной тревоги. Она стала искать в тетради какое-нибудь имя, но не нашла, не было также и подписи. Кому это могло быть адресовано? Вероятно, ей, Козетте, раз оно положено к ней на скамейку. Но от кого? Молодой девушкой овладело что-то похожее на очарование. Она с усилием оторвала глаза от тетради, дрожавшей в ее руке, взглянула на небо, на улицу, на залитые солнцем акации, на голубей, сидевших на кровле соседнего дома, потом вдруг снова впилась глазами в тетрадь. Она решила, что

ей следует прочесть написанное на этих страничках, и вот что она прочла.

Глава 246

Любовь — это сосредоточие всей вселенной в одном существе, возвышение этого существа до степени божества.

Любовь — это привет ангелов небесным светилам.

Как печальна душа, когда ею овладевает грусть от любви! Какую пустоту причиняет отсутствие любимого существа, которое одно наполняло собою весь мир! О, как это верно, что любимое существо становится божеством! Очень понятно, что Бог должен был бы на это ответить гневом, если бы он, отец всего сущего, не создал вселенной для души, а душу — для любви.

Достаточно одной улыбки из-под белой креповой шляпки с лиловыми лентами, чтобы перенести душу в мир грез.

Все наполнено Богом, но все и скрывает в себе Бога. Предметы темны, существа непроницаемы. Любить существо — значит сделать его прозрачным.

Некоторые мысли — те же молитвы. Бывают минуты, когда душа преклоняет колени, в каком бы положении ни находилось тело.

Разлученные влюбленные обманывают разлуку тысячами химер, не лишенных, однако, известной доли реальности. Им препятствуют видеться, между ними не допускают переписки. Они изобретают множество тайных способов сношений. Они шлют друг другу пение птиц, аромат цветов, смех детей, свет солнца, шепот ветра, лучи звезд — все творение Божие. И почему же нет? Ведь все, сотворенное Богом, сотворено им для служения любви. Любовь достаточно могущественна, чтобы заставить всю природу стараться о доставлении ей вестей.

О весна! Ты — послание, которое я шлю ей.

Будущность гораздо больше принадлежит душам, чем умам. Любить — вот единственное

занятие, которое может наполнить вечность. Бесконечному нужно неистощимое.

Любовь — это часть самой души. Любовь и душа имеют одинаковую сущность. Подобно душе, любовь — искра Божия, подобно душе, любовь нетленна, неделима, вечна. Любовь — это огненная точка в нас, она бессмертна и бесконечна, ее ничто не может ограничить, ничто не в силах погасить. Чувствуешь, как этот огонь прожигает до мозга костей, и видишь, как он распространяет свое сияние до самых небес.

О любовь! Взаимное обожание! Наслаждение двух душ, понимающих друг друга, двух обменявшихся между собою сердец, двух проникших один в другой взоров! Счастье, ты посетишь меня, не правда ли? Прогулки вдвоем в уединении! Дни лучезарные и благословенные! Мне в моих грезах порою представляется, что время от времени ангелы спускаются на землю, чтобы дарить блаженство человеку

Бог ничего не может прибавить к счастью любящих — он только может продлить это

счастье до бесконечности. После жизни, наполненной любовью, получить еще вечность любви — это высшее наслаждение, которое мы только можем желать, но увеличить полноту счастья, даваемого любовью душе в этом мире, невозможно даже для Бога. Бог — это полнота небес. Любовь — это полнота человеческого существования.

Смотришь на звезду по двум причинам: и потому, что она лучезарна, и потому, что она непроницаема. Но перед нами находится еще более пленительное сияние и еще большая тайна. Это — женщина.

У всех нас, кто бы мы ни были, есть чем дышать. Если мы лишимся того, чем дышим, то должны будем задохнуться. Мы тогда умираем. Умереть от недостатка любви — ужасно. Это называется умерщвлением души.

Когда любовь соединила, слила два существа в священном, ангельском единении, тогда ими найдена тайна жизни; они становятся двумя гранями одной и той же судьбы, двумя крыльями

одной и той же души. Любите же! Витайте в выси!

В тот день, когда проходящая мимо вас женщина распространяет вокруг себя сияние, вы погибли, вы любите. Вам остается только одно: так сильно думать о ней, что и она будет вынуждена думать о вас.

Начатое любовью может быть закончено одним Богом.

Истинная любовь отчаивается или восторгается из-за потерянной перчатки или найденного платка и нуждается в вечности для проявления своей преданности и для своих надежд. Любовь состоит в одно и то же время и из бесконечно великого, и из бесконечно малого.

Если вы камень — будьте магнитом. Если вы растение — будьте мимозой. Если вы человек — будьте любовью.

Для любви всего мало. Имеешь счастье — хочешь рая; имеешь рай — хочешь самого неба.

О вы, любящие, ведь все это находится в самой любви! Умейте только открыть. В любви столько же созерцания, сколько на небесах, и столько же, если не более, блаженства.

Приходит ли еще она когда-нибудь в Люксембургский сад? — Нет. — Не в этой ли церкви она слушает мессу? — Нет, она более не бывает в этой церкви. — Живет ли она еще в том самом доме? — Нет, она переехала. — Где же она живет теперь? — Этого она никому не говорила. Как ужасно не знать местопребывания своей души!

В любви есть своя доля ребячества; другие страсти сопряжены с мелочностью. Позор тем страстям, которые делают человека мелким.иЧесть и слава той страсти, которая делает его ребенком!

Знаете ли вы, что со мной случилось? Я нахожусь во тьме. Одно существо скрылось от меня и захватило с собой все небо со всеми его светилами.

О, лечь рядом в одну могилу, рука об руку, и во мраке чувствовать нежное пожатие любимой руки — это было бы для меня вполне достаточно на всю вечность.

Вы, страдающие оттого, что любите, любите еще сильнее. Умирать от любви — значит жить.

Любите! К этой муке примешивается искрящееся во мраке блаженство. Есть восторг и в агонии.

О, радость птиц! Они поют, потому что у них есть гнезда.

Любовь — небесное дыхание воздухом рая.

Глубокие сердца, мудрые умы! Берите жизнь такою, какою ее создал Бог. Эта жизнь не что иное, как долгое испытание, непонятная нам подготовка к неизвестному назначению. Это наше истинное назначение начинает открываться нам при первом шаге к могиле. Только тогда нам является нечто, и мы начинаем различать конечное. Конечное — вдумайтесь в это слово! Живущие видят одно бесконечное; конечное

проявляется только умершим. В ожидании этого любите и страдайте, надейтесь и созерцайте. Горе тому, кто любил одни тела, формы, явления! Смерть все у него отнимет. Старайтесь любить души, и вы обретете их вновь за гранью могилы.

Я встретил на улице молодого, очень бедного человека. Он был в старой шляпе, в сильно поношенном платье, с продранными локтями; сквозь его плохую обувь проникала вода, а сквозь его душу сияли звезды.

Какое великое дело быть любимым! Но еще большее — любить! Силою страсти сердце становится героическим. Оно тогда проникается лишь самым чистым, опирается только на самое возвышенное и великое. В нем не может возникнуть никакой недостойной мысли, как в леднике не может завестись крапивы. Душа, возвысившись и просветлев, становится недоступной страстям и низменным волнениям. Она царит над земными облаками и тучами, над сумасбродством, ложью, ненавистью, тщеславием, нуждою и всеми бедствиями. Она

обитает в небесной лазури и так же мало чувствует силу глубоких, скрытых потрясений судьбы, как горные вершины — силу потрясений Земли.

Если бы не было ни одного любящего существа, погасло бы само солнце.

Глава 247

По мере того как Козетта читала, она все более и более задумывалась и погружалась в сладкие грезы. Как раз в то мгновение, когда она, дочитав последнюю строку, подняла глаза от тетради и машинально взглянула на садовую решетку, красавец-офицер, как всегда в это время, с торжествующим видом проходил мимо садовой решетки. Козетта вдруг нашла его безобразным.

Она снова занялась тетрадью. Почерк казался ей очаровательным. Все было написано одной рукой, но разными чернилами, то бледными, то очень черными. Очевидно, все это было написано не в один день и не подряд; эти мысли

заносились сюда понемногу, по мере их возникновения, беспорядочно, без цели, случайно, как попало. Козетта никогда не читала ничего подобного. Эта рукопись, в которой для нее было более ясного, чем темного, производила на нее впечатление полуоткрытого святилища. Каждая из этих таинственных строк казалась ей огненной и наполняла ее сердце волнами какого-то особенного света. Воспитывавшие Козетту часто говорили ей о душе, но никогда не упоминали о любви. Это выходило вроде того, как если бы стали говорить о головне, не упоминая об огне. Эта рукопись, величиной всего в пятнадцать страничек, вдруг с бесконечной нежностью раскрыла перед нею любовь, страдание, судьбу, жизнь, вечность, начало и конец — словом, все, чего она не знала. Перед ней вдруг точно разжалась чья-то крепко стиснутая рука и бросила ей сноп лучей. Она чувствовала в этих строках пылкую, страстную, великую и честную душу, твердую волю, необъятное горе и безграничную надежду, измученное сердце и бесконечную

восторженность. Что именно представляла собой эта рукопись? Письмо? Да, письмо без адреса, без подписи, без упоминания имени — письмо, вылившееся прямо из сердца, вполне бескорыстное, письмо загадочное, правдивое; весть любви, достойная быть принесенной ангелом и прочитанной весталкой; обращение из небесных сфер; объяснение в любви призрака, тени. В этом письме чувствовался некто далекий, измученный, но покорный, быть может готовый искать убежища в смерти и посылавший другому существу открытие тайны судьбы, ключ жизни, любовь. Видимо, это было написано на краю могилы, со стремлением к небу. Эти строки, одна за другою упавшие на бумагу, были словно каплями изливавшейся души.

Но от кого же шли эти строки? Кто мог написать их? И Козетта, не колеблясь ни одного мгновения, решила, что это могло быть написано только одним человеком — им!

Душа ее снова озарилась светом, и в ней все ожило. Она почувствовала невыразимую радость

и глубокое смущение. Да, он, именно он писал это! И он был здесь! Это его рука просунулась сквозь решетку, его, а ничья другая! В то время, как она начала забывать о нем, он ее разыскивал! Но в самом ли деле она начинала забывать его? Нет, неправда! Она, должно быть, сходила с ума, если это могло ей показаться хоть на одну минуту! Она всегда его любила, всегда боготворила. Огонь только на поверхности подернулся пеплом, но под этим пеплом продолжал тлеть, ожидая лишь случая, чтобы вспыхнуть с новой силою. И вот этот случай пришел: сердце ее вновь запылало. Эта тетрадь была точно искра, перенесшаяся из его души в ее душу и воспламенившая ее. Она проникалась каждым словом рукописи и шептала про себя: «О да, я узнаю это: ведь это повторение того, что я раньше читала в его глазах!»

Когда она заканчивала чтение тетради в третий раз, поручик Теодюль опять прошел мимо решетки, звеня своими шпорами. Козетта невольно снова взглянула на него и теперь нашла его пошлым, глупым, ничтожным, неприятным,

наглым и безобразным. Офицер счел нужным улыбнуться ей. Она со стыдом и негодованием отвернулась. Ей очень хотелось бросить ему что-нибудь в голову.

Она убежала из сада в дом и заперлась там в своей спальне, чтобы еще раз перечитать тетрадь, выучить ее наизусть и помечтать. Заучив почти каждое слово на память, Она поцеловала рукопись и спрятала ее у себя на груди.

То, что должно было случиться, случилось. Козетта снова была охвачена всей глубиною ангельской любви. Бездна Эдема снова открылась перед нею.

Весь этот день молодая девушка находилась в каком-то чаду. Она едва была в состоянии думать. Мысли ее разрывались, путались и сбивались в мозгу. Она терялась в догадках и только смутно чувствовала, что в ней шевелится надежда — на что? — этого она и сама не могла бы сказать. Она не осмелилась ничего обещать себе и ни от чего отказываться. Лицо ее то краснело, то бледнело, и по всему телу пробегала дрожь. Временами ей

казалось, что она начинает бредить, и спрашивала себя: «Правда ли все это?» Тогда она ощупывала под платьем драгоценную тетрадку и прижимала ее к себе, с наслаждением чувствуя ее прикосновение. Если бы в эту минуту увидал ее Жан Вальжан, он содрогнулся бы при виде той небывалой лучезарной радости, которая сияла в ее глазах.

«О да, да! — думала она. — Эти строки действительно существуют, и они от него! Они написаны им для меня!»

И она уверяла себя, что его вернуло к ней посредничество ангелов или вообще какой-нибудь случай неземного происхождения.

О превращения любви! О грезы! Эта небесная весть дошла до нее только благодаря тому, что один вор со двора Карла Великого перебросил через крыши тюрьмы Лафорс другому вору во Львином рву хлебный катышек.

Глава 248

Вечером Жан Вальжан опять ушел, а Козетта приоделась. Она причесалась и надела платье, ворот которого позволял видеть всю шею и потому считался «неприличным» для молодой девушки. В сущности, в этом платье не было никакого неприличия, — оно было только красиво.

Козетта принарядилась совершенно бесцельно. Она сама никуда не собиралась и к себе никого не ждала. В сумерки она вышла в сад. Туссен в это время была занята в кухне, выходившей окнами во двор.

Козетта принялась ходить под деревьями, отстраняя рукой низкие ветви, задевавшие ее лицо.

Незаметно она дошла до скамейки, на которой по-прежнему лежал камень. Сев на скамейку, молодая девушка положила руку на этот камень, точно хотела приласкать и поблагодарить его. Вдруг у нее явилось то неопределенное

ощущение, которое овладевает человеком, когда за ним без его ведома кто-нибудь стоит. Она повернула голову назад и вдруг вскочила с места. Это был он!

Он стоял с непокрытой головой и казался очень бледным и исхудалым. Его черная одежда точно сливалась с окружающей мглою. Белело только лицо. Его прекрасные глаза тоже были полны сумеречной мглою. Окутанный дымкою бесконечной печали, он точно нес в себе смерть и бездну ночи. Лицо его озарялось последними лучами угасающего дня и мыслью отходящей души. Это еще не был призрак, но как будто уже и не человек. Шляпа его лежала на траве в нескольких шагах от него.

Козетта, готовая лишиться чувств, не издала ни звука. Она медленно отступала назад, чувствуя, что ее влечет к тому, кто стоял перед нею. Он стоял неподвижно возле скамейки. Глаз его Козетта не видала, но какое-то невыразимо грустное чувство подсказывало ей, что он

смотрит на нее. Отступая, она встретила дерево, прислонилась к нему, иначе она бы упала.

Но вот она услыхала его голос, которого раньше никогда не слыхала. Этот голос, почти смешиваясь с шелестом листьев, говорил:

— Простите мне, что я здесь. Сердце мое исстрадалось. Я не мог более терпеть и пришел. Читали вы то, что я вчера положил на эту скамейку? Узнаете ли вы меня?.. Не бойтесь меня. Помните ли вы тот давно уже промелькнувший день, когда вы взглянули на меня в первый раз. Это было в Люксембургском саду, около изображения гладиатора. А тот день, когда вы прошли мимо меня? Вы взглянули на меня в первый раз шестнадцатого июня, а прошли мимо второго июля. Скоро будет год. Сколько времени я не видел вас! Я спрашивал о вас ту женщину, которая отпускает там напрокат стулья, и она сказала, что тоже давно не видела вас. Вы жили на Западной улице на третьем этаже, окнами на улицу, в новом доме. Видите, я узнал это. Я следил за вами. Что же мне

оставалось более делать? Но вы вдруг скрылись из того дома. Однажды, когда я под арками Одеона читал газету, мне показалось, будто вы прошли. Я бросился вдогонку, но это были не вы. Это оказалась какая-то женщина в шляпке, похожей на вашу. Я прихожу сюда по ночам… Не бойтесь: меня никто тут не видит. Я прихожу посмотреть на ваши окна. Я крадусь тихо, чтобы не испугать вас. Однажды вечером вы обернулись было в мою сторону, и я бросился бежать от вас. В другой раз я слышал, как вы пели. В ту минуту я был счастлив. Разве вам причинялось какое-нибудь зло тем, что я слушал ваше пение сквозь окно, закрытое ставнями? Ведь никакого, не правда ли?.. Вы мой ангел-хранитель. Позвольте же мне иногда видеть вас… Я близок к смерти… Если бы вы знали, как я боготворю вас!.. Простите, что я говорю вам, почти ничего не сознавая!.. Быть может, я сержу вас своим присутствием и разговором? Скажите — сержу? Да?

— О матушка! — произнесла глухим голосом Козетта и пошатнулась, готовая упасть.

Он успел подбежать и вовремя подхватить ее. Он бессознательно и крепко прижимал ее к себе. Поддерживая ее, он сам едва держался на ногах. Голова его была как в огне, перед глазами вспыхивали молнии, мысли его путались. Ему казалось, что он совершает священный обряд и вместе с тем святотатство. В нем не было и тени чувственного желания при виде этой очаровательной женщины, которую он держал в своих объятиях. Он только чувствовал, что готов умереть от безумной любви к ней.

Она схватила его руку и приложила к своему сердцу. Он ощутил у нее на груди бумагу и прошептал:

— Неужели вы любите меня?

— Молчи! Ты сам знаешь это! — прошептала она тихим, как дуновение, голосом и спрятала зардевшееся лицо на груди упоенного счастьем молодого человека.

Он в изнеможении опустился на скамью. Козетта машинально села рядом с ним. Они не находили слов для выражения того, что в них

происходило. На небе начинали появляться звезды.

Как случилось, что уста молодых людей встретились? А как случается, что птица поет, что снег тает, что роза распускается, что весною все цветет, что за темными вершинами деревьев, трепещущими над холмом, розовеет утренняя заря? Один поцелуй — и в этом было все.

Они оба задрожали и взглянули друг на друга сияющими в темноте глазами. Они не чувствовали ни ночной свежести, ни холода каменной скамьи, ни сырости, поднимавшейся от земли и покрывавшей влагой траву, они смотрели друг на друга, и сердца их были полны воспоминаний. Они взялись за руки, сами того не замечая.

Она не спрашивала его, даже не думала о том, где он прошел, как проник в сад. Ей казалось так просто, что он здесь, рядом с нею. Козетта пробовала что-то сказать, но у нее ничего не выходило. Казалось, душа ее трепещет у нее на устах, как капля росы на цветке.

Но вот мало-помалу они разговорились. За молчанием, выражавшим полноту внезапно нахлынувшего чувства, последовало излияние. Над их головами расстилалась чудная ясная ночь. Эти два существа, чистые, как духи, все поведали друг другу: свои грезы, свое безумие, свои восторги, химеры, свое отчаяние, высказали, как они любили друг друга издали, как желали видеться, как тосковали, когда перестали встречаться. В идеальной интимности, которая уже не могла быть более полной, они поверяли один другому все, что в них было самого сокровенного и таинственного. С чистой верой в свои иллюзии они выразили все, что любовь, юность и блаженство свидания вложили им в мысли. Эти два сердца вылились друг в друга, так что через какой-нибудь час каждый из них вполне уже обладал сердцем другого. Они прониклись, очаровались, ослепились друг другом.

Когда, наконец, они высказали друг другу все, что имели сказать, Козетта положила голову на плечо к своему собеседнику и спросила его:

— Как вас зовут?

— Мариус, — тихо ответил он. — А вас?

— Меня зовут Козетта, — прошептала она.

Глава 249

С 1823 года, когда монфермейльская харчевня начала понемногу поглощаться бездной — не банкротства, а мелких долгов, у супругов Тенардье родилось еще двое мальчиков. Таким образом, у них теперь было пятеро детей: две девочки и три мальчика. Это было уж слишком.

Жена Тенардье с чувством особой радости избавилась от двух младших ребят, совсем еще крошечных. Именно «избавилась». В этой женщине естественные чувства были совсем истрепаны, и от них оставались одни обрывки. Впрочем, подобное явление довольно обычно, и ему можно привести много примеров. Как у жены маршала де Мот-Гуданкур, так и у жены Тенардье материнское чувство исчерпывалось одними дочерями. Ее ненависть ко всему

человеческому роду начиналась с ненависти к собственным сыновьям. Относительно этих сыновей злость ее достигала особенной силы. Как мы уже видели, она чувствовала к старшему сыну какое-то омерзение, а к младшим — прямо глухую ненависть. Почему? Да так. «Так» — это самая ужасная из побудительных причин и самый неопровержимый из ответов. «На что мне такая орава ребят!» — говорила себе эта мать.

Объясним, как удалось супругам Тенардье избавиться от своих младших детей и даже извлечь из этого выгоду. Маньон, о которой было упомянуто в одной из предыдущих книг, была та самая, которой удалось заставить старика Жильнормана содержать ее двух ребят. Она жила на набережной Целестинцев, на углу той старинной улицы Пти-Мюск, сделавшей все, что она могла, чтобы превратить свою дурную репутацию в добрую. Все помнят страшную эпидемию крупа, которая тридцать пять лет тому назад свирепствовала в прибрежных кварталах Парижа и которой воспользовалась наука, чтобы производить в широких размерах опыты

вдувания квасцов, что ныне так удачно заменено наружным применением йода. В этой эпидемии Маньон в один день лишилась обоих своих детей: один умер утром, а другой — вечером. Это были два совсем еще маленьких мальчика, очень дорогих для матери, так как они представляли собой ежемесячную ценность в восемьдесят франков. Сумма эта аккуратно выплачивалась от имени Жильнормана его поверенным Баржем, отставным приставом, жившим на улице Руа-де-Сесиль. Со смертью детей должен был прекратиться доход. Маньон стала искать возможность поправить дело, казавшееся непоправимым. В том темном обществе, к которому она принадлежала, люди знают друг о друге все, свято хранят доверенные им тайны и всегда готовы помогать один другому. Маньон нужно было двое детей, а у Тенардье оказалось двое лишних и как раз того же пола и даже возраста, как ее умершие дети. Дело было выгодное для обеих сторон, и маленькие Тенардье превратились в маленьких Маньонов. Получив замену своих детей, Маньон

переселилась с набережной на улицу Клошперс. В Париже тождественность личности часто нарушается при переселении с одной улицы на другую.

Не будучи предупрежден, закон не вмешался в дело перехода детей из одних рук в другие, и оно совершилось очень просто. Только Тенардье потребовала, чтобы Маньон платила ей за детей по десяти франков в месяц; та на это согласилась. Само собой разумеется, что Жильнорман по-прежнему аккуратно продолжал давать Маньон деньги на детей и каждые полгода посещал ребят. Перемены в них он не замечал, и Маньон твердила ему: «Как они похожи на вас!»

Тенардье, для которого превращения были очень легки, воспользовался этим случаем, чтобы стать Жондреттом. Обе его дочери и Гаврош едва успели заметить, что у них было два маленьких брата. На известной ступени нищеты человеческими существами овладевает какое-то равнодушие, при котором все представляется в призрачном виде. В этом состоянии даже самые

близкие люди иногда кажутся смутными тенями, еле обрисовывающимися на туманном фоне жизни, поэтому легко смешиваемыми с туманом.

Вечером того дня, в который Тенардье отдала Маньон своих ребятишек с твердой решимостью отказаться от них навсегда, у нее явились угрызения совести, или она притворилась, что это мучит ее, и сказала мужу:

— Но ведь это значит бросать своих детей!

Флегматичный муж заметил на это поучительным тоном, что Жан-Жак Руссо поступал со своими детьми еще хуже. Это немного успокоило совесть жены, но зато в ней возникли опасения, и она продолжала:

— А что, если полиция станет преследовать нас, Тенардье? Разве то, что мы сделали, дозволено?

— Все дозволено, — отвечал муж. — Полиция ничего не заметит. К тому же такими ребятишками, у которых нет ничего за душой, никто не интересуется.

Маньон была в своей преступной среде щеголихой. Она хорошо одевалась. Свою квартиру, убранную довольно убого, но с некоторой претензией, она разделяла с искусной воровкой, одной офранцузившейся англичанкой. Эта англичанка, пустившая в Париже корни, имевшая богатые связи и замешанная в истории с медалями библиотеки и с бриллиантами мадемуазель Марс, впоследствии прославилась на страницах судебной летописи. Ее прозвали «мамзель Мисс».

Ребятишки Тенардье, попавшие к Маньон, не имели причин жаловаться. Благодаря получаемым за них восьмидесяти франкам их берегли, как бережется все, что доставляет пользу. Их прилично одевали, недурно кормили и обходились с ними почти как с маленькими «господчиками». Вообще им было гораздо лучше у Маньон, чем у родной матери. Маньон разыгрывала из себя «даму» и никогда не говорила при детях на воровском жаргоне.

Так прошло несколько лет. Тенардье рассчитывал на детей в будущем. Однажды, когда Маньон отдавала ему свою ежемесячную десятифранковую дань, он сказал ей:

— Нужно заставить «отца» дать им воспитание.

Вдруг бедных детей, до тех пор не знавших никакого горя, сразу швырнуло в водоворот жизни, и они были вынуждены барахтаться в нем. Арест целой массы злодеев, произведенный в притоне Жондретта и неизбежно усложненный дополнительными обысками и заключениями в тюрьму, всегда является настоящим бедствием для того противообщественного сборища, которое ютится в столичных трущобах; такого рода событие влечет за собой множество крушений в этом темном мире. Катастрофа, разразившаяся над Тенардье, повлекла за собой и катастрофу для Маньон.

Однажды вскоре после того как Маньон передала Эпонине записку, касавшуюся улицы Плюмэ, на улицу Клошперс неожиданно

нагрянула полиция. Маньон была арестована вместе с «мамзель Мисс»; все остальное население дома, казавшееся подозрительным, также не миновало цепких рук полиции. Оба мальчика, жившие у Маньон под видом ее родных детей, играли на дворе и ничего не знали о том, что происходило в доме. Когда они хотели пойти домой, то нашли двери своей квартиры запертыми и весь дом пустым. Живший напротив башмачник подозвал мальчиков и отдал им записку, оставленную для них «матерью». На записке был адрес: «Господин Барж, поверенный, улица Руа-Де-Сесиль, No 8».

— Вы больше здесь не живете, — сказал при этом башмачник мальчикам. — Ступайте вот по этому адресу. Это очень близко: первая улица налево. Спрашивайте дорогу по этой бумажке.

Дети отправились, сами не зная куда. Старший вел за руку младшего, держа в свободной руке бумажку, которая должна была помочь им найти их новое жилище. Мальчик озяб, и его окоченевшие пальцы плозо

обхватывали бумажку. На повороте улицы Клошперс порыв ветра вырвал у него бумажку и унес ее, а так как уже сделалось совсем темно, мальчик и не мог отыскать записки. Кончилось тем, что ребятишки принялись бродить наудачу по улицам.

Глава 250

Весной в Париже часто дуют резкие, пронизывающие насквозь ветры, способные заморозить плохо одетые живые существа. Эти ветры, омрачающие самые ясные дни, производят впечатление холодного зимнего воздуха, врывающегося в хорошо натопленную комнату сквозь щели оконных рам или плохо закрытую дверь; словно ушедшая зима оставила за собою дверь отворенною, и из нее несет холодом.

Весной 1832 года, когда в Европе разразилась самая жестокая эпидемия текущего века, эти ветры были особенно резки и беспощадны. Открылась дверь в царство еще более холодное,

чем царство зимы, — в могилу. В этих ветрах чувствовалось дыхание надвигавшейся холеры.

С метеорологической точки зрения эти холодные ветры отличались той особенностью, что они не исключали сильного электрического напряжения. То и дело разражались страшные грозы, наводившие ужас на все живущее.

Однажды вечером, когда леденящий ветер дул с такой силой, точно вернулся январь, и граждане снова надели свои теплые плащи, маленький Гаврош, ежась в своих лохмотьях, стоял перед окном парикмахерской в окрестностях Л'Орм-Сен-Жерве и притворялся, что замер в восторженном созерцании восковой невесты, которая в подвенечном наряде, с померанцевым венком на голове, вертелась в окне посреди двух ярко горевших кенкетов, показывая прохожим то спину, то вечно улыбающееся лицо.

В действительности Гаврош заинтересовался этой фигурой только как предлогом, чтобы, не возбуждая подозрений, наблюдать за тем, что происходило в самой парикмахерской. Он

выискивал случай украсть кусок мыла с целью потом продать его за су куаферу из предместья. Ему уже не раз удавалось поужинать таким куском; мальчик называл этого рода промысел, к которому чувствовал призвание, «бритьем цирюльников».

Кутаясь в бог весть где добытую им старую женскую шаль, служившую ему вместо кашне, и делая свои тонкие наблюдения, он бормотал себе под нос: «Во вторник… Нет, кажется, не во вторник… Или во вторник?.. Должно быть, и в самом деле во вторник… Да, во вторник и есть!» Неизвестно к чему относился этот монолог. Если он означал тот день, когда мальчик ел в последний раз, то значит, что он голодает уже третий день, так как теперь была пятница.

Цирюльник в своей хорошо натопленной лавке кого-то брил, не переставая искоса посматривать на «врага», то есть на стоявшего снаружи перед окном продрогшего мальчишку с дерзкими глазами, который, засунув в карманы руки, находился там, по-видимому, неспроста.

Пока Гаврош глядел на соблазнявшее его виндзорское мыло, делая вид, что любуется восковой невестой, двое мальчуганов еще меньше его, — одному могло быть лет семь, а другому не больше пяти, — и оба довольно прилично одетые, робко повернули ручку двери в парикмахерскую и вошли туда. Они чего-то просили, быть может милостыни, и притом таким жалобным голосом, который походил скорее на писк голодных мышей, чем на человеческую речь. Они говорили оба сразу, и разобрать их слова было невозможно, потому что голос меньшего прерывался рыданиями, а старший стучал зубами от холода. Цирюльник повернул к ним перекошенное бешенством лицо и, не выпуская бритвы из правой руки, левой оттолкнул старшего мальчика, а меньшего коленкой обратно к двери. Выпроводив их снова на улицу, он захлопнул за ними дверь и сердито пробурчал:

— Зря только холода напускают!

Дети со слезами на глазах побрели дальше. Между тем нашла туча, и начал накрапывать

дождь. Маленький Гаврош догнал мальчиков и спросил их:

— Что с вами, ребятки?

— Мы не знаем, где нам спать сегодня, — ответил старший.

— Только-то! — сказал Гаврош. — Эка, подумаешь, беда! Да разве из-за таких пустяков ревут?.. Экие вы глупенькие!

И с видом горделивого превосходства, сквозь которое просвечивала покровительственная нежность, добавил:

— Марш за мной, мелюзга!

— Хорошо, сударь, — покорно сказал старший из мальчиков.

И малютки последовали за Гаврошем с таким же доверием, с каким пошли бы за архиепископом, если бы он позвал их. Они даже перестали плакать.

Гаврош повел их по улице Сент-Антуан по направлению к Бастилии. По пути он бросил

негодующий взгляд назад на лавку цирюльника и пробормотал:

— Экая бессердечная треска! Должно быть, это англичанин.

Какая-то девушка громко расхохоталась при виде следовавших гуськом друг за другом мальчиков. Это было прямым оскорблением маленьких граждан.

— Здравствуйте, мамзель Омнибус! — насмешливо крикнул ей Гаврош.

Минуту спустя ему опять вспомнился парикмахер, и он пробурчал:

— Нет, я ошибся в этом животном: это не треска, а змея… Смотри, цирюльник, я приведу к тебе слесаря и заставлю его приделать тебе к хвосту погремушку!

Этот цирюльник пробудил в нем дух воинственности и задора. Перепрыгивая через канавку, он нечаянно задел бородатую привратницу с метлой в руках, вполне

достойную, чтобы встретиться с Фаустом на Брокене, и крикнул ей:

— Знать, вы на водопой вывели своего конька, сударыня?

Потом он забрызгал грязью лаковые сапоги какого-то прохожего.

— Дурак! — обругал его тот, взбешенный этим. Гаврош высунул нос из-под своей шали.

— На кого это вы изволите жаловаться? — невинным тоном спросил он.

— На тебя! — сказал прохожий.

— Контора заперта. Я более не принимаю жалоб, — отрезал Гаврош.

Продолжая идти дальше по улице, Гаврош заметил под воротами окоченевшую нищенку лет тринадцати с небольшим, у которой из-под слишком короткой юбки виднелись синие коленки. Девочка, очевидно, давно уже выросла из юбки, и это становилось даже неприличным.

— Бедная девчонка! — сказал Гаврош. — У нее нет даже панталончиков… На вот, возьми хоть это.

С этими словами, распутав теплую шерстяную шаль, которая была обмотана вокруг его шеи, он набросил ее на исхудалые и посиневшие плечи девочки, превратив таким образом кашне снова в шаль.

Девочка взглянула на него с изумлением и молча приняла подарок. На известной ступени нищеты бедняк настолько тупеет, что уже более не жалуется на свои страдания и не благодарит за добро.

— Бр-р-р! — произнес Гаврош, дрожа сильнее святого Мартина, у которого оставалась хоть половина плаща.

Вслед за этим дождь хлынул как из ведра, точно в наказание за доброе дело.

— Это еще что такое! — воскликнул Гаврош. — Словно из ушата!.. Если так будет

продолжаться, я перестану быть добрым! — прибавил он, шагая вперед.

— Впрочем, не беда, — проговорил он, бросив прощальный взгляд на нищенку, которая ежилась под шалью: — Хоть она-то согреется.

И, взглянув затем на мрачную тучу, нависшую над его головой, он задорно крикнул:

— Что, взяла?!

И прибавил шагу. Малыши старались поспеть за ним.

Проходя мимо одной из тех толстых железных решеток, которыми ограждаются окна булочной, так как хлеб оберегается в одинаковой мере с золотом, Гаврош обернулся к своим маленьким спутникам и спросил их:

— Ребятки, а вы обедали сегодня?

— Нет, сударь, — ответил старший, — мы ничего не ели с самого утра.

— Значит, у вас нет ни отца ни матери? — продолжал Гаврош.

— Извините, сударь, у нас есть и папа и мама, но мы не знаем, где они, — возразил старший мальчуган.

— А!.. Ну, иной раз, пожалуй, лучше этого и не знать, — проговорил Гаврош глубокомысленным тоном.

— Вот уже два часа, как мы ходим, — продолжал старший из его спутников, — и ищем под ногами, нет ли чего поесть, но ничего не нашли.

— Это потому, что собаки жрут все, что валяется на улице, — сказал Гаврош и после непродолжительного молчания добавил: — Значит, мы потеряли наших родителей? Мы не знаем, что с ними сталось?.. Это скверно, мои милашки! Нехорошо так сбиваться с пути! Нужно постараться уладить дело.

Он не стал больше расспрашивать ребятишек. Не иметь пристанища — дело такое обыкновенное!

Между тем старший из мальчуганов, почти совсем вернувшийся к свойственной его возрасту беспечности, вдруг заметил:

— А ведь мама обещала свести нас на вербу в Вербное воскресенье!

— Это ерунда! — сказал Гаврош.

— Мама у нас важная дама и живет вместе с мамзель Мисс.

— Есть чем хвастаться!

Бросая эти презрительные замечания, Гаврош остановился и принялся шарить во всех заплатках своих лохмотьев. Наконец он поднял голову с видом, который должен был быть, по его желанию, только довольным, а на самом деле вышел торжествующим.

— Успокойтесь, малыши, — сказал он, — нам всем троим есть на что поужинать. Вот, смотрите.

И он показал им су. Не дав ребятишкам времени удивиться, он толкнул их перед собою в булочную, положил там свой су на прилавок и крикнул:

— Гарсон! На пять сантимов хлеба!

«Гарсон», оказавшийся самим хозяином, взял хлеб и нож.

— Режь на три куска, гарсон! — продолжал Гаврош и с достоинством прибавил: — Нас трое.

И, заметив, что булочник, оглядев всех трех покупателей, отложил в сторону белый хлеб и взялся за черный, Гаврош засунул палец в нос и с величественным видом Фридриха Великого, нюхающего табак, бросил булочнику следующий негодующий вопросительный возглас:

— Qeqseqela?

Предупреждаю тех из читателей, которые могут усмотреть в этом восклицании русское или польское слово или примут его за один из тех воинственных кличей, которыми обмениваются дикари в своих пустынях, что это самое обыкновенно слово; оно то и дело употребляется самими читателями, но в форме целой фразы, то есть «Qu’est ce que c’est que cela?» {Это что такое?}

Булочник сразу понял Гавроша.

— Это тоже очень хороший хлеб, только второго сорта, — сказал он.

— Вероятно, вы хотите сказать: самый плохой черный хлеб! — возразил Гаврош с холодной презрительностью. — Давайте нам белого хлеба, гарсон, слышите? Самого лучшего белого хлеба! Я угощаю.

Булочник не мог удержаться от улыбки и, нарезая требуемый хлеб, смотрел на детей таким сострадательным взглядом, что задел Гавроша за живое.

— А позвольте вас спросить, господин пекарь, почему вы изволите так странно пялить на нас свои буркалы? — задорно спросил он.

Булочник молча отдал хлеб, взял с прилавка су и отвернулся.

— Нате вот, лопайте! — обратился Гаврош к детям, вручая каждому из них по куску хлеба.

Но мальчики изумленно глядели на него, не решаясь взять хлеб. Гаврош расхохотался.

— Ах да! Вы ведь не привыкли к таким словам! — догадался он и добавил: — Кушайте, мои пичужки.

Полагая, что старший из детей, казавшийся ему достойным более другого чести беседовать с ним, нуждается в особом поощрении, чтобы освободиться от колебания умиротворить свой голод, он присовокупил, сунув ему самый большой кусок хлеба:

— Вот, заложи себе это в свой клюв.

Самый маленький кусок он оставил себе. Булочник хотя и старался нарезать хлеб равными долями, но все-таки три части были не совсем одинаковой величины.

Бедные дети так же, как и Гаврош, были страшно голодны. Буквально разрывая хлеб зубами, они толклись в булочной, хозяин которой, удовлетворив их желание, смотрел теперь на них не очень ласково.

— Пойдемте, — сказал Гаврош своим спутникам.

И они все трое продолжили путь к Бастилии. Проходя мимо ярко освещенных окон магазинов, то и дело встречавшихся по пути, самый маленький из мальчиков каждый раз смотрел на свои свинцовые часики, которые висели у него на шее на тоненьком шнурочке.

— Экий чижичек! — проговорил сквозь зубы Гаврош, с нежностью глядя на ребенка; потом после некоторого раздумья он прибавил: — Ну, если бы у меня были такие малыши, я бы их лучше берег!

Когда они доели свой хлеб и дошли до угла мрачной улицы Де-Баль, в глубине которой виднеется низенькая и угрюмая решетка тюрьмы Форс, кто-то вдруг проговорил:

— А! Это ты, Гаврош?

— А! Это ты, Монпарнас? — ответил тем же тоном Гаврош.

Хотя Монпарнас был переодет и имел на носу синие очки, тем не менее Гаврош сразу узнал его.

— Ишь, как ты защеголял! — продолжал Гаврош. — И шкуру напялил, похожую цветом на льняную припарку, и синие очки, как у лекаря. Умеешь наряжаться, черт бы тебя подрал!

— Тише, не ори так! — осадил его Монпарнас и поспешно увлек своего собеседника подальше от освещенных лавок.

Держась за руки, машинально последовали за ними и мальчики. Когда все очутились под темными сводами каких-то ворот, где они были защищены от дождя и от взглядов прохожих, Монпарнас спросил:

— Знаешь, куда я иду?

— В аббатство Горы Раскаяния, — бойко ответил Гаврош.

— Экий ты злоязычный! — засмеялся Монпарнас. — Я иду отыскивать Бабэ, — пояснил он.

— А! Так ее зовут Бабэ?

— Не ее, а его.

— Ага! Значит, мужчину Бабэ?

— Да.

— А я думал, его запрягли.

— Он отделался от запряжки.

И Монпарнас торопливо рассказал Гаврошу, как Бабэ в тот же день утром ухитрился улизнуть из Консьержери, куда его перевезли было; ему нужно было повернуть направо, в «коридор следствия», а он вместо того сумел повернуть налево и скрылся.

Гаврош подивился ловкости Бабэ.

— Ловкач! — похвалил он.

Добавив еще несколько подробностей о побеге, Монпарнас сказал:

— О, это еще не все!

Слушая Монпарнаса, Гаврош взял у него из рук тросточку, машинально потянул ее за верхнюю часть и вытащил из нее кинжал.

— Ага, — одобрительно воскликнул мальчик, вставляя на место оружие. — Ты, однако, с

запасцем!

Монпарнас подмигнул глазом.

— Черт возьми! — продолжал Гаврош. — Уж не собираешься ли ты сцепиться с фараошками?

— Кто знает? — с видом равнодушия отвечал Монпарнас. — Не мешает на всякий случай иметь при себе булавку.

— Что же ты думаешь делать нынче ночью? — спросил Гаврош.

— Так… кое-что, — с напускной важностью процедил сквозь зубы Монпарнас; потом, вдруг переменив предмет разговора, воскликнул: — Да, кстати!..

— Что такое? — полюбопытствовал Гаврош.

— Вспомнил кое-что. Представь себе: на днях встречаю одного буржуа, который наградил меня прекрасной проповедью и еще более прекрасным кошельком. Проповедь, конечно, я тотчас же забываю, а кошелек кладу в карман. Минуту спустя мне приходит в голову фантазия полюбоваться прекрасным подарком. Я опускаю

руку в карман, ищу и ничего не нахожу: кошелек исчез!

— Осталась, значит, одна проповедь? — насмешливо проговорил Гаврош.

— Да, а ты куда сейчас идешь?

— Иду укладывать спать вот этих ребятишек, — ответил Гаврош, указывая на своих опекаемых.

— Где же ты их уложишь?

— У себя.

— У себя? Да где же это?

— В своей квартире.

— А разве у тебя есть квартира?

— А ты как бы думал?

— Вот как! А можно узнать, где?

— В слоне.

Монпарнаса трудно было удивить, но теперь и он вытаращил глаза и с удивлением повторил:

— В слоне?!

— Ну да, в слоне, — хладнокровно подтвердил Гаврош и добавил: — Qeqseqela?

Это слово опять из того языка, на котором никто не пишет, но все говорят. Qeqseqela означает: qu'est ce que cela a? {Что из этого? (фр.).}

Хладнокровие мальчика вернуло и Монпарнасу его обычное самообладание. Делая вид, что проникся полным пониманием странного ответа Гавроша, он заметил:

— В слоне так в слоне. А удобно там?

— Ничего, довольно удобно, — сказал Гаврош. — Там, по крайней мере, хоть не дует так, как под мостами.

— А как ты туда влезаешь?

— А очень просто — возьму да и влезу.

— Стало быть, там есть лазейка? — продолжал Монпарнас.

— Есть. Только об этом никому не следует говорить. Лазейка между передними ногами.

Фараошки этого не знают.

— И ты карабкаешься туда, как кошка, не правда ли?

— Ты угадал. В один миг, не успеешь оглянуться, как меня уже нет. Но для этих малышей у меня есть лесенка, — добавил он после минутной паузы.

Монпарнас рассмеялся.

— А где ты раздобыл этих младенцев? — осведомился он. Гаврош просто ответил:

— Это мне один цирюльник подарил на память.

Монпарнас вдруг задумался.

— Однако ты сразу меня узнал, — заметил он точно про себя.

С этими словами он вынул из кармана два каких-то предмета, оказавшихся трубочками из гусиных перьев, завернутыми в вату, и всунул их себе в каждую ноздрю по одной. От этого нос его принял другой вид.

— Вот это тебя совсем перефасонивает, — заметил Гаврош, — и очень идет тебе. Тебе следовало бы всегда щеголять с этими штуками. С ними ты не так безобразен.

Монпарнас был красивый малый, но Гаврош любил посмеяться.

— Шутки в сторону, как ты меня теперь находишь? — спросил Монпарнас.

Голос его также совершенно изменился. Вообще Монпарнас в один миг преобразился до полной неузнаваемости.

— Чистый фокусник! — воскликнул Гаврош. — Представь нам что-нибудь.

Маленькие спутники Гавроша, которые до сих пор не вслушивались в беседу «больших» и были заняты ковырянием своих носов, при слове «фокусник» вдруг встрепенулись и уставились на Монпарнаса в радостном ожидании, что он им покажет какие-нибудь «штуки». К сожалению, Монпарнас, которому не трудно было бы потешить малышей, сразу сделался серьезным.

Он положил руку на плечо Гавроша и проговорил, отчеканивая каждое слово:

— Вот что, мой милый: если бы я был на площади с моим догом, дагом и дигом и если б вы дали мне десять су, то я, пожалуй, и не отказался бы позабавить вас, но ведь Масленица уже давно прошла.

Эта странная фраза произвела удивительное действие на Гавроша. Он с живостью обернулся и, внимательно обведя вокруг своими маленькими блестящими глазами, заметил в нескольких шагах городского сержанта, стоявшего к ним спиной.

— А! Вот оно что! — процедил он сквозь зубы и, пожимая руку Монпарнаса, прибавил шепотом: — Ну, пока прощай. Иду с ребятами к слону. В случае если я тебе понадоблюсь когда-нибудь ночью, ищи меня там. Квартира моя на антресолях. Привратника там не полагается. Спроси прямо господина Гавроша, и тебе все укажут.

— Хорошо, хорошо! — отвечал Монпарнас.

И они расстались. Монпарнас направился к Гревской площади, а Гаврош — дальше, к самой Бастилии. Он держал за руку старшего мальчика, который в свою очередь вел младшего. Последний несколько Раз оборачивался, чтобы посмотреть вслед «фокуснику».

Секрет фразы, которой Монпарнас предупредил своего собеседника о близости сержанта, заключался только в том, что в ней повторялись в различных сочетаниях буквы «д» и «г». Употребленные Монпарнасом слова, составленные с этими буквами, означали следующее: «берегись, нельзя говорить свободно». Кроме того, слова: «дог», «даг» и «диг» заключали в себе красоту, которая, разумеется, ускользала от Гавроша; Эти слова означали: «собака», «нож», «жена» и были взяты из словаря воровского жаргона, бывшего в сильном ходу между отщепенцами общества в тот великий век, когда Мольер славился своими литературными произведениями, а Калло — своей кистью.

Лет двадцать тому назад в юго-западном углу площади Бастилии, близ канала, прорытого в старом рву этой крепости-тюрьмы, красовался странный монумент. Теперь он почти совсем изгладился из памяти парижан, хотя должен был бы запечатлеться в ней навсегда, так как он был воплощением мысли «члена института, главнокомандующего египетской армией». Мы говорим «монумент», хотя в сущности это был только набросок. Но даже и этот набросок, этот великолепный черновик, этот величавый труп наполеоновской идеи, которую растрепали и разнесли по воздуху два-три последовательных порыва ветра, вошел в историю и принял вид чего-то законченного, противоречившего его характеру простого наброска. Это был слон сорока футов высотой, устроенный из камней и досок, с башней на спине, походившей на дом. Когда-то эта фигура была вымазана зеленой краской каким-нибудь маляром, но впоследствии сделалась черной от действия времени, дождя и непогоды. В открытом и пустынном углу площади широкий лоб слона, его хобот, клыки,

башня, исполинская спина и похожие на колонны ноги вырисовывались на ярком звездном ночном небе фантастически чудовищными силуэтами. Никто не знал, что, собственно, означала эта фигура. Это могло быть символом народной силы, мрачным, громадным и загадочным. Это было могучим, резко бросавшимся в глаза призраком рядом с невидимым призраком Бастилии.

Немногие иностранцы посещали этот памятник, а прохожие едва бросали на него взгляд. Он стал разрушаться, каждый год с его боков отваливались громадные пласты штукатурки, и получалось впечатление страшных зияющих ран. «Эдилы», как говорилось высоким слогом того времени, позабыли о нем с 1814 года. Исполинский слон стоял в своем углу мрачный, больной, распадающийся, окруженный перегнившей оградой, постоянно загаживаемый пьяными кучерами; брюхо его во всех направлениях было изборождено трещинами, из хвоста торчал брусок, между ног росла высокая трава. Так как уровень площади в течение этих

тридцати лет поднялся благодаря той медленно, не неотступно действующей силе, которая незаметно возвышает почву больших городов, то слон очутился во впадине, и казалось, что земля проваливается под его тяжестью. Сама по себе это была фигура загаженная, презренная, отвратительная, но гордая; в глазах буржуа — безобразная, в глазах мыслителя — печальная. В ней было что-то нечистое, что хотелось бы смести метлой, и вместе с тем сказывалось величие существа, которое собираются обезглавить.

Мы уже говорили, что ночью вид этой фигуры менялся. Ночь — вполне подходящая среда для всего теневого. Лишь только спускались сумерки, старый слон преображался, он становился величавым и грозным среди таинственного сумрака ночи. Принадлежа прошлому, он сделался достоянием ночи, и мрак шел к его величию.

Этот монумент, грубый, тяжелый, резкий, суровый, почти уродливый, но несомненно

величавый и проникнутый какой-то великолепной, дикой степенностью, исчез, уступив место чему-то вроде исполинской печи с трубой, заменившей девятибашенную крепость, как буржуазия заменила феодализм. Неудивительно, что печь явилась символом эпохи, все могущество которой заключалось в котле. Эта эпоха пройдет, она уже проходит теперь, когда начали понимать, что если и может заключаться сила в котле, то могущество заключается только в мозгу; другими словами, мир увлекается и управляется не локомотивами, а мыслями. Пристегивайте локомотивы к мыслям, тогда все пойдет хорошо, но не принимайте коня за всадника.

Поэтому, возвращаясь к площади Бастилии, скажем, что архитектор, создавший слона с помощью штукатурки, сумел создать нечто великое, между тем как архитектору печи с трубой и при помощи бронзы удалось сделать лишь ничтожную вещь.

Печная труба, окрещенная громким и звучным названием «Июльской колонны», этот неудачный памятник неудачной революции, еще в 1832 году была закрыта от взоров громадным ящиком из досок, об уничтожении которого мы со своей стороны сожалеем, и обширным дощатым забором, окончательно изолировавшим слона. В этот-то угол площади, еле освещенный слабым отблеском отдаленного фонаря, Гаврош вел подобранных им ребятишек.

Просим позволения прервать наш рассказ и напомнить читателю, что мы придерживаемся строгой истины. Двадцать лет тому назад действительно был привлечен к исправительному суду по обвинению в бродяжничестве и повреждении публичного памятника один ребенок, которого нашли спящим во внутренности слона площади Бастилии. Указав на этот факт, продолжаем наше повествование.

Дойдя до колоссальной фигуры слона, Гаврош понял, какое впечатление может произвести

бесконечно великое на бесконечно малое, и сказал своим спутникам:

— Не пугайтесь, ребятье!

Затем он пробрался сквозь отверстие ограды к слону и помог своим маленьким спутникам перелезть через брешь. Немного испуганные дети молча следовали за Гаврошем, вполне вверяясь этому маленькому провидению в лохмотьях, которое уже накормило их и обещало дать им ночлег.

За оградой во всю ее длину лежала лестница, служившая днем рабочим на соседней стройке. Гаврош с необыкновенной для его лет силой поднял эту лестницу и прислонил ее к передним ногам слона. Около того места, куда достигала лестница, в брюхе слона зияло нечто вроде темной ямы.

Гаврош указал своим спутникам на лестницу и на яму и сказал им:

— Ну, лезьте и входите в ту вон дверь, что видна наверху.

Мальчики в ужасе переглянулись.

— Ага! Струсили, ребятье! — вскричал Гаврош. — Смотрите, как это делается!

И, обхватив шероховатую ногу слона, он в один миг, не пользуясь лестницей, очутился наверху и с быстротой ужа скрылся во впадине, а через несколько мгновений дети увидели, как во мраке впадины белым призраком показалось его бледное лицо.

— Ну, влезайте теперь и вы, пигалицы! — крикнул он им. — Вы увидите, как тут хорошо… Лезь ты первый, — обратился он к старшему из мальчиков. — Я тебе помогу.

Мальчуганы подталкивали друг друга. Гамен внушал им одновременно боязнь и доверие; в союзе с проливным дождем взяло верх последнее чувство, и ребята решились на то, что казалось им настоящим подвигом. Первым полез наверх старший. Видя себя покинутым между огромных лап страшного зверя, младший порывался зареветь, но не посмел. Между тем старший со страхом взбирался все выше и выше по

перекладинам лестницы. Гаврош поощрял его ободрительными восклицаниями, точно учитель фехтования своих учеников или погонщик своих мулов:

— Смелей!.. Вот так!.. Не робей!.. Ставь теперь ногу вот сюда!.. Давай руку!.. Ну, еще немножко!..

И, когда мальчик был уж достаточно близко к нему, Гаврош с силой потянул его за руку к себе и сказал:

— Вот так, молодцом!

Заставив затем ребенка спуститься в яму, он добавил:

— Теперь, сударь, милости прошу садиться. Будьте как дома и ждите меня.

С ловкостью и быстротой обезьяны он выбрался из отверстия, соскользнул по ноге слона вниз, в густую траву, подхватил там младшего мальчика и поставил его сразу на середину лестницы, потом сам стал позади него и крикнул старшему:

— Эй, ты, пузырь, принимай братца, а я буду поддерживать его отсюда.

Не успел пятилетний карапузик опомниться, как тоже очутился во внутренности слона. Поднявшись вслед за малюткой, Гаврош сильно толкнул лестницу, так что она упала на землю, забрался в трещину и, захлопав в ладоши, весело воскликнул:

— Вот мы и добрались!.. Да здравствует генерал Лафайет!

После этого взрыва веселости он прибавил:

— Ну, цыпочки, теперь вы у меня!

Действительно, Гаврош был тут у себя дома. О, неожиданная польза бесполезного, милосердие великих творений, доброта исполинов! Этот величавый памятник, содержавший в себе мысль императора, стал жилищем гамена! Ребенок был принят и укрыт великаном. Проходя по праздникам мимо слона на площади Бастилии, разряженные буржуа окидывали его презрительным взглядом глупо

вылупленных глаз и бурчали: «Ну на что это годно!» А «это» служило для того, чтобы спасти от холода, снега, града, дождя, вьюги, укрыть от зимнего ветра, предохранить от сна среди грязи, последствиями чего бывает лихорадка, избавить от сна среди снега, ведущего к смерти, укрыть и защитить от всего этого маленькое существо без отца, без матери, без хлеба, без одежды, без приюта. «Это» служило для того, чтобы дать убежище невинному существу, отвергнутому обществом. «Это» служило для того, чтобы смягчить вину общества. «Это» была берлога того, для которого были заперты все двери. Казалось, ветхий жалкий мастодонт, изъеденный червями и забвением, покрытый волдырями, ранами и плесенью, расшатанный, источенный, покинутый, отверженный, этот в некотором роде исполинский нищий, тщетно моливший о ласковом взгляде проходивших по площади, сам пожалел другого нищего, бедного пигмея, который не имел над головой крова и бродил по городу босой, согревая дыханием окоченевшие пальцы, рваный, питающийся тем, что

выбрасывается вон, как никому не годное. Вот к чему служил слон Бастилии. Эта мысль Наполеона, отвергнутая людьми, была принята Богом. То, что могло быть только славным, если бы было довершено по первоначальному замыслу, сделалось великим. Чтобы вполне воплотить свою мысль, императору нужен был порфир, железо, бронза, золото, мрамор, для Бога же было достаточно одних тех старых материалов, из которых был составлен набросок: досок, балок и штукатурки. Император увлекся грандиозной мечтой: в этом титаническом слоне, вооруженном, мощном, с поднятым хоботом, с башней на спине, окруженном фонтанами с весело журчащими живительными струями кристальной воды, он хотел олицетворить народ; Бог сделал из этого нечто более великое — приют для беспризорника.

Трещина, которой пользовался Гаврош для того, чтобы проникнуть во внутренность слона, находилась в нижней части брюха исполинской фигуры; снаружи она не была заметна при беглом

взгляде и притом настолько была узка, что в нее могли пробраться только кошки да дети.

— Ну, сначала надо сказать швейцару, что нас нет дома, если кто будет спрашивать, — с важностью проговорил Гаврош.

Юркнув в потемки, с уверенностью человека, знающего все закоулки своей квартиры, он достал доску и закрыл ею трещину. Затем дети услышали слабый треск спички, всунутой в пузырек с фосфорическим составом. Спичек в нашем понимании тогда еще не существовало; прогресс в ту эпоху представлялся огнивом Фюмада.

Внезапный свет заставил детей зажмуриться. Гаврош зажег кусок фитиля, пропитанного смолою. Такие фитили назывались «погребными крысами». «Крыса» Гавроша, более чадившая, чем светившая, очень слабо озаряла внутренность слона. Озираясь вокруг, маленькие гости Гавроша испытывали нечто сходное с тем, что испытывал бы человек, заключенный в знаменитую исполинскую гейдельбергскую

банку или, еще вернее, что испытывал Иона во чреве кита. Они видели охватывавший их со всех сторон гигантский остов. Длинное почерневшее бревно над их головами, от которого на равном расстоянии выгибались по бокам толстые жерди, изображало позвоночный столб с ребрами, от бревна свешивались в виде сталактитов просочившиеся когда-то сверху и застывшие струи штукатурки, а между противоположными ребрами протягивались серыми перепонками густо запыленные паутины. Тут и там в углах виднелись какие-то черные пятна, которые казались живыми; они быстро и суетливо шевелились, точно испуганные. Обломки, упавшие сверху и заполнившие нижнюю часть того, что изображало брюшную полость слона, позволяли свободно ходить в этой полости, как по полу.

Младший из мальчуганов прижался к брату и пролепетал:

— Ой, как темно!

Эти слова рассердили Гавроша. Притом мальчики выглядели такими испуганными, что, по мнению гамена, им нужна была известная встряска.

— Чего вы там пищите! — крикнул он. — Вам не нравится здесь? Не нарядно для вас?.. В Тюильри, что ли, прикажете вас поместить?.. Скоты вы после этого!.. Смотрите вы у меня! Я ведь шутить с собой не позволю! Я вам покажу, как рыло воротить! Подумаешь, какие важные особы!

При боязни бывает очень полезна легкая суровость: она успокаивает. Дети подошли к Гаврошу и прижались к нему.

Тронутый таким доверием, он сразу перешел от строгости к ласке и, обратясь к младшему, мягко сказал ему:

— Дурачок ты этакий! Темно-то не здесь, а на дворе. На дворе льет дождь, как из ведра, а здесь его нет. На дворе стужа, а здесь хоть не дует. На дворе куча народа, а здесь — никого, кроме нас.

На дворе даже луны не видать, а здесь моя свечка, черт возьми! Чего же вам еще надо?

Дети начали посмелее оглядывать свое помещение, но Гаврош не дал им долго заниматься этим.

— Ступайте туда, — сказал он им, вталкивая их в глубину своей «комнаты», где помещалась его постель.

Постель Гавроша была вполне «как следует» — с тюфяком, «одеялом» и «альковом с пологом». Тюфяком служила соломенная циновка, одеялом — большая, почти новая и очень теплая серая шерстяная попона, альков же был устроен следующим образом: три длинных шеста — два спереди, один сзади — были прочно закреплены внизу брюшной полости слона, а верхушками связаны вместе, так что получился пирамидальный шатер. На этот шатер была накинута проволочная сеть, искусно прикрепленная к шестам. Сеть эта составляла часть клетки, в которых помещаются в зверинцах птицы. К «полу» она была прикреплена рядом

тяжелых камней, положенных на ее края. Под этим-то шатром, очень напоминавшим экскимосский, и находилась постель Гавроша. Шесты представляли «альков», а сеть — «полог».

Гаврош раздвинул несколько камней спереди, и «полог», плотно запахнутый, раскрылся.

— Ну, малыши, вот вам и постель; ложитесь! — сказал гамен, помогая им пробраться под шатер.

Потом он сам забрался вслед за ними и так же плотно закрыл опять полог и прикрепил его камнями, но только уже с внутренней стороны. Все трое растянулись на циновке.

Как ни были малы ребята, но ни один из них не мог бы стоять в алькове, потому что он был слишком низок.

Гаврош все время держал в руке свою «крысу».

— Теперь извольте дрыхнуть! — скомандовал он. — Я потушу канделябр.

— Сударь, — спросил старший мальчик, показывая на сетку, — а это что такое?

— Это от крыс, — с важностью отвечал Гаврош. — Дрыхните же, говорю вам!

Однако через секунду он счел нужным снизойти к незнанию малюток и прибавил им в поучение:

— Все, что вы здесь видите, взято мною из зоологического сада от зверей. Там всего этого много, целая кладовая. Стоит только перелезть через стену, вскарабкаться в окошко, проползти под дверь, и бери что хочешь.

Во время этого объяснения он закутывал меньшего мальчика частью попоны.

— Ах, как тепло! Как хорошо! — бормотал обрадованный ребенок. Гаврош с довольным видом полюбовался на одеяло и сказал:

— И это тоже из зверинца. Это я взял у обезьян.

Затем, указав на циновку, которая была очень толстая и превосходной работы, прибавил:

— А это я взял у жирафа. — После небольшой паузы он продолжал: — Это все было у зверей. Я отнял у них. Они на это не рассердились. Я им сказал: «Это для слона». — Он снова немного помолчал и потом пробурчал: — Лезешь себе через стены и знать никого не хочешь. Да и чего бояться?

Дети с изумлением и боязливым уважением смотрели на это предриимчивое и изобретательное существо, которое было таким же бродягой, как они, таким же одиноким и жалким, но в котором было что-то особенное, что-то могучее, казавшееся им сверхъестественным, и лицо которого представляло собой смесь ужимок старого фокусника в соединении с самой прелестной, самой наивной улыбкой.

— Сударь, вы, значит, не боитесь жандармов? — робко спросил старший из мальчиков.

— Малыш, нужно говорить не жандармы, а фараоны, — наставительно заметил Гаврош.

Младший лежал молча, с широко открытыми глазами. Так как он находился с краю циновки, между тем как брат его приходился посередине, то Гаврош загнул вокруг него одеяло, как сделала бы мать, и устроил ему с помощью старых тряпок, подсунутых под циновку, нечто вроде подушки.

— А ведь тут недурно, а? — обратился он затем к старшему.

— О да! — ответил тот, глядя на Гавроша с выражением ангела, спасенного от смерти.

Вымокшие до костей дети начинали согреваться.

— А скажите-ка теперь, из-за чего вы давеча так хныкали? — продолжал Гаврош и, указывая на младшего, прибавил: — Этому карапузу еще простительно реветь, а такому большому, как ты, ужасно стыдно. Ты тогда становишься похожим на мокрую курицу и на идиота.

— Да ведь нам некуда было идти и было очень страшно одним, — ответил старший.

Гаврош то и дело прерывал его, советуя заменять многие выражения словами из воровского языка; мальчик благодарил его за наставление и обещал запомнить.

— Теперь вот что, — продолжал гамен тоном совсем взрослого и дельного человека, — прошу у меня никогда больше не реветь. Я буду беречь вас. Увидишь, как мы будем весело жить. Летом мы пойдем с одним из моих приятелей, Навэ, в Гласьеру, будем там купаться и бегать голышом по плотам перед Аустерлицким мостом, чтобы побесить прачек, которые этого терпеть не могут. Начнут орать, визжать и драться. Потеха с ними! Потом пойдем смотреть человека-скелета. Он живой. Его показывают на Елисейских полях. Худ, как вот эти шесты!.. Я свожу вас и в театр на Фредерика Леметра. У меня есть билеты. Я знаком с актерами, один раз даже сам играл в одной комедии. Нас было несколько ребятишек, и мы бегали под парусиной, которая изображала море. Я заставлю и вас принять в театр. Вы будете тоже актерами… Посмотрим и дикарей. Впрочем, эти дикари один обман. На них

напялено розовое трико, которое местами морщится, а на локтях заштопано белыми нитками. После этого сходим в оперу. Мы пройдем туда с клакерами. Оперная клака составлена очень порядочно. На бульваре я не покажусь с клакерами. Представь себе, в опере есть клакеры, которым платят по двадцати су. Но это дурачье: их так и называют… Потом пойдем смотреть, как казнят людей. Я покажу вам палача, господина Сансона. Он живет на улице Марэ. У его двери приделан ящик для писем… Ах, как мы будем веселиться! Чудо! Потом…

Но в это время капля горячей смолы упала на палец Гавроша и вернула его к действительности.

— Ах, черт! Вот и фитиль догорает! — воскликнул он. — Угораздило же меня жечь его столько времени! Я не могу расходовать на свое освещение больше одного су в месяц. Когда ложишься, надо тушить огонь и спать. Мы не из тех, кто может читать в постели романы господина Поль де Кока. Кроме того, свет может

пройти наружу сквозь щели наших главных ворот, и его могут заметить фараошки.

— Да и в солому может попасть искра и сжечь весь наш дом, — несмело заметил старший из гостей Гавроша, один только и решавшийся беседовать с ним.

— Никакой дурак не говорит «сжечь дом» — надо сказать «пустить красного петуха», — поправил Гаврош своего собеседника.

Потом, прислушавшись к бушевавшей на дворе грозе, к громовым раскатам и к ливню, с шумом падавшему на спину слона, во внутренности которого они лежали, он сказал:

— Ишь ведь как хлещет! Люблю слушать, как злится дождь. Старый водовоз совсем напрасно теряет столько товара: мы не взмокнем здесь, уж будьте покойны!.. Вот он и злится. Ну, да пускай его!

Только Гаврош успел выразить свое презрение к силам природы в чисто рационалистическом вкусе начала XIX столетия, как сверкнула такая

молния, что часть ее ослепительного отблеска проникла сквозь не совсем плотно загороженную щель в брюхе слона, и вслед за тем грянул оглушительный удар грома. Маленькие гости Гавроша вскрикнули от ужаса и вскочили с такой живостью, что чуть не повалили всего сооружения над постелью. Гаврош повернул к ним свое смелое лицо и смешал свой хохот с раскатами грома.

— Тише, ребята! — сказал он. — Этак вы у меня тут все разрушите… Вот так славный удар! Это не то, что дурища-молния, которой даже и не слыхать… И в театре Амбигю получше делают грозу.

Он поправил сдвинувшуюся немного проволочную сеть, тихонько толкнул ребятишек на постель и, заставив их снова лечь, сказал:

— Если Боженька запалил свой фонарик, то я осмеливаюсь потушить свой. Спите, человечки! Нехорошо не спать по ночам. От этого из пасти будет вонять, или, как это говорится в большом свете: «изо рта будет нехорошо пахнуть».

Завертывайтесь хорошенько в одеяло… Ну, закрылись?

— Да, — прошептал старший, — мне очень хорошо. Словно под головой пух.

Дети крепко прижались друг к другу. Гаврош расправил под ними сбитую циновку, еще раз подоткнул везде попону, снова велел им спать и задул фитиль.

Только что он успел сам хорошенько улечься, как проволочный шатер стал трястись под влиянием чего-то странного. Слышалось глухое трение вроде когтей и зубов о проволоку, издававшую резкие металлические звуки. При этом что-то пищало на разные голоса.

Младший мальчик, услыхав возле себя эту непонятную возню и задрожав от ужаса, толкнул локтем старшего, который уже спал по приказу Гавроша. Тогда ребенок, не помня себя от страха, осмелился обратиться к Гаврошу робким шепотом, боясь даже громко дохнуть.

— Сударь!

— Чего тебе? — отозвался гамен, начинавший уже дремать.

— Что это такое?

— Крысы, — спокойно ответил Гаврош, укладывая поудобнее голову.

Действительно, это были крысы, кишмя кишевшие в остове слона и изображавшие те самые живые черные пятна, о которых мы говорили выше. Пока горел огонь, крысы держались в почтительном отдалении, но как только в этой яме, населенной ими бог весть когда, снова воцарилась обычная темнота, они, почуяв то, что славный сказочник Перро называл «свежим мясом», толпами набросились на шалаш, с таким искусством устроенный Гаврошем, вскарабкались на верхушку и с ожесточением принялись грызть проволоку, надеясь прорвать ее своими острыми зубами и таким образом забраться во внутренность шалаша.

Между тем меньший мальчик все еще не спал.

— Сударь! — снова окликнул он Гавроша.

— Ну что еще, карапуз?

— Что такое крысы?

— Крысы — это мыши.

Такое объяснение немного успокоило ребенка. Он видел уже белых мышек и не боялся их. Тем не менее он через минуту снова возвысил свой голосок:

— Сударь!

— Ну?

— А почему у нас нет кошки?

— У меня была кошка, но ее съели.

Это второе объяснение уничтожило благотворное действие первого, и мальчуган снова начал тревожиться. Между ним и Гаврошем снова возобновился следующий разговор:

— Сударь!

— Ну еще что?

— Кого это съели?

— Кошку.

— А кто же съел ее?

— Крысы.

— Мыши?

— Да, крысы.

Пораженный тем, что находится в обществе мышей, которые съедают кошек, ребенок продолжал:

— Сударь, а нас не съедят эти мыши?

— Наверное, они бы не прочь, — отвечал Гаврош, но, видя, что ребенок совсем замер от ужаса, прибавил: — Не бойся, цыпленок! Мыши не могут пробраться к нам. Да и потом ведь я здесь. На вот, возьми мою руку. Молчи и спи.

С этими словами он протянул свою руку ребенку, который прижался к ней и успокоился. Мужество и сила таинственным способом передаются от одного к другому.

Звук голосов испугал и отогнал крыс. На время вокруг шалаша водворилась полная тишина. Но через несколько минут крысы снова вернулись и с еще большим ожесточением принялись за решетку. К счастью, мальчики уже крепко спали и ничего не слышали.

Часы шли за часами. Мрак окутывал огромную площадь Бастилии. Холодный, настоящий зимний ветер, смешанный с дождем, бушевал как в степи. Патрули осматривали ворота, аллеи, огороженные места, темные закоулки и в поисках ночных бродяг молча проходили мимо слона. Застыв в своей неподвижной позе, с широко открытыми глазами чудище казалось погруженным в раздумье о том добром деле, которое оно совершило, приютив от непогоды и от людей сладко теперь спавших в нем детей.

Чтобы понять то, о чем сейчас будет речь, следует знать, что в описываемую эпоху гауптвахта Бастилии помещалась на другом конце

площади, откуда не могло быть замечено часовыми ничего, что происходило около слона.

В исходе того часа, который непосредственно предшествует рассвету, из улицы Сент-Антуан торопливо вышел на площадь Бастилии какой-то человек. Осмотревшись вокруг, он бегом направился через площадь к Июльской колонне, обогнул ее и проскользнул сквозь палисадник под брюхо слона. Если бы свет озарил этого человека, то можно было бы заметить, что он весь промок, проведя, очевидно, всю ночь под дождем. Добравшись до слона, он испустил странный крик, который мог бы быть вполне воспроизведен разве только попугаем. Он два раза повторил этот крик, о котором следующее сочетание букв может дать приблизительное понятие: «Кири-кикиу!»

На вторичный крик из брюха слона отозвался молодой, ясный и веселый голос:

— Здесь!

Вслед за тем доска, закрывавшая отверстие в слоне, отодвинулась, и из-за нее показался мальчик, который, проворно скользнув вдоль

ноги слона, спрыгнул с ее нижней оконечности на землю. Мальчик этот был Гаврош, а вызывавший его — Монпарнас.

Должно быть, крик Монпарнаса был условным и означал: «Здесь ли ты, Гаврош?»

Услышав этот крик сквозь сон, гамен тотчас же вскочил, выполз из своего алькова, раздвинув немного сеть, затем снова тщательно задвинул и закрепил ее, после этого он открыл люк и спустился вниз.

Монпарнас и Гаврош сразу узнали друг друга в ночной темноте. Монпарнас ограничился словами:

— Ты нам нужен. Иди, помоги нам немного.

Гамен не потребовал других объяснений.

— Иду, — сказал он.

Они направились к улице Сент-Антуан, из которой появился Монпарнас, проворно пробираясь между повозками крестьян, в свою очередь спешивших пораньше попасть на рынок.

Крестьяне, лежавшие на своих повозках посреди различных овощей и плотно закутанные с головы до ног от проливного дождя в плащи, даже не взглянули на этих странных прохожих.

Глава 251

Вот что происходило в эту самую ночь в тюрьме Форс.

Бабэ, Брюжон, Гельмер и Тенардье договорились бежать, несмотря на то, что последний находился в одиночной камере. Бабэ уже успел скрыться днем, как мы уже узнали из слов Монпарнаса. Монпарнас должен был помочь бегству остальных. Брюжон воспользовался своим месячным пребыванием в карцере для того, чтобы, во-первых, сплести веревку, а во-вторых, спокойно обдумать план побега. В былое время карцеры, в которых наказываемый предоставлялся самому себе, состояли из четырех каменных стен, каменного потолка, вымощенного каменными плитами пола, защищенного решеткою окошечка, и двери, обитой железом.

Вся обстановка этих помещений состояла из походной койки, и они назывались тюремными кельями. Ныне же, когда нашли, что подобные карцеры не соответствуют идее гуманности, эти помещения состоят из железной двери, решетчатого окошечка, каменного пола, каменного потолка и четырех каменных стен, они снабжены походной койкой и называются камерами для наказуемых. Около полудня туда заглядывает свет. Неудобство этих камер состоит в том, что заключенные в них предоставлены своим мыслям, вместо того чтобы быть занятыми работой.

Брюжон, как мы уже говорили, вынес из своего заключения веревку и много мыслей. Считая его слишком опасным для помещения во дворе Карла Великого, его посадили в Новом здании. Первое, что нашел Брюжон в Новом здании, был Гельмер, второе — гвоздь. Гельмер представлял собою преступление, гвоздь — свободу.

Брюжон, о котором пора дать читателю полное понятие, при всей своей наружной хилости и глубоко рассчитанной вялости, был ловкий малый, хитрый прохвост, с ласкающими глазами и жестокой улыбкой. Его взгляд был результатом его воли, а улыбка — результатом его натуры. Первые его опыты в изучении воровского искусства проделывались над кровлями домов; он сильно способствовал развитию прогресса той отрасли промышленности, которая состоит в срывании цинковых листов с крыш и в отвинчивании свинцовых водосточных труб.

Настоящий момент казался очень благоприятным для попытки бегства, так как в это время кровельщики работали над возобновлением части аспидных крыш тюрьмы. Благодаря этому двор Сен-Бернара не был полностью изолирован от дворов Карла Великого и Сен-Луи, потому что рабочие между этими дворами устроили леса и лестницы, то есть мосты и ступени, которые могли вывести на свободу

Новое здание, до невозможности ветхое и истрескавшееся, было слабым местом тюрьмы. Стены этого здания были так изъедены селитрой, что оказалось необходимым обшить тесом все своды дортуаров, потому что с них сыпались камни прямо на спящих заключенных. Несмотря на ветхость Нового здания, в него, по странной ошибке администрации тюрьмы, сажали как раз самых опасных подсудимых, за «особо важные дела», как говорится на тюремном языке.

Новое здание заключало в себе четыре камеры и мезонин, носивший название Бель-Эр. Широкая печная труба, очевидно, сохранившаяся со времен герцогов Лафорс, проходила снизу вверх через все четыре яруса и, разрезав надвое все камеры, в виде сплющенного столба выходила на крышу.

Гельмер и Брюжон находились в одном дортуаре. Из предосторожности их поместили в нижнем ярусе. Благодаря случайности изголовья их коек упирались в печную трубу. Тенардье помещался как раз над их головами, в Бель-Эре.

Прохожий, который остановится на улице Кюльтер-Сен-Катрин, возле казармы пожарных, перед воротами бань, может увидеть большой двор, наполненный цветами и растениями в ящиках. В глубине двора расположена небольшая белая каменная ротонда, оживленная зелеными ставнями и удлиненная по бокам флигелями, точь-в-точь как в идиллических мечтах Жан-Жака. Не более десяти лет тому назад над этой ротондой высилась голая, черная, отвратительная стена, к которой зданьице примыкало своей задней стороной. Это была стена тюрьмы, по которой ходил дозор. Она имела вид Мильтона, выглядывавшего из-за Беркена.

Но, как ни была высока эта стена, над нею еще выше поднималась крыша. Это была крыша Нового здания. В ней виднелись четыре слуховых окна, снабженных железными решетками. Это были окна Бель-Эра. Из крыши высовывалась та самая труба, которая проходила по всем дортуарам.

Обширная мансарда Бель-Эр была защищена тройной решеткой и дверями, обшитыми толем и усеянными громадными гвоздями. Если войти в эту мансарду с северной стороны, то по левую руку можно было видеть четыре слуховых окна, а по правую, как раз против окон, четыре довольно большие квадратные клетки, отделенные одна от другой узенькими проходами и состоявшие в нижней части из каменной кладки, а в верхней — из железных брусьев.

Тенардье находился в одной из этих клеток с ночи 3 февраля. Впоследствии никак не могли понять, каким путем ему удалось добыть и скрыть у себя бутылку того наркотического средства, изобретение которого приписывается Дерю и которое было так прославлено шайкой знаменитых «усыпителей».

Во многих тюрьмах под видом служащих водятся мошенники, которые помогают бегству заключенных и при случае, если это выгодно, продают полиции вверенные им тайны.

В ту самую ночь, когда Гаврош приютил «у себя» бездомных ребятишек, Брюжон и Гельмер, знавшие, что бежавший утром Бабэ ожидает их на улице, так же как и Монпарнас, потихоньку поднялись и принялись сверлить гвоздем, найденным Брюжоном, трубу, смежную с их койками. Обломки кирпичей падали прямо на койку Брюжона, так что не производили никакого шума. Порывы бури, сопровождавшей грозу, сотрясали двери на тяжелых петлях и вместе с раскатами грома производили ужасный шум, очень выгодный для собравшихся бежать. Те из заключенных, которые просыпались от этого грохота и стука, делали вид, что не замечают деятельности Гельмера и Брюжона, и старались снова заснуть. Брюжон был ловок, Гельмер — силен. Прежде чем до ушей тюремщика, спавшего рядом с дортуаром в своей решетчатой клетке, дошли подозрительные звуки, труба была уже пробита, беглецы успели выбраться через нее на крышу, пробив железную сетку, защищавшую верх трубы. Дождь и ветер бушевали. Крыша была скользкая.

— Ну, ночка! В такую только и драпать деловым ребятам! — заметил на своем блатном языке Брюжон.

Между крышей, на которой теперь находились беглецы, и стеной, по которой ходили часовые, лежала пропасть футов шесть шириной и восемьдесят глубиной. В глубине этой пропасти сверкало в темноте ружье часового.

Беглецы привязали сделанную Брюжоном в карцере веревку к перекладинам трубы, на которых держалась железная решетка, и перебросили свободный конец веревки через стену дозорных, потом одним смелым прыжком перескочили через зиявшую под ними пропасть и, уцепившись за верхний край стены, один за другим спустились по веревке на маленькую крышу, примыкавшую к зданию бань; соскочив затем во двор этого здания, они быстро перебежали его, толкнули форточку привратника, около которой висел его шнур, отворили ворота и очутились на улице.

Прошло всего каких-нибудь три четверти часа с той минуты, как они поднялись в потемках со своих коек с гвоздем в руках и планом бегства в головах. Несколько минут спустя они присоединились к Бабэ и Монпарнасу, бродившим около тюрьмы. Подтягивая к себе веревку, беглецы оборвали ее, поэтому часть веревки так и осталась на трубе; с ними самими ничего особенного не случилось, кроме того что они содрали у себя почти всю кожу на руках.

В эту ночь Тенардье был предупрежден — тоже неизвестно каким способом — и не спал. Около часа ночи, несмотря на страшную темноту, он заметил, как мимо слухового окна, приходившегося напротив его камеры, пробрались по крыше среди бури и ливня две тени. Одна из них на миг остановилась возле окошка. Это был Брюжон. Тенардье его узнал и все понял. Больше ему ничего не было нужно.

Тенардье, как опасный злодей, задержанный по обвинению в ночном разбое с оружием в руках, зорко охранялся. Перед его камерой

постоянно прохаживался с ружьем наготове часовой, сменявшийся каждые два часа. Бель-Эр освещался отверстием в стене. На ногах у Тенардье были кандалы пятьдесят фунтов весом. Ежедневно, в четыре часа пополудни, в его камеру входил тюремщик в сопровождении двух собак, как это водилось в ту эпоху, опускал возле его койки на пол двухфунтовую буханку черного хлеба, кружку с водой и чашку с жидким бульоном, в котором плавало несколько бобов самого низкого сорта, затем тщательно осматривал оковы и постукивал по решеткам. Кроме того, он заглядывал к заключенному раза два ночью.

Тенардье получил разрешение иметь у себя небольшой железный гвоздь, которым он закрывал стенную щель, служившую ему местом для хранения хлеба. Он говорил, что, вставляя гвоздь в отверстие, он таким способом мешает крысам проникнуть к его хлебу. Так как преступник тщательно охранялся, то ничего подозрительного в этом гвозде не нашли. Только впоследствии вспомнили слова одного из

сторожей, который говорил в то время: «Лучше бы дать ему деревянный шип».

В два часа ночи часового, старого опытного солдата, сменил молодой новобранец. Немного спустя в келью Тенардье явился с обычным визитом тюремщик с собаками и ушел, не заметив ничего подозрительного. После при допросе он показывал, что ему не понравился только часовой его «молодостью и деревенской тупостью». Два часа спустя, то есть в четыре часа утра, когда явились сменить новобранца, последний оказался так крепко спящим, растянувшись пластом на полу возле клетки Тенардье, что не было никакой возможности разбудить его. Самого же Тенардье и след простыл. После него остались только разбитые кандалы на каменном полу клетки. В потолке было пробито одно отверстие, а над ним, в крыше, — другое. В койке недоставало одной доски, которую беглец, вероятно, унес для чего-нибудь с собой, потому что ее нигде не нашли. В камере оказалась полуопорожненная бутылка со

снотворным, посредством которого был усыплен и часовой. Штык солдата исчез.

В ту минуту, когда все это открылось, все были уверены, что Тенардье успел уже скрыться и что всякие поиски будут бесполезны. На самом же деле он, хотя и находился вне стен Нового здания, но был еще очень близко от них и не в полной безопасности.

На повороте с улицы Баллэ на улицу Короля Сицилии, по правую сторону, находился глухой пустырь. В прошлом веке там стоял дом, от которого осталась одна задняя стена прочной каменной кладки, высившаяся на одном уровне с третьими этажами соседних домов. Эту развалину легко можно узнать по двум четырехугольным большим окнам, которые сохранились до сих пор. Одно из этих окон то, которое ближе к правой стороне, было перегорожено старой, источенной червями балкой в виде подпорки. Сквозь эти окна когда-то виднелась высокая мрачная стена тюремного дозора.

Вокруг пустыря шел забор из гнилых досок, подпертый пятью каменными тумбами. К стене бывшего дома примыкал небольшой барак. В заборе была калитка, которая несколько лет тому назад запиралась только на задвижку.

Наверху стены этого пустыря и очутился Тенардье в четвертом часу ночи. Как он туда пробрался, этого никто не мог понять. Вероятно, гроза с молнией и громом и помогали ему, и препятствовали в одно и то же время. Не воспользовался ли он лесами кровельщиков, чтобы пробраться с крыши на крышу, с ограды на ограду, до здания двора Карла Великого, потом до зданий двора Сен-Луи, отсюда до стены дозорных, а затем уж и на стену пустыря? Но на этом пути были такие пропасти, которые казались непреодолимыми. Может быть, он употребил доску, взятую им из койки, в виде моста между крышей Бель-Эра и стеной дозорных и, перейдя по такому ненадежному мосту на эту стену, прополз по ней вокруг всей тюрьмы до стены пустыря? Но стена дозорных представляла собой ломаную зубчатую линию, то спускавшуюся до

казармы пожарных, то поднимавшуюся до крыши бань, то перерезанную зданиями, то загнутую с острыми углами; притом же и часовые должны были бы заметить темный силуэт беглеца, когда он проползал мимо них по верху стены. Вообще, путь, по которому скрылся из тюрьмы Тенардье, остается почти неразрешимой загадкой. И тем и другим из предположенных способов бегство казалось невозможным. Вероятно, Тенардье, вдохновленный силой той страстной жажды свободы, которая превращает пропасти в простые рвы, железные решетки в камышовые плетенки, калеку в атлета, подагрика в птицу, тупость в инстинкт, инстинкт в ум, а ум в гениальность, — вероятно, говорим мы, Тенардье изобрел какой-нибудь третий способ, который никому другому не приходил на ум? Быть может… но это осталось его тайной.

Обыкновенному человеку не всегда возможно представить себе все чудеса бегства. Но беглец, повторяем, находится под влиянием наития. Мозг человека, бегущего во мраке из тюрьмы, освещен всеми небесными светилами и всеми молниями

грозы. Стремление к свободе так же возбуждает творческий дух, как стремление к выражению великого, вложенное в душу поэта, как говорят и о бежавшем беглеце: «Неужели он мог перебраться через эту крышу?» Точно так же говорят и о Корнеле: "Где это он взял слова: «Пусть он умрет!» Как бы там ни было, но Тенардье, весь в поту, насквозь промокший от дождя, в разодранной в клочья одежде, с ободранными руками, с локтями и коленями в крови, кое-как добрался до верхнего края стены пустыря и растянулся там в полнейшем изнеможении. Теперь его отделяла от земли только отвесная стена, высотою с трехэтажный дом. Веревка, которую он имел при себе, была слишком коротка для такого спуска.

Лежа наверху этой стены, бледный, истощенный и находясь пока еще под покровом ночи, он в отчаянии говорил себе, что скоро начнет светать, а он не может двинуться с места. Он леденел от ужаса при мысли, что через какие-нибудь несколько минут на соседней колокольне церкви Сен-Поль пробьет четыре часа и

явившийся на смену новый часовой найдет своего предшественника спящим под пробитым потолком Бель-Эра. В оцепенении смотрел он при свете фонарей на расстилавшуюся под ним мокрую и темную от дождя мостовую, которая была для него желанной и вместе с тем внушала ему ужас, представляя, с одной стороны, свободу, а с другой — смерть.

Он с тоской спрашивал себя, удалось ли бегство трем его сообщникам, слышали ли они его и явятся ли они к нему на помощь? Он напряженно прислушивался к тому, что происходило внизу. Пока он тут лежал, по улице никто не проходил, кроме патруля. Почти все крестьяне из Монтрейля, Шаронны, Венсенна и Берси направляются к рынку по улице Сент-Антуан.

Но вот пробило и четыре часа. Тенардье задрожал. Через несколько мгновений в тюрьме начался тот страшный переполох, который всегда возникает при обнаружении бегства кого-нибудь из заключенных. До слуха Тенардье доносились

хлопанье дверей, скрип решеток на петлях, Шум смятения на гауптвахте, хриплые крики тюремщиков, стук ружейных прикладов о каменные плиты двора. В решетчатых окнах дортуаров мелькали огни: то на одном этаже, то на другом. Бегали с факелами по Бель-Эру, вызывали пожарных из соседних казарм. Вскоре по крышам засверкали их медные каски, освещенные факелами среди дождя. в то же время Тенардье увидел со стороны Бастилии бледную полосу утренней зари, смутно обрисовывавшуюся на горизонте.

Он лежал на верху стены шириной десять дюймов, под проливным дождем, на краю двух пропастей, зиявших под ним с обеих сторон, лежал так, что не мог пошевельнуться, терзаясь мыслью о возможности падения с высоты и ужасом ожидания, что вот-вот его найдут и схватят. «Если брошусь вниз, — убьюсь насмерть; если останусь здесь, — буду схвачен», — пронеслось у него в голове. Другого результата своего бегства в эту ужасную минуту он не видел.

В этой мучительной тревоге он вдруг заметил, как по темной улице вдоль домов крался человек, вышедший из улицы Павэ. Незнакомец вышел на пустырь и остановился прямо под стеной, на которой как бы повис Тенардье. За этим человеком с разных сторон появились еще трое, также крадучись. Когда они все собрались на пустыре и очутились как раз под Тенардье, последний услышал их тихий шепот. Один из них отодвинул задвижку в калитке забора, и все четверо вошли за ограду. Тенардье был уверен, что эти люди собрались в этом закоулке с целью без помехи поговорить о своих личных делах вдали от глаз прохожих и часового, стоявшего на посту у ворот Лафорс. Правда, он стоял, всего в нескольких шагах от пустыря, но дождь держал его в это время в будке. Хотя Тенардье и считал себя погибшим, но он все-таки прислушался к речам стоявших внизу лиц, которых он не мог различить. Услышав, что эти люди говорили на воровском языке, в голове Тенардье мелькнула смутная надежда на спасение.

— Надо скорее убираться отсюда. Мешкать нечего, — тихо, но ясно проговорил первый незнакомец.

— А дождь-то какой, точно хочет потушить весь огонь в аду! — сказал второй. — Да потом того и гляди пройдет патруль. А тут рядом солдат на часах. В самом деле, как бы нас не подцепили!

По некоторым особенностям выражений обоих говоривших Тенардье узнал в одном из них Брюжона, а в другом — Бабэ.

Дело в том, что первый говорил «издеся» вместо «здесь», а второй — «тута» вместо «тут», что указывало на блатную музыку парижских застав и тюрьмы Тампля. Этот жаргон сохранился только в Тампле, где; Бабэ одно время торговал старьем, только по этому слову и мог узнать его Тенардье, потому что он так ловко изменил свой голос, что по этому голосу не было никакой возможности признать его.

— Подождем еще немного, — сказал третий. — Авось нас никто. здесь не заметит. Почем знать: быть может, мы ему и понадобимся.

В третьем незнакомце, по изящному обыкновенному языку, Тенардье узнал франта Монпарнаса, который отлично знал все блатные наречия, но не желал говорить ни на одном из них.

Четвертый молчал, но Тенардье по его широким плечам догадался, что это Гельмер.

— По-моему, нечего ждать! — возражал Брюжон Монпарнасу. — Кабатчику, наверное, не удалось бежать. Где уж ему знать, как приняться за такое дело! Не с его умом! Наделать из рубашки и простынь ленточек и свить из них веревку, просверлить двери, сделать фальшивые ключи, разбить свои кандалы, суметь спустить веревку, выбраться вон, скрываться, переодеваться и прочее — разве все это так легко? Не справился с этим старикашка и остался там, где был. Не умеет он работать!

— Да, наверное, ему не удалось, — поддержал товарища и Бабэ на том классическом, старинном жаргоне, на котором говорили Пулаллье и Картуш и который сравнительно с

новым смелым рискованным языком Брюжона был тем же самым, чем был язык Расина по сравнению с языком Андре Шенье. — Тут нужно быть мастером, а он только ученик, — продолжал Бабэ. — Скорее всего, он дал себя надуть кому-нибудь. Слышишь, Монпарнас, как там загалдели? Видишь, как они всюду зашныряли со всеми своими фонарями? Это значит, что его сцапали. Сделал только то, чтобы его приговорили еще на двадцать лет. Я не трус, это вы все знаете, но думаю, что нам лучше всего удирать отсюда подобру-поздорову, если мы не желаем опять попасться. Не злись, пойдем-ка лучше с нами и разопьем бутылочку доброго винца.

— Нехорошо бросать друзей в беде, — проговорил Монпарнас.

— Да говорят тебе, его поймали и снова запрятали. Теперь твоему кабатчику крышка. Нам его не спасти. Пойдем скорее. Мне так и чудится, что меня хватают за руки.

Монпарнас начинал сдаваться. Дело в том, что эти четыре разбойника со свойственной павшим людям верностью друг другу, когда нужно выручать товарища, всю ночь пробродили в одиночку вокруг тюрьмы в надежде увидеть Тенардье наверху какой-нибудь крыши или стены, ради того, чтобы сдержать данное ему слово, они рисковали собственной шкурой. Но страшный ливень и пронизывающий холод, насквозь промокшая одежда, худая обувь, начавшийся в тюрьме переполох, близость часового, угасшая надежда и зародившийся страх за свою собственную участь — все это вместе с приближением часа рассвета побуждало их к отступлению. Даже сам Монпарнас, который отчасти приходился зятем Тенардье, стал колебаться. Еще минута — и они все ушли бы. Тенардье задыхался на своей стене, как человек, присутствующий при крушении того плота, который должен был спасти его и извлечь из морской пучины.

Он не решался окликнуть товарищей: крик его мог быть услышан часовым, тогда все бы

погибло. Вдруг его осенила мысль, и ему сверкнул последний луч надежды. Он вытащил из кармана обрывок веревки Брюжона, найденный им на трубе Нового здания, когда он выбрался на крышу, он бросил этот обрывок вниз, и тот упал прямо к ногам его товарищей.

— Э, да ведь это веревка! — воскликнул Бабэ.

— Да еще моего изготовления, — подтвердил Брюжон, наклоняясь и рассматривая упавший предмет.

— Значит, он здесь, — догадался Монпарнас.

Все подняли глаза. Тенардье немного высунул голову с того места, где он лежал.

— Живее! — скомандовал Монпарнас. — Другой конец веревки у тебя, Брюжон?

— Понятно, не бросил же я его!

— Ну, так свяжи оба конца. Мы подбросим ему веревку, а он прикрепит ее к стене и слезет по ней.

— Я весь закоченел, — простонал Тенардье сверху.

— Ничего, согреешься, — отвечали ему снизу.

— Я не могу пошевельнуться.

— Ты только начинай слезать, а уж мы тебя подхватим вовремя.

— Да у меня пальцы окоченели.

— Как-нибудь прикрепи только веревку к стене.

— И этого не могу.

— Надо кому-нибудь из нас влезть к нему, — сказал Монпарнас товарищам.

— Высоковато! — заметил Брюжон.

Старая каменная труба, служившая для печки, которую некогда топили в старом бараке, тянулась вдоль стены почти до того места, где находился Тенардье. Эта труба, уже в то время сильно потрескавшаяся и полуобвалившаяся, с

тех пор совсем разрушилась, но следы ее видны до сих пор. Она была очень длинная и узкая.

— Можно, пожалуй, пролезть сквозь эту трубу, — соображал Монпарнас.

— В эту трубочку-то! — воскликнул Бабэ. — Ну, это мог бы сделать только ребенок, а взрослому и думать нечего.

— Надо найти какого-нибудь мальчишку, — сказал Брюжон.

— Где же его теперь возьмешь? — заметил все время молчавший Гельмер.

— Постойте! Я сейчас устрою это, — сказал Монпарнас.

Он потихоньку отворил калитку и осторожно выглянул в нее. Удостоверившись, что на улице никого нет, он выскользнул из пустыря и бегом направился к Бастилии.

Прошло семь-восемь минут, показавшихся всем восемью тысячами столетий, особенно Тенардье. Наконец калитка снова отворилась, и в ней показался запыхавшийся Монпарнас в

сопровождении Гавроша. На улице по-прежнему не было ни души благодаря сильному дождю и холодному ветру.

Маленький Гаврош вошел за ограду пустыря и спокойно смотрел на разбойников, к которым его привели.

— А что, малец, ты мужчина или нет? — обратился к нему Гельмер.

Гаврош пожал плечами и ответил:

— Такие мальцы, как я, всегда бывают мужчинами, а такие мужчины, как вы, иногда смахивают на ребят.

— Ишь, как у него исправно работает язык! — воскликнул Бабэ.

— Значит, сделан не из соломы, — сказал Брюжон.

— Да что вам нужно-то? — спросил Гаврош.

— Влезть наверх через эту вот трубу, — пояснил Монпарнас.

— Вот с этой веревкой, — добавил Бабэ.

— И привязать покрепче наверху этой стены, — сказал Брюжон.

— Вон там, за перекладину в окне, — дополнил Бабэ.

— Ну а потом что? — осведомился гамен.

— Это все, — ответил Гельмер.

Гаврош окинул взглядом веревку, трубу, стену, окно и испустил губами презрительный звук, означавший в переводе на понятный язык: «Только-то!»

— Там, наверху, сидит человек, которого ты спасешь, — сказал Монпарнас.

— Согласен? — спросил Брюжон.

— Эх вы, чудаки! — произнес мальчик и снял свои башмаки.

Гельмер одной рукой поднял его к поставил на крышу барака, прогнившие доски которого согнулись под тяжестью ребенка, затем передал ему веревку, которую Брюжон успел в отсутствие Монпарнаса крепко связать. Гамен направился к

трубе, в которую ему нетрудно было пролезть благодаря широкой бреши. В ту минуту, когда Гаврош влезал в трубу, Тенардье, видя, что к нему приближаются жизнь и свобода, свесил голову со стены. Первые лучи утренней зари еле освещали его покрытый потом лоб, его бледные скулы, заострившийся нос и его взъерошенную седую бороду, но Гаврош все-таки узнал его.

— Эге! Да ведь это мой родитель! — пробормотал он. — Ну, ладно, все равно!

Он взял конец веревки в зубы и решительно полез по трубе наверх. Добравшись до верха, он сел верхом на стену и крепко привязал веревку к перекладине окна.

Минуту спустя Тенардье уже был на улице. Едва только он коснулся ногами мостовой и понял, что находится вне опасности, тотчас же почувствовал себя так, как будто с ним не было ничего того, что его мучило наверху стены: ни холода, ни усталости, ни страха. Все, только что им пережитое, казалось ему теперь чем-то вроде кошмара, от которого он проснулся. Вся его дикая

энергия сразу вернулась к нему, и он готов был на новые подвиги.

Вот первые слова этого ужасного человека после избавления от страшной опасности:

— Ну, теперь кого мы будем есть?

Это слово на языке разбойников означает: убить, зарезать, ограбить, смотря по обстоятельствам.

— Теперь некогда долго разговаривать, — сказал Брюжон. — Кончим в трех словах и потом разойдемся. Было дело и, казалось, выгодное: улица Плюмэ, совершенно безлюдная, одинокий дом, сад со старой решеткой, в доме одни женщины…

— Ну, и что ж помешало? — перебил Тенардье.

— Твоя дочка Эпонина ходила туда… — начал Бабэ.

— И принесла Маньон сухарь, — добавил Гельмер. — Там нечего делать.

— Эпонина — девочка не глупая, — сказал Тенардье. — А все-таки нужно посмотреть самим.

— Да и по-моему тоже, — подхватил Брюжон.

Ни один из этих людей не обращал более внимания на Гавроша, который во время их беседы присел на одну из тумб у забора пустыря. Тщетно прождав несколько минут, что его отец обернется к нему, он обулся и сказал:

— Кончено? Я вам больше не нужен, господа мужчины? Да? Ну, так пойду будить своих карапузиков.

И, не дожидаясь ответа, он ушел.

Вскоре и все пятеро разбойников один за другим выскользнули из калитки пустыря.

Когда Гаврош исчез за поворотом улицы Баллэ, Бабэ отвел Тенардье в сторону и спросил:

— Видел ты мальчугана?

— Какого мальчугана?

— А того, который влезал к тебе на стену с веревкой?

— Нет, не разглядел. А что?

— Да мне сдается, что это твой сын.

— Ну? — изумился Тенардье. — Ты думаешь?

Глава 252

Pigritia — слово ужасное. Оно означает «лень».

Оно служит родоначальником целого мира — la pègre, читай: «воровство», и целый ад — la pegrenne, читай: «голод».

Таким образом, лень является прародительницей двух бедствий: воровства и голода.

С чем мы имеем тут дело? С арго.

А что такое арго? Это и народ и наречие; это воровство в двух видах: народа и языка.

Когда тридцать лет тому назад автор этого печального и мрачного повествования ввел в один из своих рассказов, написанный с той же целью, как настоящее произведение, вора, говорящего на арго, со всех сторон послышались удивленные или негодующие крики: «Что такое? Арго? Да на что нам знать арго? Ведь это нечто ужасное! Это язык галер, каторг, тюрем, то есть всего, что есть отрицательного в обществе» и т. д.

Мы никогда не могли понять этих возражений.

С того времени явилось два могучих таланта, из которых один — глубокий наблюдатель человеческого сердца, а другой — неустрашимый друг народа — Бальзак и Эжен Сю. Они так же заставили воров говорить на их особенном языке, как это сделал я в 1828 году. Поднялись те же крики: «Чего хотят эти писатели с таким возмутительным словом? Ведь арго так противен! Ведь он приводит в содрогание!» Кто же отрицает? Все это совершенно верно. Когда производят исследование раны, бездны или общества, разве можно винить исследователей за

то, что они проникают в самую глубину, до дна? Мы всегда думали, что в проникновении до дна есть своя доля храбрости, что это дело, во всяком случае, естественное и полезное, достойное одобрения и сочувствия, как всякий добросовестно выполненный долг. Не исследовать и не изучать всего, что можно, останавливаться на полдороге, — разве это похвально? Останавливаться — дело зонда, а не того, кто им управляет.

Действительно, спускаться на самое дно человеческого общества, туда, где кончается земля и начинается грязь, разворачивать эти густые осадки, ловить, схватывать и выносить еще теплым и трепещущим на поверхность это отвратительное наречие, покрытое той зловонной грязью, в которой оно зародилось, этот гнойный словарь, каждое слово которого кажется звеном кольчатого чудовища, сотканным из тины и мрака, — задача вовсе не привлекательная и не легкая. Нет ничего более зловещего, как освещенное светом мысли зрелище кишения арго. В самом деле, так и кажется, что вы видите

какую-то отталкивающую гадину, исчадие ночи, извлеченное из клоаки. Перед вами, точно живой, иглистый терновый вал, который шевелится, движется, грозно топорщится на вас и тревожно ищет возможности юркнуть обратно в свой родной мрак. Одно слово кажется острым когтем хищного зверя, другое — потухшим и кровоточащим глазом, а несколько связанных между собою слов вытягиваются и двоятся, как клешни краба. И все это, в своем единстве, проникнуто живучестью, которая внушает ужас и которая так свойственна всему, зарождающемуся в разложении.

Но с каких пор ужас стал помехою изучения? С каких пор болезнь стала отталкивать врача? Можно ли представить себе естествоиспытателя, который отказался бы изучать ехидну, летучую мышь, скорпиона, сколопендра, тарантула и бросил бы их назад в их родную среду — темноту, с негодованием воскликнув: «О, какое это безобразие!» Мыслитель, отвертывающийся от арго, был бы подобен хирургу, убегающему при виде смрадной раны или гнойного нарыва,

филологу, колеблющемуся разобрать какую-нибудь некрасивую особенность языка, или философу, оставляющему без внимания какое-нибудь нечистое явление жизни. Ведь арго, если хотите знать, это — явление, хотя и относящееся к области словесности, но представляющее результат общественного устройства или, вернее, — неустройства. Что такое, в сущности, арго? Язык убожества.

Здесь нас могут остановить, чтобы, так сказать, обобщить факт, — это иногда делается для его ослабления; могут нам возразить, что каждое ремесло, каждая профессия, каждая ступень социальной иерархии, каждая степень умственного развития имеют свое арго. Купец, биржевик, игрок, юрист, водевилист, комедиант, философ, охотник, френолог, пехотинец, кавалерист, фехтовальщик, типографщик, живописец, нотариус, парикмахер, чеботарь — все они говорят на своем арго, имея свои собственные особенные деловые термины. В сущности, каждое техническое слово есть арго. Арго существует не только в нижних слоях

общества, но и в высших; между тем и другим арго, разумеется, такая же страшная разница, как между отелем Рамбуйе и Двором чудес. И знатные дамы пишут свои любовные записки на арго; доказательства этому хранятся в исторических и частных архивах. Дипломатические шифры есть те же самые сводки замаскированных технических термйнов, секретный и условный язык — арго. Папский канцлер, цифрой 26 обозначающий «Рим» и пишущий grkztntyzyal вместо «посылка» и abfxustgrnogrkzutu XI вместо «герцог Модены», тоже прибегает к условному языку. Известная школа критики, провозгласившая лет двадцать тому назад, что «половина произведений Шекспира состоит из игры слов и каламбуров», разве не говорила на арго? Поэт и артист, которые с негодованием готовы обозвать господина де Монморанси «буржуа», если он недостаточно знает толк в стихах и статуях, говорят на арго. Академик-классик, называющий цветы Флорой, плоды Помоной, любовь огнем, море Нептуном, красоту прелестью, лошадь скакуном, белую или

разноцветную кокарду розой Беллоны, треугольную шляпу треуголкой Марса, говорит на арго. Алгебра, медицина, ботаника — все науки имеют свое арго. Язык, употребляющийся на кораблях, этот прекрасный богатый и живописный язык, смешивающийся с ревом волн, с воем и свистом бури, с треском мачт, с хлопаньем парусов, с гулом машины, с раскатами грома и пушечных выстрелов, — это тоже не что иное, как звучное, красивое и сильное арго, относящееся к арго общественного дна так же, как лев к шакалу.

Это так. Но что бы ни говорили, а с таким растяжением понятия об арго не всякий может согласиться. Что же касается нас, то мы намерены сохранить это понятие в его истинном, строго определенном смысле и видим в арго только то, что первоначально было названо этим словом. Настоящее арго, арго наивысшее, — если можно сопоставить эти два понятия, — арго старинное, происхождение которого теряется во мраке времен, — это, повторяем, не что иное, как безобразный, беспокойный, пронырливый,

предательский, ядовитый, злобный, трусливый, увертливый, низменный, подлый, роковой язык убожества. Убожество нравственно ютится на самом дне чаши всех человеческих несчастий и унижений и злобно выступает на борьбу против общества, с одной стороны, шпильками, то есть своими пороками, а с другой — дубинами, то есть своими преступлениями. Для этой борьбы убожество и придумало особенный язык — арго.

Заставить выплыть на поверхность и поддержать над бездною неведения и забвения хотя бы только один клочок языка, на котором когда-то говорили люди, то есть один из тех хороших или дурных элементов, из которых составляется или которыми обогащается цивилизация, это значит увеличить данные для изучения человечества, значит служить самой цивилизации. Это служение, вольно или невольно, выполнил Плавт, заставив своих карфагенских воинов говорить на финикийском языке. Выполнил его и Мольер, действующие лица произведений которого говорили на всевозможных наречиях.

Но здесь снова поднимается целый рой возражений: «Что ж, — кричат нам, — против финикийского языка и каких хотите наречий мы ровно ничего не имеем. Ведь на финикийском языке говорило целое государство, а наречия — языки провинций, и с ними, как бы они ни были грубы, можно мириться, ими можно даже заинтересоваться. Но ваше ужасное арго! На что нам его знать? Зачем его „извлекать на поверхность“, зачем вызывать его из мрака, где ему настоящее место, как вы сами говорите?»

На это мы ответим только одним словом. Да, — скажем мы. — Но если интересен язык какого-нибудь исчезнувшего народа или племени, то насколько же интереснее и достойнее глубокого внимания и изучения язык, на котором говорит человеческое страдание! Ведь на этом языке, — скажем хоть только о Франции, — более четырех столетий говорило не только какое-нибудь одно страдание, но страдание всеобщее, страдание всего человечества.

Мы настаиваем на этом потому, что изучать уродливость и недуги общества и указывать на них для того, чтобы против них были приняты где лечащие, где предупредительные меры, — это такая задача, от которой уклоняться мы не имеем права.

Никто не может быть верным историком наружной, бьющей в глаза жизни народов, если он хоть несколько не знаком с их внутренней, скрытой от поверхностного наблюдения жизнью. Точно так же нельзя быть хорошим историком общественных низов, не умея разбираться в явлениях, совершающихся в верхах. История мыслей и нравов проникает историю событий, и наоборот. В обществе все есть достояние истории, поэтому историк должен изучать все без исключения.

Человек — не круг, имеющий один центр; он, скорее, представляет собою эллипс с двумя центрами — явлениями и идеями.

Арго — нечто вроде костюмерной, в которой язык переодевается для дурных дел,

прикрывается словами-масками и завертывается в истрепанные метафоры. В этом виде язык становится ужасен. Он делается неузнаваем. Неужели это французский, великий народный французский язык? Взгляните на него, когда он готов выступить на сцену и подать реплику преступлению, готов исполнять все роли обширного репертуара зла. Он уже не ходит, а ковыляет, ковыляет на костылях Двора чудес, в одно мгновение ока превращающихся в дубины, он притворяется жалким нищим, добивающимся только милостыни, он загримирован всеми исчадиями ада, а они хорошо знают свое дело, он то тащится по земле, то вдруг выпрямляется, тем и другим напоминая ехидну. Он превосходно приспособлен для каких угодно ролей, искривленный подделывателем бумаг, пропитанный медянкою отравителя, вычерненный сажей поджигателя, разрумяненный кровью, пролитой убийцей.

Когда, стоя на стороне честных людей, вы прислушиваетесь к тому, что делается на стороне противоположной, то слышите какой-то

отвратительный смешанный говор, звучащий почти как человеческая речь, но с преобладанием звериного воя. Это — арго. Слова до невозможности искажены и пропитаны чем-то чудовищным, звериным. Получается такое впечатление, точно это говорят между собой гидры.

Это нечто неразборчивое во мраке, нечто скрежещущее, шушукающееся, сгущающее мрак своею загадочностью. Много мрака в несчастье, но еще больше его в преступлении; эти две слившиеся черноты и составляют арго. Сумрак в атмосфере, сумрак в поступках, сумрак в голосах. Страшен этот язык-жаба, который копошится, подпрыгивает, приседает, ползает, вьется, пресмыкается в этом непроницаемом тумане, сотворенном из ночной тьмы, дождя, голода, порока, лжи, несправедливости, наготы, удушья, холода, словом, из всего, что образует мир отверженных.

Будем же сострадательны к караемым!

Рассмотрим поближе жизнь, и мы увидим, что она вся проникнута, так сказать, карательной системой.

Вы принадлежите к числу тех, которых называют счастливыми? Но ведь и у вас нет ни одного беспечного дня! Каждый ваш день приносит с собой какую-нибудь маленькую заботу и какое-нибудь великое горе. Вчера вы дрожали за угрожаемую опасностью жизнь дорогого вам лица, ныне вы трепещете за свою собственную. Завтра вас будет беспокоить заминка в денежных делах, послезавтра — грязная ложь клеветника, потом — несчастье друга, а там, глядишь, плохая погода, что-нибудь у вас разбилось или потерялось, в вашей совести и на вашем здоровье отозвалось какое-нибудь прошедшее удовольствие. А вечные тревоги сердца? И мало ли что еще постоянно нарушает ваш покой! Не успела рассеяться одна туча на вашем горизонте, как тут же собирается другая. Едва ли у вас из ста дней найдется один, полный солнечного сияния и радости. А между тем вы находитесь в том почти незаметном

меньшинстве, считающемся счастливым! Что же остается большинству? — одна сплошная, непроглядная ночь.

Умы мыслящие не делят человечество на счастливых и несчастных; с их точки зрения в этом мире, составляющем, быть может, лишь преддверие к другому, нет вполне счастливых.

Делить человечество можно только на светлых и темных. Цель жизни в том, чтобы увеличить число светлых и уменьшить число темных. Поэтому мы и просим: дайте нам знания, просвещения! Учить кого-либо читать — значит возжигать светильник. Каждый разобранный слог есть искра света.

Однако свет — не всегда одно и то же, что радость. Страдают и в свете, потому что излишек света сжигает. Пламя — враг крыла. Гореть, не переставая в то же время летать, — вот в чем состоит чудо гениальности.

Когда вы познаете и когда полюбите, вы будете еще сильнее страдать. День рождается в

слезах. И светлые плачут, хотя бы над страданиями темных.

Глава 253

Арго — язык мрака. Этот загадочный, одновременно блеклый и возмущенный язык потрясает мысль в ее сокровеннейших глубинах, а общественную философию приводит в горестный трепет. В этом языке наглядно сказывается небесная кара. Каждый слог его несет на себе клеймо. Слова обыкновенного языка являются в нем сморщившимися и заскорузлыми под раскаленным железом палача. Некоторые из них кажутся еще дымящимися. Есть фразы, которые производят такое же впечатление, какое производит только что заклейменное плечо вора. В арго есть такие существительные, которые ошеломляют мысль, едва соглашающуюся укладываться в его извилистые рамки, отзывающие кандалами. Есть метафоры до такой степени наглые, что так и чувствуется их пребывание на позорном столбе.

Тем не менее, несмотря на все это или, вернее, благодаря всему этому, арго имеет право на особое помещение в том громадном складе, где есть место для позеленевшей медной монеты и для золотой медали и который называется литературою. Как бы ни смотрели на арго, но он также имеет свой синтаксис и свою поэзию. Это язык, как и всякий другой. Если уродство некоторых его слов заставляет предполагать, что на нем лопотал Мандрэн, зато блеск известных метонимов наводит на мысль, что на нем некогда говорил Вийон. Эти столь знаменитые и тончайшие по изяществу стихи о «снегах прошлых зим»: «Mais oj sont les neiges d'antan» {Но где же вы, снега прошедших лет? (фр.).}, по существу, написаны ведь языком арго, ибо что значит это странное и чужое в литературе слово antan! Ведь это ante annum — «то, что было перед этим годом» — это обозначение прошедшего на тианском арго.

С точки зрения чисто литературной немного найдется предметов, настолько же важных для изучения и настолько же плодотворных, как арго.

Это — язык в языке, своего рода болезненное новообразование, ядовитый отпрыск, пустившийся в рост, паразит, корни которого гнездятся в древнем галльском стволе, а мрачная листва расползлась по его ветвям. Так кажется при первом взгляде на арго. Но тем, которые основательно изучают язык, то есть как геологи изучают землю, арго представляется настоящим наносом. Смотря по глубине, до которой докапывается в арго исследователь, под верхним слоем древнего народного французского языка в арго находятся наслоения следующих элементов: языков провансальского, испанского, итальянского, левантийского, — бывшего языком всех портов Средиземного моря, — английского и немецкого, романского в его трех разновидностях — французско-романского, итальяно-романского и чисто романского, — латинского и, наконец, баскского и кельтского. Вообще арго представляет собой очень сложную и странную формацию, это нечто вроде подземного здания, возведенного соединенными усилиями всех несчастных. Каждое отверженное

племя оставило здесь слой своей кладки, каждое страдание приносило сюда свой камень, каждое сердце дало свой булыжник. Множество злых душ, низких или раздраженных, прошедших через жизнь и затем испарившихся в пространстве, оставили ясный, глубокий, почти неизгладимый отпечаток на чудовищных словах арго.

Умение рисовать словами, представляющими, неизвестно как и почему, какие-нибудь фигуры, составляет первоначальное основание, так сказать, гранит каждого человеческого языка. Из слов, неизвестно откуда возникших, без всякой этимологии, без аналогий, без видимых источников — слов отдельных, варварских, иногда отвратительных, но обладающих изумительною силою выразительности и живучести, — из таких именно слов и создается арго.

Будучи наречием растления, арго сам быстро растлевается. Он постоянно старается укрыться от посторонних и тотчас же преобразуется, как

только заметит, что его начали понимать. В противоположность всякой другой растительности, арго более всего боится солнечного света, потому что свет убивает его. Таким образом, арго беспрерывною чередою то разлагается, то созидается вновь; эта темная, но быстрая работа никогда не приостанавливается. Арго в десять лет делает более успехов, чем обыденный язык в десять веков.

Все слова этого изумительного живого языка постоянно находятся в бегстве, точно так же, как и сами люди, которые их изобретают. Между тем время от времени, именно по причине этого вечного движения, возрождается древнее арго и становится опять новым. Есть места, где древнее арго более устойчиво. Вообще в различных местах употребляется и различное арго. Например, в Тампле, в Бисетре и в других тюрьмах есть свое арго. Но и оно подчинено закону непрерывного изменения.

Когда философу удается на момент уловить почти неуловимое арго, пред ним открывается

богатый материал для полезных, хотя и грустных, размышлений. Нет труда более поучительного, чем изучение арго. Нет ни одной метафоры, ни одной этимологии арго, которые не содержали бы в себе чего-нибудь поучающего. На языке отверженных «бить» выражается словом «притворяться», это означает, что вся их сила в хитрости. У этих людей понятие о человеке нераздельно с понятием о тени. Ночь у них называется la sorgue, человек — l'orgue. Следовательно, по их воззрениям, человек есть произведение ночи.

Отверженные привыкли смотреть на общество как на среду, которая их убивает, как на какую-то роковую силу, поэтому о свободе они говорят так же, как мы говорим о здоровье.

Человек арестованный на их языке — больной; человек осужденный — мертвый.

Что всего ужаснее для заключенного в четырех каменных стенах — это своего рода ледяная непорочность, поэтому он называет тюрьму castus, то есть чистой. В этом мрачном

месте внешний мир всегда представляется ему в самом обольстительном виде. Ноги узника закованы в железо, но не думайте, чтобы он смотрел на ноги как на орудие для ходьбы, нет, он видит в них только орудие для пляски. Поэтому, лишь только ему удается распилить свои ножные кандалы, он прежде всего радуется тому, что ему теперь можно плясать, и с этой точки зрения он называет пилу пирушкой. Имя, по его мнению, — центр; это изумительно глубокое сопоставление. У разбойника две головы: одна та, которая обдумывает его поступки и руководит им во всю его жизнь, другая же та, которая у него оказывается на плечах в день его смерти. Первую голову, дающую ему советы, он называет Сорбонной, другую, все искупляющую, — чурбаном. Когда у человека нет на теле ничего, кроме лохмотьев, а в сердце ничего, кроме пороков, когда он дошел до степени того двойного унижения, материального и морального, которое характеризуется словом «убожество» в обоих его смыслах, то он готов для преступления, он походит на хорошо отточенный

нож с двумя лезвиями: несчастьем и злобой. Вот почему арго называет такого человека не убогим, а обоюдоострым. Что такое каторга? — горнило для осужденных, ад, поэтому каторжник и называет ее костром. Наконец, как называют преступники тюрьму? — коллегией. Из этого слова можно вывести целую пенитенциарную (исправительную) систему.

Вор тоже имеет свое пушечное мясо: это то, что можно украсть у вас, у меня, у первого встречного и что на арго называется pantre, то есть всеобщим, от греческого слова pan — все.

Хотите знать, где получило свое начало большинство песен каторги, которые в специальном словаре называются les lirlonfa? Я вам расскажу.

В парижском Шатлэ имелся длинный подвал, основание которого было на восемь футов ниже уровня Сены. В этом подвале не было ни окон, ни отдушин, единственным отверстием служила дверь. Люди войти в него могли, но проникнуть воздуху и свету было негде. Потолком служил

каменный свод, а полом — десятидюймовый слой грязи, в которую превратились под влиянием сырости почвы каменные плиты, первоначально устилавшие этот пол. На глубине восьми футов под поверхностью почвы находилось длинное толстое бревно, разделявшее пополам подвал: с бревна свешивались цепи длиной три фута, а на концах этих цепей были железные ошейники. В этом подвале, или, вернее, погребе, помещались люди, осужденные на галеры, в ожидании отправки в Тулон. Втолкнув осужденного в погреб, его подводили под бревно, где его ожидало чуть обрисовывавшееся в темноте железо. Цепи, как висящие руки, и ошейники, как открытые клешни, обхватывали несчастного за шею. Заклепав железные объятия вокруг шеи будущего галерника, тюремщики удалялись. Так как цепи были слишком коротки, то те, которые были к ним прикованы, не могли даже лечь. В таком положении они и находились в этом мрачном погребе; только с неимоверными усилиями они могли достать поставленную перед ними кружку с водой или хлеб. Имея над головой

каменный свод, уходя по колено в жидкую грязь, вынужденные в этом положении выполнять естественные потребности, шатаясь от усталости, с трясущимися бедрами и подкашивающимися ногами, судорожно цепляясь руками за цепь, чтобы иметь хоть какую-нибудь точку опоры, не будучи в состоянии спать иначе, как стоя, и ежеминутно вырываемые из полудремоты душившим их ошейником, эти люди испытывали невыразимые мучения. Многие из них так и засыпали навеки. Для того чтобы утолить голод, они нередко должны были пускать в ход ноги и при помощи их доставать хлеб, который бросался им прямо в грязь. Они находились в таком положении месяц, два, а иногда и более; одному пришлось пробыть даже целый год. Это было преддверием галер, на которые люди часто попадали из-за зайца, убитого в заповедных лесах. Что же делали люди в этом ужасном склепе? А то, что только и можно делать в склепах: медленно умирали, плакали и… пели. Когда исчезает всякая надежда, в виде утешения остается песня. В мальтийских водах

приближение галеры всегда давало о себе знать пением раньше, чем шумом весел. Несчастный браконьер Сюрвенсен, побывавший в погребе Шатлэ, говаривал: «Только рифмы меня и поддерживали». Поэзию называют бесполезным вздором, а рифмы — пустой забавой. Однако в погребе Шатлэ, а не где-нибудь, создались все песни арго; из него, этого мрачного подземелья, вышел меланхоличный припев галеры Монгомери. Большинство этих песен зловещи, но есть веселые и даже нежные.

Можете делать, что угодно, но вам никогда не удастся уничтожить тот остаток человеческого сердца, который называется любовью.

В этом мире темных дел твердо хранятся тайны друг друга, а тайны тюрем — достояние общее. Тайна сплачивает отверженных в одно целое и служит единственным основанием их тесного союза. Нарушить тайну — значит оторвать от каждого члена этой дикой общины часть его самого. На энергичном языке арго доносить передается словами: съедать кусок.

Доносчик точно похищает часть тела тех, на кого доносит, и питается кусками их мяса.

Некоторые из метафор арго из душных подземелий поднялись до академии и появились под пером таких писателей, как Вольтер. И неудивительно: обыкновенный язык не способен на такие образные выражения, как арго.

Разбирая этот язык, вы на каждом шагу наталкиваетесь на открытия. Изучая его, вы в конце концов добираетесь и до той таинственной грани, где узаконенный общественный порядок переходит в незаконный. Арго — это слово, превратившееся в каторжника.

Страшно убеждаться в том, что человеческая мысль может опуститься так низко, что, связанная и опутанная темными силами судьбы, она уже не в состоянии больше вырваться из бездны, в которую она вовлечена. О, бедная мысль несчастных людей!

Неужели никто не придет на помощь человеческой душе, изнывающей в этом мраке? Неужели она осуждена на вечное тщетное

ожидание духа-освободителя, великого наездника пегасов и гиппогрифов, светозарного бойца, спускающегося с лазури на крыльях, светлого рыцаря будущего? Неужели она всегда тщетно будет призывать к себе на помощь молниеносное копье идеала? Неужели она навеки должна остаться прикованной к той страшной беспросветной бездне, которая зовется Злом? Неужели она осуждена вечно созерцать в мутной пене, изрыгаемой бездной, отвратительное кишение омерзительных, раздутых, слизистых чудовищ-пресмыкающихся, с разинутыми смрадными пастями и алчными глазами? Неужели она навсегда должна остаться там без единого луча света, без надежды, всецело отданная во власть этих копошащихся чудовищ, беспомощная, дрожащая, искаженная отчаянием, истерзанная тщетными попытками оторваться от скалы мрака, к которой она прикована? Злополучная Андромеда, белеющаяся своей обнаженностью в бездне ночи!

Глава 254

Как видите, все арго — и то, которое было в ходу четыреста лет тому назад, и современное — насквозь проникнуты тем символическим духом, который придает словам то вид угрозы, то вид страдания и печали. В нем так и чувствуется дикая печаль тех жалких бродяг Двора чудес прежних времен, которые играли в карты особого образца. Некоторые из таких карт дошли до нас. Например, трефовая восьмерка изображалась на них в виде большого дерева с огромными трилистниками — символ леса. Под этим деревом виден костер, на котором три зайца поджаривают насаженного на вертел охотника, а на другом костре стоит дымящийся котелок, из которого выглядывает голова собаки. Что может быть зловещее этих карточных изображений с кострами для поджаривания контрабандистов и кипящими котлами для фальшивомонетчиков? Различные формы, в которые облекалась мысль в царстве арго, сама песня, сама насмешка, даже сама угроза, — все носит на себе характер

бессилия и подавленности. Все песни арго, напевы которых сохранились до нашего времени, были печальны до слез. Обездоленный всегда рисуется в этих песнях зайцем, который прячется, мышью, убегающей со всех ног, птицей, спасающейся от ловцов. Он едва осмеливается требовать, довольствуясь одними вздохами. До нас дошло одно из таких философских стенаний: «Я мерекаю, мерекаю и в толк не возьму, как это боженька, всем людям папаша, может примучивать свое ребятье, да еще малышей, как это ему везет слышать их писк и самому не растормошиться».

Около середины прошедшего столетия произошла перемена. Песни тюрьмы, ритурнели воров, приняли, так сказать, разбитной, ухарский характер. Жалобное maluré заменилось разухабистым larifla. Во всех песнях, распевавшихся в восемнадцатом столетии в тюрьмах, на галерах и на каторге, сквозит чисто дьявольское, загадочное веселье. Между прочим часто слышался следующий резкий, точно подскакивающий припев, мерцающий

фосфорическим светом и заброшенный в лес трелью дудочника:

Мирлябаби, сюрлябабо,

Мирлитон рибон рибет,

Сюрлябабо мирлябаби,

Мирлитон рибон рибо.

Эта песенка распевалась грабителями, когда они душили свою жертву где-нибудь в темном лесу или ином пустынном месте.

В XVIII веке античная меланхоличность этого угрюмого класса рассеивается. Он начинает смеяться, осмеивает решительно все, начиная с великого и кончая малым. Они смеются и над Гогом, и над Магогом, над царем и королем. Уже при Людовике XV они насмешливо величают французского короля титулом «маркиза Пантэна», связывая этот титул с воровским прозвищем Парижа. Отверженные становятся почти веселыми. От них начинает исходить нечто вроде света, точно совесть уже не тяготит их. Эти жалкие дружины потемок проявляют теперь не

только отчаянную смелость действий, но и смелую беспечность духа. Это свидетельствует о том, что они теряют сознание своей преступности и смутно, бессознательно уже почувствовали некоторую поддержку в среде мыслителей и мечтателей. Это свидетельствует, что воровство и грабеж начинают проникать в доктрины и софизмы, причем, отдавая этим доктринам и софизмам часть своего безобразия, они сами как бы делаются менее безобразными. Это свидетельствует, наконец, и о том, что если не явится какой-нибудь непредвиденной помехи, то в ближайшем будущем можно ожидать их расцвета.

Остановимся на минуту. Кого мы обвиняем? XVIII век? Его философию? Конечно нет. Дело этого столетия — доброкачественное и здоровое дело. Энциклопедисты с Дидро во главе, физиократы с Тюрго во главе, философы с Вольтером во главе, утописты с Руссо во главе — это четыре священных легиона. Огромный шаг вперед на пути к свету — это их заслуга перед человечеством. Это четыре авангардных отряда

рода человеческого, идущего к четырем важнейшим пунктам прогресса: Дидро — к прекрасному. Тюрго — к полезному, Вольтер — к истине и Руссо — к справедливости. Но в стороне от них и под ними были софисты — ядовитая поросль, подметавшаяся к здоровой растительности, цикута в девственном лесу. В то время когда палач сжигал на главной лестнице Дворца юстиции великие творения освободительной литературы, писатели, ныне преданные забвению, печатали с королевскими привилегиями бог знает какую литературу, необычайным образом дезорганизовывавшую отверженных, с жадностью набрасывавшихся на нее. Странная подробность! Некоторые из этих напечатанных произведений пользовались покровительством какого-то князя и попали в «Тайную библиотеку». Эти глубокие, но никому не известные события оставались незамеченными только на поверхности. Порою мрак, окутывающий какое-нибудь событие, делает его опасным. Оно является темным, потому что совершается в подземелье. Из всех писателей,

которые когда-либо прорывали путь в толщу народа, самый нездоровый путь вырыл Ретиф де ла Бретон.

Эта работа, свойственная всей Европе, более чем где бы то ни было причинила вред Германии. Именно там, в известный период времени, описанный Шиллером в знаменитой драме «Разбойники», воровство и грабежи производились с целью протеста против гнета и собственности, придавая разбою некоторые упрощенные идеи, кажущиеся правдоподобными, а на самом деле ложными, справедливыми по внешности и нелепыми в действительности, прикрываясь этими идеями и как бы растворяясь в них, называя себя отвлеченными, именами и переходя к теоретическим действиям, вращаясь, таким образом, в трудовой, страдающей и честной массе, даже без ведома неосторожных химиков, приготовивших состав, без ведома толпы, принявшей его. Каждое событие такого рода важно само по себе. Страдание влечет за собой гнев. И в то время как процветающая часть общества пребывает в ослеплении или даже в

сонном состоянии, а быть в нем, не закрывая глаз, невозможно, ненависть несчастных слоев зажигает свой факел от костра какого-нибудь печального бедняка, который грезит, сидя у себя в углу, и при свете его принимается изобличать общество. Подобные изобличения ненависти являются ужасной вещью!

Отсюда, если этого хочет несчастное время, происходят те ужасные потрясения, которые некогда назывались Жакериями и рядом с которыми чисто политические волнения являются детской игрой. Происходит уже не борьба угнетенного против угнетателя, но восстание нужды против благосостояния. Тогда-то все рушится. Жакерии являются народным потрясением. Этой, быть может неизбежной, гибели Европы XVIII века помешала только Французская революция — огромный акт человеческой честности. Французская революция, являющаяся идеалом, вооруженным мечом, выпрямилась во весь рост и одним и тем же резким движением захлопнула двери зла и распахнула двери добра.

Она дала возможность задавать вопросы, обнародовала истину, изгнала зловоние, оздоровила столетие и увенчала народ.

Можно сказать, что она вторично воссоздала человека тем, что вложила в него вторую душу и даровала право.

XIX век унаследовал и воспользовался ее делом, и в настоящее время уже является невозможной социальная катастрофа, на которую мы только что указывали. Только слепец может донести на нее, только дурак может ее опасаться! Революция является прививкой от Жакерии. Благодаря революции изменились социальные условия. Наша кровь не имеет более в себе феодальной и монархической болезни. Наши установления более не отзываются Средневековьем. Мы живем уже не в те времена, когда внезапно прорывались внутренние брожения, когда под ногами слышались мрачные шаги какого-то глухого бега, когда на поверхности цивилизации возникали неизвестно откуда какие-то кротовые норы, земля

покрывалась трещинами или разверзалась в виде пропасти, откуда вдруг показывались чудовищные лики. Революционное чувство является чувством нравственной категории.

Развитое сознание права развивает и чувство долга. Всеобщим законом является свобода, которая обеспечивает рост или кладет предел свободе личности, по прекрасному определению Робеспьера. С 1789 года весь народ растворяется в облагороженной личности, нет такого бедняка, который не имел бы особого места в жизни, обладая на это правом. Каждый нищий ощущает в себе честность Франции; достоинство гражданина является его внутренним вооружением; свободные люди щепетильны; царствует тот, кто высказывает свое мнение. Отсюда — неподкупность и отвращение перед нездоровыми соблазнами, отсюда — героически опущенные перед искушением глаза. Революционное оздоровление подобно дням освобождения: 14 июля, 10 августа. Оно уничтожило чернь. Первым криком растущей и просветленной толпы было: «Смерть ворам!»

Успех является олицетворением честного человека; неограниченность и идеальность не играют роли носового платка. Кто же следовал в 1848 году за фургонами, нагруженными богатствами Тюильри? Мусорщики из предместья Святого Антуана. Лохмотья стояли на страже сокровищ, и добродетель украсила этих оборванцев величием. В этих фургонах стояли сундуки, еле запертые, а иные даже полуоткрытые, где среди сотен сверкающих футляров находилась древняя корона Франции, покрытая бриллиантами и увенчанная царственным троном регента, оцененного в тридцать миллионов. И эти босяки охраняли корону. Итак, конец Жакерии! Я жалею ловкачей. Старый страх произвел свое действие и никогда уже не сможет употребляться в политике. Великая пружина красного призрака сломалась. Об этом знают теперь уже все. Страшилище больше уже никого не устрашает. Птицы привыкают к пугалу, на него садятся чайки, а буржуа смеются ему в лицо.

Глава 255

При всем этом была ли устранена социальная опасность? Нет, конечно. Жакерии не стало. С этой стороны общество могло успокоиться и не опасаться того, что кровь падет ему на голову; но оно должно было озаботиться тем, как ему следует дышать. Апоплексии нечего бояться, но чахотка налицо. Социальная чахотка называется нуждой.

Можно умереть от подкопа точно так же, как и от взрыва.

Будем же неустанно повторять себе и думать прежде всего об обездоленных и страдающих массах, будем облегчать их существование, освежать, просвещать, любить, расширять их горизонты, всячески просвещать, показывая на примере, как нужно трудиться, а не бездельничать, стараясь облегчить тягость нагрузки каждого в отдельности и подчеркнуть значение конечной цели, ограничить бедность, не ограничивая богатства, создать обширное поле

общественной и народной деятельности, и, подобно Бриарэ, иметь наготове сотни рук, которые могли бы протянуться со всех сторон к слабым и удрученным. Мы должны общими усилиями пойти навстречу великому долгу, открыть мастерские для всех желающих, школы по всем специальностям, лаборатории по всем отраслям знания, мы должны увеличить заработок, облегчить труд, уравнять право и достаток, т. е. сделать радость пропорциональной усилию и найти соотношение между потребностями и их удовлетворением, одним словом, добиться того, чтобы социальный аппарат давал больше света тем, кто страдает и пребывает в неведении, так как в этом (пусть не забывают это родственные нам души) заключается первое условие братского единения, так как в этом (к сведению эгоистических сердец) заключается первое условие политики.

Мы должны сказать к тому же, что все вышесказанное является лишь началом. Настоящей задачей будет следующая: труд не

может выступить в качестве обязанности, не будучи также и правом.

Здесь не место настаивать, и мы не будем этого делать.

Если природа называется провидением, то общество должно именоваться предусмотрительностью.

Умственный и моральный рост также необходим, как и улучшение материальных условий. Знание представляет собой как бы приобщение, мысль является предметом первой необходимости, истина должна быть пищей, подобной хлебу. Разум, лишенный питания наукой и мудростью, истощается. Будем же сожалеть в равной степени как о желудках, так и об умах, не получающих пищи. Если существует что-либо; причиняющее большее страдание, нежели тело, умирающее от недостатка хлеба, — так это душа, которая умирает, изголодавшись по свету?

Прогресс подсказывает одно решение. И для многих наступит когда-нибудь время изумиться.

С ростом человечества совершенно естественно выдвинутся те слои, которые скрывались за чертой отчаяния. Уничтожение нужды будет произведено лишь в силу поднятия общего уровня.

Было бы ошибкой усомниться в этом благодатном решении судьбы.

Правда, что прошлое сильно захватывает нас и в нашей современной жизни. Оно берет свое, и это омоложение трупа совершенно изумительно. Оно бродит между нами, оно кажется победителем; этот мертвец стремится стать завоевателем, появляясь со своим легионом суеверий, со своим мечом — деспотизмом, со своим знаменем — невежеством; в течение некоторого времени он уже выиграл десять сражений, он приближается, он угрожает, он смеется, он уже у наших дверей, но мы не должны отчаиваться, мы еще можем продать то поле, где раскинул свой лагерь Ганнибал.

Можем ли мы бояться чего-нибудь, мы, которые верим? Мысли не могут течь вспять так

же, как не может потечь вспять река.

Но пусть призадумаются те, кто не хочет видеть будущего. Говоря «нет» прогрессу, они осуждают не это будущее, а самих себя, они обрекают себя на мрачные страдания, они связывают себя с прошлым. Существует лишь один способ отречься от завтрашнего дня — это умереть.

Мы же добиваемся того, чтобы телесная смерть приходила как можно позже и чтобы она никогда не касалась души.

Да, загадка должна быть выяснена, сфинкс заговорит, задача будет решена. Да, народ, начавший расти в восемнадцатом веке, закончит свое развитие в девятнадцатом. В этом могут сомневаться только идиоты! Будущее развитие и рост всеобщего блага представляют собой роковое и божественное событие.

Огромные массовые толчки управляют человеческими поступками и приводят их всех к логическому состоянию, т. е. к равновесию, т. е. к справедливости. Земля и небо, взятые вместе,

образуют силу, управляющую человечеством; эта сила способна творить чудеса. Чудесные развязки не представляют для нее больших затруднений, нежели всевозможные жизненные перипетии. Взяв себе в помощь науку, творцом которой является человек, и руководствуясь событиями, она не пугается противоречий, возникающих перед нею и кажущихся неразрешимыми обывателю. Она умеет выносить определенные решения из сопоставления мысли так же, как это делается наукой из сопоставления фактов; можно ждать всего со стороны этого таинственного могущества прогресса, который в один прекрасный день встанет лицом к лицу с Востоком и Западом в глубине какой-нибудь гробницы и заставит имамов переговариваться с Бонапартом в недрах какой-нибудь гигантской пирамиды.

Ожидая этого, нельзя допускать ни колебаний, ни остановок в великом движении умов. Социальная философия представляет собой сущность «науки и мира», она добивается одной цели, и результатом ее стремлений является

разрешение всяких раздоров путем изучения антитез. Она исследует, изучает, анализирует, затем она производит соединение, отрешаясь от всякого чувства ненависти и стремясь к слиянию отдельных частей.

Мы видели много раз, как общество рассеивалось под вихрями, которые обрушивались на людей; история полна примеров крушений народов и государств. Ураган способен налететь и унести в один прекрасный день нравы, законы, религии. Ведь исчезли же одна за другой цивилизации Индии, Халдеи, Персии, Ассирии, Египта.

Почему? — Мы не знаем этого. Каковы были причины этих катастроф? — Мы не знаем этого. Могли ли быть спасены эти общества? В чем состояла их вина? Не предавались ли они какому-нибудь роковому пороку, который и погубил их? Какое количество самоубийств приходится на всю совокупность этой ужасной гибели целых наций и рас? — На эти вопросы нет ответов. Осужденные цивилизации покрыты мраком. Они

погрузились в бездну. Нам нечего сказать о них. Мы можем только с ужасом вглядываться в глубину того моря, которое называется прошлым, и пытаться разглядеть за колоссальными волнами-веками огромные корабли: Вавилон, Ниневию, Тир, Фивы, Рим, невзирая на страшное дыхание, исходящее из этой мрачной пасти.

Но если мы видим там мрак, то мы имеем перед собою и свет. Нам неизвестны болезни древних цивилизаций. Мы знаем лишь недомогания нашего времени. Мы имеем право на мир, мы лицезреем его красоту, и мы обнажаем его уродства. Мы зондируем его больные места и, установив присутствие страдания, можем дать ему лекарства. Наша цивилизация, созданная двадцатью веками, является одновременно чудовищем и чудом. Ее следует спасать, и она будет спасена. Облегчая ее, мы уже совершаем великое дело; освещая ее путь, мы помогаем ей. Все стремления современной социальной философии должны сосредоточиться вокруг этой цели. Современный

мыслитель стоит перед лицом великого долга. Ему поручено осязание цивилизации.

Повторим еще раз: это осязание пробуждает мужество, и, заканчивая эти страницы, являющиеся преддверием к тяжелой драме, мы еще раз подчеркиваем необходимость этого мужества. Социальная смертность дает возможность ощутить человеческую вечность. Земной шар не умирает оттого, что в некоторых его местах появляются трещины, оттого, что на нем возникают кратеры, вулканы и огнедышащие горы. Болезни народов не убивают человека.

И тем не менее тот, кто следит за социальной клиникой, иногда качает головой, ибо самые сильные, самые мягкие и логически настроенные люди временами чувствуют упадок сил.

Настанет ли будущее? Кажется, можно задать себе этот вопрос при виде сгущающегося мрака, при лицезрении эгоистов и обездоленных. У эгоистов — предрассудки, заблуждения богатого воспитания и возрастающий аппетит, заглушающий боязнь людских страданий и

доходящий даже до презрения к этим страданиям, завершаются чувством самодовольства и заглушают голос совести; у обездоленных чувства зависти, ненависти порождают глубокие встряски человека-зверя, стремящегося к удовлетворению своих желаний и не имеющего на сердце ничего, кроме грусти, печали, нужды и рокового невежества.

Следует ли продолжать устремлять глаза к небу, может ли погаснуть светящаяся точка, различаемая нами? Страшно видеть свой идеал затерянным в глубинах, маленьким, одиноким, незаметным, блестящим и окруженным черными громадами угроз, сгрудившимися вокруг него; и, однако, он, этот идеал, находится не в большей опасности, чем звезда в бездне туч.

Глава 256

Читатель, конечно, понял, что Эпонина, узнав обитательницу дома на улице Плюмэ, куда ее посылала Маньон, сначала убедила воров в том, что этот дом не представляет никакого интереса,

а затем отвела туда Мариуса. Молодой человек после нескольких дней, проведенных в восторженном созерцании решетки, окружавшей обитель Козетты, поддался силе, влекущей железо к магниту, а влюбленного — к тем камням, из которых сложено жилище любимой женщины, и наконец пробрался в сад, как некогда пробрался Ромео в сад Джульетты. Сделать это для Мариуса было легче, чем для Ромео: последнему нужно было перелезть через стену, тогда как Мариусу пришлось только слегка надавить рукой одну из перекладин ветхой, проржавленной насквозь решетки, качавшейся, как зубы у стариков. Благодаря своей тонкой фигуре молодой человек легко проскользнул в образовавшееся узкое отверстие. Так как улица Плюмэ была почти всегда пуста даже днем, а Мариус выбрал для проникновения в сад ночное время, то он не рисковал быть замеченным кем бы то ни было.

С того святого, благословенного часа, когда души молодых людей слились в поцелуе, Мариус стал приходить каждый вечер. Если бы в этот

момент своей жизни Козетта полюбила человека не слишком совестливого, распущенного, то она, наверное, погибла бы. Есть великодушные натуры, которые готовы отдаться, не думая о последствиям к числу таких натур принадлежала и Козетта. Уступать — одно из благородных свойств женщины. Любовь, достигнув той высоты, на которой она является безусловной властью, осложняется небесным ослеплением целомудрия. Но какой опасности подвергаетесь вы, благородные души! Часто, когда вы отдаете только сердце, мы берем ваше тело. Сердце ваше остается при вас, и скоро вы в ужасе смотрите на этот напрасный дар. У любви нет середины: она или губит, или спасает. Вся человеческая судьба заключается в рамках этой задачи, дающей на выбор только гибель или спасение, и ни одна из роковых сил судьбы не ставит этой задачи с такой беспощадной резкостью, как любовь. Любовь — это жизнь, если она не смерть. Она — колыбель, но может стать и могилой. Одно и то же чувство говорит в человеческом сердце и да и нет. Из того, что сотворено Богом, человеческое сердце

более всего другого выделяет из себя света, но — увы! — немало и мрака. К счастью, Богу было угодно, чтобы любовь, которая выпала на долю Козетты, была из спасающих.

Пока стоял май 1832 года, каждую ночь в этом бедном, запущенном саду, с каждым днем все пышнее и пышнее разраставшемся и все сильнее благоухавшем своими цветами, встречались два существа, состоящие из всех сокровищ целомудрия и невинности, переполненные небесным блаженством, родственные скорее ангелам, чем людям, — существа чистые, честные, опьяненные счастьем, лучезарные, сияющие друг для друга и в потемках. Козетте казалось, что голова Мариуса окружена лучистым венцом, а Мариус видел над головой Козетты сияние. Они прикасались друг к другу, смотрели друг на друга, держались за руки, прижимались один к другому, но тем не менее был предел, который они не переступали. Они не потому не переступали его, что уважали, — нет! — они просто его не чувствовали. Мариус ощущал преграду — чистоту Козетты, а Козетта

чувствовала рядом с собою опору — честность Мариуса. Первый поцелуй был вместе с тем и последним. После этого поцелуя Мариус осмеливался прикасаться губами только к руке, к косынке или к локону Козетты. Козетта была для него благоуханием, а не женщиною. Он вдыхал ее. Она не отказывала ему ни в чем, но он ничего не требовал. Козетта была счастлива, а Мариус был доволен. Они пребывали в том восхитительном состоянии, которое можно назвать взаимным очарованием двух душ. Это было невыразимо дивное объятие двух целомудренных душ в идеале. Это были точно два лебедя, встретившиеся на вершине Юнгфрау.

В этот час любви, когда чувственность умолкает под всемогущей властью восторга, нравственно чистый Мариус скорее был готов на что угодно, только не на то, чтобы позволить себе какую-нибудь вольность по отношению к Козетте. Как-то раз в лунный вечер Козетта нагнулась, чтобы поднять что-то с земли, причем корсаж ее довольно нескромно раскрылся, Мариус тотчас же отвернулся.

Что происходило между этими двумя существами? — Ничего. Они только обожали друг друга.

Сад, когда в нем ночью встречались молодые люди, казался святилищем, в котором все жило особенной жизнью. Цветы распускались вокруг них и воскуривали им свой фимиам, а они в свою очередь раскрывали свои души цветам и разливали по ним аромат непорочности. Могучая и сладострастная растительность трепетала от полноты соков и упоения, а находившиеся посреди нее невинные существа говорили друг другу слова любви, от которых трепетали листья на деревьях.

Что представляли собой эти слова? Дуновения, и больше ничего. Но этих дуновений было достаточно, чтобы смутить и взволновать всю окружавшую их природу. Трудно понять волшебную силу этих дуновений, когда вы читаете в книге разговоры любящих, как бы созданные для того, чтобы быть разнесенными и развеянными, подобно дыму, легким ветерком,

шелестящим в чаще деревьев. Отнимите у тихого говора влюбленных ту мелодию, которая исходит прямо из души и аккомпанирует словам, как лира, и ничего не останется, кроме бледной тени. «Только-то?» — скажете вы. Да, тут ничего нет, кроме ребяческого лепета, беспрестанных повторений одного и того же, смеха из-за пустяков, глупостей и вздора, но в этом-то именно и скрывается все, что есть наиболее возвышенного и глубокого в мире; это-то и есть единственные вещи, которые стоят того, чтобы их вечно выражали и вечно слушали.

Человек, который никогда не произносил глупостей, этого вздора, и который никогда не слушал их, — или глупец, или злой человек.

Козетта говорила Мариусу.

— Знаешь что? — Несмотря на свою невинность, они как-то незаметно стали говорить друг другу «ты». — Знаешь что? Ведь меня зовут Эвфразией.

— Эвфразией? Нет, тебя зовут Козеттой, — возражал Мариус.

— Но Козетта такое некрасивое имя. Мне его дали, когда я была еще очень мала. Настоящее же имя — Эвфразия. Разве тебе не правится это имя?

— Нет, нравится… Но Козетта тоже очень миленькое имя.

— По-твоему, лучше Эвфразии?

— Да, это прекрасное имя…

— Ну, если так, то и мне больше нравится Козетта… И в самом деле это очень хорошее имя. Ты так всегда и зови меня Козеттой.

Улыбка, которой молодая девушка закончила этот диалог, была идиллией, достойной рая.

В другой раз Козетта долго и пристально смотрела на Мариуса, потом воскликнула:

— Да, вы очень хороши, вы настоящий красавец, вы умник, вы гораздо ученее меня, но я смело могу помериться с вами одним: «Я люблю тебя!»

И утопавшему в небесном блаженстве Мариусу казалось, что он слышит строфу,

пропетую хором звезд.

А иногда Козетта, тихо ударяя его по плечу, говорила:

— Не извольте кашлять, сударь. Я не хочу, чтобы вы кашляли без моего разрешения. Очень нехорошо кашлять и мучить меня этим. Я хочу, чтобы ты был здоров, потому что, если ты будешь болеть, я буду очень несчастна. Что со мною тогда будет?

Все это было очень трогательно.

— Представь себе, я одно время думал, что тебя зовут Урсулой.

Над этим они просмеялись весь вечер.

В другой раз Мариус посреди разговора вдруг воскликнул:

— Раз, в Люксембургском саду, у меня было страстное желание прикончить одного инвалида!

Но он круто оборвал и не стал более продолжать эту тему. Пришлось бы упомянуть о подвязке Козетты, а он этого не мог. Тут было

своего рода сопоставление с плотью, и перед этим сопоставлением невинная любовь отступила в священном трепете.

Мариус представлял себе жизнь с Козеттой именно такой, какой она была сейчас, а не иначе. Ему только и нужно было приходить каждый вечер на улицу Плюмэ, раздвигать старый податливый прут председательской решетки, садиться рядом с Козеттой на скамью, смотреть сквозь ветви деревьев на загорающиеся с наступлением темноты звезды, касаться коленом платья Козетты, ласково проводить пальцами по ногтю ее большого пальца, говорить ей «ты», вдыхать с ней по очереди аромат одного и того же цветка; он только и желал, чтобы так продолжалось всегда, бесконечно. Но в это время над их головами уже носились тучи. Всякий раз, когда дует ветер, он больше разгоняет людские надежды, чем небесные тучи.

Нельзя, однако, сказать, чтобы эта почти суровая любовь была лишена всякой галантности, — нет. Говорить комплименты той,

которую любишь, — это первый способ ласки, робкая попытка дерзости. Комплимент — нечто вроде поцелуя сквозь покрывало. Скрытая еще чувственность накладывает на него свой сладкий отпечаток; сердце еще отступает перед чувственностью, чтобы еще сильнее любить. Воркование Мариуса, всецело проникнутое мечтами, было, так сказать, совсем заоблачного свойства. Когда птицы залетают в область ангелов, они, наверное, слышат там подобные слова. Но Мариус примешивал к ним все, что в нем было жизненного, человеческого, положительного. В нежных словах Мариуса сказывалось то, что говорится в гроте и что составляет прелюдию того, что будет говориться в алькове. Это были лирические излияния, смесь строфы с сонетом, прелестные гиперболы влюбленного, целый букет утонченного обожания, испускавший небесное благоухание, непередаваемый щебет сердца сердцу.

— О, — говорил Мариус, — как ты хороша! Я не смею смотреть на тебя. Я могу только созерцать тебя. Ты — небесное явление… Я сам

не знаю, что со мной происходит. Когда кончиком туфельки ты приподнимаешь край своего платья, я волнуюсь… А какой волшебный свет разгорается предо мною, когда раскрывается твоя мысль! Временами мне кажется, что ты — только мечта… Говори, я слушаю тебя, я восхищаюсь тобой!.. О Козетта, как все это странно и прекрасно! Я совсем схожу с ума… Вы очаровательны, сударыня! Я изучаю твои ножки в микроскоп, а твою душу созерцаю в телескоп.

А Козетта отвечала:

— О Мариус, мне кажется, что за то время, которое прошло с сегодняшнего утра, я стала еще больше любить тебя!

Вопросы и ответы в этом диалоге чередовались, как попало, сходясь на одном пункте — на пункте любви. Все существо Козетты являлось олицетворением наивности, невинности, прозрачности, чистоты, лучезарности. О Козетте можно было сказать, что она вся прозрачна. На видевших ее она производила впечатление весны и утренней зари.

В ее глазах блестела часть той росы, которой бывают обрызганы в весеннее утро цветы. Козетта была предрассветным сиянием, вылившимся в образе женщины.

Очень естественно, что Мариус, обожая ее, восхищался ею. В самом деле, эта маленькая пансионерка, только что выпущенная из монастыря, рассуждала с пленительною проницательностью и порой говорила глубоко правдивые и осмысленные слова. Речь ее была прямо восхитительной. Она ни в чем не ошибалась и на все смотрела совершенно правильно. Женщина чувствует и говорит с тем нежным инстинктом сердца, который представляется непогрешимостью. Никто, кроме женщины, не умеет говорить вещи, в одно и то же время и глубокие и нежные. Нежность и глубина — в этом вся женщина, все ее небеса.

Среди этого полного счастья у них то и дело навертывались на глаза слезы. Раздавленная божья коровка, упавшее из гнезда перышко, сломанная ветка боярышника — все это вызывало

в них глубокую жалость, и их чувства, нежно заволакиваемые печалью, как будто только и просили слез. Лучший признак любви — это умиление, подчас становящееся почти невыносимым.

В то же время все эти противоречия сталкиваются в любви, как свет и тени при блеске молнии, — они и смеялись, притом с такой чарующей искренностью и непринужденностью, что иногда почти походили на двух мальчиков. Между тем бессознательно для сердец, упоенных целомудрием, природа никогда не позволяет забывать о себе. Она всегда тут со своей грубой и вместе с тем высокой целью, и, какова бы ни была невинность душ, в самом целомудренном свидании все-таки чувствуется тот пленительный и таинственный оттенок, который отличает чету влюбленных от четы друзей.

Они боготворили друг друга. Незыблемое ничем не может быть изменено в своем основании. Можно любить друг друга, улыбаться, смеяться, делать маленькие гримасы кончиками

губ, сжимать руки друг другу, говорить «ты» — все это не мешает делу вечности. Любящие укрываются вечером, сумерками, тишиной вместе с птицами, с розами, чаруют друг друга в тени своими сердцами, которые отражаются в их взглядах, шепчут, лепечут, — в то же время не поддающиеся вычислению движения светил наполняют и оживляют бесконечное.

Глава 257

Упоенные своим счастьем, они лишь смутно сознавали свое существование. Даже холера, опустошавшая в это время Париж, оставалась незамеченной ими. Они открыли друг другу все, что могли, хотя, в сущности, эти откровенности почти ничего не заключали в себе, кроме самых простых сведений об их жизни. Мариус рассказал Козетте, что он сирота, что его зовут Мариус Понмерси, что он был адвокатом, а теперь существует написанием разных статей для книготорговцев, что его отец был полковником и героем и что он, Мариус, поссорился со своим

дедом, который был очень богат, упомянул и о том, что он по рождению барон. Но это не произвело никакого впечатления на Козетту. Мариус — барон? Она даже не поняла, что это такое. Самое слово «барон» ей было непонятно. Мариус был для нее просто Мариусом. Со своей стороны и она «доверила» ему, что воспитывалась в монастыре Малый Пикпюс, что мать ее умерла, как и мать Мариуса, что ее отца зовут Фошлеваном, что он очень добр и много помогает бедным, что, будучи сам небогат и лишая себя многого, он ни в чем не заставляет ее чувствовать недостатка.

Странное дело, в том блаженстве, в котором утопал Мариус с тех пор, как узнал Козетту, прошлое, даже самое близкое, стало для него таким отдаленным и смутным, что все рассказанное ему о себе Козеттой вполне его удовлетворило. Он даже не подумал заговорить с ней о ночном приключении в трущобе, о Тенардье, об ожоге, о странном поведении ее отца и не менее странном его бегстве. Мариус мгновенно все это забыл. Вечером он теперь даже

не знал, что делал утром, где обедал, что говорил в течение дня. У него в ушах звучали песни, которые делали его глухим ко всему остальному. Он жил только в те часы, когда виделся с Козеттой. И это вполне понятно: витая в облаках, он забывал о земле. Они оба несли в сладкой истоме бремя сверхчувственных восторгов, — то бремя, которое не поддается никакому точному определению. Так живут те сомнамбулы, которых называют влюбленными.

Увы! Кто не испытал всего этого? Зачем наступает час, когда человеку приходится покидать заоблачные сферы, и зачем после этого еще продолжается жизнь?

Любить — почти то же, что мыслить. Любовь — это страстное забвение всего остального. Напрасно вы будете требовать от любви логики. В сердце человеческом так же мало логической последовательности, как нет совершенно правильной геометрической фигуры в небесном механизме. Для Козетты и Мариуса не существовало ничего, кроме Мариуса и

Козетты. Вся вселенная точно провалилась для них в бездну. Они переживали золотое мгновение. Для них не было ничего ни впереди, ни позади. Мариус почти не вспоминал о нем, что у Козетты есть отец. Его мозг был ослеплен. О чем же говорили между собой эти влюбленные? О цветах, о ласточках, о заходящем солнце, о восходящей луне, о разных «важных» предметах в этом же роде. Они все сказали друг другу, все поведали. «Все» у влюбленных равняется ничему. К чему было говорить об отце, о действительности, о всей этой грязи, об этих разбойниках, об этом приключении? Да и мог ли Мариус быть вполне уверен, что этот кошмар действительно существовал когда-то? Они были вдвоем, они обожали друг друга, — чего же еще недоставало? Все остальное для них не существовало. Быть может, такое исчезновение ада позади нас нераздельно с водворением в раю. Разве мы видели демонов? Разве они существуют? Разве мы страдали? Мы ничего этого более не помним. Все это для нас потонуло в розовом тумане.

Так и жили эти два существа, витая в облаках и доказывая возможность невероятного в природе, витали между зенитом и надиром, составляя нечто среднее между людьми и духами, витали над всей житейской грязью, под самым эфиром, в облаках, витали, не чувствуя плоти, претворившись в одну душу и в восторг, витали, будучи уже слишком возвышенными, чтобы ходить по земле, но и еще слишком обремененными земными заботами, чтобы исчезнуть в лазури, витали в воздухе, как атомы, ждущие, что их унесет в бездну, витали как бы вне законов судьбы, вне житейской колеи, забывая о вчерашнем, сегодняшнем и завтрашнем, витали очарованные, подавленные изнеможением, отрешенные от всего остального мира, временами готовые к полету, чтобы скрыться в бесконечном.

Они дремали наяву, убаюкиваемые страстью. О, чудная летаргия действительности, усыпленной идеалом!

Порою, как ни была хороша Козетта, Мариус закрывал перед ней глаза. С закрытыми глазами всего лучше разглядывать душу.

Мариус и Козетта не спрашивали себя, куда все это приведет их. Они чувствовали себя уже прибывшими к назначенной ими цели. Люди имеют странное требование: они желают, чтобы любовь непременно куда-нибудь вела их.

Глава 258

Жан Вальжан ничего не подозревал. Менее мечтательная, чем Мариус, Козетта была весела, и этого было достаточно для Жана Вальжана, чтобы чувствовать себя вполне счастливым. Мысли Козетты, ее влюбленность, образ Мариуса, наполнявший ее душу, — все это нисколько не омрачало несравненной ясности ее прекрасного, целомудренного, светлого чела. Она была в том возрасте, когда девушка хранит свою любовь так, как хранит ангел свою лилию. Поэтому Жан Вальжан был спокоен. К тому же, когда между двумя любящими царит полное

согласие, у них все идет очень тихо, и третье лицо, которое могло бы нарушить их счастье, всегда держится в полном ослеплении вследствие некоторых мелких предосторожностей, постоянно принимаемых всеми влюбленными. Так, например, Козетта никогда ни в чем не противоречила Жану Вальжану. Желал ли он прогуляться с нею, она ему всегда говорила: «Хорошо, папочка». Желал ли он остаться дома, Козетта и это находила отличным. Желал ли он провести вечер с Козеттой, она была в восторге. Так как он всегда уходил от Козетты в десять часов, то и Мариус в эти вечера приходил позднее и входил в сад только тогда, когда слышал с улицы, что Козетта отворяет стеклянную дверь крыльца. Само собой разумеется, что днем Мариуса никогда не было видно. Жан Вальжан даже позабыл о существовании этого юноши. Только раз утром старику пришлось заметить Козетте: «Что это у тебя спина вымазана чем-то белым?» Это было последствием того, что накануне Мариус в

порыве восторга нечаянно прижал Козетту к стене.

Старуха Туссен, справившись со своими делами по дому, ложилась рано. Она думала только о том, как бы поскорее заснуть и подольше поспать, поэтому, подобно своему хозяину, тоже ничего не знала.

Мариус никогда не входил в дом. Когда он был с Козеттой, они прятались в углублении стены у крыльца, чтобы их не могли видеть или слышать с улицы, и сидели там, довольствуясь вместо беседы тем, что двадцать раз в минуту пожимали друг другу руки и любовались ветвями деревьев. В эти минуты они не заметили бы даже и грозы, если бы она разразилась около них, — так глубоко погружались их собственные мысли и мечты в мысли и мечты друг друга.

Прозрачное, как кристалл, целомудренное, чистое чувство выражается так всегда и везде. Ничем еще не запятнанная любовь представляется как бы сотканною из лепестков лилий и перьев голубков.

Между ними и улицей находился сад. Каждый раз, когда Мариус входил или выходил, он тщательно вставлял на место прут решетки так, чтобы это не было заметно.

Обыкновенно он уходил около полуночи и возвращался к Курфейраку. Последний говорил Багорелю:

— Знаешь что? Мариус стал возвращаться домой не раньше часа ночи.

— Что ж тут удивительного: в каждом семинаристе всегда сидит по петарде, — отвечал Багорель.

Иногда Курфейрак, скрестив на груди руки, принимал серьезный вид и говорил Мариусу:

— Молодой человек, вы губите себя!

Как человек практичный, Курфейрак не сочувствовал выражению радости на лице Мариуса. Он не ценил неземных страстей и относился к ним свысока, поэтому временами старался внушить Мариусу, что ему необходимо вернуться в область реальности.

Однажды утром он обратился к Мариусу с таким увещеванием:

— Друг мой, ты производишь на меня такое впечатление, точно ты забрался на луну, в царство грез, в область иллюзий, в столицу мыльных пузырей. Будь откровенен, скажи, как зовут ее?

Но Мариуса ничто не могло заставить проговориться. Он, скорее, дал бы вырвать у себя язык, чем произнести при других хоть один из тех трех священных слогов, которые составляли имя Козетты. Истинная любовь лучезарна, как заря, и безмолвна, как могила. Этой лучезарностью, собственно, и поражал Мариус своего приятеля Курфейрака.

В течение мая, этого сладостного месяца любви, Мариус и Козетта испытывали величайшие наслаждения: поссориться и говорить друг другу «вы» с единственной целью, чтобы потом было приятнее перейти снова на «ты», болтать подолгу, пускаясь в самые мелочные подробности о людях, нисколько их не

интересовавших, — доказательство, что в той изумительной опере, которая зовется любовью, либретто почти ни при чем. Мариус наслаждался, слушая болтовню Козетты о нарядах, наслаждалась и Козетта, слушая рассуждения Мариуса о политике, наслаждались они и тем, что, сидя рядышком, слушали гул колес, доносившийся с Вавилонской улицы, наслаждались созерцанием одной и той же звезды в небесном пространстве или светлячка в траве, наслаждались беседою, но чуть ли не еще больше наслаждались молчанием вдвоем, и т. д.

Между тем надвигалась гроза. Однажды вечером Мариус, отправляясь на обычное свидание, шел по бульвару Инвалидов. Он двигался медленно, опустив голову. Собираясь повернуть на улицу Плюмэ, он услышал, как кто-то очень близко от него произнес:

— Здравствуйте, господин Мариус.

Он поднял голову и узнал в стоящей перед ним девушке Эпонину.

Эта встреча произвела на него странное впечатление. Он ни разу не вспомнил об этой девушке с того самого дня, когда она привела его на улицу Плюмэ.

Во все это время она не показалась ему, и, таким образом, он совершенно забыл о ней. Он имел причину быть благодарным Эпонине, ведь именно ей он был обязан своим настоящим счастьем, но, несмотря на это, ему была тяжела встреча с нею.

Напрасно думают, что страсть, когда она чиста и нравственно удовлетворена, ведет человека к совершенству. Нет, такая страсть просто приводит человека в состояние забвения, как мы уже видели. В этом состоянии человек забывает о зле, но вместе с тем он забывает и о добре. Признательность, долг, воспоминание о том, что существенно и необходимо, — все это точно испаряется перед ним. Во всякое другое время Мариус отнесся бы к Эпонине совсем иначе. Весь поглощенный Козеттой, молодой человек даже не давал себе ясного отчета в том, эту Эпонину

зовут Эпониной Тенардье и что она носит имя, начертанное в завещании его отца, — имя, которому он за несколько месяцев перед тем был так предан. Мы показываем Мариуса таким, каким он был. Даже самый образ его отца отчасти стушевался в его душе: лучезарное сияние любви заслонило его.

— А! Это вы, Эпонина, — смущенно ответил он.

— Зачем вы говорите мне «вы»? — сказала девушка. — Разве я вам сделала что-нибудь?

— Нет, — ответил Мариус.

Он действительно ничего не имел против нее, ровно ничего. Он только чувствовал, что теперь, когда он говорит «ты» Козетте, он уже не может сказать «ты» также Эпонине.

— Скажите же… — начала было Эпонина, но, видя, что он не расположен говорить, тут же запнулась.

Казалось, что у нее, недавно еще отличавшейся такой бойкостью и смелостью,

вдруг не хватает слов. Она попыталась улыбнуться, но не могла.

— Ну, так что же… — снова начала она и опять умолкла, потупив глаза. — Прощайте, господин Мариус! — вдруг круто отрезала она и отошла от него.

Глава 259

На другой день, 3 июня 1832 года (это число имеет значение благодаря нависшим в то время над парижским горизонтом зловещим тучам), Мариус с наступлением вечерней темноты шел по тому же пути, как накануне, с сердцем, переполненным тем же восторгом, как вдруг снова увидел между деревьями бульвара приближавшуюся к нему Эпонину. Встречаться с ней два дня подряд ему очень не хотелось. Он быстро повернул в другую сторону, покинул бульвар, взял другое направление и дошел до улицы Плюмэ по улице Монсье.

Этим маневром он заставил Эпонину проследить за ним до улицы Плюмэ, чего она до сих пор еще ни разу не делала. До этого времени она довольствовалась тем, что видела его мельком при его пересечении бульвара и даже старалась не встречаться с ним. Только накануне она решилась с ним заговорить.

Таким образом, Эпонина следовала за Мариусом без его ведома.

Она видела, как он отодвинул сломанный прут решетки и проскользнул в сад.

«Вот как! Он ходит в дом!» — подумала она.

Подойдя к решетке, она один за другим ощупала все прутья и без труда узнала тот, который отодвигался Мариусом.

— Ну, это ты оставь, дружок! — пробормотала она вполголоса угрожающим тоном и уселась на фундаменте решетки возле сломанного прута, точно собираясь стеречь решетку.

Это было как раз в том месте, где решетка соприкасалась с соседней стеной, образуя темный угол, в котором Эпонины совсем не было видно.

Больше часа она просидела там неподвижно, погруженная в свои думы.

Часов около десяти один из редких прохожих улицы Плюмэ, старый запоздавший буржуа, спешивший поскорее пройти по этой пустынной и пользовавшейся дурной славой местности, следуя мимо решетки, услышал из темного угла глухой угрожающий голос, который говорил: «Нет ничего удивительного, что он приходит сюда каждый вечер!»

Прохожий обвел вокруг себя глазами и, никого не заметив, — в тот темный угол он не решился заглянуть, — сильно перепугался. Он прибавил шагу. И хорошо сделал, что поторопился уйти отсюда, потому что несколько минут спустя на улицу Плюмэ вошли шесть человек, пробиравшихся вдоль стены, на небольшом

расстоянии один за другим. Их можно было принять за крадущийся патруль.

Первый, дойдя до садовой решетки, остановился и стал поджидать остальных. Немного спустя сошлись все шестеро и принялись переговариваться на арго.

— Это здесь, — сказал один.

— Есть ли кеб в саду? — спросил другой.

— Не знаю. На всякий случай я принес с собой шарик, который мы дадим проглотить кебу.

— А мастика для стекла?

— Есть и мастика.

— Решетка старая, — заметил пятый, обладавший голосом чревовещателя.

— Тем лучше, — продолжал второй. — Старая решетка не завизжит под пилой, и ее легче будет перехватить пополам.

Шестой, еще не раскрывавший рта, молча принялся ощупывать решетку точно так же, как перед тем делала Эпонина, перебирая руками

каждый прут и осторожно его подергивая. Таким образом он добрался до того прута, который был расшатан Мариусом. Но только что он хотел ухватиться за него, как вдруг из темноты чья-то рука сначала сильно ударила его по руке, потом толкнула в грудь, причем хриплый голос беззвучно прошептал:

— Здесь есть кеб.

В то же время он увидел перед собой бледный облик девушки.

Он вздрогнул от неожиданности, как это всегда бывает с людьми в подобный момент, и страшно смутился. Нет ничего ужаснее зрелища встревоженного зверя. Его испуганный вид становится страшен.

Человек, о котором мы говорим, отшатнулся как от привидения и, заикаясь, пробормотал:

— Это что еще за тварь?

— Твоя дочь, — послышалось в ответ.

Это действительно оказалась Эпонина, а тот, с кем она говорила, был Тенардье.

При неожиданном появлении Эпонины пятеро товарищей Тенардье, то есть Клаксу, Гельмер, Бабэ, Монпарнас и Брюжон, тоже подошли к отцу и дочери. Они приближались тихо, не спеша, молча, словом, со всей зловещей осторожностью, свойственной ночным промышленникам. В руках у них виднелись какие-то уродливые орудия. Гельмер держал в руке род кривых щипцов, которые на языке воров называются «фаншонами».

— Зачем тебя сюда принесла нелегкая? Что тебе нужно от нас? С ума ты сошла, что ли! — свирепо шипел Тенардье. — С какой стати ты вмешиваешься не в свое дело?

Эпонина засмеялась и бросилась к нему на шею.

— Папочка, — шаловливо проговорила она, — я здесь просто потому, что не в другом месте. Разве уже теперь запрещено посидеть, где удобно?.. А вот вам так действительно здесь нечего делать. Чего вы тут ищете, когда вам дали сухарь? Ведь я уже говорила об этом Маньон. Тут

вам совсем нечего искать… Но что же вы не поцелуете меня, милый папочка? Я так давно не видалась с вами!.. Значит, вы теперь опять на воле? Ах, как я рада!

Стараясь вырваться из цепких объятий Эпонины, Тенардье ворчал, как зверь:

— Ну, ладно, ладно! Будет лизаться, нам не до того… Ты сама видишь, что я не сижу больше, а стою… Ну и ступай, куда хочешь, а нас оставь в покое!

Но Эпонина не отставала. Она продолжала осыпать старика нежностями.

— Ах, папочка, как же это ты устроил? — трещала она в промежутках между поцелуями. — Какой ты, однако, умник, если сумел так ловко выпутаться! Расскажи, как это тебе удалось… А мать? Где она теперь? Расскажи мне и о ней, папочка!

— Она здорова… Впрочем, путем сам не знаю… Уходи же, говорят тебе! — бурчал Тенардье, отталкивая от себя дочь.

— Я не хочу уходить, — притворно капризничала Эпонина с видом избалованного ребенка. — Целых четыре месяца не видались, а ты даже не позволяешь мне хорошенько расцеловать себя!.. Гадкий папка! — И она еще крепче обвила руками шею отца.

— Как это глупо! — заметил Бабэ.

— Ну, живее за дело, а то, того и гляди, налетят кукушки! — торопил Гельмер.

Чревовещатель со своей стороны продекламировал следующее двустишие:

Для поцелуев — свой черед,

У нас теперь не Новый год.

Эпонина обернулась к спутникам Тенардье и любезно проговорила:

— Ах, это вы, господин Брюжон?.. Здравствуйте, господин Бабэ! Здравствуйте, господин Клаксу!.. Разве вы не узнали меня, господин Гельмер?.. Как поживаете, господин Монпарнас? Вы стали очень…

— Не беспокойся, тебя все узнали! — перебил Тенардье. — Здравствуй и прощай! Проваливай же, говорят тебе! Оставь нас в покое!

— Теперь время лисиц, а не куриц, — заметил Монпарнас.

— Ты видишь, что нам тут нужно работать, а не лимонничать, — заметил Бабэ.

Эпонина схватила за руку Монпарнаса.

— Берегись, обрежешься! У меня нож, — предупредил тот.

— Голубчик Монпарнас, — ласково сказала Эпонина, — зачем вы скрываете от меня? Разве я не дочь своего отца?.. Господин Бабэ, господин Гельмер, ведь мне же было поручено разведать это дело. Уверяю вас, что вам здесь делать нечего.

Нужно заметить, что Эпонина не говорила на воровском жаргоне. С тех пор как она познакомилась с Мариусом, этот воровской язык стал ей невыносимо противен.

Сжимая своей маленькой, костлявой и слабой, как у скелета, рукой толстые грубые пальцы

Гельмера, она продолжала:

— Вы знаете, что я не дура. Обыкновенно мне верят во всем. Я не раз оказывала вам хорошие услуги. Здесь я тоже разузнала все, что нужно, и вы совсем напрасно суетесь сюда. Клянусь вам, что в этом доме для вас ничего нет интересного.

— Тут одни бабы… — начал было Гельмер.

— О нет, они уж давно съехали отсюда! — перебила Эпонина.

— А почему же они не захватили с собой этого? — насмешливо сказал Бабэ, указывая на свет, мелькавший сквозь вершины деревьев в слуховом окне дома.

Это Туссен еще возилась на чердаке, развешивая свое белье для просушки.

Несмотря на такое явное доказательство ее лжи, Эпонина не отступалась от своей цели.

— Тут теперь другие жильцы, но они очень бедные, у них во всем доме ничего нет, — продолжала она.

— Убирайся к черту! — сердито крикнул, теряя терпение, Тенардье. — Когда мы сами обыщем весь дом, перевернем его вверх дном и ничего не найдем, тогда, пожалуй, поверим тебе. А теперь убирайся и не мешай нам!

И он хотел приняться за решетку.

— Монпарнас, дружочек, — снова обратилась к молодому разбойнику девушка, — вы такой умный, послушайтесь хоть вы меня: не ходите туда!

— Говорят тебе — берегись, если не хочешь обрезаться! — вместо ответа процедил сквозь зубы Монпарнас.

— Убирайся же наконец, несносная девчонка, не мешай нам делать дело! — снова закричал Тенардье, начиная окончательно выходить из себя.

Эпонина выпустила руку Монпарнаса, которую снова схватила было, и спросила:

— Так вы непременно хотите войти в этот дом?

— Так, слегка! — засмеялся чревовещатель.

Эпонина прижалась спиной к решетке и, очутившись лицом к лицу с шестью вооруженными с головы до ног разбойниками, выглядевшими в потемках настоящими чертями, тихо, но твердо проговорила:

— Ну а я этого не хочу и не допущу!

Вся компания разинула рты от изумления. Один чревовещатель насмешливо хихикнул. Эпонина продолжала тем же тоном:

— Слушайте, друзья мои! Я серьезно говорю вам: если вы только дотронетесь до этой решетки и не оставите своего намерения войти в дом, я закричу, разбужу народ, кликну жандармов и заставлю переловить вас всех! Так вы и знайте!

— Она на это способна! — шепнул Тенардье Брюжону и чревовещателю.

— Да, я заставлю вас всех переловить, начиная с отца, — смело повторила Эпонина.

Тенардье приблизился было к ней.

— Не лезь, старикашка! — осадила она его.

Он невольно попятился назад, прошипев сквозь зубы:

— Что это с ней сделалось?.. Собака этакая!

Эпонина злобно засмеялась.

— Делайте что хотите, но вы не войдете сюда! — сказала она. — Я не собака, я волчица, потому что родилась я от волка. Вас шестеро, но мне совершенно все равно, сколько бы вас ни было. Я хоть и женщина, но нисколько не боюсь вас, так и знайте!.. Говорю вам: вы не войдете в дом, потому что я этого не хочу. Как только вы подойдете поближе, я залаю. «Кеб» — это я сама. Плевать я на всех вас хочу, вот что! Убирайтесь, откуда пришли! Мне надоело с вами возиться! Ступайте, куда глаза глядят. А этот дом прошу не трогать, иначе вы будете иметь дело со мной… Ваши ножи мне тоже не страшны: я одним своим старым башмаком сделаю вам больше вреда, чем вы мне своими ножами… Ну, попробуйте-ка подойти сюда! — Она сама смело подвинулась на шаг вперед к разбойникам и с прежним смехом

продолжала: — Честное слово, я нисколько не боюсь вас! Мне ничего не страшно. Дураки вы, если воображаете, что можете испугать такую девку, как я! Да и чего мне бояться?.. Не все же такие, как ваши любовницы, которые со страха залезают под кровать, как только вы заорете на них! Нет, я не из таких мокрых куриц! Даже вас не боюсь, дорогой папенька! — добавила она, устремив на Тенардье пристальный взгляд своих горевших глаз, и, обводя страшными глазами разгневанного призрака остальных грабителей, она после короткой передышки продолжала: — Мне решительно все равно, подберут ли меня завтра утром на улице Плюмэ, зарезанной отцом, найдут ли через год сетями в Сен-Клу или возле Лебединого острова, плавающей посреди гнилых пробок и утопленных собак…

Голос ее был перехвачен припадком сухого кашля. Слышно было, как в ее узкой, впалой груди что-то хрипит и свистит.

С трудом откашлявшись, она снова заговорила:

— Стоит мне только крикнуть — и вы опять защеголяете в браслетах и ошейниках… Вас шестеро, а за мною весь свет.

Тенардье опять порывался подойти к ней.

— Говорят тебе, не лезь! — крикнула она.

Он остался на месте и по возможности мягко сказал:

— Ладно, ладно, не подойду. Только не кричи так… Дочка, почему ты хочешь помешать нашей работе? Нужно же нам жить чем-нибудь… Не жаль тебе своего бедного отца?

— Полно вздор городить! — презрительно сказала Эпонина.

— Я спрашиваю тебя: чем же мы будем жить? Чем питаться?

— Коли нечем — издыхайте!

Проговорив эти жестокие слова, Эпонина опять уселась на фундаменте решетки и тихо запела припев из Беранже:

И ручка так нежна,

И ножка так стройна,

А время пропадает…

Подперев голову рукой, облокоченной на колено, она с видом полнейшего равнодушия стала покачивать ногой. Сквозь изодранное платье виднелись ее костлявые ключицы. Свет соседнего фонаря падал на ее лицо и фигуру. Она вся дышала непоколебимым спокойствием и твердой решимостью.

Беглецы, насупленные и смущенные тем, что их держит в руках девчонка, столпились в тени, бросаемой фонарным столбом, и начали совещаться, униженные и горящие злобою, в недоумении подергивая плечами. Эпонина наблюдала за ними спокойным и суровым взглядом.

— С ней что-то случилось, — говорил Бабэ. — Недаром она так хорохорится. За этим что-нибудь да скрывается. Уж не врезалась ли она тут в кого?.. Впрочем, тут ведь никого нет, кроме двух баб да старикашки, который, кстати сказать, всегда спит вон там, на задворках… А жалко:

важное бы дельце можно было бы здесь обработать. Наверное, есть чем поживиться: одни занавески на окнах чего стоят! Этот старик, по-моему, богатый жид. Мы бы здесь, наверное, кое-что заработали.

— Так ступайте вы все туда, — сказал Монпарнас, — а я останусь с девчонкой, и если она очень уж начнет брыкаться, то я…

Остальное он досказал своим ножом, блеснувшим у него в руке.

Тенардье молчал, но был, очевидно, готов на все.

Брюжон, которого часто слушались, как оракула, и который собственно и «навел» на это «дело», еще не высказал своего мнения. Он казался погруженным в задумчивость. Слывя за человека, ни перед чем не отступавшего, он один раз поддержал эту репутацию тем, что из одного удальства начисто ограбил полицейский пост. Кроме того, он сочинял стихи и песни, что придавало ему еще больший престиж в глазах товарищей.

— Что же ты молчишь, Брюжон? — обратился к нему Бабэ.

Брюжон помолчал еще немного, потом покачал головой и наконец решился высказать свое мнение:

— Вот что, ребята: нынче утром я видел двух дравшихся воробьев, а вечером наскочил на девку, которая лает. Это дурные признаки. Лучше нам уйти. По крайней мере, я ухожу.

Его слово было решающим. Все покорно последовали за ним.

— Если б вы захотели поработать, я бы с девчонкой не церемонился, — сказал Монпарнас дорогой.

— Ну а я с этим не согласен, — сказал Бабэ, — я не люблю трогать женщин.

На углу улицы компания остановилась и тихо обменялась следующими загадочными словами:

— Куда же мы пойдем ночевать?

— Под Пантэн.

— Тенардье, у тебя ключ от решетки?

— Ну, конечно!

Эпонина, не спускавшая с них глаз, видела, как они шли той же дорогой, какой пришли. Она встала и последовала за ними, она шла крадучись, чуть не ползком, вдоль стен и домов. Таким образом она проследила их вплоть до бульвара.

Там она остановилась и дожидалась, пока все шестеро не исчезли во мраке ночи.

Глава 260

После ухода грабителей улица Плюмэ снова приняла свой мирный ночной вид.

То, что произошло сейчас на этой улице, не было бы удивительным в лесу. Там вся так тесно и густо переплетенная растительность живет какой-то особенной таинственной жизнью, и копошащийся в ней дикий мир часто созерцает явления невидимого; существа, стоящие ниже человека, сквозь туман различают своим острым

зрением то, что недоступно человеку; неизвестное живущим сходится там в потемках. Дикая, ощетинившаяся природа пугается при приближении того, в чем она чует сверхъестественное.

Ночные силы знают друг друга и приходят между собой в таинственные соглашения. Зубы и когти боятся неуловимого. Кровожадное зверство, алчные, вооруженные когтями и клыками инстинкты, вечно ищущие добычи, служащие исключительно желудку, порождение которого они и составляют, с тревогой чуют и видят бесстрастные облики призраков, спокойно надвигающихся во мраке в своих развевающихся саванах, кажущихся одаренными какою-то страшною жизнью — жизнью смерти. Грубая, чисто материальная сила смутно страшится иметь дело с непроницаемой тьмой, сгущенной в неизвестном существе. Черная фигура, преграждающая путь, заставляет дикого зверя сразу остановиться. То, что выходит из кладбища, пугает и сбивает то, что выходит из берлоги: волки отступают при виде колдуньи.

Глава 261

В то время как своеобразный сторож в образе женщины охранял решетку сада от шестерых злоумышленников, которых и заставил отступить от нее, Мариус находился возле Козетты.

Никогда еще усыпанное звездами небо не было так ясно, никогда еще деревья не трепетали так нежно, а травы не благоухали так сладко, никогда еще птички не засыпали в своих гнездышках под такой убаюкивающий шелест листьев, никогда еще ясное согласие природы так не соответствовало внутренней музыке любви, никогда еще Мариус не был так влюблен, так счастлив, так восторжен. Но он застал Козетту печальной: она плакала, глаза у нее были красны.

Это было первым облаком на горизонте царства чудных грез.

— Что с тобой? — было первым вопросом Мариуса.

— Ах! — проговорила она сдавленным голосом, опускаясь на скамейку возле крыльца.

Дождавшись затем, когда и Мариус, весь дрожавший от волнения, уселся рядом с нею, она продолжала:

— Отец сказал мне утром, чтобы я собиралась в путь, потому что у него есть дела, по которым нам обоим, быть может, придется уехать.

Мариус затрепетал с головы до ног. Когда жизнь кончается, умереть — значит уезжать, а когда жизнь только начинается, уезжать — значит умереть.

В течение шести недель Мариус мало-помалу, медленно, постепенно, с каждым днем все более овладевал Козеттой. Обладание это было чисто идеальное, но глубокое. Мы уже объяснили, что в первой любви душой овладевают раньше, чем телом, впоследствии тело берут раньше души, а душу иногда и вовсе не берут. Фоблазы и Прюдомы оправдываются в этих случаях тем, что говорят: «Как же взять душу, когда ее не существует?» Но, к счастью, этот сарказм — богохульство; будь так на самом деле, тогда это

было бы очень грустно. Итак, Мариус обладал Козеттой, как обладают духи, но он всецело охватывал ее своей душой и владел ею с ревнивою требовательностью. Он обладал ее улыбкой, ее дыханием, ее благоуханием, глубоким сиянием ее голубых глаз, нежностью ее кожи, когда дотрагивался до ее руки, прелестным родимым пятнышком на ее шее, всеми ее помыслами. Они условились никогда не спать, без того чтобы не видеть друг друга во сне, и держали эту клятву. Следовательно, Мариус обладал даже снами Козетты. Он постоянно любовался и иногда касался своим дыханием нежных завитков волос на ее затылке и думал про себя, что каждый из этих волосков принадлежит безраздельно ему, Мариусу. Он созерцал и обожал все вещи, которые она носила: ее бантики, перчатки, манжетки, башмаки. Все это было для него своего рода священными предметами, которые принадлежали ему. Он с невыразимой гордостью говорил себе, что он собственник тех хорошеньких черепаховых гребеночек, которые были у нее в волосах. Под

влиянием глухо и смутно пробивавшейся чувственности он даже уверял себя, что не было ни одной тесемки на ее платье, ни одной петли в ее чулках, ни одной складки на ее корсете, которые тоже не были бы его собственностью. Около Козетты он чувствовал себя, как около своего имущества, около своей вещи, около своего деспота и вместе с тем — раба. Казалось, они до такой степени слились душами, что если бы каждый из них захотел взять свою душу обратно, то они не были бы в состоянии отличить их одну от другой. «Это твоя», — говорили бы они. «Нет, это моя!» — «Уверяю тебя, ты ошибаешься. Это я». — «Нет, то, что ты принимаешь за себя, это — я». Мариус был чем-то, что составляло часть Козетты, а Козетта была частью Мариуса. Мариус чувствовал Козетту живущей в нем. Иметь Козетту, обладать Козеттой было для него то же самое, что дышать. И вот среди этой веры, среди этого упоения, этого девственного, полного, блаженного обладания вдруг раздались роковые слова: «Нам придется уехать», то есть расстаться! Только тут

он расслышал грубый голос действительности, кричавший ему: «Козетта — не твоя!» Мариус очнулся. Все эти шесть недель он, как мы уже говорили, жил вне настоящей жизни. Слово «уехать», равносильное слову «расстаться», сразу вернуло его к этой жизни.

Он не находил слов для выражения того, что в нем происходило. Козетта чувствовала, что его рука холодна как лед, и в свою очередь спросила его:

— Что с тобой?

Он отвечал так тихо, что Козетта едва могла расслышать:

— Прости, я не понял, что ты сказала.

Она повторила:

— Сегодня утром отец велел мне собрать все мои вещи и быть готовой к отъезду. Он сказал, что должен куда-то ехать и что хочет взять меня с собой. Для себя он велел приготовить небольшой чемодан, а для меня — большой сундук. Все

должно быть готово через неделю. Ехать нам придется, кажется, в Англию.

— Но ведь это чудовищно! — воскликнул Мариус.

Несомненно, что в этот момент во мнении Мариуса никакое злоупотребление властью, никакое насилие, никакие ужасные поступки тиранов, вроде Тиверия и Генриха VIII, не могли сравниться по жестокости с бесчеловечностью Фошлевана, увозившего свою дочь в Англию ради того только, что у него там есть какое-то дело.

И молодой человек едва слышным голосом спросил:

— Когда ты уезжаешь?

— Точно не знаю, — ответила Козетта.

— А когда возвратишься?

— Тоже не знаю.

Мариус встал и холодно проговорил:

— Козетта, и вы поедете?

Козетта взглянула на него своими прекрасными глазами, полными смертельной тоски, и растерянно пробормотала:

— Куда?

— Да в Англию… Неужели поедете?

— Зачем ты говоришь мне «вы»?

— Я вас спрашиваю, вы поедете?

— Да как же мне быть, по-твоему?! — чуть не крикнула она, с видом мольбы сложив руки.

— Стало быть, вы едете?

— Раз отец едет…

— Значит, едете, да?

Козетта молча схватила руку Мариуса и крепко стиснула ее.

— Хорошо, — сказал Мариус, — в таком случае я тоже отправляюсь в путь, только в другой.

Козетта скорее почувствовала, чем поняла смысл этих слов. Она так сильно побледнела, что

ее лицо выделилось в потемках резким белым пятном.

— Что ты хочешь сказать? — прошептала она.

Мариус взглянул на нее, потом медленно поднял глаза к небу и отвечал:

— Ничего.

Когда он снова опустил глаза, то заметил, что Козетта ему улыбается. Улыбка любимой женщины сияет и сквозь тьму.

— Какие мы глупые, Мариус! — воскликнула Козетта. — У меня сейчас блеснула прекрасная мысль.

— Что такое?

— Поезжай за нами. Я тебе сообщу, где мы будем, и ты приедешь.

Мариус вдруг пришел в себя. Он сразу спустился с облаков на землю, в мир действительности.

— Ехать за вами! — воскликнул он. — Ты с ума сошла! Ведь на это нужны деньги, а у меня их нет! Ехать в Англию?! Я должен более десяти золотых Курфейраку, одному из моих приятелей… Ты его не знаешь… Потом, у меня нет ничего, кроме старой шляпы, не стоящей и трех франков, старого сюртука, у которого не хватает спереди пуговиц, рваной рубашки и старых сапог. Последние шесть недель я об этом не думал, не говорил и тебе о своем положении. Ах, Козетта, ведь, в сущности, я человек очень жалкий! Ты видишь меня только ночью, поэтому и даришь мне свою любовь. Но если бы ты увидела меня днем, то бросила бы мне только подаяние! Ты хочешь, чтобы я ехал за вами в Англию?.. Но у меня нечем заплатить за паспорт!

Он бросился к ближайшему дереву и прижался лбом к его шершавой коре. Стиснув зубы и заломив руки над головой, он долго простоял неподвижно в таком положении, не чувствуя боли от жесткой коры дерева, не замечая, как кровь стучит у него точно молотками в висках. Дрожащий, готовый упасть от

охватившей его слабости, он казался олицетворением отчаяния.

Прошло много времени — Мариус не шевелился. Находясь в сильном горе, человек иногда замирает. Наконец он обернулся, услышав за собой подавленные, тихие, жалобные звуки.

Это рыдала Козетта. Уже более двух часов она плакала возле Мариуса, точно впавшего в бессознательное состояние.

Он подошел к ней, упал на колени и, тихо простершись перед нею, нежно прикоснулся губами к кончику ее ноги, выступавшему из-под платья.

Она не препятствовала ему и молчала. Бывают минуты, когда женщина, подобно величавой богине, принимает поклонение любви, как нечто ей должное.

— Не плачь, — сказал он.

Она пробормотала сквозь слезы:

— Как же мне не плакать, когда, быть может, придется уехать, а ты не можешь ехать за нами!

— Ты любишь меня? — продолжал он.

Рыдая, она ответила ему тем райским словом, которое особенно нежно звучит именно сквозь слезы:

— Я обожаю тебя!

Он продолжал голосом, проникнутым беспредельной нежностью:

— Не плачь же! Ради своей любви ко мне не плачь.

— А ты любишь меня? — спросила она.

— Козетта, — сказал он, взяв ее за руку, — я никогда никому не давал честного слова, потому что боюсь напрасно давать его. Я постоянно чувствую возле себя близость отца. Но тебе я смело даю это честное слово, что, если ты уедешь, я умру.

В тоне этих слов было столько торжественности, столько спокойного величия и грусти, что Козетта невольно задрожала. Она ощутила тот внутренний холод, который

производится мелькнувшей мимо нас неподкупной истиной.

Потрясенная до глубины души, Козетта перестала плакать.

— Теперь вот что, — сказал Мариус, — завтра меня не жди.

— Почему?

— Жди меня только послезавтра.

— Но почему же?

— Тогда узнаешь.

— Прожить целый день, не видя тебя? Да это невозможно!

— Пожертвуем одним днем, чтобы завоевать себе, быть может, целую жизнь… Да, — добавил Мариус как бы про себя, — этот человек никогда не изменяет своим привычкам и принимает только вечером.

— О ком ты говоришь? — спросила Козетта.

— Я?.. Я ни о ком не говорю.

— На что же ты надеешься?

— Подожди до послезавтра, тогда узнаешь,

— Ты этого хочешь?

— Да, Козетта.

Приподнявшись на цыпочки, чтобы быть повыше, она взяла обеими руками его голову и старалась прочесть в его глазах, какого рода он питает надежду.

— Да, вот что еще, — продолжал молодой человек, — на всякий случай тебе необходимо знать мой адрес. Мало ли что может случиться. Я живу у своего приятеля Курфейрака, улица Веррери, номер шестнадцать!

Он пошарил в кармане, достал перочинный ножик и его лезвием нацарапал на штукатурке стены: «Улица Веррери, No 16». Козетта снова заглянула ему в глаза.

— Скажи мне, что ты задумал, Мариус, — умоляла она. — Ради бога скажи, чтобы я могла спокойно спать эту ночь!

— Я думаю только о том, что невозможно, чтобы Бог захотел нас разлучить. Жди меня послезавтра — вот все, что я могу пока сказать.

— Что я буду делать до тех пор? — жалобно проговорила Козетта. — Тебе хорошо: ты на свободе и можешь идти куда хочешь… Какие счастливцы мужчины! А я должна оставаться в четырех стенах одна-одинешенька! Ах, как мне будет грустно! Что же ты будешь делать завтра вечером?

— Кое-что попытаюсь сделать.

— В таком случае я буду молиться Богу, чтобы он помог тебе. Я не стану расспрашивать тебя больше, раз ты не хочешь сказать сам. Ты — мой господин, и я буду слушаться тебя во всем. Завтра я весь вечер буду петь из «Эвриканты» то самое, что тебе так понравилось, когда ты потихоньку подслушивал у меня под окном. Но послезавтра приходи пораньше. Буду ждать тебя ровно в девять часов, так и помни… Господи, как плохо, что дни такие длинные! Слышишь, ровно в девять часов я буду здесь, в саду!

— И я тоже.

И молча, движимые одной и той же мыслью, увлеченные теми электрическими токами, которые держат любящих в беспрерывном общении, упоенные нежностью даже в горе, они, сами того не замечая, упали друг другу в объятия и слились устами, между тем как их полные восторга и слез глаза созерцали звездное небо.

Когда Мариус вышел из сада, улица была пуста. В эту-то именно минуту Эпонина и кралась вслед грабителям, направлявшимся к бульвару.

В то время когда Мариус, прислонясь головой к дереву, предавался своему отчаянию, у него в голове зародилась мысль, и он решил попытаться осуществить ее, хотя отлично сознавал, что едва ли она осуществима.

Глава 262

Деду Жильнорману в это время стукнул девяносто один год. Он все еще жил вместе с

девицей Жильнорман в своем старом доме на улице Филь-дю-Кальвер, No 6. Напомним читателю, что это был один из тех «древних» стариков, которые храбро ожидают и бестрепетно встречают смерть; их не давит бремя лет, не может сломить даже и самое тяжкое горе.

Между тем с некоторых пор дочь его стала говорить: «Отец что-то начал опускаться». И действительно, он уже не бил служанок по щекам, уже не стучал с прежней энергией палкой по перилам лестницы, когда Баск медлил отпереть ему дверь. Июльская революция очень мало смутила его. Он почти спокойно прочел в «Мониторе» следующее знаменательное сочетание слов: «Господин Гембло-Контэ, пэр Франции». Дело в том, что старик был сильно расстроен. Он еще не сдавался, не уступал; недуг его был не телесный, даже не душевный, но все-таки он внутренне изнемогал. Целых четыре года он спокойно ждал Мариуса, вполне уверенный, что этот «дрянной мальчишка» не сегодня завтра позвонит у его двери. Теперь же, в минуты приступов хандры, он говорил себе, что Мариус,

пожалуй, заставит себя ждать слишком долго. И не мысль о возможной скорой смерти смущала старика: его мучило сознание, что ему, быть может, больше не придется увидеть Мариуса. Прежде ему и в голову не приходило, что так может случиться, что он никогда более не увидит внука, а теперь эта мысль все чаще и чаще стала преследовать старика, заставляя его стыть от ужаса. Разлука, как это часто бывает, когда замешано глубокое естественное чувство, только усилила его любовь к неблагодарному внуку, который с таким легким сердцем мог его покинуть. В декабрьские ночи при десяти градусах мороза всего чаще мечтается о жгучем солнце. Жильнорман был неспособен или, по крайней мере, воображал себя неспособным в качестве деда сделать первый шаг навстречу Мариусу. «Скорее умру», — говорил он себе, когда у него иногда мелькало в душе подобное желание. Лично за собой он не признавал никакой вины, но и о внуке думал не иначе как с глубоким умилением и немым отчаянием старика, собирающегося отбыть в царство

смерти. Он начал терять зубы. Это еще более увеличивало его печальное настроение.

Жильнорман ни одной женщины не любил так горячо, как любил Мариуса, но он не сознавал этого, иначе сошел бы с ума от стыда при мысли, что ему так дорог этот «мальчишка».

Он приказал поставить портрет своей умершей младшей дочери, мадам Понмерси, изображавший ее в восемнадцатилетнем возрасте, у себя в спальне прямо напротив изголовья своей постели, так чтобы этот портрет был первым предметом, на который падал бы его взгляд при его пробуждении. Он часто любовался этим портретом. Один раз у него даже вырвалось замечание:

— Я нахожу, что он похож на нее.

— На сестру? — спросила бывшая рядом дочь. — О да, конечно, похож.

— Да и на него тоже, — добавил старик.

Однажды, когда он сидел в полном унынии, сжав колени и почти закрыв глаза, дочь рискнула

сказать ему:

— Папа, разве вы все еще сердитесь?..

Она запнулась и не смела продолжать.

— На кого? — спросил старик.

— На бедного Мариуса?

Он поднял свою старую голову, стукнул по столу исхудалым сморщенным кулаком и крикнул раздражительным, резким тоном:

— Ты называешь его «бедным»?.. Нет, он не бедный, а негодяй, мерзавец, тщеславный, неблагодарный мальчишка, бессердечный, бездушный, злой, непокорный — вот он кто!

И старик отвернулся, чтобы дочь не заметила навернувшихся у него на глазах слез. Три дня спустя после долгого четырехчасового молчания он вдруг сказал дочери:

— Я имел уже честь просить мадемуазель Жильнорман никогда больше не упоминать о нем.

Дочь отказалась от всяких дальнейших попыток помирить отца с племянником и сделала

следующий глубокомысленный вывод: «Отец почти разлюбил мою сестру после ее глупой выходки, поэтому понятно, что он ненавидит и Мариуса».

«Глупая выходка» матери Мариуса состояла в том, что она вышла замуж за полковника.

Мадемуазель Жильнорман точно так же потерпела полную неудачу и в своей попытке заместить Мариуса своим любимцем, уланским офицером Теодюлем. Последний не мог вытеснить Мариуса из сердца старика. Жильнорман не принял этой замены. Сердечная пустота не может быть заполнена затычками. Со своей стороны Теодюль, хотя и чувствовал возможность получить богатое наследство, но брезговал ролью подхалима. Старик быстро наскучил улану, который в свою очередь так же быстро опротивел старику. Без сомнения, поручик Теодюль был малый веселый, но чересчур болтливый, остряк, но пошлый, умел пожить, но носил на себе отпечаток дурной компании, у него были любовницы, он много о

них говорил, но говорил дурно. Все это его сильно портило. Вообще все его достоинства были с сильными недочетами. Жильнормана выводили из себя рассказы поручика о похождениях в окрестностях казарм, где-то там, на Вавилонской улице. Кроме того, поручик иногда являлся в форме с трехцветной кокардой. Это делало его окончательно «невозможным» в глазах старика. Все это кончилось тем, что Жильнорман однажды объявил своей дочери:

— Мне надоел твой Теодюль. В мирное время я недолюбливаю военных. Принимай его сама, если хочешь. Мне кажется, настоящий рубака гораздо симпатичнее этих франтов, которые волочат за собою саблю. Лязг клинков в бою менее противен, нежели стук ножен по мостовой. К тому же изгибаться подобно клоуну, затягиваться по-бабьи и носить под кирасой корсет, это уже значит быть вдвойне смешным. Настоящий мужчина держится на равном расстоянии как от фанфаронства, так и от жеманства. А такие недоумки очень противны. Можешь оставить своего Теодюля при себе.

Хотя дочь и возражала ему: «Да ведь он вам сродни: ведь он внучатый племянник», — но оказывалось, что Жильнорман, будучи очень нежным дедом, не чувствовал никакой склонности к роли дяди. А так как он был старик умный, то сравнение Теодюля с Мариусом заставляло его только еще более жалеть о последнем.

Однажды вечером — это было 4 июня, что, однако, не мешало Жильнорману поддерживать яркий огонь в камине, — старик отпустил от себя дочь, которая уселась в соседней комнате с шитьем. Он остался один в своей комнате, украшенной картинами, изображающими пасторали. Полускрытый за большими створчатыми поромандульскими ширмами, положив ноги на каминную решетку и утонув в богато вышитом кресле, старик облокотился на стол, на котором горели две свечи под зеленым абажуром. Он держал в одной руке книгу, но не читал ее. Одетый по моде своего времени, он походил на старинный портрет Гарата. Его костюм на улице обязательно собрал бы вокруг

него толпу людей, если бы дочь не догадалась облекать его при выходе из дома в широкий плащ, вроде епископских мантий, закрывавший его одежду. Халат он надевал только ненадолго утром и вечером перед отходом ко сну. «Халат придает старческий вид», — говорил он.

Жильнорман думал о Мариусе с глубокой любовью и с не менее глубокой горечью, причем последняя преобладала. Его огорченная нежность под конец всегда вскипала и разражалась целой бурей негодования. Он дошел до той точки, когда человек мирится наконец со своей участью и перестает протестовать против того, что его мучит. Он всеми силами старался убедить себя, что теперь уже нет причин желать возвращения Мариуса, что если бы ему было суждено вернуться, он вернулся бы раньше, и что вообще пора перестать о нем сокрушаться. Он пытался свыкнуться с мыслью, что все кончено, что он должен умереть, не повидавшись более с этим «господином». Но тем не менее все его существо возмущалось против этого, и его старое сердце отказывалось покориться ему.

«Как! — ежедневно с горечью твердил он сам себе. — Неужели он так-таки не вернется?»

Тем же самым были заняты его мысли и в этот вечер, когда он сидел один в своей комнате.

Задав себе в тысячный раз этот вопрос, он низко опустил свою лысую голову и смотрел блуждающим, раздраженным взглядом на золу в камине.

Вдруг размышления его были прерваны приходом старого слуги, Баска.

— Господин Мариус просит позволения повидаться с вами, — доложил слуга.

Весь посинев от волнения, старик привскочил в кресле, напоминая труп, поднимающийся под влиянием электрического тока. Вся кровь хлынула ему к сердцу.

— Что такое?.. Господин Мариус? — с трудом переспросил он.

— Точно так… Но я не видел его… не знаю, что ему угодно, — бормотал в свою очередь Баск, испуганный видом своего господина. —

Николетта сказала мне, что вас спрашивает молодой человек, что это господин Мариус.

— А!.. Ну, пусть войдет, — тихо сказал старик и застыл в прежней позе, с трясущейся головой и глазами, устремленными на дверь.

Но вот дверь отворилась, и в нее вошел молодой человек. Это действительно был Мариус. Он остановился у порога, точно ожидая, что его пригласят подойти ближе. Благодаря тени от абажуров убожество его одежды не бросалось в глаза. Виднелось только его спокойное и серьезное лицо, проникнутое какою-то особенной грустью.

Жильнорман, ошеломленный неожиданностью и радостью, несколько мгновений не мог ничего различить, кроме смутного видения, словно перед ним был призрак. Он почти лишился чувств. Мариус предстал перед ним, словно окруженный ослепительным светом. Старик ясно видел теперь, что это действительно он, Мариус. В этом не могло быть никакого сомнения.

Наконец-то он явился! После четырех лет! Старик охватил внука одним взглядом и нашел его красивым, благородным, изящным, более прежнего выросшим, возмужавшим, с приличными манерами, чарующим. Деду страстно хотелось раскрыть свои объятия, подозвать к себе внука, броситься самому к нему. Внутренне он весь трепетал от восторга, нежные слова переполняли его сердце и готовы были излиться целым потоком. Наконец вся эта любовь прорвалась через уста и в силу свойственного его натуре духа противоречия выразилась в грубости.

— Что вам здесь нужно? — сухо спросил он. Мариус в смущении пробормотал:

— Сударь…

Жильнорман желал, чтобы Мариус бросился к нему на грудь, но так как этого не случилось, то он был крайне недоволен и Мариусом, и самим собой. Старик чувствовал, что сам он груб, а Мариус — холоден. Для бедного старика было невыносимо мучительно чувствовать себя умирающим от избытка нежности и не быть в

состоянии проявить своего чувства иначе, как жесткостью.

— Для чего же вы в таком случае пришли? — суровым тоном перебил он внука.

К словам «в таком случае» он мысленно добавил: «если не хочешь обнять меня».

Мариус спокойно смотрел на деда, лицо которого было бело, как мрамор, и опять начал было:

— Сударь....

Но старик с прежней суровостью снова прервал его:

— Вы пришли просить прощения?.. Сознали свои ошибки?

Этими вопросами он думал навести Мариуса «на путь» и ожидал, что «мальчик» ободрится и сдастся.

Мариус затрепетал: сознаться в своих «ошибках» значило отречься от родного отца. Он потупился и твердо ответил:

— Нет, сударь.

— Так чего же вы от меня хотите?! — страдальчески воскликнул подавленный горестью старик.

Мариус с видом мольбы сложил руки, приблизился на один шаг к деду и проговорил тихим, дрожащим голосом:

— Сжальтесь надо мной!

Эти слова взорвали Жильнормана. Будь они сказаны в самом начале, они тронули бы его до глубины души, но теперь они были произнесены слишком поздно.

Старик поднялся. Он опирался обеими руками на трость, губы его совсем побелели, голова тряслась, но его высокая фигура властвовала над стоявшим со склоненной головою Мариусом.

— Сжалиться над вами, сударь?! — крикнул он вне себя. — Юноша молит о сострадании девяностолетнего старика! Вы только вступаете в жизнь, а я покидаю ее. Вы ходите по театрам, по балам, бываете в ресторанах, в бильярдных, вы

нравитесь женщинам, вы молодой красавец, а я среди лета сижу у пылающего камина. Вы богаты лучшими сокровищами — сокровищами молодости, а я несу на своих плечах все немощи старости — дряхлость, одиночество. У вас целы все тридцать два зуба, вы обладаете хорошим желудком, живым взором, силою, аппетитом, здоровьем, веселостью, целым лесом черных волос, а у меня даже и седые волосы все повылезали. Я лишился своих зубов, лишился ног, лишаюсь памяти, постоянно путаю улицы Шарло и Шом, потому что обе они начинаются с одной и той же буквы, — вот до чего я дошел! Перед вами вся будущность, озаренная солнцем, а я почти ничего уже не вижу, потому что начинаю погружаться во мрак смерти. Вы, наверное, влюблены и любимы взаимно, а меня никто на всем свете не любит, — и вы вдруг приходите просить меня о сострадании! Мольер упустил из вида возможность такого курьеза, иначе он отметил бы его в своих произведениях… Не во дворце ли правосудия вы привыкли шутить такие шуточки, господа

адвокаты? Если так, то позвольте от всей души поздравить вас… Вы — народ веселый! — Передохнув, старик раздраженно повторил свой вопрос: — Ну-с, что же вам от меня нужно?

— Сударь, — заговорил, наконец, Мариус, — я знаю, что мое присутствие вам в тягость. Я пришел просить вас только об одном, и потом сейчас же уйду.

— Вы — дурак! — крикнул старик. — Кто велит вам уходить?

Это был перевод на грубый язык тех нежных слов, которые звучали в сердце деда: «Да проси же прощения! Бросься же ко мне в объятия!»

Жильнорман чувствовал, что через несколько минут Мариус действительно уйдет, что его суровый прием отталкивает молодого человека, гонит его вон из дома. Он говорил себе все это, и от этого сознания горе его возрастало, а так как у него горе всегда выражалось гневом, то его добрые чувства все дальше и дальше уходили в глубь души. Он хотел, чтобы Мариус понял его, несмотря на резкость его слов, но внук не мог

понять, и это все более и более раздражало старика.

— Как, — продолжал он, — вы позволили себе быть непочтительным ко мне, своему деду, вы покинули мой дом, чтобы бежать бог весть куда. Вы огорчили свою тетку. Вам, конечно, захотелось иметь полную свободу, чтобы без всякого стеснения вести жизнь бесшабашного кутилы, чтобы иметь возможность прокучивать все ночи напролет!.. Вы столько времени не подавали никаких признаков о своем существовании, веселились напропалую, наделали долгов, не прося даже, чтобы я заплатил их за вас, сделались уличным буяном, разбивающим для потехи стекла в чужих домах, дошли бог весть до какой степени распущенности, и вот, по прошествии четырех лет, являетесь ко мне и даже не находите что сказать!

Этот странный способ наталкивания внука на сердечную откровенность имел, разумеется,

совершенно противоположный результат. Мариус молчал.

Старик скрестил руки на груди, что у него всегда выходило очень эффектно, и с едкой горечью добавил:

— Однако пора кончить. Вы говорите, что пришли просить меня о чем-то. О чем же? Говорите.

— Сударь, — начал Мариус со взглядом человека, сознающего, что готов слететь в пропасть, — я пришел просить у вас разрешения жениться.

Старик молча позвонил. Баск приотворил дверь.

— Просите сюда мою дочь, — приказал ему Жильнорман.

Через минуту дверь снова отворилась, и в ней показалась девица Жильнорман. Увидав молодого человека, она остановилась в дверях. Мариус стоял в позе преступника: бледный, безмолвный, с беспомощно опущенными вниз руками.

Жильнорман шагал взад и вперед по комнате. Обернувшись на ходу к дочери, он крикнул ей:

— Особенного ничего нет. Это вот господин Мариус. Поздоровайтесь с ним. Этот господин желает жениться. Вот и все. Можете теперь уходить.

Отрывистые хриплые звуки голоса обличали страшный гнев, кипевший внутри старика. Тетка растерянно взглянула на Мариуса, сделала вид, что едва узнает его, и, не издав ни звука, не сделав ни одного жеста, исчезла из комнаты, точно былинка, уносимая бурей.

Между тем Жильнорман прислонился к одной из сторон камина и продолжал изливать кипевший в нем гнев.

— Жениться задумали?! — кричал он. — Это в двадцать-то один год!.. Ну и что же, все уже приготовлено? Остается только получить мое разрешение? Но это такая пустячная формальность, о которой и говорить не стоит! Садитесь, сударь… Да, так у вас была революция в течение того времени, когда я не имел чести вас

видеть? Якобинцы одержали верх. Вот, думаю, была радость-то у вас по этому поводу! Ведь вы, кажется, республиканец с тех пор, как стали бароном, не так ли?.. Ведь по-вашему это одно другому не мешает. Республика — это своего рода приправа к баронству. Быть может, у вас есть даже орден за июльские события? Наверное, и вы немножко помогали брать Лувр, не правда ли? Здесь поблизости на улице Сент-Антуан, против улицы Нонэндьер, в стене одного дома, на высоте третьего этажа, торчит ядро с надписью «28 июля 1830 года». Советую вам пойти и полюбоваться. Это очень эффектное украшение!.. Вообще ваши приятели очень отличились! Кстати, не хотят ли они поставить фонтан на месте памятника герцогу Беррийскому?.. Итак, вы собираетесь жениться? Вы не сочтете за нескромность, если я спрошу: на ком?

Старик было умолк, но, прежде чем Мариус успел ему ответить, яростно продолжал:

— Следовательно, у вас есть положение? Есть состояние? Сколько вы зарабатываете своим

адвокатским ремеслом?

— Ничего, — отвечал Мариус с какой-то дикой твердостью и решимостью.

— Ничего? Значит, у вас нет ничего, кроме тех тысячи двухсот ливров, которые я вам даю?

Мариус молчал. Жильнорман продолжал:

— Понимаю: вы женитесь на богатой?

— Она так же богата, как я сам.

— Как! Вы берете беспризанницу?

— Да.

— Может быть, имеются надежды впереди?

— Не думаю.

— Значит, она совсем нищая.... Кто же ее отец?

— Не знаю.

— А как ее зовут?

— Мадемуазель Фошлеван.

— Фош… как дальше-то?

— Фо-шле-ван.

— Фьють! — свистнул старик.

— Сударь!.. — начал было Мариус.

Старик перебил его тоном человека, беседующего с самим собою:

— Как это все красиво: двадцать один год, положения никакого, тысяча двести ливров ежегодного дохода, так что госпоже баронессе Понмерси придется самой ходить на рынок покупать на два су зелени в суп.

— Сударь, — снова начал Мариус, смущенный исчезновением последней надежды, — умоляю вас… заклинаю всем святым, именем неба… молю у ног ваших, позвольте мне жениться на ней!

Старик рассмеялся резким, зловещим смехом, прерываемым кашлем, и сказал:

— Как это трогательно, ха-ха-ха!.. Воображаю, как вы говорили себе: «Черт возьми, придется пойти к этому старому безмозглому болвану. Ничего не поделаешь! Эх, жаль, что мне

нет еще двадцати пяти лет: я показал бы ему тогда, как он мне нужен! Мне тогда не было бы необходимости спрашиваться у него… Впрочем, все равно! Пойду и скажу ему: вот что, старый дурак, ты должен быть счастлив, что видишь меня. Ну, а я, так и быть, скажу тебе, что хочу жениться на девице без рода и племени. У меня нет сапог, у нее нет рубашки, — поэтому мы вполне пара. Я хочу послать к черту свою карьеру, свою будущность, свою молодость, свою жизнь, хочу броситься в бездну нищеты, навязав себе на шею женщину, чтобы глубже уйти на дно. Таково мое желание, такова моя воля, и ты должен согласиться на это. И это старое ископаемое, конечно, не осмелится не согласиться». Ступай, мой милый, куда хочешь, бросайся скорее в пропасть, куда тебя так неудержимо влечет, женись на своей госпоже Пуслеван, Куплеван или как там ее?.. Нет, сударь, моего согласия на это никогда не будет! Слышите: никогда!

Последнее «никогда» Жильнорман крикнул так пронзительно, что у Мариуса зазвенело в

ушах.

— Отец!.. — снова взмолился молодой человек.

— Сказано — никогда! — еще раз повторил старик.

Мариус почувствовал, как у него исчез из сердца последний луч надежды. Он тихими шагами направился к двери. С низко опущенной головой, бледный, дрожащий, он скорее походил на человека умирающего, чем на собирающегося покинуть место, где не получил того, чего ожидал. Жильнорман следил за ним глазами и в ту минуту, когда внук хотел выйти в отворенную уже им дверь, бросился к нему с той живостью, которая свойственна пылким и избалованным старикам, схватил его за ворот, с силой втащил обратно в комнату, толкнул в кресло и тихо сказал:

— Расскажи мне все, как следует.

Вырвавшееся у Мариуса слово «отец» произвело в душе Жильнормана внезапный

переворот, после того как он повторил свое «никогда».

Мариус растерянно смотрел на него. Подвижное лицо Жильнормана теперь не выражало ничего, кроме грубого, но беспредельного добродушия. Предок уступил место деду.

— Рассказывай же, выкладывай мне подробно, что это у тебя завелись за шашни, — продолжал он, — не стесняйся, рассказывай без утайки… Ах, молодые люди, молодые люди, какие вы, однако, глупцы!

— Отец… — снова начал Мариус и запнулся. Все лицо старика озарилось лучами счастья.

— Ну, ну! — поощрял он внука. — Зови меня почаще отцом. Тогда мы скорее споемся.

В его грубости было теперь столько доброты, нежности, чисто отцовского чувства, что Мариус, опьяненный этим быстрым переходом от отчаяния к надежде, некоторое время не мог прийти в себя.

Так как он теперь сидел возле стола, то свет выдал все убожество его одежды. Старик смотрел на это убожество с изумлением и жалостью.

— Хорошо, отец, — сказал, наконец, Мариус.

— Так ты и в самом деле сидишь совсем без денег? — сказал старик. — ты выглядишь каким-то жуликом.

Он порылся в ящике стола, достал кошелек и положил перед внуком:

— Вот тут сотня луидоров. Купи себе по крайней мере хоть шляпу

— Отец, милый отец, — смелее заговорил Мариус, — если бы вы знали, как я ее люблю! Вы и представить себе не можете… Я увидел ее в первый раз в Люксембургском саду, куда она ходила гулять. Вначале я не обращал на нее внимания, а потом, сам не знаю как, полюбил ее. О, как я страдал, когда почувствовал себя влюбленным!.. Теперь я вижу ее каждый день… Ее отец ничего не знает о наших свиданиях… Представьте себе: они собираются уезжать… Мы

видимся у нее в саду по вечерам… Отец хочет увезти ее в Англию. Вот я и сказал себе: «Пойду к дедушке и расскажу ему все». Я с ума сойду, умру, захвораю, брошусь в воду… Я непременно должен жениться на ней, иначе сойду с ума… Она живет в саду, обнесенном решеткой, на улице Плюмэ. Это около Дома Инвалидов.

Продолжая сиять, старик уселся рядом с Мариусом. Слушая молодого человека, упиваясь звуками его голоса, Жильнорман в то же время наслаждался понюшками табака. При словах «улица Плюмэ» он, вместо того чтобы вложить табак в нос, просыпал его себе на колени.

— Улица Плюмэ?.. — повторил он. — Ты говоришь — улица Плюмэ? Вот как!.. Там, кажется, находятся казармы? Да, да, именно там… Твой двоюродный братец Теодюль говорил мне… Знаешь, этот улан, офицер… Девчонка, говорят, ничего… Так она живет на улице Плюмэ?.. Прежде она называлась улицей Бломэ… Да, да, теперь я начинаю припоминать… Я уже не раз слышал об этой девице за решеткой

на улице Плюмэ. Постоянно прогуливается по саду… Настоящая Памела… У тебя вкус недурен… Говорят, она хорошенькая… Говоря между нами, мне сдается, что этот долговязый уланишка немножко ухаживал за нею… Не знаю только, до чего у них там дошло. Впрочем, это все равно! Да ему не совсем можно и верить… хвастается, должно быть… Мариус, мне нравится, когда такой молодой человек, как ты, бывает влюблен. Так и должно быть в твои годы. Несравненно лучше быть влюбленным, чем быть якобинцем. Будь влюблен не только в одну женщину, а хоть в двадцать одновременно, не влюбляйся только в господина Робеспьера… Что касается меня, то я должен отдать себе справедливость: из рядов санкюлотов я всегда признавал только женщин. Красивая женщина всегда останется красивой, к какому бы сословию она ни принадлежала. Об этом не может быть и речи… Так эта девица принимает тебя у себя в саду тайком от отца? Это — тоже в порядке вещей. У меня самого немало было таких историй. Я довольно опытен в этих делах… А

знаешь, как нужно держать себя в таких случаях? Во-первых, не следует входить в азарт, во-вторых, не нужно впадать в трагизм, в-третьих, не бросаться очертя голову к мэру с его шарфом, чтобы поскорее назваться мужем своей возлюбленной. Таким путем даже умный человек разыгрывает из себя дурака. Нужно быть благоразумнее. Наслаждайтесь жизнью, смертные, но не женитесь раньше времени! Молодые люди должны приходить к дедушке, который обыкновенно бывает очень добр и у которого всегда могут найтись в ящике старого стола несколько сверточков с золотом, и сказать ему: «Дедушка, вот в чем дело», — и дедушка скажет: «В этом нет ничего удивительного. Молодое молодится, а старое старится. Я был молод, и ты состаришься. Что я сейчас сделаю для тебя, то и ты со временем сделаешь для своего внука. Вот, получай двести пистолей. Повеселись немножко! Наслаждайся, пока молод!» Вот как должны делаться эти дела. В этих случаях обыкновенно обходятся без

женитьбы и чувствуют себя отлично. Ты меня понял?

Мариус сидел точно окаменевший и, не будучи в силах выговорить ни слова, только отрицательно покачал головой.

Старик расхохотался, потом лукаво прищурился, хлопнул внука рукой по колену, заглянул ему в лицо с таинственным и сияющим видом и, пожимая плечами, нежно проговорил:

— Глупенький, да ты возьми ее себе в любовницы.

Мариус побледнел. До сих пор он действительно ничего не понял из того, что ему наговорил дед. Все это словоизвержение — относительно улицы Бломэ, Памелы, казарм, уланского офицера — промелькнуло мимо ушей Мариуса подобно какой-то фантасмагории. Конечно, все это не могло относиться к Козетте — этой непорочной лилии. Старик, по всей вероятности, болтал о ком-то другом, так себе, зря. Молодой человек понял только заключительные слова деда: «Возьми ее себе в

любовницы». Эти слова были смертельным оскорблением любимой девушки: они не только застряли у него в мозгу, но и пронзили ему сердце, как ножом.

Мариус вдруг встал, поднял упавшую на пол шляпу и твердым уверенным шагом снова направился к двери. Дойдя до нее, он обернулся, низко поклонился деду, затем гордо поднял голову и сказал:

— Пять лет тому назад вы оскорбили моего отца, теперь вы оскорбляете мою жену. С этой минуты я никогда ни о чем не буду просить вас, сударь. Прощайте!

Ошеломленный старик раскрыл было рот и протянул руки, усиливаясь встать, но, прежде чем он успел произнести хоть одно слово, дверь затворилась, и Мариус исчез.

Несколько минут Жильнорман просидел неподвижно, словно пораженный громом, не будучи в состоянии не только говорить, но даже дышать, точно его душила какая-то мощная рука. Наконец он сорвался с кресла, подбежал к двери

со всею скоростью, на какую способен человек в девяносто один год, и крикнул на весь дом:

— Помогите! Помогите!

Первой явилась дочь, потом сбежались слуги.

— Бегите за ним, догоните его! — кричал старик жалким, совершенно разбитым, хриплым голосом. — Что я ему сделал?.. Он сумасшедший… Убежал!.. О боже мой, боже мой!.. Теперь он уже никогда не вернется!..

Он бросился к окну, выходившему на улицу, открыл его своими старыми дрожащими руками, высунулся из него всем телом, так что непременно потерял бы равновесие, если бы его сзади не держали Баск с Николеттой, и принялся отчаянно звать внука:

— Мариус! Мариус! Мариус!

Но Мариус не мог его слышать: он в это время уже сворачивал за угол улицы Сен-Луи.

С выражением смертельной тоски девяностолетний старик схватился за голову, попятился, весь дрожа и шатаясь, от окна и упал

в стоявшее сзади него кресло, едва дыша, безгласный, без слез, без стона, с трясущейся головой, с беззвучно шевелившимися губами, с бессмысленным взглядом, с глазами и сердцем, в которых не оставалось ничего, кроме глубокого, мрачного, как ночь, уныния.

Глава 263

В этот же самый день, часов около четырех дня, Жан Вальжан сидел на краю одного из самых уединенных валов Марсова поля. То ли из осторожности, то ли от желания быть наедине со своими мыслями, или просто в силу перемены привычек, происходящей иногда совершенно незаметно у людей, но теперь старик очень редко стал брать с собой на прогулки Козетту.

Он был в куртке, какие носят рабочие, в серых парусинных панталонах и в фуражке с длинным козырьком, наполовину скрывавшим его лицо. Относительно Козетты он в настоящее время был спокоен и счастлив. Все, что смущало и пугало его несколько недель тому назад, исчезло. Зато в

последние дни его стали осаждать тревожные мысли другого рода.

Как-то недавно, гуляя по бульвару, он встретил Тенардье, но последний не узнал его в одежде рабочего. С тех пор Жан Вальжан каждый день стал встречать Тенардье на бульваре и понял, что тот, очевидно, что-то высматривает в этих местах. Этого было достаточно, чтобы побудить Жана Вальжана решиться на то, что ранее не приходило ему в голову. Пребывание Тенардье поблизости угрожало большою опасностью. Кроме того, в Париже было неспокойно: царившие в то время политические страсти были очень опасны, между прочим, и для тех, кто имел причины скрывать что-либо в своей жизни. Полиция стала очень чутка и подозрительна, проявляла необычную деятельность и, выслеживая какого-нибудь Пепина или Морэ, легко могла напасть на след и такого человека, как Жан Вальжан. По всем этим соображениям он решил покинуть Париж, и даже саму Францию, и отправиться в Англию. Козетту он уже предупредил. Через неделю следовало

быть уже в пути. Теперь, сидя на валу Марсова поля, он продолжал думать о Тенардье, о полиции, о своем предполагаемом путешествии и о необходимости достать паспорт.

Все это сильно беспокоило его. Кроме того, он находился под свежим впечатлением одного открытия, поразившего его сегодня утром и внесшего новую долю тревоги в его душу. Прогуливаясь в своем саду на заре, когда дочь и служанка еще спали, он вдруг увидал следующие слова, нацарапанные на стене, должно быть, гвоздем: «Улица Веррери, No 16».

Надпись эта, очевидно, была сделана совсем недавно. Она резко белела на старой почерневшей штукатурке, а крапивный куст, росший возле стены, был весь осыпан тонкой известковой пылью. Должно быть, надпись была сделана в эту ночь. Что бы она означала? Адрес?.. Но чей? Условный знак для кого-нибудь? Или, быть может, предупреждение для него самого? Во всяком случае, это доказывало, что в саду были какие-то посторонние люди.

Жан Вальжан припомнил те странные инциденты, которые уже раньше тревожили покой его дома, и мысль его заработала над сопоставлением старых фактов с новыми. Козетте он ничего не сказал о надписи на стене, боясь напугать девушку.

Во время этих размышлений он вдруг заметил перед собою тень, свидетельствовавшую, что позади него, наверху вала, стоит человек. Жан Вальжан хотел обернуться, но в эту минуту к нему на колени упала сложенная вчетверо бумажка, точно брошенная чьей-то рукою прямо над его головой. Он взял бумажку, развернул и прочел грубо нацарапанное на ней карандашом слово: «Переселитесь».

Жан Вальжан проворно вскочил, но за ним уже никого не было. Озираясь по сторонам, он увидел какое-то существо, не то ребенка, не то взрослого, одетое в серую блузу и панталоны из серого сукна. Существо это быстро спускалось с вала в ров, в котором и скрылось из виду. Жан

Вальжан тотчас же в глубоком раздумье направился домой.

Глава 264

Мариус вышел от своего деда в полном отчаянии. Он и шел к нему с очень слабой надеждой, а возвращался от него окончательно убитый.

Впрочем, всякий, изучивший основы человеческого сердца, поймет, что не намеки деда на улана Теодюля и не похождения последнего на улице Плюмэ так убивали Мариуса: эти намеки не оставили в его уме никаких следов. Они могли только поэту-драматургу дать повод ожидать каких-нибудь новых осложнений для Мариуса, но жизнь идет по другим законам, чем драма. Мариус был в том счастливом возрасте, когда человек не верит ничему дурному. Пора, когда человек готов верить всему, для него еще не наступила. Подозрения — то же самое, что морщины. У ранней юности нет ни подозрений, ни морщин. То, что волнует Отелло, только

скользит по поверхности сердца Кандида. Подозревать Козетту! Мариус скорее был бы готов на всякое другое преступление, только не на это.

Молодой человек прибег к способу всех страдающих, то есть к бесцельному шатанию по улицам. Он не думал ни о чем, что могло бы запечатлеться у него в памяти. К Курфейраку он вернулся только в два часа ночи и, не раздеваясь, бросился на тюфяк, служивший ему постелью. Было уже совсем светло, когда он наконец заснул тем тяжелым сном, который вызывает лихорадочную деятельность мозга. Проснувшись, он увидел стоявших в комнате, уже совсем одетых и сильно чем-то озабоченных Курфейрака, Анжолраса, Фейи и Комбферра.

— Ты не пойдешь на похороны генерала Ламарка? — спросил Мариуса Курфейрак.

Для Мариуса это звучало как китайская тарабарщина. Он тоже вышел немного спустя после их ухода. Перед выходом молодой человек сунул в карманы пистолеты, которые дал ему

Жавер 3 февраля и которые так и остались у него. Пистолеты эти до сих пор были заряжены. Трудно сказать, какая темная мысль заставила молодого человека взять их с собой.

Он бессознательно и где попало бродил целый день. Временами накрапывал дождь, но Мариус не замечал его. Он купил было себе в булочной на обед хлебец в один су, но, положив его в карман, забыл о нем. Кажется, он даже выкупался в Сене, не сознавая этого. Бывают минуты, когда у человека под черепом настоящее адское пекло. У Мариуса как раз было такое состояние. Он больше ни на что не надеялся, ничего больше не боялся. Вчерашний вечер начисто вымел из его сердца и надежду и боязнь. Он только с лихорадочным нетерпением ожидал конца этого дня. В голове у него осталась только одна ясная мысль о том, что в девять часов он увидит Козетту. Вся его будущность сосредоточилась для него в этом последнем счастье. Все остальное, кроме этого свидания, было для него закрыто тьмою. Когда он бродил по некоторым из самых пустынных бульваров, ему временами как будто

слышался какой-то странный шум, доносившийся из города. Это заставляло его ненадолго приходить в себя и задумываться о причине шума. «Уж не дерутся ли там?» — думал он и затем снова впадал в прежнее полубессознательное состояние.

В сумерки, ровно в девять часов, как он обещал Козетте, молодой человек был уже на улице Плюмэ. Приближаясь к садовой решетке, он забыл все. Он сорок восемь часов не видал Козетты и теперь должен был увидеть ее. Только одна эта мысль и была у него в голове, все остальные бесследно испарились. Им овладело чувство глубокой, беспредельной радости. Такие минуты, в которые человек переживает точно целые века, хороши тем, что наполняют своим содержанием сердце всецело, не давая в нем места ничему другому.

Мариус юркнул сквозь свою лазейку в решетке и бросился в сад. Козетты не было на том месте, где она его обычно ожидала. Он проник в чащу и стал пробираться к крыльцу.

«Она ждет меня там», — говорил он себе. Но Козетты не было и перед крыльцом. Он поднял глаза и увидел, что ставни во всех окнах заперты. Он обошел весь сад, но никого не встретил. Тогда он вернулся к дому и, обезумев от нетерпения, опьянев от страсти, охваченный ужасом, беспокойством, тоской, отчаянием, как хозяин, возвратившийся домой не в добрый час, стал стучать в ставни. Он долго стучал, рискуя увидеть, как отворится окно, из которого выглянет суровое лицо отца Козетты, и услышать грубый вопрос: «Что вам здесь нужно?» Но это были пустяки в сравнении с тем, чего он ожидал. Устав стучать, он возвысил голос и стал звать девушку. «Козетта!» — крикнул он. «Козетта!» — повторил он повелительно. Никто не откликался. Все было кончено: ни в саду, ни в доме, очевидно, никого не было.

Мариус устремил полные отчаяния глаза на этот мрачный дом, такой же темный, безмолвный и заброшенный, как могила. Он взглянул на каменную скамейку, на которой провел столько счастливых часов возле Козетты, потом уселся на

одной из ступеней крыльца и с сердцем, полным нежности и решимости, в глубине души благословил свою любовь. Теперь, когда Козетта уехала, ему оставалось только умереть.

Вдруг он услыхал голос, как бы доносившийся с улицы сквозь чащу сада:

— Господин Мариус!

— Что такое? — спросил он, вскочив со ступени.

— Вы здесь, господин Мариус?

— Здесь.

— Господин Мариус, — продолжал голос, — ваши друзья ждут вас на баррикаде улицы Шанврери.

Этот голос не совсем был незнаком Мариусу: он напоминал сиплый и грубый голос Эпонины. Мариус бросился назад к решетке, отодвинул сломанный прут, просунул на улицу голову и увидел фигуру, похожую на молодого человека, поспешно скрывавшуюся в окружающем мраке.

Глава 265

Кошелек Жана Вальжана не принес никакой пользы. По своей строгой, прямолинейной, чисто детской честности Мабеф не принял этого подарка, упавшего точно с неба. Он не допускал, чтобы звезды могли превращаться в золотые монеты, не угадал, что кошелек был ему подброшен человеком. Он поспешил отнести этот кошелек к полицейскому комиссару, как находку, которую следует возвратить собственнику. Он даже не захотел воспользоваться законной третьей частью, принадлежавшей ему, как нашедшему. Кошелек так и застрял в полиции, потому что никто не заявлял о его потере. Нужда Мабефа не была облегчена. Старик продолжал опускаться все ниже и ниже по ступеням нищеты.

Опыты с индиго так же плохо удались в Ботаническом саду, как и в его Аустерлицком садике. В предыдущем году он задолжал своей служанке жалованье, а в текущем, как мы уже видели, задолжал за несколько месяцев и за квартиру. По прошествии тринадцати месяцев

залога ломбард продал его клише для «Флоры». Из этих досок красной меди, по всей вероятности, какой-нибудь медник отлил несколько кастрюль. После утраты клише труд его совершенно обесценился, и он продал несколько оставшихся разрозненных экземпляров букинисту на вес. От произведения, над которым он работал всю жизнь, не осталось ничего, кроме тех жалких грошей, которые он выручил продажей последних экземпляров; их-то он теперь и проживал. Когда и эти крохи стали приходить к концу, он перестал заниматься своим садиком и оставил его. Еще задолго перед тем он лишил себя той пары яиц и того куска мяса, которыми прежде хоть изредка питался. Теперь он поддерживал свое существование только хлебом да картофелем. Он распродал свою немногочисленную мебель, лишнее постельное белье, одеяла, одежду, гербарии, эстампы, но у него еще оставались самые драгоценные его книги, среди которых находились очень редкие издания, как, например, «Исторические рамки Библии», издания 1560 года, «Согласование

Евангелий» Петра Бесского, «Маргаритки Маргариты» Жана де ла Гай, с посвящением королеве Наварра ской, книга «Об обязанностях и достоинствах посла» сьера де Виллье-Готмана, «Раввинский цветоедов» 1664 года, экземпляр «Тибулла» 1567 года с великолепной надписью: «Венеция, в доме Мануция» и, наконец, экземпляр Диогена Лаэрция, напечатанный в Лионе в 1664 году, в которым были собраны знаменитые ватиканские варианты манускрипта 411, тридцатого века, варианты двух венецианских рукописей, 393 и 394, так плодотворно исследованных Анри Этьеном, и все страницы, написанные на дорическом наречии, которые находятся только в известной рукописи двенадцатого века, принадлежащей Неаполитанской библиотеке.

Мабеф никогда не разводил огня в своей спальне и ложился при заходе солнца, чтобы не жечь свечей. Соседи стали чуждаться его и обходить при встречах. Он замечал это. Нищета ребенка возбуждает участие в женщине, имеющей своих детей, нищета молодого человека

возбуждает интерес к нему молодой девушки, а нищета старика никого не интересует и ни в ком не вызывает сострадания: эта нищета самая холодная из всех. Между тем Мабеф не совсем еще утратил детской ясности своей души. Глаза старика оживлялись, останавливаясь на его любимых книгах, и он улыбался, когда смотрел на Диогена Лаэрция, представлявшего особенную антикварную редкость. Единственным предметом, сохраненным им, кроме самого необходимого, был его стеклянный книжный шкаф.

Однажды старуха Плутарх объявила своему хозяину:

— Мне не на что изготовить обед.

«Обед» в доме Мабефа теперь состоял только, как мы уже говорили, из куска хлеба и нескольких картофелин.

— А в долг? — заметил Мабеф.

— Вы знаете, что в долг нам нигде больше не дают.

Мабеф открыл шкаф и долго рассматривал книги, то одну, то другую, как отец, вынужденный отдать по собственному выбору одного из своих детей на казнь и чувствующий, что они все одинаково ему дороги. Наконец он стремительно выхватил одну из книг, сунул ее под мышку и вышел из дому. Через два часа он вернулся, но уже без книги, выложил на стол тридцать су и сказал:

— Вот на обед.

Тетушка Плутарх заметила, как с этой минуты на ясное лицо старика легла мрачная туча, которая уже больше никогда не исчезала.

На другой день, на третий, на четвертый и так далее приходилось повторять ту же операцию: Мабеф выходил из дома с книгой и возвращался с несколькими грошами. Видя, что старик продает из нужды, букинисты давали ему двадцать су за книги, за которые он сам платил по двадцати франков и нередко тому же самому торговцу. Таким образом — книга за книгой — исчезла вся библиотека. Иногда старик говорил себе: «Да

ведь мне уже восемьдесят лет», словно утешая себя надеждой, что скорее настанет конец его жизни, чем успеют быть проданными все его книги. Между тем грусть его все возрастала. Только еще один раз радость посетила его. Он понес продавать Роберта Этьена и получил за него на Малакской набережной тридцать пять су, а вернулся с Альдом, приобретенным в улице Гре за сорок су.

— Я сегодня задолжал пять су, — с сияющим видом сообщил он тетушке Плутарх.

В этот день он не ел ничего.

Он был членом общества садоводства. Там знали о его бедственном положении. Председатель общества посетил его, обещав поговорить о нем с министром земледелия и торговли, и сдержал слово.

— О, конечно! — воскликнул министр, выслушав сообщение председателя общества садоводства. — Этому человеку обязательно нужно помочь… Старик, ученый-ботаник,

человек безобидный — все условия, чтобы иметь право на нашу поддержку…

На следующий день Мабеф получил приглашение на обед к министру. Дрожа от радости, он показал тетушке Плутарх пригласительный билет.

— Мы спасены! — сказал он.

В назначенный день он отправился к министру. Он заметил, что его истрепанный галстук, старый клетчатый сюртук и плохо вычищенные старые сапоги возбуждают удивление лакеев. Никто не сказал с ним ни слова, даже сам министр. Часов около десяти вечера, все еще ожидая, что ему что-нибудь да скажут, он услышал, как жена министра, красивая, сильно декольтированная дама, к которой он не осмелился подойти, спросила:

— Что это за старик?

Он вернулся домой в полночь под проливным дождем. Чтобы заплатить за фиакр, в котором он ехал на обед, ему пришлось продать Эльзевира.

Он имел привычку каждый вечер перед отходом ко сну прочитывать несколько страниц своего Диогена Лаэрция. Он достаточно хорошо знал греческий язык, чтобы уметь наслаждаться особенностями текста. Других радостей к этому времени у него уже не осталось.

Прошло несколько недель. Вдруг тетушка Плутарх захворала. Есть кое-что еще более грустное, чем неимение гроша для покупки себе хлеба у булочника, это — неимение возможности купить лекарства у аптекаря. Однажды вечером врач прописал какое-то довольно дорогое средство, кроме того ввиду усилившейся болезни нужно было брать сиделку. Мабеф открыл свой книжный шкаф. Там было пусто. Последний томик ушел на рынок вслед за другими. Оставался один Диоген Лаэрций.

Он взял под мышку драгоценную книгу и вышел из дома. Это было 4 июня 1832 года. Он отправился к воротам Сен-Жан, к преемнику Ройоля, и вернулся оттуда с целой сотней франков. Он положил столбик пятифранковых

монет на ночной столик у постели служанки и, не говоря ни слова, ушел в свою комнату.

На другой день на утренней заре он вышел в сад, сел на опрокинутую тумбу, заменявшую скамью, и, как можно было видеть через забор, просидел там неподвижно все утро, с поникшей головой и глазами, беспокойно блуждавшими по увядшим куртинам цветов. Временами шел дождь, но старик, казалось, не замечал его. После полудня по всему Парижу поднялся необычайный шум. Походило на ружейную пальбу.

Мабеф поднял голову. Заметив проходившего мимо садовника, старик спросил его:

— Что там такое случилось?

Садовник, с заступом на плечах, отвечал с самым невозмутимым видом:

— Восстание.

— Восстание?

— Очень просто, дерутся.

— За что же дерутся?

— А я почем знаю, — сказал садовник.

— А в какой стороне?

— У Арсенала.

Старик Мабеф вернулся домой, взял шляпу, поискал машинально по привычке какой-нибудь книги, чтобы захватить ее под мышку, но, не найдя ни одной и пробормотав: «Ах да, я и забыл!» — ушел с растерянным видом из дома.

Глава 266

Из чего состоит восстание? Из ничего и из всего.

Восстание возникает из постепенно накопившегося электричества, из внезапно вспыхнувшего пламени, из бродячей силы, из мимолетного дуновения. Это дуновение встречает пылкие головы, мечтательные умы, страдающие души, жгучие страсти, воющую нищету — и все это увлекает за собой. Куда

увлекает? Куда глаза глядят. Наперекор деспотизму, наперекор законам благополучия счастливой и наглой кучки богачей.

Раздраженные убеждения, огорченный энтузиазм, пылкие негодования, подавленные воинственные инстинкты, возбужденная храбрость юнцов, ослепление великодушия, любопытство, склонность к переменам, жажда неожиданности, то чувство, благодаря которому любят читать афишу нового зрелища и слышать в театре свисток машиниста, низменная ненависть, желание посчитаться с кем-нибудь, разочарование, тщеславие, считающее себя обойденным судьбой, неудачи, разбитые надежды, честолюбие, окруженное недоступными утесами препятствий, расчет найти себе выход при общем крушении, наконец в самой глубине чернь, эта горючая грязь, — вот составные части народного восстания.

Все, что есть самого возвышенного и самого низменного: существа, выброшенные за общественный борт существования и

выжидающие случая снова стать на твердую ногу, скитальцы, люди отпетые, бродяги перекрестков, все те, которые спят ночью на пустырях, не имея над собой другого крова, кроме неба, все те, кто ежедневно ждут свой насущный хлеб от случая, а не от труда, все, принадлежащие к армии нищеты и ничтожества, все босые и рваные, — все эти люди склонны к восстанию, и стоит только ему где-нибудь вспыхнуть, как всякий из них, кто носит в душе тайное негодование на пороки власти, на язвы социального организма или просто на судьбу бедняка — близок к восстанию.

Восстание — это своего рода смерч в социальной атмосфере, который при известных условиях температуры быстро формируется и в своей круговерти поднимается, бежит, гремит, рвет, давит, разрушает, выворачивает корни, увлекая за собой и великие натуры, и самые ничтожные, и сильного человека, и ничтожного, древесный ствол и былинку.

Горе и тому, кого этот смерч уносит, и тому, на кого он налетает.

Он сообщает тем, которых охватывает, какую-то особенную силу. Он наполняет первого попавшегося силой событий и делает из всех метательные снаряды.

Если верить оракулам мрачной политики, то с известной точки зрения восстания приносят пользу власти, которую они не в силах свергнуть: восстания укрепляют систему, дают испытания силе армии, скрепляют буржуазию в союз, питают мышцы полиции и делают устойчивым социальный костяк. Это — гимнастика, это — почти гигиена. После восстаний власть чувствует себя лучше, как человек после массажа.

Но вот уже тридцать лет, как установилась и другая точка зрения. Встречаются теории, которые сами себя провозглашают «здравым смыслом». Филикта против Алькесты, рассуждение о борьбе истинного и ложного, смешение понятий и в результате заключение, что мудрость и ученость зачастую являются

простым педантизмом. Вся политическая школа, именуемая золотой серединой, вышла отсюда. Между горячим и холодным, видите ли, есть теплое. Такова эта школа полузнаний, это учение верхоглядов. Послушайте, что она гласит.

Каждое восстание закрывает лавки, понижает фонды, производит панику на бирже, останавливает торговлю, путает дела, вызывает банкротства; возникает безденежье, частные состояния приходят в расстройство, общественный кредит поколеблен, нормальное развитие промышленности нарушается, капиталы отступают, труд обесценивается, всюду распространяется страх, по всей стране ощущаются последствия этого движения. Отсюда разорение всех и всего. Просчитано, что первый день восстания стоил Франции двадцать миллионов, второй — сорок, третий — шестьдесят. Трехдневное восстание стоит сто двадцать миллионов, то есть если принимать во внимание только финансовый результат, то такие три дня равняются бедствию, кораблекрушению

или проигранному сражению, истреблению флота в шестьдесят линейных судов.

Восстания, ставшие следствием июльской революции 1830 года, теряют значительную долю славы. Июльская революция — это народный вихрь, гроза, налетевшая из синего безоблачного неба. А позднейшие вспышки? Июльская революция несла освобождение, а восстания последующих лет — катастрофу.

Несомненно, в исторической перспективе восстания имеют свою красоту. Сражения на мостовых не менее величественны, чем битвы в зарослях. В одних случаях веет дух города, в других — воздух леса. В одних — Жан Шуан, в других — Жанна.

Восстания окрашены красной краской, но это не лишает их блеска, характерного для Парижа. Великодушие, бурная веселость, молодежь, демонстрирующая, что смелость может сочетаться с рассудительностью, бестрепетность национальной гвардии, крепости, воздвигаемые мальчишками, бивуаки в лавчонках, презрение к

смерти со стороны прохожих — все это характерные черты. Бойцы различаются возрастом, оставаясь одной и той же расой. В двадцать лет они умирают за идею, в сорок — за свои семьи. Таким образом, восстания, обнаруживая твердость народа, содействуют его гражданскому воспитанию.

Все это верно, но стоит ли все это пролитой крови? А к этому прибавьте омраченное будущее, замедление прогресса, беспокойство, овладевающее лучшими слоями общества, отчаяние честных либералов, злорадство чужестранного абсолютизма по поводу ущербов Франции 1830 года. Победители торжествовали, говоря: «Мы блестяще выступили! Но взгляните, как резня обесчестила победу, как порядок опрокинут обезумевшей свободой! В итоге восстание есть печальное и гибельное дело». Так говорит буржуазия, фальсифицирующая голос масс, и с ней охотно соглашаются многие.

Что касается нас, то мы отбросим вовсе это слово «восстание». Оно слишком широко и

вследствие этого чересчур удобно для злоупотреблений. Мы знаем разницу между одними и другими народными движениями. Мы не спросим, чем отличается битва от восстания. Да и кроме того, почему битва? Тут возникает вопрос о войне. А война разве меньший бич, если восстание большое бедствие? Да и всякое ли восстание есть бедствие? Разве 14 июля стоило двадцать миллионов? А водворение Филиппа V в Испании стоило Франции двух миллиардов! Даже денежный расчет говорит, что 14 июня обошлось дешевле. Отбросим эти подсчеты, кажущиеся доказательством, хотя по существу они являются только словами. Восстания мы оцениваем в их собственной сущности. Наблюдения доктринерской школы, изложенные выше, ставят вопрос только о явлениях восстаний, а мы ищем их причины. Мы оцениваем положение иначе и точнее.

Глава 267

Существует два вида народного гнева: мятеж и восстание; в первом случае участники поступают беззаконно, во втором они всегда правы. В демократических государствах, которые все-таки основаны на справедливости, иногда случается, что одна часть народа угнетает другую. Тогда народ восстает и, ввиду необходимости отстаивания своих прав, может дойти до того, что возьмется за оружие. Во всех спорах, вытекающих из защиты верховной власти коллектива, война целого против части является восстанием, а нападение части на целое является мятежом. Судя по тому, кто занимает Тюильри, король или Конвент, и нападение на Тюильри может быть правильным или несправедливым. Одна и та же пушка, будучи направлена на толпу, действует беззаконно 10 августа и правильно — 14 вандемьера. Внешне все это имеет сходство, но глубина дела различна: швейцарцы защищают ложь, Бонапарт защищает истину. Улица не может разрушить того, что было сделано для

свободы и для государства всеобщим голосованием.

То же самое происходит в событиях чистой цивилизации: инстинкт толпы, вчера еще крайне проницательный, назавтра может замутиться. Одна и та же ярость законна по отношению к Терраи и нелепа в отношении Тюрго. Разрушение машин, ограбление складов, поломка рельсов, разрушение доков — это ложные пути масс, отрицание справедливости народом, стоящим перед лицом прогресса, Рамюс, ограбленный школьниками, Руссо, изгнанный из Швейцарии и побитый камнями, — все это является мятежом. Израиль против Моисея, Афины против Фокиона, Рим против Сципиона — это мятеж. Париж против Бастилии — это восстание. Солдаты против Александра, матросы против Христофора Колумба — это тоже мятеж, и мятеж самый беззаконный. Почему? Потому что Александр мечом совершил для Азии то, что Христофор Колумб сделал для Америки компасом. Александр, подобно Колумбу, открыл новый мир. Дары этого мира цивилизации настолько

увеличивают свет, что всякое сопротивление является преступным.

Порой народ нарушает верность по отношению к самому себе. Толпа является предателем по отношению к народу. Может ли, например, быть что-нибудь более странным, чем длительный и кровавый протест соляных контрабандистов? Это хроническое законное возмущение, которое в решительный момент, в день спасения, в час народной победы внезапно поворачивается к трону, переходит на сторону шуанов и вместо восстания против монархии устраивает мятеж за нее. Вот мрачный шедевр невежества! Невольный контрабандист спасается от королевской виселицы и все-таки, еще имея на шее обрывок веревки, добивается белой кокарды. Умирающий под гнетом соляного налога, он снова возрождается к жизни с криком: «Да здравствует король!» Убийцы Варфоломеевской ночи, убийцы сентябрьских дней, грабители Авиньона, убийцы Колиньи, убийцы госпожи де Ламбаль, убийцы Брюна, микелеты, лесные бандиты, каденетты, спутники Жегу, рыцари

кандалов — вот мятеж. Вандея является огромным католическим мятежом. Легко можно узнать шум, производимый мятущимся правом, но он не всегда выходит из волнения потрясенных масс; существует бешеная ярость, существуют надтреснутые колокола, но набат не дает бронзовых переливов. Смятение страстей и невежество в народных волнениях звучат иначе, нежели сотрясения народного организма во имя прогресса. Восставайте, но лишь для того, чтобы вырасти! Укажите мне, в какую сторону вы направляетесь! Идти путем восстания можно только вперед, всякая другая дорога никуда не годится. Резкий шаг назад уже представляет собой мятеж, отступать — это значит идти наперекор человеческому роду. Народное восстание — это сама истина, доведенная до ярости; камни, сброшенные с места восстанием, извергают искры справедливости. Но иные камни оставляют мятежу только грязь. Дантон против Людовика XVI — это восстание, Гебер против Дантона — это мятеж.

Отсюда вытекает то, что в некоторых случаях восстание может быть «самым святым долгом», говоря словами Лафайета, но в этом же случае простой мятеж является «роковым покушением на человеческие права».

Существует также некоторая разница в температуре накаливания: восстание зачастую является вулканом. Что же касается мятежа, то почти всегда он представляет собой пылающую солому.

Мы уже сказали, что зерна мятежа зреют в природе дурной власти. Полиньяк — всего только мятежник, Камилл де Мулен — правитель.

Порой восстание является воскресением. Разрешение всех вопросов находится во всеобщем голосовании, которое является безусловной задачей наших дней, что же касается предшествующей истории, то она в течение четырех тысяч лет была наполнена попиранием человеческих прав и страданием народов. Каждая ее эпоха носила в себе признаки протеста в том виде, в каком она могла это сделать. При

правлении цезарей не было восстаний, но существовал Ювенал.

Facit indignatio {Творится недостойное (лат.).} — заменяет Гракхов.

В правление цезарей существовал Сиенский отшельник. Был также человек, написавший «Анналы».

Мы не говорим о великом отшельнике Патмоса, который также обременяет действительный мир протестом от имени мира идеального, из видения строит сатиру и набрасывает на Рим — Ниневию, на Рим — Вавилон, на Рим — Содом, пылающее отражение Апокалипсиса.

Иоанн на своей скале — это сфинкс на своем пьедестале. Можно не понимать его: он был евреем и писал по-еврейски, но человек, написавший «Анналы», принадлежит к латинской расе, скажем лучше, что это римлянин.

Вследствие того что нероны черные царствуют втемную, они должны изображаться

такими, какие они были на самом деле. Работа поэтическим резцом сама по себе была бы бледной. В углубления, делаемые им, нужно вливать сгущенную и едкую прозу.

Деспоты играют некоторую роль в образе мышления философов. Закованные слова ужасны. Писатель удваивает и утраивает свои усилия, когда народный властелин обрекает его на молчание. Из этого молчания вытекает некая таинственная полнота, которая просачивается в мысль и застывает там в виде куска металла. Сжатость истории делает сжатым и образ мыслей историка. Гранитная прочность каких-нибудь знаменитых прозаических произведений является не чем иным, как уплотнением, которое было сделано по прихоти тирана.

Тирания вынуждает писателя к умножению объема произведений, но эти невольные ограничения усиливают их воздействие. Обороты речи Цицерона, являющиеся едва достаточными для Верреса, притупились бы, если бы за них взялся Калигула. Чем короче была фраза, тем

более сильным был удар. Тацит мыслил весьма кратко.

Честность большого сердца, претворенная в правосудие и истину, способна поражать, как гром.

Скажем мимоходом, что исторически Тацит не стоит выше Цезаря, он оставил за собой Тиберия. Цезарь и Тацит являются двумя феноменами, сменяющими друг друга, встречи которых таинственным образом не осуществляются благодаря вмешательству того, кто регулирует моменты входа и выхода векового сценария. Цезарь велик, и Тацит также велик; божество, оберегая обоих, не сталкивает их друг с другом. Поражая Цезаря, судья мог не соразмерить силы удара, и это было бы несправедливо. Бог не хотел этого. Великие войны Африки и Испании, уничтожение киликийских пиратов, насаждение цивилизации в Галлии, в Британии, в Германии, — вся эта слава покрывает собой Рубикон. Божественное правосудие проявило в этом известную деликатность, так как колебалось

напустить на знаменитого узурпатора не менее знаменитого историка, щадя Цезаря, оно не столкнуло его с Тацитом и дало гению возможность проявить себя при смягченных обстоятельствах.

Ясно, что деспотизм остался деспотизмом, даже в том случае, когда деспот является гением. Знаменитые тираны содействуют растлению, но нравственная чума еще более отвратительна в правление бесчестных деспотов.

Ничто не прикрывает стыда во время их царствования, и люди, подобные Тациту и Ювеналу, созданные для того, чтобы подавать пример в присутствии всего рода человеческого, наделяют пощечинами все происходящие подлости и не получают на это возражений. В правление Вителлия Рим пахнет еще хуже, чем в правление Суллы. При Клавдии и Домициане подлость соответствовала уродству тирана. Низменные инстинкты рабства являются прямым следствием деспотизма; униженная совесть граждан дышит смрадным дыханием, в котором

чувствуется запах властителя. Людские сердца становятся ничтожными, совесть исчезает, души превращаются в клоповники; все Это было так при Каракалле и при Коммоде. Все осталось таким же при Гелиогабале, тогда как в правление Цезаря из римского сената Исходит благоухание, подобное аромату высокого воздуха, в котором парят орлы.

Отсюда запоздалое появление Тацита и Ювенала. Толкователи появляются лишь тогда, когда все становится очевидным.

Но Ювенал и Тацит, подобно Исайе библейских времен и Данте времен Средневековья, являют собою образы единичного человеческого протеста. Мятеж и восстание — это массовое явление, которое порой бывает справедливым, а порой нет.

В более общих случаях мятеж вытекает из какого-нибудь материального события; восстание всегда является нравственным феноменом. Мятеж — это Мазаниэлло, восстание — это Спартак. В восстании все согласуется с идеей, с

умом, а мятеж — только с желудком. «Гастер» приходит в ярость, но очевидно, что он не всегда является неправым. В вопросах голода мятеж в Бюзансе, например, имеет повод, являющийся правдивым, выстраданным и справедливым. Тем не менее мятеж остается мятежом. Почему же, будучи правым по существу, он был не прав формально? Отличаясь нелюдимостью, несмотря на свое право, будучи резким, несмотря на свою силу, мятеж бьет наудачу. Он двигается вперед, как слепой слон, давя все на своем пути, оставляя за собой трупы стариков, женщин и детей, неизвестно почему он проливает кровь безобидных и невинных людей. Дать народу средства пропитания является хорошей целью, но плохим средством для этого служат убийства. Все вооруженные протесты, даже наизаконнейшие из них, даже 10 августа и 14 июля, начинаются одним и тем же смятением. Перед тем как пробить дорогу праву, появляется много пены и суеты. С самого начала восстание является мятежом, так же как река возникает из потока. Но в естественном ходе вещей река вливается в

океан и тогда называется революцией. Но иногда, сбегая с гор, возвышающихся над нравственным горизонтом, над справедливостью, мудростью, разумом и правом, неся в себе самый чистый снег идеалов, после длительных падений с утеса на утес, после того как в ее прозрачности уже отражалось небо, после того как сотни притоков влились в ее победное шествие, река революции вдруг теряется в какой-нибудь буржуазной рытвине, подобно Рейну, исчезающему в болоте.

Но все это касается прошлого, будущее устроится совсем иначе. Возможность всеобщего голосования прекрасна тем, что в принципе уничтожает мятеж, она лишает смысла всякую битву, будь то уличный бой или бойня на границах государств. Каково бы ни было наше «нынче», человеческое «завтра» станет носителем тишины и мира. Еще одна черта: буржуазия по преимуществу не умеет разбираться в вопросе о мятеже и восстании. Для нее это все грязный бунт — бунт собаки против хозяина, попытка укусить, за что надо наказывать собаку конурой и цепью. Для нее вся

революция — это лай и рычание, продолжающееся до тех пор, пока, внезапно став огромной, голова собаки не превратится в голову льва. И вот, когда буржуазия вдруг увидит истинный львиный лик революции, она начинает кричать: «Да здравствует народ!»

Как же назвать после данных нами объяснений июньские события 1832 года? Что же это — мятеж или восстание? Да, это восстание.

Поверхностный обзор фактов, самая обстановка ужасных происшествий, быть может, и давали бы повод к определению этого движения как мятежа, но глубокое рассмотрение основы тогдашних событий еще раз подтверждает, что, имея внешность мятежа, по существу это движение было восстанием.

Это движение 1832 года в своем стремительном взрыве и жалком угасании было лишено величавости. О нем говорили с неуважением.

Для говорящих так это движение было лишь легким отзвуком 1830 года. Революция не

кончается остроконечной вершиной. От нее, как волны, должны расходиться круги ее последствий. Она подобна горным кряжам, спускающимся к тихой равнине отрогами меньшей величины. Альпы немыслимы без Юрских отрогов; Пиренеи дают Астурийские хребты.

Воспоминания парижан именуют этот патетический излом современной истории «эпохой мятежей» и считают его характерной особенностью времени, сменившего грозные и страшные часы нашего века. Еще одно слово, перед тем как вернуться к нашему прерванному рассказу.

События, о которых мы только что рассказали, принадлежат к числу тех фактов, живых и глубоко драматических, какими пренебрегает история, не имея ни времени, ни места на своих страницах для их воспроизведения. Однако мы настаиваем на том, что в них говорит живая жизнь. В этих фактах слышится биение живого человеческого пульса. Мы часто говорили и

повторим еще раз, что с нашей точки зрения эти мелкие штрихи, эти детали происшествий есть живая листва событий, опадающая под ветрами времен и уносимая далью истории.

Названная эпоха, эпоха «мятежей», изобилует деталями этого рода. Судебные процессы уже по другим причинам, чем история, оставляют в тени эти подробности; они их не раскрывают и не берут их во всей глубине. А мы хотели бы вынести на свет из груды частностей, известных и опубликованных, вещи, которые еще совсем неведомы по забвению одних и вследствие смерти других.

Большая часть артистов, разыгравших эти исполинские сцены, исчезла навсегда. До вчерашнего дня они молчали. Они заговорили нашими устами, ибо то, что рассказываем (мы можем сказать правду!), мы видели своими глазами. Мы изменили только имена, ибо история повествует, а не пишет доносы, но мы нарисовали чистую правду.

В условиях, диктуемых характером настоящей книги, мы имеем возможность зарисовать только одну сторону только одного эпизода, наименее известные подробности дней 5 и 6 июня 1832 года, но мы делаем это так, что читатель проникает взором за темную завесу событий и видит совершенно реальные фигуры этих знаменательных событий.

Глава 268

Весной 1832 года Париж кипел и был готов к революционному взрыву, хотя три месяца без перерыва холера леденила умы и наложила на них мрачный покров спокойствия. Великий город, как мы уже говорили, в это время походил на заряженную пушку, для которой бывает достаточно одной искры, чтобы она выстрелила. Этой искрой для Парижа оказалась смерть генерала Ламарка в июне 1832 года.

Генерал Ламарк был человеком действия и славы. Последовательно при Империи и при Реставрации он обнаружил соответствовавшее

каждой из этих двух эпох двойное мужество: мужество на поле сражения и мужество на трибуне. Он был так же красноречив при Реставрации, как был храбр при Империи, в его слове чувствовался меч. Как и его предшественник Фуа, он высоко держал знамя свободы, как некогда боевое знамя. Он заседал в Палате между левыми и крайними левыми. Он был любим народом за то, что пошел навстречу будущему, он был любим толпою за то, что добросовестно служил императору. Он был вместе с графами Жераром и Друо одним из маршалов in petto {В душе (ит.).} Наполеона. Трактаты 1815 года возмущали его как личное оскорбление. Он открыто ненавидел Веллингтона, что очень нравилось толпе, и в течение семнадцати лет, почти не обращая внимания на промежуточные события, величественно хранил в себе печаль о Ватерлоо. В свой последний час, на смертном одре, он прижимал к груди шпагу, поднесенную ему офицерами Ста дней. Наполеон умер со словом «армия», а Ламарк — со словом «отечество».

Смерть Ламарка, заранее предвиденная, страшила народ как утрата, а правительство — как возможный повод к смуте. Эта смерть была горем. Как все, что горько, горе может превратиться в возмущение.

Так и случилось.

Еще накануне и утром 5 июня — в день, назначенный для погребения Ламарка, Сент-Антуанское предместье, где должно было пройти погребальное шествие, приняло устрашающий вид. Густо населенная сеть улиц этого предместья наполнилась каким-то странным шумом.

Все вооружались, кто как мог. Столяры захватили стальные гребни верстаков: «чтобы пробивать двери». Один даже смастерил себе кинжал из костыля, сломав конец и наточив обломок. Другой в нетерпении, ожидая «атаки», спал не раздеваясь подряд три ночи. Плотник по имени Ломбье встретил товарища, который у него спросил:

— Куда идешь?

— Да вот, нет оружия: иду на лесной склад за циркулем.

— Зачем он тебе?

— Не знаю еще, — отвечал Ломбье.

Человек по фамилии Жакелин подходил к прохожим рабочим со словами:

— Ступай-ка и ты!

Он разливал вино на десять су и спрашивал:

— Работа есть?

— Нет!

— Ступай к Фиспьеру меж Шарокской и Монтрейльской заставами; там тебе будет работа.

У Фиспьера найдены были патроны и ружья. Вожди словно почтальоны разносили призывы своим сторонникам. У Бартелеми близ Тронной заставы у Капеля у Пти-Шапо посетители, серьезно глядя, говорили:

— Где твой пистолет?

— Под блузой, за пазухой.

— А твой?

— Под сорочкой!

На улице Триверсиер перед мастерской Ролана и во дворе «Мезон-Брюле» перед мастерской Бернье толпился, перешептываясь, народ. Среди толпы бросался в глаза пылкостью Маво, рабочий, нигде не служивший больше недели: хозяева отказывали ему, «так как его не переспоришь в разговоре». Маво был убит на следующий день на баррикаде в улице Менильмонтан. Прето, которого постигла та же участь, поддерживал Маво и на вопрос: «Какая твоя цель?» отвечал: «Революция!» Рабочие, собравшись на углу улицы Берси, дожидались Лемарена, революционера-уполномоченного предместья Сен-Марс. Паролями обменивались почти у всех на виду.

И вот 5 июня попеременно, то при дождливой, то при солнечной погоде, погребальная процессия генерала Ламарка прошла по Парижу с обычной военной торжественностью, усиленной известными предосторожностями. За гробом шли

два батальона с затянутыми черным крепом барабанами и опущенными вниз ружьями, за ними двигалось десять тысяч человек национальной гвардии с саблями на боку, далее следовали батареи той же гвардии. Катафалк везли молодые люди. Непосредственно за катафалком следовали офицеры из Дома Инвалидов, неся лавровые ветви. Шествие сопровождалось несметными пестрыми волнующимися толпами народа, в числе которых находились члены общества Друзей народа, воспитанники школ правоведения, медицинской и прочих учебных заведений, выходцы всех наций и многие другие. Виднелись знамена испанские, итальянские, немецкие, польские и всевозможные флаги. Тут были дети, опоясанные зелеными ветвями, каменотесы и плотники, типографщики, резко выделявшиеся своими бумажными колпаками. Шли по двое, по трое, кричали, размахивали — кто палками, кто и саблями, шли беспорядочной массой, но тем не менее единодушно, шли то колоннами, то вперемежку. Отдельные группы выбирали себе

вожаков. Какой-то человек, вооруженный парой пистолетов, пропуская мимо себя шествие, как будто производил смотр проходившим перед ним толпам. На боковых аллеях бульваров, на деревьях, на балконах, на окнах, на крышах домов, словом, всюду, кипело море мужских, женских и детских голов; взоры всех были полны беспокойства и страха. Вооруженная толпа двигалась, невооруженная смотрела.

Правительство, со своей стороны, наблюдало и, наблюдая, держало наготове меч. На площади Людовика XV можно было видеть полностью готовые к выступлению, с заряженными мушкетами и с полными патронташами, четыре эскадрона карабинеров верхом и с трубачами впереди. В Латинском квартале и в Ботаническом саду стояла муниципальная стража, расположенная отрядами на смежных улицах, на Винном рынке находился эскадрон драгун, на Гревской площади — половина 12-го полка легкой кавалерии, у Бастилии — другая половина того же полка, у целестинцев был расположен 5-й драгунский полк, Луврский двор был заполнен

артиллерией. Остальные войска оставались в казармах, готовые выступить по первому приказу. Кроме того, были войска и в окрестностях Парижа. Встревоженная власть ввиду грозной толпы держала наготове двадцать четыре тысячи человек войска в городе и тридцать тысяч в окрестностях.

В процессии циркулировали различные слухи. Шли толки о происках легитимистов, о герцоге Рейхштадтском, которого Бог осудил на смерть, как раз в ту минуту когда толпа предназначала его на императорский трон. Какая-то личность, оставшаяся неизвестной, сообщила толпе, что в условленный час два подкупленных подмастерья откроют ей двери оружейного завода. На лицах большинства преобладало выражение восторга с примесью удрученности. Вместе с тем в этой толпе, волнуемой такими сильными, но благородными чувствами, виднелись и лица злодеев, в гнусных чертах которых так и было написано: «Будем грабить!» Есть движения, которые баламутят самое дно болот и

выбрасывают на поверхность тучи гнилостных осадков.

Шествие двигалось с лихорадочной медленностью от дома умершего по бульварам до Бастилии. Временами шел дождь, но это не обескураживало толпу. Произошло несколько инцидентов: обнесли гроб вокруг Вандомской колонны, бросали камни в герцога Фиц-Джемса, появившегося на балконе с покрытой головой, с одного из народных знамен сорвали галльского петуха и втоптали его в грязь, ранили ударом сабли полицейского у ворот Сен-Мартена. Один офицер 12-го полка легкой кавалерии закричал: «Я за Республику!» Когда пришли студенты Политехнической школы, которых власти не допускали на демонстрацию, внезапно раздались крики: «Да здравствует Республика!» Путь шествия сопровождался всевозможными криками. У Бастилии к процессии присоединились длинные вереницы любопытных со зловещими лицами; началось бурление страшно закипавшей толпы. Слышно было, как один человек говорил другому: «Видишь вон того

с рыжей бородкой? Это тот, который объявит, когда нужно будет стрелять». Кажется, эта же самая рыжая бородка принимала участие того же характера в другом мятеже — в деле Кениссе.

Похоронное шествие миновало Бастилию, проследовало вдоль канала, перешло через Малый мост и достигло Аустерлицкого моста. Там оно остановилось. В эту минуту вся громадная толпа с высоты птичьего полета имела вид исполинской кометы, голова которой касалась названного моста, а хвост тянулся от набережной Бурдон вплоть до ворот Сен-Мартен, задевая по пути и площадь Бастилии. Вокруг гроба образовалось пустое пространство. Толпа притихла. Лафайет возвысил голос и простился с Ламарком. Это была глубоко трогательная минута: все головы обнажились, все сердца забились. Вдруг какой-то человек, сидя верхом на лошади, весь в черном, появился в средине круга с красным знаменем. Некоторые говорят, что он явился с пикой, увенчанной красным колпаком. Лафайет отвернулся. Эксельман покинул процессию.

Красное знамя подняло бурю и скрылось в ней. От бульвара Бурдон вплоть до Аустерлицкого моста зашумели народные волны. Вся окрестность дрожала от двух могучих криков: «Ламарка в Пантеон!», «Лафайета в ратушу!». Молодежь при восклицаниях толпы запряглась в дроги и повезла тело Ламарка через Аустерлицкий мост, а Лафайета — в фиакре по Морланской набережной.

В толпе, окружавшей и приветствовавшей Лафайета, многие указывали друг другу на одного немца, которого звали Людвиг Снидер и который впоследствии умер столетним стариком. Он участвовал в войне 1776 года, сражался при Вашингтоне в Трентоне и при Лафайете — в Брендивайне.

Между тем на левом берегу тронулась муниципальная кавалерия и загородила мост, а на правом вышли от Целестинцев драгуны и развернулись вдоль Морланской набережной. Те, которые везли Лафайета, неожиданно столкнулись с ними на повороте набережной и

крикнули: «Драгуны!» Последние молча двигались шагом с пистолетами в кобурах, с саблями в ножнах и карабинами за спиной, с видом мрачного ожидания. Шагах в двухстах от Малого моста драгуны остановились. Когда до них добрался фиакр с Лафайетом, они расступились и пропустили его, потом снова сомкнули ряды. В эту минуту народ и драгуны слились в одно целое. Женщины в ужасе бросились бежать.

Что произошло в эту роковую минуту, точно никто не мог бы сказать. Это был один из тех моментов, когда сталкиваются две тучи. Одни рассказывают, что толчком к началу дела послужил трубный сигнал к атаке, раздавшийся со стороны Арсенала, а другие — удар кинжалом, нанесенный мальчиком драгуну. Несомненно только то, что вдруг грянуло одновременно три выстрела: одним убило эскадронного командира Шолэ, другим — глухую старуху, запиравшую свое окно, выходившее на улицу Контрскарп, а третьим опалило одному офицеру эполет. Какая-то женщина закричала: «Слишком уж рано

начинают!» Вдруг на противоположной стороне Морланской набережной показался драгунский эскадрон, во весь опор мчавшийся из казарм по улице Бассомпьер и по бульвару Бурдон, энергично прокладывая себе путь в толпе.

Начало было положено. Буря разражается, камни летят градом, грохочет ружейная пальба, многие бросаются с набережной в воду и переправляются вплавь через маленький рукав Сены, ныне засыпанный. Лесные дворы острова Лувье, этой обширной естественной цитадели, уже ощетинились сражающимися, которые вырывают шесты, стреляют из пистолетов, воздвигается баррикада, молодежь, оттесняемая назад, опрометью бежит с гробом Ламарка через Аустерлицкий мост, отбиваясь от муниципальной гвардии, прибегают карабинеры, драгуны рубят саблями, толпа рассеивается по всем направлениям, шум бойни разносится по всем четырем концам Парижа, кричат: «К оружию!», бегут, спотыкаются, прячутся, защищаются. Гнев раздувает мятеж, как ветер раздувает огонь.

Глава 269

Восстание — одно из ряда вон выходящих явлений. Оно всегда вспыхивает одновременно во всех местах. Первый встречный овладевает толпой и ведет ее куда хочет. Грозное дело, к которому примешивается что-то вроде зловещей веселости. Начинается оно обыкновенно с криков, потом запираются лавки, прилавки с товаром исчезают, там и сям раздаются одинокие выстрелы, люди бегут, удары прикладами сотрясают ворота, слышно, как в глубине дворов смеются служанки, приговаривая: «Ну, быть потехе!»

Не прошло и четверти часа, как почти одновременно в двадцати различных пунктах Парижа уже бушевали возмущенные массы людей. На улице Сент-Круа де ла Бретоннери группа, человек двадцать, молодых людей с бородами и длинными волосами вошла в харчевню и минуту спустя вышла оттуда, неся продолговатое трехцветное знамя, покрытое крепом, и имея во главе вооруженную тройку —

одного с саблей, другого с ружьем, третьего с пикой. На улице Нонендьер лысый толстый человечек, чернобородый, с высоким лбом, с густыми усами, голосом, похожим на рев трубы, предлагал всем проходящим патроны. На улице Сент-Пьер Монмартр люди с засученными рукавами митинговали с черным знаменем, на котором читалась надпись: Республика или Смерть. На улицах Женев, Кадран, Монторгель, Мандар появлялись группы людей, размахивавших знаменами, на которых красовались шитые золотом номера и названия секций. Одно из этих знамен было красное с синим и сходящей на нет тоненькой белой полоской в середине. На Сент-Мартенском бульваре разнесли оружейную фабрику и три оружейные лавки: первую — на улице Богур, вторую — в Мишель-Лекомт, третью — в Темпле. Буквально в мгновение ока тысячи рук протянулись к складам и унесли двести тридцать ружей, почти все двустволки, шестьдесят четыре сабли и восемьдесят три пистолета. Чтобы

вооружить побольше людей, один хватал ружье, другому протягивая штык.

Против Гревской набережной молодые люди, вооруженные ружьями, заняли квартиру одной женщины, чтобы стрелять из окон. Они звонили, входили и садились за изготовление патронов. Одна из соседок говорила потом: «До той поры я не знала, что такое патрон. В тот день муж объяснил мне это».

Толпа разбила лавку антиквара на улице Виейль Одриет и захватила восточное оружие и турецкие ятаганы.

Труп каменщика, убитого ружейным выстрелом, лежал на улице Перль.

И на правом, и на левом берегу, на набережных и бульварах, в Латинском квартале, близ рынков запыхавшиеся люди, рабочие, студенты, секционеры читали прокламации и оглашали воздух криками: «К оружию!» Гнули фонари, снимали двери с петель, выкорчевывали с корнем деревья, выкатывали пустые бочки и кадки из погребов, громоздили горы булыжника

от разобранной мостовой, выворачивали камни, стаскивали мебель, несли доски и — строили баррикады.

Многих буржуа вынуждали оказывать помощь. Входили к женщинам, требуя оружие, саблю или ружье отсутствующего мужа, и, забрав, мелом писали на дверях: «Оружие выдано». Иные ставили свою подпись под квитанциями в получении ружья и сабли и прибавляли: «Пришлите за вещами завтра в мэрию». На улице обезоружили одиночных часовых и национальных гвардейцев, шедших в свой муниципальный округ. У офицеров срывали погоны и эполеты. На улице у кладбища Святого Николая один офицер национальной гвардии, спасаясь от толпы, вооруженной рапирами и палками, с трудом спасся в незнакомом доме и вышел из него только ночью, переодевшись.

В квартале Сен-Жак студенты выходили кучками из своих гостиниц и направлялись или на улицу Святого Гиацинта, или в кафе «Прогресс», или в кафе «Семь бильярдов» на

улице Матюрен. Там перед дверьми молодые люди, став на тумбы, распределяли оружие.

Для постройки баррикад разнесли лесной склад на улице Трансноnен. В одном районе жители оказали сопротивление — это на углу Сент-Авуа и Симон-Лефран — там они разрушили баррикаду. В другом пункте восставшие отступали. Они оставили баррикаду, которую начали было строить на улице Темпль, и, дав несколько залпов по отряду национальной гвардии, бежали по улице Кордери. Отряд гвардейцев нашел на баррикаде красное знамя, пакет с патронами и триста пистолетных пуль. Национальные гвардейцы разодрали красное знамя и нацепили клочки на острия штыков.

Все, что мы описываем здесь медленно и постепенно, происходило в действительности одновременно повсеместно во всех пунктах столицы, охваченной огромной тревогой, словно при вспышке тысячи молний в разных местах от одного раската грома.

Так, не прошло и часа, а уже двадцать семь огромных баррикад словно выросли из-под земли в одном только Квартале Рынков. Там в центре находился знаменитый дом No 50, когда-то бывший крепостью Жанну и его шестисот товарищей; опираясь с одной стороны на баррикаду Сен-Мерри, а с другой стороны на баррикаду улицы Мобюэ, этот дом господствовал над целыми тремя улицами, а именно: Дезарси, Сен-Мартен и Обри-Лебуше.

Две баррикады прямоугольником шли — одна от улицы Монторгель до Гранд-Трюандри, другая от улицы Жофруа Ланжвен до улицы Сент-Авуа. Не считая бесчисленных баррикад в других кварталах Парижа, в Марэ и Монт-Сент-Женевьев, упомянем еще баррикаду на улице Мениль Монтан, где середину занимали снятые с петель ворота, и еще одну, неподалеку от небольшого моста, возле Отель Дье, в трехстах шагах от полицейского управления, баррикаду, построенную на остове огромного опрокинутого экипажа.

На баррикаде на улице Менетрие хорошо одетый человек раздавал деньги рабочим. У баррикады на улице Гренет появился всадник и передал тому, кто, по-видимому, командовал баррикадой, сверток, очевидно с деньгами. Он сказал при этом: «Вот на покрытие расходов, на вино и другие вещи».

Молодой белокурый человек, без галстука, переходил от одной баррикады к другой, сообщая пароль. Другой молодой человек, с саблей наголо, в синей полицейской шапке, расставлял часовых. Внутри пространства, ограждаемого баррикадами, кабачки и будки превращены были в гауптвахты. Все восстание, казалось, было организовано по последнему слову безукоризненной военной тактики. Недаром узкие, неровные, извилистые улицы были намеренно избраны повстанцами, особенно вокруг Рынков, где сеть улиц так похожа на паутину непроходимых лесных троп.

«Общество Друзей Народа», как говорили, приняло на себя руководство восстанием в

квартале Сент-Авуа. При обыске человека, убитого на улице Понсо, нашли план Парижа.

Истинным руководителем восстания явился тот огненный пыл, который давно носился в воздухе. Восстание внезапно одною рукою воздвигло баррикады, другою захватило почти все посты гарнизона. Не прошло и трех часов, как революционеры со скоростью пламени заняли на правом берегу: Арсенал, мэрию на площади Рояль, весь Марэ, оружейный завод Попенкур и другие, например Лагалиот и Шатодо; заняли все улицы около Рынка; а на левом берегу: казармы Ветеранов, Сент-Пелажи, площадь Мобер, пороховой завод Двух Мельниц и, кроме того, все заставы. В пять часов вечера они овладели Бастилией, Ленжери, Блан-Манто. Их разведчики доходили до площади Победы и уже угрожали Банку, казармам Пти Пэр и Главному Почтамту. Таким образом, треть Парижа была в руках восставших.

Повсеместно борьба разгоралась в огромных размерах, благодаря обыскам домов, разоренным

лавкам оружейников, оказывалось, что уличный бой, начавшийся с простого бросания камней, теперь перешел в сражение с ружейной стрельбой.

Около шести часов вечера пассаж Дю-Сомон превратился в место битвы. В одном конце его находились мятежники, в другом — войска. Перестреливались от решетки до решетки. Посторонний наблюдатель, мечтатель, автор этой книги, пожелавший взглянуть в непосредственной близости на бурливший вулкан, очутился в этом пассаже буквально между двух огней. У него не было другой защиты от пуль, кроме выступов полуколонн, отделявших один от другого магазины, и он около получаса находился в этом неприятном положении.

Между тем пробил сбор: национальная гвардия поспешно надевала мундиры и вооружалась, отряды выступали из мэрий, полки выходили из казарм. Напротив пассажа Де-Ланкр один барабанщик пал под ударом кинжала. Другой на улице Синь был атакован тридцатью

молодыми людьми, которые разбили его барабан и отняли у него саблю. Третий был убит на улице Гренье-Сен-Лазар.

Восстание устроило из центра Парижа неприступную исполинскую извилистую цитадель. Там был очаг движения, там, очевидно, и сосредоточивалось все дело: остальное же было не более как мелкие стычки. Так как в центре еще не дрались, то можно было понять, что судьба восстания готовилась именно там.

В некоторых полках солдаты были в нерешительности, что еще более усиливало ужасающую неопределенность кризиса. Эти солдаты помнили народную овацию, встретившую в июле 1830 года нейтралитет 53-го линейного полка. Командирами их были два неустрашимых человека, испытанных в настоящих войнах: маршал Лобо и генерал Бюжо. Огромные патрули, состоящие из пехотных батальонов, окруженные целыми ротами национальной гвардии и сопровождаемые полицейскими комиссарами, объезжали

охваченные мятежом улицы. Со своей стороны мятежники тоже расставляли караулы на перекрестках и отважно посылали патрули за черту баррикад. Обе стороны наблюдали и выжидали. Правительство, держа в руках армию, еще колебалось. Наступала ночь, и слышался звон набатного колокола колокольни Сен-Мерри. Военный министр, маршал Сульт, видевший Аустерлиц, смотрел на все это очень мрачно.

Эти старые воины, привыкшие маневрировать в правильных сражениях, опираясь лишь на правила тактики, этого компаса битвы, теряются перед волной народного гнева. Вихрем Революции управлять нелегко.

Национальная гвардия окрестностей Парижа поспешно беспорядочными толпами являлась в город. Эскадрон 12-го полка легкой кавалерии примчался из Сен-Дени, из Курбвуа явился 14-й пехотный полк, батареи военной школы заняли позицию на площади Карусель, из Венсенна везли пушки.

Тюильри пустел, но Луи-Филипп был невозмутимо спокоен.

Глава 270

Мы уже говорили, что Париж в течение двух лет видел не одно восстание. Обыкновенно во время мятежа общий облик Парижа остается до странности спокойным; мятеж ограничивается только некоторыми пунктами. Этот город быстро осваивается со всеми явлениями. Эка важность — мятеж! Париж из-за таких пустяков не беспокоится. Только одни исполинские города и могут представлять такие странности, только в таких необъятных оградах и может совмещаться одновременно междоусобная война с общим спокойствием. Обыкновенно, когда начинается восстание, когда барабаны бьют тревогу и сбор, обыватель ограничивается замечанием: «Кажется, дерутся на улице Сен-Мартен». Или назовет предместье Сент-Антуана и иногда добавит: «Где-то в той стороне». Позднее, когда становится очень близким зловещий

рассыпчатый треск выстрелов и ружейных залпов, обыватель говорит: «Вон как там славно нажаривают!» Минуту спустя, если восставшие приближаются и берут верх, он поспешно запирает свою лавку и надевает мундир, то есть обеспечивает безопасность своему товару и подвергает риску свою личность.

Перестреливаются в каком-нибудь пассаже, в тупике, на перекрестке, берут, уступают и снова берут баррикады. Льется кровь, дома изрешечиваются пулями, по пути убивающими людей в квартирах, трупы усеивают мостовую, а с окрестных улиц доносится стук бильярдных шаров в кофейнях. Театры открыты, и в них разыгрываются водевили. Зеваки смеются и болтают в двух шагах от улиц, где царят ужасы войны. Фиакры спокойно развозят пассажиров. Прохожие идут обедать в город. Иногда такое равнодушие наблюдается даже в тех самых кварталах, где происходит мятеж. В 1831 году ружейная пальба на некоторое время даже приостановилась, чтобы пропустить свадебную процессию.

Во время восстания 12 мая 1839 года какой-то старый калека возил по улице Сен-Мартен ручную тележку, над которой развевалась красная тряпка, в тележке находились бутылки с напитками. Он переходил от баррикад к войскам и от войск к баррикадам, услужливо предлагая утолить жажду то представителям правительства, то анархистам.

Что может быть более странным? Это своеобразие парижских революций; этого не встретишь в других столицах. Необходимы две черты — исполинские размеры Парижа, и его веселость — город Вольтера и Наполеона.

Однако на этот раз, когда взялись за оружие 5 июня 1832 года, великий город чувствовал нечто такое, что, быть может, оказывалось сильнее его. Он испугался. Повсюду, даже в наиболее отдаленных и менее всего «заинтересованных» кварталах, окна и ставни наглухо запирались среди белого дня. Люди мужественно вооружались, трусы прятались. Исчезли все прохожие, и беспечные и озабоченные. Многие

улицы были пусты, как они бывают пусты рано утром. Распространялись тревожные слухи, передавались зловещие новости вроде следующих: «Они овладели банком, в одном только монастыре Сен-Мерри их засело шестьсот человек. Войска ненадежны». Арман Каррель был у маршала Клозеля, который сказал ему: «Сначала заручитесь полком». Лафайет болен, однако сказал им: «Я ваш. Я всюду буду следовать за вами, где только найдется место для моих носилок. Нужно держаться настороже. Ночью будут происходить грабежи в уединенных домах глухих мест Парижа». (Это разыгралось воображение полиции — этакой Анны Радклиф, состоящей при правительстве!) На улице Обриле-Бушэ поставлена батарея. Лобо и Бюжо держали совет и собирались в полночь или, самое позднее, на рассвете двинуть сразу четыре колонны в центр восстания: одну из Бастилии, другую от ворот Сен-Мартен, третью с Гревской площади, четвертуй от Рынка. Быть может, войска очистят Париж и отступят на Марсово поле. Неизвестно, как все это разыграется, но, во всяком случае на

этот раз, готовилось что-то серьезное. Население сильно тревожилось нерешительностью маршала Сульта. Почему он медлит нанести удар? Было очевидно, что он крайне озабочен. Старый лев как будто почуял какое-то неведомое чудовище в темноте. Настал вечер, но театры не открылись, патрули разъезжали по городу с раздраженным видом, обыскивали прохожих, задерживали подозрительных. В девять часов было арестовано более восьмисот человек; префектура полиции, Консьержери и Лафорс были переполнены. В Консьержери длинное подземелье, называемое «Парижской улицей», было сплошь завалено соломой, на которой как попало валялись арестанты, опекаемые и подбадриваемые лионцем Лагранжем. Громадная масса соломы, шуршавшая под множеством людей, производила шум ливня. В других местах арестованные спали вповалку, прямо под открытым небом, на лужайках дворов. Всюду чувствовались тревога и необычайный для Парижа трепет.

Дома баррикадировались, жены и матери находились в смертельном беспокойстве, со всех

сторон только и слышалось: «Ах, боже мой, он еще не вернулся!» Издали слабо доносился стук колес. Стоя на порогах дверей, прислушивались к крикам, к шуму, к смешанному гулу, к смутным звукам, о которых говорили: «Это кавалерия!» или: «Это мчится артиллерия!» Слушали звуки сигнальных труб, барабанный бой, грохот выстрелов и заунывный звон набатного колокола Сен-Мерри. Ожидали первого пушечного выстрела. На углах улиц вдруг появлялись люди и снова исчезали, прокричав: «Входите к себе!» Тогда все спешили запираться в домах. «Чем все это кончится?» — думали встревоженные обыватели. С минуты на минуту, по мере того как спускалась ночь, Париж все более и более озарялся грозным заревом разгорающегося восстания.

Глава 271

В тот момент, когда мятеж, разгоревшийся от столкновения народа с войском перед Арсеналом, вызвал обратное движение, в толпе, следовавшей

за гробом Ламарка вдоль бульваров, произошло страшное смятение. Она заколыхалась, ряды разорвались, все бросились бежать, спасаться: одни с грозными криками, требовавшими атаки, другие — с выражением страха на побледневших лицах. Могучий поток, покрывавший бульвары, разделился в один миг и хлынул направо и налево, чтобы затем разлиться мелкими потоками сразу по двумстам улицам и наполнить их шумом прорвавшейся плотины. В эту минуту по улице Менильмонтан шел, весь в лохмотьях, мальчик с веткой черного дерева в руках, сорванной на высотах Бельвиля. Проходя мимо лавочки торговки разным старьем, он увидел выставленный там старинный седельный пистолет. Мальчик бросил на мостовую ветку и крикнул:

— Мамаша, я беру у тебя взаймы эту штучку!

И, схватив пистолет, он бросился с ним бежать.

Минуты две спустя кучка испуганных буржуа, спасавшихся бегством по улицам Амло и Басе,

встретила этого мальчика, который размахивал пистолетом и распевал бессмысленный набор рифмованных строк на известный мотив «Au clair de la lune».

Ночью ни черта не видно,

Днем погода хороша,

В пятки спряталась постыдно

Буржуазная душа.

Это был маленький Гаврош, тоже отправившийся на войну. Дойдя До бульвара, он заметил, что у украденного пистолета недостает собачки.

Кто был автор куплета, под который он маршировал, и других песен, распеваемых им при разных случаях, мы не знаем. Очень может быть, что он сам. Впрочем, Гаврош был хорошо знаком со всеми популярными песнями и добавлял их всем, что ему приходило в голову. Будучи вольной пташкой и продуктом мостовой, он создавал попурри из естественных звуков Парижа. Он соединял птичий репертуар с

репертуаром мастерских. Он был близко знаком с хищными птицами, имевшими с ним некоторое сходство. Кажется, он был в продолжение целых трех месяцев типографским учеником. Как-то раз ему даже пришлось исполнить какое-то поручение для Баур Лормиана, одного из «сорока бессмертных». Вообще Гаврош был смышленый мальчик.

Кстати сказать, он и не подозревал, что в ту темную дождливую ночь, когда он приютил двух малюток в своем слоне, ему пришлось разыграть роль провидения для своих собственных братьев. Вечером он оказал помощь своим братьям, а утром — отцу. Все это было сделано им в течение одной ночи. Покинув на рассвете улицу Балле, он поспешно вернулся к слону, извлек из него обоих малюток, разделил с ними завтрак, который где-то добыл, затем ушел от них, доверив их той доброй матери-улице, которая почти воспитала его самого. Уходя от ребятишек, он назначил им вечером свидание на том же месте, где находился с ними в эту минуту, и сказал на прощанье: «Я разбиваю палку, то есть беру ноги в руки, или,

как еще говорят, улепетываю. Если вы, карапузики, не отыщете сегодня папеньку с маменькой, то приходите опять сюда вечером. Я накормлю вас ужином и уложу спать». Ребятишки, подобранные, вероятно, жандармом и отведенные в участок или украденные каким-нибудь балаганным фокусником, а то просто-напросто заблудившиеся в громадном парижском лабиринте, вечером не вернулись назад. Дно общественного мира полно таких исчезновений. Гаврош больше так и не видел малюток. С этой ночи прошло уже несколько месяцев, в течение которых Гаврош, почесывая голову, не раз говорил сам себе: «Куда же это девались мои ребятки, черт их возьми?»

Между тем он со своим пистолетом в руках дошел до улицы Понт-о-Шу. Он заметил, что на этой улице была отперта только одна лавка, и притом лавка пирожника. Точно само провидение позаботилось дать ему возможность полакомиться яблочным пирожком, прежде чем броситься в неизвестное. Гаврош остановился, ощупал у себя бока, порылся в карманах, даже

вывернул их, но, не найдя в них ни гроша и чтобы выразить чем-нибудь свою досаду, он закричал во все горло:

— Караул! Ограбили!

После этого он стал продолжать путь. Вскоре маленький бродяга очутился на улице Сен-Луи. Переходя через улицу Парк-Рояль, он почувствовал потребность вознаградить себя за недоступный яблочный пирог и доставил себе большое удовольствие, принявшись срывать стен театральные афиши.

Немного дальше, увидев идущих ему навстречу сытых и благополучных людей, по виду собственников, он поднял плечи и бросил им вслед плевок философской желчи:

— Сытые буржуи! Это все рантье-обжоры, навар хорошего обеда! Спросишь, а что они делают со своими деньгами? Они сами не знают. Они жрут деньги, столько жрут, сколько влезет в брюхо!

Глава 272

Размахивание посреди улицы пистолетом без собачки — такое важное общественное дело, что Гаврош с каждым шагом все более и более приходил в азарт. Он запел было «Марсельезу», но то и дело обрывал ее, чтобы выкрикнуть что-нибудь вроде следующего:

— Все идет хорошо! У меня сильно болит левая лапа, я ушиб ее как раз в том месте, где ревматизм, но все-таки я доволен, граждане! Пусть держатся буржуа, когда я запою им сногсшибательную песенку!.. Что такое мушары? Сущие собаки, черт бы их побрал! Впрочем, не нужно оскорблять собак такими сравнениями… Не мешало бы быть собачке и на моем пистолете… Я прямо с бульвара, друзья мои, там так и кипит, бурлит, брызжет во все стороны. Пора бы и пену снимать с горшка… Вперед, храбрецы! Я жертвую жизнью для отечества! Не видать мне больше своей душеньки, все кончено, все! Но мне на это наплевать! Да здравствует

веселье! Будем драться, дьявол их раздави!.. Довольно с меня всего, к черту деспотизм!

В эту минуту споткнулась и упала лошадь проезжавшего мимо улана национальной гвардии. Гаврош бросил свой пистолет на мостовую, поднял улана, потом помог ему поднять и лошадь. После этого он поднял пистолет и продолжал путь.

На улицеТориньи все дышало спокойствием и миром. Эта апатия, свойственная кварталу Марэ, представляла странный контраст со страшным шумом, царившим на соседних улицах. На пороге двери тараторили четыре кумушки. Шотландия отличается тройками ведьм, а Париж — четверками кумушек. Знаменитое — «Ты будешь королем» могло бы быть брошено в лицо Бонапарту таким же зловещим голосом на перекрестке Бодуэ, как Макбету в вереске Армюира. Вышло бы почти такое же карканье.

Кумушки улицыТориньи были заняты исключительно своими личными делами. Это были три привратницы и тряпичница с плетенкой

и крючком. Они точно представляли собой все четыре ипостаси старости: хилость, дряхлость, немощь и грусть. Тряпичница была очень смиренна. В мире, где человек предоставлен главным образом улице, тряпичница вынуждена унижаться, привратница покровительствует. Показателем этого служит мусорный ящик, содержимое которого зависит от прихоти привратницы. И во взмахе метлы может быть доброта. Эта тряпичница была благодарной старушкой. Она сладко улыбалось трем привратницам. Между кумушками шла следующая беседа:

— Ну что, ваша кошка все еще такая же злая?

— Боже мой, да ведь вы знаете, что все кошки природные враги собак! Собаки вообще обижены.

— Да и людям не сладко.

— Однако кошачьи блохи к людям не пристают.

— А с собаками не только возня, но и опасно. Я помню, был год, когда развелось столько собак, что были вынуждены даже напечатать об этом в газетах. Это случилось как раз в то время, когда в Тюильри были большие бараны, которые возили маленькую колясочку римского короля. Вы помните римского короля?

— Мне больше нравился герцог Бордоский.

— Я знала Людовика Семнадцатого. Мне больше всех нравился он.

— А как мясо-то вздорожало, мадам Патагон!

— Ах, уж и не говорите! Эти мясники — просто ужас! Кроме обрезков, ни к чему и не приступишься.

Это все болтали между собою привратницы. Гаврош, стоя сзади кумушек, слушал.

— Эй, старушенции, что это вы тут политиканствуете?! — вдруг крикнул он.

На него обрушился поток ругательств сразу в четыре голоса.

— Экий негодяй!

— Что это у него там в култыжке, никак пистолет?

— Извольте радоваться, какой озорной мальчишка!

— Тоже суется бунтовать!

Полный презрения, Гаврош вместо всякого возражения удовольствовался тем, что приподнял большим пальцем кончик носа и, растопырив ладонь, направил остальные четыре пальца на кумушек.

— Ах ты, босоногий озорник! — крикнула ему тряпичница.

Та, которую звали мадам Патагон, с возмущенным видом всплеснула руками.

— Ну, нам не миновать беды, — сказала она. — Тот шалопай, что живет вон рядом в этом доме, раньше каждое утро проходил мимо меня под ручку с молодой девицей в розовом чепце, а нынче поутру, смотрю, идет под руку с ружьем. Мадам Ваше сказывала, что на прошлой неделе

была революция в… ну, там, где еще теленок-то… Ах да! — в Понтуазе. А теперь, не угодно ли полюбоваться, даже такая мразь, как этот мальчишка, бегает с пистолетами!.. Кажется, и целестинцы полны пушек… Что прикажете делать правительству с такими озорниками, которые не знают, что и придумать, чтобы беспокоить честных людей, как только те начнут немножко приходить в себя после прежних передряг? После всего этого, наверное, опять вздорожает табак… Какое наказание с этими смутьянами! Непременно приду взглянуть, как тебя будут гильотинировать, так и знай, злой мальчишка!

— Уж очень ты гнусавишь, старая карга! Высморкала бы лучше свое нюхало! — проговорил в ответ на это Гаврош и отправился далее.

Когда он дошел до улицы Павэ, ему опять вспомнилась тряпичница.

Вдруг он услышал позади себя шум. Оглянувшись, он увидел бабушку Патагон,

которая следовала за ним и, показывая ему издали кулак, кричала:

— Ах ты, несчастный подкидыш!

— Лайся, лайся, бабушка Мусорная яма! — крикнул ей Гаврош.

Немного спустя, проходя мимо отеля Ламуаньон, он воскликнул:

— Вперед, на бой!

Тут на него вдруг напала тоска. Он взглянул на свой бесполезный пистолет взглядом, полным упрека, точно надеялся этим пристыдить его, и сказал ему:

— Вот я действую, а ты должен бездействовать!

Настоящая собака может отвлечь от собачки пистолетной. Мимо пробегала тощая дворняжка. Гаврош почувствовал к ней жалость.

— Бедный песик! — сказал мальчик. — Ты, видно, проглотил бочонок. У тебя под шкурой торчат все его обручи.

Затем он направился к Орм-Сен-Жервэ.

Глава 273

Достойный цирюльник, прогнавший малюток, которых Гаврош приютил было в гостеприимных недрах слона, был в эту минуту занят в своей лавочке бритьем старого солдата, служившего при Империи. Шел разговор. Цирюльник очень естественно заговорил с ветераном о мятеже, потом о генерале Ламарке; от Ламарка они перешли к императору. Если бы при этой беседе цирюльника с солдатом присутствовал Прюдом, то он, наверное, записал бы ее, украсил бы своими арабесками и издал бы под заглавием: «Разговор бритвы и сабли».

— Сударь, а как ездил император верхом? — спрашивал цирюльник своего собеседника.

— Плохо, — отвечал солдат, — он не умел падать, поэтому никогда и не падал.

— А что, хороши были у него лошади? Наверное, прекрасные.

— Я заметил его коня в тот день, когда он пожаловал мне крест. Это была скаковая лошадь, вся белая. У нее были далеко расставленные уши, глубокое седло, тонкая голова с черной звездочкой на лбу, очень длинная шея, крепкие колени, выдающиеся бока, покатые плечи, сильный круп. Она была больше пятнадцати пядей ростом.

— Славная лошадка! — заметил парикмахер.

— Да, таков был конь его величества.

Парикмахер почувствовал, что после этих слов будет приличнее немного помолчать. Помолчав с минуту, он продолжал:

— Кажется, император был только один раз ранен, не правда ли, сударь?

Солдат ответил спокойным и важным тоном бывалого человека:

— Да, в пятку, при Ратисбонне. Я никогда не видел его так одетым, как в тот день. Он был такой чистенький, как новенький су.

— А вы, господин ветеран, наверное, имели много ран?

— Я-то? — воскликнул солдат. — О нет! При Маренго я получил два сабельных удара по затылку, при Аустерлице одну пулю в правую руку, другую — при Иене в левое бедро, при Фридланде мне въехали штыком вот сюда, под Москвой меня угостили семью или восемью ударами пикой в разные места, под Люценом осколком бомбы мне раздробило палец… Ах да! Еще при Ватерлоо мне угодила пуля в бедро. Вот и все.

— Как хорошо умирать на поле сражении! — с пиндарическим пафосом воскликнул цирюльник. — Честное слово, я бы лучше желал получить пушечное ядро прямо в живот, чем понемногу, медленно издыхать в постели от болезни и возиться с докторами, аптекарскими снадобьями, спринцовками, припарками и тому подобным.

— У вас голова с мозгами, — одобрил солдат.

Едва он успел выговорить последнее слово, как стены лавчонки дрогнули от сильного треска. Одно из оконных стекол разлетелось вдребезги. Цирюльник помертвел.

— Господи, вот уж оно! — вскричал он.

— Что такое? — спросил солдат.

— Да пушечное ядро.

— Вот это что, — сказал ветеран и поднял предмет, катившийся по полу и оказавшийся довольно увесистым булыжником.

Парикмахер подбежал к разбитому окну и увидал Гавроша, со всех ног улепетывавшего по направлению к рынку Сен-Жак. Проходя мимо лавки цирюльника, Гаврош, который до сих пор помнил своих карапузиков, не мог устоять против искушения поздороваться с цирюльником по-своему и бросил в окно камень.

— Видите! — воскликнул цирюльник. — Эти пакостники делают зло ради самого зла!.. Ну что я сделал этому негодному мальчишке?

Глава 274

На рынке Сен-Жак, где уже был разоружен пост, Гаврош присоединился к толпе, во главе которой находились Анжолрас, Курфейрак, Комбферр и Фейи. Эта компания была почти вся вооружена. К ней примкнули попавшиеся навстречу Багорель и Жан Прувер. У Анжолраса было двуствольное охотничье ружье, у Комбферра — ружье национальной гвардии с номером легиона, за пояс у него были заткнуты два пистолета, выглядывавшие из-под расстегнутого сюртука. У Жана Прувера имелся старый кавалерийский мушкет, у Багореля — карабин. Курфейрак размахивал тростью с обнаженным кинжалом. Фейи с обнаженной саблей в руке шел впереди и что-то кричал.

Компания шла от набережной Морлан. Все были без галстуков, без шляп, запыхавшиеся, промокшие под дождем, с огнем в глазах. Гаврош спокойно подошел и спросил:

— Куда мы идем?

— Иди и узнаешь, — ответил Курфейрак.

Позади Фейи шел или, вернее, скакал Багорель, чувствовавший себя среди мятежа как рыба в воде.

На нем был кармазинного цвета жилет, и он выкрикивал слова самого сокрушительного свойства. Его жилет смутил одного прохожего, который в ужасе крикнул:

— Красные идут!

— Красные! — передразнил его Багорель. — Что за смешные страхи, гражданин! Что касается меня, то я не дрожу перед красным маком, и маленькая красная шапочка не внушает мне никакого ужаса. Буржуа, поверьте мне, боязнь красного цвета лучше предоставить рогатому скоту.

В это время он заметил на угловой стене наклеенный листок самого мирного характера в мире. Это было разрешение есть яйца, то есть великопостное объявление парижского архиепископа к его пастве.

— Паства! — воскликнул Багорель. — Вежливая форма выражения: «Гусиное стадо!»

С этими словами он сорвал листок со стены. Это подкупило Гавроша. С этой минуты мальчик принялся изучать Багореля.

— Багорель, ты это сделал напрасно, — сказал Анжолрас. — Не следовало трогать этого листка. Нам до него нет никакого дела, и ты даром тратишь свой пыл на пустяки. Береги свои заряды. Не следует стрелять понапрасну.

— У каждого свой вкус, — возразил Багорель. — Это епископское послание раздражает меня. Я хочу есть яйца без всякого разрешения. Ты человек со знойным, но сосредоточенным нравом, а я люблю позабавиться. Что же касается траты сил, то я вовсе не растрачиваю их понапрасну, — наоборот, я только воодушевляю себя. Клянусь Геркулесом, я разорвал это послание единственно для возбуждения аппетита.

Помянутое Багорелем имя Геркулеса возбудило внимание Гавроша. Мальчик всячески

искал случаев поучиться, и этот истребитель уличных объявлений поразил его своей ученостью.

— Что это за имя «Геркулес»? — осведомился гамен у Багореля.

— Это значит по-латыни черт, — ответил Багорель.

Тут он заметил в одном окне глядевшего на них бледнолицего и чернобородого молодого человека, быть может, одного из членов общества «Абецеды», и крикнул ему:

— Живей, патронов! Para bellum! {Готовься к войне (лат.).}

— Он действительно bel homme {Красивый человек (фр.).}, — заметил Гаврош, вообразивший, что уже стал понимать латынь.

Багореля с товарищами сопровождал шумный кортеж, состоявший из студентов, художников, молодых людей, принадлежавших к обществу «Лозы» в городе Э, рабочих, портовых разгрузчиков и множества других лиц. Все были

вооружены палками и штыками, у некоторых, как у Комбферра, за поясами были заткнуты пистолеты.

В этой толпе находился старик, с виду очень дряхлый. Он был без оружия и, видимо, старался не отставать от толпы, хотя мысль его, очевидно, витала далеко от этого места.

Гаврош заметил его и спросил Курфейрака:

— Qeqsequla?

— Видишь, старичок, — ответил тот.

Это был Мабеф.

Глава 275

Вернемся немного назад. Анжолрас и его друзья находились на бульваре Бурдон возле хлебных магазинов в ту минуту, когда драгуны преградили путь толпе, следовавшей за гробом Ламарка. Анжолрас, Курфейрак и Комбферр были из тех, которые шли по улице Бассомпьер с криками: «На баррикады!» На улице Ледигьер

они встретили старика, привлекшего их внимание тем, что он шел зигзагами, точно пьяный. Вместо того чтобы надеть шляпу на голову, он нес ее в руках, хотя целое утро лил дождь, не перестававший и теперь. Курфейрак узнал в этом старике Мабефа. Он знал его потому, что не раз провожал Мариуса до его дверей. Зная мирный и более чем робкий характер этого старого буквоеда, Курфейрак был очень удивлен, встретив его посреди этой толпы в двух шагах от кавалерии, под пулями, с обнаженной головой, по которой немилосердно хлестал дождь. Курфейрак подошел к Мабефу, и между двадцатипятилетним молодым мятежником и восьмидесятилетним мирным старцем произошел следующий разговор:

— Господин Мабеф, идите домой.

— Зачем?

— Будет суматоха.

— Отлично.

— Будут работать саблями, стрелять из ружей.

— Отлично.

— Будут стрелять и из пушек.

— Отлично. А вы куда идете?

— Сокрушать все.

— Отлично.

И старик пошел за мятежной ватагой. С этой минуты он не произнес более ни слова. Шаги его вдруг сделались твердыми. Рабочие хотели было взять его под руки, но он отказался от их помощи. Он шел почти в первом ряду толпы, двигаясь, как человек, сознающий, что делает, но с видом лунатика.

— Какой отчаянный старикашка! — говорили про него студенты. В толпе пронесся слух, что этот старик — бывший член Конвента. Толпа завернула в улицу Веррери. Маленький Гаврош выступал впереди, распевая во всю глотку и изображая собой живой кларнет.

Луна глядит с небес,

Когда пойдем мы в лес?

Шарлоте Шарло говорит:

«Ту-ту-ту

В Шату».

У меня только один Бог, один король, один грош

и один сапог.

Напившись утром рано

Росы с тимьяна.

Два воробья подгуляли.

Зи-зи-зи

В Пасси.

У меня только один Бог, один король, один грош

и один сапог.

А бедных два волчонка

Пьяны были, как стельки,

Смеялся при виде их тигр.

Дон-дон-дон

В Медон.

У меня только один Бог, один король, один грош

и один сапог.

Один бранился, другой проклинал.

Когда пойдем мы в лес?

Шарлоте Шарло говорила:

«Тен-тен-тен

В Пантен».

У меня только один Бог, один король, один грош

и один сапог.

Все направлялись к Сен-Мерри.

Глава 276

Толпа росла с каждой минутой. Близ улицы Бильет к ней присоединился человек высокого роста с седеющими волосами. Курфейрак, Анжолрас и Комбферр тотчас заметили его суровую и решительную физиономию, но никто из них не знал его. Гаврош, занятый пением, свистом, гоготанием, прыганьем, стучанием в ставни лавок рукояткой своего пистолета без собачки, не обратил никакого внимания на этого человека.

На улице Веррери они прошли мимо жилища Курфейрака.

— Вот и отлично, — сказал Курфейрак, — я давеча забыл взять свой кошелек из дома и потерял шляпу.

Он вышел из рядов, поспешно бросился в свою квартиру и взял там кошелек и старую шляпу. Кроме того, он захватил и довольно большой квадратный ящик, величиной с большой

чемодан. Когда он бегом спускался назад с лестницы, его окликнула привратница:

— Господин де Курфейрак!

— Привратница, как вас зовут? — спросил он, остановившись.

Женщина опешила.

— Вы же знаете, что меня зовут тетушкой Вевен, — сказала она.

— Ну, так если вы еще раз назовете меня господин де Курфейрак, то и я буду называть вас тетушкой де Вевен… Теперь говорите, в чем дело, что случилось?

— Тут кто-то желает вас видеть.

— Кто именно?

— Не знаю.

— А где?

— В моей сторожке.

— Ах, черт его возьми! — воскликнул Курфейрак.

— Он ждет вас уже более часа, — продолжала привратница.

В это время из сторожки вышел субъект, похожий на молодого мастерового, маленький, худой, бледный, в веснушках, одетый в дырявую блузу и плисовые панталоны с заплатками. Незнакомец, напоминавший переодетую девушку, подошел к Курфейраку и проговорил совершенно женским голосом:

— Нельзя ли мне видеть господина Мариуса?

— Его нет дома.

— А будет он сегодня вечером?

— Не знаю. Что касается меня, то я не вернусь, — добавил Курфейрак.

Юноша пристально на него взглянул и спросил:

— Почему?

— Так нужно.

— А куда вы идете?

— Тебе что за дело?

— Хотите, и я тоже пойду туда?

— Я иду на баррикады.

— Хотите, и я тоже пойду туда?

— Как хочешь, — ответил Курфейрак. — Улица свободна, мостовая существует для всех.

И он со всех ног бросился догонять товарищей. Догнав их, он одному из них вручил сундучок. Только через четверть часа он заметил, что молодой незнакомец действительно следует за ними.

Толпа не всегда может идти туда, куда хочет. Мы уже говорили, что ее часто точно уносит порывом ветра. Она миновала Сен-Мерри и, сама не зная как, очутилась на улице Сен-Дени.

Глава 277

Нынешние парижане, входя на улицу Рамбюто со стороны Рынка и глядя на находящуюся справа, напротив улицы Мондетур, лавку корзинщика, над которой вместо вывески висит

корзина, изображающая Наполеона Великого и украшенная надписью: «Наполеон сделан весь из ивы», не подозревают тех страшных сцен, которые разыгрались на этом самом месте каких-нибудь тридцать лет тому назад.

Там была в то время улица Шанврери или, как она называлась в старину, Шанверрери, на которой находился знаменитый кабак «Коринф».

Читатель, вероятно, помнит все, что нами было сказано о баррикаде, воздвигнутой в этом месте и затемненной баррикадой Сен-Мерри. На эту-то знаменитую баррикаду улицы Шанврери, ныне совершенно забытую, мы и намерены пролить некоторый свет.

Для ясности рассказа просим позволения прибегнуть к той простой манере изложения, которая была использована нами при описании Ватерлоо. Желающие в точности представить себе скопища домов, возвышавшихся в описываемую эпоху близ святого Евстафия, на северовосточном углу парижского рынка, там, где ныне начинается улица Рамбюто, пусть вообразят

букву N, опирающуюся вершиной в улицу Сен-Дени, а основанием — в Рынок, причем одна ее боковая ветвь изображается улицей Гранд-Трюандери, а другая — улицей Шанврери, улица же Петит-Трюандери составляет ее косую соединительную черту. Буква эта перерезалась запутанными извилинами старой улицы Мондетур. Лабиринт этих четырех улиц образовал на пространстве ста квадратных туазов, между Рынком и улицей Сен-Дени, с одной стороны, улицами Синь и улицей Прешер, с другой, семь островков домов различной величины, причудливой постройки, разбросанных вкривь и вкось, как попало, и едва отделенных один от другого узенькими проходами, точно глыбы в каменоломнях.

Проходы эти походили на щели, — до такой степени они были темны, тесны, извилисты. Некоторые из них были загромождены восьмиэтажными домами жалкого вида, отличавшимися такой ветхостью, что их фасады, выходившие на улицы Шанврери и Петит-Трюандери, подпирались бревнами, тянувшимися

от дома к дому. Улицы были чрезмерно узки, а канавы — чрезмерно широки, так что прохожий с большим трудом мог пробираться по вечно мокрой мостовой мимо лавок, походивших на подвалы, огромных каменных тумб с железными обручами, безобразных куч нечистот изворот, снабженных громадными вековыми решетками. Улица Рамбюто уничтожила все это.

Название Мондетур вполне ясно определяет извилистость этого лабиринта. Немного далее улица Пируэт, впадающая в улицу Мондетур, еще лучше обрисовывает своим названием характер этой местности. Прохожий, входивший с улицы Сен-Дени на улицу Шанврери, видел, как эта последняя улица перед ним постепенно сужается, представляя собою как бы продолговатую воронку. В конце этой коротенькой улицы путь по направлению к рынку вдруг оказывался перегороженным рядом высоких домов, и прохожий мог бы подумать, что очутился в глухом тупике, если бы не было направо и налево двух темных ущелий, через которые можно было пройти дальше. Эти ущелья образовывались

улицей Мондетур, одним концом выходившей на улицу Прешер, а другим — на улицы Синь и Петит-Трюандери. В глубине этого как бы тупика, на углу правого ущелья, находился дом, несколько ниже остальных, с выступавшим фасадом. В этом-то двухэтажном доме уже около трехсот лет кряду помещался знаменитый «Коринф». Этот кабак наполнял шумным весельем местность, которую старик Теофил описал в мрачном двустишии:

Там качается старый скелет —

То повесился бедный влюбленный.

Место было вполне подходящее для кабака, и он переходил по наследству из поколения в поколение. Во времена Матюрена Ренье кабак этот носил название «Потороз», а так как в то время была мода на ребусы, то вместо вывески служил водруженный перед дверью кабака столб, выкрашенный в розовую краску. В прошлом столетии достойный Натуар, один из полных фантазии художников, презираемых нынешней строгой школой, напившись несколько раз за тем

самым столом, за которым имел обыкновение напиваться Ренье, в знак признательности нарисовал на розовом столбе кисть коринфского винограда. Обрадованный кабатчик поспешил вывести над этой кистью надпись золотыми буквами: «Коринфский виноград», чем, собственно говоря, и изменил свою вывеску. Отсюда и вышло, что кабак стал называться просто «Коринфом». Ничто так не подходит к пьяницам, как эллипсисы. Эллипсис — это извилина фразы. Название «Коринф» понемногу вытеснило прежнее — «Горшок роз». Последний представитель кабацкой династии, дядя Гюшлу, не имея понятия о традициях своего заведения, велел выкрасить розовый столб в голубой цвет.

На первом этаже была большая зала, где помещалась конторка, во втором — бильярд, между ними — витая деревянная лестница, пробитая сквозь потолок нижнего этажа. Залитые вином столы, закопченные дымом стены, темнота такая, что свечи горели посреди белого дня, — вот что представлял собой этот кабак. Из нижнего помещения вела закрытая трапом

лестница в подвал. Сам Гюшлу жил на втором этаже. Его квартира сообщалась с нижней залой посредством крутой, почти отвесной лестницы, скрывавшейся за потайной дверью. Под крышей находились жалкие помещения для служанок. Кухня была внизу рядом с залой. Дядя Гюшлу, быть может, родился химиком, но стал поваром, в его кабаке не только пили, но и ели. Гюшлу изобрел очень вкусное блюдо, которое только у него и можно было получить; блюдо это делалось из фаршированных карпов, которых он называл carpes au gras {Жирный карп (фр.).}. Посетители ели это блюдо при свете сальной свечи или кенкета времен Людовика XVI за столиками, покрытыми клеенкой вместо скатерти. Некоторые посетители приходили издалека только ради этого блюда. В одно прекрасное утро дяде Гюшлу пришло в голову, что недурно бы предупредить прохожих о своем фирменном блюде. Обмакнув кисть в черную краску, он, обладая собственным правописанием, как обладал собственной кухней, вывел на стене своего дома следующую замечательную надпись: «Carpes ho gras», вместо

«Carpes au gras». Капризные зимние ливни уничтожили в первом слове s, а в последнем — букву g, так что получилось «Carpe ho ras», а если последние два слова написать в одно, то выходило «Carpe horas». Это уже было по-латыни и означало: «Лови часы». Таким образом, при помощи стихийных сил скромное гастрономическое объявление превратилось в мудрый совет. Кроме того, оказалось, что Гюшлу знал по-латыни, не зная по-французски, что он открыл в кухне философию и что, желая просто-напросто победить пост, сравнялся с Горацием. Всего поразительнее то, что новообразовавшаяся надпись как бы выражала иносказательное предложение: «Войдите в мой кабачок».

В настоящее время ничего этого более не существует. Лабиринт Мондетура в 1847 году значительно расширен, а теперь, вероятно, совсем уничтожен. Улицы Шанврери и кабачок Коринф исчезли под мостовой улицы Рамбюто.

Как мы уже говорили, Коринф служил местом сборища для Курфейрака и его друзей. Кабак

этот, собственно, был открыт Грантэром, который однажды зашел в него, привлеченный надписью «Carpe ho ras», а потом уж стал его посещать ради carpea au gras. В этом кабаке пили, ели, кричали, платили мало, дурно, иногда даже вовсе не платили, но всегда встречали радушный прием. Дядя Гюшлу был добряк.

Этот добряк представлял собой любопытную разновидность ощетиненного кабатчика. Он всегда выглядел сердитым, точно желал съесть своих посетителей, вечно брюзжал на них и вообще имел такой вид, словно был более расположен ругаться с ними, чем угощать их. Тем не менее, повторяю, люди чувствовали себя у него хорошо. Эта странность его характера привлекала посетителей, вместо того чтобы их отталкивать. Особенно много бегало к нему молодых людей, говоривших друг другу: «Пойдемте смотреть, как ершится дядя Гюшлу». Гюшлу был когда-то учителем фехтования. Иногда он вдруг ни с того ни с сего принимался хохотать, потрясая стены раскатами своего грубого смеха. В сущности это был комик с

трагической наружностью, ему доставляло удовольствие пугать людей, он этим напоминал табакерки в виде пистолета, которые вместо выстрела производят чихание. Жена его, тетушка Гюшлу, была очень некрасивая, бородатая женщина.

Дядя Гюшлу умер приблизительно в 1830 году. С его смертью исчез и секрет фаршированных карпов. Его неутешная вдова продолжала держать кабачок. Но кухня испортилась и стала невозможной, а вино, которое и раньше было плоховато, стало откровенно отвратительным. Тем не менее Курфейрак и его друзья продолжали посещать «Коринф», — из сострадания, как говорил Боссюэт.

Вдова Гюшлу при всем своем безобразии и вечной одышке была полна деревенских воспоминаний. Ее манера говорить так и отзывалась этими воспоминаниями, сохранившимися с того времени, когда она на заре своей жизни жила посреди полей.

Верхняя зала, в которой помещался «ресторан», обширная и продолговатая комната, была вся заставлена табуретами, стульями, скамьями и столами. Там же стоял старый бильярд. В нее поднимались по винтовой лестнице, вход на которую напоминал корабельный люк и находился в одном из углов залы. Сама зала, имевшая только одно узенькое окошко и всегда освещавшаяся кенкетом, представляла собой не что иное, как убогую мансарду. Вся мебель выглядела такой, точно она была не о четырех, а только о трех ножках. Выбеленные известью стены имели единственным украшением следующее стихотворение, написанное в честь вдовы Гюшлу:

В десяти шагах удивляет, а в двух пугает она.

В ее ноздре волосатой бородавка большая видна.

Ее встречая, дрожишь: вот-вот на тебя чихнет,

И нос ее крючковатый провалится в черный рот.

Эти стихи были начертаны на стене углем.

Вдова Гюшлу, прекрасно описанная этими стихами, с утра и до вечера сновала мимо них с полной невозмутимостью. Две служанки, которых звали Матлоттой и Жиблоттой (как их звали в действительности — этого никто не знал), помогали хозяйке подавать на столы кружки с красным вином и стряпню, которой угощали в этом кабачке голодных; снедь эта подавалась в глиняных мисках. Матлотта, рослая, толстая, рыжая и крикливая, бывшая любимая «султанша» покойного Гюшлу, была безобразнее любого мифологического чудовища, но так как служанка должна во всем уступать хозяйке, то она была все-таки менее безобразна, чем сама мадам Гюшлу. Жиблотта, длинная, нежного сложения, лимфатически бледная, с черными кругами под глазами и полузакрытыми веками, вечно усталая и изнемогающая, страдавшая, так сказать, хроническим утомлением, всегда вставала первой, а ложилась последней; она кротко и молчаливо всем прислуживала, даже другой

служанке, постоянно улыбаясь сквозь усталость какой-то неопределенной, точно сонной улыбкой.

У входа в зал-ресторан можно было прочесть еще стишок, написанный Курфейраком мелом на двери:

Как можешь — угости.

Как смеешь — сам поешь.

Глава 278

Легль из Мо жил, как известно, скорее у Жоли, чем где-либо. Он находил себе приют, как птица находит ветку, на которой может отдохнуть. Он и Жоли жили вместе, ели вместе, спали вместе. У них все было общее, отчасти даже и Музикетта. Это были своего рода близнецы. Утром 5 июня они отправились завтракать в «Коринф». Жоли схватил сильный насморк, начинавший приставать и к Леглю. Последний щеголял в довольно поношенном сюртуке, а Жоли был одет хорошо.

Было около девяти часов утра, когда они вошли в кабачок. Они поднялись на второй этаж. Их встретили Матлотта и Жиблотта.

— Устриц, сыру и ветчины, — приказал Легль.

Приятели уселись за стол. Кабак был пуст, других посетителей еще не было. Жиблотта, узнав приятелей, поставила на стол бутылку вина. Только они успели съесть несколько устриц, как вдруг из люка показалась чья-то голова и раздался голос:

— Проходил мимо. Слышу, отсюда несется соблазнительный запах сыра бри, я и вошел.

Это был Грантэр. Он взял табурет и сел к столу приятелей. Увидав его, Жиблотта подала еще две бутылки вина. Итого три бутылки.

— Неужели ты выпьешь обе эти бутылки? — спросил Легль у Грантэра.

— Все люди как люди, только ты один постоянно сомневаешься, ответил Грантэр. — Кого же, кроме тебя, могут удивить две бутылки?

Легль и Жоли начали с еды, а Грантэр — прямо с вина. Он залпом осушил половину бутылки.

— У тебя, должно быть, дыра в желудке! — заметил Легль.

— Как у тебя на локте! — огрызнулся Грантэр. И, допив свой стакан, добавил:

— Однако, Легль, хотя ты и орел надгробных речей, а сюртук-то твой стар.

— Я им очень доволен, — ответил Легль. — Это только доказывает, что мы с ним живем дружно. Он усвоил все мои изгибы, приспособился ко всем недостаткам моей фигуры, не стесняет меня, послушен всем моим движениям. Я чувствую его только потому, что он меня греет. Старое платье — то же самое, что старые друзья.

— Это верно, — подхватил Жоли, — старое платье все равно что давнишний приятель.

— Эк как ты, мой красавец, разгнусавился со своим насморком! — съязвил Грантэр.

— Ты откуда, Грантэр, — осведомился Легль, — с бульвара?

— Нет.

— А мы с Жоли только что видели начало шествия.

— Славное зрелище! — добавил Жоли.

— Как, однако, тихо на этой улице! — воскликнул Легль. — Ну кто бы мог подумать, сидя здесь, что весь Париж встал вверх дном? Как это заметно, что здесь когда-то были одни монастыри! Дюбрейль и Саваль дают полный список этих монастырей, как и аббат Лебеф. Тут все вокруг так кишмя и кишело монахами: обутыми, босоногими, бритыми, бородатыми, серыми, черными, белыми, францисканцами, капуцинами, кармелитами, новыми августинцами, старыми августинцами… чистый муравейник…

— Перестань говорить о монахах! При одном воспоминании о них начинается чесотка, — прервал Грантэр и, помолчав немного,

продолжал. — Тьфу! Какую я пакостную устрицу проглотил! Поневоле здесь захандришь: устрицы гнилые, служанки безобразные… Ненавижу весь род людской. Я только что прошел по улице Ришелье мимо большой публичной библиотеки. Эта груда устричной скорлупы, которую называют библиотекой, положительно претит мне. Сколько там бумаги, сколько чернил, сколько мазни пером! Представить только себе, что все это написано пером! Какой это дурак сказал, что человек — животное двуногое и бесперое?.. Потом я встретил хорошенькую девушку, прекрасную, как весна, вполне достойную быть названной Флореалью. Негодная так и сияет от восхищения, радости и счастья, что какой-то ужасный банкир, весь изъеденный оспой, соблаговолил соблазнить ее. Увы, женщина так же падка на ростовщиков, как на пустых щеголей. Кошки одинаково охотятся как на мышей, так и на птичек. Каких-нибудь два месяца тому назад эта девица скромно жила в мансарде и существовала тем, что продевала медные кружочки в корсеты, не знаю, как это называется.

Она работала, спала на веревочной кроватке, имела у себя на окне несколько цветочков и была довольна своей участью. А теперь она, изволите ли видеть, банкирша! Это превращение совершилось в одну ночь. Говорю вам — я встретил эту жертву сегодня утром, всю сияющую. Но хуже всего то, что эта шельма сегодня так же хороша, как была хороша вчера. Ее финансиста у нее на лице не видно. Розы тем и отличаются от женщин, что на них видны следы, оставляемые гусеницами… Да, — увы! — нравственности на земле более уже не существует. Взгляните на мирт — этот символ любви, на лавр — символ войны, на масличное дерево — символ мира, — все это только обман… Ах, сколько в этом мире хищных зверей, сколько орлов! Просто мороз продирает по коже, когда вспомнишь об этом… Налей!

И он протянул Жоли свой стакан, в который тот ему налил вина. Грантэр опорожнил стакан и продолжал:

— Бренн, взявший Рим, — орел, банкир, овладевающий девушкой, — тоже орел. Есть только одна действительность — выпивка! Каковы бы ни были ваши убеждения, — стоите ли вы за петуха тощего, как кантон Ури, или за петуха жирного, как кантон Гларус, — все равно — пейте! Вы говорите мне о бульваре, о шествии и тому подобном вздоре. Впрочем, я критикую, но никого не оскорбляю. Мир таков, каков он есть. Я говорю это без всякого злого намерения, а так, для очистки совести… Прими, о провидение, уверение в моем полном уважении!.. Но, клянусь всеми богами Олимпа, я вовсе не создан быть парижанином, чтобы вечно перелетать рикошетом, как мяч между двумя ракетками, от лагеря бездельников к лагерю буянов. Я создан, чтобы быть турком и целые дни любоваться, как восточные плясуньи исполняют бесподобные египетские танцы, сладострастные, как мечты целомудренного человека, или босеронским крестьянином, или венецианским вельможей, окруженным прелестными доннами, или мелким немецким князьком, поставляющим

германской конфедерации полпехотинца и на досуге занимающимся просушкою своих холстинных панталон на своем заборе, то есть на своей границе. Вот для каких судеб я рожден! Я сказал, что мог бы быть турком, и не отказываюсь от этого. Я не понимаю, почему это принято так дурно относиться к туркам. У Магомета немало хорошего. Свидетельствую свое уважение изобретателю сералей с одалисками рая и с гуриями! Не будем осуждать магометанство — единственную религию, принявшую в свой культ женщину легкого поведения. Пью за это! Да, наша земля — великая глупость… чисто дом для умалишенных! Разве не сумасшедшие те, которые собираются драться и разбивать друг другу морды в этот чудный летний месяц, вместо того чтобы под руку с певицей отправиться в поле упиваться ароматом свежескошенной травы? Право, чересчур уж дурят люди!.. Я сейчас видел у старьевщика старый разбитый фонарь, и он навел меня на мысль, что пора бы просветить человечество. Ну, вот я опять начинаю хандрить. Впрочем, это не удивительно при данных

обстоятельствах… Не шутка проглотить за раз испорченную устрицу и глупую революцию! О, до чего безобразен этот наш старый мир! В нем только и умеют мошенничать, надувать друг друга, резаться, продаваться и кривляться…

Здесь припадок красноречия у Грантэра сменился вполне заслуженным припадком кашля.

— Кстати о революции, — прогнусил Жоли. — Мариус, очевидно, не на шутку влюблен.

— В кого, не знаешь? — спросил Легль.

— Не знаю.

— Верно?

— Говорю тебе — не знаю.

— Воображаю, какого свойства любовные похождения Мариуса! — воскликнул Грантэр. — Мариус, этот воплощенный туман, наверное, нашел себе какое-нибудь воплощенное облачко. Мариус из породы поэтов, то есть сумасшедших… Святое безумие Аполлона! Любопытную парочку влюбленных должен

представлять Мариус со своей Марией, Мэри, Марието́ттой или Марионой. Представляю себе, как они плавают в экстазе, забывая о поцелуях. Целомудрствуют на земле, утопая в блаженстве в бесконечном. Это — души, сгорающие страстью на звездном ложе.

Грантэр принялся за вторую бутылку, которая, быть может, вдохновила бы его на вторую речь, как вдруг в четырехугольном отверстии люка показалось новое лицо. Это был мальчик лет около десяти, очень маленький ростом, желтый, худой, оборванный, с лицом, смахивающим на морду животного, с живыми глазами, косматой гривой волос, весь вымокший под ливнем, но с довольным видом.

Очевидно, не зная никого из трех присутствующих, мальчик, окинув их всех проницательным взглядом, смело, без колебания, обратился к Леглю из Мо:

— Не вы ли господин Боссюэт? — спросил он.

— Да, это мое прозвище, — ответил Легль. — Что тебе нужно от меня?

— Да вот какой-то высокий белокурый господин остановил меня на бульваре и спросил: «Знаешь тетушку Гюшлу?» — «Еще бы не знать! Это, мол, старикова вдова, что живет в улице Шанврери». — «Ну вот, говорит, ступай туда, отыщи там господина Боссюэта и скажи ему от меня: Абецеды!» — «И больше ничего?» — спросил я. «Больше ничего». Наверное, ему хочется подурачить вас, не правда ли?.. Он дал мне десять су.

— Жоли, дай мне десять су, — сказал Легль. — Грантэр, и ты одолжи мне столько же.

Получилось двадцать су. Легль отдал их мальчику.

— Благодарю, господин, — пискнул маленький посол.

— Как тебя зовут? — спросил Легль.

— Навэ. Я приятель Гавроша.

— Оставайся с нами, — предложил Легль.

— Кстати, позавтракаешь, — добавил Грантэр.

— Не могу, — ответил мальчик, — я занят в шествии, я кричу: «Долой Полиньяка!» Благодарю вас. До свидания!

И, шаркнув ногой в знак особого почтения, мальчуган поспешно ушел.

— Чистокровный гамен! — снова заговорил Грантэр. — Есть много разновидностей гаменов. Гамен в нотариальной конторе называется попрыгунчиком, гамен кухонный — поваренком, гамен в булочной — подмастерьем, гамен-лакей — грумом, гамен-матрос — юнгой, гамен-солдат — кадетом, гамен-живописец — мазилкой, гамен в лавке — мальчиком на побегушках, гамен при дворе — пажом, гамен… Да что говорить, мало ли еще всяких гаменов…

Пока Грантэр перечислял разновидности гаменов, Легль вполголоса бормотал себе под нос:

— «Абецеды» — это значит похороны Ламарка…

— А «высокий белокурый господин», это — Анжолрас, извещающий тебя об этом, — добавил Жоли.

— Пойдем, что ли? — спросил Боссюэт.

— Дождь идет, — отвечал Жоли. — Я клялся идти в огонь, а не в воду, и вовсе не желаю простужаться.

— Я тоже остаюсь здесь, — заявил Грантэр, — потому что предпочитаю завтрак катафалку.

— И я тоже. Значит, мы все остаемся, — заметил Легль. — Так будем пить… Ведь можно пропустить похороны, не пропуская мятежа…

— О, что касается мятежа, то я в нем непременно буду участвовать! — вскричал гнусавый Жоли.

Легль потер руки и весело проговорил:

— Принялись-таки исправлять революцию 1830 года. Хорошее дело: она немного жала нам под мышками.

— Меня ваша революция нисколько не интересует, — сказал Грантэр. — Я не чувствую никакой ненависти к нынешнему правительству, которое представляется в виде короны, замаскированной ночным колпаком, и скипетра, к которому приделан дождевой зонт. Сегодня благодаря дурной погоде Луи-Филипп может утилизировать свое королевское достоинство с двух концов: скипетром защищаться от народа, а зонтом — от дождя…

В кабачке и без того всегда было темно, а тут густые тучи и совсем заволокли небо и не пропускали в единственное окошко ни одного проблеска света. Ни в кабачке, ни даже на улице возле него не было ни души: все ушли «смотреть на политику».

— Что теперь — полдень или полночь? — проговорил Боссюэт. — Ничего не видно… Жиблотта, подай огня! — крикнул он.

Захандривший Грантэр продолжал пить.

— Анжолрас пренебрегает мною, — бормотал он про себя. — Он говорит: «Жоли болен, а Грантэр пьян». Прислал мальчишку к Боссюэту. Приди он сам за мной, я бы пошел за ним. Тем хуже для него: я не пойду на его похороны.

Таким образом, Боссюэт, Жоли и Грантэр не тронулись с места. Часов около двух дня стол, за которым они сидели, был сплошь покрыт пустыми бутылками. Перед кутившими горели две свечи, одна в медном позеленевшем подсвечнике, а другая — в горлышке пустой бутылки. Грантэр вызвал в Жоли и Боссюэте жажду к вину, а Боссюэт и Жоли пробудили в Грантэре прежнюю веселость.

Сам Грантэр уже в полдень бросил вино, как слишком слабый источник для мечтаний. Вино для настоящих пьяниц имеет лишь второстепенное значение. В области пьянства тоже скрывается своего рода белая и черная магия. Грантэр в пьянстве искал средства для

возбуждения грез. Мрачная бездна крайнего опьянения, зиявшая перед ним, не пугала, напротив, только привлекала его. Оставив бутылки с вином, он принялся за посудины с другими спиртными напитками, в которых именно и заключалась бездна. Не имея под рукой ни опия, ни гашиша и желая во что бы то ни стало затуманить свой мозг, он прибегнул к той страшной смеси водки, абсента и пива, которая производит такой ужасный эффект. Из паров этих трех напитков, — пива, абсента и водки — образуется свинец, угнетающий душу. Это — тройной мрак, в котором утопает небесная бабочка Психея, и рождаются в слегка сгущенных, наподобие перепончатых крыльев летучей мыши, парах, три безгласные фурии: Кошмар, Ночь и Смерть, витающие над уснувшей Психеей.

Грантэр еще не дошел до этого мрачного состояния, он был еще далек от него. Он пока находился в фазе шумной веселости, и его собутыльники только вторили ему. Все трое беспрестанно чокались. Эксцентричность мыслей

и слов Грантэр подчеркивал соответствующими жестами. Сидя верхом на табурете, он, растрепанный, со съехавшим набок галстуком, ухарски опирался левым кулаком в колено и с поднятым в правой руке стаканом торжественно говорил, обращаясь к толстой Матлотте:

— Да будут настежь отворены двери дворца, да будет всем свободный доступ во французскую академию, и пусть каждый пользуется правом целовать госпожу Гюшлу! Пьем, друзья! — И, обернувшись к госпоже Гюшлу, он добавил: — О ты, античная женщина, освященная Древностью, приблизься, чтобы я мог полюбоваться тобою!

— Жиблотта и Матлотта, послушайте! — гнусил Жоли. — Не давайте больше пить Грантэру. Он пропивает бешеные деньги. С утра он уже проглотил в виде этих снадобий два франка девяносто пять сантимов.

— Кто это осмелился без моего разрешения стащить с неба звезды и поставить их на стол в виде свечей?! — кричал Грантэр.

Боссюэт, хотя тоже сильно опьяневший, сохранял, однако, полное спокойствие. Усевшись на подоконник и подставив спину дождю, хлеставшему через открытое окно, он молча наблюдал своих друзей. Вдруг он услышал позади себя шум, торопливые шаги и крики: «К оружию!» Обернувшись, он увидел на улице Сен-Дени, на углу улицы Шанврери, Анжолраса с винтовкой, Гавроша с пистолетом, Фейи с саблей, Курфейрака со шпагой, Жана Прувера с мушкетом, Комбферра и Багореля с ружьями, а за ними — всю примкнувшую к ним толпу, тоже вооруженную чем попало.

Вся длина улицы Шанврери не превышала расстояния ружейного выстрела. Боссюэт приставил обе ладони в виде рупора к губам и крикнул:

— Эй, Курфейрак! А, Курфейрак!

Курфейрак услышал зов и, увидев Боссюэта, отправился к улице Шанврери. Потом, подойдя поближе, тоже громко спросил:

— Ну, что тебе нужно?

— Куда идешь?

— Строить баррикаду, — отвечал Курфейрак.

— Ну и строй ее здесь: место подходящее.

— И то правда, — согласился Курфейрак.

И по его знаку вся толпа тоже хлынула на улицу Шанврери.

Глава 279

И действительно, место это было очень удобное благодаря широкому устью улицы и ее суженному в виде воронки тупику. «Коринф» представлял собой выступ, и улицу Мондетур легко можно было загородить с обеих сторон, так что оставался свободным только фронт, обращенный к улице Сен-Дени. У пьяного Боссюэта глаз был так же верен, как у трезвого Ганнибала.

Нашествие вооруженной толпы нагнало на всех обитателей улицы Шанврери панический ужас.

Редкие прохожие поспешили скрыться. Всюду моментально затворились двери лавок, квартир и подвалов, заперлись ворота домов, закрылись окна, жалюзи и ставни, начиная с нижних помещений и кончая верхними. Какая-то испуганная старуха даже загородила свое окно тюфяком, чтобы заглушить треск ружейных выстрелов. Только кабачок остался открытым, да и то по той причине, что в него ворвалась вся толпа повстанцев.

— Ах, боже мой! — беспомощно вздыхала мадам Гюшлу в грустном сознании своего полного бессилия ввиду этой толпы.

Боссюэт спустился навстречу Курфейраку Жоли высунулся в окно и насмешливо крикнул:

— Курфейрак, что ж ты не взял зонтика? Смотри, насморк схватишь!

Между тем в несколько минут из оконных решеток нижнего этажа кабака были выломаны все железные полосы, а уличная мостовая разобрана на протяжении нескольких десятков шагов. Гаврош и Багорель захватили и

опрокинули телегу, на которой везли три бочонка с известью с завода Ансо, и, поставив их вместо устоев, навалили на них груды булыжника. К этим бочонкам были присоединены все пустые бочки, которые Анжолрас извлек из подвала мадам Гюшлу. Фейи своими нежными руками, привыкшими разрисовывать тонкие пластинки вееров, подпер сваленные тут же телегу и бочки двумя громадными грудами щебня, неизвестно откуда взятого. На бочки были положены балки, сорванные с фасада соседнего дома. Когда Курфейрак и Боссюэт оглянулись, уже половина улицы была загорожена баррикадой выше человеческого роста.

Матлотта и Жиблотта принялись помогать работавшим. Жиблотта сновала взад и вперед, таская в своем переднике кучи щебня. В вечном изнеможении она с таким же сонным видом помогала строить баррикаду, с каким подавала посетителям вино.

В конце улицы проезжал омнибус, запряженный парой белых лошадей. Боссюэт

перескочил через груды камней, остановил омнибус, заставил пассажиров выйти из него, причем сам помогал дамам, прогнал кучера и, взяв лошадей под уздцы, вернулся с омнибусом к баррикаде.

— Омнибусам не разрешается проезжать мимо «Коринфа», — сказал он и тут же для чего-то повторил эти слова по-латыни: — Non licet omnibus adiré Corinthum {Не дозволено всем входить в Коринф (лат.).}.

Минуту спустя распряженные лошади брели на свободе по улице Мондетур, не зная, куда им направиться, а опрокинутый набок омнибус довершил собой баррикаду.

Растерявшаяся мадам Гюшлу укрылась на верхнем этаже. Она смотрела вокруг себя мутным, блуждающим взглядом, но ничего не видела. Казалось, крики ужаса застревали у нее в горле.

— Светопреставление! — шептали ее запекшиеся губы.

Жоли влепил поцелуй в толстую, красную и морщинистую шею мадам Гюшлу и сказал Грантэру:

— Знаешь что, мой друг, я всегда считал самым деликатным предметом шею женщины.

Грантэр в это время достиг высшей степени восторженности. Когда Матлотта вернулась наверх, он схватил ее за талию и отпускал в окно громкие раскаты хохота.

— Матлотта безобразна! — кричал он вперемежку со взрывами оглушительного смеха. — Матлотта — идеал безобразия! Матлотта — химера! Я расскажу вам тайну ее происхождения. Некий готический Пигмалион, делавший водосточные трубы, в один прекрасный день влюбился в самую дурную из них. Он умолил Амура одушевить ее, последствием этого одушевления и явилась Матлотта. Взгляните на нее, граждане! Волосы у нее цвета хромокислой соли свинца, как у возлюбленной Тициана… Но она девушка хорошая. Ручаюсь вам головой, что она будет отлично драться. В каждой хорошей

девушке сидит герой. Что же касается тетки Гюшлу, то она настоящий воин. Посмотрите, какие у нее усы! Она получила их в наследство от своего мужа. Вообще, она чистый гусар. Она тоже будет превосходно драться. Вдвоем с Матлоттой они наведут ужас на всю окрестность… Впрочем, все это не важно. Господа, отец всегда презирал меня за то, что я ничего не мог понять из математики. Действительно, я понимаю только любовь и свободу. Я — Грантэр-Паинька. Не имея никогда денег, я и не привык к ним, поэтому никогда и не ощущал в них недостатка. Но если бы я был богат, вот бы чудес-то я натворил!.. О, как бы все шло хорошо на свете, если бы добрые сердца находились в союзе с туго набитыми кошельками! Представьте себе какого-нибудь добряка с состоянием Ротшильда!.. Матлотта, поцелуй меня! Ты страстна и застенчива! Твои щечки вызывают поцелуй сестры, а твои губки — поцелуй любовника!

— Да замолчи же ты наконец, пьяница! — перебил Курфейрак.

— Я — капитул и распорядитель игр в честь Флоры! — с достоинством возразил Грантэр.

Анжолрас, стоя с ружьем в руках на гребне баррикады, поднял свое прекрасное суровое лицо. Как известно, Анжолрас соединял в себе свойства спартанца и пуританина. Он был способен умереть вместе с Леонидом в Фермопилах и вместе с Кромвелем сжечь Дрогеду.

— Грантэр! — крикнул он. — Ступай куда-нибудь подальше выпускать свои винные пары.

Эти гневные слова произвели очень странное действие на Грантэра. Точно ему плеснули прямо в лицо стакан холодной воды. Вдруг, как бы протрезвившись, он сел, облокотился на столик возле окна, взглянул с невыразимой мягкостью на Анжолраса и сказал:

— Позволь мне здесь проспаться.

— Ступай спать в другое место! — возразил Анжолрас.

Но Грантэр, не сводя с него мутных и нежных глаз, проговорил:

— Не мешай мне спать здесь, пока я не умру.

— Грантэр, — продолжал Анжолрас, окинув его презрительным взглядом, — ты не способен ни веровать, ни мыслить, ни хотеть, ни жить, ни умереть.

— Увидишь, так ли это! — серьезно ответил ему Грантэр.

Он пробормотал еще несколько бессвязных слов, потом голова его грузно опустилась на стол и, как это часто бывает во второй фазе опьянения, в которую так грубо и круто толкнул его Анжолрас, — он тотчас же крепко заснул.

Глава 280

Будучи в восторге от баррикады, Багорель громогласно умилялся:

— Вот как мы вырядили улицу! Любо смотреть!

Курфейрак, растаскивая понемногу кабак, пытался утешать вдову Гюшлу.

— Тетушка Гюшлу, — говорил он, — вы, кажется, недавно жаловались, что против вас затеяли судебное преследование за то, что Жиблотта вытрясала из окна ваш предпостельный коврик?

— Да, да, это верно, добрейший господин Курфейрак, — отвечала кабатчица. — Ах, боже мой! Неужели вы хотите употребить в ваше ужасное дело и этот стол?.. Да, не только за ковер, но с меня хотят взыскать и за один цветочный горшочек, который свалился из окна мансарды на улицу. Правительство стянуло с меня за это сто франков штрафа. Разве это не безобразие, а?

— Само собой разумеется, что безобразие, тетушка Гюшлу. Вот мы и хотим отомстить за вас.

Однако, казалось, тетушка Гюшлу плохо осознавала выгоду, предоставляемую ей мстителями. Должно быть, этот способ мести

удовлетворил ее так же, как была удовлетворена та арабка, которая получила плюху от мужа и побежала жаловаться своему отцу. «Отец, — сказала она, — ты должен отплатить мужу за оскорбление твоей дочери тоже оскорблением». — «В какую щеку он тебя ударил?» — осведомился отец. «В левую». Отец ударил ее в правую щеку и сказал: "Вот теперь ты удовлетворена. Пойди и скажи мужу: «За то, что он ударил мою дочь, я ударил его жену».

Дождь перестал. Ряды защитников баррикады пополнялись новыми лицами. Разбили единственный фонарь улицы Шанврери и находившийся против него фонарь на улице Сен-Дени, перебили, кстати, все фонари соседних улиц: Мондетур, Синь, Прешер, Грандо и Пети-Трюандери.

Всем руководили Анжолрас, Комбферр и Курфейрак. Устроили сразу две баррикады, обе примыкавшие к «Коринфу» и образовавшие прямоугольник. Одна из баррикад, побольше, перекрывала улицу Шанврери, а другая — улицу

Мондетур со стороны улицы Синь. Последняя баррикада, очень узкая, была сооружена исключительно из бочек и булыжника мостовой. В возведении баррикад участвовали человек пятьдесят; тридцать из них были вооружены ружьями, которые они мимоходом взяли «напрокат» в одном оружейном магазине.

Трудно было представить себе что-нибудь пестрее и разнохарактернее этой толпы. Один был в куртке при кавалерийской сабле и двух седельных пистолетах, другой щеголял в одном жилете, круглой шляпе на голове и повешенной через плечо на бечевке пороховнице, третий был весь облеплен серой бумагой и вооружен шилом, каким работают шорники. Кто-то кричал: «Истребим всех до единого и умрем на острие наших штыков!» У этого крикуна как раз не было штыка. Один красовался в солдатском мундире поверх сюртука и в патронташе национальной гвардии с вышитой красной шерстью надписью: «Общественный порядок». Виднелось множество ружей с номерами легионов, мало шляп, много обнаженных рук, несколько пик, галстуки

совершенно отсутствовали. Все страшно суетились и, помогая друг другу, обсуждали возможные шансы на успех.

Какой-то человек высокого роста, замеченный Курфейраком, Комберром и Анжолрасом в ту самую же минуту, когда он примкнул к защитникам баррикады на углу улицы Бильет, старался быть полезным при сооружении малой баррикады. Гаврош работал в числе устраивавших большую баррикаду. Что же касается того молодого человека, который поджидал Курфейрака у него на дому и спрашивал его о Мариусе, то он исчез приблизительно в то время, когда переворачивали омнибус.

Сияющий и восхищенный Гаврош взял на себя задачу подбодрять работающих. Он сновал взад и вперед, поднимался вверх, спускался вниз, шумел, кричал. Казалось, что без него работа остановится. Что подталкивало его самого? Нужда. Что окрыляло его? Веселье. Гаврош был воплощением вихря. Он был везде, и голос его

разносился повсюду. Он все наполнял собою, он не давал ни минуты покоя ни себе, ни другим. Сама баррикада точно воодушевлялась им. Он подгонял ленивых, оживлял утомленных, раздражал склонных к задумчивости, одних веселил, других сердил, всех приводил в возбуждение, того толкнет, другого осмеет, на мгновение останавливался, потом вдруг улетал, кружился над этим шумным муравейником, перескакивал от одних к другим, жужжал, бурчал, беспокоил, точно навязчивая муха, всю упряжь исполинской фуры. Его маленькие руки были в беспрерывном движении, его маленькие легкие не уставали работать.

— Смелей! Еще камней с мостовой! Кати сюда бочки! Ну еще, как ее, черт?.. Какую-нибудь там штуку! Тащи плетушку с штукатуркой, засыпай вот эту дыру! Мала наша баррикада! Надо бы повыше! Клади тут! Ставь туда! Тычь вон туда! Баррикада это, чай, у тетки Жибу. Ломайте дом! Смотрите: вон стеклянная дверь!

Последние слова рассмешили работавших:

— Стеклянная дверь?! Что ты хочешь сделать из стеклянной двери, шиш…

— Я-то не шиш, а вот ты дохлая мышь! — парировал Гаврош. — Стеклянная дверь в баррикаде, да это чудо! Она не остановит атаки, но здорово помешает влезть на баррикаду. Вы не крали яблок за заборами, утыканными стекляшками и бутылочным дном. Стеклянная дверь порежет ноги гвардейцам, вздумай они полезть на баррикаду. Черт возьми! Ехидная штука эти стекляшки! А вам это в голову не пришло, товарищи?!

Больше всего бесился Гаврош потому, что его пистолет был без собачки и не мог стрелять. Он бегал от одного к другому и то и дело приставал:

— Дайте мне ружье! Ружье мне! Почему мне не дают ружья?

— Тебе ружье?! — удивился Комбферр.

— Ну а почему нет? — спросил Гаврош. — У меня было ружье в 1830 году, когда зашел разговор с Карлом X!

Анжолрас пожал плечами и сказал:

— Когда ружья будут у всех мужчин, тогда оставшиеся будут давать и детям.

Гаврош гордо повернулся к нему и крикнул:

— Если тебя убьют раньше меня, то я возьму твое ружье!

— Мальчишка! — сказал Анжолрас.

— Желторотый! — передразнил Гаврош.

Заблудившийся франт показался в конце улицы. Гаврош крикнул ему:

— Молодой человек, молодой человек! Пожал-те к нам! Ну!.. Старая родина зовет, а вы ничего для нее не делаете.

Франт поспешно удалился.

Глава 281

Современные газеты, сообщавшие, что баррикада на улице Шанврери, названная ими сооружением «почти неодолимым», достигала

уровня второго этажа кабака, сильно ошибались. В действительности эта баррикада не превышала шести-семи футов. Она была устроена таким образом, что защитники ее могли, по желанию, или скрываться за нею, или взбираться на самый ее верх благодаря четырем рядам камней, образовавшим ступени с внутренней стороны. С фронта эта баррикада действительно казалась неприступной, представляя очень внушительный вид, так как она была составлена из правильно сложенных камней и бочек, соединенных бревнами и досками, просунутыми в массивные колеса телеги известкового заводчика Ансо и омнибуса. Чтобы иметь возможность произвести в случае необходимости вылазку между стеной одного дома и самым отдаленным от кабака краем баррикады, было оставлено отверстие, в которое мог протиснуться один человек. Дышло омнибуса при помощи веревок было зафиксировано стоймя; к нему было прикреплено красное знамя, развевавшееся над баррикадой.

Малой баррикады, скрывавшейся в улице Мондетур за кабаком, с фронта совсем не было

видно. Обе соединенные баррикады представляли собой настоящий редут. Анжолрас и Курфейрак не сочли нужным забаррикадировать другой конец улицы Мондетур, открывавший через улицу Прешер выход к рынку, очевидно, они желали сохранить себе возможность сообщения с внешним миром и вместе с тем не особенно опасались нападения со стороны трудно доступной улицы Прешер.

Помимо этой лазейки, которую Фолар на своем стратегическом языке назвал бы «коленом траншеи», да отверстия для вылазки в улице Шанврери, внутренность баррикады с ее острым выступом, образуемым зданием кабака, представляла неправильный, со всех сторон замкнутый четырехугольник. Между большой баррикадой и высокими домами в глубине улицы был промежуток, шагов в двадцать ширины, не более, так что, можно сказать, баррикада почти примыкала к домам, которые хотя и были обитаемы, но двери и окна их были наглухо заперты.

Вся работа по сооружению баррикады совершилась в какой-нибудь час; горсть бунтовщиков не была отвлечена появлением ни одной лохматой шапки или штыка. Немногие буржуа, рискнувшие пройти по охваченной мятежом улице Сен-Дени, ускоряли шаги, лишь только взгляд их встречал баррикаду в улице Шанврери.

Когда обе баррикады были окончены и над ними водрузили красное знамя, из кабака вытащили стол, на который взобрался Курфейрак. Анжолрас принес квадратный сундучок, и Курфейрак открыл его; оказалось, что этот сундучок наполнен патронами. Вид этих маленьких орудий смерти заставил вздрогнуть сердца даже самых храбрых из окружающих и вызвал момент безмолвия. Один Курфейрак улыбался, раздавая патроны.

Барабанный бой сбора, разносившийся по всему Парижу, все еще не смолкал, но своей монотонностью он понемногу превратился в шум, к которому слух быстро привык, так что

никто не стал обращать на него внимания. Шум этот с его зловещими раскатами то приближался, то удалялся.

После того как ружья и карабины восставших на улице Шанврери были заряжены, Анжолрас расставил трех часовых вне баррикады: в конце улице Шанврери, на улице Прешер и на улице Петит-Трюандери. Затем, когда баррикады были воздвигнуты, ружья заряжены, часовые расставлены, восставшие укрепились на этих улицах, по которым никто посторонний уже не проходил, окруженные безмолвными, точно вымершими домами, ни одним звуком не выдававшими присутствия в них живых людей, окутанные сгущающимися сумерками, застывшие в безмолвии, в котором чувствовалось приближение чего-то страшного, трагического, одинокие, вооруженные, спокойные, полные решимости, — революционеры ждали неизбежного.

Глава 282

Что делали эти люди в последние спокойные часы? Раз мы взялись описывать во всех подробностях это историческое событие, то должны ответить и на этот вопрос.

В то время как часовые с оружием в руках охраняли баррикаду, в то время как Анжолрас, которого ничем нельзя было развлечь, наблюдал за часовыми, — в это самое время Комбферр, Курфейрак, Жан Прувер, Фейи, Боссюэт, Жоли, Багорель и некоторые другие собрались вместе, как в самые мирные дни своего студенческого времени, и в углу кабака, превращенного в каземат, в двух шагах от воздвигнутого ими редута, прислонив свои заряженные карабины к спинкам своих стульев, эти молодые люди, в виду грозной смерти, глядевшей им в глаза, весело декламировали большей частью любовные стихи.

Час, место, воспоминания юности, звезды, начинавшие мерцать на сумрачном небе, могильное безмолвие пустынных улиц,

окружавших кабак, неизбежность надвигавшихся неумолимых событий, — все это вместе взятое придавало что-то особенное этим стихам, нашептываемым вполголоса в сумерках Жаном Прувером, этим нежным поэтом.

Припомните, какая жизни сладость

Была уделом наших юных дней.

Как оба мы в сердцах носили радость —

Нарядным быть, любовью пламенеть.

Когда, сложив мои и ваши годы,

И сорока не получалось лет,

И в нашем скромном маленьком хозяйстве

Зима — и та казалась нам весной.

Дни счастья! Манюель надменный, мудрый,

Париж, свидетель трапезы святой,

Руа молниеносный — и ваш лифчик,

Который все колол меня иглой.

Все созерцало вас. Водил, бывало, в Прадо

Вас адвокат без дела на обед.

Красой сияли вы, — казалось, розы

Смотрели вам завистливо вослед.

И шепот слышал я: «О, как прекрасна!

Какие кудри дивные у ней!

Накидкой, верно, скрыты ее крылья!

А головной убор, то наш цветок».

И я бродил с тобой, сжимая твою ручку,

Прохожие, те думали про нас:

Любовь очаровала, обвенчала

Апрель и май в счастливой сей чете.

Мы жили тихо, скромно, одиноко,

Вкушая плод запретный — плод любви.

Уста мои едва шепнули слово,

Как в твоем сердце был готов ответ.

В Сорбонне я мечтал с утра до ночи

Все о тебе, кумир мой, о тебе!

Вот что случается с влюбленным сердцем,

Когда оно от милой вдалеке.

О площадь Мобера, площадь Дофина!

Когда весной ты в нашем чердачке

Рукою нежной обувала ножку, —

Сияло солнце, так казалось мне.

Читал Платона я, но все забылось,

Равно как Малебранш и Ламенэ.

Божественную красоту ты мне открыла

Одним цветком, который подала.

Я слушался, а ты была покорна.

О мирный уголок, златые дни!

Я видел утром, как ты пробуждалась

И как смотрелась в зеркало потом.

Кто в силах позабыть воспоминанья

Поры весны, лазоревых небес,

Восторгов, вызванных цветком, нарядом

И лепетом влюбленных двух сердец.

Наш сад был лишь один горшок тюльпана,

А юбочка висела на окне.

Я пил из глиняной простейшей кружки,

Фарфор японский уступив тебе.

Смеялись мы в минуты неудачи,

Довольно было потерять боа!

Божественным шекспировским портретом

Пришлось нам расплатиться за обед.

Я нищим был, ты не скупилась лаской,

И поцелуями я руки осыпал.

Том Данте нам служил столом прекрасно,

Каштаны весело съедали мы за ним,

Когда в моей веселенькой лачужке

Тебя впервые я поцеловал в уста,

И ты, смущенная, ушла в волненье,

Я побледнел и понял, что есть Бог.

Ты помнишь ли безоблачное счастье

И тьму платков, разорванных в клочки?

О, сколько томных вздохов, упований

Неслось тогда к высоким небесам!

Между тем на малой баррикаде зажгли плошку, а на большой — один из тех восковых факелов, которые можно видеть во время карнавала впереди экипажей, наполненных людьми в масках и направляющихся в Куртиль. Эти факелы, как мы говорили раньше, были добыты в Сент-Антуанском предместье.

Факел был установлен посреди нескольких камней из мостовой, расположенных в виде клетки, одна сторона которой оставалась открытой. Таким образом факел был защищен от ветра, и вместе с тем весь его свет падал на знамя. Улица и сама баррикада были погружены во мрак, виднелось только одно красное знамя, зловеще озаренное точно громадным потайным фонарем.

Глава 283

Наступила наконец и ночь, но на баррикаде было все по-прежнему тихо. Слышался лишь

какой-то смутный гул, и временами доносился треск ружейной пальбы — редкий, довольно слабый и отдаленный. Эта продолжительная передышка доказывала, что правительство собирается с силами. Пятьдесят человек бунтовщиков на улице Шанврери поджидали шестьдесят тысяч.

Анжолрас отправился к Гаврошу. Бунтовщики позаботились, чтобы на верхнем этаже и мансарде потушили свет.

Гаврош оказался сильно озабоченным. Тот незнакомец, который пристал к бунтовщикам в улице Бильет, только что вошел в нижнее помещение кабака и сел за стол, стоявший в тени. Ему досталось ружье большого калибра, которое он теперь, сидя на стуле, держал между колен. Гаврош, до этой минуты развлекавшийся столькими «забавными» делами, не успел заметить этого человека на баррикаде. Но когда доброволец вошел в кабак, Гаврош машинально следил за ним глазами, любуясь его ружьем, потом вдруг, когда незнакомец сел, мальчик

вскочил со своего места. Всякий, кто наблюдал бы за этим человеком с самого момента его появления у баррикады, мог бы заметить, что он с каким-то особенным вниманием рассматривает как самих бунтовщиков, так и то, что они делают. Теперь же, войдя в кабак, он как бы сосредоточился в самом себе и точно ничего не видел из происходившего вокруг него. Гаврош подошел к задумчивому незнакомцу и стал вертеться возле него на цыпочках, как ходят вокруг человека, которого боятся разбудить. При этом на его детском лице, одновременно наглом и серьезном, легкомысленном и глубоком, веселом и скорбном, замелькали все гримасы, свойственные лицу старому и выражающие мысли вроде следующих: «Ба!.. Не может быть!.. Это мне, наверное, только так кажется… чудится… А может быть?.. Да нет, это невозможно!.. А вдруг это так?.. Нет, нет, вздор!» Гаврош раскачивался на пятках, сжимал засунутые в карман кулаки, крутил головой, как птица, и выражал оттопыренною нижней губою всю свою прозорливость. Он был озадачен,

поражен, не уверен, ослеплен. Он имел вид начальника евнухов на невольничьем рынке, вдруг открывшего Венеру среди неуклюжих толстух, или вид знатока, заметившего в куче мазни кисть Рафаэля. В нем одновременно работали и вынюхивающий инстинкт, и сопоставляющий ум.

Очевидно, Гаврош натолкнулся на важное открытие.

В ту самую минуту, когда возбуждение Гавроша достигло высшей степени, его окликнул Анжолрас:

— Гаврош, ты малыш и тебя не увидят. Выйди из баррикады, прошмыгни вдоль домов, поболтайся по улицам, потом вернись и расскажи мне все, что увидишь и услышишь.

Гаврош выпрямился.

— А, — сказал он, — значит, и малыши на что-нибудь да годятся? Это очень приятно!.. Хорошо, я пойду. А пока вы доверяетесь малышам, остерегайтесь взрослых… — И,

подняв голову, Гаврош украдкой указал на незнакомца и шепотом прибавил: — Видите вы этого человека?

— Ну?

— Это — шпион.

— Ты уверен в этом?

— Недели две тому назад этот самый человек стащил меня за ухо с карниза Королевского моста, где я сел подышать воздухом.

Анжолрас с живостью отошел от гамена и шепнул несколько слов портовому рабочему. Тот вышел из залы и через несколько минут вернулся с тремя товарищами. Эти четыре широкоплечих носильщика незаметно встали позади стола, на который облокотился человек из улицы Бильет, очевидно, готовые броситься на него по первому знаку Анжолраса.

Последний подошел к незнакомцу и спросил его:

— Кто вы такой?

При этом неожиданном вопросе незнакомец встрепенулся. Взглянув своими проницательными глазами в самую глубь кротких глаз Анжолраса, он, вероятно, прочел в них его мысль. Улыбнувшись затем презрительной и выразительной улыбкой, он с высокомерной важностью сказал:

— Я угадываю, что это значит… Да, это так!

— Вы — шпион?

— Я — агент власти.

— Ваше имя?

— Жавер.

Анжолрас сделал знак четырем носильщикам, и, прежде чем Жавер успел обернуться, его схватили, свалили, связали и обыскали. У него нашли маленькую круглую карточку, вставленную между двух стекол, на одной стороне которой был изображен герб Франции с надписью: «Бдительность и неусыпность», а на другой — следующее свидетельство: «Жавер, инспектор полиции, пятидесяти двух лет», внизу

была подпись тогдашнего префекта полиции Жиске. Кроме того, при нем были часы и кошелек с несколькими золотыми монетами. Эти вещи оставили у него. За часами на дне кармана нащупали бумагу в конверте и вытащили ее.

Анжолрас развернул бумагу и прочел следующие пять строк, написанные собственноручно префектом полиции:

«По исполнении данной ему политической миссии инспектор Жавер должен удостовериться специальным наблюдением, верно ли то, что злоумышленники скрываются на правом берегу Сены, близ Иенского моста».

Окончив обыск, рабочие подняли Жавера на ноги, скрутили ему руки за спиной и привязали посредине залы к тому самому знаменитому столбу, который когда-то дал свое название кабаку.

Гаврош, молча наблюдавший, за всей этой сценой и иногда одобрительно кивавший головой, подошел к Жаверу и сказал ему:

— На этот раз мышь поймала кота!

Все совершилось так быстро, что остальные восставшие, находившиеся в кабаке, заметили это только тогда, когда все уже было кончено. Жавер не оказал никакого сопротивления. Узнав, что Жавер привязан к столбу, Курфейрак, Боссюэт, Жоли, Комбферр и их товарищи, рассеянные по обеим баррикадам, поспешили в залу.

Сыщик, прислоненный спиной к столбу и так крепко скрученный веревками, что не мог пошевельнуться, держал голову с невозмутимым спокойствием человека, никогда не лгавшего.

— Это шпион, — оказал Анжолрас и, обернувшись к Жаверу, добавил. — Вы будете расстреляны за десять минут до взятия баррикады.

— Почему же не сейчас? — спокойно спросил сыщик.

— Потому что мы бережем порох.

— Так покончите со мной ножом.

— Шпион, — произнес Анжолрас, — мы судьи, а не убийцы! — Потом, подозвав Гавроша, он сказал ему: — Так ты ступай по своему делу и помни, что я говорил.

— Иду! — крикнул Гаврош, но вдруг на полпути к двери остановился и сказал: — Кстати, дайте мне его ружье. Музыканта я оставляю вам, а кларнет беру себе.

Гамен отдал по-военному честь и весело отправился исполнять данное ему поручение.

Глава 284

Трагическая картина, которую мы взялись нарисовать, была бы неполна, и читатель не имел бы возможности наблюдать все перипетии социального брожения и происхождения революции со всеми их потугами и судорогами, если бы мы пропустили в этом очерке полный эпического ужаса инцидент, совершившийся почти немедленно после ухода Гавроша.

Сборища людей, как известно, все равно что комок снега, все увеличивающийся в своем движении. Люди, собирающиеся при каком-нибудь общественном событии, не спрашивают друг друга, откуда они. В числе прохожих, примкнувших к толпе, предводительствуемой Анжолрасом, Комбферром и Курфейраком, была одна личность в поношенной куртке чернорабочего, кричавшая и жестикулировавшая с видом буйного пьяницы. Этот человек, носивший прозвище Кабюк, в сущности совсем неизвестный даже тем, которые уверяли, что знают его, в эту минуту сильно пьяный или же притворявшийся пьяным, примостился с некоторыми другими к столу, вытащенному из кабака на улицу. Подпаивая своих собеседников, Кабюк в раздумье разглядывал большой дом в глубине баррикады. Дом этот был пятиэтажный и господствовал над всей улицей Шанврери, возвышаясь как раз напротив улицы Сен-Дени. Вдруг Кабюк воскликнул:

— Товарищи! Знаете что, из этого вот дома хорошо бы стрелять. Если бы мы засели там у

окон, то посмотрел бы я на того черта, который осмелился бы сунуть нос на эту улицу!

— Да, это правда, но ведь дом заперт, — сказал один из собутыльников.

— Так что ж — постучимся!

— А если не отопрут?

— Высадим ворота!

Кабюк подходит к воротам, снабженным массивным молотком, и стучит — ворота не отпираются. Он стучит во второй раз — никто не отвечает. Стучит в третий раз — то же безмолвие.

— Есть там кто или нет?! — кричит Кабюк. В доме и на дворе мертвая тишина.

Тогда Кабюк хватает ружье и начинает колотить в ворота прикладом. Ворота были старинные, сводчатые, из крепкого дуба, низкие и узкие, подбитые с внутренней стороны толем и железом, вообще это были настоящие крепостные ворота. Удары ружейным прикладом сотрясали весь дом, но ворота не поддавались.

Однако обитатели дома, очевидно, все-таки обеспокоились, потому что в маленьком слуховом окошке третьего этажа вдруг появился свет.

Окошко это открылось, и в нем показалась сначала свеча, потом — испуганное и растерянное лицо седоволосого старика-привратника. Кабюк перестал стучать.

— Что вам угодно, господа? — спросил привратник.

— Отвори! — крикнул Кабюк.

— Господа, этого нельзя.

— Говорят тебе, — отворяй!

— Не могу, господа!

Кабюк взял ружье и прицелился в старика, а так как Кабюк находился внизу и на дворе было очень темно, то привратник не мог его видеть.

— Отопрешь ты или нет? — продолжал Кабюк.

— Нет, господа.

— Ты говоришь — нет!

— Но, добрые господа…

Привратник не договорил. Грянул выстрел, пуля прошла у старика под подбородком и вышла через затылок, пробив горло. Старик умер, не испустив даже вздоха. Свеча упала и погасла; ничего не было видно, кроме застывшей в неподвижности на подоконнике белой головы и легкого белесоватого облачка порохового дыма, поднимавшегося вверх.

— Вот и все! — произнес Кабюк, опуская на землю приклад своего ружья.

Едва он успел проговорить эти слова, как почувствовал чью-то руку, опустившуюся на его плечо с тяжестью орлиной лапы, и чей-то повелительный голос проговорил над его ухом:

— На колени!

Убийца обернулся и увидел перед собой бледное и холодное лицо Анжолраса, который стоял с пистолетом в руке.

Анжолрас был привлечен звуком выстрела. Вцепившись левой рукой в ворот блузы Кабюка,

он проговорил:

— На колени!

И тщедушный на вид молодой двадцатилетний юноша с силой пригнул к земле, как былинку, коренастого, здорового Кабюка и поставил его на колени прямо в грязь. Кабюк попробовал было сопротивляться, но тщетно, схватившая и державшая его рука, казалось, обладала сверхъестественной силой.

Бледный, с обнаженной шеей и развевающимися волосами Анжолрас своим нежным женственным лицом напоминал в эту минуту античную Фемиду. Раздувшиеся ноздри и опущенные глаза придавали его строгому греческому профилю то выражение гнева и целомудрия, какое древние придавали олицетворению правосудия.

Сбежались все защитники баррикады и разместились в стороне полукругом. Они чувствовали невозможность возразить что-либо против того, что, как они понимали, должно было сейчас совершиться.

Побежденный Кабюк уже не отбивался и только дрожал всем телом. Анжолрас выпустил его и вынул часы.

— Соберись с духом, — сказал он. — Я даю тебе одну минуту на молитву или размышление.

— Пощадите! — прошептал было убийца; потом, потупив голову, он пробормотал несколько бессвязных проклятий.

Анжолрас не спускал глаз с часов. По прошествии минуты он положил часы назад в карман, схватил за волосы Кабюка, который с воем прижимался к его коленям, и приставил к его уху дуло пистолета. Многие из присутствовавших, так неустрашимо и спокойно бросавшихся в одно из самых рискованных предприятий, отвернулись. Раздался выстрел, Кабюк тотчас же повалился на землю навзничь. Анжолрас выпрямился и обвел всех своим строгим и убежденным взглядом. Потом он толкнул ногой труп и сказал:

— Выкиньте это вон!

Трое из окружавших его подняли труп негодяя, еще трепетавший в последних судорогах отлетающей жизни, и перебросили его через малую баррикаду на улицу Мондетур. Анжолрас стоял, очевидно, погруженный в свои думы. Его грозная ясность точно окутывалась какою-то мрачною пеленою.

Несколько минут он простоял неподвижно, как мраморное изваяние, на том месте, где только что пролил кровь.

Заметим, кстати, что впоследствии, когда все было кончено и тела убитых были снесены в морг и там обысканы, у убитого Кабюка нашли карточку полицейского агента. Автор этой книги видел в 1848 году специальное донесение по этому предмету префекту полиции, написанное в 1832 году. Добавим, что по странному, но, вероятно, имеющему под собой основание полицейскому преданию, Кабюк был не кто иной, как Клаксу. Дело в том, что со времени смерти Кабюка Клаксу более нигде не появлялся. Он исчез бесследно, точно слился с невидимым.

Жизнь его шла в потемках, а смерть — покрыта мраком ночи.

Не успела еще группа повстанцев успокоиться после трагической развязки, так быстро совершившейся, как Курфейрак увидел снова на баррикаде того молодого человека, который утром спрашивал Мариуса у него на квартире.

Этот смелый и беспечный на вид юноша с наступлением ночи вернулся к мятежникам.

Глава 285

Голос, сквозь потемки звавший Мариуса на баррикаду улицы Шанврери, показался ему голосом самой судьбы.

Он желал умереть, и вот ему представлялся прекрасный случай расстаться с жизнью. Он постучал во врата смерти, и чья-то рука во мраке протягивала ему ключ от них. Мрачные двери, иногда открывающиеся перед отчаивающимися, всегда очень соблазнительны.

Мариус раздвинул решетку, через которую он столько раз проникал в сад Козетты, вышел на улицу и сказал сам себе: «Идем!»

Обезумев от горя, не чувствуя более ничего твердого и устойчивого в своем мозгу, неспособный мириться с тем, что могла предоставить ему судьба после двух месяцев, проведенных в упоении молодости и любви, изнемогая под тяжестью разочарования и отчаяния, он желал только одного: скорее покончить со своим существованием.

Он быстро пошел по улицам. Пистолеты Жавера, которые он захватил с собой, теперь были очень кстати. Юноша, промелькнувший перед ним, скрылся в лабиринте улиц. Выйдя из улицы Плюмэ тем концом, который примыкал к бульвару, Мариус перешел через площадь и мост Инвалидов, через Елисейские поля и площадь Людовика XV и достиг улицы Риволи. Там все лавки были отперты, под аркадами пылал газ, везде шла бойкая торговля, в кафе Летэ ели мороженое, в английской кондитерской

наслаждались пирожным. Необычным являлось только то, что из отелей Де-Прэнс и Мерис выехало вскачь несколько почтовых карет.

Мариус прошел через пассаж Делорм на улицу Сент-Оноре. На этой улице все торговые помещения были заперты, но их владельцы переговаривались через полуоткрытые двери, прохожие сновали взад и вперед, фонари были зажжены, и все окна домов, начиная со вторых этажей, были освещены, как всегда. Однако по мере того как Мариус подвигался вперед по улице Сент-Оноре и все дальше удалялся от Пале-Рояля, картина становилась более и более унылою: освещенных окон становилось меньше, лавки оказывались запертыми, на порогах не переговаривались, улица делалась все темнее, но зато и многолюднее. Прохожие собирались в одну громадную толпу, издававшую глухое, смутное гудение, отдельных голосов в ней не было слышно. Близ фонтана «Сухое дерево» было несколько «сборищ», то есть неподвижных и зловещих групп, составлявших среди

движущейся толпы нечто вроде утесов посреди шумного потока.

У входа на улицу Прувер толпа уже не двигалась: здесь она уже представляла своего рода массивную, твердую, непоколебимую, устойчивую и почти непроницаемую запруду из тесно скучившихся и тихо переговаривавшихся людей. В этой толпе почти не было черных сюртуков и круглых шляп, вместо них были блузы, балахоны, фуражки и непокрытые, лохматые и грязные головы. Говор этой смутно колыхавшейся в ночной мгле толпы походил на шум приближающейся грозы. Хотя вся эта масса не двигалась, слышалось шлепанье по грязи, точно все шли. За линией густой толпы на продолжении улицы Сент-Онорэ, на улицах Руль и Прувер ни в одном окне не было видно даже зажженной свечи. Улицы пронизывались только светом длинных, сливавшихся вдали линий фонарей. Фонари того времени походили на большие красные звезды, подвешенные на веревках, и бросали на мостовую тень в виде громадных пауков. Но эти улицы не были

пустынными. В них виднелись пирамиды ружей, движущиеся штыки и расположившиеся на бивуаке войска. Любопытствующие зеваки не переходили за ту черту, где прекращалось движение, кончалась область толпы и начиналась территория армии.

Мариус поддался желанию умереть со страстностью человека, утратившего всякую надежду. Его позвали на баррикаду, и он поспешил на этот зов. Он нашел способ пробраться сквозь плотную толпу, проскользнуть мимо бивуаков войск, укрыться от патрулей, обойти часовых и сделал большой крюк, чтобы добраться до улицы Бетизи, откуда направился к Рынку. На углу улицы Бурдоннэ фонари уже не горели. Миновав толпу и линию войск, молодой человек очутился точно в глухой пустыне. Кругом не было ни одного прохожего, ни одного солдата, ни одной живой души, не виднелось никакого света, ничего, кроме пустоты, безмолвия, мрака и какого-то пронизывающего холода. Войти на одну из этих улиц было то же самое, что войти в темный погреб.

Тем не менее Мариус продолжал подвигаться вперед.

Когда он прошел несколько шагов по этой пустыне, мимо него что-то пронеслось. Был ли то мужчина, была ли то женщина или, быть может, пробежала группа людей, — он не смог определить. Он только и заметил, как что-то промелькнуло мимо него и скрылось в окружающей темноте.

Окольными путями он наконец дошел до переулка, который счел за улицу Попери. Посредине этого переулка он наткнулся на какое-то препятствие. Протянув руки вперед, он убедился, что перед ним опрокинутая повозка. Под ногами он ощущал лужи жидкой грязи, рытвины, выломанный и разбросанный в беспорядке булыжник. Очевидно, тут была начатая, но не доконченная баррикада. Перескочив через груды булыжника, Мариус очутился по ту сторону вала и стал пробираться между уличными тумбами и стенами домов.

В некотором расстоянии от баррикады ему показалось, что он видит что-то белое. Когда он приблизился к этому предмету, тот принял определенные очертания, по которым можно было признать лошадей. Это были те самые лошади, которых Боссюэт утром выпряг из остановленного им омнибуса. Пробродив весь день по улицам, они наконец остановились в этом месте с тупым терпением животных, так же мало понимающих поступки человека, как человек — пути Провидения.

Мариус прошел мимо лошадей.

Когда он входил на улицу, показавшуюся ему улицей Общественного договора, близ него просвистела бог весть откуда взявшаяся шальная нуля и ударилась в медный таз для бритья, висевший над дверью цирюльни. Еще в 1846 году можно было видеть этот пробитый пулей таз.

Только этот ружейный выстрел и свидетельствовал о жизни. После же него Мариус уже не встретил более никаких ее признаков. Путь его теперь представлялся чем-то вроде

спуска по темным ступеням. Но молодой человек все-таки продолжал идти вперед.

Глава 286

Если бы в описываемую нами минуту над Парижем летало существо, наделенное крыльями летучей мыши или совы, то оно увидело бы под собой очень унылую картину.

Весь старый квартал Рынка, образующий как бы город в городе, пересекаемый улицами Сен-Дени и Сен-Мартен, покрытый запутанной сетью множества переулков и превращенный бунтовщиками в редут и склад оружия, представлялся бы этому существу в виде громадной мрачной ямы, вырытой в самом центре Парижа. В этом месте взор как бы погружался в бездну. Из-за разбитых фонарей и закрытых наглухо окон там отсутствовал всякий свет, всякая жизнь, всякий шум, всякое движение. В домах царили страх, печаль и уныние, а на улицах царило нечто вроде ужаса. Мрак был так густ, что в нем нельзя было отличить ни длинных

рядов этажей и окон, ни кружевного узора кровель и дымовых труб, не было видно и отблесков мокрой и грязной мостовой. Взгляд, устремленный сверху в этот мрак, быть может, приметил бы там и сям неясные мелькающие огни, в которых выступали какие-то странные, ломаные линии, очертания каких-то необыкновенных сооружений, нечто вроде мелькающих по развалинам светящихся точек: это были баррикады. Остальное представляло туманное, подавляющее своим зловещим видом озеро мрака, над которым неподвижными грозными силуэтами высилось несколько тех больших зданий, как, например, башня Сен-Жак и церковь Сен-Мерри, которые человеку кажутся исполинами, когда ночь превращает их в призраки. Вокруг этого пустынного и наводящего страх лабиринта, в кварталах, где обычное городское движение не было прекращено и где виднелись редкие фонари, воздушный наблюдатель мог бы отличить сверкание стальных штыков и сабель, глухой гул передвигавшейся артиллерии и молчаливое

движение батальонов, возраставшее с каждой минутой. Это был грозный пояс войск, тихо стягивавшихся вокруг мятежников.

Квартал, занятый мятежниками, представлял собою род чудовищной пещеры. В нем все казалось уснувшим и неподвижным, и, как мы уже видели, каждая улица этого квартала представляла взору один мрак — мрак страшный, наполненный западнями, невидимыми и неизвестными опасностями, куда страшно проникать и где не менее страшно находиться. Входившие туда трепетали перед теми, которые их ожидали, а ожидавшие — перед теми, которые шли к ним. За каждым углом улиц чуялись засевшие там незримые бойцы, под покровом ночи чувствовались козни смерти. Все было кончено. Теперь не было никакой надежды на другой свет, кроме молниеносного света выстрелов, нельзя было ожидать другой встречи, кроме встречи со смертью. Где, как и когда — этого никто не знал. Знали только, что встреча с нею неизбежна. Здесь в этом месте, намеченном для борьбы, должны были сойтись в потемках, на

ощупь, национальная гвардия и мятежники. Необходимость была одинакова как для тех, так и для других. Из этого места можно было выйти только победителем или быть вынесенным мертвым — другого выхода быть не могло. Впрочем, с обеих сторон веяло одинаковой яростью, ожесточением и решительностью. Для одних идти вперед значило умереть, и никто не думал о том, чтобы отступать, для других остаться значило умереть, и из них тоже никто не думал о том, чтобы бежать.

Необходимость требовала, чтобы завтра все было кончено, чтобы победа была на той или другой стороне. Отсюда к непроницаемому мраку этого квартала, в котором все должно было решиться, примешивалось веяние смертельной тревоги, и в безмолвии, готовом разразиться катастрофой, чувствовался трепет ужаса.

В этом месте слышался только один звук, но звук глухой, как предсмертное хрипение, грозный, как проклятье, — набатный звон с колокольни церкви Сен-Мерри. Ничто не могло

более леденить кровь, как разносившиеся в темноте, полные отчаяния, призывные вопли этого колокола.

Как это часто бывает, казалось, что и сама природа настроилась на один лад с людьми. Ничто не нарушало зловещей гармонии этого целого. Звезды скрылись, тяжелые облака заволакивали весь горизонт своими темными складками. Черное небо расстилалось над этими мертвыми улицами, точно необъятный саван над исполинской могилой.

Глава 287

Мариус дошел до Рынка. Там было еще безмолвнее, мрачнее и неподвижнее, чем на соседних улицах. Можно бы сказать, что ледяное спокойствие могилы поднялось с земли и распространилось под небом. Только какой-то красноватый отблеск вырезал на этом черном фоне высокие кровли домов, заграждавших улицу Шанврери со стороны улицы Святого Евстафия.

Это был отблеск факела, горевшего на баррикаде «Коринф».

Мариус направился к этому свету, и он привел его к Свекловичному Рынку, откуда молодой человек мог видеть темное устье улицы Прешер.

Мариус вошел на эту улицу. Часовые революционного отряда, стоявшие на другом конце улицы, не заметили юношу.

Он чувствовал близость того, что искал, и пробирался на цыпочках. Таким образом он незаметно достиг поворота того короткого конца переулка Мондетур, который, как известно, был для баррикады единственным путем сообщения с внешним миром.

На углу последнего дома Мариус высунул голову заглянул на улицу Мондетур.

Несколько подальше от темного угла, образуемого переулком и улицей Шанврери и отбрасывавшего длинную полосу тени, захватывавшую его самого, Мариус увидел легкое отражение света на мостовой, часть

кабака, горящую мигающим огоньком плошку, стоявшую на чем-то вроде безобразно сложенной стены, и группу прикорнувших людей с ружьями на коленях.

Вся эта картина развертывалась в нескольких десятках шагах от него. Это была внутренняя сторона баррикады. Дома, окаймлявшие переулок с правой стороны, скрывали от молодого человека остальную часть кабака, большую баррикаду и знамя.

Мариусу оставалось сделать только один шаг. Несчастный юноша сел на тумбу, скрестил на груди руки и стал думать о своем отце.

Он думал о героическом полковнике Понмерси, бывшем таким гордым воином, который при Республике охранял границу Франции, при императоре Наполеоне доходил до границ Азии, видел Геную, Александрию, Милан, Турин, Мадрид, Вену, Дрезден, Берлин и Москву, проливал на всех бранных полях Европы капли той самой крови, которая текла в жилах самого Мариуса, который поседел раньше времени в

строю и в военных трудах, который прожил весь свой век на вытяжке, в наглухо застегнутом мундире, со спускающимися с плеч густыми эполетами, с почерневшей от пороха кокардой, в сжимающей голову каске, в поле, в бараке, на бивуаке, в лазаретах и который по прошествии двадцати лет вернулся с великих войн с рассеченной щекой, с улыбающимся лицом, простой, спокойный, ясный, чистый, как ребенок, сделав для Франции все, что мог, и ничего против нее.

Мариус говорил себе, что теперь настал и его день, пробил наконец и его час, когда и он, по примеру отца, будет храбр, смел, неустрашим, бросится навстречу пулям, подставит грудь штыкам, прольет свою кровь, будет искать врага, искать смерти, что и он в свою очередь будет воевать, будет на поле брани, что это поле — улица, а эта война, в которую он так рвется, — война гражданская! Он увидел перед собой разверзшуюся пропасть гражданской войны и понял, что ему суждено попасть в нее. И он содрогнулся.

Ему вспомнилась отцовская шпага, которую его дед продал старьевщику и о которой он так сильно горевал. Он вспомнил о ней и подумал, как хорошо сделала эта храбрая и чистая шпага, что ушла от него и скрылась с негодованием во мраке, что если шпага бежала таким образом, то, значит, она была одарена разумом и предвидела будущее, предчувствовала восстание, войну на мостовой, в уличных стоках, стрельбу из слуховых окон подвалов, удары, наносимые с тыла и получаемые сзади, это значило, что, побывав на полях Маренго и Фридланда, она не захотела идти на улицу Шанврери, что, будучи помощницей отцу в великих делах, она не желала помогать сыну в делах мелких. И он понял, что если бы эта шпага была у него сейчас, и он, получив ее у изголовья смертного одра отца и дерзнув принести ее сюда для этой ночной битвы французов с французами, на уличном перекрестке, то она, без всякого сомнения, обожгла бы ему руки и запылала бы перед ним, как меч ангела. Молодой человек говорил себе, что он очень счастлив, что шпага исчезла, что это

было хорошо, справедливо, что дед был настоящим сберегателем чести и хранителем славы его отца, что для шпаги полковника Понмерси было несравненно лучше быть проданной с аукциона, попасть в руки старьевщика и затеряться у него среди разного железного хлама, чем подняться против отчизны.

И Мариус горько заплакал. Все это было ужасно. Но что же ему делать? Жить без Козетты он не может. Раз она уехала, он должен умереть. Не дал ли он ей честного слова, что умрет? Она уехала, зная, что он умрет от этого, следовательно, ей хотелось, чтобы он умер. Да и вообще было ясно, что она больше его не любит. Не могла же она уехать, не известив его, не предупредив ни одним словом, не написав ни малейшей записки? Ведь она знала его адрес! Для чего же еще жить теперь?

И потом, не за тем же он пришел сюда, в это страшное место, чтобы бежать назад! Приблизиться к опасности и потом бежать! Прийти, взглянуть на баррикаду и бежать!

Бежать, дрожа от страха и думая про себя: «Будет с меня! Довольно и того, что заглянул сюда». Неужели в самом деле он покинет друзей, которые, быть может, имеют в нем нужду? Да, наверное, имеют. Неужели он изменит всему сразу? Любви, дружбе, своему слову? Нет, это невозможно! Ведь если бы в окружающей его мгле скрывался призрак отца, то, увидев, что его сын убегает, старый герой, наверное, ударил бы его своей шпагой плашмя и крикнул бы ему: «Да иди же, трус!»

Терзаемый противоречивыми мыслями, молодой человек беспомощно опустил голову на грудь. Но он скоро вновь поднял ее под влиянием новой мысли. Да! Но на каком основании отнимать честь у шпаги Камилла Дюмулена и оставлять ее за иноземным оружием Вашингтона? Монархия — ведь это же не лучше иноземного вторжения, гнет и тирания, ведь это же для народа хуже иностранного войска, божественные права и привилегии сословий, ведь это же иностранное вторжение гораздо худшее, чем всякое другое. Деспотизм угнетает и рвет

гражданские и моральные границы, в то время как иностранное нашествие рвет только границы географические.

Уличная война, в силу какой-то внутренней работы, вдруг преобразилась перед его умственным взором. Только что мучившие его назойливые вопросы и тревожные мысли вновь нахлынули на него толпой, но они теперь уже не смущали его, и он находил на все эти вопросы утвердительные ответы.

Нет человека, который, наблюдая себя самого, со стороны не смог бы заметить, что душа — ив этом чудо ее единства, сопряженного с вездесущностью, — имеет странное, свойство разбираться почти спокойно при самых крайних обстоятельствах, и нередко случается, что доведенная до высшей точки кипения страсть и глубочайшее отчаяние совершенно неожиданно решают самые запутанные вопросы. Логика пробивается сквозь судороги страсти, нить силлогизмов беспрерывно тянется сквозь вихрь

взбудораженной мысли. Таково и было душевное состояние Мариуса.

Размышляя таким образом, удрученный, но полный решимости, колеблясь и содрогаясь перед тем, что готовился делать, Мариус обводил блуждающим взглядом внутреннюю сторону баррикады.

Сидя там, революционеры тихо разговаривали между собой. Вокруг чувствовалась та обманчивая тишина, которая отличает последнюю фазу ожидания.

Над этими людьми в окне третьего этажа Мариус заметил какого-то зрителя или наблюдателя, показавшегося ему чересчур внимательным. Это был привратник, убитый Кабюком. Снизу при колеблющемся свете воткнутого в камни мостовой факела смутно виднелась опрокинутая на подоконник голова. Трудно представить себе что-нибудь фантастичнее этого неподвижного, бледного, удивленного лица, с растрепанными волосами, полуоткрытыми неподвижными глазами и

раскрытым ртом, наклонившегося над улицей, точно из любопытства, и слабо освещенного тусклым мерцающим пламенем факела. Можно было подумать, что мертвый наблюдает за теми, которые готовились умереть. Длинная струя крови, вытекавшая из этой головы, спускалась красными нитями от окна до карниза первого этажа и застывала там.

Глава 288

Никто еще не показывался. На колокольне Сен-Мерри пробило десять часов. Анжолрас и Комбферр, с карабинами в руках, находились возле лазейки большой баррикады. Они сидели молча, внимательно прислушиваясь к раздававшемуся в отдалении глухому шуму шагов. Вдруг среди унылой тишины зазвучал молодой, свежий, веселый голос, доносившийся как будто с улицы Сен-Дени и распевавший какие-то стишки на мотив старой народной песни «Au clair de la lune».

Друг Бюго, не спишь ли?

Я от слез опух.

Ты жандармов вышли

Поддержать мой дух.

В голубой шинели,

Кивер набоку.

Пули засвистели!

Ку-кукареку!

Анжолрас и Комбферр сжали друг другу руки.

— Это Гаврош, — шепнул первый.

— Это он предупреждает нас, — добавил второй.

Чьи-то поспешные шаги нарушили безмолвие пустынной улицы. Вслед за тем появилась маленькая фигурка, с быстротой и ловкостью лучшего клоуна перебиравшаяся через опрокинутый омнибус. Это действительно был Гаврош. Весь запыхавшийся, он очутился на внутренней стороне баррикады и крикнул:

— Дайте мне ружье! Идут!

Стоявшие у баррикады мгновенно встрепенулись. Послышался шорох рук, хватавшихся за оружие.

— Хочешь мой карабин? — предложил Анжолрас гамену. — Он полегче.

— Я хочу большое ружье, — сказал Гаврош и взял ружье Жавера.

Почти одновременно с Гаврошем явились двое часовых, стоявших в конце улицы Шанврери и на улице Петит-Трюандери. Часовой на улице Прешер не возвращался, оставшись на своем посту. Это доказывало, что со стороны моста и Рынка пока никакой опасности не угрожало.

Улица Шанврери, на которой едва можно было различить несколько камней мостовой, и то только благодаря отражению освещенного знамени, представляла бунтовщикам вид темных зияющих ворот.

Все заняли боевую позицию. Сорок три революционера, в том числе Анжолрас, Комбферр, Курфейрак, Боссюэт, Жоли, Багорель

и Гаврош, стояли на коленях на большой баррикаде, держа головы на уровне с гребнем этого сооружения и положив стволы ружей и карабинов на камни, служившие им бойницами. Они стояли молча в напряженном ожидании, готовые стрелять. Шестеро под командой Фейи, с ружьями наготове, поместились у окон обоих этажей «Коринфа».

Через несколько минут со стороны Сен-Луи донесся мерный шум тяжелых шагов.

Шум этот, сначала слабый, потом постепенно усиливавшийся, приближался безостановочно, неуклонно, со спокойной, строгой размеренностью. Кроме этих твердых шагов, более ничего не было слышно. Это были грузные, зловещие шаги статуи Командора, но не одной, а множества статуй. Казалось, надвигается целый легион мраморных призраков. Шум все приближался, но вдруг затих. С конца улицы точно доносилось мощное дыхание целой толпы. Но этой толпы не было видно, только в самой глубине улицы густая тьма прорезывалась как бы

множеством металлических нитей, тонких, как иглы, и едва заметных. Нити эти двигались, напоминая те неуловимые фосфорические, перепутанные в сети линии, которые мелькают у нас перед закрытыми глазами в тот момент, когда мы засыпаем и нас охватывает первый туман сна. Этими нитями были — стволы ружей и штыки, смутно озаренные колеблющимся светом факела, еще отдаленного от них.

Снова ненадолго водворилось безмолвие. Очевидно, обе стороны чего-то выжидали. Вдруг из глубины тьмы раздался голос, тем более зловещий, что обладателя его не было видно.

— Кто там? — прозвучал грозный оклик.

В то же время послышался лязг опускаемых ружей.

— Французская революция! — звучным, возбужденным голосом ответил Анжолрас.

— Пли! — крикнул первый голос.

Фасады всех домов улицы мгновенно озарились промелькнувшей пурпуровой молнией,

точно вдруг разверзлась и тут же снова захлопнулась заслонка пылающего горнила. Страшный треск сильного ружейного залпа пронесся над баррикадой. Красное знамя упало. Залп был так силен, что им как ударом острого топора отрезало самый конец дышла омнибуса. Пули, отскочившие от карнизов домов, попали в баррикаду и ранили несколько человек.

Действие этого первого залпа было ужасающее. Атака была такая серьезная, что заставила задуматься даже самых смелых из защитников баррикады. Очевидно, там во мраке стоял целый полк.

— Товарищи! — крикнул Курфейрак. — Подождем понапрасну тратить порох.

— Но прежде всего нужно опять водрузить знамя, — сказал Анжолрас.

Он нагнулся и поднял знамя, которое упало к его ногам. С конца улицы доносился стук шомполов о ружейные дула. Войска спешили заряжать ружья,

— Друзья! — снова послышался голос Анжолраса. — Кто из вас чувствует в себе достаточно храбрости и не побоится поставить наше знамя на прежнее место?

Никто не отвечал. Взобраться на гребень баррикады в ту минуту, когда в него прицеливался, быть может, целый полк, значило идти на верную смерть. Даже Анжолрас и тот испытывал невольный трепет.

Он повторил свой вопрос, но опять никто из присутствовавших не решился отозваться на него, зато произошло нечто неожиданное.

Глава 289

С той минуты, как бунтовщики пришли в «Коринф» и начали воздвигать баррикаду, никто более не обращал внимания на старика Мабефа, который, однако, не уходил. Он вошел в нижнюю залу кабака и уселся там перед конторкой. Весь уйдя в себя, он ничего не видел и не слышал. Курфейрак и другие несколько раз подходили к

нему и предупреждали об опасности, уговаривая его уйти, пока не поздно, но он даже не взглянул на них, словно не слышал. Когда его оставляли в покое, губы его шевелились, точно он говорил с кем-то, но, как только с ним действительно заговаривали, уста его смыкались и глаза потухали. За несколько часов до атаки баррикады он принял позу, которой уже не изменял до конца. Упершись сжатыми кулаками в колени, он с вытянутой вперед головой словно заглядывал в какую-то пропасть. Ничто не могло заставить его переменить это положение. Казалось, тут присутствовало только неподвижное тело, а дух витал далеко от баррикады.

Когда все отправились занимать позиции на баррикаде, в нижней зале не осталось никого, кроме привязанного к столбу Жавера, сторожившего его с саблей наголо революционера и Мабефа.

В момент атаки старик как будто очнулся под влиянием сильного физического потрясения, вызванного ружейным залпом. Он быстро

вскочил, прошел по всей зале и в ту минуту, когда Анжолрас повторил свой вопрос относительно знамени, показался на пороге кабака.

Его появление расшевелило группы революционеров. Раздались возгласы:

— Это тот, кто голосовал за казнь короля! Член Конвента! Представитель народа!

Весьма вероятно, что старик ничего этого точно так же не слышал, как не слышал того, что говорилось ему в кабаке. Он направился прямо к Анжолрасу мимо расступившихся перед ним с каким-то благоговейным страхом повстанцев и вырвал из рук ошеломленного Анжолраса знамя, потом, пользуясь тем, что никто не осмелился ни остановить его, ни помочь ему, этот дряхлый восьмидесятилетний старец с трясущейся головой, хотя и медленными, но твердыми шагами стал взбираться на баррикаду по камням, расположенным в виде ступеней лестницы.

Когда Мабеф добрался до верхней ступени, когда этот дрожащий и ужасный призрак предстал на груде обломков перед дулами тысячи

ружей и, вытянувшись во весь рост, бросил вызов смерти, словно он был сильнее ее, — вся баррикада показалась увенчанной во мраке какой-то колоссальной, сверхъестественной фигурой.

Наступило безмолвие, обыкновенно сопровождающее все, что принадлежит к области чудесного. Среди этого мертвого затишья старик, потрясая красным знаменем, воскликнул:

— Да здравствует Республика и… смерть!

Откуда-то вблизи баррикады несся быстрый торопливый глухой говор. Вероятно, полицейский комиссар делал кому-нибудь законные внушения на другом конце улицы. Затем тот же звучный голос, который давеча спрашивал: «Кто там?» — крикнул Мабефу:

— Уходите!

Но бледный и изможденный старик, с глазами, сверкающими огнем исступления, громко повторил:

— Да здравствует Республика!

— Пли! — скомандовал тот же голос.

Второй залп, подобный граду картечи, снова грянул над баррикадой.

Старик упал на колени, потом приподнялся, выронил знамя и, как сноп, рухнул навзничь на мостовую, где и остался неподвижным, вытянувшись во весь рост с раскинутыми крестообразно руками. Из-под него тотчас же заструились ручейки крови. Его старческое бледное и печальное лицо было обращено к небу. Мятежниками овладело то сильное волнение, когда человек забывает даже об опасности, и они с благоговейным ужасом поспешили к трупу.

— Какие есть люди среди революционеров! — в порыве удивления воскликнул Анжолрас.

Курфейрак нагнулся к его уху и прошептал:

— Скажу одному тебе, чтобы не уменьшать энтузиазма наших товарищей: этот старик вовсе не был революционером. Я знал его лично. Он был известен под именем дядюшки Мабефа. Не

понимаю, что с ним сегодня сделалось. Во всяком случае, он заявил себя храбрым человеком. Взгляни, какое у него лицо!

Анжолрас нагнулся, приподнял голову мертвого старика и поцеловал его в лоб.

Глава 290

Мабефа прикрыли длинной черной шалью вдовы Гюшлу, устроили из ружей носилки и положили на них тело, потом с обнаженными головами и с торжественной неторопливостью отнесли его в нижнюю залу кабака и поместили там на большом столе. Всецело поглощенные этим священным делом, они совсем перестали думать о том опасном положении, в котором находились.

Когда проносили труп мимо Жавера, спокойно ожидавшего решения своей участи, Анжолрас сказал ему.

— Теперь очередь за тобой.

В это время маленький Гаврош, один остававшийся на своем посту в качестве наблюдателя, заметив, что к баррикаде осторожно приближаются какие-то люди, громко крикнул:

— Берегись!

Курфейрак, Анжолрас, Жан Прувер, Комбферр, Жоли, Багорель, Боссюэт и прочие беспорядочной гурьбой высыпали из кабака.

Они поспели как раз вовремя, потому что над баррикадой уже сверкал густой лес штыков.

Рослые солдаты муниципальной гвардии пробирались через заграждение один за другим, карабкаясь по омнибусу или протискиваясь сквозь оставленную лазейку и напирая на мальчугана, который, хотя и отступал, но не бежал.

Минута была критической. Этот натиск походил на первый страшный напор наводнения, когда поток поднимается выше уровня плотины и вода начинает хлестать через нее. Еще одно мгновение — и баррикада будет взята.

Багорель бросился на первого ворвавшегося на баррикаду солдата и убил его выстрелом из карабина почти в упор, но в то же время и сам был убит ударом штыка другого солдата. Третий солдат уже повалил Курфейрака, который кричал: «Ко мне!» Четвертый солдат, самый рослый из всех, настоящий исполин, шел прямо на Гавроша со штыком наперевес. Мальчик взял в свои слабые руки тяжелое ружье Жавера, прицелился в великана и спустил курок, но выстрела не последовало, очевидно, ружье не было заряжено. Верзила-солдат расхохотался и занес штык над ребенком.

Но прежде чем острие штыка коснулось Гавроша, ружье вывалилось из рук солдата, внезапно пораженного чьей-то пулей прямо в лоб, грузное тело великана тяжело рухнуло в грязь. Вторая пуля пробила грудь того солдата, который повалил Курфейрака, и тот, в свою очередь, упал к его ногам.

Оба этих выстрела были сделаны Мариусом, только что взошедшим на баррикаду.

Глава 291

Мариус, стоя в закоулке улицы Мондетур, был свидетелем первой, нерешительной и неуверенной фазы борьбы. Он не мог устоять против того таинственного и могучего соблазна, который можно сравнить с притяжением разверзнувшейся бездны. Все колебания его разом исчезли ввиду грозившей опасности, смерти Мабефа, убитого Багореля, зовущего на помощь Курфейрака, ребенка, которому угрожал штык, и всех друзей, требовавших поддержки или отомщения, — и он с пистолетами в руках бросился в свалку. Первым выстрелом он спас Гавроша, вторым — Курфейрака.

Выстрелы и стоны раненых товарищей заставили нападающих энергичнее идти на приступ; на гребне баррикады появилось множество солдат муниципальной и национальной гвардии и пехотинцев с ружьями наперевес. Они заняли уже две трети баррикады, но пока еще не забирались внутрь ее, точно опасались попасть в какую-нибудь

непредвиденную западню. Они заглядывали вниз, как в темное логовище львов, и держались так, что их туловища только наполовину высовывались из-за гребня баррикады. Свет одинокого факела освещал только их штыки, мохнатые шапки и раздраженные лица.

Мариус бросил свои разряженные пистолеты и, оглянувшись, заметил возле самых дверей нижней залы кабака бочонок с порохом. В то время когда он глядел в сторону этого бочонка, обернувшись вполоборота, один из солдат прицелился в него, но вдруг чья-то рука легла на отверстие ружейного дула и закрыла его. Рука эта принадлежала молодому рабочему в плисовых панталонах. Раздавшийся выстрел пронзил руку юноши, а может быть, ранил и его самого, потому что он упал, зато Мариус был спасен. Пуля, предназначавшаяся ему, миновала его.

Все это произошло так быстро, что со стороны никто ничего не мог заметить. Сам Мариус, входивший в залу нижнего этажа кабака, тоже почти ничего не заметил. Положим, он

смутно, как в тумане, видел направленное на него ружейное дуло и закрывшую его руку, слышал и выстрел, но в подобные минуты происходит такая быстрая и пестрая смена событий, что невозможно ни на чем долго сосредоточиваться. Это своего рода кошмар, в котором трудно разобраться.

Захваченные отчасти врасплох, но не устрашенные, революционеры тут же оправились и собрались с духом.

Анжолрас крикнул:

— Подождите! Не стреляйте зря!

В момент замешательства люди действительно могли попасть друг в друга вместо неприятеля.

Большинство защитников баррикады засело у окон залы и мансарды кабака, откуда они могли беспрепятственно обстреливать нападавших. Самые же неустрашимые — Курфейрак, Жан Прувер и Комбферр — гордо прислонились к стенам домов в глубине улицы и таким образом,

совершенно открытые, подставляли свою грудь под выстрелы гвардейцев и пехотинцев, усыпавших баррикаду.

Солдаты действовали без торопливости, с тем грозным спокойствием, которое всегда предшествует серьезной схватке.

Обе противостоящие стороны находились одна от другой на таком близком расстоянии, что свободно могли переговариваться.

Когда дело дошло до того момента, когда огонь мог вспыхнуть от малейшей искры, офицер в густых эполетах и с металлическим нагрудником протянул вперед шпагу и крикнул:

— Сдавайтесь!

— Пли! — скомандовал в ответ на это Анжолрас.

Та же команда последовала и со стороны нападающих.

Выстрелы грянули одновременно с обеих сторон, и всю баррикаду заволокло облаками

едкого, удушливого дыма, послышались глухие стоны умирающих и раненых.

Когда дым рассеялся, уцелевшие противники оказались на своих местах и поспешно заряжали ружья. Вдруг раздался громкий голос:

— Прочь! Или я взорву баррикаду!

Все обернулись на этот голос. Этот голос принадлежал Мариусу. Молодой человек вошел в нижнюю залу кабака, взял там бочонок с порохом, затем, пользуясь царившей туманной мглой, усиленной пороховым дымом, проскользнул вдоль баррикады до той каменной клетки, в которой стоял факел. Сорвать факел, поставить на его место бочонок с порохом и выбить камнем дно бочонка, которое с какой-то удивительной покорностью мгновенно проломилось, — все это было для Мариуса делом, на которое ему понадобилось ровно столько времени, сколько нужно на то, чтобы нагнуться и вновь выпрямиться.

Нападающие, скучившиеся на другом конце баррикады, в оцепенении смотрели на молодого

человека, который с горящим факелом в руке и с выражением дикой решимости на гордом лице спокойно стоял на камнях.

Приблизив пламя факела к той зловещей куче обломков, посреди которой виднелся страшный бочонок с порохом, он и произнес ужасные слова:

— Прочь! Или я взорву баррикаду!

— Взорвешь баррикаду?.. Но вместе с нею и сам взлетишь на воздух! — крикнул один из нападающих.

— Я знаю это, — спокойно ответил Мариус. — Вот смотри.

И он поднес факел к пороху.

Через минуту на баррикаде никого не было. Нападающие, оставив на месте своих убитых и раненых, в беспорядке, как попало, отхлынули назад, в конец улицы, и снова затерялись во мраке ночи.

Глава 292

Все окружили Мариуса. Курфейрак бросился к нему на шею.

— Так вот ты где! — вскричал он.

— Какое счастье! — проговорил Комбферр.

— Ты явился очень кстати! — заметил Боссюэт.

— Без тебя я был бы убит! — продолжал Курфейрак.

— Без вас и меня укокошили бы! — звенел голосок Гавроша.

— Кто здесь начальник? — спросил Мариус.

— Теперь ты, — ответил Анжолрас.

Весь день мозг Мариуса пылал как в огне, а теперь в его мозгу точно носился какой-то вихрь. Этот вихрь, находившийся внутри его, однако, производил на него такое впечатление, словно он был вне его и куда-то его увлекал. Молодому человеку казалось, что он уже отдалился от

жизни на очень далекое расстояние. Два последних месяца, таких лучезарных и так грустно окончившихся этой страшной катастрофой, потерянная для него Козетта, эта баррикада, старик Мабеф, погибший во имя Республики, сам он в роди вождя восставших, — все это представлялось ему чудовищным кошмаром. Мариус должен был сделать страшное усилие над собой, чтобы признать действительностью все окружающее его.

Мариус еще слишком мало прожил для того, чтобы понять, что и невозможное иногда может оказаться возможным и что всегда следует предвидеть непредвиденное. Он присутствовал при своей собственной драме, как при представлении пьесы, разыгрываемой на непонятном для него языке.

Среди тумана, царившего в его мозгу, он не узнал Жавера. Привязанный к столбу, агент полиции ни разу не пошевельнул даже головой во время атаки баррикады и смотрел с покорностью

мученика и величием судьи на все происходившее вокруг него.

Между тем нападающие более не возобновляли попытки взять баррикаду Слышен был шум в конце улицы, но солдаты стояли на одном месте в ожидании, вероятно, новых распоряжений или сильного подкрепления, без которого не решались напасть вторично на этот неприступный редут.

Повстанцы снова расставили караульных, а некоторые из них принялись перевязывать раненых.

Из кабака были выброшены все столы за исключением двух небольших, оставленных для корпии и патронов, и одного большого, на котором покоилось тело Мабефа. Прочие столы были употреблены как материал для усиления баррикады, их теперь в кабаке заменили матрацы вдовы Гюшлу и тюфяки служанок. На эти матрацы и тюфяки были уложены раненые.

Что же касается трех несчастных обитательниц «Коринфа», то сначала было

неизвестно, куда они девались, и только потом, когда принялись их искать, они оказались забившимися в подвал.

Радость восставших по поводу освобождения баррикады омрачилась горестью. При перекличке оказалось, что одного из них недостает и притом самого любимого и храброго — Жана Прувера. Его искали между ранеными, но там его не оказалось, не было его и между убитыми. Очевидно, он попал в плен.

— Наш, наверное, у них в руках, — сказал Комбферр Анжолрасу, а у нас их агент.

— Нужна тебе смерть этого шпиона?

— Да, но не так, как жизнь Жана Прувера, — отвечал Анжолрас. Этот разговор происходил в нижней зале кабака возле столба, к которому был привязан Жавер.

— В таком случае, — продолжал Комбферр, — я привяжу белый платок к палке и пойду в качестве парламентера предложить им обменяться пленными.

— Погоди! Что это там делается? — сказал Анжолрас, положив Комбферру руку на плечо.

С конца улицы доносился многозначительный стук ружей и слышался мужественный голос, кричавший:

— Да здравствует Франция! Да здравствует будущее!

Защитники баррикады узнали в этом голосе голос Прувера. Сверкнула молния, грянул выстрел. Затем снова водворилась тишина.

— Они убили его! — воскликнул Комбферр. Анжолрас взглянул на Жавера и сказал:

— Твои друзья сами расстреляли тебя.

Глава 293

Все внимание революционеров было обращено на большую баррикаду, составлявшую, очевидно, наиболее угрожаемый пункт, где каждое мгновение могла вновь разгореться борьба. Один Мариус, кажется, подумал о малой

баррикаде и направился к ней. Малая баррикада была совершенно пуста и охранялась только плошкою, мерцавшею между камнями мостовой. Переулок Мондетур, разветвление улицы Петит-Трюандери и улица Синь были погружены в полную тишину.

Когда Мариус собирался вернуться к большой баррикаде после осмотра малой, он вдруг услышал, как кто-то в потемках окликнул его робким шепотом:

— Господин Мариус!

Он вздрогнул, узнав тот самый голос, который часа два тому назад звал его сквозь решетку на улице Плюмэ. Но теперь этот голос был слаб, как тихое дуновение, и Мариус, не видя никого в окружающей темноте, подумал, что ошибся, что это была иллюзия, созданная его воображением под влиянием совершавшихся вокруг необыкновенных событий. Придя к этому заключению, Мариус хотел продолжать путь, чтобы выйти из того закоулка, в котором была

малая баррикада, но таинственный голос снова произнес:

— Господин Мариус!

На этот раз он больше не сомневался в том, что действительно слышит голос. Он снова оглянулся, но опять-таки никого не заметил.

— Взгляните себе под ноги, — продолжал голос.

Молодой человек нагнулся и, увидел в потемках какую-то фигуру, которая приближалась к нему ползком по мостовой. Эта фигура и звала его. Тусклый свет плошки позволил различить, что фигура была в рабочей блузе, в рваных панталонах из толстого плиса, что у нее босые ноги и что возле нее блестит что-то вроде лужи крови. Увидел Мариус и поднятое к нему бледное лицо.

— Вы не узнаете меня? — продолжала фигура, видя его недоумение.

— Нет, не узнаю, — ответил он.

— Я — Эпонина.

Мариус с живостью нагнулся к лежавшей у его ног фигуре. Это действительно была переодетая по-мужски Эпонина.

— Как попали вы сюда? — спросил Мариус. — Что вы здесь делаете?

— Умираю, — чуть слышно проговорила несчастная девушка.

Есть слова и действия, которые способны встряхнуть самого удрученного человека. Точно сразу выхваченный из своего тяжелого кошмара, Мариус воскликнул:

— Вы ранены!.. Погодите, я вас отнесу в залу. Вас там перевяжут… Вы тяжело ранены?.. Как мне взять вас, чтобы вам не было больно?.. Где именно вы ранены?.. Эй, товарищи! На помощь! Господи! И зачем вы сюда попали?

Он попробовал просунуть под нее руку, чтобы поднять ее, и при этом встретил ее руку. Молодая девушка слабо вскрикнула.

— Вам больно? — спрашивал он.

— Да… немножко.

— Но я дотронулся только до вашей руки.

Она подняла руку к глазам Мариуса, и он увидал в ее руке темное отверстие, из которого сочилась кровь.

— Что это такое? — спросил он.

— Это рана от пули.

— От пули?!

— Да. Рука прострелена.

— Прострелена?! Как же это случилось?

— Вы заметили, как на вас было направлено ружье?

— Заметил. Вместе с тем заметил и руку, которая закрыла дуло ружья. Разве рука…

— Была вот эта самая.

Мариус задрожал.

— Какое сумасбродство! — вскричал он. — Бедное дитя! Но, впрочем, слава богу, если только тем и ограничилось. Это не опасно… Дайте я вас отнесу в дом. Там вас перевяжут, и

все пройдет. Из-за простреленной руки не умирают.

— Пуля прошла через руку в грудь, — прошептала девушка. — Бесполезно уносить меня отсюда. Мне уже недолго… Вы сами можете помочь мне лучше всякого хирурга. Сядьте возле меня, вот на этом камне.

Мариус повиновался. Эпонина положила голову к нему на колени и, не глядя на него, прошептала:

— О, как хорошо, как сладко!.. Вот я и не страдаю больше.

Она помолчала с минуту, потом с усилием повернулась лицом к Мариусу и взглянула на молодого человека.

— Знаете что, господин Мариус, — снова заговорила она, — меня страшно злило, когда я узнала, что вы ходите в этот сад… Это было очень глупо с моей стороны… ведь я сама показала вам этот дом… да и должна была понять, что такой молодой человек, как вы… —

Она запнулась и, перескакивая через вереницы мрачных мыслей, очевидно, теснившихся в ее голове, продолжала с раздирающей душу улыбкой: — Вы находили меня дурнушкой, не правда ли? — И, не дожидаясь ответа, заговорила снова, как бы торопясь высказать все, что мучило ее: — Знаете ли вы, что вас ожидает здесь гибель?.. Никто не выйдет живым из этой баррикады… И это я призвала вас сюда… Я! Вы будете здесь убиты, я в этом уверена. Все-таки, когда я увидела, что в вас прицелились, я заслонила рукой дуло ружья. Как это странно!.. Но я хотела умереть раньше вас… Когда в меня попала пуля, я потащилась сюда… Этого никто не видел, так что меня не могли подобрать… Я поджидала вас здесь и все думала: «Неужели он не придет?..» О, если бы вы знали, как я страдала!.. От боли я рвала зубами свою блузу. Теперь мне хорошо… Помните вы тот день, когда я вошла в комнату и смотрелась в ваше зеркало, и тот день, когда я встретила вас на бульваре с работницами?.. Как хорошо пели в тот день птички!.. И как это было недавно!.. Вы дали мне

монету в сто су, а я сказала вам, что мне не нужно ваших денег… Подняли ли вы, по крайней мере, монету, когда я бросила ее на землю?.. Ведь вы небогаты. Мне нужно было бы напомнить вам, чтобы вы подняли ее. Как славно грело в тот день солнце!.. Тогда не было так холодно, как теперь… Помните ли вы все это, господин Мариус?.. О, как я счастлива!.. Все умрут сегодня… все!..

Она говорила точно в бреду, и ее скорбное лицо резало душу Мариуса, как острым ножом. Произнося эти отрывистые слова, она прижимала простреленную руку к груди, в которой зияла другая рана, из которой сочилась кровь, как вино из откупоренной бутылки.

Мариус с глубоким состраданием смотрел на эту несчастную женщину.

— Ой! — вдруг воскликнула она. — Вот опять схватило!.. Мне нечем дышать… Задыхаюсь!.. Ой, какая боль!..

Она вцепилась зубами в широко открытый ворот блузы, ноги ее судорожно вытянулись на мостовой.

В эту минуту вблизи раздался задорный петушиный выкрик маленького Гавроша. Мальчик взобрался на один из столов на баррикаде, чтоб зарядить свое ружье, и весело распевал популярную в то время песню:

Увидев Лафайета,

Жандарм не взвидел света:

Бежим! Бежим! Бежим!

Эпонина приподнялась, прислушалась и сказала:

— Это он. — И, снова обернувшись к Мариусу, добавила: — Это мой брат. Я не хочу, чтобы он меня видел…

— Ваш брат? — повторил Мариус, с горечью и болью в сердце думая о долге, завещанном ему отцом по отношению к семейству Тенардье. — Кто это ваш брат?

— Этот мальчуган.

— Который поет?

— Да.

Мариус сделал движение, точно хотел встать.

— О, не уходите! — прошептала Эпонина. — Теперь уже недолго осталось вам побыть со мной.

Она почти сидела, но голос ее был очень слаб и часто прерывался предсмертной икотой. По временам из ее груди вырывалось тяжелое хрипение. Она приблизила, насколько могла, свое лицо к лицу Мариуса и прибавила со странным выражением:

— Слушайте, я не хочу более обманывать вас… У меня в кармане есть письмо к вам… Мне велели отнести его на почту, а я оставила его у себя… Я не хотела, чтобы оно дошло до вас… Но вы, быть может, рассердились бы на меня за это в том мире, где мы скоро увидимся… Ведь увидимся там, да? Так вот, возьмите это письмо.

Она судорожно схватила руку Мариуса своей простреленной рукой, очевидно, уже не чувствуя в ней боли, и сунула его руку в карман своей блузы, Мариус действительно нащупал там письмо.

— Берите, — сказала она.

Мариус взял письмо. Девушка одобрительно, с видом облегчения, кивнула головой и продолжала:

— Теперь… за мои труды… обещайте мне…

Она запнулась.

— Что? — спросил Мариус.

— Обещаете?..

— Обещаю.

— Обещайте поцеловать меня в лоб, когда я умру… Я почувствую это и мертвой.

Голова ее тяжело опустилась на колени Мариуса, и глаза закрылись. Молодой человек подумал, что душа этой несчастной девушки уже отлетела, так как тело оставалось неподвижным. Но вдруг, в ту самую минуту, когда он считал ее уснувшей навеки, она тихо открыла глаза, в которых уже виднелся ангел смерти, и сказала ему с выражением неземной кротости:

— Знаете что… господин… Мариус? Мне кажется… я… немного… любила вас.

Она слабо улыбнулась и с этой улыбкой тихо испустила дух.

Глава 294

Мариус сдержал свое обещание. Он запечатлел поцелуй на бледном челе умершей, покрытом каплями холодного пота. Это не было изменой Козетте — это было только нежным братским прощанием с многострадальной душой.

Не без трепета смотрел он на письмо, переданное ему Эпониной. Он сразу почувствовал, что это письмо скрывает для него очень важное. Он с нетерпением жаждал узнать его содержание. Таково уж человеческое сердце; едва несчастная девушка, спасшая ему жизнь, успела навеки закрыть глаза, как Мариус уже стал стремиться к той, которую любил. Он тихо опустил на землю тело умершей и ушел из закоулка. Какой-то внутренний голос говорил

ему, что не следует вскрывать письмо той перед трупом этой.

Он поспешил в кабак и подошел к одной из свечей, горевших в нижней зале. Письмо оказалось коротенькой запиской, сложенной и запечатанной с чисто женским изяществом. Адрес, написанный тонким женским почерком, был следующий: «Господину Мариусу Понмерси, у господина Курфейрака, улица Веррери, No 16». Мариус сломал печать и прочел содержание записки:

«Дорогой мой — увы! — отец желает, чтобы мы уехали сейчас же. Сегодня вечером мы будем на улице Омм Армэ, No 7, а через неделю — уже в Англии. Козетта. 4 июня».

Невинность этой любви была такова, что Мариус только в первый раз видел почерк Козетты.

Историю этой записки можно рассказать в нескольких словах. Все было делом Эпонины.

После вечера 3 июня заботой этой девушки стало расстроить замыслы своего отца и его товарищей-бандитов относительно дома на улице Плюмэ и разлучить Мариуса с Козеттой. Она поменялась лохмотьями с первым попавшимся молодым шалопаем, которому показалось очень забавным переодеться самому женщиной, а женщину увидеть в своем рабочем отрепье. Это Эпонина бросила Жану Вальжану на Марсовом поле предостережение, выразившееся только в одном слове: «Переселитесь». Вернувшись домой, Жан Вальжан под влиянием этого предостережения сказал Козетте: «Мы сегодня вечером переезжаем с Туссен на улицу Омм Армэ, а на будущей неделе будем в Лондоне». Ошеломленная этим неожиданным ударом, Козетта второпях черкнула вышеприведенные строки Мариусу, а потом призадумалась относительно того, каким способом передать записку по адресу. Она никуда не выходила из дома одна, а Туссен, если попросить ее отправить записку, непременно поставила бы хозяина в известность. В пылу этой тревоги Козетта вдруг

увидела сквозь садовую решетку переодетую рабочим Эпонину, бродившую вокруг сада. Подозвав молодого блузника, Козетта отдала ему записку вместе с пятью франками и попросила снести записку по адресу, а деньги оставить себе в качестве вознаграждения за труд. Эпонина взялась исполнить поручение и сунула записку в карман. На следующее утро 5 июня она отправилась к Курфейраку и спросила у него о Мариусе, — не для того, чтобы вручить ему письмо, но просто с целью увидать его, как сделала бы на ее месте каждая женщина, терзаемая безнадежной любовью и ревностью. Мы уже знаем, как она поджидала возвращения отсутствующего Мариуса или по крайней мере Курфейрака, тоже отсутствующего дома. Когда Курфейрак сказал ей: «Мы идем на баррикады», — в уме Эпонины блеснула новая мысль: броситься навстречу этой смерти, как бы она бросилась навстречу и всякой другой, и толкнуть туда же Мариуса. Она пошла вслед за Курфейраком, удостоверилась, в каком месте сооружалась баррикада, и, вполне уверенная, что

Мариус в обычное время пойдет на свидание на улицу Плюмэ, так как предупреждение его о том, что Козетты там уже не будет, у нее, Эпонины, в кармане, подкараулила его там и от имени его друзей пригласила его на баррикаду. Она нисколько не сомневалась, что Мариус, приведенный в отчаяние безвестным исчезновением Козетты, последует этому приглашению. Направив его к баррикаде, Эпонина сама вернулась на улицу Шанврери. Мы видели, что она там сделала. Она умерла с той трагической радостью, которая свойственна ревнивым сердцам, увлекающим любимого человека за собою в могилу с расчетом, что таким образом он никому не достанется.

Мариус покрыл поцелуями записку Козетты. Так она все еще любит его! На мгновение у него блеснула мысль, что теперь ему не следует умирать. Но вслед за тем он сказал себе: «Она уезжает. Отец увозит ее в Англию, а мой дед не дает согласия на брак с нею. Следовательно, ничего не изменилось в нашей судьбе».

На мечтателей, вроде Мариуса, находят минуты полного душевного изнеможения, и тогда эти мечтатели принимают отчаянные решения. Жизнь в такие минуты кажется им невыносимой, и они находят, что гораздо легче умереть, чем бороться с препятствиями, воздвигаемыми судьбой.

Мариусу пришло на ум, что ему осталось исполнить две обязанности: уведомить Козетту о своей смерти и проститься с ней навеки, а затем спасти от неминуемой гибели бедного мальчика, брата Эпонины, сына Тенардье.

При Мариусе был маленький портфель, тот самый, в котором находилась тетрадка, служившая молодому человеку для излияния своих нежных чувств к Козетте. Он достал из этого портфеля листок бумаги и набросал на нем карандашом следующие строки:

«Наш брак невозможен. Я просил разрешения у моего деда, но он отказал. От него я бросился к тебе, но тебя уже не застал. Помнишь данное мною слово? Я сдержу его. Я умираю. Люблю

тебя. Когда ты будешь читать эти строки, моя душа будет витать возле тебя и улыбаться тебе».

Не имея под рукой ничего, чем можно запечатать записку, он просто сложил ее вчетверо и надписал адрес: «Мадемуазель Козетте Фошлеван, улица Омм Армэ, No 7».

Приготовив записку, он несколько минут просидел в глубоком раздумье, потом снова открыл портфель и написал на первой странице записной книжки:

«Меня зовут Мариус Понмерси. Прошу доставить мое тело к моему деду, господину Жильнорману, улица Филь-дю-Кальвер, No 6, в Марэ».

Потом сунул портфель обратно в карман сюртука и позвал Гавроша.

Мальчик с веселым и готовым к услугам лицом тотчас же явился на голос Мариуса.

— Хочешь сделать что-нибудь для меня, Гаврош? — спросил молодой человек.

— Все на свете! — воскликнул гамен. — Боже мой, как же мне не хотеть, когда без вас я бы теперь уже издох!

— Видишь это письмо?

— Вижу.

— Возьми его. Уходи сейчас же от баррикады (Гаврош с беспокойством стал почесывать у себя за ухом), а завтра утром передай письмо мадемуазель Козетте, у господина Фошлевана, на улице Омм Армэ, номер семь.

Маленький герой ответил:

— Хорошо, это-то я исполню, но боюсь, как бы вдруг без меня не взяли баррикады…

— Не беспокойся! — проговорил с улыбкой Мариус. — Второе нападение на баррикаду будет сделано не раньше, как на рассвете, а возьмут ее разве только в полдень.

Действительно, по всему было видно, что войска хотят дать баррикаде продолжительный отдых. Это был один из тех перерывов, которые

часто приходят ночью, но за которыми бой всегда возобновляется с новым ожесточением.

— А если я отнесу ваше письмо завтра утром? — спросил Гаврош.

— Утром тебе едва ли удастся выбраться отсюда: я думаю, баррикада со всех сторон будет окружена солдатами. Иди лучше сейчас.

Гаврош не находил более возражений. Он стоял в нерешительности, печально почесывая за ухом. Вдруг он со свойственной ему птичьей порывистостью схватил письмо и сказал:

— Ну, хорошо, пусть будет по-вашему.

И тут же бегом пустился по переулку Мондетур. Он решил оставить баррикаду под влиянием одной мысли, которую не высказал, опасаясь, что Мариус возразит что-нибудь против нее. Вот как формулировалась мысль Гавроша: «Теперь всего около полуночи, улица Омм Армэ недалеко отсюда. Я отнесу письмо, а к рассвету успею вернуться».

Глава 295

Что значат судорожные волнения целого города по сравнению с бурей, свирепствующей в человеческой душе? Человек — пучина, еще более глубокая, чем целый народ.

В ту самую минуту, когда происходило описанное нами, Жан Вальжан был в страшном возбуждении. Бездна снова вдруг разверзлась перед ним. Подобно Парижу, и он трепетал на пороге грозных мрачных событий.

Нескольких часов было достаточно, чтобы произвести в нем этот переворот. Его судьба и совесть вдруг заволоклись темным облаком. О нем можно было сказать, что внутри его происходила борьба между двумя основными принципами. Ангел света и ангел тьмы схватились на мосту над бездной. Кто из них низвергнет в пропасть другого? Кто победит?

Накануне знаменательного дня 5 июня Жан Вальжан, сопровождаемый Козеттой и тетушкой

Туссен, перебрался на улицу Омм Армэ. Там ожидало его сильное потрясение.

Козетта покинула улицу Плюмэ не без попытки к сопротивлению. В первый раз с тех пор, как Жан Вальжан и Козетта жили вместе, воля их если не столкнулась, то, по крайней мере, противостала одна другой. С одной стороны, была легкая оппозиция, а с другой — непоколебимость. Неожиданный совет переехать, брошенный Жану Вальжану незнакомцем, встревожил старика до такой степени, что он стал неумолим. Он был убежден, что на его след напали и его преследуют. Козетта должна была уступить.

Они прибыли на улицу Омм Армэ, ни разу на протяжении всего пути не разжав губ и не сказав друг другу ни одного слова, оба погруженные в свои личные мысли. Жан Вальжан был так поглощен своей тревогой, что не замечал печали Козетты, а Козетта так печалилась, что не замечала тревоги Жана Вальжана.

Жан Вальжан при переезде на новую квартиру взял с собой и Туссен, чего никогда не делал раньше, когда переселялся. Он предвидел, что не вернется более на улицу Плюмэ, но не мог покинуть старушку на произвол судьбы. Он не решился посвятить ее в свою тайну, хотя и был уверен в ее верности и преданности. По отношению к хозяину измена прислуги всегда начинается с любопытства. Туссен же любопытством не страдала, она точно самой судьбой была предназначена стать прислугой Жана Вальжана. Заикаясь, она часто повторяла на своем деревенском наречии: «Такой уж я человек: делаю свое дело, а до остального мне и нужды нет».

При отъезде с улицы Плюмэ, походившем на бегство, Жан Вальжан ничего не взял с собой, кроме своего маленького благоухающего чемоданчика, прозванного Козеттой «неразлучным». Полные сундуки потребовали бы для своего перемещения носильщиков, а носильщики — те же свидетели.

Туссен привела фиакр к калитке на Вавилонской улице, на нем все и уехали — вот и все.

Старушка с большим трудом получила позволение захватить с собой немного белья, несколько платьев и других принадлежностей туалета.

Что же касается Козетты, то она ничего не взяла из дома, кроме папки с писчей бумагой и бювара.

Чтобы сделать свое исчезновение с улицы Плюмэ еще более незаметным, Жан Вальжан дождался для переезда вечерних сумерек. Это дало Козетте возможность написать Мариусу.

Они приехали на новое место, когда уже совсем стемнело, и тотчас же молча разошлись по своим комнатам.

Квартира на улице Омм Армэ помещалась на заднем дворе, на втором этаже, и состояла из двух спален, столовой и смежной с ней кухни, где было маленькое отгороженное помещение с

кроватью для прислуги. Столовая, служившая и прихожей, находилась между обеими спальнями. Квартира была снабжена всей необходимой хозяйственной утварью.

Человек часто так же быстро успокаивается, как и возбуждается: такова уж его натура. Едва Жан Вальжан очутился на улице Омм Армэ, как беспокойство его стало рассеиваться и мало-помалу совсем исчезло. Есть такие места, которые имеют в себе что-то успокаивающее и которые как бы усмиряют разыгравшееся воображение. Обыкновенно тихие улицы населены мирными жителями. Жан Вальжан тотчас же почувствовал, как и ему сообщается то спокойствие, которое царило на этой улице старого Парижа, до такой степени узкой, что экипаж с трудом проезжал по ней, улице глухой и безмолвной среди шумного города, тихой даже днем и неспособной ни к какому волнению, образованной двумя рядами старых зданий, молчаливых и спокойных. На этой улице царствовали вечный покой и вечная тишина. Жан

Вальжан вздохнул с облегчением. Кто может найти его в этом мирном уголке?

Первой его заботой в новой квартире было поставить свой «неразлучный» чемоданчик около постели.

Спал он на новом месте хорошо. Говорят, ночь является советницей; можно бы добавить, что она, кроме того, бывает успокоительницей.

На следующее утро старик проснулся почти веселый. Он нашел столовую прелестной, хотя она, в сущности, была безобразна со своим старым круглым столом, низким буфетом, наклоненным над ним зеркалом, источенным червями креслом и несколькими стульями, заваленными теми узлами, которые тетушке Туссен удалось захватить из прежней квартиры на улице Плюмэ. Сквозь прореху одного из этих узлов виднелся принадлежавший Жану Вальжану мундир национального гвардейца.

Козетта приказала служанке принести себе в спальню бульон и сама вышла в столовую только вечером.

Часов около пяти Туссен, весь день провозившаяся над устройством хозяйства на новой квартире, подала на стол холодное жаркое, к которому Козетта только притронулась, и то из угождения отцу. Затем под предлогом сильной мигрени девушка простилась с отцом и снова заперлась в своей спальне.

Жан Вальжан с аппетитом съел куриное крылышко, затем, облокотившись на стол и все более и более успокаиваясь, начал наслаждаться сознанием своей безопасности.

Во время этого скудного обеда Туссен несколько раз принималась сообщить ему своим нетвердым языком, что в Париже суматоха и на улицах дерутся, но старик, погруженный в свои мысли, не обращал внимания на болтовню служанки.

Наконец он встал и принялся шагать от окна к двери и от двери к окну, с каждым шагом делаясь все довольнее и довольнее.

По мере того как он успокаивался относительно собственной участи, в душе его все

настойчивее всплывала обычная серьезная забота о Козетте. Мигрень, на которую жаловалась Козетта, его нисколько не тревожила, он отлично понимал, что эти девичьи нервные расстройства не опасны и могут продолжаться, самое большее, два-три дня, но он снова увлекся мыслью о будущем Козетты, и это будущее представлялось ему безоблачным. Он уже не видел никаких препятствий к тому, чтоб их прежняя счастливая жизнь потекла по-старому.

Настроение много значит. Бывают минуты, когда все кажется невозможным, а в другие минуты все представляется в самом розовом свете. У Жана Вальжана настали именно такие блаженные минуты. Обычно эти минуты наступают после дурных, как день после ночи, в силу закона последовательности и реакции, который составляет основу природы и поверхностными умами называется «антитезой».

На мирной улице, где теперь приютился Жан Вальжан, он освободился почти сразу от всего, что его тревожило за последние дни. Благодаря

тому, что недавно он видел много темных туч, перед ним теперь засиял уголок ясного неба. Выбраться благополучно без всяких приключений из улицы Плюмэ — это уже был для него шаг очень важный. Быть может, будет полезно сделать и другой шаг: покинуть родину, хотя бы только на несколько месяцев, и уехать в Лондон. Что ж, и это можно сделать. Жить во Франции или в Англии — не все ли равно, лишь бы с ним была Козетта? Ведь, в сущности, для него смысл жизни заключался в Козетте.

Одной Козетты было совершенно достаточно для его счастья. Мысль же, что его самого, быть может, недостаточно для счастья Козетты, еще недавно нагонявшая на него лихорадку и бессонницу, теперь даже и не представлялась ему.

Он находился как бы среди обломков своих прошедших страданий и был полон радужного оптимизма. Козетта при нем, поэтому он считал ее своей. Это был своего рода душевный оптический обман, которому подвержены все люди. Мысленно, без всяких затруднений, он уже

видел себя отплывающим с Козеттой в Англию, видел в перспективе своей мечты, как снова возрождается его счастье — тут ли, там ли, — это было для него безразлично.

В то время когда он прохаживался взад и вперед по столовой, взгляд его вдруг встретил что-то странное: как раз напротив себя в наклеенном над буфетом зеркале он ясно прочел следующие строки:

«Дорогой мой — увы! — отец желает, чтобы мы уехали сейчас же. Сегодня вечером мы будем на улице Омм Армэ, No 7, а через неделю — уже в Англии. Козетта, 4 июня».

Пораженный этим, Жан Вальжан остановился в полном недоумении.

Войдя в новую квартиру, Козетта поставила свой бювар на буфет перед зеркалом. Поглощенная своим горем и тоской, она забыла там бювар, не заметив даже, что он открылся и как раз на той странице промокательной бумаги, к которой она прикладывала для просушки свою записку, посланную ею Мариусу с молодым

«блузником», шатавшимся по улице Плюмэ. Сырые еще строки отпечатались целиком, и зеркало отразило их в правильном виде, а не наоборот, как они были в бюваре. Таким образом Жан Вальжан увидал записку Козетты Мариусу. Это открытие произвело на него действие грома с ясного неба.

Старик подошел еще ближе к зеркалу и вторично перечел отражавшиеся в зеркале строки, но все-таки не поверил себе. Ему казалось, что он жертва галлюцинации, что ничего подобного в действительности не Могло быть, что это просто невозможно.

Однако мало-помалу сознание его прояснилось. Он еще раз взглянул на бювар Козетты и начал понимать, что имеет дело с действительностью, хотя все-таки попробовал схватиться за соломинку.

«Так вот это откуда получилось!» — подумал он, взяв в руки бювар. С лихорадочной тревогой он стал рассматривать отпечатавшиеся на бумаге строки, представлявшиеся ему рядами каких-то

замысловатых иероглифов, которых никак нельзя было разобрать.

«Но ведь это ровно ничего не означает, — продолжал он размышлять, — это просто какая-то мазня, а не буквы».

Придя к такому выводу, старик вздохнул полной грудью с полным облегчением.

Кто из нас не испытывал подобный глупый самообман в самые страшные минуты своей жизни? Душа не поддается отчаянию, пока не исчерпает всех иллюзий.

Жан Вальжан держал в руках бювар и смотрел на него в бессмысленном восторге, почти готовый расхохотаться над «обморочившей было его галлюцинацией». Но вдруг взор его снова упал на поверхность зеркала, и «галлюцинация» повторилась: прежние строки обрисовались в нем с неумолимой отчетливостью. На этот раз старик понял, что это уже не мираж. Повторение видения служит явным доказательством его реальности. Жан Вальжан теперь сообразил, в чем дело: он понял, что зеркало отражает в

настоящем виде то, что на бюваре было в искаженном.

Старик пошатнулся, выронил из рук бювар и упал в старое кресло, стоявшее возле буфета. Голова его поникла на грудь, в остановившихся и точно остекленевших зрачках его глаз выразилась полная растерянность.

Жан Вальжан говорил себе, что теперь уже нечего более сомневаться, что теперь для него уже навеки померк свет, что Козетта действительно кому-то писала. И он услышал внутри себя, как его ожесточившаяся снова душа испускала во мраке глухой рев. Попробуйте отнять у льва собаку, которая была у него в клетке и к которой он был сильно привязан.

Странное и печальное явление! В эту минуту Мариус еще не получал записки Козетты, а Жан Вальжан благодаря случаю уже имел ее в руках.

До этого дня Жан Вальжан еще не был сломлен испытаниями. Он подвергался страшным искусам. Ни один род несчастья не пощадил его. Свирепый рок, вооруженный всеми

способами наказаний и всею силою общественного презрения, сделал его своей мишенью и ожесточенно набросился на него.

Жан Вальжан ни перед чем не отступал, ничему не поддавался. Когда было нужно, он примирялся со всеми невзгодами; он пожертвовал даже своей, с таким трудом вновь завоеванной, личной неприкосновенностью, своей свободой, рисковал своей головой, всего лишился, все выстрадал и остался бескорыстным и стойким до такой степени, что были моменты в его жизни, когда можно было подумать, что он совершенно отрешился от самого себя, как настоящий мученик. Его совесть, закаленная во всевозможных превратностях судьбы, сделалась как бы навеки непоколебимой.

Однако, если бы в эту минуту кто-то заглянул в глубь его души, то увидал бы, что все ее устои пошатнулись под действием только что полученного неожиданного удара.

Изо всех пыток, вынесенных им от преследовавшей его всю жизнь неумолимой

судьбы, последняя пытка была самая жестокая. Никогда еще он не находился в таких крепких тисках. Он чувствовал, как в нем, в тайниках его души сразу поднялись и зашевелились все виды дремавших там чувств, как вздрагивали от невыносимой боли такие фибры души, которых он даже в себе и не подозревал. Увы! Самое страшное испытание — это утрата любимого существа.

Не подлежит никакому сомнению, что бедный старик любил Козетту только как отец, но мы уже говорили раньше, что само сиротство жизни Жана Вальжана придавало его нежности к этому ребенку оттенки всех других сердечных привязанностей. Он любил Козетту как дочь и как сестру. Он никогда не имел ни любовницы, ни жены, а между тем природа — такой кредитор, который не принимает никаких отговорок, и вот наряду с другими чувствами у него было и чувство мужчины к женщине, самое сильное из всех чувств, но какое-то смутное, не сознающее себя, чувство, чистое именно своею слепотою, небесное, ангельское, божественное, даже почти

не чувство, а скорее инстинкт или, еще точнее, какое-то таинственное притяжение, незаметное, невидимое, но тем не менее вполне реальное; и в его безграничной нежности к Козетте любовь, в настоящем смысле этого слова, — любовь смутная и девственная, — пробивалась наружу, как пробивается жила в недрах утеса.

Пусть читатель вспомнит сущность этой сердечной драмы, на которую мы уже указывали ему.

Между Жаном Вальжаном и Козеттой не был возможен никакой брак, даже брак душ, тем не менее судьбы их были крепко связаны одна с другой. Кроме Козетты — этой женщины-ребенка, Жан Вальжан во всю свою долгую жизнь никого не любил. Страсти и любовные увлечения, сменяющие друг друга в сердцах других людей, не оставили на нем тех последовательных оттенков зелени, сначала светлых, потом все более и более темных тонов, какие замечаются на перезимовавшей листве и на людях, переваливших за шестой десяток. В итоге,

как мы не раз указывали, вся эта смесь чувств, слившаяся в одно целое и давшая в результате высокую добродетель, делала из Жана Вальжана для Козетты отца, и отца странного, совмещавшего в себе одновременно деда, сына, брата, мужа, даже мать, отца, который любил Козетту, боготворил ее, видел в этом ребенке свое солнце, прибежище, семью, отчизну, рай.

И вот, когда он убедился, что все кончено, что Козетта от него ускользает, вырывается из его рук, как облако, как вода, когда он наконец узнал страшную для него истину, что «другой наполняет ее сердце, другой является для нее желанным, что у нее есть возлюбленный, а я для нее только отец, иначе я для нее не существую», когда он должен был сказать себе: «Она уходит из моей души!» — тогда горе его перешло черту возможного. Сделать все, что им было сделано, и вдруг прийти к такому результату! Обратиться в ничто! Как мы уже говорили, все существо его возмутилось и затрепетало. Он до корней волос почувствовал могучее пробуждение эгоизма,

услышал, как на дне его души отчаянно кричит его «я».

Бывают и внутренние катастрофы. Беспощадная, убийственная истина проникает внутрь человеческого сердца не иначе как разрывая и сокрушая основы его души, в которых зачастую заключается сама сущность человека. Боль, причиняемая неумолимою истиною, такова, что все силы души парализуются и производят роковые кризисы. Немногие из нас выходят из таких кризисов прежними и оставшимися верными долгу. Когда перейдена граница страданий, тогда теряется самая невозмутимая добродетель.

Жан Вальжан снова взял в руки бювар, чтобы еще раз проверить то, чему отказывалось верить его сердце.

Долго и совершенно неподвижно просидел он, склонившись над этими строками, точно окаменелый, с застывшими глазами.

На его лицо легла мрачная туча. Можно было подумать, что в его душе все рухнуло. Он

рассматривал сделанное им страшное открытие сквозь увеличительное стекло своих чувств, с наружным спокойствием, тем более страшным, что оно очень опасно, с тем спокойствием, которое доводит человека до безумства. Он измерял роковой шаг, сделанный судьбой без его ведома, вспомнил страхи, охватившие было его в начале лета и так легко рассеявшиеся, увидел прежнюю бездну с той только разницей, что он теперь был уже не на краю ее, а — на самом дне, он свалился в эту бездну, сам того не замечая. Весь свет его жизни уже давно померк, а ему все еще казалось, что этот свет светит с прежней силой! В нем заговорил инстинкт самосохранения. Он вспоминал и анализировал прошедшие события, числа, вспоминал, когда и по каким причинам Козетта краснела или бледнела, и говорил себе: «Да, это он!» Прозорливость отчаяния — это своего роди таинственная стрела, которая всегда попадает в цель. Начиная понимать, кто бы мог быть этот «он», старик быстро понял, что это Мариус, хотя и не знал его имени. В глубине своей

возбужденной памяти он ясно увидел шатавшегося по Люксембургскому саду молодого незнакомца, жалкого искателя любовных приключений, романтичного бездельника, дурака и негодяя. Разве не негодяй тот, кто строит глазки молодым девушкам, имеющим нежно любящих отцов?

Удостоверившись, что в основе этой грустной истории находится тот самый молодой человек и что он причина всему, Жан Вальжан — так много работавший над своей душой, употребивший столько усилий на то, чтобы вся его горькая жизнь, все его страдания и бедствия вылились в одном чувстве — чувстве любви, — заглянул теперь в свою душу и увидел в ней страшный призрак ненависти.

Сильное горе подавляет и лишает бодрости все существо человека. Человек, которым овладевает такое горе, чувствует, как будто из него что-то ушло. В молодости горе — мрачно, в поздних летах — зловеще. Когда ваша кровь еще горяча, волосы темны и голова держится на

плечах прямо, как пламя свечи, когда свиток жизни еще только начинает развертываться и полное любви сердце может встретить другое сердце, бьющееся с ним в унисон, когда у вас впереди есть еще время поправить ошибки и в вашем распоряжении все радости, все будущее, весь горизонт, когда сила жизни еще не сломлена, — если и тогда страшно отчаяние, то каково же оно в старости, когда годы все поспешнее и поспешнее перегоняют друг друга и наступает то сумрачное время, когда вы уже начинаете различать мерцающие звезды могилы?

Размышления Жана Вальжана были вдруг прерваны появлением тетушки Туссен. Старик встал со своего места и спросил ее:

— В какой стороне, не знаете?

Озадаченная этим вопросом Туссен могла только произнести:

— Что вам угодно, хозяин?

— Разве вы не говорили мне, что где-то дерутся?

— Ах да, да! Верно… Где-то там около Сен-Мерри, как я слышала.

Бывают машинальные движения, которые, помимо нашего сознания, исходят из тайников нашей мысли. По всей вероятности, благодаря именно такому состоянию, в котором Жан Вальжан сам не мог бы отдать себе ясного отчета, он пять минут спустя очутился уже на улице. Он сидел на тумбе перед своим домом с обнаженной головой и точно к чему-то прислушивался.

Наступила уже ночь.

Глава 296

Сколько времени провел Жан Вальжан в этом состоянии? Каковы были приливы и отливы его тяжелых дум? Оправился ли он от страшного удара, поразившего его? Или он так и остался согнувшимся под тяжестью этого удара? Был ли он еще в состоянии вновь воспрянуть и найти в своей душе какую-нибудь твердую опору? На все

эти вопросы он едва ли был бы в состоянии ответить.

Улица была пустынна. Немногие буржуа, со встревоженными лицами спешившие к себе домой, почти не обращали внимания на сидевшего на тумбе старика. В тревожное время каждый думает только о себе. Фонарщик явился в свое время, чтобы зажечь, между прочим, и тот фонарь, который находился как раз против ворот дома No 7. Зажегши фонарь, фонарщик молча прошел дальше.

Если бы кто заметил Жана Вальжана в эту минуту, то не счел бы его за живого человека. Он сидел на тумбе напротив своих дверей, представляя собой нечто вроде ледяного призрака. Отчаяние имеет свойство замораживать.

Вдали слышались раздирающие душу звуки набата и смутный смешанный шум бурного движения и людских голосов. Среди завываний набатного колокола и шума восстания на колокольне церкви Сен-Поль медленно пробило

одиннадцать часов; набат — суета человека, время — спокойствие Божие. Удары, отметившие время, не произвели никакого впечатления на Жана Вальжана. Он продолжал сидеть не шевелясь. Между тем почти одновременно с боем часов со стороны Рынка раздался сильный ружейный залп, за которым через несколько времени последовал второй, еще сильнее. Вероятно, то были отголоски тех самых залпов, которыми солдаты начали атаку баррикады, так геройски спасенную Мариусом. Залпы эти, страшный грохот которых делался еще слышнее в ночной тишине, заставили вздрогнуть Жана Вальжана. Он приподнялся и обернулся в ту сторону, откуда доносился убийственный шум, но тут же снова в полном изнеможении опустился на тумбу, скрестил на груди руки и снова медленно опустил голову на грудь.

Он опять вступил в безмолвную беседу с самим собой.

Вдруг он вторично поднял голову, услыхав, что кто-то ходит почти возле него. Оглянувшись,

он увидал при свете фонаря в той стороне улицы, которая примыкает к Архивам, молодое сияющее бледное лицо.

Это лицо принадлежало Гаврошу, добежавшему в эту минуту до улицы Омм Армэ. Мальчик шел с видом человека, который что-то разыскивает. Он видел Жана Вальжана, но не обратил на него внимания. Сначала гамен, подняв вверх голову, осматривал верхние этажи домов, потом стал оглядывать и нижние. Поднявшись на цыпочки, он ощупывал двери и окна, везде он встречал наглухо закрытые ставни, крепкие запоры и замки. Проверив таким образом с полдюжины накрепко запертых со всех сторон домов, мальчик пожал плечами и после громкого: «Черт возьми!» — опять принялся глазеть вверх.

Жан Вальжан, который находился в таком душевном состоянии, что за какую-нибудь минуту перед тем он ни за что не только ни с кем бы не заговорил сам, но даже никому не ответил бы, теперь вдруг почувствовал неодолимую потребность спросить этого ребенка:

— Мальчик, что с тобой?

— Я хочу есть! — отрезал Гаврош и сейчас же добавил: — Сами вы мальчик!

Жан Вальжан пошарил у себя в кармане и вытащил оттуда пятифранковую монету.

Но Гаврош, по своей живости принадлежавший к породе трясогузок, в это время уже поднимал с земли большой камень. Мальчика возмущал горевший фонарь.

— Э, да у вас есть еще тут фонари! — воскликнул он. — Значит, вы не знаете правил, друзья мои. Такого порядка терпеть нельзя… Нужно уничтожить эту зловредную штуку!

Он швырнул в фонарь поднятый камень. Стекла посыпались с таким треском и звоном, что буржуа, засевшие за своими ставнями в соседних домах, с ужасом шептали: «Вот и девяносто третий год повторяется!»

Фонарь сильно покачнулся и потух. Улица внезапно погрузилась в непроглядную темноту.

— Вот так-то лучше, улица-старушка! — сказал Гаврош. — Надень-ка ночной колпак. — Затем как ни в чем не бывало он обернулся к Жану Вальжану и спросил: — Как у вас называется этот громадный домище в конце улицы? Архивом, что ли? Хорошо бы слегка пообломать эти нескладные толстые колонны и сделать из них хорошенькую баррикаду.

Жан Вальжан подошел к Гаврошу и, проговорив про себя: «Бедняжка, он голоден!» — сунул ему в руку пятифранковик.

Гаврош поднял нос, удивленный величиною этого «су», потом посмотрел в темноте на монету и почувствовал себя ослепленным ее белизной. Он знал пятифранковики только понаслышке, знал и то, какой хорошей они пользуются репутацией, и радовался, что ему пришлось видеть эту диковинку вблизи.

— Рассмотрим-ка хорошенько этого зверя, — проговорил он и несколько мгновений восторженно любовался монетой.

Затем снова повернулся к Жану Вальжану, протянул ему обратно монету и величественно произнес:

— Гражданин, я больше люблю бить фонари, чем брать деньги зря. Возьмите назад вашего дикого зверя. Я не из тех, которых можно подкупить. У этого зверя хоть и пять когтей, но он меня все-таки не оцарапает.

— У тебя есть мать? — спросил Жан Вальжан.

— Получше вашей, — ответил Гаврош.

— Ну, так оставь эти деньги для своей матери, — прибавил старик. Гаврош был немного тронут. К тому же он заметил, что этот странный старик был без шляпы: это внушило ему доверие к старику.

— Значит, вы дали мне эту монету не с тем, чтобы я перестал бить фонари? — осведомился он.

— Вовсе нет! Ты можешь бить все, что тебе вздумается.

— Вы хороший человек! — авторитетно проговорил Гаврош и сунул монету себе в карман, после чего с возрастающим доверием задал новый вопрос: — Вы здешний?

— Да. А что тебе?

— Не можете ли вы указать мне дом номер семь?

— А зачем тебе этот дом?

Мальчик запнулся. Он смутился при мысли, что, быть может, дал промах, и, запустив пальцы в волосы, пробормотал:

— Да так!

В уме Жана Бальжана молнией вспыхнула догадка о том, что именно нужно мальчику. У человека иногда бывают моменты таких проблесков ясновидения.

— Может быть, тебя послали ко мне с письмом, которого я ожидаю? — спросил старик.

— Меня послали к женщине, а вы разве женщина? — насмешливо спросил в свою

очередь Гаврош.

— Ну да, письмо на имя мадемуазель Козетты, не так ли?

— Козетты? — повторил мальчик. — Да, кажется, это смешное имя и написано сверху на письме.

— Ну, так это и есть то самое письмо, которого я жду для передачи мадемуазель Козетте. Давай его сюда, — сказал Жан Вальжан.

— Значит, вам известно, что я послан с баррикады?

— Ну, само собой разумеется.

Гаврош опустил руку в один из своих карманов и вытащил оттуда сложенную вчетверо бумагу, потом, сделав по-военному под козырек, сказал:

— Эта депеша, или как там назвать ее, требует особенного уважения, потому что она написана временным правительством.

— Ладно, давай сюда, — ответил старик, стоя с протянутой рукой. Гаврош держал бумагу высоко над головой.

— Не воображайте, что это какая-нибудь любовная цидулька, — с важностью объяснял он. — Это хоть и написано женщине, но для блага народа. Мы — драчуны, это верно, а женский пол все-таки уважаем. У нас не так, как в большом свете, где есть львы, которые посылают цыплят к верблюдам…

— Давай письмо!

— Вы мне в самом деле кажетесь человеком порядочным…

— Да давай же скорее письмо!

— Ну, так и быть, получайте! — Гаврош вручил Жану Вальжану записку и добавил: — Не задержите только его у себя, господин Шоз, раз госпожа Шозетта ждет.

По тону мальчика было слышно, что он в восторге от своей остроты.

— Ответ следует доставить в Сен-Мерри, не так ли? — допытывался Жан Вальжан.

— Попали пальцем в небо! — воскликнул Гаврош. — Эта записка прислана с баррикады на улице Шанврери, куда я и возвращаюсь… Спокойной ночи, гражданин! Честь имею кланяться!

С этими словами Гаврош ушел или, вернее, подобно вырвавшейся на волю птице, полетел обратно туда, откуда появился. Он рассекал мрак с быстротою и стремительностью пушечного ядра.

Улица Омм Армэ снова погрузилась в прежнее безмолвие. В одно мгновение ока этот странный ребенок, в котором было и столько темного, и столько светлого, юркнул в темноту, царившую между двумя рядами смутно обрисовывавшихся домов, и смешался с ней, как дым с туманом. Можно было бы подумать, что он растворился и рассеялся в ночном мраке, если бы через несколько минут после его исчезновения не раздался резкий треск разбитых стекол и далеко

разнесшийся грохот упавшего на мостовую фонаря вновь не привлек внимания негодующих буржуа. Это действовал Гаврош, пробегая по улице Шом.

Глава 297

С добытым таким способом письмом Мариуса к Козетте Жан Вальжан вернулся в свою квартиру. Он поднялся ощупью по лестнице, довольный потемками, как сова, захватившая свою добычу, осторожно отворил и так же осторожно снова затворил за собой двери, прислушался к царившей в квартире тишине и, убедившись, что Козетта и Туссен, судя по этой тишине, уже спят, дрожащими руками стал обмакивать в бутылку с фосфорическим составом одну за другою несколько спичек, пока наконец одна из них не вспыхнула. Спички не загорались сразу потому, что у старика дрожали руки от сделанного им поступка, походившего на воровство.

Когда свеча была зажжена, он облокотился на стол и стал читать записку.

Впрочем, когда человек сильно возбужден перспективою того, что готовится прочесть, то он, собственно, не читает, а, скорее, с жадностью набрасывается на бумагу, тискает ее, как жертву, мнет, вонзает в нее когти своего гнева или своей радости, сначала пробегает конец написанного, потом уж перескакивает к началу, внимание его в эти минуты отличается лихорадочной непоследовательностью, останавливаясь лишь на некоторых словах и схватывая только общий смысл написанного, оно часто прицепляется к чему-нибудь одному и пренебрегает остальным. Так и Жан Вальжан. В записке Мариуса к Козетте он прежде всего ухватился за следующие слова: «…Я умираю… Когда ты будешь читать эти строки, моя душа будет возле тебя…»

Слова эти произвели на него впечатление умопомрачительной радости: несколько мгновений он казался точно подавленным

внезапным переворотом, свершившимся внутри его.

Он смотрел на записку Мариуса с изумлением и вместе с тем с каким-то упоением, глаза его точно видели восхитительное зрелище: смерть ненавистного существа.

Он внутренне испустил дикий крик радости. Итак, все кончено! Развязка явилась скорее, чем он дерзал надеяться. Существо, служившее помехой его счастью, исчезло, удалилось с его горизонта само собой, добровольно. Без всякого содействия с его, Жана Вальжана, стороны, без его вины «этот человек» умирал, быть может, уже умер.

Несмотря на свое страшное волнение, старик задумался и пришел к выводу, что Мариус должен быть еще жив. Письмо, очевидно, было написано с расчетом, что Козетта прочтет его только утром. Со времени тех двух залпов, которые прогремели между одиннадцатью часами и полуночью, со стороны баррикады все было

тихо; по всей вероятности, вторая атака произойдет только на рассвете.

«Впрочем, — рассуждал далее Жан Вальжан, — раз „этот человек“ вмешался в такое дело, то, захваченный горнилом войны, он все равно должен погибнуть».

Старик почувствовал себя так, точно с его плеч свалилась давившая на него гора. Теперь он опять останется один с Козеттой. Соперник устранен, и у него с Козеттой все пойдет по-старому. Стоит ему только оставить эту записку у себя, и Козетта никогда не узнает, что сделалось с «этим человеком». Нужно предоставить события самим себе. «Этот человек» уже не может ускользнуть от своей судьбы. Если он еще не умер, то, во всяком случае, уже на пороге смерти. Какое счастье!

Однако, сказав себе все это, Жан Вальжан снова задумался.

Немного погодя, он вторично вышел из своей квартиры, спустился вниз и разбудил привратника. Потом снова поднялся наверх к себе

и через некоторое время вышел на улицу вооруженный, в мундире национального гвардейца.

Привратник по его просьбе без особенного затруднения достал ему у соседей все, чего не хватало для полной экипировки. При нем было заряженное ружье и полный патронташ.

Выйдя из своей улицы, он направился к Рынку.

Глава 298

С Гаврошем между тем случилось следующее приключение. Разбив несколько фонарей на улице Шом, он победоносно вступил на улицу Вьель-Гордиет и, не видя на ней даже «кошки», нашел, что это самое удобное место «драть глотку». Пользуясь случаем, он затянул во все горло песню, состоявшую из бесконечного множества куплетов, в которых, если подчас и не имелось смысла, зато было много веселья и бесшабашной удали.

Злословил дрозд в тени дубравы:

«Недавно с девушкой одной

Какой-то русский под сосной…»

Мои красавицы, куда вы

Умчались пестрой чередой?

Дружок Пьерро, ну что за нравы, —

Ты, что ни день, всегда с другой!

К чему калейдоскоп такой?

Мои красавицы, куда вы

Умчались пестрой чередой?

Подчас любовь страшней отравы!

За горло нежной взят рукой,

Терял я разум и покой.

Мои красавицы, куда вы

Умчались пестрой чередой?

О, где минувших дней забавы,

Лизон играть хотела мной,

Раз, два… и обожглась игрой!

Мои красавицы, куда вы

Умчались пестрой чередой?

Когда Сюзетта — Боже правый! —

Метнет, бывало, взгляд живой,

Я весь дрожу, я сам не свой!

Мои красавицы, куда вы

Умчались пестрой чередой?

Я перелистываю главы,

Мадлен со мной в тиши ночной,

И что мне черти с Сатаной!

Мои красавицы, куда вы

Умчались пестрой чередой?

Но как причудницы лукавы!

Приманят ножки наготой —

И упорхнут… Адель, постой!

Мои красавицы, куда вы

Умчались пестрой чередой?

Бледнеют звезды в блеске славы,

Когда с кадрили, ангел мой,

Со мною Стелла шла домой!

Мои красавицы, куда вы

Умчались пестрой чередой?

Пение нисколько не препятствовало ему быстро идти; напротив, оно даже еще способствовало этому. Детский голос маленького бродяги звонко разносился среди домов, обитатели которых были погружены в сон или дрожали от страха.

Гаврош сопровождал свое пение размашистыми жестами. Подвижная физиономия мальчика, обладавшая изумительной способностью преображаться, принимала всевозможные гримасы, еще более судорожные и причудливые, нежели прорехи рваной парусины, раздуваемой сильным ветром. К сожалению, никто не мог видеть его и полюбоваться им на этой безлюдной и темной улице. Нередко случается, что так же напрасно пропадают многие таланты.

В одном месте Гаврош вдруг остановился и сказал самому себе:

— Однако довольно драть горло. Посмотрим, что там такое.

Его зоркие глаза заметили в углублении ворот одного дома то, что в живописи называется «ансамблем», то есть «существо» и «предмет». В качестве «предмета» оказалась ручная тележка, а в качестве «существа» — спавший в этой тележке овернец. Оглобли тележки упирались в мостовую, а голова овернца в задок тележки. Туловище спящего лежало вытянутым на этой наклонной плоскости, а ноги свешивались на землю. Опытный в житейских делах, Гаврош сразу понял, что спавший овернец пьян. По всей вероятности, это был какой-нибудь комиссионер с угла, до такой степени напившийся, что был даже не в состоянии дотащиться до своей конуры.

— Вот, — рассуждал сам с собой Гаврош, — на что годны летние ночи. Овернец спит на улице в своей тележке, как у себя дома на постели.

Тележку можно забрать с собой, — а овернца оставить здесь.

В голове Гавроша сверкнула блестящая мысль: «Тележка украсит нашу баррикаду».

Овернец храпел во всю силу своих легких. Гаврош потихоньку потянул тележку за задок, а овернца — за переднюю часть, то есть эа ноги, и через минуту овернец, даже не пошевельнувшийся во время этой операции, продолжал безмятежно спать уже прямо на мостовой. Таким образом, тележка освободилась.

Гаврош, привыкший ко всяким неожиданностям, всегда имел при себе запас всякой всячины. Он пошарил у себя в карманах, вытащил оттуда лоскуток бумажки, огрызок красного карандаша, взятый у какого-нибудь плотника, и написал на этом лоскутке:

«Твоя тележка получена. Гаврош».

Он сунул записку в карман плисового жилета сладко похрапывавшего овернца, потом подхватил тележку и пустился с нею вскачь по

направлению к Рынку, с неописуемым грохотом толкая ее перед собой. Но именно этим он и навлек на себя опасность.

Возле королевского печатного двора был временно устроен военный пост, чего Гаврош не знал. Пост этот был занят национальными гвардейцами из окрестностей города. Внимание солдат было обострено; лежа на своих походных койках, они не раз уже приподнимали головы, прислушиваясь к тому, что происходило на улице.

Шум разбиваемых фонарей, пение во всю глотку — все это было нечто из ряда вон выходящее на этих глухих мирных улицах, обыватели которых любят ложиться спать почти с заходом солнца и рано тушат огни. В продолжение целого часа гамен производил в этом тихом околотке шум мухи, попавшейся в бутылку.

Сержант поста долго прислушивался и выжидал, что будет дальше. Это был человек положительный, никогда не делавший ничего зря. Но неистовый грохот тележки по мостовой

истощил меру терпения сержанта и заставил его решиться произвести рекогносцировку.

— Тут, очевидно, их целая шайка! — пробормотал он себе под нос. Вообразив, что гидра анархии выползла из своего логовища и забралась в этот околоток, сержант, крадучись, вышел из поста на улицу.

Гаврош, уже выбиравшийся со своей тележкой с улицы Вьель-Гордиет, вдруг неожиданно очутился лицом к лицу с человеком, на котором красовались мундир, кивер с султаном и разного рода оружие.

Ввиду этого препятствия гамен невольно остановился.

— А, вот это кто! — проговорил он. — Здравствуйте, господин блюститель общественного порядка!

Гаврош никогда и ни перед чем не становился надолго в тупик.

— Куда тебя несет, дрянной мальчишка? — крикнул сержант.

— Гражданин, я еще не обругал вас, зачем же вы оскорбляете меня? — возразил Гаврош.

— Куда ты идешь, негодяй? — продолжал сержант.

— Сударь, вчера, быть может, вы и были умным человеком, но сегодня как будто вы на него не похожи…

— Я спрашиваю тебя, куда ты идешь, разбойник?

— Как вы это мило говорите! — воскликнул Гаврош. — Право, трудно поверить, что вам столько лет. Вам бы следовало продать каждый свой волосок по сто франков за штуку, тогда у вас сразу оказалось бы несколько сотен…

— Ты скажешь мне, наконец, куда идешь, мошенник?

— А это совсем уж некрасивое слово! — продолжал гамен. — Когда вам в следующий раз дадут соску, попросите сначала обтереть ваш рот…

Взбешенный сержант, приставив к груди мальчика штык, произнес зловещим шепотом:

— Я в последний раз спрашиваю: куда ты идешь, несчастное отродье?

— Ваше превосходительство, я еду за доктором для моей супруги: она собирается производить на свет такого же молодца, как вы…

— К оружию! — крикнул сержант, не помня себя от ярости. Люди мужественные часто спасаются посредством того же, что вовлекло их в опасность.

Гаврош сразу сообразил, что виновницей его неприятного положения была тележка, поэтому она же должна и выручить его.

В тот момент, когда сержант хотел приступить к «действию», тележка, превращенная в метательный снаряд и ловко пущенная гаменом, уже летела в храброго воина и ударила его прямо в живот, так что злополучный «блюститель общественного порядка» свалился в канаву,

причем ружье его выстрелило в воздух само собой.

На крик сержанта из поста сразу выскочила целая толпа солдат. Выстрел ружья, разрядившегося во время падения сержанта в канаву, вызвал со стороны гвардейцев целый залп наудачу, а за ним и другой.

Эта стрельба в воздух продолжалась целых четверть часа и лишила немало стекол в окнах соседних домов.

Между тем Гаврош, бросивший свою тележку и улепетывавший во весь дух, успел уже пробежать несколько улиц и, едва переведя дух, присел наконец на тумбу, образующую угол улицы Красных Детей.

Стараясь отдышаться, он в то же время чутко прислушивался к каждому звуку.

Обернувшись в ту сторону, откуда доносилась ружейная стрельба, мальчик три раза подряд сделал туда левой рукой «нос», а правой ударил себя столько же раз по затылку. Это был

любимый жест парижских гаменов, в котором сосредоточивалась вся их ирония и который, очевидно, очень устойчив, потому что существует уже полвека.

Шаловливое настроение гамена, однако, вдруг омрачилось одной мыслью, внезапно блеснувшей у него в голове.

«Гм! — сказал он себе. — Я вот тут забавляюсь, а того не подумаю, что сбился с дороги и теперь должен сделать большой крюк… Так, чего доброго, пожалуй, и не попадешь вовремя на баррикаду». Он вскочил и снова пустился бежать. На бегу он вспомнил, что не окончил своей песни и, быстро работая ногами, продолжал ее как раз с того куплета, на котором остановился, когда увидел тележку с овернцем.

Вновь громко зазвучал среди ночи его свежий молодой голосок по пустынным улицам старого Парижа.

Военный пост между тем недаром пустил в ход оружие: воины забрали в плен тележку и ее пьяного владельца.

Тележку послали на съезжую, а арестованного посыльного судили как соучастника. Тогдашняя прокуратура проявила чрезвычайное усердие, «защищая общественный порядок».

Приключение Гавроша сохранилось в памяти квартала Темпль, как одно из самых ужаснейших воспоминаний старых буржуа, и носит в Марэ до сих пор название «Ночной атаки на воинский пост королевской типографии».

Глава 299

Две самые известные баррикады из числа тех, которые мог наблюдать исследователь социальных болезней, не принадлежат к тому периоду, который описывает эта книга. Обе эти баррикады являются символом той грозной эпохи, которая вызвала их появление на улицах Парижа. Это было в дни фатального июньского восстания 1848 года — года, видевшего самые грандиозные уличные бои, какие только бывали в истории.

Иногда бывает так, что «чернь» бросается в битву с «народом», вопреки принципам, вопреки свободе, равенству и братству, пренебрегая правом всеобщего голосования, восставая против власти всех и вся, бросаясь с протестом, из безысходной глубины своего отчаяния, своей безнадежности, своих болезней, нищеты, нужды, своего ужасающего мрака и невежества. «Чернь» восстает против «народа», гезы нападают на общественное право, охлократия восстает на демос.

Вот откуда эти трагичные дни. Всегда есть значительная доля истины в этом общественном безумии; есть что-то похожее на самоубийство в этой дуэли человеческих принципов. А эти обозначения, имеющие целью оскорбить: гезы, плебеи, охлократия, чернь… Увы! Они констатируют лишь преступление тех, кто господствует, а не вину тех, кто страдает. Скорее преступление привилегированных классов, нежели вину обездоленных.

Что касается меня, то я никогда не произношу этих имен иначе как с чувством горя и уважения к ним, ибо философ, углубляющийся в явления, соответствующие этим названиям, видит наряду с их отверженностью также их величие. Афинская республика была охлократией; гезы создали Голландию; плебеи были постоянными спасителями Рима и, наконец, чернь последовала за Иисусом Христом. Нет мыслителя, который не созерцал бы в задумчивости величавости человеческого дна. Именно об этой «черни» и размышлял святой Иероним.

Из среды этих голодранцев, из этой бедноты, из этих бродяг и отверженных вышли апостолы и мученики, о них сказаны эти таинственные слова: Fex urbis, lex orbis {Подонки столицы — это законодатели вселенной (лат.).}.

Ожесточение нищей, страдающей толпы, ее кровоточащие раны, ее бессмысленный бунт против начал своей же жизни, пути, избранные ею для борьбы с законом, — все это государственный переворот, все это подлежит

подавлению. Но честный человек должен признать, что, даже выступая против восставших по обязанности, он должен любить ее. Но как он может уважать, чтить, любить и все-таки противодействовать массе? Это тот редкий момент, когда исполнение долга до такой степени бывает мучительным, что порой, соблюдая присягу, он вдребезги разбивает целостность духа и невыносимо терзает свое сердце.

Июнь 1848 года, спешу это отметить, почти не находит себе места в философии истории. Все слова, сказанные нами, ничего не выражают, когда речь идет об этом необычайном восстании, в котором чувствуется священная мука труда, провозглашающего свои права. Народ посягнул на Республику и потому был повержен. Но, в сущности, чем был июнь 1848 года? Возмущением народа против самого себя!

Теперь, не упуская из виду предмета нашего изложения, не делая отступлений, да будет нам позволено остановить внимание читателя на двух

баррикадах, исключительных по значению, какое они имеют для характеристики этого восстания.

Одна преграждала вход в Сент-Антуанское предместье, другая защищала подступы к предместью Тампль. Кто видел на фоне ясного июньского неба эти жуткие шедевры гражданской войны, тот никогда их не забудет.

Сент-Антуанская баррикада была чудовищно огромна. Она достигала высоты третьего этажа и равнялась семистам шагам в длину. Баррикада пересекала из угла в угол широкое устье пригорода, то есть целых три улицы. Изрытая, искромсанная, извилистая, изрубленная, в огромных дырах, словно оттого, что ее прогрызли гигантские зубы, с нагромождениями, превращенными в бастионы, выступая мысами туда и сюда, могуче опираясь на выступы больших зданий, — она высилась циклопическим сооружением в глубине этой страшной площади, уже пережившей 14 июля. Девятнадцать баррикад спускались по улицам позади этой главной баррикады. Достаточно было взглянуть

на нее, чтобы почувствовать степень агонии страданий, несущихся с бешеной скоростью к катастрофе. Из какого материала построили эту баррикаду? Из обломков трех шестиэтажных домов, специально для этого разрушенных, говорили одни. Она воздвигнута волшебством народного гнева, говорили другие. Она являла печальное зрелище постройки, возведенной ненавистью, — руины. Можно было с одинаковым удивлением спросить, кто построил это, а также: кто это разрушил? То была импровизация возмущения. Тащи! Вот дверь, вот решетка. Бросай, толкай, сшибай, ломай. В одну груду были свалены: камни мостовой, брусья, балки, стулья, железные прутья, лохмотья и клочья, имущество нищеты и несчастий. Это было и величаво, и ничтожно. Это было грозное братанье обломков вещей, чуждых друг другу. Сизиф накидал сюда свои скалы, а Юпитер подбросил черепков. Получилось сочетание, наводящее благоговейный ужас. Это был босяцкий акрополь. Опрокинутые тележки цеплялись друг за друга на отвесном склоне,

огромная повозка торчала сверху выставленными к небу осями и казалась толстым шрамом на этом беспокойном лице баррикады; широкий омнибус, весело поднятый на руках на самую вершину сооружения, как бы специально своим забавным видом усиливая впечатление от этого дикого зрелища, выставлял наверх свое дышло, словно для какой-то неведомой запряжки воздушными конями. Эта исполинская груда, созданная волнами мятежа, рисовалась каким-то нагромождением Оссы на Пелион, на которых сгрудились все революции: 1793 год падал на 1789, 9 термидора — на 10 августа; 18 брюмера — на 21 января, вандемьер — на прериаль, 1848 год на 1830. Место было достойно усилий, и эта баррикада стоила того, чтобы возникнуть на окраине, которая обеспечила падение Бастилии.

Если бы океан сам воздвигал преграды, то он строил бы их именно так, как была сооружена эта баррикада. Бесформенные нагромождения напоминали бурю потока. Какого потока? Потока живой толпы. Казалось, что закаменела в

цепенящей неподвижности суетливая суматоха Содома.

Казалось, что слышишь над баррикадой, похожей на улей, жужжание огромных мрачных пчел, бурно стремящихся вперед. Что это: дикая чаща, вакханалия, крепость? Казалось, что все это возникло от единого взмаха какого-то безумного крыла. Было что-то похожее на клоаку в этом странном сооружении.

Было видно, как, словно ожидая пушечных выстрелов, тут валялись стропила, целые углы мансард, оклеенные цветными обоями, оконные рамы, торчащие из обломков, разрушенные куски печей, шкафы, столы, скамьи, кричащий беспорядок из тысячи вещей нищенского скарба, брошенных даже попрошайками, вещей, носящих на себе следы гнева и разрушения. Здесь были лохмотья и обломки, словно выброшенные одним взмахом колоссальной метлы из Сент-Антуанского предместья и по нужде сложенные в баррикаду. Обрубки дерева, похожие на плаху, разорванные цепи, бревна с перекладинами,

похожие на виселицы, торчащие горизонтально колеса — все давало этому странному сооружению сходство с камерой пыток, полной старинными орудиями казней, испытанных народом. Сент-Антуанское предместье все превращало в оружие; все, что только гражданская война могла бросить против общества, исходило оттуда. Это не было битвой, это были припадки бешенства; карабины и мушкетоны стреляли осколками посуды, костями, пуговицами, вплоть до колесиков от стола и мебели, опасных потому, что они были сделаны из меди.

Эта баррикада неистовствовала. Она испускала крики и возгласы непередаваемой силы. Толпа, как буря, шумела над ней и венчала ее скаты и выступы суматохой горячих голов. Она была украшена щетинистым гребнем ружей, сабель, палок, топоров, пик и штыков. Широкое красное знамя хлопало краями полотнища под сильным ветром. Слышались крики команды, революционные песни, бой барабана, рыдания женщин и взрывы адского смеха умирающих с

голоду. Она была безмерна и полна жизни. От нее, словно от шерсти наэлектризованного зверя, исходили искры и треск. Дух революции веял над ее вершиной, и голос народа гремел оттуда подобно голосу гневного бога. Эта груда мусора словно излучала небывалое величие. Какая-то куча отбросов внезапно стала величавой, как гора Синай. Как я уже отметил, она нападала именем Революции… Что?! Да, Революции. Она — эта баррикада — этот сплошной случай, заблуждение, ужас, неизвестность, она видела перед собой учредительное собрание, верховную власть народа, всеобщее избирательное право. Нацию-Республику. Это была «Карманьола», бросающая вызов «Марсельезе».

Вызов бессмысленный, но полный героизма, как и весь этот пригород — старый герой революции.

Предместье и его Редут оказывали друг другу поддержку и помощь. Предместье опиралось на Редут, а Редут крепко сидел на предместье. Огромная баррикада напоминала скалы, о

которые разбивались стратегические ухищрения прославившихся в африканских походах генералов. Ее отверстия, ее наросты, дыры и гнезда словно строили чудовищную гримасу и издевались надо всем под клубами дыма. Ружейные пули и снаряды поглощались ею бесследно, ядра делали новые дыры в старых. К чему было обстреливать этот хаос?

И полки солдат, привыкшие к самым диким картинам войны, смотрели беспокойным взором на этого страшного зверя, огромного, как гора, и щетинистого, как дикий кабан.

В четверти мили отсюда, на углу улицы Тампль, выходящей к бульвару близ Шатодо, горделиво возвышалась другая баррикада. Ее было видно издали, с другой стороны канала, от барьера Бельвиль, где она, подходя к магазину Даллемань, возвышалась до уровня второго этажа и крепко соединялась со стенами домов и с мостовой, словно улица сама круто свернула, чтобы перегородить новой стеной дорогу себе самой. Эта баррикада дышала холодом, была

прямой, отчетливо выверенной по отвесу и вытянутой в ниточку. Она не была скреплена цементом, но, подобно римским постройкам, скреплялась правильностью строительной подгонки частей. Высота баррикады говорила и о ее толщине. Все ее линии были очень строги и чисты.

На равных расстояниях там и здесь по серой поверхности стены виднелись бойницы, почти неразличимые. Издали они сливались в какую-то черную массу. Улица казалась пустынной. Окна и двери были наглухо закрыты, а в глубине высилась эта плотина, превращавшая улицу в какую-то ловушку. Стена была неподвижна и спокойна. Не было видно ни души, не было слышно ни звука, ни крика, ни шума, ни вздоха.

Тишина гробницы.

Солнечный свет июньского дня заливал потоками это страшное сооружение.

Такова была баррикада предместья Тампль.

Подойдя к этому месту, даже самые смелые люди, видя ее, поражались, становились задумчивыми, как перед таинственным явлением природы. Оно поражало выверенностью, четкостью, симметричностью частей, погребальным покоем и порядком. Казалось, что начальником этой страшной баррикады был или искусный геометр, или выходец из ада. Глядя на нее, говорили шепотом.

Время от времени, если кто-нибудь из солдат, офицеров или народных представителей осмеливался пересечь пустынную мостовую, слышался легкий свист, острый и слабый в то же время, и идущий падал, убитый или раненый, а если ему удавалось уцелеть, то слышно было, как пуля сбивала штукатурку и вонзалась в стену.

Тут и там валялись трупы, и по мостовой растеклись лужи крови. Я помню белую бабочку, залетевшую на эту улицу. Лето не отрекалось от своих прав.

В округе все подъезды были забиты ранеными.

Чувствовалось, что кто-то берет на мушку, кто-то невидимый целится и что улица во всю свою длину находится под прицелом.

Сгрудившись позади изгиба, который делала старинная застава Тампля у канала, солдаты атакующей колонны, мрачные и полные раздумья, наблюдали за этим суровым редутом, созерцая его неподвижность, Раздумывая о неприступности этого сооружения, сеющего смерть. Некоторые смельчаки подползали, лежа на животе, к середине крутого моста, заботясь о том, чтобы кивер не высовывался из-за защиты. Храбрый полковник Монтэйнар с дрожью в голосе выражал свое восхищение баррикадой:

— Как это сделано! Ни один камешек не торчит! Это прямо фарфоровая игрушка!

В эту минуту пуля пробила орденский крест у него на груди. Полковник упал.

— Подлецы! — крикнул он. — Ведь они прячутся. Они боятся показать нос!

Баррикада Тампля, защищаемая восьмьюдесятью революционерами, три дня держалась против десяти тысяч атакующих ее солдат. На четвертый, когда сделали так же, как при взятии Константины и Зааши, то есть когда пробили соседние дома и влезли на крыши, баррикада была взята. Ни один из восьмидесяти бойцов не скрылся бегством, они были убиты все до единого за исключением Бартелеми, ее вождя, о котором речь пойдет особо. Сент-Антуанская баррикада была шумом и громом, баррикада Тампля была мертвым молчанием. Обе они поражали зловещим несходством. Одна — как пасть, другая — как маска! Гигантское и мрачное июньское восстание носило печать гнева и загадочности, и потому в первой баррикаде чувствовался дракон, а во второй запечатлелся сфинкс.

Два человека были их строителями: один — Курнэ, другой — Бартелеми. Сент-Антуанскую возглавлял Курнэ, баррикаду Тампля — Бартелеми.

Каждый носил в себе черты, переданные своей постройке.

Курнэ был огромного роста, широкоплечий, с красным лицом, могучими кулаками, смелым сердцем, строгой душой, взглядом страшным и в то же время чистым. Он был бестрепетным, энергичным, гневным, бурным, но не было более сердечного человека и более страшного бойца.

Война, борьба, схватка — это было его родной стихией, вдыхая ее, он был счастлив. Он был морским офицером: его жесты, движения, голос ясно говорили о том, что это дитя океана, что это уроженец штормов и бурь. И в битвах он продолжал работу морского урагана. В нем сияли гений и божественность Дантона, так как в Дантоне были черты Геркулеса.

Бартелеми, худощавый, тощий, бледный и медлительный, представлял собой человека из породы мальчишек, переживших трагедию. Полицейский агент ударил его по щеке, в ответ на этот удар Бартелеми его подстерег, убил и

семнадцати лет был отправлен на каторгу. Он вышел оттуда и сделал эту баррикаду.

Позже — роковой случай! — в Лондоне, где оба они были изгнанниками, Бартелеми убил Курнэ. Это был бессмысленный поединок. Немного времени спустя, захваченный жерновами таинственных событий, к которым примешалась страсть, став жертвой катастрофы, в которой французское правосудие нашло немало обстоятельств, смягчающих его вину, он был приговорен английским судом к смертной казни. Бартелеми был повешен.

Наше несовершенное общественное устройство организовало жизнь так, что в силу материальной нищеты и в силу непросветленности морального сознания этот несчастный человек, полный ума, твердый и верный, быть может великий человек, начал свою жизнь во Франции каторгой и закончил ее в Англии на виселице. Бартелеми во всех случаях водружал только одно знамя — черное.

Глава 300

Шестнадцать лет подготовки восстания были сроком, вполне достаточным, и июнь 1848 года знал и умел больше, нежели июнь 1832 года. Таким образом, баррикада на улице Шанврери была лишь первым опытом и зародышем по сравнению с колоссальными баррикадами, которые мы сейчас описали. Но для своего времени она была великой.

Повстанцы под руководством Анжолраса, принявшегося за дело, так как Мариус впал в апатию, стремились с толком использовать ночное время. Баррикада была не только исправлена, ее еще и надстроили. Они сделали ее на два фута выше. Железные полосы, воткнутые в мостовую между камнями, выполняли роль наклоненных вперед копий. Всевозможный мусор, натасканный отовсюду, помог закончить укрепление внешней стороны баррикады. Редут по всем правилам науки имел гладкую стену внутри и неровную колючую поверхность снаружи.

Из булыжника сложили ступени, которые давали возможность взбираться на баррикаду, как на стену цитадели.

Устроили и хозяйственную часть баррикады. Для этого очистили нижнюю залу, превратили кухню в походный госпиталь, сделали перевязки раненым, щипали корпию, очистили внутренность редута, подобрали обломки, унесли трупы.

Убитых сложили в переулке Мондетур, который все еще оставался в их распоряжении. В числе убитых было четверо национальных гвардейцев. Анжолрас приказал положить в сторону снятые с них мундиры и посоветовал соснуть часа два. Совет Анжолраса был приказанием. Тем не менее им воспользовались всего только трое или четверо.

Фейи использовал эти два часа для того, чтобы вырезать на наружном фасаде кабачка слова:

ДА ЗДРАВСТВУЮТ НАРОДЫ!

Эти три слова, выскобленные гвоздем на песчанике, можно было видеть еще в 1848 году.

Три женщины воспользовались ночным перерывом, чтобы окончательно исчезнуть, что значительно облегчало бунтовщикам их положение.

Они нашли возможность укрыться в каком-то соседнем доме.

Большая часть раненых могла и хотела еще сражаться. В кухне, превращенной в походный госпиталь, на тюфячке и на связках соломы лежало пятеро серьезно раненных, двое из них были солдаты муниципальной гвардии. Они были перевязаны первыми.

В нижней зале оставались только Мабеф, лежавший, прикрытый черным сукном, и Жавер, привязанный к столбу.

— Здесь будет мертвецкая, — сказал Анжолрас.

В глубине этой комнаты, слабо освещенной сальным огарком, позади столба стоял стол, на

котором лежал покойник. Этот стол имел вид поперечной перекладины. Фигура Жавера, стоявшего у столба, и фигура Мабефа, лежавшего на столе, образовывали подобие креста.

Дышло омнибуса, хотя и разбитое выстрелами, держалось еще крепко, так что к нему можно было привязать знамя.

Анжолрас, обладавший всеми качествами вождя, который всегда делал то, что говорил, привязал к этому древку простреленную и окровавленную одежду убитого старика.

Есть было нечего, потому что не было ни хлеба, ни мяса. Пятьдесят человек, защищавших баррикаду, находились здесь уже шестнадцать часов, и за это время быстро закончился запас провизии, имевшийся в кабачке. В какой-то момент любая баррикада неизбежно становится плотом «Медузы», и защитникам ее приходится терпеть голод. На рассвете памятного дня 6 июня на баррикаде Сен-Мерри Жан, окруженный инсургентами, требовавшими хлеба, на крики:

«Есть!» — отвечал: «Зачем? Теперь три часа, в четыре мы умрем».

Так как есть было нечего, то Анжолрас запретил и пить. Вино он запретил пить совсем, а водку распределил на порции.

В погребе нашли пятнадцать герметически закупоренных бутылок. Анжолрас и Комбферр осмотрели их. Комбферр, вылезая из погреба, объявил:

— Это из старых запасов Гюшлу, который начал свою деятельность бакалейщиком.

— Это, должно быть, настоящее вино, — заметил Боссюэт. — Хорошо, что Грантэр спит. Будь он на ногах, трудно было бы спасти эти бутылки.

Анжолрас, несмотря на ропот окружающих, наложил вето на эти бутылки, а чтобы никто их не тронул, чтобы сделать их, так сказать, священными, он приказал поставить бутылки под стол, на котором лежал Мабеф.

Около двух часов утра сделали перекличку; налицо оказалось тридцать семь человек.

Стало светать. Потушили факел, вставленный в груду булыжника. Внутренняя часть баррикады, нечто вроде маленького дворика, отгороженного среди улицы, еще утопала во мраке и была похожа в предрассветных утренних сумерках на палубу судна с перебитым рангоутом. Бродившие взад и вперед революционеры двигались как черные тени. Над этим ужасным гнездом мрака белели стены верхних этажей безмолвных домов; дальше, совсем наверху, вырисовывались трубы. Небо имело тот прелестный неопределенный оттенок, который можно назвать и белым, и голубым. Под этим сводом с веселыми криками летали птицы. Крыша высокого дома, служившего основанием баррикады и обращенного фасадом к востоку, имела розоватый оттенок. В слуховом окне третьего этажа утренний ветерок шевелил седые волосы на голове мертвеца.

— Я рад, что потушили факел, — сказал Курфейрак, обращаясь к Фейи. — Мне надоел этот дрожащий на ветру огонь. Он точно боится. Свет факела похож на благоразумие трусов: он плохо светит, потому что дрожит.

Заря пробудила не только птиц, но и умы. Все стали разговаривать. Жоли увидел пробиравшуюся по желобу на крыше кошку, и это дало ему случай пофилософствовать.

— Что такое кошка? — вскричал он. — Это корректура. Кошка — это опечатка мыши. Сначала мышь, а потом кошка — это просмотренная и исправленная корректура мироздания.

Комбферр говорил о мертвых, о Жане Прувере, о Багореле, о Мабефе, о Кабюке и о суровой печали Анжолраса. Он говорил:

— Гармодий и Аристогитон, Брут, Хереас, Стефанус, Кромвель, Шарлота Корде, Занд — все они страдали, совершив свое деяние. Наши сердца склонны к трепету, и жизнь человеческая такая тайна, что даже гражданское убийство,

даже убийство во имя свободы — если такое существует — вызывает угрызение совести. Раскаяние в убийстве человека берет верх над радостным сознанием оказанной услуги человеческому роду.

Минуту спустя — в силу естественных переходов в человеческой речи — Комбферр от стихов Жана Прувера перешел к сравнению переводчиков «Георгик», Ро с Курнандом, Курнанда с Делилем, приводя некоторые места, переведенные Мальфилатом, главным образом из чудесных страниц о смерти Цезаря. При упоминании о Цезаре речь опять коснулась Брута.

— Цезарь, — заметил Комбферр, — пал по справедливости. Цицерон был строг к Цезарю и был прав. Эта строгость вовсе не поношение. Когда Зоил ругает Гомера, когда Мевин ругает Виргилия, когда Визе ругает Мольера, когда Поп ругает Шекспира, когда Фрерон ругает Вольтера, то ими руководит общий закон зависти и ненависти; гении вызывают зависть, великих

людей в той или иной степени травят. Но зоил и Цицерон — это две разные вещи. Цицерон карает мыслью, как Брут карает шпагой. Что касается меня, я порицаю последний способ Кары посредством меча. Но древний мир ее допускал. Когда Цезарь, перейдя Рубикон, стал раздавать почетные звания как бы от себя, между тем как они шли от народа, когда он вставал с места при входе сената, — он поступал, по словам Евтропия, как царь и почти как тиран, revia ac oene tyrannica {По-царски и почти тиранически (лат.).}. Он был великий человек; тем хуже или, вернее, тем лучше: так урок убедительней. Его двадцать три раны трогают меня меньше, чем плевок в лицо, полученный Иисусом Христом. Цезаря закололи сенаторы; Христа били по щекам рабы. Великие оскорбления указывают на его божественное происхождение.

Боссюэт, стоя на груде булыжника, на голову выше болтунов, восклицал, держа карабин в руках:

— О Кидатеней, о Миррин, о Пробалинер, о прекрасный Эонтид! О! Кто научит меня произносить стихи Гомера так, как их произносил грек из Лаврия или Эдаптеона!

Глава 301

Анжолрас отправился на разведку. Он вышел через переулок Мондетур, прижимаясь к стенам домов.

Бунтовщики, надо заметить, были полны надежды на успех. Удача, с которой им удалось отбить ночную атаку, до такой степени воодушевила их, что они без малейшего страха ждали новой атаки на рассвете.

Анжолрас вернулся.

Он возвращался со своей смелой прогулки в предрассветной темноте за границей территории баррикады. С минуту, стоя со скрещенными на груди руками, он слушал эту веселую болтовню, а потом, свежий и румяный при свете наступающего утра, сказал:

— Вся армия Парижа в полном сборе. Третья часть этой армии стоит у той баррикады, где вы теперь находитесь. Затем еще национальная гвардия. Я видел шапки пятого полка и значки шестого легиона. Через час они пойдут на нас в атаку. Что же касается народа, то вчера он, правда, волновался, зато сегодня утром уже совершенно спокоен. Нам нечего ждать, не на что надеяться. В предместье только одни войска. Нам неоткуда ждать помощи.

Эти слова как громом поразили беседовавшие группы восставших и произвели такой же эффект, какой производит первая капля дождя, упавшая на рой пчел перед началом грозы.

Все стояли молча.

На баррикаде вдруг наступила тишина, в ней чуялось веяние смерти.

Но это продолжалось недолго.

Из самой отдаленной группы чей-то голос громко крикнул Анжолрасу:

— Хорошо. Надстроим баррикаду еще на двадцать футов и останемся здесь.

Эти слова рассеяли мрачные мысли повстанцев, находившихся на баррикаде, и все приветствовали их радостными восклицаниями.

Имя человека, сказавшего это, так и осталось неизвестным: это был, наверное, какой-нибудь простой блузник, безвестный пролетарий, забытый герой мгновения, тот представитель Великого Анонима Массы, который является составной частью событий, знаменующих собою политические перевороты и социальные революции. Именно он в минуты колебаний формулирует громко бесповоротное решение и исчезает во мраке после своего мгновенного появления в блеске молний — голос народа и божества.

Это окончательное решение до такой степени было разлито в воздухе 6 июня 1832 года, что почти в тот же самый час на баррикаде Сен-Мерри раздался возглас, ставший историческим, который был занесен в отчет судебного

разбирательства: «Придут ли к нам на помощь или нет, все равно! Будем биться до последнего!»

Обе эти баррикады, несмотря на разделявшее их расстояние, очевидно, сообщались одна с другой.

Глава 302

После того как неизвестный выразил этими словами то, что у каждого было на душе, из всех уст вырвался единодушный крик одобрения.

— Да здравствует смерть! Ляжем здесь все!

— Зачем же все? — спросил Анжолрас.

— Все! Все!

Анжолрас продолжал:

— Положение отличное, баррикада прекрасная. Тридцати человек для обороны достаточно. Для чего же жертвовать сорока людьми?

Ему отвечали:

— Потому что никто не захочет уйти.

— Граждане! — закричал Анжолрас, и голос его звучал почти раздраженно. — Республика не так богата людьми, чтобы приносить бесполезные жертвы. Мелочное тщеславие равняется мотовству. Если для некоторых из нас долг состоит в том, чтобы удалиться, долг этот должен быть выполнен ими, как и всякий другой.

Анжолрас, человек принципа, имел над своими единомышленниками ту власть, источник которой — безграничная сила. Однако, несмотря на его всемогущество, раздался ропот.

Как истинный начальник, Анжолрас, услышав ропот, проявил настойчивость. Он произнес тоном, не терпящим возражения:

— Пусть те, которые боятся остаться в числе только тридцати, заявят об этом.

Ропот усилился.

— Легко сказать: уходи, — заметил голос в одной из групп. — Баррикада окружена.

— Но не со стороны рынка, — сказал Анжолрас. — Улица Мондетур свободна, и по улице Проповедников можно добраться до рынка Инносен.

— А там быть арестованным, — отвечал другой голос из группы. — Как раз наткнешься на какой-нибудь линейный полк или же на пригородных гвардейцев. Они увидят, что идет человек в блузе и в фуражке. «Откуда ты, не с баррикады ли?» И поглядят на руки. «От тебя пахнет порохом. Расстрелять!»

Анжолрас не отвечал, тронул за плечо Комбферра, и оба вошли в залу нижнего этажа.

Некоторое время спустя они вышли оттуда.

Анжолрас держал в обеих руках четыре мундира, которые он приказал сохранить, а следовавший за ним Комбферр нес амуницию и каски.

— В этих мундирах, — сказал Анжолрас, — можно смешаться с солдатами и уйти. Здесь все, что нужно для четверых.

И он бросил четыре мундира на землю. Среди революционеров никто даже не пошевельнулся. Тогда начал говорить Комбферр.

— Ну, — сказал он, — надо же иметь хоть немножко жалости. Знаете ли вы, в чем тут дело? Все дело в женщинах. Слушайте. Есть у вас жены или нет, есть у вас дети или нет, есть у вас, в конце концов, матери? Тот из вас, кто никогда не видел грудь кормилицы, пусть поднимет руку! А! Вы все хотите быть убитыми, я тоже этого хочу, но я не хочу видеть призраки женщин, которые будут ломать вокруг меня руки. Умирайте, я согласен, но не заставляйте умирать других. Самоубийство, подобное тому, на которое мы обрекаем себя здесь, допустимо с известной точки зрения, но понятие о самоубийстве очень узко и не допускает никаких уклонений в сторону, и там, где оно касается ваших близких, оно называется уже убийством. Подумайте о маленьких белокурых головках и подумайте о седых волосах. Слушайте! Анжолрас видел, он сейчас только что рассказывал мне об этом, видел в угольном доме на Лебяжьей улице, у окна

маленькой комнатки в пятом этаже, где горела всего только одна свеча, дрожащую тень дряхлой старушки, которая, по-видимому, еще не ложилась спать и кого-то ждала. Может быть, это мать одного из вас. Ну, так пусть он идет как можно скорее к своей матери и скажет ей: «Мать, я пришел!» Пусть он не беспокоится, все, что нужно сделать, будет здесь сделано. Те, кто своим трудом поддерживает близких, не имеют права жертвовать собой. Это значит покинуть семью. А потом те, у кого есть дочери, у кого есть сестры! Вы подумали об этом? Вы пожертвуете собой, будете убиты, хорошо, а завтра? Положение молодых девушек, вынужденных самостоятельно добывать себе пропитание, ужасно. Мужчина просит милостыню, женщина продает себя. Эти очаровательные создания, эти грациозные и милые девушки в чепчиках с цветами, которые наполняют дом целомудрием, оживляют его пением и веселой болтовней, которые заставляют верить в существование ангелов на небе потому, что на земле живут такие непорочные создания, и вдруг всем этим честным и достойным обожания

созданиям, Жанне, Лизе и Мими, которых вы считаете благословением и гордостью вашей семьи, и вдруг всем им придется голодать! Что еще могу я вам сказать? Существует торговля человеческим телом, и вы оттуда, из царства теней, не в состоянии будете удержать их от этого! Вспомните только, что такое улица, по которой снует столько разного народа, подумайте о магазинах, мимо которых ходят по грязи женщины с обнаженными плечами и грудью! А ведь эти женщины тоже были когда-то чисты. Подумайте о ваших непорочных сестрах. Нищета, проституция, голод, Сен-Лазар — вот что ждет этих нежных очаровательных девушек, эти хрупкие создания, полные стыдливости, прелести и красоты. А! Так вы хотите быть убитыми! Вы хотите, чтобы вас больше не существовало! Не делайте этого, друзья, надо же иметь сострадание. Несчастные женщины, как мало о них думают! Обыкновенно надеются на то, что женщины получают иное воспитание, чем мужчины, им не дают читать, не дают думать… может быть, вы запретите им идти сегодня

вечером в морг, где они увидят ваши трупы? Ну, так вот, пусть те, у кого есть семьи, покажут себя настоящими мужчинами, пусть они пожмут нам руки и уходят, предоставив нам одним докончить наше дело. Я знаю, сколько нужно иметь мужества, чтобы уйти отсюда, это трудно, очень трудно, но чем это труднее, тем похвальнее. Вы мне скажете: «У меня есть ружье, я на баррикаде, и как бы скверно ни было, я остаюсь здесь!» Скверно, это легко сказать. Друзья мои, но вы забываете про завтрашний день. Вас завтра не будет, но ваши семьи будут существовать и завтра. И сколько их ждет страданий! Слушайте, красивый, здоровый ребенок, у которого щечки, как наливные яблочки, который болтает, лепечет, тараторит, смеется, которого так приятно поцеловать… а знаете ли вы, что его ждет, когда он останется сиротой? Я видел одного такого ребенка, совсем маленького, вот такого роста. Отец его умер. Бедные люди из милосердия взяли его к себе, Но у них у самих не было хлеба. Ребенок вечно голодал. Это было зимой. Он не плакал. Он все бродил возле печки, в которой

никогда не бывало огня, а труба, как вы знаете, делается из желтой глины. Ребенок отколупывал своими слабыми пальчиками эту глину и ел ее. Он хрипло дышал, лицо у него было синеватое, ноги слабые, живот вздутый. Он ничего не говорил. Пробовали с ним заговаривать, но он не отвечал. Он умер. Его отнесли умирать в приют Неккера, где я его видел. Я был интерном в этом приюте. А теперь, если среди вас есть отцы, которые считают за счастье выйти погулять в воскресенье, держа в своей сильной руке ручку ребенка, пусть каждый из отцов вообразит себе, что та же участь ждет и его ребенка. Я припоминаю его, эту несчастную маленькую мумию, и как сейчас вижу его на анатомическом столе с провалившимися боками, обтянутыми кожей, точно ямы на кладбище, поросшие травой. У него в желудке нашли какую-то грязь. Во рту у него была зола. Посоветуйтесь со своей совестью и поступите так, как вам подскажет сердце. Статистика доказывает, что из ста покинутых детей умирает пятьдесят пять. Повторяю еще раз, что тут дело идет о женах, о матерях, о молодых

девушках и о маленьких мальчиках. Разве кто-нибудь говорит о вас? Вас слишком хорошо знают для этого, знают, что вы все храбры, черт возьми! Тут не о чем говорить. Но вы не одиноки. У вас есть другие существа, о которых вы должны подумать. Не следует быть эгоистами.

Все с мрачными лицами опустили головы.

Как противоречивы движения человеческого сердца даже в такие минуты. Комбферр, так красноречиво уговаривавший своих товарищей, сам не был одинок. Он вспоминал о чужих матерях и забывал о своей. Он хотел непременно умереть. Он был «эгоистом».

Мариус, голодный, в лихорадке, дошедший до такого состояния, что утратил всякую надежду, утопавший в горе, как в бездонной пучине, вконец измученный пережитыми нравственными мучениями и предчувствуя скорый конец, все более и более погружался в оцепенение, всегда предшествующее роковой катастрофе, которую предвидишь и навстречу которой добровольно идешь.

Физиолог мог бы изучать по нему постепенное развитие симптомов того лихорадочно-нервного углубления в самого себя, которое давно уже известно в науке и даже носит особое название и которое особенно резко проявляется в моменты наивысших нравственных страданий, точно так же, как сознание радости в те минуты, когда чувствуешь себя счастливым. Отчаяние тоже, впрочем, может довести до экстаза. Мариус находился именно в таком состоянии. Он точно не присутствовал здесь, все, происходившее перед его глазами, казалось ему очень далеким, он видел только общую картину и не замечал подробностей. Он точно в тумане видел бродивших по баррикаде людей, а голоса их доносились к нему точно из пропасти.

Но речь Комбферра взволновала и его. В этих словах было что-то такое, что его задело и разбудило. У него была только одна мысль — умереть, и он не хотел отвлекаться ничем другим, но даже и в этом мрачном состоянии духа, похожем на состояние сомнамбулизма, он все-таки соображал и думал, что, обрекая себя на

гибель, он не лишается этим права спасти от смерти других.

И он возвысил голос и сказал:

— Анжолрас и Комбферр говорят правду: нет никакой надобности приносить бесполезные жертвы. Я разделяю их мнение и нахожу, что нужно торопиться. Комбферр так подробно объяснил вам все, что прибавить больше нечего. Среди вас есть семейные. Те, у кого есть мать, сестра, жена, дети, пусть выйдут вперед!

Никто не пошевельнулся.

— Женатые и те, кто содержит семью, выходите вперед! — повторил Мариус.

Его авторитет был велик. Анжолрас был начальником баррикады, но Мариус считался ее спасителем.

— Я вам приказываю! — крикнул Анжолрас.

— Я вас прошу! — сказал Мариус.

Тогда эти люди, потрясенные речью Комбферра, поколебленные приказанием

Анжолраса и тронутые просьбой Мариуса, стали показывать друг на друга.

— Да, это правда, — сказал один молодой человек, обращаясь к другому постарше. — Ты отец семейства. Уходи.

— Нет, уходи лучше ты, — возразил ему тот, — у тебя две сестры, которых ты кормишь.

И тут начался необычный спор о том, кто имеет право не быть выброшенным из могилы.

— Скорее, — сказал Курфейрак, — через четверть часа будет уже поздно.

— Выбирайте сами, кому следует уходить, — авторитетно заявил Анжолрас,

Совета его послушались, и через несколько минут пятеро были единогласно выбраны и вышли из рядов.

— Тут пятеро! — вскричал Мариус.

Между тем мундиров было всего только четыре.

— Ну что ж, — возразили пятеро избранников, — значит, одному нужно остаться.

Теперь опять нужно было решать, кому оставаться и кому перед другими принадлежит преимущественное право покинуть баррикаду. Опять начался спор на почве великодушия.

— У тебя жена, которая тебя любит.

— У тебя старуха-мать.

— У тебя нет ни отца, ни матери, что будет с твоими маленькими братьями?

— У тебя пятеро детей.

— Ты должен жить, тебе семнадцать лет, в такие годы слишком рано умирать.

— Скорее! — повторял Курфейрак.

Из толпы послышались крики, обращенные к Мариусу:

— Назначьте вы сами, кому следует остаться.

— Да, — повторяют за ними пятеро, — выбирайте. Мы вас послушаемся.

Мариус думал, что ничто уже не может вывести его из состояния апатии, а между тем при одной мысли, что ему нужно выбрать человека, обреченного на смерть, вся кровь прилила у него к сердцу Он бы побледнел, если бы и без того не был страшно бледен.

Он подошел к пятерым избранникам, которые смотрели на него, улыбаясь.

И Мариус, сам не зная, зачем он это делает, стал считать их: перед ним стояло пятеро. Потом он опустил глаза и перевел взгляд на четыре мундира.

В эту минуту, точно с неба, на четыре лежавших на земле мундира упал пятый.

Пятый человек был спасен.

Мариус поднял глаза и увидел Фошлевана.

Жан Вальжан только что пришел на баррикаду.

Разузнал ли он это каким-нибудь путем, или это подсказал ему инстинкт, или же наконец это произошло случайно, но только он прошел через

переулок Мондетур. Благодаря надетому на нем мундиру солдата национальной гвардии его везде легко пропустили.

Часовой, поставленный революционерами в переулке Мондетур, не счел нужным подавать сигнал тревоги только из-за одного национального гвардейца. Глядя на проходившего по улице Жана Вальжана, часовой думал: «Гвардеец идет, наверное, нам помогать, а если нет, то его возьмут в плен». Минута была слишком важная для того, чтобы часовой стал отвлекаться от своей обязанности и покидать порученный ему пост.

Когда Жан Вальжан входил, на него никто не обратил внимания, все глаза были устремлены на пятерых избранников и на четыре мундира. Жан Вальжан все видел и все слышал и, молча сняв с себя мундир, бросил его в кучу на остальные.

Возбуждение, вызванное этим поступком, было неописуемо.

— Кто это? — спросил Боссюэт.

— Это, — отвечал Комбферр, — человек, который спасает других.

Мариус прибавил твердым голосом:

— Я его знаю.

Такое заявление удовлетворило всех. Анжолрас, обращаясь к Жану Вальжану, сказал:

— Добро пожаловать! — а затем прибавил: — Вы знаете, что здесь все ждут смерти?

И Жан Вальжан, не отвечая, стал помогать спасенному им человеку надеть снятый с себя мундир.

Глава 303

В этот неумолимый час в этом роковом месте общее положение было таково, что в душе Анжолраса возникло целое море печали. То был итог его чувств и равнодействующая всех настроений товарищей по баррикаде.

Анжолрас испытывал полноту революционности, и все-таки он был недоволен, чувствуя, до какой степени революция носит незавершенный характер. Он по взглядам был чересчур сродни Сен-Жюсту и, быть может, недостаточно оценивал Анахарсиса Клотса, однако его ум в обществе друзей Абецеды в конце концов подчинился некоторому намагничиванию идеями Комбферра. Прошло время, и он расширил пределы догматической ограниченности и вышел на широкую дорогу учения о прогрессе. Потом он пришел к заключению, что окончательная эволюция, завершенная и великолепная, будет состоять в том, что великая французская республика станет исполинской республикой человечества. Что касается до немедленных средств ее осуществления, то, раз был дан могущественный толчок, необходимо было насильно продвинуть ее вперед. В этом случае он не внес ничего нового: он остался в пределах той эпической и страшной школы политики, которая кратко выражается словами «Девяносто третий год».

Анжолрас стоял на каменной ступеньке, опершись одним локтем на дуло своего карабина. Он размышлял и вздрагивал, как на сквозном ветру: место, где царит смерть, вызывает такую дрожь. Его глаза, полные внутреннего созерцания, излучали потоки какого-то сдержанного огня. Внезапно он поднял голову, откинул назад свои светлые волосы, словно легендарный дух, плывущий на квадриге из звезд, или подобно разъяренному льву в пламенном ореоле своей гривы, и воскликнул:

— Граждане! Взгляните в будущее! Что мы видим в нем? Улицы городов, залитые светом, зеленеющую землю, братство народов, справедливость людей, стариков, благословляющих детство, прошлое, примиренное с нынешним днем, мыслителей на свободе, полную свободу убеждений. Человеческая совесть станет божественным алтарем, не будет ненависти, братство в школах и мастерских, труд, доступный для всех, — труд не как наказание, а как законное право, мир без войн, без пролития крови! Покорить материю —

вот первый шаг, осуществить идеал — это второй. Подумайте о том, чего уже достиг прогресс. Некогда первые человеческие расы с ужасом видели перед собою гидру на поверхности вод, драконов, изрыгающих огонь, грифонов — этих чудовищ воздушной стихии, которые имели орлиные крылья и когти тигров. Страшные звери царили над людьми. И, однако, человек расставил им сети — эти священные сети разума — ив конце концов покорил этих чудовищ. Гидру мы назвали пароходом, дракона мы назвали паровозом, не сегодня завтра мы овладеем грифоном: мы уже держим в руках секреты воздушного баллона. Настанет день, когда эта Прометеева работа будет закончена и человек заставит служить своей воле эту троицу древности, он станет господином воды, огня и воздуха. Он станет царем стихии, соперником древних богов. Так смелее вперед! Граждане, куда мы идем? С точки зрения прогресса власть науки должна стать единственной силой общества. В науке истина обнаруживается так же естественно, как свет с наступлением дня. Мы

стремимся к единству народов мира, мы стремимся к человеческому единению. Долой выдумки! Долой паразитизм! Действительность управляется истиной — вот наша цель. Цивилизация должна занять вершины Европы, а потом она должна стать в центре материка в качестве мирового парламента разума. Нечто подобное мы видели уже однажды. Амфиктионы дважды в год сходились то в Дельфах, то в Фермопилах. Европа должна иметь своих амфиктионов, а потом земной шар должен иметь своих амфиктионов. И Франция в своих недрах носит зачатки этого великого будущего. XIX век выносил в себе этот плод, и то, что грезилось Элладе, достойно того, чтобы быть осуществленным Францией. Послушай меня ты, Фейи, честный рабочий, сын народа, ты — сын всех народов, и я чту тебя за это. Да, это ты отчетливо видишь грядущие времена. Да, ты прав во всем! Ты — сирота, у тебя нет ни отца, ни матери. Да, Фейи! И ты сделал своим отцом человеческое право и своей матерью — чистую любовь всего мира. А теперь ты пришел сюда

умереть, то есть получить триумф. Граждане, что бы ни случилось сегодня — будь то поражение или наша победа, все равно мы творим революцию. Так же, как пожар освещает город, революция озаряет ярким пламенем человеческий род. Какую революцию мы совершаем? Я сказал уже — революцию Правды. С политической точки зрения существует только один принцип: верховная власть человека над самим собой. Эта верховная власть зовется Свободой. Там, где две или несколько таких властей вступают в союз, там начинается государство. Но в этом свободном союзе нет никакого отречения. Каждая такая верховная власть добровольно идет навстречу сама себе, чтобы создать общественное право, а совокупность уступок, совершаемых каждым, создает то, что называется Равенством. Общественное право есть только покровительство, излучаемое на право каждого отдельного лица. Это покровительство общего над частным называется Братством. Точка пересечения всех этих отдельных суверенитетов,

сходящихся вместе, называется Обществом. Эта точка пересечения, становясь соединением, превращается в узел и называется социальной связью. Иные называют это Общественным договором. По смыслу слов это одно и то же. Если Свобода есть вершина, то Равенство есть основание. Но согласимся с тем, граждане, что Равенство не стрижет все деревья под один уровень, в обществе одновременно существуют огромные побеги травы и, наоборот, малорослые дубы. Естественно уравновешиваются все явления соперничества, все имеют право на совершенствование, все голоса имеют одинаковый вес. Равенство имеет свой орган: бесплатное и обязательное обучение. Право на грамоту — с этого нужно начать. Первая ступень обучения должна быть обязанностью каждого, вторая школьная ступень должна быть всем открыта. Одинаковая школа дает обществу равных людей. Да, обучение! Просвещение! Свет! Все из него выходит, и все к нему возвращается.

Граждане, XIX век велик, но XX будет счастливым. В нем ничто не будет напоминать старинной истории. Нечего будет бояться, исчезнет все, чего боится наше время: исчезнут завоевания, нашествия, соперничество вооруженных наций, грубое нарушение международных законов, зависящее от неудачной царской свадьбы или от рождения нового наследника в какой-нибудь деспотии, исчезнут дележи народов на конгрессах властей, расчленения, происходящие вследствие прекращения какой-нибудь династии, битвы двух религий, сшибающихся лбами подобно глупым козлам. Исчезнут голод, эксплуатация, проституция от голода, нищета от безработицы, эшафоты и казни, и все виды разбоя, совершающиеся в глухом лесу нынешней действительности. Этой действительности не станет — люди станут счастливыми. Человеческий род будет исполнять свой закон так же, как земной шар подчиняется своему, гармония воцарится среди душ, как среди звезд:

душа будет тяготеть к правде, как планета к светилу.

Друзья мои! Нынешний час — тот час, когда я вам говорю, очень печален и мрачен, но и мы покупаем будущее. Революция вносит за него выкуп. Человеческий род освободится, развернется и утешится! И мы утверждаем это, мы обещаем здесь на этой баррикаде. Откуда же раздастся голос любви, если не с высоты самопожертвования? Товарищи и братья! Здесь происходит союз тех, кто умеет думать, с теми, кто много страдает. Эта баррикада сделана не из камня, не из железа, не из дерева. Две глыбы здесь превратились в одну: одна глыба — это идеи, а другая — это человеческое горе. Отчаяние встречается с идеалом. День сливается с ночью и говорит ей: я умру с тобою, но ты снова родишься вместе со мной. Когда иссякнет безнадежность, то вера в будущее брызнет искрами. Страдания несут агонию, а идеи — бессмертие. И эта агония и это бессмертие сейчас смешаются и станут нашей смертью. Товарищи;

те, кто здесь умрет — умрет в лучах будущего, и мы сойдем в могилу, пронизанную светом зари.

Анжолрас внезапно прервал свою речь, но его губы еще какое-то время шевелились, словно он продолжал говорить сам с собой. Все внимательно смотрели на него, словно стараясь услышать еще. Не было рукоплесканий, но шептались долго. Слова были похожи на дуновение, фепетание живой человеческой мысли в этом шепоте было похоже на тихий шорох листвы.

Глава 304

Посмотрим, о чем думал Мариус. Но прежде всего нужно припомнить, в каком состоянии духа он находился. Как мы уже говорили, он точно грезил наяву. Он смутно представлял себе то, что происходило перед ним. Над Мариусом, повторяем еще раз, чувствовалось как бы веяние громадных мрачных крыльев, распростертых над умирающими. Он чувствовал себя как бы уже

погребенным, и ему казалось, что он смотрит из-за могилы и видит лица живых глазами мертвого.

Каким образом попал на баррикаду Фошлеван? Зачем он пришел сюда? Что именно имел он в виду? Мариус даже и не задавал себе таких вопросов. Кроме того, наше отчаяние имеет ту особенность, что нам кажется, будто оно охватило и других точно так же, как и нас, и поэтому он находил вполне естественным, что все ищут смерти, и только о Козетте он вспоминал с содроганием сердца.

Впрочем, Фошлеван не говорил, не смотрел на него и даже как будто не слышал, как Мариус, возвысив голос, сказал: «Я знаю его».

Что касается Мариуса, то такое поведение Фошлевана устраивало его, и, если только можно употребить это слово для обозначения таких впечатлений, мы сказали бы, даже нравилось ему. Ему всегда казалось невозможным заговорить с этим загадочным человеком, который в одно и то же время казался ему и подозрительным, и внушающим почтение. Кроме того, он очень

давно не видел его, а это для робкой и скрытной натуры Мариуса только еще увеличивало затруднение.

Пятеро избранников ушли с баррикады через переулок Мондетур; на взгляд они ничем не отличались от национальных гвардейцев. Один из них, уходя, плакал. Перед уходом они обнимались, прощаясь с остающимися.

Когда эти пятеро возвращенных к жизни скрылись за углом, Анжолрас вспомнил об осужденном на смерть. Он направился в нижнюю залу. Привязанный к столбу, Жавер стоял, задумавшись.

— Не нужно ли тебе чего-нибудь? — спросил его Анжолрас.

Жавер отвечал:

— Когда вы меня убьете?

— Подожди. Нам теперь очень нужны заряды.

— В таком случае дайте мне пить, — сказал Жавер.

Анжолрас принес стакан воды, а так как Жавер был связан, он помог ему напиться.

— Больше ничего? — спросил Анжолрас.

— Мне очень неудобно стоять у столба, — отвечал Жавер. — Вы не особенно любезно поступили со мной, заставив меня провести в этом положении всю ночь. Свяжите меня, как хотите, но только положите меня, пожалуйста, на стол, как и того, другого.

И движением головы он указал на труп Мабефа.

В глубине залы, как об этом уже говорили, стоял большой длинный стол, на котором отливали пули и делали патроны. Но теперь этот стол стоял совершенно свободный, так как патроны были сделаны и порох весь исчерпан.

По приказанию Анжолраса четверо революционеров отвязали Жавера от столба. Пока эти четверо его развязывали, пятый держал у его груди штык. Связанные за спиной руки они так и оставили связанными, а ноги связали

тонкой, но крепкой бечевкой таким образом, что он мог делать небольшие шаги дюймов пятнадцать, подобно осужденным, которых ведут на эшафот. После этого Жавера подвели к столу и, положив на него, крепко перехватили бечевкой поперек тела.

Для большей верности они присоединили к столу еще практикуемый в тюрьмах способ связывания с помощью так называемого двойного ремня; для этого они обмотали вокруг шеи веревку, а затем от затылка протянули ее к животу и, пропустив предварительно концы веревки между ног, еще раз связали ему руки.

В то время как Жавера связывали, на пороге комнаты стоял человек и, устремив глаза, смотрел на него. Тень, падавшая от этого человека, заставила Жавера повернуть голову. Он поднял глаза и узнал Жана Вальжана. Но он даже не вздрогнул, гордо закрыл глаза и спокойно проговорил:

— Так и следовало ожидать.

Глава 305

День разгорался быстро. Но нигде еще не открывали ни одного окна, нигде не отворяли дверей: это была заря, но не пробуждение. На углу улицы Шанврери, напротив баррикады, войска уже не стояли, как мы уже говорили раньше; она казалась свободной и представала перед глазами прохожих во всем своем зловещем спокойствии. Улица Сен-Дени была нема, как аллея Сфинксов в древних Фивах. На перекрестках, освещенных золотистыми и бледными молодыми утренними лучами, не видно было ни одного живого существа. Ничего не может быть печальнее, как вид пустынных улиц при свете утренней зари.

Но если ничего не было видно, зато было слышно. На небольшом расстоянии происходило какое-то таинственное движение. Критический момент, очевидно, приближался. Как и накануне вечером, часовые вернулись обратно к своим товарищам, и на этот раз уже все.

Баррикада казалась теперь сильнее, чем во время первой атаки. После ухода пятерых защитников ее сделали еще выше.

Основываясь на донесении патруля, охранявшего доступ со стороны Рынка, Анжолрас, из опасения быть захваченным с тыла, сделал очень важное распоряжение. Он приказал загородить бывший до сих пор свободным переулок Мондетур. Для этого разобрали мостовую напротив нескольких домов. Благодаря этому баррикада, обнесенная стеною с трех сторон — спереди у нее была улица Шанврери, налево улица Лебедя и Петит-Трюандери и направо переулок Мондетур, — казалась почти неприступной, хотя и защитники ее в свою очередь оказывались как бы замурованными. У нее было три фронта, но зато из нее не было ни одного выхода.

— Наша крепость — точно мышеловка, — заметил со смехом Курфейрак.

Анжолрас приказал свалить в кучу у двери кабачка штук тридцать булыжников, «только

понапрасну вытащенных из мостовой», — как заметил Боссюэт.

С той стороны, откуда должна была начаться атака, до такой степени было тихо, что Анжолрас приказал всем встать по местам. Всем раздали по порции водки. Трудно представить себе что-нибудь любопытнее баррикады, готовящейся к отражению приступа. Каждый сам выбирает себе место, точно публика в ожидании предстоящего зрелища. Один становится у стены, другой облокачивается о выступ, третий, наоборот, старается укрыться. Кое-кто устраивает себе даже сиденье из камней. Тут выдается угол стены, который мешает, и от него уходят; тут, наоборот, выступ, который может служить защитой, и за ним прячутся. Левши особенно ценны в данном случае: они занимают места, неудобные для других. Многие устраиваются таким образом, чтобы сражаться сидя. Они хотят, чтобы им было удобно стрелять, и пользуются комфортом даже в минуту смерти. В роковые дни июньской битвы 1848 года один повстанец, стрелявший с поразительной меткостью с

террасы, устроенной на крыше дома, притащил туда за собой вольтеровское кресло, но картечный выстрел достал его и там.

Как только начальник скомандовал войскам готовиться к бою, хождение туда и сюда по баррикаде моментально прекратилось, никто уже не переходил с одного места на другое, разговоры тоже прекратились, революционеры, беседовавшие по двое или группами, разошлись по своим местам; все сосредоточились на одном: на ожидании атаки. Пока еще не наступила опасность, на баррикаде царил хаос, но в минуту опасности верх взяла дисциплина. Сознание опасности водворяет порядок.

Как только Анжолрас взял в руки двуствольную винтовку и занял место возле чего-то, похожего на амбразуру, которую он сам для себя и устроил, все моментально смолкли. По всей баррикаде послышался слабый шум, похожий на треск, это ее защитники заряжали ружья.

Впрочем, все имели вид, пожалуй, еще больше гордый и надменный, чем раньше, готовность жертвовать собой придает твердость, у них больше ни на что не было надежды, зато у них было отчаяние. Отчаяние — это такое оружие, которое дает иногда победу, — это сказал Виргилий. Необычайные средства являются результатом отчаянного решения. Идти навстречу смерти — это значит найти иногда верное средство избегнуть крушения; и крышка гроба делается доской спасения.

Как и накануне вечером, все внимание сосредоточивал на себе, можно даже сказать, приковывал к себе, конец улицы, теперь уже весь освещенный и хорошо видимый.

Ждать пришлось недолго. Шум ясно доносился со стороны Сен-Ле, но этот шум не имел ничего похожего на тот, который предшествовал первой атаке. Слышался грохот окованных железом колес, гул от передвижения какой-то тяжелой массы, резкий, звенящий звук меди, точно прыгающий по неровной

мостовой, — словом, тот грозный шум, который служит предвестником приближающегося чудовища, состоящего из железа и меди. Чувствовалось, как дрожала сама мостовая этих тихих улиц, которые проектировались и прокладывались как пути, необходимые для общего блага и в интересах прогресса, а вовсе не затем, чтобы по ним грохотали колеса орудий истребления.

Устремленные на конец улицы взоры защитников баррикады сурово нахмурились.

На улице показалась пушка.

Пушка была снята с передка, и артиллеристы катили ее на себе. Двое из них поддерживали лафет за хобот, а четверо вертели колеса, остальные везли зарядный ящик. Зажженный фитиль дымился.

— Пли! — скомандовал Анжолрас.

С баррикады грянул залп. Облако дыма заволокло и скрыло из глаз и пушку, и людей. Через несколько секунд дым рассеялся, пушка и

люди снова стали видны. Орудийная прислуга медленно, по всем правилам, не выказывая ни малейшей торопливости, подкатила пушку и установила ее напротив баррикады. Ни один ружейный выстрел не попал в цель. Затем наводчик нажал на тарель, чтобы поднять прицел, и стал устанавливать пушку с важностью астронома, наводящего подзорную трубу.

— Молодцы артиллеристы! — крикнул Боссюэт.

И вся баррикада начала аплодировать.

Через минуту пушка уже стояла перпендикулярно к поперечному сечению улицы. Жерло ее зияло как раз против самой баррикады.

— Ну, теперь пойдет потеха! — сказал Курфейрак. — Экое страшилище. В ответ на щелчок по носу — удар кулаком. Армия накладывает на нас свою большую лапу. Баррикаду сейчас сильно встряхнут. Ружье щупает, а пушка берет.

— Это бронзовое восьмифунтовое орудие новейшего образца, — прибавил Комбферр. — Такие пушки грозят взрывом, если только при составлении сплава на сто частей меди взято хоть немногим более десяти частей олова. Излишек олова делает сплав слишком рыхлым. От этого же образуются трещины и раковины. Для предупреждения таких несчастных случаев и чтобы иметь возможность увеличивать заряд, было бы, может быть, гораздо лучше возвратиться к старинному способу набивки обручей, практиковавшемуся в четырнадцатом столетии, и точно так же одеть все дуло пушки, от тарели до цапфы, броней из стальных обручей, но только цельных и не скованных. А до тех пор пока это не будет сделано, стараются другими способами устранять возможности таких случаев и с целью узнать, нет ли трещин и раковин, исследуют пушку трещоткой. Но кроме этого существует еще другой, лучший способ — это движущаяся звезда Грибоваля.

— В шестнадцатом веке, — заметил Боссюэт, — употреблялись пушки нарезные.

— Да, — отвечал Комбферр, — это увеличивает дальнобойность, но зато уменьшает верность прицела. При стрельбе на короткую дистанцию траектория не имеет желаемой точности, снаряд описывает слишком большую параболу и, не задевая цель, проносится над нею, а между тем стрельба на короткую дистанцию и имеет особенно важное значение во время боя, когда при сближении с силами противника и учащении огня только настильные выстрелы и достигают цели. Этот недостаток в нарезных пушках шестнадцатого столетия происходил от сравнительно слабых зарядов; невозможность использовать более сильные заряды объясняется баллистическими соображениями, а также и ради сохранности лафетов. В общем, пушка — этот деспот — может делать далеко не все, что угодно, в ней сила соединена с полным бессилием. Пушечное ядро пролетает всего только шестьсот миль в час, а свет семьдесят тысяч в секунду.

— Зарядите ружья, — сказал Анжолрас.

Как-то выдержит баррикада удар ядром? Пробьет оно ее или нет? В этом заключался весь вопрос. В то время как восставшие заряжали ружья, артиллеристы заряжали пушку.

На баррикаде переживали мгновения тягостного ожидания.

Грянул выстрел.

— Попало! — раздался веселый голос. И в то самое мгновение, когда ядро ударило в баррикаду, с нее спрыгнул на землю Гаврош.

Он пробрался со стороны Лебяжьей улицы и ловко перескочил через вторую баррикаду, которая заграждала доступ со стороны лабиринта улицы Петит-Трюандери.

Появление Гавроша произвело больший эффект, чем ядро.

Ядро ударило в кучу мусора и там осталось. Оно только перебило одно из колес омнибуса и разбило вдребезги старую тележку Ансо. На этот выстрел баррикада ответила веселым хохотом.

— Продолжайте! — крикнул Боссюэт артиллеристам.

Глава 306

Гавроша окружили.

Но ему не пришлось ничего рассказать. Мариус сейчас же отвел его в сторону.

— Зачем ты явился сюда?

— Гм! — возразил мальчик. — А вы?

И при этом он бросил на Мариуса взгляд, в котором смешивалась свойственная ему наглость с отвагой. Его глаза казались большими против обыкновенного от горевшего в них внутреннего огня.

Мариус продолжал его спрашивать строгим голосом:

— Кто это тебе велел вернуться сюда? Доставил ли ты, по крайней мере, мое письмо по адресу?

Относительно этого письма Гаврош не мог не чувствовать упреков совести. Стремясь как можно быстрее вернуться на баррикаду, он скорей отделался от него, чем доставил его по назначению. В душе он не мог не сознавать, что поступил немного легкомысленно, передав письмо неизвестному ему человеку, не имея даже возможности хорошо рассмотреть его лицо. Человек этот, правда, был без шапки, но этого было, конечно, слишком мало. В душе он уже сам упрекал себя за это и теперь боялся новых упреков со стороны Мариуса. Чтобы вывернуться из затруднительного положения, он изобрел самый простой способ, он решил солгать.

— Гражданин, я отдал письмо привратнику. Дама уже спала. Ей передадут письмо, как только она проснется.

Мариус, посылая это письмо, имел в виду двойную цель — проститься с Козеттой и спасти Гавроша. Но ему пришлось удовольствоваться только половиной того, что он хотел сделать.

Отправление письма и появление Фошлевана на баррикаде показались ему имеющими взаимную связь, и он, указывая на Фошлевана, спросил Гавроша:

— Ты знаешь этого человека?

— Нет, — отвечал Гаврош.

Гаврош и на самом деле, как мы уже говорили, видел Жана Вальжана только в потемках и не мог рассмотреть его лица.

Смутные и болезненные подозрения, возникшие было в голове Мариуса, рассеялись. Знал ли он что-нибудь о политических убеждениях Фошлевана? Кто знает, может быть, Фошлеван республиканец. В последнем случае участие его в битве объяснялось очень просто.

Между тем Гаврош уже на другом конце баррикады кричал:

— Где мое ружье!

Курфейрак приказал возвратить ему ружье.

Гаврош сообщил «товарищам», как он их называл, что баррикада окружена со всех сторон. Ему большого труда стоило пробраться сюда. Пехотный батальон, составивший ружья в козлы в Петит-Трюандери, угрожал баррикаде со стороны улицы Лебяжьей, с противоположной стороны муниципальная гвардия занимала улицу Доминиканцев, а прямо напротив баррикады стояли главные силы.

Сообщив эти сведения, Гаврош задорно прибавил:

— Разрешаю вам хорошенько попотчевать их.

Между тем Анжолрас, стоя у своей амбразуры, сосредоточил все свое внимание на том, что творилось перед баррикадой.

Нападающие, оставшись, по всей вероятности, не особенно довольными результатами выстрела, не повторяли его.

Рота пехоты заняла конец улицы позади пушки. Солдаты разобрали мостовую и сложили из камней как раз против баррикады маленькую

низкую стенку, нечто вроде защитного вала высотой всего восемнадцать дюймов. В левом углу позади этой стены виднелась голова колонны батальона городского округа, занимающего улицу Сен-Дени.

Спрятавшемуся за амбразурой Анжолрасу показалось, что он слышит характерный шум, какой бывает, когда достают из зарядных ящиков жестянки с картечью, а потом он увидел, как фейерверкер переставил прицел и слегка отклонил дуло пушки влево. Потом артиллеристы стали заряжать пушку а фейерверкер схватил фитиль и сам поднес его к запалу.

— Наклонитесь, прижмитесь к стене, — крикнул Анжолрас, — все становитесь на колени вдоль баррикады!

Революционеры, частью группировавшиеся перед входом в кабачок, частью покинувшие свои места при появлении Гавроша, стремительно бросились к баррикаде, но раньше чем они успели исполнить приказание Анжолраса, грянул выстрел, сопровождаемый свистом картечи.

Оказалось, что стреляли и в самом деле картечью.

Выстрел был произведен в гребень баррикады, и картечь рикошетом отлетела к стене. Этим выстрелом двоих убило и троих ранило.

Если так будет продолжаться, то баррикада окажется не в состоянии защищаться. Картечь достигла цели.

Раздались крики ужаса.

— Надо помешать им сделать второй выстрел, — сказал Анжолрас и, опустив дуло винтовки, стал целиться в фейерверкера, который, припав к орудию, проверял в эту минуту прицел.

Фейерверкер был красивым молодым белокурым артиллерийским сержантом с умным выражением лица. Последнее качество присуще, впрочем, всем представителям этого избранного и грозного рода оружия, которое,

совершенствуясь в способах избиения, кончит тем, что убьет саму войну.

Комбферр, стоявший возле Анжолраса, смотрел на этого молодого человека.

— Какая жалость! — сказал Комбферр. — Сколько гнусной мерзости в таком кровопролитии. Анжолрас, ты целишься в этого сержанта, но сначала взгляни на него. Обрати внимание только на то, что ты видишь перед собой красивого молодого человека, он храбр и по лицу его видно, что он умен. Все эти артиллеристы люди хорошо образованные, у него есть отец, мать, семья, может быть, он даже любит, ему не больше двадцати пяти лет, он мог бы быть твоим братом.

— Он и так мой брат. — отвечал Анжолрас.

— Да, — продолжал Комбферр, — он и мой брат. В таком случае не станем убивать его.

— Оставь меня. Что необходимо, то должно быть сделано.

И по бледной, как мрамор, щеке Анжолраса медленно скатилась слеза.

В это время он нажал собачку винтовки. Грянул выстрел. Артиллерист взмахнул руками, два раза перевернулся на одном месте, поднял голову, как бы за тем, чтобы вдохнуть в себя воздух, потом припал к пушке и замер в этой позе. С баррикады видна была его спина, и из нее, как раз на самой середине, фонтаном била кровь. Пуля навылет пробила ему грудь. Он был мертв.

Надо было его унести и заменить другим, а это давало выигрыш времени в несколько минут.

Глава 307

На баррикаде происходило совещание: мнения разделились. Стрельба из пушки скоро должна была снова начаться. Против картечи продержаться можно будет не больше четверти часа. Необходимо было во что бы то ни стало ослабить силу выстрелов.

Анжолрас высказал следующее мнение:

— Туда следовало бы положить матрац.

— Матраца нет, — отвечал Комбферр. — На нем лежат раненые.

Жан Вальжан, сидевший в стороне на тумбе, за углом кабачка, поставив ружье между ногами, до сих пор не принимал участия во всем происходившем. Он, казалось, как будто даже не слышал, как кругом говорили по его адресу: «Вот ружье, которое совсем не стреляет».

Но при последних словах Анжолраса он встал.

Читатель, наверное, не забыл, что еще в то время, когда на улицу Шанврери начал только собираться народ, одна старуха, точно предчувствуя, что здесь скоро станут летать пули, завесила снаружи свое окно матрацем. Окно это, на чердаке, было проделано в самой крыше шестиэтажного дома, стоявшего чуть-чуть впереди баррикады. Матрац, растянутый поперек окна, поддерживался снизу двумя шестами для сушки белья, а сверху двумя веревками, которые

издали казались тонкими шнурками и которые были привязаны к гвоздям, вбитым в оконные наличники мансарды. Эти две веревки, точно тонкие волоски, ясно вырисовывались на голубом фоне неба.

— Не может ли кто-нибудь дать мне двуствольное ружье? — спросил Жан Вальжан.

Анжолрас, только что снова зарядивший свое ружье, подал ему.

Жан Вальжан прицелился в мансарду и выстрелил.

Одна из веревок оборвалась, точно перерезанная. Матрац держался теперь всего только ни одной веревке.

Жан Вальжан выстрелил из второго ствола. Другая веревка хлестнула по стеклу мансарды. Матрац скользнул между шестами и упал на улицу.

На баррикаде стали аплодировать.

Все кричали разом:

— Вот теперь и матрац у нас есть.

— Да, — сказал Комбферр, — но только кто же возьмется сходить за ним?

Матрац упал вне баррикады, между осажденными и осаждающими. Но смерть артиллерийского сержанта до такой степени разъярила солдат, что они, уже некоторое время лежавшие на земле под защитой стенки из булыжника, ими же самими сложенной, а также чтобы вознаградить себя за вынужденное молчание пушки, которая безмолвствовала в ожидании, пока появится новый наводчик, открыли огонь по баррикаде. Революционеры не отвечали на эти выстрелы, потому что берегли заряды. Пули, попадая в баррикаду, не причиняли вреда осажденным, но зато на улице, в сфере огня, было очень опасно.

Жан Вальжан прошел в проход, вышел на улицу, под градом пуль подошел к матрацу, поднял его, закинул себе за спину и вернулся за баррикаду.

Он сам загородил матрацем опасное место и приладил его таким образом, что артиллеристы не могли его видеть.

Как только это было сделано, стали ждать выстрела картечью.

Он не замедлил последовать.

Пушка с ревом изрыгнула новый заряд картечи. Но рикошета не последовало. Картечь впилась в матрац. В этом и заключался ожидаемый эффект. Баррикаде теперь не грозила непосредственная опасность.

— Гражданин, — сказал Анжолрас, обращаясь к Жану Вальжану, — Республика благодарит вас.

Боссюэт восхищался и смеялся, а потом сказал:

— Это просто безнравственно, что матрац в состоянии обладать таким могуществом. Торжество слабого над грозной всеразрушающей силой. Но это все равно, слава матрацу, который делает безвредной пушку!

Глава 308

В эту самую минуту Козетта проснулась.

Ее комната была узкой, чистой, скромной, с длинным окном, выходившим на задний двор дома, на восток. Козетта ничего не знала о том, что происходило в Париже. Она не была там накануне и уже собиралась идти к себе в комнату, когда Туссен сказала: «Похоже, как будто там начинают шуметь».

Козетта спала недолго, но крепко. Она видела хорошие сны, что зависело, может быть, оттого, что ее постель была очень чистенькой. Кто-то, очень похожий на Мариуса, явился ей, окруженный светлым сиянием. Она проснулась с первыми лучами солнца, ударившими ей прямо в глаза, и в первую минуту ей казалось, что она все еще видит сон.

Ее первые мысли, вызванные воспоминанием об этом сне, были веселыми. Козетта чувствовала себя совсем успокоенной. В душе у нее, как и у Жана Вальжана за несколько часов перед тем,

произошла реакция, не допускающая даже и мысли о возможности несчастья. Она начала надеяться всеми силами, сама не зная почему. Потом у нее вдруг сжалось сердце… Вот уже три дня, как она не видела Мариуса. Но она говорила себе, что он должен был получить ее письмо, знает, где она, и что он такой умный и наверняка найдет способ повидаться с ней… И он придет, наверное, сегодня и, может быть, даже сейчас… На улице было уже совсем светло, но солнце стояло низко, и поэтому она решила, что еще рано; но тем не менее все-таки надо встать, чтобы встретить Мариуса.

Она чувствовала, что не может жить без Мариуса и что этого совершенно достаточно, чтобы Мариус явился. Никаких возражений не допускалось. Все это было святой истиной, Довольно уже и того, что ей пришлось страдать целых три дня. Мариус пропадает неизвестно где трое суток; это просто ужасно, милостивый Боже! Теперь наступает конец этому испытанию, ниспосланному свыше, и оно уходит в область пережитого; Мариус скоро придет и принесет

хорошие вести. Такова юность, она быстро осушает заплаканные глаза, она не признает горя и отказывается от него. Юность — это улыбка будущего перед неизвестным, которое в ней самой. Ей так естественно быть счастливой. Кажется, что даже воздух, которым она дышит, насыщен надеждами. Кроме того, Козетта никак не могла припомнить, что именно говорил ей Мариус о своем предполагаемом отсутствии, которое должно было продлиться только один день, и какими причинами он объяснял это отсутствие. Каждый замечал, с какой ловкостью исчезает упавшая на землю монета и как долго прячется она таким образом, не показываясь. В некоторых случаях и мысли проделывают с нами то же самое, они прячутся в самый дальний утолок нашего мозга, и тогда кончено; они все равно что потеряны, никакими силами нельзя восстановить их в памяти. Козетте было немножко досадно, что ее усилия припомнить разговор не привели ни к чему. Она упрекала себя и ставила себе в вину, что забыла слова, произнесенные Мариусом.

Она встала с кровати и совершила омовение души и тела: прочла молитву и сделала туалет.

В случае необходимости читателя можно еще ввести в спальню новобрачных, но отнюдь не в комнату девушки. Даже в стихах и то едва осмеливаются делать это, а в прозе и думать нечего.

Это внутренность еще не распустившегося цветка, это белизна в ночи, это внутренняя клетка закрытой лилии, куда не имеет права заглядывать человек раньше, чем не проникнет туда солнце. Женщина в состоянии бутона — святыня. Эта невинная постель, эта очаровательная полунагота, которая боится себя самой, эта белая ножка, обутая в туфлю, эта шейка, которая прячется даже от зеркала, как будто зеркало в состоянии что-нибудь видеть, эта рубашка, которая спешит подняться и скрыть плечо, чуть послышится малейший шум мебели или грохот проезжающей по улице кареты, эти завязанные тесемки, эти застегнутые крючки, эта шнуровка, эти вздрагивания, эта дрожь от холода и

стыдливости, эти очаровательные движения испуга, это беспокойство, почти переходящее в трепет там, где нечего бояться, последовательные моменты смены одежд, такие же прелестные, как облака на заре, — об этом совсем не следует рассказывать, упомянуть об этом и то уж, пожалуй, слишком много.

Взгляд мужчины должен созерцать пробуждение молодой девушки с чувством еще более религиозным, чем восход звезды. Сама возможность подобного сравнения должна только еще больше увеличивать уважение. Пушок персика, пепельный налет на кожице сливы, лучистый кристалл снега, крыло бабочки, усыпанное точечками, — все это кажется слишком грубым перед этим целомудрием, которое даже не знает, что оно непорочно. Молодая девушка — это создание грез, и ее нельзя созерцать, как статую. Ее альков скрыт в сумраке идеала. Грубое проникновение взглядом в этот сумрак равносильно оскорблению. Заглядывать сюда — значит осквернять.

Потому мы не станем описывать маленькой приятной сумятицы, вызванной пробуждением Козетты.

В одной восточной сказке рассказывается, что Бог создал розу белой, но Адам взглянул на нее в ту самую минуту, когда раскрывались ее лепестки, — розе стало стыдно, и она покраснела. Мы принадлежим к числу тех, которые чувствуют себя смущенными перед молодыми девушками и перед цветами и относятся к ним с благоговением.

Козетта быстро оделась, причесалась, убрала волосы, что делалось очень просто, в то время когда женщины не подкладывали еще под свои букли и взбитые на голове волосы подушечек и валиков и совсем не носили париков. Потом она открыла окно и стала смотреть в него в надежде увидеть улицу, угол дома или хоть часть мостовой, а на ней Мариуса. Но из окна ничего этого не было видно. Задний двор был обнесен довольно высокими стенами, из-за которых видны были только сады. Козетта нашла эти сады

отвратительными: в первый раз в жизни цветы показались ей гадкими. Самый маленький кусочек уличной канавки доставил бы ей гораздо больше удовольствия. Тогда она стала смотреть на небо, как если бы думала, что Мариус может явиться этим путем.

Вдруг из глаз у нее брызнули слезы. Это было вызвано не беспричинной переменой настроения, а мучительным сознанием, что все надежды ее оказываются разбитыми. Она смутно почувствовала, что происходит что-то ужасное. Такие предчувствия носятся иногда в самом воздухе. Она говорила себе, что ни в чем не может быть уверена, что потерять друг друга из виду все равно, что совсем пропасть, и мысль, что Мариус может явиться к ней с неба, казалась ей уже не прелестной, а печальной.

Потом — таковы эти тучки — она успокоилась, к ней снова вернулась надежда, а вместе с ней и нечто похожее на улыбку, в которой видна была вера в Бога.

В доме все еще спали. Было так тихо, как в деревне. Не отворилась еще ни одна ставня. Комната привратника была еще заперта. Туссен еще не вставала, и Козетта вполне естественно думала, что и отец ее спит. Нужно было бы, чтобы она уже много настрадалась и еще продолжала страдать, чтобы ей пришло в голову, что отец к ней не добр; но пока она надеялась на Мариуса. Такое положение дел ей казалось решительно невозможным. Временами она слышала доносившийся издали какой-то глухой гул и тогда говорила себе: «Как это странно, что так рано начали хлопать воротами». А между тем это были пушечные выстрелы, громившие баррикаду.

Несколькими футами ниже окна Козетты к почерневшему от времени карнизу наружной стены дома прилепилось гнездо каменных стрижей. Верхушка этого гнезда выступала немного вперед за линию карниза, и благодаря этому сверху видна была вся внутренность этого маленького рая. В гнезде виднелась мать, которая, распустив свои крылья веером,

прикрывала ими своих птенцов, отец летал около гнезда, улетал и потом сейчас же возвращался, неся в клюве корм и поцелуи. Восходящее солнце озаряло эту картину счастья, великий закон размножения исполнялся здесь весело и торжественно, и это мирное таинство совершалось при ярком сиянии утра. Козетта, волосы которой утопали в солнечных лучах, а думы — в грезах, освещенная внутренне любовью, а снаружи зарей, как бы машинально наклонилась вперед и, почти не смея признаться себе, что она думала в эту минуту о Мариусе, с глубоким волнением, которое вызывает в душе непорочной девушки вид гнезда, стала смотреть на птичек, на эту семью, на самца и на самку, на мать и на птенчиков.

Глава 309

Осаждающие продолжали стрелять. Ружейные залпы чередовались с картечью, не причиняя, впрочем, больших повреждений. Страдала только верхняя часть дома, занимаемого кабачком

«Коринф»; окна на первом этаже и мансарды на крыше от действия пуль и картечи постепенно разрушались. Засевшие было там защитники баррикады должны были выйти оттуда. Но баррикада не отвечала. При каждом залпе Гаврош надувал щеку языком.

— Это хорошо, — сказал он, — что они рвут материю на тряпки, нам нужна корпия.

Курфейрак издевался по поводу неудачной стрельбы картечью и кричал пушке;

— Ты слишком много болтаешь, моя милая!

Во время сражения злословят точно так же, как и на балу. Упорное молчание баррикады, по всей вероятности, начинало беспокоить осаждающих и заставляло их бояться какой-нибудь неожиданной случайности, и они сознавали необходимость заглянуть за баррикаду и узнать, что делается за этой бесстрастной грудой булыжника, которая не отвечает на выстрелы. Осажденные вдруг увидели на крыше одного из соседних домов каску, блестевшую на солнце. Пожарный, прислонившись к высокой

трубе, казалось, стоял там точно на часах. Его глаза были устремлены на баррикаду.

— Вот уж совсем нежелательный соглядатай, — заметил Анжолрас.

Жан Вальжан возвратил двустволку Анжолрасу, у него было и свое ружье.

Не говоря ни слова, он прицелился в пожарного, и секунду спустя сбитая с головы пулей каска с шумом упала на улицу. Испуганный солдат поспешил покинуть свой опасный пост.

На его месте появился новый зритель. Это был офицер. Жан Вальжан, успевший зарядить ружье, выстрелил в офицера, и его каска оказалась там же, где и каска солдата. Офицер не стал упорствовать и быстро скрылся. На этот раз предостережение было понято: на крыше уже никто не появлялся, очевидно, решили отказаться от мысли следить за тем, что делается на баррикаде.

— Почему вы не убили этого человека? — спросил Боссюэт.

Жан Вальжан ничего ему не ответил.

Глава 310

Боссюэт шепнул на ухо Комбферру:

— Он не ответил на мой вопрос.

— Это добряк, расточающий добро, как ружейные выстрелы.

Те, кто сохранил в памяти событие этого уже далекого времени, помнят также, что национальная гвардия предместья была очень смела в выступлениях против повстанцев. Особенно была она тверда и упорна в июньские дни 1832 года. Кабатчики, ставшие безработными, приобретали внезапно львиное мужество и шли на смерть, чтобы восстановить возможность видеть наполненными залы своих трактиров.

В те времена наряду с идейными рыцарями нередко можно было встретить и богатырей наживы. Прозаизм побуждений не лишал их действия некоторой доли храбрости. Падение

курса денег заставляло и банкиров петь «Марсельезу». Лирически проливали кровь за целостность прилавка, со спартанской стойкостью защищали лавчонку, словно родину в миниатюре. По существу, все это было очень серьезно. Эти общественные силы вступили в борьбу в ожидании того дня, который принесет им благополучие.

Другим знамением времени было смешение анархии с «правительственностью» (варварский термин!). На защиту порядка выступали с нарушением дисциплины. Барабан беспрерывно бил тревогу по команде такого-то полковника национальной гвардии, такой-то капитан шел в огонь по вдохновению, такой-то национальный гвардеец от себя сражался за такую-то идею. В критические минуты люди меньше считаются с приказами командиров, чем со своими инстинктами.

Цивилизация, бывшая в ту пору скорее совокупностью интересов, чем связью идей, считала себя в опасности. Она испускала крики

отчаяния. Каждый превращал себя в ее центр, защищал и охранял ее по-своему и на свой страх и риск, и всякий, кому не лень, брался за спасение общества.

Порою усердие хватало через край. Такая-то группа национальных гвардейцев, лишившись своего авторитетного начальства, избирала военный совет и, в пять минут закончив суд, выполняла приговор над каким-нибудь революционером. Подобная импровизация была причиной убийства Жана Прувера. Закон Линча жесток, и ни одна партия не может упрекать за него другую, так как американская республика применяет его так же, как и европейские монархии. Этот закон Линча усугубляется вдобавок недоразумениями и ошибками.

Однажды во время восстания молодой поэт Поль Эме Гарнье подвергся нападению солдат и спасся, только спрятавшись в подворотню дома No 6. Вслед ему кричали: «Вот еще один из этих сен-симонистов!» — и хотели убить его. У него действительно был в руках том «Мемуаров

герцога Сен-Симона». Один национальный гвардеец прочел только слово «Сен-Симон», и этого было вполне достаточно, чтобы крикнуть: «Смерть ему!»

6 июня 1832 года отряд национальных гвардейцев под командой Фаннико доставил себе удовольствие и тешил свою фантазию тем, что потерял на улице Шанврери каждого десятого. Это было подтверждено позднейшим следствием. Фаннико, энергичный и взбалмошный, не утерпел и открыл огонь ранее назначенного часа. Придя в неистовство при виде то ли красного флага, то ли черного сюртука, принятого им за черное знамя, он громко осуждал командиров за то, что они вяло ведут атаку на революционеров. Сам же он нашел баррикаду вполне созревшей, а так как все зрелое должно упасть, то он решил ускорить это падение. Он стоял во главе таких же лиц, как он сам, людей решительных и смелых (бесноватых, как выразился один из свидетелей). Его отряд, расстрелявший Жана Прувера, стоял в авангарде батальона, занимавшего угол улицы.

И в ту минуту, когда этого меньше всего можно было ожидать, капитан бросил своих людей на баррикаду.

Это движение, которое было выполнено скорее по прихоти, чем по соображениям стратегии, дорого обошлось отряду Фаннико.

Не успел он пройти двух третей улицы, как общий залп с баррикады встретил его. Четверо в авангарде, пораженные у самой баррикады, были убиты, а смелый отряд, не отличавшийся выдержкой, должен был отступить, оставив на мостовой пятнадцать трупов. Минута колебания дала возможность революционерам снова зарядить ружья, а второй залп успел настигнуть гвардейцев раньше, чем они отошли за прикрытия на углу улицы.

Этот же отряд вдобавок попал под картечь своего же орудия, не получившего приказа прекратить огонь к моменту начала атаки. Выстрелом своего же орудия был убит и сам Фаннико.

Это нападение, больше яростное, нежели серьезное, разозлило Анжолраса.

— Какие дураки! — крикнул он. — Они тратят своих людей и уменьшают без толку наши запасы зарядов.

Анжолрас говорил, как настоящий генерал-революционер, каким он и был на самом деле. Восставшие и их противники действуют в неравных условиях. Быстро истощаясь, восставшие располагают только вполне определенными и ограниченными ресурсами людей и оружия. Они не могут восстановить потери. Власти, наоборот, располагая армией, не ведут счета людям и, имея Венсенн, не находятся в зависимости от числа выстрелов.

Подавление восстания производится числом полков не меньшим, чем число людей и единичных бойцов на баррикаде, оно пускает в ход столько арсеналов, сколько баррикада имеет лядунок с порохом.

Поэтому эта борьба одного против ста кончается всегда поражением восставших, если

внезапная могучая революция не кинет на весы судьбы своего пылающего меча архангела. Так иногда бывает.

Тогда восстает все, кипят мостовые, баррикады кишат людьми, Париж сотрясается, освобождается, quid divinum {Нечто божественное (лат.).}. В воздухе носится 10 августа и 29 июля, возникает яркий свет, разверзшаяся пасть силы отодвигается, и армия — этот лев — видит перед собой всю Францию, стоящую спокойно и смотрящую прямо перед собой с лицом пророка.

Глава 311

В хаосе чувств и страстей, защищающих баррикаду, есть все: и смелость, и молодость, энтузиазм, идеалы, горячность, азарт и в особенности много надежд, то вспыхивающих, то исчезающих.

Одна из таких быстро исчезающих вспышек надежды произошла на баррикаде на улице

Шанврери и притом в такое время, когда этого меньше всего можно было ожидать.

— Слушайте, — вскричал вдруг Анжолрас, все время бывший настороже, — кажется, будто Париж просыпается!

На улице Пуарье, на улице Травильe стали возникать баррикады. Перед Сен-Мартенскими воротами молодой человек, вооруженный карабином, один напал на целый эскадрон кавалерии. Без всякого прикрытия, среди бульвара он стал на одно колено, прицелился, выстрелил и убил эскадронного командира, проговорив: «Вот еще один, который больше не причинит нам зла». Его изрубили саблями. На улице Сен-Дени женщина, спрятавшись за ставню, стреляла в национальных гвардейцев. Видно было, как дрожали при каждом ее выстреле створки ставни. Четырнадцатилетний ребенок был арестован на улице Коссонери, у него нашли полные карманы патронов. На несколько постов произведены были нападения. При входе на улицу Бертен-Пуаре очень сильный

и совершенно неожиданный огонь встретил кирасирский полк, во главе которого находился генерал Кавеньяк де Барань. На улице Планш-Мибрэ с крыш бросали в войска осколками посуды и домашней утварью, а это дурной признак, и когда о нем сообщили маршалу Сульту, то старый сподвижник Наполеона задумался, припомнив слова Сюше, сказанные в Сарагоссе: «Мы пропали, если старухи начали выливать нам на голову содержимое своих горшков».

Как известно, утром 6 июня в течение одного или двух часов казалось, что восстание как будто разрастается. Неумолкающий звон набатного колокола в Сен-Мерри вызвал волнение. Это сильно беспокоило военных. Было решено как можно скорее потушить этот начинающийся пожар. Атаку баррикад Мобюэ, Шанврери и Сен-Мерри отложили до тех пор, пока не будут погашены мелкие вспышки, чтобы иметь дело только с одними большими баррикадами и покончить затем одним ударом. На те улицы, где происходили волнения, направили колонны

войск, очищавшие улицы от взрослых и разгонявшие детей, действуя то медленно и осторожно, то вдруг бросаясь в атаку. Солдаты занимали дома, из которых в них стреляли, в то же время отряды кавалерии разгоняли народ, запрудивший бульвары. Все эти репрессивные меры не могли, конечно, не вызвать известного ропота и шума, что и слышал Анжолрас в промежутки между пушечной канонадой и ружейной пальбой. Кроме того, он видел, как в конце улицы проносили на носилках раненых, и сказал Курфейраку:

— Этих раненых несут не с нашей стороны.

Но эта надежда длилась недолго и быстро померкла. Меньше чем в полчаса все было кончено, и бунтовщики почувствовали, что их как будто придавила тяжелая свинцовая плита, которую равнодушие народа набросило на покинутых им на произвол судьбы непокорных упрямцев.

Общее возмущение, которое, казалось, как будто начало охватывать весь Париж, вдруг

замерло, и теперь все внимание военного министра и генералов могли сосредоточиться на оставшихся еще не уничтоженными трех или четырех баррикадах. Солнце поднималось над горизонтом. Один из революционеров сказал Анжолрасу:

— Здесь хотят есть. Неужели мы и в самом деле должны будем умереть голодными?

Анжолрас, который все время стоял, прислонившись к амбразуре и устремив глаза на противоположный конец улицы, утвердительно кивнул головой.

Глава 312

Курфейрак, сидя на камне рядом с Анжолрасом, продолжал насмехаться над пушкой, и каждый раз, как с ужасным шумом вылетало смертоносное темное облако, называемое картечью, он приветствовал пушку градом насмешек.

— Ты совсем запыхалась, бедная старая скотинка. Мне очень досадно за тебя! И чего ты шумишь попусту! Это нисколько не похоже на гром, а просто-напросто какой-то кашель.

Кругом все смеялись.

Курфейрак и Боссюэт, у которого бодрый веселый юмор возрастал вместе с опасностью, следовали примеру госпожи Скаррон и заменяли еду шутками, а вино, которого не было, веселыми остротами.

— Я восхищаюсь Анжолрасом, — сказал Боссюэт. — Его хладнокровие меня поражает. Он одинок, и поэтому, по всей вероятности, он такой грустный. Анжолрас жалуется, что такую жизнь заставляет его вести высокое положение. У нас, у всех остальных, есть женщины, которых мы более или менее любим, которые заставляют нас сходить с ума, то есть делают нас храбрыми. Когда любишь, как тигр, то нет ничего удивительного, что и сражаешься, как лев. Это особый способ мести за удары, получаемые нами от гризеток. Роланд дал убить себя, чтобы

отомстить Анжелике. Все наше геройство исходит от наших женщин. Мужчина без женщины все равно что пистолет без курка, женщина заставляет мужчину стрелять. У Анжолраса нет женщины. Он никого не любит, а между тем умеет быть неустрашимым. Это нечто неслыханное: как это можно быть одновременно и холодным как лед, и смелым, как огонь!

Анжолрас, казалось, не слышал того, что говорилось по его адресу, но, если бы кто-нибудь стоял близко возле него, тот мог бы услышать, как он прошептал вполголоса: «Patria» {Родина (лат.).}.

Боссюэт все еще продолжал насмешничать, когда Курфейрак вдруг крикнул:

— Еще одна!

И затем голосом привратника, докладывающего о посетителях, прибавил:

— Меня зовут восьмифунтовая пушка.

И в самом деле на сцене появилось новое действующее лицо, второе артиллерийское

орудие. Артиллеристы быстро подтащили пушку и поставили ее рядом с первой.

Это обещало близкую развязку.

Через несколько минут обе пушки открыли стрельбу по баррикаде; регулярная пехота и национальная гвардия поддерживали ружейным огнем артиллерию.

На некотором отдалении слышались другие пушечные выстрелы. В то время как две пушки грохотали на улице Шанврери, два других орудия, из которых одно стояло на улице Сен-Дени, а другое на улице Обри-ле-Бушэ, громили баррикаду Сен-Мерри. Выстрелы из четырех пушек отдавались печальным эхом.

Из двух пушек, громивших баррикаду на улице Шанврери, одна стреляла картечью, а другая — ядрами.

Ствол пушки, стрелявшей ядрами, был поднят немного выше, и дистанция была рассчитана таким образом, чтобы ядро било в крайнюю часть внешнего ребра баррикады, сбивало с него верх и

осыпало ее защитников, как картечью, дождем каменных осколков.

Этим способом имели в виду заставить бунтовщиков отойти от стены редута и принудить их сгруппироваться подальше внутри баррикады, а все вместе это означало, что скоро пойдут на приступ.

Как только восставшие будут отогнаны ядрами от баррикады, а картечью от окон кабачка, атакующим колоннам можно будет смело вступить на улицу, не боясь служить мишенью для выстрелов, затем броситься на редут, как накануне вечером, и, кто знает, может быть, даже взять его.

— Надо во что бы то ни стало уменьшить вред, причиняемый этими пушками, — сказал Анжолрас и затем крикнул: — Стреляйте в артиллеристов!

Все были наготове. Баррикада, так долго до сих пор молчавшая, открыла адский огонь; шесть или семь залпов последовали один за другим, всю улицу заволокло густым дымом, и через

несколько минут сквозь этот дым, нависший как туман, который прорезали огненные молнии выстрелов, можно было различить, что две трети артиллеристов лежат под колесами пушек. Остальные между тем продолжали выполнять свою работу около пушек со строгим спокойствием, и только выстрелы следовали один за другим гораздо реже.

— Вот это хорошо, — сказал Боссюэт, обращаясь к Анжолрасу. — Это успех.

Анжолрас покачал головой и ответил:

— Еще четверть часа такого успеха, и на всей баррикаде не останется больше ни одного патрона.

Есть основание предполагать, что Гаврош слышал эти слова.

Глава 313

Вдруг Курфейрак увидел кого-то возле баррикады, снаружи на улице, под выстрелами.

Гаврош взял в кабачке корзинку из-под бутылок, выбрался за баррикаду через разрез и спокойно пересыпал в свою корзинку патроны из патронташей солдат национальной гвардии, лежавших убитыми у самой баррикады.

— Что это ты там делаешь? — спросил Курфейрак.

Гаврош поднял голову.

— Я наполняю корзину.

— Разве ты не видишь картечи?

На это Гаврош ответил:

— Да, точно дождь идет. Дальше?

Курфейрак крикнул:

— Вернись назад!

— Сию минуту, — ответил Гаврош.

И одним прыжком очутился посреди улицы.

Рота Фаннико, отступая, оставила за собой много убитых.

Около двадцати трупов лежало в разных местах на земле по всей улице. Гаврош видел перед собой двадцать патронташей, что обещало большой запас патронов для баррикады.

Дым застилал улицу, точно туман. Кому приходилось видеть облако, опустившееся в ущелье между двумя отвесными скалами, тот может представить себе этот дым, сжатый и как бы сгущенный двумя темными линиями высоких домов. Он медленно поднимался, беспрерывно в то же время возобновляясь, благодаря этому постепенно распространялась тьма, застилавшая даже дневной свет. Благодаря этому противники, занимавшие противоположные концы улицы, едва различали друг друга, хотя расстояние между ними было весьма небольшим.

Этот дым, по всей вероятности желательный и даже предвиденный офицерами, которым предстояло руководить атакой баррикады, как нельзя более благоприятствовал и Гаврошу.

Прячась в этой завесе, он благодаря своему небольшому росту мог пробраться по улице

довольно далеко и, не будучи замеченным и не подвергаясь никакой особой опасности, опустошил первые семь или восемь патронташей.

Он то полз, то пробирался на четвереньках, держа корзину в зубах, сгибался, скользил и извивался, как змея, пробираясь от одного убитого к другому, опустошая лядунки и патронташи с ловкостью обезьяны, грызущей орехи.

С баррикады, от которой он был еще довольно близко, ему не смели кричать, чтобы он возвратился, из боязни обратить на него внимание.

На одном из убитых, оказавшемся трупом капрала, он нашел пороховницу.

— На случай, если захочется пить, — сказал он, опуская ее в карман.

Продвигаясь вперед, он достиг наконец места, где дым был менее густой.

Настолько прозрачнее, что линия стрелков регулярной пехоты, занимавшая место за

ложементом, сложенным из булыжника, и стрелки городской национальной гвардии, занимавшие угол улицы, вдруг стали указывать один другому на какой-то предмет, двигавшийся в дыму.

В тот момент когда Гаврош забирал патроны у сержанта, лежавшего около тумбы, в труп ударила пуля.

— Гм! — проговорил Гаврош. — Они стали стрелять в мертвых.

Вторая пуля ударила в камень как раз возле него. Третья опрокинула его корзину.

Гаврош поднял глаза и увидел, что в него стреляют национальные гвардейцы.

Он выпрямился во весь свой рост и с развевающимися по ветру волосами уперся руками в бока, и, направив свой взор в стрелявших в него солдат национальной гвардии, вызывающе запел песенку.

Потом он поднял корзину, сложил в нее, не оставив ни одного, все упавшие на землю

патроны и, подойдя еще ближе к стрелкам, стал опустошать другой патронташ. Там мимо него просвистела еще четвертая пуля. Гаврош продолжал петь.

Пятая пуля словно еще более подзадорила его на новый куплет.

Так продолжалось довольно долго. Зрелище было и страшное, и в то же время захватывающее. Гаврош, в которого стреляли, насмехался над стрелками. Казалось, что это ему даже доставляет большое удовольствие. Это был воробей, собирающийся заклевать охотников. На каждый выстрел он отвечал куплетом. Стреляли безостановочно и все время давали промахи. Солдаты национальной гвардии и солдаты регулярной пехоты смеялись, целясь в него. Он ложился, потом вставал, прятался за угол двери, потом выскакивал, исчезал, потом опять показывался, уходил и возвращался, и в то же время собирал патроны, опустошал патронташи и наполнял свою корзину. Восставшие, задыхаясь от волнения, следили за ним глазами. Баррикада

дрожала от страха, а он пел. Он не был похож ни на ребенка, ни на взрослого человека, он казался маленьким гномом. Он то появлялся, то исчезал, точно неуязвимый карлик. Пули летали кругом него, но он оказывался проворнее их. Он точно играл в прятки со смертью.

Однако нашлась пуля, лучше направленная или более коварная, чем другие, она таки задела ребенка, напоминавшего собой блуждающий огонек. Гаврош пошатнулся и упал. Вся баррикада ахнула; но в этом пигмее скрывался Антей; для уличного мальчика соприкосновение с мостовой было то же самое, что для великана соприкосновение с матерью-землей. Гаврош упал только затем, чтобы подняться; он присел, и струйка крови показалась на его лице. Мальчик приподнял обе руки вверх, поглядел в ту сторону, откуда прилетела пуля, и запел:

Он не кончил. Вторая пуля того же стрелка уложила его. На этот раз он упал лицом на мостовую и больше не шевелился. Его детская, но великая душа отлетела.

Глава 314

В это самое время по Люксембургскому саду — взор писателя должен проникать всюду — шли, держась за руки, двое детей. Одному на вид было лет семь, а другому лет пять. Они вымокли от дождя, и поэтому шли по солнечной стороне аллеи; старший вел за руку младшего; они были в лохмотьях, бледны и похожи на диких птичек.

Младший говорил:

— Мне очень хочется есть.

Старший с покровительственным видом левой рукой вел брата, а в правой держал палку.

Кроме них, в саду никого не было. Сад был пуст, решетки были заперты по приказанию полиции вследствие беспорядков. Стоявшие здесь бивуаком солдаты были выведены и отправлены сражаться с бунтовщиками.

Каким образом эти дети попали сюда? Может быть, они убежали с полицейского поста,

воспользовавшись тем, что дверь оказалась незапертой, или, может быть, где-нибудь в окрестностях у заставы Анфер или на площади Обсерватории, или же на ближайшем перекрестке, на который выходит дом с надписью на фронтоне: «Invenerunt parvulum pannis involutum» {Разыскивается ребенок, завернутый в лохмотья (лат.).} стоял барак скоморохов, откуда они и убежали, или же, может быть, они накануне вечером проскользнули незаметно мимо сторожей в сад в ту самую минуту, когда его запирали, и провели ночь в одном из тех павильонов, где читают газеты? Так или иначе, но только они были бродягами и, казалось, пользовались полной свободой. Быть бродягой и пользоваться полной свободой — значит быть покинутым. Эти маленькие несчастные существа были и на самом деле покинуты.

Оба эти мальчика были теми самыми детьми, которым покровительствовал Гаврош, о чем читатель, наверное, помнит. Это были дети Тенардье, ранее жившие у Маньон с целью уверить господина Жильнормана в том, что это

дети его, а теперь они были точно листья, оторвавшиеся от сломанных ветвей и гонимые ветром по земле.

Надетое на них платье, относилось еще к тому времени, когда они были у Маньон и которая наряжала их напоказ Жильнорману. За прошедшее время оно превратилось в лохмотья.

Теперь эти дети принадлежали к той категории покинутых детей, которым полиция ведет статистику, которых она подбирает, потом опять теряет и затем снова находит на парижской мостовой.

Только в тревожный день восстания эти несчастные малютки и могли находиться в этом саду. Если бы только их заметили сторожа, они, Наверно, выгнали бы этих оборванцев. Такие дети не имеют права входить в публичные сады, хотя на самом деле казалось бы, что как дети они имеют право быть там, где растут цветы.

Они разгуливали по саду только потому, что решетки были заперты. Они нарушили правила. Они пробрались в сад и остались в нем. Запертые

решетки не освобождают сторожей от исполнения их обязанностей, охрана сменяется, но стражи пользуются такими минутами и исполняют правила не так строго; к тому же волнения, происходившие в городе, сильно занимали их, и они гораздо больше интересовались тем, что происходило снаружи, чем внутри сада, а потому и не заглядывали в него и не видели двух нарушителей.

Накануне шел дождь, и даже в этот день утром немного накрапывавший. Но в июне даже ливень ничего не значит. Через час после грозы почти уже незаметно, что этот чудный светлый день плакал. Летом земля высыхает так же быстро, как щечка ребенка.

В пору летнего солнцестояния полуденное солнце отличается необычайной жадностью. Оно берет все. Своими лучами оно точно присасывается к земле. Кажется, будто солнце страдает жаждой. Ливень для него все равно что стакан воды: дождевая вода сейчас же

выпивается солнцем. Утром везде потоки, в полдень — пыль.

Ничего не может быть красивее зелени, обмытой дождем и обсушенной солнцем, — это согретая теплом свежесть. Сады и луга, напоенные водой, проникшей до корней, превращаются здесь в благовонные кадильницы и благоухают ароматами цветов, пригретых солнцем. Все улыбается, поет и манит к себе. Чувствуешь, как тебя постепенно охватывает опьянение. Весной земля превращается в рай; солнце помогает человеку ждать вечного блаженства.

Часов в одиннадцать утра 6 июня 1832 года безмолвный и опустевший Люксембургский сад был прелестен. Рассаженные косыми рядами деревья давали тень, а цветники распространяли аромат. Ветки, точно обезумевшие под лучами палящего солнца, тянулись одна к другой, как бы желая обняться. Под зеленым сводом кленов порхали малиновки, воробьи ликовали, дятлы бегали по стволам каштанов, тихо постукивая

клювом по коре. Цветочные клумбы признавали законными владыками лилии, — белизна распространяет самое благородное благоухание. Воздух был наполнен пряным ароматом гвоздики. Старые вороны, еще времен Марии Медичи, предавались культу любви в чаще ветвистых деревьев. Солнце золотило, покрывало пурпуром и воспламеняло тюльпаны, которые не что иное, как разновидности пламени, превращенного в цветы. Над тюльпанами кружились пчелы, точно искры огненных цветов. Все тут было приятно и очаровательно, даже собирающийся дождь; но этот ожидаемый дождь, который принесет пользу ландышам и жимолости, не имел в себе ничего угрожающего, и только щебетуньи-ласточки носились над землей, как будто бы чувствуя в воздухе что-то тревожное. Все, что находилось здесь, дышало счастьем, вся природа как будто изливала собой чистоту, милосердие, любовь, ласку зарю. С неба струились мысли, исполненные такой же нежности, как ручка ребенка, которую целуешь.

Белые и обнаженные статуи казались как бы одетыми падавшей от деревьев тенью, пронизанной лучами света, солнце делало этих богинь как бы одетыми в одежды, сотканные из лучей с темными пятнами. Вокруг большого бассейна земля высохла до такой степени, что казалась выжженной. Небольшой ветерок поднимал тут и там мелкие клубы пыли. Несколько желтых листьев, оставшихся еще от прошлой осени, весело резвясь, летали наперегонки друг с другом.

Благодаря песку не было ни капли грязи, а благодаря дождю не было видно ни пылинки. Цветы только что умылись; весь этот бархат и атлас, весь этот блеск, все это золото, все то, что выходит из земли под видом цветов, было безупречно. Все это великолепие поражало чистотой. Великое безмолвие счастливой природы наполняло сад. Это была чудная тишина, наполненная звуками музыки, нежным воркованием в гнездах, жужжанием пчел, шелестом ветра. Совокупность явлений этого времени года совершалась в очаровательной

гармонии, начало и конец весны проходили в полном порядке, сирень отцветала, а жасмин только что распускался, некоторые цветы запоздали, а некоторые насекомые появились раньше, авангард красных июньских бабочек порхал вместе с арьергардом белых майских бабочек. Платаны меняли кору. Ветерок слегка волновал громадные кроны каштанов. Зрелище было великолепное. Один ветеран из соседней казармы, глядя через решетку, сказал:

— Весна теперь стоит в полной парадной форме и во всеоружии.

Вся природа завтракала. Все творения были в обычный час за трапезой. На небе была разостлана громадная синяя скатерть, а на земле зеленая. Солнце сияло по-праздничному Бог кормил весь мир. Каждый получал то, что ему было нужно. Для вяхиря было приготовлено конопляное семя, для зяблика — просо, для щегленка — мокрицы, для красношейки — червячки, для пчелы — цветы, для мухи — инфузории, а для дубоноски — мухи. Правда,

одни отчасти пожирали других, в этом-то и заключается тайна смешения добра и зла, но зато каждая тварь находила чем наполнить себе желудок.

Двое бедных покинутых малюток подошли к бассейну и, точно пугаясь света, стали искать, куда бы им укрыться, — инстинктивное желание бедного и слабого при виде великолепия, хотя бы и безличного; они остановились позади помещения, выстроенного для лебедей.

По временам, через некоторые промежутки времени, порывами ветра доносило к ним отдаленные крики, шум, сухой треск ружейных залпов и глухие удары пушечных выстрелов. Над крышами домов в стороне Рынка стоял дым. Издали доносился призывный звон набатного колокола.

Дети точно не слышали ничего этого. Младший время от времени повторял вполголоса:

— Мне хочется есть.

Почти одновременно с детьми к бассейну приближались другие гуляющие. Мужчина лет пятидесяти вел за руку мальчика лет шести. По всей видимости, это были отец с сыном. Мальчик держал в одной руке большой кусок пирожного.

В это время владельцы многих соседних домов на улице Мадам и на улице Анфер имели собственные ключи, которыми обитатели этих домов пользовались для входа в сад в то время, когда решетки бывали заперты; теперь эта привилегия уничтожена. Появившиеся в саду мужчина и его сын проживали, наверное, в одном из этих домов.

Бедно одетые мальчики, завидя приближающегося к ним «господина», забились еще дальше. Вошедший в сад господин был буржуа, может быть даже тот самый, который в присутствии Мариуса, переживавшего лихорадку любви, советовал своему сыну, гуляя с ним возле бассейна, «избегать излишеств». Он имел добродушный и важный вид, а его улыбающийся рот, казалось, никогда не закрывался. Эта

механическая улыбка, — результат слишком сильно развитых челюстей и недостатка кожи, — давала возможность видеть зубы, но не душу. Ребенок, держа в руке только что начатое им пирожное, от которого он откусил маленький кусочек, казалось, был сыт до предела. На мальчике был надет мундир национального гвардейца, вероятно, ввиду начавшегося в городе бунта, а отец так и остался в обыкновенном платье буржуа, что было сделано, по всей вероятности, из предосторожности.

Отец и сын остановились около бассейна, по которому плавали два лебедя. Этот буржуа, по-видимому, не только смотрел на лебедей, но еще и восхищался ими. Он и сам, впрочем, был похож на них своей походкой.

В эту минуту лебеди плавали, а в этом они неподражаемы и очень красивы.

Если бы маленькие оборванцы могли слышать разговор и были бы в том возрасте, что могли бы понимать сказанное, они могли бы с пользой для

себя прислушаться к словам важного буржуа. Отец говорил сыну:

— Мудрый довольствуется малым. Взгляни на меня, сын мой. Я не люблю пышности. На мне никогда не видели ни золота, ни драгоценных камней. Я предоставляю этот ложный блеск людям недостаточно умным.

В эту минуту со стороны Рынка послышались особенно громкие крики, усиленный колокольный звон и шум.

— Что это там такое? — спросил ребенок.

Отец отвечал:

— Это сатурналии.

Вдруг он увидел двух маленьких оборванцев, неподвижно стоявших за павильоном для лебедей.

— А вот и начало, — сказал он.

Затем, после короткого молчания, он прибавил:

— Анархия проникает и в этот сад.

Между тем сын, откусив кусочек пирожного, выплюнул его и вдруг начал плакать.

— О чем ты плачешь? — спросил отец.

— Я не хочу больше есть, — сказал ребенок.

Улыбка отца стала еще шире.

— Для того чтобы съесть сладкий пирожок, вовсе не надо быть голодным.

— Мне надоел этот пирожок. Он черствый.

— Так ты больше не хочешь?

— Нет.

Отец указал на лебедей.

— Брось тогда его этим птицам.

Ребенок колебался. Он не хотел больше есть сладкого, но это вовсе не значило, что его надо было отдать кому-нибудь. Отец продолжал:

— Будь добрым. Надо иметь сострадание к животным.

И, взяв у сына пирожное, он бросил его в бассейн. Пирожное упало недалеко от края.

Лебеди были далеко, на самой середине бассейна, и там добывали себе пищу из воды. Они не видели ни буржуа, ни пирожного.

Буржуа, боясь, что пирожное может пропасть, и жалея об этой бесполезной утрате, стал махать руками и добился-таки того, что привлек внимание лебедей.

Они заметили, что что-то плавает по воде, повернулись, точно корабли, и медленно поплыли к тому месту, где виднелось пирожное, с той величественной осанкой, которая так подобает их белоснежной одежде.

— Лебеди понимают сигналы, — сказал буржуа, довольный своей выдумкой.

В эту минуту доносившийся из города шум вдруг еще более усилился. На этот раз в нем было что-то зловещее. Случается, что порыв ветра доносит одни звуки яснее, чем другие. Ветер, который дул в эту минуту, принес барабанный бой, громкие крики, пальбу залпами, звуки набата и грохот пушек. Одновременно с этим

надвинулась черная туча, которая вдруг закрыла солнце.

Лебеди еще не достигли того места, где плавало пирожное.

— Идем назад, — сказал отец, — там нападают на Тюильрийский Дворец. — Он снова взял сына за руку, а потом продолжал: — Между Тюильри и Люксембургским дворцом малое расстояние, это недалеко. Здесь скоро загремят ружейные выстрелы, — он поднял голову и взглянул на тучу. — Да и дождь тоже, кажется, начнет сейчас барабанить, небо, кажется, тоже хочет вмешаться в это дело. Идем скорей.

— Мне хочется посмотреть, как лебеди будут есть пирожное, — сказал мальчик.

Отец отвечал:

— Остаться здесь было бы настоящим безумием.

И он увел маленького буржуа.

Сыну очень жаль было расстаться с лебедями, и он до тех пор оборачивался в сторону бассейна,

пока он не скрылся из его глаз за деревьями, посаженными по обе стороны аллеи.

Между тем вместе с лебедями к брошенному в воду пирожному приближались двое маленьких бродяг. Пирожное плавало по воде. Младший смотрел на пирожное, а старший — на уходившего буржуа.

Отец и сын углубились в лабиринт аллей, которые ведут к главной лестнице, выходящей на улицу Мадам.

Как только они скрылись из виду, старший мальчик проворно лег ничком на закругленный край бассейна и, держась за него левой рукой, наклонился над водой, рискуя каждую минуту свалиться, а правой рукой, в которой у него была палка, старался достать пирожное. Лебеди, видя врага, заторопились и при этом, рассекая грудью воду, оказали услугу маленькому ловцу: вода всколыхнулась, и одна из этих чуть заметных концентрических волн подтолкнула пирожное к палке мальчика. В ту минуту, когда лебеди подплывали, палочка уже коснулась пирожного.

Мальчик ловким ударом направил его к себе, отогнал лебедей, схватил пирожное и встал. Старший разделил пирожное на две части, одну побольше и другую поменьше, меньшую он взял себе, а большую отдал брату и при этом сказал:

— Заткни себе этим глотку.

Глава 315

Мариус одним прыжком выскочил за баррикаду. Комбферр последовал за ним. Но было уже поздно. Гаврош был мертв. Комбферр взял корзину с патронами, Мариус понес ребенка.

«Увы!» — думал он. Он оказывал сыну такую же услугу, какую отец Гавроша оказал его отцу; но только Тенардье принес его отца живым, а он несет ребенка мертвым.

Когда Мариус вернулся на баррикаду с Гаврошем на руках, у него, как и у ребенка, все лицо было тоже в крови.

В ту минуту, когда он наклонился, поднимая Гавроша, пуля слегка оцарапала ему лоб, но он не

обратил тогда на это внимания.

Курфейрак снял галстук и перевязал им лоб Мариуса.

Гавроша положили на тот же самый стол, на котором лежал Мабеф, и затем оба тела прикрыли одной и той же черной шалью. Ее хватило и на старика, и на ребенка.

Комбферр раздал патроны из принесенной им корзины.

Это давало возможность каждому сделать еще по пятнадцать выстрелов.

Жан Вальжан оставался все на том же месте, неподвижно сидя на тумбе. Когда Комбферр предложил ему взять положенные ему пятнадцать патронов, он покачал головой.

— Вот редкий экземпляр чудака, — тихо сказал Комбферр, подходя к Анжолрасу. — Он находит возможным не принимать участия в битве и быть на этой баррикаде.

— Что нисколько не мешает ему защищать ее, — отвечал Анжолрас.

— Героизм имеет своих оригиналов, — продолжал Комбферр.

К этому Курфейрак, слышавший их разговор, прибавил:

— Но только этот герой совсем в другом роде, чем Мабеф.

Достойное внимания явление, что в то время как снаружи громили баррикаду выстрелами, внутри ее почти не было заметно никакого волнения. Все перипетии, все фазы драмы они уже пережили или переживали. Те, кто не был участником гражданской войны, не могут представить себе, какие странные минуты покоя чередуются со взрывами волнения. Люди шутят. Мой друг рассказывал мне, как шутил революционер:

— Мы здесь, словно на холостяцкой пирушке.

Положение из критического перешло в угрожающее и, вероятно, скоро должно было стать отчаянным, однако повстанцы не падали

духом. Анжолрас господствовал над всеми остальными и стоял, точно молодой спартанец, посвятивший свой меч мрачному гению Эпидота.

Комбферр, надев фартук, перевязывал раненых, Боссюэт и Фейи делали патроны, пользуясь пороховницей, снятой Гаврошем с убитого капрала, а Боссюэт сказал Фейи:

— Мы скоро сядем в райский дилижанс и скорехонько переселимся отсюда на другую планету.

Курфейрак с заботливостью молодой девушки, приводящей в порядок шкаф с безделушками, раскладывал невдалеке от Анжолраса на камнях, заранее припасенных им для этой цели, весь свой арсенал: трость со шпагой, ружье, два седельных пистолета и кастет. Жан Вальжан молча смотрел на противоположную стену. Один рабочий старался укрепить на голове с помощью шнурка соломенную шляпу тетки Гюшлу, чтобы предохранить себя от «солнечного удара», как уверял он. Молодые люди из Кугуры,

департамента Экс, весело болтали, как бы желая в последний раз поговорить на своем родном наречии. Жоли снял зеркало вдовы Гюшлу и рассматривал свой язык. Несколько человек нашли в одном из ящиков несколько заплесневелых корок хлеба и с жадностью съели их. Мариус тревожился, размышляя о том, что сказал бы ему отец.

Глава 316

Поговорим еще об одном психологическом явлении, характерном для баррикад. Не следует опустить ничего, что может характеризовать эту удивительную уличную войну.

Каковы бы ни были причины этого странного спокойствия за стенами укрепления, о чем мы только что говорили, баррикада уже не возбуждала никаких надежд у ее защитников.

В такой войне есть что-то загадочное, туман неизвестности окутывает эти жестокие вспышки,

революция — это сфинкс, и тому, кто побывал на баррикаде, кажется, что пережил все во сне.

Рассказывая о Мариусе, мы описали ощущения, переживаемые в такие минуты, и мы увидим и последствия этого состояния — это и больше и меньше, чем жизнь. Выйдя из боя, точно забываешь, что там видел. Там творилось нечто ужасное, но это не осознается. Там лежали трупы и стояли привидения. Время там тянулось томительно медленно, и каждый час казался целой вечностью. Там царила смерть. Проносились какие-то тени. Что это такое было? Видели руки, обагренные кровью, стоял какой-то ужасный шум и вместе с тем страшная тишина, там были открытые рты, которые кричали, и другие открытые рты, умолкнувшие навеки, все были окутаны облаками дыма, а может быть, и сумраком ночи. Казалось, что дотрагиваешься до чего-то зловещего, сочащегося из неведомых глубин, видишь под ногтями что-то красное. Больше ничего не помнишь.

Вернемся на улицу Шанврери.

Вдруг в промежуток между двумя залпами послышался доносившийся издали бой часов.

— Полдень, — сказал Комбферр.

Но еще раньше, чем часы пробили все двенадцать ударов, Анжолрас вдруг выпрямился во весь рост и с высоты баррикады крикнул:

— Носите камни в дом, закладывайте ими окна в доме и на чердаке. Половина людей пусть стоит наготове с ружьями, а другая пусть носит камни. Нам дорога каждая минута.

В конце улицы показался отряд пожарных с топорами на плечах, двигавшийся вперед стройными рядами.

Это авангард колонны, но какой колонны? Очевидно, атакующей, потому что пожарные, на которых возлагается обязанность разрушить баррикаду, всегда идут впереди солдат, которые затем берут уже баррикаду приступом.

По-видимому, приближалась решительная минута, которую Клермон-Тоннер в 1822 году называл «последним усилием».

Приказание Анжолраса было исполнено с той быстротой и точностью, с какой это делается только на кораблях и на баррикадах — два единственных места на войне, откуда бегство невозможно. Меньше чем через минуту две трети камней, которые по приказанию Анжолраса были сложены у дверей «Коринфа», были перетасканы в первый этаж и на чердак, а затем еще через минуту эти камни, артистически уложенные один на другой, до половины загораживали окна первого этажа и слуховые окна мансард. По распоряжению Фейи, взявшего на себя обязанность главного распорядителя, кое-где умышленно были оставлены отверстия, достаточные для того, чтобы в них просунуть дуло ружья. Эти укрепления окон было тем легче сделать, что стрельба картечью прекратилась. Теперь пушки стреляли ядрами в центр баррикады, чтобы пробить ее и, если это окажется возможным, сделать брешь для приступа.

Когда камни, предназначенные служить последней защитой, были как следует уложены,

Анжолрас приказал перенести на первый этаж бутылки, поставленные им под стол, на котором лежал Мабеф.

— Кто же станет теперь пить? — спросил его Боссюэт.

— Они, — отвечал Анжолрас.

Потом забаррикадировали окна внизу и приготовили железные засовы, на которые запиралась изнутри дверь кабачка.

Сооружение крепости было закончено. Баррикада стала валом, а кабачок замковой башней. Оставшимися камнями заложили выемку. Так как защитники баррикады всегда должны беречь заряды, что хорошо известно осаждающим, то последние делают свои приготовления не спеша, с умышленной раздражающей медлительностью, подвергая себя при этом раньше времени огню осажденных, хотя на самом деле такая неосторожность, скорей кажущаяся, чем действительная, в конце концов достигает своей цели. Приготовления к атаке всегда ведутся с известной методической

медлительностью, а потом вдруг наносится решительный удар.

Эта медлительность дала возможность Анжолрасу все осмотреть и все исправить. Он сознавал, что, раз столько людей решились умереть, их смерть должна быть обставлена как следует.

Он сказал Мариусу:

— Мы оба с тобой здесь старшие. Я беру на себя распоряжаться внутри дома, а ты оставайся снаружи и наблюдай.

Мариус выбрался на гребень баррикады и оттуда стал наблюдать. Анжолрас приказал забить дверь из кухни, где, как мы уже говорили, был устроен перевязочный пункт.

— Чтобы не попадали осколки в раненых, — объяснил он.

Он отдавал последние распоряжения в нижнем зале отрывочно, но совершенно спокойно; Фейи отвечал ему от имени всех остальных.

— На первом этаже держите наготове топоры, чтобы разрубить лестницу. У нас есть топоры?

— Да, — сказал Фейи.

— Сколько?

— Два плотницких топора и один топор из мясной лавки.

— Хорошо. У нас остается на ногах двадцать шесть человек. Сколько у нас ружей?

— Тридцать четыре.

— Значит, восемь лишних. Зарядите и эти ружья и держите их вместе с остальными под рукой. Заткните за пояс сабли и пистолеты. Двадцать человек станут на баррикаде. Шестеро засядут на чердаке, станут у окна в первом этаже и будут стрелять в нападающих сквозь бойницы, проделанные в камнях. Здесь не должно оставаться ни одного лишнего. Как только барабан забьет атаку, двадцать человек снизу должны бежать на баррикаду. Те, которые прибегут первыми, займут лучшие места.

Сделав эти распоряжения, он обернулся к Жаверу и сказал;

— Я позабочусь и о тебе, — и, положив на стол пистолет, прибавил: — Тот, кому придется последним уходить отсюда, пристрелит голову этому шпиону.

— Здесь? — проговорил чей-то голос. — Нет, не надо смешивать этот труп с нашими. Через маленькую баррикаду можно выбраться в переулок Мондетур. Та баррикада всего только четыре фута высотой. Шпион крепко связан. Отведите его туда и там убейте.

Как ни был наружно спокоен Анжолрас, но тут был еще один человек, державший себя даже спокойнее его, — это Жавер.

В эту минуту выступил Жан Вальжан. Он до сих пор держался в группе бунтовщиков, а теперь отделился от нее и сказал Анжолрасу:

— Вы начальник?

— Да.

— Вы меня сейчас благодарили?

— Да. У баррикады два спасителя: Мариус Понмерси и вы.

— Как вы думаете, заслуживаю я за это награды?

— Разумеется.

— Ну, так вот я прошу награду.

— Какую?

— Позвольте мне всадить пулю в лоб этому человеку

Жавер поднял голову, увидел Жана Вальжана, чуть заметно пошевелился и сказал:

— Это будет справедливо.

Что касается Анжолраса, то он в эту минуту заряжал свою винтовку; затем он оглянулся кругом.

— Все согласны?

И, обращаясь к Жану Вальжану, сказал:

— Берите шпиона.

Жан Вальжан присел на край стола, показывая этим, что он в самом деле вступал во владение Жавером. Он схватил пистолет, и вслед за тем послышался слабый треск взводимого курка.

Почти в ту же минуту раздался звук рожка.

— Скорей сюда! — крикнул Мариус с вершины баррикады.

Жавер начал смеяться свойственным ему беззвучным смехом и, пристально глядя на восставших, сказал им:

— Ваше положение не лучше моего.

— Выходите все наружу! — крикнул Анжолрас.

Все толпой бросились к дверям и, выбегая из дома, слышали слова, да простится мне их повторение, слова, брошенные им вдогонку Жавером:

— До скорого свидания!

Глава 317

Оставшись наедине с Жавером, Жан Вальжан разрезал веревку, которой было перевязано тело пленника, и узел, который был под столом. Потом он сделал ему знак подняться.

Жавер повиновался с презрительной усмешкой представителя власти, которого судьба поставила в такое унизительное положение.

Жан Вальжан взял Жавера за мартингал, как берут вьючное животное за грудной ремень, и, таща его за собой, медленно вышел из кабачка, так как Жавер, из-за связанных ног, мог делать только маленькие шаги.

Жан Вальжан держал в руке пистолет.

Так прошли они через внутреннюю трапецию баррикады. Революционеры в ожидании приступа стояли к ним спиной.

И только Мариус, стоявший сбоку на левом конце баррикады, видел, как они прошли. Эта группа, состоящая из жертвы и палача, казалась

Мариусу освещенной тем мертвенно-бледным светом, который был у него в душе.

Жан Вальжан с некоторым трудом перебрался вместе со связанным Жавером, которого он не отпускал ни на минуту, через маленькую баррикаду в переулок Мондетур.

Миновав эту преграду, они очутились совсем одни в переулке. Никто не мог их больше видеть. Выступавшие углом дома скрывали их от глаз восставших. Трупы убитых, перетасканные сюда с баррикады, представляли собой ужасное зрелище всего в нескольких шагах от них.

В этой куче мертвых тел виднелись бледное лицо, растрепанные волосы, простреленная рука и полуобнаженная грудь женщины. Это была Эпонина.

Жавер искоса бросил взгляд на мертвую и совершенно спокойно сказал вполголоса:

— Кажется, я знаю эту девку.

Потом он обернулся к Жану Вальжану

Жан Вальжан переложил пистолет под мышку и устремил на Жавера взгляд, который без слов, казалось, говорил: «Жавер, ведь это я». Жавер отвечал: «Можешь отомстить мне».

Жан Вальжан достал из кармана нож и открыл его.

— Вот как! — вырвалось восклицание у Жавера. — Впрочем, ты прав, это тебе больше подходит.

Жан Вальжан разрезал мартингал, которым была обмотана шея Жавера, разрезал веревки на руках, наклонился и перерезал также веревки на ногах, а потом, выпрямившись, сказал ему:

— Вы свободны.

Жавера нелегко было удивить. Тем не менее при всем уменье владеть собой он не смог скрыть невольного волнения. Он стоял удивленный и не трогался с места.

Жан Вальжан продолжал:

— Я не думаю, что мне удастся выбраться отсюда. Но если бы случайно мне удалось это,

имейте в виду, что я живу под именем Фошлевана на улице Омм Армэ, в доме номер семь.

Жавер нахмурился и стал похож на тигра, оскалившего зубы, а потом процедил сквозь зубы:

— Берегись!

— Идите, — сказал ему Жан Вальжан.

Жавер продолжал:

— Ты сказал Фошлеван, улица Омм Армэ?

— Номер седьмой.

Жавер повторил вполголоса:

— Номер седьмой.

Он застегнул сюртук, выпрямил по-военному грудь и плечи, сделал полоборота, скрестил руки, приложил в то же время пальцы одной из них к подбородку и пошел по направлению к рынку. Жан Вальжан следил за ним глазами. Сделав несколько шагов, Жавер обернулся и крикнул Жану Вальжану:

— Вы мне надоели! Лучше убейте меня.

Жавер и сам не заметил, что он уже не говорит «ты» Жану Вальжану.

— Уходите, — сказал Жан Вальжан.

Жавер медленными шагами стал удаляться. Через минуту он завернул за угол дома улицы Доминиканцев.

Когда Жавер скрылся из вида, Жан Вальжан в воздух разрядил пистолет.

Потом он вернулся назад на баррикаду и сказал:

— Исполнено.

Между тем вот что произошло в его отсутствие.

Мариус, занятый больше тем, что делалось снаружи, чем внутри дома, до этого времени не имел возможности рассмотреть лицо шпиона, лежавшего связанным в темном углу нижней залы.

Когда он увидел, как тот, при ярком дневном свете, перелезал через баррикаду, идя на смерть,

он его узнал. В уме его вдруг пробудилось воспоминание. Он вспомнил полицейского инспектора улицы Понтуаз и два пистолета, которые тот дал ему и которыми он воспользовался даже здесь, на этой баррикаде. Он вспомнил не только лицо, но и фамилию.

Но это воспоминание пробудилось в нем смутно и неопределенно. И он, как бы не вполне уверенный в том, что подсказывала ему память, задал себе вопрос: «Неужели это тот самый полицейский инспектор, который назвал мне себя Жавером? Может быть, можно еще вступиться за этого человека? Но надо сначала узнать, точно ли это Жавер».

Мариус окликнул Анжолраса, который в эту минуту шел на свое место на другом конце баррикады.

— Анжолрас!

— Что тебе нужно?

— Как фамилия этого человека?

— Какого?

— Полицейского агента, ты знаешь его фамилию?

— Разумеется. Он сам сказал нам ее.

— Ну как же его фамилия?

— Жавер.

Мариус вздрогнул.

В эту минуту послышался выстрел из пистолета. Затем появился Жан Вальжан и крикнул:

— Исполнено!

Мрачный холод охватил сердце Мариуса.

Глава 318

Начиналась агония баррикады.

В воздухе носились тысячи таинственных звуков, слышались дыхание невидимых вооруженных масс, движущихся по улицам, прерывистый галоп кавалерии, тяжелый шум артиллерии, ружейные залпы и гул орудийных

выстрелов, раздававшихся по всему лабиринту улиц Парижа; над крышами домов, в тех местах, где происходили стычки, поднимались клубы золотистого дыма, издали неясно доносились какие-то ужасные крики, повсюду сверкал грозный блеск молний, не умолкавший все время набатный колокол Сен-Мерри звучал теперь с оттенком рыдания; лучшее время года, яркое солнце на небе, облака, чудный день и жуткое молчание домов дополняли картину.

Происходило это потому, что еще накануне оба ряда домов по улице Шанврери превратились в грозные стены укрепления. Все двери были заперты, окна и ставни закрыты.

В те времена, столь отличные от тех, которые мы переживаем теперь, когда наступил час возмездия и народ решил положить конец невыносимому положению, покончить с хартией или с законными представителями власти; когда общий гнев был разлит в воздухе; когда город соглашался на разборку его мостовых; когда инсургенты шептали на ухо улыбавшимся буржуа

свой пароль, — тогда каждый житель проникался духом возмущения, присоединялся к восстанию, и дома братались с воздвигнутыми укреплениями, которые на них опирались. Но если положение не было выяснено и само восстание еще не созрело, когда масса не признавала необходимости вооруженного сопротивления, борцы были обречены на гибель, — город превращался в пустыню, восставшие не находили поддержки, их души были скованы льдом, всякие убежища закрывались на запоры и улицы освобождались, чтобы дать место войскам пройти и завладеть баррикадой.

Народ нельзя обманом заставить идти быстрее, чем он хочет. Горе тому, кто вздумал бы воздействовать на него силой! Народ не потерпит этого. Инсургенты становятся как бы зачумленными. Дома — крепости, двери заперты, окон нет — вместо них сплошные стены. Эти стены видят, слышат, но не хотят помочь. Они могли бы открыться и спасти, но не хотят. Эти стены — судьи. Они смотрят и осуждают. Какой

мрачный вид имеют эти запертые дома! Они точно мертвые, а между тем они живы. Жизнь в них есть, но она точно замерла. Уже целый день не выходит оттуда на улицу ни одна живая душа, а между тем в домах этих немало живых душ. Там, внутри этой скалы, люди ходят по комнатам, ложатся спать, встают, там все проводят время в семье, там пьют и едят. «Чего сегодня хотят революционеры? Они никогда не бывают довольны. Это — шайка негодяев. Главное — не отворяйте дверей!» И дом принимает вид могилы. Революционер борется со смертью перед этой дверью, он видит картечь и обнаженные сабли, он знает, что, если он начнет кричать, его крики услышат, но никто не придет к нему на помощь, тут есть стены, которые могли бы защитить его, тут есть люди, которые могли бы спасти его, но если у стен и есть уши, то людям нет до него дела.

Кого обвинят!

Всех и никого.

Несовершенны времена, в какие мы живем.

Утопия переходит в бунт всегда на свой собственный страх и риск; из философского протеста она становится протестом вооруженным, а Минерва — обращается в Палладу. Утопия, потерявшая терпение и превратившаяся в бунт, знает, что ее ожидает, она почти всегда преждевременна. Тогда она покоряется судьбе и стоически принимает смерть вместо торжества. Она приносит себя в жертву, не жалуясь, и даже оправдывает своих врагов; великодушие ее именно в том, что она соглашается на то, чтобы ее покинули. Она несокрушима перед препятствиями, но кротко относится к неблагодарности.

Но неблагодарность ли это?

Да, с общечеловеческой точки зрения.

Нет, с точки зрения личной.

Стремление к прогрессу присуще человеку. Вся совокупность развития человеческого рода называется прогрессом. Прогресс всегда идет вперед, он совершает великий путь, приближая жителей земли к небесному и божественному; у

него есть этапы, на которых он собирает запоздавшее стадо; иногда он останавливается и отдыхает, размышляя в виду какой-нибудь роскошной земли Ханаанской, внезапно раскрывшей перед ним свои соблазнительные горизонты; иногда над ним сгущается покров ночи, и он засыпает; одна из мучительнейших тревог для мыслителя — это видеть, как сгущается мрак над человеческой душой, и ощупью бродить в потемках, не имея возможности разбудить заснувший прогресс.

— Бог, быть может, умер, — говорил однажды тому, кто пишет эти строки, Жерар де Нерваль, смешивая прогресс с Богом и принимая перерыв в движении за смерть создателя.

Тот, кто отчаивается, не прав. Прогресс неизбежно просыпается, и можно сказать с уверенностью, что он движется даже во сне, потому что затем сразу делает могучий шаг вперед. Когда увидишь его, шагнувшего во весь рост, то поймешь, как он вырос. Пребывать всегда в покое так же невозможно для прогресса,

как и для реки; не возводите плотин, не запружайте скалами движение потока, бросая в него каменные громады; препятствие заставляет сильнее клокотать воду и человеческие чувства. Наступают волнения, и после этих волнений сознаешь, что человечество ушло вперед. До тех пор пока порядок — то есть всеобщий мир — не установится, до тех пор пока гармония и единство не воцарятся на земле, этапами прогресса будет служить революция.

Что же такое прогресс? Мы только что это сказали. Непрерывная жизнь народов.

Бывают минуты, когда преходящая жизнь отдельных лиц задерживает вечный ход жизни человеческого рода. Признаемся самим себе: у каждой личности есть свои собственные интересы, и она имеет право, не совершая измены, стоять за них и их защищать; у настоящего есть известная доля законного эгоизма; у жизни преходящей есть права, которыми она не обязана непрерывно жертвовать будущему. Поколение, живущее в данную минуту

на земле, не обязано сокращать свой земной срок для поколений, которые, в сущности, имеют те же права и которые будут жить после него. — Я существую, — лепечет некто, — именуемое «все». Я молод, и я влюблен, я стар и хочу отдохнуть, я отец семейства, я тружусь, благоденствую, дела мои процветают, у меня деньги в государственных бумагах, я счастлив, у меня жена и дети, я все это люблю, я хочу жить, оставьте меня в покое. Такие взгляды временами веют холодом на лучших представителей человеческого рода.

К тому же сознаемся, что утопия выходит за пределы своей радужной сферы, когда начинает войну. Она, завтрашняя истина, берет у вчерашней лжи ее прием, убийство. Оно, будущее, поступает как прошлое. Она, чистая идея, становится насилием. Свои прогрессивные идеи она отягчает насильственными действиями, за которые справедливо должна отвечать; такие насильственные действия случайны и противны принципам, поэтому она роковым образом бывает за них наказана. Утопия, вызывая бунт,

сражается, опираясь на старый военный кодекс; она расстреливает шпионов, она казнит изменников, она уничтожает живые существа и кидает их в неизвестные мрачные бездны. Она прибегает к смерти. Можно подумать, что утопия больше не верит в прогресс, в свою непреодолимую и неподкупную силу. Она наносит удары мечом. Между тем любой меч дело обоюдоострое. Каждый меч спасает одних и наносит удары другим.

После этого отступления, сказанного со всей ответственностью, мы не можем не преклониться перед славными борцами за будущее, проповедниками утопии, все равно, увенчаны ли их усилия успехом или нет. Даже когда они побеждены, мы чтим их, и, быть может, поражение придает им еще более величия. Победа, когда она согласуется с прогрессом, заслуживает рукоплескания народов; но геройское поражение всегда вызывает движение.

Первая великолепна, второе возвышенно. Для нас, предпочитающих мученичество успеху,

Джон Браун более велик, чем Вашингтон, а Пизакане более велик, чем Гарибальди.

Надо же, чтобы кто-нибудь стоял за побежденных.

Мир несправедлив к великим попыткам героев будущего, когда их постигает неудача.

Революционеров обвиняют в том, что они сеют страх. Всякая баррикада считается преступлением. Их теории вызывают обвинения, их цели внушают подозрение; в них предполагают задние мысли и обличают их совесть. Их упрекают в том, что они громоздят гору несчастий, огорчений, несправедливостей, бесчинств, отчаяний в борьбе с господствующим общественным порядком и пользуются низменными средствами для борьбы. Им кричат:

— Ваш булыжник заимствован из мостовой ада!

Они могли бы ответить:

— Оттого-то наша баррикада и вымощена добрыми намерениями.

Лучше всего, конечно, мирное решение вопросов. В сущности, мы должны сознаться, что когда мы видим булыжник, то вспоминаем про медведя и общество опасается медвежьих услуг. Но спасение зависит от самого же общества; мы взываем к его доброй воле. В насильственных средствах нет никакой надобности. Миролюбиво изучить зло, раскрыть его язвы и затем излечить — вот к чему мы призываем общество.

Как бы то ни было, даже побежденные, и предпочтительно побежденные, борются за великое дело с непреклонной логикой идеала. Устремив взгляд на Францию, эти люди достойны почтения; жертвуя жизнью во имя прогресса, они поступают свято. В назначенный час с таким же беспристрастием, как актер, подающий реплику, повинуясь божественному сценарию, они уходят в могилу. И эту безнадежную борьбу, эту стоическую смерть они принимают ради того, чтобы довести до великих и блестящих последствий могучее человеческое движение, начатое 14 июля 1789 года. Эти воины —

священнослужители. Французская революция — божий перст.

Впрочем, необходимо отметить еще одно положение, — кроме уже указанных в другой главе, — что признанное восстание зовется революцией, а непризнанное зовется бунтом. Неожиданно вспыхнувший бунт — это идея, которая сдает экзамен перед лицом народа. Если народ выкинет ей черный шар, идея не приносит плода, бунт превращается в бессмысленную схватку.

Народы вовсе не склонны начинать войну по первому требованию, и желание кучки революционеров не всегда согласуется с их волей. Нация не может в каждую минуту и во всякий час проявить темперамент героев и мучеников.

Нации для этого слишком мудры. Любой бунт им противен; во-первых, потому, что часто приводит к серьезным бедам, а во-вторых, потому, что исходной точкой у него всегда бывает отвлеченное понятие.

Те, кто жертвует собой, — а это и составляет главное их величие — жертвуют ради идеала и только ради идеала. Революция вызывается энтузиазмом. Энтузиазм может привести к гневу: отсюда является сопротивление вооруженной силой. Но всякое восстание, учиняемое против правительства или установившегося порядка, имеет гораздо более отдаленную цель. Так, например, мы будем настаивать на том, что вожди восстания 1832 года, и в особенности юные энтузиасты улицы Шанврери, боролись, собственно, не против Луи-Филиппа. Большинство, говоря искренно, отдавали справедливость качествам этого короля, представлявшим одновременно монархию и революцию, никто этого не отрицал. Но, нападая на Луи-Филиппа, они боролись против божественного права младшей линии, а нападая на Карла X — против божественного права старшей линии. Желая ниспровергнуть королевскую власть во Франции, они хотели, как мы это объясняли, ниспровергнуть власть человека над человеком, всемирное господство

привилегии над правом. Парижу без короля служит аналогией вселенная без деспотов. Так они рассуждали. Их цель была, конечно, отдаленная, быть может, неопределенная и свыше их сил, но она была велика.

Таково положение дел. Люди жертвуют собой для этих мечтаний, которые почти всегда бывают для них иллюзиями, проникнутыми, в сущности, верой в человека. Революционер поэтизирует и идеализирует восстание. В это трагическое дело люди бросаются, опьяненные тем, что им предстоит совершить. Кто знает? Может быть, это и удастся.

Нас немного; против нас целая армия; но мы защищаем право, вечный закон, верховенство каждого над самим собой, от которого невозможно отречься, справедливость, истину, и, если нужно, мы умрем, как триста спартанцев. При этом на ум приходит не Дон Кихот, а Леонид. Люди идут и, один раз натолкнувшись на преграду, уже не отступают назад, а бросаются вперед, очертя голову, с надеждой на

неслыханную победу, на успех революции, на прогресс, возвеличение рода человеческого, всеобщее освобождение, — а на худой конец остаются Фермопилы.

Эти вооруженные схватки за прогресс часто бывают неудачными, и мы только что сказали, почему именно. Толпа нелегко поддается увлечению своих вождей. Тяжеловесные массы народных полчищ хрупки благодаря своей тяжести и опасаются выйти из колеи; а всякий идеал ведет к неожиданным случайностям.

К тому же не следует забывать, что у каждого свои интересы, а они несовместимы с идеальными и сентиментальными стремлениями. Порою желудок сдерживает порывы сердца.

Величие и красота Франции в том, что она не так легко отращивает себе брюхо, как другие народы; она туго стягивает свой пояс. Она первая просыпается, последняя засыпает. Она идет впереди. Она стремится вперед в поисках истины.

Это происходит оттого, что в ней скрывается темперамент художника.

Идеал не что иное, как вершина логики, точно так же, как красота является вершиной истины. Народ с художественной душой всегда последователен. Любить красоту — значит видеть свет. Вот почему факел Европы, т. е. цивилизации, был сначала в руках Греции, которая передала его Италии, а та передала его Франции. Божественные светоносные народы! Vitaï lampada tradunt {Народы передают светильники (лат.).}.

Как прекрасно сознавать, что поэзия народа есть элемент его прогресса. Развитие воображения служит мерилом развития цивилизации. Народ, стремящийся к прогрессу, должен оставаться мужественным. Он должен быть Коринфом, а не Сибарисом. Кто изнеживается, тот развращается. Не надо быть ни дилетантом, ни виртуозом; надо быть артистом. В деле цивилизации требуется не изысканность, а

возвышенность. При этом условии человечество получает образцовую цивилизацию.

Тип современного идеала заключается в искусстве, а его средство в науке. С помощью науки осуществляется возвышенное видение поэтов: красота общественного строя. Эдем восстановится посредством A+B. На той ступени, до которой дошла цивилизация, точность стала необходимым элементом величия, и артистическое чувство не только поддерживается, но и дополняется научными приемами; мечта обязана рассуждать. Искусство, как доблестный завоеватель, должно иметь точкой опоры науку, которая является двигателем. Необходимо, чтобы всякое построение было прочно. Современный ум — это гений Греции на колеснице гения Индии; Александр, восседающий на слоне.

Расы, закаменевшие в догмате или деморализованные сребролюбием, не способны руководить цивилизацией. Коленопреклонение перед идолом или перед золотым тельцом лишает силы мускулы, служащие движению, и волю,

направляющую его. Увлечение ханжеством или торгашеством гасит народный светоч, ограничивает его горизонт, понижая уровень его развития, и лишает его понимания как всемирной человеческой цели, так и божественных стремлений. У Вавилона нет идеала, у Карфагена нет идеала. У Афин и Рима были ореолы цивилизации, и они сохраняют их даже сквозь мрак последующих веков.

Французская нация обладает такими же свойствами, как народы Греции и Италии. Она сродни афинянам по красоте и римлянам по величию. Кроме того, она добра. Она предает себя на заклание. Она чаще, чем другие народы, чувствует стремление жертвовать собой. Эти порывы, однако, охватывают ее лишь время от времени и затем проходят. В этом-то и заключается великая опасность для тех, которые бегут, когда она хочет идти шагом, или которые идут шагом, когда она хочет остановиться. У Франции бывают припадки материализма, и такие моменты, когда идеи, заполняющие этот высокий ум народа, ничем не напоминают

величие француза и по размеру походят скорее на Миссури или Южную Каролину. Что делать? Великанша разыгрывает карлицу; у громадной Франции бывают мелочные капризы, только и всего.

С этим приходится мириться. Народы, как и светила, имеют право на затмение. Это еще не беда, лишь бы свет вернулся и затмение не обратилось в беспросветный мрак. Заря и воскресение — синонимы. Возрождение света тождественно с продолжением собственного я. К таким фактам надо относиться спокойно. Смерть на баррикаде или могила в изгнании — это достойный итог для самопожертвования. Истинное его название — бескорыстие. Пусть отверженные останутся отверженными, пусть те, кого ссылают, согласятся на ссылку, — ограничимся лишь одной мольбой к великим народам: не слишком отступать, когда наступает реакция. Не следует слишком далеко скатываться по наклонной плоскости под предлогом «взяться за ум».

Материя существует, время существует, интересы существуют, желудок существует; но не надо, чтобы в желудке сосредоточивалась мудрость. Каждая данная минута жизни имеет свои права, мы с этим согласны, но и будущее должно требовать к себе внимания. Увы! Кто поднялся высоко, тот не застрахован от падения. Такие примеры встречаются в истории чаще, чем хотелось бы. Нация прославилась; она прониклась идеалом; но вот она падает в грязь, и это ей даже нравится; если у нее спросят, отчего она бросает Сократа ради Фальстафа, она отвечает: «Я люблю государственных людей».

Еще одно слово прежде, чем мы вернемся к битве.

Борьба, подобная той, которую мы сейчас открываем взору читателя, есть не что иное, как судорожное стремление к идеалу. Нарушенный ход прогресса вызывает болезненные явления и нередко приводит к трагическим припадкам, Эту болезнь прогресса, междоусобную войну, мы должны были встретить на своем пути. Она

является и одной из роковых случайностей и действием и интермедией той драмы, двигателем которой является человек, отвергнутый обществом, настоящее же имя его: Прогресс.

Прогресс!

Этот крик, который часто вырывается из наших уст, заключает в себе всю нашу мысль; а так как, по ходу драмы, этой мысли предстоит еще много испытаний, то мы решаемся если и не совсем приподнять завесу, скрывающую ее, то хотя бы ясно показать тот свет, который в ней заключается.

Книга, которую читатель держит в эту минуту перед своими глазами, от начала до конца и в своем целом и в частностях, невзирая на пробелы, исключения или ошибки, есть не что иное, как путь от зла к добру, от несправедливости к истине, от лжи к правде, от мрака к свету, от эгоизма к совести, от ада к небу, от неверия к Богу. Точка отправления — материя, конечная цель — душа; сначала — гидра, потом — ангел.

Глава 319

Вдруг барабан пробил сигнал атаки.

Атака началась с быстротой урагана. Накануне, в потемках, к баррикаде подобрались тихо. Теперь, среди бела дня, нечего было и думать захватить баррикаду врасплох, и выставленные против нее войска, уже не скрывая своих намерений, сначала открыли артиллерийский огонь, а потом бросились на приступ. Стремительность служила залогом успеха. Сильная колонна регулярной пехоты, подкрепленная отрядами муниципальной гвардии и имеющая за собой сильные резервы, присутствие которых чувствовалось, хотя они и не были видны, с барабанным боем и под звуки трубы, держа ружья наперевес, беглым шагом вступила на улицу с саперами в голове и, подобно медному тарану, атаковала баррикаду, не обращая внимания на осыпавшие ее пули.

Баррикада держалась твердо. Революционеры встретили колонну сильным огнем. На баррикаде,

которую брали приступом, засверкали молнии. Наступление велось так стремительно, что была минута, когда она казалась уже взятой атакующими, но покрывавшие ее нападающие отхлынули, подобно пене от скалы, и она снова стояла крепко, мрачная и ужасная.

На одном конце баррикады стоял Анжолрас, на другом — Мариус. Анжолрас, у которого мысль о баррикаде ни на минуту не выходила из головы, берег себя и укрывался, Мариус сражался на виду. Он подставлял себя, как живая мишень. Над гребнем редута он виднелся больше чем на половину корпуса. Ничто не может сравниться с безумной расточительностью скупца, давшего вдруг волю охватившей его страсти к мотовству; точно так же ничего нельзя представить себе более ужасного во время сражения, чем мечтателя. Мариус был и ужасен, и словно погружен в себя. Он участвовал в битве точно во сне. Казалось, что из ружья стрелял не человек, а призрак.

Запас патронов у осажденных подходил к концу, но они были в состоянии шутить в этом вихре смерти, который захватил их.

Курфейрак стоял с непокрытой головой.

— Куда ты девал свою шляпу? — спросил его Боссюэт.

Курфейрак весело отвечал:

— Артиллеристы ухитрились-таки сбить ее выстрелом из пушки.

Полуразрушенный фасад дома, где помещался «Коринф», имел неописуемый вид. В окне картечью выбили не только стекла, но и раму, и оно казалось каким-то бесформенным отверстием, наскоро заложенным булыжником. Боссюэт убит, Фейи убит, Курфейрак убит, Жоли убит, Комбферр, пронзенный тремя ударами штыка в грудь в ту минуту, когда он поднимал раненого солдата, успел только взглянуть на небо и умер.

Мариус, все еще державшийся на ногах, получил столько ран, особенно в голову, что все

его лицо было залито кровью, и казалось, будто оно закрыто красным платком.

Только один Анжолрас не получил ни царапины. Когда у него не оказывалось оружия, он протягивал направо или налево руку и кто-нибудь из революционеров совал ему в руку пистолет или саблю.

Наконец у него остался только обломок от четвертой сабли — на один больше, чем у Франциска I при Мариньяно.

Гомер повествует: «Диомед убивает Аксила, сына Тефрания, обитавшего в счастливой Арисбе, Эвриал, сын Мекистея, избивает Дреза и Офельтия, Эзепа и Педаза, рожденного наядой Абарбарей от непорочного Буколиона; Улисс повергает в прах Пидита из Перкозы; Антилох — Аблера; Полипет — Астиала; Полидама — Отоса из Килены, а Теусер — Аретаона. Мегантий умирает от копья Эврипила. Агамемнон — царь героев — сокрушает Элатоса, рожденного в городе на холмах, омываемых водами шумящего Сатнойса».

В поэмах раннего Средневековья рыцарь Эспландиан нападает с огненным мечом на маркиза-великана Свантибора, а тот обороняется, швыряя в противника целыми башнями, вырванными из земли. На старинной росписи замков изображаются герцоги Бретонский и Бурбонский верхом и в полном военном снаряжении. Они сражаются закованные в латы и надев железные перчатки. Под одним конь покрыт горностаем, под другим — материей лазурного цвета. У бретонца в гербе лев среди зубцов короны, у бурбона на шлеме с забралом герб с огромной лилией. Но для истинного величия нет надобности в короне Ивонского герцога или в пламенном мече Эспландиана — довольно пожертвовать жизнью за идеи и убеждения. Простоватый солдат, вчерашний крестьянин из Боса или из Лиможа, сегодня, заломив лихо каскетку, увивается около нянюшек в Люксембургском саду или студент в лаборатории, белобрысый юнец за книжкой и с ножницами за стрижкой бородки — вот возьмите их обоих, противопоставьте их сознание долга,

сведите их как врагов на перекрестке Бушра или в тупике Планш-Мибрэ, и пусть один дерется за знамя, а другой за идеал. Пусть оба бьются «для счастья родины»: борьба будет не на жизнь, а на смерть, ради этого призрачного лозунга, а тень от солдата и студента, отброшенная на великое поле человеческой борьбы, не уступит тени Мегариона, лидийского царя, в царстве которого живут тигры, Мегариона, схватившего в свои железные объятия гиганта Аякса, силою равного богам Олимпа.

Глава 320

Когда из вождей баррикады в живых осталось всего только двое, Анжолрас и Мариус, занимавшие посты на концах баррикады, тогда центр, который так долго поддерживали Курфейрак, Жоли, Боссюэт, Фейи и Комбферр, не выдержал. Пушка, не пробив настоящей бреши, сделала довольно широкую сердцевидную выемку в самой середине баррикады; разрушенный в этом месте ядрами гребень стены

осыпался, и по обе стороны редута, снаружи и внутри, получилось нечто вроде двойного контрфорса. Внешний контрфорс представлялся нападающим в виде пологого ската.

Осаждающие пошли на приступ, и их попытка увенчалась успехом. Густая масса солдат, ощетинившаяся штыками и двигавшаяся быстрым шагом, неудержимо стремилась вперед, и скоро окутанная дымом голова атакующей колонны появилась уже на баррикаде. На этот раз все было кончено. Группа повстанцев, защищавшая центр, в беспорядке отступила.

В эту минуту у некоторых пробудилось инстинктивное стремление к жизни. Видя перед собой целый лес направленных на них ружей, многие вдруг отказались от мысли умереть. Они переживали ту минуту, когда инстинкт самосохранения берет верх и когда в человеке пробуждается животное. Их оттеснили к высокому шестиэтажному дому, к которому примыкала задней стороной баррикада. Этот дом мог бы послужить им спасением. Он был заперт

сверху донизу и как бы превращен в одну сплошную непроницаемую стену. Раньше чем регулярная пехота успела бы спуститься с баррикады, в нем могла бы отвориться и закрыться дверь, для этого достаточно было бы одного мгновения, и эта приотворенная и затем сейчас же запертая дверь спасла бы жизнь этим доведенным до отчаяния людям. За стеной этого дома были улицы, открытый путь для бегства. Они начали стучать в дверь ружейными прикладами и ногами, звали, кричали, умоляли, ломали руки. Никто не отпирал. Из слухового окна третьего этажа на них смотрела только мертвая голова.

Анжолрас, Мариус и еще человек семь или восемь присоединившихся к ним революционеров бросились к ним на помощь. Анжолрас крикнул солдатам:

— Не подходите!

Он находился в эту минуту во внутреннем дворике редута и, обернувшись спиной к «Коринфу» со шпагой в одной руке и карабином

в другой, загораживал нападающим доступ к открытой двери кабачка. Он крикнул товарищам:

— Для вас открыта только одна дверь. Вот эта.

И, заслоняя их своим телом, стоя один против целого батальона, он пропускал их за своей спиной. Все устремились туда. Анжолрас, размахивая своим карабином как палкой, отбивался от наседавших на него солдат и вошел в кабак последним.

Это был решающий момент, солдаты старались во что бы то ни стало проникнуть в дом, а революционеры старались затворить дверь. Наконец дверь была захлопнута с такой силой, что при этом у солдата, ухватившегося было за наличник, оторвало все пять пальцев, которые так и остались торчать в пазу.

Мариус остался снаружи. Пуля раздробила ему ключицу. Он понял только одно, что теряет силы и падает. В ту же минуту он почувствовал прикосновение чьих-то рук, и в те секунды, когда, теряя сознание, он закрывал глаза, в голове его

вместе с воспоминанием о Козетте мелькнула мысль: «Я попал в плен и буду расстрелян».

Анжолрас, не видя Мариуса в числе тех, кому удалось укрыться в кабачок, подумал то же самое. Но они переживали такие минуты, когда каждый думает о своей собственной смерти. Анжолрас запер дверь, повернул два раза ключ в замке, задвинул засов и запер его висячим замком, в то время как снаружи солдаты яростно стучали в дверь прикладами, а пожарные топорами. Осаждающие сгруппировались перед дверью, и теперь начиналась осада кабачка.

Солдаты, надо заметить, были сильно раздражены.

Их привела в раздражение смерть артиллерийского сержанта, а потом, и в этом, пожалуй, и заключалась главная причина, за несколько часов до атаки между солдатами распространился слух, что революционеры зверски уродуют пленных и что в кабачке будто бы лежит труп солдата с отрезанной головой.

Такого рода слухи обычное явление во время подобных войн и часто ведут к резне.

После того как дверь была окончательно заперта, Анжолрас сказал, обращаясь к остальным:

— Постараемся дорого продать нашу жизнь!

Потом он подошел к столу, на котором лежали Мабеф и Гаврош. Под грязным покровом лежали, вытянувшись во всю длину, два тела, одно большое, другое маленькое, и головы их смутно обрисовывались под складками черного савана. Одна рука высунулась и свесилась со стола — это была рука старика.

Анжолрас наклонился и поцеловал эту руку так же почтительно, как накануне целовал его в лоб.

Эти два поцелуя были для Мабефа единственными поцелуями за всю его жизнь.

Ускорим рассказ. Баррикада боролась, как Фивы, а кабачок, как дом в Сарагоссе. Это было упорство. Пощады не давали, сдаться не

предлагали. Люди согласны умереть, но не иначе как убивая других. Когда Сюше кричит: «Сдавайтесь!» — Палафокс отвечает: «После пушек — война на ножах!»

При осаде и штурме кабачка Гюшлу все было пущено в ход: камни сыпались градом из окон и с крыши, солдаты приходили в ярость от этого каменного дождя. С чердаков и из погребов стреляли.

Ворвавшись в кабачок, солдаты, задержавшиеся из-за лежавшей у них в ногах сорванной с петель двери, не нашли в нем ни одного революционера. Среди залы нижнего этажа лежала подрубленная топорами винтовая лестница, тут же валялись на полу и несколько человек смертельно раненных, а все остальные, все, кто только мог считать себя живым, были на втором этаже. Края отверстия в потолке скоро были окружены целым рядом мертвых голов, и оттуда, точно длинные нити, стекали струйки теплой дымящейся крови. Через отверстие в потолке, к которому вела винтовая лестница, был

дан последний страшный ружейный залп. На него ушли последние заряды. Когда наконец у этих отчаянных людей, обреченных на смерть, не осталось ни пороха, ни пуль, каждый вооружился двумя бутылями, припрятанными Анжолрасом. Осажденные пустили в ход это последнее хрупкое оружие — бутыли азотной кислоты. Мы ничего не скрываем в этой жуткой картине. Осажденные идут на все. Греческий огонь не обесчестил Архимеда, кипящая смола не опозорила Баярда. Война сама по себе ужасна, что ж говорить о средствах?

Выстрелы гремели, не умолкая, горячий удушающий дым до такой степени заволакивал это поле битвы, что в комнате было темно, словно ночью. Никакими словами нельзя описать весь ужас, сопровождавший эту бойню. Это был ад. Не было людей, были гиганты и титаны. Картина скорее достойная Мильтона и Данте, нежели Гомера. Дьяволы нападали — призраки защищались. Геройство превратилось в чудище.

Глава 321

Наконец, взлезая один другому на плечи, пользуясь остовом лестницы, карабкаясь по стенам, хватаясь руками за потолочины, рубя столпившихся у самого отверстия люка, последних из тех, кто был еще в состоянии сопротивляться, десятка два солдат регулярной пехоты, муниципальной гвардии проникли в залу верхнего этажа. Здесь на ногах стоял только один человек — Анжолрас. У него не было ни патронов, ни сабли, он держал в руке один только ружейный ствол. Послышался крик:

— Это начальник! Он убил артиллериста! Он сам забрался туда — и отлично. Пусть он там и останется. Расстреляем его на месте!

— Убивайте! — сказал Анжолрас.

И, отбросив ствол карабина, он скрестил руки и выпрямил грудь.

Как только Анжолрас стал в позу со скрещенными на груди руками, выражая этим готовность покориться своей участи, шум битвы

вдруг прекратился, и царствовавшая до тех пор в зале сумятица сменилась гробовой тишиной. Казалось, грозная величавость Анжолраса, безоружного и недвижимого, победила солдатский гвалт. Этот юноша без единой раны, высокомерный, окровавленный, обаятельный, равнодушный к смерти, словно неуязвимый, вызывал уважение своих убийц. Его красота в этот час была еще поразительнее и величавее. Он был, несмотря на страшные сутки борьбы, свеж и бодр, румянец играл на щеках. Усталость и раны его не коснулись. Вероятно, о нем говорил свидетель в военном трибунале впоследствии: «Между революционерами был один, которого, я слышал, называли Аполлоном». Один из солдат, целившихся и Анжолраса, опустил ружье к ноге со словами: «Мне кажется, что велят расстрелять цветок».

Взвод из двенадцати человек выстроился в противоположном углу залы, и солдаты молча взяли ружья на изготовку. Потом сержант скомандовал:

— Цельсь!

Тут вмешался один из офицеров:

— Подождите!

И, обратившись к Анжолрасу, он спросил:

— Хотите, вам завяжут глаза?

— Нет!

— Вы убили сержанта артиллерии?

— Я!

Во время этого диалога в комнате появилось новое лицо.

Грантэр проснулся за несколько минут перед этим.

Грантэр, если помнят, спал со вчерашнего дня в верхней зале кабачка, сидя на стуле и положив голову на стол.

Он осуществлял во всей ее полноте старинную метафору: мертвецки пьян. Отвратительная и при этом очень крепкая полынная настойка довела его до состояния

летаргии. Так как столик, за которым он уселся, был слишком мал и не мог пригодиться на баррикаде, то его оставили в покое. Он спал все время в одной и той же позе, припав грудью к столу и опустив голову на руки, окруженный стаканами, бокалами и бутылками. Он спал тяжелым сном погруженного в спячку медведя или упившейся кровью пиявки. Ничто не могло разбудить его: ни ружейная пальба, ни ядра, ни картечь, проникавшая через окно в залу, где он спал, ни крики и шум, сопровождавшие приступ. И только время от времени на грохот ружейного выстрела он отвечал храпом. Казалось, будто он ждал здесь, чтобы пуля избавила его от труда просыпаться. Вокруг него лежало несколько трупов; на первый взгляд он ничем не отличался от своих соседей, действительно уснувших мертвым сном.

Шум не в состоянии разбудить пьяницу, но тишина пробуждает его. Такое странное явление наблюдалось уже не раз. Уничтожение всего, что находилось вокруг него, по-видимому, только способствовало продлению того бесчувственного

состояния, в котором находился Грантэр, треск и грохот точно убаюкивали его. Короткая передышка, когда все вдруг смолкло при виде Анжолраса, была толчком, пробудившим его от глубокого сна. Такой же результат вызывает и внезапная остановка дилижанса, мчавшегося во весь опор. Задремавшие было пассажиры пробуждаются. Грантэр вдруг резко проснулся, протер глаза, бросил взгляд кругом, зевнул… и сразу все понял.

Опьянение, когда ему наступает конец, похоже на завесу, которая вдруг спадает с глаз. В одно мгновение становится видимым все, что скрывалось за нею. Все вдруг воскресает в памяти, и пьяница, не знавший ничего о том, что произошло в течение последних двадцати четырех часов, едва только успевает открыть веки, как уже знает, в чем дело. Мысли возвращаются к нему с поразительной ясностью; вызванное опьянением притупление умственных способностей, являющееся как бы результатом затмения мозга винными парами, рассеивается и

уступает место ясному и отчетливому сознанию действительности.

Так как он сидел в углу за бильярдом, то солдаты, все внимание которых приковал к себе Анжолрас, даже не заметили Грантэра, и сержант хотел уже повторить приказание: «Цельсь!» — когда вдруг солдаты услышали неведомо откуда громкий, отчетливый возглас:

— Да здравствует Республика! Я за нее!

Грантэр поднялся.

Яркий свет битвы, которую он проспал и в которой он не принимал поэтому участия, отразился в сверкающем взгляде преобразившегося пьяницы.

Твердым шагом он перешел через всю залу и стал перед солдатами рядом е Анжолрасом.

— Убейте нас сразу обоих, — сказал он.

И, обернувшись к Анжолрасу, кротким голосом спросил его:

— Ты позволяешь?

Анжолрас, улыбаясь, пожал ему руку.

Он еще улыбался, когда грянул залп.

Анжолрас, пронзенный восемью пулями, продолжал стоять, прислонившись к стене, точно пули; пригвоздили его к ней. Он только опустил голову.

Грантэр, пораженный насмерть, упал к его ногам.

Через несколько секунд солдаты добрались и до последних революционеров, укрывавшихся в верхних этажах дома. Они стреляли сквозь деревянную решетку чердака. Дрались даже на кровлях. В окна выбрасывали тела убитых. Два стрелка, которые пытались поднять разбитый омнибус, были убиты двумя ружейными выстрелами с чердака. Потом наступила тишина. Баррикада была взята.

Солдаты бросились обыскивать соседние дома, разыскивая беглецов.

Глава 322

Мариус и в самом деле попал в плен. Он сделался пленником Жана Вальжана.

Рука, подхватившая его в ту минуту, когда он падал, и прикосновение которой он почувствовал перед тем, как лишился сознания, принадлежала Жану Вальжану.

Участие Жана Вальжана ограничивалось тем, что он только подвергал себя опасности. Не будь его, никто и не подумал бы позаботиться о раненых в эти последние предсмертные минуты. Во время боя он появлялся всюду, и благодаря ему падающих поднимали и переносили в нижнюю залу, где им перевязывали раны. В промежутках он занимался исправлением повреждений, причиненных баррикадой. Но зато он не принимал участия ни в стрельбе, ни в отражении атак, даже с целью самозащиты. Он молчал и помогал. При этом надо заметить, что он получил всего несколько царапин. Пули не задевали его. Если, идя в этот могильный склеп,

он надеялся быть тут убитым, то его опыт самоубийства в этом роде не удался. Но мы сомневаемся, чтобы он думал о самоубийстве, так как это противно правилам религии.

Битва, казалось, до такой степени поглотила все внимание Жана Вальжана, что он едва ли мог видеть Мариуса, а между тем он не спускал с него глаз. Когда ружейный выстрел свалил Мариуса, Жан Вальжан одним прыжком подскочил к нему, точно тигр, бросился на него, как на добычу, и унес его.

Центром атаки в эту минуту служил Анжолрас, защищавший дверь кабачка; общее внимание до такой степени сосредоточилось на нем, что никто не заметил Жана Вальжана, который, держа на руках потерявшего сознание Мариуса, перешел через улицу и скрылся за углом, где помещался кабачок «Коринф».

Читатель, конечно, помнит, что угол этого дома выдавался на улицу; он защищал пространство в несколько квадратных футов не только от пуль и картечи, но и от нескромных

взоров. Во время пожаров случается иногда, что одна из комнат остается совсем нетронутой огнем, точно так же и во время сильного шторма за каким-нибудь мысом или в узком проходе между рифами вдруг находишь спокойное убежище. В этом-то закоулке, имевшем форму трапеции, и умерла Эпонина.

Жан Вальжан остановился, положил Мариуса на землю, прислонился к стене и осмотрелся.

Положение было критическое. В данную минуту, а может быть, и еще минуты на две, на три, эта часть стены могла служить убежищем, но как вырваться из этой бойни? Он вспомнил, какое отчаяние он переживал восемь лет тому назад на улице Полонсо и как ему удалось наконец вырваться: тогда это было очень трудно, а теперь, казалось, и вовсе невозможно. Он видел перед собой безучастный глухой шестиэтажный дом, все население которого, по-видимому, ограничивалось одним только мертвецом, припавшим головой к окну. Справа у него была довольно низкая баррикада, заграждавшая улицу

Петит-Трюандери. Преодолеть это препятствие казалось легко, но над гребнем насыпи виднелись острия штыков линейной пехоты, стоявшей тут как раз перед самой баррикадой. Было очевидно, что перелезть через баррикаду значило поставить себя под выстрелы, ибо каждый, кто вздумал бы показаться над баррикадой, рисковал стать мишенью для шестидесяти ружей. Влево было место побоища. Смерть ждала за углом дома.

Что делать?

Только одна птица могла бы выбраться отсюда.

А между тем нужно было действовать немедленно, придумать способ и привести его в исполнение. Битва происходила всего в нескольких шагах от него. К счастью, все усилия нападающих были направлены на одну цель: на дверь кабачка; но если бы хоть одному только солдату пришло в голову пройти за угол дома или же если был бы отдан приказ атаковать дом сбоку, — все было бы кончено.

Жан Вальжан окинул взглядом дом, возле которого он стоял, взглянул на землю и с отчаянием устремил на нее взгляд, точно желая взором просверлить ее.

Болезненно напряженным глазам его стало казаться, будто почти у самых его ног вырисовывается нечто, принимающее определенную форму, как будто созданное силою его взгляда, обладавшего способностью создавать желаемое. Он увидел наполовину скрытую под кучей наваленных на нее камней железную решетку, лежавшую на земле на одном уровне с улицей и всего в нескольких шагах от него, как раз у основания малой баррикады, которую так аккуратно обложили снаружи. Решетка эта, сделанная из толстых железных полос, положенных одна на другую крест-накрест, была площадью около двух квадратных футов. Она лежала в булыжном покрытии мостовой как в рамке, но мостовая сейчас была разобрана, и решетка лежала теперь, ничем не удерживаемая. В промежутке между железными полосами была видна темная дыра, нечто вроде каминной или

водопроводной трубы. Жан Вальжан бросился к этому отверстию. Полузабытые старые познания по подготовке тюремных побегов вдруг совершенно ясно всплыли у него в памяти. Разобрать камни, поднять решетку, взвалить на плечи похожего скорей на мертвого, чем на живого, Мариуса, спуститься с этой тяжестью, помогая себе локтями и коленями, в этот колодец, к счастью, не особенно глубокий, опять захлопнуть над собой этот тяжелый люк, на который сейчас же опять начали сыпаться камни, спуститься затем еще настолько, чтобы почувствовать под ногами дно, выстланное плитами на глубине трех метров под землей, — все это заняло у него несколько минут. Действуя как в бреду, он проявил при этом необыкновенную силу и проворство.

Жан Вальжан вместе с Мариусом, все еще продолжавшим находиться в обморочном состоянии, очутился в каком-то подземном коридоре.

Тут царили полное спокойствие, тишина и мрак.

Ему вспомнилось ощущение, испытанное давно, когда он спасся, попав с улицы в монастырь. С той только разницей, что теперь он спасал не Козетту, а Мариуса.

Сюда чуть слышно доносился сверху, как что-то смутное и неопределенное, ужасный шум, сопровождавший конец штурма кабачка.

Глава 323

Париж выбрасывает ежегодно двадцать пять миллионов франков в воду. И это нисколько не преувеличено. Как и когда? Днем и ночью. С какой целью? Без всякой цели. С какой мыслью? Не думая об этом. Зачем он это делает? Просто так. Каким способом? С помощью своих недр. Что такое его недра? Его водосточные трубы.

Двадцать пять миллионов — это самое меньшее, что получается в результате расчетов.

Наука после долгих исследований и изысканий знает теперь, что самым плодотворным и самым сильным из удобрений являются человеческие экскременты. К стыду нашему мы должны сознаться, что китайцы знали об этом гораздо раньше нас. В Китае ни один землевладелец — а это говорит Эккеберг, — не возвращается из города без того, чтобы не нести на концах своей бамбуковой палки два ведра, наполненных тем, что мы называем нечистотами. Благодаря удобрению человеческими экскрементами земля в Китае так же не истощена, как и во времена Авраама. Китайская пшеница дает урожай сам сто двадцать. Никакое гуано не может сравниться в плодородии с тем, что считается негодными отбросами в столице. Каждый большой город является местом, где скапливается наибольшее количество навоза. Пользоваться городом как средством для удобрения полей — это значило бы добиться известного успеха. Если золото может быть названо навозом, то наш навоз настоящее золото.

Что делают с этим сокровищем? Его выбрасывают.

Мы снаряжаем, затрачивая большие деньги, целые экспедиции и посылаем корабли к южному полюсу за грузом помета буревестников и пингвинов и в то же время сплавляем в море неисчислимые богатства, имеющиеся у нас под руками. Если бы отдать обратно земле пропадающие теперь без всякой пользы экскременты, вырабатываемые в результате жизнедеятельности человека и животных, этого было бы совершенно достаточно, чтобы прокормить всех людей.

Знаете ли вы, что такое все эти кучи мусора, сметенного к тумбам на улицах, эти грязные телеги, с грохотом разъезжающие по мостовой, эти ужасные бочки, наполненные нечистотами, эти вонючие грязные стоки, которые скрывает от нас мостовая? Это — покрытый цветами луг, это — зеленая трава, это — целебные травы, тимьян и шалфей, это — дичь, домашний скот, это — сытое мычание громадных быков вечером,

это — душистое сено, золотистая рожь, это — хлеб на нашем столе, это — теплая кровь в наших жилах, это — здоровье, это — богатство, это — жизнь. Таков таинственный закон мироздания, в этом заключается превращение на земле.

Бросьте все это обратно в великое горнило, и этим вы создадите собственное благополучие. Питание долин дает пищу людям.

Вы можете игнорировать это богатство и, кроме того, смеяться надо мной. Это будет служить только доказательством вашего полного невежества.

Статистика вычислила, что из одной только Франции ежегодно уносится реками в Атлантический океан ценностей и полезных вещей на сумму около полумиллиарда франков. Заметьте, что эти пятьсот миллионов составляют четвертую часть государственного бюджета. Но человек рассудил, что для него будет гораздо лучше бросить эти пятьсот миллионов в сточные канавы. Народное богатство бесследно уносится сначала понемногу, а потом целыми потоками,

сточные трубы сплавляют отбросы в реки, а из рек все это в ужасающем количестве плывет в океан. Каждая отрыжка наших клоак обходится нам в тысячу франков. Этим способом достигается двойной результат: земля беднеет, а вода заражается. Голод грозит со стороны полей и болезни со стороны рек.

Доказано, например, что Темза служит источником распространения заразы в Лондоне.

Что касается Парижа, то здесь в последнее время должны были удлинить большинство сточных труб, чтобы иметь возможность устроить их выходные отверстия ниже мостов.

Двойная система труб, снабженных клапанами и затворами, из которых одна часть служит для всасывания, а другая только для стока циркулирующих в них жидкостей, нечто вроде дренажа самого примитивного устройства, действующая так же просто, как человеческие легкие, и с успехом применяемая уже многими общинами в Англии, могла бы доставить в наши города чистую воду из окрестностей и сплавлять

затем на поля загрязненную, но этим самым и драгоценную воду из городов, и этот легкий и самый простейший способ дал бы возможность сохранить пятьсот миллионов франков, пропадающих бесследно. Но об этом никто не хочет подумать.

Нынешняя система причиняет зло, желая сделать добро. Намерение хорошее, а результат печальный. Думают очистить город, а от этого чахнет население. Современное устройство сточных труб является большой ошибкой. Когда дренаж с двойной системой труб, возвращающих обратно то, что он берет, заменит сточные трубы, только истощающие и выщелачивающие почву, тогда производительность почвы удесятерится и задача борьбы с нищетой будет значительно облегчена. Прибавьте к этому уничтожение паразитов, и она будет решена.

А пока народное богатство уходит в реки, я это по справедливости называю кровоизлиянием. Кровоизлияние — самое подходящее слово.

Таким образом истощение почвы вызывает обнищание Европы.

Цифры, которые мы только что привели, касаются всей Франции, а так как в Париже проживает двадцать пять процентов всего населения Франции и так как парижское гуано самое ценное из всех по количеству питательных элементов, то, нисколько не преувеличивая и, наоборот, даже уменьшая, можно сказать, что Париж теряет ежегодно двадцать пять миллионов из тех пятисот, которые теряет вся Франция. Эти двадцать пять миллионов, употребленные на благотворительность и на обустройство города, придали бы Парижу большее великолепие. Но город предпочитает бросать эти деньги в клоаку.

Таким образом, благодаря презрению к основам политической экономии топят в воде и дают уплывать и исчезать бесследно народному благосостоянию. Для общего блага здесь нужно было бы применить то же самое, что уже сделано в Сен-Клу.

С экономической точки зрения можно сделать следующий вывод: «Париж — это расточитель».

Париж, этот образцовый город, эта примерная столица, которой все народы стремятся подражать, эта метрополия идеала, эта царственная отчизна инициативы, порывов к свету и опытов, этот центр умственной жизни, этот город-нация, этот улей будущего, это удивительное сочетание Вавилона и Коринфа, и в то же самое время этот город, если рассматривать его с той точки зрения, о которой мы только что говорили, заставил бы пожимать плечами крестьянина из Фокиана.

Подражайте Парижу, и вы разоритесь.

Впрочем, в данном случае в деле бессмысленной расточительности, практикуемой с незапамятных времен, Париж является тоже подражателем.

Эта удивительная нелепость не нова, ее нельзя назвать делом незрелой юности. Древние народы поступали точно так же. «Римские клоаки, — говорит Либих, — поглотили все благосостояние

римского крестьянина». Разорив с помощью сточных труб римскую Кампанью, Рим разорил Италию, а затем, сплавив богатства Италии в свои клоаки, он бросил туда же Сицилию, потом Сардинию, потом Африку. Римские сточные трубы повергли в бездну целый мир. Эти клоаки поглотили и город, и все остальное. Urbi et orbi {Городу и миру (лат.).}. Вечный город оказался всепоглощающим водостоком.

В этом отношении, как и во многом другом, Рим первый подал пример.

Париж последовал этому примеру со всей глупостью, свойственной городам с широко развитой умственной жизнью.

Для удовлетворения этой потребности, о которой мы только что говорили, под Парижем существует другой Париж — Париж водостоков; там тоже есть улицы, перекрестки, площади, переулки, там тоже происходит постоянное движение грязи, там нет только людей.

Никому не следует льстить, даже великому народу; там, где есть все, встречается и мерзость

рядом с величием; и если Париж заключает в себе Афины, столицу просвещения, Тир, столицу могущества, Спарту, город доблести, Ниневию, город чудес, то он также заключает в себе и Лютецию, город грязи.

Впрочем, и в этом видна печать его могущества, и эти титанические сооружения Парижа осуществляют, в числе других достопримечательностей, тот странный, вызывающий отвращение идеал величия, который в человечестве осуществляют собой некоторые люди, как, например, Макиавелли, Бэкон и Мирабо.

Подземный Париж, если бы глазам можно было проникнуть в него сверху, имел бы вид колоссального звездчатого коралла. Даже в губке меньше отверстий и каналов, чем в той глыбе земли в шесть миль в окружности, на которой покоится старинный большой город. Не говоря о катакомбах и отдельных подземельях, не считая запутанной сети газовых труб, не говоря о целой системе водопроводных труб, распределяющих

предназначенную для питья воду по всему городу, одни только сточные трубы сами по себе образуют под землею по обоим берегам Сены необъятную темную сеть, лабиринт, в котором путеводной нитью служит только естественный уклон почвы.

Здесь, в сырости и в потемках, живут крысы, сроднившиеся с клоаками настолько, что кажутся порождением самого подземного Парижа.

Глава 324

Представьте себе, что Париж сняли бы, как крышку, и тогда обнаженные подземные клоаки представятся с высоты птичьего полета по обоим берегам реки в виде большой толстой ветви, как бы привитой к реке. На правом берегу главный сточный канал, опоясывающий всю эту часть города, будет стволом этой ветви, второстепенные каналы — ветвями, а глухие канавки — отростками.

На плане все эти каналы пересекаются приблизительно почти под прямым углом, что редко приходится наблюдать в царстве растительном и что всегда практикуется при сооружении такого рода подземных разветвлений.

Более правильное представление об этом геометрическом плане получится, если представить себе, что видишь разбросанные без всякого порядка по темному фону странной формы буквы какой-то восточной азбуки, причем эти бесформенные буквы соприкасаются одна с другой как попало, то под углом, то концами.

Клоаки играли большую роль в Средние века в Восточной Римской империи и в Древнем Востоке. Там возникала чума, там умирали деспоты. Народ почти с религиозным ужасом взирал на эти места заразы, на эти чудовищные колыбели смерти. Кишевшая гадами яма в Вавилоне вызывала не меньший страх, чем львиный ров в Вавилоне.

Еврейские легенды повествуют, что Тиглатпаласcар клялся Ниневийской клоакой, в свою очередь Иоанн Лейденский из Мюнстерской клоаки вызывал свою ложную луну, а его восточный двойник Моканна, окутанный покровами Хоросанский пророк, вызывал ложное солнце из клоаки Кекшеба.

История человечества отражается в истории клоак. Гемонии напоминали о Риме. Сточные трубы Парижа были ужасной вещью в старину. Они служили и могилой и убежищем. Преступление, знание, протест, кража — словом, все, что преследуют или преследовали человеческие законы, пряталось в эти ужасные ямы: мальотэны (бунтовщики) в XIV веке, ночные воры в XV, гугеноты в XVI, иллюминаты Морена в XVII, поджигатели в XVIII. Всего сто лет назад с наступлением ночи оттуда появлялась опасность получить под покровом мрака удар кинжалом, и туда же скрывался преступник, когда ему самому угрожала опасность попасть в руки полиции. В лесу убежищем служили пещеры, а в Париже — сточные трубы. Нищета,

эта старинная французская picareria {Плут, жулье (лат.).}, считала сточные каналы как бы принадлежащими ко Двору чудес и вечером, насмешливая и злобная, шла в подземелье улицы Мобюэ как в спальню.

Было вполне естественно, что люди, промышлявшие в глухом закоулке под названием «Чисть-Карман» или на широкой улице под названием «Режь-Горло», искали убежища или под мостиком «Зеленая Дорога», или в канавах Гюренца. А это невольно пробуждало воспоминания. Всевозможные призраки часто посещают эти длинные уединенные коридоры, где повсюду гниль и миазмы, где тут и там отдушины, через которые Вийон беседует изнутри с Рабле, стоящим снаружи.

Клоаки в древнем Париже служили местом, где зарождались проекты и куда стекались неудавшиеся попытки. Политическая экономия видит здесь одни только отбросы, а социальная философия видит здесь осадки.

Клоаки — это совесть города. Все туда стекается, и все там проверяется. В этом месте есть мрак, но нет тайн. Здесь все представляется в своем настоящем или по крайней мере окончательном виде. Куча отбросов тем и хороша, что она не умеет лгать. Она — сама откровенность. Сюда попадает и маска дона Базилио, но уже без всяких прикрас, тут виден и картон, из которого она сделана, и завязки, и внутренняя и наружная стороны, на всем этом лежит нескрываемая печать грязи. Рядом с ней валяется фальшивый нос Скапена. Все, чем брезгует цивилизация, все, что ей не нужно, попадает на эту свалку отбросов, скатываясь сюда с безграничного общественного поля. Все тут поглощается, и в то же время все тут становится особенно резко заметным. В этом заключается исповедь. Тут нет места для лжи, тут невозможны никакие прикрасы, грязь сбрасывает с себя покровы, тут полное обнажение отнимает иллюзию и миражи, тут нет ничего, кроме того, что существует на самом деле и с мрачным видом смотрит на то, что исчезает. Действительность и

исчезновение. Тут отбитое дно бутылки признается в пьянстве, ручка корзины рассказывает о прислуге, тут огрызок яблока, претендовавший на литературность мнений и в конце концов ставший опять простым огрызком, поверхность большого су откровенно покрывается медной ржавчиной, луидор, попавший сюда из игорного дома, соприкасается с гвоздем, с обрывком веревки, на которой повесился самоубийца, посиневший выкидыш валяется, завернутый в тот самый украшенный блестками наряд, в котором танцевали в опере во вторник на прошедшей Масленице, судейский берет, который судил людей, валяется вместе с рванью, бывшей некогда юбкой кокетки. Все, что подкрашивалось, здесь только пачкается. Последняя завеса сорвана. Сточная канава цинична. Она позволяет себе говорить все.

Такая искренность грязи нам нравится и до известной степени успокаивает душу. Когда приходится долгое время быть невольным зрителем разыгрывающегося на земле спектакля и видеть, с каким важным видом толкуют о

государственных вопросах, о святости клятвы, о политической мудрости, о профессиональной честности, об обязанностях, налагаемых общественным положением, о неподкупности судей, тогда даже утешительно заглянуть в сточные канавы и увидеть содержащуюся в них грязь.

Это в то же время и поучительно. Мы только что говорили, что история проходит сквозь сточные трубы. Варфоломеевские ночи капля за каплей просачиваются туда сквозь мостовую. Все большие публичные убийства, все кровопролития проникают в подземелье цивилизации и выбрасывают туда трупы убитых. Перед глазами мыслителя все эти исторические убийцы стоят там в отвратительном полумраке на коленях, с обрывком савана вместо передника и с печальными лицами уничтожают следы своей работы. Там Людовик XI со своим Тристаном, Франциск I с Дюпра, Карл IX вместе со своей матерью, Ришелье вместе с Людовиком XIII, там Лувуа, Летелье, Геберт и Малльярд скребут Камни и стараются уничтожить следы своих

деяний. Слышно, как работают под сводами скребки этих призраков. Там дышат зловонным воздухом социальных катастроф. В углах виден красноватый отблеск. Там течет та ужасная вода, в которой обмывались окровавленные руки.

Исследователь социального строя должен проникать в эти тайники. Они составляют часть его лаборатории. Философия — микроскоп мысли. Все старается от нее скрыться, но ускользнуть не удается ничему. Увертываться бесполезно. Что прежде всего обнаруживается при попытках увернуться? Стыд. Философия преследует своими честными глазами зло и не позволяет ему спрятаться в тени. Она знает причину, почему одно бежит от света и как бы скрывается и почему другое готово совсем исчезнуть. Для нее достаточно истрепанного клочка, чтобы узнать пурпур, и тряпки, чтобы узнать женщину. По тому, как устроены клоаки, она восстанавливает город, а грязь дает ей возможность судить о нравах. По одному черепку она определяет форму амфоры или кувшина. По отпечатку ногтя на пергаменте она определяет

разницу между кварталом еврейских буржуа, называемым «Юденгассе», и между кварталом бедноты, называемым Гетто. По тому, что осталось, она определяет то, что было, добро, зло, ложь, правду, пятно кровавое, чернильное или сальное, перенесенные испытания и искушения, безобразные оргии, унизительный след, который оставляет распутство в душе у тех натур, которые по своей грубости оказались способными отдаться этому, и знак, оставленный локтем Мессалины на рубашке римского носильщика.

Глава 325

В Средние века сточные трубы Парижа были чем-то легендарным. В XVI столетии Генрих II хотел было исследовать их, но эта попытка не удалась. Меньше чем сто лет тому назад клоаки, по словам Мерсье, были предоставлены самим себе и стали тем, чем они могли стать.

Таков был этот древний Париж, где царили раздоры, нерешительность и вечный поиск чего-

то. Он долго вел себя довольно глупо. И только 1789 год показал, как нужно действовать, чтобы город поумнел. Но в доброе старое время столица мало думала, она не умела устраивать свои дела ни в нравственном, ни в материальном отношении и так же плохо уничтожала грязь, как и злоупотребления. Во всем встречались препятствия, и из всего создавались проблемы. Так, например, никто не знал точно направления клоаки. Стало одинаково трудно разбираться как в запутанной сети подземных сточных труб, так и в том, что творится в самом городе, бестолковщина вверху и невообразимая путаница внизу, вавилонское столпотворение, а под ним лабиринт.

Иногда содержимое сточных труб Парижа выходило из берегов, точно этот непризнанный Нил вдруг начинал гневаться. Тогда совершалось нечто в высшей степени отвратительное — разлив нечистот. Бывали минуты, когда этот желудок цивилизации плохо переваривал пищу, содержимое клоак устремлялось обратно в город, и Париж как бы чувствовал во рту вкус своих

отбросов. Это было похоже на укоры совести, и такое средство имело свою хорошую сторону: оно являлось как бы предостережением, которое, впрочем, принимали очень дурно. Город сердился, что его грязь простирает свою дерзость до такой степени, и не хотел и слышать, что она может вернуться обратно. Для этого ее надо лучше гнать из города.

Наводнение 1802 года — одно из тех воспоминаний, которое еще живо в памяти парижан, доживших до восьмидесяти лет. Нечистоты разлились огромным озером по площади Победы, где воздвигнут памятник Людовику XIV, они залили улицу Сент-Онорэ, выступив наружу через оба отверстия в сточных трубах, проложенных в Елисейских полях, улицу Святого Флорентина, вылившись на мостовую из отверстия, устроенного на той же улице, улицу Пьер-а-Пуассон жидкими отбросами из сточных канав Соннери, улицу Попинкур залило отбросами из сточных канав Зеленой дороги и улицу Рокетт грязью из улицы Лаппэ; она покрыла камни в водосточных канавках

Елисейских полей на целых тридцать пять сантиметров, в южной части города под напором воды из Сены, гнавшей ее обратно, она проникла на улицу Мазарини, на улицу Эшодэ и на Болотную улицу, где она залила пространство в сто девять метров и остановилась всего в нескольких шагах от дома, в котором жил Расин, показав в XIX веке больше уважения к поэту, чем к городу. Наибольшей глубины разлив ее достиг на улице Сен-Пьер, где она поднялась на целых три фута выше наружных отверстий сточных труб, а наибольшую площадь она захватила на улице Сен-Сабин, где слой жидкой грязи занял пространство длиной двести тридцать восемь футов.

В начале текущего столетия парижские клоаки все еще считались чем-то таинственным. Грязь нигде и никогда не может пользоваться хорошей славой, но здесь эта дурная слава внушала ужас. Париж смутно сознавал, что под ним существуют какие-то ужасные подземелья. О них рассказывали такие же ужасы, как о громадной, покрытой тиною клоаке старинных Фив, где

кишмя кишели сороконожки длиной пятнадцать футов и которые могли бы служить излюбленным местом купания для таинственного громадного библейского бегемота. Высокие сапоги осмотрщиков сточных труб не осмеливались проникать дальше некоторых известных пунктов. Та пора недалека еще была от того времени, когда телеги мусорщиков, с высоты которых Сен-Фуа братался с маркизом де Креки, выгружались прямо в отверстия сточных труб. Что же касается чистки труб, то эту обязанность возлагали на проливные дожди, которые, впрочем, скорее загрязняли их, чем промывали. Рим до известной степени придавал поэтический характер своим клоакам и называл их гемониями, Париж издевался над своей клоакой и называл ее Вонючей дырой. Наука и суеверие одинаково относились к ней с ужасом. Гигиена и вера в легенды видели в ней нечто отвратительное. Призрак черного монаха впервые стал известен под вонючими сводами канавы Муфлетор; трупы мармузетов были брошены в сточную трубу Барильери, Фагон приписывал страшную

злокачественную горячку, свирепствовавшую в 1685 году, пагубному действию зияющего отверстия сточной трубы в Марэ, которое оставалось открытым до 1833 года и находилось на улице Сен-Луи почти напротив дома, где помещался «Галантный вестник». Отверстие сточной трубы на улице Мортельери было знаменито тем, что оттуда выходила зараза чумы. Обнесенная железной решеткой с заостренными концами, торчащими наподобие ряда гигантских зубов, она казалась на этой несчастной улице пастью адского дракона, распространявшего своим дыханием смерть. Народное воображение представляло себе мрачные подземные сточные трубы Парижа чем-то необычайным. Сточные канавы не имели дна. Клоака — это бездна. Полиции не приходило даже в голову исследовать эти прокаженные места. Кто мог осмелиться исследовать этот таинственный лабиринт, измерить глубину этой мрачной пропасти? Это казалось невозможным. Но все-таки нашелся такой человек. У клоаки оказался свой Христофор Колумб.

Однажды в 1805 году, в одно из редких посещений императором Парижа, министр внутренних дел, какой-то Декрэ или Кретэ, явился к обычному выходу императора. С площади Каруселей доносился лязг сабель грозных солдат Великой республики и Великой империи, у дверей апартаментов Наполеона толпились герои — люди, видевшие Рейн, Шельду, Эско, Адиджи и Нил, сподвижники Жубера, Десэ, Марсо, Гоша и Клебера, воздухоплаватели Флерюса, гренадеры из Майнца, понтонеры из Генуи, гусары, которые видели пирамиды, артиллеристы Жюно, кавалеристы, взявшие приступом флот, стоявший на якоре в Зюдерзее. Одни из них были вместе с Бонапартом на мосту Лоди, другие были вместе с Мюратом в траншеях под Мантуей, третьи шли впереди Ланна по рытвинам в Монтебелло. Тут, в Тюильри, собраны были представители от всех армий, выделивших от себя небольшие отряды или взводы, служившие охраной Наполеону в мирное время. Великая армия переживала ту

чудную эпоху, которая после Маренго предшествовала Аустерлицу.

— Ваше величество, — сказал министр внутренних дел Наполеону, — я видел вчера самого храброго человека во всей вашей Империи.

— Что же это за человек? — резко спросил император. — Что такое он совершил?

— Он задумал совершить нечто невозможное, ваше величество.

— Что же именно?

— Исследовать клоаки Парижа.

Такой человек действительно существовал и назывался он Брюнзо.

Глава 326

Исследование состоялось. Это было очень опасное предприятие: борьба в потемках с заразой и удушливыми газами. В то же время это путешествие сопровождалось целым рядом

открытий. Один из участников этой экспедиции, интеллигентный рабочий, бывший в то время еще молодым, рассказывал несколько лет тому назад любопытные подробности, которые Брюнзо счел необходимым опустить в представленном им докладе начальнику полиции как предмет, недостойный стиля, которым пишутся официальные бумаги. Дезинфицирование в то время производилось самым первобытным способом. Едва успел Брюнзо добраться до первых разветвлений подземной сети, как из двадцати сопровождавших его рабочих восемь отказались идти дальше. Задуманное им предприятие осложнялось еще и тем, что одновременно с исследованием канализационной сети приходилось производить чистку труб. Надо было и очищать каналы, и делать съемку, отмечать места, где сточные воды вливаются в трубы, считать решетки и отдушины, указывать все разветвления, отмечать пункты уклонов, определять границы различных бассейнов, измерять глубину второстепенных сточных труб, несущих стоки в главный канал, определять

высоту и диаметр каждого колодца как при основании свода, так равно и на уровне с решеткой, и, наконец, путем нивелировки определять ординаты всех входных отверстий для приема жидкостей как в подземных разветвлениях, так и на уровне улицы. Пробираться вперед было очень трудно. Нередко случалось, что лестницы погружались на три фута в тину. Фонари едва мерцали в насыщенной миазмами атмосфере. От недостатка воздуха рабочие довольно часто лишались чувств, и тогда их уносили. В некоторых местах под ногами исследователей вдруг обнаруживались трясины. Это значило, что земля размякла, плиты, которыми было выстлано дно канала, раздвинулись и тут образовывался затягивающий колодец; однажды в таком месте провалился человек, которого насилу вытащили. По совету Фуркроа в тех местах, где было достаточно чисто, на определенном расстоянии одно от другого, ставили клетки, набитые просмоленной паклей, и зажигали. Местами стены были покрыты грибами, точно бесформенными

наростами, похожими на опухоль; камень и тот, казалось, подвергался заболеванию в этих местах, где нечем было дышать.

Брюнзо, производя свои исследования, шел по уклону, следуя от верхнего течения реки к нижнему. На месте разветвления двух водопроводов Гран-Юрлэр он разобрал высеченную на камне дату «1550»; этот камень обозначал место, где остановился Филибер Делорм, исследовавший по приказанию Генриха II подземные ходы Парижа. Этим XVI век отметил то участие, которое он принимал в дальнейшей судьбе сточных каналов. Затем Брюнзо нашел метку XVII века в канале Понсо и в канале Старой Тампльской улицы, где кладка сводов для подземных труб производилась между 1600 и 1650 годами; а потом и метку XVIII века в западной части главного канала, сооруженного в 1740 году. Оба этих сооружения, в особенности более молодое, законченное в 1740 году, имели гораздо больше трещин в сводах и казались менее прочными, чем каменная кладка центрального пояса, существовавшая с 1412 года, с той самой

поры, когда образованный родниками ручей Менильмонтан был обращен в главный сточный канал Парижа.

Под зданием судебных мест открыли устроенные даже в самих стенах сточного канала темницы для заключенных. Что может быть ужаснее таких in pace (тюрьма для осужденных на пожизненное заключение). В одной из таких камер оказался висевший на цепи железный ошейник. Все эти камеры, разумеется, были уничтожены. Было сделано несколько удивительных находок; между прочим нашли скелет орангутанга, пропавшего в 1800 году из Ботанического сада, исчезновение которого, по всей видимости, имело связь с наделавшим в свое время много шума доказанным появлением дьявола в улице Бернардинцев в последний год XVIII столетия. Бедняга-дьявол, очевидно, кончил тем, что утонул в клоаке.

Под длинным сводчатым проходом, примыкающим к Арш-Марион, нашли корзинку тряпичника, до такой степени хорошо

сохранившуюся, что она вызвала удивление знатоков. В грязном иле, который рабочие неустрашимо убирали, находили много ценных предметов, золотые и серебряные вещи, драгоценные камни, монеты. Если бы какому-нибудь исполину пришло в голову промыть содержимое клоак, он собрал бы сокровища, накопившиеся здесь веками.

Но самая удивительная находка была сделана у входа в главный канал. Этот вход был некогда закрыт решеткой, от которой уцелели только одни крючья. На одном из этих крючьев висел оборванный и запачканный лоскут, который, по всей видимости, случайно застрял тут и теперь во мраке купался в жидкой грязи и все более и более разрывался. Брюнзо поднес фонарь и стал рассматривать этот лоскут. Он оказался куском тонкого батиста, и на одном из менее разорванных углов виднелась геральдическая корона, вышитая над следующими семью буквами: L, A, V, B, E, S, P. Корона была маркизская, а семь букв означали (Laubespine) Лобеспин. Оказалось, что этот батистовый

лоскут — обрывок от савана Марата. В молодости у Марата была любовная интрига. Это было в то время, когда он служил у графа д'Артуа в качестве лекаря при конюшнях. Воспоминанием об этой связи со знатной дамой, что доказано исторически, у него осталась эта простыня, может быть забытая, а может быть, и подаренная на память. Когда он умер, тело его завернули в эту простыню как в самую тонкую ткань из всего имевшегося у него белья.

Брюнзо прошел дальше. Оборванный кусок ткани оставили на своем месте: они не тронули его, так как в этом видна была печать рока, волю которого изменять не следовало. Кроме того, все, что попало в могилу, должно оставаться там, где оно лежит. А все-таки это была странная реликвия. На ней спала маркиза, и в ней же истлел Марат, она пришла сюда из Пантеона, чтобы попасть вместе с крысами в клоаку. Эта тряпка из алькова, все складочки которой некогда так мастерски рисовал Ватто, стала достойной того, чтобы Данте остановил на ней свой взгляд.

Полное исследование подземной сети парижской клоаки продолжалось семь лет, с 1805 по 1812 год. Производя исследование, Брюнзо решал, что именно нужно сделать, производил и заканчивал большие работы, в 1808 году он понизил уровень канала Понсо и, проводя везде новые линии, продолжил в 1809 году сточную трубу под улицей Сен-Дени до фонтана Невинных, в 1810 году он произвел работы под улицей Фруаманго и Сальпетриер, в 1811 году проложил линию сточных труб под улицами Нев Пти-Пер, Мель, Эшарп и под Королевской площадью, в 1812 году — под улицей Мира и под Шоссе д'Антэн. В то же время он дезинфицировал и очищал всю сеть. На втором году работ Брюнзо взял к себе в помощники своего зятя Нарго.

Вот каким образом в начале этого столетия старое население города очищало подземные трубы и приводило в порядок клоаку. Плохо или хорошо это делалось, а все-таки это была чистка.

Извилистая, вся растрескавшаяся, утратившая нижний каменный настил, пересеченная рытвинами, непонятно зачем загибавшаяся в разные стороны, то поднимавшаяся вверх, то опускавшаяся вниз без всякого смысла, зловонная, страшная своим ужасным видом, вечно погруженная во мрак, с растрескавшимся полом и выбитыми стенами, — такова была в то время старинная сеть сточных каналов Парижа. Бесчисленные разветвления во все стороны, целая сеть перекрещивавшихся траншей и канавок, расходившихся как лучи, как звезды, образовывавшие нечто похожее на слепую кишку или тупик, покрытые селитрой своды, зловонные ямы, плесень на стенах, капли, падающие с потолков, вечный мрак — вот что такое представляла собой эта покрытая рвами подземная клоака, этот пищеварительный аппарат Вавилона, этот вертеп, эта яма, эта бездна, изрезанная улицами, эта гигантская кротовая нора, где кажется, будто видишь бродящим во мраке, в грязи того громадного

слепого крота, имя которому «прошлое». Вот что такое была клоака того времени.

Глава 327

Теперь клоака чиста, прилична, выпрямлена и всегда исправна. Она почти что представляет собой идеал того, что в Англии понимают под словом «респектабельно». Она вполне пристойна, она вытянута в струнку и, можно сказать, почти что щегольски одета. Она похожа на лавочника, произведенного в статские советники. Там почти светло. Грязь ведет там себя благопристойно. При первом взгляде эту сеть сооружений можно принять за те подземные тайные ходы, сооружение которых некогда считалось обычным явлением и которыми так любили пользоваться в то доброе старое время, когда война была повседневным явлением. В настоящем виде система водостоков производит очень хорошее впечатление, все сооружения сделаны в строго определенном стиле; прямолинейный классический стиль, изгнанный из поэзии, нашел

себе убежище в архитектуре, и он виден здесь в каждом камне этих длинных мрачных белесоватых сводов, каждое отверстие в сточном канале имеет форму арки; улица Риволи служит примером даже для клоаки. При этом надо заметить, что если геометрически правильные прямые линии и имеют где-нибудь особенное значение, то именно при сооружении в больших городах каналов для стока нечистот. Тут все должно стремиться к тому, чтобы выбрать самый кратчайший путь. Теперь клоака приняла несколько официальный вид. Даже в полицейских рапортах, где о ней приходится иногда упоминать, к ней относятся с известного рода уважением. Теперь даже придуманы более облагороженные термины, которыми и пользуется администрация в своей деловой переписке. То, что раньше называли коленом, теперь называют галереей, то, что называли отверстием, теперь называют колодцем. Виллон не узнал бы своего старинного убежища в минуты невзгод. В этой подземной сети каналов всегда жило и живет и теперь бесчисленное

множество грызунов, размножающихся в настоящее время гораздо быстрее, чем раньше; иногда старая с седыми усами крыса осмеливается даже высовывать голову в окно колодца и рассматривать парижан, но эти отвратительные создания стали теперь гораздо спокойнее, видимо, довольные, что у них есть свой подземный дворец. Клоака утратила свой прежний мрачный вид. Дождь, раньше только загрязнявший водостоки, теперь моет их. Впрочем, им не следует все-таки особенно доверяться. Там все еще существуют миазмы. Клоака скорей лицемерна, чем безупречна. Полицейской префектуре и комиссии общественного здравоохранения всегда есть там работа. Несмотря на все старания оздоровить клоаку, она все еще издает неопределенный подозрительный запах и возбуждает недоверие, как совесть Тартюфа.

Но если разобрать дело по справедливости, все-таки нельзя не согласиться, что чистка — своего рода дань уважения, которую клоака оказывает цивилизации, а так как с этой точки

зрения совесть Тартюфа все-таки прогресс по сравнению с авгиевыми конюшнями, то очевидно, что парижская клоака улучшилась.

Это даже больше, чем прогресс, — это превращение. Кто же произвел это превращение?

Человек, о котором все забыли и которого мы назвали Брюнзо.

Глава 328

Устройство каналов для парижского водостока было делом нелегким. Этой работой неустанно занимались десять последних столетий и все-таки не могли окончить, как не смогли достроить Париж. И в самом деле, в развитии водостока отражается рост Парижа. В то время как город разрастается наверху, внизу под землей растет подобие мрачного гигантского полипа с бесчисленным множеством щупальцев. Каждый раз как в городе прокладывают улицу, у водостока прибавляется новый канал. Старая монархия соорудила всего только двадцать три

тысячи триста метров водосточной сети; это данные для Парижа на 1 января 1806 года. Начиная с этого времени, дело это — о чем мы сейчас будем говорить — снова было начато, и работы продолжались и более целесообразно и более энергично. Наполеон соорудил — цифры эти очень интересны — четыре тысячи восемьсот четыре метра водостоков, Людовик XVIII — пять тысяч семьсот девять метров. Карл X — десять тысяч восемьсот тридцать шесть метров, Луи-Филипп — восемьдесят девять тысяч двадцать метров. Республика 1848 года — двадцать три тысячи триста восемьдесят один метр, нынешнее правительство — семьдесят тысяч пятьсот метров, в результате в настоящее время всего двести двадцать шесть тысяч шестьсот десять метров, что составляет шестьдесят лье водосточных труб — так велика внутренность Парижа. Мрачная подземная сеть всегда работает — это сооружение громадное, хотя большинству и неведомое.

Подземный лабиринт Парижа, как это видно, в настоящее время увеличился больше чем в

десять раз против того, чем он был в начале столетия. Трудно представить себе, сколько нужно было настойчивости и усилий, чтобы довести эту клоаку до того относительного совершенства, в котором она теперь находится. Большого труда стоило городскому управлению прежней монархии, а в последнее десятилетие XVIII столетия революционной мэрии, прорыть пять миль водостока в дополнение к тому, что существовало ранее. Исполнение этой задачи встретило серьезные препятствия, частично заключавшиеся в свойствах почвы, а частично в связи с предрассудками, распространенными среди рабочего населения Парижа. Париж выстроен на таком грунте, который оказывает почти непреодолимые препятствия заступу, кирке, бураву и вообще всему, с чем бы ни приступил к нему человек. Ничего не может быть труднее, как проникнуть вглубь этих геологических наслоений, над которыми легла та удивительная историческая формация, которая называется Парижем; как только делают в каком бы то ни было виде попытку проникнуть в эти

наносные слои, в них неожиданно обнаруживаются скрытые в земле всевозможные препятствия. Тут и жидкая глина, и подземные ключи, и твердые скалы, и тот мягкий, глубоко залегающий ил, который на профессиональном языке называется «горчицей». Кирка с трудом пробивает известковые пласты, чередующиеся с очень тонкими слоями жирной глины и сланца, испещренного, точно листьями, раковинами устриц, водившихся в океане в доисторические времена. Иногда воды подземного потока заливают вдруг неоконченный еще свод и затопляют рабочих; бывает, что рабочие натыкаются на плывун, который появляется неожиданно и точно бурный водопад крушит самые толстые подпорки, как хрупкое стекло. Еще совсем недавно, когда понадобилось, не прекращая навигации и не осушая канала, проложить в Вильетте широкую трубу под Сен-Мартенским каналом, на дне канала вдруг образовалась трещина, вода залила все подземные сооружения, и ее не удалось выкачать даже самыми сильными насосами. Пришлось

посылать водолаза разыскивать трещину и только с большим трудом удалось ее заделать. В других местах, как у берегов Сены, так и на довольно далеком от нее расстоянии, как, например, в Бельвиле, по Большой улице и по дороге в Люньер, встречаются зыбучие пески, втягивающие в себя все, что в них попадает, и где человек может исчезнуть в одно мгновение. Прибавьте к этому опасность задохнуться в насыщенном миазмами воздухе, быть задавленным осыпавшейся землей или провалиться в яму, в случае если рыхлая почва вдруг осядет, прибавьте тиф, которым незаметно для самих себя заболевают рабочие.

На нашей памяти работами руководил Монно. Он прорыл на глубине десяти метров подземную галерею Клиши с бассейном для приема всей массы воды, поступающей из канала Урк, потом он же заключил в трубу, начиная от Госпитального бульвара и до Сены, реку Бьевр, причем для предупреждения обвалов и осыпи рыхлого гнилостного грунта все время приходилось укреплять его подпорками, затем,

чтобы избавить Париж от стремившейся в него потоками воды с Монмартра и чтобы дать сток громадной луже площадью девять гектаров, образовавшейся близ заставы святых Мучеников, он проложил длинную линию водосточных труб от заставы Бланш до дороги в Обервиль, работая целых четыре месяца, днем и ночью, на глубине одиннадцати метров; наконец, он же, не роя открытых канав, чему еще не было примера, проложил водосточные трубы под улицей Барс-де-Бек на глубине шести метров под землей — и умер. После него умер инженер Дюло, который соорудил три тысячи метров водосточных труб во всех концах города, начиная от улицы Траверсьер-Сент-Антуан до улицы Урсин, навсегда избавил от наводнений перекресток Сенсье-Муффетар, проведя канал от улицы Арбалет, соорудил из камня и бетона в зыбучих песках водосток Святого Георгия и произвел очень опасную работу по понижению уровня водостока, проходящего по местности, где стоит церковь Назаретской Божией Матери. О таких

подвигах храбрости, более полезных, чем на поле битвы, не выпускают бюллетеней.

В 1832 году парижский водосток был далеко не такой, как теперь. Брюнзо дал толчок, но нужно было появиться холере, чтобы заставить довести до конца начатое с тех пор дело полной перестройки. Невольное удивление вызывает, например, то обстоятельство, что в 1821 году пролегающая по улице Гурд часть главного кольцеобразного канала, который опоясывает весь город и носит название Большого канала, как в Венеции, оставалась еще не заключенной в своды. Только в 1823 году Париж выложил из кармана те двести шестьдесят шесть тысяч восемьдесят франков шесть сантимов, которые были необходимы для того, чтобы покрыть этот позор. Три сливных колодца, Комба, Кюнет и Сен-Моде, включающие сложную систему вытяжных труб, отстойников, фильтров и желобов, существуют только с 1836 года. Подземная сеть Парижа вся переделана заново и, как мы уже говорили, увеличилась больше чем в десять раз за последние четверть века.

Тридцать лет тому назад в описываемое нами время во многих местах водосточные трубы были еще в прежнем виде. Очень большое число улиц, теперь сплошь вымощенных и непроницаемых для воды, тогда были прорезаны сточными канавами. Очень часто приходилось видеть тогда в местах, особенно сильно заливаемых водой с соседних улиц, или на перекрестках большие квадратные решетки с толстыми железными прутьями, до блеска отполированные ногами пешеходов и представлявшие большую опасность для экипажей и особенно для лошадей, так как последние в таких местах часто падали. На официальном языке ведомства путей сообщения такие места, равно как и решетки, метко назывались cassis (черная смородина). В 1832 году на многих улицах, в том числе на улицах Звезды, Сен-Луи, Тампль, Старый Тампль, Назаретской Богоматери, Фоли-Мерикур, на Цветочной набережной, на улицах Пти-Мюск, Нормандской, Понт-о-Биш, Болотной, в предместье Сен-Мартен, на улице Нотр Дам де Виктуар; в предместье Монмартр, на улице

Гранд-Бательер, на Елисейских полях, на улицах Жакоб и Турнон, старый готический водосток цинично показывал еще свою разверзстую пасть. Эти обложенные камнями громадные отверстия были нечто ужасное, иногда такие ямы окружали тумбы, как монументы, которым воистину нечего было стыдиться обратить на себя внимание.

В 1806 году парижские водосточные трубы имели почти такое же протяжение, как и в мае 1663 года, то есть пять тысяч триста двадцать восемь туазов. После Брюнзо к 1 января 1832 года их уже было сорок тысяч триста метров. Начиная с 1806 года и до 1831 года в среднем ежегодно сооружали семьсот пятьдесят метров, потом прокладывали по восьми и даже по десяти тысяч метров водосточных труб ежегодно, причем кладка производилась на известковом гидравлическом растворе, а основание делалось бетонное.

Кроме экономического прогресса, о чем мы говорили уже вначале, такая трудная задача, как устройство водостока в Париже, связана еще с

разрешением важных вопросов по общественной гигиене.

Париж находится между двумя стихиями: водой и воздухом. Слой воды, залегающий на довольно значительной глубине, но уже обнаруженный во время двукратного бурения, находится в песчаниковом пласте, между мелом и известняком юрского периода; пласт этот образует линзу, имеющую двадцать пять миль в радиусе, из него просачивается вода во множество рек и ручьев; в одном стакане воды из гренельского колодца пьешь воду из Сены, Марны, Ионны, Уазы, Эна, Шеры, Вьенны и Луары. Водная среда здесь здоровая, вода сначала падает с неба, а потом выходит из земли, слой воздуха, наоборот, вреден, потому что он выходит из водостока. Все миазмы клоаки примешиваются к воздуху, которым дышит город; этим объясняется, почему так вреден городской воздух. Научным путем доказано, что воздух, взятый над кучей навоза, чище, чем воздух над Парижем. Придет время, когда под влиянием прогресса и владея усовершенствованными

механизмами и необходимыми знаниями, станут употреблять воду для очистки воздуха, то есть будут производить вторичную промывку водостоков. Промывание водостока, как известно, по нашим понятиям, имеет целью возвратить земле то, что ей принадлежит: вернуть обратно на поля навоз. Такое в сущности простое явление будет иметь результатом для всего населения уменьшение нищеты и улучшение здоровья. В настоящую минуту Париж служит очагом заразы на пятьдесят миль вокруг Лувра, который является как бы ступицей этого зачумленного колеса.

Можно смело сказать, что клоака уже десять веков составляет болезнь Парижа. Водосток — это зараза, распространенная у города в крови. Инстинкт народа никогда не ошибался в этом отношении. Занятие очисткой водостоков считалось некогда почти таким же опасным и почти так же было противно народу, как и ремесло живодера, так долго внушавшее ужас и предоставлявшееся палачу. Приходилось очень дорого платить, чтобы заставить каменщика

спуститься в это зловонное подземелье; лестница колодезного мастера долго раздумывала, прежде чем спуститься туда; существовала даже поговорка: спуститься в водосток все равно, что войти в могилу, и всевозможные самые отвратительные легенды, о чем мы уже упоминали, внушали ужас к этому колоссальному водостоку, страшному гнезду, где видны следы переворотов, совершавшихся как в самой оболочке земного шара, так равно и переворотов, устраивавшихся людьми, и где находят следы всех разрушений, начиная с допотопных раковин и кончая саваном Марата.

Глава 329

Жан Вальжан очутился в парижский клоаке.

Новый признак сходства Парижа с океаном, — здесь, как и в океане, можно погрузиться в глубину и исчезнуть.

Переход был резок. Жан Вальжан посреди самого города скрылся из города, и причем в

мгновение ока, стоило только ему захлопнуть над собой крышку, вместо яркого дневного света его охватила глубокая тьма, вместо полудня наступила полночь, вместо шума — тишина, вместо грохота выстрелов — покой могилы, и при этом еще переход, более удивительный, чем на улице Полонсо, — из положения в высшей степени опасного к абсолютной безопасности.

Странное это было явление: внезапный провал в погреб, исчезновение в подземной темнице Парижа. Он попал с улицы, где со всех сторон ему грозила смерть, в это подобие склепа, где его ждала жизнь. Несколько секунд он стоял, как ошеломленный, и с изумлением прислушивался. Над его головой опустилась железная крышка западни, и в этом заключалось его спасение. Небесное милосердие взяло его под свое покровительство, как бы губя его. Можно ли жаловаться за это на Провидение?

Только раненый не подавал признаков жизни, и Жан Вальжан не знал, кого держит он на руках — живого или мертвого.

В первую минуту он точно ослеп. Он вдруг не стал видеть. Затем ему показалось, что он также моментально и оглох. Он больше ничего не слышал. Буря смертоубийства, бешено ревевшая в нескольких футах над его головой, доносилась до него, как мы уже говорили, благодаря толстому слою земли, отделявшему его от места битвы, слабо и неясно, точно глухой тревожный гул. Он чувствовал, что стоит ногами на твердой почве; этим пока все и ограничивалось, но для него этого было совершенно достаточно. Он вытянул сначала одну руку, потом другую и обеими руками коснулся стены, — из этого он узнал, что проход узкий; он поскользнулся и сделал вывод, что вымощенный пол у него под ногами мокрый; он осторожно сделал один шаг вперед, боясь упасть в яму, в водосточный колодец или пропасть; тут он узнал, что и дальше пол точно так же идет мощеный; поднявшееся зловоние объяснило ему, куда он попал.

Через несколько секунд он уже не был слепым. Через отдушину, благодаря которой он попал в водосточную трубу, проникало немного

света, и скоро глаза его стали привыкать к полумраку, царствовавшему в этом погребе. Он начал постепенно кое-что различать. Узкий проход, где он добровольно похоронил себя, — никаким другим словом нельзя лучше определить его положение, — был за спиной у него точно замурован. Это был один из тех глухих каналов, которые на специальном языке называются рукавами. Казалось, перед глазами стоит другая стена — стена мрака. Влияние отдушины кончалось в десяти или в двенадцати шагах от того места, где стоял Жан Вальжан, но и на этом небольшом пространстве перед ним белело только несколько метров покрытой сыростью стены водостока. Дальше, за этой границей, была полная тьма, представлявшаяся чем-то ужасным; казалось, что этот мрак поглотит того, кто осмелится проникнуть в него. Но, несмотря на это, не только можно, но даже нужно было проникнуть в это погруженное в беспросветную тьму пространство. Следовало даже поторопиться сделать это. Жану Вальжану пришло в голову, что раз решетка бросилась в

глаза ему, то на нее могли обратить внимание также и солдаты. Тут все зависело от случая. Они точно так же могли спуститься в колодец и осмотреть его. Нельзя терять ни одной минуты. Сначала он опустил было Мариуса на пол, но потом опять поднял его, взвалил на плечи — самое подходящее слово — и пошел, смело вступив в царство мрака.

В действительности положение их было далеко не так безопасно, как думал Жан Вальжан. Им грозили другие, может быть даже не меньшие опасности. После сверкающей молниями грозы битвы они попали в насыщенное миазмами подземелье, в западню, из хаоса перешли в клоаку. Жан Вальжан из одного круга ада попал в другой.

Пройдя шагов пятьдесят, Жан Вальжан остановился. Ему предстояло решить очень важный вопрос. Подземный коридор упирался в другой такой же коридор, который пересекал его под прямым углом. Перед ним теперь были две дороги — какую из них избрать? Повернуть

налево или направо? Как ориентироваться в этом темном лабиринте? Но этот лабиринт, как мы уже говорили раньше, имел свою путеводную нить — уклон. Идти по уклону — значит направляться к реке. Жан Вальжан быстро это понял. По его расчетам он должен был находиться в водосточной трубе, проложенной под рыночной площадью, и поэтому, если он повернет налево и пойдет по уклону, не больше как через четверть часа он достигнет одного из отверстий на берегу Сены, между мостом Менял и Новым мостом, а это значило, что он среди белого дня появится в самой людной местности Парижа. Может быть, ему придется вылезать наружу где-нибудь на бойком перекрестке. Появление двух окровавленных людей, вылезающих из-под земли, само собой разумеется, сильно удивит прохожих, явятся полицейские, а за ними солдаты с ближайшего поста и их арестуют. Они будут схвачены раньше, чем выберутся наружу. Лучше уж углубиться в этот лабиринт, довериться этому мраку и предоставить все на волю провидения.

Он повернул направо и стал подниматься вверх по склону.

Как только он зашел за угол коридора, слабый отдаленный свет, проникавший из отдушины, исчез, завеса мрака окутала его, и он опять ослеп. Несмотря на это, он не думал о возвращении назад, а, наоборот, старался идти как можно быстрее. Руки Мариуса, перекинутые вперед, были у него на груди, а ноги висели за спиной. Одной рукой он держал обе его руки, а другой ощупывал стену. Одна щека Мариуса соприкасалась с его щекой и даже прилипала к ней, потому что была вся в крови. Он чувствовал, как по его телу текла и проникала к нему под платье тепловатая кровь Мариуса. В то же время он чувствовал влажную теплоту у своего уха, против которого приходился как раз рот раненого, и это служило ему доказательством, что Мариус дышит и, следовательно, жив. Коридор, по которому шел теперь Жан Вальжан, был не так узок, как первый. Жан Вальжан продвигался вперед с большим трудом. От шедших накануне дождей, не успевших еще

сбежать, в центре водосточной трубы образовался маленький ручей, и он был вынужден прижиматься к стене, чтобы не идти все время по воде. Угрюмо он брел вперед. Он был похож на одно из тех таинственных созданий, которые на ощупь бродят в потемках и скрываются под землею в недрах мрака.

Между тем, может быть, потому, что к нему проникало немного тусклого света из отдаленных отдушин, а может быть, потому, что его глаза постепенно привыкали к темноте, но только к нему возвращалось зрение, и ему казалось, что он как будто видит стену, когда дотрагивается до нее рукой, видит потолок свода, под которым он проходит. Зрачки расширяются в темноте, и человек начинает видеть точно так же, как душа расширяется в несчастье и кончает тем, что познает Бога.

Выбирать дорогу было очень трудно. План клоаки служил, так сказать, отражением плана находящихся над ней улиц. В Париже было в то время две тысячи двести улиц. Представьте же

себе внизу под этим целый лес мрачных рукавов, называемых водостоками. Если бы вытянуть все существовавшие в то время водосточные трубы в одну прямую линию, она вышла бы длиной одиннадцать лье. Выше мы уже говорили, что в настоящее время сеть водосточных труб благодаря неустанной деятельности последних тридцати лет имеет в длину не менее шестидесяти миль.

Жан Вальжан ошибся с самого начала. Он думал, что находится под улицей Сен-Дени, и очень жаль, что это не было так. Под улицей Сен-Дени проходит старый каменный водосток, который существует со времен Людовика XIII и который идет прямо к главному водосточному каналу, называемому Большим водостоком, с одним поворотом направо, на высоте бывшего Двора чудес, и с одним только разветвлением, каналом Сен-Мартен, четыре рукава которого пересекаются крестообразно. Но узкая водосточная труба, проходившая по улице Петит-Трюандери, где был устроен смотровый колодец вблизи кабачка «Коринф», никогда не имела

никакого сообщения с подземельем улицы Сен-Дени; эта труба примыкала к Монмартрскому водостоку; туда-то Жан Вальжан, сам не зная того, теперь и направлялся. В этом водостоке очень легко заблудиться. Монмартрский водосток — самый запутанный во всей старой сети. К счастью, Жан Вальжан давно уже миновал оставшийся позади Рыночный водосток, который даже на плане представляет собою поразительную путаницу; но ему предстояло преодолеть еще немало затруднений, и не один поворот улицы, — потому что эти каналы те же улицы, — должен был являться пред ним в темноте вроде вопросительного знака; во-первых, налево громадный водосток Платриер, нечто вроде китайской головоломки, с целым хаосом запутанных каналов в виде букв T и Z, проходящих под зданием почтамта и ротондой хлебного рынка до самой Сены, где водосток кончается трубой в виде Y; во-вторых, направо кривой коридор улицы Кадран с тремя глухими отростками, похожими на зубцы; в-третьих, налево запутанные разветвления улицы Мэль,

начинавшиеся чем-то похожим на гигантские вилы, а дальше зигзагами примыкавшие к большому Луврскому подземному резервуару, расходясь и разветвляясь во все стороны; наконец, направо узкий глухой канал улицы Исповедников, не считая уже маленьких как бы отростков, попадавшихся тут и там на пути к главному опоясавшему Париж водостоку, который один только и мог вывести его к какому-нибудь отдаленному безопасному выходу, где ему некого и нечего было бы уже бояться.

Если бы Жан Вальжан имел какое-нибудь понятие о том, о чем мы теперь говорим, он очень быстро бы сообразил, руководствуясь только одним ощупыванием стен, что он находится не в подземной галерее улицы Сен-Дени. Вместо старого тесаного камня, вместо старинной постройки, фундаментальной и величественной даже в архитектуре клоак, с фундаментом из гранита на извести, что обходилось по восемьсот ливров за один туаз, он почувствовал бы под руками дешевую современную кирпичную стену с фундаментом из жернового камня на цементе,

лежащем на слое бетона, что обходится всего двести франков за метр; но он об этом ничего не знал.

Он шел вперед с душевной тоской, но спокойно, ничего не видя, ничего не зная, надеясь на какую-нибудь счастливую случайность, то есть отдавшись на волю Провидения.

Однако, незаметно для самого себя, он начинал беспокоиться. Окруживший его мрак овладевал его рассудком. Он шел наугад. Эта подземная сеть водосточных труб клоаки ужасна, это бесчисленное множество скрещивающихся труб может свести с ума. Ничего нельзя представить себе печальнее положения человека, попавшего в этот Париж, где царствует вечный мрак, Жан Вальжан должен был искать и почти что изобретать для себя дорогу, не имея возможности видеть ее. В этой неизвестности каждый его шаг мог быть и последним. Как выбраться ему отсюда? Как найти выход? Найдет ли он его вовремя? Возможно ли пройти и выбраться сквозь эту колоссальную подземную

губку с каменными ячейками? Не застрянет ли он там в каком-нибудь наглухо закупоренном гнезде, неожиданно попав в него в потемках? Не запутается ли он в густой сети переходов, из которых нельзя потом будет выйти? Не умрет ли Мариус от потери крови, а он — от голода? А что, если оба они погибнут в каком-нибудь темном уголке? Он не знал ничего. Он задавал себе все эти вопросы, но не мог ответить на них. Внутренность Парижа — это бездна. Он был как пророк во чреве чудовища.

Вдруг случилось нечто удивительное. В самый неожиданный для него момент, в то время как он все продолжал идти вперед по прямой линии, он вдруг обратил внимание, что перестал подниматься в гору, вода ручейка, струившегося по дну водосточной трубы, уже не бежала ему навстречу и начала смачивать уже не носки, а, наоборот, каблуки его сапог. Сточная труба шла не вверх, а вниз. Значит, он совершенно неожиданно для себя приближался к берегу Сены. Это грозило большой опасностью, но опасность вернуться назад была еще больше. Он

продолжал двигаться вперед. Но он шел не к Сене. Правый берег реки в черте Парижа имеет вид покатого холма, один из скатов которого опускается к Сене, а другой — к главному водосточному каналу. Гребень этого холма, служащий водоразделом, извивается самым произвольным образом. Высшая точка, служащая водоразделом, находится в водостоке Сент-Авуа, по ту сторону улицы Мишель ле Конт, в клоаке Лувра, около бульваров, и в водостоке Монмартра, около Рынка. Жан Вальжан достиг как раз этой кульминационной точки. Он шел по направлению к окружному водостоку и находился на правильном пути, не зная этого.

Каждый раз, как ему встречалось разветвление, он предварительно ощупывал углы коридора, и если входное отверстие в него было уже того коридора, в котором он находился, он не сворачивал в него и продолжал идти заранее выбранной дорогой, справедливо рассуждая, что всякий более узкий подземный коридор закончится непременно тупиком и только отдалит его от цели, то есть от выхода наружу. Благодаря

этому ему удалось благополучно миновать западню, которую готовили ему во мраке четыре лабиринта, только что перечисленные нами.

Наконец наступила минута, когда он мог уверенно сказать, что вышел из той части Парижа, где вследствие беспорядков прекратилось уличное движение, и вступил в подземелье оживленного и нормального Парижа. Над его головой вдруг послышался как бы отдаленный, но продолжительный раскат грома: это по мостовой катились экипажи.

Он шел уже около получаса, так по крайней мере ему казалось, и за все время ему ни разу не пришло в голову остановиться отдохнуть, и он только переменил руку, которой держал Мариуса. Тьма сгустилась, казалось, еще сильнее, но эта темнота придавала ему бодрость.

Вдруг он увидел впереди себя свою тень. Она чуть заметно вырисовывалась на тусклом красноватом фоне, в который были как бы слегка окрашены пол у него под ногами и свод над головой, этот же красноватый свет окрашивал и

мокрые стены коридора. Он изумленно обернулся.

Сзади него, в той части водостока, которую он только что прошел, хотя ему и казалось, что это где-то очень далеко, сверкала среди густого мрака какая-то ужасная звезда, которая как будто смотрела на него.

За этой звездой двигались восемь или десять черных, прямых, неясных, зловещих фигур: то была полиция, проникшая в водосток.

Глава 330

Днем 6 июня было отдано приказание осмотреть водостоки. Появилось опасение, что там могли укрыться побежденные, и префект Жискэ должен был обследовать подземный Париж в то время, как генерал Бюго очищал наземный Париж; одновременное исполнение этих двух задач, имевших связь между собой, требовало от правительства одновременного действия двойной силы, которая наверху

представлялась армией, а внизу полицией. Три отряда полицейских агентов и служебного персонала при водостоках осматривали подземную сеть Парижа: один — правый, другой — левый берег и третий — центр города. Агенты были вооружены карабинами, кастетами, саблями и кинжалами.

В эту минуту на Жана Вальжана был направлен фонарь дозора, исследовавшего правый берег.

Этот дозор только что осмотрел кривую галерею и три тупиковых коридора под улицей Кадран. В то время как дозор направлял свой фонарь в глубину этих тупиков, Жан Вальжан, достигнув входа в галерею, убедился, что она уже того коридора, по которому он шел, и не свернул в нее. Он прошел мимо. Полицейским, когда они выходили из галереи Кадран, послышались шаги в направлении к окружному водостоку. И они не ошиблись, это были шаги Жана Вальжана. Начальник дозора, сержант, поднял кверху

фонарь, и весь отряд стал смотреть в ту сторону, откуда из потемок доносился шум шагов.

Это была мучительная минута для Жана Вальжана.

К счастью, в то время, как он хорошо видел фонарь, сам фонарь практически его не освещал. Он был и светом, и тьмой. Он был очень далеко и сливался с окружающим мраком. Жан Вальжан прижался к стене и стоял не шевелясь.

Впрочем, он не отдавал себе отчета в том, что происходило там, позади него. Бессонница, недостаток пищи, волнение — все это довело в конце концов даже и его до полубессознательного состояния. Он видел пламя и вокруг него какие-то движущиеся тени. Что это такое? Он не понимал.

Как только Жан Вальжан остановился, шум прекратился.

Дозорные напрягали слух и ничего не слышали, смотрели и ничего не видели. Они стали совещаться.

В то время в этом месте Монмартрского водостока существовало подобие небольшой площадки, носившей название сторожевой; она впоследствии была уничтожена, так как после сильных дождей ее до такой степени заливало водой, что образовывалось нечто вроде маленького озера. Все дозорные свободно могли уместиться на площадке.

Жан Вальжан видел их сбившиеся в тесный круг фигуры. Они стояли с наклоненными вперед головами и шепотом вели совещание, результатом которого стал вывод, что они ошиблись, что впереди никого нет и что незачем идти осматривать трубы окружного водостока, так как это было бы бесполезной тратой времени, а гораздо лучше идти как можно скорей к Сен-Мерри, потому что там быстрее можно рассчитывать напасть на следы какого-нибудь «бузенго».

Политические партии через известные промежутки времени меняют свои прозвища, как старые подошвы. В 1832 году слово «бузенго»

было модным прозвищем, заменившим устаревшее название «якобинец», а затем и само исчезло и уступило место прозвищу «демагог», в ту пору почти не употреблявшемуся, но зато впоследствии сослужившему такую великолепную службу.

Сержант приказал свернуть влево к берегу Сены. Если бы дозорным пришло в голову разделиться на два отряда, из которых один пошел бы в одну сторону, а другой — в другую, они непременно поймали бы Жана Вальжана. Очень возможно, впрочем, что инструкция префектуры, имея в виду возможность вооруженного столкновения с революционерами, запретила дозорным разбиваться на мелкие отряды. Дозор пошел дальше, оставив позади себя Жана Вальжана. Из всего, что происходило перед его глазами, Жан Вальжан обратил внимание только на исчезновение фонаря, который вдруг повернулся рефлектором в другую сторону.

Перед уходом сержант для успокоения своей полицейской совести выстрелил из карабина в ту сторону, где укрывался Жан Вальжан. Гром выстрела эхом прокатился под сводами водостока, точно ворчание в этой титанической утробе. Кусок штукатурки, упавший в ручеек в нескольких шагах от Жана Вальжана, служил доказательством, что пуля попала в свод над его головой.

Некоторое время еще слышались постепенно замиравшие вдали звуки шагов полицейских по каменным плитам коридора, черные фигуры дозорных, погружаясь во мрак ночи, сливались с ним, фонарь, покачиваясь, точно плыл, оставляя за собой на своде красноватую дугу, которая, постепенно уменьшаясь, наконец совсем исчезла, и в подземелье опять воцарились глубокая тишина и мрак. Жан Вальжан опять сделался слеп и глух и, боясь пошевелиться, стоял, прислонившись к стене, чутко прислушиваясь и с расширенными зрачками следя за исчезавшим вдали патрулем призраков.

Глава 331

Следует отдать справедливость полицейским того времени, что они даже в минуты самых тяжелых потрясений в жизни общества с непоколебимой твердостью исполняли свои обязанности по охране общественной безопасности. Она не смотрела на восстание как на предлог к тому, чтобы предоставить полную свободу действий разного рода преступникам, и не прекращала забот об охране общества только потому, что правительство было в опасности. Она несла свою обычную службу одновременно с исполнением обязанностей, экстренно возлагаемых на нее чрезвычайными обстоятельствами, и не приходила от этого в замешательство. Даже в самый разгар политических коллизий, последствия которых трудно было предугадать, полицейский агент, не обращая внимания ни на восстание, ни на баррикады, преследовал вора.

Нечто, несомненно подобное этому, происходило и днем 6 июня на правом берегу

Сены, немного подальше моста Инвалидов.

Теперь тут уже нет крутого берега. Вид местности изменился.

По этому берегу на некотором расстоянии один от другого шли два человека, взаимно наблюдая друг за другом, причем один, по-видимому, старался уйти от другого. Тот, кто шел впереди, старался уйти, а тот, который следовал сзади, шел за ним вдогонку.

Это было похоже на игру в шахматы, причем партия разыгрывалась на расстоянии, и противники не обменивались ни одним словом. Ни тот ни другой внешне не проявляли признаков торопливости, и оба шли медленно, как будто боясь, что если один пойдет быстрее, то эта поспешность может заставить и противника также ускорить шаг.

В этом было нечто похожее на голодного, преследующего добычу и старающегося не дать ей этого заметить. Но добыча была подозрительна и держалась настороже.

Беглец, служивший целью преследования, и следовавшая за ним ищейка заботливо соблюдали установившуюся дистанцию. Тот, который старался уйти, имел невзрачный, хилый вид и подозрительное лицо, тот, который преследовал его, наоборот, был высокого роста, крепкого телосложения, и столкновение с ним не сулило ничего доброго.

Первый, чувствуя себя слишком слабым, старался уйти от второго, но, спасаясь от него бегством, он казался сильно раздраженным: если бы кто-нибудь наблюдал за ним, то увидал бы в его глазах мрачное озлобление беглеца и прочел бы угрозу, вызываемую страхом.

Крутой песчаный берег был пуст, не видно было ни одного прохожего, ни одного лодочника, ни одного грузчика на стоявших тут и там баржах.

Разглядеть этих двух людей можно было только с противоположного берега, и тот, кто смотрел бы на них на таком расстоянии, сказал бы, что человек, шедший впереди, имел вид

жалкого оборванца; он шел неверными шагами, беспокойно поминутно оглядываясь и весь дрожа под клочьями своей блузы; другой, наоборот, казался типичным представителем должностного лица в своем наглухо застегнутом сюртуке.

Читатель, может быть, узнал бы обоих людей, если бы взглянул на них поближе.

Какую цель преследовал второй?

Вероятно, ему хотелось одеть потеплее первого.

Когда человек, хорошо одетый государством, преследует человека в рубище, то при этом он всегда имеет в виду одеть и этого человека за счет государства. Весь вопрос в цвете одежды. Быть одетым в синее — почетно, быть одетым в красное — неприятно.

Для отверженцев общества тоже существует свой пурпур.

Этой-то неприятности, сопряженной с получением особого рода пурпура, по всей вероятности, и желал избежать первый.

Второй позволил ему идти впереди и не схватил его еще до сих пор, судя по всему, в надежде, что ему удастся проследить беглеца до какого-нибудь сборного пункта, куда сойдется вся шайка. Такого рода операция деликатно называется «размотать клубок».

Это вполне возможное предположение подтверждалось еще тем обстоятельством, что застегнутый наглухо субъект, увидя проезжавший по набережной пустой фиакр, сделал кучеру знак; кучер, по-видимому, не только понял этот знак, но даже узнал, зачем он нужен; он повернул назад и поехал шагом, следя глазами за обоими пешеходами. Маневр этот ускользнул от внимания подозрительного оборванца, шедшего впереди.

Фиакр катился вдоль обсаженной деревьями аллеи Елисейских полей. Над парапетом виднелась фигура кучера, державшего в руке кнут.

В одной из тайных инструкций полицейским агентам имеется параграф: «Иметь всегда под

руками извозчичью карету на случай…»

Маневрируя таким образом, причем каждый обнаруживал безупречное знание всех правил стратегии, оба субъекта приблизились к спуску на берегу реки, где набережная, постепенно понижаясь, подходила к самой воде, что давало возможность кучерам, приезжающим из Пасси, подъезжать к реке и поить лошадей. Этот спуск впоследствии уничтожили ради симметрии: лошади умирают от жажды, но зато вид для глаза стал более приятный.

Казалось несомненным, что человек в блузе станет взбираться вверх по спуску и постарается скрыться на Елисейских полях, где хотя и много деревьев, но зато много и полицейских и где второму легко было бы получить помощь.

Это место набережной очень недалеко от дома, перевезенного в 1824 году из Морэ в Париж полковником Браком и известного под названием дома Франциска I. А там уже совсем близко помещался полицейский пост.

Преследуемый, к великому удивлению следовавшего за ним субъекта, не стал подниматься вверх по скату водопоя. Он продолжал идти вперед вдоль набережной, по кромке воды.

Его положение, видимо, становилось критическим.

Ему оставался только один выход: попытать счастья броситься в Сену.

Теперь уже ему не представлялось никакой возможности выбраться на набережную, тут не было ни отлогого спуска, ни лестницы, он был как раз около того места, где Сена делает поворот к Иенскому мосту и где берег, постепенно понижаясь и сужаясь, тонкой косой исчезает под водой. Там он неминуемо очутился бы между отвесной стеной берега справа, рекой слева и с представителем власти за спиной.

Правда, этот узкий конец песчаного берега был замаскирован от глаз большой кучей мусора, высотою шесть-семь футов, оставшейся после какой-то работы. Но мог ли надеяться этот

человек скрыться за кучей мусора, за которой так легко его было бы найти? Это было бы уже совсем по-детски. Ничего подобного ему, наверное, даже и в голову не приходило. Наивность воров не простирается до такой степени.

Куча мусора образовала на берегу реки подобие холмика, который одной стороной доходил до набережной.

Преследуемый направился к этому холмику и, зайдя за него, скрылся от глаз преследователя.

Последний, хотя уже не видел своего подопечного, но зато и сам не был видим им, сейчас же воспользовался этим обстоятельством, чтобы сбросить с себя маску притворства и ускорить шаг. В несколько секунд он достиг мусорной кучи и, обойдя ее кругом, в изумлении остановился. Там не было человека, за которым он гнался.

Блузник бесследно исчез.

От мусорной кучи песчаная коса берега тянулась еще шагов на тридцать, а дальше уже скрывалась под водой, которая плескалась у стены набережной.

Беглец не мог ни броситься в Сену, ни взобраться на набережную, чтобы этого не увидел его преследователь. Куда же он в таком случае девался?

Человек в застегнутом сюртуке дошел до конца песчаной косы и с минуту простоял тут, задумавшись, сжав кулаки и устремив глаза вперед. Вдруг он ударил себя рукой по лбу. Он заметил в том месте, где кончалась земля и начиналась вода, широкую полукруглую железную решетку, державшуюся на трех массивных петлях и запертую на замок. Решетка эта имела вид двери, пробитой в самом низу набережной для выхода из-под земли на берег реки. Из-под решетки вытекал черноватый ручеек. Этот ручеек вливался в Сену.

За толстыми массивными железными прутьями виднелся сводчатый темный коридор.

Человек в сюртуке скрестил на груди руки и смотрел на решетку с видом упрека.

Но один осмотр не удовлетворил его, он толкнул решетку, затем попробовал потрясти ее, но решетка не поддавалась. Казалось очень вероятным, что ее только что отпирали, хотя никакого шума и не было слышно, что было прямо-таки удивительно, так как решетка сильно заржавела, а между тем было несомненно, что ее не только отпирали, но и опять заперли. Это служило доказательством, что дверь отпирали и запирали не отмычкой, а ключом.

Эта очевидность тотчас же озарила мозг человека в сюртуке, тщетно пытавшегося расшатать дверь, и у него невольно вырвалось восклицание:

— Вот так штука! Ключ настоящий!

Но он сейчас же успокоился, и только односложные восклицания, вырывавшиеся у него с иронией в голосе, свидетельствовали, что голова его продолжает неустанно работать и мысли сменяются одна другой.

— Так!.. Так!.. Так!.. Так!..

Затем, видимо питая какую-то надежду (может быть, он рассчитывал, что скрывшийся от него человек снова вылезет наружу, а может быть думал, что туда же полезут и другие), он отступил немного от решетки и стал настороже возле кучи, терпеливо подстерегая дичь, как охотничья собака.

Со своей стороны фиакр, следивший за всеми его движениями, тоже остановился над ним около парапета. Кучер, предвидя долгую остановку, подвязал под морды своим лошадям подмокшие снизу мешки с овсом, так хорошо знакомые парижанам, с которыми, заметим мимоходом, правительство проделывает иногда то же самое. Все проходившие по Иенскому мосту, хотя таких прохожих было и очень мало, оборачивались и с минуту смотрели на эту необычную картину пейзажа, на человека, стоявшего на берегу, и на фиакр на набережной.

Глава 332

Жан Вальжан снова тронулся в путь, и в дальнейшем ему не грозила уже никакая опасность.

Идти становилось все труднее и труднее. Высота сводов меняется; средняя высота их около пяти футов шести дюймов рассчитана на человека среднего роста. Жан Вальжан должен был идти согнувшись, из боязни, чтобы Мариус не ударился головой о потолок свода, каждую минуту приходилось ему нагибаться, потом опять выпрямляться и все время ощупывать рукой стену. Покрытый слизью камень и скользкий мокрый пол служили плохими точками опоры для рук и ног. Он шел, спотыкаясь, по вонючим нечистотам города. Перемежающийся свет, проникавший в отдушины смотровых колодцев, появлялся только через большие промежутки, и притом такой тусклый, что яркое солнце отражалось там, как свет луны, все остальное было окутано туманом, миазмами, пылью, мраком. Жан Вальжан чувствовал голод и жажду,

в особенности жажду, но тут, как и в океане, было обилие воды, которую нельзя пить. Жан Вальжан обладал, как читателю известно, колоссальной силой, не утраченной с годами, благодаря воздержанному замкнутому образу жизни, но тут даже и он стал ослабевать. Он чувствовал усталость, а упадок сил давал чувствовать тяжесть ноши. Мариус, быть может уже умерший, казался таким же тяжелым, каким кажутся все покойники. Жан Вальжан старался поддерживать его таким образом, чтобы ему не давило грудь и чтобы дыхание не было стеснено. Он чувствовал, как у него под ногами шныряют крысы. Одна из них со страха чуть не укусила его. Время от времени сквозь отверстия в отдушинах смотровых колодцев до него доходила струя свежего воздуха, и тогда он точно оживал.

Было приблизительно около трех часов пополудни, когда он достиг главного окружного водостока.

В первую минуту его сильно удивило это неожиданное расширение клоаки. Он вдруг

очутился в такой галерее, где вытянутые руки не доставали до стен, и где, выпрямившись во весь рост, он не доставал до потолка свода. Главный водосточный канал и в самом деле имеет восемь футов в ширину и семь в высоту.

В том месте, где сток из Монмартра соединяется с главным водосточным каналом, к нему примыкают, образуя перекресток, две другие подземные галереи улицы Прованс и улицы Абаттуар. Менее сообразительный человек оказался бы в нерешительности, какую ему из этих четырех дорог избрать. Жан Вальжан выбрал самую широкую, то есть главный водосточный канал. Но тут возник другой вопрос: куда идти — вверх или вниз? Его положение казалось ему таким, что он должен стараться во что бы то ни стало как можно скорее достигнуть Сены. Другими словами, это значило идти под гору. Он повернул налево.

И хорошо сделал, что поступил таким образом, потому что большая ошибка думать, что главный окружной водосток имеет два выхода,

один возле Берси, а другой в Пасси, и что он, судя по его названию, опоясывает весь подземный Париж на правом берегу реки. Так называемый главный водосточный канал, — это необходимо иметь в виду, — не что иное, как бывший ручей Менильмонтан, и, если идти вверх по течению ручья, он закончится глухим тупиком в том самом месте, где ручей берет свое начало у подошвы холма Менильмонтан. Он не имеет прямого сообщения с ветвью, которая собирает в Париже воду, начиная с квартала Попинкур, и которая впадает в Сену через водосточный канал Амело, выше прежнего острова Лувье. Эта ветвь, дополняющая коллектор водостока, отделена от него даже под улицей Менильмонтан каменным валом, служащим водоразделом между верхним и нижним течениями. Если бы Жан Вальжан стал подниматься вверх по галерее, то он, бредя все время во мраке, измученный вконец, изнемогающий от усталости, ослабевший, подошел бы к глухой каменной стене. И тогда он погиб бы.

Впрочем, если бы он вернулся немного назад и прошел бы в подземные коридоры Кальварийского монастыря при условии не ошибиться в выборе направления в подземном центральном пункте Бушера, и, свернув в галерею Сен-Луи потом взял бы налево, в узкий проход Сен-Жилль, а затем свернул бы направо, оставив в стороне галерею Сен-Себастьяна, он мог бы достигнуть водосточного канала Амело, а оттуда, если бы только он не заблудился в разветвлении, имевшем на плане форму буквы R и проходившем под Бастилией, ему уже не трудно было бы добраться до выхода на Сену около Арсенала. Но для этого нужно было хорошо знать все разветвления и все пересечения громадного звездчатого коралла, именуемого цепью каналов водостока. А он, повторим еще раз, понятия не имел о тех ужасных местах, по которым шел, и если бы его спросили, где он был, он ответил бы: «Во мраке».

Инстинкт помог ему и в этом случае. Идти вниз по склону — в этом заключалась его единственная надежда на спасение.

Вправо от него остались узкие каналы, разветвляющиеся в виде когтей под улицами Лаффитт, Сен-Жорж, и длинный узкий раздвоенный канал, проходящий под шоссе д'Антэн.

Миновав небольшой приток, бывший, по всей вероятности, рукавом Мадлены, он остановился отдохнуть. Он очень устал. Достаточно широкая отдушина, по всей вероятности смотровой колодец на улице Анжу, пропускала довольно много света. Жан Вальжан с нежной заботливостью брата, ухаживающего за своим раненым братом, опустил Мариуса на банкет водостока. Окровавленное лицо Мариуса при бледном свете, проникавшем в отдушину, казалось лицом мертвеца, лежавшего в могиле. Глаза были закрыты, растрепавшиеся волосы прилипли к вискам, точно кисточки, обмоченные в красную краску и так и засохшие, руки висели, как плети, ноги были холодны, в углах рта виднелись сгустки запекшейся крови. Такие же сгустки крови запеклись и на галстуке, рубашка прилипла к ранам, толстое сукно верхней одежды

растирало остававшиеся незащищенными раны. Жан Вальжан, отвернув концами пальцев одежду, положил ему руку на грудь: сердце еще билось. Жан Вальжан разорвал свою рубашку, перевязал, как умел, раны и этим остановил кровотечение; потом, склонясь при этом тусклом свете над Мариусом, все еще не пришедшим в сознание и лежавшим почти бездыханным, устремил на него глаза, горевшие невыразимой ненавистью.

Расстегивая верхнее платье Мариуса, он нашел в карманах две вещи: хлеб, забытый со вчерашнего дня, и бумажник Мариуса. Он съел хлеб и осмотрел бумажник. На первой странице рукою Мариуса было написано четыре строки. Содержание их, как помнит читатель, следующее:

«Меня зовут Мариус Понмерси. Прошу доставить мое тело в дом моего деда господина Жильнормана, улица Филь-дю-Кальвер, No 6, в Марэ».

Жан Вальжан, пользуясь светом из отдушины, прочел эти четыре строки и на минуту как бы погрузился в свои мысли, повторяя вполголоса:

«Улица Филь-дю-Кальвер, номер 6, господину Жильнорману». Он снова положил бумажник в карман Мариуса. Он поел, силы вернулись к нему, он поднял Мариуса, взвалил его себе на спину, заботливо положил его голову к себе на правое плечо и снова пошел вниз по уклону водостока.

Главный ход клоаки, идущий по руслу Менильмонтанской долины, имеет в длину около двух миль. Он вымощен на значительной части своего протяжения.

У Жана Вальжана не было того, чем мы, как факелом, освещали его путь под землею, называя читателю улицы, под которыми он проходил. Ничто не говорило ему, в какой части города он находится и сколько он прошел. И только более слабые отблески света, проникавшего в попадавшиеся ему на пути отдушины смотровых колодцев, служили доказательством, что солнце уже не так ярко освещает улицы и что скоро оно совсем скроется; затем грохот экипажей над его головой, вначале непрерывный, а потом почти

прекратившийся, служил доказательством, что он уже не в центральной части Парижа, а в более глухой местности, где-нибудь невдалеке от бульваров, или же подходит к одной из самых отдаленных частей набережной. Там, где меньше домов и меньше улиц, водосточные каналы имеют меньше отдушин. Темнота постепенно все более и более сгущалась вокруг Жана Вальжана. Тем не менее он все продолжал идти, отыскивая в потемках дорогу ощупью.

И вдруг этот мрак стал ужасен.

Глава 333

Он вдруг почувствовал, что ступил в воду и что под ногами у него не каменные плиты, а илистое дно.

В некоторых местах по берегам Бретани и в Шотландии случается иногда, что человек, прохожий или рыбак, идя во время отлива по песку, далеко от берега, вдруг замечает, что ему уже несколько минут стало как будто трудно

идти. Твердый песок под ногами становится точно смола, подошвы прилипают к нему, — это уже не песок, а клей. Отмель как будто суха, а между тем при каждом шаге, как только поднимаешь ногу, оставляемый ею след наполняется водой. Впрочем, глаз не замечает никаких перемен, все необъятное пространство побережья кажется совершенно ровным и спокойным, песок имеет все тот же вид, не заметно ни малейшей разницы между теми местами, где почва твердая и где зыбкая, рой морских блох, сбившихся в маленькое облачко, продолжает виться у ног прохожего. Человек смело идет своей дорогой, стараясь выбраться на твердую землю, приблизиться к берегу. Он совершенно спокоен. О чем ему тревожиться? Только он чувствует с каждым шагом точно какую-то все возрастающую тяжесть в ногах. Вдруг он погружается в воду. Он погружается всего на два или на три дюйма. Он сбился с дороги и останавливается, чтобы сориентироваться. Вдруг он опускает глаза и смотрит себе под ноги. Ног не видно. Их затянуло

песком. Он вытаскивает ноги из песка, хочет вернуться назад, делает несколько шагов в обратную сторону и погружается еще глубже. Песок доходит ему до щиколоток, он вытаскивает ноги, бросается влево, песок доходит до икр, он бросается вправо, песок доходит до колен. Тогда он с невыразимым ужасом замечает, что он попал в зыбучие пески и что под ним страшная стихия, где человеку так же невозможно ходить, как рыбе плавать. Он бросает свою ношу, если она у него есть, он поступает как корабль, выбрасывающий за борт весь груз в минуту бедствия, но уже поздно, песок уже выше колен.

Он зовет на помощь, машет шляпой или платком, песок засасывает его все глубже и глубже. Если песчаный берег пустынен, если земля далеко, если песчаная отмель пользуется дурной славой, если в окрестностях нет героев, — тогда все кончено, он погиб: песок поглотит его. Он осужден на ту долгую, неминуемую, неумолимую смерть, которую нельзя ни замедлить, ни ускорить, где агония продолжается часами, где смерть застигает вас на

ногах, свободного и совершенно здорового, где она тащит вас за ноги, где при каждом вашем усилии, при каждом вашем крике она вас тащит все сильнее вниз, что имеет вид как бы наказания за ваше сопротивление увеличением силы поглощения, где она заставляет человека медленно погружаться в землю, предоставляя ему возможность все время видеть горизонт, деревья, зеленые поля, дым, поднимающийся из труб в деревнях на равнине, паруса кораблей на море, летающих и поющих птиц, солнце, небо. Поглощение — это могила, которая точно прилив поднимается из недр земли к человеку. Каждая минута — это неутомимо продолжающееся завертывание в саван. Несчастный пробует сесть, лечь, ползти, но, что бы он ни делал, всякое усилие только еще глубже опускает его в могилу, он выпрямляется и все-таки погружается, он чувствует, что песок засасывает его, он рыдает, умоляет, взывает к небесам, ломает руки, приходит в отчаяние. Вот он погрузился в песок уже по пояс, песок достигает груди, остаются свободными только плечи. Он поднимает руки,

испускает ужасные крики, хватается руками за песок, будто хочет удержаться таким образом на поверхности, упирается локтями, пытаясь вырваться из этого мягкого футляра, рыдает как безумный, — песок поднимается все выше и выше. Песок покрывает плечи, затем добирается до шеи, теперь видно только одно лицо. Рот кричит, в него набивается песок, наступает молчание. Глаза еще смотрят, песок поглощает и их, наступает ночь. Потом постепенно исчезает лоб, над песком развеваются только волосы, показывается рука, пробивает верхний слой песка, движется и машет и, наконец, исчезает. Ужасное исчезновение человека.

Иногда песком поглощается всадник вместе с конем, иногда таким образом исчезает возница вместе с тележкой, песок принимает все. Но это происходит иначе, чем в воде. Тут земля поглощает человека. Земля, пропитанная океаном, становится западней. Она кажется гладкой и расступается, как вода. Бездна имеет в себе тоже нечто предательское. Такой печальный случай, всегда возможный на том или на другом

морском берегу, также был возможен тридцать лет тому назад и в водосточных каналах Парижа.

До 1833 года, когда начаты были серьезные работы, в подземной сети парижского водостока происходили внезапные оседания земли.

Вода просачивалась в некоторых местах в нижние слои почвы, в особенности рыхлой; пол в галерее, был ли он мощеный, как в старинных водостоках, или же известковый на бетоне, как это делается в новых галереях, не имея под собой твердого грунта, начинал оседать. Всякое оседание в таком полу дает трещину, вызывает обвал. Представьте себе теперь, что такое разрушение произошло на каком-либо значительном пространстве. Такие трещины, такие отверстия в пучине грязи назывались на специальном языке плывуны. Что такое плывун? Это такой же точно движущийся песок, как и на морском берегу, но только под землей, это — песчаная отмель горы Святого Михаила в водостоке. Пропитанная водой почва как бы расплавляется, все ее мельчайшие частицы

растворяются в жидкой среде: это и не земля, и не вода. Глубина иногда бывает очень велика. Ничего не может быть ужаснее, как попасть в такое место. Если преобладает вода, то смерть наступает быстро, тут человек тонет, если же преобладает земля, смерть медленная, так как тут происходит засасывание.

Можно себе представить, какова должна быть такая смерть! Если засасывание ужасно на морском берегу, то что же такое должно быть оно в клоаке? Вместо свежего воздуха, вместо яркого света, вместо дня, вместо открытого горизонта, вместо жизни во всех ее проявлениях, вместо несущихся по небу облаков, вместо виднеющихся вдали барок, вместо надежды во всех ее видах, вместо прохожих, которые могут появиться и оказать помощь даже в самую последнюю минуту, — вместо всего этого глухота, слепота, черный свод, внутренность уже готовой могилы, смерть в грязи под гробовой крышкой, медленное удушение нечистотами, каменный ящик, где асфиксия выпускает свои когти в жидкой грязи и хватает вас за горло — предсмертный хрип в

пропитанном зловонием воздухе, ил — вместо песка, сероводород — вместо урагана, нечистоты — вместо океана. И в то же время взывать о помощи, скрежетать зубами, ломать руки, истощать силы в бесполезной борьбе и мучиться, зная, что над головой громадный город, где никто даже и не подозревает об этом!

Невыразимо ужасно умереть таким образом! Смерть иногда искупает свою жестокость своего рода мрачным величием. На костре, в момент крушения корабля можно быть великим, в огне, как в пене, возможно принять полный достоинства вид, там люди погибают преображенными. Но здесь ничего этого нет. Здесь смерть внушает отвращение. Так умирать — унизительно. В последние минуты глаз видит одну только мерзость. Грязь — синоним позора. В ней есть что-то низкое, отвратительное, позорное. Умереть в бочке мальвазии, как Кларенс, — допустимо, но погибнуть в навозной яме, как Эскубло, — ужасно. Борьба за спасение жизни ведется там в самых отвратительных условиях: агония

заключается в том, что захлебываешься в нечистотах. Там так же темно, как в аду, и в то же время там столько грязи, что чувствуешь себя как в вонючей луже, и умирающий не знает, перейдет ли он в царство теней или превратится в жабу.

Могила всегда и везде имеет мрачный вид, но здесь она безобразна.

Глубина плывунов различна, точно так же не одинаковы как их размеры, так и их плотность, зависящая от качества почвы. Иногда плывуны бывают глубиной от трех до четырех, иногда от восьми до десяти футов; иногда такие, что нельзя достать до дна. В одном месте земля оказывалась почти твердой, а в другом — почти жидкой. В провале Люмьер нужен был целый день, чтобы исчезнуть человеку, тогда как промоина Филиппо поглощала его за пять минут. Почва в плывуне в зависимости от ее плотности в состоянии выдержать большую или меньшую тяжесть. Ребенок спасается там, где погибает взрослый человек. Первое правило для спасения — это освободиться от всякой тяжести. Бросить мешок

с инструментами, или корзину, или корыто с известью — с этого начинал всякий рабочий в водостоках, как только чувствовал, что земля под ним начинает оседать.

Образованию плывунов способствуют различные причины: рыхлость почвы, вызванная обвалом на такой глубине, где человек не мог предотвратить этого, сильные ливни летом, частые оттепели с дождем зимой, дождливая погода в течение долгого времени. Иногда тяжесть соседних зданий, стоящих на мергелевой или песчаной почве, до такой степени сильно давила на своды подземных галерей, что они деформировались, и при этом случалось, что площадь пола трескалась и лопалась под этой всесокрушающей силой тяжести. Сто лет тому назад осело таким образом здание Пантеона и уничтожило часть подземных пещер в горе Святой Женевьевы. Когда обвал в клоаке вызывается давлением на почву соседних домов, то такое разрушение в некоторых случаях отражается и наверху, на улице, где образуется на мостовой зигзагообразный разрез в виде зубчатой

пилы; такая извилистая расселина тянулась по улице во всю длину треснувшего свода, и тогда, поскольку причина аварии была очевидна, ремонтные работы были осуществлены очень быстро. Но случалось иногда, что подземная катастрофа не обнаруживала себя никакими признаками на поверхности земли. В таких случаях горе работающим в водостоках! Смело входя в поврежденный водосток, без соблюдения каких бы то ни было предосторожностей, они рисковали остаться там навсегда. В старинных регистрах можно найти случаи смерти рабочих, погибших таким образом в плывуне. В списке значится немало имен. Между прочим, там же упомянут и рабочий Блэз Путрэн, погибший в расселине водостока под улицей Крем-Пренан; этот Блэз Путрэн был братом Никола Путрэна, последнего могильщика при кладбище, носившем название кладбища Невинных до 1785 года, когда это кладбище было упразднено.

В эти же списки попал и молодой очаровательный виконт д’Эскубло, о котором мы только что говорили, один из героев,

принимавших участие во взятии Лериды, когда на приступ шли как на бал, в шелковых чулках и с оркестром скрипачей впереди. Д'Эскубло, застигнутый в ночной час у своей кузины, герцогини де Сурди, утонул в плывуне водостока Батрельи, куда он спрятался от герцога. Когда сообщили об этой ужасной смерти герцогине де Сурди, она потребовала флакончик с солями и так долго вдыхала в себя острый запах солей, что у нее не осталось слез. В таких случаях не устоит никакая любовь: клоака погасит ее. Геро отказалась бы обмыть труп Леандра. Фисба зажала бы нос, увидя Пирама, и сказала бы: «Фу!»

Глава 334

Жан Вальжан встретил на своем пути один из таких плывунов — провалов в трясину.

Плывуны в то время встречались довольно часто в почве Елисейских полей, где осуществление работ сопряжено было с большими трудностями и где подземные

сооружения не могли отличаться большой прочностью вследствие чрезвычайно зыбкого грунта. Эта зыбкость почвы до такой степени велика, что превосходит даже зыбкость песков в районе квартала Сен-Жорж, которую удалось преодолеть только с помощью бута, выложенного на бетонном основании; она хуже в этом отношении даже глинистых пластов в квартале Мучеников, насквозь пропитанных газами и таких жидких, что для устройства прохода под галереей Мучеников пришлось прокладывать чугунные трубы. Когда в 1836 году стали разрушать под предместьем Сент-Онорэ для перестройки старый каменный водосток, где мы видим в данную минуту Жана Вальжана, зыбучий песок, составляющий подпочву Елисейских полей почти до самой Сены, явился таким серьезным препятствием, что работы затянулись почти на шесть месяцев, к величайшему неудовольствию обитателей соседних кварталов, а в особенности тех из них, которые имели тут собственные особняки и разъезжали в каретах. Условия работы были не только тяжелы, но и

опасны. Опасность увеличивалась еще тем, что целых четыре с половиной месяца непрерывно шли дожди, и за это время Сена три раза выходила из берегов.

Плывун, преградивший путь Жану Вальжану, обязан был своим происхождением шедшему накануне дождю. Оседание сложенного из плит пола, настланного на зыбкий песчаный грунт, дало доступ в подпочву скопившейся в водостоке дождевой воде. Как только началось просачивание воды, сейчас же начался и размыв. Подмытые камни опустились в ил. На каком протяжении? Определить это было невозможно. Здесь было гораздо темнее, чем где бы то ни было. Это была пучина грязи в пещере ночи.

Жан Вальжан чувствовал, как почва постепенно уходила у него из-под ног. Он вступил в эту грязь. На поверхности была вода, а под нею грязь. Но что бы это ни было, а пройти тут надо. Возвращаться назад было немыслимо. Мариусу грозила смерть, а Жан Вальжан был изнурен до изнеможения. Притом куда идти? Жан

Вальжан пошел вперед. Кроме того, на первых порах трясина показалась не особенно глубокой.

Но по мере того как он продвигался, ноги его вязли все глубже и глубже. Скоро ноги его ушли в грязь до икр, а вода поднялась выше колен. Он, несмотря на это, все-таки продолжал идти вперед, держа на руках Мариуса как можно выше над водой. Грязь доходила ему теперь до колен, а вода до пояса. Теперь он уже не мог вернуться назад. Он погружался все больше и больше. Глина была довольно плотной и могла бы выдержать тяжесть одного человека, но не двух. Мариус и Жан Вальжан могли бы пройти здесь порознь. Жан Вальжан все продолжал идти вперед, держа на руках умирающего, а может быть, уже только труп.

Вода доходила ему до подмышек, он чувствовал, что начинает тонуть, он едва-едва передвигал ноги в глубокой тине, по которой он в это время брел. Густота ее, служившая поддержкой, была в то же время и препятствием. Он все выше и выше поднимал Мариуса и,

напрягая последние силы, двигался вперед, но при этом он продолжал погружаться все больше и больше. Наконец над водой оставались только голова и две руки, поддерживавшие Мариуса. На одной из старинных картин, изображающих потоп, нарисована мать, которая держит таким образом своего ребенка.

Он погрузился еще больше, закинув голову и подняв лицо кверху, чтобы его не залило водой и чтобы иметь возможность дышать. Если бы кто-нибудь увидел его здесь в потемках, тот подумал бы, что видит маску, движущуюся во мраке: он смутно видел над собой свесившуюся голову и посиневшее лицо Мариуса; сделав отчаянное усилие, он снова шагнул вперед, и его нога ступила на что-то твердое, нашла точку опоры и как раз вовремя.

Он напрягся, сделал еще шаг и твердо, с какой-то яростью, встал обеими ногами на эту твердь. Для него это было первым шагом по ступеням лестницы к жизни.

Эта точка опоры, неожиданно попавшаяся в тине в самую последнюю минуту, была началом другого склона настила водостока, которая, осев, нигде не треснула и только прогнулась под почвой, как тонкая доска. Хорошо вымощенный пол был так же прочен, как и сам свод. Эта часть нижнего настила, хотя и затопленная водой, но сохранившая свою прочность, была настоящей лестницей, и раз удалось добраться до нее, можно было считать себя спасенным. Жан Вальжан пошел вверх по этой наклонной плоскости и достиг противоположной стороны плывуна.

Выходя из воды, он споткнулся о камень и упал на колени. Считая, что это так и должно быть, он пробыл некоторое время в таком положении, вознося душой благодарение Богу.

Наконец он выпрямился, весь дрожа от холода, пропитанный вонью водостока, сгорбленный под тяжестью тела умирающего, которого он продолжал держать на руках, покрытый грязью, стекавшей с него ручьями, но зато в душе его сиял необычайный свет.

Глава 335

Жан Вальжан снова тронулся в путь.

Но если в пройденной трясине он не потерял жизни, зато, по-видимому, он потерял там все свои силы. Чрезмерное напряжение страшно истощило его. Его изнеможение было до такой степени велико, что теперь он останавливался через каждые три или четыре шага для того, чтобы перевести дух, и прислонялся к стене. Один раз, когда он должен был присесть на банкет, чтобы переменить положение Мариуса, он подумал, что так там и останется. Но если физические силы в нем и иссякли, то сила воли осталась прежней. Он заставил себя подняться и двинулся дальше.

Он шел с отчаянием, почти быстро и, сделав таким образом сотню шагов, не поднимая головы, почти не дыша, вдруг стукнулся головой о стену. Он достиг поворота водосточного канала и, подходя к повороту с опущенной книзу головой, наткнулся на стену. Он поднял глаза и в конце

подземелья, прямо перед собой, далеко, очень далеко, увидел свет. На этот раз свет этот не имел в себе ничего ужасного; это был обычный дневной свет. Жан Вальжан увидел выход наружу.

Если бы горящая в аду душа грешника увидала выход из геенны огненной, она почувствовала бы то же самое, что почувствовал Жан Вальжан. Она полетела бы, обрадованная, размахивая остатками своих опаленных крыльев, к лучезарной двери. Жан Вальжан не чувствовал больше усталости, не чувствовал, что ему тяжело нести Мариуса, он чувствовал себя снова сильным и крепким. Он не шел, а, скорее, бежал. По мере того как он приближался, выходное отверстие вырисовывалось все яснее. Оно было пробито аркой ниже потолка свода, который шел, постепенно понижаясь, и не во всю ширину галереи, которая шла, сужаясь одновременно с понижением высоты сводов. Тоннель заканчивался подобием воронки, в этой видно было подражание калиткам, проделываемым под сводчатыми воротами тюрем, но то, что хорошо

для тюрьмы, не годится для водостока: впоследствии эта ошибка была исправлена.

Жан Вальжан достиг выхода.

Там он остановился.

Он стоял у выхода, но выйти было нельзя.

Полукруглое отверстие было закрыто крепкой решеткой, и решетка эта, судя по всему, редко поворачивалась на своих ржавых петлях; массивный замок, которым она прикреплялась другой стороной к каменному наличнику, до такой степени покраснел от покрывавшей его ржавчины, что казался больше похожим на большой кирпич. Изнутри видны были замочная скважина и большой замочный язык, глубоко захватывавший толстую железную скобу. Замок, очевидно, был заперт двойным оборотом ключа. Это был один из тех старинных башенных замков, которыми так охотно пользовался старый Париж.

По ту сторону решетки был свежий воздух, река, свет, берег, хотя и очень узкий, но вполне

достаточный, чтобы по нему можно было идти, дальше набережная, Париж, эта бездна, где так легко исчезнуть, полный простор, свобода. Направо вниз по течению реки виднелся Иенский мост, а налево, вверх по течению реки, мост Инвалидов, самое удобное место, чтобы дождаться здесь наступления ночи и затем скрыться. Это было одно из самых пустынных мест Парижа. В отверстия между железными прутьями решетки влетали и вылетали мухи.

В это время было около половины девятого вечера. Темнело.

Жан Вальжан положил Мариуса возле стены на сухую часть каменного пола, потом направился к решетке и обеими руками стал трясти толстые железные прутья, он пустил в ход всю свою силу, но результата никакого не было. Решетка даже не пошатнулась. Жан Вальжан поочередно перепробовал все прутья один за другим в надежде, что ему, может быть, удастся вырвать какой-нибудь из них и, пользуясь им как рычагом, сорвать дверь с петель или же сбить

замок. Но ни один из этих толстых железных брусков не поддался. Они были так же крепки, как зубы тигра. Ему не из чего было сделать себе рычаг, ему нечем было помочь рукам. Препятствие было непреодолимо. Открыть дверь не было никакой возможности. Неужели этим все и должно кончиться? Что делать? Как быть? Вернуться назад тем же путем, каким он только что шел? Но у него не было уже больше на это сил. Кроме того, как перебраться снова через эту трясину, откуда ему удалось выбраться только чудом? А разве, кроме этой трясины, не грозит еще опасность встретиться с полицейским патрулем, от которого вряд ли удалось бы уйти во второй раз? И потом, куда идти? В какую сторону? Идти, следуя естественному уклону, не давало надежды достигнуть цели. Если даже и доберешься до какого-нибудь другого выхода, он тоже окажется загороженным заглушкой или решеткой. Все выходы, несомненно, заперты подобным образом. Решетка, через которую они проникли в подземелье, оказалась не случайно запертой, очевидно, что все остальные отверстия

клоаки тоже заперты. Им удалось бежать только затем, чтобы попасть в тюрьму. Кончено. Все, что совершил Жан Вальжан, было бесполезно. Все усилия ни к чему не привели.

Оба они попали в мрачную и необъятную паутину смерти, и Жан Вальжан чувствовал, как бегает во мраке по этим черным колеблющимся нитям ужасный паук.

Он обернулся спиной к решетке и опустился, скорее упал, чем присел, на пол возле Мариуса, все еще продолжавшего лежать неподвижно, и опустил голову на согнутые колени. Выхода из подземелья нет. Отчаяние его достигло высшей степени.

О ком думал он в эту минуту душевной тоски? Не о самом себе, не о Мариусе: он думал о Козетте.

Глава 336

В то время как Жан Вальжан сидел совсем уничтоженный, чья-то рука прикоснулась к его

плечу, и тихий голос сказал ему:

— Половину мне.

В этом мраке кто-то есть? Ничто другое, а только одно отчаяние приведет человека в состояние более близкое к оцепенению, похожему на сон, и Жану Вальжану показалось, что это ему пригрезилось. Он не слышал шагов. Мыслимо ли это? Он поднял глаза. Перед ним стоял человек. На этом человеке была надета блуза, он был босой, в левой руке он держал башмаки, очевидно, он снял их с себя для того, чтобы потихоньку подкрасться к Жану Вальжану.

Жан Вальжан с виду не выказал никакого удивления. Как ни неожиданно появился перед ним этот человек, он сразу узнал его. Субъект этот был Тенардье.

Несмотря на то что это внезапное пробуждение захватило его, так сказать, врасплох, Жан Вальжан, привыкший всегда быть настороже и быстро отражать самые неожиданные удары, тотчас же овладел собой. Кроме того, это ничем не могло ухудшить его

положение; горе иногда бывает так велико, что ничто уже не может увеличить его, и сам Тенардье не в состоянии был бы сделать эту ночь темнее.

С минуту оба как бы выжидали.

Тенардье приложил правую руку козырьком ко лбу, нахмурил брови, прищурил глаза и сжал губы, что придавало его лицу такое выражение, какое бывает у человека, когда он смотрит на другого с целью убедиться, не знакомый ли это. Но это ему не удалось. Жан Вальжан, как уже сказано было раньше, сидел спиной к свету и, кроме того, он был так обезображен, так весь выпачкан грязью и залит кровью, что его нельзя было бы узнать даже и среди белого дня. В свою очередь, Тенардье, лицо которого было освещено падавшим прямо на него, хотя и синевато-бледным светом погреба, но все-таки светом, проникавшим в подземелье сквозь решетку, только еще резче выделялся на темном фоне и, как говорится, бросался в глаза Жану Вальжану.

Этого неравенства условий было достаточно, чтобы дать некоторое преимущество Жану Вальжану в предстоящем поединке, который должен был состояться между двумя людьми. Как бы замаскированный Жан Вальжан встретился с Тенардье, у которого лицо было открыто.

Жан Вальжан сейчас же обратил внимание, что Тенардье не узнал его.

С минуту они в полусвете рассматривали друг друга, как бы взаимно измеряя силы противника. Тенардье прервал молчание.

— Как думаешь ты выбраться отсюда?

Жан Вальжан не отвечал.

Тенардье продолжал:

— Без ключа эту дверь открыть нельзя, а между тем тебе нужно выйти отсюда.

— Да, это правда, — сказал Жан Вальжан.

— В таком случае половину мне.

— Я тебя не понимаю.

— Ты убил человека, так ведь? А у меня есть ключ. — Тенардье при этом указал пальцем на Мариуса. Затем он продолжал: — Я тебя не знаю, но хочу тебе помочь. Ты, должно быть, из наших.

Жан Вальжан начал понимать. Тенардье принял его за убийцу. Тенардье продолжал:

— Слушай, товарищ, ты ведь не стал бы убивать этого человека, если бы не имел в виду заглянуть к нему в карман. Дай мне половину, и я отомкну дверь.

И, вытащив наполовину из-под разорванной блузы большой ключ, он прибавил:

— Не хочешь ли взглянуть, как сделан ключ свободы? Вот.

Жан Вальжан остолбенел, так невероятно казалось ему то, что он видел в эту минуту. Это Провидение оказывало ему так необычайно свою помощь, это добрый ангел появился перед ним из-под земли под видом Тенардье.

Тенардье запустил руку в широкий мешок, скрытый под блузой, вытащил из него веревку и

подал ее Жану Вальжану.

— Бери, — сказал он, — я отдаю тебе эту веревку даром, в придачу.

— А зачем мне веревка?

— Тебе нужен еще и камень, но камень ты найдешь снаружи. Там целая куча разного мусора.

— А зачем мне камень?

— Дурак, раз ты хочешь выбросить в реку тело убитого, значит, тебе нужны камень и веревка, иначе он всплывет наверх.

Жан Вальжан взял веревку. Нет такого человека, которому не случалось бы делать нечто подобное чисто машинально.

Тенардье щелкнул пальцами, как будто ему в голову вдруг пришла новая мысль.

— Да, вот что, товарищ, как это удалось тебе выбраться из этой трясины? Я так побоялся идти туда. Фу! Как от тебя скверно пахнет! — Потом, после короткой паузы, он прибавил: — Я задаю

тебе вопросы, но ты имеешь полное право не отвечать мне на них. Это будет вроде репетиции перед тем, как идти на допрос к судебному следователю. И потом, если не говорить ничего, то не рискуешь заговорить вдруг слишком громко. Да это все равно, и ты очень ошибаешься, если думаешь, что так как я не вижу твоего лица и не знаю твоего имени, то не могу узнать, что ты за человек и чего именно ты хочешь. Это так просто. Ты слегка зашиб этого человека, а теперь хочешь его запрятать куда-нибудь. Тебе нужна река, куда можно спрятать и не такую глупую штуку. Я, пожалуй, готов помочь тебе в этом случае. Я всегда готов помочь доброму малому, попавшемуся в беду.

Уговаривая Жана Вальжана молчать, он в то же время, видимо, хотел заставить его говорить. Он толкнул его в плечо, стараясь повернуть его и увидать хотя бы в профиль, а затем воскликнул, не возвышая, впрочем, голоса и стараясь говорить по возможности тихо:

— Кстати о трясине, какого же ты там дурака свалял. Почему не бросил ты туда этого человека?

Жан Вальжан молчал.

Тенардье поднял до самого подбородка грязный лоскут, заменявший ему галстук, что, по его мнению, должно было придать ему вид человека серьезного и догадливого, а затем сказал:

— Впрочем, в этом случае ты, пожалуй, поступил умно. Рабочие, придя завтра заделывать дыру, наверняка нашли бы там забытого тобой товарища и потом, постепенно разматывая клубок, шли бы за тобой по следу и добрались бы до тебя. Кто-то прошел через водосток. Кто именно? Где же он вышел? Видел ли кто-нибудь, как он выходил оттуда? Полиция очень умна. Водосток — изменник и выдаст кого угодно. Такая находка — большая редкость, она обращает на себя внимание; очень немногие пользуются водостоком для того, чтобы обделывать свои делишки, тогда как рекою все. Река — самая

подходящая могила. Через месяц в Сен-Клу вылавливают сетями человека. Теперь вопрос, что это такое? Мертвечина, и больше ничего. Кто убил этого человека? Париж. Судебные власти даже не производят следствия. Ты хорошо сделал, что поступил так, а не иначе.

Чем больше болтал Тенардье, тем упорнее молчал Жан Вальжан. Тенардье снова толкнул его в плечо.

— А теперь давай кончать дело. Поделись со мной. Ты видел мой ключ, покажи мне свои деньги.

Тенардье был жестоким, алчным, подозрительным, он одновременно грозил и держал себя по-приятельски.

При этом внимательный человек заметил бы, что Тенардье держал себя не совсем естественно, ему было словно не по себе: не придавая своей болтовне никакого особенного таинственного значения, он между тем говорил тихо, временами прикладывал палец к губам и произносил: «Тсс!» Причину этого понять было трудно. В водостоке,

кроме них двоих, никого не было. Жан Вальжан решил, что, по всей видимости, где-нибудь недалеко скрываются еще и другие разбойники и что Тенардье не хочется делиться с ними. Тенардье продолжал:

— Кончай скорей. Сколько было у него в карманах?

Жан Вальжан начал шарить у себя в карманах.

У него вошло в привычку, если читатель не забыл, всегда иметь при себе деньги. Жизнь, полная самых непредвиденных обстоятельств, которую ему суждено было вести, сделала для него это законом. Но на этот раз он был захвачен врасплох. Снимая накануне вечером мундир солдата национальной гвардии, он до такой степени был поглощен одолевшими его мрачными мыслями, что забыл вынуть из кармана свой бумажник. И только в жилетном кармане у него оказалось несколько монет. Он вывернул карман, весь выпачканный в грязи, и выложил на банкет луидор, две монеты по пяти франков и штук пять или шесть больших су.

Тенардье со значительным видом покачал головой и выпятил нижнюю губу.

— Ты убил его почти задаром, — сказал он.

И без всякой церемонии начал обыскивать карманы у Жана Вальжана и у Мариуса. Жан Вальжан, заботясь главным образом о том, чтобы сидеть все время спиной к свету, не препятствовал ему в этом отношении. Обыскивая Мариуса, Тенардье с ловкостью настоящего вора ухитрился оторвать, незаметно для Жана Вальжана, кусок от полы сюртука и спрятать его под блузой, рассчитывая, что этот лоскут может пригодиться ему впоследствии при определении личностей как убитого, так и убийцы. В дополнение к тридцати франкам он, впрочем, не нашел ничего.

— Да, это правда, — сказал он, — у вас у обоих ничего больше нет.

И, забывая, как он сам предлагал поделить добычу пополам, все деньги взял себе.

Медные монеты заставили его призадуматься, но ненадолго, и он взял их, ворча в то же время:

— А все-таки это значит убивать людей задаром! — После этого он опять вытащил ключ из-под блузы. — Теперь, приятель, можешь уходить. Здесь, как на ярмарке, сначала нужно заплатить, а потом можно и уходить. Ты заплатил и уходи.

И он засмеялся.

Неужели он, отдавая ключ неизвестному ему человеку и помогая ему этим выбраться наружу, вместо того чтобы уйти самому, действовал только под влиянием чистых и бескорыстных побуждений, желая спасти убийцу? Это что-то такое, в чем вполне можно усомниться.

Тенардье помог Жану Вальжану снова взвалить Мариуса на плечи, потом на цыпочках направился к решетке, сделав знак Жану Вальжану следовать за ним, выглянул наружу, приложил палец к губам и несколько секунд простоял как бы в нерешительности, и только уже после этого осмотра он вложил ключ в замок.

Толстая пластинка отскочила назад, и дверь отворилась. Не слышно было ни треска, ни скрипа. Это произошло очень тихо. Очевидно, что эта решетка и эти петли были заботливо смазаны и дверь отворялась гораздо чаще, чем это думали. В этой тишине было что-то зловещее, тут чувствовалось, что сюда проникают и отсюда уходят тайком, казалось, будто здесь хозяйничают какие-то таинственные личности, боявшиеся дневного света, слышалось, как крадется в потемках преступление. Водосток, видимо, состоял в сговоре с какой-то таинственной шайкой. Эта молчаливая решетка была их сообщницей.

Тенардье приотворил дверь ровно настолько, чтобы Жан Вальжан мог выйти, затем сейчас же опять захлопнул решетку, повернул ключ в замке два раза и снова исчез в темноте, точно призрак. Казалось, что он шел на бархатных лапах тигра. Через минуту спасение, представшее перед ним в таком отвратительном облике, исчезло во мраке.

Жан Вальжан был на свободе.

Глава 337

Жан Вальжан опустил Мариуса на песчаный берег.

Они были на свободе!

Там, позади, остались миазмы, мрак, ужас. Жан Вальжан полной грудью дышал здоровым, чистым, живительным воздухом. Вокруг него была тишина, та полная очарования тишина, которая наступает в ясный день после захода солнца. Сумерки уже наступили, приближалась ночь, великая избавительница, друг всех тех, кому нужно покрывало мрака, чтобы сбросить с себя тоску. Необъятно раскинувшийся небесный свод казался олицетворением покоя. Вода ласково плескалась у его ног. Воздух наполняло доносившееся с Елисейских полей щебетание птиц, сидевших уже в гнездах в зелени громадных вязов и перекликавшихся между собой перед отходом ко сну. Несколько звездочек, мерцавших в зените на бледно-синеватом фоне неба, окружены были маленькими, почти

незаметными на необъятном пространстве, сияниями. Вечер раскинул над головой Жана Вальжана всю благость бесконечного.

Это был неопределенный и в то же время чудный момент, который не говорит ни да, ни нет. Стемнело настолько, что предметы уже начали постепенно исчезать из глаз, и в то же время было еще настолько светло, чтобы хорошо видеть вблизи.

В продолжение нескольких секунд Жан Вальжан был весь охвачен этой величественной и приветливой тишиной; природа иногда дарит нам такие минуты полного забвения; скорбь перестает терзать несчастного, в душе все успокаивается, мир окутывает человека покрывалом ночи, и в эти светлые сумерки в душе, в подражание сияющему небу, тоже загораются звезды. Жан Вальжан невольно предался созерцанию развертывавшейся над ним объятой светлым сумраком ночи; он задумался и в молитвенном экстазе слился мыслями с величественным молчанием вечного неба. Потом,

как бы под влиянием вернувшегося к нему сознания о лежащих на нем обязанностях, он наклонился над Мариусом и, зачерпнув в ладонь воды, тихонько брызнул ему на лицо несколько капель. Мариус не поднял век, но его полуоткрытый рот еще дышал.

Жан Вальжан снова опустил было руку в реку, чтобы зачерпнуть еще воды, как вдруг ощутил нечто похожее на то, когда чувствуешь, что за спиной у тебя кто-то стоит, хотя сам и не видишь кто.

Мы уже упоминали раньше об этом хорошо известном ощущении.

Он обернулся.

Сзади него действительно кто-то стоял.

В нескольких шагах от Жана Вальжана, склонившегося над Мариусом, стоял человек высокого роста, в длинном сюртуке, со скрещенными на груди руками, в правой у него виднелся тяжелый кистень со свинцовым набалдашником.

В потемках человек этот казался похожим на привидение. Человек суеверный испугался бы, увидя его так неожиданно именно в потемках, а человека со здравым рассудком заставило бы испугаться его оружие.

Жан Вальжан узнал Жавера.

Читатель уже, наверное, догадался, что субъект, преследовавший Тенардье, был не кто иной, как Жавер. Жавер после своего неожиданного ухода с баррикады отправился в полицейскую префектуру, потребовал аудиенции у префекта и на словах доложил ему обо всем, а потом сейчас же принялся снова за исполнение своих служебных обязанностей, которые были изложены в найденном при нем предписании и заключались в том, что ему поручалось наблюдение за правым берегом реки возле Елисейских полей, так как эта местность уже с некоторого времени обращала на себя внимание полиции. Там он увидел Тенардье и пошел следом за ним. Остальное известно.

Понятно также, что готовность, с которой Тенардье открыл решетку перед Жаном Вальжаном, была с его стороны хитростью. Тенардье чувствовал, что Жавер все еще там; человек, которого подстерегают, обладает чутьем, которое его никогда не обманывает; полицейской ищейке нужно было бросить кость. Убийца, что может быть лучше! Это такой лакомый кусочек, от которого никогда не отказываются. Тенардье, выпуская Жана Вальжана вместо себя, давал полиции добычу, сбивал ее со своего следа, заставлял благодаря более важному событию забыть о себе, вознаграждал Жавера за долгое ожидание, что всегда льстит сыщику, приобретал тридцать франков и, кроме того, надеялся, что таким путем ему и самому удастся гораздо легче скрыться.

Жан Вальжан попал из одной опасности в другую.

Две такие встречи одна за другой: после Тенардье наткнуться на Жавера — это было уже слишком.

Жавер не узнал Жана Вальжана, который, как мы уже говорили, был непохож сам на себя. Он не изменил положения рук, только покрепче сжал кистень в кулаке и совершенно спокойно отрывистым тоном спросил его:

— Кто вы такой?

— Я?

— Да, кто вы такой?

— Жан Вальжан.

Жавер взял кистень в зубы, наклонился, слегка присев, положил свои сильные руки Жану Вальжану на плечи, которые очутились как бы в тисках, с минуту смотрел на него и, наконец, узнал. Их лица почти соприкасались. Взгляд Жавера был ужасен.

Жан Вальжан не оказывал ни малейшего сопротивления схватившему его Жаверу и держал себя точно лев, не обращающий внимания на когти бросившейся на него рыси.

— Инспектор Жавер, — сказал он, — вы меня поймали. Впрочем, с нынешнего утра я считаю

себя вашим пленником. Я сказал вам свой адрес вовсе не затем, чтобы стараться скрыться от вас. Берите меня. Только предварительно позвольте мне сделать одну вещь.

Жавер, казалось, не слышал. Он в упор смотрел на Жана Вальжана. Он сжал подбородок, отчего губы его поднялись кверху, признак, что он лихорадочно думал. Наконец он выпустил Жана Вальжана, выпрямился во весь рост, взял опять кистень в руку и, точно во сне, скорей прошептал, чем выговорил, следующий вопрос:

— Что вы тут делали? И что это за человек?

Он уже не говорил больше Жану Вальжану «ты». Жан Вальжан отвечал, и звук его голоса, казалось, пробудил Жавера:

— Именно о нем-то я и хотел поговорить с вами. Делайте со мною, что хотите, но только помогите мне доставить его домой. Вот все, о чем я вас прошу.

Лицо Жавера сморщилось, что повторялось с ним каждый раз, когда он казался готовым

сделать уступку. Это подтверждалось еще и тем, что он не ответил отказом.

Он снова нагнулся, достал из кармана платок, намочил его в воде и обтер им окровавленный лоб Мариуса.

— Этот человек был на баррикаде, — сказал он вполголоса и как бы говоря с самим собой. — Это тот самый, которого называли Мариусом.

Первоклассный сыщик, он за всем наблюдал, все слушал, все слышал, все замечал даже в такую минуту, когда его самого ждала неизбежная смерть, он слушал даже во время агонии и, уже стоя одной ногой в гробу, продолжал наблюдать и запоминать.

Он взял руку Мариуса и стал щупать пульс.

— Он ранен, — сказал Жан Вальжан.

— Он мертв, — сказал Жавер.

Жан Вальжан ответил:

— Нет, пока еще нет.

— Значит, вы принесли его сюда с баррикады, — заметил Жавер.

Следует предположить, что он был очень сильно озабочен, раз не задавал вопросов о таком важном обстоятельстве, как бегство через водосток, и даже как будто не заметил, что Жан Вальжан ничего не ответил на его вопрос.

Жан Вальжан, казалось, весь был поглощен мыслями только об одном. Он продолжал:

— Он живет в Марэ, на улице Филь-дю-Кальвер, у своего деда… Я забыл его фамилию.

Жан Вальжан порылся в кармане у Мариуса, достал бумажник, нашел страницу, где Мариус сделал надпись карандашом, и протянул Жаверу.

На открытом воздухе было еще настолько светло, что можно было читать. Кроме того, в глазах у Жавера был фосфорический свет, как у кошек и ночных птиц. Он прочел строки, написанные Мариусом, и пробормотал:

— Жильнорман, улица Филь-дю-Кальвер, дом номер шесть, — потом он крикнул: —

Извозчик!

Читатель помнит, конечно, что он приготовил на всякий случай фиакр.

Бумажник Мариуса Жавер оставил у себя.

Через минуту фиакр, спустившись по откосу к водопою, стоял уже на берегу, Мариуса уложили на заднюю скамью, а Жавер сел на переднюю рядом с Жаном Вальжаном.

Дверца захлопнулась, и фиакр быстро покатился по набережной, направляясь к Бастилии.

С набережной они свернули на улицы. Кучер, черный силуэт которого виднелся на козлах, хлестал усталых лошадей. В фиакре стояло гробовое молчание. Мариус, прислоненный спиной к углу заднего сиденья, неподвижно лежал с беспомощно повисшей головой, свесившимися руками, вытянутыми ногами и, казалось, только и ждал, чтобы его положили в гроб. Жан Вальжан казался созданным из мрака, а Жавер из камня; и в этой карете, где царила

ночь и которую каждый раз, как они проезжали мимо фонаря, освещал на мгновение как бы синеватый блеск молнии. Случай соединил для таинственной очной ставки три олицетворении трагической неподвижности: труп, призрак и статую.

Глава 338

При каждом толчке с волос Мариуса падала капля крови.

Была уже темная ночь, когда фиакр подъехал к дому номер 6 на улице Филь-дю-Кальвер.

Жавер вышел из кареты первым, взглянул на номер дома над воротами и, приподняв тяжелый молоток из кованого железа, украшенный по старинной моде дерущимися козлом и сатиром, изо всей силы стукнул в дверь. В ту же минуту приотворилась одна половинка двери, которую Жавер поспешил раскрыть совсем. Из дверей выглянул, позевывая спросонок, привратник со свечой в руке.

В доме все спали. В Марэ рано ложатся спать, в особенности в такие тревожные дни. Этот добродушный старинный квартал, напуганный революцией, считал сон единственным спасением, подражая в этом случае детям, которые торопливо прячут голову под одеяло, когда им говорят, что идет бука.

Между тем Жан Вальжан и кучер вынимали Мариуса из фиакра; Жан Вальжан держал его под руки, а кучер за ноги.

В то время как они вытаскивали Мариуса, Жан Вальжан просунул руку под сильно разорванный сюртук, нащупал грудь и убедился, что сердце еще продолжало биться. Оно билось как будто даже сильнее, чем раньше, точно толчки кареты возбудили в нем жизненную энергию.

Жавер спросил привратника тоном, приличествовавшим представителю власти при разговоре с привратником революционера:

— Где тут живет какой-то Жильнорман?

— Здесь. На что он вам нужен?

— К нему привезли сына.

— Сына? — машинально повторил привратник, видимо, ничего не понимая.

— Он умер.

Шедший следом за Жавером оборванный и весь в грязи Жан Вальжан, на которого привратник смотрел с некоторым ужасом, отрицательно покачал ему головой.

Привратник, казалось, не понимал ни того, что ему говорил Жавер, ни мимики Жана Вальжана. Жавер продолжал:

— Он пошел на баррикаду — и вот результат.

— На баррикаду! — вскричал привратник.

— Там его убили. Разбудите отца.

Привратник не трогался с места.

— Идите же! — продолжал Жавер, а затем прибавил: — Завтра здесь будут похороны.

Жавер рассматривал каждое событие как обычное явление общественной жизни, строго классифицируемое в известном порядке по уставу о пресечении и предупреждении, и каждый такой случай причислял к известной категории; всякий возможный жизненный факт как бы хранился в особом ящике, откуда он и появлялся в соответствующие моменты; к числу таких уличных явлений относились шум, бунт, время карнавала, похороны.

Привратник ограничился тем, что разбудил бискайца, бискаец разбудил Николетту, Николетта разбудила тетушку Жильнорман. Что же касается дедушки, то его не стали будить, решив, что чем позже он узнает о случившемся, тем будет лучше.

Мариуса отнесли на второй этаж и сделали это так тихо, что в остальных частях дома никто этого не слышал, и положили на старый диван в передней Жильнормана. В то время как бискаец уходил за доктором, а Николетта открывала шкафы с постельным бельем, Жан Вальжан

почувствовал, что Жавер трогает его за плечо. Он понял и сейчас же направился к выходу, сопровождаемый следовавшим за ним Жавером.

Привратник смотрел на них с тем же сонливо-испуганным выражением на лице, как в ту минуту, когда они входили в дом.

Они сели в фиакр, а кучер на козлы.

— Инспектор Жавер, — сказал Жан Вальжан, — окажите мне еще одну милость.

— Какую? — сурово спросил Жавер.

— Позвольте мне на минуту зайти домой. Потом делайте со мной, что хотите.

Жавер молча сидел несколько минут, низко опустив голову и почти касаясь подбородком воротника сюртука, а потом опустил переднее стекло и сказал:

— Кучер, улица Омм Армэ — номер седьмой.

Глава 339

Они не вымолвили больше ни слова за весь остальной путь.

Чего добивался Жан Вальжан? Закончить начатое дело, предупредить Козетту, сказать ей, где Мариус, быть может, дать ей какое-нибудь полезное указание, сделать какие-нибудь последние распоряжения. Что же касалось лично его самого, то он считал это делом конченым; Жавер наложил на него руку, и он не сопротивлялся; другой, если бы он попал в такое же положение, вспомнил бы, может быть, о веревке, которую ему дал Тенардье, и подумал бы о железных решетках темницы, куда его, наверное, запрут, но еще со времен епископа религиозное чувство восставало в Жане Вальжане против покушения хотя бы даже на свою собственную жизнь. Самоубийство, это необъяснимое насилие над неизвестным, способное погубить душу, казалось Жану Вальжану невозможным.

Фиакр остановился у поворота на улицу Омм Армэ, так как эта улица была слишком узка для экипажей. Жавер и Жан Вальжан вышли.

Кучер смиренно стал объяснять «господину инспектору», что утрехтский бархат, которым обиты сиденья в карете, весь испачкан кровью убитого и грязью убийцы. Он в этом, видимо, был убежден. Кучер прибавил также, что его обязательно следует вознаградить. Вместе с тем он вытащил из кармана свою книжку и попросил господина инспектора оказать ему милость и написать несколько слов в подтверждение того, что он свое дело исполнил как следует.

Жавер отстранил книжку, которую ему протягивал кучер, и спросил:

— Сколько тебе следует за то, что ты дожидался, и за проезд?

— Семь часов с четвертью, — отвечал кучер, — и потом бархат был совсем новый. Восемьдесят франков, господин инспектор.

Жавер вынул из кармана четыре наполеондора и отпустил фиакр.

Жан Вальжан подумал, что Жавер хочет пешком довести его до полицейского поста Блан-Манто или до поста в Архиве, до которого отсюда было очень близко.

Они свернули на улицу. На ней, по обыкновению, было пусто. Они подошли к дому номер 7. Жан Вальжан постучал. Дверь отворилась.

— Хорошо, — сказал Жавер. — Идите.

И затем он прибавил со странным выражением и как бы делая над собой усилие, чтобы произнести следующие слова:

— Я вас подожду здесь.

Жан Вальжан взглянул на Жавера. Такое поведение было не в привычках Жавера. Хотя Жавер со свойственной ему надменностью и оказывал ему известного рода доверие, больше похожее, впрочем, на то, которое кошка оказывает пойманной ею мыши, отпуская ее

лишь настолько, чтобы затем в любой момент снова вонзить в нее когти, такое отношение к нему не очень удивило Жана Вальжана, окончательно решившегося отдать себя в руки Жавера. Он отворил дверь, вошел в дом, крикнул привратнику, уже лежавшему в постели и отворявшему дверь с помощью привязанной к ней веревки: «Это я!», и стал подниматься по лестнице.

Дойдя до первого этажа, он остановился. На всяком скорбном пути бывают остановки. Окно на площадке лестницы, устроенное с опускной рамой, было открыто. Как и во многих старинных домах, лестница освещалась окнами, выходившими на улицу. Уличный фонарь, стоявший как раз напротив дома, освещал, хотя и слабо, лестницу, что давало экономию в расходах на освещение.

Жан Вальжан, может быть, затем, чтобы вдохнуть в себя свежий воздух, а может быть, машинально, подошел к окну и высунул голову. Он наклонился и посмотрел на улицу. Улица была

невелика, и фонарь освещал ее всю от одного конца до другого. Жан Вальжан был поражен. На улице никого не было.

Жавер ушел.

Глава 340

Бискаец и привратник перенесли Мариуса в гостиную в том же самом состоянии полной неподвижности, как и вначале, когда его положили на диван. Врач, за которым послали, явился. Тетушка Жильнорман встала.

Госпожа Жильнорман, сильно испуганная, со сложенными руками, ходила вперед и назад, не будучи в состоянии приняться за что бы то ни было, и только повторяла:

— Господи, как это могло случиться! — Иногда к этому она прибавляла: — Все будет залито кровью!

Когда прошли первые минуты испуга и ум ее до известной степени приобрел способность

более философски отнестись к тому, что случилось, из уст ее вырвались слова:

— Это так и должно было кончиться!

Но она так и не дошла до того, чтобы сказать: «Я же предупреждала!», как это бывает обыкновенно в подобных случаях.

По приказу доктора возле дивана поставили складную кровать. Доктор осмотрел Мариуса и, убедившись, что пульс ровный, что на груди нет ни одной глубокой раны и что запекшаяся на губах кровь текла из носа, приказал положить его на постель, без подушки, так, чтобы голова приходилась на одном уровне с остальным телом и даже немного ниже, и обнажить торс, чтобы не стеснять дыхания. Девица Жильнорман, увидя, что Мариуса раздевают, вышла из комнаты. Она направилась в свою комнату перебирать четки.

На теле не оказалось ни одной раны, проникшей во внутренние органы, одна пуля ударила в бумажник, ослабивший удар, отклонилась в сторону и, скользнув вдоль ребер, причинила сильный, но неглубокий разрыв

покровов, и, следовательно, неопасный. Длительное путешествие под землей окончательно расшатало раздробленную ключицу, и тут дело было серьезнее. Руки несли следы сабельных ударов. Лицо не было обезображено ни одним рубцом, но зато всю голову покрывали следы от ран. Какого рода повреждение причинили эти раны на голове? Ограничится ли дело повреждением одних наружных покровов или, может быть, пострадал и череп? Ответить на это было еще нельзя. Очень дурным признаком было то, что ранения вызвали глубокое обморочное состояние, а такие обмороки далеко не всегда оканчиваются тем, что люди приходят в чувство. Кроме того, кровотечение сильно истощило раненого. Все остальное тело ниже пояса было защищено баррикадой и осталось невредимым.

Бискаец и Николетта рвали белье и готовили бинты. Николетта сшивала их, а бискаец скатывал. За неимением корпии доктор временно приостановил кровотечение из ран, приложив к ним вату. Возле кровати на столе рядом с

горевшими на нем тремя свечами лежал футляр с набором хирургических инструментов. Доктор обмыл Мариусу лицо и волосы холодной водой. Вода в ведре в одну минуту сделалась красной. Привратник светил ему, держа в руке свечу.

Доктор казался настроенным печально. Временами он отрицательно качал головой, как бы отвечая на вопросы, которые он задавал самому себе. Дурной знак для больного, когда доктор ведет такие молчаливые разговоры с самим собой.

Когда доктор вытирал лицо и осторожно касался при этом пальцем век, все еще остававшихся закрытыми, в глубине гостиной отворилась дверь и показалась длинная белая фигура.

Это был дед.

Восстание уже целых двое суток сильно волновало, раздражало и не давало покоя Жильнорману. В предыдущую ночь он не мог заснуть, и потом весь день у него была лихорадка. Вечером он лег в постель очень рано,

предварительно отдав приказание, чтобы в доме все было заперто, и от усталости заснул.

Но старики спят чутко, комната Жильнормана была рядом с гостиной, и, несмотря на все принятые предосторожности, шум разбудил его. В дверную щель проникал свет, и, удивленный этим, он встал с постели и ощупью добрался до двери. Он с удивленным лицом стоял на пороге, держась одной рукой за ручку полуоткрытой двери, выставив немного вперед склоненную трясущуюся голову; одетый в белый халат, плотно, без складок, облегавший его, точно саван, он был похож на призрак, который смотрит в могилу.

Жильнорман увидел в ярко освещенной комнате кровать и на ней на матраце окровавленного молодого человека, бледного, как воск, с закрытыми глазами, с открытым ртом, мертвенно-бледными губами, обнаженного до пояса, покрытого бесчисленным множеством кровавых ран.

Деда с головы до ног охватила дрожь, какая только может потрясти окостенелые члены, глаза с пожелтевшей от старости роговой оболочкой потускнели и стали точно стеклянные, лицо в одно мгновение вытянулось, заострилось и приняло землистый оттенок, руки повисли, точно лопнула вдруг поддерживавшая их пружина, кисти рук с растопыренными пальцами дрожали, колени согнулись и выдались вперед, отчего халат распахнулся и стали видны голые старческие ноги, покрытые белыми волосами. Он пробормотал:

— Мариус!

— Сударь, — сказал бискаец, — молодого господина только что принесли. Он был на баррикаде и…

— И он умер! — вскрикнул старик ужасным голосом. — Ах, разбойник!

Тогда стан этого столетнего старца вдруг выпрямился, как это бывает в минуту смерти, и он стоял преображенный, точно молодой.

— Милостивый государь, — проговорил он, — вы доктор. Скажите мне правду, он умер, да?

Доктор, полный душевной тоски, молчал.

Жильнорман заломил руки и разразился ужасным хохотом.

— Он умер! Он умер! Он дал убить себя на баррикаде из ненависти ко мне! Он нарочно поступил так, чтобы сделать мне наперекор! А! Кровопийца! Вот как он мне отплатил! Несчастный я! Он умер!

Он подошел к окну, открыл его настежь, как будто он задыхался от недостатка воздуха, и, глядя в темноту, начал говорить, обращаясь к окутанной мраком ночи улице:

— Исколот, изрублен, убит, загублен, зарезан, изрезан в куски! Взгляните на этого бездельника! Он хорошо знал, что я его жду, что я приказал приготовить для него комнату и что у меня в головах над постелью висит его портрет, сделанный еще тогда, когда он был маленьким

ребенком! Он прекрасно знал, что ему стоит только вернуться, что я уже несколько лет зову его к себе и что вечерами, сидя в углу камина, сложив руки на коленях, я не знал, что мне делать, и доходил до безумия! Ты хорошо знал, что тебе только стоит войти и сказать: «Это я», и ты станешь полным хозяином дома, я исполнял бы каждое твое желание, и ты мог бы делать что тебе угодно с твоим старым глупым дедом! Ты знал это, но ты говорил: «Нет, он роялист! Я не пойду к нему!» — и ты отправился на баррикады и там дал себя убить со злости! Из-за того только, чтобы отомстить мне за то, что я тебе сказал относительно герцога Беррийского! Это гнусно! Вы ложитесь и спите спокойно! Он умер. Хорошо мое пробуждение.

Доктор, у которого появилось опасение и с этой стороны, оставил на одну минуту Мариуса, подошел к Жильнорману и взял его за руку. Дед обернулся, взглянул на него своими как будто увеличившимися и налитыми кровью глазами и спокойно сказал ему:

— Благодарю вас, милостивый государь. Я спокоен. Я видел смерть Людовика Шестнадцатого. Я умею переносить испытания! Ужасно сознавать только, что все это создают наши газеты. У вас будут писаки, говоруны, адвокаты, ораторы, трибуны, дебаты, прогресс, просвещение, законы, свобода печати, и вот в каком виде будут приносить вам ваших детей домой! Ах, Мариус! Такая смерть! Убит! Умер раньше меня! Баррикада! А, злодей! Доктор, вы, кажется, живете в этом квартале? О, я вас хорошо знаю! Я вижу в окно, как проезжает ваш кабриолет. Я хочу говорить с вами. Вы очень ошибаетесь, если думаете, что я сержусь. На мертвого не сердятся. Это ребенок, которого я воспитал. Я был уже стариком, когда он был еще совсем маленьким. Он ходил играть в Тюильрийский сад со своей маленькой лопаточкой и тележкой, и я, чтобы смотрители не ворчали, старался насколько возможно заравнивать палкой ямки, которые он рыл своей лопаточкой. Однажды он крикнул: «Долой Людовика!» — и ушел. Я не был виноват в этом.

Он был такой розовый и белокурый. Его мать умерла. Вы обращали внимание, что все маленькие дети белокуры? От чего это зависит? Он сын одного из этих луарских разбойников, но дети не виноваты в преступлениях своих родителей. Я его помню, когда он был еще вот такой. Он никак не мог выговорить букву д. У него был такой приятный голосок, и произносил он слова так неразборчиво, точно щебетала птичка. Я помню, как один раз возле Геркулеса Фарнезского собралась целая толпа, которая восхищалась и любовалась этим ребенком, так он был хорош! Такую головку, какая у него, можно видеть только на картинах. Я иногда вдруг начинал говорить с ним грубым голосом, грозил ему палкой, но он знал, что это шутка. По утрам, когда он входил в мою комнату, я начинал ворчать, а на самом деле его появление было для меня все равно что солнышко. С такими мальчуганами трудно ладить. Они схватывают вас и затем уже не выпускают больше никогда. Сказать правду, трудно было бы и придумать что-нибудь лучше этого ребенка. Теперь что вы

скажете о ваших Лафайетах, Бенжаменах Констанах и всех остальных, которые убили его? Этого нельзя так оставить.

Он вместе с доктором подошел к Мариусу, который все так же продолжал лежать с мертвенно-бледным лицом, и снова начал ломать руки. Побелевшие губы старика шевелились как бы машинально и с уст его с хрипом срывались слова, но так неясно, что их едва можно было разобрать: «Ах, какой бессердечный ты человек! А! Ты член клуба! Ах, злодей! Ах, революционер!» Это умирающий слабым голосом упрекал мертвого.

Мало-помалу, как это всегда и бывает в таких случаях, внутреннее возбуждение улеглось, и к старику снова вернулась способность выражать свои мысли связно, но зато он казался ослабевшим до такой степени, что не в состоянии был выговаривать слова, и голос его звучал так глухо и невнятно, точно доносился откуда-то издалека, с противоположного края бездны.

— Для меня это все равно, я тоже умру. Подумайте только, что во всем Париже не найдется той женщины, которая не согласилась бы с радостью осчастливить этого несчастного! Негодяй, вместо того чтобы веселиться и наслаждаться жизнью, пошел сражаться и допустил, чтобы его изрезали всего, как скота! И ради кого?.. Зачем?.. Из-за Республики! И это вместо того, чтобы идти танцевать в Шомьер, как подобает молодым людям! Как это тяжело — быть всего двадцати лет. Республика — это очень красивая, но никому не нужная глупость! Бедные матери, рожайте после этого красивых мальчиков! Итак, он умер. Значит, у нас будет двое похорон. Неужели ты дал отделать себя там так ради того только, чтобы заслужить благоволение генерала Ламарка? А что он для тебя сделал, этот генерал Ламарк? Рубака! Болтун! Дать убить себя ради мертвого? Тут есть от чего сойти с ума! Представьте себе только! Двадцать лет! И даже не обернулся, чтобы взглянуть, не осталось ли чего позади! И вот теперь несчастные старики должны умирать

одинокими. Издыхай в своем углу, как филин! Ну что ж, сказать правду, так, пожалуй, даже лучше, больше ничего не нужно, надеюсь, что это меня сразу убьет! Я очень стар. Мне сто лет, мне сто тысяч лет, мне давным-давно пора уже умереть. Это последний удар! Теперь все кончено, и как я рад! Зачем вы даете ему вдыхать аммиак и зачем все эти лекарства? Вы только попросту теряете время! Вы очень глупы, доктор! Разве вы не видите, что он умер, совершенно умер! Я это хорошо знаю, потому что я тоже умер. Он никогда ничего не делал наполовину. Да, мы переживаем позорное время, позорное, позорное, вот что я думаю о вас, о ваших идеях, о ваших системах, о ваших главарях, оракулах, о ваших докторах, о ваших негодяях-писателях, о ваших плутах-философах и о всех революциях, которые уже целых шестьдесят лет пугают стаи ворон в Тюильри! Раз ты отнесся ко мне так безжалостно и дал себя убить, я не буду даже горевать о твоей смерти. Слышишь ты меня, убийца!

В эту минуту Мариус медленно поднял веки, и его глаза, еще отуманенные от слабости,

остановились на Жильнормане.

— Мариус! — вскрикнул старик. — Мариус! Малютка мой, Мариус! Дитя мое! Сын мой дорогой! Ты открыл глаза, ты смотришь на меня, ты жив! Спасибо!

И он упал без чувств.

Глава 341

Жавер медленными шагами удалялся с улицы Омм Армэ.

Он в первый раз в своей жизни шел с опущенной головой и в первый раз в жизни заложил руки за спину.

До этого дня Жавер признавал только ту из двух любимых поз Наполеона, которая выражает твердую решимость, то есть руки, скрещенные на груди; та же поза, которая выражает нерешительность, то есть руки, заложенные за спину, была ему неизвестна. Но теперь в нем произошла перемена: вся его фигура,

медлительная и угрюмая, выражала душевную тоску.

Он углубился в пустынные улицы, но он шел не наугад, а в определенном направлении. Он шел самым близким путем к Сене, достиг набережной, где росли вязы, дальше направился вдоль реки, миновал Гревскую площадь и остановился на некотором расстоянии от полицейского поста, размещавшегося на площади Шатлэ, рядом с мостом Нотр-Дам. В этом месте, между мостами Нотр-Дам и Менял с одной стороны и между Кожевнической и Цветочной набережными — с другой, Сена образует нечто вроде квадратного озера с очень сильным течением посередине.

Лодочники боятся этой части Сены. Нет ничего опасней этой быстрины, где ярость течения в то время увеличивалась не дававшими ему полного простора сваями мельницы, стоявшей у моста и теперь уничтоженной. Два моста, перекинутые так близко один от другого, увеличивают опасность, вода с шумом стремится

под арки. На поверхности воды образуются как бы громадные складки, которые вследствие скопления воды все растут и растут, река точно хочет вырвать устои моста, обхватывая их толстыми водяными канатами. Если в этом месте упадет человек, ему уже не вынырнуть. Здесь тонут самые лучшие пловцы.

Жавер облокотился на парапет, подперев подбородок ладонями рук, и задумался, машинально перебирая концами пальцев свои густые бакенбарды.

В глубине его души произошло что-то новое, переворот, закончившийся катастрофой. Тут есть о чем задуматься.

Жавер страшно страдал.

Уже несколько часов Жавер перестал быть таким, каким он был раньше. Он чувствовал себя в смятении, его ум, всегда такой ясный, в своей слепоте утратил теперь свою прозрачность, этот кристалл заволокло облако. Жавер чувствовал, что в нем раздваивается понятие о долге, и не мог не сознавать этого.

Когда он так неожиданно увидел Жана Вальжана на берегу Сены, он похож был и на волка, догнавшего ускользнувшую было от него добычу, и на собаку, снова нашедшую своего хозяина.

Он видел перед собой два пути, и оба одинаково прямые, и это его ужасало, так как во всю свою жизнь он знал только один прямой путь. И сознание того, что пути эти расходятся, еще более увеличивало его мучения. Каждая из этих дорог заставляла покинуть другую. Которая же из них настоящая?

Его положение было невыносимо.

Быть обязанным жизнью преступнику, признать это и заплатить ему этот долг, поставить себя, наперекор самому себе, на одну доску с беглым каторжником, принять от него услугу и затем самому оказать ему такую же услугу, позволить сказать себе: «Уходи», а затем сказать самому: «Будь свободен», пожертвовать ради личных соображений долгом, уклониться от исполнения этой главной обязанности и

чувствовать в этих личных соображениях нечто даже высшее, чем исполнение одного только долга, обмануть доверие общества, чтобы остаться верным своей совести, — все эти противоречия казались абсурдными и угнетали его ум.

Его удивляло, что Жан Вальжан оказал ему милость, и ужасало, что он, Жавер, в свою очередь помиловал Жана Вальжана.

Что с ним такое стало? Он искал прежнего самого себя и не находил.

Что теперь делать? Выдать Жана Вальжана нельзя, оставить Жана Вальжана на свободе тоже неправильно. В первом случае человек, облеченный доверием правительства, опускался еще ниже преступника, во втором — каторжник поднимался выше закона и попирал его ногой. В обоих случаях позор ложился неизгладимым пятном на Жавера. Какой ни сделать выбор, это все равно падение. Жизнь определяет границы, перешагнуть за которые невозможно, за этими

крайними точками уже нет жизни: там бездна. Жавер как раз и стоял на одной из этих точек.

Больше всего его угнетало то, что он вынужден был думать. К этому побуждала его даже сама сила этих противоречивых ощущений. Он не привык думать, и это состояние было для него в высшей степени болезненным.

В процессе мышления всегда есть известная доля внутреннего сопротивления, и ему было досадно сознавать это.

Он всегда считал бесполезным и унизительным думать о чем бы то ни было, не входящем в узкую сферу его обязанностей, но думать, вспоминая истекший день, было для него и вовсе мучением. А между тем после таких потрясений все-таки надо было заглянуть в свою совесть и дать отчет самому себе о самом себе.

При одном воспоминании о том, что он сделал, его кидало в дрожь. Он, Жавер, признал справедливым вопреки всем полицейским правилам, вопреки закону отпустить Жана Вальжана на волю, он нашел, что так будет для

него самого лучше, он поставил свои личные интересы выше долга: как назвать такой проступок? Каждый раз, как он вспоминал о содеянном, которому он не мог подыскать даже подходящего названия, он весь вздрагивал. Как ему теперь быть? Оставалось только одно средство: вернуться как можно скорее на улицу Омм Армэ и снова арестовать Жана Вальжана. Очевидно, так именно и следовало поступить, но он не мог. Что-то его удерживало. Что же это такое? Что именно? Неужели на свете существует что-нибудь другое, кроме суда, приведения в исполнение приговоров, полиции и власти? Жавер был сбит с толку.

Каторжник, личность которого является священной! Каторжник, который избежит кары правосудия! И все это благодаря Жаверу! Разве не ужасно, что Жавер, созданный для того, чтобы карать, и Жан Вальжан, созданный для того, чтобы терпеть кару, разве не ужасно, чтобы оба этих человека, всецело подчиненные закону, дошли до того, что оба стали выше закона? Что же это такое, наконец! Совершаются такие

чудовищные вещи, и никто не будет наказан! Жан Вальжан, более сильный, чем весь социальный строй, остается на свободе, а он, Жавер, будет продолжать есть хлеб правительства!

Эти мысли постепенно сводили его с ума.

Такое направление мыслей могло бы дать ему повод упрекнуть себя до известной степени и в том, что он сам отвез бунтовщика на улицу Фильдю-Кальвер, но он об этом даже и не вспоминал. Мелкая провинность затмевается более крупной. Кроме того, бунтовщик был все равно что мертвый, а с точки зрения закона со смертью прекращается всякое преследование.

Воспоминание же о Жане Вальжане подавляло его мозг.

Жан Вальжан вконец сбил его с толку. Все, что он в течение своей жизни считал непреложной истиной, что служило для него опорой, все это теперь было развеяно в прах этим человеком. Великодушие Жана Вальжана по отношению к нему, Жаверу, подавляло его. Ему припомнились другие факты, но которые он в то

время считал глупостью и заблуждением и которые теперь предстали перед ним в другом, истинном свете. Из-за Жана Вальжана выступил Мадлен, обе эти фигуры сливались одна с другой и получалась личность, заслуживающая полного уважения. Жавер чувствовал, что в его душу проникло что-то непостижимое — преклонение перед каторжником. Уважение к каторжнику, мыслимо ли это? Он весь трепетал при одной только мысли об этом и в то же время не мог от нее отделаться. Он тщетно боролся с самим собой, потому что в глубине своей души не мог не признать величия этого отверженного. И это было нестерпимо.

Преступник в роли благодетеля, каторжник оказывается человеком сострадательным, кротким, услужливым, милосердым, человеком, который платит за зло добром, прощает обиды вместо того, чтобы ненавидеть, относится с сожалением вместо того, чтобы мстить, предпочитает лучше погибнуть самому, чем дать погибнуть своему врагу, спасает того, кто его терзал, и, коленопреклоненный, стоит на

вершине добродетели, более близкий к ангелу, чем к человеку! И Жавер должен был сознаться, что такой человек существует.

Так больше продолжаться не могло.

Само собой разумеется, и мы настаиваем на этом, он не без внутренней борьбы сдался этому отверженному, этому оскверненному ангелу, этому безобразному герою, который в одинаковой степени и возбуждал в нем гнев, и изумлял его. Пока он сидел в карете лицом к лицу с Жаном Вальжаном, закон, точно хищный тигр, двадцать раз принимался рычать у него в душе. Двадцать раз хотел он броситься на Жана Вальжана, схватить его и сожрать, то есть арестовать. Что может быть проще этого на самом деле? Стоило только крикнуть, когда они проезжали мимо любого полицейского поста: «Вот осужденный преступник, укрывающийся от руки правосудия!» Позвать жандармов и сказать им: «Этот человек принадлежит вам!», потом уйти, покинуть осужденного, забыть о всем остальном и ни во что более не вмешиваться. Этот человек осужден

на то, чтобы всю свою жизнь быть пленником закона, закон имеет право поступать с ним так, как ему угодно. Что может быть справедливее этого? Жавер говорил себе все это, он искренне хотел поступить именно таким образом, арестовать сидевшего рядом с ним человека, но как тогда, так и теперь, не мог, и каждый раз, как его рука конвульсивно тянулась кверху, чтобы схватить за шиворот Жана Вальжана, какая-то страшная сила заставляла ее опускаться, и он чувствовал, как в глубине души какой-то странный голос кричал ему: «Ты хорошо придумал. Предай своего спасителя, а потом, как Пилат, прикажи принести воды и умой свои когти».

Затем его мысли обратились к нему самому, и тогда рядом с Жаном Вальжаном, ставшим великим, он видел низко упавшего Жавера.

Каторжник был его благодетелем!

Но как это могло случиться, что он позволил этому человеку даровать ему жизнь? Он имел право быть убитым на баррикаде. Он должен был

воспользоваться этим правом. Позвать к себе на помощь против Жана Вальжана других революционеров и вынудить их расстрелять себя — это было бы гораздо лучше.

Но больше всего его мучило исчезновение уверенности в себе. Он чувствовал себя как бы вырванным с корнем. От свода законов ничего не осталось. В душе его возникали вопросы совести, доселе ему неизвестные. Он чувствовал пробуждающуюся в нем чувствительность, резко отличающуюся от требований закона, которыми до сих пор он только и руководствовался. Его не удовлетворяли уже прежние понятия о честности. Перед ним неожиданно предстал целый ряд новых фактов, которые завладели им. Душе его открылся новый необычайный мир: благодеяние оказанное и возвращенное, самопожертвование, милосердие, снисходительность, насилие, совершенное жалостью над строгостью, беспристрастие, отрицание полного осуждения, снятие клейма порока, возможность появления слез в глазу закона, какое-то новое для него правосудие божеское, идущее вразрез с

правосудием человеческим. Он видел во мраке восхождение неизвестного ему странного нравственного солнца; оно и ужасало и ослепляло его, точно сову, которую принуждали смотреть на солнце, как смотрит на него орел.

Он говорил себе, что это так и должно быть, что бывают исключения, что власти могли ошибиться, что закон мог быть неправильно применен в данном конкретном случае, что все не может быть включено в свод законов, что возможны и такие неожиданности, с которыми нельзя не считаться, что добродетель каторжника могла поймать в сети добродетель чиновника, что этот необычайный человек и в самом деле мог быть таким необычайным, что судьба иногда ставит такие западни, и он с отчаянием думал, что ему уже не удастся уберечь себя, чтобы снова как-нибудь не попасться в такую же ловушку.

Он был вынужден признать, что добро существует. Этот каторжник был добр. И он сам — удивительная вещь! — тоже только что

совершил доброе дело. Значит, он стал развращаться.

Он считал себя подлецом. Он сам относился к себе с отвращением.

С точки зрения Жавера идеал не требовал ни гуманного отношения к людям, ни благородства, ни возвышенных понятий о своих обязанностях, — все ограничивалось тем, чтобы быть безупречным по службе.

А между тем именно в этом-то отношении он и оказался небезупречным.

Как это могло с ним случиться? Как это все произошло? Он не мог бы этого сказать даже себе самому. Он сжимал в отчаянии голову руками, но, сколько ни старался, не мог придумать никакого объяснения.

Он, само собой разумеется, имел твердое намерение передать Жана Вальжана в руки закона, пленником которого был Жан Вальжан, а он, Жавер, рабом. В то время как он был у него в руках, ему ни на одно мгновение даже и в голову

не приходило, что у него была мысль отпустить его. Все это произошло как будто помимо его воли, и он и сам не знал, каким образом рука его разжалась и выпустила Жана Вальжана.

Перед его глазами происходили самые разнообразные загадочные явления. Он задавал себе вопросы, отвечал на них, и эти ответы приводили его в ужас. Он спрашивал себя: что такое сделал этот доведенный до отчаяния каторжник, которого я так ожесточенно преследовал, к которому я потом попал в руки и который мог отомстить мне и даже должен был сделать это, чтобы не только удовлетворить вызванное в нем озлобление, но и ради собственной безопасности, и который вместо этого спас мне жизнь, помиловал меня? Исполнил свой долг? Нет. Это больше чем исполнение долга. А что такое сделал я, когда в свою очередь помиловал его? Тоже исполнил свой долг? Нет. Я сделал больше, чем исполнил долг. Значит, существует что-то большее, чем исполнение долга? Такой вывод его пугал, его весы начинали колебаться, одна чашка валилась в

пропасть, а другая поднималась к небу, и Жавер одинаково боялся как той, которая была наверху, так и той, которая была внизу. Не будучи ни в каком случае тем, что называют вольтерьянцем или философом, или неверующим, а питая, наоборот, инстинктивное благоговение к церкви, он тем не менее видел в ней только важнейшую часть социального целого; порядок был его догматом, и это его удовлетворяло; с тех пор как он стал взрослым и поступил на службу, полиция стала для него почти что единственной религией, про него без малейшего намека на насмешку и совершенно серьезно можно было бы сказать, что он исполнял свои обязанности сыщика с полным благоговением. Он признавал только одну власть, своего начальника Жиске, до этого времени он не думал никогда о другой власти — о боге. И вот он вдруг почувствовал присутствие этой главной, верховной власти, и это его смутило.

Это неожиданное открытие поставило его в тупик; он не знал, как ему держать себя с этим верховным начальником; он знал только одно, что подчиненный должен склоняться перед

начальством, что он не смеет ни ослушаться, ни порицать, ни критиковать, и что если начальник покажется ему слишком странным, то у подчиненного остается только один выбор — подать в отставку.

Но каким образом подать прошение об отставке богу?

Однако о чем бы он ни думал, его мысли каждый раз возвращались к тому, что его больше всего беспокоило, что в его глазах стояло выше остального — это сознание того, что он совершил ужасное преступление. Он выпустил рецидивиста-преступника, приговоренного к пожизненному заключению. Он освободил каторжника. Он украл у закона принадлежавшего ему человека. Он совершил это. Он перестал понимать самого себя. Он не мог быть уверенным в самом себе. Он даже не мог объяснить себе, чем был вызван такой поступок, у него все перепуталось в голове. До этого момента он жил слепой верой, которая порождает угрюмую честность. Эта вера покинула его. Все, чему он

верил, исчезло. Новые понятия об истине, о которых он и слышать не хотел, терзали его ум. С этого момента он должен был стать другим человеком. Он испытывал ужасные страдания совести, которая вдруг прозрела после того, как с ее глаз сняли повязку. Он видел то, чего не хотел видеть. Он чувствовал себя покинутым, вырванным из прошлого, отрешенным, уничтоженным. Представитель власти умер в нем. Его существование потеряло смысл.

Ужасное положение, когда человек доходит до такого состояния!

Быть твердым, как гранит, и вдруг начать сомневаться! Быть статуей кары, вылитой в форме закона, и вдруг почувствовать в груди под бронзовой оболочкой что-то нелепое, непослушное, что-то похожее на сердце! Дойти до того, чтобы платить добром за добро, хотя до этого дня и считал это добро злом! Быть сторожевой собакой и лизать! Быть холодным, как лед, и растаять! Быть тисками и сделаться рукой! Почувствовать вдруг, что пальцы

разжимаются и выпускают добычу — это нечто ужасное!

Человек, разивший как пушечное ядро, вдруг потерял цель и беспомощно заметался.

Быть вынужденным признать невозможное: непогрешимое не всегда бывает непогрешимо, потому что тут может быть неправильно истолковано самое понятие, свод законов не исчерпывает всего, само общество далеко от совершенства, проявление власти подвержено колебаниям, незыблемое тоже может давать трещины, судьи тоже люди, закон тоже может ошибаться! Для него это было все равно, что увидать трещину на необъятной голубой лазури небесной тверди.

То, что происходило в Жавере, можно было назвать крушением прямолинейной совести, при котором его выбитая из колеи душа и его стремительно шедшая по прямой дороге честность столкнулись с понятием о боге и разбились вдребезги. Странно, конечно, казалось, что кочегар порядка, машинист

правительственной власти, сидевший на слепом железном коне, катившемся по единожды определенному пути, мог быть выбит из седла внезапно блеснувшим лучом света! Странно, конечно, что неизменяемое, прямое, правильное, пассивное, совершенное могло пошатнуться! Странно, что и с локомотивом могло произойти то же самое, что случилось некогда на пути в Дамаск!

Сознавал ли Жавер, что бог, всегда присутствуя в душе человека и будучи сам истинной совестью, противится ложной совести, что он воспрещает искре гаснуть и приказывает лучу помнить о солнце, что он повелевает душе отличать истину абсолютную от фиктивной, когда первая сталкивается с последней, что любовь к людям не может иссякнуть и что нельзя лишить человека сердца, этого самого удивительного из всех органов нашего тела? Проник ли Жавер в эту тайну? Отдавал ли Жавер себе в этом отчет? Очевидно, нет. Но он чувствовал, что под давлением этого

непостижимого, неоспоримого у него трещит голова.

Это чудо не преобразило его, он оказался, скорее, его жертвой. Сам этот факт вызвал в нем только сильное раздражение. Он испытывал невыносимую тягость существования. Ему казалось, что с этого момента он никогда уже не будет дышать свободно.

Он не привык чувствовать над своей головой неизвестное.

До сих пор все находящееся над ним представлялось его взору чистой, простой, ясной поверхностью; он не видел там ничего неизвестного, ничего непонятного, все было определено, приведено в систему, соединено в одно целое, ясно, точно, строго ограничено, замкнуто, все было предусмотрено; власть для него была все равно, что хорошо спланированная плоскость, на ней нечего было бояться провала, и при виде ее не кружилась голова. Жавер видел неизвестное только внизу. Все неправильное, неожиданное, всякие неурядицы, возможность

погибнуть в бездне — это было достоянием низших слоев, мятежников, злодеев, отверженных. Теперь Жавер запрокинул голову, и взор его вдруг был поражен необычайным явлением: вверху тоже оказалась бездна.

Что это такое! Все разрушено до основания! Полнейший разгром. На что же полагаться теперь? Все, в чем он до сих пор был твердо уверен, все рухнуло!

Что-же это такое!.. Слабые стороны общественного устройства обнаружены великодушным преступником! А это что такое? Честный слуга закона вдруг оказался в таком положении, что, как бы он ни поступил, он все равно совершит преступление: отпустить человека значило совершить преступление, и арестовать его было бы точно таким же преступлением! Оказалось, что в предписаниях, которые правительство дает чиновникам, не все просто и ясно! Возложенные на него обязанности могут поставить его в тупик. Что же это такое? Значит, все это случилось на самом деле?

Неужели это правда, что бывший разбойник, подавленный тяжестью лежащих на нем преступлений, мог исправиться и в конце концов вполне загладить свою вину? Можно ли этому поверить? Бывали ли когда-нибудь такие случаи, чтобы закон вынужден был отказаться от преследования преступника, потому что сам преступник преобразился?

Да, такой случай возможен, и для Жавера это было не только теорией, он увидел это в жизни! Он не только не мог отрицать этого, но даже сам принимал в этом участие. Это была действительность. Ужасно было то, что такие явления могли принять такие безобразные формы.

Итак, под влиянием все возраставшей растерянности и созданных его воображением ужасов все, что могло бы ослабить и изменить его впечатления, исчезло, и общество, и человечество, и вселенная предстали теперь перед его глазами в простом и непонятном виде. И сам он, Жавер, блюститель порядка,

неподкупный слуга закона, верный страж общества, оказался побежденным и поверженным во прах, а каторжник стоит перед ним с ореолом вокруг чела… Вот до какого состояния он дошел, вот какое ужасное видение терзало его душу!

Примириться с этим невозможно. Нет.

Ужасное состояние переживал он, и выйти из него можно было только двумя способами. Первый — смело идти к Жану Вальжану и отправить каторжника в тюрьму. Другой…

Жавер отошел от парапета и, подняв на этот раз голову, твердым шагом направился к полицейскому посту, вход в который обозначался фонарем, горевшим у дверей одного из угловых домов на площади Шатлэ.

Подойдя к дому, он увидел в окно полицейского и вошел. Чины полиции узнают друг друга даже по одному тому, как человек отворяет дверь. Жавер назвал себя, показал полицейскому свою карточку и сел за стол, на котором горела свеча. На столе стояла свинцовая

чернильница, тут же лежали перо и бумага на случай, если бы понадобилось экстренно составить протокол, а также и для внесения заметок, делаемых во время ночных обходов.

Этот стол, около которого всегда стоит соломенный стул, служит необходимой принадлежностью учреждения, он существует во всех полицейских постах, он неизменно украшен деревянным блюдечком с опилками и картонной коробочкой с красными облатками, это — нижняя ступень официального стиля. На нем зарождается канцелярская литература. Жавер взял перо и лист бумаги и начал писать. Вот что он написал:

НЕСКОЛЬКО НЕОБХОДИМЫХ ЗАМЕТОК ДЛЯ ПОЛЬЗЫ ПОЛИЦЕЙСКОЙ СЛУЖБЫ

Во-первых, я прошу господина префекта прочесть это.

Во-вторых, арестанты, возвращаясь от следователя, снимают обувь и стоят босыми ногами на каменном полу, пока их обыскивают. Многие, возвращаясь в тюрьму, начинают

кашлять. Это вызывает лишние расходы на лечение.

В-третьих, расстановка агентов на заданном расстоянии один от другого дает хорошие результаты, но необходимо устроить так, чтобы в важных случаях по крайней мере два соседних агента не теряли друг друга из виду, в случае если один из агентов почему-либо сделает упущение по службе, другой мог бы видеть это и исправить ошибку.

В-четвертых, на основании особого устава тюрьмы Маделоннет арестантам неизвестно почему воспрещается иметь стул, хотя бы за отдельную плату.

В-пятых, в тюрьме Маделоннет лавочка отделяется всего только двумя брусками, что дает возможность буфетчице подавать руку арестантам.

В-шестых, арестанты, так называемые крикуны, которые вызывают остальных арестантов в приемную, заставляют платить себе по два су с человека за то, чтобы яснее

выкрикивать имя вызываемого. Это — вымогательство.

В-седьмых, в ткацкой мастерской с арестантов взыскивают десять су за каждую оборванную нитку — это злоупотребление со стороны подрядчика, так как ткань это не портит.

В-восьмых, очень досадно, что посетители тюрьмы Форс должны проходить через двор мумий, чтобы попасть в приемную Учреждений святой Марии Египетской.

В-девятых, всем известно, что жандармы каждый день во всеуслышание рассказывают на дворе префектуры о том, о чем судьи допрашивали подсудимых. Жандарм должен уметь свято хранить служебную тайну, и поэтому рассказ о том, что он слышал в следственной камере, является серьезным нарушением установленных правил.

В-десятых, госпожа Анри честная женщина, ее лавочка содержится очень чисто, нехорошо только, что женщина торгует у дверей секретного

отделения. Эти недостойно такой тюрьмы, как Консьержери.

Жавер совершенно спокойно написал все это своим обычным твердым почерком, не пропуская ни одной запятой и сильно скрипя пером по бумаге. Под последней строкой он подписался:

Жавер дождался, пока высохли чернила, сложил исписанный лист в виде письма, запечатал, сделал на обороте надпись: доклад начальству, положил письмо на стол и вышел из комнаты, занимаемой постом. Стеклянная с решеткой дверь захлопнулась за ним.

Он снова по диагонали пересек площадь Шатлэ, вышел на набережную и с автоматической точностью вернулся на то самое место, которое он покинул четверть часа тому назад, облокотился на перила и снова очутился в том же самом положении и даже на той же самой плите, на которой стоял раньше. Можно было подумать, что он не сходил с места.

Было совершенно темно. Это был тот момент могильной тишины, который наступает вслед за

полночью. Густая завеса облаков скрыла звезды. Небо зловеще исчезало в туманной мгле. В квартале Ситэ ни в одном доме не было видно огня, не было видно ни одного прохожего, кругом на улицах и на набережной, насколько хватало глаз, не было видно ни души, на темном фоне ночи вырисовывались очертания собора Парижской Богоматери и башен Дворца правосудия. Фонарь бросал красноватый отблеск на верхние камни набережной. Силуэты мостов смутно угадывались в тумане один за другим. Дожди подняли уровень воды в реке.

Место, где стоял, облокотясь, Жавер, как, наверное, помнят, приходилось как раз над той стремниной, над той ужасной спиралью из водоворотов, где волны, то отступая, то набегая одна на другую, вращаются наподобие бесконечного винта.

Жавер наклонил голову и стал смотреть вниз. Там все было темно, и ничего не было видно. Слышалось клокотание пены, но поверхности реки не было видно. Минутами в глубине этого

хаоса появлялся вдруг, скользя по воде, какой-то неопределенный отблеск, вода обладает этим свойством получать свет неизвестно откуда даже в самую темную ночь и превращать его в светящуюся змею. Свет исчезал, и снова все покрывалось непроницаемым мраком. Казалось, будто там разверзается бесконечность. Там внизу, под его ногами, была не вода, а бездна. Темная масса набережной, отвесно спускавшейся к реке, сливалась с туманом и казалась как бы стеной, воздвигнутой на краю бесконечности.

Ничего не было видно, но чувствовался леденящий холод воды и неприятный запах мокрых камней. Чем-то суровым веяло от этой бездны. Подъем уровня воды в реке, скорей угадываемый, чем заметный, грозный ропот волн, мрачная громада мостовых арок, воображаемое падение в эту черную бездну, — все это вместе взятое было полно ужаса.

Жавер несколько минут, не шевелясь, стоял на одном месте, устремив взор в темноту, он созерцал невидимое с таким упорством, точно

там было что-то привлекавшее его внимание. Вода клокотала. Вдруг он снял шляпу и положил ее на край парапета. Минуту спустя высокая черная фигура, которую какой-нибудь запоздавший прохожий издали мог принять за привидение, появилась на парапете, наклонилась над Сеной, потом выпрямилась, а затем внезапно бросилась в бездну. Послышался глухой всплеск, и только один мрак ночи видел, как судорожно билась эта темная фигура, исчезая под водой.

Глава 342

Спустя некоторое время после описанных нами событий, рабочий Булатрюель испытал сильное волнение.

Рабочий Булатрюель — тот самый дорожный рабочий из Монфермейля, с которым читатель уже встречался в первых главах этой книги.

Булатрюель, как это, может быть, помнят, занимался различными делами, в том числе и темными. Он дробил камни на шоссе и там же

грабил путешественников. Этот землекоп и вор лелеял в своей мечту, он мечтал о кладах, зарытых в Монфермейльском лесу. Он надеялся найти в один прекрасный день деньги в земле под деревом, а пока с видимым удовольствием искал их в карманах у прохожих.

Впрочем, в данное время он обнаруживал большую осторожность. Ему только что удалось счастливо выпутаться из затруднительного положения. Его схватили, как известно, в логове Жондретта вместе со всеми остальными бандитами. Но иногда и порок может принести пользу: страсть к пьянству спасла его. Так и осталось невыясненным, каким образом попал он туда, в качестве грабителя или же ограбленного. Постановление о его непричастности к делу и о его освобождении из-под стражи было выдано только потому, что в тот вечер он был, несомненно, сильно пьян. И он снова очутился на свободе, вернулся на свой участок между Граньи и Ланьи и смиренно, с грустным выражением лица, принялся под надзором администрации дробить камень для казенного шоссе,

обнаруживая при этом некоторое охлаждение к воровству, которое чуть не сгубило его, и еще более нежную страсть к вину, которая спасла его.

Что же касается сильного душевного волнения, испытанного им спустя некоторое время после возвращения в покрытый дерном шалаш, то причина этого волнения была следующая.

Однажды Булатрюель, отправляясь по обыкновению перед рассветом на работу, а может быть, и в засаду, увидел между деревьями человека, и хотя он видел только спину этого человека, тем не менее фигура его, насколько можно было рассмотреть издали и в полутьме, показалась ему как будто знакомой. Булатрюель хотя и был пьяницей, но, несмотря на это, обладал хорошей памятью, которая является необходимым орудием защиты для всякого, кто хоть немного не в ладах с законом.

— Где, черт возьми, видел я кого-то, похожего на этого человека? — задал он себе вопрос.

Но в ответ он мог только сказать себе, что фигура эта похожа на кого-то, о ком в уме его сохранилось смутное воспоминание.

Булатрюель, ввиду невозможности сразу установить личность заинтересовавшего его субъекта, стал соображать и рассчитывать. Человек этот был не здешний. Он прибыл сюда. Очевидно, пешком. В эту пору через Монфермейль не проезжает ни одной почтовой кареты. Он шел всю ночь. Откуда явился он? Во всяком случае, не издалека. У него нет ни сумки, ни узла. Наверное, из Парижа. Зачем очутился он в этом лесу? Да еще в такое время? Что делал он здесь?

У Булатрюеля мелькнула мысль о кладе. Затем, порывшись в своей памяти, он, наконец, вспомнил, что несколько лет тому назад его так же точно встревожило неожиданное появление ранее неизвестного ему человека, очень похожего, как ему казалось, на того самого, которого он видел в эту минуту

Погруженный в раздумье, он, под тяжестью обуревавших его мыслей, опустил голову — явление вполне естественное, хотя и свидетельствовавшее о недостаточной сообразительности, потому что, когда он снова поднял голову, никого уже не было. Незнакомец, пользуясь царившим в лесу полумраком, скрылся.

— Клянусь дьяволом, — проговорил Булатрюель, — я во что бы то ни стало найду его. Я узнаю, куда он приходил. Этот гуляка-кот что-то замышляет, и я непременно узнаю, что. Я должен знать все, что делается тут, у меня в лесу, — он сжал в руке остро отточенную кирку, бормоча вполголоса: — Этим можно бить и землю, и человека.

И он поспешно углубился в чащу, стараясь, насколько это возможно, идти тем же самым путем, каким должен был, по его мнению, идти незнакомец.

Не успел он сделать и сотни шагов, как стало светать, и это облегчило его задачу. Видневшиеся то тут, то там отпечатки ног на песчаном грунте,

примятая трава, сломанный вереск, согнутые молодые ветки кустов, медленно и грациозно расправлявшиеся, подобно рукам хорошенькой женщины, которая лениво потягивается в момент пробуждения ото сна, — все служило ему указанием направления, куда надо идти. Он шел по этому следу, но потом потерял его. Время шло. Он углубился еще дальше в лес и выбрался на небольшую возвышенность. Вышедший рано из дома охотник, проходивший в это время вдали по тропинке, насвистывая песенку Гильери, подал ему мысль взобраться на дерево. Несмотря на свои преклонные годы, он был очень ловок. Тут рос высокий бук, достойный Титира и Булатрюеля. Булатрюель как можно выше взобрался на этот бук.

Мысль эта оказалась очень удачной. Осматривая ту сторону горизонта, где лес разросся особенно густо, Булатрюель вдруг увидал незнакомца.

Но едва только он увидел его, как незнакомец снова скрылся.

Незнакомец вышел или, лучше сказать, проскользнул на довольно отдаленную прогалину, невидимую за высокими деревьями, которую Булатрюель отлично знал, так как там, возле груды больших камней, росло большое каштановое дерево, на котором на пораженном месте была прибита цинковая пластинка. Это была та самая прогалина, которую в прежние времена называли урочищем Бларю. Груда камней, предназначавшихся неизвестно для какой цели, лежит, по всей вероятности, там же и теперь, как лежала тридцать лет тому назад. Ничто не может сравниться с долговечностью каменной кучи, за исключением разве одного только дощатого забора. И то и другое делается на время, а между тем в этом-то и заключается закон долговечности.

Булатрюель, вне себя от радости, скорее свалился, чем спустился с дерева. Логовище выслежено, теперь оставалось только захватить зверя. Там же, по всей вероятности, должен быть и клад, о котором он мечтал.

Но добраться до этой прогалины было делом далеко не легким. На это нужно было бы употребить добрых четверть часа, если идти по проложенным в лесу тропинкам, делавшим бесчисленное множество извилин и зигзагов. Если же идти напрямик, то пришлось бы целых полчаса пробираться сквозь колючую чащу густого кустарника. Булатрюель, к несчастью для него, не сообразил этого. Ему показалось, что всего лучше идти напрямик, — заслуживающий уважения обман, уже очень многих ввел в заблуждение.

Густая непроходимая чаща колючего кустарника казалась ему самой короткой дорогой.

— Нечего делать, придется прогуляться по этой волчьей Риволи, — сказал он.

Булатрюель, привыкший обычно пользоваться окольными путями, теперь пошел напрямик. Он смело бросился в кусты. Ему пришлось иметь дело с остролистником, с крапивой, боярышником, шиповником, чертополохом и

колючими иглами терновника. Он сильно исцарапался.

В овраге оказался ручей, через который ему пришлось перебираться.

Через сорок минут он прибыл наконец на урочище Бларю. Он задыхался от усталости, был весь в поту, мокрый и исцарапанный, одежда на нем была вся изорвана в клочья, а в душе клокотало бешенство. На прогалине не было ни души. Булатрюель бросился к груде камней. Она по-прежнему оставалась на своем месте. Никто ее не унес. Зато незнакомец скрылся в лесу. Он ушел. Но куда? В какую сторону? Где его искать? Угадать это немыслимо.

Но что всего печальнее — за грудой камней у самого дерева с цинковой пластинкой земля оказалась свежевырытой, и возле ямы валялся забытый или, может быть, брошенный заступ. Яма была пуста.

— Вор! — закричал Булатрюель, потрясая кулаками.

Глава 343

Мариус долгое время находился между жизнью и смертью. В течение нескольких недель его мучила сильнейшая лихорадка с бредом, сопровождаемая, кроме того, довольно серьезными симптомами болезни мозга, что обусловливалось, скорей, перенесенными потрясениями, чем самими ранами.

С неутомимой болтливостью горячечного бреда и с мрачным упрямством агонии он целыми ночами твердил имя Козетты. Размеры некоторых ран внушали серьезные опасения, так как из-за перенесенных им испытаний могло произойти заражение крови, способное убить больного; всякая перемена погоды, малейший намек на грозу сильно беспокоили врача.

— Главное, чтобы больной ни в каком случае не волновался, — повторял он.

Перевязки приходилось делать очень сложные, и это стоило большого труда, потому что тогда еще не умели пользоваться для этой

цели пластырями. Николетта изорвала на корпию целую простыню, «такую большую, что ею можно было бы закрыть весь потолок», — говорила она. Путем промывания ран хлористым раствором и прижигания ляписом с трудом удалось остановить начинавшуюся гангрену. Пока была опасность, Жильнорман, изнемогая от отчаяния у изголовья внука, подобно Мариусу, тоже был ни жив, ни мертв.

Каждый день, а иногда и по два раза в день приходил справляться о раненом неизвестный пожилой господин с седыми волосами, очень хорошо одетый — так описывал его привратник, — и приносил большой сверток корпии для перевязок.

Наконец, 7 сентября, ровно через четыре месяца после той печальной ночи, когда Мариуса принесли умирающим к деду, доктор объявил, что он ручается за его жизнь. Выздоровление двигалось вперед медленными шагами, и Мариус должен был еще целых два месяца пролежать на кушетке вследствие осложнившегося перелома

ключицы. В таких случаях всегда оказывается какая-нибудь рана, которая не хочет заживать и требует, чтобы ее бесконечно перевязывали, к великой досаде больного.

Впрочем, долгая болезнь и медленное выздоровление спасли его от преследования закона. Во Франции шести месяцев вполне достаточно, чтобы затих всякий гнев, даже гнев правительства. В государстве с таким общественным строем восстания составляют преступление как бы почти всего общества, и поэтому на них приходится смотреть сквозь пальцы.

К этому нужно прибавить еще, что приказ Жиске, которому нет аналогов, требовавший, чтобы врачи доносили на раненых, вызвал негодование не только общественного мнения, но и прежде всего самого короля, и это негодование заставляло скрывать и покровительствовать раненым. Военные суды не осмеливались трогать никого, за исключением тех, кто был схвачен в

момент боя с оружием в руках. Поэтому Мариуса оставили в покое.

Жильнорман пережил сначала все стадии страшного отчаяния, а потом безумной радости. Его с трудом уговорили не сидеть все ночи подряд возле раненого, хотя он велел принести свое большое кресло и поставить его возле постели Мариуса, он требовал, чтобы дочь отдала для компрессов и бинтов все самое лучшее белье, какое только найдется в доме. Девица Жильнорман показала себя благоразумной и умудренной жизненным опытом особой и сумела уберечь ценное белье, оставив старика-деда думать, что его приказание исполнено. Жильнорман и слышать не хотел, когда ему пытались объяснить, что для корпии не годится новое белье, а тем более из батиста. Он присутствовал при всех перевязках, от чего девица Жильнорман целомудренно уклонялась. Когда ножницами удаляли омертвевшие частицы, он вскрикивал: «Ай! Ай!» Трогательно было видеть, как он дрожащими от старости руками подавал раненому питье. Он досаждал доктору

вопросами и точно не замечал, что повторяет их по много раз подряд.

В тот день, когда доктор объявил, что жизнь Мариуса вне опасности, бедняга положительно сошел с ума. Он дал привратнику три луидора. Вечером, придя к себе в комнату, он принялся танцевать гавот, прищелкивая, вместо кастаньет, большим и указательным пальцами и напевая старинную веселую песенку:

Жанна родом из Бордо,

Всех пастушек там гнездо.

Если Жанну видел раз,

Ты увяз.

Плут Амур в нее вселился,

В глазах Жанны притаился,

Там раскинул сеть хитрец

Для сердец.

Как Диану, я пою

Жанну резвую мою,

С Жанной век свой коротать —

Благодать.

Потом он опустился на колени на низенькую скамеечку, и Баску, следившему за ним в полуотворенную дверь, показалось, что он молился.

До тех пор Жильнорман никогда не вспоминал о боге.

При каждой новой перемене к лучшему, а это становилось все более и более заметным, старый дед начинал чудачить. Он машинально проделывал разные штуки, свидетельствовавшие о его веселом настроении, и без всякой к тому надобности начинал ходить вниз и вверх по лестнице. Соседка, впрочем, хорошенькая женщина, сильно изумилась, получив в одно прекрасное утро большой букет цветов. Букет этот послан был ей Жильнорманом. Муж устроил ей за это сцену ревности. Жильнорман пытался посадить к себе на колени Николетту, называл Мариуса господином бароном и кричал: «Да здравствует Республика!»

Он чуть не каждую минуту спрашивал врача: «Правда ли, что теперь нет больше никакой опасности?» На Мариуса он смотрел глазами любящей бабушки и с восторгом любовался, как тот ест. Он не помнил себя, точно его не существовало вовсе, и Мариус стал хозяином дома; его радость носила характер самоотречения, он стал внуком своего внука.

В этом радостном настроении он походил на самого примерного ребенка. Из боязни утомить или надоесть выздоравливающему, он становился позади Мариуса и незаметно улыбался ему. Он был доволен, весел, сходил с ума от радости. Его седые серебристые волосы придавали величественную кротость счастливому выражению, отражавшемуся на его лице. Радость очаровательна, когда она освещает морщины. Веселье старости словно освещается отблеском утренней зари.

Что же касается Мариуса, то, предоставив делать перевязки и ухаживать за собой, он все свои мысли сосредоточил на одной Козетте.

С тех пор как прекратилась лихорадка с бредом, он не произносил больше ее имени, и казалось, будто он не думал больше о ней, но он молчал потому, что душой был там, у нее.

Он не знал, что стало с Козеттой. Все происшедшее на улице Шанврери было как будто затянуто облаком тумана. В его памяти вставали смутные образы Эпонины, Гавроша, Мабефа, Анжолраса, Фейи и всех остальных его друзей и единомышленников. Странное участие Фошлевана в этом кровопролитном столкновении производило на него такое же впечатление, какое производит загадочное явление во время грозы. Он ничего не знал о том, каким образом он остался жив, он не знал, кто и каким образом спас его, и этого не знал также никто из его окружающих, ему могли только сообщить, что ночью его привезли в фиакре на улицу Филь-дю-Кальвер. Прошедшее, настоящее и будущее — все сливалось у него в голове в непроницаемый туман, но среди этого тумана резко выступало нечто ясное и определенное, непоколебимое, как гранит, — непреклонная решимость найти

Козетту. Для него представление о жизни сливалось в одно нераздельное целое с представлением о Козетте. Он решил в своем сердце, что не примет одной без другой, и он непоколебимо решил требовать возвращения утраченного рая от всех — всех, кто хотел бы заставить его жить, будь это дед, судьба или даже сам ад.

Что касается препятствий к исполнению этого, то он представлял их себе совершенно ясно.

Тут необходимо подчеркнуть одну подробность: его ни капельки не смягчили и нисколько не трогали заботы и нежность дедушки. Во-первых, он знал об этом далеко не все, а во-вторых, благодаря своему болезненно настроенному воображению, отчасти, может быть, еще носившему следы болезни, он не доверял этой кротости, как явлению необыкновенному и новому, имевшему целью покорить его. И он оставался холоден. Дед тщетно расточал ему свои бедные старческие

улыбки. Мариус уверял себя, что все это будет продолжаться до тех пор, пока он, Мариус, молчит и не противоречит, но, как только зайдет речь о Козетте, выражение лица станет другое, дед сбросит маску и покажет себя в истинном свете. Тогда все сразу примет прежний оборот, тогда выступят на сцену фамильные вопросы, разница общественного положения, посыпятся упреки и возражения: Фошлеван, Коплеван, богатство, бедность, нищета, камень на шее, будущее. Упорное сопротивление завершится категорическим отказом. Мариус заранее готовился к ожесточенной борьбе.

Добавим, что по мере того как он возвращался к жизни, в его памяти вскрывались старые раны, вспоминалось прошлое, полковник Понмерси становился между Жильнорманом и Мариусом, и он уверял себя, что ему нечего надеяться на доброту того, кто так несправедливо и жестоко относился к его отцу. И по мере того как к нему возвращалось здоровье, к нему возвращалось какое-то ожесточение против деда. Старик же молча страдал от этого.

Жильнорман заметил еще, ничем не обнаруживая, впрочем, этого, что Мариус, с тех пор как его привезли в дом деда и как он пришел в себя, ни разу не назвал его «отец». Он, правда, не называл его и «сударь», но ему всегда удавалось вести разговор таким образом, что не приходилось говорить ни того, ни другого.

Кризис явно приближался.

Мариус, как это, впрочем, и всегда бывает в таких случаях, раньше чем вступить в открытую битву, пробовал свои силы в небольших стычках. Это называется прощупывать почву. Однажды утром Жильнорман по поводу попавшего ему случайно под руку журнала отозвался в пренебрежительном тоне о Конвенте и позволил себе высказать какое-то роялистское замечание о Дантоне, Сен-Жюсте и Робеспьере.

— Люди девяносто третьего года были племенем гигантов, — сурово возразил ему Мариус.

Старик смолк и весь остальной день не проронил ни слова.

Мариус, привыкший с ранних лет иметь дело с непреклонной волей деда, истолковал это молчание как признак глубокой сосредоточенной ярости, предвещавшей ожесточенную бурю, и мысленно еще энергичнее стал готовиться к объяснению.

Он решил, что в случае отказа он сорвет все повязки, расшатает ключицу, разбередит все не успевшие еще совсем затянуться раны и откажется от пищи. Раны — это было его оружие.

Он ждал наступления благоприятного момента с угрюмым терпением больного.

Наконец эта минута наступила.

Глава 344

Однажды в то время, когда дочь господина Жильнормана приводила в порядок стоявшие на мраморной крышке комода склянки и чашки, старик наклонился над Мариусом и сказал ему, вкладывая в свои слова всю нежность, на какую только был способен.

— Послушай, малютка Мариус, на твоем месте я стал бы есть теперь вместо рыбы мясо. Жареная камбала хороша в период выздоровления, но для того, чтобы поставить больного на ноги, нужна хорошая котлетка.

Мариус, чувствовавший себя уже почти здоровым, сделал над собой усилие приподняться, сел, опершись сжатыми кулаками на постель, и с грозным видом, глядя прямо в лицо деду, сказал:

— Это вынуждает меня сообщить вам нечто.

— Что именно?

— Я хочу жениться.

— Я этого ждал, — отвечал дедушка и залился смехом.

— Каким образом вы могли этого ждать?

— Да, ждал. Девочка будет твоя.

Ответ этот до такой степени изумил и поразил Мариуса, что он задрожал.

Господин Жильнорман между тем продолжал:

— Ну да, эта хорошенькая малютка будет твоею. Она каждый день присылает старика справляться о твоем здоровье. С тех пор как тебя ранили, она проводит все время в том, что плачет и щиплет корпию. Я все разузнал. Она живет на улице Омм Армэ, дом номер семь. Ну, вот мы и договорились. Ты хочешь назвать ее своею. Ну, она и будет твоей. Ты хочешь этого во что бы то ни стало. Ты даже составил маленький заговор, ты думал: «Я брошу это прямо в лицо старому деду, этой мумии времен Регентства и Директории, этому бывшему щеголю, этому Даранту, превратившемуся в Геронта. У него тоже были свои слабости. Он тоже влюблялся в свое время, у него тоже были и гризетки и свои Козетты, у него тоже было время, когда он увлекался, когда ему казалось, что у него за плечами крылья, у него тоже была своя весна. Пусть-ка он теперь вспомнит обо всем этом. Увидим, что он мне ответит». Война… А! Ты рассчитывал затеять со мной ссору! Ты не знал, что я стал трусом. Ну, а что скажешь ты теперь на это? Ты сердишься?.. Ты не думал, что твой

дедушка еще глупее тебя! Тебе досадно, господин адвокат, что тебе не удастся произнести обвинительной речи, с которой ты намеревался обрушиться на меня. Ну что ж, тем хуже для тебя, бешеный человек. Я сделаю все, что ты хочешь, и этим заставлю тебя умолкнуть, глупенький! Слушай. Я навел справки. Я ведь тоже умею хитрить. Она очаровательна и умна. Относительно улана — все вздор! Она нащипала целую груду корпии, она — настоящий бриллиант и обожает тебя. Если бы ты умер, пришлось бы хоронить нас всех троих вместе. Ее гроб понесли бы рядом с моим. Мне было пришло в голову, как только тебе стало лучше, привести ее сюда и позволить ей сидеть возле твоей постели, но это только в романах так просто заставляют молодых девушек проводить время у красивых больных, которыми они интересуются. На самом деле в жизни это так не делается. Что сказала бы твоя тетка? Ты ведь, милейший мой, почти все время лежал совсем голый. Спроси Николетту, которая не отходила от тебя ни на минуту, можно ли было впустить сюда женщину. А потом, что сказал бы

доктор? Присутствие хорошенькой девушки, насколько известно, не в состоянии вылечить от лихорадки. Впрочем, об этом не стоит больше и говорить. Все, что нужно было сказать, уже сказано, все сделано и решено, бери ее. Вот тебе доказательство моей жестокости. Видишь ли, в чем дело? Я знал, что ты не любишь меня, и задал себе такой вопрос: «Что бы мне такое сделать, чтобы этот негодяй полюбил меня?» На это я себе ответил: «Э! Да ведь у меня есть крошка Козетта. Отдам ее ему, тогда уж он непременно должен будет полюбить меня немножко, а если не полюбит, то скажет, почему не может любить меня». Ты думал, что старик начнет шуметь, повышать голос, будет кричать «нет», грозить палкой начинающейся заре любви. Вовсе нет. Пусть будет у тебя Козетта. Ты ее любишь — люби. Я не желаю ничего лучшего. Милостивый государь, женитесь, сделайте такую милость. Будь счастлив, мое дорогое дитя!

При этих словах старик разразился рыданиями.

Затем он обхватил голову Мариуса обеими руками, прижал ее к своей старческой груди, и они оба стали плакать вместе. Это был момент высшего счастья.

— Отец! — воскликнул Мариус.

— А! Так ты меня, значит, любишь, — проговорил старик.

Они переживали такие минуты, которые не поддаются описанию. Они задыхались и не могли говорить.

Наконец старик пробормотал, с трудом выговаривая слова:

— Ну, вот, он наконец открыл рот и назвал меня отцом…

Мариус высвободил свою голову из дедовских объятий и тихим голосом сказал:

— Отец, теперь мне стало гораздо лучше, и мне кажется, я мог бы видеть ее.

— Я и это предвидел, ты увидишь ее завтра.

— Отец?

— Что?

— А почему не сегодня?

— Хорошо, можно и сегодня. Да, можно и сегодня. Ты три раза назвал меня отцом, за это можно исполнить твое желание. Я позабочусь об этом. Ее приведут. Я ведь уже говорил тебе, что все заранее обдумал. То же самое уже было описано в стихах. Вспомни конец элегии «Больной юноша» Андре Шенье, того самого Андре Шенье, которого зарезали эти разбой… титаны девяносто третьего года…

Жильнорману показалось, что Мариус как будто слегка нахмурил брови, тогда как на самом деле, считаем своим долгом заметить, он находился в таком восторженном состоянии, что ничего не слышал и во всяком случае думал гораздо больше о Козетте, чем о 1793 годе. Старый дед, дрожа от страха, что так неудачно упомянул об Андре Шенье, торопливо поспешил прибавить:

— Слово «зарезали» тут, пожалуй, не годится. Дело в том, что великие революционные

гении, которые вовсе не были злодеями, в этом не может быть никакого сомнения, а настоящими героями, — черт их возьми! — нашли, что Андре Шенье их стеснял немного; и поэтому они его гильотинир… Я хотел сказать, что эти великие люди седьмого термидора в интересах общественной безопасности вежливо обратились к Андре Шенье с просьбой отправиться…

Старый дед, припертый к стене своими собственными словами, не мог продолжать говорить в том же духе, так как не в силах был ни закончить начатую фразу, ни отречься от нее, и поэтому в то время, как его дочь оправляла за спиной Мариуса подушки, сам он, вконец измученный всем происшедшим, с быстротою, какую только допускали его года, бросился вон из спальни, захлопнул за собой дверь и, весь красный, тяжело дыша, с пеной у рта и вытаращенными глазами очутился носом к носу с верным Баском, который чистил сапоги в передней. Он схватил Баска за горло и прямо и лицо свирепо завопил ему:

— Клянусь всеми чертями, что эти разбойники убили его!

— Кого, сударь?

— Андре Шенье!

— Да, это правда, сударь, — проговорил испуганный Баск.

Глава 345

Козетта и Мариус увиделись.

Мы отказываемся описывать это свидание. Есть вещи, которые не следует даже пытаться описать; к числу их принадлежит и солнце.

Вся семья, считая в том числе Баска и Николетту, была в комнате Мариуса в тот момент, когда вошла Козетта.

Когда она появилась в дверях, казалось, что ее окружало точно сияние.

Как раз в эту минуту старый дед начал было сморкаться, но остановился и с минуту смотрел на Козетту, зажав нос носовым платком.

— Восхитительна! — вскричал он. Затем он шумно высморкался.

Козетта была в упоении, в восторге и, чувствуя себя на небесах, точно чего-то боялась в то же время. Она испытывала тот страх, какой обыкновенно испытывают люди в момент избытка счастья. Она то бледнела, то краснела, что-то такое лепетала, страстно желая броситься в объятия к Мариусу, и не смела. Она точно стыдилась обнаружить свою любовь при всех. К счастливым влюбленным окружающие относятся безжалостно, их не оставляют одних, тогда как именно этого-то они больше всего и желают. Они совсем не нуждаются в людском обществе.

В одно время с Козеттой, но держась позади нее, в комнату вошел мужчина с седыми волосами, серьезный, который хотя и улыбался, но улыбка выходила у него какая-то печальная и неопределенная. Это был «господин Фошлеван»; это был Жан Вальжан.

Одет он был и в самом деле очень хорошо, о чем уже раньше говорил привратник, весь в

черном и в белом галстуке.

Привратнику и в голову не приходило, что этот представительный буржуа, очень похожий на нотариуса, — и есть тот самый страшный носильщик трупов, который в ночь на 7 июня, оборванный, грязный, с угрюмым выражением лица, выпачканный кровью, появился перед ним в дверях с бесчувственным Мариусом на руках. Тем не менее образ Фошлевана все-таки пробудил в нем чутье привратника, что-то заподозрившего. Когда Фошлеван вошел в комнату вслед за Козеттой, он не мог утерпеть, чтобы не сказать тихо своей жене:

— Не знаю почему, но мне все кажется, что я где-то уже видел это лицо.

Войдя в комнату Мариуса, Фошлеван держался в стороне у самой двери. Под мышкой у него был сверток, очень похожий на завернутую в бумагу книгу в восьмую долю листа. Бумага была зеленоватой и казалась подернутой плесенью.

— Неужели этот господин всегда носит книги под мышкой? — тихо спросила у Николетты

девица Жильнорман, всегда недолюбливавшая книги.

— Что ж тут такого, — ответил тем же тоном слышавший ее вопрос господин Жильнорман: — Это ученый. А потом? Разве это порок? У меня был один знакомый, некий Булар, так тот всегда ходил с книгой и так же точно прижимал к груди такую же старую истрепанную книгу, — затем он сделал поклон и уже громко сказал: — Господин Траншлеван…

Дедушка Жильнорман сделал это совсем не нарочно, невнимательность к именам собственным была в нем аристократической манерой.

— Господин Траншлеван, имею честь просить у вас руки мадемуазель Козетты для своего внука, барона Мариуса Понмерси.

«Господин Траншлеван» молча поклонился.

— Дело кончено, — сказал дед; затем он обернулся к Мариусу и Козетте и, благословив их, воскликнул: — Можете обожать друг друга.

Они не заставили повторять себе это два раза. Началось нежное воркованье. Говорили они тихо, Мариус полулежал на кушетке, а Козетта стояла возле него.

— Господи! — лепетала Козетта. — Наконец-то я опять вижу вас. Это ты! Это вы! Уйти сражаться!.. Но зачем?.. Это ужасно! Я целых четыре месяца была все равно что мертвая! О, как это было жестоко принять участие в этой битве! Что я вам сделала дурного? На этот раз прощаю вам, но больше этого вы уже не делайте. Сейчас, когда пришли за нами, я думала, что умру, но только уже от радости. Мне было так тяжело, так грустно… Я не успела даже переодеться. Я, наверное, произвожу теперь ужасное впечатление. Что скажут ваши родные при виде моей совершенно измятой косынки? Но скажите же хоть что-нибудь?! Вы заставляете говорить меня одну. Мы все по-прежнему живем на улице Омм Армэ. У вас, кажется, особенно сильно пострадало плечо. Мне говорили, что в рану можно было вложить кулак. А потом вам, кажется, срезали ножницами куски мяса. Вот

ужас-то! Я так много плакала, что совсем ослепла от слез. Просто даже смешно, когда подумаешь, что можно так мучиться. Ваш дедушка выглядит очень добрым. Не вертитесь, не опирайтесь на локоть, будьте осторожней, иначе вам будет больно. О, как я счастлива! Теперь конец горю! Я совсем обезумела. У меня вылетело из головы все, что я хотела вам сказать. Вы меня еще любите?.. Мы живем на улице Омм Анрэ. Там нет сада. Я все время щипала корпию. Посмотрите-ка, милостивый государь, по вашей вине у меня сделались мозоли на пальцах.

— Ангел! — проговорил Мариус.

Ангел, единственное слово, которое не утрачивает своего значения, как бы часто оно ни употреблялось. Всякое другое не могло бы выдержать безжалостных повторений бесчисленное множество раз, чем так злоупотребляют влюбленные.

Потом, так как в комнате, кроме них, были и другие люди, они умолкли и не произнесли больше ни слова, ограничиваясь только тем, что

слегка прикасались руками друг к другу. Господин Жильнорман, обращаясь ко всем находившимся в это время в комнате, крикнул:

— Говорите громче. Шумите, точно вы за кулисами. Давайте кричать, черт возьми! Чтобы дети могли поболтать досыта.

Подойдя к Мариусу и Козетте, он сказал им тихонько:

— Говорите друг другу «ты». Не стесняйтесь.

Тетушка Жильнорман в каком-то оцепенении присутствовала при этом вторжении света в ее старое сердце. Изумление ее не имело ничего обидного, оно отнюдь не было похоже на оскорбительный и завистливый взгляд старой совы, глядящей на двух голубков, — это был, наоборот, растерянный взгляд несчастной пятидесятисемилетней девы; это неудавшаяся жизнь созерцала торжество бытия — любовь.

— Девица Жильнорман-старшая, — сказал ей отец, — говорил я тебе, что этим кончится.

Затем, после минутного молчания, он прибавил:

— Наслаждайся счастьем других, — потом он повернулся к Козетте. — Как она хороша! Как хороша! Настоящая головка Грёза. И все это достанется тебе одному, плутишка! Счастье твое, разбойник, что тебе теперь нечего бояться меня! Тебе везет! Если бы я мог сбросить пятнадцать лет с плеч, мы бы с тобой со шпагами в руках решили, кому она должна достаться. Да-с. Я в вас влюблен, сударыня. В этом нет, впрочем, ничего удивительного. Вы на это имеете полное право. А какая будет чудная свадьба. Мы принадлежим к приходу Сен-Дени, но я добуду вам разрешение венчаться в церкви Святого Павла. В той церкви гораздо лучше. Она была построена иезуитами. Она гораздо красивее. Как раз против нее фонтан кардинала Бирага. Но самый лучший образец иезуитской архитектуры находится в Намюре и называется Сен-Лу. Вам нужно будет съездить туда после свадьбы. Это стоит посмотреть. Сударыня, я всецело держу вашу сторону и тоже думаю, что девушки должны выходить замуж, —

это их назначение. Даже и святую Екатерину я желал бы видеть всегда с непокрытой головой. Остаться навсегда девой хорошо, но холодно. В Библии сказано: «Размножайтесь!» Для того чтобы спасти народ, нужна Жанна д'Арк, но для продолжения рода человеческого нужна тетушка Жигонь. Итак, выходите замуж, красавицы. Сказать по правде, я даже не знаю, зачем именно нужно оставаться в девах? Я знаю, что такие получают особые места в церкви и принимают участие в делах братства Пресвятой девы; но — черт возьми! — красивый хороший муж, а к концу года белокурый полненький мальчуган со складочками на толстеньких ножках, который усердно сосет грудь и, весело улыбаясь, в то же время нещадно тискает ее своими розовыми ручонками, все это, по-моему, куда лучше, чем стоять со свечой за вечерней и распевать Turris eburnea!

Дедушка сделал пируэт на своих девяностолетних ногах и скороговоркой, точно заведенный пружиной, крикнул:

— Да, кстати!

— Что такое, отец?

— У тебя ведь, кажется, был друг?

— Да, Курфейрак.

— Где же он теперь?

— Он умер.

— Это хорошо, — он сел возле них, заставив сесть Козетту, и взял их руки в свои старые морщинистые руки. — Эта малютка восхитительна. Эта Козетта — настоящее совершенство! Она в одно и то же время и совсем ничтожная девочка и вполне знатная дама. Она будет всего только баронессой, это для нее слишком мало, так как она рождена быть маркизой. Разве это не бросается в глаза! Дети мои, знайте только одно: вы стоите на верном пути. Любите друг друга, подражайте в этом животным. Любовь — порождение человеческой слабости и духа божества. Любите друг друга до обожания. Но как жаль только… — прибавил он вдруг грустным тоном. — Дело вот в чем!

Большая часть моего состояния заключается в пожизненной ренте. До тех пор пока я жив, это все еще ничего, но после моей смерти, лет этак через двадцать, у вас, бедные мои детки, не будет ничего. Вашим прелестным беленьким ручкам, баронесса, придется узнать, что такое работа и что такое нужда.

В эту минуту спокойный, уверенный голос произнес:

— Мадемуазель Эфрази Фошлеван имеет шестьсот тысяч франков.

Это был голос Жана Вальжана. До сих пор он не произнес ни слова, и все, казалось, забыли о его присутствии, хотя он все так же неподвижно стоял позади всех этих счастливых людей.

— Кто это такая, мадемуазель Эфрази? — спросил в недоумении дедушка.

— Я, — отвечала Козетта.

— Шестьсот тысяч франков?.. — переспросил господин Жильнорман.

— Может быть, тысяч на четырнадцать или на пятнадцать меньше, — продолжал Жан Вальжан, и он положил на стол сверток, который тетушка Жильнорман приняла за книгу.

Жан Вальжан своими собственными руками развернул пакет: в нем оказались пачки банковых билетов.

Их пересмотрели и пересчитали. Оказалось пятьсот билетов по тысяче франков и сто шестьдесят билетов по пятьсот франков. Все это вместе составляло сумму в пятьсот восемьдесят четыре тысячи франков.

— Вот так хорошая книга, — сказал господин Жильнорман.

— Пятьсот восемьдесят четыре тысячи франков? — прошептала тетка.

— Девица Жильнорман-старшая, не правда ли, это хорошо устраивает дело? — сказал дедушка. — Этот негодяй Мариус разыскал на древе мечтаний гнездо, в котором сидела гризетка-миллионерша! Верьте теперь в

искренность увлечения молодежи! Студенты находят себе студенток с шестьюстами тысяч франков. Керубино работает лучше Ротшильда.

— Пятьсот восемьдесят четыре тысячи франков! — повторяла вполголоса девица Жильнорман. — Пятьсот восемьдесят четыре! Это все равно, что шестьсот тысяч. Каково!

Что же касается Мариуса и Козетты, они в это время созерцали друг друга и почти не обратили внимания на эту подробность.

Глава 346

Само собой разумеется, и это, кажется, незачем долго объяснять, что после дела Шанматье Жан Вальжан, которому удалось бежать и скрыться на несколько дней, имел возможность побывать в Париже и своевременно взять у Лаффитта деньги, нажитые им в Монрейле под именем Мадлена, — и затем, боясь снова быть арестованным, что с ним и в самом деле случилось спустя некоторое время, он зарыл

деньги в Монфермейльском лесу, на так называемом урочище Бларю. Шестьсот тридцать тысяч франков банковыми билетами занимали очень мало места и свободно поместились в ящичке, но, чтобы предохранить ящичек от сырости, он вложил его в дубовый сундучок, набитый стружками каштанового дерева. В этот же сундучок он спрятал и другое свое сокровище: подсвечники епископа. Читатель, конечно, не забыл, что он захватил с собой подсвечники во время бегства из Монрейля. Человек, которого Булатрюель видел в первый раз вечером, был Жан Вальжан. Потом, когда Жану Вальжану бывали нужны деньги, он каждый раз приходил за ними на урочище Бларю. Этим и объясняются поездки, о которых мы упоминали. В кустах, в тайнике, о котором знал только он один, Жан Вальжан прятал заступ. Когда Мариус стал выздоравливать, он, предчувствуя, что скоро должно наступить время, когда эти деньги могут понадобиться, отправился за ними, и на этот раз Булатрюель опять увидел его в лесу, но только

уже утром, а не вечером. Булатрюелю достался в наследство заступ.

Всего у него оставалось пятьсот восемьдесят четыре тысячи пятьсот франков. Из этой суммы Жан Вальжан взял пятьсот франков себе. «Там видно будет», — решил он.

Разница между этой суммой и шестьюстами тридцатью тысячами франков, взятыми у Лаффитта, составляла итог издержек за десять лет, с 1829 по 1833 год. Пять лет пребывания в монастыре стоили всего пять тысяч франков.

Жан Вальжан поставил оба серебряных подсвечника на камин, где своим блеском они привели в великий восторг Туссен.

Жан Вальжан знал, впрочем, что он избавился от Жавера. При нем рассказывали, а потом он и сам прочел в «Монитере» сообщение, что тело утонувшего полицейского инспектора Жавера было найдено под плотом прачек между Мостом Менял и Новым и что записка, оставленная Жавером, которого начальство, впрочем, очень высоко ценило и считало безупречным,

заставляла предполагать сумасшествие и самоубийство. «Да, это правда, — подумал Жан Вальжан, — он и в самом деле, должно быть, был не в своем уме в то время, когда отпускал меня на свободу, после того как сам же перед этим арестовал».

Глава 347

К свадьбе уже шли приготовления. Врач, когда его попросили высказать мнение, объявил, что свадьба может состояться в феврале. В это время на дворе стоял уже декабрь. Прошло еще несколько недель, полных самого восхитительного; безмятежного счастья.

Старый дед чувствовал себя на верху блаженства. Он подолгу любовался Козеттой.

— Очаровательно прелестная девушка! — восклицал он. — У нее такое доброе и кроткое лицо. Это самая очаровательная девушка, какую я только видел в своей жизни. Впоследствии она будет преисполнена добродетелями с

благоуханием фиалок. Это сама грация! С таким созданием можно вести жизнь только знатных людей. Мариус, милый мой мальчик, ты — барон, богат, не занимайся адвокатурой, умоляю тебя.

Козетта и Мариус внезапно перешли из могилы прямо в рай. Переход этот был так внезапен, что, наверное, поразил бы их, если бы они не находились в таком восторженном состоянии.

— Понимаешь ли ты тут что-нибудь? — говорил Мариус Козетте.

— Нет, — отвечала Козетта, — но мне кажется, что милосердый Господь смотрит на нас.

Жан Вальжан сделал все, что от него зависело, устранил все препятствия, все устроил, облегчил все формальности. Внешне он казался таким же счастливым, как и сама Козетта, и с какой-то особенной суетливостью спешил как можно скорее осуществить ее желание.

Благодаря тому что он побывал мэром, ему удалось разрешить щекотливый вопрос о происхождении Козетты и скрыть тайну, известную только ему одному. Он мог бы сказать прямо, кто она такая, но, кто знает, какие это могло иметь последствия? Это могло бы, пожалуй, послужить даже препятствием к браку. Он сумел устранить в этом отношении все затруднения. Он дал ей семью, дал законных отца и мать, выбрав их из числа людей уже умерших, чем устранил возможность всяких споров и возражений. Козетта оказалась единственным отпрыском угасшей семьи, она была дочерью не его, а другого Фошлевана, его родного брата. Оба брата Фошлеван служили одно время садовниками при монастыре Пти-Пикпюс. В монастыре навели справки, и сведения получились самые удовлетворительные, и об обоих братьях отзывы были самые благоприятные. Добрые монахини не обладали ни знанием, ни опытом в разрешении вопросов о степенях родства с юридической точки зрения и не могли подозревать никакой уловки в

задаваемых им вопросах, так как и сами хорошо не знали, дочерью которого из двух Фошлеванов была Козетта. Они ограничились тем, что усердно подтверждали все, что от них требовали. В результате получился засвидетельствованный нотариусом акт. С этой минуты Козетта стала перед законом девицею Эфрази Фошлеван. Потом она была объявлена круглою сиротою, и Жан Вальжан устроил так, что его назначили, под именем Фошлевана, опекуном Козетты, а господин Жильнорман принял на себя обязанности соопекуна.

Что же касается пятисот восьмидесяти четырех тысяч франков, то сумма эта была объявлена оставленной Козетте по завещанию одним умершим уже лицом, пожелавшим остаться неизвестным. Первоначально капитал равнялся пятистам девяносто четырем тысячам франков, но из них истрачено было на воспитание девицы Эфрази десять тысяч франков, считая в том числе пять тысяч, уплаченные в монастырь. Капитал этот, хранившийся у третьего лица, назначено было

вручить Козетте по достижении ею совершеннолетия или же при ее выходе замуж. Все это казалось весьма правдоподобным, в особенности же когда в доказательство к этому прибавлялось больше полмиллиона. Кое-что в этом рассказе казалось как будто несколько странным, но этого никто не замечал: глаза одного из заинтересованных были ослеплены любовью, а глаза остальных шестьюстами тысячами франков.

Козетта узнала, что она не была дочерью старика, которого она так долго называла отцом. Он приходился ей только близким родственником, а отцом был другой Фошлеван. Во всякое другое время это сильно огорчило бы ее, но в том состоянии блаженства, какое она переживала в этот момент, это только слегка ее омрачило, по ней пробежало точно облако, которое быстро сошло с ее чела. У нее был Мариус. Образ молодого жениха затмил образ старика-отца — это закон природы.

К тому же Козетта уже давно привыкла ничему не удивляться. Все, чье детство окружено таинственностью, всегда готовы ко всевозможным неожиданностям.

Несмотря на это, она все-таки продолжала называть Жана Вальжана отцом.

Сиявшая счастьем, Козетта была в полном восторге от дедушки Жильнормана. Действительно, он окружил ее таким вниманием, такими ласками и буквально засыпал подарками. В то время как Жан Вальжан хлопотал о том, чтобы создать Козетте прочное положение в обществе и обеспечить ее существование денежными средствами, господин Жильнорман заботился о ее свадебной корзинке. Ему доставляло особенное удовольствие устроить все как можно великолепнее. Он подарил Козетте платье из гипюра Бэнш, доставшееся ему по наследству от родной бабки.

— Прежние моды опять возвращаются, — говорил он, — старинные вещи производят фурор. Молодые девушки одеваются теперь точь-

в-точь, как одевались старухи во времена моей юности.

Он опустошал громадные старинные комоды из красного кормандельского дерева с ящиками, не открывавшимися много лет.

— Надо посмотреть, — говорил он, — чем-то набиты эти старички?

И он с шумом выдвигал огромные ящики с платьями его жен, возлюбленных и бабушек. Он выбрасывал перед Козеттой китайскую тафту, камку, шелковые материи, затканный цветами муар, ярко-красный гродетур, шитые золотом индийские шали, которые можно стирать, штуки толстой двусторонней материи, генуэзские и алансонские кружева, старинные золотые парюры, шкатулки из слоновой кости с тончайшей резьбой, изображавшей батальные картины, уборы, ленты. Безумно влюбленная в Мариуса и полная бесконечной признательности к господину Жильнорману, Козетта мечтала о безграничном счастье в одеждах из атласа и бархата. Ей чудилось, будто серафимы

поддерживают ее свадебную корзинку. Душа ее парила в небесной лазури на крыльях из малинских кружев.

Только одно восторженное состояние деда могло соперничать, как мы уже говорили, с упоением влюбленных. На улице Филь-дю-Кальвер царило нескончаемое ликованье.

Каждое утро дедушка дарил что-нибудь старинное Козетте. Всевозможные украшения во всем своем великолепии появлялись перед ней.

Однажды Мариус, который и в счастье охотно любил говорить о вещах серьезных, сказал по какому-то поводу:

— Деятели революции до такой степени велики, что они теперь уже приобрели то обаяние, какое много веков окружает имена Катона и Фокиона, и каждый из них представляется как бы воспоминанием о седой старине, точно антик…

— Муар-антик! — вскричал старик. — Спасибо, Мариус, ты сказал именно то, что мне

было нужно.

И на другой же день великолепное муар-антиковое платье чайного цвета обогатило приданое Козетты.

Дедушка даже и из этих тряпок ухитрился извлекать тему для мудрых изречений.

— Любовь хороша, но к ней не мешает прибавить и это. Для полного счастья нужно и бесполезное. Счастье — это, так сказать, самое необходимое. Прибавьте к нему как можно больше всего того, что не составляет предмета первой необходимости. Вот вам сравнение: дворец и ее сердце, ее сердце и Лувр, ее сердце и версальские фонтаны. Дайте мне пастушку и постарайтесь сделать ее герцогиней. Приведите ко мне Филис с венком из васильков на голове и прибавьте к этому сто тысяч ливров ежегодного дохода. Разверните передо мной буколическую картину, но только покажите мне ее под мраморной колоннадой. Поверьте, я готов вести буколическую жизнь, но ничего не имею и против роскоши, против мрамора и золота.

Счастье всухомятку похоже на сухой хлеб. Его едят, но для того чтобы пообедать, одного его недостаточно. Я хочу и всего остального, всего ненужного, всего, что кажется бесполезным, всяких излишеств, всего того, что ни на что не годится. Я, помнится, видел в Страсбургском соборе часы высотой с трехэтажный дом. Эти часы показывали время, или, вернее сказать, они были настолько милостивы, что показывали время и в то же время совсем не имели такого вида, что созданы специально для этого. Часы эти, пробив полдень или полночь, полдень — час солнца, полночь — час любви, или же какой угодно другой час, показывали вам луну и звезды, сушу и море, птиц и рыб, Феба и Фебу и целый длинный ряд предметов, выходивших из ниши, и двенадцать апостолов и императора Карла Пятого, и Эпонину, и Сабина, и бесчисленное множество маленьких позолоченных человечков, которые в довершение всего трубили еще в трубы. Прибавьте к этому еще очаровательную игру курантов, которой они неизвестно почему наполняют воздух при всяком удобном случае.

Можно ли сравнить с ними простой обыкновенный циферблат, показывающий только одно время? Что касается меня, я всецело становлюсь на сторону больших страсбургских часов и предпочту их шварцвальдской кукушке.

Старик Жильнорман в особенности много толковал о свадьбе, и в его дифирамбах по этому поводу, как в зеркале, отражались взгляды и понятия XVIII века.

— Вы и понятия не имеете, как надо устраивать такие торжества. Вы не знаете, как сделать этот день днем величайшего торжества! — кричал он. — Ваш девятнадцатый век слишком слаб. Ему недостает размаха. Он не знает, что такое роскошь, что такое знатность. Он точно острижен наголо. Ваше среднее сословие безвкусно, бесцветно, безароматно, бесформенно. Хотите знать мечты ваших дам, когда они выходят замуж или, по-ихнему, пристраиваются: хорошенький, заново отделанный будуар, палисандровое дерево и коленкор. Дорогу! Дорогу! Господин Скряга женится на девице

Грошиковой. Пышность и великолепие! К свечке прилепили целый луидор! Вот так времечко! Я желал бы убежать к Сарматам. Э! Я еще в 1787 году предсказывал, что все было потеряно в тот день, когда я увидал, как герцог Роган, принц Леон, герцог Шабо, герцог Монбазон, маркиз Субиз, виконт Туар, пэры Франции ехали в простых двуколках в Лоншан! Все это дало свои плоды. Люди нынешнего века дельцы, они играют на бирже, добывают деньги и скряжничают. Они заботятся о своей внешности и тщательно покрывают ее лаком, они всегда щегольски одеты, начисто вымыты, вычищены, выбриты, расчесаны, навощены, отполированы, натерты, безукоризненны, гладки, как отполированный булыжник, благоразумны, чисты до бесконечности. И в то же время — клянусь добродетелью моей возлюбленной! — на совести у них столько навоза и всякой грязи, что от нее отвернется даже коровница, сморкающаяся в руку. Я даже придумал девиз для этой эпохи: «Омерзительная чистоплотность». Не сердись, Мариус, позволь мне высказаться. Как видишь, я

не говорю ничего дурного о народе. Я люблю народ, но, согласись сам, что я имею полное право уколоть буржуазию. Я ведь и сам такой же. Кто крепко любит, тот и бьет крепко. Поэтому-то я говорю совершенно открыто, что теперь люди хотя и женятся, но не умеют жениться. Если бы ты знал, с каким сожалением я вспоминаю о милой прелести прежних нравов. Я очень сожалею обо всем этом. Это изящество, это рыцарство, эти деликатные и вежливые манеры, эта веселящая сердце роскошь, которою каждый непременно обладал, эта музыка на свадьбах, симфония в высших слоях и барабан в низших, танцы, радостные лица пирующих, головоломные мадригалы, песни, ракеты, веселый смех, громадная фура, громадные банты из лент — вот что было тогда! Я с сожалением вспоминаю о подвязке новобрачной. Подвязка новобрачной — двоюродная сестра пояса Венеры. Из-за чего разгорелась Троянская война? Клянусь честью, из-за подвязки Елены. Из-за чего ведется борьба, почему божественный Диомед разбивает на голове Мерионея громадный шлем с десятью

шишаками, почему Ахилл и Гектор награждают один другого такими ужасными ударами копий? Потому что Елена позволила Парису завладеть своей подвязкой. Подвязка Козетты дала бы Гомеру возможность создать «Илиаду». Он воспел бы в своей поэме такого же старого болтуна, как я, и назвал бы его Нестором. Друзья мои, в старину, в то чудное старое время женились по всем правилам науки: сначала подписывали как следует контракт, а потом устраивали пир. Как только уходил Куяс, на смену ему являлся Гамаш. И это очень просто — черт возьми! — потому что желудок — это такое, видите ли, животное, которое требует, чтобы ему непременно воздавалось должное, и которое хочет, чтобы и для него тоже была устроена свадьба. Ели в то время хорошо, и за столом у каждого была прекрасная соседка без косынки и с умеренно прикрытой шеей. О, как хорошо умели смеяться и как бывало весело в то время! Молодежь представляла собой настоящий букет, — молодой человек украшал себя веткой сирени или букетиком роз, воин превращался в

пастушка, а если этот воин случайно оказывался драгунским капитаном, он умел найти средство устроить так, чтобы сделаться Флорианом. Все старались быть красивыми, все старались нарядиться в богатые костюмы с вышивками. Буржуа принимал вид цветка, а маркиз казался усыпанным драгоценными камнями. Тогда не носили ни штрипок, ни сапог. Тогда все были нарядны, блестящи, щеголеваты, в костюмах ярких цветов, все резвились, любили, кокетничали, что не мешало, однако, носить шпагу. Колибри тоже имеют клюв и когти. То была эпоха «Галантной Индии». С одной стороны, была деликатность, а с другой — великолепие и, клянусь честью, тогда умели веселиться. Теперь, наоборот, все стали серьезными. Буржуа стал скуп, а его жена жеманна. Ваш век — век несчастный. Вы изгнали бы граций за то, что они слишком сильно декольтированы. Увы! Теперь красоту прячут точно так же, как и безобразие. Со времени Революции все носят панталоны, даже танцовщицы, балаганная певица и та теперь

должна быть серьезна. Вы не веселитесь, а священнодействуете. Вы хотите быть величественными. Вы рассердились бы, если бы вам нельзя было спрятать своего подбородка в галстук. Двадцатилетний мальчишка, вступая в брак, мечтает о том, чтобы как можно больше походить на Ройе-Коллара. А знаете ли вы, к чему ведет эта мания величия. К тому, что все становятся ничтожеством. Запомните следующее: радость не только веселит, но и возвышает человека. Поэтому влюбляйтесь так, чтобы вам было весело, черт возьми! Делайте же так, чтобы и в самом деле видно было, что вы женитесь, когда вы вступаете в брак, пусть это будет лихорадочно, шумно, с треском и гамом счастья! Серьезность нужна в церкви — и только, но как только служба кончилась, тогда пусть целый вихрь волшебных сновидений закружит новобрачную. Брак должен нести в себе в одно и то же время и нечто величественное и языческое; церемония должна начаться в Реймском соборе и окончиться в пагоде Шантелу. Я прихожу в ужас при одной мысли о свадьбе без торжественной

обстановки. Черт возьми! Поднимитесь на Олимп хоть в этот день по крайней мере. Будьте богами. Ах! Я понимаю, что можно желать быть сильфами, играть и смеяться, можно желать поразить блеском наряда, но не пресмыкающимися червями! Друзья мои, всякий новобрачный должен стать принцем Альдобрандини. Пользуйтесь этой единственной минутой в вашей жизни, чтобы подняться вместе с лебедями и орлами в лазурную высь, рискуя завтра же снова погрузиться в лягушачье болото буржуазии. Не экономьте в расходах на свадьбу, не урезайте ее великолепия, не скупитесь на расходы в тот день, когда сами вы будете сиять счастьем. Расходы на свадьбу нельзя приравнивать к расходам по хозяйству. О, если бы только дали волю моей фантазии, это вышло бы восхитительно. Из кущи зеленых деревьев звучали бы скрипки. Вот моя программа: небесно-голубое и серебро. В празднестве приняли бы участие языческие божества, дриады и нереиды. Я создал бы подобие брака Амфитриты, розовое облако, нимфы в изящных

прическах, но совсем без костюмов, академик, подносящий богине четверостишия, колесница, влекомая морскими чудовищами:

Тритон, трубя в тромбон, на раковине мчался,

И каждый был пленен, и каждый восхищался!

Вот вам программа праздника, лучше этого и придумать ничего нельзя, если только вы не считаете меня круглым невеждой!

В то время как старый дед, полный охватившего его лирического восторга, слушал самого себя, Козетта и Мариус глядели в упоении друг на друга.

Тетушка Жильнорман смотрела на все это со свойственным ей непоколебимым спокойствием. За последние пять или шесть месяцев ей пришлось немало поволноваться: Мариус вернулся, Мариуса принесли истекающим кровью, Мариуса принесли с баррикады, Мариус сначала умирает, а потом снова оживает, Мариус примиряется с дедом, Мариус объявлен женихом, Мариус женится на бесприданнице, а потом

оказывается, что Мариус женится на миллионерше. Шестьсот тысяч франков были последним сюрпризом для нее. Потом к ней снова вернулось такое же безучастное отношение ко всему окружающему, какое может испытывать только девушка, готовящаяся к первому причастию. Она ходила ко всем службам, перебирала четки, читала молитвенник, шептала где-нибудь в уголке «Ave», в то время как в другом углу говорили: «Я люблю тебя», и как бы не видела ни Мариуса, ни Козетты, казавшихся ей какими-то тенями, тогда как тенью была она сама.

Аскетизм в известных случаях может доходить до такого состояния инертности, когда душа, приведенная в состояние оцепенения, становится чуждой всему, что можно назвать жизненным процессом, и она оказывается неспособной воспринимать какие бы то ни было движения человеческой души, являются они приятными или нет, и вызвать ее из этого состояния может разве только одно землетрясение или же вообще какая-нибудь

неожиданно разразившаяся катастрофа. Такое благочестивое настроение, как говорил отец Жильнорман своей дочери, похоже на насморк. «Ты совсем не чувствуешь аромата жизни, какой бы от нее ни исходил запах, хороший или дурной», — прибавлял он.

Впрочем, шестьсот тысяч франков тоже оказали свое влияние на спокойствие духа старой девы. Отец привык так мало обращать на нее внимания, что даже не посоветовался с ней, прежде чем дать согласие на брак Мариуса. Он, по своему обыкновению, решил это вдруг, сразу, и, превратившись из деспота в раба, горел только одним желанием — угодить Мариусу. А о том, что существует еще и тетка, что она может иметь свое мнение, он даже и не подумал, и, несмотря на всю ее овечью кротость, такой поступок оскорбил ее. В душе возмущенная этим, хотя внешне совершенно спокойная, она сказала себе: «Отец решил вопрос о браке без моего участия. Я разрешу без него вопрос о наследстве». Дело в том, что она была богата, а отец нет. Но это решение она хранила про себя. Если бы жених и

невеста были бедняками, она, по всей видимости, так и оставила бы их бедными. «Тем хуже для моего племянника! Он берет нищую, пусть же за это они оба будут нищими». Но полмиллиона Козетты пришлись по душе тетушке и изменили ее взгляд на влюбленную парочку. Шестьсот тысяч франков заслуживают того, чтобы обратить на них внимание, и для нее становилось очевидным, что она не могла поступить иначе, как оставить свое состояние молодым людям, потому что теперь они не нуждались в нем.

Было решено, что новобрачные будут жить у деда. Господин Жильнорман непременно хотел отдать им свою комнату как самую лучшую во всем доме.

— Я помолодею от этого, — уверял он. — Это давний проект. Я всегда мечтал поселить новобрачных в моей комнате.

Он убрал комнату различными старинными безделушками. Стены и потолок обтянул имевшимся у него в запасе куском шелковой материи с затканными бархатом по золотистому

полю цветами незабудок, он уверял, что эта материя настоящая утрехтская, и в заключение прибавлял, что такой же точно материей была задрапирована постель герцогини д'Анвилль в Ла-Рош-Гюйон. На камин он поставил маленькую фигурку из саксонского фарфора, изображавшую обнаженную женщину с муфточкой в руках.

Библиотека господина Жильнормана превратилась в кабинет адвоката, необходимый Мариусу, потому что это требовалось советом адвокатов для вступления в их сословие.

Глава 348

Влюбленные виделись ежедневно. Козетта приходила вместе с господином Фошлеваном.

— Неслыханное дело, — говорила девица Жильнорман, — чтобы невеста являлась в дом к жениху и позволяла так ухаживать за собой.

Но медленно тянувшееся выздоровление Мариуса приучило ее к этому, и кресла на улице Филь-дю-Кальвер, оказавшиеся более удобными

для беседы с глазу на глаз, чем соломенные стулья на улице Омм Армэ, сделали ее здесь постоянной гостьей. Мариус и Фошлеван виделись, но не разговаривали друг с другом. Со стороны казалось, будто они заранее условились, что так именно это и должно быть. Каждая молодая девушка должна иметь провожатого. В глазах Мариуса Фошлеван играл роль такого провожатого при Козетте, и поэтому он ничего не возражал против этого. Слегка и только в общих чертах затрагивая политические вопросы с точки зрения условий общего улучшения народного быта, они ограничивались при ответах почти что одними «да» или «нет». Однажды, обсуждая вопрос о народном образовании, которое, по мнению Мариуса, должно было быть бесплатным и обязательным, одинаково доступным во всех его видах всем гражданам, как воздух и солнце, они оказались вполне солидарными и дошли даже до того, что разговорились. Мариус заметил при этом, что господин Фошлеван говорил хорошо и даже с некоторого рода пафосом, хотя ему и недоставало чего-то. У Фошлевана не

хватало как будто того, что требуется светскому человеку, и было что-то такое, ставившее его выше обычного уровня.

Внутренне, в глубине души, Мариус постоянно думал о Фошлеване, державшем себя по отношению к нему хотя и доброжелательно, но холодно. Временами он даже начинал как будто сомневаться в своих личных воспоминаниях. В его памяти был пробел, черная дыра, пропасть, образовавшаяся в результате четырехмесячной агонии. Многое так и погибло навсегда в этой бездне. Ему не раз приходило в голову, неужели он в самом деле видел на баррикаде этого самого господина Фошлевана, который держит себя так серьезно и так спокойно.

Впрочем, не одно только недоумение явилось результатом быстрой смены событий в прошлом. Нет никакого основания полагать, что он совершенно освободился от мрачных воспоминаний, которые заставляют нас даже в минуту полного счастья и покоя грустно

оглядываться назад. Человек, не вспоминающий того, что скрылось за горизонтом минувшего, не в состоянии ни мыслить, ни любить. Мариус иногда закрывал лицо руками, и тогда в памяти его хотя и смутно, точно в тумане, вставало прошлое. Он снова видел умирающего Мабефа, слышал, как под градом пуль пел Гаврош, чувствовал на своих губах холод от прикосновения к челу Эпонины, видел лица Анжолраса, Курфейрака, Жана Прувера, Комбферра, Боссюэта, Грантэра, которые смутно вставали перед ним и затем опять исчезали. Неужели ему только пригрезились все эти дорогие существа, скорбные, мужественные и трагические? Разве они не существовали на самом деле? Прошлое поглотило все это в облаках порохового дыма. Такие моменты сильного лихорадочного возбуждения часто вызывают воспоминания, похожие на грезы. Он задавал себе вопросы, выпытывал у самого себя. Все это исчезнувшее прошлое вихрем проносилось у него в голове. Куда же все они девались? Неужели все это умерло? Борьба во

мраке унесла все, за исключением одного его. Ему казалось, что все это скрылось как бы за опущенным театральным занавесом. Такие занавесы опускаются не только в театре, но и на жизненной сцене.

А сам он разве остался таким же человеком, каким был прежде? Он был бедняком, а теперь стал богат, он был одинок и покинут, а теперь снова обрел семью, он доходил до полного отчаяния, а теперь женится на Козетте. Ему казалось, что он перешагнул через могилу, попав туда темным и выйдя просветленным, а те, другие, так и остались в царстве теней. Бывали такие минуты, когда все эти призраки прошлого, словно ожив, окружали его, погружая в мрачное раздумье; тогда все его мысли обращались к Козетте, и лицо Мариуса снова прояснялось: только одно это и могло сглаживать воспоминание об ужасной катастрофе. Фошлеван тоже до известной степени принадлежал к числу этих исчезнувших существ. Мариус не знал, верить или нет в то, что Фошлеван, которого он видел на баррикадах, одно и то же лицо с тем

Фошлеваном, который с таким серьезным видом сидит рядом с Козеттой. Первый казался ему чем-то вроде призрака, который как кошмар появлялся перед ним во время приступов бреда. К тому же обе эти натуры обладали таким необщительным характером, что Мариус не мог задать ни одного вопроса по этому поводу Фошлевану. Ему даже не приходило это в голову.

В жизни вовсе уж не так редко случается, как это думают, что двое людей, имеющих одну общую тайну, по какому-то безмолвному соглашению уславливаются не вспоминать о ней. Один только раз Мариус сделал такую попытку. В разговоре он упомянул об улице Шанврери и, обернувшись к Фошлевану, сказал:

— Вы хорошо знаете эту улицу?

— Какую улицу?

— Улицу Шанврери.

— Не имею никакого представления об улице с таким названием, — ответил Фошлеван самым серьезным образом.

Ответ этот, отрицавший даже саму возможность существования улицы с таким названием, показался Мариусу вполне убедительным.

«Очевидно, — думал он, — мне все это пригрезилось. Это была галлюцинация. Там был кто-нибудь другой, очень похожий на него. Фошлевана там не было».

Глава 349

Как ни велико было блаженное состояние души Мариуса, оно не отвлекло его от забот.

Пока шли приготовления к свадьбе, он, пользуясь временем, остававшимся в его распоряжении до знаменательного дня, производил трудные и тщательные розыски обо всем, что оставалось ему неизвестным из прошлого. Он был обязан это сделать в благодарность как за своего отца, так и от себя лично. Ему нужно было найти Тенардье и незнакомца, доставившего его самого к

господину Жильнорману. Мариус хотел разыскать этих двух лиц раньше чем он женится; его пугала мысль, что эти неуплаченные долги совести набросят тень на его лучезарное будущее. Ему казалось немыслимым оставить позади все это выстраданное прошлое, и он хотел расквитаться с ним, прежде чем вступить в радостное будущее.

Пусть Тенардье и негодяй, это нисколько не изменяло факта спасения им жизни полковнику Понмерси. Тенардье мог быть бандитом только для других, но не для Мариуса.

Мариус не знал, как именно разыгралась эта сцена на поле битвы под Ватерлоо, и не знал того обстоятельства, что отец его очутился в странном положении, — он хотя и был обязан Тенардье спасением жизни, но не мог считать себя благодарным ему за это.

Ни одному из многочисленных агентов, нанятых Мариусом, не удалось напасть на след Тенардье. С этой стороны, казалось, все было утеряно безвозвратно. Жена Тенардье умерла в

тюрьме во время следствия. Тенардье и его дочь Азельма — два единственных лица, уцелевших из всей этой несчастной семьи, исчезли неизвестно куда. Пучина неизвестности молча сомкнулась над этими существами. На поверхности не видно было ни ряби, ни мрачных концентрических кругов, которые могли бы служить признаком, что тут что-то погрузилось в бездну и что именно здесь и нужно искать.

Жена Тенардье умерла, Булатрюель был освобожден из-под следствия, Клаксу исчез, главные преступники бежали из тюрьмы, и дело о преступлении, совершенном в лачуге Горбо, было закрыто. Дело это считалось довольно-таки темным. Уголовный суд должен был удовольствоваться двумя мошенниками средней руки, Паншоном, он же Прэтанье, он же Бигрнайль, и Деми-Лиаром, носившим прозвище Два Миллиарда, которые оба были приговорены судом к десяти годам каторги. Бежавшие из тюрьмы и укрывшиеся от суда их сообщники были заочно приговорены к пожизненным каторжным работам. Тенардье же — глава и

предводитель шайки — также заочно, был приговорен судом к смертной казни. Этот приговор был единственным, что оставалось от Тенардье, это воспоминание бросало на исчезнувшую и как бы погребенную личность мрачный свет, точно свеча, стоявшая у гроба умершего.

К тому же этот приговор, заставлявший Тенардье укрываться как можно дальше от правосудия из опасения быть снова арестованным, только еще более сгущал мрак, окутывавший этого человека.

Что же касается того неизвестного, который спас Мариуса, то розыски вначале шли довольно успешно, а потом вдруг всякие его следы исчезли. Агенту удалось разыскать фиакр, в котором привезли Мариуса на улицу Филь-дю-Кальвер вечером 6 июня. Кучер показал, что 6 июня он по приказанию полицейского агента «дежурил» с трех часов пополудни до самой ночи на набережной Елисейских полей, как раз у самого выхода из главной водосточной трубы, что в

девять часов вечера решетка, загораживавшая отверстие водосточной трубы, выходившей на берег реки, открылась, оттуда вышел человек, неся на плечах другого, который казался мертвым; потом полицейский агент, стоявший тут же неподалеку, арестовал живого, завладев также и мертвым, затем по приказанию агента он, кучер, забрал «всех этих людей» в свой фиакр, и они поехали сначала на улицу Филь-дю-Кальвер, где и оставили мертвого; далее он показал, что мертвый этот был не кто иной, как Мариус, которого он теперь признал с первого взгляда, несмотря на то, что на этот раз он оказался живым; потом, по словам кучера, они опять сели в фиакр, и он погнал лошадей, а в нескольких шагах от ворот Архива ему приказали остановиться, и, расплатившись с ним здесь же на улице, те двое вышли из фиакра, и агент увел другого человека; больше он ничего не знает, да к тому же и ночь была очень темная.

Мариус, как мы уже говорили, ничего этого не помнил. Он помнил только, что в тот момент, когда он упал на баррикаде, его подхватили сзади

чьи-то сильные руки, а затем он уже ничего не помнил и пришел в себя только в доме господина Жильнормана.

Он терялся в догадках.

Он не мог сомневаться в тождественности своей собственной личности. Но каким же это образом могло случиться, что, упав на улице Шанврери, он был найден затем полицейским агентом на берегу Сены, возле моста Инвалидов? Значит, кто-то перенес его из квартала Рынка на Елисейские поля. Но каким образом? По водосточной трубе? Неслыханное самопожертвование! Но кто же сделал это! Кто?.. Этого-то человека и хотел разыскать Мариус.

И вот об этом человеке, который спас ему жизнь, как раз ничего и не известно, никакого следа, ни малейшего указания.

Мариус, несмотря на величайшую осторожность в этом деле, распространил свои розыски даже до того, что обратился в полицейскую префектуру. Добытые здесь сведения дали еще меньшие результаты, не

прояснив ничего. Префектура знала меньше, чем кучер фиакра. Там ничего не знали об аресте кого бы то ни было 6 июня у выходной решетки главного водостока, туда не поступало никакого донесения от полицейского агента по этому делу, на которое в префектуре взглянули как на басню. Авторство басни приписывали извозчику, потому что извозчик, в надежде получить на водку, способен на все, даже может фантазировать. А между тем это был факт, не оставлявший места сомнению, и Мариус не мог сомневаться в нем, как не мог сомневаться в тождестве самого себя, о чем мы уже говорили раньше.

Все было необъяснимо в этой странной загадке.

Что стало с этим человеком, с этой таинственной личностью, которого извозчик видел выходящим из отверстия водосточной трубы с бесчувственным Мариусом на руках и которого дежуривший здесь полицейский агент арестовал в момент спасения бунтовщика? Что сталось с ним? Что сталось наконец с

полицейским агентом? Почему этот агент молчал? Может быть, этому человеку удалось бежать? Может быть, он подкупил агента? Почему человек этот не хочет дать о себе весточку Мариусу, обязанному ему всем? В этом видно бескорыстие, такое же высокое, как и самопожертвование. Почему этот человек не хочет появиться? Может быть, он стоит выше обыкновенных людей и не желает благодарности, но никто не имеет права отказываться от признательности. Может быть, он умер? Кто бы он мог быть? Как он выглядит? Никто не мог ответить на эти вопросы. Извозчик говорил: «Ночь была очень темна», а Баск и Николетта видели только одного залитого кровью молодого господина. Лишь один привратник, встретивший с зажженной свечой прибывшего в таком страшном виде Мариуса, видел незнакомца, и вот что он сказал: «Человек этот был ужасен».

Мариус, в надежде облегчить себе поиски, приказал сохранить свою окровавленную одежду, которая была на нем, когда его привезли к дедушке. При осмотре платья заметили, что одна

подкладка сюртука как-то странно разорвана. Недоставало одного куска.

Однажды вечером Мариус говорил с Козеттой и Жаном Вальжаном обо всей этой загадочной истории, о том, как он производил розыски, окончившиеся пока полной неудачей. Равнодушное лицо «господина Фошлевана» вывело его из терпения. И с живостью, граничившей с гневом, он вскричал:

— Да кто бы ни был этот человек, он совершил великий подвиг! Знаете ли вы, что он сделал, милостивый государь? Он появился как ангел-хранитель. Ему пришлось броситься в самый пыл битвы, вынести меня на руках, открыть водосточную трубу, втащить меня туда и все время нести на руках! Ему пришлось пройти больше полутора миль по ужасной подземной галерее. Он должен был брести в потемках, в клоаке, больше полутора миль, милостивый государь, с трупом на спине! И с какою целью? С единственной целью спасти этот труп. Этим трупом был я. Он сказал себе: может быть, в нем

еще теплится искра жизни, пожертвую своею ради спасения этой несчастной искры. Он рисковал собой не один раз, а по крайней мере раз двадцать! Каждый шаг грозил ему опасностью. Доказательством служит то, что, выйдя из трубы, он был сейчас же арестован. Понимаете вы теперь, милостивый государь, какой подвиг совершил этот человек? И он не ожидал за это никакой награды. Кто такой был я для него? Революционер. Чем я был в то время? Побежденным. О!.. Если бы эти шестьсот тысяч франков, которые принадлежат Козетте, были моими…

— Они ваши, — перебил его Жан Вальжан.

— Хорошо, в таком случае, — продолжал Мариус, — я истрачу их на то, чтобы разыскать этого человека.

Глава 350

Жан Вальжан не произнес ни слова.

Ночь с 16 на 17 февраля 1833 года выдалась удивительная, настоящая благословенная ночь. Безоблачное небо раскинулось над мраком ночи. Эта ночь завершила собой торжество бракосочетания Мариуса и Козетты.

День был восхитительный.

Торжество не было похоже на тот голубой праздник, о котором мечтал дедушка, оно не было феерией с херувимами и купидонами над головами новобрачных, достойной того, чтобы ее изобразить над входными дверями, наоборот, тут все дышало спокойствием и радостью.

Свадебные обычаи 1833 года не похожи на современные. Франция не усвоила еще заимствованного у Англии, в высшей степени деликатного обычая увозить свою жену, исчезать вместе с нею тотчас по выходе из церкви, стыдливо скрывать от других свое счастье и убегать, как банкрот, в то время когда в душе раздаются гимны. Тогда еще не понимали, как целомудренно, высоко и скромно заставлять трястись свой рай в почтовой карете, позволять

прерывать себя звоном почтового колокольчика, заменять брачное ложе постелью в гостинице, оставлять где-то там пережитое за ночь, самое священное воспоминание в жизни, и хранить это вместе с воспоминанием о кучере дилижанса и служанке в гостинице.

Теперь, во второй половине XIX века, нас уже не удовлетворяет мэр со своим шарфом, священник в ризе, теперь закон и Бог не считаются уже достаточными, мы хотим дополнить их еще почтальоном из Лонжюмо в синей куртке с красными отворотами, с пуговицами-побрякушками, с бляхой на рукаве и в панталонах из зеленой кожи, нам нужны его покрикивания на нормандских лошадей с подвязанными хвостами, его фальшивые галуны, лоснящаяся шляпа, напудренные волосы, огромный хлыст и ботфорты. Франция не постигла еще всей прелести в этом отношении и не дошла до подражания английской аристократии, бомбардирующей почтовую карету новобрачных целым градом стоптанных туфель и старых башмаков в память о Черчиле,

сделавшемся впоследствии лордом Мальборо или Мальбруком, которому таким образом пришлось испытывать на себе гнев тетки в день своей свадьбы, что, впрочем, принесло ему счастье. Старые башмаки и туфли пока еще не составляют у нас необходимой принадлежности свадебного торжества, но потерпите, хороший тон все более и более распространяется, и скоро мы увидим и это.

В 1833 году, как и столетие тому назад, не любили торопиться со свадебным торжеством.

В то время, как это ни странно, еще думали, что бракосочетание — праздник не только семейный, но и общественный, что патриархальный банкет не портит домашней торжественности, что веселость, пусть даже чрезмерная, лишь бы была честной, не может омрачить счастье, и что, наконец, вполне естественно и хорошо, что соединение двух существ, создающих семью, начинается в родном доме.

Тогда имели смелость жениться дома.

Итак, следуя устаревшей теперь уже моде, свадьба праздновалась в доме господина Жильнормана.

Казалось бы, что может быть естественнее и проще, чем женитьба, а между тем оглашение, составление брачного контракта, путешествие в мэрию, венчание в церкви, — все это всегда сопряжено с какими-нибудь неожиданными осложнениями. И на этот раз все хлопоты удалось закончить только к 16 февраля.

В этом году 16 февраля пришлось во вторник на Масленицу, и мы отмечаем эту подробность только из одного желания не пропустить ничего. Обстоятельство это вызвало различные колебания и сомнения, в особенности со стороны тетушки Жильнорман.

— Вторник на Масленице! — вскричал дед. — Тем лучше. Есть даже пословица: «Кто женится на Масленице, тот не будет бездетным». На это не стоит обращать внимания. По-моему, свадьба отлично может состояться и

шестнадцатого февраля. Или ты, может быть, хочешь отложить, Мариус?

— Разумеется, нет, — отвечал влюбленный.

— Значит, будем венчаться, — решил дедушка.

Итак, свадьба состоялась 16 февраля, несмотря на то что этот день считается днем народного веселья. В этот день шел дождь, но на небе всегда найдется кусок лазури к услугам счастья, который видят влюбленные даже в то время, когда прочие люди прячутся под зонтик.

Накануне Жан Вальжан в присутствии господина Жильнормана вручил Мариусу пятьсот восемьдесят четыре тысячи франков.

Свадьба совершалась на условиях общего владения имуществом, и потому составление контракта произошло очень просто.

Туссен становилась теперь не нужна Жану Вальжану, Козетта получила ее как бы в наследство и сделала своей горничной.

Что же касается самого Жана Вальжана, то для него в доме господина Жильнормана предназначалась отделанная специально для него прекрасно меблированная комната, и Козетта так настойчиво говорила ему: «Отец, прошу тебя», что ей почти что удалось добиться от него обещания поселиться в этой комнате.

За несколько дней до свадьбы с Жаном Вальжаном случилось небольшое несчастье, он поранил большой палец правой руки. Это не грозило ничем серьезным, он и слышать не хотел, чтобы заняться раненым пальцем; и не только не позволял никому сделать ему перевязку, но даже отказался показать ранку, не сделав в этом отношении исключения даже для самой Козетты. Несмотря на это, ему все-таки пришлось завязать руку и даже носить ее на перевязи, и, конечно, он не мог писать этой рукой. Его заменил господин Жильнорман в качестве второго опекуна Козетты.

Мы не поведем читателя ни в мэрию, ни в церковь. Туда не принято провожать парочку влюбленных, и публика обыкновенно

возвращается, как только все получают по цветку в бутоньерку из букета новобрачной. Мы ограничимся тем, что опишем оставшееся незамеченным приглашенными на свадьбу гостями событие, которое случилось во время следования свадебного кортежа из улицы Фильдю-Кальвер в церковь Святого Павла.

В это время перестилали мостовую в северном конце улицы Святого Людовика, и путь по ней был прегражден, начиная от улицы Королевского парка. Поэтому кареты не могли ехать прямым путем к церкви Святого Павла. Им пришлось взять другое направление, и самый кратчайший путь, как оказалось, это объехать бульваром. Один из приглашенных заметил, что сегодня был вторник Масленицы и там, наверное, экипажам тоже трудно будет проехать.

— Почему? — спросил господин Жильнорман.

— Потому что там сейчас маскарад.

— Великолепно. — обрадовался дедушка, — едем той дорогой. Эти молодые люди женятся и

вступают в настоящую серьезную жизнь, и поэтому пусть посмотрят немножко предварительно на маскарад.

Экипажи поехали бульварами. В первой карете сидели Козетта и тетушка Жильнорман, господин Жильнорман и Жан Вальжан. Мариус, по обычаю еще разлученный с невестою, ехал в следующей карете. Свадебный кортеж, выбравшись из улицы Филь-дю-Кальвер, влился в длинную вереницу экипажей, тянувшихся бесконечным потоком от улицы Маделен к Бастилии и обратно.

Маски запрудили бульвары. Несмотря на шедший временами довольно сильный дождь, паяцы, арлекины и клоуны продолжали сновать под открытым небом. Капризная зима 1833 года превратила Париж в Венецию. Теперь уже не празднуют так Масленицу. В городе, где царит вечная Масленица, нет надобности в карнавале.

Боковые аллеи были битком набиты гуляющими, а из окон выглядывали любопытные. Террасы перед театрами были переполнены

зрителями. Зрители смотрели не только на маски, но и на разъезд, бывающий обыкновенно на Масленице и похожий на катание в Лоншане: тут были экипажи всех видов и сортов: городские коляски и кареты, большие фуры для перевозки мебели, одноколки, кабриолеты, все они в строгом порядке следовали один за другим, словно катились по рельсам. Сидевшие в экипажах в одно и то же время были зрителями и сами служили предметом зрелища. Полицейские поддерживали порядок на проездах вдоль бульваров, пропуская бесконечные вереницы экипажей, двигавшиеся параллельно, но в противоположном направлении, и наблюдали за тем, чтобы ничто не останавливало двойного движения этих двух потоков экипажей, направлявшихся один к шоссе д'Антэн, а другой к Сент-Антуанскому предместью. Экипажи, украшенные гербами французских пэров и посланников, пользовались правом ехать посередине шоссе и свободно разъезжали в любом направлении. Некоторые маскарадные процессии, отличавшиеся великолепием и

праздничным настроением, как, например, процессия с Масленичным Быком, пользовались той же самой привилегией. В этом веселящемся Париже Англия заявляла о себе щелканьем бича; вдоль бульваров с грохотом прокатила почтовая коляска лорда Сеймура, провожаемая насмешливыми замечаниями толпы.

За двойной линией экипажей, между которыми, подобно овчаркам, носились конные полицейские в больших берлинах, набитых тетушками и бабушками, виднелись пестрые группы костюмированных детей, семилетних Пьерро и шестилетних Пьеррет, очаровательных маленьких созданий, сознававших, что они принимают участие в народном веселье, в этой маскарадной процессии, и игравших свою роль с видом настоящих чиновников.

Иногда в процессии экипажей происходило какое-нибудь замешательство, тот или другой поток останавливался и стоял до тех пор, пока препятствие не устранялось; достаточно было остановиться одной карете, чтобы прекратить

движение всех остальных. Затем снова все приходило в движение.

Кареты свадебного поезда попали в ту вереницу, которая вела к Бастилии, и ехали по правой стороне бульваров. В начале улицы Пон-о-Шу произошла минутная задержка. Почти одновременно на противоположной стороне остановилась другая линия экипажей, направлявшихся к улице Маделен. В этом же ряду оказалась, и как раз на этом месте, и колесница с людьми в масках.

Эти колесницы, или, вернее сказать, открытые фуры, хорошо знакомы парижанам. Если они почему-нибудь не появляются на Масленице или в пост, то в таких случаях всегда ищут причину и обыкновенно говорят: «Тут есть что-то такое. Вероятно, ожидается перемена министерства». Целая куча Кассандр, арлекинов и коломбин покачивалась на высокой платформе колесницы, возвышаясь над толпою, где были различные карикатурные фигуры, начиная с турка и кончая дикарем, геркулесы, поддерживающие маркиз,

торговки, которые заставили бы Рабле заткнуть уши, подобно тому как вакханки вынудили Аристофана опустить глаза, парики из кудели, розовые панталоны, шляпы фаро, диковинные очки, треуголки Жано, украшенные бабочкой, перекликания с пешеходами, сжатые в кулаки, упертые в бока руки, смелые позы, голые плечи, лица в масках, полное презрение к тому, что считается приличным, настоящий хаос бесстыдства: и этот хаос вез кучер, украшенный цветами, — вот что такое представляет собою это явление.

Греции была нужна колесница Феспида, а Франции — фиакр Вадэ.

Все можно пародировать, даже пародию. Сатурналия, гримаса античной красоты, разрастаясь и искажаясь все более и более, превращается в Масленицу, а вакханалия, украшавшаяся некогда гроздьями винограда и показывавшая мраморные формы божественной наготы, теперь под мокрыми лохмотьями севера кончила тем, что стала называться маской.

Традиции маскарадных колесниц относятся к самым отдаленным временам монархии. По цивильному листу Людовика XI назначалось дворцовому приставу «двадцать су для трех маскарадных колесниц». В наше время в шестиместный экипаж набивается до двадцати человек. Садятся на козлы, на переднюю скамейку, на откинутый верх, на дышло, некоторые ухитряются даже забираться на каретные фонари. Одни стоят, другие лежат, третьи сидят, согнув колени или свесив ноги. Женщины сидят на коленях у мужчин.

Эти беснующиеся пирамиды издалека виднеются над морем голов. Эти кареты кажутся как бы оазисами веселья среди мечущейся толпы. С высоты этих платформ несутся шутки, достойные Коле, Панара и Пирона.

Оттуда сверху брызжет на толпу обширный репертуар блещущих уличным остроумием словечек. Такой экипаж, благодаря своему грузу принявший гигантские размеры, имеет какой-то

победоносный вид. Впереди шум, а сзади беспорядок.

Там кричат, поют, там воют, гремят, корчатся от веселья, там рычит веселость, блещет сарказм, веселье набрасывает на все свой пурпур, две клячи с трудом тащат фарс, достигший своего апофеоза, — это триумфальная колесница смеха.

Смех этот слишком циничен, чтобы быть искренним. И в самом деле, веселья здесь ни на грамм. Он как бы исполнение специальной миссии. На нее как бы возложена обязанность показать парижанам карнавал.

Случай устроил так, о чем мы только что говорили, что одна из этих безобразных групп, восседавшая в огромной коляске, остановилась на левой стороне бульвара как раз в то время, когда свадебный кортеж остановился на правой.

Сидевшие в коляске увидели свадебную карету, которая остановилась напротив них, на противоположной стороне бульвара.

— Смотрите, — сказала одна из масок, — да это свадьба.

— Только не настоящая, — возразила ей другая маска, — а вот у нас так настоящая свадьба.

И так как расстояние было слишком велико, чтобы можно было перекликаться с участниками свадебного поезда, не говоря уже о том, что подобное обстоятельство сейчас же привлекло бы внимание полицейских, обе маски стали смотреть в другую сторону.

Через минуту вся эта группа масок оказалась уже сильно занятой, так как окружающая ее толпа стала насмехаться над масками, что в то же время служит знаком ласкового внимания к ним. Обе только что разговаривавшие маски должны были вместе со своими товарищами обернуться лицом к толпе и пустить в дело свой репертуар площадных острот, отражая щедро расточавшиеся по их адресу различные бесцеремонные шутки. Между масками и толпой началась ужасная перестрелка метафорами.

Между тем две другие маски из числа находившихся в этой колымаге — пожилой испанец с длинным носом и громадными черными усами и худощавая торговка рыбой, совсем еще молодая девушка в черной полумаске, тоже обратили внимание на свадебный поезд, и в то время как их товарищи переругивались с пешеходами, они тихо разговаривали между собой.

Шум и крики заглушали их голоса до такой степени, что даже их соседи не могли расслышать, о чем они говорят. Дождь немилосердно поливал всех находившихся в экипаже, так как верх его не был поднят, холодный февральский ветер пронизывал до костей, разговаривая с испанцем, торговка, сильно декольтированная, дрожала от холода, смеялась и кашляла.

Вот о чем они разговаривали:

— Слушай!

— Что такое, папаша?

— Видишь этого старика?

— Какого старика?

— Там, в первой карете свадебного поезда с нашей стороны.

— У которого рука висит на черной перевязи?

— Да.

— Я уверен, что я его знаю.

— А!

— Пусть мне отрубят голову, пусть у меня отсохнет язык, если я говорю неправду, я знаю этого парижанина.

— Сегодня весь Париж паясничает.

— Можешь ты немного пригнуться и рассмотреть невесту?

— Нет.

— А жениха?

— В этом экипаже нет жениха.

— Ага!

— Там сидит еще другой старик, может быть, он-то и есть жених.

— Попробуй все-таки пригнуться и постарайся рассмотреть невесту.

— Не могу.

— Ну, да это не беда. Я все-таки уверен, что знаю этого старика с завязанной лапой.

— А зачем тебе нужно это?

— Пока еще и сам не знаю, там видно будет.

— Меня старики совсем не интересуют.

— А я его все-таки знаю.

— Ну и отлично, можешь знать его сколько угодно.

— За каким чертом он попал на свадьбу?

— Мы с тобой ведь тоже теперь на свадьбе.

— А как ты думаешь, откуда едет эта свадьба?

— Откуда же мне это знать.

— Слушай.

— Ну?

— Ты могла бы помочь мне.

— Что нужно?

— Вылезти из экипажа и проследить за свадебным поездом.

— Зачем это нужно?

— Мне нужно узнать, куда он направляется и кто именно женится. Вылезай скорей, дочка, беги за ними, ты молода.

— Я не могу уйти отсюда.

— Почему?

— Я ведь здесь занята.

— Ах, черт возьми!

— Я нанята префектурой и должна сегодня весь день изображать торговку рыбой.

— Да, это правда.

— Если я вылезу из экипажа, то первый встречный инспектор арестует меня. Да ты это и сам хорошо знаешь.

— Да, я это знаю.

— Меня сегодня на весь день откупили фараоны.

— Все равно. Старик бесит меня.

— Тебя бесят старики? Странно, но ты ведь не молоденькая девушка.

— Он в первом экипаже.

— Ну?

— В том самом экипаже, в котором сидит и невеста.

— Дальше?

— Значит, он отец?

— А мне какое дело до этого?

— Я тебе повторяю еще раз, значит, он отец.

— Ну и отлично, пусть будет он отцом, если ты этого хочешь.

— Слушай.

— Что еще?

— Мне нельзя показываться без маски. Под маской меня никто не узнает. Но завтра не будет уже больше масок. Завтра начинается пост, и меня могут арестовать. Мне придется спрятаться в свою нору, но зато ты свободна.

— Не совсем.

— А все-таки свободнее меня.

— Ну а дальше?

— Ты должна узнать, куда поехала эта свадьба.

— Куда она поехала?

— Да.

— Я это знаю. В «Синие часы».

— Это совсем в другой стороне.

— А! В таком случае в ресторан Рапе.

— А может, еще куда-нибудь в другое место.

— Они свободны и могут ехать, куда хотят. Свадебные поезда пользуются полной свободой.

— Я не об этом говорю совсем. Повторяю тебе опять, ты должна постараться узнать, что это за свадьба, в которой участвует этот старик, и узнать мне его адрес.

— Еще лучше! Глупее этого и придумать было бы ничего нельзя. Ты думаешь, легко разыскать через неделю, где была свадьба, которая на Масленице проезжала по Парижу. Это все равно что искать иголку в сене! Мыслимо ли это?

— Дело не в этом, а в том, что это нужно. Ты меня понимаешь, Азельма?

Вытянувшиеся в линию по обе стороны бульвара экипажи снова двинулись в противоположных направлениях, и колесница с масками потеряла из виду свадебный поезд.

Глава 351

Многим ли дано осуществить свою мечту? Там, наверху, это должно производиться по строгому выбору. Мы все, сами того не ведая,

числимся в числе кандидатов, ангелы избирают достойных. Козетта и Мариус попали в число избранных.

В мэрии и в церкви лицо Козетты сияло счастьем и трогательным умилением. Ее одевала Туссен, которой помогала Николетта.

На Козетте были платье из гипюра Бенш на шелковом чехле, вышитая кружевная английская вуаль, жемчужное колье, венок из флер д'оранжа. Все это было белое, и сама она сияла в этой белизне. Это была сама непорочность, как бы преобразившаяся в сияние. Казалось, будто видишь перед собой не просто девушку, а существо, готовое превратиться в богиню. Красивые волосы Мариуса были напомажены и надушены, под локонами тут и там виднелись бледные линии, это были рубцы, оставшиеся от ран, полученных на баррикаде.

Старый дед во всем великолепии элегантного костюма и изящных манер щеголя времен Барраса, с высоко поднятой головой вел Козетту. Он заменял Жана Вальжана, который благодаря

тому, что его рука была все еще на перевязи, не мог сам вести невесту.

Жан Вальжан во всем черном шел позади и улыбался.

— Господин Фошлеван, — сказал ему дедушка, — какой это чудный день. Я подаю голос за упразднение всех скорбей и печалей. Надо устроить так, чтобы больше нигде не было бы вовсе печали. Черт возьми! Я приказываю веселиться! Горе и несчастье не имеют права на существование. Стыдно, что под этим лазурным сводом существуют несчастные. Зло идет не от человека, который в сущности очень добр. Все несчастья обрушиваются на людей из ада, из этого Тюильрийского дворца Сатаны. Слышите, теперь и я начинаю рассуждать как демагог! Впрочем, теперь у меня нет больше никаких политических мнений. Я хочу только одного — пусть все люди будут веселы. Больше я ничего не требую.

Мариус и Козетта прошли через все установленные церемонии и формальности. Они

произнесли бесконечное количество раз «да» перед мэром и перед священником, расписались в книгах, сначала в мэрии, затем в ризнице церкви Святого Павла, потом обменялись кольцами, постояли рядом на коленях под белым муаровым балдахином и наконец рука об руку двинулись к выходу из церкви, вызывая всеобщее чувство восхищения. Мариус был весь в черном, а Козетта в белом, перед ними важно выступал швейцар в полковничьих эполетах, стуча своей алебардой по плитам; так шли они между двумя рядами любопытных до самых дверей, настежь раскрытых по этому случаю. Теперь уже все было кончено, им оставалось только сесть в карету, а Козетта все еще не смела верить своему счастью. Она смотрела на Мариуса, смотрела на окружавших их любопытных, смотрела на небо, и ей казалось, что все это она видит во сне, и она боялась проснуться. Ее удивленный и несколько встревоженный вид только еще более увеличивал ее прелесть. На обратном пути из церкви они сели уже вместе в карету; Мариус сидел рядом с Козеттой, господин Жильнорман и Жан Вальжан

заняли места напротив. Тетушка Жильнорман отошла на задний план и пересела в следующий экипаж.

— Дети мои, — сказал дедушка, — теперь вы господин барон и госпожа баронесса с тридцатью тысячами ливров годового дохода.

Козетта, наклонившись к Мариусу, ангельским голоском прошептала ему на ухо:

— Неужели это правда? Я теперь твоя жена и ношу твое имя!

Они оба сияли счастьем. Они переживали неповторяющуюся во второй раз в жизни минуту, которую давали им молодость и счастье. Они как бы олицетворяли собой стихи Жана Прувера: им обоим вместе не было еще сорока лет. Этот брак производил впечатление чего-то величественного, эти двое детей казались такими же чистыми, как лилии. Они и не видели, а созерцали один другого. Они видели друг друга в славе и блеске и в то же время как бы в облаках тумана, тут было идеальное и реальное, которое должно было закончиться брачным поцелуем.

Все перенесенные ими страдания представлялись им теперь чем-то упоительным. Им казалось, что горе, бессонница, слезы, тоска, ужас, отчаяние, сменившись надеждой на безоблачное счастье, еще более увеличивали прелесть приближавшегося часа. Все эти горести казались им теперь услужливыми пособниками, созидавшими их предстоящее счастье. Как это хорошо, что им пришлось сначала страдать! Их минувшее несчастье окружало их счастье ореолом. Долгие мучения, которые они пережили, только еще более возвысили их любовь.

Обе души переживали одно и то же восторженное состояние, с оттенком страсти у Мариуса и целомудренной стыдливости у Козетты. Они говорили друг другу шепотом: «Мы непременно сходим взглянуть на наш маленький садик на улице Плюмэ». Складки платья Козетты касались Мариуса.

Такой день представляет собой невыразимую смесь мечты и действительности. Это минуты,

когда можно еще заглядывать в будущее, стараясь угадать, что там ждет. Это время, когда в полдень с трепетным волнением думают о полуночи. Восторженное состояние этих двух сердец передавалось толпе и вселяло и в нее чувство радости.

На Сент-Антуанской улице прохожие останавливались перед церковью Святого Павла взглянуть в окно кареты на трепетавшие на голове Козетты цветы флер д’оранжа.

Из церкви новобрачные поехали прямо к себе домой на улицу Филь-дю-Кальвер. Торжествующий и сияющий Мариус поднялся рядом с Козеттой по той самой лестнице, по которой его внесли умирающим. Толпившиеся у дверей нищие осыпали их добрыми пожеланиями в благодарность за щедрое подаяние. Всюду были цветы. В доме благоухание было не меньше, чем в церкви, там пахло ладаном, здесь розами. Им казалось, что они слышат голоса, поющие в бесконечности, в их сердце был Бог, судьба казалась им звездным небом, они видели над

своими головами свет восходящего солнца. Вдруг пробили часы. Мариус взглянул на прекрасную обнаженную руку Козетты, и Козетта, почувствовав на себе взгляд Мариуса, вдруг вся вспыхнула.

На свадьбу пригласили старинных друзей семьи Жильнорман, все они толпились вокруг Козетты и называли ее баронессой.

Офицер Теодюль Жильнорман, теперь капитан, специально приехал из Шартра, где стоял его полк, затем, чтобы присутствовать на свадьбе своего кузена Понмерси. Козетта не узнала его. Что же касается самого офицера, то он в свою очередь тоже не узнал Козетту, воспоминание о которой слилось у него с образами других женщин, поклонявшихся его красоте и восхищавшихся им.

«Как я был прав, что не поверил этой истории с уланом!» — сказал сам себе старик Жильнорман.

Козетта никогда еще не относилась так нежно к Жану Вальжану. Они с господином

Жильнорманом действовали в унисон; в то время как он выражал свою радость афоризмами и изречениями, она изливала свою любовь и доброту, как благоухание. Счастливый хочет всех видеть счастливыми. Разговаривая с Жаном Вальжаном, она сумела придать своему голосу ту же модуляцию, как и во время своего детства. Она ласкала его улыбкой.

Обед подавали в столовой.

Яркое освещение является необходимым условием при подобных торжествах. Влюбленные не любят тень и мрак. Они не желают быть в темноте. Ночь нравится им, но мрак — нет. Если нет солнца, то его надо создать искусственно.

Убранство столовой также отражало собой праздничное настроение. В самой середине над белым блестящим столом висела венецианская люстра с гладкими подвесками и бесчисленным множеством птиц всевозможных раскрасок: синих, фиолетовых, красных, сидевших между свечами; вокруг люстры горели жирандоли, на

стенах зеркальные бра в три и пять свечей; стекло, хрусталь, стеклянная посуда, столовая посуда, фарфор, фаянс, золотая и серебряная посуда, — все весело сверкало и сияло при ярком свете. Пространство между канделябрами было заполнено букетами так, что там, где не было свечи, виднелся цветок.

В передней три скрипки и флейта играли под сурдинку музыку Гайдна.

Жан Вальжан сел в гостиной на стул, за дверью, которая почти совсем скрывала его. За несколько секунд до того как садиться за стол, Козетта под влиянием вдруг пришедшей ей в голову мысли подошла к нему, расправляя руками свое подвенечное платье, сделала глубокий реверанс и, бросив на него нежный, лукавый взгляд, сказала:

— Отец, ты доволен?

— Да, — отвечал Жан Вальжан, — я доволен.

— В таком случае улыбнись.

Жан Вальжан начал смеяться.

Через несколько минут Баск доложил, что кушать подано.

Гости, предводительствуемые Жильнорманом, предложившим руку Козетте, направились в столовую и заняли места за столом, кто где желал.

По правую и по левую руку новобрачной стояло два кресла: одно из них предназначалось для Жильнормана, а другое для Жана Вальжана.

Жильнорман сел на свое место, но другое место осталось пустым.

Все стали искать глазами господина Фошлевана.

Его не было.

Дед Жильнорман спросил Баска:

— Ты не знаешь, где господин Фошлеван?

— Знаю, сударь, — отвечал Баск. — Господин Фошлеван приказал мне передать господину, что у него сильно разболелась рука и что поэтому он не может остаться обедать с господином бароном

и баронессой. Он просил извинить его и сказал, что будет завтра утром. Он только что ушел.

Это пустое кресло охладило было на минуту радостное настроение свадебного обеда. Но хотя Фошлевана и не было, зато здесь был Жильнорман: старый дед умел ликовать за двоих. Он объявил, что господин Фошлеван сделал очень хорошо, что отправился пораньше спать, раз у него так сильно болит рука, но он со своей стороны уверен, что у него нет ничего серьезного. Этого заявления оказалось совершенно достаточно. И потом, какое может иметь значение такой ничтожный, хотя и досадный, факт там, где царит такое веселье? Козетта и Мариус переживали те полные эгоизма блаженные минуты, когда человек в состоянии ощущать только свое счастье. И потом господину Жильнорману пришла в голову блестящая мысль: «Неужели же этому креслу оставаться пустым, черт возьми! Мариус, иди сюда. Твоя тетка хотя и имеет законное право на тебя, но я думаю, что она не откажет поступиться этим правом. Это кресло самой судьбой предназначено тебе. Это

будет и вполне законно, и очень мило. Счастливец будет сидеть рядом со счастливицей».

Все присутствующие приветствовали эту речь аплодисментами. Мариус занял место Жана Вальжана и сел рядом с Козеттой: в конце концов все вышло так, что Козетта, сначала опечаленная отсутствием Жана Вальжана, осталась даже довольной этим. С той минуты как Мариус занял его место, Козетта уже не могла роптать на Бога. Она поставила свою маленькую, обутую в атласный башмачок ножку на ногу Мариуса.

Как только пустое кресло оказалось занятым, о Фошлеване совсем забыли, теперь уже никому не приходило в голову, что кого-то или чего-то недостает. Через пять минут все сидевшие за столом смеялись, забыв обо всем на свете.

За десертом Жильнорман встал и, держа в руке стакан с шампанским, который он налил только до половины, чтобы не расплескать его благодаря своим девяносто двум годам, провозгласил тост за здоровье новобрачных.

— Вам сегодня придется выслушать две проповеди! — вскричал он. — Утром вам говорил проповедь кюре, вечером то же самое хочет сделать дедушка. Слушайте! Я хочу вам дать один совет: обожайте друг друга. Я не стану распространяться, я иду прямо к цели и говорю вам: будьте счастливы. Голуби в этом отношении умнее всех мудрецов. Философы говорят: «Обуздайте вашу радость», а я вам говорю: дайте полную волю вашему темпераменту. Влюбляйтесь как безумные. Беситесь! Философы всегда неправы. Я бы с удовольствием заткнул им в глотку всю их философию. Разве может быть слишком много благоухания, слишком много распустившихся розовых бутонов, поющих соловьев, зеленых листьев или утренней зари? Разве возможно больше, чем нужно, нравиться друг другу? Разве можно чересчур любить друг друга? Берегись, Эстелла, ты слишком прекрасна! Берегись, Неморин, ты слишком красив! Какая нелепость! Разве возможно больше, чем следует, восхищаться, ласкаться или радоваться? Разве можно быть слишком живым? Разве можно быть

слишком счастливым? А они говорят: «Обуздывайте себя!» Ну их к черту! Долой философов! Высшая мудрость заключается в том, чтобы быть счастливым. Старайтесь быть счастливыми. Счастливы ли мы потому, что мы добры, или же добры потому, что счастливы? Почему Санси назывался так, потому ли, что он принадлежал Гарлею Санси, или же потому, что он весил шестьсот каратов? Я этого не знаю, вся жизнь состоит из таких проблем, главное иметь Санси и быть счастливым. Будем же стараться быть счастливыми, не интересуясь всем остальным. Будем беспрекословно повиноваться солнцу. Что такое солнце? Это — любовь. Кто произносит слово «любовь», тот произносит и слово «женщина». Спросите-ка этого демагога Мариуса, разве он не рад этой маленькой тиранке Козетте? И вдобавок еще по своему собственному желанию, негодяй! Женщина — это всемогущество. Даже Робеспьером — и тем правила женщина! Я роялист, но признаю роялизм только в этом виде. Существовал королевский скипетр, украшенный лилией, был

императорский скипетр, украшенный глобусом, у Карла Великого был железный скипетр, у Людовика Великого — золотой, но я не знаю ни одного скипетра, подобного этому маленькому надушенному платочку. Я бы очень хотел видеть, кто осмелился бы возмутиться против него. Попытайтесь. Почему это так прочно? Потому что это просто тряпочка. А, вы люди XIX столетия? Ну, так что ж! А мы люди XVIII века! И мы тоже были так же глупы, как и вы. Не воображайте себе, пожалуйста, что вы произвели великий переворот во вселенной, потому что вы теперь по-иному стали называть холеру и потому что наш старинный танец буррэ вы называете теперь качучей. И все это в конце концов сводится к тому, что всегда нужно любить женщин. Я не верю вам, что вы могли бы сбросить с себя иго. Мы называем этих волшебниц нашими ангелами. Да, любовь, женщина и поцелуй — это такой заколдованный круг, из которого, я думаю, никогда не выбраться и вам. Что же касается меня лично, то я с удовольствием опять вернулся бы туда. Кто из вас

видел, как поднимается в безграничном пространстве, все подавляя своим величием и глядясь в волны, как женщина, звезда Венера, величайшая кокетка беспредельного, Селимена океана? Океан — это грубый Альцест. Но только его ворчание ни к чему не ведет, появляется Венера, и он волей-неволей начинает улыбаться. Это грубое животное тоже покоряется. Мы все таковы. Гнев, буря, громовые удары, пена до потолка, но появляется женщина, восходит звезда и все падает ниц! Мариус дрался шесть месяцев тому назад, а теперь он женится. И это очень хорошо. Да, Мариус, да, Козетта, вы хорошо делаете. Смело живите друг для друга, любите друг друга и заставьте нас лопнуть от бешенства, что мы не можем подражать вам, обожайте друг друга. Подберите с земли все соломинки счастья, какие только есть, и свейте из них гнездо на всю жизнь. Черт возьми, любить и быть любимым, да разве это чудо в молодые годы! Не воображайте себе, что вы изобрели любовь. Я тоже грезил, думал, вздыхал. Я тоже любил любоваться луной. Любовь — это ребенок, которому исполнилось

уже шесть тысяч лет. Любовь имеет право на длинную седую бороду. Мафусаил — младенец в сравнении с Купидоном. Уже целых шестьдесят веков мужчины и женщины ищут в любви выход из затруднения. Дьявол, который хитер, возненавидел человека, мужчина, который еще хитрее, чем дьявол, стал любить женщину. Этим он сделал больше добра, чем дьявол сделал ему зла. Эта хитрость создала земной рай. Друзья мои — это старое изобретение, но оно всегда останется юным. Повинуйтесь им. Будьте Дафнисом и Хлоей в ожидании, пока вы станете Филемоном и Бавкидой. Устраивайтесь так, чтобы вы не чувствовали, что вам чего-нибудь недостает, когда вы вместе, и чтобы Козетта была солнцем для Мариуса, а Мариус был бы вселенной для Козетты. Козетта, пусть будет для вас солнцем улыбка вашего мужа, Мариус, пусть слезы жены покажутся тебе проливным дождем. И пусть над вами всегда царит безоблачное небо. Вам достался в лотерее счастливый билет — любовь в браке. Вам достался главный выигрыш. Берегите же его, заприте его на ключ, не теряйте

его, любите друг друга и не думайте об остальном. Верьте мне в этом случае. Во мне говорит здравый смысл, а здравый смысл никогда не лжет. Будьте друг для друга святыней. Каждый по-своему любит Бога, и, по-моему, самый лучший способ засвидетельствования любви к Богу — это любить друг друга. Я люблю тебя: вот весь мой катехизис. Тот, кто любит, тот истинно верующий. Любимая поговорка Генриха IV мне не нравится. Тут забыта женщина, и это удивительно со стороны Генриха IV. Друзья мои, да здравствует женщина! Я старик, как это принято называть людей моего возраста, а между тем, как это ни удивительно, чувства во мне молоды. Я готов идти в лес слушать волынку. Вид этих красивых и счастливых детей положительно опьяняет меня. Я с удовольствием женился бы, если бы только за меня пошли замуж. Нельзя даже и представить себе, чтобы Бог создал нас для чего-нибудь иного, кроме как любить, ворковать, ухаживать, быть и голубем и петухом в одно и то же время, целоваться с утра до вечера, любоваться на свою женушку, гордиться ею,

торжествовать и радоваться. В этом заключается истинная цель жизни. Нравится это вам или нет, но я говорю вам только то, что думали мы все в то время, когда мы были молоды. А сколько было хорошеньких женщин в то время, какие у них были миленькие личики, какие они были все молодые! Я в то время был неотразим. Итак, любите друг друга. Если бы люди не любили друг друга, я понять не могу, зачем нужна была бы тогда весна. Тогда я стал бы молить бога, чтобы он взял обратно все дарованные нам блага, отнял бы у нас и спрятал подальше цветы, птиц и хорошеньких девушек. Дети мои, примите благословение от любящего вас старого деда.

Вечер проходил оживленно, весело и приятно. Радостное настроение деда придавало тон всему празднику, и каждый по мере сил старался подражать этому почти столетнему старцу. Танцевали мало, зато смеялись много, точно на детской свадьбе. На эту свадьбу можно было пригласить и доброе старое время. Впрочем, оно тоже тут присутствовало в лице Жильнормана.

Свадебный пир кончился, и шум сменился тишиною.

Новобрачные ушли.

Вскоре после полуночи дом Жильнормана стал храмом.

Здесь мы и остановимся. На пороге брачной ночи стоит улыбающийся ангел, приложив палец к устам.

Глава 352

Что случилось с Жаном Вальжаном? Повинуясь так мило отданному Козеттой приказанию, он засмеялся, а затем, видя, что на него никто не обращает внимания, Жан Вальжан встал и незаметно вышел в переднюю. Это была та самая комната, куда он восемь месяцев тому назад вошел весь черный от покрывавшей его грязи, крови и пороха, возвращая деду внука. Старинные панели теперь были убраны зеленью и цветами, музыканты сидели на том самом диванчике, на котором тогда лежал Мариус. Баск,

в черном костюме, в коротких панталонах, в белых чулках и белых перчатках, обкладывал розами каждое блюдо, которое нужно было подавать к столу. Жан Вальжан показал ему свою руку на перевязи, поручил ему объяснить причину своего ухода и скрылся.

Окна столовой выходили на улицу. Жан Вальжан неподвижно простоял несколько минут во мраке под ярко освещенными окнами. Он слушал. До него доходил неясный шум пира. Он слышал высокопарную и авторитетную речь дедушки, звуки скрипок, звон тарелок и стаканов, взрывы смеха, и среди этого веселого шума различал нежный, веселый голосок Козетты.

С улицы Филь-дю-Кальвер он направился на улицу Омм Армэ.

Возвращаясь домой, он шел улицей Сен-Дени, улицей Святой Екатерины и Белых Плащей; избранный им путь был немного длинен, но зато это была та самая дорога, которой он уже целых три месяца ходил с Козеттой с улицы Омм Армэ на улицу Филь-дю-Кальвер, чтобы миновать

слишком оживленную и грязную Тампльскую улицу.

Эта дорога, по которой ступали ножки Козетты, исключала для него возможность избрать всякий иной путь.

Жан Вальжан, вернувшись домой, зажег свечу и поднялся наверх. В квартире было пусто. Даже Туссен и той уже тут не было. Шаги Жана Вальжана гулко раздавались в пустом доме. Все шкафы были открыты. Он вошел в комнату Козетты. На постели не было простыни. Тиковая подушка без наволочки и без кружев лежала на одеялах, тоже свернутых и лежавших в ногах на ничем не прикрытом матраце, на котором некому уже было больше здесь спать. Все мелкие безделушки, которые так любят женщины и которыми так дорожила Козетта, тоже исчезли, остались только крупная мебель и четыре голые стены. Кровать Туссен тоже была без простыни и одеяла. И только одна постель во всей квартире была застлана как следует и, казалось, ждала кого-то; то была постель самого Жана Вальжана.

Жан Вальжан окинул взглядом стены, задвинул ящики комодов, захлопнул дверцы шкафов и стал ходить из одной комнаты в другую.

Потом он вернулся в свою комнату и поставил свечу на стол.

Здесь он снял повязку с правой руки, и оказалось, что он может владеть ею так же хорошо, как и другой, здоровой.

Он подошел к кровати, и взгляд его упал, может быть, случайно, а может быть, умышленно на его неразлучный маленький чемоданчик, с которым он никогда не расставался и к которому его всегда так ревновала Козетта. Прибыв 4 июня на улицу Омм Армэ, он положил его на маленький столик, стоявший в голове возле его постели. Он с какой-то торопливостью подошел теперь к этому столику, достал из кармана ключ и отпер чемоданчик.

Затем он медленно стал вынимать одежду, в которой десять лет назад Козетта вышла из Монфермейля; сначала он достал черное

платьице, потом черную косынку, потом толстые детские башмачки, которые Козетта могла бы надеть и теперь, такая у нее была маленькая ножка, потом толстую детскую кофточку из бумазеи, юбочку, фартучек с карманом и шерстяные чулочки. Эти чулочки, которые и теперь еще показывали грациозную форму женской ножки, были не длиннее руки Жана Вальжана. Все это было черного цвета. Он сам принес ей всю эту одежду в Монфермейль. Доставая эти вещи одну за другой из чемодана, он раскладывал их на постели. Он думал и вспоминал прошлое. Это было зимой, в декабре, тогда было очень холодно, она дрожала от стужи, едва прикрытая лохмотьями, ее бедные ножки в деревянных башмаках были совсем красными. Он велел ей сбросить с себя эти тряпки и надеть принесенную им траурную одежду. Мать девочки, покоившаяся в могиле, должна была чувствовать себя довольной тем, что дочь носит по ней траур и, главное, тем, что она одета и что ей тепло. Он вспомнил про Монфермейльский лес. Он проходил по нему вместе с Козеттой. Он

вспомнил, какая тогда была холодная погода, деревья стояли без листьев, в лесу не было птиц, на небе не было солнца, но для него это было все равно: ему казалось все это прекрасным. Он разложил на постели все эти предметы детского костюма, положил косынку возле юбки, чулки рядом с башмачками, кофточку рядом с платьицем и одну за другой принялся пересматривать все вещи. Она была тогда вот такого роста, в руках у ней тогда была большая кукла, она опустила луидор в карман своего фартучка, она все время смеялась, они шли, держась за руки, и, кроме него, у нее тогда никого не было на свете.

И вот его седая голова опустилась на постель, старое мужественное сердце дрогнуло, он приник лицом к платьицу Козетты, и, если 6 кто-нибудь проходил в эту минуту по лестнице, тот услыхал бы ужасные рыдания.

Глава 353

И снова началась та ужасная борьба, многие фазы которой мы уже видели.

Иаков боролся с ангелом всего только одну ночь. А сколько раз приходилось нам видеть, как боролся Жан Вальжан со своей совестью, напрягая все свои силы.

Это была неслыханная, ужасная борьба! Бывали моменты, когда у него скользила нога, а иногда ему казалось, что у него из-под ног уходит почва. Сколько раз эта совесть, стремившаяся к добру, сжимала и давила его в своих тисках! Сколько раз неумолимая истина становилась ему коленом на грудь! Сколько раз, подавленный светом познания, он начинал просить пощады! Сколько раз этот неумолимый свет, зажженный в нем и для него епископом, проникал к нему в душу в то время, когда он хотел быть слепым! Сколько раз он снова поднимался во время борьбы и становился у скалы, опираясь на софизмы и барахтаясь в грязи, то повергал свою

совесть на землю, то сам падал, поверженный ею! Сколько раз после того, как ему удавалось придумать какое-нибудь подсказанное эгоизмом заключение в обход того, что он считал справедливым, слышал он, как его разъяренная совесть кричала ему в ухо: «Ты хочешь обмануть меня! Негодяй!» Сколько раз не желавшая покориться мысль хрипела в агонии, подавленная сознанием очевидности. Он пробовал сопротивляться Богу. Как часто обливался он мертвенно-холодным потом. Какие получил он никому невидимые раны, из которых только он один чувствовал, как сочится кровь! Сколько ссадин в его жалком существовании! Сколько раз он поднимался окровавленный, подавленный, разбитый, но просвещенный, с отчаянием в сердце, но зато с ясною душою, и, побежденный, чувствовал себя победителем. Изломав, истерзав его горячими клещами, его совесть, грозная, сияющая и спокойная, стоя над ним, говорила: «Теперь иди с миром!»

И вот после такой ужасной борьбы какой печальный итог. Увы!

Но в эту ночь Жан Вальжан чувствовал, что ему предстоит выдержать последнее сражение.

Перед ним стоял мучительный вопрос.

Пути Господни неисповедимы, и судьба человека складывается не всегда прямолинейно, на этом пути тоже существуют свои зигзаги, тупики, темные коридоры, большие перекрестки, где дорога разветвляется в разные стороны — Жан Вальжан стоял в эту минуту на самом опасном перепутье.

Он достиг высшей стадии смешения добра и зла. И этот ужасный перекресток был теперь у него перед глазами. И теперь, точно так же как это бывало и раньше, перед ним открывались две дороги: одна соблазнительная, а другая ужасная. Какую из них избрать?

Ту ужасную дорогу советовал ему избрать таинственный перст, который все мы видим каждый раз, когда устремляем наши глаза в темноту.

Жану Вальжану еще раз предстояло сделать выбор между хотя и ужасным, но спасительным перстом и раскинутыми ему сетями дьявола, сулившими наслаждение.

Правда ли это, что для души возможно исцеление, а судьбу исцелить нельзя? Страшная это вещь! Неисцелимая судьба! Ему предстояло решить следующий вопрос: каким образом он, Жан Вальжан, должен отнестись к счастью Козетты и Мариуса? Он сам хотел этого счастья, он сам его устроил, он сам вонзил его себе в грудь, и теперь, видя его, он мог испытывать нечто похожее на удовлетворение, какое испытывал бы оружейный мастер при виде своего клейма на ноже в ту минуту, когда он вытаскивал бы его, залитый дымящейся кровью, из своей груди.

У Козетты был Мариус, у Мариуса была Козетта. Они имели все, что нужно, даже богатство. И все это было делом его рук.

А как должен теперь отнестись к этому счастью, уже осуществленному, сам Жан

Вальжан? Станет ли он навязываться этому счастью? Будет ли он считать его как бы своим, как бы принадлежащим ему? Козетта принадлежит теперь другому, и поэтому имеет ли право Жан Вальжан удержать себе от Козетты то, что он мог бы удержать? Будет ли он играть роль отца, изредка навещающего свою дочь, но уважаемого ею так же, как это было и до сих пор? В состоянии ли он будет спокойно входить в дом Козетты? Осмелится ли он не посвятить их в тайну, слить свое прошлое с их будущим? Может ли он появиться там, как имеющий на это законное право, и, прикрываясь таинственностью, как покрывалом, сесть рядом с ними у этого сияющего счастьем очага? Имеет ли он право, улыбаясь, подавать этим двум невинным существам свои заклейменные позором руки? Может ли он спокойно ставить на каменную решетку камина в гостиной Жильнормана свои ноги, которые столько лет носили на себе мрачные цепи закона? В состоянии ли он будет разделять счастье Мариуса и Козетты? Не усилит ли он мрак на своем

собственном челе и не нагонит ли он облако печали на них. Имеет ли он право к их счастью, счастью двух влюбленных, примешать свой горький удел? Должен ли он хранить молчание? Одним словом, имеет ли он право быть зловещим носителем судьбы и находиться рядом с этими двумя счастливцами?

Надо привыкнуть к постоянным ударам судьбы и к тому, что они несут с собой, чтобы осмеливаться поднимать глаза, когда некоторые вопросы встают во всей их страшной наготе. Трудно бывает тогда решить, что стоит за этим суровым вопросом: добро или зло. «Что ты намерен теперь делать?» — спрашивает сфинкс.

Жан Вальжан привык смело смотреть в лицо любым испытаниям. Он и теперь точно так же стал обсуждать эту вставшую перед ним проблему во всех ее видах.

Козетта — это очаровательное создание — явилась перед ним точно плот, неожиданно встреченный погибающим, потерпевшим

крушение. Что ему делать? Схватиться за этот плот или же выпустить его?

Если он ухватится за него, он будет в безопасности, его пригреет солнце, с его одежды и с его волос стечет горькая вода, он будет спасен и возвращен к жизни.

Если он выпустит этот плот из рук, его ждет бездна.

И он погрузился в мрачные мысли, совещаясь сам с собой или, вернее, ведя борьбу с самим собой. В нем происходила ожесточенная борьба, он восставал то против своей воли, то против своих убеждений.

Для Жана Вальжана было большим счастьем, что он мог плакать. Слезы просветили его душу, хотя начало борьбы и было нечеловечески трудным. В душе у него свирепствовала буря, еще более ужасная, чем та, которая некогда толкала его в Аррас. Прошедшее предстало перед ним в ту минуту, когда он обсуждал настоящее. Он сравнивал и рыдал. Эти слезы облегчили его, и в то же время этот источник слез заставил его в

отчаянии ломать руки. Он чувствовал, что для него нет другого выхода. Увы! В этом презренном бою между эгоизмом и сознанием долга, когда шаг за шагом приходится отступать перед неумолимым принципом идеала, доведенное до состояния бешенства внутреннее «я» с каким-то доведенным до крайности остервенением упорно старается защищаться, ищет лазейку для бегства, чувствуя в то же время, что за спиной у него, точно стена, растет непроходимая твердыня!

Тут чувствовалось присутствие священного призрака, который и составлял главное препятствие.

Итак, борьба с совестью никогда не прекращается! Помни это, Брут, не забывай этого и ты, Катон. Она не имеет пределов, потому что в ней присутствует Бог. В этот колодец бросают труд всей жизни, в него бросают счастье, богатство, успех, свободу или отечество, благосостояние, свой отдых, свою отраду! Туда бросают все! Еще, еще! Опорожняйте сосуд, нагните урну! Бросьте туда и сердце!

В преисподних древнего ада существовала такая бочка.

Разве простительно в таком случае ответить в конце концов отказом? Разве неисчерпаемое может иметь какое-нибудь право? Разве эти бесконечные цепи по силам человеку? Кто осмелился бы осудить Сизифа и Жана Вальжана, если бы они сказали: «Довольно!»

Повиновение материи ограничено трением. Так неужели для души не существует такой границы в повиновении? Раз доказано, что вечный двигатель невозможен, можно ли требовать вечного самопожертвования?

Первый шаг легок, но последний труден. Что может значить дело Шанматье в сравнении с браком Козетты и с тем, что он должен был повлечь за собой? Что может значить возвращение на каторгу в сравнении с полным исчезновением?

Каким туманом казалась окутанною первая ступень лестницы и какой мрачной кажется теперь вторая ступень! Как не отвернуться от нее

на этот раз? Мученичество возвышает душу, но и разъедает ее. Это — пытка, которая просветляет человека. В первую минуту на это еще можно согласиться. Обреченный на мучение садится на трон из раскаленного железа, берет в одну руку державу из раскаленного железа, в другую — такой же скипетр, затем остается еще облечься в огненную мантию. Что же удивительного, что в такую минуту немощное тело возмущается и пытается избежать пытки?

Наконец Жан Вальжан впал в состояние крайнего изнеможения. Он размышлял, обсуждая те перемены, какие может вызвать на невидимых весах перевес мрака и света. Ему предстояло или наложить клеймо своего пребывания на эти два юных существа, или же исчезнуть самому, добровольно погрузиться в бездну. Перед ним, с одной стороны, жертвой являлась Козетта, с другой — он сам.

Какое же решение принял он? Как решил он поступить? Какой окончательный ответ дал он самому себе на поставленный ему так прямо

вопрос неумолимым роком? Какой он решил избрать выход? Какую сторону своей жизни решил он закрыть и осудить? Какую сторону горы избрал он для того, чтобы скатиться вниз? Какой конец избрал он? К которой из этих бездн обратил он свое лицо?

Это состояние бреда, от которого кружилась голова, продолжалось всю ночь.

Он всю ночь, до самого утра, провел все в одном и том же положении, припав к постели, склонившись перед неумолимой волей судьбы, точно раздавившей его. Кисти рук его были сжаты в кулаки, а распростертые руки были вытянуты под прямым углом, как у снятого с креста, брошенного на землю лицом вниз. Он провел в таком состоянии двенадцать часов, двенадцать часов холодной долгой зимней ночи, не поднимая головы и не произнося ни слова. Он был неподвижен, как труп, в то время как его мысли то возвращались к себе, то возносились к небу, то пресмыкались, как змея, то парили, как птица. Если бы кто-нибудь увидел его в этой

неподвижной позе, тот сказал бы, что он умер, но вдруг он начинал конвульсивно вздрагивать, припадая губами к одежде Козетты и целуя ее. Тогда становилось очевидным, что он еще жив.

Но кто же мог быть этот кто-нибудь? Жан Вальжан был один во всей квартире, и, кроме него, в ней никого не было.

Его видел «кто-то», присутствующий и среди мрака.

Глава 354

Следующий после свадьбы день — день отдыха. Молодым дают в этот день возможность побыть одним. И потом, они спят дольше. Шумные визиты и поздравления начинаются позже. Днем 17 февраля, спустя немного после полудня, Баск, с салфеткой и метелкой из перьев под мышкой занимавшийся уборкой своей передней, услышал легкий стук в наружную дверь. Звонка совсем не было слышно, да и звонить в этот день было бы, пожалуй, слишком

уж большой бесцеремонностью. Баск отворил дверь и увидел Фошлевана. Он провел его в гостиную, которая все еще оставалась неубранной и представала в том же виде, как и накануне, когда она была шумным полем битвы веселья.

— Знаете, сударь, — заметил Баск, — мы сегодня проснулись поздно.

— Господин встал? — спросил Жан Вальжан.

— Как теперь ваша рука, сударь? — вместо ответа спросил Баск.

— Лучше. Ваш господин встал?

— Какой? Старый или молодой?

— Господин Понмерси.

— Господин барон? — спросил Баск, выпрямляясь.

Титул имеет громадное значение в глазах прислуги, и если ее хозяин барон, она всегда величает его бароном. Слуги видят в этом что-то необыкновенное, нечто такое, что философ

назвал бы отблеском титула, и это льстит им. Мариус, скажем мимоходом, принадлежавший к воинствующим республиканцам и доказавший это на деле, стал теперь против своей воли бароном. Этот титул послужил даже предметом крупного спора в семье, дедушка Жильнорман стоял за титул, а Мариус был против него. Но в завещании полковника Понмерси было сказано: «Мой сын должен носить мой титул», — и Мариус повиновался. Кроме того, и Козетта, в которой начала пробуждаться женщина, приходила в восхищение от того, что она станет баронессой.

— Господин барон? — повторил Баск. — Пойду узнаю. Я доложу ему, что господин Фошлеван желает его видеть.

— Нет, не говорите ему про меня. Скажите ему, что один господин желает поговорить с ним наедине и, пожалуйста, не называйте ему моей фамилии.

— А! — проговорил Баск.

— Я хочу сделать ему сюрприз.

— А! — снова вырвалось у Баска, и это второе «а!» служило как бы пояснениям к первоначально вырвавшемуся восклицанию.

И он вышел. Жан Вальжан остался один.

Гостиная, как мы уже говорили, была в полнейшем беспорядке. Казалось, что стоит только внимательно прислушаться, и услышишь еще смутный шум свадебного пиршества. На паркете валялись всевозможные цветы, выпавшие из гирлянд и головных уборов. Огарки догоревших свечей облепили восковыми сталактитами хрустальные подвески люстр. Ни один стул не стоял на своем месте. В углу сдвинутые в кружок три или четыре кресла, казалось, еще продолжали веселую беседу. Все имело веселый, праздничный вид. В обстановке окончившегося праздника чувствуется какая-то таинственная прелесть. Тут все говорило о том, что здесь царило счастье. Все эти беспорядочно расставленные кресла, увядающие цветы, погасшие огни навевали думы о счастье. Солнце

заступило место люстры и заливало ярким светом зал.

Прошло несколько минут. Жан Вальжан неподвижно стоял на том же месте, как и в ту минуту, когда уходил Баск. Он был очень бледен. Глаза у него были мутные и от бессонницы до того впали, что казались провалившимися. Черная измятая пара свидетельствовала своим видом, что ее владелец на ночь не раздевался. Локти побелели и покрылись пушком от долгого соприкосновения сукна с полотном. Жан Вальжан, опустив глаза, смотрел на нарисованный солнцем у его ног на паркете переплет оконной рамы.

За дверью послышался шорох, он поднял глаза.

Мариус вошел с высоко поднятой головой и с улыбкой на устах; какой-то необычайный свет освещал его сияющее лицо, глаза сверкали торжеством. Он также не спал.

— Это вы, отец! — воскликнул он при виде Жана Вальжана. — То-то у этого дурака был

такой таинственный вид! Но вы пришли слишком рано. Теперь всего только половина первого. Козетта еще спит.

Слово «отец», произнесенное Мариусом по адресу Фошлевана, означало высшее блаженство. До сих пор, как известно, в отношениях между ними всегда заметны были какая-то резкость, холодность и даже принуждение, а теперь лед сломался или растаял. Мариус был в таком приподнятом настроении, что вся натянутость исчезла, лед растаял, и Фошлеван стал и для него таким же отцом, как и для Козетты.

Он продолжал говорить, слова потоком лились из его уст, что всегда проявляется в тех случаях, когда человек переживает минуты наивысшего счастья.

— Как я рад вас видеть! Если бы вы знали, как мы вчера жалели, что вы ушли. Нам вас положительно недоставало! Здравствуйте, отец! Как ваша рука? Вам лучше, надеюсь? — И, удовольствовавшись этим благоприятным ответом, сделанным им самому себе в виде

вопроса, он продолжал: — Мы оба долго говорили вчера о вас. Козетта так вас любит! Надеюсь, вы не забыли, что здесь для вас приготовлена комната. Мы не хотим больше и слышать об улице Омм Армэ. Понимаете, мы и слышать не хотим о ней. Как это могли вы жить на этой улице, такой нездоровой, отвратительной, мерзкой, упирающейся одним концов в заставу? Там такхолодно, и потом, туда нельзя даже иной раз и проникнуть. Вы должны непременно перебраться сюда и даже не позже сегодняшнего дня. Иначе вам придется иметь дело с Козеттой. Она желает распоряжаться всеми нами, предупреждаю вас об этом. Вы видели приготовленную для вас комнату? Она почти рядом с нашей и выходит окнами в сад. Там исправили дверные замки, постель приготовлена и ждет только вашего прибытия. Козетта велела поставить возле вашей постели большое старинное кресло, обитое утрехтским бархатом, которому она сказала: «Протяни ему свои объятия». Весной в густой акации, которая растет напротив ваших окон, поселяется соловей. Он

прилетит через два месяца. Его гнездышко будет у вас с левой стороны, а наше с правой. По ночам будет петь он, а днем будет щебетать Козетта. Ваша комната выходит окнами как раз на солнечную сторону. Козетта сама расставит ваши книги, ваше путешествие капитана Кука и такое же точно описание путешествия Ванкувера, разложит все ваши бумаги. Потом у вас, кажется, есть еще небольшой чемоданчик, которым вы очень дорожите. Я приготовил и для него почетное место. Вы завоевали моего дедушку. Вы очень подходите к нему. Мы будем жить все вместе. Вы умеете играть в вист? Вы совсем завоюете сердце дедушки, если только вы умеете играть в вист. Вы будете ходить гулять с Козеттой в то время, когда я буду занят в суде. Вы будете гулять с ней под руку, помните, как там, в Люксембургском саду? Мы твердо решили быть счастливыми. И вы будете счастливы нашим счастьем. Слышите, что я вам говорю, отец? Ах да! Кстати, вы, конечно, завтракаете с нами сегодня!

— Милостивый государь, — произнес Жан Вальжан, — я прежде всего должен сказать вам следующее: я — бывший каторжник.

Для разума, точно так же как и для слуха, существует свой предел, когда он отказывается как бы понимать то, что ему говорят. Слова: «я — бывший каторжник», произнесенные Фошлеваном и достигшие слуха Мариуса, перешли за границу возможного. Мариус точно не слышал их. Он чувствовал, что ему что-то сказали, но что именно, он не мог понять, и только лицо его выразило изумление.

Потом он обратил внимание, что человек, говоривший с ним, имел ужасный вид. Ослепленный своим счастьем, он до этой минуты не замечал его поразительной бледности.

Жан Вальжан развязал черную повязку, поддерживавшую его правую руку, ослабил бинт, которым был завязан его палец, обнажил палец и показал его Мариусу.

— У меня не болит рука, — сказал он.

Мариус взглянул на палец.

— Она у меня и не болела, — повторил Жан Вальжан.

В самом деле, на его пальце не было никаких следов раны. Жан Вальжан продолжал:

— Это было удобной отговоркой, чтобы официально не участвовать в вашей свадьбе. Я сделал со своей стороны все, что мог, в этом отношении. Я придумал эту рану для того, чтобы не иметь необходимости совершить подлог, чтобы свадебный контракт нельзя было объявить недействительным, чтобы устранить себя от обязанности подписывать его.

Мариус пробормотал:

— Что это значит?

— Это значит, — отвечал Жан Вальжан, — что я был на каторге.

— Вы сводите меня с ума! — воскликнул в ужасе Мариус.

— Господин Понмерси, — сказал Жан Вальжан, — я пробыл девятнадцать лет на каторге. Я был осужден за кражу. Потом я был осужден к пожизненной каторге и тоже за кражу, как рецидивист. А теперь я считаюсь бежавшим с каторги.

Мариус тщетно старался не верить тому, что ему говорилось, отвергнуть факты, найти возможность не верить тому, в чем не могло быть никакого сомнения, но очевидность вынуждала его отказаться от этой попытки. Он начал понимать, и, как это часто бывает в таких случаях, ему представилось все в несравненно худшем виде, чем это было на самом деле. В его уме точно молния промелькнула мысль, заставившая его содрогнуться; это сознание было так ужасно, что он не мог не содрогнуться. Он видел в этом для себя нечто ужасное в будущем.

— Говорите все, все говорите! — крикнул он. — Вы отец Козетты?

И он с выражением ужаса на лице сделал два шага назад.

Жан Вальжан с таким величественным видом поднял голову, что, казалось, будто он вырос до потолка.

— В этом случае вы должны поверить мне, милостивый государь, и хотя наша клятва и не признается правосудием…

Здесь он замолчал, потом с какой-то властной и мрачной энергией, медленно отчеканивая каждое слово, сказал:

— …вы мне поверите. Я не отец Козетты, клянусь богом! Барон Понмерси, я крестьянин из Фавероля. Я добывал себе пропитание подрезкой деревьев. Я не Фошлеван, а Жан Вальжан. Я совершенно чужой Козетте. Успокойтесь.

Мариус пробормотал:

— Кто же мне это может доказать?

— Я. Потому что я говорю вам это.

Мариус смотрел на этого человека. Он был печален и спокоен. Так спокойно нельзя лгать. Все, что говорится с таким ледяным

спокойствием, — истина. В этом могильном холоде чувствовалась правда.

— Я вам верю, — сказал Мариус.

Жан Вальжан наклонил голову как бы в знак того, что для него достаточно этих слов, и затем продолжал:

— Что такое я для Козетты? Случайный встречный. Десять лет тому назад я даже не подозревал о ее существовании. Я ее люблю, нельзя не любить дитя, которое видел маленьким, в то время когда я сам был уже стариком. Старику все дети кажутся как бы его родными внучатами. Мне думается, что вы можете согласиться с тем, что у меня есть нечто похожее на сердце. Она была круглой сиротой, без отца, без матери. Я был ей необходим. Вот почему я полюбил ее. Эти дети так беспомощны, что всякий встречный, даже такой человек, как я, может стать их покровителем и защитником. Я исполнил эту обязанность по отношению к Козетте. Я не думаю, чтобы можно было такие пустяки назвать добрым делом, но если это по-

вашему доброе дело, то я ровно ничего не имею против того, чтобы оно так считалось. Отметьте, пожалуйста, это обстоятельство как уменьшающее вину. Теперь Козетта покидает ту жизнь, которую я вел вместе с нею. Наши дороги расходятся. С нынешнего дня я для нее ничто. Она — баронесса Понмерси. Ее судьба изменилась, и Козетта только выиграла от этой перемены. Все идет хорошо. Что же касается шестисот тысяч франков, то хотя вы о них и не сказали еще ни одного слова, но я предвижу этот вопрос с вашей стороны и спешу ответить на него: деньги эти были у меня только на хранении. Вы можете еще спросить, каким образом попали ко мне эти деньги? А не все ли вам равно? Я отдаю теперь обратно этот отданный мне на хранение капитал. Теперь вам, я думаю, больше не о чем меня спрашивать. Я, впрочем, дополнил еще объяснение тем, что сказал вам мое имя. Мне хотелось, чтобы вы знали, кто я такой.

И Жан Вальжан в упор взглянул на Мариуса.

В душе у Мариуса происходило в это время что-то ужасное, какая-то сумятица, какое-то волнение. Удары судьбы поднимают иногда такие волны в душе.

Всем нам приходится переживать такие моменты душевного беспокойства, когда мы чувствуем себя совсем растерянными. Мы говорим тогда первое, что придет нам на ум, хоть сказанное далеко не всегда бывает тем, что нам следовало сказать. Бывают откровения, которые невозможно перенести и которые опьяняют, как вино. Мариус был до такой степени поражен этой неожиданной ситуацией, в которой он оказался, что в его словах была видна нескрываемая досада на то, что ему сделано такое ужасное признание.

— Послушайте, — вскричал он, — зачем говорите вы мне все это? Что заставляет вас делать это признание? Вы могли хранить эту тайну про себя. На вас никто не доносил, вас никто не преследует, за вами никто не следит. Вы должны иметь какую-нибудь серьезную причину, чтобы сделать так, с таким легким сердцем, такое

ужасное признание. Заканчивайте, говорите все. Тут должно быть и что-то еще. С какой стати вы делаете мне это признание, ради чего?

— Ради чего? — отвечал Жан Вальжан таким тихим и глухим голосом, как будто бы он говорил самому себе, а не Мариусу. И в самом деле, ради чего этот каторжник только что сказал: «Я — каторжник»? — Ну, да! Причина существует, и очень странная. Виновато в этом стремление быть честным. В этом, видите ли, и заключается все несчастье: я чувствую, что меня привязывают к тому, что происходит в моем сердце, какие-то узы. К старости эти узы становятся особенно крепкими. Все остальные узы слабеют, распадаются, а эти держатся. Если бы я мог уничтожить, разорвать их, распутать или разрезать их узел, уйти подальше от самого себя, я был бы опасен, и мне оставалось бы только уехать. Для этого на улице Булуа существует контора дилижансов, я взял бы место и уехал, и вы были бы счастливы. Я пытался разорвать эти узы, я тянул изо всей силы, но не мог разорвать их, я рвал вместе с ними свое сердце. Тогда я

сказал самому себе: «Я не могу жить нигде в другом месте; я должен оставаться здесь». Ну да, вы правы, я поступаю очень глупо, почему бы мне и в самом деле не остаться жить здесь, не делая никаких признаний? Вы мне предлагаете комнату в доме, баронесса Понмерси любит меня, она даже сказала этому креслу: «Раскрой ему свои объятия». Ваш дедушка тоже будет очень рад, если я поселюсь здесь. Я ему нравлюсь. Мы будем жить вместе, вместе обедать. Я ходил бы гулять вместе с Козеттой… с баронессой Понмерси, должен был бы я сказать, это вырвалось у меня по старой привычке, — мы жили бы под одной кровлей, обедали бы за одним столом, вместе сидели бы у камина зимой, вместе гуляли бы летом, — это такая радость, такое счастье, это все. Мы жили бы одной семьей. Одной семьей!

При этом слове Жан Вальжан содрогнулся. Он скрестил руки, потупил взор и стал рассматривать пол у своих ног, но затем его голос вдруг сделался громким.

— Одной семьей! Нет. У меня нет семьи. Я не принадлежу к вашей семье. Я не могу принадлежать ни к какой семье. Там, где другие могут чувствовать себя как дома, я лишний. Семьи существуют, но не для меня. Все мое несчастье заключается в том, что я как бы выброшен за борт. Были ли у меня отец и мать? Я почти сомневаюсь в этом. В тот день, когда я выдал замуж эту девочку, для меня все кончилось. Я видел ее счастливой, видел ее соединенной с любимым человеком, видел доброго старичка, видел дом, где они оба будут жить как два ангела, наслаждаясь безоблачным счастьем, все это было очень хорошо, и я сказал себе: «Ты сюда не имеешь права входить». Я мог бы солгать вам, обмануть вас всех, остаться навсегда Фошлеваном. До тех пор пока это было нужно для нее, я мог лгать, но теперь это касается уже меня лично, и я не должен больше делать этого. Мне стоило только молчать — это правда, и все бы шло своим чередом. Вы спрашиваете, что заставило меня говорить? Глупая вещь — совесть. Молчать было бы

сравнительно легко. Я всю ночь старался убедить самого себя в этом. Вы требуете от меня полной исповеди, но то, что я вам теперь говорю, так необычно, что вы имеете право требовать от меня этого. Ну да, я всю ночь советовался сам с собой, я давал себе очень хорошие советы, я сделал все, что мог. Но две вещи мне не удались: я не мог ни порвать ту нить, которая держит меня за сердце, наглухо и крепко привязанным, ни заставить умолкнуть кого-то, кто неслышно для других говорит со мной, когда я остаюсь один. Вот почему я пришел к вам сегодня утром, чтобы сделать признание. Я вам рассказал все, или почти все. Мне незачем рассказывать вам то, что касается только одного меня, это я оставляю про себя. Все главное вы знаете. Я взял свою тайну и принес ее к вам. Я рассказал вам свою тайну. Мне не легко далось прийти к этому решению. Я боролся всю ночь! Вы, может быть, тоже думаете, что я не говорил самому себе, что никому нет дела до Шанматье, что, скрывая свое настоящее имя, я никому не причиняю вреда, что фамилия Фошлевана дана мне была самим Фошлеваном из

благодарности за оказанную ему услугу, что я мог бы сохранить, эту фамилию, что я мог бы быть счастливым в той комнате, которую вы мне предлагаете, что я не нуждался бы ни в чем, что у меня был бы свой уголок и что я жил бы в одном доме с Козеттой и с вами. У каждого была бы своя доля счастья. Если бы я продолжал оставаться Фошлеваном, это удовлетворило бы всех. Да, это удовлетворило бы всех, за исключением моей души. Вокруг меня была бы радость, а в глубине души у меня царил бы мрак. Недостаточно быть счастливым, нужно быть и довольным самим собой. Предположим, что я остался бы Фошлеваном, что я скрыл бы свое настоящее лицо, что во время вашего веселья я носил бы в себе тайну, когда у вас был бы светлый день, у меня был бы мрак. Предположим, что я тайно, не делая никаких признаний, привел бы к вашему очагу каторгу, сел бы за ваш стол с мыслью, что если бы вы знали, кто я, то вы бы выгнали меня, что мне прислуживают люди, которые, если бы они знали правду, сказали бы: «Какой ужас!» Я находился

бы в вашем кругу, тогда как вы этого вовсе не желали бы, я должен был бы обманом пожимать вам руку! В вашем доме уважение делилось бы между почтенными сединами и опозоренными седыми волосами. В те часы, когда вы думали бы, что вы только среди близких вам людей, когда мы были бы вчетвером: ваш дед, вас двое и я, тут же присутствовал бы и пятый неизвестный! Живя вместе с вами вашей жизнью, я должен был бы заботиться только о том, чтобы крышка моего ужасного колодца никогда бы не открывалась. Я был бы между вами все равно, что мертвый среди живых. Этим я сам осудил бы и ее на вечную каторгу жить вместе со мной. Мы все трое — вы, Козетта и я — носили бы зеленый колпак каторжника. Разве вас не страшит эта мысль? Теперь я только самый несчастнейший из людей, а тогда я был бы самый чудовищный. И это преступление я совершал бы каждый день! И эту ложь я говорил бы каждый день. На моем лице каждый день видна была бы эта печаль мрака! И каждый день я делил бы с вами свое бесчестие, с вами, с моими дорогими, моими невинными

детьми! Вы думаете, молчать легко? Вы думаете, хранить молчание просто? Нет, это далеко не так просто. Иногда бывают такие минуты, когда молчать — значит лгать. И всю эту ложь, весь этот обман, весь этот позор, всю эту низость, все это предательство, все это преступление я пил бы капля за каплей, выплевывал бы его и потом опять пил бы, я кончал бы в полночь и начинал бы снова в полдень. Я лгал бы, здороваясь с вами утром и прощаясь с вами вечером. С этой мыслью я ложился бы спать, ел бы хлеб, смотрел Козетте в глаза и отвечал бы улыбкой дьявола на улыбку ангела, я был бы гнусным негодяем! Зачем же делать это? Чтобы быть счастливым, и кому? Мне! Разве я имею право быть счастливым? Я выброшен из жизни, милостивый государь!

Жан Вальжан остановился. Мариус слушал. Исповедь такой душевной тоски нельзя прервать. Жан Вальжан снова понизил голос, но теперь это был уже не глухой, а какой-то зловещий шепот.

— Вы спрашиваете, почему я говорю вам все это? На меня никто не доносит, меня не преследуют, не следят за мной. Но вы ошиблись, на меня подан донос, меня преследуют, меня ищут: кто? Я. Я сам загораживаю себе дорогу. Я с трудом бреду, спотыкаюсь, останавливаюсь и отступаю, а когда ловишь себя сам, то держишь крепко — и, ухватив самого себя рукой за воротник, обращаясь к Мариусу, он продолжал: — Взгляните на этот кулак. Не правда ли, что он держит воротник так, как будто не хочет его выпустить? Ну! Так вот моя совесть — это тот же кулак! Милостивый государь, если хочешь быть счастливым, никогда не следует думать о лежащих на вас обязанностях: сознание долга неуловимо, раз только вы его поняли. Можно подумать, что это сознание только наказывает за то, что его поняли, но нет, оно и вознаграждает вас за это, потому что оно заставляет вас переживать такие адские муки, когда чувствуешь вблизи себя Бога. Только тогда и можно жить в мире с самим собой, когда истерзаешь в себе все, — и, делая ударение в

словах, он прибавил: — Господин Понмерси, как это ни странно покажется вам, я честный человек. Падая в ваших глазах, я поднимаюсь в своих собственных. Один раз со мной это уже было, но тогда это было не так печально, но это ничего не значит. Да, я честный человек. Я не был бы больше им, если бы вы по моей вине продолжали меня уважать, но теперь, когда вы меня презираете, я опять честный человек. Надо мною тяготеет злой рок. Я только обманом могу пользоваться уважением, но это уважение меня унижает и внутренне тяготит, и для того, чтобы я сам себя уважал, нужно, чтобы другие меня презирали. Тогда я выпрямляюсь. Я каторжник, повинующийся своей совести. Я прекрасно знаю, что всем это покажется невероятным. Но что же я могу с этим поделать? Я говорю вам правду, это так уже есть на самом деле. Я заключил договор с самим собой и твердо выполняю его. В жизни бывают такие минуты, которые налагают на нас известные обязательства, которые заставляют нас всегда помнить об этом. Видите ли, господин

Понмерси, в моей жизни случилось нечто подобное.

Жан Вальжан опять остановился, с усилием проглатывая слюну, точно она имела горьковатый вкус, а затем продолжал:

— Когда тебя тяготит клеймо каторжника, ты не имеешь права делить его с другими против их воли, не имеешь права распространять на них заразу, не имеешь права тянуть их в пропасть, которой они не замечают, не имеешь права набрасывать на них свой красный арестантский халат, не имеешь права омрачать своим несчастьем счастье другого человека. Приближаться к тем, кто здоров, и невидимо касаться их в темноте своею язвою, что может быть отвратительнее этого? Фошлеван напрасно дал мне свое имя, я не имел права пользоваться им, он имел право дать его мне, я не имел права его брать. Имя — это личность. Видите ли, милостивый государь, я много размышлял, много читал, хотя я и крестьянин, и, как видите, выражаюсь вполне прилично. Я в состоянии дать

себе ясный отчет во всем. Я сам дал себе образование. Я считаю, что украсть имя и скрываться под этим именем — бесчестно. Присвоение известных букв из алфавита такое же мошенничество, как и кража кошелька или часов. Плотью и кровью служить фальшивой подписи, входить к честным людям, отпирая замок фальшивым ключом, не сметь взглянуть прямо в глаза, постоянно лгать и в глубине души презирать себя… Нет! Нет! Нет и нет! Гораздо лучше страдать, истекать кровью, плакать, царапать себе тело ногтями, проводить ночи в судорогах агонии, раздирать себе душу и тело! Вот причина, почему я рассказал вам все это с легким сердцем, как вы сказали, — и, с трудом переведя дыхание, он бросил последнюю фразу: — Много лет тому назад я, умирая от голода, украл хлеб, но теперь я не хочу красть чужое имя, чтобы сохранить себе жизнь…

— Жизнь!.. — прервал Мариус. — Для того, чтобы жить, вам нет надобности в этом имени.

— Я знаю, что говорю, — отвечал Жан Вальжан, несколько раз затем медленно поднимая и опуская голову.

Наступило молчание. Оба замолкли, и каждый погрузился в свои мысли. Мариус присел к столу и согнутым пальцем подпер уголок рта. Жан Вальжан ходил взад и вперед по комнате. Потом он подошел к зеркалу и остановился перед ним. Затем, как бы отвечая на немой вопрос, заданный им самому себе, сказал, глядя в зеркало и не видя своего отражения:

— А между тем теперь мне стало гораздо легче.

И он снова принялся ходить. Повернувшись, он заметил, что Мариус смотрит на него. Тогда он сказал ему с невыразимым оттенком в голосе:

— Я волочу немного ногу. Теперь вы понимаете почему?

Затем он совсем обернулся лицом к Мариусу

— А теперь, милостивый государь, вообразите себе следующее. Я ничего не говорил.

Я по-прежнему господин Фошлеван, я занял свое место у вас, я принадлежу к вашей семье, живу в своей комнате, прихожу по утрам завтракать в туфлях, вечером мы все трое едем в театр, я сопровождаю баронессу Понмерси в Тюильри и на Королевскую площадь, мы всегда все вместе, вы считаете меня равным себе. И вот в один прекрасный день я стою здесь, вы сидите там, мы болтаем, смеемся. Вдруг вы слышите, как кто-то громко кричит, произносит это имя: «Жан Вальжан!» — и в ту же минуту неумолимая рука полиции появляется из мрака и грубо срывает с меня маску.

Он опять замолк; Мариус, дрожа, поднялся со своего места. Жан Вальжан продолжал:

— Что вы скажете на это?

Молчание Мариуса служило ему красноречивым ответом. Жан Вальжан продолжал:

— Итак, вы видите, что я не имел права молчать. Слушайте, будьте счастливы, наслаждайтесь блаженством, будьте ангелом для

ангела, живите в лучезарном сиянии солнца, довольствуйтесь этим и не обращайте внимания на то, как несчастный отверженный открывает перед вами свою душу и исполняет свой долг. Милостивый государь, имейте в виду, что перед вами стоит отверженный.

Мариус медленно пересек гостиную и, подойдя к Жану Вальжану, протянул ему руку. Мариус сам должен был взять не смевшую подняться руку. Жан Вальжан не сопротивлялся; Мариусу казалось, что он пожал мраморную руку.

— У моего деда много друзей, — сказал Мариус, — я испрошу вам помилование.

— Это бесполезно, — отвечал Жан Вальжан. — Меня считают мертвым, и этого совершенно достаточно. Умершие избавлены от полицейского надзора. Им позволяют спокойно тлеть. Смерть тоже своего рода помилование, — и, отнимая руку, которую держал Мариус, он прибавил с невыразимым достоинством: — Кроме того, исполнение лежащего на мне долга

послужит мне в этом случае помощью, и помиловать меня может только моя совесть.

В эту минуту на другом конце гостиной тихо полуоткрылась дверь, и в образовавшемся отверстии появилась головка Козетты. Видно было только ее прелестное личико, она была очаровательно причесана, а веки были еще немного вспухшими после сна. Она сделала движение птички, высовывающей головку из гнезда, взглянула сначала на мужа, потом на Жана Вальжана и, улыбаясь им улыбкой расцветающей розы, крикнула им:

— Пари держу, что вы говорите о политике! Как это глупо заниматься политикой, вместо того чтобы быть со мной!

Жан Вальжан вздрогнул.

— Козетта!.. — пробормотал Мариус и остановился.

По выражению лиц оба они в эту минуту были похожи на преступников.

Козетта весело продолжала смотреть на них. В ее глазах сиял как бы лучезарный свет рая.

— Я застаю вас двоих врасплох, — сказала Козетта. — Я только что слышала через дверь, как папа Фошлеван говорил: «Совесть… Исполнение долга…» Это все политика. Я не хочу. Не нужно говорить сегодня о политике. Это несправедливо.

— Ты ошибаешься, Козетта, — ответил Мариус. — Мы говорим о делах. Мы толковали о том, как лучше поместить твои шестьсот тысяч франков…

— Это совсем не то, — прервала Козетта. — Я иду. Мне можно сюда?

И, решительно отворив дверь, она вошла в гостиную. Она была одета в широкий белый пеньюар с тысячью складочек и широкими рукавами, которые падали от шеи до самых ног. На старых готических картинах можно видеть таких восхитительных ангелов, окруженных золотым сиянием.

Она с ног до головы оглядела себя в трюмо и вскрикнула с невыразимым восторгом:

— Жили-были король и королева! О, как я довольна!

Сказав это, она сделала реверанс Мариусу и Жану Вальжану.

— Ну вот, — сказала она, — я сяду возле вас в кресло, через полчаса подадут завтрак. Вы будете говорить все, что хотите, я прекрасно знаю, что мужчины должны говорить, я буду умницей.

Мариус взял ее за руку и влюбленным голосом сказал:

— Мы говорим о делах.

— Кстати, — отвечала Козетта, — я открыла окно, в саду множество воробьев. С сегодняшнего дня начался пост, но только не для птиц.

— Повторяю тебе еще раз, мы говорим о делах. Уйди, милая Козетта, оставь нас на минуту. Мы толкуем о цифрах. Это тебе скоро надоест.

— Мариус, дорогой, ты надел сегодня прелестный галстук. Монсиньор, вы начинаете кокетничать. Нет, это мне не надоест.

— Уверяю, что это тебе скоро надоест.

— Нет. Потому что говорить будете вы. Я вас не пойму, не буду вас слушать. Когда слышишь любимые голоса, то вовсе нет необходимости понимать произнесенные ими слова. Быть вместе — вот все, чего я хочу. Я остаюсь с вами — это решено!

— Я тебя очень люблю, милая Козетта! Но это невозможно.

— Невозможно?

— Да.

— Хорошо, — отвечала Козетта. — Я хотела сказать вам много интересного. Я сказала бы вам, что дедушка еще спит, что ваша тетушка в церкви, что камин в комнате папочки Фошлевана дымит, что Николетта позвала трубочиста, что Туссен и Николетта уже поссорились, что Николетта смеется над заиканием Туссен. Ну а

теперь вы этого ничего не узнаете. А! Так это невозможно? Вы увидите, милостивый государь, что я тоже сумею сказать: «Это невозможно». Кому тогда придется плохо? Милый мой Мариус, умоляю тебя, позволь мне остаться здесь с вами.

— Клянусь тебе, нам необходимо остаться одним.

— Так разве же я чужая?

Жан Вальжан не произнес ни слова. Козетта обернулась к нему:

— Я хочу, чтобы вы меня обняли, отец. Что вы все молчите, вместо того чтобы заступиться за меня? И зачем мне дали такого мужа? Вы прекрасно видите, что я очень несчастлива в замужестве. Мой муж бьет меня. Ну, обнимите же меня сию минуту.

Жан Вальжан подошел. Козетта обернулась к Мариусу:

— А вам вместо поцелуя гримаса.

Потом она подставила свой лоб Жану Вальжану. Жан Вальжан сделал шаг вперед по

направлению к ней. Козетта отступила.

— Отец, вы бледны. У вас все еще болит рука?

— Нет, теперь прошла, — отвечал Жан Вальжан.

— Может быть, вы плохо спали?

— Нет.

— Вы огорчены?

— Нет.

— Обнимите меня. Если вы здоровы, хорошо спали и довольны, то я больше не сержусь на вас.

И она снова подставила свой лоб. Жан Вальжан запечатлел поцелуй на ее челе, на котором сиял как бы небесный отблеск.

— Смейтесь.

Жан Вальжан повиновался, но его улыбка напоминала улыбку призрака.

— Теперь защитите меня от моего мужа.

— Козетта!.. — начал Мариус.

— Отец, рассердитесь! Скажите, что я должна остаться здесь. Можно прекрасно говорить и при мне. Вы меня считаете дурочкой. А сами вы говорите разве об очень серьезном деле? Поместить деньги в банк, подумаешь, как это важно. Мужчины любят делать тайны из всяких пустяков. Я хочу остаться здесь. Я сегодня очень хорошенькая. Взгляни на меня, Мариус.

Она взглянула на Мариуса, прелестно передернув плечиками и очаровательно скорчив сердитое лицо. Взгляды их встретились, и из каждой пары глаз сверкнула молния. В эту минуту им ни до кого не было дела.

— Я люблю тебя! — сказал Мариус.

— Я обожаю тебя! — сказала Козетта.

И они бросились друг другу в объятия.

— Теперь, — сказала Козетта, с торжествующим видом расправляя складки пеньюара, — я остаюсь.

— Нет, — возразил Мариус умоляющим тоном, — мы сейчас кончим.

— Опять нет?

Мариус совершенно серьезно сказал ей:

— Уверяю тебя, Козетта, что это невозможно.

— А! Вы говорите строгим голосом, милостивый государь! Хорошо, я ухожу. Отец, вы меня не поддержали. Господин отец и господин муж — вы оба тираны. Я сейчас скажу это дедушке. Может быть, вы думаете, что я сейчас же вернусь нежничать с вами, в таком случае вы очень ошибаетесь. Я горда. Теперь можете приходить сами. Вы увидите, что без меня вам станет скучно. Я ухожу — это решено.

И она вышла.

Через две секунды дверь опять отворилась, ее прелестное свежее личико еще раз выглянуло, и она крикнула:

— Я очень сильно рассердилась!

Дверь закрылась, и снова установился мрак. Это был как бы сбившийся с дороги солнечный луч, который, даже не подозревая об этом, вдруг прорезал мрак.

Мариус удостоверился, что дверь плотно затворена.

— Бедная Козетта! — прошептал он. — Когда она узнает…

При этих словах Жан Вальжан весь задрожал.

Он помутившимися глазами взглянул на Мариуса.

— Козетта! О да, это правда, вы расскажете все это Козетте. Это будет справедливо, но я и не подумал об этом. На одно у человека хватает силы, а на другое не хватает. Милостивый государь, заклинаю вас, умоляю вас, милостивый государь, дайте мне ваше честное слово, что вы не скажете ей этого. Разве вам еще мало, что вы знаете это? Я мог бы рассказать это о самом себе, я объявил бы это всему свету, всем, — это мне все равно, но ей, она не знает, что это такое, это испугало бы ее. Каторжник… Что это такое? Нужно будет объяснить ей, рассказывать: «Каторжник — это человек, который был на каторге». Она видела один раз, как провозили каторжников. О господи!

Он опустился в кресло и закрыл лицо руками. Он сидел тихо, но по вздрагиванию его плеч видно было, что он плачет. Молчаливые слезы — самые ужасные слезы.

Он задыхался от рыданий. У него судорожно сжалось горло, он откинулся на спинку кресла, как бы желая набрать воздуха, и сидел, свесив руки и обернувшись к Мариусу мокрым от слез лицом, и Мариус услышал, как он тихо прошептал, как будто бы его голос доносился из бездонной пропасти:

— О, как бы я хотел умереть!

— Будьте покойны, — сказал Мариус, — я никому не стану рассказывать вашей тайны.

Может быть, менее растроганный, чем это следовало бы, а отчасти, может быть, и потому еще, что в течение этого часа он уже успел освоиться с тем, как при нем каторжник постепенно заступал место Фошлевана, а также уже постепенно постигнув всю глубину пропасти между этим каторжником и им самим, но только Мариус прибавил:

— Я не могу не сказать вам ничего относительно порученного вам вклада, который вы так верно и честно возвратили. Это служит доказательством вашей честности. Вас необходимо за это вознаградить. Назначьте сами сумму, и вам тотчас ее заплатят. Не бойтесь, что вас могут упрекнуть, будто вы назначили слишком высокую сумму.

— Благодарю вас, милостивый государь, — кротко ответил Жан Вальжан.

Он с минуту подумал, машинально проводя концом указательного пальца по ногтю большого, потом громко сказал;

— Теперь почти все кончено. Остается еще одно.

— Что именно?

Жан Вальжан как бы колебался с минуту, а потом без голоса, почти не дыша, он скорее прошептал, чем сказал:

— Теперь вы знаете все, милостивый государь. Скажите же мне, имею ли я право

видеть Козетту?

— Мне кажется, нет; это было бы самое лучшее, — холодно отвечал Мариус.

— Я ее больше не увижу, — прошептал Жан Вальжан.

И он направился к двери. Он взялся рукой за дверную ручку, повернул ее, дверь полуотворилась, Жан Вальжан открыл ее настолько, чтобы можно было пройти, постоял с минуту, потом снова затворил дверь и вернулся к Мариусу.

Лицо его было уже не бледное, а посиневшее, как у мертвеца. На глазах уже не было видно слез, вместо них горел огонь. Его голос вдруг стал странно спокоен.

— Послушайте меня, милостивый государь, — сказал он, — если вы позволите, я буду приходить только посмотреть на нее. Уверяю вас, мне очень хочется этого. Если бы я так не дорожил возможностью видеть Козетту, я никогда ничего бы не сказал вам, я бы просто

уехал. Но, желая оставаться возможно ближе к Козетте и продолжать ее видеть, я считал долгом открыть вам все. Надеюсь, вам понятно, что именно я хочу сказать этими словами? Это ведь так понятно и так естественно само собой! Видите ли, она прожила у меня девять лет. Мы жили сначала вместе в маленьком домике на бульваре, потом она была в монастыре, потом мы жили около Люксембургского сада. Там вы и увидели ее в первый раз. Вы помните ее голубую плюшевую шляпку? Потом мы жили в квартале Инвалидов, где была решетка и сад, — на улице Плюмэ. Моя комната выходила окнами на задний двор, но я всегда слышал, когда она играла на фортепиано. Вот какую я вел жизнь. Мы никогда не расставались. Так продолжалось девять лет и несколько месяцев. Я играл роль ее отца, она считала себя моей дочерью. Не знаю, понимаете ли вы меня, господин Понмерси, но для меня слишком трудно уйти с тем, чтобы никогда больше ее не видеть, не говорить с ней. Если вы не найдете это дурным, я буду время от времени навещать Козетту. Я буду приходить изредка. Я не

буду долго сидеть. Вы прикажете, чтобы меня принимали в маленьком зале на первом этаже. Я мог бы отлично пользоваться и черным ходом, которым ходит прислуга, но это может вызвать нежелательные толки. Поэтому, я думаю, будет лучше, если я буду появляться так же, как и все остальные гости. Поверьте мне, милостивый государь, мне очень бы хотелось сохранить возможность видеть Козетту, хотя бы только изредка и в те дни, когда вы разрешите. Вообразите на моем месте себя самого, ведь у меня только она и осталась в жизни. И потом это необходимо и из предосторожности. Если бы я вдруг перестал ходить, это могло бы произвести на нее совсем нежелательное действие и показалось бы странным. Но я мог бы, например, приходить вечером, когда совсем стемнеет.

— Вы можете приходить каждый вечер, — сказал Мариус, — и Козетта будет вас ждать.

— Вы очень добры, милостивый государь, — сказал Жан Вальжан.

Мариус поклонился Жану Вальжану, затем счастливый проводил несчастного до двери, и эти два человека расстались.

Глава 355

Мариус был расстроен.

Теперь ему стало понятно испытываемое им отвращение к человеку, близ которого он видел Козетту. В этом человеке было что-то загадочное, от чего его предостерегал инстинкт. И это загадочное таило в себе самый отвратительный вид позора: каторгу. Этот почтенный господин Фошлеван оказался каторжником Жаном Вальжаном.

Внезапное открытие такой тайны в своем счастье имело в себе сходство с тем, как если бы вдруг оказался скорпион в гнезде горлиц.

Неужели счастью Мариуса и Козетты суждено отныне навсегда иметь такое соседство? Неужели это такое явление, которое не может быть изменено? Неужели принятие этого человека в

свою семью составляет необходимое условие брака? Неужели против этого ничего нельзя предпринять?

Неужели Мариус, вступая в брак, женился также и на каторжнике?

Душа его сияла светом и радостью. Он узнал величайшее наслаждение жизни, и вдруг этому счастливому влюбленному пришлось пережить такое огорчение, которое заставило бы даже ангела выйти из благоговейного экстаза, даже полубога, наслаждающегося славой.

Как это часто бывает при таких неожиданных переменах, Мариус задавал себе вопросы, может ли он упрекнуть себя в чем-нибудь? Может быть, он был слишком недогадлив? Может быть, он был недостаточно предусмотрителен? Может быть, он поступил легкомысленно? Даже не совсем легкомысленно, а так, чуть-чуть. Может быть, он сам виноват в том, что не принял никаких мер и, не рассуждая ни о чем, отдался охватившему его чувству любви, и это увлечение закончилось его браком с Козеттой? Он для себя

решил и уверовал в это, — так бывает очень часто, — что, заставляя нас задумываться о самих себе и анализировать поступки, происходящие с нами, жизнь тем самым мало-помалу нас исправляет. Он теперь уяснил себе мечтательную сторону своей натуры, представляющей нечто вроде внутреннего облака, свойственного многим натурам, которое во время сильных припадков страсти и горя увеличивается, изменяя температуру души, и завладевает всем человеком, оставляя только совесть, окутанную туманом. Мы не раз отмечали эту характерную черту личности Мариуса. Он вспомнил, что на протяжении шести или семи недель, проведенных им на улице Плюмэ он, опьяненный любовью, даже не заговаривал с Козеттой о драме в лачуге Горбо, где жертва так упорно хранила молчание, как во время самой борьбы, так и потом во время бегства. Как это могло случиться, что он ни разу не говорил об этом с Козеттой? А между тем воспоминания об этом событии были в то время так свежи! Как это случилось, что он не назвал Тенардье даже и в тот день, когда он встретил

Эпонину? Теперь он едва мог объяснить себе свое тогдашнее молчание, а между тем причина все-таки существовала. Он вспоминал свое ослепление, свое опьянение Козеттой, свою всепоглощающую любовь, это охватившее его стремление к созданному им идеалу, потом к этому также примешивалось почти незаметное влияние рассудка, почти что инстинктивно требовавшего, под влиянием овладевшего им в то время состояния, скрыть и даже изгнать из своей памяти это ужасное событие, всякого воспоминания о котором он боялся, в котором он не хотел играть никакой роли, от которого он скрывался и в котором он не мог выступить ни рассказчиком, ни свидетелем без того, чтобы не стать обвинителем. Впрочем, эти несколько недель прошли очень быстро. Времени хватало только на любовь. Наконец, взвесив все это и обдумав со всех сторон, он стал размышлять, что произошло бы, если бы он рассказал Козетте о западне в доме Горбо, если бы он назвал ей Тенардье, если бы он даже открыл ей, что Жан Вальжан был каторжником? Изменило ли бы это

ее, Козетту? Разве он в состоянии был бы отступить? Разве он стал бы меньше любить ее? Разве он не желал бы точно так же жениться на ней? Нет. Разве это изменило бы что-нибудь в том, что произошло? Нет. Значит, не о чем жалеть и не в чем упрекать себя. Все вышло хорошо. У этих опьяненных страстью людей, которых называют влюбленными, есть свой бог — слепота. Мариус шел по дороге, которую выбрал бы ясновидящий. Любовь наложила ему повязку на глаза, чтобы привести его — куда? В рай.

Но с этим раем было отныне связано соседство ада. К прежнему отвращению Мариуса к этому человеку, к этому Фошлевану, ставшему Жаном Вальжаном, примешивался ужас.

В этом ужасе, надо заметить, была какая-то жалость и даже удивление.

Этот вор, вор-рецидивист, добровольно возвращает отданную ему на хранение сумму и какую еще сумму? Шестьсот тысяч франков. Только он один знал тайну клада. Он мог все оставить себе, а между тем он все возвратил.

Кроме того, он рассказал все и о себе самом. Никто его к этому не принуждал. Если теперь и знали,, кто он такой, то только благодаря ему самому. В этом видно было больше чем готовность принятия оскорбления, тут была и готовность встретить лицом к лицу опасность. Для осужденного маска — не маска, а защита. Он отказался от этой защиты. Чужое имя давало ему безопасность. Он отказался от чужого имени. Он, этот каторжник, мог навсегда укрыться в честной семье, но он не поддался этому искушению. И по какой причине? Чтобы не терпеть укоров совести. Он сам себе это так объяснил, и не верить этому было нельзя. В общем, каков бы ни был этот Жан Вальжан, в нем неоспоримо происходило пробуждение совести. В нем начиналось какое-то таинственное возрождение, и такое состояние, очевидно, давно уже овладело этим человеком. Такие приступы справедливости и добра не свойственны обыкновенным натурам. Пробуждение совести — это величие души.

Жан Вальжан был искренен. Эта искренность, видимая, осязательная, непобедимая, очевидная

даже по причиняемому ею горю, служила наилучшим доказательством и принуждала его верить всему, что говорил этот человек. А это коренным образом изменяло к нему отношение Мариуса. Какое чувство питал он к Фошлевану? Недоверие. Что вызвал в нем Жан Вальжан? Доверие.

В таинственном балансе этого Жана Вальжана, который составлял погруженный в раздумье Мариус, он сначала разобрал актив и пассив, а потом старался подвести итоги. Но все представлялось ему как в облаках бури. Мариус, стараясь составить себе ясное представление об этом человеке и следуя, так сказать, за Жаном Вальжаном в глубину его помыслов, терял его и видел его как бы в роковом тумане. Честно возвращенный вклад, искренность признания, — все это было хорошо. Это было вроде молнии, осветившей на мгновение тучу, но потом туча опять становилась черной. Как ни смутны были воспоминания Мариуса, но он все-таки кое-что вспомнил. Что это было за событие в логове Жондретта? Почему, когда явилась полиция,

человек этот, вместо того чтобы жаловаться, бежал? На этот вопрос Мариус теперь нашел ответ. Потому что этот человек был преступник, бежавший с каторги.

Другой вопрос. Зачем этот человек явился на баррикаду? Теперь вдруг воспоминание об этом ясно всплыло в памяти Мариуса. Этот человек был на баррикаде. Он там не дрался. Зачем он приходил туда? Перед этим вопросом вставал призрак и давал требуемый ответ. Его привлек туда Жавер. Мариус теперь ясно вспомнил зловещее появление Жана Вальжана, когда он вел за баррикаду связанного Жавера, и он еще как будто слышал раздавшийся за углом улицы Мондетур звук пистолетного выстрела. Казалось вполне понятным, что шпион и каторжник ненавидели друг друга. Они мешали друг другу. Жан Вальжан приходил на баррикаду, чтобы отомстить. Он пришел туда поздно. Он, видимо, знал, что Жавер попал в плен. Корсиканская вендетта проникла в некоторые низшие слои общества и сделалась там законом, она так проста, что не удивляет сердца, наполовину

обратившиеся к добру, и эти сердца так устроены, что преступник, находящийся на пути к исправлению, может быть очень робким, когда идет воровать, и смелым, когда он мстит. Жан Вальжан убил Жавера. Так, по крайней мере, это казалось.

Наконец, еще один, последний, вопрос, но на него нельзя было придумать ответа. Мариус чувствовал, что этот вопрос сжимает его, как тиски. Как это случилось, что жизнь Жана Вальжана так долго соприкасалась с жизнью Козетты? Что это за непонятная игра Провидения, которая поставила ребенка в такое близкое соприкосновение с этим человеком? Неужели же там, наверху, на небесах, тоже есть цепи, и эти цепи соединили ангела и демона? Значит, существует такая таинственная каторга, где преступление и невинность могут очутиться вместе? В этом списке осужденных, который называют человеческой судьбой, две судьбы могут быть рядом: одна наивная, другая ужасная, одна залитая божественным сиянием зари, другая навсегда омраченная сразившим ее блеском

молнии. Кто в состоянии объяснить эту необычайную прихоть Провидения? Каким образом, каким чудом могли соединиться судьбы этого юного ангела и старого каторжника? Кто мог сблизить ягненка с волком и — непостижимая вещь! — привязать волка к ягненку? Это видно было по тому, что волк любил ягненка, свирепое существо полюбило существо слабое, исчадье ада в течение девяти лет служило поддержкой ангелу. Детство и юность Козетты, ее образование, ее стремление к жизни и свету, — все это совершалось благодаря этому уродливому самопожертвованию. Здесь вопросы распадались, так сказать, на бесчисленные загадки, бездны раскрывались в безднах, и Мариус не мог без содрогания приблизиться к Жану Вальжану. Кто такой был этот погибший человек?

Древние библейские символы вечны. В человеческом обществе в том виде, как оно существует, до того времени, пока его не просветит более яркий свет, всегда существовало и существует два типа людей — один высший,

другой низший, представителем поборника добра был Авель, приверженцем зла стал Каин. Что могло смягчить сердце Каина? Что это за бандит, набожно погруженный в обожание девственницы, бодрствующий над нею, воспитывающий ее, оберегающий и охраняющий ее чистоту, тогда как сам он погряз в пороке? Что это за клоака, благоговеющая перед невинностью и не оставляющая на ней ни одного пятнышка? Как мог этот Жан Вальжан дать воспитание Козетте? Каким образом эта темная личность могла поставить себе целью жизни оберечь от малейшей тени, от малейшего облачка восход звезды?

Это составляло тайну Жана Вальжана, в этом видна была также и тайна Бога.

Мариус отступил, пораженный этой двойной тайной. Один из участников этой тайны до известной степени успокаивал его насчет другого. Во всем этом бог был так же очевиден, как и Жан Вальжан. Бог сам избирает свои орудия и, как хочет, так ими и пользуется. Он не

обязан давать в этом отчет человеку. Пути Господни неисповедимы. Жан Вальжан работал над Козеттой. Он до известной степени создал эту душу. Это — неоспоримо. Ну а дальше? Работник был ужасен, но зато работа была великолепна. Бог творит чудеса так, как это ему кажется необходимым. Он создал маленькую Козетту и поручил ее Жану Вальжану. Ему захотелось выбрать такого странного работника. Разве мы смеем спрашивать, зачем сделал он это? Разве в первый раз навоз помогает весне вырастить розу?

Мариус сам давал себе ответы и сам находил, что они хороши. Относительно всех указанных нами пунктов он не смел затрагивать Жана Вальжана, потому что сознавал, что он не имеет права этого делать. Он обожал Козетту, он обладал Козеттой. Козетта была совершенно чиста. Этого ему было достаточно. Какое ему еще нужно объяснение? Козетта была светом. А свет разве нуждается в просветлении? У него было все. Чего ему еще нужно? Разве этого мало — обладать всем? Личные дела Жана Вальжана его

не могли касаться. Мысленно наклоняясь над роковой тенью этого человека, он цеплялся за торжественно данное ему объяснение отверженного: «Я для Козетты ничто. Десять лет назад я даже не знал о ее существовании».

Жан Вальжан был случайным прохожим. Он сам сказал это. И вот он прошел мимо. Кто бы он ни был, его роль окончена. Теперь уже Мариус должен исполнять волю Провидения относительно Козетты. Козетта нашла в небесной лазури существо подобное себе, своего возлюбленного, своего супруга, своего покровителя. Возносясь в небеса, Козетта, окрыленная и преобразившаяся, оставляла за собой на земле пустую и безобразную оболочку — Жана Вальжана.

В вихре мыслей, носившихся в голове Мариуса, перед ним неудержимо вставал ужас, который внушал ему Жан Вальжан. Ужас этот имел в себе, может быть, нечто священное, потому что, как мы уже говорили, он чувствовал что-то такое quid divinum {Нечто божественное

(лат.).} в этом человеке. Но что бы он ни делал и какие бы ни искал смягчающие обстоятельства, его всегда останавливало одно и то же: он был каторжником, то есть существом, которому нет места на социальной лестнице, так как он стоит ниже самой последней ступени. Каторжник следует за самым последним из подонков общества. Каторжник, так сказать, не имеет себе подобия среди живых людей. Закон отнял у него все человеческое, что только можно отнять у человека. Мариус, несмотря на свои демократические убеждения, строго стоял за неумолимость карательной системы и считал, что тех, кого карает закон, следует карать по всем строгостям закона. Он еще не прошел, скажем мы, все стадии прогресса. Он еще не мог понять разницы между тем, что написано человеком, и тем, что начертано богом, между законом и правом. Он не рассматривал и не взвешивал права, которым человек располагает по своей природе. Он не возмущался словом «наказание». Он находил вполне естественным, что наиболее серьезные нарушения закона карались вечными

мучениями, и наказание, налагаемое обществом, он считал нормальным явлением цивилизации. Он еще держался этого мнения, хотя впоследствии взгляды его неизбежно должны были бы измениться; он был добр от природы, и его душа была уже готова воспринять неясный еще ему самому прогресс.

Жан Вальжан казался ему ужасным и отталкивающим. Для него он был отверженным каторжником. Слово это для него звучало как труба правосудия, и поэтому после долгих размышлений он кончил тем, что отвернулся от него. Vade retro {Изыди, Сатана (лат.).}.

Мариус, это необходимо иметь в виду и даже запомнить, спрашивая Жана Вальжана, так что Жан Вальжан даже сказал ему: «Вы меня исповедуете», все-таки не рискнул задать ему три или четыре самых главных вопроса. Вопросы эти только промелькнули у него в голове, но он сам их испугался. Логово Жондретта? Баррикада? Жавер? Кто знает, к чему бы привели признания допрашиваемого? Жан Вальжан не был похож на

человека, который может отступить, и, кто знает, может быть, и сам Мариус, после того как он его оттолкнул, снова пожелает его вернуть? В жизни каждого из нас разве не случалось переживать такие минуты, когда, задав вопрос, затыкают уши, чтобы не слышать ответа? Эта трусость проявляется особенно у тех, кто любит. Неблагоразумно поэтому выспрашивать при таких сложных до чрезвычайности обстоятельствах, в особенности же когда тут замешано нечто неразрывно связанное с нашей собственной жизнью. Полные отчаяния объяснения Жана Вальжана проливали какой-то странный свет, и — кто знает? — может быть, этот свет осквернил бы и Козетту? Кто знает, быть может, на челе этого ангела останется отражение адского огня? Даже только отблеск такой молнии налагает клеймо. Рок иногда допускает, чтобы и на невинных существах отражались следы преступлений. Самые чистые личности могут навсегда сохранить на себе клеймо ужасного соседства. Справедливо это или нет, но Мариус испугался. Он уже слишком

много знал. Он скорее хотел забыть все, чем требовать дальнейших объяснений. Он был вне себя и, унося на руках Козетту, не глядел на Жана Вальжана.

Этот человек представлял собою ночь, ночь конкретную и ужасную. Можно ли осмелиться искать в глубине этого мрака? Кто знает, что он ответит? Заря могла померкнуть навсегда.

В таком состоянии для Мариуса страшно было и подумать, что этот человек имел какое-нибудь отношение к Козетте. Он теперь почти упрекал себя, что не задал этих роковых вопросов, которые его испугали и ответы на которые могли бы дать ясное и окончательное разрешение того, что его мучило. Он считал себя очень добрым, очень мягким и, скажем мы, очень слабым. Эта слабость повлекла за собой неосторожный поступок. Он позволил себе растрогаться. И он был виноват в этом. Он должен был просто и откровенно оттолкнуть Жана Вальжана. Жан Вальжан был язва, и он должен был очистить свой дом от этого человека.

Он сердился на себя, он досадовал на внезапное волнение, которое его оглушило, ослепило и увлекло. Он был недоволен собой.

Что теперь делать? Предстоящие посещения Жана Вальжана внушали ему глубокое отвращение. Зачем будет приходить к нему этот человек? Что будет он здесь делать? Он не хотел больше думать, не хотел углубляться в эти вопросы, не хотел испытывать самого себя. Он обещал, он дал себя увлечь настолько, что даже обещал. Он дал обещание Жану Вальжану. Нужно уметь держать слово, данное даже каторжнику, в особенности каторжнику. Но прежде всего на нем лежала обязанность по отношению к Козетте. В результате это только еще более усиливало в нем отвращение.

Мариус неясно перебирал в своем уме все эти мысли, переходя от одной к другой, и все это одинаково его волновало. Ему нелегко было скрыть это волнение от Козетты, но любовь делает человека сильным, Мариусу удалось справиться с собой.

Впрочем, он как будто без всякой видимой цели задал несколько вопросов Козетте, такой же чистой, как белая голубка, и не подозревавшей его уловки. Он расспрашивал ее о ее детстве и юности и все более и более убеждался, что, насколько человек может быть добрым, заслуживающим полного уважения отцом, всем этим Жан Вальжан был для Козетты. Все, что Мариус предвидел и предполагал, все это оказалось действительностью. Зловещая крапива любила и оберегала лилию.

Глава 356

На следующий день, когда стало смеркаться, Жан Вальжан постучал в ворота дома Жильнормана. Ему отворил Баск. Баск ждал его на дворе на заранее указанном ему месте, словно ему были отданы относительно этого особые приказания. Прислуге иногда говорят: «Ты должен стоять там и дожидаться такого-то господина».

Баск, не ожидая, пока Жан Вальжан заговорит с ним, сказал ему:

— Господин барон приказал мне спросить вас, угодно ли будет вам подняться наверх или же вы желаете остаться внизу?

— Я останусь внизу, — отвечал Жан Вальжан.

Баск, впрочем, очень почтительный, открыл дверь в нижнюю залу и сказал:

— Я сейчас доложу госпоже баронессе.

Комната, в которую вошел Жан Вальжан, находилась в нижнем этаже, она была сводчатой и сырой, в случае необходимости ее превращали в кладовую, она освещалась выходившим на улицу окном с железной решеткой, пол в ней был выложен красными плитками.

Эта комната не принадлежала к числу тех, которые регулярно убираются. Пыль спокойно лежала толстым слоем на всех предметах. Тут никто не занимался уничтожением пауков. Великолепная черная паутина, украшенная

мертвыми мухами, широко раскинулась по стеклу окна. В одном углу этой маленькой и низкой комнаты виднелась груда пустых бутылок, нагроможденных одна на другую. Со стены, выкрашенной охрой, отстала большими кусками штукатурка. Глубину комнаты занимал камин, выкрашенный в черную краску, с узкой полкой вокруг. Там был разведен огонь. Это означало, что в доме рассчитывали на ответ Жана Вальжана: «Останусь внизу».

Возле камина с обеих сторон стояло по креслу. Между креслами вместо ковра был просто половик, в котором было больше веревок, чем шерсти. Комната освещалась огнем от камина и слабым светом сумерек, проникавшим в окно.

Жан Вальжан чувствовал себя утомленным. Он уже несколько дней ничего не ел и совсем не спал. Он опустился на одно из кресел.

Вошел Баск, поставил на камин зажженную свечу и удалился. Жан Вальжан сидел, опустив голову, и не видел ни бискайца, ни свечи. Вдруг

он точно пробудился. Сзади него стояла Козетта. Он не видел, как она вошла, но он почувствовал ее присутствие. Он обернулся и взглянул на нее. Она была очаровательна. Но этим глубоким взглядом он созерцал не ее красоту, а душу.

— А, — вскричала Козетта, — отец, я знала, что вы чудак, но ничего подобного я не ожидала. Вот идея! Мариус сказал мне, что вы желаете, чтобы я приняла вас именно здесь.

— Да, я просил об этом.

— Я ждала такого ответа. Хорошо. Предупреждаю, что я вам сделаю сцену. Начнем сначала. Отец, поцелуйте меня.

И она подставила щеку. Жан Вальжан остался неподвижен.

— Вы не шевелитесь. Я ведь это прекрасно вижу. Вы сидите в позе преступника. Но это все равно, я вас прощаю. Христос сказал: «Подставь другую щеку». Вот она.

И она протянула другую щеку. Жан Вальжан не шевельнулся. Казалось, будто его ноги

приросли к полу.

— Это становится серьезным, — сказала Козетта. — Что я вам сделала? Я расстроена. Вы должны меня умилостивить. Вы обедаете с нами.

— Я уже обедал.

— Это неправда. Я нажалуюсь на вас господину Жильнорману. Дедушки затем и существуют, чтобы бранить отцов. Идем. Пойдемте со мной в гостиную. Сию минуту.

— Это невозможно.

Козетта почувствовала, что она теряет почву под ногами. Она перестала приказывать и перешла к вопросам.

— Но почему? Для того чтобы увидеть меня, вы выбрали самую плохую комнату во всем доме. Здесь просто ужасно.

— Ты знаешь… — Жан Вальжан спохватился. — Вы знаете, баронесса, я чудак, у меня своя причуды.

Козетта всплеснула своими маленькими ручками

— Баронесса!.. Вы знаете… Это еще что за новости! Что это значит?

Жан Вальжан изобразил на своем лице раздирающую сердце улыбку, к которой он иногда прибегал.

— Вы хотели быть баронессой. Ну, вот вы и стали баронессой.

— Но не для вас, отец.

— Не зовите меня больше отцом.

— Почему?

— Зовите меня господином Жаном или просто Жаном, если хотите.

— Разве вы не отец мне больше? Я уже больше не Козетта? Господин Жан? Что же это все значит? Но это целый переворот! Что тут такое произошло? Взгляните же прямо на меня. Вы не хотите жить с нами! Вы не хотите идти ко

мне в комнату! Что я вам сделала? Что я вам сделала? Что-нибудь да случилось же?

— Ничего.

— Ну, дальше?

— Все идет по-прежнему.

— Почему же вы переменили ваше имя?

— Вы же переменили свое, — он улыбнулся той же улыбкой и прибавил: — Так как вы теперь баронесса Понмерси, то и я могу быть господином Жаном.

— Ничего не понимаю. Все это нелепо. Я попрошу у мужа позволения, чтобы вы были господином Жаном. Не думаю, чтобы он согласился. Вы меня очень огорчаете. Можно иметь свои причуды, но нельзя огорчать свою маленькую Козетту. Это нехорошо. Вы добрый. Вы не имеете права быть злым.

Он не отвечал. Она быстро взяла его за обе руки и, непередаваемым жестом подняв их к своему лицу, провела ими по своей шейке, по

подбородку, что должно было означать глубочайшую нежность и ласку.

— О, — сказала она ему, — будьте же добры! — И она продолжала: — Вот что я называю быть добрым: быть милым, жить здесь, здесь тоже есть птицы, как и на улице Плюмэ; жить с нами, покинуть жалкую лачугу на улице Омм Армэ, не задавать нам загадок, быть как и все, обедать с нами, завтракать с нами, быть моим отцом.

Он освободил свои руки.

— Вам не нужен больше отец, у вас есть муж.

Козетта рассердилась.

— Мне не нужен отец? Я просто не знаю, что и возразить на это, вы говорите такие ужасные вещи!

— Если бы Туссен была здесь, — возразил Жан Вальжан, как человек, желавший вернуть себе утраченное самообладание и цеплявшийся за каждую соломинку, — она первая согласилась бы со мной и сказала бы, что это правда, что у

меня всегда были свои причуды. Ничего нового не случилось, но я всегда любил свой черный уголок.

— Но здесь холодно. Здесь плохо видно. Это желание быть господином Жаном ужасно. Я не хочу, чтобы вы мне говорили это.

— Сейчас, идя сюда, — отвечал Жан Вальжан, — я видел у столяра на улице Сен-Луи мебель. Если бы я был хорошенькой женщиной, я купил бы себе эту мебель. Очень хорошенький туалет в новом стиле из розового дерева с инкрустацией. Довольно большое зеркало. Есть ящики. Все это очень красиво.

— У! Гадкий медведь, — отвечала Козетта.

И, сжав зубки, она изобразила с необычайной грацией рассердившуюся кошечку.

— Я зла, — возразила она, — со вчерашнего дня вы меня все сердите. Я страшно сержусь. Я ничего не понимаю. Вы не защищаете меня от Мариуса. Мариус не поддерживает меня против вас. Я совсем одна. Я сама устраиваю комнату, и

вдруг мою комнату не берут. Мой жилец ставит меня в отчаянное положение. Я приказываю Николетте приготовить хороший обед, а мне говорят: «Баронесса, ваш обед не нужен». И мой отец Фошлеван хочет, чтобы я его звала господином Жаном и чтобы я принимала его в старом гадком заплесневелом погребе, где стены обросли бородой и где вместо канделябров стоят пустые бутылки, а вместо занавесей висит паутина! Вы хотите быть оригиналом, согласна, такой у вас нрав, но с новобрачными нельзя так поступать. Вам не следовало бы проявлять этих странностей теперь. Вы, должно быть, очень хорошо себя чувствуете на вашей противной улице Омм Армэ. Я же приходила там в отчаяние! Что вы имеете против меня? Вы мне доставляете много горя. Фи! — И вдруг, сразу став серьезной, она пристально взглянула на Жана Вальжана и прибавила: — Вы сердитесь на меня за то, что я счастлива?

Наивность, сама того не ведая, проникает иногда гораздо глубже, чем думают. Этот вопрос, очень простой со стороны Козетты, имел

глубокий смысл для Жана Вальжана. Козетта, желая слегка оцарапать, ранила его до крови.

Жан Вальжан побледнел. С минуту он молчал, потом с невыразимым ударением, и как бы говоря сам с собой, прошептал:

— Ее счастье было целью моей жизни. Теперь Бог может дать мне отставку. Козетта, ты счастлива, мое время миновало.

— А! Вы сказали мне «ты!», — вскричала Козетта. И она бросилась ему на шею.

Жан Вальжан растерялся и как безумный прижал ее к своей груди. Ему в эту минуту показалось, что она опять вернулась к нему.

— Спасибо, отец! — сказала ему Козетта.

Этот порыв привел Жана Вальжана в смятение. Он нежно освободился из рук Козетты и взял свою шляпу.

— Ну? — сказала Козетта.

Жан Вальжан отвечал:

— Я покидаю вас, баронесса, вас ждут, — и, стоя на пороге, он прибавил: — Я сказал вам «ты». Скажите вашему мужу, что этого больше не повторится. Простите меня.

Жан Вальжан вышел, оставив Козетту изумленной этим загадочным прощанием.

Глава 357

На следующий день Жан Вальжан явился в тот же самый час. Козетта не задавала ему больше вопросов, не удивлялась, не кричала, что ей холодно, не говорила о гостиной, она избегала называть его отцом и господином Жаном. Она позволяла себе говорить «вы». Она позволяла называть себя баронессой. Только она не была уже весела. Она была печальна, если только она была способна быть печальной.

По всей вероятности, у нее был с Мариусом один из тех разговоров, когда любимый человек говорит все, что ему хочется, ничего не объясняет, и тем не менее объяснение его

удовлетворяет любимую женщину. Любопытство влюбленных не идет дальше границ их любви.

Нижний зал был немного прибран. Бискаец убрал бутылки, а Николетта смела пауков.

Все последующие дни Жан Вальжан приходил в одно и то же время. Он приходил каждый день, не имея сил заставить себя понимать значение сказанных Мариусом слов иначе как буквально. Мариус старался уходить из дома в те часы, когда приходил Жан Вальжан. Все в доме привыкли к новому образу жизни Фошлевана. Этому помогла Туссен. «Наш господин всегда был таким», — повторяла она. Дедушка по этому поводу изрек следующее: «Это — оригинал». И этим все было сказано. К тому же в девяносто лет нет уже желаний заводить новые связи, это лишнее, всякое новое лицо вносит только лишнее стеснение. Ему нет больше места, все привычки уже установились. Дедушка даже был рад отделаться от этого господина Фошлевана или Траншлевана. Он прибавлял: «Нет ничего обыкновеннее этих оригиналов. Они воплощают

в себе все странности, они делают это без всякой причины. Маркиз де Канапль был самым худшим из всех стариков. Он купил дворец затем, чтобы жить на чердаке. Этим людям приходят в голову самые странные мысли».

Никто и не догадывался о роковой подоплеке этого поведения. Но кому же было и угадывать это? В Индии существуют такие болота, вода в них какая-то необыкновенная, то по ней пробегает рябь даже и в то время, когда ветра совсем нет, то она двигается там, где должна была бы быть совершенно спокойной. При взгляде на поверхность видно только кажущееся беспричинное кипение, но не видно ползущей по дну гидры.

Много людей тоже носят в себе невидимое для других чудовище, боль, которую они кормят, дракона, который грызет их, отчаяние, которое мучает их по ночам. Какой-нибудь человек внешне похож на всех; он так же ходит, двигается. Никто не знает, что в нем живет ужасный, злосчастный паразит с тысячью зубов,

он живет в этом несчастном, который от этого умирает. Никто не знает, что этот человек бездна.

Он точно глубокое озеро со стоячей водой. Время от времени на его поверхности происходят непонятные волнения, появляется ужасная рябь, потом она исчезает, потом опять показывается, поднимается пузырь из воздуха и лопается. Это так ничтожно, но в то же время это ужасно. Это дыхание неведомого чудовища.

Некоторые странные привычки — приходить тогда, когда все уходят, стушевываться, когда остальные выставляются, обесцвечиваться, выбирать пустынные аллеи, предпочитать пустынные улицы, не вмешиваться в разговоры, избегать толпу и празднества, казаться состоятельным и жить бедно, хотя на самом деле и быть богатым, держать ключ и свечу у привратника, входить через маленькую дверь, пользоваться потайной лестницей, — все эти ничего не значащие обстоятельства — это рябь, пузыри, зловещие складки на поверхности, часто появляющиеся с ужасного дна.

Так прошло несколько недель. Новая жизнь мало-помалу овладевала Козеттой, отношения, которые создает брак, визиты, хозяйство, удовольствия отнимали много времени. Удовольствия Козетты были недорогими; они заключались только в одном: быть с Мариусом. Гулять с ним, быть всегда с ним составляло главное занятие ее жизни. Идти вдвоем под руку было для них вечно новой радостью, они любили идти прямо по солнцу, по улице, перед всеми, не прячась, любили быть и одни, вдвоем. Скоро выяснилось, что Туссен не может ужиться с Николеттой, жизнь под одной крышей для этих двух старых дев сделалась невозможней, и она ушла. Дедушка чувствовал себя очень хорошо. Мариус вел и выиграл за это время несколько дел. Тетушка Жильнорман была довольна той жизнью, которую она вела рядом с молодой четой. Жан Вальжан приходил каждый день.

Слово «ты» исчезло, его заменили «вы», «баронесса», «господин Жан», все это сделало его другим для Козетты. Ему удалось его желание — отдалить ее от себя. Она делалась все

веселей и относилась к нему уже не так нежно. Однажды она вдруг сказала ему: «Вы были моим отцом, теперь вы мне не отец, вы были моим дядей, теперь вы мне даже и не дядя, вы были господином Фошлеваном, теперь вы Жан. Кто же вы наконец? Я не люблю этого. Если бы я не знала, какой вы добрый, я бы стала вас бояться».

Он продолжал жить на улице Омм Армэ — не будучи в состоянии решиться переехать из квартала, где жил с Козеттой.

В первое время он оставался подле Козетты по нескольку минут, потом уходил.

Мало-помалу он удлинял свои визиты. Можно было сказать, что, пользуясь увеличивающимися днями, он приходил раньше и уходил позже.

Однажды у Козетты вырвалось: «Отец». На темном старом лице Жана Вальжана промелькнул луч радости. Он возразил ей: «Скажите: Жан». «А, правда, — отвечала она со смехом, — господин Жан». «Хорошо», — сказал он. Он отвернулся, чтобы она не видела, как он вытирает глаза.

Глава 358

Это было в последний раз. С этого момента свет исчез, воцарилась полная темнота. Не было уже прежней фамильярности, не стало приветственных поцелуев, не слышалось уже глубоко нежного слова «отец». Он по собственному желанию и по его собственному настоянию последовательно вытеснил себя из всего, что составляло его счастье, на его долю выпало большое несчастье — утратив в один прекрасный день Козетту всю целиком, переживать потом потерю ее по частям. Глаз кончает тем, что привыкает к слабому свету, проникающему в подвалы. В общем, по-видимому, его удовлетворяла возможность видеть каждый день Козетту. Вся его жизнь сосредоточивалась в этом часе. Он садился рядом с ней, молча смотрел на нее, или он говорил с ней о минувших годах, о ее детстве, о монастыре, о ее подругах в пансионе.

Однажды после полудня, в один из первых апрельских дней, уже теплых, но еще довольно

свежих, в то время, когда яркое солнце светило особенно весело, когда сады, видневшиеся из окон Мариуса и Козетты, волновались, точно пробуждаясь от сна, когда наконец распускался боярышник, когда старые стены дома стали покрываться убором из желтофиолей, когда в расщелинах между камнями стали появляться красные цветки жибрея, а в траве виднелись уже маргаритки и лютики, когда в воздухе начали порхать первые вестники тепла — белые бабочки, когда ветер, этот музыкант на непрерывно продолжающемся свадебном пиру природы, играл под зеленеющим сводом деревьев начало великой утренней симфонии, которую поэты называют весной, — Мариус сказал Козетте:

— Мы собирались сходить взглянуть на наш садик на улице Плюмэ. Пойдем. Нехорошо быть неблагодарными.

И они улетели, стремясь, как две ласточки, туда, где царила весна.

Сад на улице Плюмэ произвел на них впечатление утренней зари. За ними в их жизни

было уже нечто такое, что можно было бы назвать весной их любви. Дом на улице Плюмэ, взятый внаймы, все еще принадлежал Козетте. Они ходили и по саду и по дому. Здесь они вспомнили прошлое и как бы забыли обо всем остальном. Когда в обычный час вечером Жан Вальжан явился на улицу Филь-дю-Кальвер, Баск сказал ему:

— Сударыня с господином ушли и еще не возвращались.

Жан Вальжан молча сел и ждал целый час. Козетта все еще не возвращалась. Он опустил голову и ушел.

Козетта была так опьянена прогулкой «по их саду» и так весела, проведя целый день в воспоминаниях о прошлом, что на следующий день только об этом и говорила. Она даже не заметила, что она не видела накануне Жана Вальжана.

— Как вы добрались туда? — спросил ее Жан Вальжан.

— Пешком.

— А вернулись?

— В фиакре.

С некоторого времени Жан Вальжан стал замечать, что юная чета ведет слишком уединенную жизнь. Это ему не нравилось. Мариус жил чересчур экономно. Как-то Жан Вальжан все-таки осмелился спросить:

— Почему у вас нет кареты? Хорошенькое купе стоило бы вам не больше пятисот франков в месяц. Ведь вы богаты.

— Не знаю, — отвечала Козетта.

— И потом Туссен, — продолжал Жан Вальжан. — Она ушла, а вы ее никем не заменили. Почему это?

— Нам довольно и одной Николетты.

— Но вам нужна горничная.

— Разве у меня нет Мариуса?

— Вам нужно иметь собственный дом, держать прислугу, иметь карету, ложу в театре.

Для вас ничто не может быть слишком хорошо. Почему бы вам не пользоваться своим богатством? Богатство — хорошее прибавление к счастью.

Козетта не ответила ни слова. Продолжительность посещений Жана Вальжана не только не сокращалась, а скорее наоборот, возрастала. Когда сердце начинает скользить по наклонной плоскости, то оно уже не останавливается.

Когда Жану Вальжану хотелось продолжать визит и заставить позабыть о времени, он начинал расхваливать Мариуса, он находил его красивым, благородным, смелым, остроумным, красноречивым, добрым. Козетта, в свою очередь, принималась хвалить его еще более. Это тянулось нескончаемо. Мариус служил им неистощимой темой для разговоров, шесть букв его имени давали им материал, которого хватило бы, чтоб исписать целые тома. Благодаря этой маленькой хитрости Жан Вальжан мог подолгу видеть Козетту, забываться около нее. Это было

так приятно ему! Это было все равно, что целительный бальзам для его раны. Несколько раз случалось, что бискаец приходил по два раза и говорил:

— Господин Жильнорман прислал меня напомнить госпоже баронессе, что обед подан.

В эти дни Жан Вальжан возвращался домой очень задумчивый.

Однажды он остался дольше обыкновенного. На другой день он заметил, что в камине не было огня. «Ба! — подумал он. — Огня нет».

И он тотчас же сказал себе: «Это очень просто. Теперь апрель. Холода прекратились».

— Боже мой, как здесь холодно! — вскричала Козетта входя.

— Вовсе нет, — сказал Жан Вальжан.

— Значит, это вы не велели Баску разводить огня?

— Да. Теперь ведь почти что май месяц.

— Но тут надо топить до июня. В этом погребе надо топить круглый год.

— Я думал, что не нужно топить.

— Это тоже одна из ваших причуд! — вскричала Козетта.

На следующий день огонь в камине горел, но оба кресла стояли в противоположном конце комнаты, около двери.

«Что это значит?» — подумал Жан Вальжан. Он пошел за креслами и поставил их на обычное место около камина.

Тем не менее зажженный огонь придал ему мужество. Разговор продолжался дольше обыкновенного. Когда он собрался уходить, Козетта сказала ему:

— Муж мой сказал мне вчера очень странную вещь.

— Что такое?

— Он сказал мне: «Козетта, у нас тридцать тысяч годового дохода. Двадцать семь твоих и

три дал мне дедушка». Я отвечала: «Это составит ровно тридцать». Он возразил: «Достанет ли у тебя смелости жить всего на три тысячи?» Я отвечала: «Да, и даже если бы у нас ничего не было, только бы жить с тобой». Потом я спросила: «Зачем ты мне говоришь все это?» Он отвечал мне: «Я хотел знать твое мнение».

Жан Вальжан не нашелся, что сказать на это. Козетта, по всей вероятности, ждала услышать от него какое-нибудь объяснение этих странных слов, он слушал ее и угрюмо молчал, а потом вернулся на улицу Омм Армэ; он был так углублен в свои мысли, что ошибся воротами и вошел в соседний дом. И, только уже поднимаясь на второй этаж, он заметил свою ошибку и вернулся назад.

Его ум был истерзан предположениями. Мариус, очевидно, сомневался в происхождении этих шестисот тысяч франков и боялся, что деньги получены не из чистого источника, кто знает, может быть, даже он догадался, что эти деньги принадлежали Жану Вальжану, и потому

колебался, принять это подозрительное богатство или нет, предпочитая остаться с Козеттой бедными, чем пользоваться богатством сомнительного происхождения.

Вместе с тем Жан Вальжан начал чувствовать, что его как будто выпроваживают.

На следующий день вечером, войдя в низенький зал, он невольно вздрогнул: кресла исчезли. Не было даже ни одного стула.

— А! — вскричала Козетта входя. — Кресел нет! Где же кресла?

— Их нет здесь, — отвечал Жан Вальжан.

— Ну, это уж слишком!

Жан Вальжан пробормотал:

— Я велел Баску унести их.

— Зачем?

— Я пришел сегодня всего на несколько минут.

— Надолго вы пришли или нет, это вовсе не значит, что нужно все время стоять.

— Мне показалось, что Баску были нужны эти кресла в гостиной.

— Зачем?

— У вас сегодня вечером, по всей вероятности, будут гости.

— Нет, у нас никого не будет.

Жан Вальжан не мог сказать больше ни одного слова.

Козетта пожала плечами.

— Приказать унести кресла! В прошлый раз вы не велели топить! Как вы, однако, странны!..

— Прощайте! — прошептал Жан Вальжан.

Он не сказал: «Прощайте, Козетта». Но у него не хватило силы сказать: «Прощайте, баронесса». Он вышел удрученный. На этот раз он понял.

На следующий день он не пришел. Козетта заметила это только вечером.

— Странно, — сказала она, — господин Жан сегодня не приходил. У нее слегка сжалось сердце, но она почти не обратила на это

внимания, потому что ее тотчас же развлек поцелуй Мариуса.

Наступил следующий день, он опять не пришел.

Козетта не обратила на это внимания, спокойно провела вечер и спала ночью так же хорошо, как обычно, и вспомнила об этом только просыпаясь. Она была так счастлива!

Она послала Николетту к господину Жану узнать, не болен ли он и почему он не был накануне. Николетта принесла ответ от господина Жана. Он не был болен. Он был занят. Он скоро придет. Как только будет возможно. Кроме того, он собирался совершить небольшое путешествие. Баронесса, вероятно, помнила, что он имел привычку совершать небольшие путешествия. Пусть о нем не думают и не беспокоятся.

Николетта, придя к господину Жану, повторила ему слово в слово поручение своей барыни. Баронесса прислала узнать, почему господин Жан не приходил накануне. «Я не был уже два дня», — кротко возразил Жан Вальжан.

Но Николетта не обратила внимания на это замечание и ничего не сказала об этом Козетте.

Глава 359

В последние весенние и первые летние месяцы 1833 года редкие прохожие квартала Марэ, мелочные торговцы и стоявшие у ворот зеваки видели опрятно одетого во все черное старика, который каждый день в один и тот же час с наступлением ночи выходил с улицы Омм Армэ, там, где она пересекается улицей Святого Бретонского Креста, проходил мимо улицы Белых Плащей, поворачивая на улицу Святой Екатерины и, дойдя до улицы Эшарп, шел налево, на улицу Святого Людовика.

Там он шел медленно, вытянув голову вперед, ничего не видя и ничего не слыша, устремив взор в одну и ту же точку, которая казалась ему усеянной звездами и которая была углом улицы Филь-дю-Кальвер. Чем ближе подходил он к этому углу улицы, тем живее становился его взгляд, какая-то радость, точно отражение

внутренней зари, освещала его глаза, он имел восторженный и растроганный вид, его губы чуть заметно шевелились, как будто он говорил с кем-то невидимым, он как-то странно улыбался и старался идти как можно медленнее. Глядя на него, казалось, что, идя куда-то, он в то же время боялся того момента, когда подойдет совсем близко. Когда оставалось всего лишь несколько домов между ним и улицей, которая притягивала его к себе, его шаг так замедлялся, что казалось, будто он стоит. Покачивание головой и пристальный взгляд невольно приводили на память магнитную стрелку, стремящуюся к полюсу. Но, как ни старался он отдалить время своего прибытия, момент этот все-таки наступал; когда же он доходил до улицы Филь-дю-Кальвер, он останавливался, как-то робко вздрагивал, высовывал голову из-за угла крайнего дома и смотрел на эту улицу; в его болезненном взгляде было нечто похожее на сожаление о невозможности чего-то и как бы отблеск утраченного рая. Тем временем слезы постепенно собирались в уголках глаз и начинали медленно

катиться по его щекам, иногда достигая рта. Тогда старик чувствовал их горький вкус. Постояв, точно каменный, несколько минут, он поворачивал обратно и шел той же самой дорогой, и, по мере того как он удалялся, взор его угасал.

Мало-помалу этот старик перестал доходить до угла улицы Филь-дю-Кальвер, он останавливался на полдороге на улице Святого Людовика, то немного дальше, то немного ближе. Однажды он остановился на углу улицы Святой Екатерины и только издали взглянул на улицу Филь-дю-Кальвер. Потом медленно, покачав головой, как будто бы противясь чему-то, пошел обратно.

Скоро он перестал доходить даже и до улицы Святого Людовика. Он доходил до улицы Павэ, качал головой и уходил, потом стал доходить только до улицы Трех Бабочек, потом до улицы Белых Плащей, он казался похожим на маятник незаведенных часов, качания которого

постепенно укорачиваются и наконец совсем останавливаются.

Каждый день он выходил из дома в один и тот же час, шел по тому же самому пути, но не доходил до цели своего путешествия, может быть совершенно бессознательно, с каждым днем все более и более укорачивая его. Все его лицо выражало одну только мысль: «Зачем?» Глаза его потускнели, и в них уже не было видно никакого блеска. Слезы также иссякали, его задумчивые глаза были сухи. Голова старика была всегда вытянута вперед, его подбородок временами двигался, складки на его худой шее говорили, что ему живется тяжело. Иногда в дурную погоду он носил под мышкой зонтик, который, впрочем, никогда не раскрывал. Старушки, когда он проходил мимо них, говорили: «Это помешанный». Дети со смехом бегали за ним.

Глава 360

Ужасная вещь быть счастливым! Какое ощущается тогда блаженство. Кажется, что всего

уже достиг! Как легко, владея ложною целью жизни — счастьем, забываешь истинную цель — выполнение долга!

Надо заметить, однако, что большой ошибкой было бы осуждать Мариуса.

Мариус, как мы уже это объяснили, до своей женитьбы не задавал никаких вопросов господину Фошлевану, а после он уже боялся расспрашивать Жана Вальжана. Он очень жалел о том, что позволил себе слабость дать обещание. Он бесчисленное множество раз повторял себе, что он не имел права уступать отчаянию. Мариус ограничился тем, что постепенно старался отдалить Жана Вальжана от дома и по мере возможности вычеркнуть его из памяти Козетты. Он всегда как бы становился между Козеттой и Жаном Вальжаном, будучи убежден, что при таком его поведении она, не видя Жана Вальжана, перестанет о нем думать. Это уже было не только вычеркиванием, но и полнейшим затмением.

Мариус поступал так, как он считал необходимым и справедливым. Стараясь удалить Жана Вальжана, не прибегая при этом к использованию крутых мер, но и не проявляя слабости, он думал, что право на это ему дают как те причины, о которых мы уже упоминали, так и те, которые нам придется узнать потом. В одном процессе, который он вел, ему случайно пришлось столкнуться с бывшим служащим дома Лаффитта, и таким образом он, не прибегая к розыскам, добыл такие секретные сведения, которые могли усугубить и без того опасное положение Жана Вальжана. Но тем не менее он считал себя обязанным возвратить шестьсот тысяч франков законному владельцу, которого он и старался разыскать, соблюдая всевозможную осторожность. А пока он упорно не хотел прикасаться к этим деньгам.

Что касается Козетты, то она совершенно ничего не знала об этих тайнах, но и ее тоже было бы жестоко обвинять в охлаждении к Жану Вальжану.

Могучий электрический ток шел от Мариуса к ней и заставлял ее инстинктивно и почти машинально делать все, что хотелось Мариусу. Она чувствовала рядом с «господином Жаном» волю Мариуса и подчинялась ей. Ее мужу незачем было ей говорить, она чувствовала неопределенное, но ясное давление его невысказанных мыслей и слепо повиновалась ему. В этом случае ее послушание заключалось в том, чтобы не вспоминать о том, что хотел забыть Мариус. Для этого она не делала ни малейшего усилия. Душа ее бессознательно, и за это ее нельзя винить, так слилась с душою мужа, что то, что покрывалось облаком тумана в памяти Мариуса, затемнялось и в ее воспоминаниях.

Но, однако, не будем заходить слишком далеко; в том, что касалось Жана Вальжана, забвение это было, так сказать, только поверхностное. Это было скорее легкомыслие, чем забывчивость. В глубине души она продолжала нежно любить того, кого она так долго называла отцом. Но она еще больше любила своего мужа. Этим и нарушалось

равновесие ее сердца, склонявшегося в одну сторону.

Иногда Козетта пробовала заговорить о Жане Вальжане и высказывала удивление по поводу его продолжительного отсутствия. Тогда Мариус успокаивал ее: «Я думаю, что его нет дома. Разве ты забыла, как он говорил, что собирается куда-то в путешествие?» — «Это правда», — думала Козетта. И таким образом он обыкновенно скрывал от нее истину. Но ненадолго. Два или три раза она посылала Николетту на улицу Омм Армэ справиться, не вернулся ли из путешествия господин Жан. Жан Вальжан приказывал отвечать, что он еще не возвращался.

Козетта довольствовалась таким ответом, так как все ее мысли были заняты Мариусом.

Тут необходимо заметить еще, что Мариус и Козетта тоже на некоторое время уезжали. Они ездили в Вернон. Мариус возил Козетту на могилу своего отца.

Мариус понемногу отвлекал Козетту от мыслей о Жане Вальжане. Козетта охотно

поддавалась ему.

Впрочем, то, что часто слишком жестоко называют неблагодарностью детей, не всегда заслуживает такого строгого упрека. Это неблагодарность природы. Мы уже говорили раньше, что «природа не оглядывается назад». Природа разделяет все живые существа на приходящих и уходящих. Уходящие всегда обращены лицом к мраку, приходящие к свету. Этим и объясняется отчуждение, мучительное для стариков и почти невольное для молодых. Это отчуждение, вначале нечувствительное, растет медленно, также как растут ветви. Ветви не отрываются от ствола, а только удаляются от него. В этом не их вина. Молодость идет туда, где радость, веселье, яркий свет, любовь. Старость идет к концу. Они не теряют друг друга из виду, но между ними нет больше единства. Охлаждение у молодых людей вызывается жизнью, а у стариков — холодом могилы. Не будем же обвинять этих бедных детей.

Глава 361

Однажды Жан Вальжан спустился с лестницы, сделал три шага по улице и сел на тумбу, на ту самую тумбу, на которой Гаврош застал его задумавшимся в ночь с 5 на 6 июня; он посидел на ней несколько минут, потом опять вернулся домой. Это был уже последний ход маятника. На следующий день он уже не выходил из дома. Еще через день он не мог уже встать с постели.

Его привратница, которая готовила его незатейливый обед, немного капусты или несколько картофелин с салом, взглянула на тарелку из темной глины и воскликнула:

— Но вы вчера ничего не ели, бедняжка!

— Напротив, — отвечал Жан Вальжан.

— Тарелка совсем полная.

— Посмотрите на кувшин с водой. Он совершенно пуст.

— Это значит, что вы много пили, но это вовсе не значит, чтоб вы что-нибудь ели.

— Ну, — сказал Жан Вальжан, — а если мне так хотелось воды?

— Это называется жаждой, а когда в то же время нет аппетита, это называется лихорадкой.

— Я завтра поем.

— Или в Троицын день. А почему бы не сегодня? Разве говорят: «Я поем завтра»? Даже не попробовали моей стряпни! А между тем еда такая вкусная!

Жан Вальжан взял старуху за руку.

— Обещаю вам съесть все это завтра, — сказал он ей своим ласковым голосом.

— Я сердита на вас, — отвечала привратница.

Жан Вальжан не видел ни одного человеческого существа, кроме этой доброй женщины. В Париже существуют улицы, по которым никто не ходит, и дома, куда никто не заглядывает. Жан Вальжан жил на одной из таких

улиц и в одном из таких домов. Когда он еще выходил из дома, он купил за несколько су у медника небольшое медное распятие, которое он повесил на гвоздь напротив своей постели. Распятие всегда бывает приятно видеть перед собой.

Так прошла целая неделя, в течение которой Жан Вальжан не сделал шага из своей комнаты. Он продолжал лежать в постели. Привратница сказала своему мужу:

— Старик наверху не встает, не ест. Он долго не проживет. Все это у него от горя. Никто не выбьет у меня из головы, что его дочери плохо живется замужем.

Привратник возразил ей тоном превосходства супруга:

— Если он богат, пусть позовет доктора. Если беден, пусть обходится без него. Но если он не позовет доктора, он умрет.

— А если позвать доктора?

— Все равно умрет! — изрек привратник.

Привратница принялась вырезать своим старым ножом траву, пробивавшуюся между плитами того маленького клочка земли, который она называла мостовой, и, вырывая траву, ворчала:

— Жаль! Старичок такой чистенький и беленький, как цыпленочек.

В это время она увидела проходившего мимо знакомого врача и взяла на себя смелость попросить его подняться взглянуть на больного.

— На втором этаже, — сказала она. — Потрудитесь идти только прямо туда. Бедняга не встает уже больше с постели, ключ всегда торчит в двери.

Врач осмотрел Жана Вальжана и переговорил с ним. Когда врач собрался уходить, привратница спросила его:

— Ну что, каков он, доктор?

— Ваш больной очень плох.

— Что такое с ним?

— Ничего и все. Этот человек, по-видимому, потерял дорогое существо. От этого он и умирает.

— Что же он вам сказал?

— Сказал, что чувствует себя хорошо.

— Вы зайдете к нему еще раз, доктор?

— Да, — отвечал доктор. — Но только тут нужно еще, чтобы к нему пришел и кто-нибудь другой, кроме меня.

Глава 362

Однажды вечером Жан Вальжан почувствовал себя настолько слабым, что с трудом смог приподняться и опереться на локоть; он взял себя за руку и не мог прощупать пульса, дыхание было короткое и прерывистое, он чувствовал себя совсем слабым, каким не бывал еще никогда. Тогда, по всей видимости под влиянием каких-либо особенно серьезных причин, он сделал над собой усилие, сел на постель и стал одеваться. Он надел на себя свою старую одежду рабочего. Не выходя больше из дома, он стал опять носить

этот костюм, отдавая ему предпочтение перед всеми остальными. Во время одевания он несколько раз останавливался отдохнуть; когда же он надевал куртку в рукава, пот градом катился у него по лбу

Оставшись один,, он переставил свою кровать в переднюю комнату, чтобы как можно реже заходить в остальные комнаты этого опустевшего жилища.

Открыв чемодан, он достал из него детское приданое Козетты и разложил его на коленях. Подсвечники епископа стояли на своем постоянном месте, на камине. Вынув из ящика две восковые свечи, он вставил их в подсвечники. И затем, хотя было еще совсем светло, так как это было летом, зажег их. Иногда можно видеть зажженные свечи днем в доме, где есть покойник.

Каждый шаг, который он делал, переходя с одного места на другое, утомлял его, и он то и дело присаживался. Это была не обычная слабость, вызванная чрезмерной затратой сил, которые потом снова восстанавливаются, а

наоборот, тут организм расходовал последний запас жизненной энергии, тут происходило иссякание жизни, которая выходила капля за каплей вследствие прилагаемых им чрезмерных усилий, которые, впрочем, не предстояло больше повторять.

Кресло, на которое он сел, стояло напротив зеркала, рокового для него и такого счастливого для Мариуса, в котором он прочел отпечатавшееся письмо Козетты. Он взглянул в зеркало и не узнал сам себя: ему было восемьдесят лет; до свадьбы Мариуса ему нельзя было дать и пятидесяти, за этот год он постарел на целых тридцать лет. На лбу у него виднелись уже не морщины старости, а таинственная печать смерти. Здесь чувствовалась борозда, проведенная неумолимой рукой. Щеки обвисли, кожа приобрела такой оттенок, как будто земля уже покрыла ее, углы рта опустились, как у тех масок, изваяния которых делались древними на гробницах, глаза смотрели вперед с выражением упрека; он походил на дошедшего до отчаяния человека, у которого есть на что жаловаться.

Он переживал теперь то состояние, ту последнюю фазу горя, когда скорбь уже не изливается больше наружу, она как бы закупоривается сгустком крови, отчаяние как бы зарубцовывает рану в душе.

Наступила ночь. Он с большим трудом перетащил стол и старое кресло к камину, положил на стол перо и бумагу и поставил чернильницу.

Затем с ним сделался обморок. Придя наконец в себя, он почувствовал сильную жажду. Не имея сил поднять кувшин, он с трудом наклонил его и, припав к нему губами, выпил глоток воды.

После этого он опять обернулся к постели, снова сел, потому что не мог держаться на ногах, и молча продолжал глядеть на черное платьице и на все эти дорогие ему вещицы.

Подобного рода созерцание может продолжаться целыми часами, которые порой кажутся минутами. Вдруг он вздрогнул, так как почувствовал, что начинает уже холодеть, а потом, положив локти на стол, освещенный

свечами, горевшими в подсвечниках епископа, взял перо.

Перо и чернила не использовались уже давно, кончик пера загнулся, чернила высохли, ему пришлось встать и подлить воды в чернильницу; все это он сделал с большим трудом, присаживаясь за это время раза два или три, а писать ему пришлось обратной стороной пера. Время от времени он обтирал струившийся со лба пот.

Рука у него дрожала. Он медленно написал следующие строки:

«Благословляю тебя, Козетта. Я объясню тебе все. Твой муж был прав, дав мне понять, что я должен удалиться, и хотя он немного и ошибся в своих предположениях, тем не менее он все-таки поступил справедливо. Он превосходный человек. Люби его всегда и после моей смерти. Господин Понмерси, любите мое возлюбленное дитя. Козетта, эту записку найдут здесь, и вот что я хочу тебе сказать, я приведу тебе все цифры, если я только буду в состоянии их вспомнить,

слушай же: деньги твои. Вот в чем дело. Белый гагат привозят из Норвегии, черный — из Англии, черный стеклярус из Германии. Гагат легче и ценится дороже. Во Франции можно делать такой же искусственный стеклярус, как и в Германии. Для этого нужна маленькая наковальня в два квадратных дюйма и спиртовая лампочка, чтобы размягчать мастику. Прежде мастика эта изготовлялась из резины и голландской сажи и обходилась по четыре франка за фунт. Я изобрел способ приготовления ее из красной камеди и скипидара. Она обходится не дороже тридцати су и при этом получается гораздо лучше. Пряжки изготавливаются из лилового стекла, которое такой же мастикой наклеивают на оправу из железа. Стекло должно быть лиловое, когда делают оправу из железа, и черное, когда оправа золотая. В Испанию идет их очень много. Это страна стекляруса…»

Тут он остановился, перо выпало у него из рук, он разразился одним из тех отчаянных рыданий, которые потрясали все его существо. Бедняга обхватил руками голову и задумался.

«О! — воскликнул он мысленно (жалобный крик, который слышит один только Бог). — Теперь конец. Я больше уже не увижу ее. Она, как улыбка, промелькнула передо мной. Я ухожу во мрак, не повидавшись с ней. Хотя бы только на одну минуту, на один миг услышать ее голос, прикоснуться к ее платью, взглянуть на нее, на моего ангела, а затем умереть! Умереть — пустяки, самое ужасное состоит в том, что придется умереть, не увидав ее. Она улыбнулась бы мне, сказала бы что-нибудь. Разве бы это кому-нибудь повредило? Нет, теперь все кончено, и навсегда. Я остался совсем одинок. Боже мой! Боже мой! Я не увижу ее больше никогда».

В эту минуту постучались в дверь.

Глава 363

В тот же день или, лучше сказать, в тот же день вечером, как только Мариус встал из-за стола и ушел в свой кабинет, — ему нужно было рассмотреть одно дело, Баск подал ему письмо и сказал:

— Лицо, написавшее это письмо, ждет в передней.

Козетта взяла дедушку под руку и отправилась в сад.

Письмо, как и человек, может иметь отталкивающий вид. Иногда бывает достаточно увидеть письмо, написанное на грубой, измятой бумаге, чтобы сказать, что такое письмо не нравится. Письмо, принесенное Баском, представляло собой нечто подобное. Мариус взял письмо в руки, от него пахло табаком. Ничто так не просветляет память, как запах. Мариус узнал этот табак. Затем он прочел надпись: «Господину Понмерси. Собственный дом». Запах табака помог ему узнать почерк. Изумление в некоторых случаях бывает похоже на проблески молнии. Мариуса как бы озарила одна из этих молний.

Обоняние, этот таинственный помощник памяти, воскресило в нем целый мир. Такая же бумага, так же точно сложенная, такие же бледные чернила, такой же точно почерк, а

главное — тот же самый табак, — все это сразу напомнило ему логово Жондретта.

Итак, по странной игре случая, к нему сам собой явился один из тех следов, которые он так долго разыскивал, который доставил ему так много хлопот и который он считал уже навсегда потерянным.

Мариус торопливо распечатал письмо и прочел:

«Господин барон, если бы Провидение наградило меня талантами, я мог бы быть бароном Тенар, членом института (Академия наук), но я, к несчастью, не барон. Я только его однофамилец и буду очень счастлив, если воспоминание о нем может послужить для меня рекомендацией в глазах вашей милости. Одолжение, которым вы меня удостоите, будет взаимным. Я знаю тайну одного человека. Эту личность знаете и вы. Желая иметь честь оказать вам услугу, я готов сообщить вам эту тайну. Я мог бы дать вам самое простое средство изгнать эту личность из вашей уважаемой семьи, которая на

пребывание у вас не имеет никаких прав, так как сама баронесса знатного происхождения. Святилище добродетели не может иметь ничего общего с преступлением и должно отречься от него. Я ожидаю в передней приказаний господина барона. Готовый к услугам».

Письмо было подписано «Тенар».

Фамилию эту нельзя было назвать вымышленной. Она была только немного укорочена.

Впрочем, неграмотное построение фраз и орфография еще более подтверждали эту догадку. Все эти признаки подтверждали предположение, кто именно был автор письма: это было ясно, это не оставляло никаких сомнений.

Мариус был сильно взволнован. Вызванное в нем в первую минуту удивление сменилось искренней радостью. Если бы в дополнение к этому ему посчастливилось найти и второго из тех двух людей, которых он искал, того самого, кто спас ему жизнь, ему нечего было бы больше желать.

Он открыл один из ящиков своего письменного стола, достал оттуда несколько банковских билетов, положил их себе в карман, запер ящик и позвонил. Баск полуоткрыл дверь.

— Просите, — сказал Мариус.

Баск произнес:

— Господин Тенар.

В комнату вошел человек.

Появление этого субъекта вызвало новое удивление Мариуса, так как он оказался совершенно незнакомым Мариусу.

У этого человека, уже старика, был большой нос, подбородок его утопал в галстуке, глаза его скрывались за зелеными очками, седые, гладко причесанные волосы опускались на лоб до самых бровей, и казалось, будто на нем был надет парик вроде тех, какие носят английские кучеры у великосветских богачей. Он был одет во все черное, костюм его был хотя и сильно поношен, но опрятен, свешивавшаяся из часового кармана коллекция брелоков заставляла предполагать

наличие часов. В руке он держал старую шляпу. Незнакомец шел сгорбившись, и это становилось еще более заметным, когда он отвешивал глубокий поклон.

Но что всего больше бросалось в нем с первого взгляда, так это то, что надетый на нем, застегнутый на все пуговицы черный костюм слишком ему широк и, очевидно, попал к нему с чужого плеча. Здесь необходимо сделать небольшое отступление.

В ту эпоху в Париже, в старом полуразвалившемся домишке, на улице Ботрельи, вблизи арсенала, проживал изобретательный еврей, избравший своей специальностью превращать мошенников в честных людей. Но это делалось, конечно, не надолго, так как подобное превращение ставило до известной степени в затруднительное положение мошенника. Перемена производилась быстро, на день или на два, с платой по тридцати су в день, и совершалась при помощи костюма, тщательно подбираемого таким образом, чтобы придать вид

порядочности всем этим субъектам. Субъект, занимавшийся сдачей костюмов напрокат, носил прозвище Менялы, эту кличку ему дали преступники, и он был известен только под этим именем. Он обладал громадным выбором костюмов. В общем, все эти обноски, в которые он переряжал людей, имели довольно сносный вид.

Все эти костюмы строго распределялись по специальностям и категориям, в его магазине на каждом гвозде висело какое-нибудь обветшалое и сильно поношенное общественное положение: тут висел костюм судьи, там ряса кюре, здесь сюртук банкира, в одном углу полный костюм отставного военного, в другом — костюм литератора, дальше — полная экипировка чиновника. Еврей этот исполнял обязанности костюмера в огромной драме, которую мошенничество разыгрывало в Париже. Его квартира была кулисами, из-за которых выходило воровство и куда скрывалось мошенничество. В эту гардеробную являлся оборванный мошенник, выкладывал тридцать су и выбирал, судя по тому

в какой роли он хотел в этот день выступить, подходящую для себя одежду, и затем, спускаясь по лестнице, мошенник уже казался похожим на что-то приличное. На следующий день костюм возвращался, и надо заметить, что не было еще случая, чтобы кто-нибудь обманул доверие Менялы, ссужавшего платье ворам. Костюмы эти имели одно только неудобство: они не всегда бывали впору, так как были сшиты не на тех, кому приходилось ими пользоваться, они оказывались узки для одного, широки для другого и, в сущности, ни на кого не годились. Вор, который был или ниже или выше среднего человеческого роста, испытывал большое затруднение при выборе подходящего костюма у Менялы. Тут следовало быть и не толстым и не худым. Меняла имел в виду только средних людей, таких, про которых можно было сказать, что он не высок и не мал ростом, не толст и не худ. Это иногда создавало неожиданные затруднения, которые опытность Менялы по возможности устраняла. Тем хуже для исключений! Взять например, костюм

государственного чиновника, черный с головы до ног и, следовательно, вполне приличный, оказывался слишком широк для Питта и слишком узок для Кастелсикала. Костюм государственного человека, как и следовало, был подробно описан в каталоге Менялы, и вот копия с этого описания: «Сюртук из черного сукна, панталоны из черного английского кастора, шелковый жилет, сапоги и белье». На полях стояло: «бывший посланник», и тут же следовало примечание, которое мы тоже переписываем: «В отдельной коробке тщательно завитой парик, зеленые очки, брелоки и две маленькие трубочки из гусиных перьев, длиною в дюйм, завернутые в вату». Все это нужно было иметь государственному человеку, бывшему посланнику. Весь этот костюм имел изрядно поношенный вид, швы протерлись добела, на одном из локтей виднелось что-то похожее на дыру, кроме того, на груди не хватало пуговиц, но это все мелочи: рука государственного человека, облаченная в этот костюм, лежала всегда на груди, скрывая недостающую пуговицу.

Если бы Мариус имел полное представление о существовавших в Париже тайных учреждениях, он с первого взгляда узнал бы на своем посетителе, которого ввел и нему Баск, одежду государственного человека, снятую с вешалки в гардеробной Менялы.

Обманутое ожидание Мариуса при виде не того человека, которого он ожидал, расположило его не в пользу вновь прибывшего. Он оглядел его с головы до ног в то время, как странный субъект отвешивал низкий поклон, и спросил его сухим тоном:

— Что вам угодно?

Незнакомец с любезной улыбкой, напоминавшей улыбку крокодила, отвечал:

— Мне кажется немыслимым, чтобы я не имел чести видеть господина барона в свете. Мне помнится, что я имел удовольствие встретить господина барона несколько лет тому назад у княгини Багратион и в салоне виконта Дамбрэ, пэра Франции.

У мошенников считается самой лучшей тактикой делать вид, будто они знают совсем незнакомого им человека.

Мариус прислушивался к голосу этого человека и его манере говорить. Он прислушивался к акценту и следил за каждым жестом, и его обманутое ожидание все возрастало, — незнакомец, говорил гнусавым голосом, что резко отличалось от язвительного и резкого голоса, который он ожидал услышать. Мариус был совершенно сбит с толку.

— Я не знаю, — сказал он, — ни княгини Багратион, ни господина Дамбрэ. Я во всю мою жизнь ни разу не был ни у той, ни у другого.

Ответ был сделан очень резким тоном, но это, по-видимому, нисколько не смутило субъекта, продолжавшего играть свою роль.

— В таком случае я видел вас у Шатобриана! Я хорошо знаю Шатобриана. Он очень мил. Он говорил мне иногда: «Тенар, друг мой… не выпить ли нам с вами по стаканчику?»

Лицо Мариуса делалось все суровее.

— Я никогда не имел чести бывать у господина Шатобриана. Перейдемте к делу. Что вам угодно?

Субъект, услышав еще более неприветливый тон, склонился еще ниже.

— Господин барон, соблаговолите меня выслушать. В Америке, в стране около Панамы, есть деревня, называемая Хойя. Эта деревня состоит всего только из одного дома. Большой квадратный дом, каждая сторона этого квадрата имеет в длину пятьсот футов, каждый верхний этаж выступает на двенадцать футов, так что получается нечто вроде террасы, а все это вместе имеет вид башни; в центре имеется внутренний двор, где хранятся провизия и прочие припасы, окон нет, вместо них бойницы, дверей тоже нет, вместо них — лестницы; лестницами пользуются для того, чтобы подняться сначала на первую террасу, затем с первой на вторую, со второй на третью и т. д. По лестницам же спускаются во внутренний двор, в комнатах нет дверей —

вместо них люки, к которым прикреплены подъемные лестницы: вечером все люки запираются, лестницы втаскиваются наверх, в бойницах появляются мушкетоны и карабины, и проникнуть в башню уже нет никакой возможности. Днем — это дом, ночью — это крепость, имеющая восемьсот жителей, — вот какова эта деревня. Но ради чего же принимается столько предосторожностей? Ради того, что это место очень опасное, оно кишмя кишит людоедами. В таком случае зачем же люди стремятся туда? Потому что это чудесная страна — там золото.

— Зачем вы мне все это рассказываете? — перебил Мариус, у которого обманутое ожидание переходило в нетерпение.

— А вот зачем, господин барон. Я старый, утомившийся жизнью дипломат. Старая цивилизация до смерти надоела мне. Хочу попытать счастья в Новом Свете.

— Дальше.

— Господин барон, эгоизм — мировой закон. Крестьянка-поденщица оборачивается и смотрит, как проезжает дилижанс, крестьянка-собственница, работающая на своем поле, не оборачивается. Собака бедняка лает на богача, собака богача лает на бедняка. Всяк за себя. Свой собственный интерес составляет единственную цель людей. Золото — могучий магнит.

— Дальше. Кончайте.

— Я хотел бы поселиться в Хойе. Нас трое. У меня есть жена и дочь. Дочь очень красива. Путешествие не близкое, и стоит дорого. На это мне нужны деньги.

— При чем же тут я? — спросил Мариус.

Неизвестный вытянул из-за галстука шею, как коршун, и спросил, силясь улыбнуться:

— Разве господин барон не читал моего письма?

Это было почти верно. Дело в том, что Мариус почти не обратил внимания на содержание письма. Он видел и узнал почерк, но

почти не видел письма. Он почти ничего не помнил из того, о чем ему писали. И только в эту минуту ему был сделан новый намек. Он обратил внимание на эту подробность: «Моя жена и дочь». И он устремил на неизвестного проницательный взгляд. Судебный следователь, и тот не мог бы смотреть лучше его. Он, точно желая поймать собеседника на слове, ограничился ответом:

— Объяснитесь.

Неизвестный засунул руки в карманы, поднял голову, не выпрямляя своего спинного хребта, и в свою очередь испытующе взглянул на Мариуса сквозь свои зеленые очки.

— Хорошо, господин барон. Я объяснюсь. Я хочу продать вам тайну.

— Тайну?

— Тайну.

— Она меня касается?

— Немножко.

— Что же это за тайна?

Мариус все более и более вглядывался в стоявшего перед ним субъекта, продолжая в то же время внимательно слушать.

— Я вам расскажу — начало бесплатно! — сказал незнакомец. — Вы сами убедитесь, насколько это интересно.

— Говорите.

— Господин барон, вы держите у себя вора и убийцу.

Мариус вздрогнул.

— Я? Нет, — сказал он.

Незнакомец совершенно спокойно провел локтем по своей шляпе, а затем продолжал:

— Убийцу и вора. Заметьте, господин барон, что я говорю не о временах давно минувших, не о таких, которые перед законом сглаживаются за давностью времени, а перед Богом раскаянием. Я говорю о том, что было недавно, о делах, до сих пор еще неизвестных правосудию. Я продолжаю.

Этот человек сумел заслужить ваше доверие и почти что втерся в вашу семью под ложным именем. Я хочу сказать вам его настоящее имя. И я скажу вам его бесплатно.

— Я слушаю.

— Его зовут Жаном Вальжаном.

— Я это знаю.

— Я скажу вам, и тоже бесплатно, кто он такой.

— Говорите.

— Это беглый каторжник.

— Я это знаю.

— Вы это узнали сейчас, когда я сказал вам об этом.

— Нет. Я знал это раньше.

Холодный тон Мариуса, два раза подряд повторившего: «Я это знаю», его лаконизм, отрывистая речь вызвали в незнакомце какой-то тупой гнев. Он украдкой бросил на Мариуса свирепый взгляд и тотчас же опять опустил глаза.

Как ни быстро это произошло, он не ускользнул от Мариуса. Взгляд этот был таков, что, однажды увидев его, забыть его невозможно. Подобные взгляды могут бросать только низменные люди, они вспыхивают в зрачке, играющем в данном случае роль зеркала души; очки не в состоянии что-либо скрыть, это все равно, что пытаться загородить стеклом ад.

Незнакомец отвечал с улыбкой:

— Не смею спорить с господином бароном. Во всяком случае, как видите, я хорошо осведомлен. Но то, что я вам хочу теперь сказать, известно только мне. От этого зависит счастье госпожи баронессы. Это чрезвычайная тайна. Я ее продаю. Но сначала я предлагаю ее вам. И возьму за нее дешево — всего двадцать тысяч франков.

— Я знаю эту тайну точно так же, как и все остальные тайны, — сказал Мариус.

Незнакомец счел нужным сбавить немного цену.

— Господин барон, дайте десять тысяч франков, и я вам все скажу.

— Повторяю вам, что вам нечего говорить мне. Все, что вы можете мне сказать я знаю.

В глазах незнакомца блеснула новая молния, и он вскричал:

— Но нужно же мне сегодня обедать! Это очень важная тайна, повторяю вам. Господин барон, я начинаю говорить. Я говорю. Дайте мне двадцать франков. Всего двадцать франков, в конце концов.

Мариус пристально взглянул на него:

— Я знаю вашу важную тайну, и я не только знаю, кто такой Жан Вальжан, но знаю и вашу фамилию.

— Мою фамилию?

— Да.

— Это нетрудно, господин барон. Я имел честь подписать ее и затем повторил на словах — моя фамилия Тенар.

— дье…

— Что такое?

— Тенардье.

— Кто это такой?

В минуту опасности дикобраз выставляет иглы, жук притворяется мертвым, старая гвардия становится в каре, а этот человек начал смеяться.

Потом он одним щелчком выбил пыль из рукава своей одежды.

Мариус продолжал:

— Вы же и рабочий Жондретт, и комедиант Фабанту, поэт Женфло, испанец дон Альварес и жена Бализарда.

— Что такое, я был женой, чьей?

— И вы содержали трактир в Монфермейле.

— Трактир! Никогда.

— Я еще раз повторяю, что вас зовут Тенардье.

— Я это отрицаю.

— Затем я могу сказать вам-еще, что вы подлец. А теперь получите!

И Мариус, вынув из кармана банковский билет, бросил ему в лицо.

— Благодарю! Пятьсот франков! Господин барон!

И негодяй, взволнованный, кланяясь, подхватил билет и стал рассматривать его.

— Пятьсот франков, — изумленно проговорил он и пробормотал вполголоса: — Деньги немалые! — Потом он вдруг вскричал: — Ну, хорошо. А теперь покажем себя в настоящем свете.

И с ловкостью обезьяны он откинул назад волосы, снял очки, вытащил из носа два гусиных перышка, тем самым сбросив с себя маску, как снимают шляпу.

Глаза его вспыхнули, изрытый морщинами неровный лоб обнажился, нос вытянулся и стал острым, как клюв, и снова появился свирепый и проницательный профиль хищника.

— Господин барон угадал верно, — сказал он резким голосом, перестав гнусавить. — Я — Тенардье.

И он выпрямил свой сгорбленный стан. Тенардье, так как это был он, казался сильно изумленным, он, наверное, даже смутился бы, если бы только был на это способен. Он пришел удивить и вместо этого был сам удивлен. За это унижение ему заплатили пятьсот франков, и, судя по тому, что он принял деньги, это служило доказательством, что он все сознавал, однако он имел все-таки вид человека, пораженного тем, что случилось.

Он в первый раз в жизни видел господина Понмерси, и этот барон, несмотря на все его переодевание, не только узнал его, но и доказал еще, что знает его хорошо. Кроме того, этот барон, казалось, знал всю подноготную не про одного только Тенардье, но и про Жана Вальжана. Что же это за странный молодой человек с едва пробивающейся бородкой, такой суровый и такой щедрый, так хорошо знающий

имена и прозвища людей, с которыми ему приходится иметь дело, так охотно открывающий им свой кошелек, юноша, который держит себя с мошенниками, как судья, и платит им, как дурак?

Тенардье, как, наверное, помнит читатель, хотя и жил рядом с Мариусом, но никогда его не видел, что в Париже случается очень часто; он иногда слышал, как его дочери разговаривали о проживавшем в этом же доме бедном молодом человеке, которого звали Мариусом. Ему-то он и писал, не зная его, известное уже письмо. Он себе даже и представить не мог, чтобы этот Мариус и барон Понмерси имели что-нибудь между собой общее. Что же касается фамилии Понмерси, то на поле битвы под Ватерлоо он слышал, как помнят читатели, только два последних слога «мерси», а к этому слову он всегда относился с законным презрением, так как ни во что ставил подобного рода невещественную благодарность.

С помощью своей дочери Азельмы, которой он велел следить за новобрачными 16 февраля, и

благодаря своей энергии ему удалось узнать многое и, несмотря на окутывавшую это дело тайну, захватить в свои руки немало таинственных нитей. Благодаря своей сметливости ему удалось также почти безошибочно угадать, кто именно был тот человек, с которым его столкнула судьба в памятный для него день в сточной трубе. После этого открытия ему нетрудно было уже узнать и имя этого человека. Потом он узнал, что Козетта стала баронессой Понмерси. Но в этом отношении он решил действовать осторожно. Кто такая была Козетта? Этого он и сам не знал. Он считал ее незаконнорожденной, так как история Фантины всегда казалась ему подозрительной. И потом, какая выгода может быть, если заговорить об этом? Заставить заплатить себе за молчание? Но у него имелось для продажи кое-что получше этого. Он был почти уверен, что если явиться к барону Понмерси и сказать ему: «Ваша жена незаконнорожденная», — этим он добьется только одного результата — познакомит свою поясницу с сапогом мужа.

Тенардье казалось, что он еще не начинал настоящего разговора с Мариусом. Ему пришлось отступить, изменить тактику, покинуть позицию, переменить фронт, но он не понес еще в сущности никакого поражения и у него было уже пятьсот франков в кармане. Кроме того, у него имелось в запасе нечто очень важное, и благодаря этому он чувствовал себя сильным даже перед таким хорошо вооруженным и хорошо осведомленным противником, как Мариус. Для людей, подобных Тенардье, всякий разговор — это настоящая битва. Он не знал, кто его собеседник, но он знал, о чем он говорил. Он мысленно произвел на скорую руку смотр своим силам и, объявив: «Я — Тенардье», спокойно стал ждать, какие это будет иметь последствия.

Мариус задумался. Наконец-то ему удалось найти этого Тенардье. Человек, которого ему так хотелось найти, стоял перед ним. Ему представлялась, наконец, возможность исполнить желание полковника Понмерси. Ему было обидно, что его герой-отец обязан чем-то этому бандиту и что вексель, выданный его отцом из

могилы, до сих пор остается не оплаченным. Ему казалось также, — в данном случае он до такой степени чувствовал себя вооруженным против Тенардье, — что на нем лежит обязанность снять с полковника несчастье быть спасенным таким негодяем. Во всяком случае Мариус чувствовал себя теперь довольным. Ему наконец представлялась возможность освободить от этого презренного кредитора тень полковника, и ему казалось, что этим он вытащит из долговой тюрьмы память своего отца.

Кроме этой обязанности у него была еще другая — узнать, если возможно, источник богатства Козетты. Такой случай как будто представлялся. Тенардье, может быть, знает что-нибудь и об этом.

Тенардье, отправив банковский билет в жилетный карман, почти с нежностью смотрел теперь на Мариуса.

Мариус первый прервал молчание.

— Тенардье, я сказал вам ваше имя. Теперь не хотите ли, чтобы я вам сказал тайну, которую

вы мне принесли? Я тоже наводил справки. Вы видели, что я знаю больше, чем вы; вы правду сказали, что Жан Вальжан убийца и вор. Вор потому, что он обокрал богатого фабриканта, Мадлена, которого он разорил, а убийца он потому, что убил полицейского агента Жавера.

— Я не понимаю господина барона, — отвечал Тенардье.

— Вы сейчас все поймете. Слушайте. Около 1822 года в департаменте Па-де-Кале проживал человек, у которого были старые счеты с полицией, и который, под именем господина Мадлена, сумел восстановить свою репутацию и заслужить общее расположение. Этот человек стал в полном смысле этого слова праведником. Он основал новую отрасль промышленности, производство мелких стеклярусных изделий, и этим обогатил весь город. Что же касается его самого, то он тоже составил себе состояние, что произошло в некотором роде само собой. Он был настоящим отцом и кормильцем бедноты. Он строил больницы, открывал школы, навещал

больных, давал приданое девушкам, поддерживал вдов, усыновлял сирот, он стал как бы опекуном всей этой бедноты. Он отказался от ордена Почетного легиона, его назначили мэром. Один освобожденный из тюрьмы каторжник знал, что Мадлен не тот, за кого он себя выдает, что он не отбыл еще наказания за совершенное им некогда преступление; он донес на него, и его арестовали, а сам доносчик воспользовался этим обстоятельством и отправился в Париж и там из банкирской конторы Лаффитта — я узнал это от самого кассира — получил по подложному чеку более полумиллиона франков, принадлежавших Мадлену. Обокравший таким образом Мадлена каторжник был Жан Вальжан. Что же касается другого дела, то вам и вовсе нечего рассказывать мне о нем, я знаю, что Жан Вальжан убил полицейского агента Жавера, он убил его выстрелом из пистолета. Я говорю вам это так утвердительно потому, что сам присутствовал при этом.

Тенардье бросил на него торжествующий взгляд побежденного, снова протягивающего

руку к победе и успевшего за одну минуту снова стать твердой ногой туда, где почва ускользала из-под его ног. Но это продолжалось всего лишь одно мгновение, и улыбка снова появилась на его лице, низший даже и в роли победителя должен льстить высшему, поэтому и Тенардье позволил себе только скромно возразить Мариусу.

— Господин барон, мы стоим на ложном пути.

И он подчеркнул эту фразу, выразительно встряхнув свою связку брелоков.

— Что такое? — удивился Мариус. — Вы еще смеете спорить? Да ведь это факты.

— Нет, это только домыслы. Доверие, которым вы меня почтили, господин барон, позволяет мне сказать вам это. Истина и справедливость должны стоять на первом плане. Я не люблю, когда при мне обвиняют людей невинных. Господин барон, Жан Вальжан не обкрадывал Мадлена и Жан Вальжан не убивал Жавера.

— Сильно сказано! Чем же вы это можете доказать?

— У меня на это существуют серьезные доказательства.

— Какие? Говорите.

— Вот вам первое: он не мог обокрасть Мадлена, потому что Жан Вальжан это и есть сам Мадлен.

— Это что еще за басни вы мне рассказываете?

— А вот и второе: он не убивал Жавера, потому что Жавера убил сам Жавер.

— Я вас не понимаю.

— Жавер — самоубийца.

— Докажите! Докажите! — вне себя вскричал Мариус.

Тенардье отвечал, скандируя слоги, точно читая александрийские стихи:

— Полицейский агент Жавер был найден утонувшим недалеко от моста Менял.

— Но докажите же мне это!

Тенардье вынул из бокового кармана большой конверт из серой бумаги, наполненный, по-видимому, сложенными листочками различной величины.

— Это мои документы, — спокойно сказал он. И затем он прибавил: — Господин барон, в ваших же собственных интересах я хочу выяснить, что за личность Жан Вальжан. Я вам сказал, что Жан Вальжан и Мадлен одно и то же лицо, и потом я сказал, что убийцей Жавера был Жавер, а когда я что-нибудь говорю, это значит, что у меня есть на то доказательства. И доказательства эти не письменные, потому что письма могут вызвать подозрение, наконец, они могут быть составлены с преднамеренною целью, нет, я хочу предъявить вам неопровержимые печатные доказательства.

Говоря это, Тенардье достал из конверта две пожелтевшие газеты, измятые и сильно пропахшие табаком. Одна из этих газет, разорванная по складкам и распавшаяся на

небольшие квадратики, казалась гораздо старше второй.

— Я сообщил вам два факта и теперь представляю и два доказательства, — сказал Тенардье, и он протянул Мариусу обе развернутые газеты.

Читатель уже знает обе эти газеты. Одна, более старая, номер «Белого знамени» за 25 июля 1823 года, текст которой был уже приведен во втором томе этой книги, удостоверяла тождество Жана Вальжана и Мадлена. Другая, «Монитор» за 15 июня 1832 года, удостоверяла самоубийство Жавера с добавлением, что из словесного доклада Жавера префекту стало известно, что первый, попав в плен на баррикаде в улице Шанврери, был обязан спасением жизни великодушию одного из революционеров, который, вместо того чтобы прострелить ему голову, выстрелил в воздух.

Мариус прочел. В том, что сообщалось, не могло быть никакого сомнения, тем более что обе эти газеты печатались, конечно, вовсе не затем,

чтобы подтвердить слова Тенардье; заметка, напечатанная в «Мониторе», была напечатана по распоряжению префекта полиции. Мариусу теперь не в чем было сомневаться. Сведения, полученные от кассира, оказались неверными, и сам он тоже ошибся. Образ Жана Вальжана, внезапно выросший, словно выходил из скрывавшего его тумана. Мариус не мог сдержать радостного возгласа.

— Значит, этот несчастный — прекрасный человек! Значит, все это богатство действительно принадлежало ему, значит он — Мадлен, провидение всей страны! Значит, он тот самый Жан Вальжан, который спас Жавера! Это — герой! Это — святой!

— Он вовсе не святой и не герой, — возразил Тенардье. — Он убийца и вор, — и тоном человека, чувствующего свое превосходство, он прибавил: — Но прежде всего следует успокоиться.

Мариус думал, что словам «вор», «убийца» теперь не может уже быть места, и они произвели

на него действие холодного душа.

— Опять! — сказал он.

— Всегда, — сказал Тенардье. — Жан Вальжан не обкрадывал Мадлена, но он вор. Он не убивал Жавера, но он убийца.

— Вы вспоминаете, — сказал Мариус, — о той несчастной краже, которая случилась сорок лет тому назад и которая искуплена, как это видно даже из ваших газет, всей остальной жизнью, полной раскаяния, самоотверженности и добрых дел?

— Я говорю об убийстве и краже, господин барон. И повторяю, что я говорю о том, что случилось недавно. То, что я хочу рассказать вам, никому неизвестно. Об этом еще ничего не печатали. И вы, быть может, найдете в этом источник богатства, которое так ловко всучил Жан Вальжан баронессе. Я сказал ловко, потому что только благодаря этому щедрому дару удалось ему втереться в столь уважаемую семью, делить с ней ее радости и в то же время скрыть свое преступление, пользоваться плодами своей

кражи, скрыть свое настоящее имя, создать себе семью, все это нельзя не назвать большой ловкостью.

— Я мог бы многое возразить вам на это, — сказал Мариус, — но продолжайте.

— Господин барон, я скажу вам все, предоставив вам наградить меня по вашему усмотрению. Эта тайна стоит больших денег. Вы можете задать мне вопрос: «Почему же не обратился ты к Жану Вальжану?» По очень простой причине: я знаю, что он отказался от всего в вашу пользу, и я нахожу эту идею великолепной; у него нет ни одного су, он показал бы мне пустые руки, а так как мне для моего путешествия в Хойю нужны деньги, то я и предпочел, вместо того чтобы обратиться к человеку, у которого ничего нет, обратиться к человеку, у которого есть все. Я немного устал, позвольте мне сесть.

Мариус сел сам и сделал ему знак садиться.

Тенардье сел на соломенный стул, взял обе газеты, положил их снова в конверт и прошептал,

проводя своим ногтем по «Белому знамени»:

— Мне стоило больших хлопот раздобыть это.

Покончив с этим, он положил ногу на ногу и откинулся на спинку стула — приняв позу людей, уверенных в себе, и начал говорить, важно и делая ударение на словах:

— Господин барон, 6 июня 1832 года, почти год тому назад, в тот день, когда происходили уличные беспорядки, в магистрали сточной трубы, с той стороны, где сток соединяется с Сеной, между мостом Инвалидов и Иенским мостом, скрывался человек.

Мариус вдруг придвинул свой стул к Тенардье. Тенардье заметил это движение и продолжал с медленностью оратора, которого слушает его собеседник и который чувствует, как благодаря его словам бьется сердце у слушателя:

— Этот человек, вынужденный скрываться, впрочем, по причинам, чуждым политике, избрал себе сток убежищем и завел для этого особый

ключ. Повторяю вам, что все это происходило 6 июня около восьми часов вечера. Человек услышал в стоке шум. Очень удивленный, он присел и насторожился. Это был шум шагов человека, пробиравшегося в потемках в его сторону. Его очень удивило, что в трубе, кроме него, оказался еще кто-то. Выходная решетка стока была недалеко. Небольшой свет, выходивший оттуда, дал ему возможность разглядеть вновь прибывшего и заметить, что он шел сгорбившись и что он нес что-то на своей спине. Человек, который шел сгорбившись, был беглый каторжник, и нес он на своих плечах труп. Преступление, пойманное с поличным, если только тут было убийство. Что же касается кражи, то это само собой разумеется, — задаром людей не убивают. Этот каторжник хотел бросить труп в реку. Но вот что следует вам заметить: прежде чем дойти до выходной решетки, этот каторжник, который шел издалека по стоку, должен был переходить по пути через ужасную яму, куда, казалось, он мог бы бросить труп, но рабочие, придя на другой день работать в

грязную яму, могли бы найти убитого, а это не входило в расчеты убийцы. Он предпочел перейти со своей ношей через яму, и ему, наверное, это стоило страшных усилий, он шел на верную смерть; не могу понять, как это он выбрался оттуда живым.

Стул Мариуса придвинулся еще ближе. Тенардье воспользовался этим, чтобы сделать передышку. Затем он продолжал:

— Господин барон, водосток — это не Марсово поле. Там ничего нет, там нет даже свободного места. Когда туда забираются сразу два человека, то они непременно встречаются. Так случилось и на этот раз. Завсегдатай и прохожий встретились ко взаимному неудовольствию. Прохожий сказал завсегдатаю: «Ты видишь, что у меня на спине, мне нужно выйти отсюда, у тебя есть ключ, дай его мне». Каторжник этот был очень силен, и об отказе тут не могло быть и речи. Но тем не менее обладатель ключа вступил в переговоры с целью выиграть время. Он рассматривал этого мертвеца,

но ему удалось только разглядеть, что тот молод, хорошо одет, по-видимому, богат и весь в крови. Во время разговора ему удалось незаметно оторвать заднюю полу сюртука у убитого. Вы понимаете, это было вещественное доказательство, средство найти след и доказать преступление. Он спрятал это вещественное доказательство в карман. Потом он открыл решетку, выпустил человека с его ношей на спине, запер решетку и скрылся, заботясь о том, чтобы не быть замешанным в это преступление и вовсе не желая быть свидетелем того, как убийца будет бросать убитого в реку. Вы меня понимаете теперь. Того, кто нес труп, звали Жан Вальжан, а обладатель ключа в настоящую минуту разговаривает с вами; а кусок одежды…

С этими словами Тенардье достал из кармана покрытый темными пятнами кусок черного сукна и, держа его на высоте своих глаз двумя большими и двумя указательными пальцами, показал Мариусу.

Мариус поднялся, бледный, едва дыша; устремив глаза на кусок черного сукна, не произнося ни слова, не спуская глаз с лоскута, он отступил к стене и, вытянув за спиной правую руку, ощупывал в стене ключ, который торчал в стенном шкафу около камина. Наконец он нашел этот ключ, открыл шкаф и не глядя сунул туда руку, не отрывая все время расширенных глаз от лоскутка, который держал Тенардье. Между тем Тенардье продолжал:

— Господин барон, я думаю, что убитый молодой человек был богатый иностранец, имевший при себе много денег, которого Жан Вальжан заманил в ловушку.

— Этот молодой человек — я, а вот вам и сюртук! — крикнул Мариус и бросил на пол свой старый окровавленный черный сюртук.

Потом, вырвав у Тенардье лоскут, он нагнулся над сюртуком и приложил к фалде оторванный от нее лоскут. Лоскут пришелся как раз.

Тенардье испугался и невольно подумал: «Сорвалось».

Мариус выпрямился, он весь дрожал от волнения и радости.

Он порылся у себя в кармане, а затем, подойдя к Тенардье и поднося к его лицу кулак, в котором были зажаты пятисотенные и тысячные билеты, свирепым голосом закричал:

— Вы негодяй, вы лжец, вы клеветник, вы изверг! Вы хотели обвинить человека, а вместо того вы его оправдали, вы хотели унизить его, а вместо того вы его только возвеличили. Это вы вор! Это вы убийца! Я видел вас, лже-Тенардье-Жондретт, в лачуге на бульваре Опиталь. Я знаю про вас гораздо больше, чем нужно для того, чтобы засадить вас в тюрьму и даже сослать на каторгу, если бы я только этого захотел. Берите, вот вам тысяча франков, негодяй! — И он бросил Тенардье тысячефранковый билет. — А! Жондретт-Тенардье! Подлый негодяй! Пусть это послужит вам уроком, торговец чужими тайнами, ночной сыщик, гнусный человек! Возьмите эти пятьсот франков и убирайтесь вон! Вас спасает от законной кары Ватерлоо.

— Ватерлоо! — проворчал Тенардье, засовывая в карман пятьсот франков вместе с тысячью франков.

— Да, убийца! Вы спасли там жизнь полковнику…

— Генералу, — сказал Тенардье, гордо поднимая голову.

— Полковнику! — вспыльчиво перебил его Мариус. — Я не дал бы и сантима за генерала. Вы явились сюда совершить позорное дело! Вы сами совершили все эти преступления. Уходите! Уходите! Будьте счастливы, это все, чего я вам желаю. Чудовище! Вот вам еще три тысячи франков. Берите их. Вы завтра уедете в Америку вместе с вашей дочерью, потому что ваша жена умерла, подлый врун. Я непременно прослежу за тем, чтобы вы уехали, разбойник, и в момент вашего отъезда я вам вручу еще двадцать тысяч франков. Отправляйтесь искать виселицу в другом месте.

— Господин барон, — отвечал Тенардье, кланяясь до земли, — я вам буду вечно

признателен.

И Тенардье вышел, ничего не понимая, изумленный и восхищенный в одно и то же время, обрадованный и подавленный просыпавшимся на него золотым дождем и сверкавшими точно молния банковскими билетами.

Он был и поражен и доволен в одно и то же время, и ему было бы очень досадно, если бы ему предложили громоотвод для защиты от таких ударов молнии.

Покончим теперь же раз и навсегда с этим человеком. Два дня спустя после описанных нами событий, он, благодаря стараниям Мариуса, уехал под вымышленным именем в Америку вместе со своей дочерью Азельмой, увозя с собой перевод в двадцать тысяч франков на один из банкирских домов в Нью-Йорке. Нравственная болезнь Тенардье, неудачника буржуа, оказалась неизлечимой; в Америке он остался тем же, чем был и в Европе. Иногда достаточно прикосновения злого человека, чтобы испортить

доброе дело. С деньгами Мариуса Тенардье стал работорговцем.

Как только Тенардье вышел, Мариус побежал в сад, где все еще гуляла Козетта.

— Козетта! Козетта! — крикнул он. — Иди! Иди сюда скорей! Едем. Баск, экипаж! Козетта, иди. Ах, господи! Ведь это он спас мне жизнь! Нельзя терять ни минуты! Надень свою шаль.

Козетта решила, что он сошел с ума, но повиновалась. Он задыхался, приложив руку к сердцу, чтобы удержать его биение. Он ходил взад и вперед большими шагами, обнимал Козетту:

— Ах! Козетта! Какой я несчастный, — говорил он.

Мариус совсем потерял голову. Он начинал видеть в Жане Вальжане какую-то мрачную и в то же время великую личность, ему казалась необычайной эта добродетель, такая высокая и такая кроткая, такая смиренная и такая великая. Каторжник превратился в святого — Мариус был

ослеплен этим чудом. Он не понимал, что именно видит, но чувствовал, что это что-то великое.

Через минуту фиакр стоял уже у дверей.

Мариус посадил Козетту и сел сам.

— Кучер, — крикнул он, — улица Омм Армэ, номер семь.

Фиакр покатился.

— Ах, какое счастье! — сказала Козетта. — Улица Омм Армэ. Я не решалась говорить об этом. Мы увидим господина Жана.

— Твоего отца! Козетта, он теперь больше, чем когда-либо, твой отец. Козетта, я теперь знаю все. Ты говорила мне, что не получала письма, которое я посылал тебе с Гаврошем. Оно попало к нему в руки. Козетта, он пошел на баррикаду, чтобы спасти меня. А так как он взял на себя обязанность быть ангелом-хранителем, то мимоходом спасал и других. Он спас Жавера. Он вытащил меня из этой ямы, чтобы вернуть меня тебе. Он нес меня на спине по всему ужасному водостоку. Ах, я поступил чудовищно

неблагодарно. Козетта, он был твоим провидением, а потом стал и моим. Представь только себе, что там есть ужасная яма, где можно сто раз утонуть в нечистотах, в тине! Он перенес меня через эту яму. Я был в обмороке, я ничего не видел, ничего не слышал, я ничего не знал об этом. Мы привезем его сюда, возьмем его с собой, хочет он или нет, но он больше уже не расстанется с нами. Только бы нам застать его дома. Да, только бы нам застать его дома! Всю жизнь я буду благоговеть перед ним. Да, это должно быть так, Козетта! Гаврош, наверное, передал ему мое письмо. Теперь все ясно. Ты меня понимаешь.

Козетта не понимала ничего.

— Ты прав, — сказала она ему.

Между тем фиакр катился вперед.

Глава 364

Жан Вальжан обернулся, услышав раздавшийся стук в дверь.

— Войдите. — проговорил он слабым голосом. Дверь отворилась.

Показались Козетта и Мариус.

Козетта бросилась в комнату.

Мариус остался на пороге, прислонившись к косяку двери.

— Козетта! — сказал Жан Вальжан, выпрямляясь на стуле и раскрывая дрожащие от слабости и волнения объятия.

Он был страшно бледен, но в его воспламененных глазах светилась беспредельная радость.

Козетта, задыхаясь от волнения, припала ни грудь к Жану Вальжану.

— Отец! — сказала она.

Жан Вальжан чуть слышно бормотал дрожавшим от волнения голосом:

— Козетта! Она! Это вы, баронесса! Это ты! Ах, боже мой!

И, чувствуя, что Козетта все крепче сжимает его в объятиях, прибавил:

— Это ты, ты здесь! Ты меня, значит, прощаешь!

Мариус, опустив ресницы, чтобы сдержать слезы, сделал шаг вперед и, судорожно сжимая губы, чтобы не разрыдаться, прошептал:

— Отец мой!

— Так и вы меня прощаете! — сказал Жан Вальжан.

Мариус не мог выговорить ни слова, и Жан Вальжан прибавил:

— Благодарю вас.

Козетта сняла шаль и бросила шляпу на кровать.

— Это мне мешает, — сказала она.

Затем, усевшись к старику на колени, она очаровательным движением откинула его белые волосы и поцеловала в лоб.

Жан Вальжан до такой степени растерялся, что без сопротивления позволил ей это.

Козетта, смутно лишь догадывавшаяся, в чем тут дело, удвоила ласки, как бы желая этим уплатить долг Мариуса.

Жан Вальжан прерывающимся голосом бормотал:

— Как люди, однако, глупы! Я думал, что я ее больше уже не увижу. Представьте себе, господин Понмерси, что в ту минуту, когда вы входили, я говорил себе: «Все кончено. Вот ее платьице, а мне, несчастному, не суждено уже больше видеть Козетту». Я говорил себе это, в то самое время когда вы поднимались по лестнице. Не глуп ли я был? Вот до какой степени люди могут быть слепы! А все потому, что люди забывают о Боге. Милосердный Господь говорит: «Ты думаешь, глупый, что ты покинут! Нет. Нет, этого не было и не будет». Он видит, что старику нужен добрый ангел-утешитель. И ангел к нему приходит. И я опять вижу Козетту! И я опять вижу малютку

Козетту! Ах, если бы вы знали, каким несчастным чувствовал я себя.

Он совсем задыхался, и прошла целая минута раньше, чем он собрался с мыслями и вновь заговорил:

— Мне и в самом деле нужно время от времени видеть Козетту. Сердцу тоже нужно давать поглодать косточки, хотя я и чувствовал, что я совсем лишний. Я старался доказать себе: «Ты им ни на что не нужен, сиди в своем углу, вечного ведь нет ничего на свете». Ах, слава тебе господи! Я опять вижу ее! А знаешь, что я тебе скажу, Козетта? Твой муж ведь очень красив. Ах, какой у тебя красивый вышитый воротник. Я люблю такие рисунки. Это выбирал тебе, по всей вероятности, твой муж? Потом тебе нужно бы еще кашемировую шаль. Господин Понмерси, позвольте мне говорить ей «ты»! Это будет недолго.

На это Козетта возразила:

— Как это нехорошо было с вашей стороны покинуть нас таким образом! Куда это вы ездили?

Почему пробыли вы так долго? Прежде ваши поездки продолжались не больше трех или четырех дней. Я посылала Николетту, и все время отвечали: «Его еще нет». Когда вы вернулись? Почему вы не дали нам знать? А ведь вы ужасно изменились! Ах, какой вы нехороший, отец! Он был болен, а мы этого даже и не знали! Слушай, Мариус, пощупай, какая у него холодная рука!

— Вот и вы наконец пришли ко мне, господин Понмерси. Вы меня прощаете! — повторял Жан Вальжан.

При этих словах, которые Жан Вальжан говорил уже не в первый раз, все, что накопилось в сердце у Мариуса, нашло наконец себе выход, и он воскликнул:

— Козетта! Слышишь ты, что он говорит? Он все продолжает твердить одно и то же! Он просит у меня прощения. А знаешь ли ты, Козетта, чем он провинился передо мною? Он спас мне жизнь. Он сделал даже больше. Это он дал тебя мне. А затем, после того как он спас меня и дал мне Козетту, знаешь, как он поступил сам с собой? Он

принес себя в жертву. Вот что это за человек. И он же еще говорит мне, неблагодарному, забывшему обо всем, чем я ему обязан, безжалостному, кругом виноватому перед ним. Благодарю вас! Козетта, если б я провел всю остальную жизнь у ног этого человека, то и этого было бы слишком мало. Ради того, чтобы спасти меня для тебя, Козетта, он побывал на баррикаде, он прошел через водосток, он побывал и в аду и в клоаке! Он избавил меня от тысячи смертей, рискуя все время погибнуть там! В нем сосредоточились все добродетели, все мужество, все геройство, вся святость, какие только могут быть в человеке. Козетта, этот человек настоящий святой!

— Тсс!.. Тсс!.. — пытался остановить его Жан Вальжан тихим голосом. — Зачем говорить все это?

— Ну а сами вы! — вскричал Мариус с гневом, в котором слышалось в то же время и благоговение. — Почему вы ничего не говорили? Виновны вы также и сами. Вы спасаете жизнь

людям и скрываете это от них! Вы делаете еще больше, и под предлогом признания в преступлениях вы клевещете на себя. Это ужасно!

— Я сказал правду, — отвечал Жан Вальжан.

— Нет, — возразил Мариус, — правда должна всегда оставаться правдой, а вы не сказали мне всей правды. Вы были фабрикант Мадлен и не сказали этого. Вы спасли Жавера и не рассказали об этом. Я тоже вам обязан жизнью, почему вы не сказали мне этого?

— Потому что я думал то же самое, что и вы. Я находил, что вы совершенно правы и что мне следовало удалиться. Если бы вы узнали о моем странствовании по водостокам, вы заставили бы меня остаться с вами. Поэтому я должен был молчать. Если бы я рассказал об этом, это только стеснило бы…

— Что такое могло бы стеснить? Кого это могло бы стеснить? — возразил Мариус. — Неужели вы думаете, что вы останетесь здесь? Мы вас увезем. Ах, господи! Подумать только,

что я узнал все это случайно! Мы вас увезем с собой. Вы составляете одно неразлучное целое с нами. Вы и ее отец, и мой. Вы не пробудете и дня в этом ужасном доме. Не воображайте себе, пожалуйста, что вы здесь будете еще и завтра.

— Завтра, — сказал Жан Вальжан, — меня не будет здесь, но я не буду и у вас.

— Что вы хотите этим сказать? — возразил Мариус. — Ну, нет, мы этого не допустим! Вы никогда больше не расстанетесь с нами. Вы принадлежите нам. Мы вас не пустим.

— Теперь все устраивается отлично, — прибавила Козетта. — У нас тут экипаж. Я вас увожу. Если понадобится, то я употреблю даже силу.

И смеясь, она сделала вид, что поднимает старика на руки.

— В нашем доме вас все еще ожидает приготовленная для вас комната, — продолжала она. — Если бы вы знали, как хорошо теперь в саду! Азалии цветут восхитительно. Аллеи

усыпаны речным песком, в котором попадаются маленькие синие раковинки. Вы попробуете моей земляники. Я ее сама поливаю. И, чтобы не было больше ни баронессы, ни господина Жана, у нас республика и все говорят друг другу «ты». Не правда ли, Мариус? Программа изменена. Если бы вы знали, отец, какое у меня было горе, — в стене свила себе гнездо красношейка, а противная кошка съела ее. Бедная моя маленькая хорошенькая красношейка, она клала на окно свою головку и смотрела на меня! Как я о ней плакала. Я готова была убить кошку! Но теперь никто уже не смеет плакать. Все должны смеяться, все должны быть счастливы. Вы едете сейчас с нами. Как обрадуется дедушка! У вас будет свой уголок в саду, вы будете ухаживать за ним, и мы еще посмотрим, удастся ли вырастить вам такую же хорошую землянику, какая у меня. Я буду делать все, что вы захотите, но и вы будете меня слушаться.

Жан Вальжан слушал, что она говорит, но точно не понимал. Он скорей слушал музыку ее слов, чем вникал в их смысл, крупная слеза,

темная жемчужина души, медленно собиралась в глазу. Он прошептал:

— Вот явное доказательство, что Господь милосерден.

— Отец мой! — сказала Козетта.

Жан Вальжан продолжал:

— Жить вместе и в самом деле было бы очень хорошо. У них на деревьях в саду много птиц. Я ходил бы гулять с Козеттой. Хорошо быть живыми людьми, здороваться друг с другом по утрам, звать один другого в сад, видеть друг друга с раннего утра. Каждый из нас завел бы себе свой особый уголок в саду Она угощала бы меня земляникой, а я рвал бы ей розы. Это было бы прелестно. Только… — Он прервал себя и тихо сказал: — Жаль.

Слеза не упала, а скрылась в глазу, и Жан Вальжан заменил ее улыбкой.

Козетта взяла руки старика в свои руки.

— Господи, — сказала она, — ваши руки стали еще холоднее. Неужели вы больны?

Неужели вы страдаете?

— Я?.. Нет, — отвечал Жан Вальжан, — я чувствую себя очень хорошо. Только…

Он остановился.

— Только что?

— Я сейчас умру.

Козетта и Мариус вздрогнули.

— Умрете! — воскликнул Мариус.

— Да, но это пустяки, — сказал Жан Вальжан.

Он вздохнул, улыбнулся и продолжал:

— Козетта, ты говорила со мной, продолжай, поговори еще. Итак, твоя красношейка умерла, говори же, говори, мне хочется слышать твой голосок.

Мариус с ужасом смотрел на старика. Козетта испустила раздирающий душу крик.

— Отец! Отец мой! Вы будете живы! Вы будете живы. Я хочу, чтобы вы жили! Вы

слышите, что я вам говорю?

Жан Вальжан поднял голову и с выражением восторженного обожания взглянул на нее.

— О да, не позволяй мне умирать. Кто знает?.. Быть может, я и послушаю тебя. Я уже умирал, когда вы приехали. Это меня остановило, и мне кажется, что я точно оживаю.

— Вы полны сил и жизни! — воскликнул Мариус. — Неужели вы воображаете, что такие люди умирают? У вас было горе, а теперь его у вас больше не будет. Я прошу у вас прощения, и теперь я уже на коленях! Вы будете жить с нами, и жить долго. Мы отнимем вас у смерти. У нас обоих отныне будет только одна забота — ваше счастье!

— Вот видите, — сказала Козетта вся в слезах, — Мариус говорит, что вы не умрете.

Жан Вальжан продолжал улыбаться.

— Если вы меня возьмете к себе, господин Понмерси, разве я стану от этого другим? Конечно нет. Бог думал так же, как и мы с вами, и

он не изменяет своих решений. Мне следует уйти. Смерть все примиряет и все устраивает. Бог лучше знает, что нам нужно. Будьте счастливы, пусть господин Понмерси обладает Козеттой, пусть молодость сочетается с утренней зарей, пусть вас окружает, дети мои, сирень, пусть поют соловьи, пусть ваша жизнь будет зеленой, озаренной солнцем лужайкой, пусть ваши души будут наполнены небесным блаженством, и пусть я, никому и ни к чему не годный, пусть я умру, так будет лучше всего и так и должно быть. Будьте же рассудительны, теперь уже ничего нельзя изменить, я чувствую, что теперь все кончено. Час тому назад у меня был обморок. И потом, за эту ночь я выпил весь этот кувшин воды. Козетта, какой у тебя славный муж! Тебе с ним гораздо лучше, чем было со мной.

В дверь постучали. Вошел доктор.

— Здравствуйте и прощайте, доктор, — сказал Жан Вальжан. — Вот мои бедные дети.

Мариус подошел к доктору. Он сказал только одно слово: «Доктор», — но в тоне, каким он

произнес это слово, стоял немой вопрос. Доктор ответил на вопрос выразительным взглядом.

— Из-за того только, что нам что-нибудь не нравится, — сказал Жан Вальжан, — вовсе не следует, что мы имеем право роптать на Бога.

Наступило молчание. Все чувствовали, что у них в груди захватывает дыхание.

Жан Вальжан обернулся к Козетте. Он смотрел на нее такими глазами, как будто хотел взять ее с собой в вечность. На краю могилы, куда он уже сходил, ему еще доступно было чувство восхищения, когда он смотрел на Козетту. Отражение ее милого личика освещало его бледное лицо. Могила тоже может иметь свою прелесть.

Доктор пощупал ему пульс.

— А! Так это вы ему были так нужны! — прошептал он, глядя на Козетту и на Мариуса, и, наклонясь к уху Мариуса, прибавил: — Слишком поздно.

Жан Вальжан, не спускавший все время глаз с Козетты, спокойно взглянул на Мариуса и на доктора. Он едва слышно проговорил:

— Умереть — это ничего. Ужасно не жить.

Вдруг он поднялся. Иногда такие страшные усилия означают агонию. Он твердым шагом подошел к стене, отстранил Мариуса и доктора, который хотел ему помочь, снял висевшее на стене маленькое медное распятие, сел опять со свободой движений вполне здорового человека и, кладя распятие на стол, сказал громким голосом:

— Вот великий страдалец!

Потом его грудь опустилась, голова покачнулась, как будто ее уже взяла могила, а его лежавшие на коленях руки начали как бы царапать ногтями материю его одежды.

Козетта, поддерживая его под руку, рыдала, старалась говорить, но не могла. Из уст ее вырывались лишь отдельные слова:

— Отец, не покидайте нас! Неужели мы вас нашли только для того, чтобы снова потерять?

Про агонию можно сказать, что она действует приливами. То она приближается к гробу, то удаляется слова. Смерть точно исследует почву.

Жан Вальжан после этого полуобморока окреп, сделал движение головой, как будто затем, чтобы стряхнуть с нее мрак, и снова стал почти совсем бодрым. Он взял рукав Козетты и поцеловал его.

— Он оживает! Доктор, он оживает! — воскликнул Мариус.

— Вы оба очень добры, — сказал Жан Вальжан. — Я хочу вам объяснить, что именно меня беспокоит. Меня беспокоит, господин Понмерси, что вы не хотите взять этих денег. Эти деньги действительно принадлежат вашей жене. Я все объясню вам, дети, и поэтому-то мне так приятно видеть вас. Черный агат привозят из Англии, белый агат привозят из Норвегии. Обо всем этом вы прочтете на том листе бумаги. При изготовлении браслетов я придумал изменения, усовершенствования. Это красивее, прочнее и дешевле. Вы теперь понимаете, как наживаются

деньги. Богатство Козетты принадлежит ей. Я рассказываю вам эти подробности, чтобы вы были спокойны.

Привратница поднялась по лестнице и заглянула в полуотворенную дверь. Доктор сказал ей, что она не нужна, но он не мог помешать сердобольной старушке перед уходом крикнуть умирающему:

— Позвать к вам священника?

— У меня здесь есть священник, — отвечал Жан Вальжан.

И он поднял палец кверху, как бы указывая им на кого-то, видимого только ему одному.

Весьма возможно, что епископ и в самом деле присутствовал при его кончине.

Козетта тихо подложила ему под спину подушку. Жан Вальжан продолжал:

— Господин Понмерси, не бойтесь ничего, клянусь вам в этом. Шестьсот тысяч франков принадлежат Козетте. Труды всей моей жизни пропали бы даром, если бы вы отказались

воспользоваться ими! Нам удалось очень хорошо делать этот мелкий стеклярусный товар. Мы конкурировали с берлинскими изделиями. По цене их даже и сравнить нельзя с немецкими. Гросс, содержащий в себе двести пятьдесят штук отшлифованных бусинок, стоит всего три франка.

Когда умирает дорогое нам существо, взгляд, приковывается к нему, точно хочет удержать его. Муж и жена, обезумевшие от горя, не зная, что сказать умирающему, в отчаянии стояли возле него, причем Мариус держал в своей руке руку Козетты.

Жан Вальжан с каждой минутой слабел, все более и более приближаясь к темному горизонту. Его дыхание стало неровным и прерывалось хрипами. Он с трудом шевелил руками, ноги уже не слушались его, и в то самое время, как росла все увеличивавшаяся слабость всех его членов, а тело его все более тяжелело, на лице его все яснее и яснее выступало все величие его души. В его глазах сиял свет нездешнего мира.

Его лицо бледнело и улыбалось. В нем уже не было жизни, тут было нечто другое. По мере того как слабело дыхание, духовные силы его все возрастали. Это был труп, за спиной которого угадывались крылья.

Он подозвал к себе знаком сначала Козетту, а потом Мариуса. Очевидно, настала последняя минута последнего часа, и он начал говорить им таким слабым голосом, что казалось, будто голос этот доносился издали, точно между ним и ними выросла стена.

— Подойди, подойдите оба. Я вас очень люблю. О, как хорошо умирать так! Ты меня тоже любишь, Козетта. Я хорошо знал, что ты всегда любила своего старичка. Как это мило с твоей стороны, что ты положила мне за спину подушку. Ты ведь поплачешь обо мне немножко? Только не очень. Я не хочу, чтобы ты слишком много горевала. Вы должны как можно больше развлекаться, дети. Я еще забыл сказать вам, что на пряжках без шпилек выручалось больше, чем на всем остальном. Гросс из двенадцати дюжин

обходился в десять франков, а продавался за шестьдесят. Это действительно было великолепное дело. Вас не должно удивлять, господин Понмерси, что я дал в приданое шестьсот тысяч франков. Это честно нажитые деньги. Вы можете с чистой совестью быть богаты. Вы должны иметь карету, брать время от времени ложу в театре, Козетта должна иметь красивые бальные туалеты, угощать своих друзей хорошими обедами, и вы оба должны быть очень счастливы. Обо всем этом я сейчас только писал Козетте. Она найдет мое письмо. Ей же я завещаю и два подсвечника, которые стоят на камине. Они из чистого серебра, но для меня они дороже золота, дороже бриллиантов, простые свечи, если вставить в них, превращаются в восковые. Не знаю, доволен ли мною там наверху тот, кто их мне дал. Я сделал все, что мог. Дети мои, имейте в виду, пожалуйста, что я бедняк, поэтому похороните меня где-нибудь подальше, в уголке, и положите на могилу камень, просто чтобы отметить место. Это моя воля. На камне не нужно делать никакой надписи. Если Козетте

вздумается иногда прийти ко мне на могилу, это доставит мне удовольствие. Господин Понмерси, вы тоже очень обрадуете меня, если последуете ее примеру. Я должен вам признаться, что я не всегда вас любил. Простите мне это. Теперь вы и она составляете для меня одно целое. Я считаю своим долгом поблагодарить вас, так как чувствую, что Козетта будет счастлива с вами. Если бы вы знали, господин Понмерси, с каким удовольствием я любовался ее розовыми щечками. Я страшно горевал, когда они бледнели. В комоде лежит пятисотфранковый билет. Я его не трогал. Это отдайте бедным. Козетта, видишь, там на постели лежит твое маленькое платьице. Узнаешь ты его?.. С тех пор прошло всего десять лет. Как быстро летит время! Как мы были тогда счастливы. Кончено. Дети мои, не плачьте, я ухожу недалеко. Я вас увижу оттуда. Ночью вы взглянете на небо, и вы увидите, что я вам улыбаюсь. Козетта, помнишь ты Монфермейль? Ты была в лесу, ты боялась. Помнишь, как я взялся за дужку ведра с водой? Я в первый раз дотронулся тогда до твоей ручки. Она была такая

холодная! Ага, барышня, в то время у вас были красные ручки, а теперь они у вас белые. А твоя большая кукла! Помнишь ли ты ее?.. Ты ее называла Катериной. Ты очень горевала, что ее нельзя было взять с собой в монастырь. Ангелочек мой, столько раз ты меня смешила тогда. После дождя ты пускала на воду соломинки и смотрела, как они плывут. Один раз я дал тебе отбойник из ивы и волан из желтых, голубых и зеленых перьев. Ты это забыла. Маленькой ты была такая шалунья! Ты любила играть. Ты привешивала к ушам вишни. Но все это миновало. Лес, через который я проходил со своим ребенком, деревья, под которыми мы гуляли, монастырь, где мы скрывались, твои игры, веселый смех детства, — все это только тени. Я воображал себе, что все это принадлежит мне. В этом-то и заключалась моя глупость. Эти Тенардье были очень злы, но их нужно простить. Козетта, настало время сказать тебе имя твоей матери. Ее звали Фантиной. Помни это имя: Фантина. Становись на колени каждый раз, как произнесешь его. Она много страдала. Она очень

любила тебя. Она была несчастна во всем, в чем так счастлива ты: это Божья воля. Он там, наверху, Он видит нас всех и ведает, что творит. Дети мои, я ухожу. Любите всегда друг друга. На свете ничего не может быть выше этого: любите друг друга. Вспоминайте иногда о несчастном старике, который умер здесь, О, моя милая Козетта! Я не виноват, что не видел тебя все это время, это раздирало мне сердце. Я доходил до угла улицы. Люди, которые видели, как я брел мимо них, принимали меня за сумасшедшего, я действительно сходил с ума, один раз я вышел даже без шапки. Дети мои, я уже начинаю плохо видеть, а я хотел еще многое сказать вам, но это все равно. Вспоминайте иногда обо мне. Вы — счастливые люди. Я не знаю, что со мной, но я вижу свет. Подойдите ближе. Я умираю счастливым. Дайте мне положить руки на ваши милые горячо любимые головы.

Козетта и Мариус опустились на колени и, задыхаясь от слез, припали к рукам Жана Вальжана. Но руки эти уже не шевелились.

Он откинулся назад, и его освещал свет двух подсвечников, его бледное лицо смотрело на небо, он позволял Козетте и Мариусу целовать свои руки: он был мертв.

На небе не было звезд, и ночь была очень темной. Без сомнения, во мраке стоял какой-нибудь величественный ангел с распущенными крыльями, готовый принять его душу.

Глава 365

На кладбище Пер-Лашез, около братской могилы, далеко от элегантного квартала этого города мертвых, далеко от всех фантастических памятников, которые в присутствии вечности выставляют напоказ безобразные моды смерти, в пустынном углу, у самой стены, под большим тисом, по которому вьется вьюнок, среди травы и мха лежит камень. Этот камень, как и другие, не избежал проказы времени: плесени, лишаев и птичьего помета. Вода красит его в зеленый, а воздух в черный цвет. Вблизи него не видно протоптанной тропинки, и с этой стороны не

любят проходить, потому что здесь высокая трава и здесь сразу же можно промочить ноги. Когда проглядывает солнце, сюда приходят ящерицы. А кругом колышутся высокие травы. Весной на деревьях поют малиновки.

Этот камень совсем голый. Его высекали для могилы и позаботились только о том, чтобы он был как раз такой величины, чтобы прикрыть одного человека. На нем нет надписи.

Много лет тому назад чья-то рука написала на нем карандашом следующие стихи, которые благодаря пыли и дождю едва можно было прочесть и которые теперь, наверное, уже стерлись:

Он спит. Хоть был судьбой жестокою гоним,
Он жил. Но, ангелом покинутый своим,
Он умер. Смерть пришла так просто в свой черед,
Как наступает ночь, едва лишь день уйдет.

Общественное достояние. Источник текста: Викитека (ru.wikisource.org).